



Ирина ГОЛОВКИНА  
(СЫМСКАЯ-КОРСАКОВА)

# ПОБЕЖДЕННЫЕ



# Annotation

Книга «Побеждённые» Ирины Владимировны Головкиной — роман из жизни русской интеллигенции в период диктатуры Сталина. Автор пишет: «В этом произведении нет ни одного выдуманного факта — такого, который не был бы мною почерпнут из окружающей действительности 30-х и 40-х годов». Но при всей своей документальности, роман все же художественное произведение, а не простая хроника реальных событий.

В России закончилась гражданская война. Страна разрушена, много людей погибло — от войны, от голода, болезней и разрухи, многие оказались в эмиграции. Остались люди из так называемых «бывших», тех кто выжил в этом страшном водовороте, в основном это были вдовы, дети, старики. Многие из них так и не смирились с новой властью, но надо было жить и воспитывать детей и внуков, которых не принимали в учебные заведения, увольняли с работы, а порой и ссылали в лагеря. Голод, безработица, унижения, тревоги омрачили дальнейшую жизнь этих людей, но, как ледяная вода закаляет горячую сталь, катастрофы революции только законсервировали, укрепили в некоторых людях принципы аристократизма, разожгли угасавшую было православную веру, пошатнувшуюся любовь к отчизне. Явилась некая внутренняя сознательная и бессознательная оппозиция всем веяниям новой эпохи.

Автору книги удивительно просто и понятно, без какой-либо пошлости, удалось рассказать о трагических страницах истории страны. Тысячи людей были арестованы, сосланы очень далеко от родных мест, многие из них не вернулись обратно. Вера, характер и воспитание людей оказавшихся в застенках или ссылке помогли им выстоять, а тем, кому суждено было погибнуть, то сделать это с высоко поднятой головой, непобежденными. А сердца тех, кто еще жил, оставались в той, старой России. Её образ отдаленный, несколькими десятилетиями кошмара, ассоциировался с детством, мирной жизнью, где всё было так, как должно быть у людей.

**Ирина Головкина (Римская-Корсакова)**

**Побеждённые**

**Часть первая**

*...Над страной моей родною встала смерть...*

*А. Белый.*

# Глава первая

Весь мир превратился в поминки. Трудно вообразить, что на него можно смотреть радостными глазами. Елочка чувствовала себя так, будто стояла у дорогой могилы, где все говорят шепотом и не улыбаются, и лишь могильщики деловито переговариваются меж собой и даже осмеливаются смеяться.

Умерла ее Родина. Ее Россия. Умерла ее нежность. Умерли походы князя Игоря на половцев, Куликовская битва, Отечественная война, оборона Севастополя, победы на Балканах.

Еще в младших классах Смольного она была удивлена, когда в одном французском журнале натолкнулась на цитату: «France c'est une Personne»<sup>[1]</sup>, — ведь она то же самое думала о России! Это была одна из самых заветных идей, рожденных в недоступной глубине ее существа: Россия — личность, светлый дух небесной высоты. Этот дух имеет в мире свою великую цель и свое тело, меняющее формы при каждом повороте истории. Государство — только жалкое несовершенное орудие. Ее сверхчеловеческих идей. Миссия России исполнена глубин: Россия стоит между западом и востоком, разделяя и соединяя два чуждых мира. Россия защищает и охраняет славянские народы и призвана объединить их вокруг себя; Россия — защитница христианской восточной церкви; в Россию изначально заложено искание истины и тоска по вечной правде; ее народ — «богоносец»; она никогда не станет буржуазной по европейскому образцу — самодовольное и тупое обывательское благополучие слишком бы исказило и унизило ее соборную личность! У нее свои избранники — деятели, подобные Петру Великому, и святые, как Сергей Радонежский; Она отражает Свой лик в неповторимой природе, Она наполняет своею благодатью нивы — хлеб, питающий нас!

Как дошла до таких мыслей тринадцатилетняя девочка? Читая, она встречала напечатанными свои собственные, никому невысказанные думы, и удивлялась, что сама дошла до них, а между тем отовсюду только и слышишь, что ты еще маленькая девочка и должна молчать, когда говорят взрослые!

Она была сиротой: мать умерла от родильной горячки, отец — земский врач — погиб в эпидемию холеры.

— Умереть, спасая народ, так же героично, как умереть на поле битвы! Почему не раздают Георгиевские кресты земским врачам! Это еще будет, когда оценят, наконец, подвиги нашего земства! — втолковывала она подругам.

В классе Елочка шла первой; держалась всегда очень сдержанно и серьезно; никогда не обнималась и не перешептывалась с подругами о своих или чужих тайнах. Сверстницы не столько любили ее, сколько уважали, и всегда просили рассудить в случае недоразумений или ссор.

— Елочка не будет выезжать в свет! — Елочка сказала, что ей все равно, сколько сантиметров в обхвате у нее талия! — Елочка пойдет на Бестужевские курсы — у нее уже все решено!

— Ваша Елочка Муромцева какая-то Шарлотта Корде или революционерка! — сказала о ней одна из пепиньерок<sup>[2]</sup>, но в ответ услышала:

— Вовсе не Корде и не революционерка. Она — Жанна д'Арк!

Тринадцать лет ей исполнилось в 1914 году, когда началась война. Вместе с другими институтками она стала писать письма солдатам, собирать посылки на фронт, шить платки, щипать корпию и жить ожиданием известий с театра войны. Ее сводила с ума героическая оборона Бельгии. Антверпен стал ей дорог не меньше Севастополя, а король Альберт занял в сердце место среди обожаемых героев России — портрет его лежал у нее под подушкой.

Но через год, когда началось отступление русских из Галиции, она забыла о Бельгии: в любви к Родине появилась тревога за нее, как за тяжелобольного близкого человека. Летом в имении у бабушки Елочка забиралась в гущину сада, становилась среди яблонь на колени и подолгу умоляла Бога послать победу русским войскам. И совсем еще по-детски давала обеты отказаться от сладкого или от интересной прогулки. При известии о поражениях горько плакала. Когда в газетах было объявлено о взятии немцами Варшавы, весь день она и ее француженка гувернантка проходили с красными глазами. Карманные деньги, которые дарила ей бабушка, она по-прежнему тратила на посылки солдатам и приходила в отчаянье, что по возрасту не может стать сестрой милосердия — в белой косынке с крестом.

И вдруг — позор, стыд — «Долой войну!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», Октябрь, революция, Россия — перед бездной!..

Не прозвучит ли тихий божественный голос к русской Жанне д'Арк:

— Молись! Господь избрал тебя спасти Россию! Святые Александр Невский и Сергей Радонежский помогут тебе!

Но своды институтской церкви оставались безмолвны, а в кадилльном дыму не вырисовывались ни меч, ни знамя...

Скоро Елочке довелось увидеть этот революционный пролетариат, заявивший, что у него нет Отечества! Институт был эвакуирован в Харьков, город переходил из рук в руки, и вот наступило утро, когда толпа красных ворвалась в классы и погнала перепуганных институток по коридорам и лестницам на чердак:

— Пошевеливайтесь, белоручки! Быстро все наверх, офицерские да сенаторские дочки! Сейчас расстреливать будем! Всех вас на тот свет!

Загнали на чердак и заперли. Где было начальство, где классные дамы — никто не знал. Елочка твердо помнила, что с ними в этот час никого не было. Институтки рыдали; одни звали маму и папу, другие читали молитвы. Елочке казалось, что она одна сохраняет присутствие духа.

— Mesdames, mesdames, успокойтесь! Мы не должны обнаруживать страха! Наши отцы и братья героически гибнут в офицерских батальонах — неужели же мы не сумеем умереть? Разве можно ронять себя в глазах этих хамов? Медамочки, вспомните, когда Марию Антуанетту вели на гильотину, она настолько владела собою, что извинилась, наступив палачу на ногу, а вы?! — повторяла она, перебегая от одной подружки к другой.

Кто-то случайно толкнул дверь, и та распахнулась — их оказывается не заперли! Прислушались и, убедившись, что на лестницах пусто, толпой бросились на крышу; перед ними лежал город, и при ярком утреннем свете, как на ладони, видны были вступавшие в город колонны войск с одной стороны и уходившие колонны с другой. В эту как раз минуту серебром брызг рассыпалась взорванная водокачка. Город в десятый раз переходил из рук в руки...

Ни тогда, ни после, Елочке не пришло в голову, что эти хмурые люди с винтовками, может быть, намеренно не заперли их, а только припугнули — она непоколебимо была уверена, что их в самом деле хотели расстрелять, но не успели, и что спасло их чудо или случай.

Потом сполна были все муки гражданской войны, медленная агония белогвардейского движения. Наконец, все кончилось. Там, где были герои и святые, отныне ораторы и куплетисты, газетчики и недавние лавочники взахлеб издевались над прошлой историей растоптанной ими страны, и нужно было забыть бои и окопы, забыть море крови, «роты смерти» и атаки офицерских батальонов, забыть Самсонова, который застрелился, чтобы не пережить позора, забыть Колчака, который бросил свою шпагу в море, отказавшись

служить большевикам... Забыть, но как?!

Шли годы, шла новая жизнь, и люди считали возможным интересоваться этой жизнью. Казалось, они и впрямь забыли обо всем.

Медицинская сестра в хирургической клинике; свой заработок, своя комната, обставленная хорошими вещами; никто из близких не арестован, не выслан, и это в годы жесточайшего террора — на первый взгляд жизнь Елочки складывалась благополучно. Но это лишь на первый взгляд.

Она не была красива. Несколько высока, несколько худощава, крупные руки и ноги, желтоватый цвет кожи. Лоб и виски слишком обнажены, рот очерчен неправильно. Красивы в ней были только задумчивые карие глаза и длинная черная коса, но она не умела красиво причесываться и не извлекала из своих волос и половины их прелести, закручивая сзади тугим узлом. Одевалась со вкусом и опрятно, но всегда с пуританской скромностью. Всем ухищрениям моды она предпочитала костюм с английской блузой. Уже в двадцать семь лет в облике ее преждевременно появилось что-то стародавическое.

Чувствуя инстинктивно, что природа, отказав ей в женской прелести, лишит ее многих радостей, она еще в раннем отрочестве перенесла их в свой внутренний мир. Эта способность уходить в себя спасала ее от уныния. Книги по-прежнему были ее отрадой, но теперь она избегала читать о русской военной истории, чтобы не бередить раны.

Когда-то в Смольном она училась игре на рояле. Теперь она решила возобновить занятия на маленьком пианино, доставшемся ей от бабушки, и поступила в вечернюю музыкальную школу, куда принимали независимо от возраста всякого, кто готов был платить за обучение. Два раза в неделю после дежурства в больнице она появлялась в классе. Но толку, несмотря на старания, получалось очень мало — она не была музыкальна по натуре. Любая новенькая ученица, не отличающаяся ни любовью к музыке, ни прилежанием, очень скоро обгоняла Елочку и играла те пьесы, о которых Елочка могла только мечтать.

Неудача не охладила ее любви к опере, и обязательно два или три раза в месяц, когда в программе значились «Князь Игорь», «Борис Годунов» или «Псковитянка», она появлялась в последних рядах партера, всегда одна, скромно одетая, со старинным бабушкиным лорнетом из горного хрусталя на цепочке, что хотя и придавало некоторую старомодность ее облику, но вместе с тем сохраняло в нем от прошлого изящество и благородство. После каждого посещения театра она обязательно на несколько дней лишала себя завтрака и ходила на работу пешком, восполняя трату денег.

Вечеринки и танцы не только не привлекали ее — они казались ей святотатством. Веселиться и танцевать, когда Россия во мгле?! Театр — другое дело; на него она не смотрела как на развлечение, он не нарушал траура, в который она облекла себя.

Чем больше Елочка жила, замкнувшись в своем внутреннем мире, с ей одной ведомыми радостями и печалью, тем дальше отходила она от окружающих ее людей. На службе ее уважали, но держалась она особняком, не сближаясь ни с кем, ненавидя пошлый, развязный тон среды мелких служащих. Она смотрела на их жизнь, как на взбалмошный, вздорный спектакль. И этот спектакль, полный грубоватых флиртов, киношек, тряпок, зарплат, быстро делался скучным и непонятным, пьеса бездарной и безвкусной, где каждая героиня в первом акте позволяла мужчинам при всех хватать себя за плечи и за локти, водить себя в кино и навещать на дому, во втором — исчезала делать аборт, а в третьем — вновь появлялась как ни в чем не бывало. Никогда раньше в той среде, которая теперь сошла со сцены, не увидела бы Елочка ничего подобного. Все теперь было упрощено до грубости.

Иногда она думала о том, что если бы революция не помешала, она как первая ученица Смольного могла стать фрейлиной и появляться на придворных балах. Ее окружали бы гвардейцы и пажи... И она видела, что и там она оставалась бы самой собою. Дух веселья и кокетства не коснулся бы ее и там. Она и

там оставалась бы серьезная, суровая, гордая, никому не нужная и не интересная.

Счастье... Она поняла, что жить можно и без него. Иногда, правда, появлялось у нее беспокойное сознание, что жизнь проходит или обходит, и молодость пропадает напрасно, что чего-то как будто не хватает... Но нет, в этой «совжизни», без красоты, без Родины, без героя, ей ничего не нужно!

Ни разу, ни одним словом никому не обмолвилась и не намекнула Елочка о тайне, которая лежала на дне ее души уже девять лет. Ей было всего девятнадцать, когда в первый раз шевельнулась в ней любовь и готово было расцвести чувство большое и глубокое, на которое способны только серьезные и цельные натуры.

В тысяча девятьсот двадцатом году, после всевозможных передвижений и эвакуаций, Елочка оказалась в Феодосии, где был старшим хирургом в военном госпитале ее дядя, взявший ее под опеку после того, как был закрыт Смольный. Томимая жаждой вложить наконец и свои силы в борьбу с теми, кого она считала заклятыми врагами России, Елочка умолила дядю принять ее в штат сестер милосердия. Она была совершенно неопытна, но в те дни в военных госпиталях так не хватало рук и такое количество людей лежало без помощи, что каждый желавший быть полезным являлся уже находкой, и Елочка очень скоро получила место.

Там, в этом госпитале, она и повстречала его.

Это был один из раненых в палате, где ей пришлось работать.

У него были красивые черты лица, но наружность не сыграла здесь роли — конечно, нет! Она полюбила его за то, что он приехал оттуда — с фронта, из этих бесконечных битв. Белый офицер, конечно, должен быть героем — как иначе! А если притом у него те черты, которыми наделяет героя воображение девушки, то, даже уверяя себя, что наружность никогда ничего не значит, возможно ли остаться совсем равнодушной, совсем холодной и не связывать с этим человеком затаенных дум? А где конец думам и начало мечтам? Где конец мечтам и начало надеждам?

Сыграло роль и то, что, работая в госпитале впервые, она вся отдалась чувству жалости и заботы, и ни за кого из раненых ей не пришлось переболеть душой так, как именно за этого офицера. Ее восхищала его выдержка — ни разу он не вскрикнул, не позвал на помощь, не упрекнул в неосторожности...

Быть может, в жизни это был самый банальный и пустой человек, но Елочке хотелось верить, что, обладая такой волей и мужеством, он прекрасен и в остальном.

Как он появился? В один из первых же дней, когда она еще не столько работала, сколько ходила позади более опытных сестер, присматриваясь к их работе. Она уже собиралась из госпиталя домой, но в дверях должна была посторониться, чтобы пропустить носилки с вновь доставленными раненым. Взглянув на носилки, Елочка увидела закинутую назад голову и красивые черты еще совсем молодого лица с закрытыми глазами. Напугала ли Елочку неподвижность и бледность, была ли случайно особенно изящна поза офицера и недвижно висевшая тонкая рука, или два Георгиевских креста на его груди и «мертвая голова» — знак «роты смерти» на рукаве шинели рядом с траурной черной перевязью зажгли романтическое воображение недавней смолянки, но она невольно проводила носилки взглядом.

Когда к ночи она снова пришла в госпиталь на свое первое самостоятельное дежурство, ухажившая сестра, передавая ей дежурство, сказала:

— В палате новый раненый, очень слаб от потери крови. Велено следить за пульсом; в случае, если начнет падать, впрысните камфору. Вот посмотрите историю болезни и тетрадь назначений.

Елочка испуганно вскрикнула:

— Камфору? А если я не сумею? Я боюсь!

— Да ведь я вам показывала.

— Все-таки страшно. Я не привыкла.

Сестра успокоила ее — в соседней палате опытная дежурная, которая не откажется помочь.

Елочка уселась за маленьким столиком в слабо освещенной палате. Все было тихо; раненые спали или лежали в забытьи. Сколько раз, еще в институте, ее экзальтированное воображение рисовало такую минуту! Мечта начинала сбываться. Она в госпитале, в белой косынке с крестом; сейчас ее позовет кто-нибудь из тех храбрецов, которые не отказались еще от усилий спасти Родину. И она, наконец, с ними! «Я отдам все мои силы, я постараюсь сделать все, что только могу!» — шептали ее губы, и опять на ум приходили подвиги сестер в Севастополе и на Балканах.

Через несколько минут, однако, эти мысли поглотило уже знакомое ей волнение, происходившее от сознания собственной неопытности — это волнение расходилось по ней мутными волнами, щемило в груди и вызывало чувство, похожее на тошноту. Что, если как раз у того или другого раненого начнет падать пульс, а она упустит минуту? Что, если она начнет впрыскивать камфору и сломает иглу? Или кто-нибудь сорвет перевязку, а она не сумеет поправить? Она взяла пачку «историй болезни» и нашла между ними ту, на которую указала сестра. Там в обычных бесстрастных выражениях стояло: «Рана осколком в левый бок в область десятого ребра, рваные края, ребро раздроблено, кровоизлияние в плевру!..»

Она перескочила дальше: «Оскольчатое ранение левого виска... расширение зрачков от сотрясения мозга, доставлен в бессознательном состоянии...» Она захлопнула папку и вскочила. — Господи, как страшно! А еще уверяли, что палата легкая, не полостная. — И на цыпочках побежала между постелями.

Это был офицер из «роты смерти», которого она видела утром. Елочка остановилась в нерешительности. «Он, может быть, только что заснул...» — думала она, но в эту минуту он перевернул положение головы на подушке, и она отважилась взять его руку, хотя ей было очень странно позволить себе такой жест по отношению к чужому мужчине. «Раз, два, три...» — считала она и чувствовала, что сама не понимает того, что у нее получается. Отыскав испуганными глазами минутную стрелку на своих часах, она старалась вымерить частоту пульса, но этой ей не удавалось.

Раненый пробормотал что-то. Елочка взглянула ему в лицо, но глаза его были по-прежнему закрыты. «Бредит», — подумала она и уже хотела отойти, но он отчетливо проговорил:

— Приказ отступить... разбиты... Россия погибла!

Елочка застыла на месте. «Да! Погибла! А те, кто готовы погибнуть за нее, даже в бреду говорят о ней!», — подумала она, чувствуя, что слезы поднимаются к ее горлу.

Тяжело далась эта первая ночь в палате! Боясь упустить минуту оказать вовремя помощь, она всю ночь перебегала от постели к постели, все дрожа от волнения, и каждые пять минут возвращалась к запомнившемуся ей раненому, прислушиваясь к его дыханию и замирая от страха, что придется браться за шприц.

Он все же продолжал метаться и говорить что-то бессвязное. Только утром пришел в себя. Подойдя к его постели, она увидела, что он шарит рукой по столу, отыскивая стакан с водой.

— Сестрица, который это день, что я здесь? — спросил он.

Она поднесла к его груди стакан и приподняла ему голову.

— Вас привезли вчера утром. Как вы себя чувствуете? Ваша рана, наверное, болит очень?

Она еще не знала, что такие вопросы в госпитале не приняты.

— Нет, благодарю. Почти не болит, когда не двигаюсь, — как-то странно равнодушно ответил он и



более не продолжал разговора.

В следующее дежурство она пришла в палату утром и должна была дежурить до вечера. У дверей палаты стоял солдат на костылях.

— Сестрица, явите Божескую милость! — начал он.

Елочка обернулась, готовая выслушать. На нее смотрело солдатское бородатое лицо — простое, открытое, мужественное.

— Мне про здоровье их благородия узнать. Давеча просил милосердную пропустить — не пускает! Говорит, дохтур не велел; очень будто бы их благородию худо, разговаривать вовсе не могут. Так уж будьте добры, сестрица, коли никак нельзя пройтись к господину поручику, скажите хоть, пошло ли дело на поправку. Я денщик ихний буду.

— Сейчас узнаю, солдатик. Как фамилия твоего офицера?

Он назвал фамилию, старую, княжескую.

«Это тот, молодой, с Георгиями!» — подумала Елочка. Она прошла к столику и развернула историю болезни: «С утра в сознании... Общее состояние по-прежнему тяжелое; дыхание короткое, затрудненное, почти не говорит, отказывается от пищи, жалобы на боль в боку...».

Она вышла к солдату и передала ему подробности.

— Премного благодарен, сестрица. Очинно я за его благородие тревожусь. Умирать-то им еще рано, хоть они и говорят, что им жизни не жалко, потому как горя у их и вправду много...

— Горе? Какое же у него горе? — спросила Елочка и вспомнила траурную перевязь на его рукаве.

— Ох, и не перескажешь всего, сестрица! Спервоначалу, года этак полтора тому назад, его превосходительство, папеньку ихнего, в Питере расстреляли; с месяц будет назад, здесь, под деревней Васильевкой, братец их старший убит был. Очень тогда горевали его благородие. Все мне, бывало, говаривал: «Василий, как я матери сообщу?» А мамаша-то их в Орловской губернии, в своей вотчине оставалась. Мы с его благородием сильно тревожились, как бы красные над госпожой генеральшей чего не учинили, потому как вестей от ее уже давно не было. Вдруг, дён этак пять тому назад, приезжает оттоль офицер и рассказывает господину поручику, что вотчину их краевые сожгли, а барыню нашу расстреляли. Нутро у меня все ровно перевернулось! Этакая барыня добрая — и такая смерть! Упокой, Господи, ее душу! Когда мы с господином поручиком в окопах под Двинском сидели, она нам посылки посылала и кажинный-то ящик, бывало, делила пополам — половину ему, а другая — мне. И махорки, бывало, придет, и чаю, и сахару, и колбасы копченой. С ума у меня теперича моя барыня нейдет. А каково-то господину поручику лежать с такой лютой думой? Очень они любили мамашу-то.

— Зайди попозже, я сама попрошу доктора и, если позволит, пропущу. А впрочем, не трудись, ведь нога у тебя больная. Я прибегу и скажу, когда можно будет. Ты в пятой палате?

— Так точно. Премного благодарен, сестрица!

Елочка хотела уже отойти, но, движимая теплым чувством симпатии, спросила:

— Вас обоих одновременно ранило?

— Так точно, обоих вместе! Тоже около деревни Васильевка, осколками засыпало, когда с донесеньем скакали. Пришлось ранеными добираться. Его благородию не подняться было — я их на руках донес!

Елочка еще раз взглянула на говорившего... Она была воспитана в безграничном уважении к русскому

солдату и готова была бы просиживать ночи у изголовья героя, подобного этому, но все романтическое оставалось теперь для офицера.

Боясь показаться навязчивой в своем сочувствии или любопытной к чужому горю, она старалась приближаться к его постели незаметно, и он мог думать и думал, что она вырастает из-под земли, и всякий раз, как только он пытался пошевелиться, ей смертельно хотелось, чтобы он, подобно другим, заговорил с ней или подозвал ее, но он упорно не делал этого. Раздавая градусники, она подошла и, желая хоть чем-нибудь развлечь его, сказала:

— Вас очень хочет видеть ваш денщик.

Его лицо впервые оживилось:

— Добрый мой Василий! Как его рана?

— Кажется, лучше. Он уже бродит на костылях. Несколько раз он подходил к двери справиться о вашем здоровье.

— Вы знаете, сестрица, он нес меня на руках версты две или три. Я просил его прислать за мной санитаров, но он не захотел меня оставить.

Елочка предчувствовала что-то в этом роде.

— Я приведу его сюда, только вы не говорите много и не шевелитесь, — сказала она и, прибрав на его столике, пошла за солдатом, хотя врач не раз говорил ей, что с посещениями и разговорами следует подождать. Елочка решила сделать по-своему, ей хотелось увидеть, как они встретятся друг с другом — офицер и денщик. Однако ей не удалось увидеть хоть издали — ее отозвал дежурный врач и оставалось только рисовать в воображении это свидание. «Дал ли он ему руку, усадил ли? — думала она, мотая бинты и раздавая лекарства. — Наверное, и руку дал, и усадил — между ними не может быть обычной субординации».

Госпитальный день шел своим порядком: часто приходилось подходить то к одному, то к другому, а он по-прежнему оставался безучастен ко всему и не находил нужным ее окликнуть, хотя тоскливо метался по подушке и брался рукой за больной висок. Когда она читала раненым газеты, несколько раз украдкой взглядывала на него и не могла понять, слушает ли он.

«Наверное, я так и уйду, не сказав ему ни одного задушевного слова!» — с грустью думала она.

Как раз в эту минуту в палату вошел санитар и громко выкрикнул заветную фамилию.

— Есть такой? Письмо из полка пересылают.

— Я, — ответил он, приподнимаясь.

Схватив письмо, он торопливо пытался вскрыть его левой рукой, опираясь на правую, но это ему не удавалось.

— Позвольте, я вам распечатаю, — сказала Елочка.

Он передал ей.

— Число! Покажите скорей число, сестрица! Рука моей матери... Если это письмо недавнее, значит, она жива! — голос его оборвался...

Елочка сама взволнованная, поспешно распечатала конверт. Секунду она помедлила с ответом.

— Это письмо, видите ли... Оно, по-видимому, уже давнее. Оно послано полгода тому назад. Оно, по-видимому, блуждало где-то.

Он молча опустился на подушку. Елочка протянула ему письмо и деликатно отошла к соседнему столику.

— Сестрица! — позвал его голос, который она уже не могла спутать ни с чьим другим. — Могу я просить вас прочесть мне? В глазах у меня сливаются почему-то строки...

— Это от расширения зрачков и скоро пройдет, — ответила она с видом заправской сестры милосердия и села у его постели. На всю жизнь запомнилась ей эта минута — слабо освещенная палата, его лицо и каждая строчка этого письма! — «Бесценное мое дитя, дорогой мальчик, — начала она и невольно остановилась, охваченная волнением... Незаметно покосилась на него и увидела, что он положил себе руку на глаза... — Уже давно я не имею известий ни от тебя, ни от Дмитрия и совсем изболелась за вас душой! Где вы? Живы ли? Или я уже одна на всем свете? Я говорю себе, что Бог милостив и сохранит мне вас, и тут же думаю, как смею я надеяться на Его милосердие и чем я лучше других, кого постигло несчастье? Меня измучила мысль, что, может быть, один из вас ранен и лежит среди чужих, а я ничем не могу помочь и не могу ухаживать так, как ухаживала, когда вы болели скарлатиной в детстве. Помнишь, как ты любил клюквенный морс, которым я тебя поила? Я молюсь за вас утром, молюсь вечером, а среди дня хожу в лес к моей любимой часовенке Скорбящей, и в этом все мое утешение. Я уже не живу в Залесье. Я должна сообщить тебе очень печальное известие — нашего Залесья больше не существует: беглые фронтовики, распропагандированные сельсоветами, и пришельцы из железнодорожного поселка сожгли его дотла. Но мне не состояния жаль, а дома, где родились выросли мои дети, где я была счастлива. Они свирепствовали, точно вандалы: грабили утварь, рубили наши трехсотлетние дубы, топтали цветники, разбивали оранжереи, даже воду в бассейне выпустили, очевидно, специально чтобы погубить золотых рыб. Бог им судья! За меня не бойся, я нашла себе приют у крестьян в деревне. Ты знаешь, как они меня любят. У меня есть хлеб и я под кровом, а больше мне теперь для себя ничего не надо. Ушла я в чем была, не смогла захватить ни драгоценностей, ни бумаг, ни денег. Со мной только твоя фотография — та, где ты двухгодовалым ребенком с медведем, и другая — ты и Дмитрий, сфотографированные вместе в кадетской форме. Но если Господь сохранит мне вас обоих, я буду считать себя еще неизмеримо богатой. Впрочем, я не совсем точна, со мной еще Рекс, вчера, когда я пошла на пожарище, я нашла его там — он выл перед останками дома. Видел бы ты, как он мне обрадовался, как прыгал мне на грудь и лизал руки. Я сама обрадовалась ему, как человеку. Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо? Решаюсь послать его с верным Егором в Крицкое, оттуда уезжает один офицер, чтобы пробраться в Белые армии при посредстве Белого Орла. Он, может быть, тебя разыщет... Иногда я верю, что мы увидимся, иногда мне кажется, что я уже никогда не увижу вас. Вкладываю в письмо листочки уцелевшей от пожара яблони. Я знаю, что ни меня, ни Залесья ты никогда не забудешь. Твоя мама».

Во время чтения Елочка несколько раз останавливалась, тщетно стараясь справиться с душившим ее волнением. Как ни хотелось ей пожать руку и сказать несколько теплых слов участия, накопивших в груди, она была слишком замкнута, щепетильна и стыдлива, чтобы позволить себе выразить чувства там, где этого не ждали и не просили. Положив письмо и веточку около раненого, она отошла. Издали наблюдала за ним, видела, что он лежит всё в той же позе, и, подавляя вздох, продолжала свою работу. Только по окончании дежурства она подошла к нему и остановилась в нерешительности... Неужели так и уйти, оставить, не сказав ни слова? Словно почувствовав взгляд, он открыл глаза, показавшиеся ей особенно большими и блестящими.

— Я ухожу. Надеюсь, вам будет лучше... Господь с вами, — прошептала она, не находя слов. Он взял ее руку. Она думала, он пожмет ее или ответит что-нибудь, но он не сделал ни того ни другого. Быть может, он в своем полубреду уже забыл, что завладел рукой девушки, продолжая держать эту руку, закрыл глаза и беспокойно водил головой по подушке. Она постояла над ним и слегка потянула руку... Потянула еще раз и вышла.

На следующий день в его состоянии не было никакого улучшения: он дышал опять очень коротко, просил кислорода и метался. Елочка сначала не была уверена, что он узнал ее. К концу дня его потребовали в операционную: дядя Елочки должен был делать ему резекцию ребра. Елочка слышала, как сестры говорили, что это делается без наркоза. Когда санитар рывкнул около самого уха, что такого-то раненого следует безотлагательно доставить в операционную, согласно приказу господина полковника — старшего хирурга, она почувствовала, как по коже у нее пробежали мурашки.

— Осторожней! Осторожней! — говорила она санитарам, сама шла рядом, а он даже не спрашивал, куда и зачем его несут. Но когда его переложили на операционный стол, он поднял веки и медленно стал обводить глазами белые стены операционной и чужие лица людей в белых халатах, хирурга с приготовленными уже руками, которые тот держал слегка приподнятыми, покуда одна из сестер надевала ему маску.

Потом глаза его остановились на Елочке. Понял ли он всю глубину ее сострадания, которое не притупила еще ни привычка, ни профессиональность, или, может быть, среди совсем чужих, равнодушных лиц она показалась ему уже своей, знакомой и родной, но он сказал:

— Сестрица, оставайтесь со мной... Не уходите.

И опять ее рука оказалась в его руке.

Эту минуту она вспоминала, как самую драгоценную. Он, стало быть, ее не только узнавал, но и отличал, если искал у нее сочувствие! Она надеялась, что ей позволят стоять возле, но одна из сестер отодвинула ее и сама уверенной рукой стала разматывать бинты, а дядя неожиданно обратился к ней:

— Ты здесь зачем? Молода для операционной. Иди в палату.

— Я хотела... я только... — начала было Елочка, но дядя не дал ей закончить:

— Никого лишнего! Смотри, Елизавета, отчислю! Ты бросила свой пост.

Елочка поняла, что в операционной не место для споров, притом дядя затронул ее слабую струнку — чувство долга. С печально опущенной головой она вернулась в свою палату.

Как только санитары внесли ее героя обратно и начали переключать с носилок на кровать, она подбежала, и от нее не укрылось, что он кусает себе губы, стараясь не вскрикнуть. Санитар наклонился к нему, чтобы передвинуть поудобнее.

— Не надо... Я сам, — проговорил он сквозь зубы.

Елочка наклонилась со стаканом чая.

— Не могу... Благодарю... Не надо.

Другой санитар хотел поправить неудачно положенную подушку.

— Не надо... Ничего не надо... Оставьте!

Стоять и наблюдать, ничего не делая для облегчения, казалось Елочке невыносимым, неделикатным, невозможным: она послала за дежурным врачом.

— Что, тут? — хмуро спросил разбуженный по ее распоряжению врач, измучившийся за день и только что пристроившийся на больничной топче.

— Раненому нехорошо... Я не знаю, можно ли морфий...

— Морфий впрыскивали уже. Часто повторять не рекомендуется, — и врач взял руку раненого. — Ваши слезы неуместны, сестра. Дайте шприц и камфору и попрошу вас повнимательнее следить за пульсом.

Елочка виновато молчала. Врач сделал укол и повернулся к ней, видимо, уже смягчившись.

— Нам не полагается расстраиваться, сестрица. Это не содействует ни точности в работе, ни уверенности. Будете так переживать за каждого, никаких сил не хватит, издергаетесь и заболаете. Ну да вы привыкнете, когда поработаете подольше.

Елочке показались циничными эти слова. Мысленно она обозвала врача «Бездушным». Однако врач этот назначил индивидуальный пост у постели раненого, опасаясь, как бы тот не сорвал перевязку, едва только у него начнется бред, наступавший все предшествующие ночи. Очередное дежурство Елочки кончилось, и она вызвалась остаться у постели. Но эта ночь не принесла ей ни одной минуты, похожей на минуту в операционной; всю ночь он метался в бреде, а она держала его руки, не отходя ни на шаг. Только утром, уже перед обходом хирурга, он немного затих, и Елочка смогла сесть. Совершенно измученная, она положила голову к его ногам. Вновь пришедшая дежурная поспешила отправить ее домой. За всю ночь ни одного слова, которое можно вспомнить потом!

Даже в бреде он говорил в этот раз о какой-то Весте — по-видимому, своей лошади, которая была под ним убита.

Нового к его образу прибавилось только то, что, завладевая его руками, она разглядела у него на мизинце кольцо, которое носили только пажии: это было очень интересно и романтично, но это было все! Она ушла огорченная его тяжелым состоянием и тем, что он даже не будет знать, кто так самоотверженно сторожил его! Ей не пришло в голову, что товарищи доведут это до его сведения; еще менее ей могло придти в голову, в какой форме это будет сделано.

— А знаете ли, поручик, наша дурнушка положительно равнодушна к вам.

— Вы о ком, господин подполковник?

— О той высокой, смугленькой, она всю ночь просидела около вашей постели.

— Я бы не назвал ее дурнушкой. У нее глаза, как у лани.

— Вот оно что! Так, может быть, как в романе — после выздоровления «Исайя ликуй»?

— Зачем же сразу «Исайя ликуй»? Эта мера, так сказать, катастрофическая! Может случиться, все обойдется ему и не так дорого, — отозвался другой офицер.

С ним шутили, желая его развлечь, так как знали о его несчастьях, но он ответил совершенно равнодушно:

— Уверяю вас, что это все только в вашем воображении: ее назначили дежурить, и дежурила — в госпитале своя дисциплина.

— Дисциплина дисциплиной, однако она плакала над вами, когда вас принесли из операционной. Дежурный врач даже счел необходимым сделать ей небольшое внушение.

Но юноша не хотел переходить в шуточный тон.

— Она еще недавно работает и не успела покрыться полудой. Я во всем происшедшем не вижу ничего, кроме того, что она добрая и милая девушка. Не думаю, чтобы мной можно было сейчас заинтересоваться, — и устало закрыл глаза, желая кончить разговор, который стоил ему усилий.

Проводя этот день дома, Елочка испекла свое любимое печенье по рецепту, написанному рукой ее бабушки на пожелтевшей уже бумаге, а потом раздобыла у одной запасливой дамы немного клюквы и приготовила морс.

На следующее утро, отправляясь на дежурство, она понесла все это с собой.

«Он совсем ничего не ест», — думала она, вспоминая те порции, которые уносили нетронутыми с его столика.

Когда она предложила ему морс, который будто бы принесла для себя, он взглянул на нее несколько удивленно, но, встретив ее смущенную и ласковую улыбку, в свою очередь печально улыбнулся.

— Спасибо вам, сестрица! Вы очень добры. Я тронут.

Для нее огромным удовольствием было лишний раз подойти к нему и поить его, осторожно приподнимая ему голову, но в этот день она чувствовала себя нездоровой и к концу дня работала уже через силу; болела голова и чувствовалась странная разбитость во всем теле. Ему, между тем, было в этот день, по-видимому, лучше — не такой лихорадочный цвет лица, не такое короткое дыхание. Операция сделала свое дело, и Елочке уже мерещились дни выздоровления, но доносившийся отдаленный грохот артиллерийских орудий заставлял всякий раз жутко вздрагивать, напоминая о надвигающейся катастрофе, по-видимому, уже неотвратимой, которая грозила все разбить и смять, унося тысячи жизней, а с ними и эти хрупкие мечты. Взгляды сестер испуганно скрещивались, врачи озабоченно переговаривались, санитары угрюмо молчали.

— Без паники. Спокойствие. При раненых никаких разговоров, — несколько раз повторял, проходя по палатам, ее дядя.

Один раз он увидел ее у окна с руками, прижатыми к горевшему лбу.

— Елизавета, ты что там куksiшься? Смотри у меня! — Но, приблизившись, прибавил вполголоса: — Придешь домой, передай тете, что я остаюсь на ночь в госпитале. Будь мужественна, девочка!

Она уже сдавала смену, когда раненый юноша окликнул ее... Отдавал ли он себе отчет в приближавшемся? Когда она подбежала, он улыбнулся и протянул ей флакон с духами. Это была «Пармская фиалка» Коти. Елочка вспыхнула и как-то по-ученически спрятала руки за спину.

— Не нужно. Я не ради подарков... Я не хочу...

— Сестрица, не отказывайтесь! Прошу вас? Это не плата — сочувствие оплатить невозможно — это только небольшой знак внимания от человека, к которому вы так добры в тяжелое для него время.

Опираясь на правую руку, он стал откупоривать флакон левой рукой, желая надуть Елочку, и пролил при этом около трети флакона ей на грудь.

Больше она его не видела.

В эту ночь она слегла в тифу, провалилась в горячий бред. Она пролежала семь недель, и, когда наконец встала, в городе уже распоряжались красные, а госпиталь был раскассирован.

Скоро слуха ее коснулось страшное известие о варварской расправе над ранеными офицерами. Уверяли, что в живых будто бы не осталось ни одного человека, называли имена предателей, которые выдавали фамилии и чины офицеров.

Елочка была потрясена; при одной мысли, что его постигла та же участь, охватывала дрожь... Убить безоружного, убить раненого, который не может защищаться, убить слабого, измученного, убить... Лучше было не думать, но мысль ее словно в заколдованном кругу возвращалась все к тому же: ведь ему только что стало лучше, только что стал яснее его взгляд, он в первый раз приподнялся, не меняясь в лице от боли...

Выздоровление после тифа осталось в ее памяти как самый тяжелый период в жизни: сразу две потери — любимый человек и последний оплот Родины! Тогда было навсегда смято в ней что-то свежее, благоухающее. Как будто в один миг расцвела и тотчас поблекла ее юность.

Исхудалая, вялая, апатичная, она целыми часами неподвижно сидела в кресле, без слов, без мысли.

— После, — отвечала она, когда ухаживавшая за ней тетка уговаривала поесть или выйти на воздух. — Не хочется, тетя, после!

Когда она немного окрепла, дядя и тетка увезли ее в Петербург. Она не представляла себе, как вернется к жизни, и не видела ни цели, ни смысла, Но жить надо было и, прежде всего, надо было содержать себя. Бабушки уже не было в живых, а имение и деньги, положенные в банк на ее имя, национализированы. Все тот же дядя, теперь уже снявший погоны, устроил ее под своим начальством в одной из петербургских клиник. И она начала работать... Уже без воодушевления, без интереса, и без креста на груди!

Понемногу она привыкла к своей работе и приобрела все профессиональные навыки.

Внешне она казалась уже вполне спокойной и уравновешенной, но всякий раз, когда ей приходила на память судьба раненых в феодосийском госпитале, она менялась в лице, у нее судорожно подергивались губы, и она подносила руки к голове, как будто защищаясь от удара.

А люди пытались приспособливаться. Классная подруга — смолянка Марочка Львова — попробовала однажды уверить Елочку, что своими глазами видела, как белый офицер бил по щекам раненого красноармейца на улицах Харькова. Она уверяла также, что знает семью, в которой дочь была изнасилована белыми офицерами. Елочка прекратила дружбу с Марочкой.

Она знала, что больше уже никого не полюбит. Да, ее роман был мимолетный и печальный, зато герой был настоящий! Это не то, что у Марочки, вышедшей за матроса с «Авроры», или у Нади Хмельницкой, муж которой, еврей, заведовал складом... Нет! Ее герой — наследник древнего имени, русский офицер-гвардеец, из тех, которые умирают, но не сдаются! Он защищал Родину сначала от немцев, потом от большевиков, это был Георгиевский кавалер, командир «роты смерти», аристократ, белый офицер! В нем было все, что могло понравиться ей в мужчине. На кого же теперь она могла обратить свой взор?

Смешно было думать о всех этих мелких людях.

## Глава вторая

*Ты пахнешь, как пахнет сирень,  
А пришла ты по трудной дороге!*

*А. Ахматова.*

Учительница музыки, Юлия Ивановна, в молодости была приятельницей Елочкиной матери. Вскоре после окончания войны она очень серьезно заболела ревматизмом. Елочка несколько раз навещала ее и даже дежурила две ночи у постели. Муж Юлии Ивановны был когда-то видным лидером кадетской партии в Киеве и заслужил прозвище «совесть Киева». Его давно уже не было в живых, но гепеу до сих пор не оставляло вдову в покое. Именно Юлия Ивановна навела Елочку на мысль заняться снова музыкой и определила в свой класс. Отлично понимая, что уровень музыкальных способностей Елочки очень невысок, Юлия Ивановна тем не менее любила часы занятий с нею — ей нравилось подолгу беседовать с серьезной и умной девушкой, а сами занятия сводились к 15 минутам. Однажды в декабре 1928 года Юлия Ивановна, еще не начиная урока, сообщила, что в классе появилась еще одна ученица, очень, по-видимому, талантливая.

— Хорошо играет или начинающая? — спросила Елочка, вынимая ноты.

— Трудно сказать, в какой мере она подвинута, — ответила Юлия Ивановна, — ей восемнадцать лет. Техника у многих в ее возрасте бывает гораздо лучше, но способности у неё очень большие. На приемном экзамене, в среду, она играла «Warum»<sup>[3]</sup> Шумана, я была в комиссии — вместе со всеми заслушалась: до такой степени чарующее у неё туше и так хороша фразировка. Чистота звука поразительная! Не хотелось ничего изменить в ее игре, как будто бы играла законченная пианистка. А вместе с тем она еще очень мало училась, и виртуозности у неё нет вовсе. Она держала экзамен в консерваторию этой осенью, но ее не приняли из-за происхождения. Такую талантливую девушку! Она Бологовская, внучка генерал-адъютанта, из приближенных к особе государя, а отец ее, гвардейский полковник, расстрелян в Крыму. Другой ее дед, кажется, сенатор... Сами понимаете, что все это значит теперь! Ко мне ее прислал мой друг — консерваторский профессор. Он хотел принять ее в свой класс, да вот не удалось: дал ей несколько уроков на дому, переставил руку, а теперь направил ко мне с тем, чтобы раз в месяц прослушивать самому — каждому педагогу интересна такая ученица.

Расстрелян в Крыму! Губы Елочки судорожно передернулись.

— Вы здесь еще не однажды встретитесь, — добавила Юлия Ивановна. — Вот с полчаса, как она ушла. Хорошенькая девушка, ресницы до полщеки. Живет она теперь с бабушкой и с дядей; матери у нее, кажется, тоже нет. По-видимому, нуждается: без ботинок, без зимнего пальто. Жаль девочку.

В следующий раз Елочка нарочно пришла целым часом раньше обыкновенного, так что принуждена была выслушать скучнейший урок с тупоголовым школьником. Он еще не успел окончиться, когда в класс вошла новенькая девушка.

Тонкая как тростинка фигурка в старом джемпере и по-модному укороченной юбке, две длинные косы без лент. И волосы, и ресницы мягкого каштанового цвета, красиво оттеняли белоснежный лоб и прозрачную глубину глаз.

— Ася, садитесь теперь вы, — сказала Юлия Ивановна.

Девушка, в ожидании очереди уж было уткнувшая носик в книгу встрепенулась и подошла к роялю.

Юлия Ивановна выслушивала вещь за вещью, и во взгляде, с которым она попеременно созерцала



свежее личико и маленькие легкие руки, Елочка подметила нежность и восхищение. Ревнивое и даже завистливое чувство шевельнулось в груди.

Закончив, Ася тотчас же встала и стала собирать ноты.

— Вы слишком легко одеты, Ася, — сказала Юлия Ивановна, когда девушка запуталась в разорванной подкладке рукава демисезонного пальто.

— Благодарю, не беспокойтесь, я закутаюсь сверху в бывший соболь, — ответила Ася.

— То есть как «в бывший»? Как это соболь может быть «бывшим» — с удивлением спросила учительница. Ася вдруг рассмеялась веселым детским смехом:

— Это было мое mot[4] в двенадцать лет. Я вокруг себя тогда только и слышала: бывший князь, бывший офицер, бывший дворянин... Вот и вообразила, что соболь мой тоже бывший — ci-devant[5]. С тех пор мы так и зовем его.

Она накинула на плечи старый мех и убежала.

Елочка с удивлением проводила Асю взглядом — ей казалось, что репрессированной аристократке не к лицу веселость.

И все-таки в следующий раз ее опять потянуло придти пораньше, взглянуть на эту Асю.

Девушка уже заканчивала игру. Прощаясь с ней, Юлия Ивановна сказала:

— Я должна вас огорчить, дитя мое. Мне сказали в канцелярии, что оплату с вас будут брать по самой высокой расценке. Это все решает бухгалтерия согласно каким-то инструкциям.

Девушка слушала ее с испуганным выражением на хорошеньком личике, она даже побледнела.

— И вы понимаете, дитя мое, — очень мягко продолжала учительница, — что от меня здесь ничего не зависит. Надеюсь, это не заставит вас бросить уроки?

— Ах, вот что! — с облегчением вымолвила Ася. — А я было испугалась, что меня постановили выгнать отсюда. Нет, сама я, конечно, занятий не брошу. Надо же мне хоть чему-нибудь выучиться. Но, видите ли, нас четверо: бабушка, дядя, я и мадам, моя француженка, Тереза Леоновна, она у нас уже как член семьи. Да еще борзая — любимица покойного папы. А зарабатывает на всех один дядя; он пристроился в оркестр, а раньше был безработный. Поэтому нам никак еще не свести концы с концами. Я бы могла поступить на службу, но бабушка говорит: «Увидеть тебя на советской службе для меня настоящее горе!» Я владею французским, но давать уроки бабушка тоже запретила.

— Позвольте, почему же?

— Я с уроками несчастливая! В прошлом году занималась с внуком нашего бывшего швейцара, дала уроков пять-шесть. Пришла раз, а они сидят, пьют чай с пирожными, и бабушка, швейцариха, приглашает меня сесть с ними. Я сначала отказалась, а потом подумала, что они еще вообразят, будто я из гордости за дедушку — я этого как огня боюсь! Я села и взяла одно пирожное, самое маленькое. А на следующий день мой умный ученик мне же рассказывает: «У нас, — говорит, — вчерась мамка на бабушку кричала. Чего, мол, ты учительниц всяких пирожными кормишь? Вот за эти пирожные ни копейки она с меня не получит!» Я не поверила сначала и еще целый месяц занималась — не платят! А я боюсь говорить с мамашей ученика. Она крикливая такая, как начнет наступать. Уж лучше я еще несколько лет отзанимаюсь за пирожное. Я так и сказала бабушке, и она говорит дяде: «Сережа, поговори ты». А дядя: «Нет уж, увольте! Я на пролетарские банды в атаку с одним стэком ходил, но пролетарских мегер пуще огня боюсь! Что тут делать? Вдруг наша мадам говорит: «Я француженка, парижанка. Наш народ дал Жанну д'Арк и Шарлотту Корде. Я никого не боюсь! Monsieur Серж ходил в атаку со стэком, а я пойду с мокрой тряпкой!» И в самом

деле, взяла тряпку и пошла в атаку. Крик поднялся такой, что мы с моей кузиной Лелей, заперлись в бабушкиной комнате. Другой урок — новая неудача! Папаша ученицы, заведующий кооперативом, проворовался и сел. Мамаша пришла, так и так, мол, заплатить не можем. Тут же в долг у меня взяла и больше не показывалась. С тех пор бабушка постановила, чтобы я уроков больше не давала... Мне почему-то кажется, что толку из меня никогда не выйдет. Вот недавно тетя Зина хотела научить меня делать бумажные цветы. Мадам живо смастерила розу, а я такая неловкая и терпения у меня совсем нет; я и десяти минут не просидела и начала развлекать мадам. Пока она вертела цветы, я сыграла ей «Марсельезу» и вариации придумала. А потом прочла ей вслух Беранже. Вот так все у нас и кончается! Тетя Зина машет руками и на меня и на свою Лелю: «Пропадете обе, потому что неприспособленные, средств никаких! Хорошо, если найдутся молодые люди из прежних!» Но всегда тут же вздохнет, что в наших условиях надежды на это почти нет. Видно, и в самом деле пропадать. Я ведь к тому же еще дурнушка».

И не замечая удивления, с которым взглянула на нее учительница, она схватила свой порт-мюзик и с сияющей улыбкой пошла к двери.

Собираясь на ученический концерт, Елочка говорила себе, что необходимо хорошенько поплодировать Асе, чтобы создать свой успех. Быть может, ей как аристократке будет оказан холодный прием, а потом скажут, что сыграла неудачно, и исключат из школы. С такими, как она, все можно сделать в стране большевиков.

Когда Елочка пришла в шумевшее учениками, родителями и педагогами большое зало музыкальной школы, она пробралась между этой публикой совсем как чужая, так как за три года учения еще ни с кем не завязала знакомства. Скоро она увидела Асю. Та стояла у стенки зала со своим порт-мюзик в черном закрытом платье с полоской брюссельских кружев у горла. На затылке у Аси был большой черный бант, а хвостик косы распущен. Десять лет назад Елочка сама так причесывалась по воскресеньям, и эта манера теперь очень расположила ее к Асе. Увидев, что девушка смотрит на нее, она кивнула и указала на место возле себя. Ася пробралась к ней и села.

— Ну, как у вас дома? Все благополучно? — ласково спросила Елочка после первого приветствия.

— Мерси, не совсем. Борзая наша заболела, у нее паралич задних лапок, она ведь старенькая. Это замечательная собака; она помнит моего папу, хотя уже восемь лет, как папа... как папы нет. Если бабушка скажет: «Диана, где Всеволод Петрович? Хочешь пойти с ним на охоту?» — она оглядывается и повизгивает, ищет папу. Каждое утро, когда бабушка пьет кофе, Диана подходит и кладет морду к бабушке на колени и смотрит так кротко, грустно и задумчиво. У нее глаза такие же красивые, как у вас.

— Как у меня? — воскликнула Елочка. — Разве у меня глаза красивые? Вот я так в самом деле дурнушка!

— О нет! Не говорите! У вас в лице есть что-то исключительное. Теперь не часто можно встретить такие лица.

И так как Елочка смущенно молчала, она заговорила снова:

— Жаль Диану! Он сказал: «Собаку надо усыпить! А ведь Диана все решительно понимает! Она вся съежилась, прижала уши и задрожала. Я потом сказала ей: «Не бойся, мы тебя не отдадим ему! Ты до последнего дня будешь такая же любимая!» Она тотчас успокоилась и стала лизать мне руки. Она теперь только ползает и озирается виноватыми глазами. Бабушка очень огорчается! У бедной бабушки в память о папе только Диана. Да еще я.

Елочка погладила руку Аси, все более и более располагаясь к ней.

— Вы что играете сегодня?

— Две вещицы Шумана и одну Шуберта. Я играю во втором отделении.

— А кто-нибудь из ваших пришел вас послушать? — спросила Елочка и оглядела зал. Ей хотелось увидеть человека, который ходил в атаку со стэком. Но Ася ответила:

— Пришла мадам. Кузина Леля хотела придти, но заболела, лежит с горчичником. А дядя не придет, он рассердился на меня.

— Рассердился? За что же?

— Как всегда, неудача, и виновата, конечно, опять я. Бабушка отправила меня в комиссионный магазин отнести свой *sortie-de-bal*<sup>[6]</sup>, а там посмотрели, оценили в полторы тысячи и сказали, что сейчас не возьмут, а только через месяц. Я хотела уйти, вдруг подходит мужчина и говорит: «Я как раз ищу такой мех. Если вы согласны ко мне заехать, я тотчас выложу вам деньги». И представился как Рудин Дмитрий Николаевич. Ну, разумеется, я согласилась, деньги-то нам нужны! Он взял такси и усадил меня, а шоферу сказал: «В Лесной». И тут мне стало страшно; уже смеркается, а в Лесном глухо. Что, если он завезет меня и отнимет мех. Мне показалось странным, что он меня взял под руку, точно знакомую, а мех сразу же положил себе на колени. Вот я и говорю: «Знаете, я передумала, я лучше выйду». А он отговаривает, и чем больше отговаривает, тем мне страшнее, чувствую, что сделала глупость! Схватила за дверцу, шофер затормозил, повернулся ко мне и открыл. Я выскочила — и в сторону. Я ведь быстрая. Только бы, думаю, он за мной не выскочил. Такси в ту же минуту умчалось, и только тут я вспомнила, что мех-то остался в машине! Вернулась я к бабушке вся зареванная. Бабушка, видя, в каком я отчаянии, даже не побранила. Она сказала: «Слава Богу, что кончилось только так». Но дядя... Господи, как он на меня кричал: «Безумная! О чем ты только думала! Я тебя на улицу выпускать не буду, сиди дома весь день. Ничего не понимаешь, так потрудись запомнить, что садиться в машину с незнакомыми людьми я запрещаю!» Ну, а чем я уж так виновата, скажите? Откуда я могла знать, что это не Рудин, а вор?

— Здесь дело не в том, что он вор, Ася. Надо вообще остерегаться чужих людей. Ваш дядя совершенно прав; вы были в самом деле очень неосторожны.

В эту минуту объявили начало концерта.

В антракте Ася убежала в ученическую артистическую, и Елочка увидела ее, только уже выходящей на эстраду. Елочка чувствовала, что волнуется, «Господи, да что же это я! Не все ли равно мне-то? Но ей было не все равно и уже не могло стать все равно.

— Вот это да! Это называется музыкальностью! — сказал кто-то шепотом позади Елочки, когда Ася начала Шумана. Елочка обернулась; говорил юнец лет шестнадцати, весьма демократического облика — без галстука, в рыжем свитере до самых ушей.

— Переливы подает очень тонко, — подхватил его товарищ-еврей в роговых очках, выступавший перед тем со скрипкой.

— А Шуберта-то, Шуберта как начала! — сказал опять первый мальчик. — Молодец девчонка! Откуда взялась такая? Я ее раньше не слышал.

Аплодисменты были дружные и бурные. Мальчики позади Елочки завопили «бис», многие подхватили. Ася выбежала раскланиваться, и это у нее получалось очень изящно. Вопросительно посмотрела на учительницу. Та кивнула, и Ася снова села к роялю. Взяла несколько печальных аккордов...

— Прелюд Шопена, — прошептал тотчас все тот же юнец в свитере.

Он в течение всего концерта безошибочно называл исполняемые вещи к немалому удивлению Елочки.

— Шабаш... Пугается! — услышала она вдруг его шепот. — Эх, жаль! Хорошо начала!

Сердце Елочка тревожно забилося... Ася взяла еще два-три аккорда, прозвучавших неуверенно, и вдруг вскочила и бегом убежала с эстрады.

— Задала стрекача с перепугу! — добродушно засмеялся еврей. — Похлопаем ей еще, Сашка.

Когда концерт кончился, Елочка увидела Асю уже в зале. Она стояла около пожилой дамы с седыми буклями.

— Что случилось, Ася? Вы, кажется, сбились? — спросила, подходя, Елочка.

— Да, неудача! У нас на бис был приготовлен этюд Мошковского, но мне что-то не захотелось его играть. Вчера я слышала вот этот прелюд, мне и взбрело на ум — дай-ка сыграю. Начала хорошо, а потом спуталась. Дома-то я бы непременно подобрала, ну а на эстраде остановилась. Это мне хороший урок: не выходить, не отрепетировав хоть раз.

Елочка с изумлением посмотрела на нее.

— Как? Вы не играли ни разу эту вещь?

— Ни разу.

— И вы могли бы ее повторить?

— Вот и не смогла, как видите.

Елочка не верила своим ушам. Не обладая сама музыкальной памятью, она не могла вообразить себе ничего подобного.

— А педагоги будут знать, что вы играли без подготовки? — спросила она.

— Юлия Ивановна знает, а другие... Не все ли равно?

— А вы с Юлией Ивановной уже разговаривали?

— Да. Она поймала меня в артистической и строго сказала, что программа должна быть согласована с педагогом и никакие вольности не допускаются. А я почему-то думала, что бисом вольна распоряжаться, как хочу. Просила Юлию Ивановну меня простить, она поцеловала меня в лоб и, кажется, простила.

На следующий день Елочка краем уха услышала в канцелярии школы разговор Юлии Ивановны с директором. Произнесла фамилию Аси, и Елочка насторожилась.

— На прошлом уроке эта девушка легко подбирала отрывки из «Снегурочки», которую накануне слышала в первый раз. У нее огромные данные, но нет школы, нет постановки руки и слабая техника. Притом она, по-видимому, не осознает степени своего дарования.

— А это бывает чрезвычайно редко, — кивнул директор.

— О, да! Еще бы! В этом отношении ее нельзя даже сравнивать с нашими вундеркиндами, которые уже так воображают о себе!

Эти отрывки из «Снегурочки» запали Елочке глубоко в душу. Лежа в тот вечер в постели, она думала об Асе, и в глазах ее плыли крупные белые снежинки — отрывки из той счастливой, розовощекой зимы, которая навеки ушла в прошлое; бедная Снегурочка — она и сама не знает, в какую страшную весну России занесло ее буйным ветром и на каком разбойничьем, языческом костре суждено ей растаять, погибнуть...

С детства в воображении Елочка сложился образ женского существа; сначала девочки, а позднее девушки, в котором было как раз все то, чего не хватало ей. Всякий раз, когда она в ком-либо ловила отдельные рассеянные черты этого манящего образа, она говорила себе: «Похоже». И понемногу слово

«похоже» стало у нее именем существительным, независимым понятием, определяющим всю совокупность признаков того, чем она хотела бы стать, если б могла отказаться от себя.

Угадывая будущую судьбу Аси, Елочка страшилась и заставляла себя думать иначе, вспоминала свою бывшую подругу Марочку, с которой недавно разошлись бесповоротно. Как-то раз Марочка сказала Елочке: «Ах, оставь, пожалуйста, музыку ты любить не можешь, у тебя вовсе нет слуха. В оперу ты ходишь, чтобы смотреть, как умирает *jeune premier*»<sup>[7]</sup>.

Слова эти резанули по сердцу. Елочка самой себе не могла признаться в том, что так точно судила Марочка, — герой, и особенно герой трагически погибающий, пусть даже оперный, сохранял в душе Елочки притягательное обаяние.

Думая теперь об Асе, о том, что они могли бы стать хорошими подругами, Елочка внушала себе: «Нет, нет, это невозможно, мы слишком разные, по характеру и по возрасту. Она скоро выйдет замуж, как все они, хорошенькие. Я все равно буду ей не нужна и не интересна. Лучше мне не вылезать из своей улиточной раковины».

Решение было принято, и на следующий день она пришла на урок в свое время, чтобы не застать Асю.

## Глава третья

*Нашу Родину буря сожгла,  
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?  
Б. Пастернак.*

В комнате, которая одновременно представляла собой и столовую и гостиную и где предметы изысканного убранства перемешивались с предметами самыми прозаическими, сидели обедать.

В сервировке стола были старое серебро и дорогой фарфор, но вместо тонких яств на тарелки прямо из кастрюльки клали вареную картошку. Наталья Павловна — старая дама с седыми волосами, зачесанными в высокую прическу, и с чертами лица словно вылепленными из севрского фарфора, как те изящные чашки, что сияли на серебряном подносе с вензелем под дворянской короной, — сидела на хозяйском месте.

По правую руку от нее расположился Сергей Петрович, мужчина лет тридцати пяти. Ася расставляла на столе тарелки. Горничные в этом доме уже отошли в область предания.

— Обед для мадам придется подогреть. Я послала Асю ее сменить, но мадам ее уверила, что достоин очередь сама, — сказала Наталья Павловна.

— Мадам — мужественная гражданка, ее героический дух не сломит ни одно из бесчисленных удовольствий социалистического режима, а двухчасовая очередь за яйцами — это пустяк; к этому мы уже привыкли, — усмехнулся Сергей Петрович.

— Ты принес мне контрамарку на концерт, дядя Сережа? — спросила Ася.

— Нет, стрекоза. Но не бойся, мы пройдем с артистического подъезда. Завтра концерт у нас в филармонии, мама, Девятая симфония. Нина Александровна солирует. Может быть, наконец соберешься и ты? У Нины Александровны сопрано совершенно божественное, не хуже, чем у твоей любимицы Забеллы.

— Ты отлично знаешь, Сергей, что я выезжать не хочу. Воображаю себе зало Дворянского собрания теперь и эту публику... Дома я, по крайней мере, не вижу этих физиономий. Не вздумай опять уверять меня, что публика там достойная — достойной публики не осталось.

— Но Девятая симфония во всяком случае осталась Девятой симфонией, мама. А солисты и оркестр...

— Я уже сказала, что не поеду, мне дома лучше, — сухо отказывалась Наталья Павловна. — Ася ничего прежнего не видела и не помнит, вот и веди ее.

— Обязательно поведу. Постараюсь устроить обеих девочек и Шуру Краснокутского. Я уже обещал.

Ася покраснела и отошла к буфету. Сергей Петрович, смеясь, сообщил Наталье Павловне, что Ася приобрела себе в лице Шуры поклонника. Вот уже месяц юноша неравнодушен к ней.

Улыбка проскользнула по мраморному лицу Натальи Павловны и смягчила строгие черты. Полуобернув голову, она взглянула на внучку.

— Зачем ты меня дразнишь, дядя Сережа? — отозвалась Ася, перебирая ложки и вилки на самоварном столике. — Ты ведь очень хорошо знаешь, что Шура мне не нравится. Ну вот! Бабушка уже вздыхает! — прибавила она с оттенком нетерпения.

— Вздыхаю, дитя мое, когда подумаю о твоём будущем. Я не представляю себе, кто может обратить внимание на тебя. Теперь почти нет молодых людей нашего круга.

— Найдутся, мама, — сказал Сергей Петрович, — беда лишь в том, что *traine*<sup>[8]</sup> жизнь теперь не та; все по углам попрятались, как мыши.

— Вот об этом я и говорю, Сергей, мы почти никого не видим. Не за выдвиженцев же и комсомольцев выходить Асе? А Шура Краснокутский из хорошей семьи, он вполне порядочный и хорошо воспитанный молодой человек. Я не хочу ни в чем принуждать Асю, но боюсь, со временем она пожалеет, если откажет ему теперь.

— Полно, мама. Она еще очень молода, еще может выбирать...

— Между кем выбирать, Сергей?

— Ах, бабушка! — вмешалась Ася, — да разве уж замужество так необходимо? Разве нельзя быть счастливой и без него?

— В жизни женщины это все-таки главное, Ася. Какие бы ни были революции, а без любви к мужу и детям не обойтись. Ты этого еще понять не можешь.

Ася молчала, не поднимая ресниц, но улыбалась исподтишка Сергею Петровичу. У нее были свои мысли насчет детей и замужества.

— Посмотри на нашу плутовку, мама. Она отлично знает себе цену и, конечно, пребывает в уверенности, что получит не одно предложение. И она права. Сейчас мы живем замкнуто, но это может измениться. Почему знать? Может быть, наша Ася еще будет заказывать себе приданое в Париже и поедет в свадебное путешествие в Венецию.

— О, не думаю, не думаю! Большевики слишком прочно засели в Кремле, — печально сказала старая дама.

— А как дела у Лели на бирже труда? Приняли ее, наконец, на учет? — спросил Сергей Петрович.

— Еще не знаем, — ответила Ася. — Она обещала прибежать сегодня, чтобы рассказать. Там, на бирже, заведует списками некто товарищ Васильев. Этаким рыбий жир. Товарищ Васильев уже четыре раза отказывался принять ее на учет, а добиться переговоров с ним тоже очень трудно.

— Вот где бюрократизм-то! — возмущился Сергей Петрович. — Для того, чтобы записаться в число безработных, нужно получить с десятков аудиенций у этой высокопоставленной креветки. Сидит, конечно, в фуражке, курит и отплевывается на гобелен. Лорд-канцлер новой формации! С наслаждением отдал бы приказ приставить к стенке этого товарища Васильева.

— Это не бюрократизм, Сережа. Это их система, их классовый подход, — возразила Наталья Павловна, — они не поставят Лелю на учет, потому что она внучка сенатора и дочь гвардейского офицера. Последний раз этот товарищ Васильев сказал совершенно прямо: «Мать ваша нетрудовой элемент, а отец и дед были классовыми врагами».

— Вчера Леля, уезжая на биржу, забежала сначала к нам, — вмешалась Ася, — мы все вместе старались придать ей пролетарский вид. Знаешь, дядя, мы замотали ей голову старым вязаным платком, а потом раздобыли у швейцарихи валенки и деревенские варежки, и получилась самая настоящая матрешка. Мы стоим и любимся своей работой, а в это время входит Шура и заявляет: «В этом шарфике вы очаровательны, Елена Львовна, но вид у вас в нем сугубо контрреволюционный!». Это любимое выражение Шуры. У него все «сугубо» и «контро». Нам осталось только руками развести: «Вот тебе и на!».

— Ну, Шура и сам выглядит не менее «сугубым». Если бы на биржу отправился подобным же образом он, то и его не приняли бы за «товарища», — сказал Сергей Петрович.

— Шура на биржу не пойдет, у него нет нужды в работе. Он сам сказал: «Пока Бог даст здоровье моей

тетушке в Голландии, я могу не встречаться с товарищем Васильевым». Почему это так, дядя?

— Сестра мадам Краснокутской высылает ей из Амстердама гульденны, а Шура все-таки подрабатывает переводами, — объяснил Сергей Петрович.

— Да, он переводит сейчас письма Ромена Роллана. Он очень хорошо знает литературу и может интересно говорить о ней, но... Слишком он весь изнеженный, избалованный. Я таких не люблю. Его мамаша всегда боится, что он простудится, заботится о нем, как о маленьком — это смешно! Мне нравится в Шуре только его доброта. Вчера, когда он провожал меня с урока музыки, к нам подошел человек весь в лохмотьях, но с университетским значком. И вдруг этот человек говорит: «Помогите бедствующему интеллигенту!» Шура выхватил тотчас бумажник и вынул все, что там было. Потом он обшарил свои карманы и даже вытащил рубль, завалившийся за подкладку. При этом у него дрожали руки. Тут я вдруг разревелась самым глупым образом. Но для того, чтобы влюбиться, мне доброты мало. Вот если бы он хоть немного походил на Гавена у Гюго или дрался за Россию, как папа, тогда бы я его полюбила.

— Тогда бы он давно был в концентрационном лагере, Ася. Те, кто любил Родину, все там.

— А ты, дядя?

— И я там буду. Все там будем.

Наталья Павловна положила вилку и нож.

— Даже в шутку не говори так, Сергей!

Наступило молчание. Каждый угадывал мысли другого. Первой заговорила Ася:

— Вот шекспировский Кориолан мне тоже нравится, когда он говорит: «Я, я — изменник?». Так мог бы сказать белый офицер?

— А кто тебе позволил читать Шекспира, Ася?

— «Кориолана» дядя сам прочел мне вслух.

— Ну, это другое дело. Однако, Ася, мы успеем кончить картофель прежде, чем ты принесешь нам соус.

— Прости, бабушка! — Ася убежала в кухню. Через минуту она уже уселась на свое место, но, едва съев кусочек, положила вилку и снова защебетала:

— Какое для нас счастье, что ты попал в оркестр, дядя. Ведь иначе у нас не было бы лазейки с артистического подъезда? Я страшно хочу услышать Девятую симфонию и хор «К радости». Я очень-очень счастливая! Ты, бабушка, часто смотришь на меня с грустью и совсем напрасно. В жизни столько интересного, и каждый день выплывает что-нибудь новое, что хочется увидеть, услышать или прочитать. Досадно только, когда вы мне говорите: «Это рано, это вредно», когда я лезу на лесенку в дедушкиной библиотеке. Вчера дядя вырвал у меня из рук «Дафнис и Хлоя», а я только страничку прочитала. Я боюсь, что библиотека будет распродана прежде, чем я ее прочту.

— Кстати, Ася! Мадам говорила, что под подушкой у тебя вчера опять лежала книга, — сказала Наталья Павловна, — а я ведь запретила читать тебе в постели.

— Это не книга, бабушка, это Шопен.

— Шопен? Зачем же он под подушкой?

— Так надо, бабушка, вот он пролежит ночь, а утром я играю наизусть то, что просматривала вчера.

— Ты и без этой телепатии играешь все наизусть, Ася, — сказал Сергей Петрович, вставая и целуя руку матери.



— А что такое телепатия? Ну вот, я уже вижу, что ты ответишь свое «рано» или «вредно»!

— А вот и нет! Для разнообразия скажу: «Отвяжись!». Объяснять у меня нет времени, так как вечером я играю в рабочем клубе и мне надо спешно репетировать «Рондо каприччиозо» Сен-Санса. Попробуй мне проаккомпанировать. Сумеешь?..

Камины еще доживали свой век в старых квартирах, в чьей-нибудь гостиной, где под хрустальной люстрой втиснута кровать, а кресла и рояль завалены старыми портретами или Энциклопедией Брокгауза из только что проданного шкафа. Мелькали еще у огня живые тени минувшего времени. Вот худая рука старика под ветхозаветным манжетом, длинные подагрические пальцы берутся за щипцы; вот освещенный игрой пламени профиль старушки с высоко поднятыми волосами, она зябко кутается в старую вязаную шаль, а безжизненный взгляд остановился на вспыхивающих угольках. А вот две девичьи головки, прижавшиеся друг к другу; одна золотистая, другая потемнее, две пары глаз одинаково смотрят в огонь...

Посмеет ли коснуться юности та обреченность, которая невидимо разгуливает между старой мебелью таких гостиных и отмечает все ненужное для новой эпохи, осужденное на умирание, лишнее, как и сами эти каминные, которые скоро заменят газовые калориферы?

Посмеет, как показал жестокий век.

— Он говорил опять, что папа был классовый враг и что революционный пролетариат не может потерпеть в своих рядах остатки аристократии. Дети репрессированных лиц будто бы тем опасны, что они затаили зло. Это я-то опасна! Чем я могу быть опасна, хотела бы я знать? Когда такое говорят твоему дяде, это еще можно как-то понять, но мне! — Леля печально примолкла.

— Это в самом деле странно. Тетя Зина очень расстроилась?

— Конечно. Даже плакала потихоньку от меня. Ведь цветами разве можно прожить? Я вчера целый день вертела эти противные ненастоящие розы, исколола все пальцы. Продавать их все трудней и трудней становится. На работу маму не принимают, а за цветы штрафуют. Последний раз она пряталась от милиционера на пятом этаже какой-то лестницы вместе с бабой, продававшей корешки для супа. Если поймут — берут штраф, который сводит к нулю заработок целой недели. Мама всякий раз так волнуется, когда идет на улицу с цветами, что вся дрожит, а меня отпустить ни за что не хочет; ей кажется, что если с цветами выйду я, то ко мне непременно пристанет матросня, будет... что-то страшное. А я от милиции сумела бы убежать лучше мамы — ноги у меня быстрее. Вчера мама сказала про твою маму: «Какая счастливая Ольга, что умерла в восемнадцатом. Она не узнала тех мучений, которые выпали на мою долю!» Ну зачем говорить такие вещи? От них никому не лучше!

Ася помешала в камине и при его свете взглянула в огорченное лицо сестры.

— Мы с мамой теперь все время ссоримся, ни о чем договориться не можем, — продолжала Леля. — Жизнь такая безысходная, что можно с ума сойти. У твоей бабушки квартира сохранилась, можно продавать вещи, и Сергей Петрович зарабатывает в оркестре; очень много значит, когда в семье есть мужчина. А мы с мамой теперь одни, у нас пустые стены и впереди — ничего, никакой надежды. Оказывается, я дурная дочь! Мне и жаль маму и досадно за нее. Вчера мама опять устроила мне сцену за то, что я пошла на вечерок к нашей соседке-евреечке. Другая наша соседка — та, что слева, Прасковья, — монстр и вся пышет классовой злобой, а Ревекка, право же, очень симпатичная и всегда рада меня повеселить. Она со мной даже как будто заискивает, не понимаю почему. И тут, извольте ли видеть, совсем некстати мама со своей гордостью на дыбы: это, мол не твое общество и нечего тебе делать среди этих нэпманов. *Noblesse oblige*<sup>[9]</sup> — не забывай, что ты — Нелидова! Но если вокруг нас нет прежней среды, нет *grande tenue*<sup>[10]</sup>, — что нам остается делать, Ася? Подумай только, напрасно пропадают, уходят наши лучшие годы, наша молодость, которая уже не вернется! Мы не веселимся, не танцуем, сидим, как в норе.

Мне скоро девятнадцать, а я еще ни разу не потанцевала. Если нет прежнего общества, надо довольствоваться тем, которое есть, а мама не хочет этого понять.

— Леля, не говори так! Тетя Зина изболелась за тебя душой; у нее всегда такое измученное лицо, — перебила Ася.

Глаза у Лели на минуту стали влажными, но она тряхнула головой, как будто отгоняя ненужную чувствительность.

— Зачем же мама отнимает у меня последнюю возможность повеселиться? У нее у самой было все в мои годы. Увидишь, Ася, жизнь пройдет мимо нас, и те, которым мы дороги, этого вовсе не понимают.

— Это ничего, Леля, так иногда бывает, сначала все идет мимо, а потом вдруг приходит очень большое счастье, как во французских сказках. Надо уметь ждать. Если бы все приходило сразу, было бы даже неинтересно.

— Ты сказочного принца ждешь? Это твоя мадам тебе внушает. Она зовет тебя Сандрильеной, но хоть мы было и заподозрили в ней фею Бирилюну под впечатлением Метерлинка, ты теперь хорошо знаешь, что она не оказалась волшебницей и не может вызвать для тебя из тыквы наряды и экипаж, а если бы и вызвала — придворных балов и принцев теперь нет, поехать некуда.

Ася задумчиво смотрела в огонь.

— Я всегда очень любила читать про фей и волшебников, — сказала она, понижая голос. — Я помню, когда мама одевалась перед своими зеркалами, чтобы ехать в театр или на бал, мне разрешалось присутствовать и перебирать ее драгоценности. У мамы был шарф, воздушный, бледно-лиловый; я куталась в него и, воображая, что я — фея Сирень, танцевала в зале. Я говорила всем, что стану феей, когда вырасту. Теперь, конечно, я в фей уже не верю... Но в чудеса... Не удивляйся, Леля, в чудеса — верю. Когда человек чего-то пожелает всем существом, желание это, как молитва, поднимется к Богу, а может быть, оно само по себе имеет магическое действие... Так или иначе, оно должно найти свое осуществление, повлиять на будущее. Я верю, что в жизнь каждого, кто умеет желать и ждать, может войти чудо. К кому — сказочный принц, к кому — царство или принцесса, к кому — талант, или мудрость, или красота... Ко мне, я в этом уверена, придет если не принц, то рыцарь. Он не будет в доспехах, конечно, нет, но все равно рыцарь «без страха и упрека» — белый офицер, как папа, или наследник-царевич, который окажется жив... Я не знаю кто. Он будет гоним или нищ, и я должна буду его узнать в этом виде, как в образе медведя узнают принцев. Я сейчас же по лицу, по первому слову узнаю! Он принесет мне большое-большое счастье, но для того, чтобы это случилось, желание мое должно быть несокрушимым и цельным... Понимаешь, Леля?

— Ты экзальтированная, Ася, а я слышала, что именно экзальтированные девушки всего чаще оказываются с рыбьей кровью. Вот ты и есть такая. Ты способна будешь до седых волос прождать своего принца, а мне вот кажется, что наши рыцари заставляют себя ждать слишком долго. Никто еще не влюбился в меня ни разу, кроме этого меланхоличного барона Штейнгеля. Помнишь, как он мучил нас всех нескончаемыми философскими разговорами? Мама только теперь открылась, что он просил у нее моей руки и уехал за границу только после того, как она ему отказала. Ведь мне тогда было только шестнадцать, а ему — тридцать пять. Разве это мужчина? Наши рыцари придут, когда и мы будем старухами или сорокалетними старыми девами. Это будет чуть-чуть смешно. Нет ничего трагичней слов «слишком поздно»!

Ася вздохнула:

— Если ты будешь возмущаться и колебаться, Леля, боюсь, твой царевич вовсе не придет! В последнее время ты стала как будто другая.

— Сергей Петрович полагает, что я такая же девочка, какой, была четыре года тому назад; он не желает понять, что мне уже теперь хочется другого...

— Чего же?

— Общества моих ровесников, с которыми можно поострить, подурачиться, пококетничать, а его отеческий тон мне скучен. Я хорошенькая, и это стало меня тревожить. Я хочу, чтобы за мной ухаживали, хочу нравиться — вот что! У тебя есть твоя музыка, а меня ничто особенно не занимает. Почему ты смотришь исподлобья? Обиделась?

— Потому, что ты весь наш мирок развенчать хочешь! Наши мамы были так дружны, их даже называли inseparables[11], я думала, и мы тоже, а ты теперь как чужая...

— Ты хорошо знаешь, Ася, что все запрещенное меня всегда особо привлекало; в детстве — нездоровые книги, потом — фокстрот, а теперь — новая, незнакомая мне среда. Ты вот говоришь: «Не мельчай», а я скажу тебе, что мы словно под стеклянным колпаком. Надо выйти из-под опеки старших. Они стараются отдалить нас от действительности и современного общества, а нам надо взглянуть в лицо жизни и найти свое место в ней. Только как это сделать, я и сама не знаю. Отовсюду гонят. Служба могла бы мне помочь сориентироваться, а без нее... Ася, помнишь, синие *viola odorata*[12], которых так много всегда в дедушкином могильном склепе на Новодевичьем? Предок этого цветка — дикая лесная фиалка — растет повсюду, ну а эта культура уже так облагорожена, что она стала махровой, и синева особенная, но зато она требует особого ухода и непременно погибнет в среде, где отлично уживались ее предки. Вот ты такая *viola*, Ася.

— Сама-то ты разве не такой же оранжерейный цветок? Я слышала, что род твоего папы древнее рода Бологовских.

— Конечно, я тоже махровая и тепличная, только я не фиалка, я скорее гвоздика; страшно люблю ее пряный, немного эксцентричный запах. Но я переделаюсь, стану опять дичком, я акклиматизируюсь! — и она усмехнулась, довольная найденным выражением.

## Глава четвертая

*Синьора: ваш конец — на плахе!*

*Д. Ориас (Эллиа).*

В это время Сергей Петрович сидел на низеньком диване, положив ногу на ногу, и курил. Посередине комнаты перед трюмо стояла дама, поправляя на себе тонкие пожелтевшие кружева. На вид ей было лет 30 с небольшим, но в черных, стриженных и завитых локонами волосах уже мелькали серебряные нити. Она была высокого роста и хорошо сложена, несмотря на некоторую полноту. Большие меланхолические зеленовато-серые глаза, похожие на глаза русалки.

Комната имела несколько запущенный вид: среди стен, увешанных старинными французскими гравюрами, — афиши; посреди ваз и запылившихся портретов — недоеденный завтрак, уютги, куча недоглаженного белья на изящном столике с инкрустацией. Облупившийся потолок и отсыревшие обои придавали комнате оттенок обветшалости, но старинные вещи согревали ее своим неповторимым обаянием, а множество нот и переписанных от руки партий, томик «Нивы» и ваза с засушенным вереском вносили живую струю в это заброшенное под рукой нужды и горя жилье.

— Я не задержу тебя. Через минуту буду готова, — сказала дама.

— Я не тороплю тебя, Нина, — Сергей Петрович взялся за газету. — Что же, решила ты, наконец, что будешь петь? — спросил он через минуту.

— Ах, не знаю! Что вздумается! Арию из «Царской невесты», а может быть, колыбельную из «Мазепы». Гречаниновскую «Осень» и его «Спи-усни».

— Две колыбельные в одном концерте — не много ли? — спросил Сергей Петрович. — У тебя положительно страсть к ним.

— Да, я это знаю. Уж ты-то должен понять почему. Неужели этого никогда-никогда не будет? — прибавила она.

— Ну, сейчас не время говорить об этом, — ответил с досадой Сергей Петрович.

— Ты хмуришься? Ты эгоист, как и все мужчины.

— Ну и что же? — спросил он нетерпеливо.

— Неужели его никогда не будет?!

— Ах, Нина! Тебе не двадцать лет. Ты должна была думать об этом раньше, когда была замужем. Тогда ты желала быть свободной и изящной. А теперь от меня ты требуешь невозможного: у меня на руках мать, племянница и французенка. Нам едва хватает денег, которые я зарабатываю в оркестре и на этих случайных концертах. И у тебя никаких средств. И потом, мы не зарегистрированы, нельзя забывать это.

— Ну уж последнее... — Она махнула рукой. — Мы не в прежнем обществе. Советская бумажонка о браке никого не интересует. Скажи честно, что ты просто не любишь детей.

— Нет, я всегда любил их. Когда-то в Березовке я приходил смотреть, как просыпается Ася; щечки у нее бывали розовые, тельце теплое. Она протирала кулачками глаза и так очаровательно потягивалась, что я уже тогда думал: если женюсь когда-нибудь, то непременно у меня будут дети. Но это было тогда, а теперь все иначе! Вся жизнь! И сам я уже не тот — слишком утомлен и измучен, чтобы начинать что-то новое. Причем половину отеческого чувства я уже отдал Асе.

Сергей Петрович вдруг умолк. Ему вспомнилось, как после взятия Крыма красными, когда его

старший брат Всеволод был расстрелян, он страшно беспокоился за судьбу Аси и едва отыскал ее потом на окраине Севастополя, в магазине. Она бросилась ему на шею, ободранная, худенькая, голодная. Всеволод сделал большую ошибку, когда взял с собой семью, уезжая в Киев, где концентрировались силы белых. Он втянул таким образом жену и детей в самый водоворот событий. Лучше было им пересидеть это тревожное время в деревне или в Петербурге с матерью; в Петербурге все-таки было тише... Никто, конечно, не мог предвидеть, как сложатся события, но результаты были самые печальные: жена и мальчик Всеволода погибли от сыпняка, а в Крыму, после его собственной гибели, легко могла пропасть и Ася. Теперь многие удивлялись, что они не расстаются с мадам, а ведь это она сохранила ребенка в самых тяжелых условиях. Есть услуги, которые забыть нельзя. Он посмотрел на Нину. Она тоже смотрела на него. Глаза ее были влажны.

— Прости меня, — сказала она и продолжала, будто прочтя его мысли: — вам всем пришлось столько испытать. Но ведь и я прошла через такие же ужасы. Кстати, Ася догадывается?

— О чем? О наших отношениях? Не думаю — она слишком наивна, чтобы быть проницательной. Притом, она видела нас вместе только однажды.

— Отчего же она смутилась, когда на последнем концерте ты знакомил нас?

— Не знаю... Не заметил... Неужели в самом деле догадывается?

Минуту они молчали.

— Я люблюсь ею, как растением, которое сам вырастил, — заговорил опять Сергей Петрович. Он вынул портсигар. — Она вызывает во мне постоянную тревогу и жалость. Моя мать с нею слишком строга. Я почему-то уверен, что она не будет счастлива в жизни. Вот увидишь. Неудачи гонятся за ней по пятам. К тому же она не из тех, которые умеют постоять за себя, а счастье ведь очень часто приходится брать с бою. Другое дело — Леля, маленький хищник, который при случае покажет свои коготки.

— Она тоже очень мила, ваша маленькая Нелидова! — сказала Нина, вспоминая, как в помещении какого-то рабочего клуба, в тесной неряшливой комнате, отведенной под артистическую, она поправляла себе волосы перед зеркалом, ожидая Сергея Петровича, с которым по обыкновению «халтурила», услышала его голос, обернулась и увидела рядом с ним двух молодых девушек. Обе были настолько непохожи на окружающую публику, что она тотчас признала в них Асю и Лелю, о которых столько от него слышала. Их лица показались ей настолько еще свежими, юными, невинными, что она невольно вздохнула о том, что сама уже давно потеряла. Розовые от мороза, они жались друг к другу и не отходили от Сергея Петровича, как будто чувствовали себя несколько растерянными в непривычной обстановке. Вскоре Сергей Петрович увел их, чтобы усадить в зале. Перед тем, как выходить на эстраду со скрипкой, он отозвался, потирая несколько лихорадочно руки: «Воображаю, как сейчас волнуется Ася: она всегда сама не своя, когда я выступаю». Когда пришла очередь Нины, она с эстрады отыскала глазами Асю; та сидела, тесно прижавшись к кухне, и в глазах у нее было столько внимания, тревоги и тепла, что Нина почувствовала себя согретой выражением сочувствия в этом молодом существе. Но после, в «раздевалке» (как говорили в клубе), она зоркими женскими глазами увидела, с какой бережливой нежностью закутывал Сергей Петрович Асю оренбургским платком. Так одевают любимого ребенка или обожаемую женщину... И Нина на минуту как будто задохнулась от острой боли в сердце... Ей показалось, что никогда она не видела у него этого взгляда, обращенного на нее.

Эту же боль она вспомнила и теперь.

Сергей Петрович заговорил первым:

— Сейчас, когда я шел к тебе, у меня была очень невеселая встреча: сестра вдовы моего брата — Нелидова, Зинаида Глебовна, с которой мы вместе бедствовали в Крыму, стояла у водосточной трубы, как

нищая, и продавала жалкие искусственные розы... Боже мой, до чего она показалась мне измученной! Я поспешил у нее купить два цветка и, когда при этом поцеловал ей руку, то вызвал сенсацию среди прохожих; кто-то даже отпустил замечание на наш счет: «Двое недорезанных церемонии разводят». Очевидно, очень уж не вязалась моя галантность с ее обносками, да и с моими. Впрочем, в ней есть тот оттенок порядочности, который позволяет безошибочно отнести человека к категории «бывших». На улице, как нищая... Когда-то изящнейшая дама, дочь сенатора, жена гвардейского офицера... Вот она — наша действительность!

Нина взяла несколько арпеджио... Чистый серебряный звук наполнил комнату. Она была сегодня в голосе; когда ей бывало грустно, она всегда хорошо пела.

Сергей Петрович вздохнул при мысли об аудитории, которая их ждет в прокуренной зале заводского клуба; голые шеи, торчащие из матросских воротников, майки, одетые прямо на свитер, и красные платочки, и то нетерпеливо-жадное любопытство, в котором всегда чудилось тайное недоброежелательство: вдруг да как-нибудь оплошают «бывшие», вот смеху-то будет! Он рад был бы стать выше своей брезгливости и все-таки не выносил эту толпу и неохотно выходил раскланиваться в ответ на аплодисменты. Нина была менее постоянна в своих впечатлениях: «Хорошо слушают. Я чувствовала эти незримые нити, связующие артиста и публику!» — часто говорила она, вынырнув из маленькой дверцы, соединяющей клубную сцену с импровизированной артистической. В другой раз жаловалась:

— Плохая нам досталась доля — клуб за Нарвской заставой и отвратительный трамвай! Хоть бы мне раз выйти на эстраду в бриллиантах, шумя шелковым шлейфом, и увидеть перед собою сияющий огнями колонный зал, а после сесть в автомобиль, украшенный цветами, кивая направо и налево поклонникам — музыкальным знаменитостям и прочим господам. Не повезло!

— Пой для меня, Нина! Я никогда не устану тебя слушать и понимать во всех оттенках. Знаешь, я не мог бы полюбить женщину немзыкальную; для меня это так же невозможно, как полюбить глухонемую. Наш роман весь соткан из музыки. Когда я в первый раз тебя увидел два года тому назад, ты пела рахманиновскую «Сирень», и я вспоминал сиреневые аллеи в нашей Березовке. Твое лицо на один миг представилось мне окруженным сиренью, как на картине Врубеля; я подумал, что у тебя голос, как у Забеллы. Я в твой голос влюбился раньше, чем в тебя. Нас сблизили наши выступления. Странно, в детстве мне попадало за скрипку. Мать требовала, чтобы я стал военным, и слышать не хотела ни об университете, ни о консерватории. А вот теперь именно скрипка кормит нас.

Сергей Петрович так и не успел окончить университет, ему оставался последний курс, когда началась война. Он тотчас перешел в юнкерские классы Пажеского. В семье все приветствовали этот жест. Дома кумиром всегда был Всеволод — кадровый преображенец, а Сергей со своей скрипкой всегда был немножко «блудным сыном», но в те дни восхищение семьи на некоторое время перешло на него...

Нина подошла и запустила пальцы в его волосы.

— А я хотела сказать тебе... Тоже объяснить... Ты не совсем правильно представляешь себе мою замужнюю жизнь: я выходила очень молодой и была такой же невинной овечкой, как твоя Ася. Я вышла в семью самую патриархальную. Ребенка я, конечно, имела, но тогда такое было страшное время... Я очень скоро потеряла моего крошку... Еще прежде, чем узнала о гибели мужа. Я никогда об этом не говорю — тяжело вспоминать... Но я не хочу, чтобы ты думал обо мне, как о легкомысленной женщине.

— Я никогда не считал тебя легкомысленной. Клянусь честью! Ну, подожди, Нина, подожди. Ася такая хорошенькая стала, она, наверное, скоро выйдет замуж, и тогда мы устроим нашу жизнь.

Он поцеловал ее руку. Она продолжала теревать его волосы.

— Опять идут аресты среди бывших военных. Смотри, не попадись, а то твоей Асе придется вот так же

стоять с цветами, как мадам Нелидовой.

— Это уж судьба, Нина! Один Бог знает, как я боюсь того, что может ждать ее и мать. Кстати, меня вчера вызывали в три буквы.

— В гепеу? Тебя?!

— Да. Мои не знают, я не сказал. Приятно побеседовали со мной часа два, потрепали имена моего отца и брата. И барона Врангеля. Спрашивали, у кого я бываю. Не пугайся, я тебя не назвал, я сказал, что очень занят и нигде не бываю... Ну и отпустили.

— Мне эта история не нравится, — сказала Нина озабоченно.

— Хорошего мало, но сейчас хватают чаще кадровых.

— Дорогой мой, да разве недостаточно того, что ты сын генерала и притом белогвардеец?

— Оснований, конечно, достаточно. Да им и основания не нужны: сегодня есть человек, завтра как в воду канул! Препоганое, однако, состояние, когда плетешься туда и воображаешь себе различные варианты разговора, расставляемые тебе силки. Но не стоит об этом. Спой мне колыбельную, и поедem. Твое пение выкуривает серые мысли, как по волшебству. Спой, Нина, и скажи, что ты простила меня.

## Глава пятая

*Там корабль возвышался, как царь,*

*И вчера в океан отошел.*

*А. Блок.*

Рояль стоял в комнате Сергея Петровича. Здесь царствовал постоянный хаос от множества нот, партитур, раскрытых книг и нотных бумаг, разбросанных на рояле, на пульте и даже на стульях, так как ноты уже не помещались в ломившиеся от них шкафы. Сергей Петрович запрещал прибирать и переключивать ноты и нотные листы во время ежедневной уборки и был одержим постоянной тревогой, что именно после вмешательства женских рук в хаос его комнаты он не отыщет наброска нового сочинения или места, на котором он остановился в читаемой им книге. Когда Ася и мадам вторгались с тряпками в его «святая святых», он приходил в отчаяние уверяя, что подобные чистки наносят удар по творческому вдохновению человека, и обвиняя Асю в измене его интересам. В один январский вечер Ася, сосредоточенно нахмутив брови и приложив к губам карандаш, сидела за роялем с самым озабоченным видом. Из ее осеннего прелюда ничего не получалось. В первый раз эти темы пронеслись у нее в голове, когда они с Лелей бродили вокруг арсенала в Царском Селе и листья кустарников были как кровь. Когда она наигрывала их в первый раз, эти мотивы были гораздо фантастичнее, а теперь они звучат как-то плоско! Она не могла понять, как записывать музыку! Все, что в ней рождалось, ускользало прежде, чем она заносила на бумагу хотя бы такт. Она никогда не могла повторить ни одной строчки и всякий раз играла по-новому. Иногда ей хотелось бы сочинять для церкви — музыка должна говорить о божественном! Если бы у нее был голос, она бы пела «херувимские» и «свят, свят, свят». Чудные, небесные, никому не ведомые, всякий раз новые! Шура уверяет, что у нее очень приятный тембр голоса, но это он говорит только из вежливости. А какой чудный голос у той дамы, с которой Асю познакомил дядя Сережа! Гречаниновскую колыбельную она спела так задушевно, что Ася вспомнила, как покойная мама, прежде чем уехать в театр или в гости, приходила, бывало, перекрестить ее перед сном и плотнее укрыть одеялом.

Старое детское горе... Десять лет тому назад по дороге из Петербурга в Киев ее братишка Вася подхватил сыпняк, от которого гибли сотни и тысячи людей в те страшные годы. Ася не слишком беспокоилась, уверенная, что Вася встанет и они опять будут играть вместе. Но он не встал. И только взглянув на застывшее личико одиннадцатилетнего брата, Ася поняла, что такое смерть. Через два дня в этом же самом тифу слегла мама. Напуганный Всеволод Петрович поспешил переселить девочку к Нелидовым, которые жили в том же самом доме, этажом выше. Ася замирала от страха, находясь теперь под впечатлением только что пережитого. Сыпняк представлялся ей длинным серым чудовищем, которое прячется в их квартире, отняло у нее брата и теперь задумало отнять мать. Когда наступали сумерки, ей начинало казаться, что чудовище проникло незамеченным в квартиру Зинаиды Глебовны и в темноте протягивает страшные щупальца, пытаясь схватить ее и Лелю. По вечерам она не отпускала Зинаиду Глебовну от себя, упрасывая сестр около своей постели.

— Тетя Зина, не туши лампу! Тетя Зина, а закрыты ли двери на лестницу? Папа говорил, что тифы ходят по городу.

Но страх потерять мать был настолько силен, что как только в квартире все ложились, она отваживалась вылезти из постели на ковер, и на коленях просила Бога защитить маму от страшилища — молитва на ковре с детства считалась у нее чрезвычайным средством. Если же случалось, спускаясь по лестнице, проходить мимо квартиры отца, она пробегала как можно скорее, закрывая при этом глаза.



В один вечер Леля уже давно заснула, а она, сжав маленькие пальчики в крестное знамение, чтобы вернее защититься от чудовища, лежала и думала о том, как страшно, должно быть, мадам в папиной квартире — прислуги нет, а отец в военчасти; он только вечером на минуту забежал узнать о мамином здоровье. Мадам одна с мамой, которая бредит. И вдруг она услышала голос мадам из соседней комнаты. Она приподнялась на локте, прислушиваясь. Теперь они уже жили не так роскошно, как в Петербурге — без анфилады комнат — и она услышала разговор Зинаиды Глебовны с мадам из смежной столовой и поняла из разговора, что только что ее мама скончалась. Мадам послала денщика в часть за Всеволодом Петровичем, а сама пришла в детскую.

Воспитание и выдержка сказываются иногда в ребенке с неожиданной силой — напуганная девочка не закричала и не выскочила из кровати, даже когда Зинаида Глебовна вошла на цыпочках в детскую, чтобы приготовить ложе для измученной мадам. Ася только повернулась лицом к стене, но и тут не сказала ни слова. Через некоторое время она заснула в слезах. Утром, когда они одевались, мадам не было в комнате и Асю охватила слабая надежда, что все услышанное накануне просто приснилось ей. Тревожным признаком было только то, что Зинаида Глебовна ходила с красными глазами. Уже тогда Ася обладала тончайшим чутьем к интонациям, взглядам и жестам: от нее не укрылось, что тетя Зина была еще более, чем обычно, ласкова с ней — усадив ее и Лелю пить какао, она уговаривала ее есть, а сама не садилась. Одна из многих, прочно засевших в голове Аси заповедей гласила: «Маленькие девочки не должны лезть к старшим с вопросами», и, не смея заговорить, Ася водила тревожными глазами за тетей Зиной, причем у нее постепенно складывалось впечатление, что она нарочно отводит свой взгляд... Все это было настолько знаменательно, что Ася спешно переложила ложку из правой руки в левую, а пальцы правой сложила в троеперстие, готовясь к защите... В эту как раз минуту она услышала, что тетя Зина, подойдя к дверям, заговорила с кем-то полушепотом... Ася стремительно повернулась и, встретив печальный и пристальный взгляд отца, поняла, что непоправимое несчастье в самом деле пришло...

Бедная мама! Память о ней в семье как-то растаяла! Отца Ася больше помнила, хотя погиб он только годом позже: бабушка и дядя постоянно вспоминали его слова, поступки, привычки, а от мамы как будто не осталось и следа... Собираясь в театр или на бал, мама часто надевала колье с двумя бриллиантами и уверяла, что бриллиантик побольше — Вася, а поменьше — Ася, и что в театре, глядя на них, она будет вспоминать своих детишек.

Ася вздрогнула, услышав шаги за своим креслом.

— Как ты тихо сидишь, — сказал подходя, Сергей Петрович.

— Я не слышала, как ты вошел, дядя Сережа! — сказала Ася, вскакивая и принимая из его рук скрипку. — У бабушки голова болит, а мадам пошла в костел. Мне поручено разогреть тебе ужин.

Она подумала, что в кухне сейчас темно... Никого нет... Бояться темноты в восемнадцать лет — это, конечно, очень стыдно, но все-таки очень не хочется идти. Мадам говорила, что видела вчера там мышь.

— Не хлопочи, детка, я сыт: перекусил в буфете. Посидим лучше у камина. Попадало моей стрекозе сегодня?

— Конечно, дядя! Разве я могу провести день благовоспитанно? Сначала попало мне и Леле за то, что начали играть в мяч и угодили в самоварный столик. Бабушка рассердилась и сказала, что мы могли попасть в севрскую вазу и что она уже много раз запрещала игру в мяч в комнатах. Потом пришла графиня Коковцева, а бабушка еще не вышла из ванной; мадам велела нам занимать ее, а нам с Лелей это показалось очень скучным и мы стали поочередно друг друга подменять... Получалось иногда, что фразу начинает одна, а кончает другая. Мадам заметила наши маневры и пожаловалась бабушке. Опять попало. Ну, а вечером попало уже мне одной за то, что я опять бросила свой берет и перчатки на бабушкином

ломберном столике.

— Неисправимая егоза! А была ты у консерваторского профессора?

— Да, была. Он нашел, что за месяц занятий с Юлией Ивановной я сделала успехи, но рукой моей остался все-таки недоволен и дал мне несколько указаний, как держать кисть во время октав. Зато мое исполнение Шуберта ему, кажется, пришлось по душе — он очень долго и пристально посмотрел на меня, когда я кончила, и сказал: «Здесь мне делать нечего, прикоснуться — значит испортить!» Говорят, он похвал никогда не произносит, а вот, когда надо разносить и критику наводить, тут он беспощаден и бывает резок; ученице, которая играла передо мной, он сказал: «Идите лучше чулки вязать».

— А свой прелюд ты ему сыграла?

— Да. Ему понравился этот повторяющийся каданс, в котором я изображаю шорох падающих листьев, но мне показалось, что он недоволен моими попытками сочинять: он сказал, что лучше мне не разбрасываться и что композиторство съело уже много талантливых пианистов. И еще он сказал: «Я вот стараюсь вложить в вас мастерство, а через год или два вы выйдете замуж и забросите рояль... Пианист должен быть аскетом». Я поэтому решила, что никогда не выйду замуж, я так ему и сказала, чтобы его успокоить. Отчего ты смеешься, дядя?

— Твои рассуждения иногда так по-детски забавны! Прежде я не хотел видеть тебя профессионалкой, зарабатывающей с помощью музыки, но жизнь складывается иначе, и теперь это лучшее, чего бы я мог желать! В детстве при звуках минорной музыки ты начинала жалобно плакать. Я уже тогда говорил, что ты музыкальна. В четыре года ты не хотела засыпать без колыбельных Лядова и Чайковского. В Березовке, войду, бывало, к тебе в детскую, а ты прыгаешь в кроватке и повторяешь: «Хочу гули-гуленьки!» Ты уже тогда была общей любимицей. Ну, а теперь скажи мне, какая кошка пробежала между тобой и Лелей? Кажется, Леле наскучили все наши увлечения, весь тот мирок, который мы себе создали, чтобы скрасить невыносимую жизнь.

Она тревожно и озабоченно взглянула на него:

— Дядя, милый, я вижу теперь, что счастлива была я одна и не замечала этого!

Как он любил эту детскую изменчивость ее лица! Она вдруг снова улыбнулась:

— Помнишь, дядя, как мы вернулись с тобой в прошлом году с представления «Китежа»? Помнишь, какой был восторг? Как мы полночи подбিরали на рояле запомнившиеся нам отрывки, пока бабушка не поднялась с постели и не разогнала нас по углам. Ты был тогда безработный и на ужин была только вобла с пшенной кашей, а комнаты не топлены, потому что нет дров... Но мы так были счастливы, что не замечали этих невзгод! Какая дивная была тогда весна!

— Помню, — отозвался он и, улыбнувшись, стал смотреть в окно.

— Весна! — проговорил он и умолк, вновь погруженный в невеселые думы. — Вчера Нина... Нина Александровна пела мне романс, которого я прежде не слышал: «Дух Лауры» Листа, слова Петрарки. Боже мой, как это прекрасно! Какая редкая женщина — Нина Александровна! В нетопленной комнате, полуголодная, всегда без денег, затравленная семейными несчастиями — и всегда увлеченная искусством.

— Она много страдала?

— Она пережила много горя, Ася. Замуж она вышла тотчас по окончании Смольного, совсем юной, а тут — гражданская война; муж ее — кавалергард князь Дашков — убит в Белой армии, в Крыму; отец — у себя в имении отрядом латышских стрелков, который грабил округу. Тогда же она потеряла и ребенка. Как видишь, одно несчастье за другим, а теперь постоянные неприятности за титул. Она с ее голосом могла бы быть на первых ролях в Мариинском или Большом, а вынуждена петь на окраинах, по рабочим клубам.

Хорошо еще, что ее в Капелле держат. Капелла и филармония — последние прибежища гонимой нашей аристократии — барон Остенсакен, Половцева, Римские-Корсаковы, брат и сестра, многие... Надолго ли?.. В следующий раз, когда ты увидишь Нину Александровну, постарайся быть с ней поласковой; она очень нуждается — она так одинока! Ты сумеешь.

— Дядя Сережа...

— Что, милая?

Сидя около него на полу, она положила щеку ему на руку, доверчиво глядя ему в глаза, и он видел, как ее щеки становились все розовее и розовее.

— Она, значит, твоя невеста? Да?

Он поднял за подбородок ее просиявшее личико.

— Так ты этого хочешь?

— Конечно, хочу! Я бы так ее берегла, я бы так старалась, что бы она была счастлива! Я научусь сопровождать ей и без конца буду слушать, как она поет. Ты уже сделал предложение?

Сергей Петрович замешкался с ответом, и тут в дверь сильно четыре раза подряд стукнули. Звонок с недавних пор не работал.

— Господи! Прямо-таки стук судьбы в Пятой симфонии. Кто же это так поздно? — всполошилась Ася.

Она побежала в переднюю, досадуя, что непрошенный гость перебил разговор. На пороге вырос дворник.

— Повестка вашему дяде. Распишитесь.

Она расписалась и закрыла дверь, вернулась в кабинет.

— Повестка тебе, дядя Сережа.

Он нахмурился, быстро вскрыл повестку, пробежал глазами и остался стоять неподвижно.

— Что ты, дядя Сережа? — спросила она, увидев изменившееся выражение его лица.

Он не отвечал.

— Что-нибудь случилось? Неприятность какая-нибудь?

— Предписание немедленно выехать в Красноярский край. Завтра в два часа я должен быть на вокзале. Ссылка! Только умоляю, без слез!

В семь часов утра вся семья была уже на ногах. Сергею Петровичу предстояла тысяча необходимых дел — увольнение со службы с «обходным листом», сдача продуктовых карточек и тому подобные формальности, которые неизбежно сваливаются на голову советского гражданина в подобном положении, хотя срок ему в лучшем случае дается три дня, а иногда лишь несколько часов. Наталья Павловна с удивительным присутствием духа распорядилась и складывала вещи сына. Мадам, просидевшая всю ночь над починкой шерстяного свитера, взяла на себя самое ответственное поручение — раздобыть денег — и с этой целью, захватив с собой два серебряных подстаканника и старое бальное платье Натальи Павловны, отправилась на Кузнечный рынок, обещая выручить не менее двухсот рублей и надавать по морде всякому, кто вздумает ее надуть. Асю Наталья Павловна послала прежде всего к Нелидовым, без которых в доме у Бологовских нельзя было представить себе ни одного важного события. Близость эта между Натальей Павловной и Зинаидой Глебовной образовалась за последние несколько лет, после того, как обе понесли столько потерь.

Отправляясь к Нелидовым, Ася после недолгого колебания спросила Сергея Петровича, с которым вместе выходила из подъезда:

— Дядя Сережа, у тебя столько дел... Пошли меня к Нине Александровне, я сообщу ей, чтобы она пришла проститься.

— Бесплезно, Асенька, она вчера уехала в Кронштадт, там подвернулся шефский концерт. Она вернется только завтра. Я передал бабушке для нее письмо.

Ася остановилась.

— Вы даже не проститесь?! Господи, что же будет с ней?

Ася почти не спала эту ночь и теперь от бессонницы и от нервного возбуждения чувствовала, что вся дрожит, когда стучала в черную дверь квартиры, где жили Нелидовы. Парадный вход, как и в большинстве квартир в то время, был закрыт по непонятным соображениям «управдомов», этой хозяйственно-шпионской единицы — самого мелкого представителя власти на местах. Было только 8 утра и на лестнице темно, входная дверь приоткрыта и из кухни слышался визгливый женский голос. Когда Ася постучала, никто не открыл, а крик продолжался:

— Своими глазами я свет у тебя из-под двери видела! Ты всю ночь электричество жгла — цветы свои крутила! Умеешь жечь, умей и платить, вошь старорежимная!

— Я не отказываюсь платить, Прасковья Васильевна! Я заплачу, но неужели же в три раза больше других? Поймите, что мне это очень трудно, — лепетал в ответ голос Зинаиды Глебовны.

— Плати, говорю! А коли не заплатишь, сейчас сообщу фининспектору. Другие бы давно донесли, это уж мы с мужем такие люди, что терпим. Так умей за то уважать людей и не спорь, а дочку изволь приструнить — больно уж зазнается перед нами твоя бездельница!

Ася решила, наконец, войти сама. Зинаида Глебовна, миниатюрная, с усталым, худым лицом, еще сохранившим следы былой красоты, и со свойственным ей теперь постоянным испугом в глазах, стояла около керосинки с чайником, а возле неё огромная туша разгневанной бабы занимала, казалось, половину тесной кухоньки.

— Ася, деточка! Иди сюда, дорогая! — воскликнула Зинаида Глебовна, увидев племянницу, но баба явно не наоралась вволю:

— Наследила-то, наследила по всей кухне! Вытирать за твоими гостями кто будет? Я, что ли?

Только в маленькой, почти пустой комнате, где ютилась теперь семья бывшего камергера, Ася в первый раз расплакалась, бросившись на шею тете Зине и рассказывая о случившемся.

Зинаида Глебовна, как и Наталья Павловна, уже знала долгим мучительным опытом, что отчаяние ничему не поможет и что надо полностью сохранить ясность мысли, чтобы успеть сделать тысячу совершенно необходимых мелочей. И после первых нескольких минут овладела собой, угостила Асю булкой, стала подбирать для Сергея Петровича теплые вещи. У нее сохранился офицерский башлык и шерстяные носки. Зинаида Глебовна извлекла их из кованного железом сундука. Сундук этот с расписной крышкой, на которой были изображены цветы и райские птицы, служил семье Нелидовых еще со времени Иоанна Грозного, а теперь одновременно играл роль кровати — на него стелили тюфяк для Лели.

Через час Зинаида Глебовна, Ася и Леля вышли из дому. Зинаида Глебовна помчалась к Наталье Павловне, а девочки побежали сначала в комиссионный магазин с квитанциями от вещей, сданных на продажу. Магазины эти в то время были завалены самой изысканной утварью, и вещи ждали продажи иногда месяцами.

Сергей Петрович вернулся позже всех, только за два часа до того, как надо было выезжать на вокзал.

— Как ты поздно, Сережа! Мы измучились, ожидая тебя! — воскликнула Наталья Павловна.

— Что же делать, — ответил он, — срок — несколько часов, а нужно переделать тысячу формальностей.

— Садись ужинать, — сказала Наталья Павловна, — неизвестно, когда ты будешь есть!

Он стал отказываться, она настаивала. Садясь, он поймал и поцеловал руку матери; она прижала на минуту к груди его голову. Нелидова и француженка вытерли невольные слезы. «Она уже старая. Увидит ли она его когда-нибудь!» — подумала каждая.

— Продавайте хрусталь, фарфор, бронзу — всё, что найдете нужным, только книги и ноты сохраните по возможности, — говорил он, глотая наскоро завтрак. — Мои романы... Отдайте Нине Александровне — она их любит. Ася, ни в коем случае не бросай занятия музыкой. Скоро ты сможешь давать уроки и сопровождать. Только музыка поставит тебя на ноги. Если я получу работу, тотчас вышлю вам денежный перевод. Только я очень сомневаюсь, что для скрипки там найдется работа, а если они пошлют меня чинить дороги и разгребать снег, то это — конечно, гроши.

— Пожалуйста. Сергей, ничего не высылай! Ведь мы здесь всегда сможем что-нибудь продать. Напиши. Если не будет заработка, мы тотчас вышлем и посылку и деньги, — сказала Наталья Павловна.

— Нет! Этого не будет — на хлеб себе я всегда заработаю, — сказал он, а про себя подумал: «Как знать, там могут запретить мне работать. С некоторым они так делали».

Семейные разговоры прервало появление старой графини Коковцевой. Она жила в том же доме, этажом ниже, и приходила иногда к Наталье Павловне поиграть в вист. Теперь она приплелась, опираясь на палку, поддерживаемая старой горничной, вся в черном, со старинной наколкой на седых бровях. Все поднялись, Сергей Петрович поцеловал ей руку.

— Это. Это Бог знает что! Это такое безобразие! Я напишу в Париж брату! — грассируя, говорила она, точно желая кого-то припугнуть этими словами. Через пять минут она удалилась, чтобы не стеснять своим присутствием в момент расставания. Тотчас вслед за ней в дверь постучала соседка, вселенная недавно по ордеру.

— Там пришел управдом — осведомляется, уехали ли вы?

И тут же на пороге выросла фигура непрошеного гостя.

— Что вам здесь угодно, *товарищ!* — спросил Сергей Петрович и вложил столько иронии в последнее слово, что человек, вошедший в комнату с фуражкой на затылке, учуял нелестное для себя в этом обращении.

— Я пришел проверить исполнение приказа. Я — при исполнении служебных обязанностей, так что вы, гражданин, не очень-то... — пробурчал он.

— Я должен уехать в два часа, а сейчас двенадцать с минутами. Я нахожусь в своем доме на законном основании, а вас попрошу немедленно отсюда убраться. Вы здесь лишний, могу вас уверить!

— Serge, au nom de Dieu!<sup>[13]</sup> — воскликнула Нелидова, хватая его за руку.

— Что вас страшит, Зинаида Глебовна? Это только управдом, а не комиссар чрезвычайки. Этот не имеет власти отправлять на тот свет.

Управдом потоптался на месте и вышел.

— Они изведут всех лучших людей России! И так уже мало осталось! — воскликнула Нелидова.

— Вы несправедливы, Зинаида Глебовна! Меня за мое происхождение следовало бы заморить в одиночке, а меня только высылают. Оцените великодушные совласти!

Он взглянул на часы. Наталья Павловна стояла около дверей кабинета.

— Поди сюда, — позвала она сына и отступила в глубь комнаты. Там она прошептала ему что-то и перекрестила.

Решено было, что поедут провожать только девочки. Нелидова и француженка начали наперерыв объяснять Сергею Петровичу, что положено из теплых вещей и что из провизии следует есть в первую очередь. Они крестили его, он перецеловал им руки и уже двинулся идти, как вдруг послышалось слабое повизгивание — умирающая борзая выползла из-под рояля и делала отчаянные усилия, чтобы добраться до уезжающего хозяина. Все с изумлением переглянулись: неужели она поняла? Она поползла, положила морду на передние лапы и подняла на него кроткие, печальные глаза. Сергей Петрович наклонился к собаке.

— Ну, прощай, бедняга! С тобою, видно, нам уже не увидеться! Да, Диана, плохие пришли времена! — и он почесал ей за ушами. — А где Всеволод Петрович?

Собака взвизгнула и оглянулась. Сергей Петрович повернулся к матери:

— Помнишь, мама, как в Березовке мы с Всеволодом возвращались, бывало, с охоты с полными ягдташами и всегда сохраняли в величайшей тайне, кем сколько убито птиц? Дело-то все в том, что убивал один Всеволод; я вечно палил мимо, а вот она, эта самая Диана, одна была в курсе событий и презирала меня тогда до такой степени, что отказывалась со мной ходить. Однако пора. Иначе опоздаю.

На лестнице он обернулся еще раз: мать стояла на пороге, за нею. — Нелидова и француженка. Все смотрели ему вслед. Наталья Павловна и теперь не плакала, но выражение глубокой скорби лежало на красивом старческом лице и тонкая рука крестила сына. Сколько раз этим жестом она провожала его сначала на фронт в Галицию, потом в Белую армию и, наконец, в ссылку. Он был единственным из ее детей, оставшимся при ней, — старший любимый сын расстрелян, дочь с семьей пропала во время оккупации Крыма. Была минута, ему захотелось подбежать к ней и, как в детстве, припасть к ее груди головой... Он сделал прощальный жест рукой и надев шляпу пошел вниз, шагая через ступеньку. Девочки шли сзади и вдвоем тащили за ремни тяжелый рюкзак который ни за что не хотели надеть ему на плечи.

## Глава шестая

С тех пор как Елочка помнила себя, бабушка ее круглый год жила в небольшом розовом поместье куда на лето к ней слетались дочери. Все эти женщины — бабушка и сестры Елочкиной матери — курсистки-бестужевки — были несколько сухи и своеобразно аскетичны. Одевались строго: иначе, чем в английских костюмах, Елочка даже вообразить их себе не могла. Все ультрамодное вызывало колкие насмешки. «За модой можно следовать только издалека», — провозглашала бабушка. В деревне считали хорошим тоном ходить без зонтиков и без перчаток, балы и приемы считали ненужной потерей времени. Гостеприимство было не в моде: проводив соседей говорили друг другу «Надоели своей болтовней». Не было обидней клички, чем «светская пустышка».

Ни музыкой, ни балетом в этом доме не увлекался никто. Литература, художественные выставки, драматические спектакли — другое дело. Вкус к ним был весьма развит и утончен, а в деревенском доме была богатая библиотека с большим количеством иностранных книг.

Церковных праздников и постов в этой семье не соблюдали и, шутя, говорили друг другу: «Мы потрясаем основы», однако, венчались и отпевали усопших неизменно в церкви. Священников и военных не любили, и погоны Елочкиного дяди — хирурга — вызывали все ту же брезгливую гримаску. Елочкин отец, безвременно погибший талантливый земский врач, был в этой семье особенно уважаем.

К придворному миру и аристократии относились несколько иронически; Елочка хорошо помнила такие выражения, как «раздулся от сословной спеси» или «понес аристократическую чушь», но наряду с этим, сколько собственного превосходства вкладывалось в слово «провинциалы», с которым другие неизбежно связывали нечто отсталое и затхлое. Как артистично французили за столом, не желая быть понятыми горничной!

По политическим убеждениям все были кадеты. Монархисты и большевики одинаково подвергались беспощадной критике. Войну 1914 года приветствовали дружным взрывом патриотизма. В это время, перед лицом опасности, сплотились воедино все партии страны, кроме, разумеется, одной. А в миниатюре и все члены семьи. Что касается Елочки, тогда двенадцатилетней девочки, то именно в это время она ощутила духовную связь с материнским гнездом наиболее остро.

В этой семье все были сдержанны. Общая крепкая спаянность установила молчаливое взаимопонимание, при котором разговоры о чувствах и всякая задушевность не поощрялись. Сюда уходила корнями и замкнутость Елочки. Видеть смолянкой единственную внучку и племянницу не вполне согласовывалось с либеральными принципами этой семьи. Много толковали о том, что маленькую Елочку следует перевести в гимназию, и лучше бы всего в Стоюнинскую, как наиболее передовую, но в Петербурге заботиться о девочке было уже некому, и, таким образом, институт оказался незаменимым, как только Елочка достигла школьного возраста. Только каникулы она проводила в семье.

«Смольный принес мне новые веяния и многое во мне переделал, но та резкость в суждениях и манерах, которая нам органически свойственна, осталась. Моей суровости и гордости, а также отсутствию всякого кокетства я обязана вот этой семейной родовой специфике и ее передовым настроениям. Бабушка и тетки оставались ревностными хранительницами семейного духа, с которым покончить сумела только революция и в котором мне чудится нечто чеховское», — писала Елочка в дневнике.

Революция и в самом деле, не прибегая на сей раз к кровавым репрессиям, все-таки нанесла свой сокрушительный удар по этому дворянскому гнезду средней руки; поместье было отобрано, оторванная от родной почвы, очень скоро на городской квартире угасла бабушка. Одна из молодых теток Елочки попала в Финляндию, и известия о ней прекратились. Другая вышла замуж и преподавала теперь вместе с мужем в

Екатеринбурге, который уже был Свердловском.

Таким образом, родных, кроме дяди-хирурга, у Елочки в Петербурге не осталось. Никто не дрожал над ее целомудрием, над ее здоровьем, над ее радостями. Она вынуждена была сама прокладывать себе дорогу, она — служащая!

Погруженная в печальные думы о своей семье и своей судьбе, она выходила однажды из клиники, когда уже в вестибюле ее окликнула пожилая, неопрятно одетая женщина, лицо которой показалось Елочке знакомым. Женщина поспешила себя назвать — это была бывшая сестра милосердия Феодосийского госпиталя. Про ее мужа, доктора Злобина, рассказывали, что он выдавал чекистам офицеров, поименно называя каждого. Елочка хотела пройти мимо, но Злобина задержала ее руку.

— Вы работаете здесь, Елизавета Георгиевна?

— Да, на мужском хирургическом. Простите, я тороплюсь.

— Погодите, погодите, миленькая! Вот вы и разговаривать со мной не хотите. Грешно вам. Видите ведь, что я совсем больная.

Елочка приостановилась:

— Что с вами?

— Ох, не спрашивайте! Недавно из психиатрической выпущена. Признали, будто выздоровела, и бумажку дали, что работать могу, а кому такая работница нужна? Все отделаться стараются, мыкаюсь из учреждения в учреждение — никто не берет.

— Как никто не берет? Вот у нас ведь работаете?

— Ох, нет! Только временно. На постоянную не примут. Я уже все пороги обила — нужда заела.

— А муж ваш? Или его в живых нет?

— Муж меня бросил на что я ему теперь?

Елочка взяла ее за обе руки.

— Извините, я не знала. Выйдемте вместе, поговорим.

— Я помню, что вы добрая, жалостливая! Иначе я к вам и не обратилась бы. Уж очень много я от людей презренья вижу, — всхлипнула Злобина.

Елочка еще раз оглядела ее: поношенное пальто, из воротника торчит вата, растрепанные волосы выбиваются из-под косынки, глаза припухшие, красные, перчаток нет. Даже странно, что медсестра может иметь такой неопрятный вид! А выражение глаз испуганное и растерянное — немудрено, что не принимают!

— Давно вы одна? — спросила Елочка.

— Давно... а с ним не легче было — корил меня... неприятности из-за меня были. Он партийный, главный врач больницы, а я богомольная очень — ему на вид ставили; в стенгазете меня нарисовали: в платочке и руки для молитвы сложены, а подписали: «Жена одного хирурга». Ему, конечно, неприятно.

— Ваш муж карьерист, это всем давно известно, — надменно произнесла Елочка.

— Я поняла, о чем вы... — проговорила Злобина. — Всего в двух словах, моя миленькая, не расскажешь... Загляните ко мне, мое золотко. Мне вот сюда, в этот дом. Зашли бы, чайку выпили, а то я все одна да одна!

Елочка заколебалась, тон этой женщины претил ей — Елочка была очень чувствительна к *sonne il*



faut[14], а вместе с тем ей кое-что хотелось узнать...

Комната оказалась запущенная, неряшливая, почти пустая. Электрическая лампа, засиженная мухами, спускалась с потолка прямо на шнуре, стол оставался неубранным, на стенах Елочка разглядела следы клопов.

— Вот какое жилье-то у меня убогое! Пока сидела у Бехтерева, милые соседи все порастащили, а и было-то немного, — начала Злобина, и, только разливая чай, вернулась к вопросу, интересовавшему Елочку.

— Нелады с мужем, у меня именно с того времени пошли. Очень уж винить моего Мишу, конечно, нельзя — он по убеждениям всегда был красный и офицерство терпеть не мог... — продолжала та.

— Ну, знаете, — перебила Елочка, — такой поступок иначе как подлость нельзя и расценивать, каковы бы ни были политические симпатии человека. Если вы будете защищать своего супруга, я убегу! Я не буду сидеть у вас за столом. — И Елочка уже хотела встать.

— Правильно, миленькая, правильно! Я не защищаю. Я сама с того дня покой потеряла. Вы помните, какой я была хохотушкой? С того дня я смеяться перестала.

— Почему? — спросила Елочка, уловив что-то странное в ее голосе.

— Не знаю, как и рассказать. Вы сочтете меня и в самом деле за полоумную. Только это не сумасшествие, нет!

Она оглянулась и сказала шепотом:

— Они виделись мне иногда... Когда стемнеет, проходят бывало, по коридору мимо моей комнаты...

— Кто — они?

— То один, то другой... — те, расстрелянные!

Елочка с ужасом взглянула на нее. Господи! Да она в самом деле ненормальная! Очевидно, помешалась на этой почве.

— Знаю, что вы думаете. Так и врачи мне говорят: психоз, психуете. Да ведь психоз-то оттого и случился, что я вся извелась. Психоз только два года назад прикинулся.

— Анастасия Алексеевна, я никогда не поверю, чтобы мертвые ходили по коридорам — их души должны быть очень далеки. А кроме того... виноват ваш муж, а вы можете спать совершенно спокойно, уверяю вас.

— Вы это, миленькая, как медсестра мне говорите, я это отлично понимаю. Повадились они ко мне, это точно. Я и мужу рассказывала.

— Ну а он что?

— Ох, как сердится и кричит, и грозит, бывало, особенно как я с перепугу по церквам зачастила. Он меня и в больницу сплавил: кабы не больница, я бы и теперь работала, нужды не знала. Всё из-за него.

— В этом случае ваш муж прав был, Анастасия Алексеевна! Нельзя было вас оставлять без помощи.

— Нет, нет, голубушка моя! Вы мне этого не говорите! Я ему мешала! Он меня нарочно в больницу упрятал, чтобы скандалы кончились, да чтобы ему свободней было с другими женщинами водиться. Он и комнату хотел у меня отобрать. Хорошо, я комнату отсудила. В суде, небось, не помешал мой психоз. Началось еще с того вечера в Феодосии, в двадцатом году. Я пошла туда... в Карантин... Пошла к приятельнице и засиделась. А туда с наступлением вечера привезли расстреливать... и бросали тут же в колодцы... Вы помните, там же много колодцев было. Туда! Жители в дома запрятались и ставни

позакрывали, а я сдуру в сад выскочила, да к забору. Вечер уже, и ветер гудит, и туда их бросают без молитвы, без отпевания... страшно! Доверху трупами колодцы набили и заколотили досками. Когда я потом домой бежала, я слышала, кто-то еще стонал. Я голову платком закрыла и опрометью...

— О, не говорите, не говорите! Слышать не могу!

— Так вот и я, подкатило мне что-то к горлу... Господи, думаю, и это все через моего мужа! Бегу и дрожу. Ну, а в ночь после того было у меня в госпитале дежурство...

— Как дежурство? Разве после прихода красных госпиталь еще функционировал?

— А как же! У красных свои раненые были и солдаты наши еще лежали.

— И вы остались работать? Это беспринципно, простите!

— Как сказать! И те и другие — люди, и тех и других жаль. К тому же и увольняться страшновато было — репрессий боялась. Осталась. А вы помните наш госпитальный коридор?

— Очень хорошо помню.

— Ну вот, я пошла ночью по этому коридору в буфетную за кипятком — озябла очень, хотелось чайком согреться. Коридор длинный, темный, совсем пустой. После расправы в коридоре этом по щиколотку крови было, опилками засыпали. Иду это я и думаю, что пол все еще мокрый... И тут, в первый раз... С тех пор пошло: как только одна останусь, так и страх приползет, что опять увижу их. Особенно, когда, бывало, муж на ночное дежурство уйдет. Этак навязывается, лезет в голову — сейчас, вот сейчас! Сердце заколотится, в груди холодно станет, и опять промелькнет перед глазами, а то так встанет, и стоит.

Они помолчали.

— Вы тени видели или разбирали лица? — спросила Елочка.

— Тени чаще, а случалось — лица. Полковника с усами помните? Он все, бывало, говорил, что ему нельзя умирать — семья большая, дети. Вот он и сейчас как будто стоит...

— Где стоит?

— А вот там у печки, в углу... Не видите? Угол-то левый не такой, как правый, — весь сереет и движется. А вот и фуражка николаевская проступила. Неужели не видите?

— Не вижу. Вот сейчас, чтобы доказать вам, что там пусто пройду и проведу рукой.

Елочка встала и храбро пошла к печке.

— Вот... — никого?

— Ну как так никого — рукой сквозь него прошли.

— У вас освещение нехорошо налажено. Это лампа раскачивается, тени колышатся, вот вам и мерещится.

Сестра милосердия улыбнулась на слова Елочка, как улыбаются на лепет младенца. Скрипнула половица, и Елочка вздрогнула. «Это начинает действовать на нервы», — подумала она. Она еще раз пристально взглянула на Анастасию Алексеевну: та сидела, устремив глаза на печной угол, губы ее слегка кривились, а все выражение лица было такое странное, болезненное, почти юродивое.

— А вот молодой не приходит, — сказала она.

— О ком вы говорите? — спросила Елочка.

— Молодой, говорю, не приходит. Помните, лежал у нас поручик, почти мальчик. У него было ранение в легкое и в висок с сотрясением мозга. Не помните?

Щеки Елочки стали пунцовыми.

— Нет, — прошептала она, застигнутая врасплох.

— Неужели не помните? Красивый такой юноша, гвардеец, с двумя Георгиями... у окна койка... бредил сильно... всегда ведь, кто в голову. В нашей палате он всех тяжелее ранен был. Я забыла сейчас фамилию...

Елочка хорошо помнила фамилию, но подсказать не решалась — боялась снова покраснеть.

— Вы про этого поручика какие-нибудь подробности знали? — все-таки выговорила она.

— Да, болтали у нас, что их самых сливок общества, паж, кажется. Уверяли, что смельчак; на самые, будто бы, рискованные рекогносцировки вызывался... а, по-моему, так маменькин сынок, недотрога...

Елочка возмутилась:

— С чего вы взяли? Он так героически держался на перевязках: никогда не застонет, не пожалуется, не позовет лишний раз.

— Положим, что и так, а из-за пустяков скандалы устраивать мастер был. Сколько раз персоналу из-за него доставалось. Помню, раз отказался взять стакан у санитаря — уверял, что тот пальцы ему в чай обмакнул. А с сестрой Зайцевой скандал вышел.

— Что такое? Я ничего не знаю.

— Вы, помните, тогда уже больны были. Зайцева эта и в самом деле очень уж бойко держалась, не вашего дворянского воспитания. Какую-то она себе с этим раненым вольность позволила; сказала ли что, или... жест неудачный, а только тот поднял историю — вызвал дежурного врача и потребовал, чтобы Зайцева к нему не подходила. Волновался так, что дежурный врач, перепугавшись, поспешил перебросить ее в другую палату. Ходила она весь день с красными глазами, боялась, что вызовет главный врач. Зачем такую неприятность устраивать человеку, скажите? Что он — девица красная, которую оскорбили, подумаешь?

Но Елочка с достоинством вскинула голову.

— Если Зайцева была нетактична — поделом ей! Сестра милосердия всегда должна быть на высоте. Еще что было?

— Повязка раз у него вся промокла, а сестра не заметила — получила разнос от дежурного врача. А то раз санитар письмо какое-то, не спросив позволения врача, ему передал прямо в руки. Опять была от дежурного нахлобучка из-за него же!

Елочка встала при мысли об этом письме, которое помнила наизусть. Она стала прощаться.

— Анастасия Алексеевна, умеете ли вы носки штопать? У нас в больнице сторожика хорошо этим подрабатывает. Хотите, я соберу вам штопку?

— Спасибо, миленькая. Не откажусь. Дело нетрудное.

— Прекрасно. Я соберу и занесу вам на днях.

Она шла домой душевно растерзанная: все как будто снова приблизилось к ней — госпитальная палата и он, который даже в бреду говорил: «Погибла Россия». Она любила воображать: как паук плетет свою паутину, так она придумывала и рассказывала себе длинные истории в которых действующими лицами были она и он — все он же! В историях этих она продолжала то, что оборвал скосивший ее тиф. В своем воображении она на следующий день опять приходила в госпиталь; ему было лучше, он мог говорить, и она придумывала фразы, которые они говорили друг другу: город берут красные... он еще слаб,

и она помогает ему выбраться из госпиталя, и после скрывает в своей комнате, как скрывали у себя придворные дамы во времена Варфоломеевской ночи гугенотов — офицеров. Потом они вместе бегут из города, и, наконец, объяснение в любви. Это объяснение она воображала себе в самых романтических и возвышенных красках; ее целомудренное воображение ни разу не нарисовало даже поцелуя. Он говорил ей, что она — героиня, настоящая русская женщина, которая для спасения любимого человека не побойтся ничего.

И на этом ее история кончалась. Дальше было уже неинтересно! Что воображать дальше? И, кончив на этом месте, она начинала эту историю сначала, с того же заколдованного места, по той же канве, но каждый раз с новыми деталями.

Этим историям она отдавалась обычно по дороге на службу и со службы, иногда в длинные часы по вечерам, в тишине своей молчаливой комнаты, когда сидела за починкой белья. У нее была уютная аккуратная комнатка с белой кроватью, старинным бабушкиным комодом красного дерева, книжным шкафом и маленьким пианино. У кровати висели фотографии родителей и ее самой в форме сестры милосердия, а в углу — икона Спас Нерукотворный. В этот вечер вид комнаты успокоительно подействовал на нее. Здесь как будто уже выкристаллизовалась и застыла в воздухе вся та внутренняя напряженная жизнь, которой она жила. Ее думы, ее воспоминания и фантазии, весь ее духовный мирок, запечатлевшийся на окружающих предметах, теперь как будто возвращал ей ее энергию, излучая невидимые токи. Она была здесь в своей стихии.

Раздевшись и поправив волосы, она подошла к комоду открыла один из ящиков и достала сестринский передник и косынку Феодосийского госпиталя, аккуратно завернутые в марлю. Теперь уже не носили такие! Косынки теперь надевали повойничком, а не длинные спущенные, а передники — без красного креста и затянутой талии — просто белый халат. С формой изменилось и название, из сестры милосердия она стала «медсестрой» — работающей за деньги советской служащей, и разом сброшен был ореол романтизма с белой косынки! Медсестра уже не имела того образа, который был у сестрицы в глазах как офицеров, так и самых простых солдат. Если она стала медсестрой, то только потому, что надо было зарабатывать на жизнь. Она развернула передник и косынку: знакомый тонкий аромат повеял от них в лицо, она воспринимала его как эманации уже ушедшей души, исполненной того изящного героизма и аристократического благородства, которые ей так нравились.

Пробкой от флакона, в котором еще оставалось немного жидкости, она коснулась своих волос, что всегда делала в минуты, когда особенно остро подступала тоска. «Вот это то, что есть у меня; все, что в нашем воображении гораздо реальней действительности», — сказала она себе. Это был ее символ веры, который спасал ее в минуты душевной слабости, когда вдруг охватывало тоскливое ощущение неполноценности существования. «Сегодня я буду думать дальше! Я остановилась на том, как он говорил бы со мной на следующий день, уже в полном сознании». Но сколько ни пыталась Елочка включить мысль в ритм своего повествования, со всеми разработанными уже ею деталями, ей не удавалось в этот вечер соткать любимую паутину. Словно ядовитая муха попала в неё и жужжала ей в уши о колодцах и призраках. Воображение упорно рисовало страшных комиссаров в кожаных куртках — они приставляли револьверы к груди метавшегося в бреду юноши... А может быть, он уже не бредил? Может быть, уже очнулся и знал, что они пришли убивать? Знал и смотрел им прямо в глаза! «Если бы я была там, я бы не допустила! Я что-нибудь бы придумала? Я бы спасла его! Это все тиф проклятый! Теперь я никогда никого не люблю, потому что уже никогда не встречу такого! Таких теперь нет. Жизнь такая скучная, такая бесцветная, серая». И сколько ни убеждала она себя в реальности воображения, — глухая тоска подымалась со дна ее души. Она не спала ночь и утром встала бледная, с красными глазами.

Немые вещи способны иногда вмешиваться и обострять печаль... Один из старых книжных шкафов,

принадлежавших раньше Елочкой бабушке, не помещался в комнате и стоял в коридоре, вызывая постоянное неудовольствие соседей. Елочка держала его обычно запертым на ночь. В этот раз ключ, видимо, забытый ею, торчал в замке и ухватил ее за рукав. Елочка поспешно открыла дверцу, чтобы осмотреть, все ли книги на месте, и тут же впервые ей бросился в глаза, в укромном месте на нижней полке, сверток газет, перевязанный шнурком, и надпись, сделанная рукою бабушки, — «сохранить, как чрезвычайно интересное». Это оказалась газета «Новая жизнь», издававшаяся в 1918 году. Странно, почему раньше она не привлекала ее внимание? Почему для этого потребовалось вмешательство старого ключа? Там, в этой газете, в гневной статье, озаглавленной «января 1905 г.», расстрел большевиками манифестации в честь Учредительного собрания приравнялся к «кровавому воскресенью»!

«Правда» знает, что к Таврическому дворцу шли рабочие Василеостровского, Выборгского и других районов... Именно этих рабочих расстреливали, и сколько бы ни лгала «Правда», она не скроет позорного факта!» И дальше: «Лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредительного собрания, — политического органа, который дал бы всей русской демократии возможность свободно выразить свою волю. На жертвенник этой священной идеи пролиты реки крови, и вот народные комиссары приказали расстрелять демонстрацию, которая манифестировала в честь этой идеи». И это писал ГОРЬКИЙ! Елочка была поражена! Так вот почему соввласть закрыла навсегда эту газету! И не выдает на руки ни одного экземпляра! Так вот почему в изданиях сочинений Горького нет ни одной статьи из этой газеты, а только избранные цитаты. Так вот как мыслил писатель — гордость пролетариата! Да, «людей, которые не признают авторитета и власти комиссаров, найдется в России десятки миллионов, и всех этих людей перестрелять невозможно» — статья от 3 мая 1918 года. Да, «Большевизм — национальное несчастье, ибо он грозит уничтожить зародыши русской культуры в хаосе возбужденных им грубых инстинктов» — 22 мая 1918 года. «Большевицкие правители выбросили лозунг — «грабь награбленное», и это есть не что иное, как переведенный на современный язык клич волжских разбойников: «Сарынь на кичку!» — 8 мая 1918 года. Да, это все так, но какой же выход из этого тупика? Кто выведет из всего Россию? Великий ум писателя словно читал ее мысли. И на минуту поднялась опущенная голова. «Стало быть, мой ум не столь уж ограничен, он не женский, он не пустой. Он способен к историческому анализу!»

Следующий вечер опять принес болезненное впечатление. Она была приглашена к Юлии Ивановне, где часто собиралось небольшое, очень интеллигентное общество и заводились содержательные разговоры под оранжевым абажуром у круглого стола.

В этот раз среди гостей находился бывший генерал, выпущенный недавно из советского концлагеря. Человек этот своей красивой седой головой и старомодной изысканной вежливостью произвел большое впечатление на Елочку, напомнив своей осанкой тех военных, которых ей случалось видеть в институтских залах в дни приемов; отчасти и ее собственного дядю, но без боевых отличий. Говорил он умно и убежденно, и, как начинал гудеть его генеральский бас, она тотчас настораживала внимание. Но одна фраза больно врезалась ей в сердце. «Ясно было с самого начала, что из белогвардейского движения толку не выйдет. Оно было нежизненно! Слов нет — офицерские батальоны умирали красиво, но этого еще недостаточно, чтобы повернуть вспять колесо истории», — сказал этот человек.

Елочка, застенчиво притаившаяся в углу в своем темно-синем костюме, не смогла пропустить такую фразу без возражения.

— Почему нежизненно? — и покраснела при этом, как пятнадцатилетняя.

— Движение это не могло увлечь за собой массы. Царизм уже изживал себя, а лозунги большевиков — такие, как «братание на фронте», «земля крестьянам», или «долой империалистов» — были слишком многообещающи и ярки. Стихийно всколыхнувшиеся массы, разумеется, ринулись на эти лозунги. Надо было вовсе не иметь политического чутья, чтобы не понять, что победа большевиков предreshена. Белое

движение уже никогда возродиться не сможет.

Елочка почувствовала, как судорога сжала ей горло, но все-таки выговорила:

— А разве мало было среди белогвардейцев героев?

Вдруг блеснули глаза из-под нависших седых бровей:

— Больше, чем это было нужно, милая девушка! И когда-нибудь история реабилитирует их память. Ведь это только теперь, при советской нетерпимости и идейной узости, можно всех противников полностью выдавать за презренных мерзавцев. Большевики шли под знаменем интернационала и марксизма, и уже одно это возбуждало протест в образованной части общества. Незаслуженное пятно будет смыто, но реабилитирована будет только память, отнюдь не задачи. Запомните, дитя мое.

Красивый старик галантно поцеловал у Елочки руку, но царапина, которую нанесли его речи, не закрылась тотчас же. Хотелось никогда больше не слушать никаких высказываний на эту тему, забиться в щель, заткнуть себе уши. Это было горше издевок и поношений, потому именно, что говорил это *свой*.

Чувства Елочки к монарху и монархии странно двоились. За эти годы она значительно развилась и многое прочла. У нее создалось уже достаточно ясное представление, что монархия, как таковая, обречена и уже нет ни одного крупного европейского государства, где бы монарх являлся действительным правителем страны, а не декоративной фигурой. При той огромной сложности управления, которая наваливалась в двадцатом веке, монархический строй выглядел беззащитно. И вместе с тем он еще сохранял свое обаяние в глазах многих и многих людей, и даже в ее собственных. Среди интеллигенции она замечала в последнее время неожиданно возрождавшуюся симпатию к особе Государя. Даже в такой либеральной семье, как семья Юлии Ивановны, о Николае теперь говорили, отмечая его исключительный такт и воспитанность, а также ту смелость, с которой он показывался в обществе и перед народом (не в пример Сталину), удивлялись выдержке, которую он проявил в минуту отречения, подчеркивали его непричастность к событиям Кровавого воскресенья, опровергали даже его пристрастие к вину!

— Помилуйте, — я сидела в Бутырке вместе с Воейковой. Уж она-то стояла очень близко к царской семье, и сама говорила мне, что Государь вовсе немного пил; вся беда была только в том, что он хмелел после первой рюмки, и этим умели пользоваться.

Или:

— Позвольте! Да в чем же тут виноват Государь? Девятого января он был в Царском Селе, это уже всем известно.

Вот что теперь говорилось о убиенном Николае в споре с теми клеветническими выпадами и грубейшими издевками, которыми непрестанно осыпала недавнего монарха советская печать всегда бессовестная.

В институте, в первые дни войны, Елочка была влюблена в Государя, он представлялся ей впереди полков на белом коне, и она молилась по ночам в своей кровати, чтобы немецкая пуля его пощадила. Позднее она поняла, что живет в мире фантазий, но и теперь она не перестала видеть в Государе прекрасные черты. По своему внутреннему и внешнему облику это был идеальный тип гвардейского офицера. Не его вина, что он не обладал государственным умом; не каждый рождается Петром Великим! Ей жаль было его и его детей, но она соглашалась с мнением, что успешно царствовать он не мог. А Белая армия, как блок всех партий против большевиков, могла бы принести спасение России, если бы, победив, установила в стране строй, подобный английской конституционной монархии или передала власть Учредительному собранию.

Так, по крайней мере, казалось Елочке.

## Глава седьмая

А тут еще эта Ася! При всем нежелании ее видеть, она наскочила на эту девочку в музыкальной школе. Ася стояла в коридоре у дверей класса и очень оживленно болтала с теми мальчиками, которые так бешено аплодировали ей. Глаза еврейчика и «Сашки» были устремлены на Асю с самым искренним восхищением, но разговор был вполне невинный — Ася и Сашка критиковали Верди, а еврейчик им восхищался.

Незамеченная Елочка несколько замедлила шаг, прислушиваясь к болтовне этих подростков, обладавших такой завидной музыкальностью, и, хотя ничего предосудительного не услышала, осталась тем не менее очень недовольна. «Сенаторская внучка, а хохочет по коридорам, как советская школьница, и позволяет плебеям ухаживать за собой!» — подумала она, забывая, что Ася еще почти девочка и что у всех троих много общих интересов. В чем состояло «ухаживание», Елочка не сумела бы объяснить, но тонкое очарование этой талантливой девушки пошатнулось в ее глазах.

Окончив урок, Елочка уже вышла из музыкальной школы, когда услышала быстрые легкие шаги, настигавшие ее по темному переулку. Она обернулась и увидела Асю в «бывшем» соболе с порт-мюзик в руках.

— Как вы поздно возвращаетесь? С кем-нибудь разговорились? — спросила Елочка не без стародевического ехидства.

— Юлия Ивановна назначила меня аккомпанировать в «Патетическом трио» Глинки; надо было договориться с виолончелистом и скрипачом, — ответила Ася.

— Как живете, Ася? — холодно бросила Елочка.

— У нас несчастье — дядя Сережа выслан по этапу в Сибирь, — печально ответила девушка.

— Выслан? За что? — и тут же Елочка осознала глупость этого вопроса.

— Да разве станут объяснять? За то, что дворянин, за то, что офицер! Принесли повестку вчера в одиннадцать вечера, а сегодня в два часа дядя должен быть уже на вокзале. Куда-то в Красноярский край.

— А как же... На что же вы теперь жить будете?

— Не знаю... Продавать вещи будем... я попробую давать уроки... Не это страшно... Разлука с дядей Сережей для бабушки большое горе, и потом еще неизвестно, в каких условиях он там будет.

Голос Аси дрогнул. Елочка, не двигаясь, смотрела на Асю, и ей странно было, как она могла отречься от дружбы с этой девушкой. Они стояли в эту минуту перед репродуктором (передавали «Пиковую даму»), и Елочке казалось, что звучащие, несколько искаженные, темы рока, соединяющего Германа и старуху, звучат как рок, соединяющий ее и Асю.

— Дядя Сережа такой талантливый человек... — продолжала горестно лепетать Ася, — у него такие чудесные романсы... Он столько читал... Неужели он будет грузить дрова или разметать снег с ворами и разбойниками? Без симфонического оркестра и без книг он затоскует и не вынесет такой жизни... У нас в семье гибнут все, все! Один за другим! Я дома не плачу, совсем не плачу! — словно оправдываясь, прибавила она.

Елочка обняла ее.

— Царство тьмы! — сказала она и замолчала, так как по пустынному в этот час переулку прошла какая-то фигура. — Царство тьмы! — повторила она, когда фигура удалилась. — Они губят все лучшее, как

светлое! К сожалению, еще не все осознали, что за ними безусловно стоит темнота, что их вожди — ее адепты. Им надо убить, понимаете ли, убить Россию, и в частности поразить ее мозг, русскую мысль, русское сознание. Для этого они губят носителей этого сознания. Ваше горе — горе России.

Ася подняла на нее изумленные глаза.

— Видели вы гравюру в Эрмитаже? — продолжала с увлечением Елочка. — Прекрасная девушка лежит, раненная, на спине, раскинув руки, а вокруг собираются хищные птицы, чтобы терзать ее, и подпись: «Belle France»<sup>[15]</sup>. Вот так лежит теперь наша Россия, смертельно раненная в мозг и в сердце!

— Да, да, это так! — прошептала Ася. Рука об руку они пошли медленно по направлению к Литейному.

— Если бы вы знали, как у нас грустно в доме, — опять начала Ася. — А тут еще борзая умирает и стонет человеческим голосом. Вот уже третью ночь она плачет, а я стою над ней, а чем помочь — не знаю!

— Позвольте! Ведь ей же можно впрыснуть морфий, нельзя же вам не спать, — воскликнула Елочка.

Ася тотчас насторожилась.

— Морфий? Это яд?

— Нет — болеутоляющее и одновременно снотворное. Я могу забежать и впрыснуть ей.

— А вы разве умеете?

Елочка усмехнулась.

— Боже мой! Как же не умею! Ведь я сестра милосердия еще со времени Белой армии... в Крыму.

Ася взглянула на нее с новым восхищением:

— А я тогда была еще девочкой и играла в куклы, и Леля, моя кузина, тоже!

Уговорились, что Елочка придет через час сделать впрыскивание собаке. Ася дала адрес и, прощаясь, спросила:

— Скажите... мне показалось или в самом деле вы холодны были со мной в первую минуту?

Елочка невольно подивилась ее чуткости.

— Да... была минута. Забудьте. Я одинока и дорожу каждой привязанностью.

В десять вечера с волнением Елочка нажимала на кнопку звонка. Отворили Ася и Леля вместе. Ася тотчас представила Лелю, говоря: «Моя двоюродная сестра». Это заставило Елочку зорко взглянуть на Лелю, так же зорко она оглянула комнату, в которую ее ввели: нужда придавала особенное благородство былой роскоши. Пожилая француженка, сидевшая за починкой белья около изящного столика под лампой с абажуром, переделанным из страусового веера, как бы дополняла интерьер. Елочка улыбнулась от удовольствия, услышав ее изящный парижский выговор.

Елочке показалось, что горе этой семьи невидимым отпечатком лежит на каждой вещи, сквозит во множестве незаметных деталей. В том, что Ася понизила голос почти до шепота, спрашивая мадам, можно ли войти к бабушке, присутствовало то же горе. И даже в том, что в комнате было немного холодно и Леля, зябко передернув плечиками, подула себе на маленькие руки, было что-то от того же.

Леля тоже подходила под мерку «похоже» — изящная блондиночка с пышными вьющимися волосами; черты ее по-своему повторяли черты Аси, но капризная линия губ и прикрытый челкой лоб, который у Аси был таким высоким и ясным, сильно отличали Лелю. На щеке улыбалась хорошенькая темная родинка. По всему было видно, что в семье этой Леля занимает свое уютное место и кровно с ней



связана. Французенка называла ее, как и Асю, *chère petite*<sup>[16]</sup>. Постучали к Наталье Павловне, и Елочкой опять овладело беспокойство.

Комната Натальи Павловны еще больше хранила старый дух: мебель красного дерева, божница с серебряными образами, из которых некоторые были византийского письма, несколько изящных предметов датского фарфора, а главное — большое количество миниатюрных фотографий в овальных рамках, заполнявших всю стенку над письменным столом; большинство этих фотографий изображали людей в мундирах лучших гвардейских полков. Самая старая дама, державшаяся еще очень прямо, с красивыми, несколько заострившимися чертами лица и короной серебряных волос, оживляли собой эту иллюстрацию прошлого семьи. От Натальи Павловны веяло незаурядным самообладанием и чувствовалась аристократическая замкнутость. Говоря, она слегка грассировала — привычка, которая сохранилась у многих дам ее поколения и шла от постоянного употребления французского языка.

Представляя Елочку, Ася непременно упомянула, что та была сестрой милосердия у Врангеля. Наталья Павловна пожала ей руку и сказала, указывая на Асю и Лелю:

— Там, в Крыму, погибли отцы вот этих девочек.

Елочка наклонила голову.

Перешли опять в первую комнату; Ася и Леля полезли под рояль и за углы тюфячка осторожно выволокли несчастную собаку. Сразу было видно, что за парализованным животным заботливо ухаживают, аккуратно меняют подстилки. Время, когда Елочка замирала от страха при мысли о шприце, давно миновало. Теперь она уверенно и смело отдавала свои распоряжения: в одну минуту прокипятили инструмент, смазали йодом лапку, и Елочка ловко взяла иглу, Диана не сопротивлялась, лизала руки Аси, которая ее держала.

— Собаки — удивительные существа, — сказала Ася, — они знают вещи, которых не знает человек, и мне иногда кажется, что их понимание тоньше нашего, только направлено на иные явления. Большое животное всегда так жаль — ведь оно не может ни пожаловаться, ни объяснить...

— А помнишь, Ася, ту собаку? — спросила Леля.

— Какую? — заинтересовалась Елочка.

— Была одна собака, которую мы не можем забыть, — ответила Ася. — Это было в Крыму, летом, когда мы были еще девочками. Нас перегоняли в Севастополь.

— Как перегоняли? Кто же вас гнал? — опять спросила Елочка.

— Тогда были арестованы дядя Сережа и Лелин папа. Их вместе с другими арестованными вели под конвоем китайцы... Никто не знал, куда... Тетя Зина и несколько других жен шли сзади, и мы обе с мадам шли за ними... Куда же нам было деваться? Моей мамы и папы моего в живых уже не было... И вот, когда мы шли так далеко... среди мертвых песков... Ведь там, вокруг Коктебеля, холмы и желтые бухты выжжены летом от зноя. Вдруг к нам подошла собака. По-видимому, в этой партии вели ее хозяина, а она была поранена конвойным, который ее отгонял. Видно было, что она идет из последних сил. Споткнется, упадет, потом встанет, пройдет еще немного и снова припадет на передние лапы и смотрит умоляющими глазами... Она боялась отстать и умереть... Когда мы ее гладили, она лизала нам руки, точно просила ей помочь. Мы замедляли нарочно шаг, чтобы она поспевала за нами, а мы и без того отставали. Тетя Зина и мадам кричали нам, чтобы мы не останавливались и шли, потому что нас ждать никто не будет... Они боялись потерять из виду отряд. Мы шли и оборачивались.

— Я помню, — перебила Леля, — мадам кричала мне: «Погибла Россия, погибло все, а теперь ты теряешь отца и плачешь о собаке! Тебе не стыдно?» А я и сама понимала, что если уж плакать, то о папе, но

ничего не могла поделаться — мне как раз собаку было жаль.

— Со мной вот кто еще был, — сказала Ася и, подойдя к креслу у камина, сняла старого плюшевого медведя с оторванным ухом, ростом с годовалого ребенка. — Это мой любимец. Я несла его тогда на руках. Мы в то время много еще не понимали, что происходит вокруг нас. На другой день после того, как мы узнали судьбу Лелиного папы, мы с ней прыгали через лужу, которая натекла у порога нашей мазанки, и смеялись так звонко, что тетя Зина выбежала нас унять и обозвала бессердечными...

Наталья Павловна окликнула в эту минуту Лелю, та убежала, Елочка и Ася остались одни.

— Садитесь сюда, к камину, — сказала Ася, — жаль, он не топится, у нас почти нет дров. Расскажите немножко о себе. Ваши мама и папа живы?

— Нет. Родителей я потеряла еще в раннем детстве. Мой отец, земский врач, погиб при эпидемии холеры. Бабушка отдала меня в Смольный. Наш выпуск был последним. Теперь из родных у меня остался только дядя; он хирург, а я — операционная сестра. Иногда по воскресеньям у него обедаю. Вот и все. Говорить о себе я не умею. — Но через минуту она прибавила тише и мягче: — Я очень одинока.

Ася по-детски ласково прижалась к ней.

— У вас тоже на войне погиб кто-нибудь? Муж, брат, жених?

— Нет. Когда все кончилось, мне было только девятнадцать лет. И с тех пор никто никогда мне не нравился. Я не была замужем.

— Когда все кончилось? — переспросила Ася с недоумением в голосе.

— Ну, да. Когда *они* победили. С тех пор я уже не могла думать о счастье. Какое тут счастье, когда Россия в такой беде..

Большие невинные глаза Аси с недоумением взглянули на Елочку из-под длинных ресниц:

— Вы совсем особенная! Не думать о себе, потому что несчастна Родина! А я вот только о себе и думаю. Но мое счастье пока еще под покрывалом феи.

— Ну, вы — другое дело! Вы тогда еще были девочками и не могли пережить так, как я, трагическую муку тех дней. Вы почти не помните людей, которые тогда погибали. Россия взывала к своим героям: они шли, падали, вставали и снова шли. Вот и ваш отец был, очевидно, из числа таких же. Я работала в госпитале в те дни и видела, как эти люди умирали, — в бреду они говорили о России. А те, которые поправлялись, едва встав на ноги, снова бросались в бой. И этот героизм остался непрославленным — наградой были только расстрелы, лагеря... А теперь уже нет таких людей! В советской стране никто не любит Родину, нет рыцарского уважения к женщине, нет тонкости мысли, нет романтизма, ничего нет от Духа! Это — хищники, троглодиты, которые справляют хамское торжество — тризну на костях и на крови. Среди них мне никого и ничего не надо. Знаете, у Некрасова: «Нет, в этот вырубленный лес меня не заманят, где были дубы до небес, а нынче пни торчат!» — Говоря это, Елочка печально смотрела в холодную пустоту камина.

— Вы так говорите, как будто был кто-то, кто был вам бесконечно дорог и кого вы потеряли в те дни, — совсем тихо сказала Ася.

Елочка вздрогнула.

— Я вам напомнила, простите! И все-таки скажите... скажите мне — был такой человек, я угадала?

— Был, — тихо проговорила Елочка.

— Кто же он? Офицер, как мой папа?

— Да.

— Он был убит?

— Нет, ранен. Я в госпитале его узнала.

— Вы ухаживали за ним?

— Да, у него было тяжелое ранение. Никогда не забуду, как коротко и часто он дышал... Я все время боялась, что он задохнется.

— Эта рана была смертельная?

— О, нет! В том весь ужас. Ему только что стало лучше... и вот...

— Что же?

— Красные взяли город. Они окружили офицерские палаты и расправились с ранеными. А он ведь еще не вставал с постели. Я в это время болела тифом и ничем не могла помочь. Я даже не могу узнать, как это было. С тех пор все для меня кончилось. Все! — Наступило молчание. — Другие умеют забывать, а я — нет! — сказала опять Елочка. — Я видела его всего несколько дней и все-таки не могу забыть ни одного его слова, ни одного жеста! Я всегда о нем думаю, всегда.

— А он любил вас?

— Нет, состояние его было крайне тяжелое. Романа не могло быть — поймите, однако перед операцией он попросил меня не отходить — значит, все-таки чувствовал ко мне доверие, симпатию... Раз он подарил мне флакон духов и, откупоривая, залил мне передник. Это все, что осталось у меня о нем на память.

— Если попросил быть рядом — значит любил. А как его звали?

— Ну, нет! Имени и фамилии я вам не назову! — живо возразила Елочка. — Вам знать не для чего, а мне не так просто выговорить. Обещайте, что вы никому не расскажете того, что я рассказала. За все эти годы я не проговорила никому — вам только.

— Обещаю. О, да — обещаю! Спасибо, что рассказали. А он был красивый? — Нота наивного любопытства прозвучала в голосе Аси.

— Об этом я тогда не думала. Красивый... но ведь я его видела перевязанным, в постели... И все-таки... по всему — по лицу, по разговору, по каждому жесту — было понятно, что этот человек очень тонко воспитанный. Храбрец с двумя Георгиями!

— Это было так давно... — сказала задумчиво Ася. — А он ведь не был вашим женихом... Неужели вам не хочется снова полюбить и быть счастливой?

Елочка быстро сделала отрицательный жест.

— Нет, не хочу. Не хочу и не могу, не сумею начать сначала. Я не вижу теперь таких людей, как он, а я могу полюбить только такого. Для меня в этом чувстве заключается все — моя любовь к России, моя любовь к героизму, мое преклонение перед человеком, который отдал жизнь Родине! Это все вошло в меня слишком глубоко. Тоска по нему — лучшая часть моей души. Я не хочу увидеть себя с другим, я бы тогда перестала себя уважать.

Ася смотрела на Елочку как замороженная, не смея пошевелиться.

— Я очень люблю стихотворения Блока, — заговорила опять Елочка. — Когда я их читаю, мне приходят иногда странные мысли, очень странные... Возможность новой встречи и любовного единения там... после смерти... вне тела. У Блока в стихах о «Прекрасной даме» мысль эта высказана совершенно

ясно: «Предчувствую тебя, года проходят мимо...» или «Ты идешь! Над храмом, над нами беззакатная глубь и высь». Вот тогда, при такой встрече, он увидит и оценит мою верность; тогда найдет свое оправдание мое одиночество. Понимаете ли вы, что значит для меня такая мысль и как много она мне дает?

Глаза Елочки ярко светились, каждый нерв дрожал в ее худом и смуглом лице. Ася почувствовала себя совсем маленькой рядом с ней.

— Какая я жалкая и пустая по сравнению с вами. Никакого отречения, никакой жертвенности во мне нет, ни капельки! Мне всегда хочется только счастья! Он на коленях передо мною, белые цветы... чудные разговоры... полная задушевность во всем. Мне счастье представляется таким светлым, захватывающим, обволакивающим, как туман. Я очень люблю детей; я воображаю себе иногда, как буду купать моего бэби в ванночке, где плавают игрушечные золотые рыбки и лебедки: или пеленать его в кружевные конвертики. В семь-восемь лет я очень любила укачивать кукол. Я пеленала свою Лили или плюшевого мишку и ходила с ними по комнате, убаюкивая. Я любила колыбельную «гули-гуленьки» и еще казачью лермонтовскую. И всегда мне грустно делалось, когда я пела. Я даже представить себе не могу жизнь без бэби. Это тоже очень большой секрет от всех.

— Ну, это у вас будет! Можете не беспокоиться! Иметь детей может каждая прачка. Ни вашего таланта, ни вашего изящества тут не потребуется!

Ася почувствовала себя виноватой и свой лепет глупым.

Вошла француженка и сказала Асе по-французски:

— Сейчас звонила княгиня Дашкова. Она вызывала мсье Сержа. Я не знала, что ей ответить, и сказала, что еще нет дома.

Елочка дрогнула.

— Дашкова? Вы знакомы с Дашковыми?

— Oh, oui! C'est une personne nune famille tres aristocratique![\[17\]](#) — ответила ей француженка.

У Елочки вертелось на губах множество вопросов, но она не решилась их задать. Ее пригласили к чайному столу, но, не желая показаться назойливой, она стала прощаться. В передней, уже у порога, отважилась, однако спросить:

— Скажите, у этой дамы... у княгини Дашковой, не было ли среди родственников белогвардейского офицера?

— Ее муж был убит под Перекопом, — ответила Ася.

«Убит!» — думала Елочка, медленно спускаясь по лестнице... Поразмыслив, она решила — очевидно, не он. Ведь он был ранен и добит. К тому же он, конечно, не был еще женат. Ему всего-то было 22 года, этот возраст значился в истории болезни; и обручального кольца у него не было, а только перстень пажей. Елочка была потрясена тем, что именно в семье у Аси, к которой ее так потянуло, услышала она эту фамилию!

## Глава восьмая

*Мы — дети страшных лет России —*

*Забывать не в силах ничего.*

*А. Блок.*

Месяца полтора тому назад подруга Нины Дашковой по Смольному институту, в прошлом Марина Сергеевна Драгомирова, а ныне Риночка Рабинович, гуляя по парку Царского Села, вышла на площадь перед Екатерининским дворцом, около Лицея, и увидела двери любимой петербуржцами Знаменской церкви открытыми. Охваченная желанием перенестись в любимую ей когда-то атмосферу торжественности Храма, она переступила порог почти пустой в этот час церкви. Около Знаменской иконы Божьей Матери красными пятнышками теплились восковые свечи, тихий голос читал Канон. Она подошла к образу, встала на колени и на одну минуту припала головой к полу, в смутном порыве повторяя: «Господи, прости мне мои грехи! Я могла бы быть лучше, но Ты знаешь, как я была несчастна». Под грехами Марина подразумевала прежде всего то, что она вышла гражданским браком за еврея, не питая к нему никакого чувства, вышла потому, что он занимал хорошее место и был настолько обеспечен, что она в настоящее время одна среди всех своих подруг могла одеваться по моде, иметь прислугу и автомобиль, между тем как еще недавно она перебивалась с соленой воблы на картофель и работала за гроши регистраторшей в больнице. Но как ни хороши были модные туалеты и автомобиль, а полюбить человека, доставившего ей эти блага, — она не чувствовала себя способной, она не могла даже перестать стыдиться его перед подругами, упрекала себя за это и ее тяготило сознание, что она оказалась способной отдаться по расчету. Временами ее охватывали порывы раскаяния и отчаянных сожалений.

Итак, она припала головой к полу, а когда подняла голову, то увидела в нескольких шагах от себя мужчину высокого роста, лет двадцати восьми, с благородным лицом. Ей бросился в глаза жест, которым он держал свою истрепанную кепку — так держали обычно свои кивера с плюмажем блестящие гвардейцы, и ей невольно вспомнились торжественные молебны в Преображенском Соборе. Она взглянула еще раз на его лицо и встретила с ним глазами. Отводя взгляд, она подумала, что где-то видела этого человека, но где? Молитва уже не шла ей на ум, и через несколько минут она снова обернулась на него и увидела, что он в свою очередь пристально всматривается в нее. Глаза их встретились, и он наклонил голову, как будто желая выразить этим, что не может приветствовать ее более почтительно в церкви. «Неужели это Олег Дашков, beau-frere [\[18\]](#) Нины? Быть не может! Как он изменился! Она поднялась с колен и отошла на несколько шагов от иконы, как бы приглашая его этим подойти к себе. Он приблизился. Темные глаза, под которыми лежала тень от бессонных ночей, впились в нее.

— Марина Сергеевна? — спросил он.

Ей трудно было поверить, что этот человек с измученным лицом, одетый почти как нищий, тот блестящий кавалергард-князь, с которым она танцевала когда-то мазурку на свадьбе Нины.

— Олег Андреевич! Вы? Откуда вы? Не с того ли света? Нина считала вас убитым! Где вы пропадали все это время? — зашебетала она.

— Так вы видите с Ниной? Стало быть, мне вас послал Сам. Бог! Я разыскиваю ее безуспешно уже несколько дней. Где она?

— Нина в Петербурге. Она, слава Богу, жива и здорова. Как она будет рада видеть вас! Господи, страшно подумать, как изменилась жизнь да эти одиннадцать лет, что мы с вами не виделись, и мы... Как изменились мы за это время!

— Вы сравнительно мало, Марина Сергеевна. Вы еще молоды, хороши, элегантны, а я... вот меня, я полагаю, трудно узнать, да это и лучше!

В его интонации было что-то подавленное и горькое.

— Если вас не шокирует разговаривать с человеком, похожим на нищего, выйдемте вместе, чтобы не мешать молящимся.

— Олег Андреевич, как вам не совестно говорить так! Теперь лохмотья — лучший тон. Я и сама еще недавно была в лохмотьях и уважала себя больше, чем сейчас!

Они вышли из храма и подошли к маленькой скамеечке под липами, покрытыми инеем.

— Где же вы были все это время? — спросила она, садясь.

Он не сел, а стоял перед ней по-прежнему с обнаженной головой, и в изяществе его осанки было что-то такое, что безошибочно изобличало в нем гвардейского офицера.

— Рассказывать о себе было бы слишком длинно и скучно для вас, Марина Сергеевна. Это очень безотрадная повесть. В настоящее время я только что освобожден из концентрационного лагеря; три дня назад вернулся из Соловков.

— Вы?! Из Соловков? Боже мой!

— Вас удивляет это? Да кто же из лиц, подобных мне, избежал этой участи? Я провел семь с половиной лет на погрузке леса в Соловках и Кеми и в настоящее время получил освобождение за окончанием срока. Освобожден я, сверх ожидания, без всяких «минусов», а потому приехал сюда, разыскать Нину. Она единственный человек, оставшийся в живых из нашей семьи. Я думал, что могу еще быть полезен вдове и ребенку моего брата.

— Ребенку? У Нины нет ребенка, умер тогда же, младенцем. Она была в ужасных условиях... Вы про это не говорите с ней — это ее трагедия.

Он нахмурился:

— Вся наша жизнь — трагедия самая неудачная. А брат считал себя отцом, и когда умирал... — Он замолчал, видимо, вновь подавленный.

«Сказать или не сказать ему, что Нина стала артисткой и что у нее есть любовная связь. Нет, не скажу, пусть говорит сама», — думала Марина.

— Итак, вы знаете ее адрес? Вы можете проводить меня к ней?

— Могу и с радостью сделаю это через несколько дней. Дело в том, что сегодня Нина уехала на Свирстрой в концертную поездку. Она теперь зарабатывает пением — надо же на что-то жить.

— Через несколько дней? Для меня это новое осложнение: видите ли, отыскивая Нину, я думал отчасти и о себе — мне необходимо получить где-нибудь пристанище. Я без всяких средств в настоящую минуту и не могу снять комнату или угол, а между тем, пока я нигде не прописан, меня отказываются принимать на работу. Получается заколдованный круг, из которого я не могу выпутаться. Ночевать под открытым небом мне не в диковину, но мне нужно начать зарабатывать как можно скорее. Четыре дня — это вечность для человека в моем положении.

— Ну, это пусть вас не беспокоит. Это мы как-нибудь устроим, а остановиться можно у Нины и в ее отсутствие: там ее братишка и тетка. Идемте, прежде всего, на вокзал, через сорок минут поезд, мы еще успеем на него. В вагоне мы обсудим дальнейшее, — и она быстро пошла вперед. — Сколько лет вы не были в Петербурге? — спросила она.

— С восемнадцатого года, уже десять лет! Все так изменилось, особенно люди. Я чувствую себя совсем чужим. Никого из прежних родных и друзей я до сих пор не могу найти. Вот и сюда, в Царское Село, я приехал, чтобы отыскать семью, очень близкую когда-то моим родителям, но их не оказалось, мне открылись чужие. А между тем, на эту поездку я истратил последние деньги. Я точно с другой планеты сейчас.

— А вас арестовывали разве не здесь?

— Нет, в Крыму, вскоре после взятия Перекопа, — сказал он, озираясь, не слушают ли их.

— Вы ранены были, у вас шрам на лбу?

— Да, еще тогда, в Белой армии.

Они входили уже в здание вокзала, когда она заметила, что он вдруг зашатался и схватился рукой за стену.

— Что с вами? — спросила она испуганно.

— Простите, пожалуйста, голова закружилась, сейчас пройдет.

Она смотрела на его бледное до синевы лицо, и с быстротой молнии у нее мелькнула мысль: он без денег, наверное, голоден, — и после минутного колебания сказала робко:

— Олег Андреевич, вы питаетесь теперь нерегулярно. Вы, может быть, проголодались и хотите закусить в буфете? Я с удовольствием одолжу вам.

— Благодарю вас, Марина Сергеевна, я буду вам очень признателен, если вы одолжите мне рубль или два, чтобы я мог купить себе булку и выпить стакан чаю — я верну с благодарностью, как только устроюсь на работу.

Она торопливо открыла сумочку:

— Вот, пожалуйста, простите, что я не догадалась с самого начала...

Как она, в самом деле, не догадалась? Неужели эти страшные десять лет ничему ее не научили, и нищета и голод в ее представлении до сих пор связывались с человеком из народа, протягивающим руку, а не с человеком ее круга, сохранившим благородную манеру и прямую осанку?

Через несколько дней положение несколько определилось. Олег был прописан в комнате с Микой — четырнадцатилетним братом Нины. Держа в руках документы Олега, Нина с удивлением увидела, что они выписаны на чужую фамилию. Он дал ей полное объяснение того, как это случилось. В ноябре 1920 года он был без сознания от ран, полученных во время отчаянных боев за полуостров. Денщик, желая спасти его от неизбежного расстрела, в ту минуту, когда отряд красных окружил госпиталь, отобрал у Олега его документы и положил к его изголовью чужие — только что скончавшегося рядового, по которым он значился уже не гвардейским поручиком князем Олегом Андреевичем Дашковым, а фельдфебелем, мещанином по происхождению, Осипом Андреевичем Казариновым.

Это спасло его от расстрела, которому были подвергнуты почти поголовно раненые офицеры.

Возвращаясь к жизни, Олегу пришлось забыть не только прежние привычки и образ жизни, но и прежнее имя. Скоро, однако, ему так опротивело имя Осип, что он пошел на риск и перед получением советских документов залил чернилами имя, оставив заметной лишь первую букву. Подозрений это, к счастью, не возбудило никаких, так как число букв совпало, как и первая буква. Таким образом ему удалось вернуть имя, полученное при крещении, и «совсправка» была выписана на Олега Андреевича Казаринова.

Нина слушала его со страхом.

— Олег, вы играете в опасную игру. Я понимаю, что она вам навязана всей обстановкой, что у вас нет выбора, и все-таки... Уверены ли вы, что вас никто не узнает и не выдаст из тех, кто знал вас раньше? Что ни в ком не возбудят подозрения ваши манеры, ваш разговор, ваше лицо, в котором нет ничего мещанского? Уверены ли вы, что не запутаетесь в бесконечных анкетах, которые вам придется заполнить при поступлении на любую службу? Ведь ваша биография теперь вся вымышленная.

— Вся. Но я ее зазубрил и повторяю в одном и том же варианте. Согласно моим документам, я сын столяра. Год моего рождения уже не тысяча восемьсот девяносто шестой, а девяносто пятый, я работал в Севастополе на заводе и был насильно завербован белыми; потом ранен и находился на излечении в госпитале, когда красные занимали Крым. Ну, а потом... Потом картина несколько меняется к худшему, так как Олег Казаринов уже выступает в роли укрывателя «классового врага». Дело в том, что, покинув госпиталь, я и мой денщик пристроились работать лодочниками, чтобы как-то существовать, а жили в заброшенной рыбацкой хибарке. Вскоре к нам присоединился знакомый мне гвардейский полковник, тоже скрывавшийся под чужим именем. Его узнали и выдали — очевидно, кто-то из местного населения, а мы были привлечены к ответу за укрывательство. Наказание я уже отбыл — семь с половиной лет в Соловках! Полагаю, достаточно! Надеюсь, что за «пролетарское» происхождение вина моя, наконец, забудется.

Он поцеловал ей руку, и она заметила горечь на его лице. Она почувствовала, что слишком холодна, а ведь у него, кроме нее, нет никого на свете, и она сказала тихо:

— Горе сушит человека, не правда ли, Олег?

— Не всегда, Нина, но я ничего больше не мог ожидать — я учитываю обстоятельства, ведь я и сам давно ожесточился и очерствел.

«Да, вот это, наверное, так», — подумала она, вспоминая его красивым юношей, кружившим головы ее подругам.

Однако ей в первые же дни стало ясно, что он хоть и не хотел признаться в этом, а был несколько уязвлен ее холодностью и теперь старался держаться как можно дальше, желая, по-видимому, показать, что не намерен докучать ей своей особой. Он ходил на вокзал грузить и носить вещи и покупал себе на вырученные деньги хлеб и брынзу. Зная, что он не может быть сыт, она несколько раз входила к нему, чтобы поставить перед ним тарелку с вареной треской или картофельным супом; два раза он принял это и поцеловал благодарно ее руку, пробормотав: «Я надеюсь, что в скором времени смогу отплатить за все...» Один раз отказался, говоря, что заработал на этот раз больше и сыт, но ни разу сам не вошел в ее комнату, когда она и Мика садились за свой, тоже скудный обед, ни разу не попросил даже стакана чая. А с поступлением на работу оказалось не так просто, как думалось сначала. Олег владел свободно тремя иностранными языками — вот это и давало ему надежду получить место, так как после того разгрома, которому подверглись образованные люди за эти годы, владеющие языками, были наперечет и учреждения расхватывали их, отбивая друг у друга. И все-таки работа ускользала от Олега: в каждом учреждении его охотно соглашались принять, но как только дело доходило до неизбежных в то время анкет и автобиографий, картина менялась, начинали говорить:

— Мы вам дадим знать, наведывайтесь.

Или:

— У вас нет нужной квалификации.

Ясно, что каждый директор крупного учреждения заботился о своей безопасности и принимал только тех, кто никоим образом не мог быть отнесен к категории классового врага.



Дело грозило затянуться и неизбежно затянулось бы, если б не вмешалась Марина. Ее муж, Моисей Гершелевич Рабинович, занимал крупный пост в порту, где была как раз острейшая необходимость в людях, владеющих иностранными языками. После нескольких сцен, устроенных старому еврею хорошенькой женой, он согласился зачислить Олега в штат. Он был заранее предупрежден о содержании анкеты, и в этот раз прогулка Олега в порт не оказалась напрасной. Нина заметила, что Дашкову было неприятно это непрошенное вмешательство женщины в его дела, неприятно, что ради него происходили семейные сцены у чужих ему людей, но делать было нечего. Как ни страдала его гордость, он все-таки пошел представляться незнакомому еврею в назначенный час. В кабинете Моисея Гершелевича между Олегом и Рабиновичем произошел непредвиденный Мариной и Ниной разговор. Подавая заполненную только что анкету, Дашков неожиданно для самого себя сказал:

— Считаю своим долгом вас предупредить, что анкета эта соответствует моим документам, но не соответствует действительности.

Старый еврей зорко взглянул на него из-под круглых роговых очков, и Олег не мог не отметить пронизательности этого взгляда.

— Ну, а вы думали, что я этого не понимаю? Ну, и какой же я был осел, если бы не понял сразу, что вы такой же Казаринов, как я князь Дашков? Но к чему нам об этом говорить? Я принял Казаринова и принял потому, что мне не хватает кадров, а это грозит срывом работы — я так и заявлю в парткоме. Я вас зачисляю не штатным работником, а временным. Ну, а фактически, если работа пойдет успешно, вы у нас останетесь надолго. И помните — я ничего не знаю.

Эта фраза сопровождалась характерным жестом рук. Олег поклонился и вышел. «А он умен, — подумал Олег, — говорит с акцентом и интонация самая еврейская, но даже это не делает его смешным».

Таким образом был улажен один из основных вопросов его существования. Оставалось — наладить отношения с Ниной, которая с появлением Олега окончательно потеряла спокойствие; ей постоянно чудилось, что приходят их арестовывать. По ночам она вскакивал в холодном поту, прислушиваясь к воображаемому звонку и рисуя себе все подробности обыска.

Общенья ее с братом были очень далеки от задушевности, Мика, рождение которого стоило жизни его матери, был на шестнадцать лет младше Нины и еще учился в школе. Учился с отвращением, несмотря на хорошие способности и живой, любознательный ум. Но дело не в способностях и не в уме — преподавание велось бездарными и ограниченными, наспех подготовленными людьми, сбивать и путать которых меткими вопросами стало с некоторых пор любимой забавой Мики. Отвращению к школе способствовало и то, что все молодое поколение во главе с пионервожатой немилосердно травило Мику за княжеский титул и за «отсталое мировоззрение», под которым подразумевалась религиозность. Религиозность эта проявилась в Мике как-то неожиданно, с бурной силой, удивившей Нину. Он не только ревностно посещал церковные службы, но отправлялся иногда далеко, на правый берег Невы, на монастырское подворье Киновию, чтобы прослушать уставную монашескую службу. Мика очень взрослому рассуждал, что в жизни «правды нет», а только «ложь и суета», что большевизм послан в наказание за грехи их дедов и прадедов, которые вели слишком праздную и роскошную жизнь, и что он убежит в Валаам, как только станет взрослым. Он даже уверял, что у него уже составлен план бегства, и этим страшно раздражал Нину. Всякие объяснения между ними почти всегда кончались ссорами. В последнее время Нина заметила, что Мика начинает сторониться ее, и поняла почему. Он осуждал ее за связь с Сергеем Петровичем. Для него, нахватавшегося на свежую душу аскетической суровости, в этом было что-то постыдное и запрещенное. Она несколько раз собиралась поговорить с ним, объяснить ему положение вещей и те трудности, которые встали перед ней и Сергеем Петровичем, но гордость удерживала ее. «Ах, все равно, пусть думает что хочет». И она махнула на него рукой, как махнула уже на

многие вопросы своей жизни, не разрешая их.

В первых числах января она уехала на два дня в Кронштадт подработать на шефском концерте, а когда вернулась, узнала в Капелле о ссылке Сергея Петровича. В первые дни не хотелось жить. Но со временем необходимость кормить себя и брата брали свое, и, преодолевая нестерпимую боль в душе, она волей-неволей подходила к роялю. Ей самой было странно, что она могла петь и что не только голос ее звучал серебром нетронутой юности, но по-прежнему каждая исполняемая вещь подхватывала ее, как на крыльях, и заставляла дрожать все струны ее души, как будто горести еще усиливали дар артистического упоения. «Но ведь это одно, что мне осталось теперь», — говорила она себе, как будто оправдываясь перед собой.

Как-то вечером она сидела в своей заброшенной, холодной комнате на старом диване, за шкафом; на коленях ее лежало старое, крашеное платье, служившее ей для выходов на эстраду; она безуспешно пробовала его чинить, но мысли ее были далеко — в теплушках для перевозки скота, где ехали ссыльные по великому сибирскому пути. Легкий стук в дверь заставил ее вздрогнуть. На пороге появилась Марина, они поцеловались, сели на диван.

— Я все знаю. Пришла тебя навестить. Когда это случилось с Сергеем?

— Три дня назад, я была в Кронштадте, мы даже не простились; мне в Капелле сказали.

Марина сочувственно взяла ее за руку и взглянула ей в глаза.

— Ну, как же ты?

— Что ж, вот и этот. Немного давал он мне счастья — я чаще плакала, чем смеялась во время его визитов, но все-таки был хоть какой-то луч — человек, которого я ждала. Он оживлял собой эту пустоту, он понимал мое пение; за роялем у нас бывали чудные минуты. А теперь — никакого просвета. Вот я сижу так, по вечерам, и чувствую, как из этой темноты на меня ползет холодный, мрачный ужас.

— У него, кажется, есть мать? — спросила Марина.

— Да, мать и племянница. Он был очень привязан к обеим, для них работал. Они теперь в отчаянии. Но я все-таки несчастнее их. У этой Аси — молодость, невинность, будущее, любовь окружающих, у меня — ничего. Мертвящая пустота, и так изо дня в день, как нарыв. Знаешь, я эгоистка: я убедилась, что думаю не столько о нем, что он оторван от всего и едет вдаль, сколько о себе, как я несчастна, потеряв последнее. Или я недостаточно его любила?

Она ненадолго умолкла и вновь стала жаловаться на свою жизнь — нечего есть, не во что одеться и одеть Мику, ни единого полена дров, не заплачено за квартиру.

— Теперь с халтурами будет труднее — ведь это Сергей постоянно подыскивал их себе и мне... Ну, а как ты? Всегда элегантна и цветешь, счастливая! — и она поправила на подруге модную блузочку.

— Не завидуй, Нина. Мне эта элегантность дорого стоила! Продалась старику, вот и одета.

— Марина, зачем так? Ты честная жена, во всяком случае жена вполне порядочного человека, который обожает тебя.

— И все-таки этот человек купил меня. Нина, милая, ведь это не секрет, это знают все, а лучше всех — я сама! Вышла я за моего Моисея только для того, чтобы не быть высланной и не умереть с голоду где-нибудь в Казахстане. Ни о какой любви с моей стороны не было даже разговора. Ведь ты же знаешь...

Она говорила это, вертя перед собой маленькое зеркальце и подкрашивая губки, говорила обычным тоном, как о чем-то решенном.

— Любит, да, — она усмехнулась, — но я-то не люблю! Нина, в этом все. Это делает мое положение

мучительным и фальшивым. Для меня нет хуже, как остаться наедине с мужем, потому что мне не о чем с ним говорить, тяжело смотреть ему в глаза, отвечать на его ласки... А потом взгляну в зеркало и вижу, как я еще красива и молода, и делается так обидно и горько. Думаешь: природа дала тебе все, чтобы быть счастливой, но все, что могло бы быть радостью, превращается в пытку!

Она спрятала зеркальце.

— Во всяком случае ты уважаешь же его? — не унималась Нина.

— Уважаю, но как-то словно, отвлеченно. Я стараюсь ценить его отношение к себе, но он мне не интересен. Он вовсе не глуп, но мелок как-то. Ему не хватает культурных поколений. Мы уже перестали это ценить, а между тем, как это много значит! Нет-нет да и прорвется то грубость, то ограниченность... И потом его окружение... Терпеть не могу его родню. Когда они собираются, они устраивают настоящий кагал, и эта мелочность убийственная! Я всегда чувствую, какая бездна разделяет меня и их не потому только, что я интеллигентнее их, а еще потому, что мы — русские — пережили за это время такое море скорби, которое не снится этим самодовольным евреям.

— Скорби за Россию от них трудно и ожидать, — согласилась Нина, — но ты говоришь, как настоящая антисемитка. Я привыкла думать, что среди евреев есть множество прекрасных людей. Мой отец был о них высокого мнения. Вышла бы ты за русского из мещан, и было бы то же самое. Уж поверь.

— Может быть, и так. Но разве это меняет что-нибудь? Марины Драгомировой больше нет! Ну, довольно об этом. Что твой beau-frere, расскажи о нем, — сказала она по ей одной понятной ассоциации.

— Олег? Мы мало разговариваем, он все больше у Мики в комнате; мне кажется, что, узнав про мою любовь к Сергею, он стал меня сторониться. Но вчера, когда он узнал о ссылке Сергея, он пришел ко мне и провел со мной около часа, очень сочувственно расспрашивал, но, безусловно, только из вежливости.

Она помолчала, вспоминая что-то, и потом сказала с улыбкой.

— А помнишь, как ты была равнодушна к Олегу, когда была девушкой? Кто знает, может быть, и завязался бы роман, если бы не революция! Помнишь наш разговор в моем будуаре, когда ты меня уверяла, что в Олеге есть что-то печоринское?

— Я и теперь скажу то же.

— Теперь? Нет. Раньше действительно он был интересен, и кавалергардская форма шла ему. А сейчас у него вид затравленного волка, и этот шрам на лбу его портит. Марина, ты плачешь? Да что с тобой, моя дорогая? Или ты опять равнодушна к нему?

Марина открыла лицо:

— Все, что было тогда, — пустяки, Нина. Так, девичьи мечты. Разве я тогда умела любить? Я была слишком легкомысленна и весела для большого чувства. А вот теперь... Теперь, когда мне уже тридцать один, когда я уже так истерзана, а счастлива еще не была, теперь я могу любить каждым нервом, теперь это действительно женское чувство. Нина, душечка, ты как будто удивляешься... он не в твоём вкусе, я знаю, но ты послушай, пойми. Помнишь, тогда, в тот вечер, когда я его встретила, — я подумала тотчас же, что он и в лохмотьях смотрится с достоинством. А потом, когда я привела его к тебе на квартиру, Мика очень скоро ушел ко Всенощной, и я, видя, что Олег от усталости почти падает, велела ему лечь на диване, а сама уже надела шляпку, чтобы идти домой, но зашла к твоей тетушке и немножко с ней поболтала. Потом я хотела уже выйти, да вдруг подумала, что ему очень неудобно лежать, а сам он о себе не позаботится. Я взяла диванную подушку, вот эту, чтобы подложить ему под голову. Он не ответил, когда я постучала: тогда я вошла совсем тихо: он лежал одетый на диване и уже спал. Я смотрела на его заостренные черты и темные круги под глазами, и так мне его было жаль! Знаешь, той волнующей,

женской жалостью, от которой до самой безумной любви всего один шаг! Мне кажется, что если бы он тогда проснулся и раскрыл объятия — я бросилась бы к нему на грудь и отдалась без единого слова, забыла бы мужа, забыла бы все... но он не шевелился. Я стала подкладывать подушку, тут он открыл глаза и, увидев меня, тотчас вскочил — корректно, с извинением, как чужой. Что мне было делать? Я вышла и ничем не выразила этой невыносимой, душившей меня жалости, не обняла, не положила его голову на свою грудь. Все похоронила в душе, все! — она плакала.

В дверь постучали. Марина встрепенулась, как испуганная птица:

— Это Олег! Он увидит, что я плакала. — И, схватив любимое зеркальце, спешно стала пудрить свой носик. Нина надвинула абажур и сказала:

— Войдите.

Олег вошел. Он был высокого роста, худощавый, стройный шатен. Черты лица его были красивы, особенно в профиль, но несколько заострены, как после тяжелой болезни. Лоб пересекал глубокий шрам — след старой раны, который шел от брови к виску и скрывался под волосами. Он вошел и, поцеловав руки обеим дамам не сел, пока Нина не предложила ему. Эта церемонность, по-видимому, была ему свойственна.

— Ваша жизнь кажется, налаживается понемногу, Олег Андреевич? — спросила Марина, и даже голос ее звучал как-то иначе в обращении к нему.

Он отвечал вежливо, но сдержанно, видимо, не желая переходить в задушевный тон. Разговор завертелся на трудностях жизни и неудачах большевиков: Марина, что-то рассказывая, небрежно перелистывала страницы бархатного альбома с серебряными застешками, взятого ею со стола.

— Простите, если я перебую вас, Марина Сергеевна, — сказал Олег, — я вижу в альбоме портрет матери. Позвольте взглянуть. Я не знал, Нина, что у вас сохранились семейные карточки.

— Возьмите этот портрет себе. Я буду рада подарить вам его, — сказала Нина.

— Благодарю, — ответил он коротко и вынул карточку.

— Дайте и мне взглянуть, — сказала Марина.

Он передал портрет, но как-то нерешительно, как будто не желал расставаться.

— Какая ваша мама красивая! У нее прекрасный профиль и такие кроткие глаза. Давно она скончалась?

Последовало минутное молчание, и Марина почувствовала, что этого вопроса лучше было бы не задавать.

— Княгиня расстреляна у себя в имении, — сказала Нина.

Марина не удержалась от восклицания ужаса:

— Расстреляна? Женщина?! За что?

— Вы спрашиваете? Вы разве забыли, где вы живете? — жестко усмехнулся Олег, — жена свитского генерала, тоже расстрелянного, мать двух белогвардейских офицеров — разве этого недостаточно?

И, обращаясь к Нине, он спросил:

— А портретов моего отца и брата у вас не сохранилось?

— Нет. Они на всех фотографиях в мундирах, я вынуждена была сжечь все карточки, а вчера я занималась тем, что сжигала записочки Сергея. Я стала труслива, как заяц, — продолжала она, — по ночам

я не могу спать, я все жду что придут за мной или за Олегом, или за обоими. Я вскакиваю при каждом шорохе. Это становится у меня *idée fixe*. Представляешь, Марина, мой социальный профиль — ее сиятельство, вдова белогвардейца, у себя принимала другого белогвардейца, только что сосланного, а в квартире у меня... — она запнулась.

— А в квартире у вас, — подхватил Олег, проживает под чужим именем третий белогвардеец. Вы ведь это хотели сказать? Да, наша с вами безопасность сомнительна!

## Глава девятая

*Он ходил, мировой революции преданный*

*Подпирая плечом боевую эпоху*

*А. Сурков*

Нина была убеждена, что несчастливый рок, тяготевший над ее жизнью, имел способность распространяться на всех окружающих и особенно на живущих с ней под одной кровлей людей. «Не сближайтесь лучше со мной, я приношу несчастье, — часто говорила она. — Радость избегает даже тех, кого я люблю». Старый дворник, Егор Власович, единственной отрадой которого были церковные службы, постоянно журил Нину за ее философию, усматривая в ней нечто противное вере и промыслу Божию, но прочие обитатели квартиры соглашались с Ниной.

Если кто с утра шел в очередь, в кухне предрекали: «Ну, наши не получат, мы ведь несчастливые»; если на улицах начиналась очередная кампания по штрафованию прохожих, говорили: «Уж из наших непременно кто-нибудь попадет, нам так не везет». Кухня играла роль клуба в этой квартире и одновременно служила и прачечной, и прихожей. Парадный ход, как в большинстве домов в это время, был наглухо закрыт. Причину не сумел бы объяснить ни один управдом. Всего в этой квартире было восемь комнат, и все они, не считая кухни и самой большой проходной комнаты, были заселены людьми самых разнообразных возрастов и профессий. Это была так называемая «коммунальная квартира» — одно из наиболее блестящих достижений советской власти!

Самой коренной обительницей квартиры была старая тетка Нины — Надежда Спиридоновна Огарева. Раньше квартира принадлежала ей. Всю революцию старая дева высидела здесь, одна, как сын. Когда Нина, потеряв мужа, отца и ребенка, приехала из деревни в 1922 году с семилетним Микой и двумя чемоданами, она прямо с вокзала отправилась к тетке, так как ни от квартиры отца, ни от квартиры мужа не осталось и следа.

Тетка, сверх ожидания, встретила ее крайне недоверчиво и недружелюбно. Отнюдь не потому, что старухе было жалко пустых комнат — пустые комнаты все равно начали брать на учет и по ордерам заселять новыми, никому неизвестными личностями; тут-то как раз вселение племянницы давало Надежде Спиридоновне лишнюю возможность избежать вторжения «пролетарского элемента».

И все-таки, все-таки появление Нины с Микой показалось Надежде Спиридоновне покушением на ее спокойствие и благополучие. Она тотчас, как мышь в нору стала перетаскивать в свою спальню все самые лучшие свои вещи из бронзы, серебра и фарфора, будто опасалась за их целостность. Она едва согласилась выделить Нине старый кожаный диван, старый шкаф и стол со сломанной ножкой. На счастье Нины, рояль уже не мог войти в спальню к Надежде Спиридоновне. Он стоял в большой проходной комнате — бывшей гостиной, и Нине было разрешено им пользоваться. Быть может, здесь Надежда Спиридоновна руководствовалась соображением, что без рояля Нина не сможет заработать и сядет ей на шею. Это опасение все первое время неотвязно преследовало Надежду Спиридоновну и рассеялось далеко не сразу.

Не меньше опасалась Надежда Спиридоновна и Мики: ей казалось, что мальчик непременно все сокрушит и переломает, что он обязательно будет шуметь и не давать ей спать. Мике строго-настрого был запрещен вход в ее комнату, запрещено приближаться к книжному шкафу и буфету, которые, как наиболее громоздкие вещи, остались вместе с роялем в проходной, запрещалось бегать, шуметь — запреты сыпались на него, как из решета. Понемногу Мика лютой ненавистью возненавидел старую тетку — называл ее за глаза ведьмой и жабой, и по утрам, когда Нина уходила на спевки, мстительно изводил

старуху: то нарочно вызывал ее к телефону, отрывая от вышивания, то начинал мяукать под ее дверь, то подбросит ей в комнату дохлую мышь, вынутую из мышеловки, то выпустит на нее таракана, иногда он выбегал на лестницу и давал неистовый звонок, заставляя ее открывать ему дверь, и потом убегал, показывая язык.

Изобретательность Мики оставила далеко за собой изобретательность Надежды Спиридоновны, и старуха позорно отступила с поля сражения, от атаки перейдя к обороне. С годами военные действия между теткой и племянником значительно ослабели, но взаимная антипатия осталась та же.

Когда в квартире появился Сергей Петрович, Надежда Спиридоновна всю остроту своей ненависти перенесла на него. Она умела как-то особенно фыркать в ответ на его поклон и, спешно убегая к себе, с легким шипением демонстративно захлопывала дверь. Сергея Петровича очень мало трогали такие выходки старой девы, он пользовался ими, как средством развеселить Нину, уверяя ее, что Надежда Спиридоновна убежденная девственница и принадлежит к тем избранным, глубоко целомудренным натурам, которые даже слово «мужчина» считают неприличным и которых смущает вид этих грубых существ. Уходя от Нины, он уверял, что если встретится в коридоре с этой весталкой, то обязательно, ради опыта, попробует лобызнуть ее, хотя и допускает, что это будет ему стоить жизни.

Появление Олега уже не вызвало со стороны Надежды Спиридоновны никакой особой реакции. К этому времени квартира была заселена до отказа и старая дева покорилась необходимости жить с чужими, да к тому же с непривычными существами. Она сложила оружие. Изредка только когда кто-нибудь дерзал передвинуть или переставить что-нибудь из ее вещей, у нее случался прилив воинской доблести, но все всегда кончалось новым поражением, так как считалась с ее вкусами и удобствами одна только Нина.

Кроме Надежды Спиридоновны, Нины и Мики, в квартире очень скоро поселился дворник с женой. Дворник этот был раньше кучером в имении отца Нины; он и его жена были очень преданы Нине и приехали вслед за ней в Петербург. Устроившись дворником в этом доме, по протекции Нины же, бывший кучер сумел получить ордер на комнату в их квартире. Чуждый «пролетарский элемент», явившийся с ордером от РЖУ, был представлен двумя лицами, поселившимися сравнительно недавно. В бывшей «людской» жил выдвигенец-рабфаковец — Вячеслав Коноплянников, в соседней с ним — тоже маленькой комнатухе — молодая кассирша, именуемая всеми просто Катюшей. Говоря об этой Катюше, Нина не выражалась иначе как — «наша совдевушка». Весь облик этой девицы буквально дышал тем поверхностным налетом наскоро приобретенного городского лоска и модности, которыми щеголяли все «совдевушки», красившие себе губки и ногти в кроваво-красный цвет и пропадавшие в кинематографе. За Катюшей числились два коротких замужества, два развода и два аборта. Свою убогость она с легкостью замещала хамовитым, хозяйским тоном, заимствованным у своей власти. Если разговор заходил о политике или бытовых трудностях, она тотчас с запальчивостью выступала на защиту существующего строя и при этом, как исправный патефон, высыпала на слушателей целый арсенал газетных фраз и цитат из популярных брошюр. «Ее начинили, словно колбасу, вот из неё и прет», — высказался однажды Мика на своем характерном мальчишеском жаргоне. Полностью ее имя звучало — Екатерина Фоминична Бычкова, но она именовала себя Екатериной Томовной, недовольная выпавшим ей на долю отчеством. Ей было двадцать пять лет.

Однажды, когда Катюша визгливо рассмеялась над каким-то замечанием Олега и кокетливо убежала из кухни, Нина, проводив глазами ее покачивающиеся бедра, заметила с усмешкой:

— Мне кажется, Олег, что кое над кем вы без особого труда могли бы одержать полную победу.

— Благодарю вас, — сказал он с насмешливым полупоклоном — Но едва ли поспешу воспользоваться вашим советом. Я не падок на *demi-vierges* [\[19\]](#), да еще в советской редакции.

— Знаю я ваши гвардейские вкусы: святая невинность под фатой или кутежи с примадоннами и цыганками, и никакой середины. Не правда ли? — продолжала язвить Нина.

— Совершенно точно изволили определить, — отвечал Олег полураздраженно, — только я, к своему несчастью, не успел вкусить от кутежей с цыганками, так как прямо из Пажеского попал на фронт в тысяча девятьсот шестнадцатом году.

— Вы безнадежно опоздали, Олег. В современном обществе нет ни примадонн, ни кокоток, ни ореола невинности. Советские девушки отдаются за билеты в театры и новые туфли, но по влечению. Прогулка в загс желательна, но необязательна, а срок любви колеблется между двумя неделями и двумя-тремя годами. Ну, а так выходить, как выходила я, — так теперь не выходят.

— Благодарю за науку, — щелкнул каблуками Олег.

Вячеслав был высокий, широкоплечий юноша лет двадцати четырех с густой шапкой русых волос. Он обладал довольно правильными и даже красивыми чертами лица, но во всем его облике сквозило что-то простоватое, «бурсацкое», как говорила Нина. Его комсомольский значок служил своего рода печатью отвержения в этой квартире: при Вячеславе старались вовсе не высказываться ни на какие темы: поэтому при его появлении на кухне разговор тотчас умолкал или словно по команде переходил на незначительные мелочи. Даже у себя, в своей комнате, Нина говорила обычно своим гостям: «Мы можем сегодня говорить свободно, наш комсомолец ушел». Или напротив того: «Тише, тише, наш комсомолец сегодня дома!» А Надежда Спиридоновна доходила до того, что при его входе в кухню тотчас бросалась уносить серебряные ложки.

— Меня, кажется, трудно обвинить в пристрастии к комсомольцам, но я позволю себе вам напомнить что партиец и вор все-таки не одно и то же, — сказал однажды Олег, которого раздражала мелочная подозрительность старой девы.

Трудно было понять, замечал ли общее предубеждение Вячеслав, Олегу казалось, что по его губам скользила быстрая усмешка, но ни разу он не вступил ни в какие объяснения по этому поводу. С Катюшей Вячеслав по обычаю своей среды был на «ты», но между ними по-видимому не было ни дружбы, ни флирта. Он останавливал ее иногда в коридоре словами «Что у тебя на службе, уже проработали решение ЦК?». Или «На вечер собралась? Губы-то подмазала, а доклада Кагановича, наверное, не читала!». А если оказывалось, что и доклад и решение «проработаны», он бросал небрежно «Знаю я вас — в одно уже впустила, в другое выпустила!»

На дом к Вячеславу ни разу не явилась ни одна девчонка — какая-нибудь выдвиженка или работница, и в этом отношении даже Нина признавала, что он жилец, безусловно, удобный, хотя манеры юноши «хамоваты». Вячеслав и в самом деле не отличался утонченными манерами, но в нем решительно не было той распушенности и зазнайства, свойственных партийной среде — людям, подобно ему вышедшим из темных неизвестных низов и призванных к общественной деятельности, прежде, чем они достигли хоть какого-то культурного уровня. Мика уверял, что юный пролетарий с утра до вечера «грызет гранит науки» и что в этом деле настойчивость заменяет ему способности. Это было довольно метко, как, впрочем, и все замечания Мики, Вячеслав в самом деле с головой ушел в свои занятия, очевидно, решив во что бы то ни стало получить образование.

Он не был особенно разговорчив, но ни одного антисоветского высказывания не оставлял без яростных возражений. Говорил он теми же стереотипными фразами, что и Катюша, но в его устах они получали характер искреннего убеждения. Дворничиха одна решалась нападать на него и журила за безбожие, называя отступником, между ними завязывались споры, но от этих споров он не переходил к враждебности, и когда у этой же самой дворничихи заболел муж, Вячеслав, к всеобщему удивлению,



вызвался доставить старика в больницу.

Другой раз он с такой же готовностью донес Нине тяжелый чемодан. С этим человеком, безусловно, можно было ладить, но сблизиться с ним и подружиться — почти невозможно.

Очень скоро Дашкову стало казаться, что Вячеслав к нему присматривается. Олег слишком привык скрываться, чтобы переносить равнодушно пристальное наблюдение постороннего человека, это начинало нервировать его.

В один вечер, стоя в кухне возле примуса, на котором он варил себе сосиски, купленные по дороге из порта, Олег раздумывал над этим ощущением, стараясь понять, как, и когда оно родилось. Не было никаких точных фактов или факты были неуловимы, а что-то все-таки было.

Началось с того, что как-то раз Мика вбежал в кухню и сказал, обращаясь к Олегу «Запутался в логарифмах, спасайте погибающего!». Олег с готовностью пошел за ним и уже по выходе из кухни сообразил, что все произошло в присутствии Вячеслава, а потому некстати — тому могло показаться странным, что Мика просит слесаря объяснить алгебраическую задачу.

Другой раз он, также в кухне, стоя возле примуса, читал по-французски маленький рассказ Додэ из библиотеки Надежды Спиридоновны, которая ему и Нине, в виде исключения, разрешала брать свои книги. В это время Нина зачем-то позвала его, он ушел, оставив открытой книгу, а когда вернулся, увидел, что Вячеслав разглядывает ее.

И был еще случай: к Нине пришла старая графиня Капнист; Олег и Нина вышли в кухню ее провожать, и пока графиня и Нина обменивались прощальными фразами, Олег стоял, вытянувшись в струнку и держа обеими руками на уровне ключиц пальто графини. Прощаясь с ней, он поцеловал ей руку и с почтительным полупоклоном, пропуская ее в дверь, по-военному щелкнул каблучками: «Честь имею кланяться». Когда он отвернулся от двери, то увидел, что Вячеслав с некоторым удивлением наблюдает.

Быть может, было еще что-нибудь, не ускользнувшее от внимания Вячеслава. Олег слишком хорошо знал, к чему может привести скрытая враждебность при строе, который поощряет всякие доносы и выслеживания, хотя бы они выростали на почве личной неприязни, ссоры или ревности. Он размышлял над этим, когда в кухню как раз вошел Вячеслав и начал разжигать примус за соседним столом. Молчание начинало принимать напряженный характер.

— Тут у ворот сейчас потешная сцена вышла, — первым заговорил Вячеслав, — какая-то гражданка, увесистая такая, растянулась во весь рост. Я бросился ее поднимать, а она налегла всей тяжестью мне на простреленную руку; так я подумал — переломает и вывернет скорее; она снова бухнулась, разлила сметану и ну ругать меня на чем свет стоит.

— У вас прострелена рука? Вы были на войне? — спросил Олег.

— Да, вот здесь, в локте, пробила меня белогвардейская пуля под Перекопом.

— Вы были под Перекопом? — быстро спросил Олег. — Я потому только спрашиваю, что вам на вид не больше двадцати пяти лет.

— Двадцать четыре. Я шестнадцати лет пошел добровольцем.

«Ах, ты, гаденыш!» — подумал Олег и закусил губу.

— А вы на каком фронте были ранены? — спросил Вячеслав.

Олег почувствовал, будто к нему прикоснулись электрическим током.

— Я? Я тоже в Крыму... Я был завербован белыми.

— Вы? Завербованы? А вы разве не... Я думал — вы бывший офицер.

— Я — бывший офицер? Откуда это у вас такое странное предположение? Я слесарь Севастопольского завода...

Он хотел прибавить: «...и мои документы подтверждают это», но ему противно было дальше плести эту фальшь. Вячеслав молча смотрел ему в лицо, как будто не находил нужным поддерживать подобный разговор, а может быть, вникал в какую-то мысль, внезапно пришедшую в голову... Олег взял вилку и, выживая из кастрюли сосиски, проговорил с равнодушным видом что-то по поводу их цен и качества, вышел из кухни.

Встретив Мику, Олег спросил, не говорил ли он о нем с Вячеславом, не проговорился ли случайно. Мика даже обиделся:

— Разумеется, нет! А что, Вячеслав догадывается?

— Кажется, он начал что-то подозревать.

— И немудрено! Из вас офицерское так и лезет наружу — все эти ваши «так точно», «здравия желаю», «я вам уже докладывал»... На вас достаточно один раз взглянуть и сразу понять, что вы за птица. Уж если Вячеслав вас раскусил, то опытный гепеушник в два счета накроет. Вы должны следить за собой.

— Ты прав, мой мальчик. Но это не так-то просто. Привычка вторая натура. Да, неприятно было бы. — Олег поморщился. — Начнут копать: отец, брат, Белая армия... Неприятно.

Олег сел за свои сосиски.

— Вам бы не надо теперь ссориться с Вячеславом, — посоветовал Мика. — Вообще как-то цеплять его.

— Я не думаю, чтобы он способен был донести из злобы. Скорее из превратно понятого чувства долга. Ведь там, на партийных собраниях, им каждый день вбивают в головы, что шпионить и доносить — первейший долг каждого гражданина.

— Вы так спокойно обо всем этом рассуждаете, — восхитился Мика. — Когда я смотрю на вас, во мне просыпается какой-то другой человек. Я перестаю с благоговением думать о монашестве, начинаю завидовать вам. Помните, как у Пушкина:

Как весело свою провел ты младость:  
Ты видел двор и роскошь Иоанна.  
Ты рать Литвы при Шуйском отражал,  
А я по келиям скитаюсь, бедный инок...

У Олега заблестели глаза:

— Да, Мика из тебя бы получился хороший офицер... Но не завидуй мне. Жалкая участь человека, преданного всеми. Да, я боролся за Россию. Да, мы бесстрашно шли в бой. Но те, кто видел, как мы умирали на фронте, дали себя распропагандировать, пошли на поводу у мерзавцев. С нас, офицеров, срывали погоны, нас расстреливали, словно каких-нибудь предателей или дезертиров. И это — за окопы, за битвы, за раны — так нас отблагодарили! А теперь те из нас, кто чудом уцелел, томятся в лагерях... За что? За доблесть, за любовь к Родине, за верность долгу и присяге! Ты завидуешь моим воспоминаниям! А я хотел бы вырезать их из сердца, да не могу. Они преследуют меня днем и ночью, с ними невозможно жить!

Олег бросил вилку о тарелку, вскочил из-за стола и стал шагать по комнате из угла в угол, словно тигр, запертый в клетке. Наконец, он понемногу начал оттаивать. Остановился, вздохнул глубоко:

— Довольно об этом. Ты уроки сделал? Давай я проверю задачи.

# Глава десятая

*Верь, несчастней моих молодых поколений*

*Нет в обширной стране*

*А. Блок*

Declasse[20]. Раньше Олег не вполне понимал значение этого слова, только теперь оно стало ясным: выбит из жизни, выбит из привычной среды, все идет мимо. В последние годы он начал замечать, что тоска стала забирать его глубже, чем раньше. В лагере, где он был измучен непривычным физическим трудом и всегда полуголодный, где каждый его жест был под контролем негодяев, — самообладание ни разу не изменило ему; нервная энергия поддерживала его истощавшиеся с каждым днем силы. Эту энергию вырабатывал, быть может, инстинкт самосохранения, но, так или иначе, он жил в непрерывном нервном подъеме, стараясь не заглядывать внутрь своей души чтобы не предаться отчаянию. Теперь же, когда обстоятельства его жизни изменялись мало-помалу к лучшему, когда он получил какой-то минимум комфорта и отдыха и возможность располагать двумя-тремя часами свободного времени, тоска его, задавленная усилиями воли, проснулась и заговорила, словно вырвалась на волю. И вместе с ней он ощущал невероятное утомление, бессонницу и потерю сил. Он не хотел обращаться к врачу, понимая, что это была естественная реакция организма после чрезмерного напряжения всех сил, а между тем состояние это было мучительно. Приходя со службы, он бросался на диван с ощущением странной разбитости во всем теле — каждое движение стоило ему усилий, и не было желания приняться за что-нибудь; встать, заговорить, пойти куда-нибудь; да и куда бы он мог пойти? Друзей и знакомых у него теперь не было; общественные места — кинотеатры, рестораны, красные уголки — были приспособлены к вкусам и требованиям новой среды, которая была ему чужда и противна. Часто, очень часто бродил он по городу и как будто не узнавал его. Улицы были насквозь чужие, дома, силуэты, лица — все изменилось. Ни одной изящной женщины, ни одного нарядно одетого ребенка в сопровождении няньки или гувернантки. Исчезли даже породистые собаки на цепочках. Серая, озабоченная, быстро снующая толпа! Ни поданных ландо, ни рысаков с медвежьей полостью, ни белых авто, ни также извозчиков, — гремят одни грузовики и трамваи. В военных нет ни лоска, ни выправки — все в одних и тех же помятых рыжих шинелях, все с мордами лавочников, и ни один не поднесет к фуражке руку, не встанет во фронт, не отщелкает шаг. Хорошо, что они не называют себя офицерами — один их вид опорочил бы это звание! Вот Аничков дворец без караула. Вот полковой собор, но нет памятника Славы из турецких пушек. Вот Троицкая площадь, но — где же маленькая старинная часовня? Вот городская ратуша, но часовни нет и здесь. В Пассаже и Гостином дворе вместо блестящих витрин зияют пустые окна... Цветочных магазинов и ресторанов нет вовсе. А вот здесь была церковь в память жертв Цусимы... Боже мой! Да ведь все стены этого храма были облицованы плитами с именами погибших моряков, висели их кресты и ордена... Разрушить самую память о такой битве! Еще одно преступление перед Родиной. Еще одна обида.

Душа города — та, что невидимо реет над улицами и отражается в зданиях и лицах, — она уже другая. Этот город воспевали и Пушкин и Блок — ни одна из их строчек неприложима к этому пролетарскому муравейнику. И как не вяжется с этим муравейником великолепие зданий, от которых веет великим прошлым и которые так печально молчат теперь!

Вот вам особа женского пола из автомобиля высаживается. Язык не поворачивается назвать ее дамой; кокетка — и то много чести. О, да она с портфелем, и шаг деловой: вон с какой важной миной вошла в учреждение. Бывшая кухарка, наверное, — теперь ведь каждая кухарка обучена управлять государством. А вот еще портфель — наверно, студент нынешний, второй Вячеслав Конопляников. А

давно ли Белый в своих стихах о Петербурге изобразил студента — «я выгляжу немного франтом, перчатка белая в руке...» До чего много этих «пролетариев». Легион. На бред похоже. «Где вы, грядущие гунны, что тучей нависли над миром», — вот они. Они все здесь, а этот шум — их чугунный топот. Не зря пророчили поэты, но им не внимали вовремя. Из заветных творений, наверное, скоро не сохранится ничего. И в самом деле колыхнется поле на месте тронного зала, а книги уже теперь складывают кострами. Завернули же Олегу пшено в страницу из Евангелия. Остается появиться белому всаднику или Архангелу с трубой. «Я, может быть, начинаю с ума сходить? Последствие черепного ранения?»

Несколько раз он заходил в церковь на углу Моховой. Тянуло туда не потому, что хотелось молиться, — со дна опустошенной души не подымалось молитв, но обстановка храма, давно знакомая и родная, она одна, казалось, не изменилась за эти страшные десять лет. И напоминала ему детство, переносила в прошлое.

В один из своих «выходных» дней он стоял утром в храме, погруженный в печальные думы, и вдруг заметил, что в боковом пределе идет исповедь: как раз в эту же минуту церковный хор грянул «Дева днесь». Тут только он вспомнил, что этот день — канун Рождества, и тотчас целый рой воспоминаний детства затопил теплой волной. Охватило желание подойти к Причастию, как подходил мальчиком, когда вместе с другими кадетами пел на клиросе и выносил свечи из алтаря. «Я словно вывихнутый. Быть может. Причастие, как нечто другое, вернет мне силы», — подумал он и уже хотел присоединиться к исповедникам, но... Точно страшное земноводное на дне прозрачного бассейна зашевелилось в нем воспоминание, с годами побледневшее, но не изгладившееся. Воспоминание о проявленной им однажды жестокости...

Это было в разгар гражданской войны. Отряд, которым командовал Олег, проходил по только что занятой территории, ликвидируя последние очаги сопротивления. Они поравнялись со старым поместьем и Олег увидел аллею и две белые колонны у ворот — все, что так напоминало ему отчее гнездо. Внезапно две старые женщины — по виду служанки — с криком выбежали из ворот и, признав в нем начальника, бросились к нему. Ломая руки и причитая, они нескладно рассказывали, что какие-то неизвестные люди, безобразничавшие в поместье, перепились и начали насиловать горничных, а сейчас поволокли за руки барышню... Олег тотчас устремился со своим отрядом во двор поместья. Отдав приказ оцепить дом, он в сопровождении нескольких солдат ворвался в комнаты. Впоследствии он неизменно вздрагивал от отвращения, вспоминая ту разнузданную картину грабежа, насилия и пьянства, которую он застал в господских комнатах и тех полулюдей-полуживотных, с которыми ему пришлось сцепиться. Когда позднее он вышел из дома на крыльцо и оглядел уже окруженных его солдатами и обезоруженных «красных», он почувствовал, как мутная злоба душит его за горло. Никогда до сих пор он не чувствовал ее ни в одной битве. В тот день эту злобу усугубил дошедший до него слух, будто бы Нина, оставшаяся с ребенком в имении отца, была окружена там толпой, явившейся с полномочиями от сельсовета; люди эти убили дубиной ее отца и, по слухам, изнасиловали ее... Одна мысль, что так могли поступить с женой его брата, кормившей новорожденного сына, приводила его в бешенство.

Через полчаса, выезжая из имения, Олег увидел, как осужденных им людей вели через аллею для выполнения приказа. Они знали, зачем их ведут, их лица больше не были ни красными, ни безобразными, а только злобными и угрюмыми; они уже протрезвели. Особенно запомнилось Олегу одно лицо — лицо юноши его лет. Еще безусый паренек, смертельно бледный с расширившимися, полными ужаса глазами. Вспоминая лицо этого юноши, он не мог не чувствовать, что был жесток. Рассказывать все это священнику было бы слишком тяжело. Да и опасно. Он не верит теперь священникам. Чекист в рясе мог обречь человека на смерть. А над Олегом они могли затеять гнусный «показательный» процесс, выставя перед всеми жестокость белого офицера. Они не дали бы труда вникнуть в его чувства, в то, как гибель семьи озлобила его. Им никогда не узнать, как он, белый офицер, любил солдат, как еще мальчиком любил

денщика отца и брата и потом своего денщика. Он мечтал бы, даже теперь, встретиться с кем-нибудь из солдат своего взвода; да ведь эти же солдаты и спасли его, когда он лежал в бреду. Но *товарищи* ничего не захотят узнать, они будут только кричать о том, что он приказал расстрелять девять человек, что он «белогвардейское охвостье» и «недобитая контра» — любимые выражения советской печати, пересыпавшие тексты даже такого официального органа как «Ленинградская правда».

Олег издали видел, как вынесли Святые Дары, и слышал чудную молитву, которую помнил с детства наизусть, она кончалась словами — «не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзанья Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

«Господи, я был честным боевым офицером, а вот теперь не смею приблизиться, как разбойник. И нет мне утешения даже здесь».

Дома он застал Нину одну; они редко разговаривали задушевно, каждый замкнувшись в своем горе. Но в этот раз, весь под впечатлением пережитого в храме, он сказал:

— Говорят, советский служащий имеет право на отпуск после того, как проработает сколько-то месяцев. Если против ожидания я продержусь этот срок и получу отпуск, поеду туда, где был наш майорат и попробую найти могилу мамы.

Нина с удивлением взглянула на него:

— Что вы, Олег! Безумие — показываться там, да еще с расспросами что и как. Ведь вас признают.

— Крестьяне не выдадут меня. А где могила вашего отца?

— В Черемухах, около деревенской церкви. Но я туда не поеду, нет!

— Как это вышло, Нина, что вы оказались в Черемухах, а не с моей матерью?

— Отец увез меня в Черемухи, когда узнал, что Дмитрий у белых. Он говорил, что ему спокойней, когда его дети с ним. Кто мог знать, как сложатся события.

— Александра Спиридоновича арестовали там же, в имении?

— Да. Нагрянули чекисты и комиссар, латыш. Требовали, чтобы отец сдал немедленно оружие, уверяли, будто бы он сносится с белыми, которые стояли на ближайшей железнодорожной станции. Помню — обступили Мику и стали допытываться, не зарывали ли чего-нибудь отец и сестра. А Мике было всего четыре! Слышим он отвечает: «Зарывали!» А они ему: «Веди». Вот он их и повел, а мы с отцом, стоя под караулом, со страхом следили через стеклянную дверь; мы боялись, что он приведет их к месту, где у отца были зарыты сабля и наган. Но оказалось, что он повел к могиле щенка под кленами. Никогда у меня не изгладятся из памяти эти минуты... Отец... Его крупная фигура, закинутые назад седеющие кудри и та величавая осанка, с которой он объяснялся с чекистами. Он отказался выдать им ключи от винного погреба... Уж лучше было бы не препятствовать...

— Ваш батюшка, очевидно, опасался, чтобы они не перепились и не начали бесчинствовать.

— Так вы, значит, знаете? — вырвалось у нее.

— Я? Нет... ничего не знаю...

Прошла минута, прежде чем она опять заговорила:

— Кучер и садовник отбили меня — все-таки успели спасти, но отец уже был мертв... Из-за них... Из-за этой пьяной банды я потеряла и отца и ребенка. Тогда... от этого ужаса... от страха... у меня разом пропало молоко.

Он обратил внимание, какой трогательной нежностью зазвенел ее голос при слове «молоко».

— Кормилицы под рукой не было... пришлось дать прикорм, а ему было только три месяца... И вот — дизентерия. — И она уронила голову на руки, протянутые на столе.

Он подошел и поцеловал одну из этих, беспомощно уроненных бессильных рук.

— Вы вот сейчас, наверное, думаете, — проговорила она, поднимая лицо. — «Она не оказалась русской Лукрецией и все-таки осталась жить...»

— Что вы, Нина! Я не думаю этого! Нет! Ведь тогда еще был жив ваш ребенок — имея малютку, разве смеет мать даже помыслить... и потом вас успели спасти. А вот что мне прикажете думать о самом себе — меня, князя Рюриковича, Георгиевского кавалера, офицера, выдержавшего всю немецкую войну, меня хамы гнали прикладами и ругали при этом словами, которые я не могу повторить. Нина, я помню один переход. Я отставал, у меня тогда рана в боку не заживала — она закрывалась и снова открывалась... конвойный, шедший за мной, торопил меня... потом поднял винтовку: «Ну, бегом, пададь белогвардейская, не то пристрелю, как собаку!» И я прибавлял шаг из последних сил...

Теперь она посмотрела на него с выражением, с которым он перед этим смотрел на нее.

— Не будем говорить, — прошептала она, утирая слезы.

— Не будем.

И каждый снова замкнулся в себе.

В следующий свой выходной день Олег с утра вышел из дома. Накануне он получил «зарплату» (так теперь называлось жалованье) и в первый раз мог располагать деньгами по своему усмотрению, покончив с уплатой долгов Марине и Нине. Пока долги не были сполна уплачены, он тратил на себя ровно столько, чтобы окончательно не ослабеть от голода. В это утро, сознавая себя впервые свободным от долгов, он решил, следуя советам Нины, пойти на «барахолку» и поискать себе что-нибудь из теплых вещей, так как до сих пор ходил по морозу в одной только старой офицерской шинели с отпоротыми погонами; в этой шинели он проходил все шесть лет в лагере и выпущен был в ней же. Январский день, морозный, яркий, солнечный, искрился жизнерадостностью русской зимы, но эта радость не трогала Олега. Войдя на «барахолку», он тотчас попал в движущуюся, крикливую, беспорядочно снующую толпу. Выискивая фигуру с ватником или пальто, он ходил среди толпы, когда вдруг до слуха его долетел окрик:

— Ваше благородие, господин поручик!

Совершенно невольно он обернулся и увидел в нескольких шагах от себя безногого нищего, сидевшего на земле около стены дома. В нем легко было признать бывшего солдата, и даже лицо его показалось как будто знакомо Олегу; впрочем, он так много видел подобных лиц — типичное солдатское лицо. Нищий смотрел прямо на него, и не было сомнения, что этот возглас относился к нему. Олег подошел.

— Из какого полка? — спросил он. И в ту же минуту подумал, что безопаснее было бы вовсе не подходить и не откликаться на компрометирующий оклик. Если бы говоривший не был калека — он так бы и сделал.

— Лейб-гвардии Кавалергардского, Ефим Дроздов, из команды эскадронных разведчиков! А вы — господин поручик Дашков? Я с вами на рекогносцировки хаживал.

— Тише, тс... смеешься ты надо мной, что ли?

— Никак нет, ваше благородие. Очень даже рад встрече. Поверите, даже дух захватило, как вас увидел. А я ведь вас в усопших поминал, недавно еще записочку подавал за вас и вашего братца. Замертво

ведь вас тогда уносили в госпиталь.

— Да, я тогда долго лежал, ранение было тяжелое, но с тобой, я вижу, обошлись еще хуже, бедняга. И Олег наклонился, чтобы положить ему в шляпу десятирублевую бумажку.

— Очень благодарен, ваше благородие. Пусть Бог вас вознаградит за вашу доброту! А меня ведь в том же бою, что вам, немногим позже хватило; думал, помру, а вот до сих пор маюсь. Теперь бы уж я и рад, да смерть про меня забыла.

— Чем же ты живешь, мой бедный?

— Да промышляю понемногу — то милостыней, то гаданьем; книга тут мне одна вещая досталась от знакомого старичка; по ей судьбу прочитывать можно. Сяду, раскрою — подойдет, погадаю, заплатит. Не погадать ли вам, ваше благородие?

— Нет, благодарю, я свою судьбу и сам знаю. — И Олег усмехнулся с горечью.

— А то перепродам что, — продолжал солдат, — вот и сейчас товарчик хороший есть, как раз бы для вас.

— Что именно?

— Да товар такой, что на людях не покажешь, за него пять лет лагеря по теперешним порядкам. Я уже много раз приносил его с собой на рынок, да боязно и предлагать. Не знаешь, на кого нападешь, на лбу у человека не написано. Уж очень теперь много шпионов развелось, ваше благородие.

— Оружие?

— Револьверчик, хороший, новенький, — не желаете ли? Сосватаю.

Словно от капли шампанского теплота разлилась по жилам Олега — как давно уже он не держал оружия, а ведь он с детства привык считать его символом благородства, власти и доблести. Первое время, после того как он лишен был права носить оружие, ему казалось, что у него отняли часть его тела, и вот теперь, — такая редкая возможность!

— Пять лет лагеря — совершенно верно! А за сколько продашь?

— Да сколько дадите, ваше благородие. Цены на его я не знаю, никогда до сих пор не продавал. И теперь не слухавлю — хочу сбить с рук, больно опасно держать. Ну, так чего я буду запрашивать? Может, он вам и беду принесет. Сколько не пожалеете, столько и дайте.

Олег вынул портмоне.

— У меня при себе девяносто, довольно тебе?

— Премного благодарен, ваше благородие.

— Бери, только помни, не проговорись никому, что ты меня видел и что я здесь. И о револьвере тоже. Слышишь? Полагаюсь на твою солдатскую честь.

— Так точно, ваше благородие. Заряжен. И запасные патроны тут же завернуты.

— Прощай. — Олег протянул было ему руку, но солдат быстро поднес свою к истрепанной кепке, похожей на блин. И Олег невольно ответил ему тем же жестом, который в нем был настолько изящен, что разом изобличил бы его гвардейское прошлое опытному глазу. После этого он, не оглядываясь, быстрыми шагами ушел с рынка, говоря себе, что осторожность требует удалиться как можно скорее от места неожиданной встречи. Чтобы проверить, не следят ли за ним, он свернул в проходной двор и, только убедившись, что никто его не сопровождает, направился к дому. «Теперь, — думал он, — я уже не попаду живым в их руки!»



Письменного стола у Олега не было и он невольно задумался, где будет держать револьвер, не имея своего угла. Только днем, когда Мика ушел, он заперся в комнате, чтобы осмотреть револьвер и, убедившись в его полной исправности, перезарядил вновь. Он многое вспомнил, пока возился с револьвером. Нерешительный стук в дверь прервал теплые мысли. Сунув поспешно револьвер под подушку дивана, на которой он спал, Олег подошел, чтобы отворить дверь, и увидел на пороге незнакомую девушку в пальто и меховой шапочке, всю засыпанную снегом, свежее личико было румяное от мороза, во взгляде ее он заметил нерешительность.

— Чем могу служить? — спросил Олег, беря руки по швам.

Ему одного взгляда на эту девушку было достаточно, чтобы определить ее принадлежность к несчастному разряду «бывших», и это тотчас освободило всю его изысканную вежливость.

— Простите, я не туда попала... Я искала Нину Александровну Дашкову.

В сердце у Олега защемило, когда он услышал свою фамилию, произнесенную вслух этой милой девушкой.

— Нина Александровна дома. Сию минуту я провожу к ней. Если желаете снять пальто, пожалуйста, здесь, — сказал он, выходя к ней в коридор, а сам еще раз мельком взглянул на нее, потому что она показалась ему замечательно хорошенькой. В полутемном коридоре на него серьезно взглянули большие глаза из-под длинных ресниц, на концах которых повисли снежинки.

— Ася, вот неожиданность! Войдите, милая, — воскликнула Нина, появляясь на пороге.

«Ася! Милое тургеневское имя!» — подумал Олег. Он вернулся, было, в свою комнату, но револьвер более не занимал его. Не вытерпев и четверти часа, он придумал какой-то предлог и направился к Нине, мимоходом соображая, что там еще сидит Марина Сергеевна, которая любит его и наверняка удержит в комнате. Так и случилось. Его представили Асе, и через пару минут он уже участвовал в общем разговоре, незаметно посматривая на Асю. Что с ним случилось? В нем как будто проснулся интерес к благородной посадке головы, к длинной и горделивой, как стебель лилии, шее, к голубоватым жилкам на висках, к глазам, мерцающим из-под ресниц... Ему понравилось, что у нее коса — так приелись уже стриженные женские головы и бритые затылки! Он с восторгом отметил у Аси тонкие запястья и тонкие щиколотки. Посмотрев на Нину и Марину, увидел их лица изношенными, даже банальными — осенними, рядом с этим свежим весенним цветком. В лице Аси не было ничего неестественного, ненакрашенные губы не казались бледными, незавитые волосы сами по себе складывались в красивую прическу, чудесная чистота линий сквозила в рисунке лба, губ и носа, ресницы бросали пушистую тень на белизну кожи. И что самое милое — во всем облике Аси дышало по-детски наивное незнание собственной привлекательности.

Он отметил, что платье ее спускается ниже колен, хотя последняя мода разрешала открывать их. Она сидела одновременно очень изящно и скромно — дико было бы вообразить ее в развязной позе или с папиросой. А ведь теперь даже в лучших семьях упадок и распущенность. Десять лет назад он бы не удивился, встретив такую девушку, но теперь... Откуда она могла взяться такая — теперь?!

Разговор шел о родителях Аси — отец, полковник Бологовский, расстрелян красными в Крыму, мать умерла от сыпняка во время гражданской войны. Стали говорить о высланном дяде Сереже. Траурный тон разговора еще больше подчеркивал белоснежность девушки. «Лилия на гробнице», — подумалось Олегу, как вдруг лицо Аси засветилось счастливой улыбкой:

— Ой! Воробьи-то!

Все с невольной улыбкой посмотрели сначала на нее, потом на окно, где за стеклом, на карнизе, галдели и дрались воробьи, урвавшие откуда-то не то сухарик, не то еще что-то.

Ася вдруг покраснела:

— Бессовестная я! Дядя теперь страдает, а я смеюсь. Сама не знаю, почему я такая!

— Напрасно, — сказал Олег. — Ваш дядя только радовался бы, услыша ваш смех.

— Да, дядя очень любит мой смех, — сказала Ася вслух. — Однажды в апреле мы гуляли вокруг Арсенала в Царском Селе, а там кусты ольхи стояли, все осыпанные розовыми почками. Они были такие настороженные, готовые вот-вот распуститься. Я так и кинулась их целовать, а дядя смеялся и говорил, что я сама будто весенняя почка.

Ее воспоминания передалась Олегу. Он вообразил себе лес в имении отца, себя юношей и своего пойнтера Рекса. Как хороша бывала весна в березовых перелесках, и как радовал его тогда талый снег, первые фиалки, пробивающаяся робкая трава... Куда девалось все это? Есть ли оно хоть где-нибудь?..

— Я тоже люблю Царское Село и особенно Знаменскую церковь, — сказала Марина и покосилась на Олега своими черными глазами, но не встретила его ответного взгляда — Олег увлеченно смотрел на Асю.

— Знаменская церковь особенная, — подхватила Ася. — Мы всегда туда заходим из парка, я приношу ветки и листья и ставлю свечки.

— И молитесь о спасении России. Мне Сергей Петрович рассказывал, — добавила Нина.

Щеки Аси вспыхнули, будто ее уличили в чем-то постыдном.

— Зачем он! Нельзя рассказывать о таких вещах!

Марина вновь взглянула на Олега и с досадой отметила, что он так и не может оторваться от Аси.

— Разве это предосудительно — молиться о России? — сказал Олег очень мягким голосом. Таким мягким он давно уже не говорил.

— Дядя Сережа любит говорить о таких вещах шутливо. Мне это не нравится, — сказала Ася. — У меня душа, кажется, живет не внутри, а где-то снаружи, очень близко. Ей бывает больно оттого, отчего, может быть, не должно быть больно... Я, кажется, опять что-то не то говорю...

— Ах вы, девочка моя милая! Душа живет снаружи, какой в самом деле тяжелый случай! — засмеялась Нина, привлекая к себе Асю и целуя ее.

Олег тоже улыбался. Марина вдруг ревниво подумала, что впервые видит его улыбку. Нина попросила Асю что-нибудь сыграть. Та не стала ломаться и послушно пошла вслед, за всеми к роялю в соседнюю комнату. Олег нарочно слегка отстал, чтобы успеть увидеть ее походку и фигуру, легкую, летучую. В комнате он сел совсем близко к роялю, но когда Ася стала играть, Олег так разволновался, что пересел в темный угол комнаты на диван. Он узнал мелодию?»<sup>[21]</sup> Шумана. Потом Ася играла отрывок из «Крейслерианы», а потом «Арабески», но для Олега все эти звуки сплетались по-прежнему в грустно повторяющийся вопрос: Warum? Warum? Warum?

Зачем? Зачем все так сложилось? Зачем была вся его жизнь, по которой словно бы проехало слепое колесо. Боже, что «они» сделали с его жизнью! Он не знал, что в душе его еще есть уголок, в котором все еще так живо — родители, люди, дети, кошка, собаки, дамы, военные... Музыка достигла этого потаенного уголка и отворила его. И все они, оказавшиеся еще живыми, выскочили и закружили вереницами по развалинам его души. И ожила в нем та мечта, та затаенная мечта, не связанная еще ни с чьим образом, неясная, но уже смутно предчувствуемая — та, которая реяла над ним незримо, покуда кровавый туман не застлал собой всю его жизнь. О, зачем все это так сложилось!

Он слушал и не сводил глаз с чистого профиля Аси. Несколько раз он пробовал отвести глаза. И он не замечал, что Марина в свою очередь не спускала с него взгляда, в котором он мог бы прочесть многое,

если б хотел. Когда Ася кончила на каком-то обрывистом прекрасном аккорде и встала, его охватило отчаяние, что сейчас она уйдет и он снова останется в той же холодной пустоте, из которой не было выхода.

Ася подошла к Нине и подставила ей для поцелуя свой лоб. Он слышал, как Нина говорила:

— Тот же лиризм, что у Сергея и редкое туше.

Когда он подавал ей пальто и надевал ботики, он чувствовал, что руки его дрожали почему-то, и не мог совладать с непонятным ему самому волнением. Уже у самой двери Ася повернулась к Нине и, внезапно краснея, сказала:

— Бабушка просила вам передать, чтобы вы непременно навестили ее и что горе легче переносить вместе.

По-видимому, она только теперь собралась с духом сказать то, зачем ее прислали.

— Передайте Наталье Павловне, что я приду и что я очень тронута и благодарна за приглашение и за то, что она отпустила вас ко мне, — сказала Нина, целуя Асю, а Олегу осталось только сказать: «Честь имею кланяться» и закрыть за ней дверь. И ему тотчас показалось, что в комнате сделалось темнее, как только не стало светлого лба и глаз, похожих на фиалки.

— Не помните ли вы, в каком это романсе Вертинский поет о ресницах, в которых «спит печаль»? — спросил он Нину.

Она отфыркнулась:

— Ох, уж эти мне гвардейские вкусы! Романсы писали гении — Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков, а вы мне будете припоминать Вертинского! — и ушла к себе с Мариной.

— Ну вот! Я так и знала! — воскликнула Марина, как только они оказались вдвоем. — Я так и знала, что он не придет сюда; ему уже не интересно с нами, когда она ушла!

Нина с удивлением взглянула на подругу.

— Да, да — она понравилась ему! Неужели ты не заметила? Ненаблюдательна же ты! Он, всегда такой мрачный, сдержанный, был так разговорчив, так оживлен! Его глаза поворачивались за ней и только из приличия он обращался иногда к тебе и ко мне. А как он смотрел на нее, когда она играла, как подавал ей пальто, как надевал ботики... Павлин, который распускает свой хвост!

— Да, в самом деле... Пожалуй, что-то было...

— Вот видишь! А Вертинский? Эти ресницы... Господи! Неужели еще это досталось на мою долю!

— Марина, будь же благоразумна! Чего ты хватаешься за голову? Ничего серьезного еще нет. И потом... для меня это новость, что ты мечтаешь о взаимности... А муж? Разве ты решишься на все?

— Нина, тебе тридцать два года, а рассуждаешь ты как в восемнадцать. Конечно, если я замечу в нем хоть искру чувства, я... пойду на все! Не говори мне о необходимости сохранять верность моему Моисею. Я не рождена развратницей и могла бы быть верной женой не хуже других, но теперь, когда жизнь так надругалась надо мной, когда я волею судеб оказалась за стариком — я не хочу думать ни о долге, ни о грехе. Пропадай все, — она махнула рукой. — Все, за минуту счастья! И вот только что я стала надеяться, только начало возникать что-то задушевное, как вдруг эта Ася! А ты, словно нарочно, еще удерживаешь ее, усаживаешь играть... Обещай мне, клянись на образ, что ты сделаешь все, чтобы он не увидел ее больше, что ты не будешь приглашать ее и ни в каком случае не представишь его старухе Бологовской. Обещай!

— Успокойся, Марина, все будет, как ты хочешь, он будет твоим, я уверена.

— Полюбит меня, ты думаешь?

— Чувства его предсказывать не берусь, а покорить его, я думаю, труда не составит... Это верно, что нам с тобой не восемнадцать лет и мы отлично понимаем, что молодой мужчина после заточения, где его морили без женщин шесть лет, вряд ли устоит против искушения... А привязать его потом к себе всегда в твоей власти.

— Господи, это все так поворачивается, точно я какая-то Виолетта, которая соблазняет неспорченного юношу. Но разве я такая? Нина, скажи, ведь я же не такая?

— Ты не Виолетта, да и он не мальчик, — сказала Нина.

Когда Марина ушла, Нина быстро прошмыгнула к роялю, в знаменитую проходную; эта комната, давно не отремонтированная, с грязными обоями и грязным потолком, холодная и мрачная, эта разнородная, тяжелая мебель из числа той, которая не уместилась к Надежде Спиридоновне, пыльные бархатные портьеры и китайские вазы с сухими желтыми травами, которым, наверное, было лет двадцать, но которые старая тетка запрещала выбрасывать, — все это было какое-то затхлое, ветхое, угрюмое. Но не это заставило сжаться сердце Нины — здесь все слишком напоминало Сергея Петровича, с которым она проводила около рояля так много времени по вечерам, когда пела ему вновь разученные романсы и пыталась аккомпанировать, если он брался за скрипку. Сколько здесь было переговорено о деталях исполнения и о музыке вообще! Казалось бы, комната не располагала к вдохновению, но они приучили себя не замечать обстановки. Это он подарил ей маленькую лампочку, которая стоит на рояле, и сам подвел к ней электричество. Часы за роялем были самыми лучшими в ее безотрадном настоящем, теперь и они отняты. Он теперь без музыки — как он по ней тоскует! Наверное, больше, чем по любимой женщине.

Посидев некоторое время за роялем с опущенной головой и руками на коленях, она вздохнула и заставила себя взяться за ноты — нельзя было предаваться унынию! Ее с утра тянул к себе один романс, слышанный накануне; весь день он заполнял ее воображение. Она положила руки на клавиши и стала напевать. Спела раз, спела еще... Голос звучал лучше и лучше, но почему-то она никак не могла сосредоточиться и войти в эту вещь. Из-за текста и музыки упорно поднимались другие звуки и другие слова. Она не могла больше противиться их обаянию, она вскочила и, порывшись на пыльной этажерке, вытащила старые, пожелтевшие листки, поставила на пюпитр, расправила и запела. И даже голос ее задрожал от прорвавшегося откуда-то из глубин чувства, и слезы зазвенели в нем:

Я помню чудное мгновенье —  
Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты!

Она пела и скоро почувствовала, что вся находится под впечатлением светлого образа. Углы в этой комнате были всегда темные, там водились пауки; бывало, даже жутко иногда, когда она оставалась одна, портьеры как будто шевелились, и темнота выползала из-за них. Кроме того, здесь всегда было холодно, вот и сейчас Нина вся слегка вздрагивала, но, может быть, это не от холода, а просто от увлечения — это тоже бывает: слишком хороша эта тонкая, нежная романтика слов и музыки...

Бедный Олег! Ведь и он мог бы сказать о себе: «В глуши, во мраке заточенья, тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви...» Бедный Олег! Он еще молод, и это так понятно, что у него сердце загорелось, когда он смотрел на юное, прелестное создание. Его очарование Асей было гораздо лучше и чище, чем то, чего от него хотела Марина. Там был что-то от духа, а здесь... Зачем же насильно обламывать его, когда он и так уже покалечен жизнью? Она вспомнила свой разговор с Мариной, и он вдруг показался ей таким пошлым сейчас, когда она была как бы вознесена над землей,

когда музыка окрылила, утончила ее, когда она почувствовала себя втянутой в красоту этого чувства... «Кажется, я ненадежная союзница», — подумала она.

Олег слушал ее пение из своей комнаты и, чтобы лучше слышать, открыл дверь и стоял, прислонясь к косяку. «Как она замечательно исполняет, — думал он, — это все прямо ко мне». И он весь отдался во власть ощущений, которые все острее и острее сжимали грудь. «Нет, мне лучше всегда быть занятым, на ненужной и скучной работе, но занятым. В свободное время меня одолевают мысли и воспоминания, а они для меня, как острие ножа», — думал он и даже обрадовался, когда Нина кончила петь и все стали собираться спать. Ночь не принесла ему успокоения: в темноте и тишине, установившейся в доме, ему мерещилась Ася. В ее образе светились все те чистые земные радости, которых он был лишен. Он видел ее перед собой, как живую: видел ее лицо, глаза, волосы, плечики, откиннутые несколько назад, тонкую фигурку, как будто созданную для движения, он слышал ее голос.

Он старался не думать о том, что если бы он жил свободно, под своим именем, в свободной, *той* России, то непременно сделал бы ей предложение... Старался не думать, но все равно думалось и думалось само собою. А то вдруг пытался представить себе, что она делает сию минуту. Наверное, спокойно спит в белой кровати и не подозревает, что перевернула вверх дном всю душу одинокому человеку. Она ставит свечки за Россию, милое дитя! Но что могут сделать вздохи ребенка, когда вся страна бессильна!..

Оклик Мики неожиданно оборвал ход его мыслей. Усевшись на постели Мика крикнул ему:

— Да что вы все мечетесь и вздыхаете? Блоха вас кусает — зажгите свет и поймайте!

Олег несколько минут молчал.

— Тоска... — проговорил он тихо и прибавил: — Послушай, ты бы мог говорить со мной немного повежливее?

— Тоска? — повторил Мика иронически. — Встаньте и прочтите молитву, коли так. Тоска — тоже искушение дьявола, не лучше всех прочих. От нее верное лекарство: «Да воскреснет Бог» — вот что!

Мика повернулся на другой бок и всхрипнул.

«Он со своим аскетизмом становится нестерпимым», — подумал Олег и постарался заставить себя уснуть, как вдруг пронзительный звонок прорезал тишину комнаты. Звонок среди ночи! Олег сел на диване, прислушиваясь; сердце часто и тяжело стучало.

Звонок повторился. Он вскочил и стал торопливо набрасывать одежду. «Они! Кто еще в такое время? На рынке проследили или Вячеслав выдал?.. Опять лагерь... Нет, довольно!» С лихорадочной поспешностью он схватил револьвер. Теперь, или уже будет поздно! Нет ни Родины, ни имени, ни семьи, ни деятельности, ни славы, — ничего! Олег приставил револьвер к виску: «Господи, прими мою душу» — и спустил курок. Но выстрела не последовало. Что такое? Разряжен! Но каким же образом? Ведь он заряжал его! Или он начинает сходить с ума и сам не помнит, что делает!

Дверь распахнулась, и в комнату без стука ворвалась Нина в халатике с растрепавшимися волосами:

— Гепеу! Что у вас, Олег? Что это?! Боже мой, Олег, не смейте! Отдайте его, сейчас же отдайте! — И она повисла на его руке. — Безумный, что вы делаете! Аннушка, сюда, помогите!

Звонок повторился в третий раз, Олег вырвал руку.

— Он не заряжен, Нина, пустите, — и, подойдя к отдушине, открыл ее и сунул туда револьвер.

— Олег, что мы будем говорить, что делать?! Неужели за вами или за мной? Я знала, что это будет. Она схватилась за голову.

— Успокойтесь, Нина, возьмите себя в руки. Теперь уже ничего предпринять нельзя. Идемте. Одевайся, Мика!

Мальчик смотрел на обоих широко раскрытыми глазам и послушно потянулся за бельем. Они вышли в коридор; в кухню уже входили незнакомые люди с револьверами. Вячеслав и дворник открыли им.

— Олег, если за мной, так Мика... Вы Мику... — шепнула она, останавливаясь.

— Да, Нина, конечно! Но, даст Бог, не за вами, уж лучше, чтоб за мной. Идемте.

Явившиеся люди потребовали «квартироуполномоченного». Нина, бледная как полотно, обрывающимся голосом отвечала на их вопросы, что из посторонних, непрописанных лиц в квартире никто не ночует. Потребовали документы, жильцы стали их предъявлять. Подавая свои, Олег закурил и спросил, усиливается ли мороз; он тем более старался быть спокоен и небрежен, что чувствовал на себе замирающие взгляды Нины и Мики. Ему казалось, что Вячеслав тоже внимательно наблюдает его. Документы протянули ему обратно и сказали, что обойдут квартиру, дабы установить, не присутствуют ли посторонние лица. Кого они искали — оставалось неясным. И Олег и Нина страшились убедиться, что ищут бывшего князя — гвардейского офицера Дашкова. Только когда непрошеные гости двинулись из кухни в коридор, дворник и Нина спохватились, что Катюша не появлялась в кухне и не предъявляла своего удостоверения личности. Они поспешили сказать, что забыли еще одну жилищу и стали стучать в ее дверь. Катюша выползла с заспанными глазами, полураздетая — она одна во всей квартире не слышала возни и суетни, поднявшихся в доме, и теперь, к удивлению всех, облизываясь и улыбаясь, объявила; что у нее ночует ее подруга, с Васильевского острова. Агенты тотчас потребовали «подругу» и, когда та назвала себя, объявили ей, что уже являлись к ней на Васильевский остров, где им подсказали искать ее на Моховой, 13; затем велели развязной и растрепанной девице следовать за ними. Как только дверь захлопнулась, Нина стала истерически кричать на Катюшу, глаза которой еще слипались.

— Как вы смеете? Вы обязаны были известить меня! Как вы смеете приводить сюда спекулянтов или проституток! Так переволновать всех! Вам все нипочем, а вы посмотрите, на кого вы похожи! — и разрыдалась.

Дворничиха бросилась подать ей воды. Понемногу взбудораженный муравейник квартиры стал успокаиваться; скоро в кухне остался один Олег. Он сел на табурет и, облокотив руки на стол, опустил на них голову. Он вдруг ощутил страшную усталость, очевидно, в результате чрезмерного нервного напряжения и минуты под дулом револьвера. Голова у него кружилась. Дворничиха вошла в кухню и, увидев его одного с лицом, закрытыми руками, подошла.

— Устал, поди! Накось, какая передряга. Ах они, воры, разбойники! Изматывают человека, да еще пужают без толку. Может, тебе чайку заварить крепкого? Согреешься, заснешь лучше!

— Благодарю вас, мне ничего не нужно.

Но она не уходила.

— У меня вот сыночек твоих лет был бы, да белые под Псковом уходили. Может, через то мне тебя и жалко. Другой раз, как я погляжу, какой ты худой да бледный, завсегда невеселый, — так за сердце и схватит. Надо ж судьбу такую: и война-то, и раны-то, и тюрьма-то, и все напасти на человека, да еще и пожалеть-то некому.

Олег так давно не слышал задушевного тона, что от этих простых, бесхитростных слов он вдруг обмяк и почувствовал почти детскую обиду на жизнь, мир, весь свет.

— Матери-то нет у тебя?

— Нет, у меня нет матери, — с усилием ответил он.

— А ты бы хоть женился, все ж лучше, чем одному, было б хоть кому о тебе позаботиться.

— Кто за меня теперь пойдет, Анна Тимофеевна? Кому я такой нужен? Оборванный, простреланный, кандидат на высылку; у меня даже угла своего нет.

— Не всякая девушка выгоду соблюдает. Другая — пожалеет, захочет пригреть и утешить. Ты еще молод и пригож — понравиться можешь. Так принести чайку-то?

— Нет, Анна Тимофеевна, спасибо на добром слове, пойду лягу.

Когда он вошел к себе, то, не раздеваясь, бросился на диван. Мика, уже забравшийся снова под одеяло, исподлобья наблюдал его, не решаясь заговорить. Глаза их встретились.

— Мика, ты разрядил револьвер? Отвечай!

— Не я, — Вячеслав. Я не сумел бы.

— Как, Вячеслав? Так он, стало быть, знает, что я держу оружие? Мика, в уме ли ты!? Да разве можно вмешивать в такое дело партияца!

— Я не стал бы ему рассказывать. Я уронил перочинный нож под диван и попросил Вячеслава помочь его отодвинуть, а револьвер выпал. Ведь я не мог же предполагать! Вячеслав повертел его в руках и говорит, «Ну, заряженным я его не оставляю». И выходит, что правильно сделал.

— Отчего же ты не рассказал мне?

— А вам жаль, что вы не сделали трупом? Вот из-за недоразумения какого-то, из-за этой дуры, Катюши, вы бы лежали сейчас с простреленной головой. А ведь самоубийство — грех непростительный, за самоубийц даже не молятся. Вы это понимаете?

— Нет, Мика, я этого не понимаю; Бог и святые должны видеть насквозь мое сердце и видеть все, что заставило меня взяться за револьвер. Если есть вечная жизнь, тогда где-то в сферах существует душа моей матери, и она будет молиться за меня, дозволено это или не дозволено по церковным канонам. Это все, что я знаю, и, пожалуйста, помолчи, Мика, не вздумай читать мне проповедь.

Мика озадаченно ерошил волосы.

Вдруг шальная мысль пронзила Олега — ведь Вячеслав разрядил револьвер только благодаря тому, что он в это время любовался Асей. Значит, сама того не зная, она спасла ему жизнь!

— Можно? — послышался за дверью голос Нины.

Олег быстро спустил ноги с дивана.

— Лежите, пожалуйста, лежите, — сказала она, входя, и села к нему на край дивана, — я так переволновалась, что не могу заснуть. Какие мерзавцы! Если они искали определенное лицо, эту девицу, зачем не назвали ее сразу? Зачем проверяли документы у мужчин?

— Ах, Нина! Неужели вы не понимаете — это их излюбленная система заводить неводом — авось попадетсЯ золотая рыбка; и в самом деле, едва не попалась. — Он злобно усмехнулся.

— Олег, я хотела вам сказать... Мне невыносимо думать, что вы покушались на свою жизнь! Обещайте мне не повторять эту безумную попытку.

— Меньше всего я хочу обсуждать это, — сказал он.

— Олег, послушайте. Вы младший брат моего мужа, могу я хоть раз говорить с вами как старшая сестра?

— Как сестра? — переспросил он, и в его интонации прозвучало подчеркнутое удивление.

Она поняла его интонацию: почему же раньше, когда я пришел к тебе как брат, ты была так не по-родственному холодна со мной? Она все поняла и долго молчала.

— Олег, все-таки послушайте: вы не должны считать свою жизнь конченной. Мало ли какие могут быть перемены и в политической жизни, и в нашей личной. Ведь вы еще молоды. Может быть, у вас будет большая любовь, семья. Зачем думать, что впереди один только мрак?! А то, что вы хотели над собой сделать, — это ужасно своей непоправимостью. Как вам не стыдно!

Он молчал.

— И еще я хотела сказать, — продолжала она, — вам необходимо показаться врачу. Вы выглядите совсем больным, да и не удивительно — разве оттуда можно выбраться здоровым? У вас наверняка переутомление, малокровие, цинга, может быть... Со всем этим еще можно бороться, а если не будете за собой следить — навсегда потеряете здоровье.

— Мне не для кого беречь его, — сказал он.

— Опять, опять, — сказала она и положила свою руку на его руку. И вдруг ей пришло в голову предложить ему сопровождать ее к Бологовским и быть представленным Наталье Павловне. Если Ася действительно понравилась ему, это будет лучшим лекарством. Но тут же она вспомнила Марину и свое обещание. И опять их разговор показался ей пошлым, и какая-то досада на подругу закралась ей в сердце. Как неудачно переплелись все эти нити!

Неожиданно в ее памяти отчетливо возникла страшная, постоянно угнетавшая ее незабываемая минута в Черемушках, когда *они* набросились на нее и нанесли смертельный удар отцу, который пытался заслонить собой дочь. Мика тогда весь затрясся от испуга и долго потом заикался, иногда и теперь это заикание возвращалось к нему...

Она подошла к мальчику, обняла его:

— Перепугался?

Мика понял, что, спрашивая это, она вспомнила гибель их отца. Он сел на постели и порывисто обхватил сестру обеими руками, но уже в следующую минуту поспешно оттолкнул. — Да ну тебя, Нинка! Всегда ты со своими глупыми нежностями! Ничего не испугался! Сама ты трусиха известная.

Нина с материнской заботливостью поправила на нем одеяло.

Клены... уже красные сентябрьские клены, могилка щенка в траве, ветер гонит свинцовые тучи, а испуганного мальчика обступили люди с револьверами и дубинами... Агония помещичьей жизни...

«Нет, они все-таки не совсем чужие и дороги мне!» — думал Олег, глядя на них обоих.

Утром, заряжая вновь револьвер, он говорил самому себе: «До следующего звонка!»



## Глава одиннадцатая

*Какую власть имеет человек,  
Который даже нежности не просит.*

*А. Ахматова.*

Через два дня в семь утра, в кухне, как обычно в этот час, столпились почти все обитатели квартиры, собираясь на работу: кто мылся у крана, кто грел себе спешно завтрак. Какая-то угрюмая торопливость лежала на всех людях; перебрасывались короткими, деловыми фразами. Олег, вопреки обыкновению, вышел позже других. Он вообще не выносил общей суеты, поднимавшейся по утрам в кухне, и умывания на виду у всех, когда один торопит другого. Он предпочитал вставать на час раньше, чтобы мыться свободно, а потом уходил к себе. Сравнивая коммунальную квартиру с лагерем, он приходил к заключению, что по санитарным условиям она немногим лучше.

В этот день он вышел, когда кухня была полна народа, и спросил, обращаясь ко всем вместе:

— Кто мне скажет, что должен делать советский служащий, если идти на работу он не в состоянии?

Все повернулись к нему.

— Что с вами? — спросила Нина, ожидавшая с полотенцем своей очереди у крана.

— Никак заболел? — спросила дворничиха.

А Вячеслав ответил за всех:

— Если советский служащий заболел, он обеспечивается бесплатной медицинской помощью на дому и ему выписывают бюллетень, который он предъявляет на своей работе. По этому бюллетеню он получит позднее свою зарплату за дни болезни. Можно подумать, это вам неизвестно!

— Нет, неизвестно. Я знаю, что у нас в лагере болеть нельзя было, можно было только замертво свалиться к ногам конвойного; тогда вас уносили в лазарет и там всевозможными уколами в два — три дня наспех восстанавливали вашу трудоспособность и снова гнали вас на работу. Вот это мне хорошо известно.

— И вы поставили себе задачей рассказывать об этом? — спросил Вячеслав опасным тоном.

— К случаю пришлось, — ответил Олег, и взгляды их опять скрестились.

Нина за спиной Вячеслава отчаянно махала Олегу руками, призывая к осторожности, но он как будто не замечал ее сигналов.

— А где же я достану этого доброго гения, который выпишет мне бюллетень? — насмешливо спросил он.

— Из районной амбулатории, — в каком-то даже восторге торжественно возвестил Вячеслав. — Вы сейчас спросите, где она, — тут, недалеко; мне идти мимо, так я могу сделать вызов, а вы, коли больны, не выходите.

Олег с удивлением взглянул на него и хотел ответить, но Мика, стоявший на пороге с ранцем, перебил его:

— Мне тоже по дороге, давайте я сбегаю.

Олег потянул его за рукав:

— Сбегай, Мика. Только не забудь, что я Казаринов, — тихо прибавил он.

— Не бойтесь, не забуду, — и Мика съехал по перилам лестницы вниз.

Олег ушел к себе, а за ним по пятам пошла Нина.

— Какая вас муха укусила? Зачем вы так говорите с ним! Вы его словно дразните. Или вы хотите, чтобы он окончательно убедился в вашей ненависти к существующему строю? Смотрите; если он сообщит об этом кому следует, вас опять сцапают и тогда уже до всего дознаются.

— Он и так знает обо мне достаточно, чтобы донести, однако пока не доносит, — ответил Олег. — Знает, что я держу оружие, подозревает, что я офицер и ваш родственник, а не пролетарий, вопреки анкетным данным. Почему не сообщает — не знаю. Притворяться перед ним я, кажется, больше не в состоянии.

— Смотрите! — серьезно сказала Нина и спросила: — А что с вами?

— Лихорадит сильно и бок болит: я, наверное, простудился.

— Немудрено, что простудились, когда по такому морозу ходите в одной шинели. Я эту вашу шинель видеть не могу: от нее за полверсты веет белогвардейщиной. Ложитесь скорее, вы дрожите. Досадно, что комнаты не топлены. — И она ушла.

Олег был несколько шокирован, когда к нему вместо невольного воображаемого им традиционного седого профессора явилась молодая, разбитная еврейка. Однако она оказалась достаточно внимательной и бюллетень выписала. Успокоившись на этот счет, он лежал, тщетно стараясь согреться, когда к нему заглянула дворничиха.

— Вот я тебе чайку принесла и кусок пирожка горячего, сейчас из печки. Кушай на здоровье. Ишь, руки-то у тебя холодные, зябнешь, поди. Истопить мне, что ли, тебе печку? У Нины Александровны ни полена дров, придет с работы, пошлет еще Мику за вязанкой на базар, да еще с полчаса поругаются, не раньше вечера истопят; так и пролежишь в холоде, а я мигом.

— Какая вы добрая женщина, Анна Тимофеевна, спасибо вам!

— Чего там спасибо! Да давай прикрою тебя ватником — ишь, ведь трясется весь.

— Анна Тимофеевна, у вас есть иголка?

— Как же не быть иголке-то, а на что тебе?

— На мне все рвется, хочу попытаться зашить.

— Нешто сумеешь? Я тебе уже вечером поштопаю, а теперь спи. — И, затопив печку, она ушла.

Нина пришла действительно поздно, как всегда усталая, и между ней и Микой началась тотчас обычная «война».

— Накрой на стол и сбегай за хлебом, Мика!

— Погоди, потом.

— Не потом, а сейчас.

— Не пойду, пока шахматную задачу не кончу. Отвяжись со своими глупостями.

— Как тебе не стыдно так отвечать, Мика! Я целый день бегаю: все утро я пела в Капелле, а вечером мне петь в рабочем клубе; я, как кляча, тащу непосильный воз, а ты ничем мне помочь не хочешь!

— Ну, затараторила! Ладно — уж так и быть, накрою, только без скатерти, а то опять ругать будешь, что залил соусом; скатерть — это дворянские предрассудки.

— Ах, ты вот какой! Ты ведь это мне назло говоришь! Я тебя знаю! Все равно: умирать буду, а есть

буду со скатерти!

Несмотря на весь накал военных действий, она все-таки не забыла забежать к Олегу и принести ему их обычное «дежурное» блюдо — треску с картофелем.

— Что сказал врач? — спросила она.

— Четыре болезни с длинными названиями написала. Вот, извольте видеть: в начальной стадии. Звучит устрашающе и непонятно.

— Отчего же вы не спросили у врача, что это такое?

— Я спрашивал, она говорит, что мне знать совершенно не для чего: важно только, чтобы в карточке было написано. Очевидно, так полагается при советской власти.

— Олег, вы шутите, а тут вовсе нет ничего забавного, — озабоченно сказала Нина, созерцая загадочный иероглиф.

На следующий день Олег точно так же лежал один с книгой, когда кто-то постучался в дверь, и голосок Марины спросил: «Можно?» Он стремительно вскочил с постели, поправил ее, провел рукой по волосам, потом открыл дверь; она стояла у самого порога — очаровательно одетая, розовая, хорошенькая — и улыбалась ему.

— Это я, — защебетал а она, — муж говорил мне, что вы не вышли на работу, а Нина звонила по телефону и говорила, что позавчерашней ночью пережила что-то ужасное. Вот это так взволновало меня, что я прибежала узнать. А вот Нины-то и нет. Скажите хоть вы, в чем дело?

Он предложил ей стул и сам сел уже не на постель, а на табурет, коротко ответил на вопрос о здоровье и рассказал о ночном приключении, не упоминая ни о револьвере, ни о разговорах с Ниной.

— Боже мой! Какой ужас! Воображаю, как испугалась Нина! — восклицала Марина. — А вы не подумали, что они — за вами?

— Я всегда к этому готов, — ответил он.

— Это ужасно, то что вы говорите, — воскликнула она, и голос ее чувственно сорвался, так, что у Олега вдруг взволнованно заколотилось сердце. Он тонко ощутил, как она этим дрогнувшим голосом давала ему понять, что он ей не безразличен.

Марина продолжала наступление:

— Я почему-то особенно волнуюсь за вас, — сказала она и в изящном порыве прикоснулась к его руке — будто электрическая искра пробежала от нее к нему. Он все-таки еще делал вид, что ничего не замечает.

«Не может быть, — думал он, мне показалось, Бог знает что... не может быть!» — и чувствовал, что весь дрожит с головы до ног.

Она еще что-то говорила о том, что если бы его взяли, тогда она бы... тогда... И вдруг замолчала. Он быстро поднял голову и взглянул на нее: она опустила глаза, слегка краснея, и наклонила головку, как будто говоря «да» или «можно».

Он вскочил, быстро перешел комнату и сел на подоконник, глядя на засыпанный снегом, пустой дворик.

— Марина Сергеевна, не шутите со мной... и лучше... лучше уйдите!

У нее на губах мелькнула блаженная улыбка.

— Подите сюда, — прошептала она совсем тихо и протянула к нему руки, но он не шел.

— Марина Сергеевна! Я не гожусь в возлюбленные. У меня нет никаких средств, чтобы вас побаловать... Я нигде не могу бывать. Вы же видите — я почти в лохмотьях.

— Олег Андреевич, на вас не видны лохмотья, для меня вы всегда остаетесь изящным кавалергардом, в мундире с иголочки.

Он не шевелился. Слишком долго его продержали в этом аде, где не было места ни любви, ни даже грубой связи, и вот теперь, в тридцать лет, он не приобрел еще никакого опыта при объяснениях, никакой уверенности в себе и, как мальчик, которого соблазнили в первый раз, не решался ни приблизиться, ни сказать решительное «нет». Ее удивила его сдержанность, и от одной мысли, что все, вдруг так приблизившееся, может от нее уйти — она, не отдавая уже себе ясного отчета в своих поступках, вскочила, подбежала к нему и обхватила его шею руками, привлекая к себе, чтобы сломить его сопротивление.

— Я вас люблю... Я хочу любви, хочу счастья! У меня ничего нет. Всегда только со старым, некрасивым, нелюбимым! Олег, если вы любите меня, берите, берите! Должна же и у меня в жизни быть хоть одна счастливая минута!

Когда Нина вернулась с работы, дворничиха мыла пол в кухне, подоткнув подол, — она была чем-то очень недовольна.

— Приходила тут, без тебя, твоя вертихвостка, — начала она, когда Нина, надев передник, расположилась у стола чистить картошку.

— Какая вертихвостка?

— Сергеевна твоя.

— Да что вы! Марина? Как жаль, что она меня не застала!

— Ну, она, почитай, не очень о том жалела. Бойка! Уж больно бойка-то! Сладила свое дельце!

— Не понимаю, Аннушка, о чем вы?

— Дельце, говорю, сладила с Олегом твоим, за тем и прибежала.

— Аннушка! Как вам не стыдно! — Нина чуть не выронила нож.

— Как ей не стыдно, скажи. А мне-то чего? Я не солгу. Коли говорю, то, стало быть, знаю. — И Аннушка энергично выжала тряпку над ведром.

— Перестаньте, Аннушка. Я не хочу слушать сплетен.

— Да уж какие тут сплетни! Пришла, да тотчас к ему — и шасть! Шу-шу да шу-шу. Слышу, в дверях задвижка — щелк; я прождала этак минут с пятнадцать, туфли сняла, да и прошла по коридору послушать у двери — тишина у их... Какие уж сплетни! А выползла — волосы трепанные, щеки розовые: «До свидания, Аннушка, засиделась я», — и бегом. У, бесстыжая!

— Ну, даже если и так, никого это не касается, — сухо сказала Нина. — Стоять у замочной скважины некрасиво, и бранить Марину не за что: Олег не мальчик, он сам первый начал, я полагаю.

— Ну да, рассказывай! Так и поверю я. У нее все наперед обдуманно было. Говорю, на то и приходила, знает, она очень хорошо, что тебя в это время нет. Она, видать, ловкая. Муж пушай одевает, да на машинах катает, да в театры водит, ну а целоваться с молодым приятнее, чем со старым. И-и, негоднее это дело. Олегу бы жениться на хорошей девушке, а не шашни заводить с балованной барыней, да где уж устоять, когда сама идет в руки, соблазн такой... он же после тюрьмы напостившись.

— Довольно, Аннушка! Как вы не понимаете, что есть вещи, которых нельзя касаться. И зачем вы говорите «тюрьма» — точно он уголовник какой-то; он был интернирован, был в лагере, а не в тюрьме. —

И она вышла из кухни. Однако она не могла не сознаться, что Аннушка права, ворча на Марину, и впрямь — бойкая балованная барынька. Нина постучалась к Олегу. Он все так же лежал на диване, кутаясь в рваную шинель, и совсем не имел вида торжествующего любовника.

— Опять лихорадит и усталость, — ответил он на ее вопрос.

— Вы спали?

— Нет, больше читал. Приходила Марина Сергеевна, хотела вас видеть; просила вам передать, что придет вечером.

— Ах, вот что! — Волей-неволей Нине приходилось довольствоваться этой весьма сокращенной редакцией.

Через полчаса у двери Олега в коридоре разыгрался новый эпизод домашней войны:

— Мика, ты ходил за дровами?

— Как же, ходил. Принес две штуковины, приткнул у двери.

— Мика, да ведь это метровые бревна! Надо было вязанку взять, а с этими еще так много возни! Я от усталости падаю, а придется пилить и колоть. Ты совсем меня не жалеешь!

Олег с усилием поднялся с дивана и вышел в коридор.

— Идем, Мика. Бери пилу и топор, — сказал он, надевая шинель, и вспомнил почему-то, как в вестибюле отцовского дома произносил небрежно: «Шапку и пальто!» — и вскакивавшие при виде его денщики бросались исполнять приказание.

Нина запротестовала:

— Олег, вам выходить нельзя: вы получите воспаление легких.

— Успокойтесь, Нина! Пилить было моею специальностью в Соловках все шесть лет. Для меня здесь работы на пять минут. Но что за жизнь! — прибавил он с раздражением. — Певица с таким голосом, как у вас, не имеет самого необходимого! В царское время мы могли бы иметь особняк и вас осыпали бы цветами! Я поднес бы вам белую розу в бокале золотого, как небо, «Аи».

Она слегка прищурила ресницы, как будто всматриваясь в картины, проплывающие перед ее мысленным взором, и неожиданно разразилась тирадой:

— Совершенно верно! Певица с таким голосом, как у меня, могла бы в царское время утопать в роскоши; но я-то не была бы певицей — ни мой отец, ни ваша семья не пустили бы меня на сцену. Мой голос ушел бы на то, чтобы петь колыбельные в детской и романсы в салоне. А вот теперь — измученна, усталая, я пою, пою без конца все и везде, и только в эти минуты я счастлива!

Марина шла по набережной Невы в своей хорошенькой беличьей шубке, запрятав в муфту ручки в лайковых перчатках. Пушистые локоны стриженных волос выбивались из-под шапочки, ямочки на розовых щеках как будто подчеркивали выражение счастья. Изредка улыбка слетала и брови хмурились, потом опять расцветала улыбка. Мысли ее разбивались на два русла. Одно из них было заполнено счастливыми воспоминаниями. Как он схватил ее и понес, будто тигр свою добычу! Откуда силы взялись! Как приятно, когда тебя несут, как соломинку! А этот бесконечно долгий поцелуй... как будто выпила кубок шампанского — так тепло стало крови в сердце. У нее голова начала сладко кружиться, показалось — она падает. Должно быть, она была очень хороша тогда. Это комбине с розочками, которое она надела на всякий случай, ей очень идет; хорошо, что она догадалась надеть его!

Но за этими мыслями вырастали другие, менее отрадные, несколько смутные, уяснить которые даже

самой себе было больно: ведь она так и не услышала от него слова «люблю», а между тем первая сказала это слово. Кроме того, она не могла не понимать, что сама, своими собственными усилиями придвинула это. Воспоминание о том, как она подбежала к нему и прижалась всем телом, наполняло ее острым чувством стыда. Но нет! Сам он никогда бы не сделал первый шаг, ведь он без средств: у него нет костюма, нет денег, чтобы веселить и дарить подарки. Он сам сказал. Он не понимает, что ей ничего не нужно, милый, глупый кавалергард. А значит, она все сделала правильно. И Марина опять возвращалась к воспоминаниям о поцелуях и о своей красоте.

Короткий зимний день начинал уже погасать, когда она опомнилась немного и сообразила, что ей давно надо быть дома: усталый муж, наверное, уже вернулся с работы и ждет обеда, а впрочем, домработница подаст ему — не обязательно самой!

Около десяти вечера она постучалась в дверь Нины.

— Душечка Нина, здравствуй! Я ведь приходила сегодня. Я так жалела, что не застала тебя. Вот принесла торт: зови Мику и Олега и давайте пить чай.

— Жалела, что не застала? — переспросила Нина, и оттенок недоверия помимо воли прозвучал в ее голосе.

— Ну да, конечно, жалела, а что? — и щеки Марины предательски вспыхнули.

Нина вертела в руках нож для разрезания бумаги, и на ее выразительном лице лежала тень.

— Ты только не играй со мной в прятки, прошу тебя, — сказала она, глядя куда-то мимо подруги.

— Ты что-нибудь знаешь? Откуда ты знаешь? — несколько смущенно спросила Марина.

— Это все равно, откуда. Знаю.

— Так ведь не он же сказал тебе?

— О, Боже мой! Конечно, нет!

Они постояли молча.

— Ты недовольна мной, Нина?

— Мне жаль Олега. Я знаю, что душевное состояние его очень тяжелое сейчас. К нему надо очень бережно относиться, а ты... ты для своего удовольствия поиграешь с ним, а его запутаешь... ему так трудно было устроиться на работу, а теперь ты этой связью можешь осложнить его положение на службе. Хоть бы об этом подумала! И вообще, что, кроме осложнений, может эта связь дать? Никаких удовольствий и развлечений Олег предоставить тебе не может, пойми же. А муж? Ты что ж, обманывать его собираешься?

— Вот ты какая, Нина! Хорошо тебе говорить. Ты вышла по любви, в двадцать лет, вышла за блестящего офицера, целовалась с ним сколько хотела, а потом целовалась с моим Сергеем. А я? У меня никого не было. Ты отлично знаешь, в каком положении оказались девушки, которые не успели до революции выскочить замуж: нищета, никаких выездов и балов, никого из нашего общества, никакого выбора... Ты только подумай: я сегодня в первый раз узнала, что такое поцелуй мужчины, который нравится. А ведь мне уже тридцать два года! Пусть ты потеряла своего мужа, пусть потеряла Сергея, но ты была любима и любила, а я — пропадала зря. Ты горечи этого чувства даже понять не можешь. И ты еще меня осуждать будешь! — У Марины от досады даже слезы выступили на глаза.

— Да я не осуждаю тебя, Марина, я беспокоюсь только. Всегда все складывается так, что я должна за всех беспокоиться. И Моисея Гершелевича жалко, ты его, по-видимому, даже за человека не считаешь, а он так всегда добр с тобой!

— Моисей Гершелевич получил меня, и пусть с него этого будет довольно. Ты, Нина, всех жалеешь, кроме меня.

Нина помолчала.

— Ну, а беременности ты не боишься?

— Нина, почему ты во что бы то ни стало хочешь окатить меня ледяной водой?

Нина молчала.

— Нинка, ты ведь меня не разлюбишь? Ну, ругай меня сколько хочешь, дорогая, только люби! Это все, что мне надо.

Она знала власть своей кошачьей ласки над одинокой подругой, ей было достаточно обнять Нину и, взглянув ей в глаза, потереться щекой о ее плечо, чтобы получить ответную улыбку.

— Ты знаешь отлично, что не разлюблю. Но ты безумная какая-то, Марина.

— Безумная — вот это верно! Хочу быть счастлива и буду!

Через несколько минут они уселись за чайный столик и по настоянию Марины кликнули «мальчишек». Но пришел один, с неожиданным известием: «Не знаю, что такое с Олегом Андреевичем, он чего-то разговаривает сам с собой, уже не бредит ли?»

— Ну вот, я так и знала! — воскликнула Нина, вскакивая.

Марина метнулась было к двери, но Нина, поймав ее за руку, выразительно сдвинула брови и повела глазами на Мику; Марина поняла и опустилась на диван.

— Садись и разливай чай, а я пойду к нему, посмотрю, что такое, и сейчас вернусь. — И она вышла. Через несколько минут вернулась. — Да, бредит, не узнал меня. Боюсь — не воспаление ли легких. Придется звонить в больницу — дома ухаживать некому, а он целый день один, и в комнатах холодно, у меня нет денег даже на лишнюю вязанку дров.

Марина вытирала глаза.

— Это глупо, что я плачу, — пролепетала она, встретив удивленный взгляд Мики, — но мне так жаль тебя, Нина, на тебя сыплются все несчастья! Нина, дорогая, позволь мне — вот сто рублей, — это для вас всех. Смотри, какой Мика бледный. Возьми, пожалуйста. Неужели я ничем тебе помочь не могу?

Нина начала возражать. После небольшой перепалки решили, что Нина вернет эти деньги, когда будет продан только что снесенный в комиссионный магазин маленький Будда слоновой кости. Нина уверяла, что этот Будда приносит несчастье и что ей не жаль расстаться с ним.

— Чудак Олег Андреевич, — сказал Мика, увлекаясь тортом, — бредит почему-то по-французски: сначала так, какие-то несвязные слова бормотал, а потом вдруг говорит: «vin est tire, il faut ke boire»<sup>[22]</sup>, — вина какого-то ему захотелось, видите ли!

Нина незаметно покосилась на Марину: щеки Марины вспыхнули и губы задрожали, как у обиженного ребенка.

Проводив Марину, Нина велела Мике лечь в ее комнате, а сама пошла спать к Олегу и села около него в ожидании санитарного транспорта, который вызвала по телефону. В этот день она очень устала и была полна множеством впечатлений. После пилки дров, которая все-таки дорого обошлась Олегу, она, покончив с печкой и другими хозяйственными делами, собралась наконец нанести визит Наталье Павловне. Совершенно для нее неожиданно ее встретили очень тепло, как невесту Сергея Петровича, о чем говорилось открыто. Наталья Павловна обнимала ее, Ася бросилась на шею, а француженка осыпала

ее любезностями. Наталья Павловна передала ей письмо Сергея Петровича, читая которое она расплакалась, и это еще больше сблизило их. Вернулась она только за пять минут до того, как к ней постучала Марина, но ничего не рассказала ей, так как Марина была слишком полна своим собственным романом, а говорить мимоходом о таком важном событии в своей жизни Нина не хотела. К тому же сообщить о своем будущем браке как раз в тот день, когда ее подруга очертя голову решила на измену, показалось ей не деликатным. Теперь, сидя в тишине комнаты, она припоминала все подробности своего визита и чувствовала себя отогретой и очарованной отношением этой семьи. Ей захотелось перечитать письмо. Она вспомнила, что оно осталось в ее муфте, принесла и, усевшись снова у постели Олега и заслонив от него свет лампы, развернула письмо.

Она опустила письмо на колени, и опять слезы полились из ее глаз.

Олег начал водить головой по подушке и что-то бормотать... Она оглянулась и, что-то сообразив, поднялась и поспешно стала шарить около его изголовья. Вот он! Хорошо, что она вспомнила, — если бы санитары обнаружили, немедленно составили бы протокол и передали дело в гепеу. Она спрятала револьвер в муфту и энергично задернула молнию, твердо решив завтра же бросить его в Неву. Она смотрела на мечущегося в бреду Олега и чувствовала, что, вопреки намерениям, все больше и больше привязывается к нему и что его жизнь возбуждает в ней с каждым днем все больше и больше сестринского участия.



## Глава двенадцатая

В начале февраля Наталье Павловне сделалось нехорошо, когда она подымалась по лестнице, возвращаясь домой.

Когда мадам раздевала ее, та проговорила, обращаясь больше к самой себе: «Попались в сети наши оба сокола... Кажется, это у Пушкина?» И французенке ясно стало, что мысль о судьбе сыновей не оставляла ее ни на минуту.

Вызванный на квартиру старый врач, лечивший ее еще в добрые старые времена, нашел упадок сердечной деятельности, прописал несколько сердечных средств и покой и велел несколько дней полежать.

На третий день болезни бабушки Ася выудила наконец из почтового ящика письмо от Сергея Петровича. Он писал:

Когда Ася вслух прочитала письмо, Наталья Павловна попросила: «Дай мне, я хочу увидеть его руку». Ася молча протянула письмо, в котором ее больше всего поразили слова: «сквозь решетку окна» — ей вспомнилась картина «Всюду жизнь». «За решетку такого человека, как дядя Сережа!» — подумала она, чувствуя, что слезы сжимают ей горло, и, отвернувшись, разглядывала давно знакомые ширмы лионского бархата со сценами из жизни аркадских пастушков.

Наталья Павловна перечитывала письмо в полном молчании и, когда взглянула на своих домочадцев, встретила с тревожным взглядом Аси, устремленным на нее из-под ресниц, и озабоченными глазами французенки. Она сложила письмо и спокойно проговорила:

— Приготавливайте чай и садитесь сюда, ко мне. Ася бледная, ей надо пораньше лечь.

Своим тоном она вновь установила тот градус выдержки и спокойствия, который должен был держаться в семье, что бы ни случилось. Никто из них, словно по уговору, не говорил другому о тяжести своего душевного состояния, о том, что Сергею Петровичу никогда не разрешат вернуться, что не сегодня — завтра Наталья Павловна получит точно такую же повестку, а двери консерватории для Аси окончательно будут заперты. Мадам любила поговорку: *faut faire bonne mine a mauvaise jell* [23]. Казалось, фраза эта стала девизом в семье.

Ася болезненно переживала в эти дни свою непригодность к жизни. В течение одной недели она потерпела крах в двух попытках заработать. Урок музыки ей предложили в музыкальной школе. Семья рабочего получила по разверстке комнату репрессированного «бывшего», посередине этой комнаты стоял брошенный рояль, теперь бесхозный. Вновь поселившаяся семья завладела им, и старая бабушка порешила учить музыке маленького внука. Мальчик оказался кругленький, русоголовый, обстриженный в скобку, подпоясанный ремешком, ни дать ни взять — мужичок-с-ноготок! Ножки его еще не дотягивались до педали, а пел он очень чисто и мог с голоса повторить любую музыкальную фразу.

— Какой же у тебя тонкий слух, Миша! — радостно восклицала Ася.

Вид рояля, вклинившегося в эту типично мещанскую обстановку, болезненно царапнул ее сердце — владелец рояля, быть может, ехал в одной теплушке с Сергеем Петровичем.

Учительница и ученик просидели за роялем больше часа, а старая бабушка, подперев рукой щеку, с нежностью созерцала их.

— Слава Те, Господи! Сподобил ты меня сыскать учительницу! Больно молода, а в роялях, видать, понимает и ласковая... Пошли теперь, Господи, разумение Мишеньке!

Когда учительница уходила, старушка вынесла ей коржиков собственного изготовления.

Ася возвращалась ликующая: одна деталь вдруг зацепила ее воображение — уходя, она столкнулась с рабочим, отцом ребенка, и увидела, как Миша прыгнул тотчас же на сундук так, что головка прилась вровень с головой отца, и обвил руками его шею. «У меня тоже так будет! — решила Ася. — Мой сынок будет прыгать на бабушкин кофр, который в передней. Пролетарии вовсе не троглодиты, как уверяют бабушка и мадам, а такие же хорошие, как мы». Только когда она уже подходила к своей квартире, ее прожгло — что же она наделала! Она вспомнила, как, увлекшись слухом и голосом ребенка, сама подрубила сук, на котором собиралась усесться: когда выяснилось, что старушка приравнивает оплату за урок к своей зарплате за мытье полов, Ася брякнула:

— Мне денег не надо вовсе! Ваш Миша такой способный, я буду заниматься бесплатно!

Эти великодушные фразы легко слетели с ее губ, но где, спрашивается, был ее разум? Бабуля тотчас и поймала ее на слове. «Ах, какая я глупа! Эти люди живут, по-видимому, лучше нас — за один пакетик чаю для мадам стоило бы съездить на этот урок, а я от всего отказалась разом!» И Ася горько расплакалась.

Другая попытка была предпринята уже без ведома Натальи Павловны. Выходя на следующий день из подъезда, она увидела пожилую даму, державшую закутанного младенца. Ася придержала дверь, пропуская ее пройти, и с готовностью вызвалась поддержать младенца, пока дама эта дошла до булочной и обратно.

Благодаря Асю, дама сказала, что очень устала нянчиться с внуком.

— Не можете ли мне порекомендовать какую-нибудь женщину, которая согласилась бы выносить на ежедневную прогулку нашего Алешу? — спросила она.

— Возьмите меня! — выпалила Ася и покраснела, как рак.

На другой день под предлогом репетиции глинкинского трио, Ася ушла из дому в нужный час, и вот она спускалась с лестницы, бережно держа на руках укутанного бутуза. В подъезде стояла группа молодых людей, по-видимому, студентов.

— Расступитесь, товарищи, молодая мать идет! — сказал один из них.

— Ай, ай, какой хороший бутуз! — сказал другой.

— Мальчик? — спросил третий.

— Сын, — ответила с важностью Ася.

— Новый защитник революции, стало быть! А как имя?

— Алеша.

— А по батюшке?

Ася встала в тупик. Кажется, чего проще — скажи первое попавшееся имя, и все тут; но, как нарочно, все мужские имена вылетели из ее памяти. Юноши расхохотались.

— Да зачем ему отчество! — воскликнул один из них. — Он и без отчества будет хорош! Да здравствует товарищ Алексей, защитник мировой революции!

— Ура! — загалдели все, а один из них, положив руку на плечо Аси, сказал:

— Молодец. Так именно должна поступать истинная коммунистка. Семья — пережиток.

Ася поспешила отойти в маленький сквер напротив подъезда и села там на скамью; Алеша широко улыбался беззубым ротиком: новая няня ему очень нравилась. Две пожилые женщины, сидевшие тут же, с

любопытством оглядели Асю, живой пакетик на ее руках и даже «бывшего» соболя.

— Сын?

— Сын.

— Только со школьной скамьи — и уже мамаша! А что, роды-то трудные были? Таз-то у вас, поди, узкий, а может, ребенок и лежал-то неправильно? Где рожали?

Широко раскрыв глаза, Ася с ужасом смотрела на них, не зная что ответить. В эту минуту молодые люди махнули ей за изгородью уроненной перчаткой.

— Бегите, заберите, а ребенка отдайте пока нам, — покровительственно сказала одна из женщин, и едва Ася передала им Алешу, ребенок сейчас же сморщился и заплакал, а в подъезде, как на грех, показалась его бабушка.

— Это что же? Вы уже поспешили отделаться от ребенка? — и, отбирая Алешу, прибавила: — И это девушка из порядочного дома!

Ася растерянно оглянулась и, почувствовав в этих словах что-то еще непонимаемое ею ясно, но оскорбительное для себя, вспыхнула от обиды. Ничего не объясняя и не оправдываясь, она убежала в подъезд, забыв и про перчатку. Во второй половине дня она возвращалась из музыкальной школы в сопровождении Шуры Краснокутского.

Этот юноша, бывший лицеист с изысканными манерами и томными глазами, окончивший неожиданно для себя вместо лицея советскую трудовую школу, ухаживал довольно безнадежным образом — Ася неизменно потешалась над каждым проявлением его любви. В этот раз, разговаривая очень мирно, они только что повернули с Литейного на Пантелеймоновскую, когда высокий сумрачный человек в рабочей куртке и кепке почти столкнулся с ними и, смерив их недоброжелательным взглядом, громко сказал:

— Аристократия... Не всех еще вас перевешали!

Юноша и девушка растерянно взглянули друг на друга.

— Господи, что же это?! — воскликнула Ася и остановилась.

— Пойдемте, пойдемте скорей! — воскликнул Шура и повлек ее за руку. — Не оборачивайтесь! Впрочем, он не идет за нами. Какое у него было злое лицо!

— Шура, что мы ему сделали? Они ведь уже расстреляли наших отцов... Неужели же и наше поколение надо резать и гнать? Неужели же мало крови?

— Это называется классовой борьбой, Ася. Мы хотим жить, учиться, быть счастливыми, но мы уже приговорены — вопрос о сроках только. Мы хватаемся, кто за иностранные языки, кто за науку, наша образованность пока еще якорь спасения, но они хотят иметь свои кадры, и когда создадут их — нас, бывших, будут выкорчевывать, как пни в лесу.

— Шура, да в чем же мы виноваты? Когда началась революция, мне было семь лет, а вам десять. И еще, как мог он знать, кто мы по происхождению? Если бы мы прогремели мимо в золоченой карете, но мы — как все, мы одеты ничуть не лучше окружающих!

Он прижал к себе ее локоть:

— Тут не нужно кареты, Ася! Вас выдает лицо — оно слишком благородное. У вас облик сугубо контрреволюционный. Да и мой вид тоже очень и очень характерный! Недавно я зашел в кондитерскую, а продавщица говорит: «Вид господский, килограммный, а покупаете вовсе незаметную малость».

Ася засмеялась, а потом сказала:

— Милый килограммный Шура, мне очень грустно!

В этот вечер неожиданно раздался звонок — редкость в опальном доме. Открыв, Ася увидела невысокую худощавую фигуру молодого скрипача — еврея из музыкальной школы.

— Доди Шифман! — радостно воскликнула Ася и вылетела в переднюю.

— Здравствуйте, Ася! Я пришел сообщить, что репетиция нашего трио состоится не в пятницу, а завтра; заведующий инструментальным классом поручил мне вас предупредить. И еще... у меня вот случайно билеты в «Паризиану», идет хороший фильм... Не пойдете ли вы со мной?

— С удовольствием, конечно, пойду! — Ася подпрыгнула и уже схватилась за пальто, но, обернувшись на француженку, встретила с ее суровым взглядом.

— Вы разрешите мне, мадам? Или следует спросить бабушку? — растерянно пролепетала она.

— Laissez-moi parler moi-meme avec M-me votre grande mere<sup>[24]</sup>, — ледяным тоном отчеканила француженка и вышла.

Напрасно прождав две или три минуты, Ася выбежала в соседнюю гостиную и оказалась перед лицом выходившей из противоположной двери Натальи Павловны.

— Это что? В пальто прежде, чем получила разрешение? Ты не советская девчонка, чтобы бегать по кинематографам с неведомыми мне личностями.

— Бабушка, это Доди Шифман, — скрипач из нашей музыкальной школы.

— Что за непозволительная интимность называть уменьшительным именем постороннего молодого человека? Выйдешь замуж, будешь ходить по театрам с собственным мужем, а этот еврей тебе не компания.

— Бабушка, да ведь Доди слышит, что ты говоришь! За что же его обижать! А по имени у нас в музыкальной школе все называют друг друга.

Ася выбежала снова в переднюю и, увидев, что Доди там уже нет, вылетела вслед за ним на лестницу.

— Додя, подождите, остановитесь! Мне очень неприятно, что вас обидели! Бабушка — старый человек, у нее много странностей; меня она ни с кем никогда... — и, настигнув молодого скрипача, ухватила за рукав его пальто.

— Я все отлично понял, товарищ Бологовская, бабушка ваша не дала себе труда даже снизить голос.

— Доди, милый! Не подумайте, что я в этом участвую и тоже думаю так! В первый раз в жизни мне стыдно за моих! Евреи — такой талантливый народ — Мендельсон, Гейне... Пожалуйста, не обижайтесь, Доди! Иначе мне тяжело будет встречаться с вами, и трио потеряет для меня свою прелесть. Извините? Ну, спасибо. До завтра, Доди!

В этот день Наталье Павловне дано было еще дважды выявить всю неприступность своих позиций и величие своего духа, которого не могла коснуться тень упадничества. Этот день поистине был днем ее бенефиса.

Вскоре после того, как она указала надлежащее место молодому скрипачу, зазвонил телефон и трубка попала в руки Натальи Павловны. Говорил профессор консерватории — шеф Аси, который просил, чтобы Ася явилась к нему на урок в виде исключения в один из номеров Европейской гостиницы. Дело обстояло весьма просто — маэстро был в гостях у приезжего пианиста — гастролера и, сидя за дружеским ужином, внезапно ударил себя по лбу и воскликнул:

— Ах, Боже мой, я забыл, что через десять минут у меня урок! — и рассказал собеседнику о своей неофициальной ученице.

— Так пригласите ее сюда, и тогда это оторвет у вас какие-нибудь полчаса, кстати, и я ее послушаю, — отозвался второй маэстро.

Сказано — сделано. Но для Натальи Павловны вся ситуация представилась совсем в иной окраске...

— Что? Девушку в гостиницу? Этому не бывать. Нет. Нет. Если ваш гость желает послушать мою внучку — милости просим к нам. И никаких исключений!

Но завершающее выступление Натальи Павловны было великолепно в самом истинном значении этого слова: она уже сидела за вечерним чаем со своими друзьями-домочадцами, когда навестить ее явился один из прежних знакомых. Разговор зашел о положении эмигрантов.

— Как бы ни было оно тяжело, а все-таки несравненно легче нашего, — позволил себе заметить гость. — Мы с вами, Наталья Павловна, сделали очень большую ошибку — нам следовало уже давно уехать с семьями. В двадцать пятом году в Германию выпускали очень легко, и я уверен, что там наша жизнь шла бы нормально.

Наталья Павловна нахмурилась:

— Нормальной жизнь на чужбине быть не может. Мне, русской женщине, просить убежища у немцев? Мой муж, мой брат и оба мои сына сражались с немцами.

— Помилуйте, Наталья Павловна, вы предпочитаете иметь дело с большевиками? Кажется, они уже достаточно себя показали!

— Я бы отдала все оставшиеся мне годы жизни, лишь бы увидеть конец этого режима, — с достоинством возразила старая дама, — но это наша, домашняя беда. Пока я в России, я дома и лучше кончу мои дни в ссылке, чем буду процветать за рубежом.

Головка Аси слегка вскинулась от радостной гордости за бабушку, а глаза мадам восторженно сверкнули.

Впечатления этого дня растравили Асю. Перед сном она по своему обыкновению поцеловала маленький эмалевый образок, стоя уже раздетая на коленях в своей кровати. Этот эмалевый образок и плюшевый старый мишка — две только вещи принадлежали лично ей во всем доме. Но ей и не нужно было ничего. Улегшись, она некоторое время ворочалась с боку на бок, вспоминая обиду Шифмана, звонок из Европейской гостиницы и гордый ответ бабушки о жизни в эмиграции; но потом мысли Аси стали отлетать куда-то вдаль, где сияло голубое детское небо.

## Глава тринадцатая

*Льстецы, умеете сохранить*

*И в самой подлости оттенок благородства.*

*А. С. Пушкин.*

Печальное оцепенение этих дней было прервано неожиданным событием: к Наталье Павловне явился внук ее приятельницы еще по Смольному институту, а потом всегда желанный гость — Валентин Платонович Фроловский — и сообщил, что, находясь в командировке в Москве, он в одном крупном учреждении встретил внука Натальи Павловны от дочери, которая пропала без вести со всей семьей во время военных действий в Крыму, — Мишу Долгово-Сабурова.

Наталья Павловна была поражена — до сих пор люди только пропадали, и вот наконец, кто-то нашелся! Хотя одна утешительная весть! Она хотела тотчас писать внуку, но Валентин Платонович разразился речью, исполненной дипломатических тонкостей и очень длинной.

Смысл ее сводился к тому, что Михаил не захотел узнать Фроловского и тот на всякий случай узнал в справочном окне, работает ли в данном учреждении Долгово-Сабуров. Выяснилось, что такого нет, а есть только Сабуров. Так как имя и отчество совпали, можно было заключить, что Михаил, по всей вероятности, нашел удобным несколько изменить свою фамилию... Быть может, он точно так же изменил и кое-что в своей биографии. Все это очень извинительно в такое жуткое время. Очень быстро составилась план действий, Валентин Платонович через три дня уезжал в новую командировку в Москву: порешили, что Ася едет с ним и с вокзала он отвозит ее в учреждение, где работает Михаил. Все складывалось очень удобно, к тому же в комиссионном магазине продано хрустальное блюдо и ваза баккара — еще одно осложнение было, таким образом, устранено. Наставлений Ася получила великое множество от всех окружающих, но Наталья Павловна изложила ей свои только перед самым отъездом, пригласив ее в свою комнату, — ни в какие театры или рестораны даже с Валентином Платоновичем, с вечерним поездом обязательно обратно, по пути — никаких знакомств, чтобы не повторилось историй вроде той, с Рудиным. Михаилу было велено передать, если служит, пусть бросает службу и едет — семья дорожке. Только в случае, если он студент — пусть остается пока в Москве: попасть в высшее учебное заведение настолько трудно, что бросать его было бы легкомысленно. В этом случае пусть приезжает на первые каникулы.

— Передашь ему от меня вот эти деньги, объяснишь, почему я не могу прислать больше. Расспроси подробно обо всем, что ему известно про родителей. Христос с тобой! — И Наталья Павловна перекрестила внуку.

На вокзал с Асей поехали француженка, Леля и Шура Краснокутский. Ася сияла, заранее воображая себе встречу с двоюродным братом и гордясь ответственностью поручения.

— Передай Мише, что я раздумала выходить за него замуж и что обещала я это ему от моей великой глупости в десять лет, — сказала Леля.

— А от меня передайте Мише, — подхватил Шура, — что я жажду продлить с ним старое единоборство, которое началось на елке у Лорис-Меликовых и закончилось тем, что он подбил мне правый глаз. Обещаю подбить ему левый по заповеди: оно за око, зуб за зуб.

В Москве, однако, все сложилось не так, как ожидали. В учреждение Асю дальше вестибюля не пустили. Она написала записку и умолила швейцара снести ее «Сабурову». В записке стояло: «Дорогой Миша! Пишет твоя сестра Ася. Мы с бабушкой страшно рады, что ты нашелся. Скорее выйди, я внизу у лестницы». Курьер принес ей ответ: «Весьма рад и изумлен. Не имею возможности сейчас выйти, занят на

спешном совещании. Кончаю работу в 6. К этому времени жди меня в сквере напротив учреждения. М.». Она удивилась сначала, что он так отсрочивает свидание, но после сообразила, что он не мог знать плана, разработанного Натальей Павловной, и сообразоваться с ним. Оставалось пять часов времени. Они прошли незаметно — Ася отправилась в Третьяковскую галерею, которая оказалась поблизости. Заодно там как следует отогрелась.

К назначенному сроку она уже бродила по расчищенным дорожкам сквера и скоро увидела, как из учреждения начали быстро выходить люди. Одна фигура завернула к скверу. Он! Но какой же он стал высокий!

— Миша, милый! — она бросилась навстречу и сжала обеими руками его руку.

— Ася? Здравствуй! Рад, очень рад встрече. Я тоже ничего не знал о вас. Необходимо поговорить. Плачешь? Не надо, успокойся. Не о чем. Как видишь, жив и здоров. Покажись, какая ты? Выросла, похорошела! Сколько тебе теперь лет, Ася? Восемнадцать? А мне двадцать два. Не замужем?

— Ну, что ты! Конечно нет. Я живу с бабушкой.

— А почему с бабушкой? А твои родители?..

— Мама умерла от сыпного тифа, а папу расстреляли...

— Дядю Всеволода? Печально. Ну, а мой отец в эмиграции. Для меня потерян, как и твой. А мама... Моя мама пропала без вести...

— Миша, милый, бабушка прислала меня за тобой, чтобы ты жил с нами. Она так ждет тебя, так обрадовалась известию о тебе. Вот она прислала тебе двести рублей, чтобы ты мог выехать к нам. Ты больше не будешь один...

— Подожди, не торопись! Надо все обдумать и обсудить. Все это не так просто. Дело не в деньгах. Спрячь их пока в свою муфту. Пойдем со мной в кафе: скушаешь пирожное и выпьешь чашку какао, тем временем поговорим. Я должен перед тобой извиниться, я не могу пригласить тебя к себе домой: я — женат. Жена моя — человек несколько иной формации, чем ты, может быть, думаешь: она из рабочей семьи, комсомолка; я от нее пока скрываю, что я сын гвардейского офицера и сам — бывший кадет... Не хочется ворошить то, что удалось замять. Поэтому я не хотел бы вас знакомить. Ну, чего ты удивляешься? Отрекомендовать тебя просто знакомой я не могу — ты слишком молода и хороша собой! А представить как кузину — неосторожно! Ты, конечно, не сумеешь маневрировать в разговоре. Итак — в кафе? — Ася молча кивнула. Он взял ее под руку.

— Ну, пойдем. Рассказывай. Сначала скажи про бабушку: такая же она подтянутая, выдержанная и строгая или горе согнуло ее?

— Нет, бабушку не согнешь. Пережито было, конечно, очень много, и голова у бабушки совсем серебряная, но она не поддается. Ум у нее до сих пор такой светлый и ясный, что подивиться можно, и даже держится бабушка по-прежнему прямо.

— Не могу себе представить Наталью Павловну в современных условиях. Такая grand-dame<sup>[25]</sup> заперта в одну комнату и, очевидно, вынуждена стоять в очередях за керосином и картошкой, или мыть посуду в переднике. Просто представить себе не могу! Где же вы все живете?

— В прежней бабушкиной квартире, где всегда бывала такая чудесная елка, помнишь?

— Помню, конечно. А другие дети? Что с ними случилось? Где Вася, твой брат?

— Вася тоже... Тоже тиф. Тогда же, когда мама.

Они помолчали, охваченные холодным дуновением.

— Я им командовал когда-то на правах старшего. Помнишь, как мы играли в разбойников в Березовке? Делали себе украшения из гусиных перьев и прятались в парке. Ты Березовку помнишь?

— Березовку помню и никогда не забуду. Я до сих пор постоянно вижу ее во сне. Аллея к озеру, дубовая беседка, балкон, увитый виноградом... Вот закрою глаза и вижу. — Она сощурила ресницы, а про себя подумала: «Нет, он прежний, хороший!» Миша спросил, закончила ли она среднее образование, попутно поиронизировав, какая, должно быть, поднялась паника, когда благородные институты и великолепные гимназии, вроде Оболенской и Стоюнинской, превратились в «советские трудовые школы», широко доступные пролетарским массам.

— Меня только в двадцать втором году привез из Крыма дядя Сережа, да я еще долго болела тифом, — ответила Ася, — а потом бабушка отдала меня во французскую гимназию г-жи Жерар. Там все было еще по-старому — экзамены, классные дамы, реверансы. А преподавание велось на французском, поэтому поступать туда могли только дети нашего круга. Эту гимназию охраняло французское консульство. Все просились отдавать туда своих дочек, вот и мы с Лелей попали туда. Но окончить не успели — гимназию все-таки закрыли за идейное несоответствие.

Он усмехнулся:

— Я думаю! Французская гимназия! Эх, бабушка... Как вы все не понимаете серьезности момента! Ну, а потом что было?

Она стала рассказывать про то, как ее не приняли в консерваторию, потом про Сергея Петровича. Лицо Миши становилось все сумрачней и сумрачней. Пришли в кафе. Когда они сели за маленьким столиком, стоящим несколько в стороне от других, Миша сказал:

— Да, все это очень неприятно: сослан, конечно, за прошлое, — и опер на руку нахмуренный лоб. — Я должен поговорить с тобой очень серьезно, Ася. Мне бы хотелось, чтобы ты поняла меня. Я все время думал об этом с тех пор, как получил твою записку. Видишь ли, тот класс, который нас создал, уже сыграл свою роль и сходит со сцены. Пойми: он уже не возродится, а мы — дети этого класса — еще только вступаем в жизнь и должны отвоевать себе право на существование, если не хотим быть выброшенными за борт. Если до революции перед нами за заслуги отцов распахивались все двери, то теперь мы расплавляемся уже не за заслуги, а за «грехи» отцов, и наше происхождение превращается в своего рода печать отвержения, которую мы должны стараться сгладить. Не будем обсуждать, справедливо это или несправедливо — это факт, с которым необходимо считаться, а кто прав, кто виноват, рассудит история. Задача наша усложняется еще и тем, что готовили нас к существованию гораздо более изысканному, чем та суровая борьба, в которую мы теперь брошены. В нас развивали утонченность мысли, эстетическое чувство, изящество манер, обостряли нашу впечатлительность, а теперь вместо этой культуры тела и духа нам нужнее была бы здоровая простота чувств и непоколебимая самоуверенность, которая часто происходит от ограниченности, но за которую я теперь охотно бы отдал всю свою и развитость и щепетильность. Что делать! Мы должны приложить все усилия, чтобы наша неприспособленность не оказалась губительной. Не давай себя уверить, что большевики скоро взлетят на воздух. Нельзя жить как в ожидании поезда, нет. Нам остается только приспособливаться к новым условиям существования. — Он остановился и посмотрел на Асю, которая внимательно слушала его, стараясь понять.

— Каким же, по-твоему, образом нам надо приспособливаться? — спросила она спокойно.

— Каким?.. Ну вот, скажем, ты Ася. В тебе слишком светится вся твоя идеалистическая душа. В твоих словах, в твоих движениях и манерах есть что-то сугубо несовременное. Ни практичности, ни бойкости, ни самостоятельности. Ты производишь впечатление существа, случайного заблудившегося в нашей республике. Тебе необходимо изменить если не душу, то хотя бы манеру держаться, перекрасить шкурку в



защитный цвет. Я знаю, что это нелегко с аристократической отравой в крови, а все-таки необходимо. Когда-нибудь ты убедишься, что недостаточно солгать в анкете (если можно солгать), надо суметь перед окружающими поставить себя так, чтобы никто на службе или в учебном заведении не смог заподозрить в тебе дворянку. Вот я заметил, что ты вместо «спасибо» всякий раз отвечаешь «мерси» и при этом очаровательно грассируешь, обнаруживая идеальный парижский выговор. Будь уверена, что одним этим словом ты можешь предубедить против себя всю окружающую среду. Я говорю это на основании собственного горького опыта, что не сумел держать себя так, как это было необходимо перед своими же товарищами, да всевозможными местками и партячейками. С тех пор я стал иначе говорить, иначе смотреть. Отчасти это пошло мне во вред, но я предпочитаю лучше покраснеть перед бабушкой, нарушив правила хорошего тона, чем обнаружить свое подлинное лицо перед любым рабочим. Ася, пойми, достаточно только промаха перед кем-либо из «сознательных» товарищей, и вот в стенгазете появляется колкая заметка, где на тебя не то чтобы доносят, нет, зачем, — тебя высмеивают, на что-то намекают, и этого уже довольно. На следующий же день тебя вызывают в комсомольское бюро или в местком и начинается травля, в которой ты непременно будешь побежден, так как оправданий твоих не выслушают и не напечатают.

Она молчала; видно было, что она очень хочет понять его, и это тронуло юношу: он наклонился к ней и внезапно теплая нота прозвучала в его голосе:

— Да ты не обиделась ли на меня? Ты вся такая, как ты есть, мне очень нравишься, я не желал бы лучшего от кузины, но... Нельзя забывать, в какое время мы живем.

— Нет, я не обиделась. Я отлично понимаю, что все это у тебя выстрадано, Миша. Но вся эта твоя теория — защитная шелуха, как вокруг каштана или ореха. Я пока не вижу сердцевины.

— О, да ты не глупа! Ты очень хорошо мне ответила! — воскликнул он, как будто чем-то удивленный.

К ним подошла официантка, и оба выждали, пока она удалилась.

— Ты говоришь — выстрадано. Да, выстрадано! — опять начал он. — А вот отчего-же они, старшие, ну, если не бабушка, то хотя бы дядя Сережа, не сумели понять того, что понял я — мальчишка? Отчего дядя Сережа не сумел найти место в новом обществе? Подумала ли ты, в какое положение поставил он тебя своей ссылкой? — Ася покраснела.

— Нет, об этом я не подумала! Я думала о том, что он попадет в очень тяжелые условия, что у него не будет, может быть, угла и он затоскует без книг и без оркестра. Ты говоришь, что дядя Сережа не сумел себя поставить в новом обществе, но это не так; он был полезен, он работал, как вол. Сначала в «оркестре безработных», потом в Филармонии, а по вечерам в рабочих клубах — они это называли «халтурой».

Она замолчала. Ей показалось, что Миша слушает ее с безразличием.

— Оставим этот разговор, — растерянно молвила Ася. — Скажи, когда ты приедешь к нам и что я должна передать бабушке?

— Видишь ли, Ася, скажу откровенно — да ты и сама могла бы уже понять, после всего сказанного — встреча с Натальей Павловной не входит в мои планы и очень меня озадачивает... Ты росла под крылышками родных и, конечно, не представляешь себе, какую суровую школу прошел я за эти годы! Отец думал только о себе, когда бежал с полком в Константинополь, а меня бросил тринадцатилетним кадетиком отвечать здесь за моих предков! Я едва не умер с голоду. Я продавал газеты на улицах, я чистил сапоги; приходилось доказывать, что я не наследник-царевич или не верблюд, а двуногое! И вот только лишь я встал на ноги, сумел отбросить частицу «Долгово» и навсегда покончить с прошлым, я узнаю; что у меня есть родственники, которые жаждут раскрыть мне объятия! Пойми: для тебя бабушка и дядя Сережа — близкие и дорогие люди, а для меня — враждебные признаки, которые являются опять возмутить едва

лишь наладившуюся жизнь. Мое происхождение уже достаточно мешало мне!

— Миша, Миша, не говори так! Бабушка, конечно, взяла бы тебя к себе, как сына, если бы раньше напала на твои следы. Ведь мы же не знали, где тебя искать. И бабушка, и дядя Сережа сделали бы все для тебя, как для меня! Ты говоришь так раздраженно и сухо, точно совсем не рад нашей встрече. Миша, вспомни, как бабушка всегда баловала нас: помнишь, как ждали мы всегда ее приезда в Березовку и какую кучу игрушек она привозила?

— Я все помню, Ася. Память у меня очень хорошая. Но дело-то все не в том: баловать меня тогда не стоило бабушке Наташе никаких усилий и уж, разумеется, никакого риска, а мне теперь возобновить отношения с ней — значит, поставить на карту все! Репрессированные родственники и громкие фамилии для меня — петля! Я занимаю хорошее место, весной мне обещана путевка в ВУЗ с сохранением содержания, и вдруг на горизонте появляется бабушка — «ее превосходительство» и опальный дядюшка — белогвардеец в ссылке — тут задумаешься. Я предпочитаю не изворачиваться. На меня не рассчитывайте. Я сам выбился на дорогу, ни одна живая душа не пришла мне на помощь. Я ни у кого ничего не просил и теперь прошу только одного — оставить меня в покое.

Ася порывисто поднялась.

— Так будь спокоен, Миша, совсем спокоен: ни бабушка, ни дядя Сережа, ни я никогда больше тебя не потревожим. Я могу уйти сейчас же.

— Нет, пожалуйста, не торопись. Ты меня этим обидишь. Раз уж мы встретились, я был бы рад провести с тобой вечер.

— «Мерси», мне некогда. Я должна сегодня же уехать и еще... Если ты не хочешь быть родным бабушке, я не хочу быть родной тебе. Меня и бабушку разделять нельзя.

— Неудобно здесь препираться на глазах у всех. Подожди, я выйду тоже.

Он бросил деньги на стол и вышел вслед за ней.

— Я не хотел с тобой ссориться, Ася. Все, что я сейчас говорил, относится больше к бабушке, чем к тебе. С тобой я с радостью встречался бы иногда на нейтральной почве. Переписываться не предлагаю, так как в своей записке ты ясно показала, что не имеешь понятия о конспирации. Я отлично понимаю, что обманул твои ожидания, но и ты должна понять, что не мог говорить с тобой иначе.

— Извини, Миша, но я этого не понимаю и никогда не пойму, — ответила она, поспешно застегивая пальто. Губы ее дрожали.

— Ася, ты обиделась, и совершенно напрасно. Мне тоже очень больно. От всех прелестей жизни я стал неврастеником и уже знаю, что не засну всю ночь. Ты многое недооценила: другой на моем месте стал бы вором или гопником, или просто спился.

— Лучше бы ты спился, Миша. Будь счастлив, если можешь. Прощай!

Старая приятельница Натальи Павловны с утра ожидала Асю и давно уже беспокоилась, куда девалась девушка. Только в восемь вечера Ася наконец прибежала. Она показалась старушке очень милой и воспитанной, но, несомненно, чем-то расстроенной. Старушка даже забеспокоилась — не было ли у девушки какой-то тайной встречи и не случилось ли чего-нибудь непоправимого... Не считая себя вправе расспрашивать, она только обласкала ее и посадила обедать. Едва только Ася кончила обед, во время которого успела рассказать все, что ей поручила Наталья Павловна, как раздался звонок и в комнате появилась высокая фигура и прилизанная голова Валентина Платоновича. После обычной процедуры представления он сообщил Асе, что кончил служебные дела и готов уехать десятичасовым поездом; билеты у него в руках.

— Не пожелал поддерживать родственных отношений? — спросил Валентин Платонович, когда они вышли на лестницу, и пристально взглянул на молчаливую девушку.

Она обернулась на него.

— А вы почему так думаете?

— Я с самого начала допускал эту возможность! Уже потому, как он шарахнулся от меня, можно было это предвидеть.

Ася грустно усмехнулась я подумала о Валентине Платоновиче: вот этот ведь не отрекается же от родных и от своего круга, а между тем он сын члена Государственного Совета и его мамаша сама говорила бабушке, что у нее всегда готов чемодан с бельем и сухариками для Валентина Платоновича на случай его ареста.

Молча спускались они вниз. Перед подъездом стояла элегантная машина, Валентин Платонович открыл дверцу.

— Прошу вас, Ксения Всеволодовна. Мы сейчас покатаемся по Москве.

— Как? Ведь поезд в десять часов?

— Поезд не в десять, а в двенадцать тридцать. Я присочинил немного, боясь, чтобы вам не стало скучно со старушкой. Мне хотелось показать вам белокаменную, пользуясь случаем, что знакомый академик предоставил мне на этот вечер машину.

— Да как же так вы распорядились за меня?

— А что ж такого? Ведь смотреть-то Москву интереснее?

— Конечно, конечно, интересней... но...

— Ксения Всеволодовна, уверяю вас, что запреты относятся только к случайным знакомствам; а впрочем, если вы сомневаетесь, что я — это я, или опасаетесь за «бывшего соболя», я тотчас отпущу машину.

— Да нет, я не сомневаюсь... вовсе нет... — И она замолчала, смущенная.

Покатались по Москве. Было и в самом деле интересно, хотя боль от разговора с Михаилом не проходила. В середине пустого разговора Ася проиграла пари a discretion<sup>[26]</sup>, предложенное Валентином Платоновичем, и должна была выслушать целую лекцию о том, что оплата за пари — такой же долг чести, как карточный и всякий другой.

— Да вы не беспокойтесь, Ксения Всеволодовна: ничего особого страшного я от вас не потребую. Под машину, например, броситься вас не заставлю, — прибавил он ей в утешение.

— Ну, так говорите уж скорее, что надо, — сказала она с тревогой в голосе.

— А вот сейчас выйдем из машины и скажу. Они вышли, и когда он отпустил машину, то, наклоняясь к ней, сказал тоном волка из «Красной Шапочки»:

— Вы должны поцеловать меня!

Она вспыхнула и отшатнулась:

— Что вы! Я не хочу! Придумайте что-нибудь другое.

— Нет, Ксения Всеволодовна, отказываться нельзя никак — долг чести! Да и что страшного? Коснетесь прелестными губками моей щеки. У меня нет ни кори, ни скарлатины: никакая зараза не перескочит. Дешево отделаетесь, уверяю вас. А впредь примите мой совет: ни с кем не заключайте пари.

Ася растерянно смотрела на него.

— Господи, какая же неудачная вышла эта поездка в Москву! — со вздохом так и вырвалось у нее.

— И в самом деле неудачная. Разрешите выразить сочувствие. Но так как времени у нас мало, приступимте к делу немедленно. Целоваться на улице несколько неудобно... Зайдемте вот в этот подъезд.

Вошли в подъезд.

— Поднимемся повыше — в верхних этажах спокойнее.

Ася уныло поплелась сзади, опустив голову.

— Ксения Всеволодовна, я вас точно не эшафот веду! Повеселей!

Они остановились друг против друга на площадке. Было уже поздно, и лестница безмолвствовала.

— Ну-с, я жду!

Ася стояла с поникшей головой.

— Смелее, Ксения Всеволодовна! Минута — и все будет кончено, как говорили мне в детстве, когда держали передо мной ложку ужасного лекарства. — Он шагнул к ней, и она заметила в нем внезапную перемену: глаза у него как будто загорелись, дыхание стало прерывисто, исчезло насмешливое выражение. Инстинктивно почувствовав опасность, она попятилась, но он уже обхватил ее шею и приник к ее губам, насильно разжимая их. Когда наконец он выпустил ее и, как ошарашенный, сел на подоконник, она напустилась на него, встряхиваясь, как зверек:

— Гадкий! Как вы смеете? Кто же так целуется? Не умеете, так не предлагайте!

— Не умею? Как так «не умею»? Позвольте, почему же не умею? — искренно изумился бывший паж. — Впрочем, если вы искуснее меня, может быть, дадите мне несколько уроков? Буду очень счастлив. — Он уже овладел собой и вернулся к обычной манере говорить.

— Сколько я целовалась со всеми, и никто не целовал меня так! — кипятилась Ася.

— А что, женщины целуются одним способом, а мужчины другим?

— Я не только с женщинами целовалась, я и с мужчинами!

— Вот оно что! Любопытно узнать — с кем же это?

— Ах, Господи. Каждое утро дядя Сережа целовал меня в лоб, а в Светлое Воскресенье я христосовалась с Шурой и с бабушкиным старым лакеем, который всегда приходит поздравить, и все целовалась нормально, а не как вы!

— Прекрасно! Умозаключения ваши преисполнены мудрости, хотя несколько скороспелы. Когда-нибудь, вспоминая эту сцену, вы отдадите мне должное во всех отношениях, а теперь бежимте, иначе опоздаем на поезд и тогда застрянем в Москве надолго.

Испуганная этой перспективой, она припустилась вниз.

Стоя у окна в коридоре вагона и глядя на исчезающие одно за другим предместья, она потихоньку вытирала слезы. Валентин Платонович, вышедший из купе с папиросой, подошел к ней:

— Не плачьте, Ксения Всеволодовна. Не стоит Михаил ваших слез. А ну его! Скрывать от собственной жены свое происхождение! Хотел бы я знать о чем он говорит сейчас с ней. Ренегат! Право, если бы меня спросили, что я предпочитаю: сесть за первомайский стол с махровым пролетариатом и неизбежной водочкой и икотой или на расстрел со всем бомондом — я выбрал бы второе!

Ася недружелюбно покосилась на него исподлобья, и он поспешил начать длинную тираду,

клонившуюся к тому, что рассказывать дома о поцелуе немислимо: расплата за пари всегда должна оставаться втайне; к тому же он рискует навсегда утратить расположение Натальи Павловны и тогда не сможет бывать в их доме и забавлять ее и Лелю в дни рождений и именин. Требование это возмутило Асю. Она не сразу дала слово и в самом мрачном расположении духа ушла на свою койку.

Мысли ее перебросились на Михаила, затем на бабушку, наконец натолкнулись на детское, но горькое воспоминание. Двадцать второй год, Сергей Петрович и мадам везут ее из Севастополя в Петербург к бабушке. Грязные продувные теплушки кишат вшами и битком набиты людьми в полушубках. Люди эти пьют, курят, ругаются и называют друг друга «товарищи». Она еще никогда не видела таких людей с таким бесцеремонным отношением друг к другу. Страшнее всех матрос Ковальчук, который то и дело рассекает топором поленья для «буржуйки» посередине вагона. Угодив щепкой ей в лицо, он закричал на возмущившегося было Сергея Петровича: «Сиди тихо, белогвардеец недострелянный! К стенке приставлю!» Совершенно измученные, оборванные и больные, они все трое дождаться не могли конца этого переезда, длившегося четверо суток, и еле живые дотащились до Натальи Павловны, которая все годы гражданской войны провела в Петербурге одна, со старой преданной служанкой. Бабушка тут же, в передней, сорвала с Аси все тряпки и велела своей Пелагее сжечь их, а Асю на руках перенесли в ванну. Вечером дядя Сережа уже лежал в бреду, а на другой день заболела сыпняком и Ася. Мадам видела, как тяжело ухаживать за двумя беспмятными и, когда через несколько дней пришла ее очередь свалиться, умоляла отправить ее в больницу. Но бабушка так не сделала: вдвоем с покойной Пелагеюшкой они и днем и ночью переходили от постели к постели, из комнаты в комнату. Зарабатывать было некому, и приходилось продавать вещи. Едва очнувшись, Ася всегда видела бабушку рядом с собой. «Моя бедная крошка! Моя птичка! Ну, открой ротик, глотни воды!» Чуть что — сразу менять белье! Пелагеюшка почти не отходила от корыта. Дядя Сережа все порывался в бреду куда-то бежать: два раза они настигали его у выходной двери и находили силы тащить обратно и укладывать снова в постель. Когда пришли трудные дни, эта grand-dame, как выразился Миша, никакой работой не побрезговала и заразы не боялась. А через год, когда случился удар у Пелагеюшки, бабушка точно так же ухаживала и за ней, и Асю заставляла около нее дежурить. Пелагеюшка целовала бабушке руки и все повторяла:

— Барынюшка моя! Ангелица моя!

Она, должно быть, полагала, что ангел — мужчина, а если женщина, то — ангелица. С такими словами и померла на руках у Натальи Павловны.

«Grand-dame»! «Ее превосходительство!»

## Глава четырнадцатая

*Мы говорим на разных языках.*

*Д. Бальмонт.*

Забавные гримасы; иногда строит советская действительность! Это настоящие анекдоты; их рассказывают, смеясь и оглядываясь тут же на дверь — как бы не дошло до ушей соседа, пролетария или гепеушника, который как раз в эту минуту, не дай, Господи, притаился у двери!

Вот, например, маленькая Ася Бологовская побежала в лавку получить макароны, и ей завернули их в лист, который оказался вырванным из трудов Лихачева и как раз на странице, повествующей о предках бояр Бологовских! А вот другой случай: в Академии наук праздновался чей-то юбилей: банкет, речи — и вот с бокалом поднялся высокий седой Перетц. Легкий трепет пробежал по лицам присутствующих, ибо сей академик в своих речах упорно не желал проявить должную лояльность. На этот раз Владимир Николаевич пожелал нырнуть в глубь истории и припомнить времена татарского владычества и поездки князей в Орду. Закончил он свою речь так: «Мы все любим и уважаем вас, дорогой коллега, за то, что вы в Орду на поклон не ездите и ярлыков на княжение не выпрашиваете». После этих вдохновенных слов наступила тишина; все глаза опустились в тарелки, многие из присутствующих съежились, как бы желая исчезнуть вовсе... А бедный юбиляр?

Вот анекдот забавней: председатель Верховного Совета Калинин в юности служил казачком в имении сенатора Мордухай-Болтовского; молодые господа, которым он копал червей для удочек, снабжали его книгами и первыми познакомили будущего столпа революции с творениями Маркса и Энгельса. Позднее, когда поместье Мордухай-Болтовских уже было отобрано, бывший казачок заступился за внуков сенатора и дал им возможность поступить в университет. Недавно явились арестовывать одного из Мордухай-Болтовских, и вот, перерывая книги и вещи, агенты ГПУ внезапно меняются в лицах и подталкивают друг друга локтями — на стене перед ними портрет председателя Верховного Совета с надписью «Дорогому Александру Ивановичу от благодарного Калинина».

А вот анекдот еще острее: молодой человек, студент, сын профессора, увидел на улице уже дряхлую даму в черной соломенной шляпке, съехавшей набок, и с перепачканным сажей лицом. Однако черты этой дамы и жест, которым она придерживала рваную юбку, изобличали даму общества. Несколько мальчишек гнались за ней с хохотом, выкрикивая обидные слова. Молодой человек отогнал мальчишек и предложил старой даме руку, чтобы проводить до дому. «Как редко теперь можно встретить таких воспитанных молодых людей. Вы, должно быть, из хорошей фамилии?» — спросила дама. «Римский-Корсаков», — представился, кланяясь, юноша. Дама оторопела: «Однако... Позвольте... Римская-Корсакова — я». Они стали разбираться, и выяснилось, что старушка — Полина Павловна — приходится по мужу кузиной покойного композитора и grand-tante [27] юноше. Пришли в квартиру Полины Павловны, и глазам студента представился огромный портрет одного из его предков рядом с закоптелой времянкой посередине гостиной. Усадив родственника, старая дама начала сетовать на бедственное положение и при этом обмолвилась, что составляет прошение в Кремль, чтобы ей как бывшей фрейлине ее величества установили наконец заслуженную пенсию... Молодой человек вскочил, как ужаленный: «Склероз мозга, она уже не понимает, что делает, а нас погубит!» Прямо от неожиданно обретенной тетушки бросился он к отцу и прочим родственникам, и скоро на экстренном семейном совете было постановлено выплачивать Полине Павловне по пятьдесят рублей в месяц с каждого гнезда, лишь бы она не напоминала кому не следует о былом величии рода...

Много ходило трагикомических анекдотов по поводу заселения квартир недопустимо разнородным

элементом; даже в газете раз промелькнула статья под названием «Профессор и... цыгане!».

Наталью Павловну всегда беспокоили именно такие рассказы. Весьма возможная перспектива заселения ее квартиры пролетарским элементом превратилась у нее в последнее время в навязчивую идею и лишала ее сна. Великолепная барская квартира Натальи Павловны с высокими потолками и огромными окнами уже несколько лет назад по приказу РЖУ была разделена на две самостоятельные квартиры: пять комнат вместе с кухней и черным ходом отпали. Теперь оставался один парадный ход, а бывшая классная превратилась в кухню с плитой и краном. Мадам содержала эту кухню в величайшей опрятности и чувствовала себя в ней полной хозяйкой. Но и оставшиеся шесть комнат показались РЖУ слишком обширной площадью для одной семьи, и скоро столовая — одна из самых больших комнат, отделанная дубом, — была отобрана и заселена красным курсантом с женой. Теперь за Бологовскими осталась спальня Натальи Павловны, бывшая библиотека и маленький будуар; в библиотеке спала на раскладушке мадам, в будуаре на диване — Ася. Попадать в библиотеку и будуар можно было только через гостиную, откуда еще вела дверь в переднюю. Комната, как проходная, на учет не бралась и не подлежала заселению, но за «излишки» площади приходилось платить вдвойне. Небольшой зимний сад, отделенный от коридора стеклянной стеной, представлял собой теперь беспорядочный склад ломаной мебели и ненужных вещей, но поскольку стены в нем были стеклянные, он не мог быть использован как жилая площадь. Отобрать для заселения могли теперь кабинет или спальню, и через два дня после возвращения Аси из Москвы в квартиру беззастенчиво вторглась комиссия из РЖУ, сопровождаемая управдомом. Не снимая фуражек, с папиросами в зубах они обошли комнаты и выбрали жертвой кабинет, который велено было очистить тотчас же, поскольку новые жильцы явятся уже завтра.

Одна беда за другой — едва занялись разгрузкой кабинета, как в тот же вечер скончалась, наконец, знаменитая борзая. Вызвали Шуру Краснокутского, поплакали и повезли собаку на кладбище. Похоронили Диану на семейном месте под скамейкой. Потом пришлось еще полночи заниматься кабинетом. Лишь под утро все было готово, вычищено и прибрано: только концертный рояль — очередная жертва — стоял неприкаянный посередине комнаты: за ним должны были приехать из комиссионного магазина.

Новые жильцы не замедлили явиться. Во время утреннего завтрака раздался звонок и затем в передней чей-то грубый бас начал что-то доказывать, все повышая и повышая голос. Неожиданно, без предварительного стука, дверь гостиной распахнулась и в комнату ввалилась крупная фигура в засаленной гимнастерке, с замотанным вокруг шеи шарфом и взлохмаченной головой.

— Так что я явился с ордером на вашу комнату. Давайте-ка, господа хорошие, ключи, да пошевеливайтесь! Даром, что ли, мы кровь проливали?

Наталья Павловна вышла из-за стола.

— С кем я говорю? — спросила она с достоинством.

— Отставной матрос, потомственный пролетарий Павел Хрычко! — гаркнул хам. — Коли, если желаете увидеть ордер, пожалуй, поглядите, а чинить себе препятствия я не позволю. — Я — инвалид; у меня в боях с Деникиным кисть изувечена, у меня жена и дети. Я жаловаться буду!

— Никто не собирается чинить вам препятствия, — тихо сказала Наталья Павловна, — если у вас ордер, вы вправе переселиться. Ключа от комнаты у меня нет, так как мы жили своей семьей и комнат не запирали, а ключ от квартиры я вам дам. В свою очередь, прошу вас стучаться, прежде чем входить.

— Ишь ты! Я гляжу, спесь-то с вас еще не сбита. И чего смотрят товарищи комиссары? Ну ничего, мы еще разберемся! Ждите!

Вслед за этим началось «великое переселение народов». Неизвестные женщины в валенках и платках перетаскивали домашний скарб — тюфяки, подушки, табуретки, кружки, корыто, пустые бутылки, портреты

большевистских вождей... Матерная ругань, детский плач, харканье и плевки служили музыкальным сопровождением этому действию. Едва только водворили вещи, тотчас сели, по-видимому, за стол, так как слышалось нестройное пение и пьяные мужские и бабьи голоса. Наталья Павловна, мадам и Ася поспешили закрыть задвижки из гостиной в переднюю и из спальни в коридор, изолировавшись в своих комнатах, как в осажденной крепости, а выходя в ванную или в кухню, конвоировали друг друга. Чувство незащитности, покинутости обрушилось на трех женщин. Неожиданно подоспела помощь в лице Валентина Платоновича и Шуры.

— На экстренном заседании решено было произвести мобилизацию на случай, если потребуется вмешательство вооруженных сил дружественной державы, — отрапортовал Валентин Платонович, целуя руку Натальи Павловны.

Мадам отважилась выйти в кухню поставить чайник, чтобы напоить гостей, но тотчас прибежала обратно с сенсационным известием: из кухни исчез самый большой медный чайник, а из коридора — круглый стол черного мрамора, стоявший обычно на нем телефон был попросту переставлен на пол. Это вызвало всеобщее возмущение, особенно кипятилась мадам. Одна Ася пыталась заступиться и, перебегая от одного к другому, тщетно восклицала:

— Не надо поднимать шума из-за пустяков! Пожалуйста, не надо! Он такой жалкий, с больной рукой! Вспомните Достоевского — может быть, эта семья вроде семьи Снегирева или Мармеладова!

— Но, Ксения Всеволодовна, согласитесь, что с первого же дня брать без спроса чужие вещи — бесцеремонность исключительная, — воскликнул Шура.

— Которой должен быть положен конец, или эти наглецы, сядут нам на шею! — твердо закончил Валентин Платонович. — Приглашаю вас, Александр Александрович, атаковать вражеские позиции и отбить трофеи!

Краснокутский выпрямился и, отбивая ногами шаг, начал насвистывать марш Преображенского полка. Способность Шуры все превращать в шутку всегда раздражала Асю.

— Под этот марш ходили наши герои, а вы его профанируете! — воскликнула она с гневом. Через пять минут стол был водворен обратно, а одна из женщин, по-видимому, супруга «потомственного пролетария» явилась объясняться по поводу чайника:

— Так что мы очень просим... Гости, видите ли, у нас — не в чем подать... Уж будьте так любезны, мы новоселье празднуем! А если кого из гостей вырвет в коридоре, так уже вы не беспокойтесь — я завтра весь пол перемою, — лепетала она довольно жалобно.

Это была еще молодая женщина тридцати пяти лет, круглолицая мешаночка, достаточно миловидная. Что-то приниженное и подобострастное было в ее манерах в противоположность наглому тону ее супруга. Предупреждение о рвоте произвело настолько ошеломляющее впечатление, что несколько минут все окаменело молчали. Наталья Павловна опомнилась первая и разрешила оставить чайник на этот вечер, но с тем, что впредь без ее ведома вещей не касались. Женщина проворно убежала.

— Ну и публика! — воскликнул Валентин Платонович.

— Ну и сброд! — подхватил Шура, и опять закипело возмущение.

Дверь в гостиную внезапно распахнулась и на пороге выросла фигура самого «потомственного». Жена, видимо, удерживая его, тянула обратно.

— Вы уж очень зазнались тут! — зарычал он, вырываясь. — Со скандалами являются! Ишь ты! Что же мне с семьей в подвале, что ли, оставаться? За что боролась? Да я, если захочу, укуе вас, офицерье переодетое! Нашли кого пугать! Прошло ваше время!



Наталья Павловна поднялась, дрожа от бессильного негодования, остальные замерли. Один Валентин Платонович не растерялся. Он сделал шаг и толкнул в грудь непрошеного гостя:

— Вон, или сейчас вызову милицию и привлеку к ответственности за хулиганство! Угроз ваших здесь никто не боится. Здесь все советские граждане. Я сам был красным командиром! — и выволок Хрычко в переднюю. Тот с размаху ударил его кулаком в лицо, Валентин Платонович тоже ударил мерзавца, но на этом все и кончилось — жена увела «потомственного».

— Наталья Павловна, не расстраивайтесь, он немного навеселе. В трезвом виде он этого не повторит, — сказал Валентин Платонович, держа платок у глаза. Оказалось, что у него порядком подшиблен висок и глаз. Ему стали делать примочки арникой, и Шура с завистью наблюдал, как хлопотала около него Ася.

— Ксения Всеволодовна, если мне суждено погибнуть во цвете лет, умоляю вас, в память обо мне, не заключать a discretion с вашим новым соседом, — голосом умирающего проговорил он.

Девушка с досадой отвернулась, вспомнив московский поцелуй.

Пьяные крики начали смолкать; молодые люди собрались уходить, и Шура уже взял под руку раненого героя, когда послышался женский визг. Разведка показала, что сцепились жена красного курсанта с женой Хрычко, которая забралась в бочку с ее квашеной капустой, Валентин Платонович был очень доволен этим известием и разъярил Наталье Павловне, что междоусобные войны всегда ослабляют противника.

Проводив своих защитников, женщины проверили на всякий случай все задвижки и собрались спать. Перед тем как нырнуть в постель, Ася тихо стукнула в дверь бабушкиной спальни.

— Entrez[28], — отозвалась Наталья Павловна. Она еще сидела в кресле. Свет от лампы, затемненной голубым абажуром, падал на ее печальное лицо.

— Бабушка, бабушка, не грусти! Впереди еще будет и счастье!

— О, нет, дитя. Ничего хорошего я уже не жду. Здесь, в комнате моего сына, валяется пьяный хам, в то время как мой сын пропадает в Сибири в глухом поселке, а мой внук не хочет меня знать! Трудно примириться с этим. И мне страшно, Ася, за тебя, за твою судьбу.

Ася прижалась щекой к руке Натальи Павловны.

— Я люблю твои руки, бабушка. Ни у кого нет таких изящных длинных пальцев. Не беспокойся за меня: я очень хорошо знаю, что буду счастлива. Когда я просыпаюсь по утрам и лежу совсем тихо, на меня часто идут длинные золотые лучи; я боюсь тогда даже пошевелиться, чтобы не порвать их, как паутину, и это — как обещание счастья! Такие вещи лучше не рассказывать, и я никогда не рассказала бы, но мне хотелось утешить тебя, бабушка!

С наступлением утра новые жильцы показались уже не столь устрашающими. Гости их удалились: великолепный глава семейства, которого Валентин Платонович тоже наградил синяком, отправился на работу. Осталась только его жена с двумя мальчиками четырнадцати и четырех лет. Она суетилась, мыла пол, визгливо кричала на детей и на кошку, но в общем не выходила из рамок приличия. Чайник был возвращен вычищенным и блестящим.

Столкновение за весь день было только одно — по поводу грязного белья, намоченного в ванне. Соединенными усилиями мадам и жены курсанта принудили новую жилищу вынуть белье и вымыть ванну. Вечером, когда мадам заглянула в кухню, обе женщины мирно стирали белье и вели разговоры, весьма притом поучительные. Они делились впечатлениями по поводу аборт — одна имела их пять, другая — три. Мадам постояла, послушала и сказала себе, что Асю и Лелю теперь нельзя будет вовсе выпускать в

КУХНЮ.

## Глава пятнадцатая

Олега выпустили из больницы только в начале марта. Воспаление легких прошло скоро, но плеврит затянулся. За время болезни, впервые после лагеря, Олег получил возможность отдохнуть и отоспаться. Кроме того в больнице обратили внимание на общее состояние организма — истощение и малокровие — и подлечили впрыскиванием мышьяка с железом и глюкозой. Кормили неплохо. Заключение врачей о плеврите было неутешительно: Олегу объяснили, что застрявший в плевре осколок, неудаленный при прежних операциях, дает и будет давать постоянное воспаление плевры. Вячеслав ошибался, когда с таким азартом доказывал, что заболевший служащий обеспечивается зарплатой: выяснилось, что правило это относится лишь к тем, кто проработал более или менее значительный срок в одном учреждении, а Олег, проработавший всего месяц и притом внештатным работником, не имел права на получение зарплаты, и бюллетень имел значение только как оправдание за пропущенные дни.

В городе свирепствовал грипп и доступ посетителям в больницу был воспрещен. О Марине Олег не знал ничего. Думая о ней, он испытывал стыд за то, что случилось между ними в последний день. Он понимал, что не влюблен, и не пытался себя обманывать. Вместе с тем, он говорил себе, что она — порядочная женщина, с которой нельзя было после происшедшего обратить отношения в ничто. Если связь между ними упрочится, он должен будет уйти из порта, ведь не может же он, обманывая ее мужа, встречаться с ним на службе.

Постоянно возникал в его мыслях другой образ — белизна лба, густые длинные ресницы, невозмутимая чистота взгляда.

В день, когда его выпустили из больницы, была оттепель; он вышел все в той же шинели. Без калош он тотчас промочил ноги. Идти пришлось пешком, так как не было даже тридцати копеек на трамвай. Отвыкнув ходить, он очень устал и еле добрался до дому. Поднимаясь по лестнице, мечтал, чтобы ему отворила дверь Аннушка. Он знал, что она его жалеет, и надеялся, что она его тотчас покормит и посушит. Но дворничихи не оказалось дома — отворила ему Катюша. Ей, по-видимому, уже было известно, что Марина удостоилась его выбора. Серdito фыркнув, она повернулась спиной и вышла. Нина была в Капелле, Мика — в школе. В комнате Мики, оказавшейся не закрытой, на столе лежала записка: «Олег, согрейте себе суп, вы найдете его в кухне за окном, в маленькой кастрюле, хлеб на столе. Я приду только вечером. Рада буду вас видеть, Нина». Он нашел суп, но устал настолько, что не стал разогревать, а поставил холодным на стол. Вся его тоска и одиночество как будто подстерегали его в этой комнате и с прежней силой тотчас обрушились. «Лучше было мне умереть в этой больнице. Кому я нужен? Кто мне рад?» — думал он. Правда, было одно существо, которое радостно вертелось около его ног, — домашний щенок, дворняжка, с висячими ушами и безобразным хвостом. Он жил у Аннушки. Олег любил собак, привыкнув к ним с детства, и собаки его чувствовали. Со свойственной собакам бескорыстностью, щенок бросился к Олегу, как будто его возвращение сулило неистощимые собачьи радости. Олег погладил щенка и слегка отстранил, но тот снова стал приставать к нему. Олег сел, и щенок положил ему на колени передние лапы. Встретив собачий взгляд, исполненный немого обожания, Олег снова потрепал его по голове, тронутый выражением любви.

— Ах ты, глупый пес! Ну чему ты так радуешься? Скажу я тебе, поправился и совсем некстати. Ну, да нечего делать! Давай вместе обедать, вот бери кусочек хлеба. Не хочешь? Э, да ты сытее меня! Впрочем, ты на харчах у Анны Тимофеевны, а уж она-то не даст голодать. Ну, тогда не мешай мне самому есть, слышишь?

Щенок смотрел на него все с тем же обожанием.

— Чего ж ты, дурачок? — И вдруг невеселые мысли с такой остротой стеснили ему грудь, что он уронил на стол голову и несколько минут не подымал ее. Щенок, встревоженный этой позой отчаяния, напрасно теребил его лапами.

Чьи-то поспешные шаги раздались около двери. Олег быстро выпрямился. В комнату стремительно вбежала Марина и бросилась ему на шею.

— Вернулся? Здоров? Ну, слава Богу! Я так расстроилась, когда узнала! Я так скучала! Просто не могла дожждаться!

Что-то теплое, искреннее, идущее от души услышалось ему в ее ласке. Целуя ее руки, а потом губы, благодарный за ее теплый порыв и вновь охваченный страстью, Олег забыл все свои колебания и соображения. В этот раз он не мог бы сказать, что инициатива принадлежала ей! Когда, поправив себе волосы, вся розовая и счастливая, она села и, прижавшись к нему, сказала: «Как я счастлива!», он почувствовал, что тоже счастлив каким-то внезапным и недолговечным счастьем.

— В ближайшие дни мы не сможем видеться, и за это время надо будет что-то придумать — где мы будем встречаться потом, — сказала Марина.

— Почему не придется видеться? Разве ты не придешь в один из вечеров к Нине? — спросил он. — Если не наедине, то при Нине, во всяком случае, увидимся.

— Нет, видишь ли... В ближайшие дни — нет. Меня не будет дома.

— Ты уезжаешь куда-нибудь?

— Я не понимаю, в чем дело?

— Нет.

— Мне придется лечь в больницу на несколько дней.

— Ты больна?

— Да нет же, не больна. Ах, глупый! Неужели ты не понимаешь. Ты был слишком неосторожен прошлый раз, и вот теперь... Ну, пойми же!..

Он схватил ее за руку:

— Ребенок?

— Да! — и она припала головой к его плечу.

— И ты уверена, что мой?

— Конечно, уверена. Я мужу не позволяю... так. Я его держу в ежовых рукавицах. Это тебе только... Одним словом — я знаю! Да пусти же мои руки, ты мне пальцы сломаешь!

— Ты не пойдешь в больницу, я не позволяю! Нет, нет — не позволяю.

— Как не позволяешь? Чего же ты хочешь? Ты в уме?

— Марина, как можешь ты даже думать об этом?! Теперь же поговори с мужем, завтра же! А я подам заявление, что ухожу из порта. Большевики во всем невыносимо осложнили жизнь, но уж по части расторжения брака дело у них налажено блестяще — довольно желания одной стороны, и в несколько дней все будет кончено... Получишь развод, и мы зарегистрируемся.

Она смотрела на него с удивлением.

— Знаешь, ты безумный какой-то! Тебе в твоём положении только жены и ребенка не хватало!

— Марина, ты меня любишь?

— Обожаю! — она потрепала его волосы.

— Почему же ты так отвечаешь?

— Милый, ну взгляни же на вещи трезво. Если я разойдусь с мужем, а ты уйдешь из порта, у нас не будет ни работы, ни зарплаты, ни жилплощади, ни вещей... Ничего. Как же мы будем жить? Это все не так легко! Верить, что с милым рай в шалаше, может только тот, кто не испытал нужды, а я уже достаточно намучилась, когда после революции осталась вдвоем с мамой. Знаешь, я служила регистраторшей в какой-то гнусной поликлинике; на меня кричал каждый, кому было не лень. Получала я только пятьдесят рублей, домой возвращалась только в шесть часов, ела воблу и картошку, стирала сама большую стирку, сама мыла полы, ходила вся драная... Только два года, как я сыта и одета — с тех пор, как Моисей женился на мне. И опять возвращаться к этому же!

— Что ж, я больше не смею настаивать, — мрачно сказал Олег. — Бедная Россия! Если ее женщины так измельчали, тогда в самом деле конец нашей Родине! Значит, мы обречены на вымирание. А хам будет плодиться.

— Какой ты неблагодарный! Я так тебя желала. А ты меня же упрекаешь!

— А я в ответ на все это делаю тебе предложение. Ты этим недовольна? Так чего же ты хотела от меня?

— Я не «недовольна», я очень тронута, но я не могу. Пойми, не могу пойти на такой риск.

Он встал с колен.

— Как хочешь. Я сказал все, что может желать услышать женщина в такой момент. Больше мне сказать нечего. Но знай, если ты сделаешь аборт, а разорву с тобой.

— Но почему же?

— Ты не хочешь от меня ребенка, ты мне отказываешь в моей руке, ну а я не хочу этих встреч. Мне твой отказ оскорбителен. Вот и все.

— С операцией все уже решено: я записана на койку. Завтра в двенадцать часов Моисей Гершелевич повезет меня.

— Моисей Гершелевич? А как же он принял это?

— Ну... Я сумела представить дело... Втерла ему очки... — и она повертела рукой перед его глазами.

Его передернуло от этой фразы.

Из коридора послышался звонкий голос Мики, вернувшегося из школы и препеирающегося с дворничихой — она кричала, что он не снял галоши и наследил по всему коридору. Марина вскочила и пошла навстречу мальчику. Мика весело поздоровался с обоими.

— Поцелуй от меня Нину, Мика, и скажи, что мне очень хотелось с ней поговорить. До свидания, Олег Андреевич.

Олег подал ей шубку и надел ботики. В кухне, бросая любопытные взгляды, вертелась Катюша. Олег вышел за Мариной на лестницу.

— И все-таки, Марина, последний раз прошу тебя — одумайся! Если ты выйдешь за меня и оставишь этого ребенка, я всю жизнь посвящу тебе.

Она стояла, опустив голову и разглядывая хвостики своей муфты. Он взял ее руку:

— Согласна?

Не поднимая глаз, она отрицательно покачала головой. Он выпустил ее руку и пошел наверх, она — вниз. «Никогда он не разорвет со мной, — думала она, спускаясь, — достаточно мне будет на одну минуту остаться с ним наедине и броситься ему на шею, и он снова мой. Я его уже знаю». И все-таки слезы наворачивались на глаза.

Вечером Нина сказала Олегу:

— Вы можете поздравить меня — я официальная невеста Сергея Петровича. У меня установились самые лучшие отношения с его матерью, и при первой возможности мы обвенчаемся.

Он поцеловал сначала одну ее руку, потом другую:

— Очень, очень рад за вас. Значит, не перевелись еще на Руси женщины, готовые идти за человеком даже в Сибирь. Я уверен, что у вас будут счастливые дни! — Я не ожидала, что вы будете поздравлять так горячо и искренне. Я думала... память брата... растрогалась Нина.

— О нет! Если бы вы выбрали человека из враждебного лагеря — преуспевающего большевика... Но для белогвардейца, сосланного... Я рад. Я горжусь вами.

Зазвонил телефон. Марина просила Нину немедленно приехать к ней и выслала машину. Нина поехала. Олег взволновался. «Может быть, Марина передумала и хочет передать это мне через Нину?» — подумал он. Нина не возвращалась долго, но он не ложился, дожидаясь. Услышав, наконец, ее шаги, он вышел в коридор снять с нее пальто, вопросительно на нее взглянул: «Знает ли она, что я честно предлагал брак?» Она встретила его взгляд и, по-видимому, угадав его мысль, пожала его руку:

— Вас не в чем упрекнуть. Марина сама не знает, чего хочет.

На следующий день Олег должен был идти в поликлинику, выписываться на работу, но, против ожидания, его задержали еще на три дня, которые он провел то за книгой, то за шахматами, то за колкой дров, и, наконец, вызвался исправить электропроводку в комнате Нины, не зная, чем заглушить тоску. На третий день он подошел открыть дверь на звонок и увидел перед собой Моисея Гершелевича в прекрасной шубе с каракулевым воротником. «Объяснение!» — мелькнула в его голове, и сразу составила фраза: «Готов дать вам удовлетворение, в какой бы форме вы ни пожелали!» Но еврей протянул ему руку и, улыбаясь золотыми зубами, сказал:

— А, уже дома! Приятная неожиданность! Ну, как здоровье? Вас заменяет один юноша, но с работой плохо справляется. Ждем, очень ждем. Когда думаете выйти?

— Завтра иду в поликлинику. Буду просить, чтобы выписали на послезавтра.

— Нет, нет. Торопить врачей никогда не следует — здоровье прежде всего. А к первому мая я выпишу вам премиальные, чтобы вы могли поправить свои дела.

— Благодарю, не надо. Я еще так недавно работаю... На вас нарекания будут.

— Устроим все, устроим. Как-никак, имею некоторую власть. А скажите, Нина Александровна дома? Меня командируют в Москву, а у меня жена в больнице — хочу просить, чтобы Нина Александровна ее навестила.

Олег повел его к Нине.

— Ну, что Марина? — было одним словом из ее первых восклицаний. Олег решил, что при таком разговоре он может показаться лишним, и пошел из комнаты, но у двери намеренно задержался, закуривая для вида. Муж отвечал:

— Не совсем благополучно. Выскабливание делал сам профессор, а, между тем, она температурит. Хотел просить вас навестить ее завтра. Там впускной день. Передайте ей, пожалуйста, от меня эти груши и виноград.

Олег вышел.

Он стоял на табурете в коридоре, натягивая провода, когда Нина и Моисей Гершелевич вышли из комнаты и остановились у вешалки. Еврей говорил:

— Как я умолял ее не делать этого! Согласитесь, что уж мы-то при нашем материальном положении можем позволить себе роскошь иметь детей! Я специально ездил к ювелиру, купил ей браслет за пятьсот рублей, обещал после родов серьги — ничего нельзя было с ней поделать. А теперь вот целый день плачет и температуру себе нагоняет.

При этом он весь так и разбухал от гордости — и за материальное преуспевание, и за мнимое отцовство. Ему явно невдомек было, что бестактно рассказывать такие интимные вещи, не стесняясь присутствия постороннего человека. И как это мелко — упоминать о материальном процветании и приводить цифру за браслет. А что за самоуверенность в том жесте, каким он перебрал одну из груш Мике. Олег брезгливо поморщился, и когда Моисей Гершелевич наконец ушел, он заметил с горькой усмешкой:

— Процветающий еврей среди разоренных, униженных русских дворян! Знамение времени!

## Глава шестнадцатая

Елочка стала частой гостьей у Бологовских — врач прописал Наталье Павловне впрыскивания для укрепления сердечной мышцы, и та, питая ужас перед районной амбулаторией, решила обратиться к Елочке, которая охотно согласилась, заранее предупредив, чтоб об оплате не было и речи. Каждый раз, когда она приходила, Ася или француженка выкатывала маленький чайный столик, как если бы дело происходило в великосветской гостиной девятнадцатого века. Архаический столик с севрским сервизом на фоне давно не отремонтированной, запущенной комнаты, и усталая француженка, раскладывающая жалкую повидлу на очаровательные блюдца, а рядом — Ася, натирающая паркет или стирающая пыль с бесчисленных бабушкиных овальных миниатюр...

— Eh bien, Helene?<sup>[29]</sup> — спрашивала Наталья Павловна у Лели, когда та в очередной раз возвращалась с биржи. Ответ всегда был один и тот же — товарищ Васильев, видимо, находил для себя неизъяснимое наслаждение в том, чтобы всеми способами не давать дорогу «непролетарскому элементу». Елочка взялась хлопотать, чтобы ее дядя, старший хирург, пользующийся большим весом в больнице, попросил своего приятеля рентгенолога взять Лелю к себе в ученицы, а как только она овладеет специальностью, можно будет ее устроить на работу, минуя биржу с плотоядным товарищем Васильевым — специальность дефицитная и рентгенкабинеты переманивают друг у друга рентгенотехников. Все пришли в восхищение от этой выдумки.

Елочка была счастлива хоть как-то помогать этой семье. Она все больше и больше привязывалась к Бологовским, хотя при этом считала их семью не из передовых, не из тех либеральных помещичьих семей, где девушки шли на Бестужевские и медицинские курсы и потом работали в земских больницах и школах, как покойная Елочкина мама. Конечно, не погибни Россия, Ася и Леля блистали бы в светских салонах и крутили романы с офицерами. Это вызывало в Елочке только презрение. И все же она четко сознавала, что готова на любую жертву ради Аси и Лели, Натальи Павловны и мадам. Елочке, с ее замкнутостью и чувством собственного достоинства, противно было просить и добиваться чего-то. Для себя. Но не для других, особенно для тех, кого она любила.

Один случай запал ей в сердце. Женщина привезла на операцию своего мальчика лет двенадцати — русоволосого, загорелого, с темными печальными глазами. Это была крестьянка, в домотканой холстине, цветном платке и зипуне, с котомкой за плечами. Глаза ее были такие же темные и печальные, как у сына. Скорбь и страшная тревога смотрели из них, когда она обнимала мальчика, который в свою очередь обхватил руками мать, как будто ища у нее защиты. Когда Елочка пробежала обратно, мальчика уже увели, а мать сидела на скамейке и слезы текли ручьями по загорелым худым щекам красивого лица... Толстая равнодушная санитарка сидела тут же и урезонивала ее:

— Ну чего ты? Чего, глупая? Медицина нонече сильна, лечат умеючи. Сперва, вишь, смотрит ординатор, а завтра, поутру, потом прохвессору покажут — не сразу на стол. Нонече все для народа! Уход за им будет, какой тебе и не снится: с кровати встать ни в жисть не позволят! Все подносить станут; потому — медицина! — А ты в слезы!

Елочка приостановилась, и санитарка увидела ее.

— Вот и сестрица тебе то же скажет. Ейный папаша первеющий какой ни на есть хирург. Вот проси, чтобы он твоего сына резал. Дюже в этом деле горазд.

Женщина обратила испуганный, умоляющий взгляд на Елочку и бухнулась ей в ноги... Елочка вела себя слишком сухо, она заторопилась сказать!



— Хирург вовсе не мой отец, а только дядя. Трудные случаи он и всегда оперирует сам. Встаньте, это не принято.

Правда, она пожала при этом ее руку, но сей жест, не принятый в простонародье, вряд ли сказал что-нибудь сердцу крестьянки! И вот теперь Елочка мучилась, думая о себе, что нет в ней сердечности и простоты.

Помнился ей постоянно и еще один случай: в операционную принесли на носилках залитого кровью человека. Это оказался испытатель гранат — ореол храбрости, который не мог не сопутствовать такому человеку, и знакомый вид военной травмы расшевелил немного сердце Елочки, но только на несколько минут. Когда она взяла в руки историю болезни и увидела в соответствующей графе — партиец с 18 года, — все в ней тотчас же снова омертвело. Тогда она записала у себя в дневнике: «Конечно, я всегда готова исполнить свой долг по отношению к каждому, но души моей пусть с меня не спрашивают. Я вольна вложить ее куда сама захочу. Если Господь Бог вернется в Россию, то воскреснет сестра милосердия, а сейчас я — медсестра, и пусть этого довольно будет тем, кто так исказил, заштемпелевал и прошнуровал нашу жизнь!»

У входа в вестибюль клиники ее всегда встречала величественная фигура швейцара. Швейцар этот — бывший кучер Александра III, богатырски сложенный старик, весь был преисполнен чувства собственного достоинства. За свою жизнь он столько перевидал высоких особ, так наметал глаз, что лучше любого агента ОГПУ распознавал «господ», в каком бы виде эти господа ни появлялись перед ним. Он считал для себя унижительным приветствовать партийцев и, напротив, радостною обязанностью — поклониться «бывшему». Из всего персонала больницы поклоном своим он удостоивал лишь несколько лиц по своему выбору, главным образом лишь старых профессоров. Дядя Елочки, пожилой хирург, сохранивший манеры и выправку царского офицера, также входил в их число. Молодых врачей-ординаторов нового времени швейцар глубоко презирал и упорно титуловал «фельдшерами», на которых некоторых и в самом деле походили; на врачей-женщин он откровенно фырчал. Елочке имел обыкновение кланяться, перенося на нее частицу уважения, выпавшего на долю ее дяди, а также зная, что она из славной стаи прежних «милосердных».

Швейцар стоял обычно не у наружной двери, а несколько поодаль, у внутренней лестницы близ лифта, бездействующего со дня великой революции, как и все лифты в городе. Тут же помещалась вешалка для нескольких привилегированных лиц, снимать пальто с которых швейцар почитал высокой обязанностью.

— Пожалуйте, Елизавета Георгиевна! — сказал он теперь. — Дяденька ваш уже ушли. Наказали передать вам, чтобы вы к ним обедать завтра пожаловали. — Снимая с Елочки пальто, прибавил: — Вечор из Москвы зять воротился; рассказывал, что Страстный монастырь и Красные ворота вовсе снесли, Сухареву башню и Иверскую Матушку тоже срыли, а в Кремль не токмо что не пускают, а у ворот караулы стоят и по Красной площади милиция шмыгает — спокойно не пройдешь. Зять приостановился было, чтоб взглянуть на Спасскую башню, ан милиционер к нему: «Гражданин, здесь останавливаться воспрещатся!» Трусы они, Елизавета Георгиевна, как я погляжу. Покойный император — Александр Александрович — всегда-то повсюду ежживали: и в церковь, и в Думу, и на гвардейские пирушки. Я на козлах, да два казака позади — только и есть! А ведь знали же они, как убили их папеньку. И сами Александр Николаевич после десяти покушений все один ежживали, а как в одиннадцатый раз бомбу в Их Величество бросили — и только были с ними адъютант и два казака. Ни в жисть не прятались, русские были люди — не то что нынешняя мразь: жида да прочая нехристь!

Елочка оглянулась и прижала палец к губам, но швейцар не пожелал снизить голоса:

— Я не боюсь! Меня и то моя старуха донимает: «Я, — говорит, — домой спешу и слышу через

открытую форточку, как ты в комнате советскую власть ругаешь. Голос больно у тебя зычный, — говорит, — и уж будет нам от твоего голоса беда неминуемая». А я так полагаю, что это все в руках Господних.

— Вы молодец, Арефий Михайлович, побольше бы таких, как вы, — сказала Елочка.

Ходатайство ее увенчалось успехом. Хирург не откладывая обещал поговорить с рентгенологом. Елочка тотчас побежала сообщить радостную весть, но в нескольких шагах от подъезда Бологовских ей мелькнуло свежее личико и кокетливая шляпка.

— Леля!

Девушка обернулась. С ней был долговязый молодой человек, который тотчас потянул руку к фуражке. Леля представила его, говоря:

— Валентин Платонович Фроловский, мы знакомы еще с детства.

Она выслушала и поблагодарила Елочку очень мило, но сдержанно, если не холодно.

— Довольны вы, милая маркиза с мушкой на щечке? — спросил молодой человек. — Милое дитя, могу вас уверить, что на советской службе не слишком весело.

— Поживем — увидим! Вон там идет полковник Дидерихс. — И, кивнув Елочке, Леля ускользнула в сторону, как изящное видение.

Молодой человек сказал, скандируя:

— Гвардейский полковник продает газеты на улицах. — Красивым жестом поднес к кепке руку и поспешил за Лелей приветствовать полковника.

Елочка взглянула ему вслед и увидела высокого старика. У него было странно длинная шея, большие скорбные глаза под мохнатыми бровями напоминали чем-то глаза затравленного зверя. Сумка почтальона, надетая через плечо, не могла скрыть военную выправку и остатки гвардейского лоска.

Направляясь к Бологовским, Елочка рассчитывала на задушевную теплую минуту и веселый щебет за чайным столом и, брошенная теперь посередине тротуара, почувствовала себя разочарованной и уязвленной.

Идти к Асе теперь было не для чего, и она направилась к Анастасии Алексеевне, чтобы передать ей приготовленные для штопки носки. Анастасия Алексеевна по своей привычке тотчас начала охать и жаловаться, при этом сообщила, что недавно проработала несколько дней сестрой-хозяйкой в больнице «Жертв революции».

— Понадеялась я, что поработаю там, но сотрудница, которую я замещала, почти тотчас поправилась. А мне там обед полагался, и работа нетрудная — сами знаете — порции больным раскладывать. — Две слезы выкатились из красных глаз.

Елочка озабоченно смотрела на нее, и чувство неприязни опять перемешивалось в ней с чувством жалости.

— А как здоровье? — спросила она.

Анастасия Алексеевна поднесла руку к голове.

— Нехорошо... Все что-то мерещится. Темноты боюсь, одна в квартире оставаться боюсь. На днях соседи поразошлись, и от единой мысли, что я в квартире одна, такой на меня страх нашел, что я выскочила пулей на лестницу, а дверь, не подумавши, захлопнула. Ключа при себе у меня не было и два часа это я на лестнице в одной блузке продрожала, пока соседи не подошли. Странные рожи какие-то лезут: раздуваются, ползут из углов. Только и мысли, что, как сейчас, там на сундуке надуется страшный

лиловый старик, повернусь, увижу — так уж лучше не поворачиваться! А то как бы в кухне под столом опять та рожа, что вроде большой лягухи, не квакала свое: плюнь на икону, плюнь!.. Ничего этого другой раз и нет. Повернусь — и сундук пустой, и под столом никого... А вот навязывается в мысли. Я ведь сызмала с темнотой путаюсь. Впервые это ко мне пришло, когда я еще гимназисточкой была: билась, помню, над арифметической задачей. Помните, какие трудные бывают, потруднее алгебры... Вдруг откуда ни возьмись пришло мне в голову попросить, шутки ради, помочь мне нечистую силу: «Помогите, — говорю, — уж как-нибудь рассчитаюсь!» Только сказала, и так это быстро уяснилась мне вся задача — ровно занавесочку в мозгу отдернули. А ночью вижу около своей кровати огромную рожу и пасть раскрыта: «Дай мне есть», — говорит. Жили мы тогда на самой окраине Пензы, мать сама пекла хлебы. В этот день как раз испечены были, лежали накрытые полотенцем. Я схватила и бросила ему. Утром проснулась и думаю: «Экий сон противный привиделся!» Вдруг слышу, мать кричит: «Дети, кто хлебы трогал? Не могли ножом отрезать? Обезобразили буханку, и полотенце на полу!» Она ругается, а я ни жива, ни мертва! Весной причащаться пошла, вдруг кто-то мне ровно бы в самое ухо: «Выплюни, а ну-ка выплюни!» А я и выплюнула недолго думавши. Ага, вздрогнули небось?!

— Да, вздрогнула, ведь это кощунство — плюнуть на портрет человека и то непростительно, а Дары — святыня! Зачем же вы?

— А сама не знаю, зачем. Так просто. Тогда все нипочем было — бегаю да хохочу, а вот теперь расхлебываю. Кабы муж другим человеком был, думается мне, ничего бы теперь со мною не было — Крымская история очень уж нервы поиздергала. Помните, говорили мы с вами про Дашкова, поручика? Я фамилию его тогда вспомнить не могла?

Елочка мгновенно выпрямилась, как струна.

— Помню. И что же? Его видели?

— Представьте! Как раз ведь толковала, что его никогда не вижу, да тут-то и увидела!

— Как это было? — Брови Елочки сдвинулись, и голос прозвучал строго.

— Разливала я больным чай, а санитарки разносили; после ужина это было; взглянула этак вперед, да за дальним столом вдруг вижу — сидит среди других, в таком же сером халате, что остальные; ну как живой, совсем как живой.

— Однако какой же? Одно из ранений у него было в висок, голова была перевязана. Таким и видели?

— Нет, перевязан не был, а только — он. Помню, след от раны мне в глаза бросился — шел от брови к виску. Кабы не знала я, что убит, подумала бы, что живой. Малость только постарше стал.

— Странно! — прошептала Елочка. — Стал старше, зарубцевалась рана... На галлюцинацию не похоже. Неужели же не подошли, не заговорили? Не справились в палатном журнале? Анастасия Алексеевна, отвечайте же мне!

— Испугалась я, Елизавета Георгиевна. Помнится, чашку выронила и расколола. Засуетились санитарки; дежурный врач подошла и спросила, что со мной, а когда я снова в ту сторону взглянула — никого уже за столом не было.

— Ну, а на другой день?

— А на другой день я уже не работала — это было в канун расчета.

Мысль Елочки работала лихорадочно быстро: если бы она видела его в один из многих дней, это была бы явная галлюцинация, но его появление в последний день могло произойти оттого, что ему с этого только дня разрешено было выйти в столовую. Неужели в самом деле он? Надо сбегать в больницу «Жертв

революции» и справиться, не было ли там на излечении Дашкова. И как будто мимоходом она спросила:

— А вы там на каком отделении работали?

— Подождите... Вот и не припомнить... Плоха я стала... На терапевтическом.

— Этот случай показывает только одно — подобные разговоры вам безусловно вредны, — сказала авторитетно Елочка.

Раздался стук в дверь, и Анастасия Алексеевна подошла отворить, Елочка услышала ее восклицание: «Ты? Вот не ждала!» Она обернулась на дверь и увидела человека, которого там, давно, в Феодосии, ей приходилось видеть ежедневно в часы работы. Она, как ужаленная, вскочила. Он успел измениться с тех пор: она привыкла видеть его в офицерской форме, а теперь он был в сером помятом пиджаке; не было прежней выправки, слегка облысели виски и какое-то выражение гнусности показалось ей в слегка обрюзгшем лице... Он выглядел теперь почти мещанином.

— Кого я вижу? Сестра Муромцева! — Что-то прежнее, офицерское, мелькнуло за обликом измочаленного советского служащего: по-офицерски он выпрямился, подходя к ней, щелкнул каблуками и вытянул по швам руки.

Елочка схватила пальто, брошенное на стуле, и поспешно пошла к двери с гордо поднятой головой... Чтобы она пожала руку предателю Злобину, который выдавал палачам «чрезвычайки» последних русских героев? Никогда! Этой чести он не удостоится!..

На следующий день она забежала со службы домой, намереваясь тотчас отправиться в справочное больницы, и увидела Анастасию Алексеевну, ожидавшую ее в передней.

— А я к вам... Вы ушли, не простились. Не рассердились ли вы? — как-то униженно начала она. Они прошли в Елочкину комнату.

— Вы вольны принимать у себя кого вы желаете. Странно было бы, если бы я сердилась. Но, я полагаю, вы понимаете, что мне неприятен этот человек.

— Это я поняла, но и вы поймите, что я не могу не принимать его, если он время от времени все-таки приносит мне деньги.

— Совершенно верно, если вы берете от него деньги, вы не можете не принимать его. Но я лично нахожу, что нельзя брать деньги от человека, который помогал большевикам убивать.

— То, Елизавета Георгиевна вы! Вы, известно уже, — первый сорт, отборные чувства! А я о себе не обольщаюсь, — второсортная я. Это как в магазине чая пакеты: этот — цейлонский, этот — экстра, а этот — дешевенький. Я и круга не того, что вы: мои родители простые лавочники были. Им невесть какой честью показалось, когда я за врача замуж выскочила. Кабы он кадровый военный был, а не по призыву, мне бы и не видать его, как своих ушей. Зачем я от него деньги беру? Да ведь я, как-никак, с ним прожила двадцать лет, я его от тифа спасла: сколько около него бодрствовала, насильно на постели удерживала... А теперь болею я. Мое состояние никуда не годится, он сам говорит. Почему же не принять помощь? Вот этот... как, бишь его? Дашков, поручик — муж осведомлялся — такого на излечении не было; значит, опять галлюцинации.

— Что? Не было? Не было! — голос Елочки оборвался. — А вы, зачем рассказывали вашему мужу?

— Почему же не рассказать? Рассказала.

— Так, очень хорошо! Вы рассказали, а он отправился наводить справки. — Елочка грозно засверкала глазами.

— Ох, уж вижу я, что вы, Елизавета Георгиевна, опять сердитесь, а вот за что? Ну, пошел, спросил; там

просмотрели по книгам за текущий месяц и ответили, что такого не было. Только и всего!

— А зачем он осведомлялся? Ведь не зря же пожилой, занятой человек, таскался за сведениями? Безусловно, он имел цель: он хотел выследить офицера, который однажды каким-то чудом ускользнул из его рук. Допустим, ему сообщили бы, что такой человек был, и при нашей системе протоколирования выложили бы тотчас и адрес, и место работы. Что ж было бы дальше — как вы полагаете?

— Да ведь его же не оказалось! Стоит ли толковать? — хныкая, твердила Анастасия Алексеевна.

— Да, его не оказалось, зато гнусность вашего супруга оказалась налицо! Готовность свою к новому предательству он доказал со всей очевидностью, — яростно обрушивалась Елочка. — И вот что я вам скажу, Анастасия Алексеевна: наши с вами отношения кончены. Я больше не хочу ни видеть этого человека, ни слышать о нем, а вы, по-видимому, не так уж редко видите. Вы способны передавать ему и наши с вами разговоры... Вы удивительно беспринципны! Нам лучше прекратить знакомство.

— Ох, Елизавета Георгиевна! Легко вам говорить о принципах, вы молоды, здоровы, квалифицированы, твердо стоите на ногах... А вот были бы в моем положении, не то б запели!

— Не беспокойтесь, не запела бы!

— Не зарекайтесь! Ну что ж, я пойду! Оттолкнуть человека очень просто — чего проще-то! Обещали помочь: собирали работенку, жалели, угощали, а чуть раздосадовались — и гоните! И никакой жалости. А еще мужа моего за жестокость осуждаете, он добрей вас, как посмотришь. Это ведь уже не в первый раз, что мне от дома отказывают, все знакомые открестились. — И она всхлипнула.

Елочка боролась с собой.

— Извините мне мою горячность, — сказала она, наконец, протягивая руку. — Останемся друзьями. Я приготовлю вам работу. Только на квартиру к вам я больше не пойду. Приходите вы сами. Я буду вас ждать через неделю в пятницу. Согласны?

— Ну, спасибо вам, миленькая. Не сердитесь, моя красавица. Ведь я одинокая. — И она опять всхлипнула.

— Вы только должны обещать мне не говорить мужу, что мы с вами видимся, — продолжала Елочка.

— Вот вам крест. Хотите икону поцелую?

— Нет, не надо. И запомните, поручик убит, забудьте все это.

Когда Анастасия Алексеевна, наконец, вышла, Елочка опустила на стул и закрыла лицо руками.

Больного с такой фамилией не было! Конечно, не было! Безумно было надеяться. Мир так пуст! Мертвые не воскресают!

## Глава семнадцатая

Олег опять начал ходить на службу. Работа и дорога из порта и в порт с бесконечными ожиданиями трамвая занимали так много времени, что домой он возвращался не раньше семи часов вечера. Стараясь заглушить безотрадные мысли, порывшись в библиотеке Надежды Спиридоновны, он брался за книгу. Обедал Олег на работе, в столовой для служащих, а ужинал вместе с Ниной и Микой по желанию Нины, которая нашла более целесообразным общее хозяйство. Теперь, когда он мог вносить свой пай, он с радостью согласился на это.

Недели через две после выхода на работу он услышал в коридоре голосок Марины, которая, здороваясь с Ниной, чему-то смеялась. Впрочем, смех ее показался несколько искусственным. Как только она прошла к Нине, он поспешно оделся и вышел из дому. Весь вечер бродил по городу и только к двенадцати часам, когда, по его расчетам, Марина уже должна была уйти, вернулся домой. Ни в каком случае он не желал ее видеть, не желал ни близости, ни объяснений.

Когда Марина пришла в следующий раз, он поступил точно так же. Нина, конечно, поняла его маневры, хотя не заговаривала с ним об этом; точно так же она ни разу не упомянула при нем об Асе: а ведь, по всей вероятности, теперь она нередко видела ее.

Однажды Олег сидел на кухне и читал. Вячеслав стоял у примуса и по обыкновению зубрил что-то. Через несколько минут вошла, позевывая, Катюша и, увидев себя в обществе двух молодых людей, тотчас сочла необходимым уронить платочек. Олег, в которого слишком глубоко въелось светское воспитание, автоматически сорвался с места и поднял ей платок. «Боже мой, ну и духи! Это тебе не «Пармская фиалка», — подумал он и уткнулся снова в книгу. Катюша, между тем, просияла и присела на табурет, обдумывая следующий ход.

— А у меня пол-литра есть! Я бы угостила и сама выпила — одной-то скучно! — сказала она куда-то в пространство. Оба молодых человека продолжали читать.

— В «Октябре» идет «Юность Петра Виноградова». Вот кабы один из мальчиков хорошеньких сбегал за билетами, я бы, пожалуй, пошла.

Ни Олег, ни Вячеслав не шевелились.

— Ишь, какие кавалеры-то нонеча пошли непредупредительные! Уж не самой ли мне пригласить которого-нибудь?

Глаза Олега скользнули по ней с таким выражением, как будто он увидел у своих ног жабу. Вячеслав оставил книгу.

— Эх ты! Постыдилась бы! Комсомольский билет позоришь! Тут, поди, с балеринами водились, Кшесинскую выдывали, а не таких, как ты. Нашла кому предлагаться!

Катюша немного как будто смутилась, но стала отшучиваться, Олег делал вид, что поглощен чтением. «Он меня за великого князя, кажется, принимает... Вот еще не было печали!» — подумал он со смехом, затем отложил книгу и решил пойти побродить по городу, посмотреть на особняк Дашковых.

Едва только он вошел в комнату, чтобы положить книгу, как его догнал Вячеслав.

— Товарищ слесарь! Я вот тут в прогрессиях путаюсь — не поможете ли?

— Садитесь, — сказал Олег.

Вячеслав слушал его объяснения, мобилизуя, по-видимому, все свое внимание, — с нахмуренными

бровями и сжатыми губами. Выражение Мики — «грызет гранит науки» — было очень метко. Олег невольно сравнивал его с Микой, который схватывал все на лету и шел к нему за объяснениями только потому, что на уроках математики занимался чтением или игрой в шашки с соседом.

— Спасибо, — сказал Вячеслав и собрался уходить, но вдруг взгляд его упал на портрет матери Олега.

— Это кто ж, мамаша ваша или сестрица будет? Сразу видать, что вы с ней похожи.

В каждой черте лица и в каждой детали туалета у дамы там — на портрете — была такая тонкая, аристократическая красота, которую никак нельзя было отнести к матери слесаря. Олег ответил:

— Да, это моя мать.

Вячеслав еще несколько минут всматривался в портрет.

— Красивая дамочка! Вся, видать, в бархатах, а на шее жемчуга, надо думать?

— Вот что! — сказал Олег, бросая на стол карандаш и сам удивляясь тому, как властно и жестко прозвучал его голос. — Вы, по-видимому, уже знаете — я не сын столяра и не слесарь, я — поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка, князь Дашков. Считаете нужным доносить на меня — сделайте одолжение! Запретить не могу, но изводить себя слезкой и намеками — не дам. Предпочитаю сказать прямо.

— Так вы в открытую перешли? Я ничего определенного не знал — подозревал что-нибудь в таком роде. Плохие вы конспираторы, господа офицеры!

— Плохие — не спорю! Ну-с, что же вы теперь намерены делать?

— Да ничего. Доносить я пока не намерен.

— Что значит «пока»? Сколько ж это времени желаете вы оставить меня на свободе?

— А при чем сроки? Пока чего дурного не замечу, пока не станете нам вредить.

— Вредить? Странное какое-то слово! Я не вредить умею, а бороться! Пока, к сожалению, не вижу возможности.

— Ах, вот как! Вряд ли и впредь будет у вас эта возможность! Наше ОГПУ молодцом работает.

— А если вы сигнализируете касательно меня — будет работать еще лучше.

— Я уже сказал, что сигнализировать не буду. Коли что замечу, тогда другое дело, а напрасно зачем. Хватит с вас семи лет лагеря за белогвардейщину-то. Может, вы нам еще и пользу какую принесете. У вас преимущества еще очень большие.

— Преимущества у меня? Теперь? Смеетесь вы? Какие же это преимущества — хотел бы я знать?

— Умны, а не понимаете? Знаний у вас много, говорить и держаться умеете! А мы вот с азов начинаем. Ну, спасибо за задачу, пойду пока.

И Вячеслав вышел.

«Я теперь в руках этого рабфаковца! — подумал Олег. — Игра, по-видимому, приходит к концу».

На следующий день, когда он вернулся с работы, Нина предложила ему контрамарку на концерт в Филармонию.

— Я достала ее для Мики, а он не хочет идти из-за церковной службы, — сказала она. — Имейте только в виду, что придется стоять.

— Этого я не боюсь, меня смущает мой вид.

Она принялась уверять его, что теперь в Филармонии не только мундиры, но и фраки и смокинги повывелись, хотя публика более пристойная, чем во всяком другом месте.

— Смотрите только, чтобы вы вернулись целым и невредимым после Шестой симфонии, — прибавила она. — Вы такой впечатлительный.

— Чего вы опасаетесь, Нина? Револьвер мой при вашем благосклонном участии покоится на дне Невы, а это единственный способ, которым я мог бы действовать наверняка. Бросаться под машину и сделать себя в довершение всего инвалидом — у меня не хватит храбрости.

— Странное признание из уст Георгиевского кавалера! — сказала она и вручила ему билет.

Когда Олег Дашков вошел в знакомый зал бывшего Дворянского собрания и обвел глазами его белые колонны, он почувствовал тесноту в груди от боли воспоминаний, а начать вспоминать значило вспоминать слишком многое! Он занял место около одной из колонн и стал осматриваться. Памятника Екатерине нет, красных бархатных скамеек тоже, гербы забелены. Да, публика выглядит совсем иначе: многие вроде него — такие же общипанные и затерроризированные. Ни блеску, ни нарядов! Если бы покойная мама могла появиться здесь такой, какой бывала прежде!.. И он вспомнил ее со шлейфом, с высокой прической и в фамильных серьгах с жемчужными подвесками. Как он гордился ее утонченной красотой, когда, бывало, почтительно вел ее под руку. И знал, что в зале нет ни одной дамы красивее его матери. Расстреляна! Сбродом под командой комиссара «чрезвычайки»! Никого рядом — ни мужа, ни сыновей, ни преданных слуг! Нет, лучше об этом не думать. С этими мыслями можно в самом деле под машину броситься.

Он снова стал оглядывать зал. Странно, что военные сидят! Раньше садиться не смели до начала. Как все было стройно, изящно, изысканно, и как бедно и уныло теперь! Что за количество еврейских лиц! Откуда повыползли? Здесь, кажется, весь Бердичев! Одеты добротней русских, а вот здороваться не умеют — только головами трясут, как Моисей Гершелевич. Рассеянные остатки «бывших», евреи и наспех сформированная советская интеллигенция «от станка» — вот что такое современный свет, в котором никто друг друга не знает и все чужие.

Начавшаяся музыка прервала его мысли. Шестая симфония должна была исполняться во втором отделении. В антракте, стоя по-прежнему у колонны, он снова и снова наблюдал толпу, выискивая благородные лица и стараясь прочесть в них следы пережитого. Внезапно глаза его остановились на одном лице — это была девушка, не слишком молодая, ее никак нельзя было назвать красивой; но в ней привлекал внимание неуловимый оттенок порядочности и благородства, который чувствовался и в том, как она сидела, и как держала руки, и даже в том, как лежал белоснежный воротничок около ее горла. Прирожденная культура чувствовалась во всем ее существе. Но не только этим несовременным отпечатком приковала она его внимание — чем больше он всматривался в нее, тем неотвязней донимала мысль, что она кого-то напоминает, что эти черты ему знакомы. «Где мог я видеть ее?» — спрашивай он себя, продолжая всматриваться в этот профиль. Но вот она повернула голову, и он увидел ее лицо.

«Сестрица из госпиталя, где я лежал! Та сестрица, та — особенно милая, особенно заботливая!» И мысль его разом перенеслась в сферу воспоминаний, которые он обычно от себя гнал, где боль душевная и боль физическая сливались в одно, и трудно было решить, которая из них мучительней.

Это тогда он выработал в себе ту стойкость, с которой мог теперь принять равнодушно все; именно тогда залегла в его душе та скорбная складка, которая — он это чувствовал — уже не разгладится. Невыносимо было лежать пластом без движения, нельзя было сделать вдоха без острой боли в боку, ни поднять головы без мучительной тошноты. Невозможно было отогнать мысли, что у него уже никого нет, что все, кто ему дороги, — погибли. Свет заслоненной лампы, белые косынки, письмо, которое она читала. И над всем этим надвигающаяся конечная катастрофа... Если бы можно было все это забыть!.. Он был тогда



еще очень молод, в госпиталь попал впервые, ему не хватало матери и материнской заботы. Тоска по ней душила, а лежать одному среди чужих было непривычно странно. Он ни в чем не мог упрекнуть окружающих — они исполняли все, что требовалось, он видел, что они сами измучены и переутомлены, но отсутствие живого, теплого, личного отношения к себе угнетало его. Он всегда был несколько замкнут с посторонними, но с детства особенно дорожил теми, с кем его связывали незримые нити душевной привязанности. И такого человека рядом не было! Но вот понемногу на фоне этих чужих лиц, как среди теней на экране, выделилось и запечатлелось в памяти лицо — то, на которое он смотрел сейчас. В этой сестре было что-то непрофессиональное, домашнее, милое, отличавшее ее от всех. Видно было, что она тревожится и огорчается за него; забота ее была более тонкая и нежная. Ни разу выражение усталости, раздражения или безучастия не мелькнуло в ее лице. Стоило ему сделать малейшее усилие — приподнять или пошевелить рукой — тотчас она появлялась возле: «Что вы хотите! Не шевелитесь! Нельзя, надо позвать, для чего же я здесь?» Она никогда не дожидалась зова, и вместе с тем забота ее была полна застенчивой сдержанности и ни разу не перешла в навязчивость. Утонченность его воспитания помогла ему, несмотря на его юность, оценить и понять эти нюансы. Когда его завтрак оставался нетронутым, она садилась на край его постели и кормила его с ложки, уговаривая и упрашивая есть. Она всегда находила время, и казалось, каждый его глоток доставлял ей радость. Он припомнил одну из самых мучительных перевязок, когда он искусал в кровь все губы, чтобы подавить стон, считая неприличным малодушием позволить себе выразить страдание. Врачи и сестры говорили: «Еще минуту терпения, поручик. Сейчас все будет кончено, сейчас. Мы знаем, что вы у нас всегда герой». Но это звучало заученно и, очевидно, повторялось каждому изо дня в день. Конечно, и они жалели его, но жалость эта была притуплена привычкой и обезличена. За этими словами он не слышал ничего, кроме желания, чтобы сопротивление раненого не осложнило и не замедлило дела... Да, он и не хотел ничего от этих чужих людей! Но вот эта сестрица... Ее тотчас он узнал по той особенной бережности, с которой она приподняла ему голову, давая глотнуть из рюмки. Он открыл глаза и увидел, что она плачет... Так могла стоять над ним мать или сестра! Он уже начинал поджидать часы ее дежурства, но она вдруг перестала приходить, и на его настойчивые вопросы ему отвечали, что эта сестра заболела сыпным тифом. И вот теперь — через девять лет — она неожиданно снова перед ним.

Он решил, что подойдет к ней! Тогда, в Крыму, в сестрах были дамы и девушки из лучших семейств. Нельзя допустить, чтобы могло быть опасным заговорить с ней. Жаль упустить встречу с человеком из прежнего мира, с этой милой девушкой, которая была так добра. Недостойно было бы не подойти к ней. На минуту ему вспомнились шутки офицеров по поводу того, что девушка эта с глазами газели равнодушна к нему...

Дирижер взмахнул палочкой.

«После окончания тотчас подойду к ней», — и Олег стал слушать. Стихия безнадежности, разлитая во всей симфонии, так завладела им после охвативших его печальных мыслей, что несколько минут по окончании он простоял неподвижно, а когда встрепенулся — публика уже начала расходиться. Это мешало ему видеть ее. «Пойду скорее оденусь и подожду в вестибюле». Но вестибюль был полон народа. «Здесь я могу упустить ее — пойду встану лучше у выхода. Он выбежал на улицу и встал у подъезда. Люди шли и шли, выходя из большой двери, а ее все не было. «Неужели ушла раньше? Он прозяб на ветру до костей в своей шинели, но все-таки не уходил.

## Глава восемнадцатая

*Падет туманная завеса,  
Жених сойдет из алтаря,  
И из вершин зубчатых леса  
Забрезжит брачная заря.*

*А. Блок.*

До сих пор Елочка посещала только оперу. Послушать Шестую симфонию она решила под впечатлением слов Аси. «Чистая музыка, не связанная ни со зрительными впечатлениями, ни с текстом, выше, глубже оперы», — сказала раз при ней Ася. Оказалось, однако, что Елочке отвлеченная музыка говорит мало: сколько она ни старалась вслушиваться, она никак не могла перестать думать о посторонних музыке вещах... Как в первом акте, так и во втором, когда началась симфония. Чудесные звучания скользили мимо. «Как я бездарна! — с горечью думала она, — одна я такая во всем зале». Она стала обводить глазами соседние кресла, а потом взглянула на людей, стоящих за барьером между колоннами. «Вот эти ради музыки даже стоять готовы. Все слушают и понимают, кроме меня!» Глаза ее скользнули по одному лицу, и сердце застыло...

Он? Неужели? Быть не может? Мерещится? Трепещущей рукой она схватилась за лорнет — несовременную, но неизменную деталь своего туалета. Кажется, он... Он или кто-то на него поразительно похожий! Она вспомнила приметку, по которой Анастасия Алексеевна узнала его. Шрам! Да! Должен быть шрам от раны! У него было ранение левого виска... Да — левого! Ах, если бы он повернулся немного, чтобы увидеть. И она продолжала лорнировать его. Он стоял, прислонясь к колонне, с руками, скрещенными на груди, мрачно сдвинув брови, и, видимо, весь находился под впечатлением музыки. Но Елочке было уже не до музыки: почти каждые пять минут она наводила на него лорнет и вот, наконец, он слегка повернул голову и она увидела шрам, обезобразивший левый висок. Сомнения не оставалось — он! Она оставила лорнет и похолодевшей рукой коснулась горячей щеки. Так значит, он жив, спасен! Что же было с ним за все эти годы? Какой он теперь? Кто он? Она считала его погибшим, всю свою юность она его оплакивала, никого не ждала, ни на кого не смотрела, никем не интересовалась... Она забыла о себе и не думала о том, чтобы устроить свою жизнь! Все свои ожидания она перенесла на иную сторону жизни, а он оказался на этом берегу. Может быть, он счастлив и доволен жизнью, может быть, он женат. Странная обида накопилась в ее груди. Опять она схватилась за лорнет... Но он не выглядел счастливым — от нее не укрылись его худоба и бледность, его заштопанный китель, по-видимому, еще старый — офицерский. Он несколько старше, чем был, но опять такой же измученный и печальный... Впрочем, он, очевидно, после болезни. Теперь уже ясно, что именно его видела тогда в больнице Анастасия Алексеевна. Что же делать? Подойти к нему — неприлично, а больше такого случая не выпадет... Роковые минуты не повторяются — нельзя упускать их!

Прозвучали последние аккорды, зашумели аплодисменты, публика стала подниматься. Елочка опять взялась за лорнет и увидела, что он смотрит в ее сторону. Испуганно выпустив лорнет, она опустила голову, ей захотелось убежать, спрятаться перед неизбежным... И снова, уже без лорнета, обернулась в его сторону. Но его на том месте уже не было. Она сидела не шевелясь... Может быть, он пробирается к ней через эту толпу? Прошло минут пять-десять, он не шел. Ясно стало, что он покинул зал. Безнадежная тоска легла ей на сердце, точно могильный камень. Конец. Неповторимый случай упущен. Остается сказать — «аминь». Люди расходились, она все сидела, не в силах встать и уйти. Она еще ждала чего-то... Изредка подымая голову, обводила глазами зал. Но вот притушили свет, последние группы стали выходить. Ей тоже

пришлось встать. Она медленно вышла, окинула глазами лестницу, прошла в гардероб; медленно оделась, спустилась вниз, безнадежно оглядела вестибюль и пошла к выходу. Она была одна из последних. Вот она закрывает за собой тяжелую дверь и слышит голос: «Разрешите приветствовать вас! Мы были когда-то знакомы? Вы узнаете меня?» Его голос! Она вся задрожала и подняла глаза — он стоял перед ней с фуражкой в руке! Она прижалась к стене и молча, не отрываясь, смотрела на него — каждая жилка в ней трепетала. Он иначе объяснил ее волнение.

— Это уже не в первый раз, что при встрече на меня смотрят, как на выходца с того света, — сказал он. — Тем не менее это все-таки я.

Она не шевелилась.

Так эта встреча все-таки осуществилась здесь, по эту сторону!

Оборванные тучи то закрывали звезды, то открывали их; деревья сквера раскачивались от ветра, за реальным вставало нереальное. Сердце бешено билось, голоса не было, чтобы отвечать.

— Вы меня не узнаете? Но ведь вы были сестрой милосердия в Феодосии в двадцатом году, не правда ли?

— Я вас узнала... но... Я, я удивлена. Я вас считала погибшим, — прошептала она наконец.

— Как видите, я не погиб. Не знаю уж для чего, но жив остался. Я увидел вас в зале и осмелился подождать. Вы были так добры ко мне когда-то, что я не мог уйти, не засвидетельствовав вам своего глубокого уважения. Я надеюсь, вы извините мне мою смелость?

Она кивнула головой, довольная этой корректностью.

— Вы разрешите мне немного проводить вас, чтобы поговорить хоть несколько минут?

Она отделилась от стены и пошла по тротуару. Дашков пошел рядом, он не взял ее под руку по советской моде, и ей это понравилось.

— Сестрица... Ах, что это я?! Извините за старую привычку.

— Это слово мне дорого. Им вы меня не обидите, — ответила она, и голос ее дрогнул.

— Я ведь не знаю вашего имени и отчества; не откажитесь сообщить, — проговорил он опять с той же почтительностью.

— Елизавета Георгиевна Муромцева.

— Я с очень теплым чувством смотрел на вас в зале, Елизавета Георгиевна. Я вспоминал, какой вы были замечательной сестрой — всегда терпеливой, внимательной, чуткой, — вот таких описывают в литературе. Ведь я, бывало, ждал и дожидаться не мог ваших дежурств.

«Так вот что!» — подумала Елочка, и слезы полились из ее глаз. Пришлось вынуть из муфты платочек.

— Я так любила всю мою палату, — прошептала она, вытирая глаза, — для меня таким горем было, когда я узнала о расправе с моими ранеными... Я была тогда больна тифом.

— Да, я помню... Я о вас спрашивал.

— Даже теперь горько вспомнить, — шептала она, — это была жестокость свыше меры.

— О да! Жестокими они быть умеют, — сказал Олег, а про себя отметил, что она не боится быть откровенной, она смелее его.

— Я была уверена, что и вы... Что и вас тоже... Как вы спаслись?

— Меня спас все тот же денщик. Он подменил мне документы и перенес меня в солдатскую палату.

Там нашлись предатели, которые многих выдавали, но меня это каким-то образом не коснулось. Елизавета Георгиевна, я вижу, я вас расстроил; эти воспоминания, по-видимому, вам тяжелы... извините.

— Пусть тяжелы. Я хочу знать. Вы долго лежали?

— Последние три недели лежал уже при красных. При первой возможности — едва лишь смог встать на ноги — я поспешил убраться из госпиталя. Мы с Василием укрылись в заброшенной рыбацкой хибарке. Потом нас все равно выследили и задержали.

— Как «задержали»? Так вы все-таки подвергались репрессиям?

— Да, Елизавета Георгиевна: семь с половиной лет я провел в Соловецком концентрационном лагере. Я совсем недавно вернулся и почти тотчас попал в больницу. Вы видите, мне рассказывать нечего: я все эти годы не участвовал в жизни.

Она остановилась.

— Соловки! Соловки! — и схватилась за голову. Муфточка и маленький платочек упали к ногам. Олег поспешно поднял.

— Какие чудесные духи! Из тех, которые я любил раньше. Вы вся прежняя, не теперешняя, Елизавета Георгиевна.

Щеки Елочки вспыхнули при упоминании о духах.

— Я надеюсь, что с вами, Елизавета Георгиевна, жизнь обошлась милостивее — надеюсь, что вы репрессиям не подвергались?

Она рассказала о себе, но очень коротко. Тысячи вопросов к нему вертелись на ее губах, но она не решалась задавать, опасаясь показаться навязчивой.

— А как ваше здоровье? После такого ранения концентрационный лагерь... Как вы выдержали?

— Я и сам удивляюсь. Выдержал как-то. Рана в висок зажила бесследно, а рана в боку несколько раз открывалась. Мне сказали, что в ней остался осколок, который дает постоянный плеврит. Плеврит, однако, привязался ко мне после «шизо».

— Что такое «шизо»? — спросила она с недоумением.

— Так называются в лагере штрафные изоляторы, в которые сажают за провинности.

— Да разве же можно с плевритом так легко одеваться? Вы зябнете в этой шинели.

— Что делать! У меня нет пока многого необходимого. Хорошо еще, что моя belle-soeur<sup>[30]</sup> приютила в комнате моего брата, а то и жить было бы негде.

— Вы служите?

— Начал, но поправить свои дела и обзавестись необходимым еще не успел. Вот и вынужден пока что ходить в таком виде, что совестно перед вами.

— Передо мной, пожалуйста, не извиняйтесь. Мне сейчас противны как раз все те, кто имеет расфранченный вид.

Мы четыре дня наступаем,  
Мы не ели четыре дня!  
Та страна, что должна быть Раем,  
Стала логовищем огня, —

неожиданно продекламировал Дашков.

— Это ведь Гумилев? — улыбнулась Елочка.

— Да. Из нашей стаи — русский офицер.

— И расстрелян, — добавила девушка.

В эту минуту они подошли к подъезду дома, в котором она жила.

— Мне сюда, — сказала она тихо.

Они остановились у подъезда и несколько минут молчали. Оба думали об одном и том же — как продлить знакомство.

— Елизавета Георгиевна, — сказал он, понимая, что сам должен сделать первый шаг. — Неужели же мы с вами расстанемся, чтобы больше не увидеться? Теперь так редко случается встретить людей из прежнего мира. Я бесконечно одинок. Я был очень рад еще раз увидеть вас. Есть у вас родители, которым вы могли бы меня представить?

— Нет, я живу совсем одна, — прошептала она.

— Вы можете быть уверены, Елизавета Георгиевна, что мое отношение к вам всегда будет исполнено самого глубокого уважения, — сказал он опять с той же почтительной покорностью.

Легкий румянец покрыл щеки Елочки. Ей уже было 27 лет, никогда еще в жизни не приходилось объясняться с мужчиной. Принять его у себя она несколько не опасалась, ее останавливало другое — назначив после первой же встречи свидание, она могла показаться легкомысленной как в его, так и в своих собственных глазах. Она стояла молча, растерянная. Он видел, что она колеблется, но ему понравилось это. «Благородная девушка! С прежними устоями, с гордостью!» — думал он, покорно дожидаясь. Находчивый ум Елочки скоро отыскал выход из создавшегося тупика.

— Я не об этом думаю — меня беспокоит ваше здоровье, — сказала она. — Приходите ко мне на службу в больницу, я свожу вас на рентгеновский снимок и, если осколок в самом деле есть, покажу снимок дяде. Он — прекрасный хирург. Это он оперировал вас когда-то. Пусть скажет свое авторитетное мнение.

Олег понял, что она все-таки не захотела принять его на дому и таким образом нашла выход, но понял также, что разговор об осколке не был только предлогом в ее устах и что к его здоровью она по старой памяти не могла относиться безучастно. Поблагодарив ее, он спросил:

— Елизавета Георгиевна, вы помните мою фамилию?

— Да, князь Дашков. — Елочка умышленно употребила титул.

— *Ci-devant*<sup>[31]</sup> прибавьте! Так вот теперь по документам я уже не князь, и не Дашков, а всего-навсего Казаринов. С того времени я так и застрял под этой фамилией. Выявить свое подлинное лицо — значит, попасть снова в лагерь, если не на тот свет. Признаюсь, пока еще не имею желания. Это все надо держать в строгом секрете.

— Я понимаю, — сказала она очень серьезно.

После нескольких слов, уточнявших время и место встречи, они простились. Входя в подъезд, она еще раз обернулась на него, он тоже обернулся и, встретившись с ней взглядом, поднес к фуражке руку. Этот офицерский жест заставил сладко заныть сердце Елочки; институтская влюбленность в гвардейскую выправку, в изящное движение еще уживалась в ней рядом с сестринским состраданием и мистическими чаяниями и еще вызывала затаенный девичий трепет во всем ее существе.

Она вошла в свою комнату и в изнеможении бросилась на кровать. «Жив! Нашелся! Узнал! Пришел ко

мне! Я буду его видеть! Господи, что же это! Могла ли я думать, собираясь на концерт здесь вот, в этой комнате, что меня ждет такое счастье!» — Она вдруг бросилась на колени перед образом:

— Господи, благодарю Тебя! Благодарю, что Ты спас его! Благодарю за встречу! Ты справедлив — теперь я знаю! Ты видел мою тоску, мое одиночество, мою любовь! Ты все видел! Ты велик и мудр, а любовь к своим созданиям Ты дал мне почувствовать на мне же самой. Ты дал мне сегодня так много, так много! Ради одного такого вечера стоит прожить жизнь.

Порыв прошел, она опустила сложенные руки и опять задумалась.

Соловки! Странно, святое, многострадальное место. Древний монастырь, с белыми стенами, окутываемый белыми ночами, омываемый холодным заливом. Белые древние стены смотрятся в холодную воду... Еще со времен Иоанна Грозного ссылали туда опальных бояр, которые жили, однако, настолько весело, что игумены посылали царям частые грамоты с просьбами взять от них бояр, которые образом жизни соблазняют братию. Этот монастырь рисовал Нестеров на картине «Мечтатели»: белая ночь, белые стены, белые голуби и два инока — старец и юноша — на монастырском дворе грезят о подвигах подвижничества. А вот теперь этот монастырь стал местом крестного страдания лучших людей России. Коммунистическая партия пожелала устроить «мерзость запустения на месте святом». Они разогнали монахов и место спасения превратили в место пыток, о которых по всей Руси шептались втихомолку... Она видела раз это место во сне — вот эти самые белые стены и холодную воду, а над ними стояло розовое сияние — может быть, излучения молитв за тех, кто томился за этими стенами? И он был там! Не потому ли всегда так больно сжималось ее сердце всякий раз, когда она слышала о Соловках! Ей захотелось теперь узнать все подробности быта узников и обращения с ними, но расспрашивать было бы неэтично — ему, наверно, тяжело вспоминать. «После такой войны, таких ран — семь лет лагеря! Боже, Боже! А когда, наконец, выпустили — некуда идти! Ни дома, ни Родины, ни родных... Как бы помочь ему? Я многое могла бы сделать, да ведь он не позволит». И только тут она вплотную подошла к мысли, что лишь одним путем могла бы помочь ему — если бы стала его женой. «Как бы я берегла его!» — с невыразимой нежностью думала она, смакуя в памяти жест, которым он простился с ней. Она забыла, с каким пренебрежением фыркнула на Асю, когда та заговорила о «земной» любви; думая о счастье жить для Дашкова, уже не находила это счастье мещанским. Внезапно ее целомудренное воображение содрогнулось: за двадцать семь лет своей жизни она не узнала даже поцелуя. В ней уже начала вырабатываться стародевическая нетерпимость. Одна мысль о близости с мужчиной заставляла ее вздрагивать от отвращения. И даже сейчас, влюбленная в его лицо, голос, осанку, в упоении вызывая их в своей памяти, она содрогнулась при мысли о том, что делают с девушкой, когда она становится женой... Но тотчас отмахнулась от этой мысли: все равно! Ради счастья заботиться о нем можно пойти даже на это! Она принесла себя мысленно в жертву, совершенно уверенная, что в объятиях и поцелуях мужчины никогда не найдет радости для себя, хотя одна мысль об этом мужчине заставляла ее влюбленно трепетать. И снова погрузилась воображением в картины тех забот и того внимания, которым стала бы окружать его. Бронзовые часы на камине пробили два часа, потом три, четыре, пять — она не ложилась; сидела одетая, напряженно глядя в темноту и не замечая времени.

## Глава девятнадцатая

В больницу Дашков поехал прямо со службы; великолепный старообразный швейцар, стоявший у лифта, зорко взглянул на его лицо и простреленную многострадальную шинель...

Так зорко, как будто что-то заподозрил... Однако необыкновенно вежливо поклонился ему:

— Пожалуйста! Кому прикажете доложить? — узнав, что требуется сестра Муромцева, швейцар тотчас же вызвал Елочку по коммутатору и накинул на Олега белый халат, без которого его бы не пропустили дальше. Олег нащупал в кармане рубль и, обрадовавшись находке, протянул швейцару. При этом он с удивлением заметил, что около швейцара на полу стояла большая картина, по-видимому, голландской школы — курица с цыплятами на темном фоне.

Елочка выбежала к нему навстречу в белом халатике и форменной косынке. Щеки ее горели. Тотчас она повела его по лестницам и коридорам, что-то говорила о нем людям в белых халатах, и его тотчас вызвали на снимок, которого в районных амбулаториях приходилось дожидаться неделями и на руки не выдавали. После снимка они условились о новой встрече, когда он должен был явиться сюда же узнать поставленный диагноз.

Елочка вернулась к себе заряжать автоклав, а Олег спустился на выход. Там, около швейцара, стояла, надевая перчатки, молодая девушка с длинными косами. При взгляде на нее у Олега перехватило дыхание.

— Ксения Всеволодовна! — он вытянулся со свойственным ему изяществом, словно на нем и сейчас был аккуратный, с иголки, мундир гвардейского офицера.

Ее глаза, которые он так часто вспоминал, смотрели в течение секунды с недоумением, потом приветливая улыбка осветила лицо.

— Извините, я не сразу узнала вас! Олег Андреевич Казаринов, так, кажется?

— Так точно, — отчеканил он с интонацией, которую она не поняла. — Каким образом вы здесь и притом одни, Ксения Всеволодовна?

— Это целая история! — доверчиво защebetала она. — Бабушка послала меня в Эрмитаж, в закупочную комиссию с этой картиной. — Тут он, наконец, отметил значение «куриной» картины. — Леля взялась помочь мне ее донести. Леля работает здесь со вчерашнего дня практиканткой в одном из рентгеновских кабинетов, я зашла посмотреть на Лелю в медицинской форме, а теперь пойду по бабушкиному поручению. Вот только картина очень парусит — как бы не унесла меня в стратосферу.

— Разрешите мне вам помочь! — подхватил он тотчас, с радостной готовностью забирая картину. И они вышли.

Связному разговору очень мешала несчастная курица, которая действительно все время парусила и норовила вырваться из рук, к тому же Ася призналась, что проболтала с Лелей и боится опоздать — закупочная комиссия заканчивает работу в семь часов. Припомнив, что у него в кармане двадцатирублевка, на которую он рассчитывал жить до следующей получки, Олег махнул рукой на все соображения и предложил нанять такси, но лицо девушки приняло такое испуганное и настороженное выражение, что он тотчас же оборвал фразу:

— Вы не желаете ехать, Ксения Всеволодовна?

— Да я бы очень желала, но бабушка запретила настрого.

— Ксения Всеволодовна... Я далек от желания подбивать вас на непослушание. Я как-то не сообразил,

что еще не представлен вашей бабушке. Извините, но не относите меня к разряду совсем чужих. Я все-таки не первый встречный, а beau-frere Нины Александровны и познакомились мы с вами в ее комнате.

Ася остановилась.

— Как beau-frere? Каким же образом? Ведь Нина Александровна — княгиня Дашкова, а вы... Казаринов?..

Олег спохватился. Секунду он колебался, но встретив иронично-недоумевающий взгляд ясных глаз, остановился и, прислоняя картину к фонарному столбу около Александровской колонны — они пересекали в это время пустынную площадь Зимнего дворца, — сказал:

— Я вижу, что проговорился, и хочу вам сказать прямо: я не Казаринов, я — Дашков. — И опять ему пришлось в общих чертах пересказывать невеселые подробности своей жизни. Кончилось все неловкой сценой:

— Я вам не дам нести картину, отдайте, если так! — вдруг сказала Ася очень воинственно.

— Позвольте, почему?!

— Нельзя носить такие тяжести, если было ранение!

— Ксения Всеволодовна! Ведь уже девять лет прошло... — Он чуть было не стал откровенничать, как грузил тяжелейшие бревна в Соловках и в Кеми с утра до ночи, да еще по пояс в воде. Но успел подумать: жалобиться?.. И посмотрел ей прямо в глаза.

Странные были у нее глаза: их светящийся центр, казалось, находится впереди орбиты и, накладывая голубые тени, озаряет лицо и лоб.

— У вас кто-нибудь оставался здесь? Кто-нибудь встретил вас, когда вы вышли из лагеря: мама или папа, или сестричка?

— Никто. У меня все погибли.

Секунду она не сводила с него испуганного взгляда и вдруг залилась слезами, прижавшись головой к фонарному столбу:

— Я не знала, я ничего не знала! Простите, что я говорила с вами, как с чужим!

Олег подошел к ней вплотную и застыл:

— Не огорчайтесь, милая! Не я один. Я думал, вам это все известно, иначе не заговорил бы. Вытрите ваши глазки и пойдете, а то в самом деле опоздаем.

Она все еще всхлипывала. Очень медленно стала успокаиваться.

Олег опять поднял картину, и они пошли.

В Эрмитаже он остался ждать ее в вестибюле. Очень скоро она вернулась, волоча за собой картину.

— Эта курица такая несчастливая. Который раз я ношу ее в разные места и всегда неудача! Сначала сказали: прекрасный экземпляр, подлинная Голландия, семнадцатый век, оцениваем в две тысячи. Я, как на дрожжах, подымаюсь и вдруг слышу: «Но...» У меня душа в пятки! «Семнадцатый век у нас представлен очень многими экспонатами и в приобретении данного Эрмитаж незаинтересован, предлагайте любителям». Как вам это понравится? Где я возьму этих любителей? Что же мне теперь делать?!

— У вас острая нужда в деньгах? — спросил Олег.

— Через неделю у меня день рождения — девятнадцать лет. Недавно было именины, а их не праздновали — бабушка сказала: «Не до того». А день рождения обещала отпраздновать и обещала мне



белое платье. Английские блузки уже так надоели. Теперь — ни платья, ни вечеринки не будет! — Она была так очаровательна в своем детском огорчении, что он не в силах был свести с нее глаз.

— Ксения Всеволодовна, снесемте картину в комиссионный магазин. Здесь есть один поблизости. Бежимте!

Он зашагал сажеными шагами, она рысцой побежала рядом! Увы! Курицу и здесь принять не захотели! Указывали, что магазин перегружен товарами, что картина с дефектами... Оба вышли понурые.

— Ну, теперь кончено, — сказала Ася. — Что же, противная курица, поехали домой!

— Не огорчайтесь, Ксения Всеволодовна, быть может, бабушка ассигнует для вашего праздника другую вещь.

Она вздохнула:

— Уж не знаю. У нас стоит в комиссионном рояль, но выручка за него пойдет дяде Сереже, а если бабушка сказала — так и будет.

Она повернула на Морскую и через несколько минут остановились у подъезда.

— Я был очень счастлив встретить вас, Ксения Всеволодовна! Надеюсь, мы еще увидимся. Желаю, чтоб праздник ваш состоялся.

— И я буду надеяться! Знаете что? Приходите к нам в день моего рождения. — И тут же смутилась, покраснела до ушей: — Ах, что я сделала!

— Вы и в самом деле непослушный ребенок, Ксения Всеволодовна. Что ж, придется мне как можно скорее быть представленным вашей бабушке. До свидания.

Она улыбнулась и исчезла за тяжелыми дубовыми дверями старинного подъезда.

В тот же вечер он попросил Нину представить его дому Бологовских.

Между тем, Асю ждала буря. Француженка за опоздание повела ее тотчас пред очи бабушки. Пришлось Асе признаться, что ее сопровождал князь Олег Андреевич Дашков.

— Что? Какой князь? Муж Нины Александровны давно убит, а больше нет князей Дашковых.

— А вот и есть, оказывается! Он мне сам сказал.

— Чепуха! Тебе можно наговорить что угодно, ты всему веришь. Ясно, что опять выдумки, как с Рудиным. Ты не дала адреса?

Асю усадили заштопывать белье. Сидеть было скучновато, тем более что иголку она органически не выносила. Желая развлечься, напевала вполголоса все, что ей приходило на память.

В середине второго дня мадам, выходя в булочную, наткнулась в подъезде на высоченного рыжего детину в кепке, сдвинутой на затылок, с косматым чубом, выпущенными на лоб. Он стоял, запустив руки в карманы и тараща глаза на лестницу. Француженка покосилась на него, обошла сбоку и опять покосилась. Возвращаясь из булочной, она снова увидела его на том же месте.

— Le voilà!<sup>[32]</sup> — сказала она себе, и закипело ретивое. Она замахнулась на парня корзиной:

— А ну пошел! Пошел! Вот нашелься князь! Ваше сиятельство! Я тебе покажу, какой ты князь! Не лезь к благородной дьевушка! А ну — пошел!

Детина вытаращился на нее.

— Пошел! — наступала неугомонная мадам. — Наш дьевушка не по тебе! Ты — du простой<sup>[33]</sup>, так и не лезь! Милиций вызово! Вот нашелься князь!

— Че привязалась, заморская ведьма! — пробормотал рыжий дуралей, отмахиваясь руками. — Какой я тебе князь?! Пошла вон, немецкая рожа!

От последних слов мадам взорвалась, как бомба.

— Я немецкий рожа?! Я?! Mon Dieu!<sup>[34]</sup> Я француженка, парижанка! Я тебя в милицию, в милицию! — и она хлопнула его с размаха по физиономии.

Рыжий, явно не ожидавший такой расправы, позорно бежал.

Явившись домой, мадам торжественно поведала о своей блестящей победе. Все весело посмеялись, но Асю от наказания штопкой не освободили.

Некоторое время помаявшись, Ася не выдержала и, решившись просить помощи со стороны, осторожно прокралась в коридор к телефону. Набрав номер, она попросила позвать Нину Александровну.

— Нины Александровны нет дома. Что прикажете передать? — услышала она мужской голос. Сердце ее забилось от волнения.

— Тогда попросите, пожалуйста, Олега Андреевича, — отважилась выговорить она, точно в воду бросилась. — Ах, это как раз вы! Говорит Ася, то есть я хотела сказать — Ксения Всеволодовна. Олег Андреевич, выручайте меня! — и она описала ему, как ей попало за встречу с ним. — Теперь я сижу наказанная и вот штопаю белье, а это невыносимо скучно! Мне задали новую фугу, так хочется ее проиграть, а вместо этого надо вырезать ножницами круглые дыры. Олег Андреевич, пожалуйста, расскажите Нине Александровне, что случилось со мной, и пусть она идет скорее на выручку, только пусть не говорит, что я ее вызывала. Больше не могу говорить — боюсь разбудить бабушку. Вы передадите? Ну, спасибо! — и повесила трубку. Щеки ее пылали.

Нина прибежала в тот же вечер. Усевшись в качестве бесспорной любимицы на край кровати Натальи Павловны, она тотчас спросила, где Ася, а выслушав рассказ Натальи Павловны, призналась, что это действительно ее beau-frere — князь Олег Дашков, и поведала свекрови о трагической судьбе Олега. Послали за Асей, которая все еще сидела за бельем. Кроме объявленного прощения, сопровождавшегося милостным поцелуем в лоб, ей сообщили, что сейчас она будет мерить платье. Ася не знала, что, несмотря на «опалу», переговоры о платье продолжались, и накануне вечером мадам вынимала из сундуков и раскладывала перед Натальей Павловной всевозможные сборки, нижние юбки и лифы, обсуждая, что можно сделать из этого для Аси. Мадам умела мастерски переделывать и обладала большим вкусом, как истинная француженка. За день она успела подготовить платье к примерке. Восхищенную и разгневившуюся Асю поставили на маленькую скамеечку перед трюмо в уютной спальне Натальи Павловны, и мадам стала закалывать на ней что-то легкое, отделанное кружевами валансьен, которые были еще очень хороши, хоть и отпороты с нижней юбки. Нина и только что прибежавшая Леля принимали самое горячее участие в обсуждении деталей. Ася и Леля умоляли сделать платье немножко моднее, чем все, что они носили до сих пор, но решающее слово осталось за Натальей Павловной — она не разрешила увеличить вырез и потребовала прибавить еще два сантиметра к длине платья.

Заговорили о предстоящем дне рождения и решили, что beau-frere Нины Александровны непременно должен быть в числе приглашенных.

— Il doit etre distingue, ce monsieur<sup>[35]</sup>, — вставила свое слово и француженка. Она была несколько разочарована тем, что неведомый незнакомец оказался подлинным князем Дашковым, а не тем парнем, с которым она имела этим утром столь успешное столкновение. Теперь ей пришлось срочно перестроиться и окружить Олега романтическим ореолом. Патриотка и республиканка во всем, что касалось Франции, мадам была яростной противницей революции в России и была влюблена в русскую аристократию.

— Est-il beau, monsieur le prince?[\[36\]](#) — спросила она Асю, чрезвычайно заинтригованная.

— А вот увидите сами, — ответила Ася, вся сияя. Она чувствовала себя совершенно счастливой; ей хотелось петь и прыгать, и даже судьба Сергея Петровича и плата за учение перестала ее беспокоить. Вечеринка состоится — это было сейчас всего важнее!

Даже при таких невыносимых условиях жизни того времени, всякие родители старались повеселить свою молодежь. Если танцевать было негде — обходились без танцев и все-таки собирались. Возникали и другие осложнения, стоило лишь собраться тесным кружком, как тотчас это кому-то казалось подозрительным: враждебно настроенная соседка или бдительный сосед сигнализировали управдому или прямо в гепеу о подозрительном собрании «бывших», и часто в минуту веселья звонок возвещал о непрошеном вторжении. В лучшем случае — управдома, в худшем — самих несгибаемых рыцарей революции, гепеушников. Чтение собственных стихотворений, стихов Гумилева, Блока или Бальмонта, мистические или философские разговоры, рассказывание анекдотов — все считалось предосудительными и могло служить достаточным основанием для обвинения в политической неблагонадежности или прямо в контрреволюции и кончиться ссылкой или лагерем. Известен случай, когда в вину было поставлено переодевание в старорусские костюмы — двое юношей оделись рындами, а девушки — боярышнями. Хозяин дома был обвинен в великодержавном шовинизме, получил семь лет лагеря, из которого не вышел, а юноши-рынды и девушки-боярышни отправились в ссылку в Туркестан. Квартира и обстановка погибли.

Почти на каждом вечере узнавалась какая-нибудь страшная новость — один посажен, другой сослан, третий вовсе сгинул без следа. Собираться старались по возможности незаметно: разговаривали вполголоса, а расходились поочередно, осматривая, пуста ли лестница. Трудно было сохранить жизнерадостность в таких условиях, но жизнь брала свое: к постоянной опасности привыкают, и молодежь находила возможность веселиться под этим дамокловым мечом. В сороковые годы война перемешала общество, но в двадцатые и тридцатые дворяне и интеллигенты еще не смешивались с пролетариатом, и порожденный большевистской пропагандой антагонизм был чрезвычайно обострен. Слово «интеллигент» широко применялось как ругательное. Нечего уже говорить о таких кличках, как «офицерье», «буржуй», «помещица» — эти слова превращались в клеймо, с которым человека можно было безнаказанно травить. В свою очередь, в противоположных кругах слова «пролетарий» и «товарищ» произносились с насмешкой и становились синонимами тупости, хамства и зазнайства.

Наталья Павловна и мадам, как ни трудно им это было теперь, решили во что бы то ни стало повеселить Асю. Места в квартире, у них всё ещё было достаточно, с деньгами выручил продавшийся из рук на руки бинокль, и вопрос о вечеринке был решен.

## Глава двадцатая

У Елочки появилось много забот. Недавно в списке неплательщиков, намеченных к исключению, она увидела фамилию Аси и спешно внесла за нее требуемую сумму, а потом записала на себя несколько сверхурочных дежурств в больнице, чтобы пополнить месячный заработок. В рентгеновском отделении она опекала Лелю, кроме того постоянно приходилось подкармливать и снабжать работой Анастасию Алексеевну. И вот теперь — Олег! За него больше, чем за всех прочих, болела душа, но всего сложнее было помочь как раз ему. Ясное дело, что он не допустит никаких одолжений.

На рентгеновском снимке действительно был обнаружен осколок неправильной формы с зазубренными краями 6–7 сантиметров. Хирург сказал, что если этот осколок не вызывает болезненных явлений — лучше его не трогать, но в противном случае он должен быть удален. Елочка ухватилась за эту мысль. Если бы он согласился лечь в клинику, у нее была бы тысяча возможностей окружить его своей заботой и вниманием, от которых ему никак нельзя было отказаться. Она мечтала подежурить около него ночь после операции и воскресить таким образом былые дни, оживить и продлить то, что было прервано на девять лет. Пересказывая Олегу мнение хирурга, она, сама того не замечая, нажимала на необходимость операции несколько больше, чем это делал сам хирург.

Олег решительно отказался от операции. Он сказал, что более не в состоянии находиться в казарменной или больничной обстановке, подчиняясь тому или иному режиму. Это наскучило ему свыше сил! Бог знает, долго ли ему доведется быть на свободе... Надо воспользоваться этим временем! Он хочет послушать музыку, он хочет съездить на воздух за город в лес — эти пустяки значат для него очень много. Главного соображения он не высказал — ему, наконец, мелькнула возможность более близкого знакомства с Асей и отказаться от этой возможности или отсрочить ее ему не хотелось, даже если бы осколок причинял ему гораздо большие неприятности.

Елочка огорчилась, но старалась не выдать своих чувств, и ей это удалось. Они разговаривали, сидя на скамье в вестибюле больницы.

— К тому же мне надо работать, — продолжал Дашков. — Мне необходимо поправить мое материальное положение. Вы сами заметили, что я недостаточно тепло одет. У меня нет даже перчаток. Я только что начал сколачивать сумму на костюм, откладывая от каждой полочки. Потеря места поставила бы меня в положение самое безвыходное, тем более что устроиться снова очень трудно — анкета меня губит.

— Вы не потеряли бы места, — возразила Елочка, — пока человек на бюллетене или в больнице, сократить его не имеют права. Это одно из немногих гуманных нововведений новой власти.

— Удивительно, что таковое имеется, — ответил Олег. Ему захотелось переменить разговор, и через минуту он заговорил о Бологовских.

— Я как раз буду у них завтра, — сказала Елочка.

— Завтра? На рождении Ксении Всеволодовны? Я тоже буду — я получил приглашение. Там мы увидимся!

— Я еще не знаю, приду ли... Танцы, новые люди... это не для меня.

— Приходите, Елизавета Георгиевна! Я почти ни с кем не знаком в этом доме, мне очень было бы приятно вас там встретить. А возвращаться одной вам не придется — я вас провожу до вашего подъезда, не беспокойтесь.

Это послужило приманкой, перед которой Елочка не устояла. Четвертая встреча с ним, и притом в

частном доме и таком respectable, могла окончательно закрепить их знакомство. Она пообещала прийти.

Ася была необычайно мила в своем новом платье с легкими воланами и полукороткими рукавами. Шею ее обнимала тонкая нитка старинного жемчуга, подаренного ей в этот день Натальей Павловной. Подлинный фамильный жемчуг, задумчиво и загадочно мерцающий на грациозной шее девушки, придавал облику Аси еще большую утонченность. Ее пушистые пышные волосы, закрученные ради праздника в греческий узел, легкость и стремительность ее движений, темные ресницы — были восхитительны. Ну почему одной — все, а другой — ничего! Разве нельзя отдать Елочке, ну, если не ресницы, то хотя бы улыбку Аси? Только хорошенькая девушка может так непринужденно двигаться, смеяться, говорить, она знает, что ей все можно, потому что она от всего хорошеет, она инстинктивно чувствует, что ею любят, и это ее окрыляет, ей не приходится опасаться неудачного слова или неудачного жеста — в ней мило все, ей все прощительно!

Елочка сделала открытие, что ее трагический герой, несмотря на все свои злоключения, остался великосветским донжуаном, который легко поддается женским чарам и, едва попав в гостиную, готов к ухаживаниям. Расцветающая юность, улыбки и волны волос, легкость бабочек здесь значат больше, чем долгая и безнадежная верность ее сердца! Вот если бы он был в больнице, где нужны помощь и сочувствие, никто бы не мог соперничать с ней — там она легко установила бы душевный союз с ним, а здесь...

Как только Олег вошел в гостиную, инкогнито с него было тотчас сорвано; один из молодых людей, тот, которого Елочке представляли под фамилией Фроловского, пошел к Олегу навстречу с восклицанием:

— Ба! Дашков! Старый дружище! А меня уверяли, что ты убит!

Они оказались однокашниками по пажескому корпусу. Елочка забеспокоилась: не следовало знать эту тайну широкому кругу лиц! Некоторое время она участвовала в общем разговоре, вместе со всеми умилялась крошечным щенком, которого подарил Асе Шура Краснокутский. Но как только начались игры, она отделилась от общего кружка: игру в фанты она не переносила с детства — одна мысль, что ей придется играть, петь или декламировать перед всеми, наводила на нее ужас. Она вымолила себе разрешения не участвовать в игре и стала наблюдать за ходом событий со стороны.

Фроловского усадили на стул, и он с необыкновенной изобретательностью выдумывал штрафные наказания для каждого фанты, вынимаемого из передника мадам. Больше других проштрафилась Ася: в переднике лежали две ее вещицы и обе заработали очень странные задания — она должна была ответить настоящую правду на любой вопрос, заданный поочередно каждым из играющих, а также сознаться перед всеми, кто из присутствующих нравится ей больше и меньше всех. Леля получила задание рассказать историю своей вражды к кому-нибудь. Олег, как и Ася, — ответить правду на любой обращенный к нему вопрос. Сам себе Фроловский приказал изобразить выступавшего на митинге оратора. Шура получил обязательство выступить с игрой на рояле и пришел в отчаяние, умоляя разрешить ему поменяться фантом с Асей. Но Фроловский был неумолим!

— Никаких мен, или это неинтересно! Начинаем с виновницы торжества. Пожалуйста сюда в середину, Ксения Всеволодовна! Садитесь на стул. Итак — извольте отвечать правду. Кто желает спрашивать первым? Все молчат! Извольте, начну я, ибо я за словом в карман не полезу. Желаете ли вы выйти замуж, Ксения Всеволодовна?

— Валентин Платонович, вы ужасный человек! — сказала она, глядя на него без улыбки.

— Весьма польщен. Однако же отвечайте.

Ася секунду помедлила.

— За свой идеал хотела бы, — сказала она очень серьезно, — только не теперь, попозже, теперь мне еще так у бабушки пожить хочется.

— Точно и ясно, — сказал Валентин Платонович, но Шуру Краснокутского этот ответ почему-то взял за живое.

— Уточните же, про крайней мере, что за идеал и каковы его отличительные признаки? — воскликнул он.

— Александр Александрович, если я правильно понимаю, вы задаете ваш очередной вопрос? — пожелал навести порядок Фроловский.

— Да, пусть это будет мой вопрос! Воспользуюсь своим правом, уж если до этого дошло!

Все улыбнулись.

— Мы ждем ответа, Ксения Всеволодовна, — сказал Фроловский.

— Да не торопите же! Дайте хоть подумать, — пролепетала сконфуженная Ася. — Мой идеал... Это такой... человек, который очень благороден и смел, а кроме того обладает возвышенным тонким умом. Он должен глубоко любить свою Родину, как папа, за Россию отдал жизнь.

— Ксения Всеволодовна, — сказал Олег, улыбаясь и не спуская с Аси ласкового взгляда, — как же так: «отдал жизнь?» Выйти замуж за покойника только в балладах Жуковского возможно.

— Ах, да! В самом деле! Я, кажется, сказала глупость... Ну, если не погиб, то во всяком случае много вынес за Россию — бедствовал, скрывался, был ранен... — Она замерла на полуслове. Ей пришло в голову, что слова ее могут быть отнесены прямо к Олегу, и, опустив голову, она не смела на него взглянуть.

— Тяжелый случай! — безнадежно сказал обескураженный Шура.

— Ваши дела плохи! — сказала ему Леля.

Асе хотелось поскорее уйти от этой темы, и она спросила:

— О какой балладе упоминали вы, Олег Андреевич?

— О балладе «Людмила». Девушка роптала на Провидение за то, что жених ее пал в бою. И вот в одну ночь он прискакал за ней на коне. Был ли это он сам или дьявол в его образе — история умалчивает, но он посадил ее на своего коня и умчал на кладбище.

Олег не продолжал далее, но неумолимый Валентин Платонович закончил за него:

— И могила стала их любовным ложем.

— Monsieur, monsieur! — предостерегающе окликнула француженка, хлопотавшая около стола.

— Milles pardons!<sup>[37]</sup> — воскликнул Валентин Платонович, — но это сказал не я, а Жуковский!

Шура, между тем, не мог успокоиться по вопросу о «герое».

— Ксения Всеволодовна, вы несправедливы! — воскликнул он, — я по возрасту моему не мог участвовать в этой войне и проявить героический дух. А теперь господа пажы попадают в выгодное положение по сравнению со мной потому только, что старше меня.

Олегу стало жаль юношу.

— Успокойтесь, Александр Александрович, еще никто никогда не жалел, что он молод. У вас еще все впереди, а наша молодость уже на закате, — сказал он.

— Аминь! — замогильным голосом откликнулся Фроловский. — Будем, однако, продолжать.

Спрашивайте теперь вы, Елена Львовна.

— Какое сейчас твое самое большое желание? — спросила Леля Асю.

— Вернуть дядю Сережу, — это было сказано без запинки, и лицо стало серьезным.

Очередь была за Олегом.

— Я буду скромней моих предшественников. Что вы больше всего любите, Ксения Всеволодовна, не «кого», а «что»?

— Что? О, многое! — она мечтательно приподняла головку, но Фроловский не дал ей начать.

— Учтите, что собаки, овцы и птицы относятся к числу предметов одушевленных — не вздумайте перечислить все породы своих любимцев.

— Какой вы насмешник! Я грамматику немного знаю, — на минуту она призадумалась. — Люблю лес, глухой, дремучий, с папоротниками, с земляникой, с валежником, фуги Баха, ландыш, осенний закат и еще купол храма, где солнечные лучи и кафельный дым. Ах, да, еще белые гиацинты, вообще все цветы и меренги...

— Ну, вот мы и добрались до сути дела! — тотчас подхватил Фроловский. — Теперь вы начнете перечислять все сорта цветов и все виды сладкого. Что может быть, например, лучше московских трюфелей?

— Трюфеля я последний раз ела, когда мне было только семь лет, и не помню их вкуса, — было печальным ответом.

— За мной коробка, как только появятся в продаже! — воскликнул Шура, срываясь со своего места, и даже задохнулся от поспешности.

Все засмеялись.

— Коробка за вами. Решено и подписано, а теперь переходим к следующему пункту, — провозгласил, словно герольд, Фроловский. — Ну-с, кого из числа играющих, Ксения Всеволодовна, любите больше всех?

— Что ж тут спрашивать? Ясно само собой, что Лелю. Ведь мы вместе выросли.

— А кого меньше всех?

Наступила пауза.

— Я облегчу ваше положение, Ксения Всеволодовна! — сказал Олег. — Меня вы любите меньше всех, так как вы только теперь узнали меня, а все остальные здесь ваши старые друзья.

Он сказал это, желая подчеркнуть, что не принял на свой счет ее высказываний по поводу идеального мужчины, и дать ей возможность выйти перед всеми из неловкого положения, но она в своей наивной правдивости не приняла его помощи. — Вот и нет, не все вовсе, — ответила она с оттенком досады.

— Меня, наверно, — уныло сказал Шура.

— И не вас! — сказала она тем же тоном.

— Так кого же?

— Вас, — и взгляд ее, вдруг потемневший, обратился на Валентина Платоновича.

— За что такая немилость, Ксения Всеволодовна? — воскликнул тот.

Все засмеялись.

— Мораль сей басни такова, не задавать нескромных вопросов, — сказал Олег.

Исповедь Аси, наконец кончилась. Наступила очередь Лели.

— Враг у меня один — товарищ Васильев, — объявила она.

— О, это становится интересно! Друзья мои, слушайте внимательно, — воскликнул тот же Фроловский. — Кто он, сей товарищ?

— Инструктор по распределению рабочей силы на бирже труда. Он восседает в большой зале на бархатном кресле в высоких сапогах, в галифе и свитере, а поверх свитера — пиджак, на лбу хохол, на затылке кепка. Посетителю он сесть не предлагает. Я стою, а он говорит, что я дочь врага. «Ежели вы этого понять не желаете, моя ли то вина? Я охотно верю, гражданочка, что работа вам нужна, но заботиться о семьях белогвардейского охвостья нет возможности. Возьмите это в толк и не мотайтесь сюда зря, гражданочка» — Леля остановилась.

— Передано с художественной правдивостью. Bravo, Елена Львовна! — сказал Олег. — Некоторые выражения вы, по-видимому, заучили наизусть.

— Почти все. Я столько раз все это слышала, — сказала она со вздохом.

— Страничка из истории! — подхватил Валентин Платонович. — Валенки и платок тут не помогут — родинка на вашей щечке, Елена Львовна, слишком напоминает мушку маркизы; не хватает только седого парика.

Ася держала на коленях щенка, которого все время тискала и ласкала:

— Щенушка, милый! Ты спать захотел, мой маленький? Сейчас я тебя пристрою в колыбельку. Ушки вместо подушки, хвостиком прикроем нос, и заснешь сладко-сладко!

Олег заметил, что Валентин Платонович тоже смотрит на Асю; глаза их на минуту встретились, и Олегу показалось, что его товарищ думает совершенно то же самое... «Не уступлю!» — твердо решил Дашков.

— Господа, я, как признанный церемониймейстер, предлагаю продолжать, — заговорил Фроловский. — Садись сюда теперь ты, князь.

— Не трепли, Фроловский, пожалуйста, мой титул, — сказал, усаживаясь в круг, Олег. — Не следует заново привыкать к нему, чтобы не сказать при чужих. К тому же он бередит мне слух.

— Извини. Не буду, — ответил Фроловский. — Кто желает задать вопрос? Видно, начинать опять мне? А ну-ка скажи, дружище, которая из присутствующих девушек тебе нравится больше других?

Взгляд Олега упал на молчаливую печальную Елочку, сидевшую в стороне; ему почему-то стало жаль ее, захотелось втянуть в игру и поднять во мнении окружающих...

— Вот уже не думал, что попаду в положение Париса! — громко сказал он. — А нравится мне всех больше Елизавета Георгиевна!

Елочка вздрогнула и вся загорелась.

Ася, как попугайчик, спросила Олега то же, что он спросил ее:

— Что вы любите больше всего, не «кого», а «что»?

— Россию, — ответил Олег после минутного молчания.

— Россия не «что», а «кто», — неожиданно для всех строго и серьезно произнесла Елочка, и глубоко сдерживаемое, потаенное чувство прозвучало в ее голосе густым красивым звоном, будто где-то на далекой колокольне ударили в колокол.

Все умолкли на минуту, как будто упомянулось имя недавно скончавшегося близкого человека.



— О! — воскликнул Валентин Платонович. — Мысль интересная, но обсуждение отведет нас слишком далеко от вашей прямой задачи. Эту мысль мы обсудим за чайным столом.

Шура, который никак не мог успокоиться в вопросе о героизме, спросил Олега:

— Считаете ли вы себя героем — таким, как охарактеризовала Ксения Всеволодовна?

— Героев рождает эпоха и обстановка, а не всегда личные качества, — сказал Олег. — Я видел сотни и тысячи героев среди офицеров и солдат и даже среди оборванцев-пролетариев во враждебном лагере. Героями в наше время были все, кто не бросил оружие. Думаю, что я был не лучше и не хуже других.

«Ну уже нет, — подумала Елочка. — Оценка слишком скромная! Командир «роты смерти» и два Георгия! Но вслух не произнесла ни слова.

Между тем, Леля, Ася и Шура напали на Фроловского:

— А вы-то сами, наш церемониймейстер? Свой номер вы, кажется, зажуливаете? Теперь ваша очередь!

Фроловский взял из передней фуражку, надел ее на затылок, взлохматил себе волосы, и принял тупое и угрожающее выражение лица.

— Товарищи, — начал он зычным голосом, делая ударение на последнем слогe и словно выдавливая из себя слова, — в дни, когда все советские граждане, в том числе и мы — ударники нашего завода — с небывалым подъемом трудимся на пользу социалистического строительства, капиталистические акулы и их прихлебатели замышляют погубить молодую советскую республику. С помощью кулаков, буржуев и белобандитов всех мастей они хотят насадить нам снова ненавистный капиталистический строй. Но этому, товарищи, не бывать! Подлые капиталисты просчитались — мы не дадим им сунуть к нам свои свинные рыла! Даром, что ли, мы кровь проливали? В ответ на их происки мы — пролетарии завода «Красный Утюг» — заверяем партию и правительство, а также товарища Сталина, что будем работать еще лучше и еще бдительней будем следить, чтобы в наши ряды не закралось ни одного предателя-контрреволюционера, особенно из белогвардейского охвостья. Товарищи, будьте бдительны!

Слушатели заплодировали так горячо, будто были и впрямь рабочими завода «Красный Утюг», собравшимися на митинг.

Шура Краснокутский, отбывая свой фант, сел к роялю и стал наигрывать кое-как «Дон-Грея», охая и жалуясь на свою судьбу. Услышав звуки фокстрота, Валентин Платонович насторожился, словно боевой конь, и расшаркался перед Лелей, но та растерянно пролепетала:

— Я не танцую... Наталья Павловна и мама не позволяют... фокстрот.

— Господи, прости мне! Кажется, я уже во второй раз нарушаю благонравие этого дома! — сказал Валентин Платонович. — Пройдемтесь разочек, милая маркиза, пока старших нет. Уж неужели вовсе не умеете?

Леля робко положила руку ему на плечо.

— Попробую, только не проговоритесь при маме, пожалуйста! Я у вашей соседки танцевала раз... Если мама узнает, она меня к ней не пустит.

Оба танцевали очень хорошо, но как только у двери послышался голос француженки, Леля вырвалась из рук Валентина Платоновича.

— А ты, Дашков, что же не танцуешь? — спросил Фроловский, подходя к Олегу.

— Не умею и я, — ответил Олег. — Просидев семь с половиной лет в чистилище, не имел

возможности научиться, а в те годы, когда я был в числе живых, этого танца еще в заводе не было.

— В чистилище? — повторил Фроловский, и лицо его стало серьезно. — Так ты уже отбыл это? А я пребываю в приятном ожидании. Моя татап не засыпает раньше шести утра, все ждет... Даже сухарей мне насушила и чемодан собрала на всякий случай.

Звуки вальса прервали их разговор. Валентин Платонович живо поймал Асю и закружил по комнате, но почти тотчас им пришлось остановиться, так как Шура сбился. Воспользовавшись паузой, Ася сказала тихо:

— Валентин Платонович, я вас хотела предупредить: не спрашивайте Олега Андреевича — у него все погибли и я заметила, что ему тяжело говорить.

Олег видел со своего места, что они переговариваются вполголоса и что Валентин Платонович взглянул раза два в его сторону. Опять ревнивая досада всколыхнулась на дне его души.

Между тем, Ася и Леля побежали в спальню, где разговаривали старшие, и вытащили оттуда Нину, умоляя ее сыграть им вальс. Нина должна была в этот вечер петь во втором отделении какого-то шефского концерта и уже собиралась уезжать, но, уступая просьбам молодежи, села к роялю. Если звуки фокстрота ничего не говорили сердцу Олега, то звуки знакомого вальса расшевелили в нем воспоминание о вальсах в доме отца под эти же «Маньчжурские сопки». Однако мысль, что Валентин Платонович сейчас подойдет к Асе и опять обнимет ее талию, подхлестнула, и он поспешил пригласить ее.

«Какая прекрасная пара! — подумала Нина, проследив за ними глазами. — Ну, слава Богу, что хоть сегодня он доволен и весел!» Наталья Павловна тоже наблюдала за порхающей внучкой; глаза ее и Нины встретились, и обе без слов поняли друг друга — если бы не постоянная опасность, нависшая над головой Олега, можно был бы мечтать о...

Француженка смотрела с умиленной улыбкой:

— *Ma pauvre petite Sandrillone va bientôt devenir une princesse et plus tard une dame d'honneur peut-etre!*[\[38\]](#)

Елочка из своего угла смотрела с укором: «Танцевать, когда Россия распята? Когда в лагерях томятся его товарищи? Он после всего, что пережил, может танцевать?» Вечеринка все менее и менее делалась ей по душе.

И уже с неприязнью думая о цветущих и все больше и больше хорошеющих Асе и Леле, Елочка хмурилась: «Куклы! А у него за этот вечер даже улыбка стала глуповатой!» Он нравился ей измученным и пламенеющим ненавистью, и ей хотелось видеть его всегда только таким.

## Глава двадцать первая

*Молодость, доблесть,*

*Вандея, Дон!*

*М. Цветаева.*

Через два или три дня после вечеринки к Олегу зашел Валентин Платонович. Они долго разговаривали, перебирая имена погибших и пропавших друзей и делясь фронтовыми впечатлениями. Олег только теперь узнал, что Валентин Платонович состоял в союзе «Защиты Родины и Свободы» и после разгрома организации некоторое время вынужден был скрываться.

— Выслеживали меня, как хищного зверя. Ночевал я то в лесу, то на стогу сена, то на крестьянском дворе. Перебегал с места на место. Мать больше года не знала, где я нахожусь, а я не мог подать ей о себе вести. Наконец один из товарищей по полку выручил: самый, понимаешь ли, провинциальный офицеришко, грубый мордобойца, которого у нас в полку все сторонились, оказался неожиданно-негаданно партийцем — сумел вовремя переменить курс. Преподносит мне этак покровительственно, с важностью: «Я тебя вытащу, если станешь нашим. У меня людей не хватает, а я знаю тебя как лихого офицера. Хочешь — бери роту, только уж не подведи, дай слово». Ну, от этой чести я, разумеется, отказался и попросил самое ничтожное местечко, чтобы только заполучить красноармейский документ и таким образом замести следы. Получил справку, надел шлем с «умоотводом» и шинель со звездочкой и сделался легальным. Дрянненькая эта бумажонка до сих пор меня безотказно выручала и ни в ком не возбуждала подозрений. В моем трудовом списке, а следовательно и в анкете, так и значится: с 1917 года по 22-й — красноармеец, хотя таковым я являюсь только с девятнадцатого. Чин, правда, у меня незавидный был — каптенармус! Ну да мы люди скромные — довольствуемся малым. В той же роте на должности заведующего снабжением тоже был офицер. Свой свояка видит издаലെка — скоро мы с ним сблизились и вместе изобретали остроумнейшие трюки ради наивозможно лучшего снабжения родной и любимой Красной Армии: крупа у нас систематически подмокала, бутылки бились. Отправим, бывало, отряд стрелков бить рябчиков в Вологодской губернии и хохочем вдвоем до упада. Такой метод борьбы не в твоём вкусе, я знаю, но если иначе нельзя — хорошо и это! Наша аристократия проявляет часто излишнюю щепетильность, а большевики не брезгают никакими методами.

Олег с некоторым раздражением перебил его:

— Да неужели же нам по большевикам равняться? Разве аристократизм только привилегия? Если так, он уже не существует! Я считаю, что аристократизм понятие столько же внутреннее, сколько внешнее; благородная порода осталась — у лучшей части дворянства еще надолго сохранятся рыцарские черты и чувство чести, и это отнять у нас никто не властен! Такие люди вызывают к себе доверие больше, чем люди другой среды. Я — офицер. Теперь часто говорят «бывший» — почему? Никто не снимал с меня этого звания и не ломал шпагу над моей головой.

Валентин Платонович усмехнулся, и в усмешке его Олегу почудилось что-то вольтеровское.

— Вполне с тобой согласен, напрасно ты горячишься. Но *a la guerre comme a la guerre* [39]. Я не считаю, что, получив документ и обличье красноармейца, я был морально обязан прекратить борьбу. Я никому не приносил там присяги, я был и остался семеновским офицером; это как раз то, что говоришь ты. Если бы попал к красным ты сам, полагаю, и ты бы стал радеть им на пользу.

— Я прежде всего бы старался ускользнуть от них.

— Эта задача, разумеется, первоочередная, но она не всегда удается. Что прикажешь делать тогда?

— Ты прав, Валентин. Я возражаю только против твоей фразы о щепетильности в методах.

— Я дважды пробовал ускользнуть к белым, как только оказался в прифронтовой полосе, — продолжал Валентин Платонович, видимо, задетый за живое. — Оба раза неудачно. В Пскове вижу: стоит бронепоезд, готовый к отходу, уже дымит, а командует знаменитый Фабрициус. Я к нему. Шлем и знаки отличия долой, а для пущего пролетарского вида подвязал платком щеку: кланяюсь в пояс, прошу подвезти к своим на соседнюю станцию. Дурачком прикидываюсь. Разыграно мастерски было. Неустрашимый коммунист сжалился и разрешил, с отеческим, впрочем, напутствием: «Смотри же, паренек, не трусь — дело будет жаркое!» Я забрался в вагон и поспешно забился в угол с самым робким видом. Очень скоро начали свистеть пули — свои тут, близко, а как прикажешь перебраться? В эту минуту Фабрициус проходит через вагон: «Ну что, парень, трусишь? Накрал, поди, в портки?» Я ему в ответ в том же тоне, а при первой возможности — к смотровой щели. Как на беду, Фабрициус прибегает обратно. Я шарахаюсь, будто бы насмерть перепуганный, он смеется, но, видимо, что-то заподозрил и решил наблюдать. Я только что метнулся на буфер, выжидая удобную минуту, чтобы спрыгнуть, как слышу у себя за спиной: «А ты, парень, не очень-то трусишь! Говори, кто таков?» — И хватить меня сзади за обе руки. Казалось бы, пропала моя душа! Ан, нет, выкрутился! Повинился, что дезертирую, чтобы похоронить мать, и, проливая крокодиловы слезы, протянул красноармейский документ. Фабрициус был человек с сердцем — опять я сухим из воды вышел, только что к своим не перебрался. Последнее в конечном результате, пожалуй, вышло к лучшему.

Олег в свою очередь рассказал товарищу то, чему был свидетелем в Крыму. Валентин Платонович выслушал, потом сказал:

— Со мной, кажется, вышло несколько удачнее в том смысле, что обошлось без ранения и без лагеря, хотя бедствий и голодовок было достаточно. Тем не менее, оба мы в любой день одинаково можем свергнуться в пропасть. Много ли надо? Чье-нибудь неосторожное слово, а то так непрощеная встреча и — донос! Вот недавно зашел я в кондитерскую купить коробку пирожных Елене Львовне, с которой мы вместе были в кино. Девушка спрашивает: «Кто этот человек, который вас так пристально разглядывает?» Я поворачиваюсь — батюшки мои! Один из союза «Защиты Родины». Едва только он заметил, что и я на него смотрю, тотчас отвернулся и вышел. Испугался меня. Я тебя уверяю! Вот каково положение вещей! Однако все это ни в каком случае не должно нам мешать жить полной жизнью. Во мне лично опасность только обостряет жизнерадостность, а если я в один прекрасный день загремлю вниз — недостатка в компании у меня не будет.

И после нескольких минут молчания он сказал:

— Очаровательные девушки у Бологовских, не правда ли? Я знал обеих еще девочками. В них породы много. У лучших кавалерийских лошадок, — помнишь, щиколотку, бывало, обхватишь двумя пальцами, — ножки этих девчонок нисколько не хуже. Тебе, вероятно, более по вкусу Ксения. Ты любишь девушек в стиле мадонн, в ореоле невинности. А я нахожу, что маленькая Нелидова интересней, пикантней. В ней есть, как теперь говорят, «изюминка».

Олегу показалось, что его приятель, говоря это, дает ему понять, что не намерен соперничать с ним и не хочет, чтобы что-нибудь помешало их дружбе. Расставаясь, они обменялись крепким рукопожатием, и Олег приободрился. «Не я один в таком положении: у Валентина, как и у меня, все построено на песке, и, однако же, он считает возможным радоваться жизни и надеяться! Пора встряхнуться и мне».

Он, наверно бы, не подумал этого, если бы слышал разговор, который вели два человека как раз в этот вечер неподалеку от его дома.

— Ваше благородие, господин доктор! — окликнул безногий нищий человека лет сорока в штатском, который быстро проходил мимо.

Тот обернулся:

— Какое я тебе «благородие»?! В уме ты?

— Да ведь вы — господин офицер, «доктор Злобин»?

— Ну да. Только не господин и не офицер, а товарищ доктор. Господ у нас с восемнадцатого года нет, пора бы уж запомнить. Ты из моих пациентов, что ли?

— Так точно, товарищ доктор! В Феодосии ноги вы мне отнимали вместе с господином хирургом Муромцевым, сперва левую, а после и правую. Сколько потом перевязок выдержал... Как мне забыть-то вас?

— Понимаю, что не забыл, а только не нравится мне что-то твой разговор — не по-советски и говоришь, и держишься! Вот и георгиевский крест нацепил... Ну для чего?

— А как же без Егория-то, ваше благородие? Егорий только и выручает. Прежние-то дамочки как его завидят, так сейчас в слезы, да трешницу или пятерку пожалуют; вестимо, те, что постарше. Молодые — тем все равно!

— Эх, ты! Ничему тебя жизнь не научила! Обоих ног лишился, а все еще не вытравилась из тебя белогвардейщина!

— Так ведь, ваше благородие, товарищ доктор, война-то война и есть! Вот как мы, убогие калеки, у храма Господня Преображения рядами сядем да начнем промеж себя говорить, так и выходит: кто у белых, кто у красных — одинаково и ноги, и руки, и головы теряли.

— Пожалуй, что и так, а все-таки возразить бы тебе я мог многое, да некогда мне с тобой тут философией заниматься. Скажи лучше, отчего ты не протезируешь себе конечности?

— Как это, ваше благородие?

— Отчего, говорю искусственные ноги себе не сделаешь?

— Ваше благородие, товарищ доктор, да как же сделать-то? Денег-то ведь нет. Сами видите, милостыней живу. В царское-то время, может, за Егория мне что и сделали бы, а теперь — сами видите, заслуги мои ни к чему пошли.

— А теперь у нас медицинская помощь бесплатна, и всякий имеет право лечиться. Пойди в районную амбулаторию к любому хирургу, и тебе будет оказана квалифицированная помощь. Пожалуй, я дам тебе записку в институт протезирования — я там кое-кого знаю.

Он вынул блокнот.

— Фамилия как?

— Ефим Дроздов, разведчик.

— Звания твои старорежимные мне не нужны, дурачина.

И он стал писать.

— Вот, пойдешь с этой запиской по адресу, который здесь стоит. Я попрошу сделать что можно, чтобы протезировать тебе хотя бы одну конечность. Только Георгиевский крест изволь снять и «господином» и «благородием» меня там не величай. Я ничего о себе не скрываю, но в смешное положение попасть не хочу, слышишь?

— Слушаю, товарищ доктор! Премного благодарен. Посчастливилось мне за последнее времячко: месяца этак два назад его благородие поручика Дашкова встретил, а теперича вас. И с им тоже все равно

как родные повстречались.

— Дашкова? Князя?! Ты уверен? Ты узнал его?

— Вестимо, узнал. Ведь я с их взвода. Постояли, поговорили...

— Дашков! Это тот, у которого было тяжелое ранение в грудь, кажется?

— Так точно, ваше благородие! Вы же их и на ноги поставили, дай вам Бог здоровья!

— Дашков... Он назвал себя?

— Никак нет! Я сам их окликнул, как и вас, а они тотчас подошли и ласково этак со мной говорили. Сотенку я получил с их.

— Он не дал тебе своего адреса?

— Никак нет. К чему ж бы? Попросили о их не рассказывать, что здесь находится, я запомнил. Ну да ведь вы свой человек — тоже крымский, худого не сделаете.

— Так, все ясно. Ну, прощай. Завтра же поди с моей запиской.

И разговор на этом кончился.

В этот же вечер двумя часами позже в один из «особых» отделов шло телефонное сообщение осведомителя:

— Имею все основания предположить, что в Ленинграде скрывается опасный контрреволюционер — офицер-белогвардеец, бывший князь Дашков. Активный контрреволюционер. Командовал «ротой смерти», отличался храбростью в боях, идейно влиял на окружающих. Был ли у Деникина, не могу сказать, а у Врангеля был — могу совершенно точно заверить, так как он лежал в Феодосийском госпитале, где каким-то образом избежал репрессий. Какие основания предполагать? Видите ли, его примерно в оно и то же время опознали в лицо бывшая сестра милосердия и бывший солдат — нищий. Оба сообщили мне... Что? Извольте, повторю: бывший князь Дашков, имени и отчества не помню. Гвардии поручик. Возраст... Теперь примерно должно быть лет тридцать... Наружность? Я его девять лет не видел! Тогда был высокий красивый шатен, гвардейская повадка... Особые приметы? Да, пожалуй, что и нет... разве что рубцы от ран... Было ранение черепа и, кажется, грудной клетки... Точнее локализовать не берусь — забыл... Адрес медсестры? Это, видите ли, моя жена. Очень больная... Мне не хотелось бы ее тревожить, притом и болтлива не в меру. Я попробую сам ее расспросить и если что-либо поточнее узнаю — сообщу дополнительно... Адрес нищего? Не спросил! Дал маху! Впрочем... погодите... его можно отыскать через институт протезирования. Берусь это сделать. Он и для очной ставки может вам пригодиться. Я зайду потолковать в ближайшие же дни. Завтра не могу — занят. Всего наилучшего!

## Глава двадцать вторая

### ДНЕВНИК АСИ

**30 марта.** Во всем виноваты фиалки! Если бы не они, я не сидела бы за этой тетрадкой. Было так: вчера я в первый раз пошла к Елизавете Георгиевне Муромцевой. Бабушка сама послала меня, говоря, что пора и нам оказать ей внимание. Я купила на улице несколько букетиков фиалок (это не наши фиалки — одесские). В комнате Елизаветы Георгиевны как будто сконцентрирована та настроенность на высокую ноту, в которой она живет: порядок, тишина, книги — здесь царство мысли! Я не утерпела и заглянула в две книги, где лежали закладки. Это оказались «Роза и крест» и «Три разговора» Соловьева. Но ни то, ни другое я не читала. Как мне нравится в Елизавете Георгиевне возвышенность ее мысли! Я терпеть не могу разговоров про новую шубу, про зарплату, про тесто и магазины, а вот у Муромцевой этого совсем нет — она всегда au-dessus<sup>[40]</sup>.

Когда она вышла в кухню приготовить чай, я осталась одна на несколько минут, подошла к ее столику, чтобы разместить фиалки в вазочке, и, разглядывая фотокарточки в маленьких рамках, нечаянно толкнула вазочку. Вода пролилась, а рядом лежала раскрытая тетрадь. Я взглянула, не расплылись ли чернила, и совсем нечаянно прочитала несколько строчек. Это оказался ее дневник, и там под сегодняшним числом было написано: «На меня наплывает мир моей любви, в котором тысяча и тысяча глубин. Меня сводят с ума его горькая интонация и изящество жестов. И в то же время я люблю в нем не внешний облик, и будь он изуродован или искалечен, я бы любила его не меньше!»

Я остолбенела, когда прочитала. Я не сразу сообразила, какое преступление сделала: бабушка много раз говорила, что прочесть без разрешения чужое письмо — такое же воровство, как вытащить деньги из кармана, а тут еще, как нарочно, попалась такая большая значительная фраза... Я тотчас решила, что выход из этого положения лишь один — тут же попросить извинения. Я так и сделала. Елизавета Георгиевна простила меня, но пожелала узнать, какой именно текст стал мне известен, и когда я процитировала, сказала очень серьезно: «Если уж вы заглянули в мою душу, узнайте: эти строчки относятся все к тому же человеку — никого другого я не люблю и любить не буду». И рассказала, что пишет дневник с 16-ти лет и всегда запирает его в ящик, а ключ носит на шее рядом с крестиком. «В этом дневнике моя душа, — сказала она, — до сих пор еще ни единый человек не прочел из него ни единой строчки, а перед смертью я сожгу его». Все это меня очень заинтересовало. Я решила тоже писать дневник, тоже носить ключик на шее и сжечь все перед смертью.

**31 марта.** Часто говорят вокруг меня, что теперь жизнь скучна и прозаична, и что из-за трудных бытовых условий мы погрязаем в мелочах. А мне кажется, что многое зависит от нас самих, и что те, которые так говорят, сами не умеют или не хотят сделать себе жизнь достаточно прекрасной. Мелочам нельзя отводить значительного места — иначе они засосут! Надо уметь жить искрой небесного огня, как говорили египтяне, или уж навсегда оставаться в квашне, как Хлеб у Метерлинка. Я очень люблю «Синюю птицу» и, когда играю без воодушевления, всегда кричу бабушке: «Я сегодня в квашне!» Вчера вечером я много и с увлечением играла сначала «Арабески» и Шумана, потом «Баркароллу» Шуберта — Листа. Юлия Ивановна не позволяет мне играть эту «Баркароллу», а я все-таки играю потихоньку. Бабушка сначала читала, а потом оставила книгу и заслушалась. Новый жилец испортил нам вечер, так как стал стучать кулаками в стену и кричать:

«Надоела ваша шарманка! Прекратите безобразничать!» А было только десять часов... Бабушка очень огорчилась, я понимаю, почему: ей так грубо дали понять, что она не хозяйка в своем доме.

**1 апреля.** Странное явление: я очень хорошо помню, что в раннем детстве я умела летать, только я летала не так, как птица, а как бабочка — порхая над кустами в саду в имении у бабушки. Я помню некоторые подробности, помню, как Леля стоит на лужайке — той, где были ульи, — и говорит мне, что я не смогу подняться выше сирени, а я перелетела сирень и увидела под собой ее чудесные, бледно-лиловые кисти, потом помню, полетела во двор и опустилась на крышу каретного сарая. Вася и Миша стояли во дворе и увидели меня. Они показывали на меня друг другу и даже целились в меня из игрушечного ружья. Братишка Вася это хорошо помнил. Когда он умирал от сыпняка, он бредил, я раз вошла к нему, а покойная мама сидела с ним рядом и спросила: «Ты узнаешь сестричку?», а Вася сказал: «Ты все еще летаешь или уже ходишь по земле, как все?» Мама приняла это за бред, а я отлично поняла! Леля тоже еще недавно помнила во всех подробностях мои полеты, а теперь вздумала уверять, что этого никогда не было! Как же так — «не было»? Я этих ощущений никогда не забуду! Теперь я летаю только во сне, а это уже совсем не то, что наяву.

**2 апреля.** Господи, до чего же хорошо жить и сколько тепла и приветов находишь в окружающих! Я не знаю, совсем не знаю ни злых, ни плохих людей — или это мне так посчастливилось? Из книг я знаю, что есть они, но в своей жизни не встречаю, разве что Хрычко, но они скорее жалкие, чем дурные. Все вокруг меня так согревают своей любовью. Я уже не говорю о бабушке, о мадам и о тете Зине, но вот те, кого я узнала за последнее время, — Нина Александровна, Елизавета Георгиевна, Олег Андреевич, — какие они замечательные! Олег Андреевич пришел к нам вчера вечером — его прислала Нина Александровна, чтобы передать мне контрамарку в Капеллу на концерт, который будет в среду. Я играла на рояле по просьбе Олега Андреевича. Мне кажется, ни Леля, ни Елизавета Георгиевна, ни Шура не любят и не понимают так музыку, как Олег Андреевич. Елизавета Георгиевна и Шура не музыкальные, но у Лели хороший слух, а между тем, в ее восприятии музыки чего-то не хватает, и в суждениях есть какая-то банальность. У Олега Андреевича вкусы не установившиеся еще, но мне кажется, это потому, что он совсем не слушал музыки эти десять лет и судит о ней по впечатлениям, вынесенным из детства и ранней юности. По природе его музыкальность очень тонкая, и видно по всему, что музыка производит на него неотразимое впечатление. Я не всегда охотно играю, когда меня просят, а уж если играю, совсем не выношу, когда, слушая, начинают разговаривать, а Олег Андреевич, когда слушает, всегда сосредоточен. Несколько раз, когда я, играя, взглядывала на него, то встречалась с его взглядом — он так долго, ласково и внимательно смотрел на меня и как будто хотел разгадать...

**3 апреля.** Я почему-то уверена, чутьем безошибочно знаю, что никогда не буду эстрадной пианисткой. Все словно сговорилось уверять меня, что я талантлива. Даже мой профессор, который всегда очень строг, прошлый раз подошел ко мне, взял меня за подбородок и, глядя мне пристально в глаза, сказал: «У вас большой талант, потрудитесь запомнить это! Вы себя недооцениваете». Талант! Я рада, что у меня талант! От радости мне даже «в зобу дыханье сперло», и все-таки я совершенно уверена, что никогда не стану известностью. Прежде всего я не слишком люблю эстраду. Присутствие слушателей меня волнует и всякий раз при этом я играю хуже, чем могу, и после недовольна собой. Кроме того, часто бывает, что какая-нибудь вещь мне вдруг не по душе. Для того, чтобы сыграть действительно хорошо, мне нужен час... минута... не знаю что... условия, которые связаны с душевным состоянием. У меня еще не выработалась профессиональная дисциплина, и я почему-то уверена, что и в дальнейшем ее не будет. Овладеть в совершенстве роялем — мое заветное желание, и слово «талант» прозвучало как обещание, а эстрада, успех... Я о них до сих пор как-то не думала...

**5 апреля.** Вчера у нас был Шура Краснокутский со своей мамашей, которая пожелала навестить бабушку. Мадам Краснокутская очень хочет, чтобы мы с Шурой поженились, и уже намекала об этом бабушке. А к чему это, если я ни капельки не влюблена? Мне всегда невозможно казалось полюбить нерешительного, неволевого мужчину, а вот Шура как раз такой — немного тюфяк, немного Сахар из



«Синей птицы». Вчера за чаем я так и сказала ему. Бабушка и мадам стали выговаривать мне за невежливость, а Шура сперва пытался возражать, а потом говорит: «Правильно, Ася: тюфяк — принимаю, расписываюсь!», и круглые черные глаза его так виновато посмотрели на меня, что мне его жалко стало. Нет, мой герой таким не будет. Вот Валентин Платонович — тот не тюфяк: глаза смелые, держится прямо, был на войне, на коньках во весь дух носится, плавает как рыба. Не растеряется, не дрогнет. Но он мне не нравится — он недобрый! С ним никогда не поговорить просто — непременно шутка или остроты, как тогда, на лестнице. Леле Валентин Платонович очень нравится за то, что он будто бы остроумен необыкновенно и прекрасно танцует. Да разве же это так важно? Мне больше нравится Олег Андреевич — он сердечный и глубже. У него печальный взгляд, и это почему-то тревожит. Кажется, Шатобриан сказал, что большая душа и горя, и радости вмещает больше, чем заурядная. Прошлый раз, встретившись с ним взглядом, я вспомнила эти слова.

**6 апреля.** Была вчера на концерте с Олегом Андреевичем и Ниной Александровной. В ушах у меня до сих пор звучит величественное: «Sanctus, Benedictus!»<sup>[41]</sup> Я уже пробовала подобрать это на рояле. Несколько раз вспоминала вчера дядю Сережу. В оркестре место его — во вторых скрипках — уже занято, а какое бы ему наслаждение доставил этот концерт! Нина Александровна сказала, что карточка дяди Сережи с ней в сумочке. Голос ее звучал в этот вечер совершенно божественно. Мы с Олегом Андреевичем сидели на приставных стульях, а потом просто на ступеньке, но это ничему не мешало. Мне очень хорошо с Олегом Андреевичем. Он не говорит общих вещей и любезностей, как Шура, и не упражняется в остроумии, словно в спорте, как Валентин Платонович. С ним разговор такой, как я люблю — содержательный и задушевный: на смех он никогда не подымет. Когда он провожал меня после концерта домой, сказал: «Вы — волшебница! Когда я с вами, моя душа обновляется. Я опять начинаю верить в свои силы и в будущее. На меня точно новые светлые одежды надеваются, точно я переносюсь в храм перед заутреней». Когда он это говорил, я чувствовала себя как струна рояля, на которой гениальный пианист сыграл божественный ноктюрн, и которая готова порваться от чрезмерного напряжения и еще звучит, еще рыдает. Это чувство сопровождало меня и во сне — проснулась я с ощущением, что накануне совершилось что-то светлое, точно я ходила к причастию... Я не сразу сообразила — это «Месса» и слова Олега Андреевича о светлых ризах и обновлении. Он должен быть очень тонким человеком, чтобы думать и говорить так! О, насколько это выше всего мелочного, житейского, насколько это ближе моей душе, чем любезности Шуры! Высоко, так высоко, светло и грустно! Я знаю цену его словам, что человек, который всегда так серьезен и сдержан, не преувеличит и не подсластит. Я знаю, наверно знаю, что слова эти вынуты из самых глубин души. Если бы он в самом деле мог забыть хоть ненадолго свое горе! Если бы я могла поделиться с ним моей жизнерадостностью! Я бы от этого не обеднела. Я вспомнила последний акт «Китежа», весь затопленный светом. Все утро я просидела за роялем; сначала подбирала мотивы «Мессы», потом наигрывала «Сказание», а к уроку не подготовилась вовсе. Я даже отвечала рассеянно. Бабушка спросила: «Что с нашей Стрекозой сегодня?», а Юлия Ивановна на уроке разбранила за невнимательность. Когда мы увидимся? Он ничего об этом не сказал, а мне неудобно было спросить.

**7 апреля.** Вчера вечером пришла Нина Александровна. Я пулей выскочила ей навстречу. Я очень хотела ее видеть и еще я думала, что она пришла с Олегом Андреевичем, но его не оказалось. Нина Александровна пришла с письмом, полученным от дяди Сережи. Он пишет, что живет на окраине местечка, в хибарке, на днях пойдет на работу в тайгу. Скрипкой там ничего не заработаешь, но он все-таки просит выслать ему тот ящик с нотами, который он упаковал, уезжая, так как он будет играть для себя, чтобы не потерять техники и не свихнуться с тоски. Я весь вечер вертелась около бабушки и Нины Александровны. Я хотела услышать побольше о дяде Сереже, а кроме того, все ждала, что Нина Александровна передаст мне несколько слов от Олега Андреевича, но она не передала мне ничего, зато, уже уходя и целуя меня, сказала: «Вы что ж это смущаете покой человека, моя душечка? Ведь эдак ему и влюбиться недолго!» Я

сразу поняла, о ком она говорит, и покраснела до того, что не знала, куда деваться. А старшие еще, как нарочно взглянули на меня. Очень глупо вышло...

**8 апреля.** Ура! Ура! Ура! Олег Андреевич вызвал меня только что к телефону и сказал, что завтра поведет меня на «Князя Игоря». Слушать с ним оперу и опять так чудесно разговаривать! Господи, какая же это радость! Я так взвинчена, что ничего не могу делать. Какая-то лихорадочная светлая тревога носится во мне... Не могу писать больше!

**9 апреля.** Сегодняшний день что-то нестерпимо долго тянется! Ему, кажется, конца не будет. Все еще только два часа. Смотрелась сейчас в зеркало — я в самом деле очень хорошенькая. Вот ведь какая бабушка — она всегда уверяла меня, что я некрасивая! И дядя Сережа туда же! Он дразнил меня безобразным утенком.

Конечно — надо бежать давать урок Мише. Я вообще эти уроки очень люблю, но сегодня не хочется!

**10 апреля.** Он пришел, наконец, и кончился этот чудесный неповторимый вечер! Как только я отзанималась с Мишей и получила свободу — вихрем помчалась домой. Бабушка позволила надеть новое платье и жемчуг. Я смотрела на себя в зеркало и думала, что он посмотрит на меня опять тем же взглядом, в котором любованье, преданность и грусть, и опять скажет, что я хороша, очень хороша... И что-то томительно сладкое, замирающее подымалось во мне... А мадам не оставила меня в покое: она все ходила и ходила вокруг меня, поправляла что-то на мне и давала последние наставления, чтобы я как-нибудь, видите ли, не нарушила хорошего тона, и все прибавляла свое постоянное *le prince est si distingue!*» [\[42\]](#)

Когда Олег Андреевич позвонил, я помчалась открыть и тотчас нарушила этикет: узнав, что мы сидим во втором ряду партера и что Игоря поет Андреев, я подпрыгнула чуть не до потолка. Мадам сделала страшные глаза, но бабушка только улыбнулась.

Сочетание его присутствия и музыки одно из самых необыкновенных — скажу по правде! Мне особенно запомнилась одна минута: во время арии Игоря я вдруг подумала: не отзывается ли она в его душе воспоминаниями о боях, кончившихся таким поражением и такой неволей? Я обернулась на него и встретила с его серьезным и грустным взглядом... Чуть коснувшись моей руки своею, в которой он держал бинокль, он шепнул: «Голубка Лада». Это потому, что Игорь в ту минуту пел: «Ты одна, голубка Лада, сердцем чутким все поймешь», — я поняла, что эти слова он относит ко мне за мой взгляд, за то, что я поняла все, что пришлось ему пережить в беде, которая пришла на Родину. Мне стало до боли жаль его и папу, и дядю Сережу, и того офицера, которого любит Елизавета Георгиевна... Судьба русских военных трагична! Я как-то по-новому это поняла. А потом, когда мы гуляли в фойе, он сказал: «В юности каждый из нас создаст в мечтах образ девушки, которую полюбит; мне хочется сказать вам, что вы — воплощение образа, созданного моим воображением». Как сладкую музыку слушала я эти слова и вовсе не потому, что в них заключается похвала мне, — я уж не так узко самолюбива. Эти тончайшие неуловимые оттенки чувств очаровывают меня, как высокая тоска по всему лучшему, по всему идеальному!

**11 апреля.** Я как-то вырвана из привычного строя, как-то потревожена. За роялем я не могу сосредоточиться: начну фугу или пассаж и обрываю, опускаю голову на пюпитр и улыбаюсь, не зная чему. А то так вскакиваю и бегаю по комнате... К уроку опять не приготовилась, и Юлия Ивановна была недовольна уже второй раз. Читать тоже не могу, только все думаю и припоминаю. Да, этот вечер был волшебным, но я хочу еще и еще таких вечеров. Мне хочется лететь навстречу этим переживаниям, как летели, бывало, бабочки на огонь свечей, когда мы ужинали на веранде в августовские вечера, а вокруг тихо шелестели дубы и липы. Мне кажется, я не могла бы жить одними воспоминаниями, как Елизавета Георгиевна. Он, по-видимому, любит стихи. Он спросил, знаю ли я стихотворение Блока «...Мне не вернуть этих снов золотых, этой веры глубокой, безнадежен мой путь!» Эти строчки он, наверное, относит к себе. Безнадежен! Неужели безнадежен? Я не хочу, чтобы так было! Его поколению слишком досталось,

слишком! А ведь в молодости были же у него «золотые сны», которые до сих пор еще тревожат мою душу, и все погибли, как ранние цветы от мороза: ускоренный выпуск Пажеского в пятнадцатом году — и в 18 лет уже под огнем на фронте. С тех пор четыре года в огне, а потом — госпиталь и лагерь... Как это страшно! Когда я с ним, я точно у постели больного; я боюсь каждого неосторожного слова, боюсь спросить, боюсь напомнить... Никогда еще не бывало, чтобы разговор хоть с одним из мужчин так западал в душу, чтобы я слышала слова, в которых звучат такие большие настоящие мужские переживания. У него бровь и висок исковерканы раной; все находят, что это его несколько уродует, но мне он делается все дороже, как только взгляд мой падает на вдавленную бровь.

**12 апреля.** Я совсем забрасываю свои занятия в музыкальной школе. Сегодня опять играла не то, что задано, — один из этюдов Шопена, который гармонировал с моим состоянием, и напевала: «Все, что распустилось, умертвил мороз...» И весь день прошел под этим впечатлением.

**13 апреля.** Вчера... я видела его вчера. Ведь у меня день теперь начинается с того, что я думаю: увидимся ли мы? Вечером вдруг раздался звонок, и я услышала голос Нины Александровны в передней. Я вылетела навстречу и позади нее увидела его высокую фигуру. У нас сидел в это время Шура, а потом пришла Елизавета Георгиевна — получилась, таким образом, небольшая *soiree*<sup>[43]</sup>. К ужину была подана только вареная картошка, но все уверяли, что очень вкусно, а Шура заявил, что это блюдо богов. Я не помню точно, что происходило и кто что говорил; я разговаривала с ним не больше, чем с другими. Я ко всем одинаково обращалась, но с кем бы я ни разговаривала — я говорила для него. Каждое слово приобретало большой, исключительный смысл, а когда он говорил, я слушала, а если в эту минуту со мной разговаривал кто-нибудь, я выслушивала улыбаясь, отвечала, но главная, лучшая часть меня слушала другой голос, другие слова, и я не пропустила ничего из того, что он говорил. Разговор каким-то образом зашел о лошадях, и он упомянул про свою лошадь, которую звали Вестой, и о том, какая она была умница; она была ранена одновременно с ним, и его денщик выстрелил ей в ухо, чтобы она не мучилась — бедная лошадка! Кто-то сказал, что по радио передают романсы Чайковского. Шура включил репродуктор, и Сливинский запел «Страшную минуту». Между Олегом Андреевичем и мной тотчас же словно натянули провод. Неужели он в самом деле меня любит? Любит — я знаю! Любит его душа и вся раскрыта мне, любит его голос и звучит тепло и ласково, любит его взгляд и так грустно, задумчиво устремляется на меня из глубин души. Пришла великая любовь — та, которой все ждут, о которой мечтают. Мне она казалась далекой сказкой, а вот она уже здесь — стучится в дверь! Как странно! Мадам всегда называла меня Сандрильоной и с детства меня уверяла, что ко мне придет «принц», и теперь всякий раз, как она произносит в разговоре *le prince*<sup>[44]</sup>, мне кажется, что к нам протянулась нить из сказки, и что он и есть этот «принц». В сказке принца узнают иногда в образе медведя, а я, может быть, должна узнать его лишенным богатства, блеска и титула. Что суждено? Если бы я могла приподнять край таинственной завесы и увидеть свою судьбу!

**13 апреля.** *Вечер.* Только что говорила с ним по телефону. В воскресенье мы пойдем в Эрмитаж; он свободен в воскресенье, а не в эту глупую пятницу, так как он работает в порту. Ну а завтра вечером мы решили ехать в Царское Село. Вдвоем, я заметила, всегда лучше говорится, но бабушка не захотела отпустить нас вдвоем, она настояла, чтобы ехать компанией, и сама пригласила Лелю и Шуру.

**14 апреля.** Жду Олега Андреевича. Сейчас он должен за мной зайти. Он кончает работу в 5. Жаль, времени для прогулки мало! Бабушка велит к 11 вечера быть дома. День сегодня чудесный, солнечный — в этом году весна ранняя. Мое демисезонное пальто старое и куцее, шляпа без пера, тоже куцая — вид у меня Золушки. Перчаток нет. Старые — фильдекосовые — изгрыз щенушка. Я хотела ехать вовсе без перчаток, но мадам устроила «бурю в стакане воды». Она стала с азартом доказывать, что лучше мне вовсе не ехать, чем показаться без перчаток, что это дурной тон, и что я перешагну только через ее труп. Я ответила, что будь я в лохмотьях, я все равно поехала бы, а Олег Андреевич и внимания не обратит на

такие пустяки и сам одет не лучше меня. Тут мадам напустилась на меня; она сама, кажется, равнодушна к Олегу Андреевичу. Шум у нас поднялся такой, что бабушка вышла нас разнимать. Она тотчас велела нам снять одну из старых картонок со шкафа и, порывшись там, вытащила пару не новых, но еще целых лайковых перчаток. При этом бабушка сказала: «Привкус дурного тона хуже лохмотьев, Ася. Лохмотья могут быть благородны, а вульгарность — никогда». Теперь, когда я в перчатках, я с этим, пожалуй, согласна! Перчатки мне пришлось как раз впору, и руки в них кажутся маленькими. Сейчас должен прийти Олег Андреевич. Каждые 5 минут я смотрюсь в зеркало. Господи, Господи, какая захватывающая в самом деле история — Любовь!

**15 апреля.** Я! ЕГО! САМА! ПОЦЕЛОВАЛА! Что же это такое, и как мне теперь быть? Если бы бабушка знала, что я уже два раза целовалась и оба раза на лестнице! И отчего это со мной что-нибудь непременно случится не как со всеми? А между тем, если бы НАДО БЫЛО НАЧАТЬ СНАЧАЛА, я сделала бы то же самое и даже в мыслях я не хочу взять назад этого поцелуя.

Вошли мы в Екатерининский парк и очень скоро подошли к озеру против Чесменской колонны. Было чудесно, вода неподвижная, розовая от заката, деревья в почках, тишина... Мы тоже затихли. Вдруг кто-то запел. Голос был слегка разбит, но красивый и верный, манера петь странная — артисты не так поют. Песня незнакомая, полная тоски. Я запомнила только отдельные фразы: «Я вор, хулиган, сын преступного мира! Меня невозможно любить!» Это пел человек, который сидел неподалеку один на скамейке, развалясь в небрежной позе. Волосы у него были растрепаны, кепка набекрень, грудь распахнута. Шура оглянулся на него и сказал: «Уйдемте. Нам незачем слушать эту хулиганскую лирику». А Олег Андреевич прибавил: «Эту песню я часто в лагере слушал, ее любили петь уголовники». Мы уже двинулись было, но у Лели подвернулся каблук, и ей пришлось снять туфлю. Шура стал приколачивать гвоздик камнем, а тем временем незнакомый человек опять запел, опять с той же тоской — в этой тоске было что-то артистическое! Надо было вовсе не иметь ушей, чтобы такое исполнение назвать хулиганским! «Люби меня, девочка, пока я на воле! Пока я на воле — я твой! Когда меня поймут, меня ведь расстреляют, а тобой завладеет кореш мой!» Олег Андреевич связывал в эту минуту мой bouquet<sup>[45]</sup> из тополя и вербы, и вдруг глаза наши встретились... Он схватил мою руку и стиснул ее... Леля и Шура не могли этого видеть, занятые туфлей. Уже в следующую секунду он мою руку выпустил, но я поняла, о чем он подумал. Леля, надевая туфлю, спросила: «А что такое кореш?» Олег Андреевич объяснил, что «кореш» — это хулиганское слово, обозначающее друг. Тогда я возразила, что именно друг-то не станет жениться на невесте дорогого ему человека, попавшего в беду. Мне показалось при этом, что Шура и Олег переглянулись, и я поскорей замолчала, чтобы не сказать глупость. Мы ушли. Я попробовала было воспротивиться, убеждая, что следует прежде подойти к этому человеку и уверить его, что у него талант, чтобы он поступал в консерваторию, а не с топором ходил, но оба мои денди возмутились: «Вам говорить с этим типом?! Это нахал, хулиган! Мы не допустим». Я послушала, послушала и сказала: «А в Евангелии ведь сказано: дух дышит, где хочет! Вы забыли?» Пришлось, однако, уступить, но я уже не могла быть веселой. Эта песня и взгляд Олега Андреевича переполнили мою душу, я была рада, что несуч ветки тополя и могу спрятать в них лицо. Вокруг арсенала было дивно — кусты черемухи и ольхи стояли все в розоватых почках, но мне становилось все грустней и грустней. Мне хотелось взять его руку и сказать ему что-то хорошее, утешающее, вынутое из самых бездн души, но почему-то я не смела. Сколько чудных слов говорит он мне, и все остаются без ответа. Я всякий раз молчу, как рыба, молчу, как сосулька замороженная! Моя душа полна, как чаша, но все остается в глубине, внутри, слова замирают на губах. Когда, разыскивая первые цветы мать-и-мачехи, мы забрели в кустарник, он оказался рядом и спросил: «Отчего загрустила наша фея?» Я ответила: «Я не хочу, чтобы ваше будущее казалось вам безнадежным!» Он на это ответил: «Я знаю, что у вас «душа живет слишком близко» и, как эолова арфа, отзывается на чужую грусть. Я уже покалечен жизнью. Если бы мне пришлось теперь потерять свет, который «блеснул на мой закат печальный», это было бы слишком

большим ударом для меня. Вы даже представить себе не можете ту бережную и благоговейную нежность, с которой я, прошедший через огонь, воду и медные трубы, отношусь к девушке, тонкой, как эолова арфа, и чистой, как кристалл. Я только от нее жду обновления». И вот на такие-то слова я опять ничего не ответила! Сдерживающее начало опять запечатывало мне уста! Я чувствовала, что на нас надвигается что-то огромное, заволакивающее, откуда льются волны грусти, любви и света. И я стояла растерянная перед этим... Я, всегда во всем слишком живая, молчала там, где до боли сильно чувствовала! Подошел Шура и напомнил, что бабушка взяла с него обещание вернуться к 11 часам. Мы пошли к выходу из парка, и только когда уже вернулись в город и в присутствии Лели и Шуры простились в подъезде нашего дома, тут только я вдруг почувствовала, что нельзя отпустить его без утешения. В эту как раз минуту он крикнул мне снизу, что я забыла взять свои вербы, и побежал за мной наверх по лестнице. И тут, от натиска затоплявшего меня чувства, я бросилась ему на шею и поцеловала его, а потом так же стремительно — наутек наверх. Я очень боюсь теперь, что он будет меня считать дурочкой или невоспитанной. Я не знаю, что будет теперь и как мы встретимся. Мне кажется, что мы уже дошли до грани, и теперь ничто не остановит нашего стремления друг к другу. Сейчас уже поздно, а мне не хочется спать. Я все думаю, все о том же!

## **ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ**

**29 марта.** На меня каждую минуту наплывает мир моей любви. В нем тысяча глубин и тысяча пустяков. Меня сводит с ума горечь его интонации и изящество его жестов, и вместе с тем я знаю, что люблю его не за наружность, и если бы он был изуродован или искалечен, я любила бы его не меньше. Любовь моя, любовь моя — заветная, сокровенная... Годами лились ее слезы, а вот теперь хочется всю свою жизнь до самозаклинания отдать этой любви.

**2 апреля.** Я до сих пор как в сладком чаду: «Нравится мне всех больше Елизавета Георгиевна». Пусть это была игра, но ведь игра в «правду».

**3 апреля.** Эти девочки — Ася и Леля... Есть в них что-то слишком уж несовременное, наследие салонов! Никакой идейности, никакой интеллектуальной жизни, а только уверенность в собственной неотразимой прелести. Ася хлопает ресницами и смотрит исподлобья, и у нее это естественно — кривлянья в ней нет (бабушка живо вытравила бы кривлянье). Так же и Леля со своей капризной манерой вскидывать голову и надувать губки. Уверенность, что это мило, коренится где-то в их женском инстинкте. Но умный мужчина ценит в женщине прежде всего идейность и героизм, которыми всегда отличалась русская женщина...

**4 апреля.** Когда он провожал меня домой поле вечеринки, мы шли сначала все вместе и только понемногу расходились. Валентину Платоновичу, по-видимому, хотелось поговорить с моим Олегом. У них, наверно, много общих воспоминаний, но при мне они не начинали серьезного разговора, а только обменялись адресами. Фроловский — тоже настоящий тип прежнего военного, но в нем и следа нет того байронического оттенка, который так пленяет меня в Олеге. Расстались мы с Валентином Платоновичем уже недалеко от моего дома и с Олегом с глазу на глаз говорили недолго. Я спросила, видится ли он со своим денщиком. Он ответил: «Это одно из моих больных мест! Человек, который дважды спас мне жизнь, пострадал из-за меня. Я покинул госпиталь, едва лишь мог встать на ноги, чтобы не быть узанным. Василий отыскал заброшенную рыбацкую хибарку, где укрывал меня, а сам работал лодочником на пристани и приносил мне хлеб и воблу. В первый и единственный раз, когда я, желая испробовать свои силы, вышел сам из хибарки и добрался кое-как до хлебного ларька, я увидел знакомого полковника, который в рваной рабочей куртке стоял около этого ларька, безнадежно ожидая, что кто-нибудь подаст ему хлеба. Вы поймите, что я не мог пройти мимо человека, который бывал в доме моего отца, а теперь оказался в еще худшем положении, чем я сам; я привел его в нашу хибарку. Встреча эта оказалась роковой

— за ним, по-видимому, следили, так как в эту же ночь к нам нагрянула ЧК. Когда я вышел, наконец, из лагеря и поселился у Нины Александровны, я написал Василию на его родную деревню и подписался: «твой друг рядовой Казаринов». Он не мог забыть эту фамилию, а из лагеря должен был освободиться раньше меня — он получил три года, и тем не менее он не ответил мне, не ответил ни на это письмо, ни на повторное, а почему — не знаю!» Этот короткий разговор вывихнул мне всю душу, живо напомнив ужасы тех дней. Боже мой, что тогда было!

**5 апреля.** Большевики молчат о том, что сделали в Крыму, и, кажется, надеются, что это забудется, и Европа никогда не узнает их подлостей... Не выйдет! Найдутся люди, которые помнят и не прощают! Они напишут, расскажут, закричат когда-нибудь во всеуслышание о той чудовищной, сатанинской злобе, с которой расправлялись с побежденными. Желая выловить тех белогвардейцев, которые уцелели при первой кровавой расправе (немедленно после взятия города), советская власть объявила помилование всем, кто явится добровольно на перерегистрацию офицерского состава белых. Ведь очень многие из офицеров перешли на нелегальное положение, скрываясь по чужим квартирам, сараям и расселинам в городе и окрестностях. Многие, подобно моему Олегу, обзавелись солдатскими документами, многих выручил химик Холодный, он в имении Прево под городом устроил мастерскую фальшивых паспортов. Любопытно, что однажды к нему нагрянули с обыском, но кто-то из его домашних успел набросить тряпку на чашку, где мокли паспорта, и чекисты не заинтересовались грязным бельем... Своими паспортами этот великодушный человек выручил множество лиц. И вот чекисты путем перерегистрации задумали выловить ускользнувших. Я никогда не забуду этот день! Из наших окон было видно здание, где должна была происходить перерегистрация. Мы с тетей стояли у окна и смотрели, как стекались туда раненые и больные измученные офицеры — кто в рабочей куртке, кто в старой шинели, многие еще перевязанные! Наш знакомый старый боевой генерал Никифораки прошел туда, хромя, в сопровождении двух сыновей-офицеров. Моя тетя сказала: «Ох, не кончится это добром!» И в самом деле, едва только переполнились залы и двор и лестницы, как вдруг закрылись ворота и подъезды, и хлынувшие откуда-то заранее припрятанные отряды ЧК оцепили здание (гостиницу около вокзала). Я помню, как рыдала моя подруга по Смольному, она проводила туда жениха, отца и брата, радуясь, что они дожили до прощения! Наше офицерство слишком доверчиво, оно привыкло иметь дело с царским правительством, которое было немудрым, близоруким, легкомысленным, но воспитанным в рыцарских традициях. Кто мстил побежденным? Когда сдалась Плевна, раненного султана усадили в экипаж и пригласили к нему русского хирурга. А Шамиль? Его сыновей приняли в пажеский корпус и допустили ко двору. В нетерпимости большевиков есть что-то азиатское! Никакого уважения к противнику, ни признака великодушия ни в чем, никогда! Из этих ворот — там, в Феодосии, — не вышел ни один человек.

Сегодня я весь день воображаю себе Олега в этой темной хибарке, на соломе. Никто не перевязывал его ран, никто не ухаживал за ним. Он так нуждался в моей помощи, он был так близко... Я плакала о нем в те дни с утра до ночи... Видит Бог, если бы я знала, где его искать, я бы пришла, я бы не побоялась, но я не знала, не знала. Так было суждено!

Полковник, который стоит в ожидании подачи, не решаясь просить... Он понимал, что рискует, выходя из убежища, но голод... Голод решил все! Хорошо, что в черепную коробку никому не проникнуть, и никто не может увидеть моих мыслей и той мощной яростной ненависти, которая душит меня сегодня. Неужели ненависть эта не принесет никаких плодов?

Я не спала сегодня ночь под давлением все тех же мыслей. Без конца воображала нашу встречу в хибарке. Вот я приблизилась, огляделась... Вот вхожу и тихо окликаю. Он приподымается... Я рисовала себе даже этот жест. Осторожно меняю ему повязку, так осторожно, что он не чувствует боли. Он кладет мне на грудь голову... Я замечаю, что у него холодные руки, и закутываю его своим плащом... И на каждой детали я замирала, затягивая мгновение... всю мою действительную живую любовь я вкладывала в небывшее, в

воображаемое... Узнает ли он когда-нибудь, что я люблю его? Пройдет время, будут еще и еще встречи, и когда, наконец, он скажет мне, что полюбил меня, я отвечу: «Люблю, давно люблю», но в этих тайных грезах, в том, что ночи не сплю, воображая его раненым и гонимым, в том, что влюблена я даже в оттенки его голоса, даже в жесты, — я не признаюсь никогда! Это умрет со мной. А ведь есть натуры как раз противоположные — такие, которые, не чувствуя и сотой доли того, что чувствую я, найдут потоки слов!

**7 апреля.** Он — первый, он же — последний. Ничем не поколебать теперь моей уверенности, что встреча, пришедшая после такого испытания верности, — таинственна и значима! Как неясная звездочка, мелькает мне вдали надежда, что здесь же кроется связь с освобождением и спасением Родины. Я хочу, чтобы так было! Да будет так!

**10 апреля.** Я видела его — встретила у Аси. Когда после чаю он провожал меня домой, я спросила, за что он получил Георгиевский крест. Он ответил: «За те шесть безумных атак, в которые я увлек моих храбрецов». Но ничего не стал рассказывать.

**11 апреля.** Любовь смотрит ясными неослепленными глазами, хотя и говорят, что она слепа. Я знаю, что именно я постигаю его индивидуальность со всеми ее тончайшими особенностями. Именно мне, которая любит, один жест или слово открывает доступ в глубины и может объяснить сложнейшие движения души. Идеализация любимого человека — выдумки! Любовь, как раз любовь снимает покровы и позволяет проникнуть на дно другой души.

**12 апреля.** Мне показалось... О, как мне больно! Мне показалось... Я только что вернулась от Бологовских. Он был там... опять был. Я заметила, что он смотрит на Асю так долго, так особенно. Они улыбались друг другу, как люди, которых соединяет что-то, которые понимают друг друга без слов. Потом, когда передавали по радио «Страшную минуту», они переглянулись, и она смутилась, а он улыбнулся ей. Я никому не нужная была, чужая... О, да — любовь смотрит ясными неослепленными глазами, и я увидела ясно, совсем ясно, что они влюблены! Я не знаю, как у меня рука повернулась написать это, но ведь это правда!

**13 апреля.** Боже мой, неужели?!

**14 апреля.** Если бы оставалась хоть капля сомнения, но сомнения нет. Я вспоминаю еще одну фразу, которая подтверждает открытие, сделанное мной. Случайно за столом заговорили о том, как мало теперь не только благородных, но просто благообразных лиц. Ну хотя бы таких, какие бывали раньше у наших крестьян, лиц, исполненных патриархального благородства, с высокими лбами, с правильными чертами, с окладистой бородой — иконописных лиц. Теперь такие лица остались только у стариков, а лица молодежи тронуты вырождением. Отсюда перешли на женские лица, и он сказал: «Красивые женщины, может быть, и есть, но изящных нет. Не знаю, как другим, а мне слишком яркая красота часто кажется вульгарной. Мне в женском образе нравится одухотворенность, изящество, нежность!» Он взглянул мельком на нее, и она тотчас опустила ресницы. Она великолепно знает, какие они густые и длинные, и пользуется каждым случаем показать их. Природа дала ей слишком много. Нельзя было разве дать мне хотя бы эти ресницы, которых оказывается довольно, чтобы свести мужчину с ума. Я никогда никого не хотела пленять, ничьей красоте не завидовала, а теперь... Теперь меня словно ядом опоили. Обида и зависть клопочут во мне. Я привыкла всегда говорить самой себе правду и сознаю это.

**15 апреля.** Пока я вспоминала и грезила, эта девчонка сумела покорить — быстро и ловко прибрать к рукам. Так вот она какая! Отнять у меня, у неимущей, мое единственное сокровище!

**17 апреля.** Так, значит, не мне суждено утолить его скорбь, сберечь его для спасения Руси, вырастить в нем эту мысль, вернуть ему силы? «Те, кто достойны, Боже, да узрят царствие твое!» Или мое самомнение безгранично, но я полагала, что миссию эту заслужила, выстрадала — я, с моей великой

скорбью за родную землю, я, которая как икона Скорбящей, впитывала в себя все горести, разлитые вокруг, я, а не она, не эта девочка с ее улыбками и легкостью бабочки; она еще ничего не пережила, ничего не понимает. Наше идейное родство, все пережитое нами раньше — все оказалось для него пустяками по сравнению с ее физической прелестью! Это какое-то чудовищное искажение божественной мысли, это неслыханная ошибка... Это... Я не могу поверить! Если так будет, я, кажется, превращусь в дерево или в камень. Я не знаю, как я теперь буду жить.



## Глава двадцать третья

— Говорите же, Ася, что вы хотели сказать мне?

Длинные ресницы опустились под взглядом Елочки:

— Мне это очень трудно! Прежде чем прибежать к вам, я всю ночь плакала.

Брови Елочки сдвинулись:

— Прошу вас говорить, и говорить прямо — это единственная форма разговора, которую я признаю. Случилось что-нибудь?

— Нет, ничего, а только... — Ресницы поднялись и снова опустились.

— Ася, уверяю вас, мне можно сказать все!

Опять поднялись ресницы:

— Видите ли, я ненавижу хищничество... там, где оно появляется, уже нет места ничему прекрасному... Каждый хватает себе, отталкивает другого... Это безобразие!

— Согласна с вами. Но хищничество это лежит в человеке очень глубоко, и формы его очень разнообразны...

— И все одинаково отвратительно, — перебила Ася. — Хватать... Отбивать... Я не хочу, чтобы так было в моей жизни. — Она остановилась, точно ей сдавило горло.

— Что ж дальше? — тихо спросила Елочка, уже предугадывая, что последует. — Дальше?

Ася как будто задохнулась.

— Олег Андреевич говорит мне чудесные слова, и я... Мне кажется, что он... мы... Скажите, Олег Андреевич не тот ли офицер, который?.. Скажите правду! Если тот — я ему откажу, я отвечу — нет, никогда! Вы спасли ему жизнь, вы узнали его раньше, чем я. Он дорог вам. Я ни за что не хочу отнять у вас... кого-нибудь.

Наступила тишина. Только тикал будильник. Елочка смотрела мимо Аси в окно. Прошли минуты три, потом четыре...

— Глупый ребенок! — прозвучал вслед за этим ее голос. — Откуда могла вам прийти в голову такая фантазия? Ведь я уже говорила вам раз, что тот, которого я любила, погиб от удара дубины или приклада.

— Да, говорили, но видите ли... Олег Андреевич лежал тоже в вашей палате, и его тоже считали погибшим... Могли и вы думать, что он погиб, а он нашелся... В тех строках вашего дневника, которые я прочла еще двадцать девятого марта, мне уже показалось, что вы о своем любимом говорите уже как о живом — не так, как говорили мне в первый раз. А сегодня ночью мне вдруг пришла мысль: не он ли этот человек?

И опять наступила тишина.

— Не он. Тот, кого я любила, не воскрес. Я ведь неудачница — для меня не случится чуда. Ну а если б даже это был он, — и оттенок горькой иронии зазвенел в голосе Елочки, — что бы вы могли изменить в ходе вещей? Вы не сумели бы заставить его полюбить меня вместо вас, а только сделали бы его несчастливym. Это по меньшей мере было бы глупо, Ася. Я отвыкла от мысли о замужестве, мужчины мне противны. Мне жертв не нужно, можете спокойно наслаждаться жизнью.

Ася подняла ресницы, на концах которых дрожали слезинки:

— Вы так суровы со мной... Почему? Не думайте, что я болтаю зря, я в самом деле уйду, если...

В третий раз наступила пауза.

— Так как это не он, то и уходить бессмысленно. Не бередите моих ран. Вам показалось странно, что он из той же палаты? Еще странней было бы, если бы единственный спасшийся оказался как раз «мой».

— Да, в самом деле! Не знаю сама, почему я вдруг вообразила... Извините, Елизавета Георгиевна, что я вас взволновала. Вы так добры со мной и с бабушкой.

— Он уже сделал вам предложение?

— Нет, — ответила Ася шепотом.

— Говорил, что любит вас?

— Да... вчера мы ездили в Царское Село... Я была счастлива... Так счастлива!

— Не будьте легкомысленны, Ася. Если вы согласитесь выйти за Олега Андреевича, вы обязаны думать не о себе, а о нем. Нет никаких данных, чтобы он доставил вам благополучие и процветание. Не смотрите на жизнь сквозь розовые очки. Его вымышленная фамилия, его анкета, его здоровье... Осложнений может быть множество. Взвесьте, чтобы не упрекать потом — недостойно, по-бабьи. Этот человек очень горд и издерган.

Девушка приложила палец к губам, как будто говоря: «Не надо слов». Она бросилась на шею Елочке и убежала... От нее пахло свежестью, как от сирени или молодой березки.

«Так вот что, вот что! Вся его мужская страсть — ей! А мне... мне — дружба в тяжелые минуты, и только! Он теперь не вспоминает, как искал мою руку, — зачем вспоминать?» Ей представились на минуту кровавые тампоны, которые вынимали из его ран, и от которых у нее зазеленело в глазах... «Тогда были боль, жар, бред, отчаяние. Тогда была нужна я. А для счастья, для поцелуев — другая, хорошенькая. Мужчины все чувственны. Она молода, мила, женственна, мечтает о младенце... О, это она получит! Она получит все, но хватит ли у нее самоотверженности, нежности, внимания? Где ей в восемнадцать лет понять всю глубину его издерганности и усталости? Как бы она не оторвала его от мыслей о Родине! Запутает его в семейной паутине. Со мной было бы иначе, совсем иначе!» Она встала и подошла к зеркалу. Посмотрела внимательно на себя. Она должна была бы быть другая, совсем другая! Это ошибка, недоразумение! В жизни нет справедливости — стой теперь и смотри, как счастье проходит близко, совсем близко, но мимо... Мимо! С тоски хоть на стенку бросайся, а до старости еще так далеко. Сколько еще будет летних вечеров и лунных ночей, которые своей непрошенной, ненужной прелестью будут кричать в уши: «И ты могла бы быть счастлива!»

В дверь постучала Анастасия Алексеевна.

— Елизавета Георгиевна, извините, голубушка, что я к вам опять суюсь без приглашения. Я к вам по делу.

— А что такое? — Елочка продолжала стоять в дверях и не приглашала гостью войти. Как противна ее навязчивость! Какое у нее может быть дело? Клопов давить и носки штопать? Тоска, о, какая тоска! Она разлита во всем: в чистоте и аккуратности этой слишком знакомой комнаты, которая выскоблена, как кухня голландской хозяйки; в одинокой чашке крепкого чаю, допить который помешало появление Аси; в томике Блока, который выгрыз ей душу мечтами; в сестринском белом халате, который напоминает госпиталь; а больше всего в портрете матери, которая передала ей свои интеллигентные, но некрасивые черты, однако сама все-таки была счастлива. Впрочем, виноват не портрет — всего больше источает тоску флакон на туалете с остатками духов «Пармская фиалка».

Анастасия Алексеевна мялась на пороге:

— Подумала я, что следует рассказать... опять... этот... как, бишь, его?.. Аристократическая фамилия... Дашков, поручик...

Елочка вспыхнула:

— Зачем вы треплете это имя? Я вас просила забыть о нем!

— Знаю, знаю, миленькая! Дайте рассказать, не сердитесь! Я для вас же стараюсь, когда вы выслушаете, так еще похвалите. Ох, задохлась я и устала. Сесть-то позвольте?

Сконфуженная Елочка поспешила усадить Анастасию Алексеевну и притворить двери.

— Чудное дело, голубушка! — заговорила та. — Сдается мне, что этот гвардеец, Дашков жив. Может, вы что и знаете, да мне не говорите?

— Как так жив? С чего вы взяли? — Елочка уже овладела собой и была настороже. — Рассказывайте, рассказывайте все, что знаете!

— Видите ли, Елизавета Георгиевна, пришел ко мне вчера муж. Не в урочное время, приветливый этакий... О том о сем покалякал, а потом давай спрашивать про поручика. Гляжу — норовит незаметно выведать, ровно кот меня обхаживает. Думает, что я вовсе дура, а я хоть и припадочная, а сейчас смекнула, что ради этого только он и пришел.

— Что ж спрашивал? — с невольным содроганием спросила Елочка.

— Начал с того, точно ли, что два ранения. Незаметно этак подъехал — вот, дескать, помнишь ли, какие случаи тяжелые бывали? На этом я попалась — поддакнула, ну а после насторожилась. Всякие это подробности подай ему: имя да отчество, брюнет или блондин, да верно ли, что красив, да локализацию ранения. Это, говорит, раненый из твоей палаты, мы, врачи, с утра до ночи в перевязочной да в операционной. Перед нашими глазами все равно что калейдоскоп — носилки да носилки... Где уж запомнить каждого! А ты, мол, должна помнить — он лежал долго, сколько ты около него вертелась! Ради вас взяла я тут грех на душу — понапутала! Сказала, что кроме виска ранен поручик был в правую руку, с волосами тоже сбила — уверила, что рыжеватый блондин, а он ведь темный шатен. Ну а имени и отчества я и в самом деле не помню. Потом пристал муж ко мне, точно ли в больнице «Жертв революции» Дашков мне померещился? Может быть, это было у Водников, говорит (оттого, что я примерно в эти дни у Водников замещала). Это мне было на руку: у Водников, отвечаю, у Водников! Нарочно и коридоры, и выходы водниковской больницы ему расписала.

— Поверил?

— Поверил всему, насчет раны только усомнился. Сдается мне, говорит, что путаешь ты что-то! Задыхался он, помнится, — ранение было легочное. Нашлась я и тут: нет, говорю, задыхался Малинин — подполковник, который рядом лежал. Запутался он, заходил по комнате... Потом говорит: «Слушай, ты видишься с сестрой Муромцевой — устрой мне возможность с ней поговорить, позови ее и сообщи мне. Я бы порасспросил ее незаметно. Я твоей памяти не очень доверяю. Мне, говорит, в научном докладе нужно сослаться на легочное ранение с оперативным вмешательством — не достаает фамилии. Устрой это мне, только ей ни слова — навяжешь ей свое, коли натретишь, а мне важно первое ее слово — свежий след в памяти, поняла?» — «Поняла», — говорю, а сама, как только он ушел, сейчас к вам. Знал бы он, какая передатчица, может, поколотил бы меня!

— Он не должен знать и не узнает, — твердо сказала Елочка. — Ну, спасибо вам, дорогая. Я приду завтра же. Постараюсь быть приветливой, говорить буду то же, что и вы. Перепутать его с Малининым вы удачно придумали, только, пожалуйста, уж стойте на своем, не подводите! Он может начать проверять нас

на клинических деталях, на уходе. Все, что вспомните про Малинина, относите к Дашкову, и наоборот. Не спутайтесь, пожалуйста, не спутайтесь! — она нервно ходила по комнате.

— Спутать не спутаюсь, а только хотела я спросить вас... Стало быть, жив Дашков, коли розыск идет?

Елочка молчала, обдумывая ответ.

— По всему видать, что жив, — продолжала Анастасия Алексеевна, — и понимаю уже я, что дорогой вам. Жених ваш или, может?..

Красные глаза с любопытством поворачивались за девушкой.

Елочка, все так же молча, завернула остатки колбасы и масла и прибавила к этому не начатый пакетик чаю.

— Вот, возьмите с собой, а теперь я с вами прощусь. Мне пора на дежурство собираться. Итак, до завтра!

— До завтра! Да вы не беспокойтесь, Елизавета Георгиевна! Сделаю, что смогу! Видите, как привязалось ко мне это имя. Теперь, если что случится с этим человеком — если поймут да к стенке, — ведь он от стенки прямо ко мне, уж ведь я знаю. Счастливая вы, Елизавета Георгиевна, счастливая, что спите спокойно, что ничего-то у вас на совести нет. А я вон с таким Иудой связалась и духу не хватает разделаться.

Она вышла. Елочка стояла не шевелясь.

## Глава двадцать четвертая

Олег стоял у телефона, обсуждая с Асей планы на ближайшие дни; а Надежда Спиридоновна, нетерпеливо вздыхая, демонстративно прохаживалась тут же. Забыв об учтивости, Олег ничего не замечал, и счастливая улыбка не сходила с его губ. Как только он повесил трубку, Надежда Спиридоновна тотчас протянула к ней руку, похожую на лапу аиста. Но как раз в эту минуту раздался телефонный звонок, и девичий голос спросил: «Можно Олега Андреевича?» Старая дева с легким шипением окликнула уже удалявшегося донжуана и пробормотала что-то о том, что для таких длительных разговоров с девицами телефон следовало бы иметь свой собственный, а не общего пользования, но Олег, по-видимому, пропустил это мимо ушей.

— Я слушаю, Елизавета Георгиевна! Рад слышать ваш голос! Дело? Приду с удовольствием. Когда прикажете? В воскресенье я целый день занят. В понедельник? Прекрасно, я буду.

Надежда Спиридоновна только плечами пожимала: «Боже мой, второе рандеву! Современные девушки совершенно бесстыдны!»

Олег почти тотчас очень галантно попросил у нее извинения и, отыскав ей по справочной книжке требуемый номер, принес к телефону для нее стул. Этим он в два счета восстановил пошатнувшуюся благосклонность.

В комнате его ждал сюрприз: там, за письменным столом Мики, расположилась, как у себя дома, Катюша. Она, видите ли, записалась у себя на службе в кружок французского языка и первые два занятия уже пропустила... Так не может ли он помочь ей? Было ясно, как Божий день, что французский язык только предлог... Не желая оказаться с Катюшей наедине, Олег, не входя в комнату и прислонясь к косяку открытой двери, старался «отбить атаку», ссылаясь на недостаток времени. Попросту выставить ее он не мог. «Не позавидуешь тому, кто клюнет на эдакую дуру, — думал он, оглядывая Катюшу и слушая ее стрекот. — Уж лучше пойти к «прости Господи», там, по крайней мере, заплатил и ушел, а с этой... Изволь выслушивать всякий вздор. А голос до чего противный!» Проходившая к себе Надежда Спиридоновна оглядела их с таким удивлением, что Олег закусил губы, чтобы не рассмеяться. Зато Нина, пробегая по коридору, обменялась с ним взглядом, говорившим: «Что, пора выручать?» Через минуту она выискала предлог и позвала Катюшу в кухню.

— Благодарю вас, — сказал он, когда Нина пробежала обратно.

— Не стоит благодарности! — засмеялась она.

Олег взялся было за книгу, но как раз, словно стайка воробьев, налетели Мика и двое его друзей «зубрить» дарвинизм, и Олег, уступив им поле действий, пошел на кухню. Там было очень оживленно. Аннушка в белом переднике пекла пышки из белой муки на молоке! Около нее в ожидании подачи разложили хвосты кот и щенок, а позади них, томимый, по-видимому, теми же надеждами, расположился Вячеслав с неизменной тетрадью. Олег присоединился к обществу, усевшись с книгой на подоконник. В этой квартире Аннушка являлась самым зажиточным элементом. Все прочие по сравнению с ней были просто голь перекатная. У Аннушки водились крупчатка, сало, квашеная капуста и тому подобные деликатесы советского времени. По воскресеньям она неизменно пекла пирог; если она жарила блины, то они плавали в масле. Нередко она отливала в миску собаке великолепных щей и такой щедрой рукой, что вызывала завистливые взгляды по адресу собаки со стороны молодого, полуголодного мужского населения квартиры. Она была не жадная и постоянно раздавала половину. Так и в этот раз: вытащив из духовки лист, на котором сидели красиво размякшие пышки, она тотчас отложила две для Мики и Нины, а затем обратилась к Олегу и Вячеславу, которые пользовались ее особенной симпатией:

— Забери кажинный ту, какая на его глядеть.

Олег взял небольшую с краю, Вячеслав — самую крупную и, уписывая ее, нахваливал:

— Эх, вкусно! Душа вы человек, Анна Тимофеевна!

На пороге показалась Катюша.

— Чего выползла? Никто здесь по тебе не соскучился! — тотчас напустилась Аннушка. — Глаза б мои на тебя не глядели! Опять свою линию гнешь? Крути с кем хочешь, а мальчиков моих не трожь!

Олег невольно улыбнулся при мысли, что он кому-то может показаться мальчиком.

— Вы, Анна Тимофеевна, очень уж любите не в свои дела нос совать, — огрызнулась Катюша, усаживаясь на табурет.

— Ах ты, паскудная! Никакого в тебе уважения к старшим! Даже барыни наши бывшие — Надежда Спиридоновна и Нина Александровна — завсегда во всем со мной посчитаются, а эта в глаза грубить! В комсомоле, что ли, вас так учат? Проституток там, видать, из вас делают, вот что!

— Анна Тимофеевна, уж вы через край хватили! — сказал Олег.

А Вячеслав, вскочив, как ужаленный, гаркнул:

— Проституток в Советском Союзе нет, запомните, Анна Тимофеевна! В комсомоле же нас учат, что женщина в чувствах своих свободна, и выказывать их для нее не зазорно! Ясно? — и снова сел, словно урок ответил.

Речь Вячеслава вызвала в Олеге бурю сарказма:

— Неужто советская власть покончила с проституцией? Видит Бог, более могучей власти не знала история! Вчера я позднее обычного возвращался домой; так вот, три или четыре раза неизвестные особы заговаривали со мной. Одна попросила закурить, другая осведомлялась, как пройти на какую-то улицу, третья поинтересовалась, нет ли у меня билета в кино. Я, грешным делом, подумал, что это... Кто же были эти ночные тени на тротуарах, как по-вашему?

— Кто они были? — и глаза Вячеслава сверкнули искренней ненавистью. — Наследие проклятого царского режима, вот кто!

Взгляды их скрестились — насмешливый Олега и гневно-идейный Вячеслава. Олег решил уйти, чтобы не продолжать ссоры. В эту минуту кто-то очень энергично постучал в дверь. Принесли повестку для Катюши.

— Мама родная! — вскрикнула она, распечатав конверт, и выронила повестку, как будто бумага обожгла ей пальцы.

— Что такое? — спросила Аннушка.

Олег, уже выходящий, обернулся.

— В ГПУ вызывают! В ГПУ, меня! Уж, кажется, я своя! Уж, кажется, советскую власть я завсегда уважаю! Я — дочь рабочего! Никто никогда не слыхал, чтобы я...

Вячеслав строго осадил ее:

— Дура ты, что ли, Катя? Что ты орешь-то? Если советский гражданин нужен по какому-либо делу органам политуправления, он должен прежде всего сохранять *это* в тайне, а не трепаться направо и налево. Тебя и вызывают-то, может быть, только для того, чтобы собрать о ком-нибудь сведения.

Неприятное чувство внезапно шевельнулось в душе Олега. В самом деле, может быть, только для

сведений, но вот о ком?

Едва успел он выйти в коридор, как из кухни послышался испуганный вскрик Вячеслава и вопль Аннушки. Олег ринулся назад, в кухню: Вячеслав опрокинул свой примус, и на полу уже растекался вспыхивающий керосин. Аннушка и Вячеслав бросились с ведрами к крану.

— Нельзя воду! — закричал на них Олег и сильным толчком повалил на пол шкаф. Все вздрогнули от грохота и замерли в ожидании. Огонь не показывался.

— Всё, — сказал Олег и подошел было поднимать шкаф, но из коридора выскочила Надежда Спиридоновна с двумя картонками, а за ней по пятам Катюша с узлом и подушкой.

— Куда вы, сумасшедшие? Паникерши несчастные! — заорал Вячеслав.

— Остановитесь, огня уже нет! — крикнул Олег и подхватил Надежду Спиридоновну, которая чуть не упала.

Обе женщины трусливо озирались. Потревоженные мальчики вбежали в кухню и в свою очередь оглядывались, не понимая, что случилось. Олег и Вячеслав стали поднимать шкаф.

— Эк меня угораздило! Чуть было беды не наделал. Ну, спасибо вам, Казаринов, — бормотал Вячеслав.

— Запомните, что керосин нельзя заливать водой, — сказал ему Олег.

— Господи-батюшки! Уж и напужалась же я! Ажно ноженьки мои затряслися! — заголосила Аннушка, опускаясь на стул.

— Мой шкаф! — завопила Надежда Спиридоновна, только теперь получившая способность ориентироваться. — Почему на полу мой шкаф? Там протокваша, суп на завтра, фарфоровая посуда...

Несчастный шкаф поставили на место и, когда открыли дверцы, обнаружили следы катастрофы: великолепные кузнецовские блюда были разбиты. Старая дева схватилась за голову.

— Мои блюда! И мясные, и рыбные! Все пять штук! А я как раз намеревалась отнести их в комиссионный! У других, небось, все цело! Такой уж в этой квартире порядок завелся, чтобы обязательно подгадать старому человеку — Она с ненавистью покосилась на Вячеслава.

— Виноват я! — вступился Олег. — Но преднамеренности никакой у меня не было: я не знал, чей это шкаф, но если б и знал — медлить было нельзя!

— Мне здесь урону рублей на триста, а ведь я на продажу вещей только и живу! — не унималась старая дева.

— Успокойтесь, Надежда Спиридоновна! Я вам верну эти деньги из следующей полочки... — начал было Олег, но Вячеслав яростно обрушился на обоих:

— Посмеет эта старая ехидна получить их с вас — шею ей сверну! Еще немного — и нам не выскочить, а она блюда свои старые жалеет! Запрудила тут все углы своим хламом! Старая барыня! Крыса царская! Сидит на своем добре, и ни единому человеку ни от нее, ни от ее добра пользы нет! Завтра же все пораскидаю, чтобы ни единой вещи ее на общей площади не осталось!

Надежда Спиридоновна расширившимися, обезумевшими глазами уставилась на Вячеслава:

— Крыса?! Это я крыса?! Мои вещи пораскидать? — пролепетала она, вся дрожа.

— Ваши! Ишь, какая персона! Чтобы человеку спасибо сказать, ан нет — ругается! Видно, мозги заплесневели!

— Вячеслав, прекратите! — резко сказал Олег. — Как вам не стыдно!

— Господи, Микола Милостивый! — вступилась в свою очередь Аннушка. — Богом, видно, проклята наша квартира! Нет у нас никакого порядка, никакого ладу! Руготня одна с утра до ночи! Всяк-то тянет в свою сторону! Да нешто этак жить можно? Я давно говорю: с той самой поры, как домовый вышел, одни только беды и напасти!

— Как домовый? Почему вышел? — и все повернулись к Аннушке, ожидая объяснений.

— А вестимо как, не житье ему у нас стало. Домовой, он может, в которых домах десятками лет держался, ну, а при советской власти вмиг повывелся. Нешто он — сударь-батюшка — станет в коммунальной квартире гнездиться? Он должен с хозяином душа в душу жить. Он другой раз любит котом прикинуться, придтить на груди помурлыкать, да незаметно, за мурлыканием, смотришь, что и присоветует и дело скажет. Ему любовь да уважение нужны. А у нас что? Кто у нас хозяин? Где порядок? Уж вы мне поверьте: ни в единой коммунальной квартире домового не будет. Оттого и жисть в них не ладится, оттого и тошно в них кажинному, и квартиры разваливаются, и во всем обиходе безобразии. Эти домоуправления ничего-то не смыслят, а послушать старых людей не хотят.

Олег и Нина с улыбкой переглянулись. Прелесть эта Аннушка! Катюша и мальчики откровенно фыркали, а Вячеславу было не до домового — он угрюмо собирал поломанные части своего примуса.

На следующий день Нина, вернувшись из Капеллы, прилегла на диване, чтобы отдохнуть перед концертом, в котором ей предстояло петь. Едва она задремала, как к ней постучался дворник, муж Аннушки.

— К вам я, барыня-матушка! Уж простите, потревожу. Дело больно важное. Попрошу только я вас ни единой душе о нашем разговоре не сказывать, даже его сиятельству без нужды не говорите.

— Егор Власович, — Нина, приподымаясь, усталым движением поправила волосы. — Не надо титуловать Олега, дорогой мой. Сколько раз мы говорили это.

— Так ведь мы, кажись, вдвоем, барыня-матушка! При посторонних я в жисть не скажу. Я человек верный, сами знаете.

— Знаю, голубчик. Садись и говори, в чем дело.

— Видите ли, барыня-голубушка, вызывали меня сегодня в ихнюю гепеушную часть...

— Что?! — Нина похолодела. — Обо мне? Об Олеге? Говори, говори!

— Дознавались все больше про супруга вашего, про князя Дмитрия Андреевича покойного. Взаправду ли убит князь Дашков, али, может, только так показываете? Как же, говорю, не взаправду? Убит. Когда известие получено было, и сам он с той поры ровно бы в воду канул. При мне, говорю, и известие пришло, сам я тоже свидетель, присягнуть могу. Сколько слез Нина Александровна пролила, цельный год траур носила. Откуда же ему живому быть? Потолковали они меж собой и сызнава ко мне приступили: а кто этот молодой человек Казаринов, что в вашей квартире проживает? Кем он гражданке Дашковой приходится? Может, он и есть ейный муж князь Дмитрий Дашков? Да Господь, говорю, с вами! Я мужа Нины Александровны в лицо хорошо знал. Жилец у нас всего-навсего этот Казаринов. К Нине Александровне касательства не имеет. Как так не имеет, говорят, если меж собой он и по имени, и ужинают, и чай пьют вместе, и все это у нас уже установлено свидетельскими показаниями. Из вашей же квартиры люди подтверждают, что же ты, старик, будешь нас уверять в противном? Стал я тогда втолковывать, как вы в домоуправлении при прописке отвечать изволили: молодой, говорю, человек, сын столяра, молочный брат Дмитрия Андреевича. Его очень, говорю, любили в семье их превосходительнейшего папеньки. Он в Белой армии с Дмитрием Андреевичем вместе был, и как из лагеря ослобонился, пришел к Нине Александровне



рассказать про кончину Дмитрия Андреевича, а так как жить ему было негде, Нина Александровна по доброте своей и прописала его в комнате со своим братцем, там он и спит. Все это я доподлинно знаю, а коли кто другое что говорит, тому должно быть стыдно, семейных делов не знаючи, чернить напрасно Нину Александровну, потому как она дама гордая и благородная.

— Спасибо, Егор Власович, что вступились за мою честь. Так они его за Дмитрия приняли? Стало быть, им неизвестно, что молодых князей Дашковых было двое?

— Да видать, неизвестно, барыня! Это счастье еще, болезная вы моя. И кто это наговорил им, что вы с Олегом Андреевичем так коротко знакомы? Уж не Катенька ли эта паскудная? Коли Олега Андреевича вызовут, пусть он говорит то же, что я, точь-в-точь. Думаю я, обойдется это дело. Не тревожьтесь, барыня милая! Побелели вы, ровно бумага.

— Спасибо, Егор Власович, родной мой! Сколько раз вы уже выручали меня. И отца помогли похоронить, и из Черемушек выбраться, и прописку мне устроили, а потом и Олегу. И теперь выручаете... Все вы! А мне вот вас и поблагодарить нечем.

— Что вы, Нина Александровна! Я и слушать таких речей не хочу. Я довольно милостей видел от покойного барина Александра Спиридоновича. Век не забуду, как задарили они нас с Аннушкой на нашей свадьбе и посаженным отцом ейным соизволили стать — этакую честь оказали. Хоть тому уже скоро тридцать лет, да ведь для благодарности нет срока. Всегда у меня мой барин перед глазами, как они в своей чесучовой толстовке, с бородкой, с тросточкой по аллее идут, а за ними ихний таксик Букашка плетется. А коли завидят Александр Спиридонович окурок брошенный или бумажку конфетную, сейчас концом тросточки в песок заруют — не выносили они ничего такого в своем саду. Коли норка кротовая али сухой лист на дорожке — это пускай, это ничего, лишь бы не след человеческого присутствия, так и толковывали они и садовнику, и мне. Поди, Мика уж и не помнит отца-то? Теперь, когда оба вы сиротинушками остались, сам Бог велит мне о вас позаботиться. Не кручиньтесь, барыня, Бог милостив. Минует чаша сия, как в церкви читают. Вы вот, барышня, в церкву ходить не желаете, а теперь дни такие подходят — страстная седмица...

— Я на Бога обижена, Егор Власович. Стоя у гроба отца, я сказала себе, что никогда больше не пойду к причастию.

— Напрасно, барыня! Ох, напрасно! Великое это утешение — церковь Божия. Как войдешь в храм — ровно душ принял, только душ не для тела, а для духа нашего. Ну, я пошел, барыня. Отдыхайте покамест.

И дверь за стариком затворилась.

Нина сидела не шевелясь. Как близко! Рядом ходят! Протянули свои щупальца! Эта версия с молочным братом не слишком удачна... Теперь придется держаться именно ее, если начнут трепать по подробностям.

Она решила поговорить с Олегом, предупредить его, до концерта оставалось слишком мало времени. Вечером она вернулась поздно и, проходя мимо комнаты Олега и Мики, увидела, что свет у них уже погашен, и решила не будить.

Утром, во время чая, оба торопились на работу, к тому же в комнате был Мика, и она отложила разговор до вечера. Вернувшись из Капеллы, она собралась с духом и пошла к Олегу. Он был в шинели с фуражкой в руках.

— Я к Бологовским, — с огоньком в глазах, с улыбкой он показался ей юношей — так изменилось его лицо! Сердце Нины болезненно сжалось при мысли, что она должна омрачить эту радость. «Потом, попозже! За два часа ничего не изменится!»

Библиотека Надежды Спиридоновны принадлежала, в сущности, отцу Нины, старая дева перевезла ее во время гражданской войны из опустевшей квартиры брата к себе и этим спасла от расхищения. Поэтому Надежда Спиридоновна считала библиотеку своей собственностью и без всякого угрызения совести запрещала Мике притрагиваться к книгам своего отца. Для Нины и Олега она делала исключение. Книги уже не помещались в шкафы, стоящие в гостиной, и частично были расположены на стеллажах в коридоре.

Вернувшись в этот вечер домой, Олег остановился перед одной из полок, чтобы выбрать себе книгу на ночь. Он стоял около самой двери в кухню и услышал слова, произнесенные голосом Вячеслава:

— А ты зачем на Казаринова наплела? С досады, что ль, что в свою постель его затащить не удалось? Слишком уж несознательно сводить свои счета таким образом.

Олег невольно замер на месте.

— А ты почему знаешь, что я говорила? — сказал голос Катюши.

— Как почему знаю? Следователь мне весь разговор про балерин привел от слова до слова. Только ты да я, да он тут были — кто ж кроме тебя?

— Почему ж «наплела»? Я одну правду сказала.

— Правду! Порасписала: столбовой дворянин и офицер и в родстве с Ниной Александровной, а ведь ничего ты про это не знаешь. Ну, а следователь, конечно, ко мне как с ножом к горлу: что да что вы о нем знаете? Как так «не осведомлены», когда другие в вашей квартире все знают? Вот и прочел: «Казаринов держит себя не по-советски, постоянно нападает на наши порядки, все повадки изобличают в нем бывшего гвардейца. С гражданкой Дашковой — бывшей княгиней — он явно в родстве...» Вон сколько понаписала! А я что должен делать? За тобой повторять или прослыть за укрывателя классового врага? Нет, я свою правду выложил. Коли это показание Катерины Фоминичны Бычковой, говорю, — грош ему цена, она за этим Казариновым гонялась, да успеха не имела, вот и отплатила ему по-своему, по-бабьи. Учтите, товарищ следователь. Получила? Другой раз осторожней показывай. Следователь руку мне пожал, отпуская.

Олег повернулся и пошел к себе, закурил и стал ходить по комнате. «С какого же конца они меня выследили? С чего началось? Опасно не то, что наговорила очаровательная Катюша, опасно, что они заинтересовались мной. Честный, хороший мальчик этот Вячеслав! Я правильно рассчитал, что лучше самому сказать все — благородного человека это больше свяжет». Он ходил, курил и чувствовал, что радостное восприятие жизни, которое появилось у него после праздника у Аси, улетает безвозвратно! Как будто он легко плыл по красивой, залитой солнцем реке, но вдруг что-то схватило за ноги и тянет его вниз, под воду! Сквозь сетку безрадостных соображений — как миновать расставленную западню и какие пустить в ход уловки — просачивалась убийственная мысль, та, прежняя: он должен уйти от Аси, и чем скорей, тем лучше, чтобы не затащить и ее в эту пучину.

Вошел Мика, говоря, что Нина зовет к чаю. Дашков вспомнил, как панически боится Нина гепеу, а между тем переговорить с ней совершенно необходимо. Когда он сел за стол и, принимая из ее рук чашку чая, взглянул ей в лицо, то обратил внимание на темные круги под глазами и тревожный опечаленный взгляд.

Несколько раз он взглядывал на нее и всякий раз встречался с тем же озабоченным взглядом... Мика начал было что-то рассказывать, но скоро тоже смолк. Вставая из-за стола и свертывая в кольцо салфетку, он сказал:

— Удивительно веселые собеседники вы оба! — и убежал.

— Вы ничего не имеете мне сообщить, Нина? — спросил тогда Олег.

— Имею.

— Я тоже имею кое-что и уже вижу, что сведения эти одного порядка. Говорите же, Нина, не жалейте меня.

Они проговорили до полуночи, сопоставляя все данные и разрабатывая детали на случай, если вызовут одного или обоих.

Вставить раньше других настолько вошло в привычку Олега, что даже по свободным дням он подымался первым, желая избежать общей суеты на кухне. Но в это воскресенье он не встал, а, лежа на своем диване, курил папиросу за папиросой, тоже против обыкновения. В этот день у него была назначена и рушилась теперь встреча с Асей.

— Вы больны, Олег Андреевич? — спросил Мика.

— Здоров, — сумрачно ответил он.

В дверь постучали.

— Вам повестку принесли, выйдите расписаться, — окликнул голос Вячеслава.

Он хмуро усмехнулся и, накинув на плечи старый китель, вышел. Никто из женского населения квартиры еще ни разу не видел его таким — небритым, в подтяжках... Молча расписался и повернулся уходить, но увидел Катюшу, которая стояла около своего примуса, наблюдая его. Прищурившись, он смерил ее пристальным насмешливым взглядом. Отомстила? Довольна?

Она покраснела и отвернулась.

— On ne perd pas du temps en notre troisieme bureau[46], — сказал он Нине, показывая повестку.

После чая Олег подошел взять горячей воды для бритья. Нина удержала его руку:

— Не брейтесь ни сегодня, ни завтра... Этот ваш джентльменский вид...

— Думаете, лучше будет, если обрасту щетиной?

— Ну, все-таки! Хоть одичалым, что ли, покажетесь...

На следующее утро она вернулась к той же теме:

— Олег, вы уходите прямо туда, в пасть?

— Нет, сначала еду в порт. В ГПУ к двум часам.

— Олег, этот ваш джентльменский облик, когда вы кланяетесь, когда берете папиросу... Это все слишком, слишком гвардейское! Это во сто раз убедительней Катюшиной болтовни.

— Ну, что поделать, Нина? Я ведь себя со стороны не вижу.

— А все-таки постарайтесь, хотя бы в отношении жестов. Вы хорошо помните, что надо говорить?

— Урок зазубрен раз и навсегда. Все дело в том, какими данными располагают «они». Я ведь не знаю, какой мне сюрприз преподнесут, быть может, имеется кто-то из прежних слуг или прежних солдат, с кем мне будет устроена очная ставка. Быть может, имеются сведения о ранениях или моя фотокарточка. Я ничего не знаю.

— Олег, я сегодня вернусь только вечером. Чтобы мне не изводиться от тревоги весь день, позвоните мне в Капеллу, как только выберетесь оттуда. Скажите мне... ну, скажете мне что-нибудь.

— Слушаюсь. — Он двинулся уходить, но она опять остановила:

— Олег, будьте начеку! Все время будьте начеку, умоляю!

На службе для того, чтобы уйти с половины дня, пришлось предъявить повестку. Моисей Гершелевич, всегда с ним очень приветливый, сказал только:

— Что там? Ага, так. В час можете уйти, — но лицо его как-то вытянулось, и во всех последующих разговорах с Олегом он был подчеркнуто официален, даже обращался к нему по фамилии, а не по имени и отчеству.

«Трус! Вот и выявилась вся твоя жидовская натура!» — подумал Олег и в свою очередь начал склоняться по всем падежам: «товарищ Рабинович»...

Перед тем как войти в мрачное здание, он остановился взглянуть на залитую солнцем улицу, на весеннее небо... «Ну, да что там! При *товарищах* мне все равно нет счастья!»

И князь Дашков исчез в дверях ОГПУ.

## Глава двадцать пятая

*Черных ангелов крылья остры,*

*Скоро будет последний суд*

— Вот, явился по вызову, — сказал он, входя в указанный ему кабинет и протягивая повестку следователю. Тот зорко оглядел его.

— Садитесь.

Олег сел и, стараясь подражать манерам Вячеслава, стал трепать свои густые волосы, угрюмо и равнодушно уставившись на следователя. Полицейские приемы сказались тотчас: следователь сидел спиной к окну, а Олега посадил против света.

— Казаринов? Так. Расскажите кратко свою биографию, — и, откинувшись на спинку стула, следователь закурил.

— Обо мне уже все известно. Я ведь из лагеря, а там не один раз проверяли все сведения. Был в Белой армии, не скрываю.

— Не скрываете? Очень хорошо, что не скрываете. А все-таки расскажите, я хочу послушать.

Олег стал повторять заученный рассказ, но следователь очень скоро перебил его:

— Скажите, а каким образом вы, пролетарий по рождению, так хорошо владеете иностранными языками? Вот у нас есть сведения, что вы свободно говорите и по-французски, и по-английски.

— Ну, свободно не свободно, а говорю. Видите ли, я в детстве... — и он выложил версию, которая была ему невыгодна из-за близости к аристократическим сферам и своему собственному имени, но она уже была вплетена в его рассказ другими людьми, и ее никак не обойти.

— Мальчиком я постоянно слышал французскую и английскую речь, когда учили молодых господ, а я к языкам очень способен, меня постоянно в пример господским детям ставили, — закончил он.

— Допустим, что так, — сказал следователь, — но вот нас как раз очень интересует семья Дашковых. Расскажите все, что вы о них знаете.

— Да какие ж такие Дашковы? В живых ведь осталась одна только молодая княгиня, и та неурожденная — перед самой революцией княгиней стала.

Недобрые глаза пристально уставились на него.

— Из кого состояла семья Дашковых? — твердо отчеканил следователь.

Олег подавил невольный вздох.

— Ну, говорите же. Перечисляйте членов семьи.

— Сам князь, генерал, командир корпуса, Андрей Михайлович, — он остановился. Ему показалось, что какая-то рука сжала ему горло.

— Дальше.

— Княгиня, жена его, — он опять остановился.

— Имя княгини! Что же вы молчите? Не знаете, что ли?

— София Николаевна, — тихо сказал Олег.

— София Николаевна? Так... так. Запишем, София Николаевна...

— А вы зачем повторяете? — вырвалось у Олега с нетерпеливым жестом.

Ему показалось кощунственным, что святого имени матери касается этот язык, привыкший к ругательствам, угрозам и лжи.

— А почему же я не могу повторить? Или надо было спросить разрешения у вас? Да ведь она вам не мать родная? Или, может быть, я должен был прибавить «ее сиятельство»?

Олег молчал.

— Ну, дальше! Кто еще? — сказал следователь.

— Сын их, Дмитрий.

— Еще какие дети?

Пауза в долю секунды.

— Была еще девочка Надя, она умерла в детстве от воспаления легких.

Скажет или не скажет: «А второй сын, Олег?»

Но следователь сказал совсем другое и как бы невзначай, по пути:

— Этот корпусной генерал был, говорят, отчаянный мерзавец и собственноручно избивал денщиков...

— Что? — вспыхнул Олег. — Этого не было, это неправда, этого не было и быть не могло... Наша армия... Генерал был строг, но справедлив, и за это очень любим солдатами. С офицеров он взыскивал гораздо строже, чем с рядовых, — это было его правило. А всего строже он был... — он остановился, едва не выпалив: с нами, с сыновьями.

Следователь все так же пристально всматривался в него.

— А он, видно, дорог вам, этот генерал, если вы так горячо заступаетесь.

Олег спохватился, что проявил излишнюю горячность, — эти слова были, очевидно, просто ловушкой, в которую он и попался тотчас. Он постарался принять равнодушный вид:

— Не то чтобы дорог, а все-таки... Я ведь привык с детства к этой семье — худого не видел. Денщики у них жилами годами, никогда не жаловались, их задаривали. Отчего не сказать правду?

— Вот правду-то я и хотел бы услышать. А какова, скажите, конечная судьба этого генерала?

— Расстрелян в Петрограде в девятнадцатом году. — Говоря это, Олег поставил локоть на стол и положил лоб на ладонь. Он понимал, что с точки зрения конспирации этот жест вовсе неудачен, но, предвидя следующий вопрос, чувствовал себя не в состоянии выдержать взгляд допросчика.

— А княгиня? Что же вы молчите? У вас голова, кажется, болит? Хотите, дадим порошок?

— Не надо, — и Олег отвел руку.

— Ну, тогда отвечайте.

— Когда молодой князь уезжал в добровольческую армию, была еще жива. Я только недавно узнал, что ее нет в живых. Подробностей не знаю.

— Так-таки совсем не знаете? Да неужели же? А до меня вот дошли некоторые подробности. Была расстреляна неподалеку от поместья на железнодорожном полустанке. Дамочка, по-видимому, задумала ускользнуть из-под чекистского надзора, который был учрежден над ней в имении. Однако не удалось! Находившийся на полустанке отряд комиссара Газа задержал беглянку. Во время ареста горничная,

задержанная с княгиней, выходила из себя, кричала и грозила красноармейцам, но сама княгиня не произнесла за все время ни слова. Не слышали об этом? Ходил слух, что обе были изнасилованы конвойными, прежде чем расстреляны. Княгиня ведь была красивая бабенка, несмотря на свои сорок пять лет, и горничная приманчивая такая. Об этом тоже не слышали?

Олег молчал... Следовательно, сощурившись, пристально всматривался в него:

— Там была еще княжеская собака. Говорят, она выла всю ночь над трупом княгини, пришлось прикончить ее и бросить там же, на мусорной куче... Что вы так повернулись вдруг? — Внезапно он перешел в участливый тон: — Вы очень нервны, Казаринов. Вам не худо бы полечиться.

— Посидите столько лет в Соловках, так, полагаю, будете нервны и вы, — отрезал Олег.

— Весьма вероятно. Допускаю также, что сама тема разговора вам слишком небезразлична. Ну-с, а что вы можете нам сказать про молодого князя?

— Дмитрий Дашков окончил Пажеский корпус в тысяча девятьсот тринадцатом году. Гвардейский офицер.

— Какого полка?

— Вышел в кавалергардский. В пятнадцатом году попал на фронт, в конце шестнадцатого, после контузии, получил отпуск и приехал в Петербург, в январе семнадцатого женился...

— Что вы можете сказать о его жене?

— Я видел Нину Александровну мельком еще в семнадцатом году. Когда в настоящее время меня выпустили из лагеря, я пришел к ней, намереваясь сообщить ей о гибели мужа. Кроме того, я надеялся, что она разрешит мне у себя остановиться, так как мне негде было жить, а никого из прежних друзей я не мог отыскать. Она и в самом деле согласилась прописать меня в комнате со своим братом-мальчиком. Пока все еще живу там.

— Что вы можете нам сообщить об этой женщине?

— Сообщить? Да право не знаю... Это талантливая певица, артистка Государственной Капеллы. Она, кроме того, постоянно выступает в рабочих клубах...

— Ее отношение к Советской власти, должно быть, резко отрицательно?

— Я никогда не слышал ни одного антисоветского высказывания у этой дамы. Подождите... Я припоминаю сейчас ее подлинные слова: «В царское время семья мужа не пустила бы меня на сцену. Только революция дала мне возможность выступить перед широкими массами».

Следовательно усмехнулся:

— Скажите, какая сознательная! Ну а почему вы, пролетарий по рождению, так прочно связались с белогвардейским движением? Почему ни разу не попытались перейти на сторону красных?

— Да ведь я с самого начала попал через Дмитрия Андреевича в белогвардейские круги. О красных знал только понаслышке. Думал, если перейду, расстреляют как белого... Ну и держался белых. Отступал с частями, попал в Крым. Сказать «перейти» легко, а как это сделать?

— Делали те, которые хотели. А скажите, присутствовали вы при смерти Дмитрия Дашкова? Вы это почему-то обошли молчанием. Ну! Чего же вы опять молчите? Тому, кто говорит правду, раздумывать нечего. Видели вы его мертвым?

— Да, — сказал Олег и почувствовал, что непременно запутается.

— Это странно. У нас вот есть сведения, что он был не убит, но ранен и после поправился. Что вы на

это скажете?

«Эти сведения обо мне! — лихорадочно проносились мысли в голове Олега. — Да, они путаются между мной и Дмитрием, поскольку фамилия одна, а сведения отрывочны. Что отвечать? Если я буду настаивать, что Дмитрий убит, то натолкну их на мысль, что есть другой Дашков, к которому относятся сведения из госпиталя...»

— Не знаю, что вам сказать, — ответил он. — Я видел его на носилках без памяти, его уносили в госпиталь. Я думал, он умирает... Может быть, он прожил еще несколько часов или дней, но, во всяком случае, не поправился, так как к жене он не возвращался.

— Вы в этом уверены?

— Уверен. Она всегда говорит о нем как о мертвом. Все, кто ее окружают, знают, что муж к ней не возвращался. Свидетелей достаточно.

— А вы не осведомлялись о его здоровье тогда же?

— Нет. Я сам был ранен через два дня и еще не успел поправиться, когда пришли красные.

— Вот этот шрам на вашем виске, очевидно, след ранения?

— Да.

— Забавно! Два неразлучных друга, Казаринов и Дашков, оба ранены в висок, один — в правый, другой — в левый.

Олег настороженно молчал, стараясь проникнуть в значение этих непонятных для него слов.

— Вы только в висок ранены или было еще ранение?

«Ну, конечно, — подумал Олег, — очевидно, у них имеются сведения, что Дашков лежал с осколочным ранением ребра и раной в висок кроме того».

— Было еще второе, — пробормотал он сквозь зубы. И увидел при этом, что следователь заглядывает в какие-то бумаги, лежащие перед ним на столе.

— Ага! Второе! — и какой-то блеск, напоминающий глаза кошки, когда она играет с мышью, мелькнул в глазах следователя, обратившихся опять на Олега. Он нажал кнопку коммутатора: — Алло! Попросите в тринадцатый кабинет дежурного врача. Без промедления.

На ногах следователя были коричневые краги. Он бойко переменял положение ног, и краги скрипели. Звук этот задевал по нервам Олега.

— Раздевайся! — сказал следователь и прошелся по кабинету. Он уже обращался к Олегу на «ты», очевидно, уже считая его разоблаченным.

— Для чего это нужно? Я не скрываю, что у меня было еще ранение в правый бок.

— Раздевайся, говорю, — повторил следователь и, вынув револьвер, щелкнул им перед носом Олега.

Олег знал этот прием и не мог испугаться, но окончательно понял, что на него уже смотрят как на арестованного.

В кабинет вошел пожилой мужчина, тоже в форме, поверх которой был накинут белый халат.

— А, доктор! Простите, побеспокою. Вот осмотрите-ка этого молодчика. Тут должны быть рубцы от ранения левой почки. Ну, левая и правая сторона могут быть спутаны... Этому я значения не придам... Почки, одним словом. Освидетельствуйте его да снимите пробу с волос — не выкрашены ли. Должны быть рыжие.



Олег с удивлением поднял голову. «Почки? Рыжие волосы? Так госпитальные сведения не обо мне?» — мелькнуло в его мыслях.

Доктор приблизился к нему.

— Товарищ следователь, попрошу вас сюда, — сказал он через минуту. — Вот, взгляните сами: здесь было разбито ребро и, очевидно, повреждено легкое. Но это не то ранение, о котором говорите вы. — И он обратился к Олегу: — Вам резекцию ребра делали?

— Да, — процедил сквозь зубы Олег.

— Плевали кровью?

— Да.

— Клинически тоже совсем другая картина, товарищ следователь, — авторитетно подчеркнул врач.

— Да мало ли что он вам скажет! А тем более при подсказке, — с досадой возразил следователь. — Он тут с три короба врал. Не верьте ни одному его слову. Я вам повторяю: здесь должно быть ранение почки.

— Я вовсе не его словам верю, а собственным глазам. Почки расположены ниже, эти рубцы не могут относиться к ним.

— Ага! Ниже! — и следователь опять повернулся к Олегу. — А ну! Снимай пояс!

— Вы третьего ранения не найдете. С меня и двух вполне достаточно! — выговорил Олег, но револьвер опять щелкнул перед его носом.

Пришлось раздеваться. Заметно было, что следователь очень удивился, не обнаружив более рубцов и выслушав уверения врача, что цвет волос натуральный. Он попросил врача зафиксировать, на бумаге результаты осмотра, а сам тоже сел к столу, сказав Олегу:

— Можете одеваться.

«Ордер на арест выписывает», — думал, одеваясь, Олег, и какое-то безразличие вмиг нашло на него.

— Скажите, гражданин Казаринов, лежали вы в больнице Водников в феврале этого года? — спросил следователь.

— Нет, — мгновенно настораживаясь, ответил Олег.

— Предупреждаю, что врать вам смысла нет: мы пошлем в больницу запрос.

— Запрашивайте сколько хотите, — ответил Олег и уже хотел прибавить: «Лежал в больнице Жертв революции», но какое-то неясное чувство удержало его: чем меньше сообщать о себе, тем лучше! К тому же есть еще непонятная связь между его болезнью и вопросом о больнице.

— Скажите еще, каковы у вас отношения с гражданкой Бычковой Екатериной Фоминичной?

— Никаких отношений нет, живем в одной квартире и только.

— Нет у нее каких-либо оснований быть недовольной вами?

— Насколько мне известно — никаких, — сухо ответил Олег и почувствовал, что даже угроза ареста не может заставить его изменить тем правилам, в которых он был воспитан.

— Подойдите сюда и подпишите свои показания, — сказал следователь.

Олег внимательно прочел протокол: записано было более или менее точно. Он подписал. Следователь отпустил врача и начал ходить по кабинету, поскрипывая крагами.

— Вот что, Казаринов, — сказал он, останавливаясь перед Олегом. — В вопросе о гибели Дмитрия Дашкова есть странные противоречия. Вы здесь чего-то недосказываете. Вы у меня на подозрении, и положение ваше очень шаткое. Вполне возможно, что вы не пролетарий и не рядовой, а такой же гвардеец, как и Дашков, а может быть, даже... — Он не договорил.

— Весьма странно! — сказал Олег. — Такие документы, как у меня, ни один человек не пожелал бы выдать за свои! Наведите справки в Соловецком концлагере — нас там проверяли и фотографировали сотни раз. Вам вышлют самые точные сведения, что то был я собственной персоной.

— Это все ничего не значит, — ответил следователь, закуривая. — То будут сведения, начиная с двадцать второго года, а я говорю о том, что было до этого.

— Не могу запретить вам подозревать себя, — возразил Олег, — но моя вина была установлена по свежим следам боевыми отрядами чека, и мне было инкриминировано только то, что я не выдал властям белогвардейского полковника. Наказание за эту вину я уже отбыл. Разве в Советском Союзе могут что-либо значить подозрения, основанные на личной неприязни?

— Могут, если тут затронуты интересы рабочего класса. Вы — махровая контра. Я это чую носом. Лагерь ничему вас не научил, и вы напрасно принимаете такой независимый вид — приказ о вашем аресте уже готов. — Он подошел к столу и помахал какой-то бумагой, однако Олегу ее не показал. — Поймите, что отсюда два выхода — в тюрьму и на волю!.. — И, подойдя к Олегу, как бы невзначай прижег папиросой его руку. Олег не шевельнулся. — Однако у вас все-таки есть один шанс сохранить свободу, но это будет зависеть от вас.

— Как от меня?

— Да очень просто. Если вы согласитесь приносить нам пользу, мы могли бы с вами договориться.

— Я приношу уже пользу там, где я работаю. Какая же еще польза?

— Может быть и другая, если вы захотите.

Олег молча смотрел на следователя ОГПУ.

— Могли бы уже понять. Я предлагаю вам заключить с нами некоторое условие, помочь нам кое в чем. У нас есть несколько лиц, за которыми нам необходимо установить наблюдение. Ваши давние знакомства и симпатии в бывших дворянских кругах, ваше умение себя держать с бывшими господами могли бы нам пригодиться. Желаете вы сотрудничать с нами?

— Нет, не желаю.

— Почему же это, Казаринов? Напоминаю вам, что положение ваше весьма шаткое. Ваша готовность служить интересам Советской власти изменила бы к лучшему ваше положение во всех отношениях. Знать об этом никто не будет. Тайну мы вам гарантируем — это в наших интересах столько же, сколько в ваших.

Олег молчал.

— Вы, очевидно, предполагаете, что мы попросим вас наблюдать за гражданкой Дашковой? Это было бы очень желательно, особенно ввиду неясности в конечной судьбе ее мужа, но если в вас еще так сильны прежние привязанности, мы можем вас освободить от этой, обязанности и дать вам список других лиц.

— Не трудитесь! У меня к этому делу нет ни навыка, ни способностей. Хитрить и изворачиваться я не умею. Короче говоря, я не желаю.

Следователь подошел к нему совсем близко.

— А дрова в гавани по пояс в воде грузить желаете? — прошипел он почти над его ухом и вновь

прижег папиросой руку Олега.

— Я семь лет грузил — привык. Этим вы меня не запугаете.

— Показалось мало? Еще захотели?

Олег не отвечал.

— Ну так как же, Казаринов, в тюрьму или на волю?

— Агента гешеу вы из меня не сделаете! А запрягать в тюрьму, конечно, в вашей власти.

Следователь опять схватил револьвер и приставил его к виску Олега. Сохраняя бесстрастное выражение, Олег смотрел в окно.

— Вам, что ли, жизнь надоела?

— Да, пожалуй, что и так.

Следователь положил револьвер и подошел к столу.

— Вот вам пропуск, чтобы выйти из здания, а вот ваше удостоверение личности. Подпишите, что разговор наш останется в тайне. На днях я вас вызову еще раз. На досуге обдумайте мое предложение. А теперь вы пока свободны.

Когда Олег вышел, то удивился, что все еще был день и светило солнце. Странно было опять увидеть залитую солнцем улицу, воробьев и детей, радовавшихся жизни. Он остановился у подъезда и, охваченный внезапной усталостью, прислонился к стене, но тотчас мелькнула мысль, что лучше скорей уйти от этого здания. Он побежал за трамваем и вскочил на ходу, лишь бы убраться скорей от проклятого места.

Глядя, как в окнах трамвая сменяются улицы, он пытался вспомнить, кого напоминал ему этот следователь. Напоминал кого-то, знакомого с детства... И вдруг вспомнил... Когда восьмилетним мальчиком он поправлялся после скарлатины, мать читала ему вслух Киплинга. И он, и маленькая сестричка особенно любили «Рики-тики-тави», который охотился за Нагом — страшной коброй с зелеными глазами и гипнотизирующим взглядом. Наг этот казался Олегу необыкновенно отвратительным, особенно когда он обвил шейку кувшин и заснул. Образ этого Нага настолько прочно завладел тогда его воображением, что позднее стал олицетворением нечистого духа, с которым ассоциировалась мысль о загробных мучениях. Если жизнь его будет греховна, он будет отдан после смерти во власть этому Нагу, и тот обовьется вокруг его груди и станет медленно душить. Это не описано в дантовском «Аде», но мог ли Данте предвидеть следователей большевистских карательных органов!

Боже! Неужто еще полтысячелетия пройдет, и вновь Наг будет гипнотизировать кого-то холодным и злым взором? Следователь так и стоял перед глазами Дашкова, задавал и задавал свои вопросы, ерзая на стуле, будто примериваясь прыгнуть на свою жертву. Это ерзанье, по-видимому, распяляло Нага, помогало привести самого себя в ярость.

«Нет, больше я туда не пойду! Плохую услугу оказала мне Нина, выбросив мой револьвер. Он бы теперь пригодился! Но где же это я?» Он сошел с трамвая и огляделся — он оказался почему-то около греческой церкви. Куда идти? Что делать с собой? Он знал, что тоска пойдет за ним, куда бы он ни пошел. Эта тоска только стала расходиться, светлеть, а вот теперь опять сгустилась и сплошным мраком встала перед ним, словно стена, и почти физически давила грудь.

Тело матери, брошенное на кучу мусора, и воющая рядом собака...

Был уже седьмой час. В семь он должен быть у Елочки — у нее какое-то дело, придется идти. Он вспомнил, что небрит, и завернул в первую попавшуюся парикмахерскую, потом позвонил Нине из автомата. Усталость все усиливалась, он чувствовал, что еле идет. Со вчерашнего дня он ничего не ел, так

как утром и у него, и у Нины кусок останавливался в горле.

«Войду ненадолго, извинюсь и уйду», — думал он, нажимая кнопку звонка.

Ему отворила женщина в платочке, две другие в этом же роде стояли здесь же, в кухне, куда он попал прямо с лестницы. Все три в упор уставились на него и продолжали пялиться, пока он кланялся выбежавшей навстречу Елочке и проходил следом за ней. Оживленный говор послышался тотчас за ними.

— У вас здесь, кажется, любопытная публика, — сказал Олег. — Может быть, я своим появлением скомпрометировал вас?

— Было бы перед кем! — с невыразимым презрением отчеканила Елочка. И пропустила его в дверь.

— Как у вас хорошо! — сказал он, озираясь. — А вот этот образ — Нерукотворный Лик — наверное, еще византийского письма?

— Да, он старинный, — ответила Елочка. — Мы вывезли его из поместья. Там почти тотчас сгорел дом, и между крестьянами пошла молва: «Все потому, что Спас ушел». Садитесь, пожалуйста.

Едва они перекинулись несколькими словами, как в двери послышался стук. Это был политический акт, разработанный экстренным собранием кумушек в кухне. Они были уверены, что Елочка появится на пороге в накинутом наскоро халатике. Было очень заманчиво пристыдить гордячку. Елочка, однако, предчувствуя что-либо в этом роде, выросла на пороге в ту же минуту.

— В чем дело?

Женщина замялась:

— Одолжите стопочку маслица.

Елочка извинилась перед Олегом и вышла. На ней были мягкие туфельки — возвращаясь, она подошла к своей двери неслышно и с порога увидела, что Олег припал лицом к бархатной спинке дивана. Это была секунда! Услышав стук двери, он мгновенно принял подобающее положение.

— Что с вами? — очень мягко спросила она, подходя. — У вас вид совершенно измученный. Что-нибудь случилось?

— Ничего, уверяю вас. Устал немного.

Но она пристально и тревожно всматривалась в него:

— Скажите, скажите мне правду! — И видя, что он колебался, прибавила: — Вас не вызывали ли в гедеу?

— Елизавета Георгиевна, — сказал он тогда, — вы не только умны, вы очень проницательны. Да, я как раз оттуда, но вы не беспокойтесь, я не привел за собой никакого шпика — есть один безошибочный способ...

Она перебила:

— Ах, это неважно! Я вовсе не так пуглива. Мне можно сказать все, уверяю вас.

Он начал рассказывать, коротко, как всегда, когда говорил о себе. После нескольких фраз он все же распалился:

— Это возмутительно! Нигде ни при какой власти так не было! Для них не существует разницы между политическим и уголовником. Они третировали меня, как вора или убийцу. Щелкнуть револьвером у самого лица: «Молчи! Раздевайся! А ну, раздевайся!..»

— Ах, вот что! Раздеваться заставляли, — сказала она.

— Да, осматривали следы ранения, очевидно, в качестве особых примет. В этом пункте мне кое-что неясно: я ожидал, что тут-то меня и уличат, но сведения из госпиталя, по-видимому, перепутаны — меня отпустили.

Елочка молчала. Невеликодушно было бы рассказывать, что это она спутала следы. Она бы точно напрашивалась на благодарность.

— Подлецы! — продолжал взволнованно Олег и стал ходить по комнате. — Они осмелились мне предложить стать их агентом и бегать к ним с доносами... Что за люди?! Люди ли это? Им кажется диким, что я не принял этого гнусного предложения! Я еще не арестован, а они уже приставляют револьвер к виску. Безнаказанно убить, задушить — им все нипочем! Ответ один: в интересах рабочего класса! Они еще во время гражданской войны показали свою жестокость! В Ростове они подожгли госпиталь с ранеными и оставили их погибать в огне. В Харькове пленным офицерам вырезали глаза и уши, прежде чем расстрелять. В Киеве... Киев они и вовсе затопили кровью. Когда мы его отбили, все городские сады оказались полны казненными, на площадях красовались десятки виселиц... В Липках, где в одном из особняков обосновалась чрезвычайка, были обнаружены горы трупов и все стены забрызганы мозгами и кровью. Это рассказывает вам очевидец! Тела свозили потом день и ночь в анатомический театр для массовых захоронений, сколько было девушек, дам! По всему городу шли непрерывные панихиды... А в Петербурге после взятия Зимнего? А в Ярославле? В Крыму цвет русской интеллигенции расстреливали по приговору чека китайцы, и Европа допустила это! Ну а теперь? Ведь теперь нет военных действий; нет сопротивления, никакой остроты момента и однако же эта недопустимая, неслыханная, небывалая жестокость продолжается. В ней есть что-то не русское, не наше. Русские жестокостью никогда не отличались. Наша толпа может рассвирепеть, и тогда она страшна, как и всякая толпа, но жестокость толпы — нечто стихийное, проходящее, а ведь здесь жестокость преднамеренная, входящая в систему. Эти сети лагерей, эти пытки в подпольях, где оборудована вся аппаратура вплоть до глушителей... Во всем этом что-то несвойственное нам, что-то чужое!

— Чье же? — спросила Елочка. Его волнение передалось ей, она вся дрожала.

— Не знаю. В чека очень большое количество евреев, вообще в партии. Сейчас они, несомненно, в чести, очевидно, как угнетаемое нацменьшинство. Директора крупных учреждений, политруки, лекторы по марксизму — евреи в огромном большинстве... Но они не жестоки! Я их терпеть не могу — они способны высосать из человека все соки, как пиявки, но они не жестоки, даже отзывчивы, когда можно, когда неопасно. Нет, эта жестокость какая-то нечеловеческая, это гнусный сплав нашего отечественного пугачевского хамства, еврейского самого злостного вампиризма и чего-то сатанинского, что не от людей. России больше нет! Даже имя ее не произносится! Недавно на службе я сказал нечаянно: «У нас в России...», и мой начальник-еврей меня поправил: «У нас в Союзе...» России больше нет! А с моим поколением безвозвратно погибнет и белогвардейская идея о ее возрождении, идея, ради которой полегло столько жертв!..

Елочка следила, как он взволнованно мерил шагами комнату, словно тигр, запертый в клетку.

— Я тоже... Я тоже приходила к мысли, что за всем этим стоят оккультные силы, что этот сплав — продукт темноты! — дрожащим шепотом решила она высказать заветную мысль.

— Может быть, — ответил он.

Елочке показалось, что он недостаточно оценивает эту мысль, но усталый звук его голоса коснулся ее сердца. Она встала выключить электрический чайник, который уже в течение нескольких минут шипел и плевался, и сказала опять с той же мягкостью, которая звучала в ее голосе только в обращении к Олегу:

— Вы прямо «оттуда» и устали. Вам надо поддержать силы. Я вам налью стакан крепкого чаю...

Пожалуйста, не отказывайтесь. — И стала накрывать на стол.

Через несколько минут Олег сказал, мешая ложкой чай:

— Теперь я в приятном ожидании: следователь сказал, что придет на днях новое приглашение. Жить, предвкушая новый допрос... Благодарю покорно! Впрочем, я туда больше не пойду!

— Как не пойдете? Если получите повестку, придется идти. Иначе ответите за уклонение. Олег Андреевич, не теряйте благоразумия.

Он молчал, как будто что-то обдумывая.

— Ну, да об этом рано говорить, поскольку приглашения еще нет, — сказал он через несколько минут.

Она коснулась его руки:

— Да вы о чем думаете? Вы должны беречь себя, для России беречь. Быть может, придет минута, когда будут нужны как раз такие люди — с военным опытом, с именем, с несокрушимой энергией и преданности делу!

Он взглянул на нее загоревшимся взглядом.

— О, если б такая минута пришла! Россия, Родина! Если б я знал, что доживу до ее освобождения, что еще могу быть полезен! Кажется, только в этой мысли я могу почерпнуть желание жить. Бог свидетель — я совсем не думаю о своих выгодах, о том, чтобы вернуть потерянное достояние или привилегии, или титул. Пожалуй, я даже не хотел бы реставрировать монархический строй. Я был связан с ним семейными традициями и привязанностями, но этих людей уже нет, а действительность показала, что эта форма правления уже отжила. Или пока неуместна. Я думаю теперь только о России.

Нужен строй, при котором наш великий народ действительно получил бы возможность выправиться и расцвести и развить свои лучшие свойства. Погибнуть в боях, которые сметут с лица земли это подлое цека — на три четверти нерусское, — вот все, чего я хочу для себя, в этом все мое честолюбие! Вы знаете, там, в лагерях, мне мерещилось иногда всенародное ополчение, подобное Куликовской битве или Смутному времени, — могучая, светлая устремленность всего народа, решающая великая битва, хоругви, знамена, звуки «Спаси, Господи, люди твоя» и колокольный звон! Но прежде чем это осуществится, я, наверное, погибну на дне их подвалов. Все глухо, все оцепенело — ничего, что могло бы предвещать желанный бой!

Елочка слушала как зачарованная, не смея пошевелиться, каждая жилка в ней дрожала. О, да! Он способен на подвиг! В нем еще не сломлен дух его великих предков. Он такой, каким она хотела его видеть, — «мой Пожарский!»

Кто-то постучал в дверь. Елочка с досадой пошла отворять и едва не ахнула: перед ней стояла Анастасия Алексеевна, а за ней, подталкивая друг друга локтями, три кумушки.

В одну минуту Елочка учла всю сложность положения: она отлично поняла, до какой степени она себя скомпрометирует, если не разрешит войти Анастасии Алексеевне, но поняла и то, что нельзя допустить ни в каком случае, чтобы она увидела и узнала Олега. Она пошла ва-банк — встала перед дверьми, заслонила их собой и сказала:

— Анастасия Алексеевна, милая, извините меня, я не могу вас принять сейчас.

Но когда, проводив сконфуженную и извинявшуюся гостью, она закрыла входную дверь и повернулась, то оказалась лицом к лицу со всем женским составом квартиры: все, хихикая, оглядывали ее — туалет Елочки был в загадочном порядке, вплоть до белого воротничка и черного бантика у горла, однако в комнату она не пустила... «Из постели выскочила...» — долетели до ее ушей гаденьким шепотом сказанные слова.

Она быстро обернулась и смерила взглядом говорившую.

Подымаясь, чтобы уходить, Олег спросил:

— У вас какое-то дело ко мне? Рад быть полезным.

— О нет! Пустяки: мне предложили урок французского, а я к этому не привычна. Не хотите ли вы взять?

Он поблагодарил, записал телефон, и у него не мелькнуло догадки, что она отдала ему заработок, которому очень обрадовалась сначала, мечтая тратить его на книги.

Сколько теплых слов хотелось ей сказать Олегу, когда она прощалась с ним! Как хотелось ей крепко сжать его руку! Но она ничего не посмела, лишь отрывисто шепнула:

— Держитесь! Думайте о грядущей битве! Все остальные мысли — слабость!

Вечером она глубоко задумалась около уже приготовленной на ночь постели. История не идет назад! Совершенно очевидно, что простая реставрация монархии явилась бы нелепостью, как реставрация Бурбонов во Франции. И все-таки что-то противится глубоко в душе, когда слышишь: «Монархические формы правления явно отжили».

Святая! Любимая! Вечная! Какая нужна Тебе форма правления, какая? Либералы? Да им бы только чтоб все было как в Европе. Навпускают иноземцев, и те, как шакалы, бросятся расхватывать лакомые кусочки, они вернут Тебя к пределам времени Иоанна Грозного, наделают десятки русских республичек величиной со Швейцарию, чтобы удобнее было грабить. Исцели Свои раны силами Своего же народа, Сама, изнутри. И да не вступит никто, никто на Твою землю. Омой, очисти Себя Сама и роди нового Государя, Хозяина, любящего Тебя Господина!

Стоя на коленях перед иконою, Елочка шептала сквозь поток горячих слез эти сладостные слова, и Россия внимала ее мольбам, скорбно глядя на Свою дочь глазами Нерукотворного Спаса.

## Глава двадцать шестая

### ДНЕВНИК АСИ

**20 апреля.** Сегодня с утра так же серо и скучно, та же тоска, а вопросы бабушки и мадам: «Что с тобой? Здорова ли?» — невозможно раздражают. Я знаю, что все это делается из очень большой любви ко мне, но уж лучше оставили бы меня в покое. Вчера мы должны были идти в музей, но Олег Андреевич вдруг позвонил по телефону и сказал, что очень занят. Может быть, я перестала ему нравиться? Вчера весь день неподвижно высидела на диване, не спуская глаз с телефона; сегодня предавалась этому же занятию и опять напрасно. Сейчас пора идти спать; я знаю, что опять буду плакать ночью.

**22 апреля.** Со мной делаются страшные вещи: я просыпаюсь иногда с ощущением света. На каждой вещи в моей комнате словно бы лежит отблеск, во всем особенная прозрачность и легкость. Чувство это, раз начавшись, обычно сопутствует мне в течение всего дня, если что-либо особенно неприятное не спугнет его. Откуда оно приходит — не знаю, почему и как надолго исчезает — тоже не знаю. Сегодня утром я проснулась с ним; оно было так явственно, что мне не хотелось двигаться и разговаривать. Я лежала, боясь пошевелиться, отдаваясь этой странной блаженной легкости. Потом, конечно, пришлось встать, умыться, одеться, пить чай — чувство ослабело, но не ушло. И вот, вся в его власти, я вдруг ясно вспомнила, как Олег Андреевич, стоя на лестнице, смотрел на меня, когда я убегала после поцелуя. Он, слегка закинув голову, провожал меня взглядом, и из глаз его шли на меня светлые, длинные лучи, которые ласкали и золотили. Я так и вижу эти лучистые глаза — в них совсем не осталось печали, в лице не осталось обычных скорбных теней. Если бы он разочаровался во мне, не мог бы он так смотреть! Мне это сделалось совершенно ясно. Как могла я забыть его лицо и дать такое толкование случившемуся? Сто раз я приводила его себе на память, а после телефонного звонка от досады и обиды попала в круг самых банальных, мелко-самолюбивых мыслей — не хочу даже вспоминать их. Минута поцелуя была прекрасна, и если он не идет, есть причины, но другие — не разочарование... Что-то идущее извне и временное, но вот что?

**23 апреля.** От Олега Андреевича по-прежнему нет вестей. Я мучительно остро чувствую, что кроме него мне сейчас ни до кого и ни до чего нет дела. Сегодня заговорил о своей любви Шура и грянул мне предложение! Он пришел в музыкальную школу, чтобы проводить меня домой, на что уже давно имеет разрешение бабушки. Погода испортилась, шел мокрый снег, под этим снегом он бежал за мной, стараясь занять разговорами, а я все ускоряла шаг, погруженная в свои собственные думы. Только в подъезде мы остановились, отряхиваясь. Он снял с меня бывшего соболя, а потом, накидывая мне его опять на шею, вдруг сказал: «Ася, я люблю вас! Вы это уже давно знаете. Будьте моей женой, и счастливее вас не будет никого в целом мире». Я ответила ему так: «Вы такой добрый, умный и милый, Шура, что заслуживаете большой любви, а ведь у меня ее нет — я не смогу дать вам счастье. Не обижайтесь на меня». Он поцеловал мне руку — это было первый раз в моей жизни!

**24 апреля.** Вчера в 9 часов вечера раздался звонок. Я вообразила, что это Олег Андреевич, и меня охватило сумасшедшее волнение — сразу бросилась к иконе. Но пришла всего только старая графиня Каковцева. Право, она отлично могла бы остаться у себя дома — никто по ней не соскучился.

**25 апреля.** Еще один день без весточки! Что же разъединяет, что?

Эти Хрычко мало любят своих детей: на закуску и водку у них всегда есть деньги, а дети голодают. Младший мальчик Павлетка, такой худенький и бледный. Ему только пять лет, а мать постоянно оставляет его одного. Она уходит то в гости, то в баню на целые часы, а ребенок тоскует. Мне слышно, как он скулит,



не плачет, а именно скулит — жалобно; как больной щенок. Я сегодня не выдержала и вошла в их комнату: «Что с тобой? Болит что-нибудь?» Он ответил: «Мамка ушла и сказала, что Едька принесет мне булку, а Едька не приходит, потому что он не в булочную пошел, а в кино». Едька — это его брат Эдуард. Я принесла ребенку французскую булку, а бабушка на меня рассердилась, она сказала: «Мне не жаль булки, но ты должна понять, что следует держаться как можно дальше от этих людей. Это не наш круг. Мальчишка расскажет, что ты входила в комнату, и еще неизвестно, как это будет перетолковано. Твои самые лучшие чувства могут быть оплеваны этими людьми». Может быть, это и так, но зачем иметь «самые лучшие чувства», если не давать им ход? Этот мальчик такой заброшенный и бледный до синевы — неужели мы должны приучить себя смотреть на это равнодушно?

**26 апреля.** Страстной понедельник. Неужели все кончено?

**27 апреля.** Страстной вторник. Дома уже начинаются приготовления к Пасхе. Утром мыли окна и выколачивали ковры. Творог уже куплен и лежит в кухне под толстыми книгами. Когда я была маленькой, я всегда бегала смотреть, сколько накапало из него воды, когда он так же отжимался под лоханью, и звуки капель напоминают мне детство. Была у вечерни. «Чертог твой» и «Се жених» такие красивые и такие грустные! Вернувшись, я забралась в кресло в бабушкиной спальне и долго смотрела на огонек в голубой лампадке перед старинной божницей, не переставая думать об измученном одиноком человеке. Я чувствую, что его душа ищет, зовет мою. Я знаю, что я нужна ему. Его судьба была трагична, а я была счастлива почти каждый день моей жизни! Желание утешить его и отогреть истомило меня. Неужели он не придет уже никогда? И никогда больше не засветятся, не засияют эти глаза? Я не хочу, чтобы так было! Я не хочу! Не буду больше писать. Проведу черту и кончу. Все!

В страстную среду вечером Нина сидела с Натальей Павловной в ее уютной спальне. Дрожащий огонек лампадки освещал полные слез глаза и растрепавшиеся волосы Нины.

— Ну, успокойтесь, успокойтесь, Ниночка! Сколько бы вы ни плакали, слезами не поможешь. — Наталья Павловна говорила со своим обычным самообладанием. — Поезжайте вначале на время, а там видно будет. Как только устроится продажа рояля, я всю эту сумму тотчас отдам вам на поездку к Сергею. Он все эти годы заботился только о нас, и я дала себе слово устроить вашу встречу. Возьмите очередной отпуск и дополнительно отпуск за свой счет и поезжайте на месяц или полтора. А Мику я возьму на это время к себе. Только не ждите церковного венчания, Ниночка: это новостройка, и церкви там, конечно, нет, зарегистрируйтесь и поселяйтесь вместе, иначе ваш брак отложится на очень неопределенное время. Если позднее будет возможность — повенчаются. Мы поставлены в такие условия, что волей-неволей приходится изменять самым заветным традициям.

Нина поцеловала руку Натальи Павловны с тем покорным видом послушной девочки, который она принимала в этом доме.

— Надо мной ведь еще дамоклов меч, — сказала она, — если в ОГПУ дознаются, кто Олег, они дадут мне пять лет лагеря, а его... Его прямым сообщением на тот свет.

— Мне кажется, что со стороны Олега Андреевича было несколько неосторожно поселиться у вас и открыто встречаться с вами, — задумчиво сказала Наталья Павловна. — Этим он навел ОГПУ на след...

— Может быть, но видите ли, он уже с двадцать второго года Казаринов, и до сих пор все в этом отношении обстояло благополучно. Я не могу винить его, что он разыскал меня, — мой Дмитрий, умирая, ему говорил: «Нина... ребенок... Нина» — как будто нас ему поручал. Когда же Олег узнал, что ребенок мой скончался, а я невеста Сергея, он хотел уйти, но куда? Наталья Павловна, куда? Такие тиски, такие препятствия со всех сторон!

Тихие шаги послышались за ее креслом.

— Ася, ты, деточка? Ты уже вернулась?

— Да, бабушка. В церкви народу было так много, что тете Зине дурно сделалось. На улицах какие-то люди останавливают богомольцев, и тетя Зина говорит, что завтра нельзя будет нести огонек от двенадцати евангелий. — Минуту помолчав, она тихо спросила: — Вы про Олега Андреевича говорили?

— Да. — И Нина бросила на девушку внимательный взгляд.

— Скажите, что он вам рассказывал про лагерь? Его там очень... очень мучали? — и голосок Аси дрогнул.

— Он неохотно рассказывает, но кое-что все-таки говорил. Знаю, что грузил дрова, стоя по пояс в воде по десять часов, конечно, всегда впроголодь... Там, кроме того, чрезвычайно жестокая система наказаний — деревянные срубы без окон и дверей, куда запирают на ночь провинившихся без верхней одежды в самые лютые морозы. Да, да! Поверить трудно, но это так! Он сам это испытал два раза. Запирают, да еще приговаривают: «Вам не нравится власть советская, так вот отдайте власти соловецкой!»

— В чем же провинился Олег Андреевич? — спросила Наталья Павловна.

— Один раз, когда они шли строем на работу, старый мужчина, шедший перед Олегом, выронил какую-то бумажку. Олег поспешил поднять и вручить ему. Разом подняли свист и тревогу — конвойные вообразили, что они обменялись секретными сведениями, и затевается побег. Всех тотчас окружили и обыскали, и хотя ничего не нашли, засадили на всю ночь Олега и старика.

— Ужасно, — сказала Наталья Павловна.

Ася молчала.

— Другой раз при нем поволокли в карцер женщину, — продолжала Нина, — тоже политическую. Только она была бывшая революционерка, еврейка. Она кричала: «Мы не за это боролись! Вы — узурпаторы революции! Вы жестокостью давно превзошли царских жандармов!» Тогда они, чтобы заставить ее замолчать, навалились на нее, зажимая ей рот. Тут несколько мужчин из заключенных, в том числе Олег, бросились на ее защиту. Получилась потасовка. За это им прибавили по полтора года каждому.

— А еврейка? — обрывающимся голосом спросила Ася.

— С тех пор как в воду канула. Расстреляли, наверное.

Несколько минут все молчали.

— Я этих лагерей как огня боюсь! — продолжала Нина с остановившимися глазами, полными ужаса. — Спасибо, что Сергея миновал этот жребий.

— Когда же выпустили Олега Андреевича? — спросила Наталья Павловна.

— В прошлом году, в октябре. Месяц он проработал там же вольнонаемным, чтобы собрать хоть немного денег на дорогу, а потом в течение двух месяцев добирался сюда. Дорогой окончательно измучился — приходилось идти огромные расстояния пешком по тракту. Там, около Кеми, в ноябре уже зима, от деревни до деревни много верст, одежды теплой у него не было, а крестьяне не хотят пускать на ночлег — принимают всех прохожих за беглых лагерников и боятся отвечать за укрывательство. Видно, тоже напуганы. Один раз даже комический случай был: в одно село Олег вошел ночью, никто не хотел пускать в дом, гонят от ворот, даже камни бросают, как в собаку. Он показывает им бумагу, что освобожден, а они неграмотны, прочесть не могут, а верить не хотят. Он страшно прозяб и изголодался, говорит: думал, что упаду тут же на улице. С отчаяния стал разыскивать отделение милиции. Все село спит, ворота на запоре, сугробы... Вдруг его кто-то хват за ворот — стой! Откуда взялся? Предъявляй документы!

Милиционер! Олег обрадовался ему, как другу: вас-то, говорит, я и ищу! Ну, взяли его на ночь в часть, усадили у печурки и даже чаю горячего дали. Добрые милиционеры попались. В другой раз он на одном переходе волка встретил. Волк был, по-видимому, такой же голодный и полуживой, как сам Олег, — тащился сзади, а нападать не решался. Олег хромал — у него от негодных сапог нога была стерта, а волк тоже припадал на лапу — из капкана, что ли, вырвался. Олег рассказывал: «Я иду, да время от времени обернусь и посмотрю на приятного спутника, а он остановится и тоже уставится на меня — лягнет зубами да слюну проглотит: дескать, рад бы съесть и уже съел бы, да маленько опасаясь — силушек не хватает».

— Чем же это все кончилось? — спросила Наталья Павловна.

— Олег набрел, к счастью, на дубину, которая валялась на снегу. Он замахнулся ею и заулюлюкал поохотничьи. Волк убежал, но представляете ли вы себе, в каком виде Олег вернулся сюда после таких удовольствий? А здоровье уже не то, что было: у него ведь в боку осколок. Участковый врач хотел положить его на операцию, да он не захотел.

— Почему же не захотел? — спросила Ася.

— Говорит, что зарабатывать нужно, говорит, что здоровье его никому не дорого... Мне иногда кажется, что он близок к тому, чтобы покончить с собой. Он однажды уже делал попытку застрелиться... К счастью, неудачно.

Ася перехватила ее руку:

— Стрелялся?

— Да. Это было примерно на Рождество. Револьвер дал осечку. Я выкрала после этого его револьвер и забросила в Неву.

— Но ведь он может еще раз... иным способом... может как-нибудь иначе!

— Этого боюсь и я. В офицерстве это и всегда было распространено, а при таких условиях...

— А почему он перестал бывать у нас? — и щеки Аси запылали.

— Он считает свое общество опасным и не хочет подводить друзей. На днях его вызывали в ОГПУ — по-видимому, заподозрили неподлинность его документов. Пока туча прошла стороной, но...

Часы на камине пробили десять.

— Ася, твоя ванна, наверно, уже готова, простись с Ниной Александровной и иди, — сказала Наталья Павловна. — Она не будет сегодня ужинать с нами, Ниночка, — она завтра причащается.

Ася подошла к Нине и обняла ее за шею, прощаясь.

— А сегодня... сейчас он ничего над собою не сделает? — прошептала она дрожащими губами.

Утром Ася стояла в церкви в ожидании причастия. Ее глаза смотрели вперед, на алтарь, за которым только что таинственно задернулась завеса. Она только что исповедалась, но ей казалось — мало.

«Господи, прости меня! Я знаю, я очень дурная! Я ленюсь помогать мадам и так часто оставляю ее одну возиться и в кухне, и в столовой. Я совсем бросила штопать чулки — все одна мадам. Я и к бабушке недостаточно внимательна — часто она грустит у себя в спальне, а я хоть и знаю, да не иду, если книга интересная или на рояле играть хочется. Иногда бывает, что я целый день даже не вспомню о дяде Сереже. Я раздражаюсь на Шуру Краснокутского, а он так любит меня, так всегда терпелив и бережен. Я слишком много смеюсь, а кругом так много несчастий. Я люблю наряды и постоянно мечтаю о новом платье или новых туфлях. Прости меня, Господи! Вот опять ектенья... Это за усопших! Спаси, Господи, души мамы моей Ольги с отроком Василием. Воина Всеволода, убиенного, и папиного денщика воина Григория —

убиенного! Какой он был хороший и добрый! Никто лучше его не умел надуть мне мяч. И дедушку, и всех воинов, и ту бедную еврейку, которая так храбро кричала в лагере... Упокой их всех со святыми... И мою собачку умершую — мою бедную Диану, она была вся любовь! За животных тоже можно молиться, я уверена. Ведь говорит же Христос, что ни одна из птиц не забыта у Бога. Вот опять отодвигают завесу... Сейчас запоют «Херувимскую». Ах, если бы спели Девятую Бортнянского — это совсем небесная музыка, точно слышишь шорох ангельских крыльев, какие Врубель нарисовал царевне Лебеди. Ангелы должны быть в куполе — вон там, высоко, где солнечные лучи. Это туда подымается каильный дым. Шорох ангельских крыльев... Я напишу когда-нибудь увертюру и назову ее так. Там будет слышаться вот этот шорох и неземные голоса. Если бы я сидела сейчас за роялем, я бы начала сочинять. Во мне уже забродило... Сколько света под веками, когда закроешь глаза, и кажется мне, Господи, что Ты меня слышишь, или кто-то из Твоих Святых... Господи, спаси Олега Андреевича! Светлые, чудные гении, помогите совсем исстрадавшемуся человеку! Не дайте ему погубить себя, остановите! Неужели никто не придет ему на помощь? Человек, который молится, сам должен быть готов сделать все. Ну, что ж, пусть берет всю мою жизнь, я не боюсь, совсем не боюсь «безнадежного пути». Только бы он не бросился в Неву или под трамвай. Надо на что-то решиться... Как мне поступить? Написать? Я напишу сегодня, сейчас напишу!»

Отпели «Отче наш» и «Ектенью», причастники стали подвигаться к амвону.

«Сейчас!» — говорила себе, дрожа от ожидания, Ася.

Она расстегнула ворот темного синего жакетика, перешитого из английского костюма Натальи Павловны, и вытащила наружу отложной воротничок белой блузки, поправила на шее медальон с портретом отца и сложила на груди руки крест-накрест.

«Господи, прими меня причастницей и мою запричастную молитву: спаси Олега! Я причащаюсь за него! Я не знаю, можно ли это, но для Тебя, Господи, нет ничего невозможного. Пусть вся Твоя благодать и радость прольются в его душу! Помоги мне спасти его!»

Отдернулась таинственная завеса, открылись Царские врата. Вместе со всеми она опустилась на колени и, повторяя за священником шепотом предпричастную молитву, меняла местоимения «мя» и «мне» на имя Олега. Потом тихо пошла за другими к Чаше.

Ближе! Уже совсем близко! Сейчас прольется на нее из алтаря та чудная свежесть, в которой веянье рая. Ей вспомнились строки:

Не из сада ли небесного ветерки сюда повеяли?

Прямо в душеньку усталую, прямо в сердце истомленное!

За ней кто-то пробирался и задевал ее. Она обернулась и увидела безногого калеку — очевидно, старого солдата, — в петлице у него висел Георгиевский крест. Солдат полз, двигаясь при помощи рук. Она смиренно посторонилась, чтобы пропустить его.

— Ксения, — ответила она перед Чашей. «И Олег», — добавила она мысленно.

Причастившись и выпив теплоту, она вышла из потока тихо передвигавшихся причастников и отошла в сторону. В кармане нашелся карандаш и листочек бумаги. Она прошла в конец храма и села на ступеньку у подножия иконы, пока в церкви продолжал струиться не прекращающийся поток причастников. Она быстро написала несколько слов и сложила записку.

Неподалеку от Аси остановились две пожилые дамы в старомодных накидках и шляпках. Одна — Вера Михайловна Моляс, жена бывшего камергера, находящегося ныне в Соловках. Другая — дочь генерала Троицкого, Анна Петровна. Она осталась с двумя детьми младшей сестры, которая была взята в

концентрационный лагерь по той только причине, что муж ее был морской офицер, белогвардеец и эмигрант. Дамы делились горестями. Моляс, грассируя, жаловалась на ужасное безденежье, а в печали старой генеральской дочки проблеснула гордость: бедствуя с двумя детьми, она не продавала и как святыню хранила доставшиеся ей от отца трофеи — турецкие малахитовые полумесяцы, снятые со стены Плевны и поделенные в свое время русскими генералами, бравшими крепость. Но в коммунальной квартире можно ли уберечь что-нибудь? Соседи выкрали ее полумесяцы и продали их на барахолке.

— Я снесла бы их в музей, если бы знала, чем кончится! Ведь это память о славе русского оружия. Ах, нынче русские потеряли всякую любовь к своему прошлому! — и она прикладывала платок к глазам.

Ася услышала, как Анна Петровна сказала Вере Михайловне:

— *Voila la fille du colonel Bologovskoy, qu'on a fusille a Crimee. Elle est charmante, cette orpheline!*[\[47\]](#)

Ася подошла поздороваться. Когда старые дамы прошли к причастию, она вернулась к своим думам, ей хотелось скорее пойти на почту, купить конверт и отправить письмо, но она знала, что нельзя уходить, пока не отнесут в алтарь Чашу, и ждала. «Завтра вынос Плащаницы, — думала она, — будут петь «Разбойника» и «Даждь ми Сего странного». Какие прекрасные напевы! Даждь ми... Господи, даждь ми Олега! Даждь ми сего странного, иже не имеет, где главу преклонити...»

Мимо нее прополз, отталкиваясь от пола руками, искалеченный солдат, она сунула ему три рубля, проговорив:

— С принятием святых тайн, солдатик.

— Спасибо, добрая барышня! И вас тоже, — ответил он.

Вот, наконец, осенив толпу высоко поднятой Чашей, священник унес ее в алтарь. Вместе со всеми она склонила голову, затем протеснилась к двери и как коза помчалась по улице.

## Глава двадцать седьмая

Солдат, прощавшийся с Асей, долго не покидал храм, а все переползал от иконы к иконе. «Отпусти мне грехи мои, Господи, — шептал он перед Распятием. — Знаю я все окаянство мое, ох, грешен я! Но за убожество и за скорби мои прости меня, Господи! Ибо ведаешь ты, сколько намаялся я, калека, без семьи, без дома, без лишней копейки. Все это Тебе, Господи, ведомо, за то и не внидешь Ты в суд с рабом Твоим». Он с грустью смотрел, как люди из церкви домой торопятся, каждого хозяйка ждет, детки или другие родичи, а он, убогий, как перст, и нет на земле человека, который бы пожалел его или порадовал чем к празднику. Кабы он только одну ногу потерял, мог бы еще жить припеваючи. Да видно, лютое горе — как привяжется, и конца ему нет. Была бы жива его Аленушка — не посмотрела бы она, сердечная, что он, аки червь, по земле пресмыкается, не погнушалась бы — еще пуще бы его пригревала и жалела, оттого, что сердце золотое ей Господом в грудь было вложено. Да ведь Господь дал, Господь и взял! Со святым она, поди, радуется теперь на небесах, может, и на него другой раз глазком взглянет: как это, дескать, Ефим мой мытарится? «Погляди, погляди, Аленушка, да помолись за меня святым, чтобы мне Господь по скорости даровал кончину мирную, непостыдную и упокоил в месте злачном, да с тобой сподобил встретиться, — гостьюшкой желанной мне тогда смерть покажется!»

«Помяни, Господи, усопших! — шептал он перед кануном. — Жену мою Алену и сынов моих, иже без вести! Помяни родителей моих Симеона и Авдотью и полковника моего Константина, раба Твоего! Помяни и благоверного императора нашего Николая, убиенного со чадами, и всех моих товарищей-однополчан. Как начнешь припомянуть, все-то уже, вон на том свете! Пора бы и мне...»

Церковь опустела, он все не уходил.

На трехрублевку, что дала барышня, он решил купить себе чайку, заварить крепенького да горяченького, побаловать грешную душеньку. Добрая барышня! По всему видать, из бывших — генеральская или полковничья дочка. Пожалела солдатика — за Егория, видно, дала. Из себя-то больно пригоженькая — беленькая, как сахар, и вся этакая тонкая, куколка-фарфорка, а ресницы — что покрывало. На смотрах он, бывало, в каретках таких барышень видел, а теперь и нет таких. Царскую дочку Татьяну Николаевну она ему малость напомнила. Как живая, покойница у него перед глазами, какой подходила к нему христосоваться в Светлое Воскресенье. Полковник — его превосходительство Константин Александрович — в первый ряд роты его тогда поставил: знали, что он поведения смиренного и собой ладный — не стыдно показать. Был ведь и он не из последних — было времечко. Пожалуй, ему и на судьбу роптать грешно, когда сама вот великая княжна пристрелена или придушена в двадцать лет! Упокой, Господи, ее душу! Россию любила: за царевича румынского сватали — не пошла! Хочу русской остаться! Вот и осталась: вместо царского венца — могилка, да, почитай, и могилки-то нет. Ох, грехи наши, грехи тяжелые!

Сторожа пришли затворять церковь, и волей-неволей он заковылял к выходу.

— Никак Ефим Семеныч! Ты, земляк? — окликнул его пожилой, со степенной осанкой мужчина, стоявший около церковного ящика.

Он узнал в нем своего однополчанина и соседа по деревне, с которым видался время от времени. Обменялись несколькими фразами.

— Вот и я сподобился приобщиться. Пойдем ко мне, Ефим Семеныч. Моя жена с чайком поджидает, и коржики постные у ней припасены. Чайком с сахаром да с коржиками побаловать себя дозволяется. Пойдем поготорим, вспомняем добрые старые времена.

Разговор и в самом деле то и дело возвращался к старым временам: вспоминали бои с немцами под Львовом и под Двинском, и с большевиками под Перекопом, вспоминали генералов и солдат — даже выпили по рюмочке за их память, вспоминали смотрины и великих княжен и согласились на том, что Россия-матушка нонче «не тая» — ровно подменили. И лета-то бывали раньше теплые, и зимы морозней, и рожь-матушка стояла прежде стеной, не то что нынче, и печки-то горели прежде жарче — видно, дров в них тогда не жалели, и косы-то у девушек были длинней и лучше, и песни протяжней, и блины масляней! А главное, люди веселей и добрее!

— Да, не та нынче Россия, не та! Спортилася. Это все жиды проклятые. Пей чай, земляк, не вешай голову, такая уж, видно, нам с тобой планида выпала.

— Да твоя-то планида, смотришь, еще ничего, Макар Григорьевич. У тебя вот комнатка да жена, дети выросли. Не гневи Господа. Нас с тобой и равнять нельзя.

— Дети? Эх, земляк, не знаешь ты наших семейных делов — знал бы, не сказал. Как уходил я в германскую на фронт, Егорке моему еще шел тринадцатый годок. А в двадцатом году при взятии Феодосии довелось мне с им повстречаться. Гонят это нас красные на разоружение да переформировку. Гляжу: никак, мой парнишка? Точно, он! Идет с винтовкой в красноармейской шинели и шапке, да статный, пригожий такой, нас окарауливает. Ну, я его окликнул по-отечески: дескать Егорка, дескать — сын! А он мне: «Тятка! Вот ведь где нашелся! Ишь, развоевался, старый хрыч! Смотри, как бы наш комиссар не велел засадить в тебя малую толику свинца. Вот при товарищах скажу: мне царский унтер-вранговелец — не отец!» Вот оно как натравили-то, понял? С тех пор и не заявляется. А на след напасть нетрудно бы — в нашей деревне мой адрес знают. Это, вишь, сын. Ну а с дочкой друга беда. Поля наша за партийцем уже пятый год. Парень непьющий и на всякую работу горазд, да безбожник первостатейший и к старшему уважения вовсе в ем нет. Дети народились — им прозваний христианских мало показалось, они Кимом сыночка нарекли, а девочку, вишь, Электрофикацей. Ким — это, изволишь ли видеть, коммунистический интернационал или другое что-то коммунистическое. Внучку-то мы с женой потихоньку от родителей в церковь снесли да окрестили, а внучок так нехристом и остался. Кабы мне кто в прежнее время наперед сказал, что у меня внук некрещеный будет, — я бы того человека, кажись, из дому бы вытолкал, не жиды мы и не турки. Не поверил бы я, что возможно такое дело. А что крику и ругани у нас было, как проведали они, что девочку мы окрестили! Насмерть они с нами переругались — с тех пор и глаз не кажут. Жена моя Аграфена Кононовна по полу каталась: «Не хочу, — кричит, бывало, — Электрофикации; Кима твоего, нехристя, с лестницы спущу!» А сердце-то болит; спечет что аль пожарит — сейчас охнет: вот бы внучаток попотчевать! В баньку соберется: ах, внучаток бы прихватить, веничком попарить! Ким! Ах они, безбожники! Ким! И завоет. Опять же и от фининспектора нам покоя нет: я сапожничая, починаю — так он житья не дает, в любой день и час открывай окаянному! Лезет колодки пересчитывать. Налог прислал — думал, не выплачу! Продали женин салоп, самовар да кольца обручальные — рассчитались. «Довольно, — думаю, — пойду-ка лучше на завод». И уж было устроился, так ведь выгнали! Подал я, видишь ли, в союз, проработав положенное время, ну а там, прежде чем принять, собрание актива, и меня, значит, на проверку, да как дознались, что унтер царского времени, пристали: где был в гражданскую, зачем служил в Белой армии? Ты-де изменил рабочему классу. Я служил, говорю, верой и правдой, кому присягнул: рабочим до тех пор я никогда не был; коли вы теперь меня в свою рабочую среду примете, буду и на вас работать так же верно, как служил моему государю. Вы, говорю, по моей царской службе видеть можете, что я не перебежчик и не проходимец, а человек верный. «А зачем сапожную мастерскую держал?» — кричат мне. Дураки вы, дураки, говорю, жить мне чем-то надо? Тут один безусый паренек как вскочит: «За тобой, — кричит, — выступает звериная морда вражьего класса!» Ничего, говорю, за мной не выступает, окромя твоей глупости! Разгалделись они, и пришлось мне брать мое заявление обратно. Ну а ден через пять сократили как враждебный рабочему классу элемент. Снова за сапоги взялся, малость только

похитрей стал: готовую обувь держу в печке али в буфете горохом засыпаю. Всю молодость провоевал — вот уж не думал, что под старость ровно вору какому изворачиваться придется. Опять же и квартира коммунальная — соседка заела. Ни к плите, ни к ванной жену не допускает. «Только сунься, — кричит, — я ваших заказчиков считаю, сейчас фину сообщу!» Что ты тут будешь делать? Вот и сидим тише воды ниже травы. Ночью с боку на бок ворочаюсь: «Господи, — думаю, — кабы я что дурное делал, а то за свой труд такую муку терплю». Отчего ж это раньше ни коммунальных квартир, ни фининспекторов не было? Заработал человек, и слава Тебе, Господи! Захочу — один в целом доме живу, и никто мне не указчик! Да и то сказать, во всех странах, слышал я, памятник неизвестному солдату поставлен, а у нас вот как травят бывших фронтовиков... Да ты что это, Ефим Семенович, так призадумался, что ровно и не слушаешь?

— Дело такое, браток... Посоветоваться мне с тобой, что ли? Своего ума вроде бы и не хватает. Помнишь ты, был у нас в полку Дашков — поручик, сын нашего корпусного?

— Помню, как же! Дмитрий Андреевич, не поручик только, а капитан.

— Э, нет! То старший братец евоный. А этот только из учения вышел, когда к нам в полк прибыл. Мы тогда под Двинском стояли. Я в его взвод попал, коли помнишь, да потом так с ним и провоевал всю немецкую и гражданскую. Ничего, в нашем взводе его любили. Чтобы этак попросту, по-свойски с солдатами — нет, этого за ним не водилось; с нашим братом особенно не якшался, но в обиду своих людей не давал — чинно всегда заступался, а как получит, бывало, посылку из дому, так всегда раздаст половину — и сахару, и табаку, и чаю. И себя не берег, надо правду сказать: на всякое опасное дело вызывался. Говорил: я заколдованный, меня пули не трогают. И в самом деле, четыре года под огнем и все цел оставался. Зато потом и досталось же ему разом. Наш взвод без шапок стоял, как укладывали его на носилки. Думали, помирает. У него в денщиках был Василий Федотов. Он его на руках в часть принес — в секрете они, что ли, были? Ты Василия помнишь?

— Помню! Рубаха парень! Он, говорят, в лагеря исправительные попал, да там и сгинул. Ну, так чего ты начал про поручика?

— А вот, видишь, месяца этак три тому назад в самые лютые морозы повстречал я его благородие на улице. Подивился, завидевши: я его в «заупокой» поминаю, а он жив, оказывается! Шинелишка заплатанная, сам — краше в гроб кладут. Тоже, поди, из лагеря — ведь их, господ офицеров, хватают безо всякого сожаления: вы-де оплот старого режима, а этот еще генеральский сынок. Ну, постояли, поговорили, да и разошлись в свою сторону. А вот теперича... — и солдат рассказал про Злобина и его настойчивые расспросы. — Сдается мне, что выслеживает доктор моего поручика. Нашел меня в больнице, заговорил о том, о другом, и опять норовит свернуть на поручика. Адрес мой спросил, на дом заявился, выложил на стол сто рублей и опять на то же поворачивает. А теперича вон что выдумал: послезавтра, в Великую Субботу, должен это я в полвосьмого как из пушки явиться на Моховую улицу к воротам дома тринадцать. Там меня посадят у стенки. Ровно в восемь выйдет из подъезда человек, агент ихний, остановит его и попросит закурить, а я должен глядеть в оба и после отлепортовать, кто этот человек — поручик ли Дашков али кто мне незнакомый. Хорошо, коли нет, а коли и в самом деле окажется поручик Олег Андреевич, как бы мне Иудой перед ним не выйти? Почем знать — может, он скрывает свое имя? Он просил меня никому о ем не сказывать, а я вот по дурости своей сболтнул доктору, да не в добрый час, видно, сболтнул и не доброму человеку. Спервоначалу я думал, может, приятели они с доктором, что он этак разыскивает поручика, да теперь выходит, что-то не то, не тем пахнет! Что скажешь, Макар Григорьевич?

— Скажу тебе, дело дрянь. Беспременно выслеживают. Ничего другого и быть не может. Услышал от тебя, что знаешь в лицо, ну и пристал. Советую тебе, браток, выходить из этого дела, а то и в самом деле предателем соделаешься. Сегодня вон об Иуде в церкви читали... Теперича у нас шпики этих самых до



черта развелось. Деньги, говорят, зашибают большие, за то и творят дела. Видно, и доктор твой из таких же. Посулил чего?

— Для начала — место на койке и хороший санаторий. Подлечим, говорит.

— Ну, это для начала, а там подговорит пособлять ему, и из трясины этой ты ввек не выпутаешься. Берегись, браток! Не дело для старого солдата выдавать боевого товарища — генерал ли, солдат ли, поручик ли — все едино.

— Вестимо, не дело, я про то и толкую. Сегодня, как подходил к Чаше, меня ровно что толк в сердце: к Святым Дарам подходишь, а завтра будешь человека губить? Ему же никак не больше тридцати; почитай, жена, дети маленькие... К тому же и по книге моей, как на него раскрою — сейчас выходит насильственная кончина. Никак нельзя выдавать, да еще в Великую Субботу — ни в жисть не соделаюсь Иудой. Как бы мне только половчей все это спроводить? Вовсе к ним не пойтить — завтра же явится каналья доктор и снова начнет нудить.

— А ты пойдя, отлепортуй: явился, мол. А потом говори: не знаю и не знаю этого человека. Как они тебя уличат? Легко, что ль, в оборванце узнать офицера, да еще десять лет спустя?

— Ладно, так и сделаю. А уж без санатория обойдусь. Только б он сам не заговорил со мной. Спасибо, браток, что поддержал ты меня на добром решении. Не пора ли нам к двенадцати евангелиям собираться?

## Глава двадцать восьмая

— Нет уж, в школу ты не суйся! — кричит Мика. — Мне и без княгинь достается, а ты, с твоими ухватками, — только покажешься, так мне и вовсе житья не будет! Оставайся лучше дома, ваше сиятельство!

Натянутые нервы Олега не выдержали, он выскочил в коридор:

— Мика, иди сюда! — И втащил мальчика в комнату. — Ты как смеешь издеваться над сестрой и трепать с таким пренебрежением наше имя и титул? Разве что-нибудь позорное в ее браке? Она вышла по любви за благороднейшего человека, который отдал жизнь за Родину! А вырастить тебя ей было легко? Другая на ее месте давно бы отправила брата в детский дом — посмотрел бы я на тебя тогда! Ты непомерно неблагодарен и дерзок! Если я еще раз услышу что-нибудь подобное, ты получишь от меня, Мика, такую затрещину, что своих не узнаешь! Хочешь на кулачки? Ты, кажется, воображаешь, что у меня сил нет? Да я справлюсь с двумя такими, как ты!

— Олег, успокойтесь! Что с вами? — твердила испуганная Нина. — Уверяю, что эти издевки только по моему адресу: он не хочет допустить меня переговорить с учителями, а между тем к нему настолько несправедливы, что пора уже вмешаться кому-нибудь.

— Нина не хочет понять, что сделает только хуже, — запальчиво сказал Мика. — Они занижают мне отметки, а на мои возражения откровенно заявляют: «Не делать же первым учеником княгинино брата!», или: «А крест на шее не носишь?»

— Это говорят педагоги? С кафедры? — перебил Олег.

— Педагоги. Чаще всех политекономша и физик.

— Это возмутительно! — воскликнул Олег. — Разрешите, Нина, мне пойти к директору, я заставлю его ответить мне прямо: есть ли распоряжение сверху, из РОНО, травить мальчика за происхождение и родство? Посмотрим, что он ответит. Если будет необходимость, пойду и в РОНО.

— Не знаю, удобно ли... В качестве кого же вы пойдете? Родственником вы называться не можете...

— Как хотите, я не настаиваю.

— Вы лучше скажите Нине, чтобы она сама-то меня не грызла. Сколько мне от нее достается за крест! — сказал Мика.

— За крест, от Нины?!

— Ну да! Она каждый день приступает ко мне то с просьбами, то с угрозами, чтобы я снял его с шеи.

Олег повернулся к Нине, которая сконфуженно бормотала, что хочет оградить от неприятностей Мику.

— Не мешайте мальчику, Нина, остаться честным перед самим собой. Нельзя же всем до одного измелывать и исподличаться.

Это было во вторник, на Страстной. Вечер вторника и среду Олег провел в одних и тех же мыслях. Он решил, что не будет ждать нового приглашения от Нага. Вечер в парке в Царском Селе представлялся ему непременно ясным и тихим. Там серебряные ивы и вековые дубы напоминают Залесье; он пройдет под ними спокойно, совсем спокойно, гуляя. Никто его не увидит, не будет торопить... Надо только дождаться пятницы, чтобы получить зарплату и оставить ее Нине.

В четверг вдруг замучили воспоминания. Они шли, как морская волна, одно за другим — придет, подержит на гребне и отхлынет... Почему-то с особенной силой вспоминалось раннее детство — прогулки в

Залесье, ласки матери, приготовления к Пасхе, игры, шалости... Несколько раз его мысль возвращалась к тому, как дорого стоило его рождение матери: боясь повредить младенца, она отказалась от наложения щипцов после тридцати шести часов мучений, когда все окружающие уже отчаялись в благополучном исходе... А он вот теперь собирался прекратить эту жизнь, данную ему с такой любовью!

В пятницу Олег получил, наконец, зарплату и собирался уйти пораньше. Моисей Гершелевич назначил производственное совещание в своем кабинете, но Олег на виду у всего правления, собиравшегося в кабинете шефа, пошел к выходу.

— Казаринов, вы куда? Попрошу остаться! — начальственно окликнул его Моисей Гершелевич.

— Куда вы, товарищ? — окликнула его другая портовская шишка.

Олег обернулся на них, и вдруг на него нашло озорство: «Нате, скушайте!» — подумал он и сказал громко:

— Куда я тороплюсь? Да ведь сегодня Страстная Пятница — хочу приложиться к Плащанице! — И оглянул всех, точно желая увидеть, не сделаются ли корчи с этими жидками-азиатами и отступниками из русских.

Корчей не сделалось, но лица у всех вытянулись и глаза опустились. Караул — не знают, как реагировать. Олег усмехнулся, оглядывая их. Оригинальное для советского служащего состояние! Он осмелился им напомнить о большой тысячелетней культуре старой России, которую они ненавидят и желали бы вовсе вычеркнуть из памяти. Когда-то для всех русских этот день был единственным и неповторимым в году.

Он просто так сказал про Страстную Пятницу, чтобы их побесить, но пока он ехал в трамвае, мысль о вынесенной на середину Храма Плащанице, украшенной живыми цветами, окруженной горящими свечами и толпой молящихся, настойчиво встала в центре его сознания. Он не был у Плащаницы все те же десять лет, роковые в его жизни, и сейчас решил зайти в храм.

Поразительная картина ждала его около церкви, ему еще не случалось наблюдать ее, так как все последние годы он провел вне города. Вдоль всей церковной ограды к дверям храма вилась очередь! Пожилые интеллигентные мужчины, простолюдины, бабы в платочках, дамы в туалетах от Вога и Брисак — тех, что были модны пятнадцать лет назад, — все серьезные и тихие, терпеливо стояли под медленно накрапывающим дождем. Мужчины почти все стояли с обнаженными головами — даже те, которым было еще далеко до церковных дверей. Это та Русь, которая не дала за полтора десятилетия изменить себе и лицо, и сердце. Олег тотчас уяснил себе, в чем тут дело: ведь в этом огромном городе осталось 11 церквей. Он поспешил занять место в очереди и подумал, что если бы он был неверующим, то встал бы ради этого молчаливого протеста. Торжественная тишина ожидания сообщилась его душе, и сонм воспоминаний опять закружился в сознании. В детстве у него был хороший голос, и в корпусе он был отобран в хор кадетской церкви. Он вспомнил, как на Страстной пел в стихаре трио в середине храма. Да исправится молитва моя! Какие они были тогда еще невинные, все три мальчика — херувимы у подножия рафаэлевской Мадонны! Фроловский выносил в тот день свечу из алтаря, тоже в стихаре и с самым благоговейным видом, но это не помешало ему вечером того же дня, заманив Олега в пустой класс, наговорить ему всевозможных вещей по поводу того, откуда берутся дети... Теперь Олег мог только улыбнуться на свою растерянность в те дни...

Когда после часового ожидания подошла его очередь, он не осмелился коснуться священного изображения и приник к нему лишь наклоненным лбом...

Дома он прежде всего запечатал письмо, которое приготовил для Нины накануне: «Дорогая Нина, я не вернусь — так будет лучше для всех вас. Я не вижу ни цели, ни смысла в своем существовании.

Простите, если огорчаю вас. Думаю теперь, что мне было бы лучше вовсе не появляться — этим я избавил бы вас от многих тяжелых минут. Не упрекайте себя — вы сделали для меня все, что могли. Вы найдете в ящике стола мою зарплату — пусть это будет для Мики на лето, за вычетом долга Н. С. Ваш Олег Дашков». Запечатывая письмо, он думал:

«Бросив письмо в ящик, я отрежу этим себе дорогу к отступлению». Впрочем, он не видел в себе колебания — посещение церкви лишь освежило душу, но не изменило решения. Он взглянул последний раз на комнату. Стал шарить по карманам. Веревка здесь. Так. Денег на обратную дорогу не нужно — эти два рубля лишние, он прибавил их к Микиным. Авторучку тоже оставил Мике, портрет матери взял с собой — вместо иконки. Вошел Мика:

— Наши последние школьные новости: в Светлое Воскресенье мы обязаны с десяти до двенадцати утра ходить по квартирам собирать утиль и это уже третий год подряд такая история! Нарочно, конечно, чтобы вырвать нас из домашней обстановки и испортить нам праздник! Ну, да мы в этот раз устроили им хорошую штуку — я и мой товарищ Петя Валуев, — мы написали в классе на доске крупными буквами: «Товарищ, становись сознательным ослом, иди собирай металлолом!» Что тут поднялось: шум, крики, комсомольское собрание, негодующие речи... Пионервожатая из кожи вон лезла: как так?! Кто посмел издеваться? Контрреволюция! Черносотенцы, белогвардейцы, сыскать!

Нина, вошедшая вслед за братом, хоть и смеялась, но спросила с тревогой в голосе:

— А не дознаются? Никто не выдаст?

— Никто не видел, а буквами мы написали печатными.

Олег ждал, когда они уйдут. А Нина, как нарочно, спросила:

— Вы куда это собрались, Олег?

— Я? За город.... Хочу подышать воздухом, — ответил он.

Они заговорили снова и все не оставляли его. Наконец, Нина пошла к двери.

— Прощайте, Нина! — воскликнул он тогда с неожиданным для себя волнением.

Она быстро обернулась и тревожно взглянула на него.

— Я вернусь, когда вы уже ляжете, — поспешил он прибавить и поцеловал ей руку.

Она вышла, вышел, наконец, и Мика. Ему он не сказал даже «до свидания», боясь возбудить подозрение. Оставшись один, тотчас схватил портрет и остановил глаза на прекрасном лице. «Видишь ли ты сейчас своего сына? Если ты не хочешь, чтобы я попал в темноту, — соверши чудо! А так я больше не могу». Если он ощущал идею бессмертия, то только через ее любовь, через мысль, что эта любовь не могла исчезнуть, прекратиться. Ее возвышенная душа оставила после себя неуловимый след — чистую струю, которой он иногда умел коснуться внутренним напряжением. И вот это, неясное, но сильное ощущение не давало ему разувериться в истине бессмертия. Нечто похожее показалось ему в этой девочке, в Асе, — она тоже словно бы освещена изнутри...

Он вынул портрет из рамки, надел шинель, взял конверт, адресованный Нине, и двинулся к двери. Теперь все уже было готово, обречено, назначено: только доехать, да выбрать дерево — два часа жизни! Чудес в наши дни не бывает, и ничто уже не спасет его!

В дверях он столкнулся с Аннушкой:

— Письмо тебе, — сказала она.

— Повестка, вы хотите сказать? — поправил он, переносясь мыслью к Нагу.

— Да кака така повестка? Письмо говорю, сейчас из ящика вынула. Бери вот.

Он взял письмо в недоумении: от кого? Почерк был незнакомый и как будто несколько детский... Перед его фамилией стояло большое «Д», вычеркнутое, и уже после было поставлено: «Казаринову» — стало быть, писал кто-то, кто знал тайну его происхождения... Он разорвал конверт.

«Я вам пишу в церкви. Я только что причащалась. Сейчас поют «Тело Христово примите», а я сижу на ступеньке и вот пишу. Я за вас молилась и поняла, что необходимо скорей открыть вам одну тайну: я не боюсь «безнадежного пути» — вот эта тайна! Ваша Ася».

Он стоял с этим письмом неподвижно... Что это? Ведь это как раз то спасение, о котором он только что мысленно просил у матери. Иначе отчего именно сегодня, сейчас написала ему письмо эта девушка? Ведь она же не могла знать, что он задумал, или все-таки знала, чувствовала, уловила в воздухе?

Ее душа живет «слишком близко», совсем снаружи, ее душа — эолова арфа, ее душа — тончайшая мембрана! Задержись это письмо на несколько минут, пролежи лишнюю секунду в ящике, и он бы ушел из дому, и все было бы кончено... Это — чудо, это в самом деле чудо, что его все-таки остановили, задержали, спасли в самую последнюю минуту. Кто-то оттуда сверху, стало быть, оберегает и защищает его от преступного шага к самоубийству. В этом письме был призыв к жизни, оно было обещанием любви, в нем был порыв, нежность и все та же очаровывающая его чистота — «Ваша Ася». С бесконечной нежностью смотрел он на эту подпись, которая обещала ему все те радости, по которым так тосковала душа!

Все знали, что он на грани отчаяния. Но день и час угадала одна, и руку помощи протянула она же!

Убивать себя сейчас было бы подлостью. Спрятав письмо в карман, он бросился из дому, вскочил на ходу в трамвай, выскочил тоже на ходу, едва не попав под колеса огромного грузовика, и вбежал в знакомый подъезд. На звонок отворила Ася. Она была в хозяйственном переднике поверх юбки и блузки — очевидно, занята пасхальной стряпней.

— Вы? — воскликнула она и умолкла; он тоже молчал, дыхание у него захватило... Она отступила из передней в гостиную, он вошел за ней и огляделся: они были одни в комнате, залитой светлыми весенними сумерками. Он упал на колени и обхватил руками ее ноги.

— Милая, чудная, дорогая! Ася, я люблю вас!

— Люблю и я вас, — прошептала она.

— Вы будете моей женой?

Она молча кивнула и стала теребить его волосы. Он опять прижался лицом к ее ногам.

— Слишком, слишком много счастья после этой мертвящей пустоты! Ведь у меня никого, никого не было!

На пороге показалась Наталья Павловна. Олег стремительно вскочил с колен.

— Наталья Павловна, я только что сказал Ксении Всеволодовне, что люблю ее, и просил быть моей женой. Я, может быть, должен был сначала обратиться к вам, но все вышло непредвиденно... Я прошу у вас ее руки...

Наталья Павловна опустила в кресло. Ася приподняла руки, которыми закрыла лицо, и взглянула из-под них на бабушку.

— Подойдите оба ко мне, — сказала Наталья Павловна.

Они подошли.

— Наталья Павловна, я знаю, что это очень большая дерзость — добиваться такого сокровища, как

ваша внучка. Я в моем положении не должен был решаться на это — я почти обреченный человек. Но я безумно ее люблю...

Ася молчала и только припала головой к груди Натальи Павловны, опустившись на колени около ее кресла. Наталья Павловна стала гладить ее волосы.

— Я рада, что вы ее любите, Олег Андреевич. Я знаю, что вы благородный человек. Не доказывайте мне, что вы плохая партия: я не знаю, кто может считаться теперь хорошей партией для моей внучки. Вы должны понимать, что я не хотела бы увидеть рядом с ней партийца из пролетариев или еврея, а люди нашего круга — все не уверены в своей безопасности, и один Бог знает, чья очередь придет позже, чья раньше. Будем надеяться, что Бог смилуется над вами ради этой малютки: она в самом деле сокровище.

Мадам, вошедшая в комнату с какими-то рассуждениями по поводу творога, положила конец этому разговору: увидев Олега и Асю на коленях около кресла Натальи Павловны и ее — обнимающей их головы, она наполнила комнату восклицаниями и поздравлениями, причем ее доброе лицо все сияло от радости. Она, по-видимому, уже рисовала себе в воображении, что в недалеком будущем, как только la restauration [48] завершится, Олег водворит Асю в особняке предков и представит ее ко двору.

Заговорили о том, когда назначить свадьбу. Ася, вырвавшись из объятий мадам, закружилась по комнате, напевая на мотив арии из «Дон Жуана»:

— Очень не скоро! Очень не скоро! Очень не скоро! Очень не скоро!

— Как не скоро? — с отчаянием воскликнул Олег. — Не огорчайте меня, Ксения Всеволодовна! Если вы назначите слишком далекий срок, неизвестно, доживу ли я!

— Mais taisez-vous, dons, monsieur! [49] — замахала на него руками француженка.

Ася приостановилась и взглянула на него с внезапной серьезностью:

— А мне еще немножко с бабушкой пожить хочется! Ведь видеться мы будем каждый день — чего еще нужно?

И закружилась снова; косы ее и передник развевались по комнате. Наталья Павловна сохраняла вполне спокойное выражение лица, но француженка, гордясь тем ореолом невинности, которым сумела украсить воспитание Аси, как на дрожжах поднималась.

— C'est un tresor, monsieur, voyez-vous? Un tresor! [50] — повторяла она, сияя.

— Согласен с вами! — ответил он, следя восхищенными глазами за кружившейся девушкой.

Наталья Павловна предложила сделать свадьбу перед отпуском Олега, с тем, чтобы они могли поехать куда-нибудь вместе. Олега оставили пить чай, к которому, точно по заказу, явились Нелидовы. Зинаида Глебовна со слезами поцеловала Асю, повторяя:

— Как бы счастлива была сейчас твоя мама!

Но в карих глазах и хорошеньких губках Асиной кухни можно было заметить недоумение: «Странно, что Ася, а не я! Ведь я же интересней — это все говорят! У меня каждая прядь волос отликает по-своему и все волосы в локонах, а у Аси прямые, у меня родинка, как у маркизы, и еще... Это все виноват Сергей Петрович со своим «не лижи чужих сливок». Ну, да не беда — я теперь буду умнее: остальные все будут мои!» Ася, очевидно, смутно что-то почувствовала. Она оттащила сестру в угол и, точно извиняясь, шепнула:

— Знаешь... я не виновата... я очень его жалела и молилась о нем сегодня... оттого все вышло!

## Глава двадцать девятая

Затворившись у себя в этот вечер, Ася, уже раздетая, опустилась на колени на коврик у постели. О, что за день! Он весь был полон любви и света! Она будет умирать и будет помнить этот день. Ей опять стало страшно за него. Надо помолиться. Старец Серафим всегда всех слышит, уж если он слышал ее тогда за крокетом, то тем более услышит теперь. Перед глазами Аси на минуту возникла Березовка и крокетная площадка, где шла ожесточенная битва — Ася и кузен Миша с одной стороны, братишка Вася и Сергей Петрович — с другой; силы явно неравные. Это было в 1916 году. Сергей Петрович — в те дни молодой офицер — приехал на несколько дней в отпуск с фронта и, появляясь между детьми на крокетной площадке, производил фурор: метали жребий, кому играть с ним в одной партии, и приходили одни в восторг, другие в отчаяние от каждого удара его молотка, так как бил он без промаха. И вот в этот знаменитый вечер шар его по обыкновению прошел с первого же хода весь путь и, став разбойником, объявил крокировку шару Миши; крокировка эта грозила тем, что новоиспеченный разбойник, забрав себе все ходы, сгонит с позиции шары противной партии и под своей опекой в одну минуту поможет закончить Васе. Ася, страстно увлекавшаяся игрой, приходила в отчаянье от этой возможности. Шары стояли на таком коротком расстоянии, что даже среднему игроку легко было попасть, а такому чемпиону, как Сергей Петрович, удар этот, казалось, не стоит усилий. Спасения не было никакого: Сергей Петрович уже взялся за молоток с артистической небрежностью и изящной самоуверенностью. Замирая от страха, семилетняя Ася надвинула на лицо пикейную шляпку и, закрыв глаза, на минуту сосредоточилась: «Старец Серафим! Милый, чудный, родной старец! Помоги мне и Мише! Сделай так, чтобы гадкий дядька промазал! Защити от него!»

Она услышала короткий сухой удар и вслед за этим всеобщий вопль, в который слились и восторг, и ужас. Она отодвинула шляпку от лица и оглядела поле сражения: шар Миши стоял невредимым, сам Миша прыгал и визжал от радости, а у Васи глаза были полны слез — оказалось, что Сергей Петрович не только «промазал», но и умудрился каким-то образом задеть собственным шаром колышек и теперь должен был выйти из игры. Дело кончилось полной победой Аси и Миши.

«Даже в таких пустяках Старец слышал меня, тем более услышит теперь, когда я буду молиться за жизнь человека!» — говорила она себе, — за крокетом он это сделал не ради пустяшной игры, а ради славы своей: он явил могущество молитвы, чтобы на всю жизнь запомнила Ася, с какой любовью относятся к людям там. «Старец, милый! Я знаю, какой ты добрый — ты даже медведя пожалел. Пожалей моего Олега! Олег такой хороший! Устрой чтобы они спутались со следа. О, пожалуйста, пожалуйста, старец Серафим! Сделай это для меня, для Аси».

Однако молитвенного напряжения хватило ненадолго, голубой свет лампадки придавал фантастические очертания предметам, и скоро она задумалась, глядя на причудливые тени на потолке. Так трудно быть сосредоточенной! Надо все время делать усилие. «Старец Серафим, Серафим...» Закинув голову, она твердила его имя, стараясь отрешиться и сосредоточиться на образе святого. Были ведь молитвенники — она слышала о них и читала, — которые умели всю полноту мысли и чувства вкладывать в молитву Иисусову и достигали озарения: у них открывались внутренние очи, и дивные потусторонние лики становились доступны их взгляду...

«Вот оно — это сияние под веками, которое я так люблю! Вот это веяние на лбу... точно кто-то коснулся меня крылом... Я приближаюсь к черте, за которой неведомое... Еще одно усилие, и я ее перейду!»

Но молитвенный взлет, достигнув небольшого напряжения, стал постепенно ослабевать. Нет, не

проникнуть! Не вырваться из теней земного сознания... Только тем, которые достигают святости, это дано — они могут слышать нездешние голоса и видеть невидимые облики. В «Consolation»<sup>[51]</sup> Листа и в «Китеже» Корсакова есть что-то от этого состояния... Экстаз Скрябина? Нет, там не то — там усилие сверхчеловечности, но нет умиления! Какое благородство мелодии у Римского-Корсакова... А Глинка? Кто это сказал: «Глинка, Глинка, — ты фарфор, а не простая глинка!»?

Голова ее склонилась к подушке, и она заснула на коленях около кровати. Когда она очнулась и с недоумением огляделась, в комнате было уже совсем светло и доносился городской шум. Она озябла и, дрожа от холода, поднялась с колен.

Седьмой час.

Страх за любимого человека сжал сердце, и опять она бросилась на колени.

«Господи Иисусе Христе! Я не хочу верить и не верю, что, пока я спала, черная карета приехала и увезла его! Я не хочу верить, что Ты можешь украсть его у спящей! Я нечаянно заснула — я устала! Господи Иисусе Христе, будь милосерден к нему и ко мне! Не отпускай его в тюрьму, не отдавай его этим страшным людям — довольно уже они мучали его. Дай ему немного счастья, хоть один год чудного светлого счастья! Господи! Ты слышал разбойника и Магдалину — услышь же теперь и Асю!»

Она накинула на плечи халатик и босиком выскользнула в коридор. Вздох облегчения вырвался из молодой груди, когда она услышала в телефонной трубке его голос.

— Вы? Слава Богу! Простите, что я так рано. Я... видите ли... я в середине молитвы нечаянно заснула... так вот поэтому я хотела узнать, всё ли благополучно... Да, да — молилась. Да, всю, всю ночь... Ничего, не заболела... Любите? И я люблю. А теперь до свидания, мне хочется согреться и заснуть. Меня в постели ждет мой щенушка... Не расслышали, кто? Бабушка не позволяет мне с ним спать, а я беру его... Все-таки не расслышали? Ну да, собачка, щенок, поняли? Наконец-то! Ну, я бегу. Приходите обедать прямо из порта.

В восемь часов француженка пришла будить Асю. Спутанная головка с розовыми щеками приподнялась с подушки, а рядом зашевелилась кудрявая мордочка пуделя.

— Мадам, не гоните его и не говорите бабушке. Я так люблю с ним спать. Мне без него скучно. Мадам, душечка, можно мне заснуть еще часочек, пока не встанет бабушка? Закройте меня хорошенько.

Француженка заботливо поправила на ней одеяло и перекрестила ее. «Право, можно подумать, что малютка решила заспать вперед все те бессонные ночи, которые у нее будут после свадьбы, когда молодой муж не даст ей покою. Вот тогда ей скучно не будет», — подумала она и, воображая себе поцелуи, которыми Олег станет осыпать Асю, вся расплылась от умиления.

Повесив трубку после разговора с Асей, Олег поспешно допил чай и вышел из квартиры, торопясь в порт. В подъезде, едва он открыл дверь, к нему под ноги кубарем подкатился ребенок, споткнувшись о приступку подъезда, и пронзительно разревелся. Олег подхватил его на руки.

— Что ты, мальчуган? Ушибся? Да не кричи так — визжишь, как поросенок, которого режут. Разве мужчины плачут? Э, да ты, наверное, девочка! Девочка в штанишках, да?

Ребенок обиженно и озадаченно смолк.

— Вовсе не девочка. Я — мужчина! — ответил он.

— Да как же так? Мужчины-то ведь не плачут и не кричат. Видишь, какая у меня дыра во лбу? Это была рана, а я не плакал.

— Нет, не плакал?

— Нет, не плакал.



— Ну, и я не плачу!

— Не плачешь? Ну, это — другое дело! Мне, значит, только показалось! А что ты здесь на улице делаешь?

Продолжая разговаривать с мальчиком, он смотрел на тротуар, где шагах в десяти от себя видел безногого нищего, в котором узнал солдата, продавшего ему револьвер. Как он попал сюда? Случайно? Странно! Нет, это не случайность — подстроено. Он и есть тот доносчик, который заварил всю эту кашу. Зашифрованная очная ставка, по всей вероятности. И все продолжая разговаривать с ребенком, Дашков зорко обводил вокруг глазами, по-военному оценивая положение. Нищий здесь, конечно, по приказанию Нага. Но где же сам Наг? Притаился в соседнем подъезде, наверно. Всего вернее, что подлец-нищий окликнет, и вряд ли поможет, если не обернуться на его оклик. И все-таки ни на фамилию, ни на «господин поручик», ни на «ваше сиятельство» оборачиваться не следует... Дело плохо. Но так или иначе идти надо.

Он спустил с рук ребенка, потрепав его по щеке, и пошел вперед быстрым шагом с видом равнодушного, торопящегося человека. Он не смотрел на нищего и все-таки видел его. Ему показалось странным, что нищий смотрел мимо и тоже как будто не хотел его узнавать — отсутствующим, безучастным взглядом он обводил вокруг себя...

— Гражданин! — услышал вдруг Олег чуть ли не около своего уха. Так и есть, останавливают!

Он обернулся — незнакомый человек в штатском подходил к нему.

— Извиняюсь, товарищ, нет ли прикурить? Спички забыл, — сказал этот человек. Условный сигнал. Нищий должен опознать князя Дашкова — все ясно.

Олег протянул спички. Человек закурил.

— Благодарю, товарищ, — и пошел вперед. У него было странное чувство в спине — какая-то связанность, каждый нерв позвоночника словно ощущал на себе пристальные недобрые взгляды, которыми, очевидно, провожали его. Не останавливают пока. Дошел до угла... Прибавить шаг. Оборачиваться не следует ни в каком случае. На Симеоновской сразу бежать за трамваем — это покажется вполне естественным. Таким образом выяснится, идут ли следом. Поворот уже близко... есть! Никто не остановил его.

На работе с минуты на минуту он ждал, не вызовут ли в спецотдел. Быть может, сразу не остановили только потому, что задержали переговоры с нищим?

День прошел благополучно. Подымаясь по лестнице в свою квартиру, он встретил Мику, который «сыпался» вниз (патент на это выражение был собственностью мальчика).

— Что скажешь, Мика? Все благополучно дома?

— Все, кроме того, что мне опять вклеили три! — крикнул Мика, не останавливаясь.

Вечером Олег стоял с Асей на площади перед Преображенским собором. Площадь была полна народа, который уже не вмещался в церковь. Не жгли свечей, колокола молчали, крестный ход не выходил наружу — все было запрещено. Но толпа вокруг храма все-таки росла и росла — каждый шел с надеждой, что до него долетит хоть один заглушенный отзвук, с надеждой что-то все-таки уловить и почувствовать. И сколько ни старались подосланные со специальным заданием люди встревожить торжественную тишину свистками, давкой и хулиганскими выкриками, все их бесовские старания оставались напрасны. В одном месте в ответ на какую-то выходку в толпе закричали: «Шапки долой!» — и зажатые со всех сторон провокаторы волей-неволей должны были поснимать их. Конная милиция теснила толпу по краям, милиционеров было так много, что люди опасались облавы — примеры бывали. Но толпа не расходилась и постепенно заполняла все ближайшие переулки. Велосипеды и даже мотоциклы буравили ее, она молча

размыкалась и смыкалась снова.

Олег стоял около ограды, на которую ему удалось поставить Асю и Лелю. Он опять обнимал ножки Аси, придерживая ее. Ни одного звука не долетало из-за наглухо закрытых дверей, и все-таки было хорошо! Ася думала о гиацинтах и колокольном звоне — от Пасхи в царское время всего ярче в памяти у нее осталось это. Олег, прижимаясь головой к ее коленям, с нежностью думал об ожерелье из пасхальных яичек на тонкой золотой цепочке, которое было у Аси на шее. Это было принято раньше, а теперь давно уже он не видел ни на ком такого ожерелья. Как хотелось верить, что встречу с Асей даровала душа матери, воскресшая после своей Голгофы!

Идея бессмертия носилась в эту ночь над толпой. Перед этой величайшей идеей красный террор был бессилён.

# Часть вторая

## Глава первая

Отец Пети Валужева — бывший правове́д — был отправлен в концентрационный лагерь. Через несколько дней пионервожатая на линейке, сделав Пете какое-то замечание, прибавила во всеуслышание:

— Не бери пример со своего отца.

Петя от злости вспыхнул до ушей.

— Вы права не имеете так говорить! Его отец не уголовник, — в ту же минуту задорно отчеканил Мика.

— Папу взяли как правоведа! Сейчас всех правове́дов хватают, — в свою очередь крикнул Петя, и голос его оборвался.

Пионервожатая приняла вид крайнего изумления. Воспитательница, Анастасия Филипповна, поспешила к месту «чепе».

— Товарищи, мы где находимся? Мне кажется, мы в советской школе, — предостерегающим тоном сказала она. — Я убеждаюсь, что в семьях у наших школьников еще не вытравился антисоветский дух. Наступила тишина. Все тридцать два подростка замерли на месте в своих красных галстуках и спортивках.

На другой день мать Пети пришла объясняться с воспитательницей. Та очень холодно выслушала опечаленную даму и ответила, что препирательства с пионервожатой не входят в ее обязанности, мальчики проявили очень большую несознательность, это пойдет, так сказать, по комсомольской линии.

С того дня Петя и Мика перестали являться на линейку. Подошел срок вступления в комсомол, но они не подали заявлений.

— Меня заставят отмежеваться от папы, а тебя от сестры! — повторял Петя, более всего опасаясь, чтобы Мика не покинул его в оппозиции.

Мика фыркнул:

— Франкфуртский парламент! Говорильня старых баб — это наше бюро комсомольское! Стану я унижаться перед ними! — И, не стесняясь, повторял эту фразу в классе.

Через несколько дней его вызвали в бюро:

— Имей в виду, Огарев, что мы не потерпим в наших рядах гнилого либерализма. Изволь переделаться, или нам не по пути.

Вечером он с возмущением говорил Пете:

— Мои слова о франкфуртском парламенте были сказаны только при мальчиках, посторонних не было — стало быть, между ними завелись доносчики. Этот комсомол расчленил нас, поощряя ябедничество. Разве можно сейчас сказать, как в Александровском лицее: «Друзья, прекрасен наш союз!»?

Недавно он прочел статью, в которой молодежи рекомендовалось следовать примеру нескольких высокосознательных граждан, подвиги их описывались детально и с восторгом. Школьница-комсомолка часто бывала в доме своей одноклассницы и заметила, что родители ее настроены не по-советски. Она стала следить, а в доме этом ей доверяли. Оставшись как-то раз одна в чужой комнате, она воспользовалась случаем и проявила образец комсомольской морали — поспешно порылась на этажерке

и вытащила давно запримеченные ею тетради с какими-то мемуарами. Этим она помогла органам гепеу разоблачить замаскировавшихся контрреволюционеров. Или другой пример: юноша-комсомолец, всецело захваченный идеей «бдительности», следил за соседом по комнате, он прочитывал его переписку и навел гепеу на след опасного контрреволюционера.

Таковы были подвиги, которые предлагались вниманию юношества как образцы гражданской доблести в эпоху строительства светлого будущего!

Кто же мог быть истинным идеалом Мики? Может быть, побежденные? Белогвардейцы из Крымской армии, из «Союза защиты Родины и свободы», или от Колчака? Их клеймили предателями и подлецами. Мика понимал очень хорошо лживость этих кличек, которые так щедро раздавались советской властью каждому идейному противнику. Он знал, сколько было среди белогвардейцев героев, двух-трех знал лично, он не мог не видеть их духовного превосходства. Но сословное чувство казалось ему обратной стороной классовый «сознательности» пролетариата. А главное — среди них он не видел единства: все были разобщены, разбросаны, за каждым установлена тщательная слежка, и, что еще важнее, среди населения не было той прослойки, на которую могли бы опереться недавние герои. Готовности к борьбе он тоже не видел — все были слишком утомлены и замучены войной, репрессиями, разорением... Не было вождя, не было знамени, лозунга... Неужели ему предстоит серенький, будничнейший путь и никто не явится одушевить его? Старшие часто упрекали его, что он небрежно относится к учению, — стоило ли распинаться, когда он не знает, на что это нужно?

Временами ему начинало казаться, что идея придет, что он — накануне: какие-то силы вот-вот должны овладеть им... Странное это было чувство! Он сам доказывал себе несостоятельность таких надежд — откуда?.. Горизонт пуст — ни молний, ни зарниц, ни северного сияния! Темно. Все темно и беспросветно.

Долго ли еще протянется эта пустота?

Однажды к Мике прибежал, задыхаясь, Петя.

— Секретная организация, тайные собрания!.. Доверяю тебе как другу! Держи язык за зубами, — тараторил он.

Оказалось, что одновременно заболели гриппом мать и сестра Пети, и утром Мэри сказала ему:

— Сделай мне одолжение, Петя!.. Впрочем, ты, чего доброго, струсил!..

Петя гордо выпрямился:

— Поосторожней оскорбляй! У меня свое достоинство все-таки есть!

Взгляд, который она на него бросила, был ужасен! Никто не умеет смотреть так презрительно, как пятнадцатилетние сестры на четырнадцатилетних братьев.

— Ты, Петя, всегда был глуп, таким и остался! Меня в классе все девчонки жалеют за то, что у меня младший брат: всем известно, как братья дразнят и мешают и как они невыносимы.

— Что я должен сделать? Говори, — угрюмо спросил Петя.

Она ответила, заплетая косу:

— Сбегай вот по этому адресу. Тебе откроет дама, вся в черном, — сестра Мария. Она ждет меня и маму. Я напишу, что ты мой брат, и она передаст тебе пакет, который ты отнесешь в тюремную больницу имени Газа... Да нет же! Не для папы! Глупости спрашиваешь: ведь ты отлично знаешь, что папа в «Медвежьей Горе». Смотри: я здесь нарисовала, как найти эту больницу. Только помни: ты никому не должен говорить об этой квартире — что и кого ты увидишь там. Мы ходим туда на тайные собрания.

Смотри, молчи: а то и маму возьмут, как взяли папу. Это для арестованного священника. Понял?

Мальчик с изумлением смотрел на сестру, ошарашенный неожиданным открытием.

Когда он рассказал обо всем Мике, тот восхищенно воскликнул:

— Здорово! Твоя мать — молодец! Другая бы на ее месте, проводив мужа в лагерь, кудахта, как курица: не ходи туда, не ходи сюда, будь осторожен! А она не прячет детей за печку. Тайные собрания! Это открытие!

— Несгибаемая римлянка! — воскликнул Петя в гордости за свою мать.

— И в самом деле римлянка, а вот моя Нина — только «ии».

— Что такое «ии»? — с недоумением спросил Петя.

— Дурак! Неужели не смекаешь? Советское сокращение! Ведь у них «замком по морде» — заместитель командира по морским делам, ну а у нас «ии» — испуганный интеллигент! Теперь это самый распространенный термин. Бежим, надо оправдать доверие. Я, конечно, с тобой.

Мика схватил пальто и, сделав несколько механических движений, пытаясь застегнуть отсутствующие пуговицы, бросился к двери.

Их приняли в маленькой тесной кухне. Оба с любопытством косились на даму в черном, пока она упаковывала передачу. Она была уже пожилая, с белыми волосами и благородной осанкой. Спросила, не было ли писем от Петиного отца, потом сказала:

— Передай матери, что мы всегда на вечерней молитве поминаем его имя, — и, взглянув на Микку, спросила: — Это Огарев? — Ясно стало, что ей известны все подробности жизни Валуевых.

Вручая передачу, она протянула Пете незапечатанный конверт.

— Твоя мать хотела иметь копию предсмертного письма расстрелянного Владыки — вот, я переписала для нее.

Петя взял, все так же озадаченно. Дама улыбнулась и сказала:

— Если хотите прочесть, можете это сделать. — И, закрывая двери, прибавила: — Спасибо, мальчики.

Оба Аякса переглянулись.

— Все ясно: тайная христианская община.

— Да, да, только не сектантская, если священник и митрополит.

— Конечно, нет — церковная, как во времена Нерона.

— Прочтем письмо?

— Прочтем.

Уселись на окно лестничной клетки.

«В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых, восхищался их героизмом, их святым одушевлением и глубоко сожалел, что дни мученичества уже миновали. Времена переменились — открывается возможность снова страдать за свою веру...»

Мальчики переглянулись: мученичество!.. Люди, которые осмеливаются не подчиняться директивам партии и остаются верными религиозным идеалам, люди, которые умирают за идею, — они, стало быть, есть!!!

То, что они прочли дальше, было уже не столь интересно и важно, — все, что было нужно для них,

заклучалось в этих нескольких строчках, которые словно приоткрыли перед ними новые дали.

С детства в душе Мики таилась готовность к воспитанию в себе религиозности. Как-то раз маленьким он расшалился и раскапризничался, не слушаясь няни, ударил ее несколько раз кулачками; когда его, наконец, загнали в кроватку, он встал на колени перед образом, чтобы прочесть вечернюю молитву, но глаза его, поднявшиеся на образ, вдруг опустились... Несколько раз он пробовал и не мог поднять их на Лик Спасителя, точно встречал Чей-то строгий испытывающий взгляд. Постояв на коленях с опущенными глазами, он забрался под одеяло, присмиривший и растерянный... Ощущение было настолько сильное, что он пронес его через все детство и отрочество. Религиозного воспитания он почти не получал, молиться его учила только старая няня. Он рос несколько заброшенным — шла гражданская война, отца уже не было в живых, они безнадежно застряли в Черемухах, но жили не в большом барском доме, который был сожжен, а в мезонине, где прежде помещался садовник, жили втроем — он, Нина и няня. Он видел, что сестра чем-то пришиблена. Няня шепотом объясняла ему, что сестра его теперь вдова и тоскует по мужу и ребенку. Это набрасывало тень на всю их жизнь: не было гостей, смеха, удовольствий. Он играл один с собаками и лошадьми, животные принадлежали уже совхозу, организованному в имении, но ему было все равно, чьи они. Когда в 23-м году сельсоветы начали выселять последних помещиков с мест бывших владений, Нина стала собираться в Петроград. У Мики замелькала надежда, что теперь, когда он пойдет в школу и встретится с другими детьми, жизнь станет веселее — будут и товарищи, и шумные игры. Вышло не совсем так — в квартире, где они поселились, наводила террор сухая злая тетка, сестра не развеселилась и здесь, а дети в школе были не совсем такими, какими ему хотелось их видеть.

В школе всюду велась яростная антирелигиозная пропаганда. И вот здесь обнаружилась странная вещь — проповедь безбожия, словно речная волна, билась о незыблемую скалу в душе мальчика и ничего не могла сделать. Кто-то невидимый, встретивший с образа его взгляд, был всегда рядом. Грубые кощунственные выходки безбожных кружков, организованных в школе, вызывали в нем отвращение. Церковного мира он в это время совсем не знал, полагая, что это все уже давно раздавлено. Теперь оказывалось, что это не так... Идея, которой можно было отдать жизнь, мелькнула пока еще издали. Оба мальчика по собственному уже побуждению сбегали еще раз на заинтересовавшую их квартиру. Дамы в черном не оказалось, открыла им девушка в платочке и дальше кухни не пустила. Они помялись у порога и ушли.

— Дураки у нас наверху сидят, — сказал Мика, — хотят покончить с религией, а сами устраивают гонения: ведь уже хорошо известно, что мученичество порождает последователей!

Через две недели праздновалось шестнадцатилетие Мэри. Со времени ареста мужа Ольга Никитична Валуева еще ни разу не устраивала торжества. Собралось несколько родных и знакомых; Мэри в школьном платье, с гладко зачесанными волосами вовсе не имела праздничного вида.

— Она сказала мне, что будет монахиней! — шепнул на ухо другу Петя. Мика с любопытством покосился на девушку. Как раз в это время Нина ласково тормошила Мэри, говоря:

— Что-то бледненькая, и прическа уж слишком скромная, а сюда хоть бы узкую полоску кружев.

Желая развлечь молодежь, Нина положила на стол карты «Почта амура». Мика взял их неохотно. Но внезапно его внимание привлекла одна фраза, он перечел ее раз, другой и перебрал карту Мэри, говоря: «Рубин». Девочка прочитала фразу, подняла голову и пристально посмотрела на него черными глазами. Этот взгляд весь вечер занимал мысли Нины: «Что мог Мика телеграфировать Мэри? Я рада была бы, чтоб он увлекся! Хоть капельку! По крайней мере, ногти бы свои привел в порядок, — да ведь не похоже!»

А под рубрикой «Рубин» стояло:

От ликующих, празднично болтающих,

Обагряющих руки в крови  
Уведи меня в стан погибающих  
За великое дело любви!

Через несколько дней после празднования дня рождения Петя опять ворвался к Мике. Из тюрьмы выпустили на один день иеромонаха отца Гурия Егорова, того, которому они относили передачу. Сейчас они пойдут на квартиру, где соберутся все, кто хочет проститься с ним, так как его отправляют в ссылку на Север. Необходима очень большая осторожность, чтобы гепеу не накрыло собрания.

Отправились к Валугевым, от них, присоединившись к Петиним сестре и маме, — на тайную квартиру. Пересиливая застенчивость, Мика отважился спросить Ольгу Никитичну по поводу заинтересовавшего его письма.

— Это письмо митрополита Вениамина, который расстрелян по обвинению в контрреволюции несколько лет тому назад, — ответила она, понижая голос. — Советская власть обычно расправляется со своими жертвами тайно на дне своих казематов, но с Владыкой им было слишком неудобно так поступить. Был организован публичный показательный суд, с некоторым подобием прежнего суда в зале бывшего Дворянского собрания. Муж сумел раздобыть мне билет благодаря своим прежним юридическим связям. Сколько было грубости и надругательства! Я раз не выдержала и крикнула со своего места: «Не издеваться!» — и несколько голосов крикнули со мной. Адвокаты боялись каждого своего слова. Я невольно вспоминала суды царского времени. Засулич была настоящей преступницей, а между тем какие пламенные речи лились в ее защиту, сколько было выражено сочувствия в публике! А теперь, когда собравшаяся у подъезда толпа закидала Владыку цветами, — в ту минуту, когда его усаживали обратно в «черного ворона», — тотчас откуда ни возьмись хлынули конные гепеу и увели под конвоем оцепленных людей! Я как-то сумела проскочить между мордами лошадей и ускользнула. Были и другие штучки: в день приговора залу до отказа набили агентами гепеу, которые, согласно приказу, разразились аплодисментами в ответ на объявленный приговор. Эта достойная выдумка должна была иллюстрировать народный восторг. Власти, очевидно, боялись, чтобы не повторились выкрики с мест, и приняли свои меры. Но вся площадь и вся Михайловская были в этот вечер переполнены народом, в глубоком молчании стоявшем в ожидании приговора, и эту толпу, остановившую движение транспорта, нельзя было ни выловить, ни оцепить... Был конец лета, и небо, помню, все пламенело от заката.

И через несколько минут она прибавила:

— В последние два-три года, с усилением власти Сталина, прекратились уже всякие высказывания и выкрики; молчание даже в очередях перед тюрьмами. Усиливающийся террор покончил со всеми изъявлениями гражданских чувств.

Мика молчал под впечатлением рассказа, в котором, кроме содержания, его поразила смелость этой женщины. Ведь он постоянно видел Ольгу Никитичну, он привык слышать ее разговоры: «Мальчики, идите пить чай», «Ты опять не вымыл руки, Петя», «Мика, возьми пирожок», — и почему-то в голове его уже сложилось убеждение, что если человек говорит такие фразы, то других, более интересных, от него уже ждать нечего.

Когда подошли к дому, где находилась таинственная квартира, Ольга Никитична запретила какие бы то ни было разговоры и велела подниматься поодиночке. Из уже знакомой им кухоньки их провели по узкому коридору в комнату, где Мика увидел освещенные образа, аналой и множество девушек и юношей, сидевших на стульях и просто на полу посреди библиотечных шкафов и стеллажей. Понемногу заполнился даже коридор; осторожные звонки и тихие шаги продолжались непрерывно, переговаривались только полупшепотом.

Священник был в монашеской рясе, очень худ и бледен и напоминал древнехристианского пресвитера, который беседует со своей паствой в дни гонений: он просил не разъединяться, не отходить душевно, поддерживать друг друга, рассказывал о жизни в заточении... Потом все начали подходить к нему поочередно под благословение. В одиннадцать вечера он обязан был явиться обратно в гепелу, и теперь прощался с каждым двумя-тремя словами. Все тихо передвигались в молчании при колеблющемся свете лампад, получивший благословение направлялся тотчас к выходу. Картина эта окончательно воспламенила воображение Мики. Ему мерещились катакомбы во времена римских кесарей, а Петина мать представилась благородной матроной, женой опального патриция; она пришла на тайное христианское собрание со своей виллы на Тибре и привела с собой двух неофитов...

Когда пришла их очередь подойти к священнику, «римлянка» пропустила вперед Мэри, а сама встала за мальчиками и, положив одну руку на плечо сына, а другую на плечо Мики, сказала:

— Это новенькие. Их привела я.

Мика робко поднял глаза на священника.

— Даст тебе Господь по сердцу твоему! — произнес тот и благословил Микку.

Выходя с Петей, он спросил его: сказал ли ему отец Гурий что-нибудь?

— Он сказал слова Зосимы: «В миру пребудешь, как инок». А Мэри — «Да будешь ты сохранена лилией сада Гефсиманского!» Мама говорила о нем, что он даст себя четвертовать за свои идеалы.

— Таким буду и я, — сказал себе Мика и невольно поднял глаза на звездное небо.

В первые же годы после переворота, несмотря на притеснения и прямые гонения, устраиваемые советской властью на Православную Церковь, и даже, может быть, именно вследствие этих гонений, религиозная жизнь в Петербурге очень оживилась. Почти при каждой церкви образовалась своя небольшая ячейка глубоко верующих людей, которые ушли очень далеко от мертвой обрядовой церковности, готовы были преобразовать всю свою жизнь согласно требованиям религии и дойти, если нужно, до мученичества. И доходили. Гонения очистили церковную среду. Одно из ведущих мест заняла Александро-Невская Лавра: там, при Крестовой церкви, образовалось Александро-Невское братство. Это было движение молодежи «комсомольского» возраста. Руководили три священника: отец Иннокентий, отец Гурий и отец Лев. Гурий и Лев — родные братья, оба с университетским образованием, а Гурий — в миру Вячеслав Михайлович Егоров — успел, кроме того, окончить Духовную Академию, закрытую советской властью. В период империалистической войны оба брата (тогда еще не имевшие священного сана) пошли на фронт санитарями и собирали под огнем раненых, не желая ни проливать крови, ни держаться в стороне от происходившего. Приняв священство и монашество в самое трудное для Церкви время, оба встали во главе молодежи как духовные руководители объединения. Первое время братство сгруппировалось вокруг Крестовой церкви, на территории Лавры; оно включило в себя молодежь обоего пола, девушки в те дни носили белые косынки, которые очень скоро пришлось снять ради конспирации. Перед братством была поставлена задача воскресить дух древнехристианских общин. Члены братства полностью обслуживали Крестовую церковь — пели, читали, прибирали, ухаживали за больными, о которых удавалось узнать, носили передачи заключенным, собирались для совместного чтения святоотеческой литературы, соблюдали церковный устав — исповеди, посты, посещение богослужения; занимались Законом Божиим с детьми. Очень многие поступили студентами в Богословский институт — только что открытый вместо разгромленных академий. Одушевление было очень большое, но осторожности, как и следовало ожидать, слишком недостаточно. И Крестовая церковь очень скоро привлекла внимание гепелу. Осенью 1923 года был закрыт Богословский институт и разом арестованы все его руководители и профессора, а также все три священника и другие, наиболее выдающиеся члены



братства, которое оказалось, таким образом, обезглавлено.

В течение первых нескольких дней опечаленная молодежь еще собиралась в Крестовой церкви, и многие в глубине души уже мечтали о мученичестве, а когда церковь закрыли, стали собираться на частных квартирах, украдкой осведомляя друг друга, на общие средства носили передачи арестованным «отцам». Собrania на квартирах бывали многолюдны — иногда до сорока человек, — и часто чей-либо запоздалый звонок заставлял тревожно настораживаться. Но предательство не гнездились внутри братства, и гегеу не удавалось накрыть тайное собрание. Скоро в братстве образовался своего рода боевой штаб — в одной из квартир на Конной улице удалось устроить нечто вроде монашеского общежития: путем обменов и самоуплотнений удалось заселить всю квартиру братчицами из числа бессемейных девушек и женщин, все числились на советской службе — учительница, бухгалтер, библиотекарь, медсестра... По документальным данным это была типичная коммунальная квартира. В каждой комнате жило по две девушки, центральная комната служила монашеской трапезной, туда были собраны образа, уставленные наподобие иконостасов, а посередине стоял длинный стол. Стены этой комнаты были сплошь уставлены стеллажами с книгами, принадлежащими арестованным отцам. Здесь совершали трапезы, читали молитвенное правило утром и вечером и принимали проходящих.

Из недр братства вышла героическая пара — священник Федор Андреев и его жена Наташа. Когда стало известно о ссылках огромного числа священников, Андреев заявил о своем желании принять священный сан. Молодая жена дала согласие, зная, на что идет, а сама в это время уже ждала ребенка. Вскоре Андреев был арестован и погиб, выпущенный из заточения за три дня до смерти, вслед за этим пропала в ссылке его жена.

Священники появлялись и исчезали молниеносно, но братство не распадалось. Живучесть его была поразительна: на десятый год после первого разгрома оно еще продолжало подпольное существование.

Такова была организация, в которую жажда подвига привела Мику. Со дня собрания на Конной улице он весь отдался братству. По субботам и воскресеньям отправлялся на Неву в Киновию, где братство в тот период опекало и обслуживало небольшую церковочку, и не пропускал ни одного братского собрания.

Старые-старые иконы с их потемневшими, застывшими лицами, золотые нимбы и овеванные ладаном песнопения, красота старинных уставных служб — все это было тесно связано с прошлым его Родины, это было гонимо — стало быть, очищено от всего подкупленного и насильственного. Это одно не изменилось, не распалось, осужденное на смерть, — не умерло.

Перед Пасхой он решил пересмотреть отношения с сестрой: все члены братства говели, и Мика понимал, что прежде чем приступить к Таинству, должен помириться с Ниной. Это было нелегко: он очень давно не входил с Ниной в искренний, душевный тон.

Несколько дней он собирался с духом, наконец в Страстную Среду — канун Причастия — постучался к сестре.

— Нина! — и вспыхнул яркой краской, но не опустил глаз, — я иногда... часто... всегда почти... был с тобой груб и несправедлив. Завтра я иду к Причастию — прости меня!

— Мика, милый! — воскликнула пораженная Нина. — Как неожиданно! Я тебя прощаю, конечно, прощаю! Я и сама виновата, — и слезы хлынули из ее глаз. — Мика, ты не знаешь, как ты мне дорог, ведь тебе было только несколько дней от роду, когда умерла наша мама. Прости и ты меня: у тебя не было счастливого детства! Папа мог бы меня упрекнуть. Не вырывайся, дай хоть раз все сказать! Мика, ты осуждал меня, но... этот человек — Сергей Петрович — он в самом деле любит меня. Я скоро поеду к нему на месяц, и мы регистрируемся. Для тебя ведь это очень важно — ну вот, ты можешь не краснеть за меня больше, милый Мика!

Он высвободился из ее объятий, чтобы взглянуть ей в глаза.

— Ты замуж выходишь?

— Да, Мика.

— Это хорошо, а то я все время думал, что как только мне минет шестнадцать лет, я войду к вам и ударю его по лицу. Тогда волей-неволей он примет мой вызов.

— Мика, да ты рехнулся! Ведь я же не девушка! Даже в прежнее время честь вдовы не опекалась так, как честь девушки, а теперь все спуталось: венчаются уже немногие, а советская бумажонка о браке так мало значит! Бога ради, брось эти мысли, я хочу, чтобы вы были друзьями. Он теперь в ссылке, его можно только жалеть.

— Если он с тобой повенчается, я с ним помирюсь, конечно. А что мое детство было несчастливое, не ты виновата. Да и лучше, что несчастливое, — не избаловался, по крайней мере. Я долгих объяснений не люблю: нежным я никогда не стану, а грубым постараюсь не быть, хотя поручиться за себя трудно. А теперь все!

И он убежал, больше всего опасаясь как-нибудь расчувствоваться.

## Глава вторая

В последнее время у Нины появился поклонник — уже пожилой музыковед-теоретик, восхищавшийся ее голосом и глазами. Он несколько раз провожал ее с концертов, покупал ей цветы и шоколад. В Капелле кто-то рассказывал, что на одной из платформ по Московской дороге, в полуверсте от путей, с наступлением сумерек заливаются в кустах соловьи. Несколько молодых сопрано заявили, что поедут их послушать; присоединились два-три тенора — и собралась компания молодежи. Позвали и Нину. Пожилой теоретик оказался тут как тут и заявил, что поедет тоже. Нине было совершенно ясно, что старый плут едет ради нее и что все это отлично понимают. Предполагалось, очевидно, что после слушания соловьев разойдутся парами по лесистым окрестностям в ожидании утреннего поезда, и объятия теоретика предназначались ей. Она ни словом, ни жестом не показала, что поняла намерения относительно себя, однако и не отказалась от поездки.

На следующий день, в разговоре с Олегом, Нина сказала:

— Я хотела предупредить: в субботу вечером у нас в Капелле организуется поездка за город. Может быть, я не вернусь до утра — не беспокойтесь, если меня не будет.

— Вот как?! И мужчины едут?

— Одним дамам было бы несколько рискованно... разумеется, и мужчины — наши тенора, — самым невинным тоном ответила она.

— Скажите, а кто этот господин, несколько семитского типа, который был у вас на днях? Это тоже артист Капеллы? — спросил Олег.

Она слегка смутилась.

— Да, это музыковед-теоретик, из тех, что заседают в президиуме в знаменательные даты и произносят вступительное слово, — и прибавила для чего-то: — Сергей не выносил людей этого сорта.

— А он случайно не едет?

«Однако ты становишься слишком проницателен, мой милый», — подумала Нина и спросила:

— А вас почему интересует это?

— Мне показалось, что он посматривает на вас, как кот на сливки. Очевидно, соловьиные трели его мало интересуют, иначе, я полагаю, вы бы не согласились ехать.

Нина невольно прикусила язычок.

Этот разговор показал ей, что она уже успела несколько отклониться от стрелки барометра, которая показывала хороший тон в прежнем светском обществе. Весь этот вечер она продумала над тем, как могло случиться, что она была уже на волоске от такого неразумного шага и едва не скомпрометировала себя в своем самом близком семейном кругу!

Она вынула из сумочки фотографию Сергея Петровича и долго всматривалась в его лицо, как будто ища у него защиты против себя самой.

«Неизвестно откуда взявшийся, понатершийся по клубам краснобай, болтает о музыке, но не владеет ни одним инструментом, подкоммунивающий делец! И я могла унизиться до того, что едва не изменила Сергею!.. Олег, милый мальчик, деликатнейшим образом удержал меня! Скорее к Сергею! Прижмусь к его груди, после стольких лет почувствую себя опять любимой, молодой женой!»

На другой день она решительно отказалась от поездки, а проходя мимо теоретика, не ответила на его

поклон.

Судьба как будто ждала ее решения: в этот же день Наталья Павловна вызвала ее к телефону и сообщила ей, что рояль продан за четыре тысячи. Решено: осенью она едет на Обь.

В сентябре ожидалась свадьба Олега и Аси. Надежда Спиридоновна была в ужасе:

— Ниночка, ни в коем случае не позволяй Олегу Андреевичу поселиться у нас с молодой женой. Знаешь ведь, года не пройдет — и уже ребенок, который не даст нам спать. Начнется вяканье по ночам, в кухне нашей развешат пеленки. Я без ужаса подумать не могу! Обещай, Нина, что ты как квартуполномоченная будешь против. У него собственной площади нет, и настаивать он права не имеет. Слышишь, Нина?

— Успокойтесь, тетя, Олег не из таких, чтобы настаивать. К тому же у Натальи Павловны и Аси хватит для него места. — И раздосадованная Нина захлопнула перед носом тетки дверь.

Когда Олег привел Асю с официальным визитом, Надежда Спиридоновна, запрятав подальше свои опасения, проявила весь свой светский такт: она с очень милой улыбкой великосветской дамы поцеловала Асю в лоб. Правда, в эту минуту вид у нее на одно мгновение стал такой, будто она прикоснулась к лягушке. «Очевидно, вообразила себе будущего младенца, — подумала Нина. — Для нее Ася — фабрика вякающих существ».

Тем не менее Надежда Спиридоновна очень мило участвовала в разговоре и даже поинтересовалась, у какой портнихи шьют Асе подвенечное платье, и посоветовала сделать его со шлейфом, далее она осведомилась о фамилии и происхождении шаферов и, услышав фамилии Краснокутского и Фроловского, удовлетворенно улыбнулась.

Когда молодая пара вышла, Надежда Спиридоновна сказала:

— А она очень мила, хорошенькая и держится вполне пристойно. Что значит, однако, порода! Надо будет подарить им что-нибудь к свадьбе. — И более к вопросу о браке Олега она не возвращалась.

Нина ничего не говорила тетке о предстоящей поездке к Сергею Петровичу, не желая волновать ее преждевременно. Но в один августовский вечер, когда она, возвращаясь домой, размышляла как раз о том, что пора заговорить с теткой, Надежда Спиридоновна вышла к ней взволнованная, с красными глазами:

— Нина, Ниночка, это что ж такое? Я вдруг от Аннушки в кухне узнаю, что ты едешь куда-то в Томскую губернию на целый месяц. Как же так?

— Извините, тетя. Я как раз сегодня хотела поговорить с вами и сама бы рассказала вам все, — сказала Нина.

— Тебе не стыдно, Ниночка? Из-за мужчины скакать в такую даль?! Все отлично понимают, что ты едешь ради этого господина — ведь всем известно, что он там. Аннушка говорила при мне, не стеснясь. Боже мой, какой стыд!

Нина вся вспыхнула от обиды:

— Почему стыд, тетя? Отчего же, если еду к мужу в изгнание я, это стыд?

— К мужу? Как — к мужу?

— Я выхожу за Сергея замуж.

Надежда Спиридоновна широко открыла глаза, минуту она постояла молча, потом ушла к себе. Неизвестно, какие чувства волновали ее, пока она сидела у себя. Очень скоро она опять постучалась к

Нине. «Сейчас заговорит о вякающих младенцах», — подумала Нина, открывая дверь. Но Надежда Спиридоновна сказала:

— Поздравляю тебя, душечка! Вот тебе в подарок браслет. Видишь, на нем надпись: «Dieu te garde[52]». Это наш семейный браслет: мой дед — твой прадед — подарил мне его к моему совершеннолетию. Желаю тебе счастья! — она вдруг всхлипнула и обняла Нину; седая голова в старомодных шпильках прижалась к ее плечу.

— Ты ведь дочь моего единственного брата, кому же и благословить-то тебя, как не мне? — прибавила она совсем другим — старческим, размягченным голосом.

День отъезда приближался; две недели должно было занять путешествие туда и обратно и только две недели — для пребывания на месте!

За дни, которые оставались до отъезда, Нина еще больше оценила семью, которая ей становилась теперь родной: Наталья Павловна снаряжала ее, как могла бы мать снаряжать дочь-невесту, она даже подарила ей два нарядных гарнитура.

Накануне отъезда, роясь в зеркальном шкафу, Нина наткнулась на младенческую распашонку. Несколько минут она задумчиво созерцала ее, потом окликнула Олега:

— Вот, возьмите! Это крестильная рубашечка, в которой крестили уже шесть поколений мальчиков в семье у Дашковых, в том числе и вас, и моего малютку. Теперь вещица эта по праву принадлежит вам, а у меня если и будут еще дети, то ведь уже не Дашковы. Я хочу отдать вам еще одну фамильную реликвию, Софья Николаевна подарила ее мне на свадьбу. Я уже давно попродавала все мои bijoux[53], но эту берегла на черный день, все думала: если высылать будут... тогда пригодится. Вот, возьмите, — и она протянула ему бархатный футляр. — Нет, нет, не отказывайтесь! Эта драгоценность принадлежала вашей матери и вашей бабушке и должна быть у вас! Пусть это будет ваш свадебный подарок Асе.

В футляре оказались чудесные старинные серьги с длинными жемчужными подвесками. Олег горячо благодарил.

Вечером к Нине забежала попрощаться Марина.

— Хочешь, я возьму к себе на этот месяц Мику? — спросила она.

— Спасибо. Наталья Павловна тоже предлагала мне, но Мика не захотел никуда переезжать. Олег обещал присматривать за ним, а моя Аннушка — готовить ему и Олегу. Я почти спокойна.

Марина обняла ее:

— До свидания, моя дорогая! Я на вокзал не приеду, не хочу видеть тех двоих... ты понимаешь. Желаю тебе хоть на этот месяц любви и радости... Но смотри, будь благоразумна, теперь пришел мой черед сказать тебе — не попадись! Могу уверить, что аборт — вещь весьма неприятная! Я ведь люблю тебя всей душой, хоть вы все и считаете меня эгоисткой.

Когда вечером следующего дня Нина появилась на перроне в сопровождении Олега и Мики, тащивших каждый по чемодану, Наталья Павловна, мадам и Ася были уже там. Мика со дня объяснения с сестрой держался с ней подчеркнуто холодно, как будто желая показать, что разговор, происшедший между ними, не должен повторяться и что никакое подобие сентиментальности не входит в число его многочисленных пороков. Но на вокзале, когда все провожающие уже выходили из вагонов, он в последнюю минуту прыгнул на подножку и быстро обнял сестру, а выскочил уже на ходу. Когда Нина подошла к окну и еще раз взглянула на провожающих, она увидела, что Наталья Павловна осеняет ее крестным знаменем.

«Кажется, кончается мое одиночество! — подумала Нина. — Теперь у меня есть муж, есть мать, есть мой Мика и Олег с этой прелестной девушкой — большая, любимая семья!»

На столике купе лежали принесенные Асей розы и, благоухая, обещал и счастье — короткое и печальное, но прекрасное!

## Глава третья

### ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

**22 августа.** Наконец-то я дома! Я провела месяц отпуска на кумысе в доме отдыха «Степной маяк», в нескольких верстах от Оренбурга. Место красивое — холмы, покрытые степной травой, в долинах — березовые перелески. Пейзаж украшают табуны, которые еще остались кое-где и которых раньше было великое множество. Дом отдыха в виде нескольких маленьких коттеджей раскинулся на большом холме, в центре столовая и красный уголок (ненавистное мне место, куда я ни разу не показала носа). Среди отдыхающих ни одного приятного лица — сплошь «хозяева жизни». Я очень много гуляла одна, а находясь на территории курорта, утыкалась носом в книгу, чтобы не слушать плоских шуток и идиотского смеха и не видеть грубого флирта, от которого тошно делается. Распушенность дошла уже до того, что обратила на себя внимание медицинского персонала — отпечатали от имени главного врача строгое запрещение отлучаться по ночам: это-де тормозит выздоровление отдыхающих и, таким образом, без пользы пропадают затраченные на их выздоровление государственные средства. В одну ночь я была испугана внезапным светом фонаря, наведенного на мою постель дежурным врачом, который в сопровождении медсестры обходил палаты, проверяя, все ли на месте. Он сказал при этом: «Пока первая, которая на своей постели». Пригрозили, что будут списывать с лечения тех, кто блуждает по ночам. Отдыхающие в большинстве были с закрытой формой [tbc\[54\]](#). Одну меня нашли здоровой. Замечательно, что я всегда и везде представляю собой исключение: дворян высылают, меня премируют; все больны, я здорова; все развращены, я целомудренна. Зато я всегда, везде одинока. Никто не попробовал за мной поухаживать, как будто на лбу у меня красовалась надпись: «жизнеопасно». Я пользовалась большой симпатией только у официанток — простых девушек из местных крестьянок, они даже прозвали меня «наша умница». Первое время я радовалась возможности отдохнуть на всем готовом и гулять по живописным холмам, но очень скоро вся эта обстановка так опротивела мне, что я дожидаться не могла конца отпуска: стосковалась по своей комнате и тишине, и... Как только выйду на работу, узнаю у Лели, все ли благополучно.

**23 августа.** Не понимаю, каким образом, рассказывая о курорте, я забыла описать картину, которая интересна даже с исторической точки зрения: курортная столовая представляла собой отдельный павильон, и каждый раз, когда мы — отдыхающие — выходили после наших завтраков и обедов, около дверей в два ряда стояли местные крестьяне — русские крестьяне: мужчины, женщины, дети, девушки и парни и... просили хлеба! Я не поверила бы, если бы узнала это из рассказов, но не могу не верить собственным глазам! Случись такая вещь в царское время в одной из губерний после неурожайного года — какой бы поднялся протест в обществе, какая шумиха! Студенческие сходки, добровольные пожертвования, благотворительные базары, бесплатные столовые... Но советской власти все сходит с рук, все разрешается — это, видите ли, колхозы насаждаются, это так называемый «крестьянский саботаж» — вот и все! Слишком дорого обходятся твои опыты, проклятая власть!

**24 августа.** Была на работе, встретили меня очень радушно. Старая санитарка сказала: «Ну, теперь все пойдет правильно». Забегала в рентгеновский кабинет к Леле — Олег цел и невредим; свадьба будет в первых числах сентября. Лелей в кабинете все очень довольны и уверяют, что всячески будут стараться провести ее со временем в штат.

**24 августа, вечер.** Я рада, что не возненавидела Асю. Был момент, когда злоба закипала во мне, но Ася меня обезоружила в то утро, когда прибежала ко мне вся взволнованная, вся раскрытая, и не побоялась заговорить прямо. В ней очень много сердечного обаяния, против которого невозможно

устоять. Ненависть мутила бы мне душу.

**25 августа.** Новая волна террора! Я узнала от Юлии Ивановны, что 1 августа выслана в северные лагеря плеяда ученых: Платонов, Тарле, Болдырев и еще многие, многие. Юлия Ивановна, которая близка с семьей Платоновых, сама была на вокзале и видела, как цвет нашей мысли провели к поезду между двумя шеренгами вооруженных гепеу. Такая картина впервые поразила наше общество еще в 22-м году — я сама провожала тогда пароход, на котором высылали за пределы России философов: Лосского, Бердяева, Лапшина и несколько талантливейших ученых, от которых соввласть пожелала освободиться! С тех пор это повторяется из года в год, с тою только разницей, что высылают теперь в лагеря, а не за пределы страны. Во всем таком большом прекрасном мире как будто все спокойно, а между тем в России планомерно истребляют лучших людей. В XIX веке гении сплетались у нас в созвездия: «Могучая кучка», «Современник», «Передвижники», «Символисты», труппа Станиславского, — каждое имя в этих созвездиях — наша слава, и вот теперь... теперь подрываются самые корни культурных растений, а Европа равнодушно созерцает это!

**26 августа.** Пошла навестить Бологовских, пошла, конечно, с тайной надеждой на встречу с ним, и не ошиблась. Он показался мне очень усталым и бледным; впрочем, мне теперь все кажутся такими после курортных красных лиц. Лучше мне было вовсе не видеть его, потому что я опять вся растравленная! Ася была такая хорошенькая, такая резвая, легкая, щебечущая; он глаз с нее не сводил.

**27 августа.** Нина Александровна на днях уезжает на Обь квысланному Бологовскому — своему жениху. По рассказам Аси у меня составилось впечатление, что это очень изысканный и умный человек. Княгине выпал на долю романтический и красивый жребий — ехать к ссыльному, а я вот слишком много думаю о подвигах и жертвах, зато они все идут мимо! Такова судьба!

**28 августа.** Княгиня уезжает послезавтра. Я решила, что пойду провожать на вокзал. Я попала в круг аристократии и должна признаться, что эти звонкие старинные фамилии, утонченность манер, грациозный говор и французские фразы — все это теперь, в ореоле террора и нужды, импонирует мне. В сущности, это чужой мне круг: мы скромные, мелкопоместные дворяне — трудовая интеллигенция. В прежние времена наша семья никогда не искала связи с высокими мира сего. Но если русскую интеллигенцию, и в первую очередь дворянскую, так оплевывают и так терзают, если аристократию уже почти всю извели, а слова «паж», «лицеист», «камергер», «гвардеец», «сенатор» звучат почти как приговор — моя симпатия на стороне гонимых, как и всегда! В их лице гибнет класс, который дал России слишком много великих имен для того, чтобы не простить тех нескольких, которые были не на высоте, и я отстаиваю честь этого знамени! Не говорю уже о том, что мне посчастливилось встретить в их среде людей с исключительными душевными качествами, не говорю о человеке, которого люблю.

**1 сентября.** Дежурство в больнице помешало мне быть вчера на вокзале. Сегодня, когда я возвращалась домой, я увидела Олега и Асю у нас на лестнице — в квартире им сказали, что я скоро вернусь, и они дожидались меня, сидя на окне. Они пришли, чтобы пригласить меня на свою свадьбу! Улыбнулась и сказала, что буду; хотела усадить их пить чай, но они торопились еще к кому-то. Прощаясь со мной, он сказал: «Мы сегодня были в загсе, можете поздравить Асю с получением высокоаристократической фамилии!» И только услышав ироническую ноту в его голосе и увидев его усмешку, я поняла, в чем дело: ведь ее записали Казариновой! Загс для них, конечно, пустая формальность, которая нужна только потому, что без нее теперь не венчают. Свадьба назначена в день именин Натальи Павловны.

**3 сентября.** Была у Бологовских. Меня тянет туда, как к месту казни! Нашла всех в предсвадебных хлопотах. Олега не было. Наталья Павловна отдает Асе свою чудесную спальню: гарнитур — парные кровати, изящнейший туалет, гардероб с раздвижными дверцами, ширмы с амурчиками и веночками... В



комнате этой, говорят, все осталось неизменным еще со времени ее жизни с мужем. Теперь все это она отдает внучке, вплоть до прелестного туалетного прибора гараховского стекла с пудреницей и вазочками, а сама переходит в библиотеку, где помещалась француженка, а та, в свою очередь, переселяется в проходную, кажется, в бывшую диванную, где до сих пор спала Ася. Я нашла всех взволнованными этим переселением. Ася даже плакала, повторяя, что ни за что не хочет лишать бабушку ее удобств и привычек. Она с очаровательным видом уверяла, что отлично устроится с мужем в проходной, где ему можно раздвигать на ночь дедушкину походную кровать. Француженка в азарте кричала, что слышать этого не может; Наталья Павловна убеждала очень мягко: «Это мой свадебный подарок вам обоим, я хочу, чтобы тебе было уютно и спокойно и чтобы у тебя все было, как должно быть у молодой дамы! А я отлично устроюсь в библиотеке».

**7 сентября.** Завтра моя Голгофа! Я верю, что ничем себя не выдам; знаю, что у меня хватит сил, я уже себя знаю.

**8 сентября.** Совершилось; этот день кончился, они вдвоем сейчас, а я... вот, сижу за дневником... Расскажу все подряд.

Я пошла к ним пораньше, чтобы помочь в хлопотах и, по просьбе Натальи Павловны, присутствовать в качестве подружки при одевании Аси. Наталья Павловна продала для этой свадьбы бриллиантовую брошку и, по-видимому, хочет, чтобы всё было как можно лучше и был соблюден весь ритуал. Когда я пришла, обеденный стол был уже раздвинут, к нему приставлен ломберный и самоварный, и всё это закрыто огромной старинной белой скатертью. Я стала помогать перетирать хрусталь и расставлять бокалы. Прибежала Леля с корзиной серебра и рюмок, за которыми Наталья Павловна посылала ее к своим друзьям Фроловским, т. к. десертное серебро и бокалы частично были уже давно распроданы и теперь их не хватало; стол накрывали на 25 персон — в прежнее время накрывали бы, наверное, на сто! Старый слуга явился во фраке и белых перчатках, приглашенный прислуживать за столом; я сразу подумала, что он будет самый парадный из всех мужчин, т. к. ни у кого из этих пажей и лицеистов фраков теперь, конечно, нет. Все время раздавались звонки — это доставляли корзины из цветочных магазинов; от Нины Александровны принес чудесную корзину ее брат — славный мальчик лет 14 с живыми умными глазами; он застенчиво помялся на пороге и почти тотчас убежал, сколько ни уговаривала его Наталья Павловна. Я смотрела на карточки, прикрепленные к корзинам: все известные русские фамилии; меня удивила только одна: «супруги Рабинович». Кто эти евреи? Мадам Нелидова велела дочери разбросать на кроватях нарезанные левкои. Леля убежала в спальню, но через минуту вернулась и, пританцовывая, показала медведя с оторванным ухом, которого нашла под подушкой на новом ложе Аси. Дамы дружно рассмеялись.

— Хороша наша невеста! С медведем собралась спать, как маленькая девочка! Перед мужем не стыдно будет? — сказала Асе Нелидова. Ася вдруг сделалась розовая-розовая... Мне даже жаль ее стало — я бы на ее месте, наверное, сгорела со стыда! Не знаю, смогла ли бы я перенести свадьбу — все время быть в центре внимания, да еще при такой специфической настроенности окружающих... При первом, самом отдаленном намеке или любопытном взгляде со стыда умрешь! Вслед за этим Леля и я стали одевать Асю (девицы, как полагается по обычаю). Свадебное платье перешито из парижского кружевного платья Натальи Павловны и сделано в талию со шлейфом, с закрытым воротом. В этом платье и в фате с флер д'оранжем, бледная, с опущенными ресницами, она была похожа на лилию. Когда Наталья Павловна стала ее благословлять, она встала на колени и смотрела снизу вверх взглядом испуганной овечки. Нелидова и француженка даже прослезились.

**14 сентября.** Сегодня ко мне приходила Анастасия Алексеевна, как всегда, ныла и охала. Она поступила было на постоянную работу в детское отделение больницы имени Раухфуса, но в одно из первых же дежурств, укладывая детей спать, перекрестила каждого перед сном. Санитарка видела и сообщила

кому следует. Раздули историю, вызывали в местном, крыли на общем собрании и, конечно, уволили за «вредную идеологию». С такой характеристикой ей уже никуда не поступить. Уж не знаю, как рассматривать ее поступок: как идейность или как глупость? Вернее второе. Идейность не вяжется с образом Анастасии Алексеевны: шпик-супруг, у которого она клянчит деньги, ее манера приbedняться в разговорах со мной... даже в религиозности ее есть что-то ханжеское, убогое. Недавно в их больнице умер видный профессор, хоронили его с помпой — с речами и с оркестром, и вот она вздумала меня уверять, что профессор этот «недоволен» тем, как его погребали; будто бы ей это известно по некоторым признакам... этакая чепуха! Бог с ней! Я невысоко ее ставлю и не могу отделаться от чувства тайной неприязни по отношению к ней, хоть она и оказала мне услугу огромную, неповторимую. Ходит она ко мне, конечно, не из любви, о которой так много говорит, а чтобы попользоваться кое-чем — это ясно. Накормила ее и подарила ей старый шерстяной платок — она жаловалась, что зябнет. От нее пахнет сыростью, чем-то обветшалым, я долго проветривала комнату после того, как она ушла. Жалкое существо!

**18 сентября.** Пошла к Бологовским навестить двух старых дам, которые теперь остались одни. Молодые супруги уехали на десять дней в Новгород — смотреть старину. Наталья Павловна не вышла: на свадьбе она переутомилась и теперь чувствует себя опять хуже. Француженка дала мне прочесть письмо от Аси. Ася пишет, что им очень хорошо, они осматривают соборы, катаются по Волхову на шлюпке, живут в рыбацкой деревушке на сеновале, где «гораздо лучше, чем в самом роскошном палаццо на Canal Grande».

Француженка таяла от этого письма, она говорила: — Chers enfants, ils sont tellement amoureux, tous les deux!<sup>[55]</sup> Но меня в этом письме возмущают целые абзацы. Что такое эти шалости в сене? Ему 30 лет, человек столько пережил — и вдруг все забыто для игр аркадских пастушков! А она? Не стеснясь, описывает, как сидит на нем верхом и ползает по сеновалу раздетая... Что ж они, дети или котята? Я думала, она оплакивает свое девичество, и ожидала найти в письме грусть, а она, оказывается, очень довольна! Я совсем разочаровалась в обоих и больше думать о них не хочу. Пусть хоть амурчиков с крылышками изображают! Мне все равно! И над чем умилится эта глупая француженка? Наталья Павловна, наверное, не дала бы другим такого компрометирующего письма.

**20 сентября.** Вчера вечером я ложилась спать и, заплетая косу, задумалась. И вдруг поймала себя на мысли, что в этом барахтанье на сене вместе с любимым человеком есть, наверное, очень большая прелесть, которую я с моей суровостью даже понять не могу, потому что всегда чужда смеха и шалостей. Я поняла, что где-то в самой глубине души завидую Асе. Только отсюда все мое негодование. Только потому, что я завидую, я осуждаю там, где любовно улыбаются другие.

Я это ясно поняла!

## Глава четвертая

До Томска Нина доехала без приключений. В Томске она села на пароход, который по Томи и Оби доставил ее до селения Калпашево. С этого места начались мытарства. Она знала теперь только то, что ей надо добираться до мыса Могильного, а оттуда уже до поселка Клюквенка. На ее настойчивые расспросы, далеко ли до мыса Могильного и как туда добраться, ей указали на баржу, стоявшую на якоре, и объяснили, что через час придет буксир и потянет эту баржу к мысу. Нина села на берегу. Вспомнив советы Олега, она сняла шляпу и повязалась по бабьи — платочком, а на ноги надела русские сапоги, которыми ее снабдила Аннушка. Понемногу стали собираться пассажиры — простолюдины с корзинками и мешками, все грызли кедровые орехи. Не менее чем через два часа появился маленький буксир с командой из трех матросов в засаленных гимнастерках:

— А ну, садись, которые на Чайну!

Нина вскочила было, но снова села.

— Гражданочка, ты, что ли, Могильный спрашивала? Что ж не садись? — крикнула ей приветливая круглолицая бабенка.

Выяснилось, что Могильный мыс не на Оби, а на ее притоке Чайне. Все оказалось гораздо дальше, чем предполагала сначала Нина.

Двинулись и ехали по крайней мере часов пять. Была уже черная ночь, когда баржа подошла к мысу с печальным названием. Кроме Нины вышла всего одна только женщина. Предстояло вскарабкаться на крутой берег; под ногами была глина, в которой увязали ноги; облепленные сапоги Нины стали пудовыми. В довершение начал накрапывать дождь, а в темноте слышались какие-то странные охи и вздохи. Спутница объяснила Нине, что они в самом центре коровьего стада. В детстве и юношестве для Нины не было слова страшнее «корова»; впоследствии ей пришлось познакомиться с более серьезными опасностями, но все-таки слово «корова» до сих пор сохраняло для нее грозный оттенок, напоминавший слово «гепеу». Сжав губы, она старалась не отставать от своей спутницы. Та несколько раз озиралась на Нину.

— Не здешняя, чай?

— Не здешняя.

— Откентелева же ты?

— Из Ленинграда.

— Чего ж так далеко заехала?

— У меня здесь в Клюквенке муж.

— Во как! Подневольный, значит? В этой Клюквенке все подневольные. Добром туда никто не поедет, в эту самую Клюквенку-то, не-ет!

— Это очень плохое место? — спросила Нина.

— А вот сама увидишь, родимая, сама увидишь. Чего хорошего-то! Вот и этот Могильный: он и зовется-то так потому, что первые поселенцы все до одного тут повымерли. Года этак три тому назад привезли сюда ссыльных: тут тогда еще ничего не было — один бор шумел. Ну и полегли они здесь, сердечные! На косточках их нынешний поселок вырос. Вон тамотко могилки ихние. Мы туда и ходить боимся. Неотмоленные, неотпетые они там позарыты, ровно собаки брошены. Во как!

Наступило молчание.

— Детей-то у тебя сколько же? — спросила женщина, и Нина инстинктивно почувствовала, что ответить «детей у меня нет» — значит, разом отвратить нарастающую к себе симпатию.

— Двое, — ответила она, думая про сына и про Мику. — Два мальчика.

— Сколько ж годочков-то?

— Один школьник, а второй маленький.

— На кого же оставила?

— Соседка у меня добрая, да брат мужа остался, обещались приглядеть.

Женщина, казалось, удовлетворилась; потом опять начались нескончаемые вопросы.

Вскарабкались, наконец. Замелькали тут и там огоньки несчастливого поселения. Решено было, что Нина пойдет вместе с женщиной и переночует у нее. В избе встретили их приветливо, напоили чаем с шанежками. Нина заснула как убитая, закрываясь овчиной на перине, посланной на полу.

За утренним чаем она собрала необходимые сведения: до поселка Клюквенка 30 верст; идти одной по проселку через тайгу — опасно, но сегодня понедельник, а по понедельникам комендант, который живет в Могильном, как раз выезжает в Клюквенку, чтобы производить переключку среди ссыльных. Она может ехать с комендантом, если он разрешит; комендант, кстати, не то чтобы слишком злой, и хорошо бы ей выпросить у него дорогой освобождение от работ на день-два для своего муженька, не то она его почти не увидит — мужское население часто угоняют далеко в тайгу, и они не всегда возвращаются даже на ночь. В понедельник, однако, все должны быть на месте, потому — переключка! Все как будто выходило довольно «складно». Препятствие впереди выставлялось только одно: комендантская собака!

— Дюже злая псина у коменданта! Ни единого человека не подпускает! Скачет по двору без цепи, а с языка — пена! Волк матерый, да и только! А кличка ей — Демон! Пуще всего берегись, Александровна, этого Демона! Нипочем заест, — таковы были напутствия.

Нина только усмехнулась — сколько уже было сделано, что останавливаться не приходилось, — хоть и страшно, а надо идти!

Гостеприимные хозяева сунули ей пакетик пельменей, чтобы задобрить опасного врага. Нина заспешила выходить, опасаясь, чтобы комендант не уехал прежде, чем она придет.

По пути местные жители, показывая ей, какими закоулками пройти к коменданту, все, словно поговору, твердили о собаке, понижая голос до таинственного шепота, и это неприятно действовало на нервы.

Вот и резиденция — длинное деревянное здание, обнесенное частоколом, с погребом и конюшней; а вот и прославленный Цербер!

Злобный хриплый лай, ошетилившая шерсть, глаза навывкате, высунутый язык — все соответствовало описаниям. У калитки не было ни дневального, ни звонка, ни хотя бы колотушки — установка коменданта сводилась, по-видимому, к тому, что проникнуть в его резиденцию может только тот, кто не побоится упасть с перегрызенным горлом.

Нина перекрестилась и отворила калитку.

— Собачка, собачка милая! Ну, не сердись же, моя хорошая! Вот тебе, — и она швырнула подачку. Пельмени исчезли в горле собаки, и она тотчас же снова набросилась на Нину, успевшую за это время сделать всего лишь шаг по направлению к неприветливому жилью.

— Вот тебе еще! Кушай, моя хорошая! — лепетала она, дрожа.

Ася как-то раз уверяла, что собаки очень чутки к интонации, и теперь Нина старалась всячески подлизаться к собаке. Пельмени с загадочной быстротой снова исчезли в горле животного, и Нина успела сделать опять только шаг.

— Демончик, Демончик, Демаша, кушай, родной мой! — опять залепетала она. — Ах ты, обжора! Голодом тебя, что ли, морят, чтобы ты был злой? — Она прошла только полпути от калитки до крыльца, а в пакете уже оставались две жалкие пельмени; во дворе же по-прежнему не было видно никого, даже к окнам никто не подходил, несмотря на то, что этот дикий лай, казалось, мог разбудить мертвого.

«Ну конечно! Сейчас она на меня кинется и разорвет в клочки!» — думала Нина, бросая пельменю и держа в руках самую последнюю.

В эту минуту на деревянной веранде показалась чья-то громоздкая фигура.

— Возьмите вашу собаку! Сейчас же остановите собаку! — завопила Нина, дрожа, как осиновый лист. Но вышедший человек, заложив руки в карманы, равнодушно созерцал происходившее, по-видимому, не собираясь вмешиваться.

— Сейчас же телеграфирую в Кремль, что комендант травит собаками лиц, командированных к нему из Центра! — опять завопила Нина, окончательно теряя голову. Она бросила последнюю пельменю и закрыла глаза.

Кто-то схватил собаку за ошейник.

— Проходите в дом, гражданочка, проходите быстрее.

В комнате Нина почти упала на стул.

— Что вы так кричите, гражданочка? Коли вы командированы, предъявите о том удостоверение, а зачем скандалить попусту? Мы вас и без скандала слушаем.

Нина окинула взглядом невозмутимого вельможу, облаченного в форму геппеу. Вот от — «грядущий хам», генерал-губернатор нового режима, «не очень злой»!

— Кому же, скажите, предъявлю я удостоверение, когда во дворе никого, кроме собаки? Я держала бумагу наготове и со страху выронила... Как смеете вы так обращаться с публикой?

— Осмелюсь вам доложить, гражданочка, что мы знать не можем, какая, извиняюсь, персона вступает на наш двор... От этих ссыльных другой нам и защиты нет, кроме собаки. Они со своими жалобами мне ни сна, ни покоя не дадут. Вчера еще камнем стекло разбили ночью. Мне по моему званию никак без собаки не обойтись.

— А! Так вы ею ссыльных травите! Если бы правительство пожелало отдать кого-нибудь на растерзание вашей собаке, то и оговорено было бы в приговоре! — воскликнула Нина, но тут же подумала: нельзя, однако, обострять отношения! Придется переходить в дружеский тон.

И прибавила спокойнее:

— Оставим это. Поговорим.

Комендант сел, неуклюже расставив ноги.

— Изложите поживей ваше дельце, гражданочка. Мне уже седлают лошадь.

— Вам, товарищ, предлагают оказать мне содействие. Я заслуженная артистка РСФСР и прибыла сюда из Ленинграда дать несколько концертов в вашем районном центре. Должна признаться, что согласилась я на это только при условии, что мне разрешат повидаться с моим «фактическим» мужем, который

находится в Клюквенке. В настоящий момент он на положении ссыльного, но дело это пересматривается, и он должен быть в ближайшее же время освобожден. Так вот, я прошу вас доставить меня в Клюквенку и отдать там распоряжение освободить его на несколько дней от работ. Для известной артистки, приехавшей издалека, вы, товарищ, я полагаю, сделаете соответствующее распоряжение согласно предписанию из Центра.

— Извиняюсь, гражданочка! Я этого предписания не видел и не знаю, кто бы это в Ленинграде мог приказывать мне. Для знаменитой артистки я готов и постараться, если захочу, но начальствует надо мной только районный центр — Калпашево то есть. Коли бы вы мне от наркома самую бумагу привезли, оно бы еще куда ни шло. А других командиров я над собой не знаю. Вот оно как, гражданочка.

Нина почувствовала всю хрупкость своих позиций. Ни в каком случае не следовало дать почувствовать это коменданту — спасение было только в самоуверенности.

Она положила на стол союзную книжку, в которой стояло: «Солистка Гос. Капеллы» — единственный документ из числа тех, которыми она располагала, могущий произвести хоть некоторое впечатление.

— Вы напрасно обижаетесь — это не «приказ». Вас просят оказать содействие два учреждения — ленинградская Госкапелла и Филармония. Если желаете проверить мои слова, свяжитесь с ними по телефону и запросите по поводу меня.

Авось не станет проверять!

На ее счастье, комендант сказал:

—хлопотно будет, да и особой нужды не вижу. Ежели желаете в Клюквенку ехать, пожалуй, поедем. Я пропуск вам дам. Ну а насчет освобождения от повинности — уж это вы, гражданочка, оставьте.

В эту минуту в соседней комнате чей-то звонкий женский голос запел:

В продолжении трех лет  
Я ношу его портрет.  
Я ношу его портрет,  
Может, зря, а может, нет!

— Кто это поет? — спросила Нина и сделала вид, что прислушивается.

Комендант усмехнулся:

— Дочка!

— Прекрасный голос! Послушайте, товарищ комендант, у нее прекрасный голос! Уж я-то кое-что понимаю! Вы учите ее?

— Нет, гражданочка! Где учить-то? У нас здесь музыкальных школ не имеется.

— Жаль. А в Калпашеве?

— Не знаю, гражданочка, не справлялся.

Нина сказала небрежно:

— Когда я буду там выступать, я соберу сведения и нащупаю, каковы педагоги, чтобы указать вам наилучшего. А то пусть в Ленинград приезжает — я устрою в Консерваторию. Ну, да мы поговорим об этом позднее, после того, как я ее прослушаю, чтобы определить, каковы способности.

— Что ж, это можно. Вот вы какая любезная дамочка оказались, а начали с крику. Я со своей стороны тоже готов вас уважить: пожалуй, и освобождение от работы подпишу. Вы со мной ехать решаете или попозже?

— С вами.

— Да ведь я верхом, гражданочка.

— Я могу и верхом, если дадите лошадь.

Комендант посмотрел на нее, выпучив глаза. Когда к крыльцу подвели лошадь, Нина невольно вспомнила красавицу Лакмэ и себя в амазонке... Дмитрий и Олег бросались, бывало, к ней, протягивая ладонь, на которую она ставила свою ножку, вскакивая на седло. Она взглянула на свои ноги в сапогах, облепленных глиной...

Поехали, и почти тотчас же по обе стороны дороги встала непроходимая тайга. Две угрюмые фигуры, украшенные значками гепеу, следовали за ними, оба вооруженные.

Комендант, однако, и в самом деле оказался добродушным и даже несколько раз спрашивал Нину, не желательно ли ей остановиться для какой-либо надобности. Раз он даже сделал попытку занять ее разговором:

— Видите вы эту дорогу, гражданочка? Она выводит на речку. Мне довелось раз ехать берегом этой речки, с отрядом, по служебному заданию. Что же я увидел на этой, извиняюсь за выражение, звериной тропе? Келийка маленькая стоит, а в ней отшельник; завидел нас да бегом в чащу! Едем дальше — опять келийка, и не одна, а, почитай, целый скит. Спешил я в тот день, не до них было. Ну а этак через недельку привел отряд — переловлю, думаю. Неподходящее дело, чтобы у нас в Союзе неизвестно какие люди скрывались по лесам. Оцепил я большую площадь да стал сжимать кольцо, вот как на волков другой раз охотятся; собаки с нами были. Да только никого мы не поймали: уж предупредомили они, видать, друг друга. Полагаю я, гражданочка, что то были не монахи — нет! Те бы не оставили насиженные кельи. Это были лица, которые знали, что их ожидает, ежели попадутся! Люди с прошлым — колчаковцы али чехи, али другие какие белогвардейцы. Да вот не пришлось выловить, а уж была бы мне за это благодарность в приказе — надо полагать, шпалу лишнюю получил бы. По усам текло, в рот не попало... Эх!

Нина воздержалась от выражения сочувствия.

Отвыкнув от верховой езды, она очень устала и, когда после трехчасового пути приехали наконец в Клюквенку, она едва встала на ноги, чувствуя ломоту и боль в бедрах.

Селение протянулось по обе стороны грязной немощеной дороги — убогие домики, напоминающие украинские мазанки; зеленая темнеющая полоса тайги, и над всем этим серое, уже вечернее небо.

Едва только Нина успела слезть с лошади, как ее окружила орава ребятишек, к которым подбегали все новые и новые.

— А вы к кому? А вы откуда? А вы к нам зачем? Вы кто?

Видно было, что появление незнакомого лица — событие весьма достопримечательное в этом селении отверженных. Дети были почти в лохмотьях. За детьми стали появляться и взрослые:

— Вы из Москвы? Или ленинградская? Ах, к высланному! Скажите, не знаете ли вы в Ленинграде Ширяевых? Скажите, а как там жизнь? Неужели еще продолжают высылки? Что, отменили, наконец, карточки? Скажите, вы надолго? Нельзя ли будет через вас передать в прокуратуру просьбу о пересмотре дела? Ах, если бы вы знали, как несправедливо поступили с нами!.. Да вы к кому?

И вдруг опять визг детей:

— Вот идут мужчины высланные! Их ведут из тайги! Они на отметку! Бежимте, мы вам покажем, где комендатура! А мы вперед побежим, мы первые скажем! Мы вперед!

Бросив свои вещи на землю около лошади, Нина, прыгая через лужи, помчалась за детьми.

Тесная прокуренная комната была уже вся до отказа набита людьми, когда, повторяя фамилию Сергея Петровича, Нина протиснулась, наконец, к нему. Они только схватили друг друга за руки, зная, что на них устремлены десятки глаз. Час по крайней мере пришлось им выстоять в этой давке, осыпая друг друга нетерпеливыми расспросами, а когда, наконец, покончили с отметкой, пришлось еще с час ожидать коменданта у выхода; комендант дал Сергею Петровичу освобождение на неделю. В поселке уже зажигали огни, когда они через всю длину единственной улицы подошли к мазанке Сергея Петровича. Она была самая крайняя, вся осевшая, кривобокая; вместо трубы на крыше был прилажен продырявленный чугунок, глиняная печь занимала половину площади. Чтобы сварить ужин и вскипятить чайник, пришлось прежде пилить дрова, топить печь и идти к колодцу. Ужинать сели только в одиннадцать часов. Несмотря на то, что оба были страшно утомлены, проговорили почти до рассвета: Сергей Петрович, устроив Нину как можно удобнее на лежанке, сидел с ней рядом. Сначала говорила Нина, рассказывая во всех подробностях все, что произошло без него в семье; особенно долго и подробно рассказывала она про Олега — сообщать по этому поводу что-либо в письмах было невысказано, а между тем всем хотелось, чтобы Сергей Петрович имел самое точное представление о новом родственнике.

— Что же могу рассказать тебе я? — заговорил Сергей Петрович, когда пришла его очередь. — Произвол и хамство удручающие! На работу загоняют в тайгу, но это меньшее из зол: ты ведь знаешь, как я люблю природу — это еще от старых дворянских усадеб. Если бы мне пришлось отрабатывать эти же часы в заводских цехах, я бы, кажется, не вынес! Природа оздоравливает, вливает силы. Я ведь ее люблю во всякое время года, даже в туман и в дождь. Вставать иногда приходится до зари, и я в таких случаях заранее радуюсь, что предстоит переход, во время которого можно будет наблюдать красоту утра в лесу. Ранней весной тайга была прекрасна; в июне замучила «мошка» — набивается в нос, в рот, в уши; все тело от нее зудит немилосердно; измучились, пока не приспособились мазаться керосином. В тайге мы по большей части собираем смолу: пристраиваем к соснам особые дренажи, в которые собирается смола, а потом ходим и сливаем в бидоны, их нам привешивают на грудь. На участках расходимся по двое, но оружия нам не дают: боятся, чтобы мы не сбежали! Если когда-нибудь нарвемся на крупного зверя — прости-прощай! «А вы, — говорят, — стучите по бидонам, медведь и убежит». Никогда этого не делаю — предпочитаю лесную тишину. Мы здесь как негры на плантациях; спасибо, что не бьют, но обращение самое грубое, и денег не дают, только паек, самый нищенский. Вот здесь против моего окна льняное поле, туда каждый день гоняют дергать лен художницу, жену некоего лицеиста; он взят в концлагерь, а она выслана сюда с тремя детьми, дети постоянно болеют. В тайгу ее по этому случаю не гоняют — милостивое исключение! — а вот на лен можно. Норма ей не по силам, приходится приводить на помощь двух старших девочек десяти и восьми лет. Лицеисты со времен Пушкина ежегодно собирались отмечать свою дату — это стало священной традицией, на которую не посягал никто, но советская власть сочла лицейскую годовщину контрреволюцией! Так муж этой женщины и попал в лагерь.

Наш районный центр — Калпашево. Это дрянной и грязный городишко, но мы вздыхаем о нем, как Данте о Флоренции. Там телеграф, медицинская помощь, магазины; быть может, есть возможность играть на скрипке в кино или преподавать скрипку, а ведь здесь я, в конце концов, разучусь и руки загрузеют. Говорят, комендант переводил туда некоторых ссыльных, если из Калпашева приходило требование на работу по специальности. Но для того, чтобы устроить перевод, необходимо сначала попасть туда и договориться с каким-либо учреждением, чтобы прислало вызов, а как туда попасть?

— Сергей, это надо устроить теперь же, пока я здесь, и даже, знаешь ли, за эту неделю, пока ты свободен. Необходимо попытаться, иначе ты пропадешь: или заблудишься в тайге, или заболеешь, и уж во всяком случае — разучишься играть. Зимой здесь будет ужасно! Не очень-то ваша ссылка отличается от лагеря, как посмотришь!

— Здесь, кстати, есть барак, где за колючей проволокой живут осужденные на лагерь. Те, конечно, все



время под конвоем. Нас иногда прикомандировывают к ним, когда ходим за зону; иногда работаем отдельно, а бывают дни, что вовсе не работаем. Большинство высланных здесь хуторяне, осужденные за кулачество. Есть и интеллигенция. Я подружился с одним евреем: интересный человек! С собой непривлекателен: неопрятный, бородатый, с крючковатым носом... но удивительно одухотворенный и умный. По образованию он — философ, ученик Лосского, поклонник Канта. В последнее время работал педагогом. Что еще оставалось делать в советское время? Сюда попал за то, что на вопрос одного десятиклассника: «Есть ли Бог?», ответил: «Да, дети, есть!» А было это при всем классе. Религиозная пропаганда. В обычное время Яков Семенович молчалив, а поговоришь на задушевную тему, и язык у него развязывается. Он не сионист и еврейскую религию критикует безжалостно, скорее он — антропософ. Я иногда боюсь перебить его вопросом, так захватывающе интересны его сентенции. Я его тебе представлю. Жаль его — одинок, стар, заброшен, для себя ничего сделать не умеет; у него болят ноги, и на всех переходах он плетется позади всех, через силу; слышала бы ты, какими словечками угощают его конвойные! Я еще симпатизирую одному юноше: славное открытое лицо, совсем простой, но чувствуется одаренность — играет на баяне по слуху деревенские песни. И голос прекрасный. Зовут его Родион Ильин. Взят, знаешь, за что? Отбывал он службу в армии, а когда вернулся, дом свой нашел снесенным, а отец оказался в заточении. Они — хуторяне. Он возмутился и давай кричать: при царе таких дел не водилось, чтобы нарочно разорять крестьян! Кричал, кричал, ну и попал сюда. Еще совсем юный — двадцать два года; приятно, что в нем хамства нет — невежественный, но не испорченный, и застенчивость еще сохранилась. Он у меня почти каждый вечер. По вечерам мы с ним часто концертируем в избе-читальне, которая здесь заменяет и клуб, и филармонию. Он имеет колоссальный успех. Скрипка моя не выдерживает конкуренции с его баяном.

На следующий день Нина увидела новых друзей своего мужа: все были званы на ужин. Нина поставила на стол привезенную с собой копченую треску, напекла картошки и печенья из черемуховой муки — местное лакомство. Это примитивное угощение вызвало самый искренний восторг у несчастных клюквенцев, пробавлявшихся обычно пшенной похлебкой.

— Родион, пой! — командовал Сергей Петрович. — Он у меня с голоса все песни «Садко» выучил. Моментаально перенимает все, что я ему намурлыкаю. Пой «Дубравушку» и «Дно синя моря». Вот, послушай, Нина, как у него получается.

Юноша взялся за баян.

— При Нине Александровне боязно, потому она певица ленинградская...

— Вздор! Моя Нина отлично понимает, что ты не учился. Валяй, а потом мы исполним вдвоем «Не искушай!»: я переложил это, Нина, для скрипки и баяна. Оригинальное сочетание, не правда ли?

— Голос хорош — прекрасный лирический тенор! — сказала Нина, выслушав песни «Садко». — Но я хочу услышать его теперь в его собственном репертуаре: пусть споет, что разучил сам.

— Вот мчится тройка удалая по Волге-матушке зимой, — залился ободрившийся баянист, и Нина заслушалась.

Играли на скрипке и на баяне, вместе и порознь; Нина пела одна и с мужчинами, и конца музыке не было.

Художница сидела на стуле, обхватив обеими руками колени.

— Вчера, когда я опять до одурения дергала лен, я задумала пастель, которую назову «Русь советская и Русь праведная!» Будут два лика, составляющие как бы два проявления одного лица: лицо Медузы и лицо русской девушки в боярском кокошнике — прекрасное лицо, в ореоле святости, с глазами мученицы. И это будет моя месть за наши разбитые жизни.

— Прекрасная идея, Лилия Викторовна! Только зачем месть? Мечь не может быть творческим началом! Я против мести, и потом... не надо кокошника — это придает излишнюю тенденциозность, — сказал Сергей Петрович.

Родион дергал его за ватник:

— Сергей Петрович, а что такое «медуза»? Потом забудете, коли сейчас не расскажете. Давеча обещали рассказать, что такое «самум», и забыли.

— Расскажу, подожди: вот когда начнутся зимние вечера с метелями и в тайгу перестанут гонять, — времени у нас будет слишком много, — тогда наговоримся. А теперь — пой.

Родион тронул баян:

Есть одна хорошая песня у соловушки,  
Песня панихидная по моей головушке!

Спев песню, Родион стал расталкивать задремавшего Якова Семеновича:

— Товарищ жид, дорогой вы наш, не дремлите! Вы мочите усы в вине.

Еврей зашевелился и забормотал:

— Человечество определило себе слишком узкие границы! Надо быть слепым или безумным, чтобы одну из ступеней развития принимать за всю полноту жизни! Мы должны выявить подлинный образ человека, отыскать новое выражение! Друзья мои, восхождению нет конца.

Родиону бормотание старика показалось скучным.

— Товарищ Яша! Да вы бы лучше поздравили Сергея Петровича и Нину Александровну — они у нас заневестились, в загс собираются.

Старик повернулся к молодой паре и пробормотал:

— Поручено каждому найти путь к лучшей сфере, но вздыхает вечные времена душа мужчины о нежной женственности.

## Глава пятая

В третий день пребывания Нины в Клюквенке комендант снова приехал туда. Выяснилось, что на следующее утро в Калпашево отправляется окая: несколько заключенных и два-три прикомандированных к ним ссыльных, сопровождаемые конвоем под командой младшего коменданта. Среди них — Родион, которого вызвало колпашевское гешеу — после годового ожидания получен ответ на его жалобу, адресованную в Москву. Нине удалось уговорить коменданта прикомандировать и Сергея Петровича к отправляющемуся отряду с обещанием вернуться с ним же. Десять пачек папирос «Сафо», привезенные для Сергея Петровича, перешли к коменданту.

У здания комендатуры уже стояли заключенные, построенные в три ряда; ссыльных выстроили позади. Младший комендант вышел несколько вперед и зачитал выписку из приказа о правилах поведения в дороге. Оканчивалась она словами:

— Шаг вправо, шаг влево считаю побегом. Стреляю без предупреждения.

— Это что еще за угрозы? — возмущенно шепнула Нина.

— Положено по уставу: зачитывают перед каждым переходом. Твой Олег, наверное, помнит эту формулу наизусть, — ответил Сергей Петрович.

— Какое злое лицо у этого младшего коменданта! — шепнула опять Нина, — «мой» хоть и хам, а добродушный.

Как только вышли за зону, она подошла к младшему коменданту и предложила ему закурить.

— Товарищ комендант, разрешите мне идти в строю под руку с мужем?

Он кивнул, забирая себе всю пачку папирос.

Переход продолжался двое суток, шли медленней обыкновенного: мужчины, равняясь по слабым, нарочно замедляли шаг, несмотря на понукание конвоя. Пришлось пройти 60 верст лесами до самой Оби, и уже там, в виду Калпашева, переправиться на другую сторону паромом.

На пристани в Калпашеве комендант опять зачитал приказ, согласно которому ссыльные отпускались из отряда для выполнения своих частных дел с обязательством быть на пристани к семи часам вечера.

— Неявка в указанное время будет рассматриваться как побег, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Получив свободу, Нина и Сергей Петрович поднялись на высокий красноватый берег по сорока размытым глиняным ступеням, и здесь перед ними открылись пустые, заросшие травой улицы и низкие деревянные лачуги глухого городка.

— Вот моя Флоренция! — печально сказал Сергей Петрович.

С загсом дело устроилось сравнительно быстро; расставшись с фамилией, которая принесла ей столько горя, Нина вздохнула:

— Ну, теперь я хоть не «сиятельство»! И то слава Богу!

— Хрен редьки не слаще! — ответил на это Сергей Петрович и прибавил, беря ее под руку: — А теперь ты у меня попалась! Я потребую с тебя сына; отсрочки не дам: довольно уже мы потеряли времени.

— Ах, вот что! Если б я только знала... — шутливо возмутилась Нина.

— Ты бы не записалась? Мы с тобой поменялись ролями! По-видимому, ты давно колыбельных не

пела. Я сыграю тебе моцартовскую, когда вернемся. Уж пожертвуй мне одну зиму. Может быть, Ася составит тебе компанию.

К ним подошла девочка, предлагая осенние цветы.

— Вот, получай свадебный букет, а будет все-таки по-моему!

— Но ты забываешь, Сережа, что я должна работать и что без моего пеня...

— Кажется, мы начинаем ссориться, едва выйдя из загса. Может быть, вернуться и развестись?

С музыкальной школой не посчастливилось: сколько ни запрашивали и в райисполкоме, и на почте — никто не мог дать никаких сведений. Оба уже отчаялись, когда вдруг увидели человека с виолончелью на другой стороне улицы; бросились догонять. Виолончелист оказался тоже ссыльным, скитавшимся без работы; он играл иногда в единственном кино под аккомпанемент плохонького пианино. Музыкальной школы, по его словам, в городе вовсе не было; тем не менее, он очень обрадовался неожиданной встрече, появление скрипача дало бы возможность составить трио. На всякий случай обменялись адресами, но уже ясно было, что план с переводом на работу в Калпашево рухнет, тем более что в общеобразовательной школе они узнали о существовании циркуляра не вербовать в школьные преподаватели репрессированных лиц.

Когда в семь часов вечера собирались на пристани, Родион, узнав, что перевод в Калпашево срывается, признался:

— Сергей Петрович, видать, дурной я человек — чтобы за вас огорчиться, а я радехонек: без вас мне тоска смертная в Клюквенке, сопьюсь запросто.

— Глупый мальчик! Это так понятно! И для меня в Клюквенке ты — родная душа. А спиться я тебе не дам.

— Сергей Петрович! Я такого человека, как вы, отродясь не видывал! И во сне не мерещилось, что бывают такие. Не знаете вы, что они для меня значат, Нина Александровна!

— Не говори «они». Называй имя и отчество, — прикрикнул Сергей Петрович.

Но юноше хотелось выговорить свою мысль, и он пропустил мимо ушей поправку.

— Мне бы должно благословить ссылку за встречу с вами, да я бы, может, и благословил, только вот мать у меня на старости лет одна по чужим избам, бедная, мотается. Ну, и заропщешь другой раз.

Сергей Петрович пожал ему руку.

— Что сказали тебе об отце?

— Сказали: без права переписки; коли помрет — известим. А обвинен, мол, и ты, и тятка твой правильно: кулаки вы, и поблажки вам никакой не будет. А какие же мы кулаки, когда без чужой помощи всю жисть хозяйевали? Ну, да я не унываю, Сергей Петрович: везде есть хорошие люди.

Ночевали третий раз под открытым небом, на пристани по ту сторону Оби. С реки дул ледяной ветер; посреди ночи Нина, дрожа от холода, постучалась в хижину паромщика, умоляя впустить ее погреться. И несколько часов провела на печке в обществе детей и теленка, который, не трата даром времени, пережевывал в темноте уроненную ею косыночку; когда Нина, уходя на пристань, хватилась косынки, нашлось лишь несколько клочков. На заре построились для перехода. День выдался ясный, солнечный; туман расходился золотистой дымкой. Шли бодрым шагом, чтобы согреться. Родион все время запевал то одну, то другу песню; никто, однако, ему не подтягивал. На одном из поворотов дороги, оглядывая лес, который весь золотился в преломлявшихся сквозь прозрачный туман утренних косых лучах, Нина воскликнула:

— Ах, какая рябина! Горит! Огненная! — и указала на молодое деревце несколько поодаль от дороги. В одну минуту Родион выбежал из строя, подскочил к рябине и схватил ветку. Грянул выстрел, и схваченная ветка откачнулась обратно... Крик ужаса вырвался у людей, и вся партия разом остановилась, — юноша, как сноп, повалился на землю. Нина окаменела, не верилось, что все происходящее — правда. Сергей Петрович и еще один мужчина бросились к упавшему.

— Назад! — рявкнул комендант. — На прицел! — крикнул он конвою. Четыре револьверных дула тотчас устремились на двух мужчин. Те даже не обернулись.

— Жив? Отвечай! Жив? Что с тобой? Где рана? — повторял Сергей Петрович и дрожащими руками начал расстегивать на упавшем ватник.

Второй мужчина, стоя под дулом, сказал:

— Товарищ комендант, я — врач: разрешите мне исполнить мою обязанность. — И, хотя револьверные дула остались в прежнем положении, припал ухом к груди юноши, держа его неподвижную руку в своей. Все замерли.

— Кончено, — сказал он и встал с колен. Наступила тишина. Мужчины снимали шапки.

Сергей Петрович тоже поднялся и с бешенством крикнул коменданту:

— Вы не имели права стрелять! Мы все видели, что это не побег!

— Молчать! — крикнул злобный голос. — Сомкнуть строй! Стреляю в каждого, кто не будет повиноваться!

Нина бросилась к мужу:

— Сережа, молчи! Ты — безумец! Разве ты не видишь: это звери, не люди! Они убьют и тебя... Молчи! — шептала она, вся дрожа, и втащила его в ряды. Кто-то поднял и протянул уроненную им шапку, Нина нахлобучила ее ему на голову.

— Шагом марш! — крикнул комендант.

— А как же он?.. Вы его бросите... — срываясь, пролепетал один женский голос.

— Вперед! — пролаяла повторная команда. Люди двинулись в полном молчании с угрюмыми лицами; конвойные еще держали револьверы наготове. Комендант пошел сбоку, оглядывая строй.

— Гражданка! Вы! Вы! Выйти из строя!

— Я сопровождаю партию с разрешения старшего коменданта, — отважилась выговорить Нина.

— Знаю, что с разрешения. По дороге вам идти не запрещено, а из строя извольте выйти.

Нина и Сергей Петрович молча взглянули друг на друга; он пожал и выпустил ее руку. Лица стали как будто еще сумрачней; за весь переход никто не сказал ни слова, только шаги звучали по лесу.

Комендант сделал остановку в Могильном и ходил к своему начальнику, очевидно, с докладом о происшедшем. Вернувшись, он отдал приказ ночевать в Могильном и увел отряд в здание комендатуры. Нина, не зная, куда деваться, прошла в тот дом, где ночевала по прибытии. Усталая и потрясенная, она не скоро заснула и с трудом поднялась, когда встававшая к корове хозяйка разбудила ее на рассвете. Кутаясь на ходу в ватник, она побежала к комендатуре и в сырой мгле утра увидела отряд выходящим из ворот.

Она не посмела вмешаться в ряды и пошла сзади; сапоги натерли ей ноги, и она с тоской думала о предстоящем дне пути. Только в полдень, во время остановки, когда она подошла ближе к партии, она обнаружила, что Сергея Петровича, а также молодого доктора не было среди других. Страшно испуганная и растерянная, она хотела повернуть назад, но побоялась быть застигнутой сумерками в тайге и, следуя за

отрядом, все-таки дошла до Клюквенки. Когда она переступила порог своей мазанки и опустилась на деревянную скамью, ею овладело отчаяние.

— Господи, что же это? Что я теперь должна делать? Его, наверное, перебросят в концентрационный лагерь... я его не увижу больше!

Клюквенка показалась ей теперь насиженным мирным местом... Как хорошо было еще несколько дней назад, когда они пели и играли вот в этой самой комнатушке, и вот что теперь!.. Она озябла и проголодалась — волей-неволей пришлось растапливать печь, варить картофель и кипятить воду. Поужинав в полном одиночестве, она устроила себе постель на лежанке и накрылась всем, что было теплого, трясаясь в нервном ознобе. Страшно будет провести одной ночь: хата на краю, за ней пустое поле, а за полем тайга, которая глухо шумит. Вокруг — ни души. Пошел дождь, но она не могла заснуть даже под этот равномерный, убаюкивающий звук. То ей чудились шаги за дверьми, и она, замирая, прислушивалась, не зная сама, чего ждет и чего боится, то чудился вой волков. Детский суеверный страх все больше овладевал ею: наводили ужас темные углы пустой хаты — они, казалось, жили угрюмой, таинственной жизнью, и там, в глубине, в паутине, роились и прятались призраки. Скоро над ней начала протекать крыша; сначала падали отдельные редкие капли, потом забарабанило частой дробью; она не шевелилась — страшно было выйти за освещенный круг. Однако течь скоро стала настолько сильной, что волей-неволей пришлось вылезти, чтобы сохранить сухими теплые вещи, которыми она была накрыта. Когда она встала и осветила дальние углы, то увидела, что течь захвачен еще один угол и могут промокнуть ноты и скрипка. Сердце ее больно сжалось при взгляде на скрипку:

«Я сыграю тебе Моцарта!» — вспомнилось ей. Пришлось переносить все вещи в единственный сухой угол. Весь остаток ночи она просидела, поджав ноги, на скамье, слушая дробь дождя и шелест тараканов, к величайшему ее ужасу перебравшихся из мокрых углов поближе к ней. Ноги ее скоро совсем онемели, но она боялась опустить их на пол и не решалась переменить положение, окруженная армией насекомых.

О Господи! Долго ли еще будет тянуться эта ночь? Она, кажется, никогда не кончится! Надо отговорить Асю от брака с Олегом: он не сегодня-завтра попадет в такую же ссылку, а она окажется с ребенком в таком же медвежьем углу.

Забрезжило, наконец. Она решилась встать и взялась за топор, чтобы подогреть себе воду в чугушке. Топор не слушался непривычных рук, дело не ладилось, слезы досады наворачивались на глаза.

Дверь отворилась — на пороге показалась баба в ватнике и в сапогах и остановилась у притолоки, подперев красную щеку рукой.

— Что вам? — спросила Нина.

— Ничаво, ничаво, родимая. Поглядеть на тебя пришла. Уж не прогневайся.

Нина подивилась и занялась снова дровами и чугуном. Когда она снова взглянула на дверь, баб было уже две, и обе глядели на нее, подперев щеки руками. Нина налила себе чай, поставила чашку на подоконник и села, досадуя на непрошенных посетительниц и стараясь уяснить, в чем кроется неожиданный интерес к ее особе. Должно быть, слух, что она только что зарегистрировалась с ссыльным, уже докатился — в представлении этих баб она была молодой девушкой, у которой сорвалась брачная ночь! Вот именно это и возбуждало их любопытство. Она повернулась: баб было уже три, и все перешептывались, кивая на нее. Нервы Нины не выдержали: она ударила рукой по подоконнику и вскочила:

— Да что же это здесь — театр, что ли? Бессовестные! Сердце-то у вас есть?

Бабы испугались и, может быть, даже пристыдились. Все три разом выбежали вон. Нина захлопнула

за ними дверь.

Она повязала платок, влезла ногами в сырые сапоги и вышла на холодный туман. Шла и думала, что сделала величайшую глупость, приехав сюда. «А впрочем, глупость эта, может быть, самое большое и лучшее, что мне довелось сделать!»

Приближаясь после пятичасового пути к логовищу коменданта, она купила дешевого студня. Повторилась прежняя, уже знакомая ей история, с той только разницей, что после третьей подачки собака уже не скалила зубы, угрожая наброситься, а стояла, выжидая следующего куска и глядя на Нину умными глазами. Нина протянула еще кусок, и собака, вильнув хвостом, взяла его из ее рук.

— Демон, Демончик, хороший Демаша! — завела уже привычную песню Нина и, все еще робея, направилась к крыльцу, а Демон побежал рядом. Встречаясь с умным и внимательным взглядом животного, Нина невольно сравнила этот взгляд и своеобразное благородство собачьей морды с лицом хозяина дома — сравнение было не в пользу человека.

— Здравствуйте, товарищ комендант! — стараясь говорить как можно приветливее, сказала Нина, собирая всю свою волю на предстоящий тяжелый разговор. — Вот решила заглянуть к вам, чтобы послушать вашу дочку, а также выяснить одно недоразумение. Вы позволите мне войти?

Рука, похожая на медвежью лапу, неуклюже протянулась к ней:

— Просим, просим, товарищ артистка!.. Садитесь. Не желаете ли пивца холодного? Дочка уж мне житья не дает: когда же твоя знаменитая певица меня послушает?

Нина поспешила мило улыбнуться:

— Это очень понятно, товарищ комендант. Я с большим удовольствием займусь с ней; я сегодня не тороплюсь. Но прежде я хотела бы переговорить с вами по поводу вчерашнего инцидента. Ваш помощник, очевидно, уже представил вам рапорт?

— Вы это о чем, гражданочка?

Он до сих пор еще не потрудился узнать имя и отчество Нины.

— Ваш помощник стрелял в ссыльного. Я шла с этой партией согласно вашему разрешению и была невольной свидетельницей.

Спазма сжала горло Нины. Комендант уже не смотрел на нее притворно-ласковым взглядом.

— Так, так, гражданочка, точно. Что ж дальше? Подчиненный мой действовал согласно инструкции. Над нами ведь тоже начальствуют, доложу я вам. Когда ссыльные находятся в пути, большого числа конвойных мы предоставить не можем, и существуют особые правила поведения, о которых мы предупреждаем конвоируемых. Эти правила были зачитаны. По всей вероятности, и вы их слышали. Никакого упущения по службе не было — могу вас уверить! Нам с вами говорить-то об этом не для чего. Ну, разумеется, вы человек непривычный: вам оно... страшновато показалось. Забудьте думать, гражданочка; забудьте — вот и вся недолга! Мой вам совет: от ссыльных лучше держитесь подальше; особенно пятьдесят восьмых — беспокойный народ! Должен я вам сказать — с уголовниками куда легче: свои ребята! А эти пятьдесят восьмые нас, советских людей, презирают и все в лес смотрят.

Глухое, болезненное возмущение, накопившееся в Нине, комком давило ей в грудь и сжимало виски до дурноты. Упущения по службе не было! Ему все равно, что погиб талантливый, милый, жизнерадостный юноша! Важно, что соблюдены все правила, при которых разрешается безнаказанно стрелять в человека.

Она сделала усилие, чтобы овладеть собой, и сказала спокойно:

— Я не собираюсь обвинять вашего помощника в нарушении правил: это меня не касается. Я хотела

узнать, за что вы задержали двух других из этого отряда? Один из них мой муж, ради которого я так далеко приехала. Могу вас уверить, что ровно ни в чем не провинился. Я здесь могу пробыть считанные дни, поэтому решаюсь обратиться к вам с просьбой освободить его как можно скорей.

И опять ей перехватило голос.

— Подождите, подождите, гражданочка: дайте я справлюсь в рапорте — я не упомянул фамилии. Минуточку.

Он вышел из комнаты и вернулся с листом бумаги и с очками на носу, придававшими ему несколько комический вид.

— Как фамилия вашего супруга, гражданочка?

— Бологовский, Сергей Петрович.

— Так, так; совершенно верно; Бологовский под арестом: «Пытался возмутить против конвоя...» — видите ли, какая штука! Это вам не фунт изюма, гражданочка! Вы извините: я попросту.

— Это ничего, что попросту. Я тоже с вами буду говорить попросту. Товарищ комендант, вы информированы неправильно! Снимите показание с меня, допросите всех шедших в партии, и вам станет ясно!

— Я не собирался заваривать дела и чинить допрос по всей форме, гражданочка; домашним образом думал справиться. Тут, чего доброго, нагореть может, ежели пойдет по законной линии. Число конвойных я, видите ли, выделил недостаточное и в Калпашеве людей отпускал только по моей мягкости — одолевали меня с просьбами: кому к доктору, кому просьбу подать, кому устроить вызов по специальности... Ну, и соглашался; вот и вас прикомандировал, а по всей строгости оно бы не следовало, да где уж, думаю, вам одной по тайге шататься... Ну, а начальство может косо на это поглядеть: мирволит, скажет!

Невольно шире открылись глаза Нины: так этот держиморда опасался обвинений не в самоуправстве или жестокости, а напротив — в мягкосердечии и гуманности! Хороши же были типики, сидящие над ним, уже кончившие школу палачей! Но так или иначе, а огласки этот великолепный администратор не желал! Нина тотчас это угля и очень дипломатично сказала:

— Могу вам обещать, что если мне случится говорить о происшедшем в Томске, я приложу все усилия, чтобы не повредить вам.

— А с кем вы там говорить намерены?

— Я знакома кое с кем в Томске, — храбро солгала Нина. — Я отнюдь не желаю бегать по учреждениям, но придется, по-видимому, выручать мужа, если вы не пожелаете его выпускать.

— А вы меня, гражданочка, уж не припугнуть ли желаете? Из этого, доложу я вам, ничего не выйдет: я в партии с семнадцатого года, старый чекист, и заслуги мои всем хорошо известны; партийных взысканий не имел, стою твердо — не подкопайтесь.

— Припугивать вас я не собираюсь, но если вы не хотите дать делу законный ход, тогда прикажите выпустить задержанных, а что значит «кончить домашним образом» — я не понимаю! Ведь вы должны же будете отчитываться перед Томском в гибели ссыльного и в аресте двух других?

— Никак нет, гражданочка! Ссылных у нас тысячи, и они вверены мне бесконтрольно. У нас в тайге и на дорогах задаром, без следа, пропадают люди самые полноправные, а не то что высланные! Конечно, когда идет судебный процесс, за каждого из подсудимых тюремный персонал отвечает своею головой, но у меня здесь или осужденные, или административно-высланные. Таких тысячи в каждом из здешних



районов. Где тут отчитываться в каждом? Погиб и погиб — довольно, что знаю я. Для знаменитой артистки я всегда готов стараться!

Засадил я тех двоих за нарушение дорожной дисциплины; вот завтра выберу времечко и допрошу. Тогда сам увижу, что мне с ними делать. На моем участке я могу распоряжаться, как сам нахожу нужным, — запомните, гражданочка! Хоть повесить, ежели заблагорассудится; но я, имейте в виду, не суров.

Нина поднялась и взяла рукой забрызганную грязью юбку, как взяла бы шлейф, спускаясь с эстрады.

— Я вас поняла, товарищ комендант: Благоволите теперь провести меня к вашей дочери.

Два часа она просидела с кривляющейся, намазанной, завитой девицей, пробуя ее голос, исправляя постановку, прививая навыки. И когда, наконец, вышла — чувствовала головокружение от усталости и нервного перенапряжения, а надо было до сумерек пройти опять тридцать верст. Великолепный хам не догадался предложить ей хоть какой-нибудь вид транспорта. Утешая себя, что эта дорога сравнительно людная, благодаря постоянному сообщению между Могильным и Клюквенкой, и встреча со зверем или с бродягой маловероятна, она вышла из поселка и потащила по грязи в злосчастную Клюквенку.

Она шла уже часа три, время от времени присаживаясь на камень и съедая кусок хлеба, которым запаслась, чтобы не ослабеть в дороге. Затянутый холодной осенней дымкой лес хмуρο молчал. Она шла, не глядя по сторонам и стараясь не думать, что идет одна через тайгу. Натертые ноги мучительно ныли. Вдруг она увидела неподвижную мужскую фигуру впереди на повороте.

Со времени травмы, пережитой ею в Черемухах десять лет назад, каждая незнакомая мужская фигура, встреченная в уединенном месте, внушала ей опасения. Этот постоянный страх портил ей все прогулки, когда она попадала за город. Теперь при одном взгляде на стоявшего впереди человека сердце у нее отчаянно заколотилось.

Она увидела, что прохожий решительно направился к ней. В эту минуту взгляд ее остановился на большой палке, валявшейся на дороге, и она быстро схватила ее.

Человек подходил все ближе и ближе, и вдруг она узнала эту неуклюжую бородатую фигуру — философ Яша! Слава Богу!

— Нина Александровна! — сказал старый еврей, подходя неуверенной, шаркающей походкой, — ну, как это вы ушли одна? Ну, сказали бы мне. Я, правда, стар и плохой защитник, но таки лучше чем никто! Не бросайте палку через час будет темно — почем знать? Идемте скорей.

Они пошли рядом. Он не решился предложить Нине руку, видимо, не был уверен, что русская дворянка примет ее. Выслушав про Сергея Петровича, сказал:

— Немножко утешу вас, Нина Александровна! В вашей мазанке сейчас чинят крышу. Несколько женщин из здешних крестьянок подняли гвалт, что у вас заболочена вся хата; у одной из них муж плотник; она потащила его чинить, потом подговорили еще одного и обещали, что все будет готово к вечеру.

Он внимательно взглянул на расстроенное лицо своей спутницы.

— Я понимаю ход ваших мыслей, Яков Семенович. Отвечу вам правду — нет, давно нет! Всенощное бдение в институте, причащение с другими девочками — все это поэтическое воспоминание, и — только! Христос, который учил человечество милосердию или бессилен и, стало быть, не Бог, или не милосерд вовсе!

— Страшные слова вы произносите, Нина Александровна. У вас такая тонкая душа, а о Спасителе вы, простите, рассуждаете по-обывательски плоско. Если бы наградой за веру и праведную жизнь служило

процветание здесь, на земле, в земных формах, — все вокруг были бы верующие, но грош цена была бы этой вере! Из века в век заботливо выращивают наш дух светлые Учителя, и скорби на этом долгом пути к вечности служат нам искуплением и очищением. Есть люди, которые благословляют их, — они начинают интуитивно постигать неисповедимость Божественных путей. Вы, Нина Александровна, может быть, и сами с любовью и умилением оглянетесь когда-нибудь на нынешний день и этот крестный путь в Могильное, который дал вам выявить на деле вашу любовь и верность. Цените ниспосланные вам минуты, которые глубоко и неразрывно, нитями родства потустороннего, связывают вас с любимым человеком.

— Яков Семенович, вы христианин?

— Не знаю... Вернее будет сказать — антропософ, постигающий Христа. Родился в иудействе — я сын виленского раввина. Я мальчиком был, когда мне в руки случайно попало Евангелие и, когда я стал вчитываться в строчку за строчкой, вырос из них передо мной образ Христа и завладел навсегда моими мыслями. Я понял роковую ошибку моего несчастного народа, я понял, насколько христианство человечнее, светлее и шире нашего узкого иудейства, — я многое понял тогда. Помню, что делалось со мной, когда, спрятавшись за шкафом, в углу моей бедной комнаты, я читал: «Сия есть Кровь Моя Нового Завета, Еже за вы проливаемая...» Наступила Страстная; занятия в гимназии были прерваны, и вот потихоньку, как вор, побежал я — еврей — в христианскую церковь, не в нашу гимназическую, нет — разве я бы посмел туда явиться? — в монастырское подворье на окраине. Шла литургия, и когда я робко переступил порог храма, я услышал голос из алтаря: «Пийте от нея вси сия есть Кровь Моя» — те как раз слова, которые переворачивали мое сознание. Я слушал, слушал и, знаете ли, что я сделал? Я подошел с другими к Чаше, движимый самым горячим желанием. Я несколько раз делал так, не зная сначала, что это недопустимо. Много было после пережито тяжелого: и страшный протест окружавшей меня среды узкого провинциального еврейства, и косность ваших священников, и порочность вашего христианского мира — все это обрушилось на меня еще в ранней юности и едва не затушило отблески дальних сияний, которые нашли место в моей душе. Но дивный Образ, раскрывшийся однажды моему воображению, укреплял мой дух. Крестился я много позднее — уже когда окончил университет. Крещение давало мне права гражданства наравне с русскими, а я не хотел ни перед своей совестью, ни перед людьми, чтобы вера моя перепутывалась с вопросами житейских благ, и лишь когда окончание университета дало мне право и жить и работать в Петербурге, я принял крещение. Здесь выплыли новые трудности священники, к которым я обращался, после бесед со мной отказывались меня крестить, находя, что я, выйдя из иудейства, заблудился в безднах теософии и по существу моих воззрений не христианин. Среди них были очень образованные, и они соглашались, что в русской интеллигенции есть множество лиц, отстоящих по своим воззрениям еще далее меня от Православия в самой его сути, но крестить заново обращенного с такими воззрениями, тем не менее, отказывались. И все-таки, великая Церковь ваша, обладая таким сокровищем, как Евхаристия, осенена благодатью, как бы ни были погрешны отдельные представители. И эта благодать сошла на меня. Я вошел в лоно Церкви Один из священников обратился за разрешением вопроса к епископу, и тот меня понял! Больше того; мое самовольное причащение он рассмотрел не как грех, а как особое призвание. Он согласился меня крестить и сказал при этом «Храните символ Веры и не порывайте с Причащением, тогда, исполняя по мере сил заповеди Господни, вы пребудете в Церкви. На исповеди кайтесь в том, что вам укажет совесть, но не вступайте в богословские прения» Всю жизнь я с благодарностью вспоминаю этого человека. Я — близорукий — страшился упрека в материальной заинтересованности при переходе в Православие, и даже помыслить тогда не мог, что моя вера повлечет за собой, напротив, гонение и исповедничество, а Христос в Своем милосердии послал мне жребий, о котором я не смел мечтать! Кто бы мог это предвидеть в те годы? Вот теперь я в ссылке, одинокий, больной и уже старый; у меня нет ни угла, ни семьи, но поверьте мне, Нина Александровна, что я счастлив и что мне в самом деле ничего, совсем ничего не нужно! Долгое время горем моим была потеря моей

библиотеки — книги были моею страстью, и на них я тратил все мои средства; за годы петербургской жизни мне удалось собрать огромную библиотеку религиозно-философского содержания, ее опечатали при аресте, и случайно мне стало известно — от соседей по квартире, — что книги были погружены в огромный грязный грузовик, который умчал их прямо на свалку, — это говорил соседям лично увозивший книги шофер. Теперь и эта боль отошла; не осталось ничего кроме радости идти за Распятим Учителем. Эту радость уже никто не может у меня отнять. Вы, Нина Александровна, еще молоды и хороши собой — да пошлет вам Господь счастье с избранным вами человеком, но не падайте духом и не унывайте в дни печалей. Они не так страшны, как кажутся сначала: как раз в их гуще и толще нас посещают новые и самые дивные радости. Где крест, там они вьются вереницами.

Молодая женщина молчала, озадаченная и удивленная.

— Не отвечайте мне ничего, а только запомните мои слова, сохраните их в своем сердце. Быть может, когда-нибудь они найдут в вас отклик. Мы сами не знаем минуты, когда в нас просыпается тайное, лучшее, внутреннее. — И он прибавил с улыбкой: — Странно, не правда ли, что вы — христианка по рождению — выслушиваете о Христе от еврея? Случается и так!

— Нет, Яков Семенович. Я этого не думала... Спасибо за хорошие слова и за участие. Мой муж и я, мы оба вас так уважаем... Я сейчас вспомнила своего брата... вот бы вам поговорить с ним — вы бы друг друга поняли, а я...

Она заговорила о библиотеке своего отца, которой завладела тетка, и о некоторых уникальных изданиях, хранящихся в ней, и за этими разговорами дорога прошла незаметно.

Когда, уже в сумерках, они подошли, наконец, к Клюквенке и Нина вошла в свою хижину, починка и в самом деле была закончена, пол подметен и даже печь вытоплена; а чугунок полон печеной картошки, аккуратно закрытой вышитым полотенцем; очевидно, женщины предполагали, что она вернется из Могильного с мужем, и решили обеспечить молодым счастливый вечер. Нина была тронута неожиданной заботой, однако, она так устала, что не могла есть, а тотчас улеглась на лавке и в этот раз проспала всю ночь как убитая. День не принес ей ничего нового. К вечеру она опять затопила печь, вскипятила чайник и села у огня, настороженно прислушиваясь: может быть, и в самом деле отпустит после допроса! Стук в оконную раму заставил ее вздрогнуть, но это оказался всего только десятник, который обегал ссыльных, вызывая на переключку к коменданту, как обычно в понедельник. Она села, и ей стало еще грустнее после минутной надежды.

Поднялся ветер и завыл в трубе, нагоняя тоску, ей опять делалось жутко; неужели начнут повторяться все ужасы предшествующей ночи? Черные тараканы начинали опять выходить из своих углов, а свеча, колеблясь неровным светом, уже рисовала устрашающие тени на закоптелом потолке, когда ей показалось, что кто-то шарит рукой за дверью.

— Кто? — спросила она, вскакивая, но не снимая крючка, и дрожа.

— Нина! Открой! Это я!

Она выскочила под дождь и бросилась на шею мужу.

Пароход издавал протяжные гудки в знак того, что не придет больше — не придет до весны! Этот прощальный сигнал всегда звучит на Оби, как только шуга — ледяное крошево — проявляется на могучих волнах. Затерянные в лесных селеньях ссыльные с грустью вслушиваются в этот заунывный гудок. Стоя на борту парохода, покидавшего Калпашево, Нина всматривалась в полосу тайги на противоположном берегу и вытирала слезы.

В Томске, прежде чем пересечь на поезд, она несколько дней обивала пороги некоторых учреждений. Этот город, обросший сетью лагерей и тысячами учреждений по управлению лагерями и тюрьмами, стал ей невыносим. Она побывала по крайней мере в десяти присутственных местах и не могла найти конца и начала этой сети. Ее безжалостно гоняли с места на место. По сравнению с агентами, которых она видела здесь, хамоватый комендант казался ей теперь очень человечным — он давал себе труд выслушивать ее и питал наивное уважение к званию заслуженной артистки, самовольно присвоенному ею. В Томске она оказалась совершенно бессильно перед привычной черствостью персонала и хаосом канцелярий. Единственно, чего она достигла, — это частного обещания директора одной музыкальной школы, где она дала бесплатный концерт, попытаться вытребовать скрипача Бологовского на педагогическую работу, как только школа получит расширение штатов. Успех этого предприятия был весьма сомнителен.

В последних числах сентября Нина покинула Томск.

## Глава шестая

Дни, проведенные с Асей на берегу Ильмена, показались Олегу райским блаженством очарования любви, ранней осени и седой старины как будто соединились, чтобы закрыть от него безотрадные думы. Он отлично знал, что гепеу может найти его на Ильмене так же легко, как в Петербурге, и, тем не менее, закрывая по вечерам двери своего «палаццо», он ни разу не подумал о том, что среди ночи может раздаваться стук в эти двери. Лишь изредка в мыслях его мелькало — «на мой закат печальный... улыбкою прощальной...»

Их окружали крестьяне-рыбаки, занятые полевыми работами и рыбной ловлей. Ася была прелестна, и все заботы и опасения таяли в лучах ее любви. Он был свободен от службы, где приходилось все время быть начеку и взвешивать каждое слово. Наскучившая пошлость задающей тон партийной среды, дешевая агитка, преследующая в новом обществе каждый шаг человека, и газеты, которые действовали на него как змеиное жало, — сюда не долетали.

Но как только они сели в поезд, сразу словно попали в орбиту Ленинграда. В сердце ожили и зашевелились тревожные ожидания.

Первый вечер дома прошел, однако, очень оживленно и даже весело: Ася за чаем щебетала без умолку и была очаровательна, несколько не меньше, чем в деревне; Наталья Павловна и мадам были с ним очень ласковы, и он чувствовал себя все таким же счастливым.

В шесть утра, когда он стал одеваться, Ася пошевелилась и открыла глаза.

— Дай мне мой халатик, я приготовлю тебе завтрак, — сонным голосом отозвалась она.

Он стал убеждать ее, что все сделает сам, а она пусть сладко спит до восьми и пьет кофе, как прежде, с бабушкой и мадам. Педантичная заботливость оказалась не в характере Аси: не возражая, она потянулась, улыбнулась и с самым безмятежным видом закинула руки за голову, тотчас же забыв про завтрак. Он стал покрывать поцелуями эти плечи и локотки и в первое же свое деловое утро убежал, не позавтракав.

По-видимому, он еще находился до сих пор во власти благоприятного течения: на работе все складывалось благополучно, Моисей Гершелевич встретил его милой начальственной улыбкой, сослуживцы приветствовали, видимо, довольные его возвращением; дела было много, но дела он не боялся — знаний и способностей в области языков у него было больше, чем требовалось, и он опять стал успокаиваться.

Однажды вечером Олег решил рассказать Асе о своей матери. Ася сидела у него на коленях и слушала, не пропуская ни единого слова.

— ...Это было такое больное место в моей душе, которое никогда не заживало. Только теперь, когда в мою жизнь вошла ты и принесла мне столько тепла и света, боль эта начала затихать. Наша особенная нежность завязалась у меня с мамой еще в детстве во время японской войны. Отец был тогда в армии, брат — в корпусе; мы проводили зиму в имении — мама не хотела выезжать в свет одна. Когда пришло известие, что отец ранен, вокруг были только слуги, и они боялись сообщить маме, поскольку в это время она была в положении. Помню, я ждал выхода мамы к утреннему кофе, стоял около своего места, как это было принято при отце, и думал, как бы мама не догадалась о чем-нибудь по моему виду. И в самом деле, она, едва только вошла, целуя меня, спросила: «Ты плакал?» Тогда я сказал, что сломал свой новый заводной поезд. Мама сказала: «Сбегай и принеси; посмотрим вместе». И мне в моей детской пришлось раздавить любимую игрушку дверью! В своей наивности я, по-видимому, воображал, что горе может

совсем миновать маму. Но вечером она уже все знала; она пришла ко мне в детскую и села на край кровати; «Олег, проснись, помоги мне, я не перенесу одна! Папа умирает, может быть, за тысячи верст от меня!» С этого времени я почти не отходил от мамы: мы гуляли, читали, сидели у камина вместе, я совсем забросил свои игрушки, мама даже спать меня укладывала в своей спальне на кушетке. Так длилось около года, возвращение отца переменяло все: он заявил, что за время его отсутствия я стал изнежен и впечатлителен, как девчонка, и все мое воспитание надо в корне изменить. В один из первых же дней после его возвращения я, бегая в саду, расшиб себе колено и прибежав к маме за утешением; увидев меня в слезах, отец сказал: «Через год ты должен стать кадетом, а ты похож на слезливую девчонку! Чтобы я больше не видел твоих слез!» На другой день к веранде подвели пони, чтобы учить меня верховой езде; я неосторожно быстро подошел к нему, и он лягнул меня, да так, что сбил с ног Мать и адъютант отца бросились ко мне с веранды, но я думал только о том, что отец смотрит на меня, и повторял: «Я не плачу, я не плачу» — и удивлялся, что меня окружили и тревожно спрашивают. О, да — он был строг и сумел закалить во мне и здоровье и волю! Он не прощал ни одного промаха ни в манерах, ни в учении; было время — я пребывал в убеждении, что отец не любит меня, и, только став офицером, оценил наконец его заботу. Если у нас с тобой когда-нибудь будет сын, я знаю, как его воспитывать.

Он в первый раз заговорил с ней о будущем ребенке и промолвил эти слова с глубокой нежностью, взяв ее ручку в свою. Ася молчала, притаившись, как мышка.

Между тем, окружающие часто затрагивали эту тему и сходились в мнении, что Асе не нужно спешить с ребенком.

А Наталья Павловна возражала:

— Я не вмешиваюсь. Пусть будет так, как они хотят сами. Я лично нахожу, что присутствие маленького существа даже в самых неблагоприятных условиях украшает жизнь. Жаль было бы лишиться Асю радостей материнства.

Младший ребенок «потомственного пролетария» — Павлютка — был всегда бледен до синевы; череп у него был неправильной, несколько удлинённой формы, с низким лбом, уши торчали в разные стороны, а в карих глазах, смотревших несколько исподлобья, застыли обида и огорчение. Этот наивный взгляд побитого щенка продолжал тревожить сердце Аси. В одно утро, прислушиваясь в паузах между разучиванием фуги к тому, как он упорно и жалобно скулит, она не утерпела и, захлопнув крышку рояля, побежала в «пролетарскую» комнату: она знала, что ребенок один.

— Что ты все плачешь, Павлик, или Эдька опять обидел? — и голос ее прозвучал глубокой нежностью.

Выяснив, что «мамка ушла, а кушать не оставила», Ася тотчас принесла чашку киселя и сухарики, мастерски приготовленные мадам в честь кандидата на русский престол, — так она с некоторых пор именовала Олега. Ася полагала, что это останется никому не известным, но не тут-то было! За чаем Наталья Павловна попросила подать ей любимую ложечку; Ася и мадам метнулись к буфету — ложки не оказалось: тут только Ася спохватилась, что снесла ее с киселем ребенку. Красная, как рак, предчувствуя, что ей попадет, она бросилась опять к «пролетарской» комнате.

— Извините, Бога ради, за беспокойство! Я угощала сегодня утром киселем вашего мальчика и оставила у вас кружечку и ложку, позвольте мне взять их, — робко сказала она.

— Как же, как же, видали, благодарим. Вот я намыла вашу кружечку, берите! — круглолицая Хрычко просунула Асе в дверь кружку.

— Была еще ложечка серебряная, бабушкина, с надписью «Natalie».

— Ложки что-то не видала... Да точно ли была-то? Может, вы и забрали уж, да запомнили?

Ася почувала, что дело плохо.

— Простите, я совершенно точно знаю, что ложечка здесь. Поищите, пожалуйста. Ведь ты ее видел, Павлик?

— Едыка ложечку забрал, я ему говорю «не тронь», а он мне язык показал да вышел.

Реакция Хрычко на это сенсационное сообщение была самая непредвиденная.

— Ловок ты на брата наговаривать, мерзавец мальчишка! Так уж ты небось и видел, как он ее в карман сунул? Язык попусту чешешь, а люди слушают! Вам, гражданка, незачем было и соваться сюда с вашими киселями да ложками. Одни только неприятности нам через это.

Ася медлила на пороге, не зная, что сказать. К ужасу ее, из глубины пролетарского логова послышалось в эту минуту грозное рычание:

— Чего там? Какие еще ложки? Мой сын с голоду не околевает. Закройте дверь и не суйтесь! — На пороге показался сам Хрычко, но жена живо толкнула его обратно, увидев приближавшегося Олега.

— Пошел, пошел, ложись! Не связывайся! Оставьте его, гражданин: выпил ведь он, потому и куражится. С пьяного-то что спрашивать?

— Я в драку вступать не собираюсь: можете не тревожиться за целостность вашего супруга, — насмешливо бросил ей Олег и повлек Асю обратно к чайному столу, где предоставил гнев Натальи Павловны. Оправдываясь перед бабушкой, она робко оглядывалась в сторону мужа, но взгляд его глаз не обещал ей помощи.

— Ты дождалась, что хамы выгнали тебя из комнаты, и провоцировала их ссору с Олегом Андреевичем, а между тем, ты отлично знаешь, сколько зла приносит теперь нашему кругу внутриквартирная вражда: иметь в лице соседа врага — значит, постоянно опасаться доноса. Олег Андреевич, о ложке более ни слова. Я ни в каком случае не хочу обострять отношений, — говорила Наталья Павловна. — Неужели этот слюнявый мальчишка дороже тебе моего спокойствия, Ася?

— C'est doncun proletaire, un troglodyte!<sup>[56]</sup> — повторяла мадам, в ужасе вращая круглыми черными глазами.

— В этом ребенке что-то вырожденческое! Во мне он вызывает только брезгливость, — ввернул Олег.

Ася внезапно вспыхнула:

— Слышать не могу! Когда мы с тобой были детьми, нас окружало все, что только было лучшего! Нам стать noble<sup>[57]</sup> было легко, а этот ребенок видит одну грубость, и никто, кроме меня, его даже не пожалеет. Брезгливость по отношению к пятилетнему малютке возмутительна!

Олегу пришлось убедиться, что помириться с ней не так-то легко; они допивали чай втроем, а когда он вошел в спальню, то нашел ее уже свернувшейся калачиком в постели — она не сделала ни одного движения в его сторону, как будто бы не видала его.

— Довольно сердиться. Помиримся. Дай мне свою лапку, — сказал он, садясь на край кровати и с нежностью глядя на ее белье и полосатую блузку, повешенные на стул ей вверенные на сохранение плюшевому мишке, который сидел тут же с глупо вытаращенными глазами.

Ася не шевелилась.

— Лапку.

Но она ушла с головой под одеяло, как в норку, и он не дождался от нее более ни слова.

Утром он попытался завязать дипломатические переговоры, но опять тщетно, а так как времени было в обрез, то пришлось уйти, не примирившись.

Посередине своего служебного дня он вошел с бумагами в кабинет шефа и увидел пожилую даму в трауре, которая стояла около стола Моисея Гершелевича, прижимая платок к глазам.

Что-то небрежное, недостаточно почтительное было в той манере, с которой выслушивал ее старый еврей, развалившись в своем кресле. Это сразу бросилось Олегу в глаза, как и то, что незнакомая дама, безусловно принадлежала к хорошему кругу. Увидев Олега, Моисей Гершелевич тотчас перебил незнакомку:

— Уже перевели частично? Имейте в виду, что без этой инструкции нам не закончить прием оборудования, так как мы не можем подвергнуть механизм испытанию. Покажите.

Но Олег не протянул бумаг.

— Я могу подождать, пока вы закончите ваш разговор, Моисей Гершелевич. Не беспокойтесь.

Еврей тотчас принял повелительный тон.

— Мы не в гостиной, товарищ Казаринов. Дело прежде всего! Давайте сюда перевод и садитесь. А вас попрошу подождать, — последние слова, сопровождаемые небрежным кивком головы, относились к даме в трауре. Олег сел, досадуя на очередное, постоянно им наблюдаемое отсутствие вежливого обращения.

Несколько позже, проходя по двору учреждения, он опять увидел эту же даму, которая направлялась к проходной. Группа инженеров и Моисей Гершелевич стояли тут же и, хотя она шла мимо них, никто ей не поклонился, а между тем ее, по-видимому, знали.

— Скажите, пожалуйста, кто это? — спросил Олег одного из этой группы.

— Супруга бывшего начальника отделения. Он, видите ли, был арестован по обвинению во вредительстве, — и тут инженер понизил голос, — обвинение это, кажется, не подтвердилось; по крайней мере, кое-кто был по этому делу выпущен, а он вот скончался прежде завершения следствия — не осужден и не оправдан; вдове разрешили взять его тело из тюремной больницы, и она пришла просить, чтобы местком помог ей в этом деле. Наивная женщина!

— Да почему же наивная?

— Помилуйте! Да разве местком пойдет на это? Разумеется, местком отказал; она — к администрации; Рабинович тоже отказался; она к одному, к другому. Ко мне тоже обращалась: не приду ли я помочь ей доставить тело из морга в церковь. Разве я могу пойти на это? Ведь человек был скомпрометирован! Позвольте, Казаринов, вы словно удивляетесь! Да ведь меня тотчас же возьмут «на карандаш», а то так в стенгазете продернут!

— Но вы, очевидно, бывали же в его доме, если вдова решилась обратиться к вам?

— Бывать — бывал, и не я один! Новый год, помню, у них всей нашей компанией встречали; так слоеные пирожки такие водились, что пальчики оближешь! Бывал, как же!.. Но при других обстоятельствах! Что ж я — враг сам себе, что ли? Ведь у меня семья!

Олег отвернулся и быстро пошел вслед удалявшейся даме. Настиг ее у самой проходной.

— Мадам! — проговорил он, поднося руку к фуражке. — Я к вашим услугам: располагайте мной, как находите нужным!

Удивление мелькнуло на измученном лице:

— Простите, я вас не знаю! Вы, кажется, никогда не бывали у Семена Ивановича?



— Так точно. Я еще недавно работаю и не имел чести знать вашего супруга; однако это ничего не значит: готов служить вам — приказывайте!

— Вы, очевидно, не знаете обстоятельств дела и потому так говорите! Мой муж был привлечен по пятьдесят восьмой, скончался в тюремной больнице. Я совершенно одинока и просила помочь мне взять его тело; эта миссия настолько неприятная... притом она может скомпрометировать вас: при входе на территорию больницы надо предъявлять удостоверение личности...

— К вашим услугам, — перебил Олег, — куда я должен явиться?

Только в 11 вечера он вернулся домой; навстречу вниз по лестнице вихрем сбежала Ася и бросилась ему на шею.

— Наконец-то! Я беспокоюсь жду! Караулю на лестнице! Куда ты делся?

— Да ведь я же говорил по телефону с мадам и просил передать...

— Она передала, что ты опоздаешь, но так надолго! Я уже стала думать, что ты рассердился и не идешь нарочно, чтобы наказать свою бедную кису.

Он вошел и устало опустился на стул.

— Иди, мойся. А я побегу греть обед, — сказала Ася.

— Спасибо, я не хочу есть.

Она быстро и зорко взглянула на него:

— Что с тобой. Ты огорчен чем-нибудь? Я знаю, что была злюка и виновата, прости, что спряталась... ты тоже был виноват немножко.

Два больших глаза блеснули около его лица; он уже не видел ее, а только эти два глаза.

— Сейчас пошли золотистые теплые лучики из меня в тебя и обратно, а значит, всякая обида тает. Говори же, что случилось на службе. Я все равно знаю, что было что-то... Милый, милый, никогда не пробуй скрывать от меня что-нибудь — у меня очень хороший нюх: я догадаюсь все равно!

На следующий день они возвращались вдвоем от «дамы в трауре», которую пошли навестить после похорон. Ася шла молча и не подымала головы. Полагая, что она находится под впечатлением чужого горя, Олег попытался развлечь ее разговором, но она сказала:

— Мне сегодня с утра что-то нездоровится: у меня такое чувство, как бывает на корабле; мутит и голова кружится.

— Ты говорила бабушке? — тревожно спросил он.

— Нет не стоит ее беспокоить — пройдет.

— Хочешь, я возьму такси, чтобы скорей быть дома?

— Нет, не надо. Приятно пройтись. Я люблю первый снежок.

Утром, уходя на службу, он спросил ее, как она себя чувствует, и она призналась, что, как только зашевелилась и подняла голову, тошнота возобновилась.

В столовой Олег, против обыкновения, увидел обеих дам и накрытый стол: оказалось, что Наталья Павловна собралась к обедне. Глотая наскоро чай, он стал им говорить о нездоровье Аси и увидел, что они переглянулись, а француженка заулыбалась и погрозила ему пальцем. Только тут внезапная догадка осенила его.

— Да разве это так начинается? — спросил он, ставя стакан.

— Может быть, и не то, — сказала Наталья Павловна, — во всяком случае, за здоровье ее страшиться особенно нечего: она молода, здорова и переносить, по всей вероятности, будет прекрасно.

Ася удивилась, когда Олег опять ворвался к ней и, покрыв поцелуями ее руки к великому негодованию щенка, уже пристроившегося в кровать, так же стремительно умчался. Как бы рано Олег не подымался, он всегда оказывался перед угрозой опоздания и приходилось гоняться за автобусами и прыгать на подножки трамваев.

В середине дня, закончив деловой разговор, Моисей Гершелевич сказал ему:

— Подождите уходить, Казаринов; мне необходимо переговорить с вами еще по одному поводу.

— Слушаюсь, — ответил Олег, садясь на подоконник, и тотчас его охватила уверенность, что это и будет тот разговор, которого весь день ждали его обостренные нервы.

Отпустив двух служащих, ожидавших его подписи, Моисей Гершелевич указал Олегу на кожаное кресло около своего стола и несколько минут молчал. Пытливо всматриваясь в черты еврея, Олег видел, как обычное, деловое и несколько самоуверенное выражение его лица заменялось более мягким и становилось симпатичным.

— Послушайте, Олег Андреевич, ну, скажите мне, друг мой, отчего это вы себя так не бережете, а? Ведь я принял вас, несмотря на очень веские доводы, говорившие против вас; я пошел на риск и мог, казалось, ожидать, что, не желая подвести ни себя, ни меня, вы должным образом будете взвешивать каждое слово и каждый шаг. А между тем, в то время, как я всячески стараюсь создать вам репутацию и незаменимого работника, и советского, своего, проверенного человека, вы с непостижимым легкомыслием вредите себе на каждом шагу — не берусь сказать, сознательно или нет. Продолжая так, вы доведете до того, что я вынужден буду перестать заступаться за вас — не враг самому себе и я.

Этих слов оказалось довольно, чтобы в Олеге всколыхнулась желчь.

— Чрезвычайно благодарен вам за все, что вы для меня сделали, Моисей Гершелевич, но в чем же вы усматриваете мое легкомыслие?

Голос его прозвучал жестко, и на лицо легла тень.

— За примерами недалеко ходить. Например, в понедельник, по отношению к жене заключенного... а еще раньше, весной, что-то по поводу религиозного обряда... Ведь это бравада, вызов окружающим! Я не имею права разглашать, но из сочувствия к вам не скрою: о вас был весной запрос из Большого дома. Я дал блестящую характеристику, против которой наш парторг возражал, что она раздута и явно пристрастна; однако я настоял. Ваша личность возбуждает постоянные пересуды и в отделе кадров, и в парткоме. Попрошу несколько изменить линию поведения. Сегодня у нас общее собрание: повсеместно проходят бурные митинги, приветствующие смертный приговор этой группе вредителей; хорошо было бы и вам высказаться с трибуны, приветствуя мероприятие, чтобы ни в ком не осталось сомнений по поводу ваших идейных позиций. Во всяком случае, на вашем присутствии я настаиваю категорически: за вами будут наблюдать — поймите.

Олег со злостью посмотрел на эту сытую, холеную фигуру.

«Еще недавно Россия была моя Родина — не твоя! — подумал он. — Ты здесь был ничто! И вот скоро, так скоро изменилось все! Теперь — в СССР — у себя дома — ты, а я — лишенец, каторжник, не смеющий назвать своего имени! А между тем, когда Россия была в опасности, ты сидел в спокойном теплом местечке, в то время как меня, истекающего кровью, нес на руках денщик. И вот теперь ты мне предписываешь свои требования».

Он чувствовал, что ненависть просвечивает в его лице и вот-вот прорвется непоправимым словом...

Он сделал над собой усилие и сказал спокойно:

— Моисей Гершелевич! За ту зарплату, которую я получаю, вам принадлежат мои знания, моя энергия, мое время, но не моя совесть! Есть вопросы, в которых я оставляю за собой право поступать, как сам нахожу нужным.

Он встал, холодно поклонился и вышел.

— Антисемит... несмотря на все! — сказал себе старый еврей.

Огромная, плохо освещенная зала кишела массой служащих; Олег сумрачно уселся в дальнем углу и, вынув блокнот, стал набрасывать черновик порученного ему текста. Выбирали президиум, и скоро на трибуну поднялся пышущий самоуверенным величием Моисей Гершелевич, за ним два-три рабочих и широкая, как масленица, физиономия завхоза.

«Всегда одни и те же!» — с досадой подумал Олег и снова уткнулся в блокнот.

«J'ai l'honneur de vous informer, nous fondons l'espoir d'une reprise rapide de votre service»<sup>[58]</sup>, — писал он быстро.

— Товарищи! Разрешите считать открытым наше собрание, посвященное обсуждению приговора над группой вредителей, — услышал Олег голос председателя; он поднял голову. Конечно, это лишь гнусная комедия: с приговором все уже решено, а может быть, он и в исполнение давно приведен. Открытое голосование по одобрению смертного приговора — небывалый трюк, неслыханный до сих пор в истории. Один за другим брали слово и подымались на трибуну.

— Товарищи, я уверен, что выражу чувство всех, находящихся в этой зале, если скажу, что среди нас нет ни одного, который бы не пылал ненавистью к врагам партии и товарища Сталина — белогвардейцам, меньшевикам и прочей сволочи...

Олег взглянул на говорившего, и быстрая усмешка скользнула по его губам. Мели Емеля, твоя неделя! Выучился бы только прежде по-русски прилично разговаривать! И он опять углубился в французские фразы.

Внезапно его слух поразила его собственная фамилия, громко произнесенная с трибуны, правда, не настоящая, а фальшивая, однако же неотъемлемо с ним связанная. Он опять насторожился:

— ...Казаринов и другие, которые не спешат войти в нашу рабочую среду, товарищи! С важной наглостью они даже подчеркивают свою обособленность и, работая уже не первый месяц, а вот, как товарищ Казаринов, например, уже без малого год, не спешат подавать в союз, чтобы стать его членами. А может быть и то, товарищи, что они не уверены, захотим ли мы принять их в свою рабочую семью, так как прошлое их не очень чисто, товарищи! Поэтому в день, когда товарищ Сталин призывает нас всех сплотиться вокруг партии и бдительно блюсти единство в наших рядах, не худо бы и нам выявить эту самую бдительность и запросить нашу администрацию, известно ли ей, какие темные личности прокрадываются в наши штаты...

Олег отыскал глазами Рабиновича: сидя в президиуме с выражением важного достоинства и сознания серьезности происходящего, тот смотрел на свои руки, разложенные на столе, и не только угадать, но заподозрить по его виду подлинных его мыслей Олегу показалось невозможным.

Однако, когда вдохновенный оратор смолк, Рабинович попросил слова. Его бархатный баритон начал нанизывать фразы так свободно и небрежно, точно для него не существовало разницы между высказываниями с трибуны и обычным разговором в его отделанном кожей кабинете; чувствовалась давняя, верная привычка. Он преклонился перед генеральной линией партии, далее отдал дань «высокосознательному» выступлению своего предшественника и только тогда перешел к пункту, который

для него был, очевидно, важнее прочих:

— Товарищи, наш предместком в своей пламенной речи лягнул нас — администраторов и, возможно, небезосновательно. Я только хочу внести ясность в один пункт: в настоящее время, товарищи, у нас очень остро обстоит дело с кадрами специалистов, без которых нам не обойтись там, где требуются большие углубленные знания. Специалисты нужны нашей молодой республике для построения социализма. Я не сомневаюсь, что в очень скором времени наша страна будет иметь собственные кадры, заботливо выращенные нашей партией из среды нашей комсомольской молодежи — плоть от плоти рабочего класса, но в данный момент, товарищи, мы еще не имеем таких кадров. Это — факт, с которым необходимо считаться. «Кадры решают все», — сказал товарищ Сталин. Исходя из этого, партия предоставила нам — администраторам — неотъемлемое право подбирать себе любого работника, лишь бы он подходил по уровню своих знаний, и, разумеется, в том случае, когда биржа труда не может удовлетворить наших запросов. Ведь приглашаем же мы к себе иностранных специалистов, хотя в большинстве случаев они представляют собой далеко не дружественный нам элемент. У нас есть верный страж — наше гепеу, которое неусыпно и зорко следит, чтобы не вкралось вредительство; каждый человек, принятый нами, заполняет в отделе кадров анкету и проверяется органами гепеу; а раз так — не я отвечаю за классовые особенности тех или иных лиц, допущенных к работе. Здесь называлось несколько имен... например... ну, например, товарищ Казаринов, это очень толковый работник и пока незаменимый специалист в области языков. Всем известно, что он был репрессирован, и он не скрывает этого, однако гепеу нашло-таки возможным разрешить ему пребывание в Ленинграде и не лишило права работы. И если я не имею до сих пор равного ему специалиста и с ведома органов политуправления пользуюсь его услугами, я ни в какой мере не могу подвергаться упрекам по этому поводу. Дайте мне человека из вашей рабочей среды, товарищи, человека, который бы владел французским, немецким и английским языками и одновременно разбирался в шведских текстах, — я с радостью приму его вместо Казаринова! Только дайте мне такого человека! Вы можете сами решить, товарищи, желаете ли вы принять Казаринова в союз, и на собрании месткома каждый из вас вправе задать товарищу Казаринову любой вопрос касательно его прошлого. Я сам за бдительность! Но сейчас у нас не собрание месткома, товарищи, — мы очень далеко отклонились от повестки дня! — И так далее, и так далее говорил и нанизывал бархатный баритон.

Клеймили, порицали, приветствовали и, наконец, благодаря родную партию за высокое доверие, приступили к голосованию.

— Кто за смертный приговор? — грозно запросил с трибуны завхоз. — Товарищи, кто «за»? Подымайте же руки!

После минутной заминки поднялся лес рук; подняло несомненное большинство, но все-таки не все. Олег видел со своего места Моисея Гершелевича, который стоял, высоко подняв короткую руку, с лицом, выражающим пламенный гнев, и смотрел в залу, точно отыскивая кого-то глазами...

Олег заложил руки за спину. Один из считавших голоса приблизился, переходя от ряда к ряду; Олег бросил на пол свой портсигар и наклонился, делая вид, что поглощен разыскиванием.

— Кто против, товарищи?

— Таковых нет.

— Кто воздержался?

— Таковых нет.

— Принято единогласно.

Олег выпрямился. Он чувствовал себя подлецом, как если бы проголосовал «за». Трюк с

портсигаром... Он, князь Дашков, должен был проголосовать «против».

Собрание объявили оконченным, и публика стала расходиться.

Один из пожилых инженеров, спускаясь рядом с Дашковым по лестнице, сказал:

— И вы, Казаринов, нежданно-негаданно в темные личности попали? У нас клеймить человека может совершенно безнаказанно каждый, кому взбредет на ум.

Олег промолчал. У него было такое чувство, будто он только что проглотил жабу.

Дома он застал Асю сидящей на скамеечке у камина. В сердце у него защемило: «Все это ради неё...»

## Глава седьмая

В эти же дни в одной из больниц произошло совершенно необыкновенное событие: на общем собрании, после всеобщего бурного одобрения смертного приговора, на вопрос «кто против» поднялась рука — рука в белом медицинском халате, худенькая и смуглая женская рука. Все были поражены; в президиуме вполголоса обменивались мнениями по поводу неслыханной дерзости и, наконец, председательствующая на собрании — коммунистка, заведующая кабинетом массажа — возгласила:

— Мы попросим медсестру Муромцеву изложить нам сейчас с трибуны те мотивы, которые руководили ею.

Елочка встала и, сжав губы, с достоинством поднялась на эстраду; необходимость говорить перед аудиторией пугала ее гораздо больше, чем последствия оппозиции, на которую она отважилась. Но, сжимаясь внутренне, она не терялась.

— Я не обязана отчитываться перед вами, но, так как скрывать мне нечего, я скажу! Я вообще категорически, принципиально против смертной казни. Жизнь слишком драгоценна, а смерть непоправима. Как бы ни был человек вреден, его всегда можно поставить в такие условия, что он не сможет нанести вреда ни другому человеку, ни стране. Но убивать — жестокость непростительная! Это ведь не моя мысль: сколько людей высказывали ее издавна! Если бы я была сейчас в капиталистическом обществе, где собирались бы казнить коммуниста, я бы сказала то же самое — нет, с человеком нельзя так поступать! — И с пылающими щеками сошла с эстрады; ее провожали глазами; несколько минут стояла тишина — выступление произвело впечатление. Одна санитарка всхлипнула и утерлась концом косынки, в заднем углу кто-то заплодировал было и растерянно смолк. Члены президиума тихо переговаривались между собой.

— Обсудить в райкоме... да, да... я доложу и попрошу инструктировать... Да. Ну, как же можно на себя брать! Вынести порицание легко, а потом нам заявят, что мы не учли обстановку и взбудоражили общественное мнение... Ни в коем случае!

Один из президиума встал и громко возгласил:

— Кто еще желает высказаться, товарищи!

И собрание пошло своим чередом со всей обычной рутинной.

На другой день председательствующая в компании с одним из членов месткома совещалась по этому делу с секретарем райкома; тот взял девушку под свою защиту и вовсе ополчился против них: они допустили несколько оплошностей одну за другой! Прежде всего: выступление не было предварительно согласовано с месткомом — сколько раз уже он рекомендовал им договариваться и заносить на бумажку основные тезисы, которых обещает придерживаться получающий слово; давать же слово без предварительной договоренности можно лишь проверенным постоянным ораторам, так сказать, «своим в доску», остальным всегда можно отказать за недостатком времени. Тема была исключительно важна, а они сами принудили высказаться человека, ни разу до сих пор не выступавшего публично! Это было весьма недальновидно. И, наконец, собраний по кабинетам, собраний, имеющих целью обработать общественное мнение, предварительно проведено не было! Почему так? Девушку трогать нельзя — это произведет слишком неблагоприятное впечатление, тем более, если она в самом деле весьма уважаема; напротив — хорошо бы ее премиривать, выделить и, так сказать, приручить, с тем чтобы в ближайшее же время подготовить новое выступление с ее стороны, подвергнутое предварительной обработке. Ею вообще следует заняться — по-видимому, она представляет собой весьма ценный материал, из которого куются

общественные работники, и они пропустили незамеченным такого человека! Все это секретарь райкома ставил им на вид и, заканчивая разговор, просил поставить его в известность, когда состоится следующее общее собрание, которое он желает посетить, чтобы лично убедиться, в каком, так сказать, стиле протекают у них эти собрания. Члены президиума удалились весьма сконфуженные.

Елочка шла с собрания домой с горевшими щеками и тревожно колотившимся сердцем. Что, если придут арестовывать и в их руки попадет ее дневник — ведь там упоминается его имя, намеки на его прошлое... нетрудно будет установить, о ком идет речь... Погубить его теперь, когда он, наконец, счастлив... немислимо! Сжечь дневник? Но это значит — и свое сердце, которое на дне этих строк. Сжечь единственного друга. Нет. Надо спрятать на некоторое время. А вдруг они уже там?

Увидев такси, она подозвала его и через пять минут уже вбежала в квартиру — все спокойно! Прошмыгнула к себе и схватила дневник: шесть толстых клеенчатых тетрадей! Куда их деть? Она присела на стул, обводя глазами комнату. Придумала — снесла в дровяной сарай, благо ключ только у нее. Тетради заложила в дрова.

Выполнив задуманное со всеми предосторожностями, она несколько успокоилась, но все-таки не спала ночь, тревожно прислушиваясь. Лагерь! Всегда на людях, все время под конвоем! Непосильный труд, голод, издевки! Когда подошло так близко — делается страшно! Она больше всего ценила всегда тишину и одиночество... «Но ведь страдал же он и тысячи других! Почему мой жребий должен быть лучше?..»

На следующий день было воскресенье, по обычаю она обедала у своего дяди. Не слишком любила она эти обеды. Тетка была холодная и несколько чопорная дама; разговор шел обычно принужденный; но это был единственный родственник ей дом, в котором родными казались даже темно-ореховые строгие стулья, мрачный буфет и обеденный стол, даже кружево у горла тетки. Сам дядя — Владимир Иванович — вызывал в ней чувство не столько любви, сколько уважения и родственного тщеславия. Ей нравились его офицерская осанка, ореол незаменимого специалиста, которым он был окружен в больнице, и повелительная манера разговора на операциях, когда в перчатках и в маске он отдавал короткие отрывистые приказания ей и окружающим его ассистентам. Неуклюжие молодые врачи, похожие больше на фельдшеров, составляли фон, на котором он так выгодно выделялся.

С дядей ее связывали воспоминания о Белой армии и Крымской трагедии; и только она знала, до какой степени непримиримо он был до сих пор настроен в отношении «красных». Он оперировал когда-то Олега и, быть может, подозревал частицу ее тайны, хотя никогда ни одним словом не касался этой темы. Она шла и думала: рассказать ему о случившемся или умолчать? Старая домработница из прислуг царского времени приветливо закивала ей, открыв тяжелую дверь. Елочка любила эту женщину, которая частенько совала ей пирожки и булочки собственного изготовления, чтобы она могла полакомиться ими дома. Войдя в столовую, где уже был накрыт стол и стояли аппетитные закуски, Елочка увидела тетку, которая тотчас зашептала ей:

— У нас неприятности, Елочка! Очень большие неприятности! Боюсь загадывать, чем это кончится! Они попросили у нас чернила и бумагу и написали донос на нас же!

Вышедший в эту минуту из соседней комнаты Владимир Иванович поцеловал ее, по обыкновению, в лоб и сказал:

— Сядь и выслушай.

Донесли соседи по квартире — хирург и его жена не сомневались в этом.

Прежняя большая квартира Муромцевых давно уже была превращена в коммунальную, но две комнаты еще оставались за ними и составляли предмет зависти. Столяр с женой и рабочий-путиловец, занимавшие меньшую площадь, уже несколько раз грозились, что «упекут» старого буржуя, и вот на днях

сфабриковали донос, сообщая, что Муромцев «терпеть не может советскую власть и завешан портретами Николая II»; они отправились в больницу и заявили о том же в месткоме, а между тем, незадолго до этого назначенный к Муромцеву в ассистенты молодой врач Кадыр счел нужным сигнализировать туда же, что Муромцев заядлый расист, который терпеть не может нацменьшинства, строит ему всевозможные придирки, а себя старается окружить только русскими, выбирая их из штатов прежней царской армии — бывшую сестру милосердия, свою племянницу, и бывшего военфельдшера, которого до сих пор будто бы заставляет вытягиваться перед собой. Этого оказалось достаточно, чтобы местком заварил кашу. Завтра дело это должно разбираться на расширенном собрании месткома — в присутствии администрации, и он обязан явиться со всем штатом своей операционной. Елочка только тут поняла, как некстати было ее выступление! В течение всего обеда обсуждали и перетолковывали варианты нападок, приготавливаясь к защите.

На следующий день после окончания работы явились в помещение месткома на разбор дела.

В белом халате и косыночке, закусив губы и сжав сложенные на коленях руки, Елочка сосредоточенно вслушивалась в ту паутину, которой старательно опутывали старого хирурга. Три главных противника — предместком товарищ Иванов со своей тупой плоской физиономией, злобный киргиз Кадыр и маленький местечковый еврейчик Айзюкович изошрялись, как только могли, в ехидных вопросах.

— А вот расскажите-ка нам, товарищ старший хирург, как вы там, в Белой армии у черного барона, всем вашим операционным штатом спасали царское офицерье.

— Спасал. Я — врач и целовал крест, кончая Академию, что никогда ни одному человеку не откажу в помощи. Я эту работу продолжаю и теперь, и какая бы власть ни была — останусь при ней. Тут говорили про портреты Николая Второго, я знаю, от кого это исходит: мой сосед — столяр — видел у меня монографию Серова, в которой есть портрет государя-императора. Уж не должен ли был я вырвать его и тем испортить издание?

— А отчего вы никогда общих собраний не посещаете? Как-то это не по-советски выходит.

— Не хочу: я привык делом заниматься, а не язык чесать. Вы на этих собраниях из пустого в порожнее переливаете, а мне это не интересно. Мне время слишком драгоценно.

— Вот говорят о вас, что вы не любите слова «товарищ» и никогда не произносите его. Тоже очень показательно! Советскому человеку это слово дорого.

— А я не советский человек. Мне шестьдесят пять лет: пятьдесят лет моей жизни приходится на Царскую Россию; у меня сложились определенные привычки, и я не намерен ломать себя в угоду вам. Советское государство нимало не пострадает, если я назову мою санитарку Пашей, а не «товарищем». Наша почтенная Пелагея Петровна, во всяком случае, на это не жалуется.

— А правда ли, что санитар Михаил Иванович эксплуатируется вами на дому и до сих пор вытягивается перед вами в струнку, именуя «высокоблагородием»?

— Чепуха! «Высокоблагородием» никогда не называет, а выправка военная у Михаила Ивановиче останется до последнего дня жизни, как и у меня, — это не забывается у старых служак.

— Штат-то вы себе подбираете все из царской армии — своими людьми себя окружать желаете, а человеку, которого к вам назначила парторганизация, с вами житья нет!

— Этот человек не годится в хирурги. Я сам видел однажды, как он уже приготовленными к операции руками почесал себе нос, а после поднял их и держал как стерильные. Я сначала не показал виду, что заметил, и он уж готов был начать оперировать, если бы я не устроил скандал. Это — нарушение хирургической этики, неслыханное в нашей практике, это — преступление! Моя врачебная совесть не



разрешает мне допускать такого человека к операционному столу. Другой раз я сам увидел на нем клопа; в таком виде не являются в операционную — надо сначала вырасти в культурном отношении. Мне все равно, кто он — русский, еврей или киргиз — я бы и русского так же осадил. Было ведь, что я забраковал товарища Синявина, которого вы так же опрометчиво подсунули мне в ассистенты. С врачами-евреями я всегда великолепно ладил — ваше обвинение в расизме не имеет под собой почвы. А что касается племянницы — мы с ней сработались, как и с Михаилом Ивановичем. На операциях она понимает меня с полуслова; она безошибочно угадывает, какой по ходу операции требуется инструмент, и протягивает мне его, не дожидаясь просьбы; вы — профаны в этом деле и не понимаете, сколько значат в нашем деле секунды, когда человек лежит под хлороформом и я слышу от врача-наркоотизатора, что пульс слабеет! С Елизаветой Георгиевной мы довели до минимума процент послеоперационных нагноений. Ни с кем мне уже не наладить так работу! Дело не в родственной опеке — в другой операционной ей было бы и спокойней и выгодней: я требователен и строг; я ни разу не отметил ее в приказе ни премией, ни благодарностью, которую она, безусловно, заслуживает огромной добросовестной работой, — я боялся обвинений в родственном пристрастии — я знал, что вы сейчас же готовы загалдеть и заулюлюкать. А между тем мне хорошо известно, как заискивают хирурги перед операционными сестрами. Я уже стар, чтобы привыкать к новому человеку в такие невероятно ответственные минуты — я работать могу только с ней. А впрочем, вы, с вашими деревянными нервами, разве можете понять хоть что-нибудь?

Елочка в первый раз слушала оценку себе из уст своего дяди, и радостная гордость зажгла румянцем ее щеки. На еврейчика речь старого хирурга, по-видимому, произвела впечатление — он завертелся на месте и заговорил уже гораздо мягче, забавно разводя руками:

— Да вы не волнуйтесь, товарищ хирург! Берегите свое здоровье! Вы этак сердце себе уходите. Мы умение ваше очень даже ценим, мы еще с вами договоримся, и все будут нам завидовать.

Но двое других не столь склонны были к уступкам.

— Товарищи, взвесьте, что мы имеем на сегодняшний день в доверенном нам партией учреждении, — заговорил, подымаясь, предместком, — мы имеем ячейку царской армии, которая образовала содружество, не допуская в него посторонних. На собраниях они не бывают, профорга между ними нет, сборщиков мопра и союза и рабочий контроль хирург из операционной прогоняет — не стесняясь, заявляет: «Вон с моей территории». В соцсоревновании они не участвуют. Недопустимое в советской жизни явление! Конечно, без специалистов царского времени нам еще лет десять-пятнадцать не обойтись, но ведь нельзя же их держать такой сплоченной массой! Взгляд партии на это известен: прослоить рабочим элементом, разбросать в разные точки и — контроль, контроль, контроль! Я ничего не говорю: товарищ медсестра Муромцева и Михаил Иванович еще молодые люди — старательные работники, подают большие надежды, их еще перевоспитать можно, но заведующий операционной создает обстановку недопустимого самоуправства, вредно влияет на окружающих и упорно изолируется в своей среде. Нельзя допустить, чтобы он продолжал свое вредное дело! Явный подбор сотрудников, товарищи! Вот недавно, когда пустовало место фельдшера приемного покоя, он нам рекомендовал одну гражданочку: латинский-де знает, ну, и грамотность абсолютная — примите за моим ручательством! А на деле что оказалось, товарищи? У дамочки этой муж взят недавно в лагерь, как вредитель, а сама она в прошлом тоже царская сестра милосердия, и притом церковница: дочка и сын к ней на службу забегают; мне их разговоры передавали: «Мы тебя, мамочка, будем ждать на трамвайной остановке, чтобы поспеть на всенощную к «Господи воззвах». А раз дочка прямо из церкви сюда; да втихомолку просфору сует: мы за здоровье папочки вынули... И это в стенах учреждения, товарищи! Вот каковы ставленники нашего хирурга! Уж лучше мы обойдемся без абсолютной грамотности, своими силами. Не пробуйте отрицать, гражданочка, верные люди передавали!

Елочка взглянула на даму с проседью, сидевшую у самой двери: она работала еще недавно, и Елочка сначала удивилась ее присутствию на собрании, так как прямого отношения к операционной она не имела. Все время, пока говорилось о ней, эта дама оставалась спокойна, но при последних словах предместкома встрепелась и попросила слова.

— Товарищи, я отрицать не собираюсь — я действительно посещаю церковь и не перестану этого делать. Но старший хирург Муромцев не имел понятия об этом; он знал, что мне трудно без мужа с детьми — вот все, что ему обо мне известно!

Елочке понравилось то спокойное достоинство, с которым незнакомка произнесла эти слова.

Когда предложили высказаться санитару Михаилу Ивановичу, тот вскочил и заговорил с манерой старорежимного унтера; целью своей он, по-видимому, ставил защитить хирурга, но, в сущности, только напортил:

— Так что мы от товарища старшего хирурга плохого никогда ничего не видали! Когда говорят, я перед ним вытягиваюсь, могу доложить, что никто меня к этому не вынуждает; а я сам рад стараться, потому как приобвык почитать товарища господина хирурга смолоду. А ежели я им по выходным дням паркет на квартире натираю, так это по моей доброй воле, и за то они мне платят со всей щедростью. Могу доложить, что ни с кем работа так складно у нас не пойдет, как с их благородием... товарищем Владимиром Ивановичем, — и сел.

— Пожалуйста, молчи хоть ты, — тихо сказал Елочке Владимир Иванович.

На следующее утро, раздеваясь в вестибюле, Елочка увидела даму с проседью — фельдшера приемного покоя, которая надевала шляпу перед зеркалом, собираясь уходить. Они поклонились друг другу, и дама сказала:

— Возвращаюсь домой — меня отчислили с работы даже без предупреждения.

— Как? Уже!

Она кивнула и двинулась, чтоб уходить.

— Подождите... у вас дети... что же вы будете делать?

— А это — как будет угодно Богу! Я только беспокоюсь, что из-за меня получились неприятности у Владимира Ивановича!

В операционной в этот день все как будто еще оставалось по-прежнему, и даже Михаил Иванович продолжал вытягиваться, отвечая: «Так точно! Извольте видеть... слушаюсь...» Кадыр в белом халате угрюмо косился на хирурга и фельдшера, но молчал, безропотно исполняя все распоряжения. Но на следующий день сотрудники были поражены неожиданностью: пробило десять, а идеально точный хирург не показывался. Испуганная Елочка побежала было к телефону, но на пороге столкнулась с директором и Кадыром, который следовал за ним по пятам; предчувствуя недоброе, она остановилась. Директор Залкинсон, худой, длинный, с вкрадчивыми манерами, заискивающе-вежливо поздоровался с каждым сотрудником, начиная с санитарки, и представил всем нового заведующего. Вслед за этим он повернулся к Елочке, которая словно приросла к стене, и спросил:

— Вы читали приказ по больнице от семнадцатого ноября?

— Нет, — пролепетала она.

— Согласно этому приказу, вы переводитесь в операционную на женское хирургическое, где, смею надеяться, будете работать с тем же рвением и аккуратностью.

Через полчаса, прощаясь с сотрудниками, Елочка расцеловалась с санитаркой и Михаилом

Ивановичем и молча прошла мимо Кадыра, не удостоив его взглядом, как пустое место.

Прямо после работы она побежала к дяде и застала все в доме вверх дном: ей показали повестку о высылке в Актюбинск в трехдневный срок. За три дня, предоставленные на сборы, Елочка совершенно измучилась: она бегала по комиссионным магазинам и получала квитанции, которые выписывались на ее имя — ей поручалось высылать деньги в Актюбинск по мере распродажи вещей. Множество мелочей из фарфора и бронзы дядя и тетка подарили ей, несмотря на ее горячие возражения, многое из обстановки было запаковано и приготовлено к отправке, а ей вменялось в обязанность выслать все это Муромцевым, когда они найдут себе помещение и известят, что устроились.

— Я нигде не пропаду, — говорил старый хирург, — а вот они еще не раз вспомнят меня, когда в палатах у них начнутся смертные случаи от послеоперационного сепсиса. Бог видит, как я опасаясь этого.

На вокзале, прощаясь со стариком, Елочка поцеловала ему руку. Что-то оторвалось от ее сердца, когда тронулся поезд и за стеклом в последний раз мелькнула седая голова с родными чертами. Теперь она оставалась совсем одна.

Вернувшись с вокзала в свою комнату, она ощутила приступ острой тоски, а множество красивых безделушек на комодке и на пианино не утешали, а ранили сердце. Пометавшись по комнате, она вспомнила, что сегодня урок музыки, и ухватила за мысль увидеть Юлию Ивановну и рассказать о случившемся: Юлия Ивановна, единственная во всем Ленинграде, знакома была с ее родными и могла посочувствовать ей. Схватив ноты, она побежала в музыкальную школу. В классе за роялем, как обыкновенно в этот час, сидела Ася. Елочка забила в уголке, отложив разговор до той минуты, когда придет ее собственная очередь. Когда Ася кончила, старая учительница сказала:

— Мне хочется вас поколотить!

С наивным удивлением поднялись на нее ясные глаза.

— Да, да! — продолжала, отвечая на этот взгляд, Юлия Ивановна, — у вас такой большой самобытный талант, а вы его зарываете в землю. Я говорила о вас вчера с профессором: он вполне согласился со мной и, кажется, разбил вас на последнем просмотре?

Ася засмеялась:

— О! Да еще как! Он стучал кулаком по роялю и кричал: «И зачем вам понадобилось выходить замуж в девятнадцать лет!» Как будто мое замужество может мне в чем-то помешать! Мой муж так любит музыку; каждый раз, возвращаясь со службы, он спрашивает, достаточно ли я играла, и огорчается, если меньше положенного времени.

— Я вам вполне верю, дитя мое; но усидчивости вам все-таки не хватает. Вы все берете минутным вдохновением и очень большой музыкальностью. Но техническое совершенство не придет само собой. Вот этот пассаж у вас шероховат, потому что вам не хватает беглости — и это при такой удивительной, волшебной легкости вашего прикосновения! Если мы огорчаемся вашим ранним замужеством, то только потому, что новые интересы и обязанности отвлекут вас еще больше от рояля. В наших условиях достаточно одного ребенка, чтобы на занятиях поставить крест! Теперь такая трудная жизнь!

Ася, вся розовая, молча собирала ноты. Елочка пошла было к роялю и вдруг с ужасом увидела, что Ася, вместо того, чтоб уходить, садится на ее место в уголке. Играть при Асе ей, с ее деревянными пальцами и фальшивыми нотами, которых она не слышит!.. И она осторожно спросила:

— Почему вы не уходите домой?

— Я жду Олега и Лелю: мы сговорились встретиться здесь, чтобы идти всем вместе к Нине Александровне на день рождения, — ответила Ася и, по-видимому, угадав своим тонким чутьем, что

Елочка стесняется при ней играть, выхватила книжку, в которую уткнулась. Елочка села, уныло принялась за инвентю, заранее извиняясь, что ничего не успела выучить. К ее счастью, Ася почти тотчас выскочила из класса, слышав легкий стук в дверь. Через четверть часа, однако, в подъезде музыкальной школы Елочка снова наткнулась на Асю — та стояла вместе с Лелей, поджидая Олега, задержавшегося на службе. А вот и он сам, весь засыпанный снегом и, наверно, промерзший в той же старой шинели. Словно нарочно в этот вечер, когда она была так покинута и печальна, они, все трое, затеяли глупую возню в сугробах у подъезда на обычно пустынной улице имени Короленко, где помещалась школа. Ася и Леля вдвоем набросились на Олега, стараясь повалить в сугроб, и стали засыпать снег ему за воротник. Елочка с досадой наблюдала эту молодую возню, которая, с ее точки зрения, так не шла к нему. Они забывают, что у него плеврит, и простудят его этим снегом!

Внезапно Ася отделилась от остальных и, подбежав к раскатанной ледяной дорожке, лихо прокатилась по ней, звонко смеясь; но у самого конца поскользнулась и кувырнулась в снег. Олег бросился к ней.

— Ушиблась? Страхнулась? Надо быть осторожней! Сколько раз все объясняли тебе! — повторял он, отряхивая ее пальто. — Вот теперь пойдешь под конвоем: берите ее, Леля, за одну руку, а я за вторую!

Елочка вслушивалась в эти тревожные реплики, и смутное подозрения зародилось в ней; через несколько минут оно превратилось в уверенность: поравнялись с кондитерской, и Олег вошел, а девочки остались около двери; Ася вздохнула и сказала:

— Сколько у Нины Александровны будет, наверно, вкусных вещей, а мне опять ничего не захочется!

Леля сказала:

— А ты не думай про «это». Бабушка ведь тебе говорила, что есть непременно нужно и что натошак мутит еще больше!

Так вот в чем дело! Вот и дошалилась в своем «палаццо»! Вольно же! Как ей теперь неловко и стыдно, а в перспективе уродство и эти ужасные роды, о которых и подумать-то страшно! Ну что ж: каждый выбирает то, что ему нравится! Дети — такая тоска беспросветная! Вот тебе и красота и талант! Ну, да и его осудить можно: не сумел уберечь ее. Ведь живут же другие, не имея детей!

Решительно все складывалось так, чтоб доконать ее! Из музыкальной школы она торопилась на службу, где в восемь вечера должно было состояться общее собрание; Елочка очень редко посещала эти собрания, но теперь решила почтить его своим присутствием, и не потому, что испугалась обвинений в антисоветской настроенности, — нет! Она подозревала, что на собрании станут опять трепать имя ее дяди, и считала себя обязанной вступить за честь отсутствующего. Она терпеливо высидела все собрание, но ничего достопримечательного не произошло; под конец стали раздавать премии особо отличившимся работникам — кому «Капитал» Карла Маркса, кому ордер на костюм, кому путевка в однодневный дом отдыха; Елочка только что встала, чтобы уйти, как вдруг услышала свое имя... остановилась, не веря ушам! Она в списке премируемых, она!.. В эту минуту на эстраде показали калоши, которые, передавая через головы, торжественно вручили ей — вот благодарность, которую она заслужила! Ничто, стало быть, не угрожает ей, никто даже не считает ее «враждебным элементом»! И вместо того, чтобы облегченно вздохнуть, она почувствовала, как вся желчь всколыхнулась в ней! Что же это? Насмешка? Не нужно ей этой жалкой благодарности хамов, только что так расправившихся с человеком, который один стоил больше, чем все они вместе! Зачем ей эта благодарность, и неужели они не видят, как она презирует их, неужели мало презрения звучало в ее недавней речи? Ее яростная ненависть никого не тревожит... Да неужели же она уж такое ничтожество?! Вот обида горше всех прежних! Она подымалась по лестнице в свою квартиру, когда услышала детский голос:

— Здрасьте, тетя Лизочка.

Восьмилетняя школьница — дочь соседки — догоняла ее, подымаясь через ступеньку. Елочка равнодушно пробормотала «здравствуй» и одновременно подумала: «Какая я тебе «тетя»! Чисто пролетарская замашка обращаться так к каждой особе женского пола».

Покрасневшие от холода ручки цеплялись за перила, и девочка упорно равняла шаг по шагу Елочки, видимо, желая заговорить.

— Ты отчего сегодня так поздно возвращаешься, Таня? — выдавила наконец из себя Елочка.

— А у нас сегодня тоже было собрание по смертному приговору, — с важностью ответила девочка.

— Что?! — Елочка остановилась, как вкопанная.

— Да: мы тоже подымали руки. Все до одной проголосовали «за», — лепетал детский голос.

## Глава восьмая

Первый месяц по возвращении Нина пребывала на высотах собственного «я», она живо ощущала в себе свою большую, горячую любовь; вспоминая поездку и трудности, преодоленные ради любимого человека, она сознавала, что заслужила то уважение, которым ее окружили Наталья Павловна, Ася, мадам, Олег, Аннушка, даже тетка и Мика. Рассказывать Наталье Павловне все детали пережитого и виденного доставляло ей невыразимое наслаждение, а нежность старой дамы частично вознаграждала ее за отсутствие любимого человека. Как приятно было слышать ее голос, спрашивавший по телефону: «Здоровы ли вы, Ниночка? Я уже два дня не видела вас», или щебет Аси: «Бабушка велела передать, что вы сегодня у нас обедаете!» Ей нигде не хотелось бывать кроме этого дома; в угоду Наталье Павловне она отказалась от привычки подкрашивать губки, приобретенной на сцене, а волосы стала причесывать *a la amazone* [59], как в юности, ни на каких поклонников она не желала обращать внимания; даже пение всего больше доставляло ей наслаждения в присутствии Натальи Павловны, под аккомпанемент Аси.

Так длилось весь первый месяц. Вслед за этим поползли тучи. Началось с очередной анкеты. Раньше графу «где и на какой должности работает в настоящее время муж» она прочеркивала; теперь ей пришлось черным по белому писать: «в настоящее время муж находится на положении ссыльного в Томской области». Анкета испортила ей день; едва лишь усилием воли она отогнала хмурые мысли, как нашла у себя на столе приглашение в гепеу. После тревожного совещания с Олегом и бессонной ночи она отправилась туда и высидела длительный разговор *tete-a-tete* [60] со следователем, который выслушивал, высматривал, вынюхивал, не доверяя ни одному ее слову. Детальные придирчивые расспросы по поводу ее мужа и беглые скользкие по поводу личности Олега составляли основу допроса. Заранее инструктированная Олегом, она выпуталась, не противореча его показаниям.

На другое же утро на репетиции в Капелле появилась новая солистка сопрано, которая разучивала те же партии, что и Нина. Голос ее значительно уступал голосу Нины и диапазоном, и качеством звука; тем не менее новая дива очень уверенно продолжала разучивать партии. В хоре новую артистку прозвали «гробокопательницей» и относились к ней неприязненно; Нина была этим тронута. Так длилось с неделю.

Зайдя как-то к графине Капнист, она встретила у нее пожилого моряка — человека из прежнего общества. Он преподавал в военно-морской академии, оказался любителем музыки и, узнав в Нине солистку Капеллы, расцеловал ей ручки, выражая восхищение ее голосом. Когда он сможет опять ее услышать? Не подумав, она дала ему свой телефон, разрешив осведомляться по поводу ближайшего концерта. И вот уже три дня подряд он названивал ей, и Нине было стыдно себе признаваться, что она опять с некоторым интересом думала о новом поклоннике.

От телефонных звонков он перешел к визитам; она задумала было его остановить и шутливо, но с твердостью сказала:

— Оставьте ваши попытки... С некоторых пор я холодна, как рыба.

Но старый донжуан, наклоняясь к самому ее уху, шепнул:

— Сударыня, что может быть лучше холодной рыбки под старым хреном!

Это ей показалось настолько остроумным, что она против желания рассмеялась, и вся серьезность ее отказа сошла на нет.

Весь последующий вечер она и Марина обсуждали эту милую и элегантную дерзость, находя ее очаровательной, и хохотали рядышком на диване, причем обе уже понимали, что холодной рыбке неминуемо быть под указанной приправой.

И еще одну тучу нагнал ветер — несколько дней Нина подозревала, а потом уверилась, что у нее началась беременность... Как давно и упорно мечтала она о ребенке! Сколько было ссор с Сергеем Петровичем из-за его «осторожности», и вот она получила то, чего хотела, и в качестве зарегистрированной жены могла не страшиться ни упреков, ни пересудов. Однако теперь, когда это, наконец, совершилось, тоскливое смятение охватило ее! Как пойти на новые трудности, когда их и так больше, чем она в состоянии вынести! Прежде всего: она очень скоро не сможет петь и придется брать полугодовой отпуск, а «гробокопательница» тем временем пустит корешки и войдет в силу... А потом? Средств к жизни нет, бросить службу невозможно, оставлять же ребенка не на кого; отдать в ясли — значит, таскать по трамваям в любую погоду и доверять чужим людям. Молока у нее может не оказаться, а с прикормом так много возни... Правильной семейной жизни у нее никогда не будет — Сергею Петровичу вернуться не разрешат, — ребенок свяжет ее по рукам и ногам...

На днях ей исполнилось тридцать три года; если не стать матерью теперь, то, в конце концов, будет поздно — неизвестно, когда она снова встретится с мужем. Ребенок... девочка! Ей всегда хотелось девочку... Короткое платьице, кудряшки, большой бант на голове... Дочка сидит у нее на коленях и обнимает ее шею мягкими ручками... От радости с ума сойти можно! Почему же она молчит и не шлет мужу восторженного письма, хотя ей известно его желание? В ее молчании уже есть что-то предательское по отношению к крошечному существу, которое кристаллизуется в глубине ее тела.

Она открыла свою тайну Марине и ожидала, что Марина повторит ей все те доводы, которыми она себя убеждала, но Марина долго молчала.

— Не знаю, что сказать, что посоветовать... Минута, когда я лежала на этом ужасном столе и слышала скребущий, хрустящий звук, с которым скребли мои внутренности, самая тяжелая в моей жизни! Помни. Совет могу дать только один: если ты не решила, что сделаешь, подожди говорить о беременности Наталье Павловне и ему писать подожди. Поняла?

— Да, да. Конечно, — ответила Нина, но потом, вспоминая эти слова, видела в них что-то недостойное. Особенно остро она почувствовала это, когда пришла на другой день к Наталье Павловне.

Ей было не по себе: она не могла смотреть старой даме в глаза и довольно быстро простилась. В ту ночь она видела во сне морду Демона, которая совалась к ней, насторожив острые уши, и лизала ей руку. С собакой этой у Нины связывалось воспоминание о собственном мужестве. Решиться все-таки на подвиг и стать матерью в этих труднейших условиях? Мужественно скрывать от Сергея свои трудности и радовать изгнанника известиями о ребенке, а на всем своем, личном, поставить крест?

Подымаясь по лестнице, она воображала себе, как будет сейчас ласкать, ободрять и утешать ее Наталья Павловна, если она ей скажет. Ей так хотелось любви и ласки!

«Скажу. Отрежу себе дорогу к отступлению».

Она не ошиблась в полноте участия, на которую надеялась.

— Не бойтесь, Ниночка, все будет хорошо. Всем, чем только смогу, я помогу вам. Все, что у меня есть, — ваше. Сократить с работы вас теперь не имеют права, а через месяц после родов вы отлично сможете петь. Ася тоже в положении. Будете приносить ребенка к нам, а мы тут повозимся одновременно с обоими. Вместе незаметно вырастим. Увидите сами, сколько вам это принесет счастья. Сергей рассказывал мне, что вы до сих пор не можете утешиться в потере вашего первенца — только новый ребенок залечит эту рану. Не надо волноваться и расстраиваться. Отдохните на диване, через полчаса мы будем обедать.

С чувством большой победы над собой Нина покорно вытянулась на диване.

Когда в комнату весело вбежала вернувшаяся из музыкальной школы Ася, Нина подумала: «Вот эта чистая душа не знала и минуты тех сомнений, которые трепали меня, грешную».

Нина поймала ее за руку и привлекла к себе:

— Дай свое ушко, стрекоза: я скажу тебе секрет.

Головка с двумя длинными косами и блестящими глазами склонилась над диваном, и после нескольких слов, сказанных шепотом, тотчас, как из решета, посыпались восторженные проекты, сопровождаемые прыжками и круженьем по комнате:

— Вот хорошо-то! Чудно! Чудно! Я буду его нянчить вместе со своим! Вы будете приносить его сюда, а я буду их забавлять, кормить, носить гулять! Олег хочет сына, а вам надо девочку! Чудно! Чудно!

На следующий день Нина встретила на улице ухажера-морьяка. Зачем это случилось? После, много раз вспоминая эту встречу, она видела в ней что-то роковое: именно тогда, когда она уже решила на самоотречение, именно тогда! Разумеется, она не допустила ничего интимного: только позволила проводить себя и угостить пирожными в кафе; но устремленный на нее восхищенный взгляд мужских глаз имел могущество яда или гипноза. Природа словно мстила ей за аскетическую чистоту тех лет, которые она провела молодой вдовой в Черемухах. Теперь у нее было постоянное тревожное сознание уходящей жизни, недостаточно полного использования своей женской прелести и жадное желание радости.

В этот вечер к ней пришла Марина, и почему-то, увидев ее, Нина сразу поняла, что все сегодня же будет кончено.

— Ну, что?

— Не знаю, что делать!

— Решилась на что-нибудь?

— Нет.

— Так ведь надо же решать, или будет поздно.

— Я понимаю, что надо, да не могу! Одну глупость я уже сделала: я сказала Наталье Павловне.

— Сказала старухе?

— Да. Нашла минута. Марина, я — дрянь! Как она ласкала меня и ободряла! Она строга с Асей, а со мной так необычайно мила! Ты не представляешь, сколько в их семье значит ее благорасположение!

— Сколько бы ни значило, решать должна только сама ты. Она тебе, положим, кое в чем поможет, но она стара; подожди: еще тебе же придется вертеться около нее, если ее хватит удар или сердечный приступ. Что она с тобой нежна — неудивительно, она больше всего на свете боится, чтобы ты не сбежала от ее сына. Пойми: это материнский эгоизм — ей жаль сына, а не тебя!

— Я еще могу повернуть сейчас в хорошую сторону, еще могу... но, кажется... уже не захочу!

Они помолчали.

— Я отговаривала тебя спешить с признанием.

— Да, да, Марина! Я понимаю, но теперь этого уж не поправить!

— Пожалуй, поправить еще можно: скажи Наталье Павловне, что подняла что-то тяжелое — шкаф передвигала или белье в прачечную относила... никто не удивится в наших условиях. Или ты предпочитаешь сказать прямо и лечь на официальный аборт в больницу?

— О, нет, нет! Что ты! Они не простят мне! Если уж... то... замести следы!



— Ну, тогда решай! Сегодня всего удобней: у тебя выходной день завтра и, таким образом, ты сможешь отлежаться, а я могу остаться переночевать и за тобой поухаживать — Моисей Гершелевич в командировке. На всякий случай я захватила три порошка хины — проглоти, а потом затопим ванну, полежишь в горячей воде. Только помни: я тебя не уговариваю! Помочь тебе я, разумеется, готова, но я не уговариваю!

Утром все было кончено. Марина только что подала Нине в постель утренний чай; еще не причесанная, в халатике Нины, она подошла открыть дверь и увидела перед собой Олега.

— Ах, это вы! Извините, сюда нельзя — Нина Александровна нездорова. Может быть, вы пройдете пока в комнату Мики?

Отступив на шаг от порога, он смерил ее быстрым взглядом, и в его внезапно сверкнувших глазах ей почудилось что-то такое подозрительное и гневное, что она невольно опустила свои.

— Благодарю, я не буду задерживаться и беспокоить вас. Наталья Павловна прислала меня с известием, что театральный магазин купил ее страуса, и просила меня передать Нине Александровне это письмо. Что должен я сообщить Наталье Павловне о здоровье Нины Александровны?

— Подождите минуточку, Нина напишет записку, — ответила Марина.

Нина написала несколько слов — те, которые предполагалось сказать по телефону, и Олег вышел.

— Как странно! Он, кажется, что-то понял! Я это почувствовала по его взгляду, — сказала Марина, садясь около Нины. — Ася могла ему рассказать о твоей беременности, но он каким-то образом заподозрил именно намеренный аборт!

— Олег очень проницателен, — задумчиво ответила Нина, — но он не таков, чтоб заводить сплетни и шептаться по поводу своих догадок, он будет молчать, меня беспокоит сей час другое — Наталья Павловна прислала мне сто рублей, а ведь у них систематически не хватает денег: Олег работает один на четырех, и все-таки она прислала мне, а ведь Ася тоже в положении. О, как мне стыдно!

Они помолчали. Нина взглянула на подругу и увидела, что глаза ее наполнились слезами.

— Ну, перестань, перестань, Марина! Ведь для тебя не новость их любовь!

— Не новость, да. Но я подумала она пошла на то, чего побоялась я! Он сравнивает сейчас нас и... воображаю, как еще выросли его любовь и уважение. А на меня он посмотрел недоброжелательно и, кажется, считает меня сомнительной особой, специалисткой по абортам... да как он смеет! Лучше мне вовсе не встречать его, чем выносить такой взгляд!

В этот же день Наталья Павловна, обеспокоенная состоянием Нины, приехала к ней. Чувство стыда и раскаяния переполнили душу молодой женщины, и она разрыдалась, припав к груди своей свекрови. Наталья Павловна приписала ее отчаяние разбитым надеждам и опять утешала ее, говоря, что время еще не ушло и все это можно поправить... она только вскользь попеняла за неосторожность. У Нины не хватало мужества признаться в своем поступке.

«Я искуплю потом все, все! Немножко повеселюсь одну только эту зиму, а летом опять поеду к Сергею и буду самой верной и смирной женой и самой самоотверженной матерью», — говорила она себе, стараясь успокоить свою совесть.

Писать любимому человеку, сочиняя фальшивые фразы, оказалось очень тяжело. Она просидела за этим письмом несколько вечеров подряд, и ей пришлось еще раз пожалеть о своем признании Наталье Павловне, благодаря которому она не смогла схоронить концы в воду. Одна ложь всегда влечет за собой другую — она все-таки написала и послала это насквозь фальшивое письмо. Хорошо, что бумага не

краснеет!

## Глава девятая

Отношения Мики с сестрой все-таки не налаживались: Нина решительно не хотела ценить тех героических усилий, которые он затрачивал на усовершенствование своего поведения в домашнем быту, где его злила каждая мелочь. Он пытался сдерживать себя и грубил гораздо реже, начал сам стелить свою постель, складывал салфетку в кольцо, бегал за хлебом, не заставлял себя просить об этом по три раза, блестяще наладил дровозаготовки, договорившись с Петей пилить вместе по средам для Нины, а по пятницам для Петиной матери.

В школе и у него, и у Пети не прекращались столкновения с комсомольским бюро, советом отряда, клубом безбожников. Среди школьников Мика имел репутацию хорошего товарища, был ловок в драках и к тому же славился как поэт — ему очень легко давались стихи. «Напоминал табун копытный наш первобытный коллектив и очень часто в перерыв взрывался бомбой динамитной» — строки, облетевшие всю школу. Петя на всех контрольных безотказно рассылал шпаргалки направо и налево, а это тоже кое-что значило. Оба друга были любимы друзьями и числились среди лучших учеников, только это несколько охраняло их от нападков школьных организаций и классной воспитательницы Анастасии Филипповны. Сия еще молодая женщина смотрела на события школьной жизни глазами роно и райкомов и терпеть не могла вольности обоих мальчиков, они не подходили под тип советского школьника, созданный гением роно. Опальный отец одного и титулованная сестра другого узаконивали эту ненависть, а классовое чутье Анастасии Филипповны было безупречным.

— Типичная торговка с базара — вот что такое эта Анастасия Филипповна! — говорила Нина всякий раз после очередного визита в школу.

Достойная дочь воспитавшего ее режима, Анастасия Филипповна не брезгала прибегать к замочной скважине. Мика разразился по этому поводу четверостишием:

Порой ораторствует публично  
Тошнее немощи зубной,  
Но все ж у скважины дверной  
Она еще анекдотичней.

В ноябре месяце в классе разыгрался довольно крупный скандал, и, как всегда, Мика и Петя оказались в самом центре события. У школьников вошло в моду постоянно сжимать в кулаке кусок черной резины для развития мышцы кисти, уверяли друг друга, что так всегда делают боксеры, резина эта хранилась среди прочего хлама в незапертом никогда складе на месте купола прежней гимназической церкви. Весь класс бегал резать себе куски для этих спортивных упражнений. Учитель физкультуры, встречавший мальчиков за этим занятием в куполе, даже хвалил их за рвение. Но Петя Валув родился под несчастливой звездой: в тот день и час, когда за резиной забежал он, в купол сунула свой длинный нос Анастасия Филипповна. «Вредительство!» — вот слово, с которого она начала свой трибунал, приведя мальчика в класс и поставив пред всеми, как подсудимого.

— Я тоже резал резину, вот она! — закричал Мика, вскакивая, и оглянулся на класс, приглашая к тому же товарищей.

— Я тоже резал! И я! Мы все! Резина была брошена со всяким хламом! Физкультурник говорил нам, что делал из нее поплавки директору! Наш директор-то, оказывается, тоже вредитель!

Услышав все эти выкрики, Анастасия Филипповна поняла, что хватила через край и пахнет крупным скандалом. Она выпустила рукав Пети и занялась водворением порядка. Дело о резине было замято.

В ноябре праздновался день рождения Нины: против ее ожидания, Мика согласился выйти к праздничному столу и был очень оживлен; он даже читал свои стихи про школьную жизнь, среди которых наибольший успех имела «Ода великому математику».

К среде диковинных явлений  
Пятиэтажных уравнений  
И неделящихся дробей  
С корнями высших степеней  
Он позволял себе интимность:  
Он математикою жил,  
Он всей душой ее любил,  
Но без надежды на взаимность!  
Координатные системы  
В себя впитавши целиком,  
Он рвался в область теоремы,  
К созвездьям лемм и аксиом!  
Он без особого труда  
Уже кончал писать тогда,  
Когда другие начинали,  
И по конвейеру он слал  
Ответы тем, кто погибал,  
И предвкушал сюрприз в журнале.  
На всех контрольных осаждали  
Его голодные рои,  
Которые решений ждали,  
Чтоб после выдать за свои.  
Спасенный радостно икал  
И Петька с чувством лапу жал.

Ася и Леля умирали со смеху, даже Олег и Нина улыбались, и все единодушно признали за Микой пушкинский дар. Ободренный успехом, Мика понес новую рукопись в класс. Он читал ее на большой перемене, стоя, как всегда в таких случаях, на парте посередине класса, когда кто-то крикнул ему: «Анастасия Филипповна у двери!»

Услышав это, Мика тотчас перескочил на эпиграмму в честь этой достойной дамы и с чувством отчеканил:

Шлифована по-пролетарски,  
А первобытна, как зулус,  
И не хранит отравы барской  
Отточенный в райкоме вкус!

Анастасия Филипповна ворвалась и впрямь с видом разъяренного зулуса. Мика был вытребован к директору, но находчивого мальчика трудно было поставить в тупик.

— Я всегда рос в убеждении, что деликатность и такт необходимые качества культурного человека, — ответил он, — но Анастасия Филипповна вместе с пионервожатой дали мне хороший урок в противоположном, и я этим уроком воспользовался.

Директор попросил объяснения.

— Они неуважительно говорили перед целым классом об отце одного из моих товарищей. Я согласен извиниться перед Анастасией Филипповной, если она подаст мне пример и в свою очередь извинится перед Петькой Валуевым.

Директор обещал выяснить в чем дело. Но комсомольское бюро цыкнуло на него, разъясвив, что дело касается обвиненного по пятьдесят восьмой. Мика остался под угрозой занесения в характеристику «издевки над идеологической сознательностью учителя».

Приближалось Рождество; за несколько дней до праздника отец Варлаам созвал братство на исповедь в квартире на Конной. Сговорились собраться в это утро у ранней обедни на Творожковском подворье. Мике всякий раз попадало за ранние обедни: от Нины потому, что он опаздывает из-за них в школу, от Надежды Спиридоновны за то, что, уходя, топает по коридору и заводит будильник, который трезвонит на всю квартиру. Без будильника, однако, Мика неизменно опаздывал. Петя и Мэри считали Мику почти мучеником, потерпевшим гонения за веру, а он считал их дом христианской общиной в миниатюре, — и по этим пунктам каждый из них втайне завидовал другому. Мика опоздал и в это утро и, стоя в последних рядах, отыскивал глазами голову Пети, которую узнал по «петуху» на затылке. Рядом с ним виднелась черная коса Мэри. Мика стал осторожно пробираться к ним.

— Мы уже за тебя беспокоились все нет и нет! — шепнул ему Петя, когда они оказались рядом.

— Едва успел; вчера вечером опять бурю выдержал — без этого у нас не обходится! — тоже шепотом отозвался «мученик».

— На духовном пути очень часто «враги человеку домашние его», — шепнула Мэри.

Когда обедня кончилась, отправились к Валугевым. У них была елка, и ее стали устанавливать.

— Эту елочку, — похвастался Петя, — мы с мамой купили вчера у Владимирской церкви. Милиционер увидел и тотчас за нами, а мы словно воры улепетывали. Я и не подозревал, что мамочка так быстро бегаёт.

— При советской власти всему выучишься, — сказала Ольга Никитична, берясь за керосинку. — Завтра, в Сочельник, приходи, Мика, к нам.

— Да, да! — воскликнула Мэри, надевая передник. — Мы зажжем елку и будем петь «Дева днесь...» и «Weihnachten»<sup>[61]</sup>, а ужин будет постный, с кутьей, все по уставу.

— Нина моя совсем равнодушна к вере, — заявил Мика, — Она все боится, чтобы не узнали о церкви в школе. Я понимаю отрицание, но равнодушие не понимаю!

— Убежденных людей всегда мало, — сказала Валугева, — большинство и раньше было равнодушно к родной Церкви. Никто не образумился, пока не грянул гром! Большевики злобны, коварны, мстительны, но их преследования заставили нас проснуться. Если бы мы не были виновны перед Господом, неужели бы Он допустил существование этих бесчисленных лагерей и тюрем, куда запрятывают ни в чем не повинных людей? Сколько душ очищается теперь страданием!

Мика опустил топор и, не спуская глаз, смотрел на женщину, говорившую эти слова. Ее сверкающий взгляд, худое лицо и преждевременно поседевшие волосы опять напомнили ему христианских мучениц.

В квартире на Конной собралась довольно длинная очередь. Отец Варлаам говорил очень долго с каждым. Исповедь шла в трапезной; ожидавшие женщины и девушки прошли в комнаты к братчицам, молодые люди ожидали в коридоре. Петя и Мика стояли рядом. Еще год назад мальчишки поклялись друг другу в полной откровенности. С тех пор у них вошло в обычай показывать друг другу шпаргалки с перечисленными для памяти тезисами исповеди. Шпаргалка Мики начиналась словами: «Нина, сны, готов на подвиг, а на мелочи ленив»; взглянув на шпаргалку Пети, он увидел, что первые три пункта у него были точно те же, только вместо «Нина» у него стояло «Мэри». Но дальше у Мики в списке значилось: «галстук, она, масло, эполеты, гвардия» — тут уж ничего нельзя было понять, и Петя попросил объяснения.

— Дела мои, старина, плохи! Никак не ожидал, что приключится этакая штука! Как бы объяснить...

видишь ли... одним словом — влюбился, и притом колоссально! Как сказать отцу Варлааму — ума не приложу. Видел я ее всего два раза только: на вокзале и у нас на рождении Нины, она приходила к нам со своим мужем; совсем еще молоденькая, с косами, ресницы в полщеки, тоненькая, как тростинка. Я только посмотрел и погиб, сказали бы мне: «Поцелуй и умри!» — сейчас бы согласился! Моральный банкрот! Тревога, знаешь, напала: вот какие девушки бывают, а я такую не найду — пока буду молиться, всех расхватают. Петька, говори: что мне будет за это от отца Варлаама?

— Трудно вперед сказать... положение серьезно... — пробормотал сконфуженно Петя, словно врач на консилиуме. — На поклоны, наверно, поставит... А это что? — и Петя ткнул пальцем в «гвардию».

— Военная доблесть опять покоя не дает: нет-нет да и воображаю себя николаевским офицером: эполеты, шпоры, аксельбанты — все пригнано, все блестит, выправка самая изящная, не то что у этих «красных командиров» с их мордами лавочников! Танцую мазурку в зале у Дашковых, девушки — все на меня поглядывают. Или — война, первым кидаюсь в бой и умираю с Георгием под стенами Константинополя. Видишь, помечено: «эполеты». А к тебе этакое не подступает?

Петя с понимающим видом кивнул.

— А это что? — и он ткнул в рубрику «масло».

— Да понимаешь ли, сейчас Филипповка, ну и воздерживался я незаметно от масла. А Нинка заподозрила и проследила; накидывается, как кошка: «Я на последние деньги покупаю не для того, чтобы в ведро выбрасывать!» И пошла... пошла... Наорали мы друг на друга колоссально; уступил в конце концов.

— А это? — и Петя ткнул в «галстук».

— Из-за нее. Когда ждали на рождение гостей, я попросил Нину завязать мне галстук, а она сделала мне бант, как двенадцатилетнему; я же был уже зол, перед этим завернул в парикмахерскую постричься и побриться, а мерзавец парикмахер ответил: «Постричь» — с моим даже удовольствием, но что же мне брить-то?» И все из-за банта, опять с Ниной скандал, даже Аннушка прибежала. Исповедь получается потрясающая, а впрочем, у человека с бурной душой иной и быть не может. А у тебя что?

Петя в свою очередь представил полный отчет. Прождали около двух часов, когда пришла очередь Мики. Петя, дожидаясь поодаль, видел, как его товарищ горячо и долго излагал свои потрясающие переживания. Молодой монах — высокий, худой и бледный — выслушивал молча, с серьезным лицом; потом он сам начал говорить и говорил тоже долго; а вслед за этим произошло нечто, пожалуй, еще незаписанное в летописях братства — отец Варлаам, вместо того, чтобы поднять руку с епитрахилью, только кивнул, отпуская Мику, и непрощенный растерянный мальчик с опущенной головой сконфуженно пересек комнату и скрылся в коридоре. Петя в изумлении проводил его взглядом. «Земная любовь, наверно!» — подумал он и не пошевелился, пока его не подтолкнули сзади, напоминая, что теперь его очередь. От беспокойства за друга он скомкал свою исповедь, перезабыв половину, и бросился искать Мику. Он нашел его в кухне у черной двери в позе Наполеона.

— За что он тебя? За что?

— А вот не угадаешь!

— «Она», наверно!

— Нет. За нее несколько не попало: сказал «естественно» и обещал, что дальше хуже будет; не она, а масло! Да, да — масло. «Мне нужна дисциплина, говорит, Церковь запрещает!»

Я вправе требовать от членов братства исполнения устава. Я предупреждал, и нарушивших мой запрет к причастию не допущу. В трудные дни нам нужны только верные и сильные. Придете ко мне на Страстной». Сейчас я уже думаю, что он прав, но в братстве ведь станут считать меня преступником! Катя

Помылева уже шарахнулась от меня: наверно, вообразила, что у меня на совести, по крайней мере, убийство и изнасилование!

— Как он суров! — повторял пораженный Петя.

«Римлянка» была очень тактична — она ни слова не сказала о случившемся, Мэри бросила на Мику быстрый любопытный взгляд, который несколько польстил ему. Совершили все согласно ранее намеченной программе: Мика остался ночевать и был уложен на кофре у двери, молитвы читали вместе. Утром Мика подошел к Ольге Никитичне и прямо спросил:

— Может быть, мне лучше не ходить к обедне, если я уж такой преступник?

Она ответила спокойно и, как всегда, убежденно:

— Никто о тебе этого не думает. Отец Варлаам строг, гораздо строже отца Гурия; он хотел тебя испытать и смирить. Он очень многих подвергает епитимье. Если ты придешь в церковь помолиться вместе с нами и поздравить нас с приобщением, ты явишь выдержку и послушание, которые иноками так высоко ставятся.

Мика поколебался, но пошел. Он очень считался с мнением Римлянки, притом взгляд Мэри убедил его, что он заинтересовал своей особой юную, и притом как раз женскую, часть братства, и сам того не замечая, за обедней он порисовался своим мрачным и разочарованным видом.

В первый день школьных занятий Петя почему-то в класс не явился. Голова Мики все время поворачивалась на дверь, так что шея у него заболела, а Пети все-таки не было. Прямо из школы Мика помчался к другу. На звонок открыла соседка; когда же он постучался в комнату, высунулась голова Пети и что-то в нем тотчас показалось Мике не так: у горла не было белого воротничка, глаза подпухли и покраснели, петух на затылке совсем распушился, в комнате все было вверх дном.

— Эй, старина, что случилось? — спросил, входя, Мика.

— Несчастье у нас — мама не вернулась.

— Как не вернулась? Откуда? — и пораженный Мика сел на кофр у двери.

— Ее в гедеу вызывали: прошло уже больше суток, а ее все нет. Они возьмут маму в лагерь, как папу. Считаю меня трусом, считай маленьким — мне все равно! Я без мамы жить не могу! Мама всегда была с нами, каждую минуту, во всем. В доме без нее все сразу перевернулось. Ты этого не понимаешь, потому что у тебя мамы никогда не было!

— Нет, я понимаю! Ты напрасно... я понимаю... как же это произошло?

— Повестка пришла еще третьего дня, но мама нам не говорила. Вчера только утром, когда мы уже встали и выпили чай, она вдруг говорит, что получила вызов и сейчас должна выходить. Успокаивала нас, все повторяла: «Ничего, дети! Бог милостив! И к двум часам я, наверно, уже буду дома». Потом передала Мэри квитанции из комиссионного магазина — они все уже оказались переписаны на имя Мэри: мамочка накануне ходила для этого в магазин. Ну, а потом уложила в маленький саквояж перемену белья, мыло, полотенце, наши фотокарточки и икону Скорбящей, свою любимую. Мэри сунула ей туда еще булочку. После этого мама нас перекрестила и сказала: «Христос с вами! Только не ссорьтесь — и все будет хорошо». Мы хотели бежать за нею, чтобы подождать ее у подъезда Большого дома, но мама не позволила — «Лучше пойдите в церковь». Мы только до ворот ее проводили; у ворот мама еще раз поцеловала нас и опять сказала: «Христос с вами, мои маленькие!» — и больше не оглядывалась.

— Ну, а потом?

— А потом мы побежали в церковь, а когда возвратились, нам было очень страшно открывать дверь

— пришла или не пришла? Мэри вошла первая и говорит: никого! Но ведь двух часов еще нет. Мэри побежала за хлебом, вернулась, а мамы все нет. Тогда мы вышли на площадку лестницы и стали смотреть вниз, в пролет, — часа два, наверно. Мэри вдруг стала дрожать, как в ознобе. Знаешь, как это страшно — ждать. Я уговорил Мэри вернуться в комнату и закрыл пледом и пальто, и мы просидели рядом на ее кровати еще часа два; уже зажгли свет, а мамы все не было; только поздно вечером мы сели пить чай; тут как раз нагрянули *они*; стали все перерывать, как тогда, когда брали папу; а нас с Мэри посадил на кофр и не велели двигаться. Накануне мы в «чепуху» играли: они увидели брошенные записки, а в одной из них было: «Сталин и Мэри в кухне среди ночи строили друг другу рожи». Они показывали это один другому. Часа три возились; когда уходили, один сказал Мэри: «Ну, ну, не унывай, девчонка, не пропадешь!» Посочувствовал как будто! Мы всю ночь не спали, у меня голова болит.

— А где же Мэри?

— Она пошла к тете рассказать ей, что у нас случилось.

— Я дождусь с тобой Мэри; ты, старина, держись, будь мужчиной. Давай-ка перекусим, у меня бутерброды остались. Возьми, нельзя терять силы.

Скоро пришла Мэри и пожаловалась, что тетка во всем винила Ольгу Никитичну за неосторожность и очень переживала, что надо будет теперь еще заботиться о Пете и Мэри.

— Больше ты к ним не пойдешь! — воскликнул горячо Петя. — Сядь, сядь — ты устала! Давай я тебе налью чаю.

— Возьми бутерброд, — сказал Мика, — и давайте обсудим, как быть; я во всех хлопотах вам буду помогать, а в школу тебе надо завтра же выйти, старина, а то начнутся неприятности.

Но Петя отрицательно замотал головой:

— Носу не покажу! Комсомольское бюро теперь совсем заест меня. Я нашу школу ненавижу, я поступлю на службу. Надо же кому-нибудь зарабатывать деньги.

— А я никогда не соглашусь на это! — запальчиво крикнула Мэри. — Мама запретила нам ссориться, но как же не сердиться за такие вещи! Мама и папа вернутся же когда-нибудь, и вдруг окажется, что Петя не кончил школу... Какой это будет удар, особенно папе! До весны мы отлично просуществоем вещами у нас сданы полубуфет, журнальный столик и бронзовый рыцарь с копьем — должны же будут все это купить! А весной я окончу школу и устроюсь работать сама. Я — старшая, а Петя должен учиться. Может быть, мамочку скоро освободят, а Петя, пропустив четверть, погубит целый год школы, — скажи ему, Мика, что я права?

Мика принял сторону Мэри, но у Пети были свои доводы:

— Какой же я мужчина, если допущу, чтобы сестра работала, а сам буду сидеть на ее шее? Папа первый меня осудит. Ты, Мэри, женщина, и в вопросах чести не понимаешь ничего! Молчи поэтому! Теперь, когда мы вдвоем, ты под моей охраной; я отлично знаю, что я должен делать, и не позволю себе указывать.

К согласному решению так и не пришли. Мика ушел огорченный и взволнованный.



## Глава десятая

Наталья Павловна писала мемуары. При этом она всегда садилась в старинное кресло, на спинке которого красовался вышитый герб Бологовских — башня и скрещенные мечи. В этом же кресле она занималась вязаньем — распускала и заново перевязывала семейные шерстяные вещи, вышедшие из строя. Это была та добровольная обязанность по дому, которую она взяла на себя в дополнение к обязанностям кассира и главного диспетчера. Мадам прибирала, ходила по магазинам и изоощрялась на кухне, стараясь разнообразить нехитрые блюда; молодая новобрачная была «девушкой на побегушках», судомойкой и помощницей на кухне. Олег взял на себя заготовку дров, топку печей и возню с пылесосом. Пылесос этот служил предметом постоянных шуток у молодой пары. Возней с пылесосом занимались обычно по воскресным утрам — в будни Олег возвращался со службы только к семи часам, и все старались сохранить вечер свободным от хозяйственных дел. Старшие дамы в эти часы садились часто за рукоделие. Мадам пробовала приохотить к рукоделию и Асю, но Ася органически не была способна высидеть за иглой дольше десяти минут.

— Ничего не выходит! Бесталанная я! Распашонка моя не подвигается и уже завалилась: надо ее сначала выстирать. Завтра я по-настоящему примусь за дела, а сегодня я вам лучше Шопена поиграю, — заявляла она.

Мечтой ее было приохотить Олега к четырехручной игре, но Олег был не в ладах со всевозможными дизезами и бекарами, аккорд со случайными знаками был для него, по собственному признанию, хуже, чем штурм сильно укрепленного пункта. Ася сердилась, и чем дальше продвигался урок, тем больше она превращалась в разгневанную амазонку. Но кончалось все неизменными поцелуями и объяснениями в любви.

Четырехручие не налаживалось. Тогда Ася ухватилась за другой план: еще года три тому назад она и Леля под руководством Сергея Петровича разучили множество народных русских песен. Красота и благородство старинных протяжных напевов, исполняемых а capella<sup>[62]</sup>, настолько увлекли Асю и Сергея Петровича, что они готовы были каждый свободный вечер проводить за пением; дело обычно тормозила Леля, которая не всегда оказывалась под руками и не всегда имела желание петь. Однако она считалась с желаниями Сергея Петровича, и ансамбль процветал. После ссылки Сергея Петровича Асе первое время очень не хватало пения. Теперь они задумали воскресить его. Она несколько раз слышала, как Олег, трудясь над пылесосом или согревая себе воду для бритья, втихомолку мурлыкал старые офицерские песни, и заключила, что голос и слух у него достаточно хороши для участия в ансамбле. Трудность заключалась в том, что ей самой теперь предстояло занять должность Сергея Петровича. И в самом деле: начавшиеся спевки протекали так же бурно, как неудавшееся четырехручие, фальшивая нота оказывалась единственным, но безошибочным средством вызвать раздражение Аси. И все-таки Олег обожал эти занятия и спевки.

У Аси были свои мысли по поводу ее отношений с Олегом, но она доверяла их только Леле.

— Знаешь, мне иногда очень стыдно за мое счастье... Ты удивляешься? Я не знаю, как это объяснить... Когда я вижу вокруг себя столько печальных лиц — бабушку, твою маму, Нину Александровну — и еще многих, мне делается как-то совестно за свой сияющий вид и за свое слишком большое счастье. Почему только я? А я ведь очень требовательная: если бы я хоть раз услышала, что муж говорит со мной небрежно, ворчливо или с упреком, мне стало бы невыносимо обидно, и я бы этого уже никогда не забыла. Но я вижу, что его взгляд становится лучистым, когда обращается на меня, — вот мое счастье.

Леля задумчиво помешала в камине, около которого они сидели.

— Интересно, каков-то будет «мой»? Он должен быть немного в другом роде. Мне мужчины из «бывших» не нравятся. Они все какие-то пришибленные, с постными лицами. Шура — невинный теленок и маменькин сынок; твой Олег — мужчина, конечно, настоящий, но он слишком серьезен и чересчур уж пропитан хорошим тоном. В дворянской семье с девушкой мужчина должен держаться уже известным образом, а мне все это приелось до тошноты.

— Валентин Платонович ухаживает за тобой, — сказала Ася.

— В последнее время даже очень энергично. И я вижу, что маме страшно хочется, чтобы он сделал мне предложение. Знаешь, что в глазах мамы главным образом говорит за него? Не то вовсе, что он зарабатывает прилично! Он красиво, по-офицерски, кланяется и подходит к ее ручке; в обществе он сыплет остротами, он — свой, прежний, он — паж, это все определяет! А мне иногда досадно на Фроловского: в нем есть что-то наперцованное, а он облачается в рыцарские доспехи, которые мне вовсе не нужны. С ним можно было бы очень весело провести вечер, если бы он захотел совсем немножко изменить тон — ну, пусть бы нежданно-негаданно поцеловал меня или умчал на крышу «Европейской» гостиницы... хоть какую-нибудь экстравагантность!.. Я думаю, я окажусь в будущем темпераментной женщиной: когда-нибудь меня прорвет, вот как весной плотину.

— Глупости, Леля. Ты всегда что-нибудь выдумываешь, чтобы доказать, что ты нехорошая, и никто все равно этому не поверит.

— А вот, кстати, о «крыше». Знаешь, что случилось в последнее воскресенье? Соседка — Ревекка — взяла меня с собой в гости к своей сестре; был там их знакомый — инженер будто бы, теперь ведь все именуют себя «инженерами». По типу — армянин, и очень недурен, а может быть, и еврей — не поручусь. Сначала я ничего не заметила, а когда сели пить чай, вижу — ухаживает: комплименты мне говорит, угощает, забавляет анекдотами, самыми пикантными — у нас таких не рассказывают; я все время боялась покраснеть. Ну, а когда собралась уходить, он вышел тоже. В двух шагах стоянка такси; он подходит к машине, распакивает дверцы и говорит: «Прошу вас! Если желаете — прямо на крышу «Европейской» гостиницы!» Я остолбенела от неожиданности и... знаешь... отвернулась и ушла не оборачиваясь. Я все-таки хочу для себя чего-то лучшего, чем случайные объятия... постороннего.

Ася испуганно схватила ее руку:

— Неужели он в самом деле имел дурные цели, приглашая тебя?

— Не сомневаюсь! — Усмехнулась Леля. — Я хорошо знаю мужчин. Скажу тебе по секрету: я однажды уже побывала в «Европейской», только это было днем и не на крыше, а в зале; притом, я была с Ревеккой и ее мужем. Ревекка очень бережно ко мне относится — мама напрасно косится на это знакомство. Конечно, это совсем другой круг — это новая, советская, интеллигенция, выходцы из низов, евреи, два-три армянина, есть и русские. Это все дельцы, у них есть деньги, они гораздо увереннее и веселее. Говорят, гепеу начинает коситься на тех ответственных работников, у которых завелись большие деньги. Ходит даже анекдот, что с «крыши» видны Соловки. Но эти не унывают: как только приехали в ресторан, тотчас каждой даме — воздушный шарик, цветы, конфеты, блюда, какие пожелаем... Деньги так и летели... Между столиков танцевали фокстрот, и я танцевала тоже. Я имею там успех: это своего рода экзотика для них — русская аристократочка. Ты вот там никогда не побываешь! Ты, как жена своего мужа, будешь с ним вместе решать, как лучше истратить ваши общие деньги; а когда их бросает чужой мужчина с тем, чтобы провести с тобой вечер, в этом есть особое наслаждение — пикантное и острое, — и оно наполняет тебя желанием очаровать этого человека, который сам, очевидно, желает того же... Во всем этом есть что-то пряное, одурманивающее, чему не место с человеком, которого ты уже изучила, с которым встречаешься в ежедневной жизни. Может быть, в моих новых знакомых есть привкус дурного тона, мама потому и воюет, но это ново для меня и любопытно при нашей однообразной жизни. — И прибавила, грея перед камином

руки: — А знаешь, я вчера встретила Нину Александровну с незнакомым мне моряком. И ей досадно было на эту встречу, я тотчас это почувствовала. Я всегда понимаю все недоговоренности!

— Глупости какие! Ну почему «досадно»?

— А если этот элегантный моряк ухаживает за Ниной Александровной и она не хочет, чтобы в нашей семье знали это?

— Нина Александровна сумеет, поверь, прекратить всякие попытки в этом роде, и скрывать ей нечего.

— Ты так уверена?

Вошел Олег.

— Пожалуйте обе в гостиную — пришел Фроловский.

Валентин Платонович явился прямо из кино поделиться с друзьями впечатлением. Перед началом фильма демонстрировался журнал, долженствующий обработать соответственным образом мнение трудящихся по поводу предстоящей паспортизации, а в сущности, это было попросту натравливание одних социальных группировок на другие. Провинциальная контора по выдаче паспортов; счастливые работницы одна за другой прячут за пазуху драгоценный документ — путевку в лучшую жизнь! Но вот появляется бывшая владелица мелочной лавочки, глаза ее беспокойно бегают, и весь вид самый жалкий и растерянный... В паспорте ей, разумеется, отказывают, и все присутствующие удовлетворенно улыбаются, уверенные, что отныне классовый враг обезврежен и ничто уже не мешает их счастью... Другая сцена — митинг на заводе, где сознательная молодежь разоблачает классового врага, который в недавнем прошлом... и тому подобная гнусность.

— Одним словом, приятно провел время и теперь преисполнен самых радужных надежд на будущее! — говорил Валентин Платонович, играя с пуделем, который прыгнул к нему на колени, как только он уселся в качалку.

Тотчас после ужина Валентин Платонович странно коротко и серьезно сказал Олегу:

— На два слова, конфиденциально.

И оба вышли в бывшую диванную.

— Прежде всего прошу тебя, чтобы этот разговор остался между нами. Три дня тому назад я получил приглашение в гепеу.

— Ах, вот что! Продолжай, пожалуйста.

— Там мне преподнесли: «Нам хорошо известно, что вы окончили Пажеский в тысяча девятьсот пятнадцатом году». Я поклонился: «Имел несчастье», — говорю. «Скажите, встречаетесь ли вы с прежними товарищами?» — «Нет, говорю. Очень занят, нигде не бываю». А они мне: «Стереотипная фраза, которую мы знаем наизусть! Перечислите нам ваших однокашников». Я стал им старательно перечислять всех, о которых точно знаю, что погибли. «Так, говорят, а Дашкова отчего не назвали?» Я уже хотел ответить «убит в Крыму», но показалась мне неуверенность в их вопросе — знаю ведь я их манеру говорить о неустановленных фактах, как о вполне достоверных, чтобы вернее заставить проговориться. Почуял, знаешь, что и здесь не без того. Попробую, думаю, сбить со следа, рискну. «Дашков, отвечаю, не нашего выпуска — лет на пять старше, Дмитрий Андреевич, капитан, убит в боях за полуостров». «Точно ли убит?» — спрашивают. «Слышал от очевидцев», — отвечаю. И вдруг они мне преподносят: «А к кому вы ходите на улицу Герцена? Какие у вас там товарищи?» — «Помилуйте, говорю, товарищей там у меня нет — там старуха и внучка прехорошенькая: регулярно бываю у них раз или два в месяц, знакомы с детства». «И с мужем внучки знакомы?» — спрашивают. «Познакомились на их свадьбе, отвечаю, простоват немножко,

мужик, однако парень симпатичный!»

Олег усмехнулся.

— Ну, так ты, положим, не сказал! Что же дальше?

— Взяли расписку, что разговор останется в тайне, и отпустили. Я хотел прийти на другой же день, да побоялся, что такая поспешность покажется подозрительной, могли следить... решил прийти будто бы с воскресным визитом к Наталье Павловне.

— Спасибо, Валентин, ты оказываешься хорошим другом.

— Это со мной случается только в гепеу.

— Я знаю, что я у них на подозрении, — ответил Олег. — Не так давно я сам пытался их уверить, что Дашков существовал только один — Дмитрий. Твое показание вполне согласуется с моим, что чрезвычайно для меня ценно. Один верный человек говорил мне, что архив Пажеского уничтожен и списков пажей нет. Маленькая отсрочка! Только бы тебя не притянули при случае за ложное показание.

— Все, что называется, под Богом ходим. Загадывать не стоит. Я тоже слышал, что архив уничтожен: не будь этого, многих бы давно выловили. А на меня был донос бывшего лакея моего покойного отца. Теперь весьма сомнительно, что репрессия может миновать меня. А я как раз было вознамерился взять пример с тебя и сделать прыжок в добродетельную жизнь, к величайшей радости татап, которая жаждет стать бабушкой.

— Твоя мать знает про донос?

— Не удалось скрыть. Переволновалась так, что с сердцем плохо было. Ну, времечко! На виселицу бы этих гепеушников всех до одного, а этот смердящий пролетариат, вроде ваших Хрычко и моего Викентия, отлупить бы казацкой нагаечкой. Прощай, дружище!

Они пожали друг другу руки. За чертами нахмуренного мужского лица внезапно промелькнуло лицо кадетика, а за ним — классы корпуса и детские шалости...

В соседней комнате стояла Леля и перебирала крошечные распашонки и чепчики, разложенные на рояле. Фроловский вытянулся перед девушкой:

— Милая Еленочка Львовна! Я глубоко сожалею, что в настоящее время установилась такая скверная погода! Наш величайший поэт Владимир Матюковский гениально отрифмовал:

Северные ветры ду —  
ют, гулять я не пойду!

К сожалению, и я должен сказать то же самое, и чем вы очаровательней, тем мне досадней, что барометр стоит так низко. Разрешите откланяться.

## Глава одиннадцатая

### ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

**3 февраля.** Впервые я осмелилась извлечь этот дневник из тайника после нескольких месяцев. И так, уже 1930 год. Жизнь моя всё такая же печальная и одинокая, как жизнь моей России.

**4 февраля.** Известие о «нем», и неблагоприятное: опять плеврит. Вчера еще я видела в рентгене Лелю, и она уверяла меня, что все благополучно; ну как замалчивать такое известие? Глупая эта Леля! Сообщила сама Ася — прибежала ко мне утром улыбающаяся, розовая от мороза, прехорошенькая в своем собольке, и заявила: у меня к вам просьба — у моего Олега плеврит, доктор велел сделать банки, а я не умею! Не придете ли помочь? Вы так редко у нас бываете, и мы страшно рады будем случаю провести с вами вечерок. Я, конечно, сказала, что приду, и попросила рассказать о нем подробнее; к счастью, плеврит не гнойный и  $t^{\circ}$  не выше  $38^{\circ}$ . Ася торопилась домой и не хотела снимать пальто, говоря что *madame* поручила ей снести в кооператив пустые молочные бутылки и выручить за сдачу их 10 рублей, пустые бутылки были у нее с собой в сетке; я спросила, не тяжела ли ей такая ноша, она ответила «нисколько» и улыбнулась самой сияющей улыбкой. Когда я закрыла за нею дверь, я слышала, как она напевала, сбегая вниз. Беспечность ее не знает предела. Она не хочет видеть ни нужды, ни опасности, ни болезни, ни своего положения — бывают же такие люди!

**5 февраля.** Была у них; досадую на многое: он явно не пользуется той заботой, которая необходима, да и материальные дела их, по-видимому, плохи. Если бы он не женился, он бы уже обзавелся всем необходимым, а теперь ему приходится содержать целую семью. Любопытная деталь: ужин был самый простой — картофель с солеными огурцами, а перед Асей француженка поставила котлетку и сливочное масло, которое, по-видимому, подается ей одной. Посередине комнаты у них стоит ящик, в который собирают посылку в Сибирь для сына Натальи Павловны. Когда после чая я вошла в его комнату попрощаться, я застала сцену, которая меня возмутила: она сидела на краю его кровати, а он обчищал мандарин и клал ей в рот по дольке; мандарин этот принесла я и как раз сказала, что для больного... Вижу по всему, что о себе он меньше всего думает; ходит все еще в старой шинели, отсюда и плеврит; а еще шутил по этому поводу: спросил меня и Лелю, какого литературного героя он нам напоминает; Ася смеялась — очевидно, уже знала, в чем тут секрет; я не решалась ничего сказать, а Леля сказала: Вронского! «Нет, Елена Львовна, куда там! Всего-навсего Акакия Акакиевича: у нас с ним одна цель — положить куницу на воротник».

**6 февраля.** «...Осколки игрою счастья обиженных родов!» Вчера Наталья Павловна была встревожена новым известием о ссылках; у нее есть общие знакомые с дочерью Римского-Корсакова: это пожилая дама — вдова с двумя дочерьми; одна из них выслана на этих днях по этапу в Сибирь, а старой даме в свою очередь вручена повестка. А *propos*<sup>[63]</sup>, Наталья Павловна, которая, кажется, знает весь прежний петербургский свет, рассказала и о семье фон Мекк; дочь фон Мекк — Милочка — просит милостыню на паперти в Самаре или в Саратове... Оперы Чайковского и Римского-Корсакова идут во всех театрах и приносят огромные доходы, а потомки и друзья... У меня уже больше нет слов!

**7 февраля.** Вся душа кровью исходит! Сегодня я была у Юлии Ивановны; разговорились, по обыкновению, и она сообщила мне случай, рассказанный ее соседкой по комнате; это — студентка, которая ездила на зимние каникулы к родным; на одной из железнодорожных станций она вышла за кипятком и после вскочила в ближайший вагон, т. к. поезд уже трогался, а ее вагон был еще далеко. Тотчас же она в изумлении остановилась: вагон был весь до отказа набит крестьянскими детьми, которые лежали

и сидели на лавках и на мешках. Пробираясь между ними, она спросила девочку: кто она? Та подняла льняную головку и, ответила: «Мы кулацкие дети». «Куда же вас везут?» — Не знаю, куда», — и головка снова поникла. Студентка сделала еще несколько шагов и наткнулась на мальчика лет восьми, который лежал на полу, свернувшись на мешке. Ей показалось, что он болен; она наклонилась к нему и спросила: «Что с тобой, малыш?» Он поднял глазки, синие, как васильки, и сказал: «Знобит малость». «Куда же ты едешь?» Он ответил: «У тятки были две коровушки и яблочный сад; за такое дело увезли его и мамку, а потом пришли за мной». Отчаяние начинает хватать за горло. Отрывают от земли, гонят нашу крестьянскую старую Русь! Мучаются маленькие дети... И все молчат. И даже такие герои, как он, вынуждены бездействовать... Боже мой, Боже мой! Завтра я опять пойду к нему, и я буду не я, если не заговорю с ним на эту тему. Я не хочу, чтобы в нем зарастала любовь к Родине и закрывались раны души. Может быть, это жестокость с моей стороны, но я хочу, чтобы его всегда сжигал тот глухой огонь, который палит меня, — пусть каждую минуту своей жизни пламенеет ненавистью. К нему можно применить слова: вы — соль земли! если соль перестанет быть соленой... и т. д. Он не должен слиться с бескостной, бесхребетной массой — нет, нет! Я не хочу этого, я не допущу.

**8 февраля.** Иногда мне приходит в голову странная мысль: копаясь в собственной душе, я прихожу к убеждению, что, не случись в России революции, я в мирной обстановке царского времени могла бы сделаться революционеркой (разумеется, не большевичкой). Все господа положения, все уверенные в собственной безопасности мне противны, а в каждом почившем на лаврах мне чудится мещанское самодовольство. Я всегда на стороне борющихся, подвергающих себя опасности, или преследуемых и гибнущих... Идея религиозная меня не увлекает; я религиозна только в уме. Я сочувствую гонимой Церкви, но гражданские чувства во мне сильнее религиозных.

**9 февраля.** Была у него, но поговорить не удалось: он был занят переводом с английского каких-то торговых бумаг. Бумаги эти привез его начальник по службе — еврей, который приехал на собственной машине, был очень любезен, поднес Олегу пакет замечательных яблок для скорейшего выздоровления и тут же попросил не отказаться сделать перевод очень важного текста. Я выразила по этому поводу возмущение, говоря, что если б была в эту минуту в комнате, непременно сказала бы «товарищу Рабиновичу», что затруднять такими просьбами больного невеликодушно. Олег оторвался на минуту от бумаг и ответил на это: «У меня не такое положение на службе, чтобы я мог артачиться».

**10 февраля.** Русь, моя Русь погибает! Мы не смеем назвать ее имени, мы не смеем называть себя русскими! Наши герои словно проклятию преданы — попробуйте-ка в официальном месте упомянуть об Александре Невском или князе Пожарском, о Суворове или Кутузове! Я уже не говорю о героях последней войны. Русская старина, сохраненная нам нашими предками, отдается теперь на расхищение. У моей Руси скоро не останется старой потомственной интеллигенции — последняя пропадает в лагерях и глухих поселках! У нее отнимают религию — церкви и монастыри почти все закрыты, а теософские кружки и библиотеки разгромлены. Теперь гибнет старый патриархальный крестьянский класс, а с ним запустевают поля. Моя Русь погибает! О, зачем я не мужчина — я что-нибудь бы сделала: я с радостью пожертвовала бы жизнью, если б это могло спасти мою Родину! Я не могу молиться — я вся сухая, замкнутая и горькая, как рябина. Очень редко находит на меня восторженная волна и отогревает сердце — тогда я обращаюсь к Высшим с порывом, идущим от самого дна, — так было после встречи с ним в филармонии, но так бывает очень редко. Русь погибает... Прекрасный Лик — тот, который мерещится моему внутреннему зору, — туманит скорбь. Моя Русь... Я точно слышу ее стон. Мои мысли мне не дают покоя. «Река времени в своем теченье» все топит, видоизменяет, примиряет... Острота момента пройдет, новые формы понемногу отшлифуются, история даст свою оценку, а вот нам довелось биться в судорогах на рубеже эпох... Мучительный жребий!

**11 февраля.** Разговор состоялся, один из тех, ради которых стоит жить. Мы провели вдвоем целый

вечер — вот как это вышло: на мой звонок открыл он сам, накинув на плечи китель. Я тотчас напустилась: почему он не в постели и подходит к дверям? Выяснилось, что вся семья ушла в Капеллу слушать Нину Александровну, которая солирует в концерте. Я тотчас почувствовала лихорадочный трепет — если заговорить, то сегодня! И вот, окончив возню с банками, я, упаковывая их, рассказала о том, что было в поезде. У него заходили скулы на лице.

— Да, — сказал он, — сняли с мест, сдвинули нашу черноземную силу, нашу патриархальную Русь — те лучшие хозяйства и хутора, которые насаждал Столыпин, в которых Царское правительство думало найти опору. Насадить этот класс снова будет не так легко — оторванная от родных очагов молодежь не захочет возвращаться к земле. Пролетаризация крестьянства и перенаселение городов и так уже идут полным ходом, а насильственная коллективизация разорит деревню дотла. Правительство слишком неосторожно подтачивает благосостояние страны. Как бы не пришлось ему пожалеть об этом! То, что мы с вами любим, Елизавета Георгиевна, — русская здоровая крестьянская среда — с ней... покончено!

Мы помолчали, а потом он заговорил опять:

— Диктатура пролетариата! Здесь есть нечто омерзительное!

Пролетариат — наиболее испорченная и нездоровая часть населения, в которой моральные устои обычно раскочены, которая отрешилась от патриархального уклада, но еще не приобщилась к культуре. И вот этой как раз части населения дать хлебнуть власти, дать наибольшие права, натравить ее на другие классы, разнудать — это такой страшный опыт, который может навсегда погубить нацию. А тут еще азиаты, которых в таком изобилии вербуют в палачи и которыми наводнены органы гепеу. А тут еще евреи — эти маркитанты марксизма, которые ненавидят христианскую религию и русское дворянство... Россия больна смертельно, и неизвестно, излечится ли она когда-нибудь!

Он заметил, наверное, что мои глаза полны слез, и пожал мне руку, а я прошептала: неужели же ничего, совсем ничего нельзя сделать?

— Милая девушка, что? Должны пройти многие годы, пока вскрыется этот нарыв и созреют силы к борьбе. Но и тогда неизвестно, можно ли будет сделать что-нибудь без толчка извне. Поймите, что сейчас опереться не на кого, никакая конспирация немыслима: двум-трем человекам невозможно собираться так, чтобы это не стало тотчас известно. Не зря ведется эта преступная кампания по ликвидации собственных квартир и превращению их в коммунальные — ведь это так облегчает шпионаж! Советская власть не брезгует никакими методами — я убедился в этом еще в семнадцатом году. Вы слышали об июльском наступлении во время двоевластия? Знаете вы, почему оно «захлебнулось», как они выражаются? Я был одним из участников этих боев — я знаю! Временное правительство выкинуло лозунг «Война до победного конца», и мы могли победить! Была полная договоренность с Антантой, было подвезено неисчислимое количество боевых снарядов; неправда, что их не было: за годы Двинской обороны мы их собрали; и союзники нам помогли в этом; у нас были силы, а Германия уже изнемогала. Оставалось сделать так мало! Какие-нибудь два месяца напряженной борьбы, и мы бы погнали, как гнали при Суворове, а после гнали французов. Но этот большевистский лозунг «Долой войну» губил все! Они понимали, что если Россия победит, она выйдет окрепшей, а им надо было развалить, погубить ее! Ну что ж! Они это сделали: открыли фронт, призывая к братанию, — последствия известны! Я никогда не забуду июльское наступление: в то же время, как многие части уже ушли в атаку, другие части не двинулись — восстание, подстроенное большевистской агиткой! Худший вид предательства: своих товарищей по битвам, своих русских, которые уже ушли, уже бьются, предать своих! Я командовал тогда «ротой смерти»; мы прорвали проволочные заграждения противника и овладели целым рядом укрепленных пунктов, мы зашли очень далеко, и вот... мы одни! Мы вызываем подкрепления, чтобы двинуться дальше, мы посылаем связных — тишина! Никто не идет к нам на помощь, никого, никакого ответа! Не выходят даже санитарные отряды.

Мы преданы, брошены. Мы понять не можем, в чем дело! Я на своем участке имел такой успех, что не мог поверить приказанию отступить, когда оно, наконец, было получено, я затребовал письменное распоряжение Брусилова и до вечера удерживал позиции, пока ординарец генерала не доставил требуемый приказ. Немцы сто раз успели бы нас окружить и раздавить, но они оставались инертны, оглушенные нашим ударом. Елизавета Георгиевна, мы уходили назад по трупам наших товарищей, мимо проволочных заграждений, на которых бессильно повисли наши раненые, — и никто не пришел к ним на помощь! Наша отвага была поругана, осмеяна! Вскоре мы поравнялись с местом, где слег почти весь женский батальон; вид этих растерзанных женских тел был так ужасен и непривычен! Я в ужасе отворачивался, все ускорял шаг. Это походило на бегство! Я всего ожидал, но не этого, — я ожидал победы — большой, решающей, и она уже шла к нам в руки, она начиналась... Большевики сорвали ее! С того дня они мои смертельные враги! С тех пор пошло, и чем дальше, тем хуже. Советская пропаганда все больше и больше расшатывала дисциплину; такая мелочь, как отмена отдачи чести, окончательно ее подточила, участились неповиновение и расправы над офицерами, в нас уже переставали видеть начальников. Мысль, что мы теряем время, что мы даем немцам возможность собраться с силами и оправиться, меня изводила. Я пробовал на свой страх и риск делать разведки, иногда самые отчаянные: мы проникали иногда на несколько километров за линию фронта и никого не встречали, кроме русских, таких же добровольных разведчиков, как и я. Немцев не было, их укрепления пустовали! И вот в такое время большевики призывали к братанию и открывали фронт! Достижения такой войны сводились на нет! На этой мысли можно было с ума сойти! Скоро мне стало известно, что большевистские ячейки одной из распропагандированных рот приговорили меня к смерти за то будто бы, что я активно влияю на окружающих, побуждая их к продолжению войны, и олицетворяю будто бы собой доблесть царского офицера. Да, да, Елизавета Георгиевна, уже тогда приговорили: состоялся заговор; несколько преданных мне солдат меня предупредили. Я не очень поверил этому сначала и однажды чуть было не попался по неосторожности в их руки: я сам вошел в их логовище — блиндаж, где собрались солдаты этой роты; двое из них быстро загородили мне выход, я это заметил; я тотчас встал в угол и выхватил шашку и револьвер. Они переглядывались, но медлили: они знали, что я недешево продам свою жизнь и первый, кто осмелится подойти, — упадет мертвым. Гнусность не содействует храбрости! Тем временем денщик мой поспешил мне на выручку с несколькими верными солдатами. В этот же день меня вызвали к генералу: он сказал, что уже приготовил приказ отчислить меня в отпуск, и прибавил: «Уезжайте как можно скорее: мне совершенно точно известно, что вы приговорены Советами. Представляете ли вы себе, как легко убить офицера? Ночью ли во время объезда, или у передовой цепи... На шальную немецкую пулю можно свалить все! Я говорю по-отечески, желая спасти вам жизнь. Сделать вам здесь все равно ничего не дадут: теперь не нужны такие офицеры, как вы! На днях, вероятно, начнется демобилизация в массовом порядке». И он протянул мне руку... Теперь не нужны такие офицеры, как я! Хотел бы я знать, какие нужны?

Олег остановился и прибавил более спокойно:

— Это было за месяц до захвата Зимнего.

Я хотела расспросить еще о многом, но вернулась француженка: она с обычной живостью стала рассказывать, что Нина Александровна имела огромный успех, и ей была преподнесена чудесная корзина цветов. Ася и Наталья Павловна пошли с концерта к ней. Наш разговор был окончен! Когда я уходила, у него оказалось 38° с десятыми — очевидно, он слишком волновался. Это моя вина, но я не хочу, чтобы минувшее покрывалось пеплом, не хочу!

**13 февраля.** «Теперь не нужны такие офицеры, как я!» Эта фраза как невидимым ключом раскрыла мне сердце, и я опять молилась вот с тем порывом, о котором писала на днях: молилась за Россию, а потом за него — чтоб черная месть не коснулась его и он стал бы Пожарским наших дней! После таких молитв странно идти на работу и принимать участие в ежедневном распорядке... Я живу двойной жизнью.



**14 февраля.** Была опять у них с банками и попала в переполох — прибежала неизвестная мне Агаша (по типу прежняя прислуга) и стала взволнованно повторять: «Молодого барина гонят в Караганду, а барыне Татьяне Ивановне плохо с сердцем, и не придумаю, что теперь у нас будет!» Все очень взволновались: Ася стояла бледная, как полотно; Наталья Павловна подошла к ней и, целуя ее в лоб, сказала:

— Не волнуйся, крошка. Сколько мне известно, Валентин Платонович ожидал этого со дня на день. Я сейчас же иду к Татьяне Ивановне.

В эту минуту из спальни вышел Олег и прямо направился в переднюю. «Я пройду с Натальей Павловной к Валентину», — сказал он, беря фуражку. Мы все стали его уговаривать, объясняя, как рискованно выходить с т°, да еще после банок; Ася повисла на его шее; он мягко, но настойчиво отстранил ее и сказал: «Не трать зря слов — Валентин мой товарищ», — и вышел все-таки. Ася, всхлипывая, повторяла: «Как жаль Татьяну Ивановну — у нее два сына погибли, один Валентин Платонович остался. Как жаль!» Я спросила, с кем останется эта дама. «С ней Агаша — прежняя няня — и две внучки этой Агаши», — сказала Ася, а мадам прибавила «Madam Frolovsky a une bon cueur mais ces deux fillettes, dont elle a ilevee et mignardee, sont impertinentes et ignoles»<sup>[64]</sup>. Она попросила меня остаться с ними и выпить чаю, чтобы помочь ей развлечь Асю, и несколько раз повторяла, успокаивая ее: «Allons, ma petite! Courage!»<sup>[65]</sup>. Мы сидели за чаем втроем, и над всем была разлита тревога. Мадам вытащила старую детскую игру «тише едешь — дальше будешь» и засадила нас играть; она с азартом бросала кости и при неудачах восклицала: «Sainte Genevieve! Sainte Catherine! Ayez pitie' de moi!»<sup>[66]</sup>. В конце концов, ей все-таки удалось рассмешить Асю. Я так и ушла, не дождавшись ни Натальи Петровны, ни Олега. Уже в передней, прощаясь со мной, Ася очень мягко сказала мне:

— Знаете ли, я никогда не говорю с Олегом про военные годы: это для него как острие ножа!

Просьба самая деликатная, и я поняла, что он передал ей наш разговор. В этом пункте, однако, я не намерена следовать ее предначертаниям, хотя голосок и был очень трогателен. Стоя в передней, она зябко куталась в шарфик, накинутый поверх худеньких плеч, несмотря на это, я все-таки заметила изменения в ее фигурке. Мне было жаль, что она так расстроена и печальна, и вместе с тем я с новой силой почувствовала, что, касаясь ее, все становится редким и дорогим украшением: даже беременность, через которую проходит каждая баба. Она талантлива, она хороша и обожаема, она под угрозой, и теперь эта ворвавшаяся так рано в ее жизнь мужская страсть, и будущее материнство, и мученический венок, который уже плетется где-то для нее, — все проливает на нее трогательный и прекрасный отблеск! Наверное, поэтому я неожиданно для себя опять чувствую себя под ее обаянием. Очевидно, я не из тех женщин, которые желают извести соперницу, а уж я, кажется, умею ненавидеть!

## Глава двенадцатая

Старый дворник Егор Власович, выходя из своей комнаты с очками на носу, часто говаривал, что на их кухне осуществляется древнее пророчество, начертанное в Библии и гласившее, что придет время, когда за грехи людей около одного очага окажутся несколько хозяек. И в самом деле: 5 столов и 5 мусорных ведер выстроились в этой кухне, представляя собой 5 хозяйственных единиц. Среди них стол бывшей княгини выделялся обычно множеством немытой посуды, в то время как столы Аннушки, Надежды Спиридоновны и Катюши, казалось, соперничали до блеска чистыми клеенками. Стол Вячеслава отличался странной пустотой — на нем красовался только примус. Но каким бы видом ни отличались столы, в целом о чистоте этой кухни, предугаданной пророком, заботилась одна лишь Аннушка. В это утро она только что кончила мыть пол и разложила чистые половики, как, словно нарочно, начались звонки и хождения. Сначала сажеными шагами проследовал в свою конуру Вячеслав, за ним проскочил Мика с ранцем; а потом — Катюша, сопровождаемая вихрастым парнем. Тут уж Аннушка не выдержала и наорала на обоих: заследили весь пол! Затем пришла какая-то школьница и спросила Мику. Аннушка критически окинула ее взглядом: лет шестнадцать, пальто потертое, и она из него давно выросла, плюшевый берет подлысел, озябшие покрасневшие руки без перчаток вцепились в потрепанный и старый, но кожаный портфельчик; в лице и во взгляде сейчас видно что-то «господское» (хотя вернее было бы сказать — просто интеллигентное). Увидев в кухне сырой пол, девочка поспешила сказать:

— Я не наслежу, вы не беспокойтесь! Я сниму башмаки и пройду в одних чулках. — Она как бы заранее извинялась, и этим обескуражила Аннушку.

Когда она вышла, держа в руках туфли, дворник сказал:

— Никак к нашему Мике барышни начинают бегать?

Но пронизательная Аннушка с сомнением покачала головой:

— Такая не за глупостями: сразу видать — умница! Поди, дело какое-нибудь.

Дело было важнее, чем могла думать Аннушка. Мэри поведала Мике, что Петя каждое утро уходит будто бы в школу, но в школе не бывает. По вечерам он не готовит уроков, а когда на днях утром Мэри мыла пол, то нашла его ранец за кофром.

— Я завтра же уговорю его, Мэри, рассказать тебе все. Ничего плохого он не делает. Он поступил работать. Двадцатого он принесет тебе первую получку, — признался, наконец, после долгих уговоров Мика.

— Мика, его надо уговорить вернуться в школу. Лучше мы будем есть один только хлеб. Я очень горячая, и боюсь, что поссорюсь с ним, если начну говорить сама. Уговори его, а теперь я пойду. — И Мэри встала.

— Подожди, позавтракаем вместе: мне вот тут оставлены две котлеты и брюква. Ничего ведь, что с одной тарелки? Вот это тебе, а это мне, а здесь вот пройдет демаркационная линия.

Взялись за вилки. Глаза Мэри остановились на исписанных листках, поэтически разбросанных на Микином столе.

— Что это у тебя? Стихи новые?

— Да, комические. Хочешь, прочту наброски? Называется «Юноша и родословная»:

Пра-пра-прадедушки, вы эполетами  
Вовсе нас сгоните с белого свету!

Пра-пра-прабабушки, вы в шелках кутались,  
Чтобы пра-правнуки ваши запутались!  
Папы и дяди, вы за биографию  
Нелестной давно снабжены эпитафией!  
Кузены и братья  
Властью советской  
Житие волокут  
В монастыре Соловецком.  
Нахмутив свой лоб, теперь я, словно Гамлет,  
Жду, что фортуна мне нынче проямлит:  
Быть ли мне в вузе или не быть  
И как мне вернее праотцев скрыть?!

— А вот тут у меня почему-то затерло.

— Очень хорошо, Мика, остроумно. Ты талантливый, а я вот ничем особенно не одарена, хотя ко всему способная. Но посредственностью я не стану — у меня есть идея, которая меня поведет. Это очень много значит. Моя мама... она все-таки удивительная... Она никогда не навязывала нам своей веры, не читала нам богословских лекций, не принуждала ни к посту, ни к молитве. В десять лет я бывала часто строптивой, я кричала: «Не хочу» или «Не буду». Папа возмущался и говорил: «Знай, что в воскресенье ты не пойдешь в театр» или «Садись за свои тетради и десять раз перепиши ту французскую диктовку, в которой у тебя были ошибки». Но мама чаще беседовала со мной вечером, благословляя на сон. Она с грустью произносила: «Сегодня ты опять забыла про свою бессмертную душу. А я за тебя в ответе перед Богом, пока ты маленькая. Мне это грустно и сегодня я буду за тебя молиться ночью». А то так — сядем мы все за обеденный стол; начинается обычное: «Мэри, поставь солонку, Петя, завяжи салфетку». Папа скажет: «А! Щи со свининой! Это славно!» Петя заплodирует. А я загляну в тарелку к маме — у нее постный овощной суп, и она съедает его для всех незаметно. Несколько раз я заставала ее молящейся, а когда уводили папу, она сказала: «Господь с тобой! Здесь или уже там, но мы с тобой еще встретимся».

Когда покончили с завтраком — вышли в коридор и столкнулись с Катюшей, которая уже проводила двадцатиминутного визитера. «Elle est de nouveau perdu!»<sup>[67]</sup> — патетически восклицала в таких случаях Нина. Заинтересованная визитом Мэри, Катюша вертелась теперь в коридоре. Мэри остановилась было, но Мика неожиданно быстро перехватил руку Мэри и оттащил девочку в сторону:

— Вовсе не к чему тебе с такой знакомиться!

— Да почему же? — проговорила в изумлении Мэри.

— Не понимаешь, так и понимать незачем. Дай мне руку, не то споткнешься — в коридоре темно, у нас свет экономят, видишь ли! Шпионаж друг за другом учинили. Наш рабфаковец обещал мне намылить голову, если я не буду за собой тушить. Пусть попробует! Еще посмотрим, кто кому намылит. Ну, вот и выбрались! Завтра я к тебе приду. До свидания.

Аннушка, дворник и Катюша с любопытством наблюдали их.

На другой день Мэри пожаловалась на прокурора, который не пожелал с ней говорить о маме, и на тетку, которая уже совсем бесцеремонно объявила: «Выслушивать тебя мне некогда. Завтра у меня званый обед по случаю моего рождения, приходи — угощу; только, пожалуйста, без Пети: у него последний раз были совсем грязные руки, к тому же у него безобразная манера управляться с ножом и вилкой — мне будет за него совестно».

— Мне так обидно стало, Мика! Я ответила, что лучше не приду вовсе, но я была совсем без денег, мне все-таки пришлось попросить их, и тогда тетя сказала: «Я знала, что это теперь начнется!» Тут у меня

что-то подкатило к горлу: «Мама, конечно, не говорила так, когда вы жили у нас на средства моего папы!» — воскликнула я и пулей вылетела на лестницу. Я слышала, как тетя крикнула: «Грубьянка!» — и захлопнула за мной дверь.

Мика сжал кулаки.

— Жаб, дрянь — ваша тетка! Не лучше нашей Спиридоновны! У вас горе, а она со своим старорежимным этикетом — вилку не так держит!.. Какая чепуха!

— Нет, Мика, это не чепуха, но, видишь ли, Петя не хулиган — ему достаточно деликатно напомнить: за столом следи за тем, как держишь вилку. А тетя говорит так, как если бы Петя был захудалый родственник, дрянцо, которое стыдно показать. При папе она никогда не посмела бы так говорить. При первой же неудаче вокруг человека меняется все! Папа мой хорошо знал латынь, он часто повторял одну цитату; я ее запомнила: «*Donec eris felix, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nabila, solus eris*». Знаешь, что это значит? — И она перевела своими словами латинский текст: — Пока все благополучно — и друзей много. Ушло благополучие — и нет никого вокруг.

— Мэри, это неправда! Не смей так думать! Вот ты увидишь мою верность вам обоим, увидишь!

Работу Петя подыскал себе не самую легкую — сподручным по прокладке газовых труб, все время с рабочими на воздухе. Все бы ничего, если б не носить тяжести и не мерзнуть.

В одно утро Мэри открыла Мике дверь с заплаканными глазами.

— Что ты! Что с тобой?

— С Петей опять воюю. Я говорила, что он простудится в этой куртке, — так и вышло: вчера он ушел совсем больным, а сегодня у него уже тридцать девять! Вот что наделала эта работа!

Мика вошел в знакомую комнату, еще недавно такую уютную. Как изменился постепенно весь ее вид!.. На столе уже не было скатерти, в вазе — цветов, перед божницей не теплилась лампада, миниатюрные фотографии были покрыты слоем пыли — комнате, как и детям, не хватало заботливой руки. Петя лежал одетый на постели матери, кутаясь в плед.

— Оставьте меня в покое! Я хочу только маму! Эта лампа невыносимо режет мне глаза; мамочка давно бы догадалась закрыть ее чем-нибудь. Отстань, Мика, я не буду есть. Мне ничего не нужно. Я хочу, чтоб вернулась мама!

— Петя, ты говоришь, как маленький! Я тоже этого хочу, но если это невозможно?

— Если это невозможно, тогда мне никого и ничего не надо — не приставай ко мне, пожалуйста!

— А ты не смей так со мной разговаривать, гадкий мальчишка! Мне не лучше, чем тебе, — воскликнула, всхлипывая, Мэри. — Вот он весь день так! Что мне с ним делать? — И она нерешительно прибавила: — Может быть, все-таки дать знать тете?

Петя тотчас сел на постели:

— Я запущу в нее вот этим канделябром, если она только подойдет ко мне. Замолчите, пожалуйста! От вашей трескотни мне стучит в голову! Мамочка двигалась бы неслышно, а вы стучите и скрипите сапогами, словно гвозди в голову заколачиваете.

Мика и Мэри растерянно переглядывались.

— Помоги мне, Мика, перевезти на салазках в магазин старой книги папиного Брокгауза: мы с Петей на ночном совете решили его продать, — отозвалась шепотом Мэри, — нам надо отдать долг тете. Надеюсь, папа не рассердится на нас за эти книги.

— Деньги ей пошли по почте, сама не ходи! — крикнул неугомонный Петя. — Пусть она поймет, что мы не хотим ее видеть.

На следующий день Нина просила Мику съездить в Лугу, отправить оттуда посылку Сергею Петровичу. Олег, который обещал ей сделать это, лежал с плевритом. Дошло уже до того, что продуктовые посылки, которые в огромном количестве устремлялись из Ленинграда в голодающую провинцию, отправлять разрешалось лишь из мест, расположенных не ближе, чем за сто верст от крупных центров. На это дело ушел весь день, уроки пришлось делать поздно вечером. На следующий день прямо из школы он помчался к друзьям.

Мэри встретила его известием, что Петя бредит, ночью он все время звал маму, а теперь решает алгебраические задачи, толкует про бином Ньютона.

Мика подошел к товарищу:

— Старик, ну как ты? Давай лапу! Копытный табун шлет привет. Вот, бери яблоко. Петька, да ты слышишь меня? Ну, что с тобой? Ты меня разве не узнаешь?

Мэри всхлипнула:

— Был доктор, я бегала вчера за тем старичком, который лечил нас, когда мы были маленькими. Воспаление легких. Вот здесь записан телефон больницы, куда он велел звонить, чтобы приехали за Петей. Но мама всегда была против больниц. Когда я болела воспалением легких, она поила меня теплым молоком; я купила вчера Пете молока на последний рубль, а он толкнул меня и все пролил.

Мика все же уговорил Мэри позвонить.

Через час «скорая помощь» увезла мальчика. На следующий день в справочном бюро больницы Мика и Мэри прочитали: «Состояние тяжелое, t 40° с десятичными. Без сознания. Ночью ожидается кризис».

Слово «кризис» было знакомо по литературным романам и показалось страшным.

На другой день, тотчас после школы, Мика помчался в больницу. Пересекая бегом больничным двор, он увидел около решетки больничного сада знакомую фигурку в куцем пальто и плюшевом берете; она стояла, припав головой к решетке, в черной косе не было обычной ленты.

— Что? Мэри, говори, что?

Девочка взглянула на него полными слез глазами и снова спрятала лицо в воротник.

— Мэри, говори же!

— Мне сказали... сказали... мой Петя умер.

Мика похолодел. Пети нет? А как же дружба? А клятвы друг другу все делать вместе?

— Я знала, что ты его по-настоящему любил! Не плачь, Мика! Милый!

— Я не плачу! — поспешно сказал он и быстро провел рукой по глазам.

Головка в берете припала к его плечу.

— Мика, я видела его. Меня провели в покойницу: он совсем холодный и лицо неподвижное. Я взяла его руку — она ледяная. А я-то еще сердилась на него, когда он меня отталкивал, а ведь он не понимал — он бредил. Почему я всегда такая злая! Сколько раз мама говорила мне, что каждое злое слово будет потом стоять укором. Как я теперь пойду домой, когда там никого нет? Куда мне деваться?

Тут только почувствовал он силу ее горя, которое было не меньше его собственного. Он взял ее под руку, чего до сих пор никогда не делал.

— Пойдем. Надо тебе успокоиться. Я провожу тебя.

— Мика, что я скажу маме, когда она вернется? Она войдет в комнату и спросит: где Петя? Что же я скажу? А папа? Он так любил его! Знаешь, когда Пете было семь лет, он смотрел раз, как папа играет в шахматы с приятелем, и вдруг сказал: «А ты, папа, сжульничал». Взрослые засмеялись, а наш Петя в одну минуту восстановил на доске положение, при котором была допущена ошибка, и доказал, что папа сделал неправильный ход конем. Помню, в каком восторге был папа! Он посадил Петю на плечо и повторял: будущий Чигорин! А как папа гордился его математическими способностями! Что же будет теперь с папой?

Митя вдруг вспомнил о загробной жизни. Ведь это утешает. Почему об этом не подумалось сразу? Он хотел сказать о своих мыслях Мэри, но почему-то впервые не мог так свободно говорить о христианских истинах. Они словно бы стали тяжелее, весомее и истиннее, а всякое слово казалось банальным. Медленно, почти молча прошли они рука об руку на Конную улицу сообщить известие и договориться, чтобы Братский хор спел заупокойную обедню, а потом пришли к ней, в пустую нетопленную комнату. Мике совестно было признаться, что он проголодался, но девочка сама сказала:

— Я поставлю чайник; надо немного подкрепиться, а то сил не будет: скоро восемь, а я с утра ничего не ела.

Мика вытащил из своего ранца бутерброды. Мэри с чайником в руке заглянула в коридор с порога комнаты и потом обернулась на него.

— Знаешь ли, у меня появился враг, — сказала она шепотом.

— Как враг? Кто такой?

— Рыжий слесарь, который занял по ордеру папин кабинет год назад. Раньше он никакого внимания на нас не обращал, а теперь, если только встретит меня в коридоре, обязательно дернет за косу или толкнет, один раз ущипнул очень больно. А вчера, когда я мыла руки в ванной, он подкрался и пригнул мне голову к крану, так, что у меня вся коса промокла.

— Вот нахал! Ты бы его одернула поостроже.

— Я пробовала. Он только хохочет, да и хохочет-то не по-человечески, а словно ржет. На него слова совсем не действуют. Я теперь боюсь с ним встречаться.

Мика озадаченно смотрел на девочку.

— Пойдем вместе. Пусть он только попробует при мне, — сказал он очень воинственно.

Но рыжий парень не появился.

Через час, прощаясь с Мэри, Мика увидел, что губы ее дрожат, а глаза полны слез.

— Как мне грустно и жутко оставаться совсем одной! — прошептала она, вздрагивая.

И внезапно совсем новая, острая, как нож, мысль прорезала сознание Мики, когда он услышал это слово «одной».

— Твоя дверь запирается? — спросил он.

— Мы вешаем замок когда уходим. Ты же много раз его видел.

— Нет, я не об этом. Можешь ли ты запереться изнутри?

— Нет. Вот был крючок, но он давно сломан.

— А кто еще у вас в квартире, кроме тебя и слесаря?

— Злючка-старуха, но она по ночам постоянно дежурит в магазине: она — сторож. Ее дверь сейчас на

замке.

— Я завтра же прибью задвижку к твоей двери, — пообещал Мика, — как жаль, что мы не подумали об этом раньше, а сейчас все магазины уже закрыты, — и, сам удивляясь, что приходится касаться вещей, которые оставались до сих пор совсем в отдалении, словно по другую сторону жизни, он прибавил: — Мэри... видишь ли... я думаю, что тебе следует очень остерегаться этого парня.

Она вспыхнула.

— Если бы он хотел романа со мной, он бы лез обниматься, а он всякий раз только больно мне делает.

— А это, по всей вероятности, особая грубая манера.

Она помолчала, по-видимому, что-то поняла.

— За меня заступиться некому.

Опять он почувствовал что-то совсем новое — очень большую и вместе с тем чисто мужскую жалость к ее слабости и беззащитности.

— Мэри, ну, хочешь, я останусь с тобой на эту ночь? Я ведь при твоей маме часто оставался. Я — на кофре у дверей, раздеваться не буду. Хочешь?

— Мика, милый! Спасибо. Конечно, хочу! Можно на Петинной постели, а не на кофре. Мы заведем будильник, чтобы ты не опоздал в школу. Какой ты благородный, Мика!

Вскоре после того, как они потушили свет, Мика услышал тихие крадущиеся шаги в смежной передней; он знал, что выключатель расположен у самой двери, и, выскочив из комнаты, тотчас включил свет; перед ним стоял высокий рыжий парень, лет на пять старше Мики.

— Вы, гражданин, что здесь делаете? — сурово спросил Мика.

Парень с минуту потаращил на него глаза, а затем ответил:

— А калоши свои ищущу: побоялся, чтоб не затерялись.

— Странно, что вам среди ночи калоши вдруг понадобились! — самым воинственным тоном продолжал Мика.

— Извиняюсь, товарищ! У меня и в мыслях не было... Человек я самый мирный. Откуда мне было знать, что место уже, вишь, занято, — и парень ретировался в коридор.

— Что там такое? — крикнула Мэри из-за буфета.

— Ничего. Спи. — и Мика улегся снова.

Через два дня хоронили Петю.

Анастасия Филипповна сначала проявила самое горячее участие, она задумала организовать проводы на кладбище всем классом, выделила несколько мальчиков для произнесения надгробного слова, привлекла к этому учителя математики и, произвела денежный сбор на венок; но когда она узнала, что гроб перенесен вместо актового зала школы в церковь и уже назначено церковное отпевание, она отменила всякое участие в похоронах. Некоторые мальчики пришли в одиночку по собственной инициативе. Но Братский хор собрался в полном составе, и юноши на руках перенесли гроб от церкви к могиле.

Когда после похорон Мика прощался с Мэри, она уже овладела собой и сказала почти спокойно:

— Я теперь буду жить на Конной. Сестра Мария вернулась из больницы и прислала мне записку, что

возьмет меня в свою комнату, пока не вернется мама. Навещай меня, Мика. Я только теперь поняла, чем я тебе обязана. Не знаю, что было бы со мной в эти дни без тебя!

Эти слова связались в его воображении с нежным запахом нарцисса, который он вынул на память из гроба Пети.



## Глава тринадцатая

Нине начал сниться ребенок, девочка, — будто бы пеленает, убаюкивает колыбельной, будто бы держит на коленях, и на обеих — и на ней, и на дочке — надеты большие голубые банты, как на английской открытке, которой она недавно любовалась. Вслед за этим она увидела дочку у себя в постели: ручки были в перетяжках, а головка чудно пахла свежей малиной, как пахло, бывало, темечко ее новорожденного сына. Она вдыхала во сне милый, знакомый, младенческий запах; потом, любовным материнским жестом обмотав стерильной марлей палец, она сунула его в рот ребенку и нащупала первый зубок; теплая радость толкнулась ей в сердце, и этот именно толчок разбудил ее — она проснулась, чтобы увидеть в своей кровати пустоту! И горько задумалась. Уже конец марта. Остались бы только три месяца, а она все разрушила!

Ей уже давно стало ясно, что никакой исключительной любви этот человек не питал к ней. В новом романе не было ни заботы, ни общих интересов; музыкальность в этом человеке оказалась самая рядовая, незначительная. Он был вдовец и, имея взрослого, уже женатого сына, с которым жил в одной квартире, прилагал все возможные усилия к тому, чтобы сохранить эту связь в тайне. Нина, разумеется, хотела того же для себя, но его заботы по этому поводу ее оскорбляли. Встречаться им было негде; редкость и краткость этих встреч придавала им особый характер, и в этом Нине чудилось тоже нечто оскорбительное. Она не могла отделаться от мысли, что, обманывая мужа, ведет себя, как недостойная жена, и это отравляло ей страстные минуты.

В отдельные минуты в ней выростало желание повиниться перед мужем, чтобы иметь возможность при встрече смотреть ему в глаза. Но она убеждала себя, что это — опасный шаг; к тому же не следует наносить душевной раны человеку, и без того достаточно несчастному, довольно, если она разорвет и сама даст себе слово, что более не повторит ошибки. Так будет вернее!

Сны о ребенке окончательно лишили ее душевного равновесия. Она решила порвать с любовником, поехать летом к Сергею и таким образом выпутаться из этой паутины.

Решение оказалось твердо. Они должны были в этот день встретиться в кафе Квисисана; желая во что бы то ни стало избежать личного объяснения, которое, могло бы ее поколебать, она заранее приготовила письмо и придумала отдать его при прощании, ничем не подчеркивая его значимости:

«Сегодня мы виделись в последний раз. Я пошла на связь с вами, так как чувствовала себя слишком одинокой и покинутой. Я хотела забыться. Теперь вижу, что сознание вины перед мужем сделало меня еще несчастнее. Не оправдывайтесь, потому что я ни в чем не виню вас, а только себя. Не отвечайте мне, не вспоминайте меня. Пусть будет так, как будто никогда ничего не было. Желаю вам счастья. Нина Бологовская».

В кухне Нину ждал новый сюрприз — наливая ей в тарелку щедрой рукой борщ, Аннушка проворчала:

— Непутевая! Попался тебе хороший человек, так и сиди тихо. Не к лицу тебе глупости затевать. С Маринки своей, что ли, пример берешь? Берегись — у свекрови твоей, поди, глаз вострый.

Можно было, пожалуй, и оборвать старуху, сказать: не ваше дело! или: не вам меня учить! Но Нине тотчас припомнилась постоянная материнская заботливость этой женщины, знавшей ее ребенком, и она промолчала, несколько растерянная. Через минуту руки ее, ставя на стол уже пустую тарелку, вдруг сами потянулись к старухе и обняли ее, а потом и щека как-то сама собой прижалась к другой, морщинистой, щеке.

— Не беспокойтесь, Аннушка! Глупостей никаких не будет! — Но в шепоте этом было что-то

виноватое.

— Не будет, так и ладно. А губы зачем красишь? Выпачкала, поди меня. При барине старом ни в жисть этого не водилось.

— Теперь это модно, Аннушка. Я к тому же артистка. Ведь кормить-то меня и Мику все-таки некому.

При встрече в кафе она держала себя с обычным своим великосветским тактом — жена цезаря, которая выше подозрений! Сказала, что назначенная на вечер встреча срывается из-за непредвиденного концерта, и, уже выпархивая из такси, сунула в окно машины письмо, а сама скорей вбежала в подъезд... Свершилось! Взволнованно бегая взад и вперед по комнате, она воображала себе, как он читает строчку за строчкой... Щеки ее горели. Вечером, припав к груди Натальи Павловны, точно маленькая послушная девочка, она робко спросила, есть ли возможность устроить ее поездку в Сибирь на очередной отпуск.

— Я думаю об этом же, Ниночка. У меня уже мало ценных вещей, но я лучше откажу в чем-нибудь себе и Асе и устрою вам эту поездку.

Очевидно, был приговорен столик с инкрустацией или бронзовая лань, а может быть, кулон с рубином. Ася до сих пор, еще на правах девушки, носила бирюзу, и остатки бабушкиных драгоценностей, покоившихся в бархатных футлярах, не тревожили ее воображение.

Нина стала всерьез готовиться к поездке. Теперь она уже знала, что расскажет Сергею все, что произошло с ней, и пусть он или простит, или... Нет, нет, он обязательно простит! Милый, милый Сергей!

Однажды вечером, когда Нина вернулась из Капеллы, Аннушка вручила ей письмо. От Сергея! Он почувствовал! Но вскрыв конверт, Нина увидела незнакомый почерк.

«Глубокоуважаемая и прекрасная Нина Александровна!»

Она остановилась. Что за изысканное обращение? Кто это пишет так? И, перевернув страницу, взглянула на подпись: «Ваш покорный слуга Яков Семенович Горфункель». А! Это тот чудак-антропософ — еврей из Клюквенки! Уж не заболел ли Сергей? «Глубокоуважаемая и прекрасная Нина Александровна! Не сочтите дерзостью, что я взял на себя обязанность написать вам. Оно не печально — то событие, о котором я пишу, — я бы хотел, чтобы вы могли постичь всю его радостную сторону: ваш муж — этот благороднейший, умнейший, талантливейший человек — жив, светел и радостен, но продолжает свой путь уже под особой защитой, окруженный особой помощью. Высшие Силы сочли нужным охранить его от всяких неосторожных, грубых прикосновений и оградить от земной суеты: чтобы он мог безболезненно восходить к Свету, где выправятся и расцветут когда-нибудь и наши скорбные, смятые жизнью души и где когда-нибудь встретитесь с ним лицом к лицу».

Нина опустила руку с письмом. Что такое? Нет! Не может быть!

Стала читать дальше.

«Я знаю, чувствую, вижу, какую болью наполнилось сейчас ваше сердце, глубокоуважаемая Нина Александровна, я чувствую сейчас за вас. Если бы и вы могли посмотреть на случившееся моими глазами! Что такое смерть перед вечностью?»

— Ах! — отчаянно вскрикнула Нина и выронила письмо.

Аннушка повернулась к ней.

— Господь с тобой, матушка Нина Александровна, чего это ты?

— Аннушка, Аннушка! — воскликнула Нина, хватаясь за голову.

— Матерь Пресвятая! Да что ж это случилось? — и, вытирая о подол руки, Аннушка подошла к Нине, но

та, схватившись руками за раму окна, припала к ней головой, повторяя:

— Боже, Боже, Боже!

В эту минуту на пороге входной двери показался Мика.

— Что с Ниной? — испуганно воскликнул он.

— Да вот, видишь ты, только взялась за письмо, да начавши читать, как вскрикнет, да как застонет, — озабоченно зашептала Аннушка.

Нина и в самом деле стонала — не кричала, не плакала, а стонала, по-прежнему прижав к раме окна. С полным сознанием своего неоспоримого права Мика бросился к письму и схватил его. «Глубокоуважаемая и прекрасная!» — так вот как пишут его сестре — не все, стало быть, смотрят на нее, как он, — сверху вниз! Прочитав до того места, где Нина выронила письмо, он тоже оставил его.

— Нина, Нина, успокойся! Нина, дорогая! — воскликнул он, бросаясь к сестре и обнимая ее. — Аннушка, помогите, успокойте! Несчастье с Сергеем Петровичем!

На пороге показалась привлеченная их голосами Катюша.

— Нина, пойдем в комнаты. Встань, Ниночка! Посмотри на меня, перестань! — и вдруг со страшным раздражением он накинулся на Катюшу: — Ты что стоишь и смотришь? Любопытно стало? Да что же ты можешь понять в горе благородной женщины? Нечего тебе и делать здесь, около моей сестры!

Катюша, не ожидавшая такого смерча, быстро юркнула к себе. Аннушка и Мика, оторвав Нину от окна, повели ее в комнату, где уложили на диване. Мика вернулся в кухню, чтобы собрать и дочитать страницы. Что-то особенное показалось ему в каждой строчке — светлая уверенность в чудесной потусторонней жизни.

Когда Мика вновь подошел к Нине, она уже сидела на диване.

— Смерть... да — смерть! Что же могло случиться? — говорила Нина. — Ведь он был здоров. Да где же это мы живем?

Мика бросился к телефону, но Нина внезапно, словно тень, появилась около него и схватила за руку.

— Кому ты звонишь? Бога ради, не Бологовским! Там старуха с больным сердцем и молодая в ожидании. Им нельзя так вдруг сообщать такие вещи!

— Я хотел только вызвать Марину Сергеевну!

— Марину? Да, да! Позови Марину. И Олега позови — позвони ему на службу, только, Бога ради, не на дом.

Когда через полчаса Марина подбежала к дивану, на котором металась Нина, та села и, не обращая внимания на присутствие Аннушки, стала восклицать:

— Вот наказание! Вот расплата! За измену, за аборт, за безверие! Получила возмездие! Он не успел получить моего письма! Слишком поздно! Какое страшное слово «поздно»!

Марина обнимала ее, стараясь успокоить, повторяя, что во время своей поездки она уже достаточно доказала свою любовь. Письмо Якова Семеновича дочитали. Последовательность событий выяснилась во всей своей безотрадности: во время одного из очередных походов в тайгу ни Сергей Петрович, ни его напарник-уголовник не вернулись на место сбора. Ссылные были уверены, что они заблудились, начальство заподозрило побег. После долгих упорных поисков, уже на другой день, с собаками, нашли только тело Сергея Петровича, уголовного не нашли вовсе. Яков Семенович был уверен, что это убийство — младший комендант еще с той сцены в лесу (когда был убит Родион) затаил злобу против Сергея

Петровича, последнее время он гонял его в тайгу с каждой партией и назначил ему в напарники убийцу-рецидивиста. У мертвого оказалась так разбита голова, что лица узнать почти невозможно, но это был Сергей Петрович. Врач уверял, что так свернуть на сторону весь череп мог или медведь, или богатырский удар камнем. В следующую ночь тело увезли неизвестно куда. На третью ночь ссыльные, собравшись в мазанке на окраине, отпели «Со святыми упокой» и «Вечную память», почти все плакали.

Марина читала это письмо вслух и сама все время вытирала слезы. Мика, слушавший из угла, в который забился, видимо, тоже был потрясен. Едва они успели закончить, как в комнату быстро вошел Олег, явившийся прямо из порта.

Узнав о трагедии, он задумался — нельзя, чтобы Наталье Павловне и Асе стало известно о гибели Сергея Петровича, покуда у Аси не родится ребенок и она не оправится от родов. Все согласились, что это разумно.

Между ними составилась уговор написать от лица Сергея Петровича два или три письма, в которых он сообщит, будто бы повредил себе руку и диктует это письмо соседке; так письма, естественно, будут короче и более общего характера. Олег и Нина составят вместе несколько таких писем; дату можно всегда поставить недели на две назад и опустить письмо за городом, доверчивые души не станут разглядывать почтовых штемпелей; сложнее будет, если они опять примутся собирать посылку, но и тут выход из положения найти нетрудно:

— Отправлять посылку придется, конечно, мне, — сказал Олег. — Не Асе же тащиться за город с тяжелым ящиком. Я принесу ее вам, Нина, и просижу у вас день — вот и все.

Тут же составили первое письмо, которое Марина вызвалась переписать, чтобы почерк не показался знакомым. Она обещала точно так же переписывать и последующие письма.

Через несколько дней Нина собралась с духом и пошла к Наталье Павловне. Когда Наталья Павловна стала читать вслух полученное письмо, атмосфера слишком накалилась.

— Досадно, что он не сообщил подробностей: чем повредил себе руку и в каком именно месте, — говорила Наталья Павловна, — я боюсь, чтобы это не помешало ему играть на скрипке, особенно если повреждено сухожилие. Как вы думаете, Ниночка?

Нина крепилась из последних сил и все-таки расплакалась.

— Это нервы! Я очень истосковалась... Не дождусь, когда поеду... — шептала она...

— Кажется, не выдержу! — сказала Нина Олегу, когда он вышел ее проводить. — Хорошо, что через две недели Капелла уезжает в турне на Поволжье. Вчера это выяснилось. К тому времени, когда мы вернемся, Ася уже будет матерью, и вы должны обещать мне, что сообщите обоим все без меня...

И потом, прощаясь с ним около своего подъезда, она сказала:

— Мы — друзья, не правда ли? Мы с вами знаем грехи друг друга и прощаем их. Не все так чисты, как ваша Ася. Мне и вам так досталось в жизни, что... Бог, если Он есть, смилостивится над нами и не осудит нас. Мы — друзья?

Он с прежней манерой склонился к ее руке:

— Да, Нина, и всегда ими останемся.

## Глава четырнадцатая

— Не поеду, — наотрез отказывалась Леля, когда мать заводила речь о том, что хорошо бы навестить маму Валентина Платоновича, которая жила на распродажу вещей и из последних средств посылала сыну посылки в Караганду. — Вовсе ни к чему! Только себя в ложное положение belle fille [68] поставлю! Помочь мы ничем не можем, а общества старух с меня и так довольно. Тебе доставляет удовольствие плакать с ней вместе, а мне никакого!

На Пасху Леля все же уступила желанию матери и отправилась к Фроловским. Мама Валентина Платоновича — Татьяна Ивановна — обрадовалась гостье, сразу повела ее в свою комнату и стала показывать этот маленький домашний музей — скромный уголок, отделенный ширмой. Нянюшка Агаша, вынянчившая всех детей Фроловских, и две ее внучки жили в этой же комнате. За ширмой стояла кровать и маленький изящный столик, заставленный миниатюрными фотографиями, вазочками и безделушками, которые Татьяна Ивановна надеялась еще спасти от покушений со стороны девчонок. Бедные безделушки, осколки прекрасного прошлого, они напоминали прежний будуар с его изысканным убранством и хранили память об изяществе пальчиков юной Танечки Фроловской — белый слон с поднятым хоботом, венецианская вазочка, маленький Будда с загадочной улыбкой; фарфоровое яичко с букетиком фиалок помнило христосование и пасхальные подарки, а гараховский флакон до сих пор не расставался с запахом дорогих духов — запахом незабываемого времени... С фотографий смотрели дорогие лица, лица погибших в боях с германцами, в боях с большевиками и в советских чрезвычайках.

— Вот теперь моя «жилплощадь». Я собрала сюда всех моих, чтобы не чувствовать себя одинокой. Вот тут мои мальчики: это старший — Коля — убит под Кенигсбергом, а это — Андрей — его ты, наверно, помнишь, — ему случалось бывать у Зинаиды Глебовны. Он погиб от тифа в восемнадцатом году, в армии, мой бедный мальчик. А вот и Валентин, мой младшенький. Вот здесь он снят вместе с тобой — помнишь, ты изображала однажды Красную Шапочку на детском вечере, а Валентин был в костюме Волка; вы танцевали вместе, и ты еще не дотягивалась ручкой до его плеча. А вот и вся наша семья на веранде в имении мужа; веранда была вся увита плющом и хмелем.

К удивлению Лели, Татьяна Ивановна говорила все это совершенно спокойно, как будто всматриваясь в далекую картину, и только когда она стала рассказывать о письмах из Караганды, слезы неудержимо полились из усталых глаз.

— Я знаю, что он мне не пишет правды; я читаю между строк! Он замечательный сын, Леличка, всегда боится меня встревожить и огорчить — и мужем бы, наверное, был самым преданным и нежным, только прикидывается циником. Я ведь уже надеялась, что вы мне станете дочкой и оба будете у меня под крылышком тут, в соседней комнате... Как бы я вас любила!

Она обняла и прижала к себе девушку.

— Ивановна! — перебил их развязный звонкий голос. — Ты куда свои кораллы засунула? Я на рояль положила, одеть хотела, а ты уж и спроворила!

Леля быстро выпрямилась, пораженная: такого тона она все-таки не могла ожидать.

— Это что еще такое? Наглость какая! — воскликнула она.

— Тише, тише, милая! Не надо, — испуганно зашептала Фроловская. — Потом поговорим. Войди сюда, Дарочка. Видишь, у меня гостья. Ожерелье я прибрала, потому что на рояле ему — согласись — не место. Возьми, если хочешь надеть.

Вошедшая девушка, несколько все же сконфузившись, покосилась на Лелю, но тотчас скривила губы и

взяла ожерелье с таким видом, будто говорила: «Давай уж!». Вышла.

— Как вы можете терпеть такой тон? — громко возмутилась Леля, чтобы та слышала.

— Что делать, дорогая! — зашептала Татьяна Ивановна. — Ведь я не имею права их выселить, если у них нет жилплощади, а добром они не уедут. Конечно, они меня стеснили, мне даже пасьянс теперь негде разложить, приходится класть карты на подушку. Но я мирюсь — одной тоже было бы трудно: лифт стоит, а подняться в третий этаж я не в силах из-за моего миокардита. Они же покупают все, что я попрошу. Вот и сегодня Дарочка принесла и молоко, и булку. Нет, Тоня и Дарочка девушки неплохие, а только невоспитанные. Агаша ради них с утра до ночи гнет спину: в домработницы к моему знакомому академику поступила, чтобы заработать девочкам на кино и тряпки, а они на нее кричат хуже, чем на меня; стыдиться ее начали — если при Агаше придут их подружки или кавалеры, они прячут ее ко мне за ширму. Вот это совсем ни в какие ворота не лезет!

Она приподнялась и вынула бархатный футляр.

— Вот, дорогая, фамильный жемчуг; еще мой, девичий. Он был у нас приготовлен тебе как свадебный подарок. Возьми его. Кто знает, может быть, Валентин еще вернется, не возражай мне, девочка моя. Я не требую у тебя обещаний — я понимаю, как мало надежды... Но я уже плоха и не хочу, чтобы этот жемчуг попал в руки этих девушек. Он и уцелел-то только потому, что я повторяю и в кухне, и в коридоре, будто это простые бусы, не стоят и пяти рублей. Пусть он украсит твою шейку.

Но Леля замотала головой.

— Я не вправе принять такую вещь... Вы ее продать можете... Вам так теперь трудно!

— Нет, милая! Я этого не сделаю. Жемчуг этот заветный. Надень, я застегну на тебе замочек. Если бы ты только знала, как я грущу, но ты этого не поймешь в свои двадцать лет.

Как только Татьяна Ивановна усадила Лелю пить чай, с трудом разместив китайские чашки и чайничек на крошечном отрезке стола, послышался звонок и в комнате появилась хорошо знакомая фигура Шуры Краснокутского с его круглыми, добрыми, черными глазами. Следом за ним, не дожидаясь приглашения, тотчас юркнула Дарочка. Быстрый завистливый взгляд, брошенный ею в сторону Лели, говорил сам за себя — ишь ты, куколка дворянская! Возможно, что зоркие глаза уже заметили жемчуг на шее Лели.

При появлении Шуры Дарочка мобилизовала свои чары, и наилучшей из них, по-видимому, считала ежеминутный звонкий хохот.

Подымаясь, чтобы уходить, Леля самым невинным голоском спросила:

— Как здоровье вашей бабушки, Дарочка? К кому она нанялась? Помните, Шура, нянюшку Агашу? Такая добрая и милая старушка, вторая Арина Родионовна, — и покосилась на Дарочку, наслаждаясь плодами своего ехидства. С этой же тайной мыслью она позволила Татьяне Ивановне обнять себя и, прощаясь, сама повисла на ее шее. Но как только она и Шура вышли на лестницу, улыбка слетела с ее лица.

— Шура, что же это такое?

— Да, картина самая печальная, а изменить ничего нельзя. Татьяна Ивановна имела право их вписать, а выписать права не имеет: одна из очередных нелепостей нашей жизни! Я часто бываю здесь — отношу на почту корреспонденцию Татьяны Ивановны и хожу по комиссиянным с ее квитанциями. Я в курсе всего, что здесь происходит. И очень боюсь, что эти девицы приведут сюда кавалеров; если одна выскочит замуж, чего доброго, и муж въедет сюда же. Кроме того, они Татьяну Ивановну систематически обкрадывают, а она по непостижимому добродушию или безразличию допускает это и только просит ничего не сообщать Валентину и даже старой Агаше, чтобы не огорчать их. Легко может случиться, что, когда Валентину разрешат вернуться (если разрешат!), въехать ему уже будет некуда! Татьяна Ивановна долго не протянет,

а девочки вместе с другими жильцами запрудят квартиру.

Девушка молчала.

— Барышня моя, ангел Божий! — услышала она внезапно на повороте лестницы: старая Агаша, закутанная в платок, перехватила ее руки и начала покрывать их поцелуями. — Радость-то нам какая выпала! Спасибо, вспомнили мою барыню! Плоха она больно стала! Чему и удивиться, последнего сына отняли. Я, почитай, кажинный вечер забегаю к Спасо-Преображенью записочку в алтарь за нее подать, да пока все нет и нет ей облегчения. Навещали бы вы ее, невеста наша желанная!

— Спасибо, Агаша, за ласковые слова, но я невестой не была, — холодно проговорила Леля, освобождая свои руки из морщинистых пальцев старухи, — если вы так преданы Татьяне Ивановне, обуздайте лучше своих внучек — они с Татьяной Ивановной непозволительно грубы и присваивают ее вещи.

Леля быстро сбежала вниз. Шура догнал ее и тотчас заговорил на постороннюю тему, и все-таки Леле показалось, что он не одобряет той легкости, с которой она разрушила укрепления, воздвигнутые Татьяной Ивановной, дабы утаить от Агаши поведение ее внучек.

— Передайте Ксении Всеволодовне мой совет быть осторожнее, — сказал Шура, — биография ее супруга становится известна слишком многим — вчера ее повторяли за именинным столом у Дидерихс. Все это, конечно, люди самые достойные, но ведь не все одинаково осторожны!

— Благодарю вас, Шура! Я передам. Как теперь ваше служебное положение?

— Хуже некуда — только что посчастливилось устроиться на заводе «Большевик» переводчиком по приемке оборудования. И вот дня три тому назад подхватил простуду; ночью температура поднялась до тридцати девяти, мама с утра вызвала врача, а сама тем временем потчевала меня аспирином и чаем с малиной; тут, как на беду, к нам заходит отец Христофор — протоиерей Творожковского подворья. Мама его очень уважает. И надо же, что в ту как раз минуту, когда мама поила его чаем — ни раньше, ни позже, — шасть ко мне квартирный врач, еврейка; взглянула на батюшку, на маму в пеньюаре, меня, распростертого на диване под портретом генерала в орденах, и с самым непримиримым видом сунула мне градусник. У меня же от маминых забот температура уже спустилась до тридцати шести. Посмотрела сия новая Иезавель на градусник, криво усмехнулась и говорит: «И когда же со всем этим будет покончено!» И ушла. Бюллетень не выписала. И вот вам результат — я уволен за прогул.

Леля ахнула и остановилась.

— Да ведь при гриппе бывает, что и без температуры... А что она имела в виду? С чем покончено?

— С нами. Со мной, с мамой, с отцом Христофором, с вами, Леля. Ну, ничего, не пугайтесь. Как-нибудь переживем. Бывает хуже!

«И будет!» — прогремел, щетинясь, грузовик, пронесившийся мимо. «И бу-у-дет!» — прогудел, подхватив идею, заводской гудок.

Глаза Шуры, которые Ася называла «по-собачьи преданными», смотрели уныло.

Прощаясь с Шурой, Леля сунула ему в руку жемчуг и попросила, не возвращая Татьяне Ивановне, продать потихоньку в пользу Фроловских.

— Расходуйте на нее незаметно эти деньги или в Караганду пошлите, а я не имею права на этот подарок, — сказала она.

## Глава пятнадцатая

Заглядывая то и дело в почтовый ящик, Олег полагал, что Клюквенское гешеу все-таки сочтет себя обязанным прислать семье официальное извещение о гибели ссыльного. Пересиливая отвращение, он все-таки обратился к Хрычко:

— Если вы обнаружите в почтовом ящике какие-либо письма к моей жене или теще, не вручайте им лично, а передайте сначала мне. Должно прийти извещение о смерти сына Натальи Павловны. Я не хочу сообщать об этом теперь. Очень прошу посчитаться с моей просьбой. Будьте уверены, что, если бы вы обратились ко мне с подобной же, я бы ее исполнил.

Хрычко в этот раз был трезв и добродушно пробурчал:

— Ладно, не передавать так не передавать! Нам-то что? Мы зла никому не желаем. За зверей нас напрасно почитаете. Слышишь, Клаша: письма, какие будут, только вот им передавать, а старухе и молодой — ни под каким видом.

В одно утро Хрычко с равнодушной и угрюмой миной вручил ему приглашение на Шпалерную, которое принял под расписку в его отсутствие. Стиснув зубы смотрел Олег на эту повестку. Если бы за это время на него поступили те или иные чрезвычайные сведения, они бы не замедлили с арестом, а это, но всей вероятности, только очередная попытка — авось да проговорится в чем-нибудь. И всё же, пока он приближался к мрачному зданию, сердце отчаянно колотилось.

Наг исправно погонял его опять по его биографии, по-видимому, рассчитывая, что Олег в чем-нибудь сообразит и сможет быть уличен в противоречии, чего, однако же, не случилось, и после спросил как бы вскользь ли по поводу одного очень незначительного события из жизни Валентина Платоновича. Мобилизовав все свое внимание, чтобы овладеть западней, которую он почуял, Олег, едва услышав это имя, ответил с небрежным видом:

— Я еще не был знаком с Валентином Платоновичем в тот период. Мы познакомились на моей свадьбе.

— А вы разве не вместе учились? — любопытствовал с самым невинным видом Наг, как бы невзначай.

— Не имею чести знать, какое учебное заведение окончил Валентин Платонович, — отпарировал Олег.

— Не имеете чести? А скажите, если вы так недавно знакомы, отчего вы явились вечером, накануне его отъезда, к нему на квартиру?

Олег опять моментально нашелся.

— Мать его — старая приятельница моей тещи, и мне пришлось проводить ее к Фроловским по просьбе жены. У Натальи Павловны большое сердце, и мы не выпускаем ее на улицу без провожатых.

Глаза у Нага блеснули.

— Ловко выворачиваешься! Но это до поры до времени, друг! Я тебя все-таки накрою!

Они помолчали.

— Надеетесь скоро быть отцом?

Олег молчал.



— Что же вы не отвечаете?

— Что я должен вам отвечать?

— Не переменили ли своего решения по вопросу о сотрудничестве с нами? Уверенность в своем положении и лишний заработок могли бы вам пригодиться теперь.

— Совершенно верно. Тем не менее решение я не переменил.

— Так. Я подожду еще немного. Дайте ваш пропуск — подпишу. До скорого свидания! — И опять отпустил его.

Олег рассказал о своей прогулке в гепее только Нине, которую навещал почти каждый день.

— Совершенно ясно, что следователь не располагает достаточными данными, чтобы уличить вас. Если бы хоть одна улика — вы бы оттуда не вышли. Возможно, что в конце концов он бросит это дело, убедившись в его безуспешности.

— Нет, Нина, не бросит: он им увлекся, как спортом. Это не только профессионал — он в своем роде артист. Я, разумеется, буду в щупальцах этого подвального чудовища; вопрос только в том — когда?

— Это убийственно — жить с такими мыслями, Олег. А теперь, когда в перспективе ребенок...

— Не говорите об этом, Нина! Я конечно, совершил преступление, когда женился на Асе...

В этот вечер Олег спросил Асю, когда они остались вдвоем:

— Скажи, как бы хотела ты провести оставшиеся два месяца? Я сделаю, как ты захочешь.

Она ответила, припав головой к его плечу:

— Я бы хотела в лес и в поле! Теперь весна — поют зяблики и жаворонки, цветут анемоны. Я так давно не видела весну в деревне! Но разве это возможно?

В течение всего следующего дня Олег несколько раз возвращался к мысли, как трудно в условиях большевистского режима исполнить самое невинное и скромное желание обожаемого существа!

В этот день после работы он зашел на несколько минут к Нине, которая уже готовилась к отъезду в турне.

— Моя тетушка, — сказала Нина, — тоже снимается с места: она едет к своей бывшей горничной, у которой проводит каждое лето. Вот бы вам отправить туда же Асю! Деревня стоит на песчаной горе среди бора, место сухое, здоровое; и всего в четырех часах езды от Ленинграда. Светелка, соседняя с той, в которой будет жить тетя, свободна, и тетя просила меня подыскать спокойных жильцов.

Олег ухватился за эту мысль. Комната стоила недорого, место было глухое, и все соответствовало желаниям Аси; к тому же там ей не угрожало никакое неожиданное известие.

Вместе с Асей отправились Леля и Зинаида Глебовна. Проводив всю компанию и вернувшись в тот же вечер обратно, Олег, едва войдя в опустевшую без Аси спальню, почувствовал прилив острой тоски. Он сел на кровать и почти час просидел неподвижно. Жаль каждого дня, каждой ночи, проведенной без милой!

Кто знает, сколько времени понадобится Нагу, чтобы доплести свою паутину и поймать жертву...

В первую же субботу он помчался к Асе с тяжелым рюкзаком за спиной, как и подобало «дачному мужу». Пока все обстояло благополучно: она встретила его на маленьком полустанке сияющая; он заметил, что кожа ее приняла золотистый оттенок, щеки порозовели — ради этого стоило пропускать неделю!

Вечер и следующий день прошли чудесно: гуляли вдвоем по лесу, собирали сморчки и ветреницу, пекли вместе картошку и пили молоко; Ася лежала в гамаке на солнышке. Олег только вечером

спохватился, что привез с собой для перевода целую кипу бумаг; после ужина пришлось усесться за перевод; Ася вертелась около.

— Пойдем погуляем еще немножко! Белая ночь такая особенная, фантастичная! Здесь есть место — под горой у речки, — где в кустах черемухи поет соловей. Пойдем послушаем?

Он не соглашался, и она уговорила его отпустить ее одну минут на десять — двадцать. Она накинула пальто и выскользнула, а он углубился в перевод.

Окончив страницу, он взглянул на часы. Уже полчаса, как ее нет.

Он перевел еще страницу — ее по-прежнему не было. Уже встревоженный, он выбежал на крыльцо. Не пошла ли в хлев? Она любит смотреть, как доят корову. Но в хлеву ее не оказалось. Может быть, кормит хлебом овец? Но и у овечьего загона ее не было.

Майский вечер был очень холодный, и когда Олег посмотрел на заросли молодых берез и черемух, спускавшихся к речке, они оказались подернуты белым туманом; серебристый серп месяца, неясно вырисовываясь на светлом небе, стоял как раз над ними. Белые стволы берез и зацветающие кисти черемух напоминали картины Нестерова смутностью своих очертаний и бледностью красок. Соловей щелкнул было и перестал — озяб, наверно.

— Ася! — крикнул он, углубляясь все дальше и дальше в чащу. Наконец в ответ долетело ее «ау» и лай пуделя, а скоро и сам пудель подкатился к его ногам шерстяным комком.

— Ася! Да где же ты? Выходи ко мне! Я — на тропинке! — кричал он.

— Иди сюда сам, а я не могу! — зазвенел голосок.

— Что-нибудь случилось? — воскликнул он и бросился в кусты на ее голос.

Она стояла, прислонясь к дереву, в несколько странной позе — на одной ноге.

— Я попала в капкан; вот посмотри: мне защемило ногу. Не бойся, я не упала, я успела схватиться за этот ствол. Уже около часа я стою на одной ноге — даже озябла.

— Капкан? Что за странность? Почему ты не закричала?

— Я боялась тебя взволновать и решила лучше выждать, пока ты сам прибежишь...

Он на коленях старался высвободить ее ножку, орудуя перочинным ножом.

— Готово! Лисичка, ты свободна! Ну-ка, что там с лапкой? — И он стал растирать ее онемевшую стопу.

Она сделала два-три шага, встряхнулась и вдруг звонко расхохоталась.

Но Олег рассердился:

— Тебе все шутки! Что мне, по следам за тобой ходить? На десять минут отпустил, так она в капкан попала! Лучше ничего не нашла сделать! Что у тебя, глаз нет? Сколько раз я тебе говорил, что ты обязана смотреть себе под ноги!

«Крак, дзынь!» Олег пошатнулся и схватился за дерево:

— Что такое? Не понимаю!

Ася опять расхохоталась, еще звонче:

— Что же вы не смотрите себе под ноги, милый супруг? Глаз нет у вас, господин следопыт?

Раздосадованный Олег напрасно дергал ногу.

— Ты, кажется, рада, что мои самые приличные брюки порваны? Больше не ходи сюда в рощу — это

может плохо кончиться. Последние брюки!.. Не понимаю, чему ты смеешься!

Пришлось потрудиться теперь над собственным освобождением, после чего оба, прихрамывая, вернулись наконец обратно. Пудель бежал за ними и поднимал заднюю ногу, прихрамывая, очевидно, из солидарности. Ася не соглашалась стричь «под льва» свою Ладу, и она походила на огромный ком белой шерсти; только три точки — нос и два глаза — чернели среди шелковых завитков.

## Глава шестнадцатая

Надежду Спиридоновну, как многих бывших помещиков и помещиц, каждую весну начинало властно тянуть в лес и в поля. Ей хотелось ходить по молодой траве, собирать землянику среди папоротников и пней, поглядеть на пасущихся коров и овец, вдохнуть запах скошенного сена, а всего больше — поискать грибочков. Последнее было ее страстью. Как ни тяжело подыматься с места на старости лет, укладываться и тащиться в деревню, где приходилось ютиться без всяких удобств в светелке, она не могла устоять перед этой приманкой. Надежда Спиридоновна пользовалась большой привязанностью и уважением бывшей своей горничной Ньюши, которая провела с ней всю молодость, ездила с ней за границу и до сих пор величала ее «барышней». Каждую весну в середине апреля Ньюша эта появлялась на городской квартире Надежды Спиридоновны с докладом:

— Ждем вас, барышня! Крышу брат перекрыл заново; ступеньки к вашему крылечку поправил; пса того негодного, что обидел вашего котика, мы со двора согнали. Корова у нас отелившись. Клюква и моченые яблоки вам заготовлены. Колодезь мы вычистили. Пожалуйте — рады будем!

В этот раз обычное сообщение усугублялось новым — чрезвычайным:

— Брат пристроил сбоку вторую светелочку, которую мы охочи тоже сдать.

Сообщение это весьма не понравилось Надежде Спиридоновне — она считала пребывание в этом доме своей монополией. Когда же Нина успокоила ее известием, что нашла ей спокойных соседей, и объяснила, кого именно, Надежда Спиридоновна со страхом воскликнула:

— Жену Олега Андреевича? Ниночка, да ведь она, кажется... кажется...

— Да, тетя, Ася в положении. А почему это вас беспокоит? Оберегать ее будет пожилая дама, тетка ее по матери. А уж что касается деликатности и кротости — в Асе всего этого больше, чем нужно.

Старая дева промолчала, но осталась чем-то недовольна.

Она приехала пятнадцатого мая вечером, когда Ася и Леля, утомленные прогулкой, уже крепко спали. Проснувшись поутру, она услышала странное повизгивание, которое сразу показалось ей очень подозрительным. Она отогнула край занавески. Лужайка, которая приходилась под ее окнами, весной всегда была усыпана желтенькими одуванчиками и мать-и-мачехой; Надежда Спиридоновна страстно любила эту лужайку и запрещала ее косить. И вот на этой лужайке, расположившись, как у себя дома, сидели на бревнышке Леля и Ася, греясь на весеннем солнце, а рядом с ними вертелся белоснежный пудель.

— Собака! — шептала Надежда Спиридоновна. — Собака на моей лужайке, на территории моего Тимура! Она перемнет все мои одуванчики, а бедному Тимочке теперь некуда будет выскочить! Какие, однако, нахалки эти девчонки! А фигура у молодой Дашковой так обезображена, что смотреть совестно. Вот удовольствие — выходить замуж.

Надежда Спиридоновна отличалась необычайной аккуратностью в туалете, но вместе с тем обладала пристрастием к старым вещам, которые бессчетное число раз чинила и перечинивала. Для деревни у нее была серия особых туалетов, которая каждый год приезжала с ней и считалась у нее своеобразным «хорошим тоном». Она надела темно-синий сарафан, а сверху серую «хламиду» — так она называла холстиновый казакин, который затягивала на талии ремешком. Надежда Спиридоновна была маленькая и очень худая — вся высохшая, как корка. К ремешку она привесила берестовый плетеный бурочок, с которым еще в юности привыкла ходить за земляникой; ягоды еще не цвели, но Надежда Спиридоновна в лес без корзины никогда не ходила; в руки она взяла большую крючковатую палку — другой неизменный

спутник. Мысль, что она сейчас увидит любимые привычные места, которые напоминали ей родные Черемухи, наполняла теплом ее душу — что-то мягкое и сердечное светилось в ее глазах, пока она привязывала бурочок и вооружалась палкой. «Пройду на «хохолки», посмотрю, нет ли сморчков. Лишь бы «они» не вздумали надоедать мне разговорами и увязаться за мною в лес», — думала она, закрывая на замок свою дверь. И вот, как только Надежда Спиридоновна вышла на залитый солнцем дворик, Леля, Ася и пудель тотчас окружили ее.

Очаровать, смутить, вообще как-либо сбить со своих позиций Надежду Спиридоновну было нелегко, тем более что она позволяла себе пренебрегать светским обхождением, правила которого были ей очень хорошо известны; причем позволяла только себе, строго порицая в других.

— Букет? Зачем это! Цветы я люблю собирать сама. Я уж, наверно, лучше вас знаю места, где растут сапранулы [\[69\]](#). Гулять в компании я не люблю — я хожу всегда молча. Уберите сейчас же собаку — она обидит моего кота. — И отпугнула таким образом девочек в одну минуту. Но когда к ней приблизилась с милой улыбкой Зинаида Глебовна, ее седеющие волосы и усталое лицо несколько умилили воинственный пыл Надежды Спиридоновны.

— Места здесь красивые, но какая же это «дача»? — говорила Зинаида Глебовна. — По нашим прежним понятиям, «дача» — загородная вилла: красивый дом, балкон с маркизами, дикий виноград и цветник... А это — просто комната в избе, стена в стену с овчарней; она годится только для таких разоренных и загнанных «бывших», как мы. Кроме того, здесь ничего нельзя достать: ни творога, ни сметаны, ни яиц, ни свежей рыбы — ничего из того, что прежде водилось в деревне в таком изобилии. Крестьяне не знали кому сбывать... Это только при большевиках может так быть, чтобы в деревне не было ничего. Олег Андреевич и я притащили немного снеди на собственной спине, а иначе мы бы здесь голодали — ничего, кроме молока!..

— Кстати, утренний удой получаю всегда я. Так уж заведено, — сказала Надежда Спиридоновна.

— Пожалуйста! Мне все равно! Я буду брать вечернее, — поспешно сказала несколько удивленная Зинаида Глебовна.

Увидев свою Ньюшу, появившуюся у калитки, Надежда Спиридоновна кивнула Зинаиде Глебовне и направилась к ней; несколько минут они о чем-то шушукались, после чего Надежда Спиридоновна вошла в бор, начинавшийся сразу за калиткой.

Тотчас после этого к Зинаиде Глебовне подошла Ньюша и заговорила с улыбкой:

— Хотела я предупредить... Та лужаечка, что под окнами моей барышни... Они ее почитают все равно как своей собственностью... так уж вы окажите уважение: не велите ходить вашим барышням, и на завалинку чтоб не садились... Собаку тоже пущать не велено. Не хотелось бы нам неприятностей.

Вследствие таких сюрпризов, когда Надежда Спиридоновна через некоторое время показалась у калитки, никто уже не бросился к ней навстречу. Леля шепнула Асе: «Идет!» — и поспешно придержала за ошейник пуделя.

Показалось ли Надежде Спиридоновне, что она была слишком резка утром, или ей захотелось похвастать своими трофеями, но она замедлила шаг и сказала:

— Я убила только что двух гадюк: одна спала на солнце, а вторая выползла из-под моих ног и едва не ушла в кусты. Здесь, на «хохолке», их много — имейте в виду. Я каждую весну убиваю несколько. Всего на своем веку я вот этою палкой убила сорок восемь змей — я им веду счет.

— Послушай, она часом не ведьма? — шепнула Ася, когда Надежда Спиридоновна отошла.

Вечером, когда они ужинали при свечке, Зинаида Глебовна сказала, раскладывая на тарелки печеный

картофель:

— Сейчас рассмешу вас, девочки: сегодня старушка — наша хозяйка — та, что почти не слезает с печи, жаловалась мне на свою Ньюшу, которая здесь вершит всеми делами, будто бы Ньюша и ее старая барышня — ведьмы, будто бы за обеими водятся странности...

— Вот видишь! Я тебе говорила! Я первая заметила! — вскрикнула Ася.

— Старуха уверяет, — продолжала Зинаида Глебовна, — что лет десять тому назад Ньюша вздумала вешаться на чердаке и, когда вбегала туда по лестнице, услышала, как кто-то зазывает ее сверху страшным голосом: «А поди-ка, поди-ка». Ньюша испугалась и не пошла, однако с той именно поры прочно связалась с нечистым: умеет взглядом заквасить молоко, заговаривает кур, питает пристрастие к черным кошкам и петухам, а в церковь ее не заманить даже к заутрене...

— А на помеле ездит? — деловито спросила Леля, обчищая картошку.

— Пока об этом мне не доложено, — засмеялась Зинаида Глебовна.

Воображение разыгралось, и когда после ужина понадобилось пройти к ручнойнику, висевшему на крылечке, Ася побоялась пройти через темные сенцы, где за бочкой воды притаился черный кот. Зинаиде Глебовне пришлось конвоировать ее, держа свечу; едва они успели выйти, как их с визгом догнала Леля, уверяя, что как только она осталась одна, глаза у кота загорелись, словно уголья.

С этого дня перешептывание по поводу двух ведьм и наблюдение за обеими стало любимым занятием. Обе девочки увлеклись этим, как крокетом или волейболом.

— Я сегодня видела, как одна ведьма сунула другой пяток яичек; нам не дает, а для подружки наколдовала.

— А утром, когда я вышла за околицу, Надежда Спиридоновна собирала там траву. Наверно, колдовскую. Может быть, разрыв-траву?

— Походка у нее самая ведьминская. Семенит быстро-быстро — и вдруг остановится и припадет на свою клюку, да озирается вокруг своими страшными глазами.

— Да бросьте вы, девочки! Собирала Надежда Спиридоновна всего-навсего щавель себе для супа! — урезонивала их Зинаида Глебовна.

## Глава семнадцатая

В последних числах июня в Оттовской клинике санитарка, бегавшая в часы передач с записочками от молодых матерей к мужьям, в числе других принесла такое письмо:

Писем было четыре; она распечатала первым письмо от мужа.

Второе письмо было от Натальи Павловны. «Голубка моя! Поздравляю тебя. Рада, что мальчик. Мы очень беспокоились и теперь от счастья ходим с мокрыми глазами. Я вспоминаю себя в твои годы и рождение моих мальчиков. Кто бы тогда мог думать, какая трагическая судьба предстоит обоим. Мадам в восторге; она просит передать тебе поздравление и бежит сейчас на кухню делать твое любимое печенье «milles feuilles»<sup>[70]</sup>, чтобы послать тебе в больницу. Лежи спокойно, береги себя. Крещу тебя и младенца. А я-то теперь прабабушка».

Третье письмо было такое же ласковое:

И, наконец, четвертое:

Ася прочитала эти письма, взялась опять за первое и перечитала все по второму разу; потом положила их к себе под подушку, вздохнула, улыбнулась и погрузилась в счастливую дремоту.

Через два дня от нее летело следующее послание:

Дни, последующие за возвращением Аси, Олегу омрачило письмо Нины, которая после поздравления с сыном сообщала, что, закончив серию концертов, проехала с Волги к Марине на Селигер.

Откладывать далее было невыносимо.

На третий день по возвращении Аси выдался подходящий для разговора час — Наталья Павловна спустилась к графине Коковцовой поиграть в винт, а мадам с «дофином» на руках вышла на воздух посидеть в ближайшем сквере. Они остались одни, но едва только он успел выговорить ее имя, Ася быстро повернулась и спросила:

— Что? Случилось что-нибудь? — и в голосе ее Олег ясно различил трепет тревоги. Пришлось договаривать!

Виденья прошлого! Как они много значат! Вот грязная теплушка, набитая страшными чужими людьми, а дядя Сережа греет на груди под армяком ее ножки, хотя сам уже с ног валится от сыпняка; вот они сидят рядом в бабушкиной гостиной около нетопленного камина, от мрамора которого как будто распространяется дополнительный холод и пробирается в рукава и за ворот... А дядя Сережа читает ей Пушкина или Шиллера, расшевеливает ее мозг, будит воображение, согревает душевно! По вечерам, возвращаясь с «халтурных» концертов, которые часто кончались угощением полуголодных артистов на заводе, он никогда не забывает принести ей пирожное или две конфетки... Еще и теперь, пробегая мимо его кабинета, занятого чужими, она всякий раз словно ждет, что он выглянет из двери и окликнет ее, а вбегая в столовую, словно видит дымок его сигары... за роялем слышит его интерпретацию данной вещи... Всю музыку, всю литературу она узнала от него. Она сдерживала слезы, но нос совсем «размокропогодился», а платка при себе не оказалось — сколько раз ей за это попадало от бабушки! Вот у Олега он всегда в кармане и всегда белоснежный — Олег сам себе стирает под краном носовые платки, а мадам гладит их и приговаривает, что кандидат на русский престол должен быть окружен самой неусыпной заботой и что Сандрильена плохая жена!

В передней без звонка хлопнула дверь. Ася вскочила и схватилась за голову:

— Бабушка! Не сейчас... только не сейчас! Скажи, что у меня голова болит и я легла. Я не могу

показаться сейчас бабушке.

Три дня подряд длилась эта агония: Ася собиралась с духом и не могла решиться заговорить.

— С Богом, дорогая! — шептал ей Олег перед дверьми бабушкиной комнаты.

— Courage! — повторяла свое любимое напутственное слово француженка, которой все уже было известно. Ася входила и садилась на край бабушкиной кровати, но заговорить не решалась.

— Подожду! Бабушка сказала, что сегодня у нее хуже сердце. Завтра скажу, — говорила она Олегу и мадам.

— Подожду. Сегодня бабушка мне показалась такая усталая и бледная. Завтра, — говорила она на другой день.

Не любовь и рождение ребенка опустили занавес над беззаботностью юности, это сделала потеря, первая в ее сознательной жизни. Она пришла одновременно с первыми материнскими тревогами, когда надо было подстергать и понимать плач, ауканье и барахтанье маленького существа, вставать к нему ночью, пеленать, кормить и замирать от тревоги — все ли идет как надо? Почему кричит? Почему хуже сосал? Почему плохо спал сегодня? И смех ее затих в эти дни; тревожная морщинка залегла между бровей, а взгляд стал испуганный и печальный. К тому же донимала усталость: сказывалась ли в этом послеродовая слабость, или кормление, или необходимость вставать по ночам, но за несколько дней Ася потеряла цветущий вид. Она всегда была худенькой, но теперь стали исчезать румянец, округлость щек, блеск глаз...

Через несколько дней во время обеда Наталья Павловна вдруг положила вилку и нож и, обращаясь ко всем сразу, сказала:

— Отчего мне все время кажется, что вы от меня что-то скрываете? Уж не получили ли вы каких-либо тревожных известий от Сергея?

Все замерли, и это молчание подтверждало — она права!

— Может быть, его перебросили в концентрационный лагерь или с рукой что-нибудь? Пожалуйста, не скрывайте ничего!

Ася выскочила из-за стола и бросилась комочком в бабушкино запретное кресло, как будто хотела спрятаться. Француженка поднесла руку ко лбу и прошептала: «Oh, mon Dieu!» Наталья Павловна медленно обвела всех глазами и поднялась с места.

— Вы мне сейчас же скажете всё! Я категорически требую! — властно прозвучал ее голос.

— Дядя Сережа... они его... он... — лепетала Ася.

— Погиб, — тихо и раздельно dokonчил за нее Олег.

Наталья Павловна не упала, даже не пошатнулась. Она осталась стоять так же прямо, как стояла. У нее изменилось лишь выражение лица, на которое вместо тревоги легла глубокая скорбь, особенно в поднявшихся кверху глазах. Несколько минут она простояла в оцепенении, потом спросила почти спокойно:

— Что случилось?

— Не вернулся из тайги, — шепнула Ася.

— Заблудился, — сказал Олег.

— Его искали?

— Нашли уже мертвым. Тело не отдали. Место погребения неизвестно.



И опять наступило молчание. Олег подал ей стул; она села; они остались стоять около ее стула в почтительной неподвижности. Может быть, она думала сейчас о том, что в отрочестве и юности любила его меньше старшего сына только потому, что он музыку предпочел гвардейским эполетам, а между тем как раз ему выпало на долю ценою постоянных жертв беречь ее старость; может быть, она вспомнила его рождение...

— Не плачь, детка! — сказала она, наконец, услышав тихое всхлипывание Аси. Красивая тонкая рука погладила волосы внучки. — Успокойся, побереги себя, твое волнение отзовется на молоке, а стало быть, и на малютке. — И спросила: — Когда это случилось?

— Восемнадцатого февраля, мы узнали в апреле.

— Так давно! А эти письма?

Олег объяснил происхождение писем.

— Нина знает?

— Знает.

— Так вот почему она почти перестала у нас бывать! Ей тяжело было притворяться... бедное дитя! А я уже начала опасаться... — И она снова погрузилась в задумчивость.

— Нина служила отпевание? — спросила она через несколько минут, подымая голову. Ася вопросительно взглянула на мужа.

— Нет, — виновато проговорил он.

— Да как же так! Прошло уже три месяца... Олег Андреевич, неужели и на вас с Ниной повлияло советское безбожие?

— Виноват, за последнее время и в самом деле отвык от церковных обрядов. Я до сих пор не отслужил панихиды по матери: сначала госпиталь, потом лагерь...

— Очень жаль, — сухо сказала Наталья Павловна. — Вы человек определенного круга и с вашим воспитанием этого не должны были бы допускать. Что касается меня, я в ближайшие же дни закажу заочное отпевание.

Она встала и пошла в свою комнату. Ася нерешительно двинулась вслед.

— Не иди за мной, — сказала ей с порога Наталья Павловна.

В течение последующих дней Наталья Павловна поражала всех своей выдержкой; она заказала заупокойную обедню и отпевание и разослала приглашения своим ближайшим друзьям; во время пения «Со святыми упокой», когда Ася и обе Нелидовны плакали, она стояла как изваяние, в черном крепе, который не снимала еще со смерти мужа.

Олег и Нина несколько раз высказывали друг другу мысль, что религиозность Натальи Павловны носит несколько внешний, обрядовый характер, непохожий на безотчетные, смутно-поэтические, но глубоко искренние порывы Аси; даже Леля заявляла не раз: «У Натальи Павловны вера государственная, регламентированная, которая держит в страхе Божиим нас, меньшую братию». Тем не менее вера эта, по видимому, оказалась куда более глубокой и сильной, она давала Наталье Павловне самообладание и утешение.

Вечером этого же дня, когда все сидели за вечерним чаем, Наталья Павловна сказала:

— Теперь я буду настаивать, чтобы Ася с ребенком завтра же ехала в деревню. Дача стоит пустая, Леля без Аси уезжать не хочет, а мы все не так богаты, чтобы бросить деньги на ветер. Я остаюсь с Терезой

Леоновной, на днях возвращается Нина, да и Олег Андреевич пока еще здесь. Нет причин сидеть в городе.

Ася попробовала слабо сопротивляться, но потерпела фиаско и на другой же день послушно уехала. Она самой себе не решалась признаться, до какой степени ей хотелось обегать с Лелей и с мужем эти леса, поляны и просеки теперь, когда она могла не остерегаться быстрых движений и всевозможных запретов окружающих.

В первую субботу Олег нашел Асю еще несколько грустной и бледной, и личико ее тревожно вытянулось, когда она спрашивала о бабушке; в следующий раз она выглядела лучше; а в третью субботу, бросившись ему на шею на пустом полустанке, она радостно лепетала:

— Здесь так чудесно! Славчик все время на воздухе. Знаешь, у него появляются на ручках перетяжки, это потому, что у меня теперь молока больше. У нас пошли грибы после дождичков. Мы их находим десятками. Маленькие боровички похожи на Славчика — такие же забавные и очаровательные. Знаешь, вчера Славчик в первый раз улыбнулся!

Грибная эпопея скоро развернулась во всем блеске, и Олег, как только получил в последних числах августа отпуск, принял в ней самое горячее участие. Грибы лезли из-под каждого кустика, из-под каждого пенька выглядывали их довольные и хитрые рожицы. На сыроежки и березовики уже никто не обращал внимания — охотились только за белыми и за груздями. Грузди гнездились преимущественно в отдаленной березовой роще, под опавшими листьями, тогда как белые грибы облюбовали бор. Это были очаровательные боровички с темными шапочками и толстыми корешками, жившие семьями по десять — пятнадцать штук. В поход за ними выступали с самого утра независимо от погоды. Случалось, небо было затянуто тучами и сеял мелкий и частый холодный дождь, осень в этом году была далеко не так хороша, как предыдущая; но ничто не могло остановить отважных грибников. Ася надевала старую шерстяную кацавейку и русские сапоги, Олег — старую кожаную куртку Сергея Петровича и солдатские сапоги, Леля — перешитый из дедовского камергерского мундира, весь перештопанный салопчик и войлочные туфли, сшитые Зинаидой Глебовной; обе девочки повязывались по-бабьему платками; и все выступали чуть свет из дому, вооруженные корзинами и перочинными ножами. В лесу начиналась оживленная переключка:

— Я нашла парочку! Чудные — крупные и совсем чистые! — вопила в азарте Леля.

— А что же я-то? Опять ничего! Хожу, хожу, и все без толку! — отзывалась Ася с нотой отчаяния в голосе. — Олег! ау! Почему ты не откликаешься? Нашел что-нибудь?

— Для начала — четыре! Я решил, что не уйду, пока на моем счету не будет ста штук, как вчера. Штурмуйте этих бездельников! — откликнулся бывший кавалергард.

Возвращались усталые и страшно голодные. Зинаида Глебовна, на которую оставались и дом, и младенец, встречала с обедом и вытаскивала ухватом из русской печи горшок с кашей и топленое молоко, словно заправская крестьянка — хозяйка избы. После обеда Ася и Леля садились чистить грибы, а Олег уходил снова в лес собирать валежник. Потом топили печь и сушили в ней грибы. В промежутках между подбрасыванием дров и выниманием грибов, в полутемной кухоньке около печи, затягивали песни или рассказывали страшные истории; Зинаида Глебовна тем временем пекла в этой же печи картошку к ужину. Ужинать садились, как только поспевало вечернее молоко. Олег замечал, что, отдаваясь этому нехитрому укладу, стал лучше спать и лучше есть. Ася была так мила в платочке с горошинками и в больших сапогах! В ней было столько душевного здоровья и детской беспричинной радости! Когда она прикладывала к груди ребенка и, улыбаясь ему, называла его «агунюшкой» и «птенчиком», а затем, опуская ресницы, смотрела на него сверху вниз, он находил в ней еще одно, новое, очень тонкое очарование, которого не было прежде. Может быть, эта жизнь казалась ему прекрасной потому, что была насыщена любовью к ней и к маленькому существу, а это вместе с добротой Зинаиды Глебовны создавало особую атмосферу взаимной

самой бережной нежности. Может быть, эта жизнь казалась прекрасной еще потому, что она не могла быть продолжительной.

Однажды разговор зашел о февральской революции, и Зинаида Глебовна проговорила с меланхолической улыбкой:

— Я так расстроилась тогда при мысли, что никогда больше не увижу скачек и парфорсных охот и что пришел конец нашим веселым вечерам у Его Высочества. Помню, я несколько дней проплакала в моем будуаре, а мой фок Жужу понимал, что я переживаю какое-то горе, и целыми часами просиживал около меня.

Надежда Спиридоновна продолжала держаться особняком и даже в грибные походы отправлялась одна. Этому делу, к всеобщему удивлению, она отдавалась с неменьшей страстностью, чем они сами, и даже с профессиональной пунктуальностью. Несколько раз случалось, что, приготавливаясь к походу, все видели в серой дымке морозящего дождя фигуру старой девы в допотопной тальме, с бурачком и знаменитой палкой — она выходила за частокол и скрывалась между соснами всегда прежде них. Однажды они завернули в небольшой соснячок — один из участков огромного бора, раскинувшегося на много верст. Соснячок оказался очень плодовитым, и за полчаса они собрали втроем сто двадцать маленьких чистых боровичков. Они только что расположились отдохнуть на сломанном дереве и съесть по куску хлеба, как увидели фигуру Надежды Спиридоновны, которая появилась из-за песчаной горы и затрусила к ним.

— Вы здесь зачем? — не слишком дружелюбно спросила она.

— За боровиками, — глазом не моргнув, ответила Леля и показала коробок.

Надежда Спиридоновна вдруг вспыхнула:

— Это мое место! Я здесь собираю уже в течение семи лет! Это известно всем, а вы могли бы пойти и подальше!

— Мы не знали, что вы помещица! Нас вот уже давно повыгоняли с наших угодий. Может быть, и весь этот бор ваш? — спросила Леля.

Но Олег поспешил перебить ее, не желая обострять отношений:

— Если мы неожиданно попали в положение браконьеров, то разрешите нам, Надежда Спиридоновна, исправить нашу вину и с величайшей готовностью преподнести вам наш сбор, — сказал он.

Но старая дева, вместо того чтобы смягчиться, неожиданно пришла в ярость.

— Зачем это мне? Я люблю сама находить грибы, а когда они сорваны, они мне неинтересны! Берите их, но больше сюда не ходите, если хоть немного уважаете старших.

— Так точно. Больше ходить не будем, — и Олег увел Асю и Лелю.

Пройдя шагов двадцать, все трое остановились, взглянули друг на друга и неудержимо расхохотались.

Вечера становились все темней и темней. Надежда Спиридоновна заранее запасалась хорошими свечами, и в комнате у нее было светло, в то время как ее соседи толкались в темноте, как кроты, и переносили за собой из кухни в комнату маленький огарок, воткнутый в бутылку. Олег отправился за свечами в далекий поход на ближайшую станцию, но в советской лавчонке не оказалось ничего, кроме водки и консервированных компотов, а ехать в город — значило истратить лишнюю сумму, в то время, как денег систематически не хватало. Так и остались в потемках еще на несколько дней. Надежду Спиридоновну это, по-видимому, не беспокоило — она ни разу не пригласила их к своему столу и

предпочитала коротать вечера одна за раскладыванием пасьянса.

В последнюю неделю своего пребывания на даче Надежда Спиридоновна простудилась: у нее сделался «прострел», и она слегла с острыми болями в пояснице. Пришлось выручать неприветливую соседку: Олег носил ей воду и топил печь, Зинаида Глебовна стряпала, а Леля посылалась в качестве горничной. Она всякий раз жаловалась матери на «ведьминские» причуды:

— Я такой невыносимой старухи еще не видела: аккуратна до скуки — у нее в ходу всегда восемь полотенец и все развешаны по гвоздикам, и спутать не приведи Бог! Охает, скрипит, а глаза рысьи — сейчас приметит! «Это надо вытирать наружно-кастрюльным, а вы взяли внутри-кастрюльное, миленькая моя!» Клеенку на столе нельзя просто вытереть, а сперва тряпочкой номер один, а потом тряпочкой номер два, а тряпочек тоже восемь! Видели вы что-нибудь подобное? Злая: всякий раз спросит, сколько боровиков мы нашли, а я нарочно прибавлю, чтоб подразнить. Проскрипит: «Я, случилось, находила еще больше», а самую так и передернет от зависти.

Накануне отъезда Надежда Спиридоновна наконец пригласила всех к себе на чашку чая и довольно мило побеседовала о характерах различных грибов и способах солений. Уезжая, она милостиво поцеловала Лелю и Асю в лоб и пригласила обеих к себе на свои именины.

## Глава восемнадцатая

— Явилась! Вот послушай-ка, что я намерен сообщить: коли единый раз еще найду свое письмо вскрытым — получишь на орехи. Поняла? — Этими словами Вячеслав приветствовал Катюшу, вернувшуюся со службы.

— Взбесился ты, что ли? Лается без толку! — равнодушно огрызнулась та, присаживаясь на табурет.

— Нет, не без толку! Сделаю, как сказал. Ишь как разохотилась! Уже второй конверт вскрытым вынимаю из ящика.

— Ну, а я тут при чем? Иди и объясняйся на почте — коли наша цензура ленится запечатывать, там и раздавай на орехи, — я тут при чем?

— Не ври. Аннушка сама раз видела, как ты держала конверт над паром. Наша цензура справится без твоей помощи, и нечего тебе в чужие дела нос совать.

— Много видела твоя Аннушка! Врет она. А тебе как комсомольцу не к лицу такие разговоры. Товарищ Сталин то и дело напоминает, что каждый советский гражданин, а тем более комсомолец, должен по мере сил помогать органам гепеу. А ты сам не помогаешь и другим мешаешь. У нас в квартире есть за кем последить, сам знаешь, какой тут круг!

— Любопытничаешь ты больше, чем следишь. За мной, что ли, тебе поручили приглядывать? Я такой же комсомолец, как и ты.

— Комсомолец, а снюхался с классовыми врагами...

— Ты смотри — словами не швыряйся! — И в голосе Вячеслава прозвучала угрожающая нота. — С кем я снюхался? Эх ты, трепло! Язык без костей. Я «снюхался»! Утром — работа, вечером — учеба, да комсомольские собрания. Даже в кино забежать часа не выберу. Мне деньги в карман не лезут, как тебе. И откуда, интересно знать, у кассирши при бане столько денег? Да ладно, молчи, я и так знаю, что ты строчишь. Небось в крепдешинах бы не щеголяла и сладкие булочки не уплетала. Эх, не все пока ладно у нас в системе! Донос... За него не должно полагаться награды, платные осведомители никуда не годятся! Коли я вижу, что человек опасен, я сигнализирую и делаю это потому, что так мне велит гражданский долг, а для себя от этого ничего не жду. Ну, а за деньги чего не наплетут! Кому крепдешинчик купить охота, кому велосипед, кому девушке подарок, — ну и наговариваете с три короба. Со временем обязательно подыму этот вопрос в райкоме. Что моргаешь глазенками?

— Как же! Послушают тебя! Гляди, чтоб самому рот не заткнули! Недолго!

— А это уж не твоя беда! — И, круто повернувшись, Вячеслав вышел из кухни.

Он пережевывал хлеб с колбасой, уткнувшись носом в книгу, когда кто-то стукнул в дверь.

— Да-да! — сказал он, продолжая жевать и даже не оборачиваясь.

На пороге показалась Катюша.

— Ладно, я не злая, надо мальчишке-комсомольцу пособить: иди, сторожи в коридоре — я твоей девушке сейчас дверь открыла, прошла к Нине Александровне.

Он недовольно сдвинул брови.

— Какая такая «моя» девушка? На что намекаешь?

— Будто не понимаешь? Что у меня — глаз нет, или уж вовсе дура? Не видела я, что ли, как прошлый

раз ты в коридоре дежурил, чтобы только поглядеть, как пройдет мимо. Ступай, говорю, — сидит у Нины Александровны. — И дверь закрылась.

Он не шевельнулся и снова уткнул нос в книгу, однако через несколько минут отложил ее в сторону. Смущенная и как будто виноватая улыбка скользнула по его губам; он подошел к велосипеду и вывел его в коридор; с плоскогубцами в руках стал возиться над гайками. Дверь из комнаты Нины вскоре открылась, и на пороге показались хозяйка и гостя.

— Спасибо, Леля, милая, что навестили меня. Жаль, Ася не пришла вместе с вами, ну, да ей теперь некогда. Как Славчик?

— Славчик — чудный бутуз. Я его буду крестить, — ответила Леля.

Когда девушка надела старенькое пальто и шляпу из потертого бархата, Нина сказала:

— Вячеслав, вы хороший мальчик, всегда рады всех выручить, проводите до трамвая нашу Лелю. Я не хочу отпускать ее одну. Можете?

— Могу, коли требуется, — неуклюже ответил юноша, — вот только ватник одену.

Через несколько минут они вышли на лестницу и некоторое время шли молча. Вячеслав озадаченно размышлял, как следует обращаться с этой девушкой, и наконец не мог ничего придумать лучшего, как взять Лелю под локоть.

— Пошли, товарищ Леля! После рабочего дня прогуляться приятно. Погода сегодня больно хороша. Вон как подморозило. Может, пройдемся прежде на Невский, а после я вас провожу?

Девушка взглянула на него с удивлением и на всякий случай слегка отодвинулась.

— Я не пойду на Невский, я тороплюсь домой.

— Это вам небось мамаша внушила, что по Невскому гулять вечером неприлично? А вы мамашу поменьше слушайте — то было прежде, а нынче все наши комсомольцы со своими девушками по Невскому прогуливаются, а дамочек дурного поведения там и в заводе нет. Не бойтесь, пошли.

— Нет, спасибо. Пойдемте к трамваю. А впрочем, я отлично могу добежать и одна. — И Леля остановилась, показывая, что хочет распротиться.

— Ну вот, ровно бы и испугались! Не хотите — не надо. Я не принуждаю. Айда к трамваю, Леля.

— Меня зовут Елена Львовна.

— Вам все по старинке охота? Ну, Елена Львовна так Елена Львовна. Вы учитесь или служите, Елена Львовна?

— Я работаю стажеркой в больнице, в рентгеновском кабинете.

— Медработник, стало быть. Вот и я скоро медработником буду. Я с рабфака пошел в фельдшерский техникум. Мы с вами сослуживцы, значит. У нас на нашем курсе на днях постановочка будет, а после — кино «Катя — бумажный ранет». Хотите, достану вам билетик, Елена Львовна? Уж как я рад буду провести с вами вечерок. Ребята у нас хорошие, уважительные. Каждый будет со своею девушкой. Пришли бы?

— Благодарю вас. Я одна нигде не бываю. Я хожу только с Асей и Олегом Андреевичем, да иногда с моей соседкой.

— Мамаша не велит? Эх, Елена Львовна! Этак можно и всю жизнь просидеть около маминой юбки. Вы все думаете — коли не ваш круг, стало быть, что-нибудь дурное, а ведь это не так.

— Я как раз этого не думаю, но... — она замялась.

— Неохота, что ли? А может быть, я больно уж не нравлюсь? Ваше дело!

Леле стало неловко и жаль его. В тоне его было что-то сердечное и простодушное. Во всяком случае, на нахала он совсем не походил, но слишком уж был весь серый. Желая показать, что она не дуется и не сторонится, она спросила:

— А вы на каком же отделении в техникуме?

— У нас еще пока не было разделения, а вот с января начнется специализация. Должно, возьму хирургию, — ответил он.

— Наверно, очень тяжело одновременно и учиться и служить? — опять сказала Леля, видя, что он умолк.

— Я привык.

Подошел трамвай и умчал Лелю.

На следующий день за вечерним чаем у Натальи Павловны она, смеясь, стала рассказывать о новом знакомстве.

— Посмотрели бы вы на его угловатость! Он ко мне обращался «товарищ Леля».

Все засмеялись, кроме Олега, который сказал:

— Я этого юношу беру под защиту. Он не заслуживает насмешек! Хотите, я сообщу о нем нечто такое, что очень говорит в его пользу?

Все повернулись к нему, заинтересованные.

— Пятнадцати лет он пошел добровольцем в красную армию и участвовал во взятии Перекопа, где получил ранение в руку... — начал Олег.

— Ну, это еще не говорит в его пользу, — сухо прервала Наталья Павловна.

— Слушайте дальше. Он натолкнулся однажды на мой заряженный револьвер и разрядил его, чтобы предотвратить возможное несчастье; через несколько часов после этого, во время ночного обыска, он не счел нужным заявить агентам огепеу о наличии у меня оружия. Далее: ему было известно из очень верного источника — от меня самого, — кто я по происхождению, но, вызванный в огепеу, он отвечал на все вопросы по поводу меня, что ему неизвестно ничего больше того, что стоит в моих документах. Он даже не нашел нужным сообщить о своем великодушии мне. Я об этом узнал другим путем.

— Очевидно, он вам симпатизирует, но ради чего вы были так откровенны с ним? — сказала Наталья Павловна.

— Я нашел, что так будет вернее, и, как видите, не ошибся.

— И все-таки не следовало! Этому сорту людей доверять нельзя. Мало ли какой может быть на него нажим.

— Какой бы ни был нажим, этот человек не предатель, — твердо ответил Олег, — за всей его серостью есть настоящая идейность, а это теперь так редко!

— Мало, что он не предатель, — он, по-видимому, благороден исключительно! — подхватила Ася. — Нельзя ли зазвать его к нам, приручить и пригреть?

— Это уже крайность, которая ни к чему, — строго одернула ее Наталья Павловна, — я в моем доме партийцев принимать не намерена.

— Что бы то ни было, — опять начала Леля, — а я, хоть и не особенная сторонница бонтона, скажу, что в этом Вячеславе он доведен до минимума.

Олег решил подразнить ее:

— Я уверен, что девушка, которая свяжет с ним когда-нибудь свою судьбу, будет счастливее очень многих и сможет заслуженно гордиться им — это человек долга!

Головка Лели горделиво и возмущенно вскинулась, как голова породистой своенравной лошадки.

У Лели была густая белокурая коса, которая в последнее время вызывала ее постоянную досаду.

— Все ходят стрижеными, только мы с тобой, Ася, с этими допотопным косами. Когда я хочу хорошо одеваться и на это нет денег, тут возразить нечего — нельзя и нельзя! Но отрезать косу, подкрасить губки или сделать короче юбку нам ничто помешать не может. А мама и Наталья Павловна и тут наперекор: «Все советские девчонки так ходят! Вы ни в чем не должны походить на них!» Это довольно-таки глупо — валить в одно и моду, и политику. В своем отрицании современности старшие, право же, доходят до нелепостей! Пусть посмотрят французские *journals des modes*[\[71\]](#).

Ася занимала промежуточную позицию в этом вопросе.

— Мне жаль было бы обстричь косы, потому что Олег любит их. Крашенные губы он, как и бабушка, считает дурным тоном; что же касается платья — мне бы очень хотелось иметь черное бархатное со шлейфом. Английские блузки так надоели! — повторяла она всегда со вздохом.

В одно утро Леля ускользнула тайком в парикмахерскую и отстригла косу. Около часа мать и дочь кричали потом друг на друга и обе плакали. Наконец Зинаида Глебовна сложила оружие, признавшись, что Леля и стриженной очень мила. Теперь ее беспокоило только, как посмотрит на случившееся Наталья Павловна, с мнением которой она очень считалась, тем более что Наталья Павловна относилась к Леле с такой же нежностью, как к родной внучке.

Вечером, у Бологовских, Зинаида Глебовна не впустила тотчас к Наталье Павловне своего «Стригунчика» — как она стала теперь называть дочь. Лелю показали Наталье Павловне сначала издали, с порога, после того, как предупредили о случившемся. Наталья Павловна бросила на девушку взгляд разгневанной матроны, как если бы Леля вступила в незаконную связь и призналась в беременности. Некоторое время она разглядывала в лорнет изящную головку, потом изрекла:

— Терпеть не могу стриженные затылки. Подойди ближе.

Леля сделала несколько шагов, все еще не смея приблизиться. Наталья Павловна продолжала лорнировать.

— Не так уж плохо — челка несколько скрадывает. Стиль, однако, нарушен. Подойди ближе. Мило. А все-таки жаль косы. Ну, поцелуй меня, дурочка, и впредь не смей ничего предпринимать без разрешения старших. А ты, Ася, не вздумай брать пример, тебе стрижка не пойдет, слышишь?

На бирже Лелю по-прежнему не брали на учет, хотя рентгенотехников не хватало. Леля отважилась подать в местком больницы заявление с просьбой принять ее в союз — иначе никто не взял бы ее на работу.

«Боже ты мой, какие рожи!» — подумала она, входя в зал и озирая состав месткома. Отыскав глазами Елочку, Леля робко уселась около Берты Рафаиловны, старой сотрудницы рентгенкабинета; та, добродушно улыбаясь, шепнула ей на ухо что-то ободряющее и погладила белокурые локоны. Врач-рентгенолог, заведующий кабинетом, не явился: очевидно, не захотел вмешиваться в это дело, предвидя неприятности.



Сначала разбирали заявление о принятии в союз молодого электромонтера. Его заставили кратко изложить свою биографию, после чего спросили, не держит ли его отец-крестьянин в своем хозяйстве корову или лошадь; спросили так сурово, будто речь шла не о домашнем скоте, а о притоне воров и проституток. Получив отрицательный ответ, остались очень довольны, задали еще два-три вопроса и приняли человека в союз.

— Теперь, товарищи, у нас на очереди заявление гражданки Нелидовой с аналогичной просьбой. Выйдите сюда, гражданка Нелидова. Вас не все знают, пусть поглядят, какая вы есть. Нелидова работает у нас, товарищи, с марта двадцать девятого года, в качестве бесплатной ученицы-стажерки, допущенной к учебе в рентгеновском кабинете. Штатной должности помимо этого никакой не занимает. Так вот, товарищи, давайте обсудим, как нам отнестись к этому заявлению и следует ли давать ему ход. Расскажите о себе, товарищ Нелидова.

Леля робко приблизилась к столу.

— Товарищи! Я могу сказать о себе очень мало: ведь мне только двадцать с небольшим лет. Я до сих пор еще нигде не работала. Живу в настоящее время с матерью, отца уже давно нет в живых. Мы с мамой находимся в самом тяжелом материальном положении. Я очень прошу принять меня в члены союза, чтобы облегчить мне возможность поступить на работу. Больше мне сказать нечего. О том, как я здесь работала, пусть скажут другие — те, кто это видели и знают.

Несколько минут длилось враждебное молчание.

— Что-то слишком коротко, товарищ Нелидова. Вы не осветили целый ряд весьма существенных подробностей. Например, ваше социальное происхождение. Чем занимались до Октябрьской революции ваши родители?

Елочка и Леля невольно встретились глазами.

— Моя мама... она ничем не занималась... она была всегда дома... а отца я потеряла, когда мне было всего одиннадцать лет.

— Чем занимался ваш отец? Вы не отвиливайте, гражданочка! Может, лавочка имела или мастерская? Мы все равно узнаем.

Леля вспыхнула.

— Я не увиливаю. Никаких лавочек. Дворянин, военный.

— Так. Ну, теперь ясно. Где погиб?

— Убит в Севастополе в двадцать первом году. — Слово «расстрелян» так и не сошло с губ Лели. В президиуме переговаривались:

— Ясно. Я и сам сразу увидел, что тут есть чего-то — то ли лавочка, то ли погоны! Кто еще хочет спросить? Товарищ Мазутин? Просим.

— Слышали мы сторонкой, гражданочка, что ваш дед дослужился до крупных чинов. Не уточните ли вы этот пункт?

— Мой дед, отец матери, был сенатор первоприсутствующий, а другой дед — полковник, улан Ее Величества.

— А что такое «первоприсутствующий»?

— Не знаю, товарищи. Я была тогда девочка. Я сказала это для того, чтобы вы опять не подумали, что я что-нибудь утаиваю, а что это означает — я не знаю.

— Так. У кого еще вопросы, товарищи?

Спросили по поводу Лелиной работы. Старая докторша в нескольких словах дала блестящую оценку:

— Товарищ Нелидова отличается удивительной понятливостью и быстротой в работе. У нее все горит в руках. За короткое время она научилась производить совершенно блестящие снимки. При этом очень тактична в обращении с больными, а двигается бесшумно. Это безусловно ценный работник. Заведующий кабинетом очень доволен ею. — Берта Рафаиловна явно желала выручить девушку.

Снова наступило враждебное молчание.

— Разрешите мне, товарищи сказать еще несколько слов? — проговорила, замирая от волнения, Леля.

— Говорите, товарищ.

— Я хочу сказать... я была еще девочка при прежнем режиме. Я не успела попользоваться никакими льготами и благами. Отец... дед... я почти их не помню. А нужды и горя я видела очень много. Моя мать... мама такая добрая и кроткая. Она мухи не обидит... Ее нельзя, нельзя отнести к врагам народа... — голос Лели вдруг задрожал, — извините, товарищи, я волнуюсь, но это потому... Если вы сейчас откажете мне в моей просьбе, вы меня все равно что утопите. Мое положение безвыходное.

— Все понятно, товарищ. Собственно, и говорить-то не о чем, — голос председателя звучал все так же сухо. — Кто еще желает слова?

Елочка только хотела сказать «я», как увидела, что поднялась фигура завхоза с его плоской физиономией.

— Товарищи, разрешите мне!

Леля смотрела на него, как кролик на гремучую змею. Елочка, стиснув зубы, уставилась в пол.

— Товарищи! Я, так сказать, ошарашен тою наглостью, с которой предатели продолжают свою работу. Ведь это все тот же клубок, который мы недавно распутывали. Мы полагали, что, удалив Муромцева и его ставленицу, покончили с ними одним ударом, а вот, оказывается, и не покончили. Кто, скажите на милость, этот рентгенолог? Бывший офицер, друг и приятель Муромцева, и эту вот самую гражданочку Нелидову принял по его просьбе — как же не вытащить внучку сенатора; а вот небось когда его попросили взять к себе в ученицы нашу выдвиненку-санитарку, нашел предлог отказать. Товарищи, мы должны сейчас выявить всю нашу пролетарскую бдительность.

И опять плелась и плелась паутина. Бдительности проявилось достаточно, чтобы спасти завоевания революции от такого матерого и опасного врага, как Леля.

Елочка сообразила, что после того, как прозвучала фамилия ее дяди, выступить ей — значило только еще ухудшить положение. И она, и докторша поняли еще и другое: рентгенолог оказывался под ударом... Старая еврейка наклонилась к Леле и шепнула:

— Немедленно берите обратно свое заявление.

Расходились молча; одни — гордые своей классовою сознательностью, другие — с угрюмым видом людей, потерявших зря два часа времени, третьи — подавленные.

Леля исчезла в одну минуту. Боясь скомпрометировать тех, кто ей сочувствовал, она даже не простилась с ними и мчалась почти бегом по темной улице. Около двух лет усилий пропали даром, но сквозь всю горечь неудачи просачивалось еще чувство, до боли сильное, завладевшее теперь всем ее существом. Странная вещь! Говоря перед этим собранием нечестивых о матери, именно в ту минуту, когда она произнесла «мама такая добрая и кроткая», она почувствовала, как внезапно, словно от укола

шприцем, влилась в ее сердце болезненная нежность: усталое лицо Зинаиды Глебовны, ее худые щеки, покорный взгляд и всегда выбивающиеся из прически, преждевременно поседевшие, мягкие волосы — всё это вдруг почувствовалось таким необычайно родным и дорогим! И вдруг на нее нашел страх: а что если мама умрет вот сейчас, без нее? Умрет прежде, чем она прибежит и бросится ей на шею, чтобы сказать, как дороги ей эти морщинки, улыбка и волосы, сказать, что все злое и дерзкое бунтует только на поверхности, как пена в шампанском, что мать дорога ей, бесконечно дорога! И, крестясь, она взбегала через ступеньку по грязной лестнице, ругая голодных кошек, разлетающихся по сторонам.

Зинаида Глебовна, усталым, механическим движением крутившая неизменные цветы в маленькой, почти пустой комнате, вскочила при виде вбегавшей дочери.

— Ну что, моя девочка? Что? Говори скорее!

Леля вместо ответа бросилась матери на шею и разрыдалась.

— Что с тобой, мой Стригунчик? Неужели опять отказ? Да что ж они хотят — чтобы мы с голоду умерли?

Леля, всхлипывая, стала рассказывать.

— «... папа и дедушка!» — безнадежно повторила за дочерью Зинаида Глебовна и присела на табурет, бессильно уронив руки.

— Мамочка! Не расстраивайся, родная! Я ведь тебя люблю, так люблю! Я знаю, что я дерзкая и бываю очень часто черствой. Это находит откуда-то на меня. Но ты мне дорога, очень, очень дорога! Если с тобой что-нибудь случится, я повешусь на этом крюке. Да, да — так и будет! Меня и неудача эта огорчила больше всего потому, что я предвидела твое отчаяние.

Зинаида Глебовна стала гладить волосы дочери.

— Знаю, знаю, Стригунчик! Ты у меня хорошая! — Она вдруг задумалась и спросила с грустной улыбкой: — Ты еще помнишь дедушку?

— Да, мама. Помню, как он приезжал к нам иногда прямо из дворца, в мундире. Я должна была делать реверанс. Помню, как дедушка баловал и меня, и Асю. Помню, как в Киеве во время бомбардировок он нарочно садился к окну, чтобы подать нам пример бесстрашия. И смерть помню в этом страшном поезде, и как большевик-машинист нарочно выбрасывал горючее, чтобы предать нас красным. Все помню. Дедушку положили на деревянную дверь, снятую с петель, и понесли на ней. Кто-то сказал: «Вот так мы погребаем последнего сенатора!» Помню могилу на этой маленькой станции в степи. Я в тот день потеряла своего плюшевого котика в сапогах и плакала сразу и о нем и о дедушке.

Они помолчали.

— Там, под Симферополем, — проговорила, поднося руку ко лбу, Зинаида Глебовна, — море крестов, море... Там погребена вся русская слава. Лучше и нам было лечь там, чем остаться одним в этом государстве негодяев.

— Ах, мама! Ты говоришь чистейший вздор! Ну к чему эти патетические фразы? — с раздражением обрушилась Леля и тут же осеклась, больно оцарапавшись собственными коготками. Но Зинаида Глебовна уже слишком привыкла к капризному тону дочери.

— Ну, не буду, мой Стригунчик, не буду! Ты еще так молода. Я знаю, что тебе жить хочется. Что бы нам с тобой придумать? К кому обратиться? Я слышала, что академик Карпинский выручает очень многих из нашего круга, Горький тоже.

Но Леля упрямо тряхнула кудрями.

— Ну, нет! К Карпинскому мы пойдём, если нас из города погонят, а работу я должна получить сама. Я пойду по больницам с этой бумагой, я ещё раз пойду на биржу... Я не сдамся так скоро! У меня работа будет — увидишь.

## Глава девятнадцатая

— Бабушка! Мадам! Олег! Славчик просыпается! — вопила Ася, стоя у детской кроватки. Олег, уже собиравшийся уходить, бросался из передней обратно в спальню и спешно ловил и целовал розовую пяточку сына. Мадам вбегала из столовой в переднике, Наталья Павловна торопливо подымалась с постели и облачалась в старомодный капот, чтобы не пропустить захватывающую картину пробуждения и утреннего туалета ребенка. Славчик потягивался, закидывая ручки за голову и выпрямляя ножки; вот он приподымает животик, чтобы встать «мостиком», при этом весь сияет — этот плутишка отлично сознает, какую радость он доставляет окружающим своими гимнастическими упражнениями. Для Натальи Павловны пододвигали к кроватке ребенка стул, и она часто подолгу просиживала в глубокой задумчивости, созерцая крошечное личико правнука. Вспоминала ли она своих сыновей, искала ли сходство с родными чертами, старалась ли проникнуть в будущее ребенка... Лицо младенца было захватывающей книгой, над страницами которой задумывались поочередно все; оно было изменчиво, как облачко: вот слегка нахмурился лобик с пушинками, обозначающими будущие брови... не рассердился ли Агунюшка? Вот широко улыбнулся беззубый ротик, похожий на ротик рыбы, и вдруг просияло все личико, а глаза с голубоватыми белками засветились такой безыскусственной и светлой радостью, что лица окружающих людей не могут не расплыться в ответную улыбку. Улыбка так же неожиданно пропала, и углы ротика опустились; трогательная, беспомощная, растерянная гримаска и жалобное «ува» или «ля»; плач становится громче и в нем слышатся ноты отчаяния: молодой человек уже ни на что не надеется и махнул рукой на всю свою жизнь.

— Что с моим Агунюшкой? Он мокренький? Или хочет на ручки к маме?

— Ася, ты опять качаешь его? Ты избалуешь ребенка. Положи сейчас же.

— Нет, бабушка, не избалую. Я лучше всех знаю, что ему надо — он хочет, чтобы мама спела ему про котика-кота. Бабушка, смотри, смотри, он улыбается!

Вечером начинались пререкания с Лелей.

— Дай его теперь мне, Ася. Ты забываешь, что я крестная. Посмотрите, как ему идет нагрудник, который я принесла. Моя мама велела передать, что придет сегодня к ванночке, и, пожалуйста, Ася, уступи маме его вытереть и одеть. Ты знаешь, как мама это любит.

Перед камином протянута веревка и на ней — неизменные пеленки, распашонки и чепчики; на рояле — погремушки. Шуман, Шопен и Шуберт забыты — Ася играет только колыбельные, подбирая «гуленьки» и «кота». Дождалась, что ее вызвали в педчасть и предупредили, что она в обязательном порядке должна сдать полугодовые экзамены. По этому поводу Леля злорадствовала совершенно открыто: «Ну, вот, теперь он будет мой! Теперь уж, хочешь не хочешь, а купать его и нянчить буду я!»

Вскоре после Рождества, вечером, Ася задержалась в музыкальной школе дольше обыкновенного, репетируя в зале «Лунную сонату», которую ей предстояло играть на концерте. Олегу пришлось прождать ее в вестибюле школы, возвращались они бегом, тревожась, что Славчик изголодался. В передней их встретила Леля, а из спальни в ту же минуту донесся нетерпеливый голодный крик ребенка. Скинув пальто и расстегивая блузку, Ася бросилась в спальню; Олег повесил пальто жены и, обернувшись на Лелю, увидел, что она стоит с опущенной головой, опираясь о стол.

— Олег Андреевич, мне необходимо переговорить с вами без свидетелей. Пожалуйста, после чая проводите меня домой, — как-то необычайно серьезно произнесла она.

— К вашим услугам, — проговорил он.

За чайным столом он незаметно наблюдал за ней. Она была очень серьезна, допила уже начатую чашку и поднялась, прощаясь. Он тотчас поднялся тоже.

— Я провожу вас, Леля, если вы разрешите. Там на углу какие-то пьяницы. Одной вам идти рискованно.

Они вышли на лестницу; задумчиво трогая перила, она спускалась с опущенной головой, не начиная разговора. Он шел за ней в настороженном ожидании.

Случайно мелькнуло подозрение: уж не хочет ли она объясниться? Тут же, мысленно пристыдившись, Дашков отогнал эту вздорную фантазию.

Леля остановилась на панели и, оглядываясь по сторонам, сказала:

— Возьмите меня, пожалуйста, под руку — я буду говорить очень тихо. Олег Андреевич, я провела сегодня все утро у следователя на Шпалерной.

Он взял ее под руку, пытаясь ничем не выдать своего волнения, но на лбу выступили холодные капли.

— Я до сих пор не могу прийти в себя. Я точно побывала в аду. И самое ужасное, что завтра к одиннадцати утра я снова пойду... должна идти... туда же... Я никому ничего не сказала; мама так издергана, а я все эти охи и ахи не выношу. Мы бы непременно поссорились, поэтому я промолчала, а между тем, ведь я могу оттуда не вернуться!

— Вы правильно сделали, Леля, что сообщили мне. Говорите дальше.

— Дело в том, что они... странно, как они решились на это... они осмелились... они... — она умолкла.

— Они предлагали вам стать осведомительницей, не так ли, Елена Львовна?

— А как вы догадались?

— Немного знаком с их методами! — усмехнулся он.

— Разговор был мучительный для меня, но в сущности мы толкли воду в ступе, — продолжала Леля. — Начал с того, что ему, мол, обо мне все известно, чтобы я не пробовала увливать. Сказал: «Мы знаем даже, что вы играли в кошки-мышки с младшим сыном великого князя, «высочество» преподнес вам коробку на ваши именины в мраморном дворце, где полагалась квартира вашему отцу». Очевидно, наши соседи, не евреи, а Прасковья с мужем, мельком что-то слышали и сообщили. Я ответила, что кроме моего происхождения, которое действительно всем известно, за мной нет ничего контрреволюционного.

— Молодец, Елена Львовна! Хорошо ответили. Что ждальше?

— А дальше... дальше он начал подъезжать, я не сразу поняла... «Мне вас жаль... вы так молоды и нуждаетесь... я хочу вам помочь и предложить очень легкую работу, которая великолепно оплачивается... Никто не будет знать, что вы отныне наш агент. Обязанности ваши будут самые легкие, а вместе с тем вы не будете иметь нужды ни в чем, не будете дрожать за завтрашний день», — ну, и все в таком же роде... Я не решилась быть очень резкой и ответила, что не могу взяться за такое дело, потому что нигде не бываю и никого не вижу. Он сказал: «Вы будете бывать». Я сказала, что не умею притворяться. Тогда он сказал: «Мы вас проинструктируем, укажем вам несколько приемов, это вовсе не трудно».

— За кем же предлагали следить? Называли какие-нибудь фамилии? — спросил Олег.

— Персонально указали покамест только на Нину Александровну — когда я сказала, что нигде не бываю, он меня поправил: «Вы бываете ежедневно в доме у Бологовской».

— Чем же закончился разговор?

— Опять стал повторять, что ему жаль меня, и предложил подумать. Я ответила, что думать тут не над

чем, стать агентом я не могу. Тогда он сказал: «Мне жаль вас, вы становитесь на опасный путь, мы можем вас запрятать очень далеко, разлучить вас с матерью. А впрочем, я надеюсь, что вы еще одумаетесь. Вы девушка умная и не захотите стать врагом самой себе. Завтра вы подойдете ко мне еще разок — я спущу вам пропуск к одиннадцати часам». Олег Андреевич, если бы вы могли представить, как мне страшно! — И она содрогнулась.

— Не отчаивайтесь, Елена Львовна! Такие угрозы не всегда приводятся в исполнение. Это просто их система — запугивать человека. Я был в таком положении и, однако же, несмотря на мой категорический отказ, до сих пор цел. Держитесь. Позволить затянуть себя в это болото — это хуже ссылки и лагеря. Могу вас уверить. Не давайте им подметить в себе колебание или страх. В таких случаях чем категоричнее ваш отказ — тем лучше. Знаю тоже по опыту.

— А что если он меня арестует? Мама с ума сойдет, если я вдруг исчезну!

— Могу обещать вам, Елена Львовна, что завтра же прямо со службы заеду к вам и, в случае несчастья, как только смогу поддержу Зинаиду Глебовну. И не я один — вы знаете, как мы все любим и уважаем вашу маму.

— Заключение... холодно, темно, страшно... а вдруг меня будут бить? А вдруг меня...

— Елена Львовна, почти наверно — вас не задержат. Ведь вам не предъявлено обвинения, пусть вздорного, а все-таки обвинения...

— Ну, что же? Сколько вы еще будете думать? Уже битых три часа мы с вами толкуем и все не можем столкнуться. Отвечайте: согласны?

— Я уже ответила: предательницей я быть не могу!

— Как вы любите громкие, ничего не значащие слова, которых потом сами же пугаетесь. К чему наклеивать ярлыки! Каждую вещь можно рассмотреть с разных сторон. Возьмем пример: должно произойти нападение на мирный дом, где дети, женщины; вам случайно это становится известно — ведь вы сочтете же своим долгом сигнализировать милиции? Или другой пример: во время империалистической войны в России орудовали немецкие шпионы, в Германии — русские, обе стороны своих считали героями, чужих — подлецами. Что вы на это скажете?

— Это... это совсем другое! Это... за Родину!

— А у нас — за рабоче-крестьянское государство, первое и единственное в мире. Какая же разница?

— Большая, очень большая разница. Нет, не могу.

— Заладили одно и то же. Ну, не можете, так сидите здесь еще три часа, еще подумайте.

— Я больше не могу оставаться здесь, не могу. Я пришла к вам в одиннадцать, а сейчас четыре. Меня ждет мать, она будет беспокоиться, она не знает, где я.

— Вы что, смеетесь, гражданка? Какое нам дело до какой-то вашей матери? Для нас существуют лишь интересы государства. Сидите. Часа через три я приду, если успею. А то так завтра.

— Что вы? Как завтра? Разве можно не вернуться домой на ночь? Я не могу, уверяю вас, не могу! Отпустите меня, пожалуйста.

— Вы что же, не понимаете, где находитесь, гражданка? Тут ваши «пожалуйста» и «мамаша беспокоится» не помогут. Подпишите соглашение сотрудничать — тогда будем говорить как добрые друзья, а не желаете — пеняйте на себя. Я рад помочь вам и вашей матери, вы сами этому препятствуете.

— Но вы предлагаете мне подлость, я не могу пойти на это.

— Скажите, какая самоуверенность! Говорит, словно полноправная гражданка! Как будто мы не знаем, что вы за птичка: перепёлочка недострелянная; ну, да ничего, дострелим! Видите эту бумагу? Это приказ о вашем аресте. Мне начальник давно велит вас задержать, но я вас жалею за молодость — все жду, что одумаетесь. Ну, а нет — дам ход приказу. Сколько мне еще с вами валандаться? Запрячу вас куда Макар телят не гонял — огепеу может все! Штрафной концлагерь! Под конвоем копать землю! Ходить будете под номером! Руки назад! А мать вашу в другой такой же! Поняли, наконец? Согласны теперь?

— Не знаю... не знаю... Боже мой, какая я несчастная!

— От вас зависит. Можете даже очень счастливой стать. Вы молодая, интересная, оденетесь, с нашими ребятами на вечера ходить будете, на курорт поедете, службу получите. — Он сладко улыбнулся.

— От вашей службы лучше повеситься.

— Будете работать по специальности. Я вам уже присмотрел место рентгенотехника.

— Место рентгенотехника? Да как же? Ничего не выйдет — меня даже на биржу не берут.

— Коли я говорю, значит, будет место. Никакой биржи нам не надо. Завтра же получите направление. Валяйте, подписывайте! Чего вы боитесь? Я вам самые легкие, безвредные обязательства подберу. Вынуждать показания у вас никто не собирается. Клеветать на людей вас не заставят. Вы можете десять раз прийти с известием, что ни за кем ничего не заметили. Нет так нет — только и всего. По рукам, что ли?

Лицо его сияло доброй улыбкой, будто он уговаривал ее пойти с ним в кино. Она молчала.

— Есть такое? Согласны? Опять молчите? Решайте, черт возьми! В лагерь или на работу? Ну?

Добрая улыбка прыгнула с его лица, как лягушка. Леля закрыла лицо руками.

— Устраивайте на работу, согласна. С тем только, чтоб без вымогательства. И еще условие: за близкими я следить отказываюсь — предупреждаю. А впрочем, за ними заметить нечего. Я на работе только буду следить и если что замечу, сама приду и скажу, вы меня не вызывайте.

— Ладно, договоримся. Вы увидите сами, как с нами хорошо работать, надо только начать. Еще как довольны будете! Мы вам конспиративную кличку придумаем, что-нибудь изящное, экзотическое... Гвоздика, или тубероза, или олеандра. Лучше всего гвоздика. Так вы и подписывать свои сообщения будете. До свидания, товарищ Гвоздика... чуть не сказал мадемуазель Гвоздика. И помните: никому ни слова, если не желаете попасть в лагерь.

Зинаида Глебовна уже больше полутора часов стояла на лестнице и, увидев наконец дочь, бросилась ей навстречу с тревожными восклицаниями.

— Оставь, мама, не спрашивай, потом объясню. Я очень устала.

Она вошла в комнату и бросилась в постель. Зинаида Глебовна несколько минут постояла над ней.

— Девочка моя, скажи мне только... — робко начала она.

— Ах, мама, не спрашивай! Ну, один раз в жизни не спрашивай! Накрой меня, мне холодно.

Зинаида Глебовна укутала ее пледом и присела на край постели на кованом сундуке.

— У тебя не болит ли головка, Стригунчик?

— Да, да, болит, очень болит. Не разговаривай со мной, мама, не спрашивай.

— Дорогая моя! Как могу я не спрашивать? Ты вернулась измученная, на тебе лица нет; тебя не было шесть часов, и ты хочешь, чтобы я тебя не спрашивала? Не сердись на свою маму... Скажи мне



только, где ты была? Может быть, что-нибудь случилось? Может быть, тебя... мужчина...

Леля приподнялась.

— Я безжалостна к тебе, как всегда. Ничего такого, мама, не случилось, я — цела. А только... видишь ли... опять неудача: я ходила условиться в одну больницу... надеялась... прождала заведующего... и ничего не вышло. И вот от всего этого у меня голова разболелась.

Зинаида Глебовна перекрестилась.

— Ну, слава Богу, слава Богу, Стригунчик, что только это! Спи. А я пойду постирну твою блузку.

Она вышла было, но через несколько минут снова приоткрыла дверь.

— Что ты, мама?

— Еще не спишь, Стригунчик? Пришел Олег Андреевич: я сказала ему, что у тебя болит головка, но он просил все-таки передать тебе, что пришел.

Леля несколько минут молчала.

— Попроси его войти, мама, и оставь нас. Нам надо обсудить один план, это — сюрприз... попроси, мама.

Она села на кровати, поджав ноги и зябко кутаясь в плед. Вошел Дашков.

— Олег Андреевич, я высидела у следователя шесть часов. Я держалась сколько могла. Я не хочу лукавить с вами: в конце концов, я не устояла. Он пригрозил мне штрафным концлагерем и разлукой с мамой. Я слишком была запугана и... согласилась сообщать... не о своих, о чужих, конечно. Согласилась только на словах, разумеется, я не погублю ни одного человека. Я хочу вас просить никому не говорить об этом и самому не смотреть на меня как на шпионку. Неужели мне надо доказывать, что я скорее умру, чем перескажу хотя бы одно слово Аси, ваше или Натальи Павловны! Надеюсь, вы во мне не сомневаетесь?

Он смотрел на неё, кусая губы.

— Олег Андреевич, вы презираете меня теперь?

— Нет, нет, Елена Львовна! У них в лапах устоять нелегко. Я только бесконечно вас жалею. Вы сейчас попали в очень трудное положение.

— А может быть, не так уж страшно? Я согласилась работать на очень определенных условиях: следить я буду только на службе...

— Как на службе?

— Ах, да! Я еще не сказала: он обещал мне место рентгенотехника, у меня будет работа в больнице, настоящая честная служба, только дают ее мне с условием, что я буду... буду сообщать. Но, поскольку мне обещано не вымогать показаний, я могу отвечать, что ни за кем ничего не заметила. А как-нибудь однажды, чтоб отвязаться, выберу кого-нибудь из их же среды, махрового партийца или гепеушника, и на него наплету — на такого, которому ничего за это не будет. Другого выхода у меня не было!

— Елена Львовна, вы все еще не поняли, с кем вы будете теперь иметь дело — для них не существует условий, вам снова и снова будут грозить все тем же концлагерем. Вы показали свою слабость, и теперь вас в покое уже не оставят, я ведь вас предупреждал! Они, конечно, будут требовать показаний о всех тех людях, с которыми вы встречаетесь. Из вас, как клешнями, будут вытягивать эти показания. Вас будут проверять, вам будут подкидывать разговоры... Знаете поговорку: «Коготок увяз — и всей птичке пропасть»?

— Птичке? Он тоже назвал меня птичкой, недострелянной перепелкой. «Дострелим», — сказал он.

— Бедное ты дитя! — произнес Олег с глубокой мягкостью в голосе и взял ее руку.

— Олег Андреевич, ведь вы верите, не правда ли, верите, что никогда ни вас, ни Асю... что я неспособна на это... верите? Вы не будете остерегаться меня? Если я это замечу, я... я...

Он никогда не слышал таких нот в ее голосе, таких усталых, безнадежных, безрадостных...

— Я верю в чистоту ваших намерений, Леля. Верю, что вы всей душой постараетесь этого избежать, но... Чем дальше, тем труднее!

Зинаида Глебовна, которая вошла в комнату, положила конец этому разговору. Они простились.

— Стригунчик, ты с утра не ела, принести тебе супцу?

— Нет, мама, спасибо. Я устала, я так устала! Я, кажется, буду больна. Ночь такая длинная, длинная...  
Дай мне заснуть.

## Глава двадцатая

— Товарищ Казаринов, у меня к вам дельце. Не войдете ли ко мне на минуту? — Вячеслав окликнул Олега, выходившего из комнаты Нины.

Молодые люди сели друг против друга.

— Какое же дело? Располагайте мной, Вячеслав. — И, видя, что юноша мнется, Олег прибавил: — Я не болтлив. Никому ничего не передам. И сам не имею привычки задавать вопросы.

Вячеслав сконфуженно пробормотал:

— Бегает сюда с вашей женой подружка... И снова умолк, теребя свою всегда всклокоченную шевелюру.

— Совершенно верно, Леля Нелидова. Она и Ася — двоюродные сестры.

— Стало быть, и она из господ? Так я и подумал. Эх, жаль! Девушка очень уж располагающая, стройненькая, что твоя осинка, и кудрявая, и бойкости этой чрезмерной нет, вот как теперь у многих...

— Хотите, я познакомлю вас? — спросил Олег.

— Не то что познакомиться... Мы с ней уже ровно бы и знакомы... А устройте вы мне, Казаринов, случай куда-нибудь с ней пойти... да поговорить... Выручите по-товарищески...

— С удовольствием, Вячеслав. Только для начала пойдем все вместе. На этих же днях я что-нибудь организую, как будто бы случайно. Можете положиться на меня. Незаметно и слово за вас замолвлю, а дальше уж от вас будет зависеть...

— А кто родители ее? — угрюмо спросил Вячеслав, размышлявший, по-видимому, над тем же, над чем вмиг задумался Дашков.

— Отец — адъютант высокой особы, дед — гвардейский полковник, другой дед — сенатор. Теперь бедствуют, разумеется, и она и мать, — прибавил Олег не без умысла.

— А что же такое?

Олег изложил коротко злоключения Лели, которую на другой же день после несчастного собрания отчислили вовсе, даже от стажерства.

— Да как же так получилось у них в месткоме? Уж не сводились ли какие личные счета? Это ведь перегиб явный, — сказал Вячеслав.

— Перегиб! — жестко усмехнулся Олег. — Хорошее это у вас, у партийцев, словечко! Удобное! Им можно объяснить все: разорение хутора, истребление семьи, сровненную с землей Иверскую, затравленных ученых — таких, как Платонов и Тарле. Жаль, что у Царского правительства не было в запасе такого словечка, — за счет перегиба ведь можно было бы отнести и «кровавое воскресенье» и Ленский расстрел! Перегиб — и все тут! Как вы полагаете, а?

Вячеслав был слегка озадачен и не нашелся, что сказать.

— Я все время разыскивал одну знакомую семью и только недавно напал на след, — желчно продолжал Олег. — Глава семьи, по вашим понятиям, преступник, не заслуживающий снисхождения, ибо он — редактор «Нового времени» и преподаватель великих князей, с ним не поцеремонились — расстрелян! Но вот семья... Старший сын — семеновский офицер, мой ровесник — расстрелян! Дочь провела год в заключении и в настоящее время выслана в Сибирь; младший сын от страха репрессий

отрекся от родителей, «отмежевался», как принято это называть в коммунистической морали; а мать... ну, а мать после всего, что на нее обрушилось, бросилась из окошка полгода тому назад... разбилась намертво. Как вам кажется, не было ли здесь «перегиба»? Вымещать на семьях! Да это водилось только во времена Иоанна Грозного! Революционеры из «Народной воли» и даже сами большевики, работая в подполье, никогда не опасались за родителей и детей. А декабристы? Вы, конечно, слышали о декабрьском восстании — полки на площади столицы, Каховский стреляет в самого императора... Пять человек повешено. А ну-ка, если б такое восстание разразилось теперь? За никому не известное, недоказанное вредительство расстреливают пачками, что же было бы, если б события достигли размеров декабрьского бунта? Я со стороны матери потомок декабриста, и вот та репрессия, которую я с детства привык считать жестокой, кажется мне пустяшной, не стоящей внимания после всего, что мне пришлось видеть за последние годы. Концентрационные лагеря для жен ответственных работников — слышали вы что-нибудь подобное в царской России? Ни одна из жен декабристов не была репрессирована. Я не удивлюсь, когда объявят военным преступником меня, и если в один прекрасный день военный трибунал вынесет смертный приговор князю Дашкову — активному белогвардейцу, — я найду его вполне заслуженным. Но, когда меня травят как Казаринова, который отбыл шесть с половиной лет лагеря за то только, что не выдал товарища, и когда я знаю, что в случае расправы со мной будут всячески преследовать и мучить до последнего вздоха мою жену и моего ребенка, — я не могу не думать, что ваш коммунизм — кровавое пятно в истории России. И вы уверяете при этом, что указываете путь к прогрессу и счастью, вы?!

Дашков умолк, спохватившись — слишком много эмоций он вложил в окончание своей речи.

— Очень здорово вы говорите, Казаринов. Слова у вас так и льются. И все-то во вред нашему строю! Опасный вы человек, как пораскинешь разумом! Террор не по вкусу вам? Лес рубят, щепки летят, товарищ Казаринов, а рубить-то его надо. Не устрой мы красного террора — не устоять Советской власти. Капиталисты и помещики всех стран рады нам наступить на горло, а внутри нашего Союза врагов и вредителей — не пересчитать! Вы, поди, лучше меня их знаете. Кому неохота от своих привилегий отказываться — мы тому как бельмо на глазу. Моего прадеда помещик в карты проиграл. Меня небось не проиграют. Я учусь, работаю, никому кланяться не обязан. Трудные бытовые условия? Ну, что ж! Мы этого не боимся, пусть трудные! Сейчас переломный период: трудности возникают из-за крестьянского саботажа. Идея колхозных хозяйств — одна из величайших идей в мире! Вот победит колхозный строй, и увидите, как расцветет наш Союз! А сейчас — период становления. Деревня ропщет потому, что не понимают люди сложности момента, не видят дальше своего носа. А спросите-ка их: хотят ли они возвращенья царского режима? Пусть им вернут белые булки, возы муки, капусты и гороха и ведра яблок, даже приусадебные участки втрое больше теперешних, — и все равно не захотят.

— Ну, это еще неизвестно! Посулите им, что у них будут свои собственные поля, и захотят. Во время гражданской войны крестьянская масса присоединилась к вам после лозунга «Земля — крестьянам!» Это решило вашу победу, а теперь вы у них эту землю отнимаете под совхозы и колхозы.

— Нет, не отнимаем. Мы проводим переустройство деревни, ломаем старые формы. Борьба за ликвидацию мелких собственников рушит уклад жизни, сложившийся веками, но мы, коммунисты, трудностей не боимся. Будущее — за нами. Вот переустроим деревню — легче будет; закончим первую пятилетку, а потом вторую — еще легче! Наши лозунги привлекают внимание. Будь наша программа нежизненна, мы бы не победили! Ведь наша молодая республика устояла едва ли не против всей Европы. Мы вышли победителями из гражданской войны, а потом из разрухи. Теперь вот ГЭС и Беломорканал построили, а сколько еще построим! За деревню взялись... Когда я про это думаю, я словно слышу, как земля дышит. Во мне этак растет, да, растет желание трудиться! Я знаю, что со мной миллионы других вот так же... Эх, говорить-то я не умею!

— Умеете, Вячеслав, потому что говорите искренно! Только я вот что-то не верю, что с вашим сердцем бьются в унисон миллионы других сердец. Если бы много было таких, как вы, — искренно и бескорыстно преданных идее, — не было бы всей этой мерзости, которая мутит мне сердце. Я понимаю, что в самом принципе аристократизма есть нечто возмутительное, несправедливое в самом корне: небольшая часть общества оттачивает, утончает и облагораживает свои чувства и свой мозг в то время, как вся масса поглощена борьбой за существование. Но ведь положение, при котором возможно было это различие, уже отмирало, дворянство разорялось, оно уже потеряло свои привилегии. Еще две-три либеральные реформы — и с этим порядком было бы навсегда покончено. А те реки крови, в которых вы пожелали утопить людей, вместо того чтобы разумно использовать их, привели только к тому, что вы истребили интеллигенцию, во всяком случае, потомственную, рафинированную. Попробуйте обойтись без нее! У вас уже теперь не хватает «кадров», а чем дальше, тем будет хуже. Вам грозит полный застой мысли. Культура воспитывается поколениями, вы разрушили то, что создавалось веками!

Вячеслав взглянул на него загоревшимся взглядом.

— Как вы метко про аристократизм сказали! Я именно это думал, только определить не мог. Да, да! Само благородство возмутительно и ненавистно, как растение паразитические!

Олег нахмурился:

— Рад, что помог вам уяснить вашу мысль, Вячеслав. Но мы, по-видимому, не убедим друг друга. Заключение наши как раз обратные. Вячеслав, послушайте! Ни я, ни другие, подобные мне, «бывшие» никогда не были и не будем «вредителями». Мы можем быть врагами в бою, мы можем влиять идейно, но на службе, там, где нам доверяют, где нам за нашу работу платят деньги — мы работаем не за страх, а за совесть. Вредительские процессы, за очень редким исключением, — клевета с целью найти оправдание своим неудачам. Лично я ни одного вредителя не встречал и не знаю. Ну, а теперь мне пора.

Он встал и взял фуражку. Изящество этого жеста и этих тонких узких рук бросилось в глаза Вячеславу.

— Вон руки-то у вас и по сю пору еще холеные. Труд-то, видать, не больно вам знаком, — сказал он жестче, чем, может быть, хотел.

Олег быстро и зорко скользнул по нему взглядом.

— Шесть с половиной лет тяжелых каторжных работ, да и теперь дома я всегда сам заготавливаю дрова для печек. Если руки кажутся холеными, то потому только, что я с детства приучен заботиться, чтобы они имели приличный вид. Это может сделать каждый, я полагаю.

В коридоре они натолкнулись на Аннушку, которая, стучась к Нине, говорила:

— Выдь к ней, Александровна. Не знаю, кто такая. Спрашивает тебя или Мику.

Молодые люди вышли в кухню. Там, на подоконнике, на фоне серой глухой стены противоположного дома, сидела незнакомая женщина лет сорока. Олег принял ее сначала за дворничиху или сторожиху — она была в ватнике и в платке; но почти тотчас ему бросилось в глаза благородство того наклона головы, которым она ответила на слова Аннушки «Нина Александровна сейчас выйдут».

Олег и Вячеслав уже подходили к двери, когда услышали позади себя восклицание Нины: «Ольга Никитична!»

Женщина порывисто поднялась навстречу Нине.

— Извините, что я позволила себе прийти к вам, хотя я только сегодня *оттуда*. Я хочу узнать о детях. Меня выпустили на один день. С вечерним поездом я должна ехать в Караганду, а моя комната на замке. Бога ради, где Мэри и Петя? Неужели высланы?

— Нет, нет! Мэри здесь. Мика ее видит. Она в каком-то общежитии. Мика скоро придет и скажет вам адрес, — мямлила Нина, будто можно было до бесконечности тянуть тот миг, когда придется сообщить о смерти сына этой женщины.

— А сын? А Петя?

На лестнице, уже спустившись на несколько ступенек, Олеге пытливым взглядом обернулся на Вячеслава, закрывавшего за ним дверь:

— Ну, что вы думаете об этой сцене? Не кажется ли вам, что здесь опять «перегибчик»?

Дома он нашел всех в радостном оживлении: только что прибежала Леля с известием, что получила службу. Выслушивая радостные поздравления Натальи Павловны и мамы, Олег оставался «при особом мнении». Длинные светлые лучи, заструившиеся из глаз Аси, почти тотчас сменились выражением тревоги, встретив тень в карих глазах подруги.

— Ты еще не совсем поправилась, Леля? — тревожно спросила Ася.

— Нет, я здорова.

— Отчего же ты не радуешься?

— Я радуюсь.

— Нет, Леля. Я вижу, что нет. Тетя Зина то же самое скажет.

— Не забывай, что я неделю с температурой лежала. Я очень ослабела. И потом, меня все-таки волнует, что больница тюремная. Решетка, пропуска... При уходе с работы нас в любой день могут подвергнуть обыску, а в канцелярии с меня, как с вновь поступившей, взяли подписку, что никаких сведений о здоровье и других изустных поручений я от больных принимать не буду. Еще предупредили, что больные часто просят взять от них письмо и опустить в почтовый ящик. Этого тоже делать нельзя.

Олег, взявший газету, оторвался на минуту от чтения и сказал:

— Имейте в виду, Елена Львовна, что вас непременно будут проверять. Увидите, в один из первых же дней вас кто-нибудь попросит опустить письмо. Не соглашайтесь — это будет провокатор.

— Провокатор? Среди заключенных?

— Ну, разумеется! Чему вы удивляетесь? За сокращение срока или дополнительную порцию к обеду очень многие охотно берут на себя такую обязанность, в тюрьме ведь не только политические, а добрая треть уголовного элемента.

Она растерянно и со страхом взглянула на него.

Через несколько дней после того, как Лелю зачислили в штат, Олег позвал ее и Асю в порт на устраиваемый там по какому-то случаю вечер. В зале к ним подошел приглашенный Олегом Вячеслав. Рыжий вигоневый свитер до ушей и накинутый поверх измятый пиджачок напомнили Леле «товарища Васильева».

Когда по окончании вечера вышли из здания, Олег взял под руку жену и предоставил Лелю заботам Вячеслава.

— Ну, как идет работа, Елена Львовна? — спросил Вячеслав, забирая девушку под руку. — Слышал я, место получили? Спервоначально трудновато вам, поди? Ну, да ничего, приобвыкнете. Поспеваете справляться или затирает?

— Ничего, справляюсь, поспеваю, — нехотя ответила Леля.

— Врач-то хорош с вами? Не зазнается? — словно не замечая односложности ее ответов, продолжал спрашивать Коноплянников боевым тоном. — Гляжу, много еще в этих самых врачах старой закваски, все еще они себя господами считают, любят над средним персоналом покуражиться. Вы им спуску-то не давайте, чуть что — в местком.

— На врача не жалуюсь, трудности не в том, — сказала Леля, — я аппаратуру плохо знаю. Ведь я работала до сих пор с аппаратом только одной системы и могу стать в тупик даже перед перегоревшей пробкой.

Мало-помалу разговор пошел оживленнее. Вячеслав почувствовал себя увереннее и перестал говорить, как кучер, ухаживающий за кухаркой. Леля тоже перестала стесняться его; прощаясь, улыбнулась приветливо.

Через несколько дней были именины Нины, которые праздновались очень скромно в кругу семьи. Когда все уже сидели за ужином и Нина включила электрический чайник, неожиданно произошло короткое замыкание. Олег вышел в кухню, чтобы переменить пробки, и увидел там Вячеслава, который сказал ему:

— Давайте-ка сюда Елену Львовну, Казаринов. Я покажу ей, как пробки переменять. Она перед ними в тупик встает.

И при колеблющемся свете сальной свечи Олег разглядел сконфуженную улыбку юноши. Он вызвал из-за стола Лелю и предоставил Вячеславу принести ей табурет и взгромоздиться с ней рядом.

— А ну, влезайте-ка, товарищ рентгенотехник, мы вам сейчас будем квалификацию повышать.

Олег заметил, что он был первый раз в галстук, завязанном безобразно.

Коноплянников продолжал ухаживать за Лелей. Она к этому времени уже перестала общаться с элегантно-пышными кутилами из армяно-еврейской мафии — сей деловой «свет», швыряющий в ресторанах направо-налево советские деньги, попал в сферу внимания карательных органов; напуганные несколькими арестами, нувориши спрятали в норах свои веселые мордочки. К тому же и Ревекка, и ее друзья с их пошловатыми ужимками уже перестали забавлять Лелю.

Наконец наступил день, когда Вячеслав решился на объяснение.

— Вот что я хотел вам сказать, Леля, в прошлый раз еще думал сказать, да прособирался... не так оно просто! Но, потому как я не трус и прятаться не привык, лучше скажу теперь все: ни одна девушка мне еще никогда так не нравилась. Вы у меня все сердце обеими руками взяли. Я ведь отлично вижу, что мы с вами разного круга, знаю, что во мне этого вашего дворянского воспитания нет. А только вы не думайте, что это самое что ни на есть важное — теперь с одними дворянскими ухватками далеко не уйдешь. Вот я смотрю, вы — как челночок, с цепи сорвавшийся: несет вас куда попало, того и гляди прибьет к чужому берегу. А я человек с установкой, меня не сбить, я иду с жизнью в ногу, у меня хватка есть, а это теперь всего нужнее. Коли бы мы с вами столкнулись теперь жить вместе, так равно, как вы мне, так и я вам во многом бы пригодился. Уж как бы я вас берег и любил, мою кукушечку ненаглядную! Никому бы не дал в обиду, а тем временем и сам бы у вас кое-чему понаучился. И так бы складно у нас все было! Мы вон с Олегом Андреевичем почти приятелями сделались. Нина Александровна тоже со мной хороша. Я так думаю, что никто из ваших сродственников особенно и против-то не был, кроме, может, вашей мамы да старой генеральши в черной вуали... Ну, да ведь не им жить, а вам. Со мной вы сможете быть счастливой. Очень я вас полюбил и всеми бы силами во всем для вас старался! Мне верить можно.

Девушка молчала, взволнованная и смущенная. Это было первое в ее жизни предложение. В голосе Вячеслава не мелькнуло ни единой фальшивой ноты, ему можно было верить, и это действительно стало

бы выходом из запутанного положения... Но всё время сравнивать мужа Аси со своим... Об этом даже секунду нельзя всерьез подумать. Какой удар был бы для мамы!

В церковь он, конечно, не пойдет, ограничится загсом. На свадьбу придут его товарищи, напьются, будут мычать о счастливом коммунистическом завтра...

Вячеслав дотронулся рукой до ее плеча. Она посмотрела в его глаза. Нечто напряженное и чудесное было в его взгляде, и Леле самой было больно вымолвить:

— Спасибо вам, Вячеслав. Я очень тронута. Мне жаль вас огорчать, но... я вас не люблю, не обижайтесь на меня.

Работа в рентгеновском кабинете больницы понемногу налаживалась. Скоро Леля вошла во все ее детали, и сосущая, мучительная тревога, сопутствовавшая ей каждое утро по дороге на службу, стала понемногу затихать.

Обещанной Олегом провокации пока не случилось. Зато в одно утро в кабинет на носилках принесли больную женщину в тяжелом состоянии. Лицо ее, почти восковое, показалось Леле очень одухотворенным. Она быстро взглянула в правый верхний угол «истории болезни», где ставилась статья, и увидела роковую цифру — 58.

Помогая ставить за экран шатающуюся от слабости больную, Леля незаметно быстро пожала ей руку. Через несколько минут рентгенолога отозвали из кабинета к главному врачу, а санитарка, посланная за результатами анализов, еще не вернулась. Леля осталась на минуту одна с больной.

— Сестрица! — заговорила та, озираясь. — Я вижу, вы интеллигентный человек и сердце у вас еще не очерствело. Пожалейте меня, дорогая: у меня во время обыска отобрали и, очевидно, уничтожили мои стихи, за них и приклеили мне пятьдесят восьмую. Я кое-что восстановила по памяти уже здесь, в больнице. Возьмите из-под подушки тетрадь — я все жду случая, с собой таскаю. Тяжело умирать, зная, что все погибнет. Сберегите до лучших дней!

Сколько ни говорила себе Леля, что следует быть осторожней, этот разбитый голос и это лицо настолько ее взволновали, что она тотчас схватила тетрадку и, юркнув в проявительскую, спрятала ее в ящик со светочувствительными пленками. Ящик этот был исключительно в ее ведении: открывать его можно было только в темноте, ориентируясь в нем ощупью, санитарка не имела права его касаться, врач сюда не заглядывал. Ей удалось потом благополучно вынести тетрадь на груди под джемпером; мысли о провокации она не допускала, но возможность случайной проверки заставляла тревожно замирать сердце. Дома и у Натальи Павловны она, разумеется, рассказала все. Наградой за перенесенный страх было для нее то, что Олег пожал ей руку, говоря:

— Я знал, что вам будет тяжело в этой обстановке. Будьте очень осторожны, Елена Львовна.

Слова эти растопили тот тонкий ледок, который установился было между ними.



## Глава двадцать первая

«От юности моя мнози борят мя страсти. Но Сам мя заступи и Спасе мой!» — пели в маленькой церкви бывшего монашеского подворья, в полутемном углу около колонны.

Тонкий девичий голос Мэри зазвенел речитативом, придерживаясь одной ноты: «Глас шестый. Подобен: о, преславная чудесех...»

Хор подхватил печальный протяжный напев.

Как только Всенощная стала подходить к концу, Мика начал пробираться вперед и увидел в самом темном углу маленькую сухощавую фигурку инок. Это был высланный из Одессы в Ленинградскую область епископ, который под воскресенье приезжал потихоньку в храм. В области уже не оставалось церквей. Он попал из тюрьмы в ссылку, и одному Богу было известно, где и на что живет этот неизвестный мученик. Огепеу настрого запретило ему служить, но Братский хор всякий раз из своеобразного церковного этикета пел «испола эти дэспота», как только замечали в углу храма худощавую фигуру старика в черном монашеской скуфье.

Мика нашел Мэри на полутемном клиросе. Она складывала ноты и Часослов. Когда они вышли вместе на паперть, ветер, морщивший лужи среди талого снега в церковном саду, бросился играть косынкой Мэри.

— Хочешь пройтись пешком — поговорим? — спросил Мика, подхватывая конец косынки.

— Хочу, только мне опоздать нельзя: я подаю ужин и читаю в трапезной, — ответила она.

— Счастливая ты, Мэри! У тебя нет домашних будней, твои хозяйственные заботы — послушание, как в монастыре. А у меня!.. Нина требует, чтоб я окончил школу, а что такое эта гнусная теперешняя бумажонка о среднем образовании? У нас половина класса полуграмотные, серенькие. И они пойдут в вуз. Мне-то туда все равно хода нет — дворянин товарищ.

— Будней у каждого довольно, Мика! Это так кажется со стороны при беглом взгляде, что там, где нас нет, и этих будней нет. Уверяю тебя, что они за каждым плетутся в разном виде. Я попала в очень трудное положение, Мика. У нас в общежитии все служат, кроме меня, и по своей карточке, как лишенка, я не получаю ни сахара, ни масла. Сестра Мария поручила мне все хозяйство и ставит дело так, что я такой же полноправный член общины, как и все, раз я достойно несу свои обязанности по дому. Средства считаются общими, и все-таки я всегда остро чувствую, что не имею своей копейки. Я ни о чем не смею сказать: вот подошвы у меня совсем, дырявые, перчаток нет, маме нужно послать хоть сколько-нибудь... мама без работы и живет в углу... но разве я посмею заикнуться об этом? Такая мелочь, как шпильки себе в волосы и кусочек мыла в баню, — ведь и это надо купить, а мне не на что. Если бы ты знал, как я стараюсь быть полезной: я выстаиваю огромные очереди за картошкой и за керосином, я режу овощи, мою котлы и посуду, я почти не выхожу из кухни. Иногда я начинаю думать, что скоро забуду все, чему выучилась, и отупею. Кончить школу и попасть в прислуги! Это недостойные мысли — я знаю. Я не ропщу, но мне очень тяжело. Я часто просыпаюсь утром с чувством тоски за то, какой мне предстоит день. С мамой я на богослужение шла как на праздник, а теперь я уже устала от служб, часто и с тоской жду их окончания. И ноги, и голос — все устало. Мне тяжело подыматься к ранней. Вот Катя и Женя могут сказать: я сегодня останусь дома; а я не смею — надо читать, надо петь, значит — иду. На днях, утром, мне очень нездоровилось, я охрипла.

— Ну что ты, Мэри! Ты же обычно такая мужественная! — пробормотал кое-как Мика.

— Я знаю, что это — слабость, но я ведь только с тобой могу говорить. Знаешь, я не очень высокого

мнения о наших общежитских сестрах. Есть в них что-то мещанское — мелкие счеты, преувеличенный интерес к еде... А я с моим характером всегда готова вспылить, если мне что-то не нравится. Сестра Мария одна сдерживает нас всех своим благородством. Без нее я здесь не останусь ни одного дня, я уже решила. Здесь тотчас все развалится, распри начнутся...

— Ну, это еще неизвестно, что будет. Не допустим, чтобы развалилось. А к Ольге Никитичне ты уехать не хочешь?

— А наша жилплощадь? Ведь мы тогда навсегда потеряем ее. Пока я здесь прописана, еще есть какая-то надежда, что мама и папа вернуться сюда. А если я уеду — кончено! Комнату по теперешним порядкам у нас отберут, и тогда всю жизнь скитаться по чужим углам. Мама ни за что не хочет, чтоб так случилось. На меня уже раз соседка донесла, что я не живу и не отапливаю. Удалось кое-как замаять, но мне необходимо появляться на нашей квартире хотя бы два раза в неделю. В тот день, когда мамочку выпустили, у нее было только двенадцать часов на сборы; пока она нашла меня, еще меньше осталось. К тому же она только что узнала про Петю, сам понимаешь, в каком она была состоянии. Когда мы пришли с ней на нашу квартиру, мы не могли говорить о делах, а проплакали почти до вечера. Собиралась мама наспех за двадцать минут. Она спрашивала меня, почему я оказалась на Конной, и я должна была рассказать о слесаре и как ты предостерег меня. Мама очень жалела, что сама не может тебя поблагодарить, а меня заставила дать ей слово, что я останусь у сестры Марии, пока ее и папы нет. Но из-за этого доноса приходится бегать домой. Стараюсь делать это днем, топлю печь и шумлю побольше, чтобы старуха слышала, а убегаю потихоньку — пусть думает, что я спать легла. И все-таки все время боюсь нового доноса.

Они уже стояли на лестнице, и, говоря это, она поворачивала ключ. Сестра Мария усадила Мику ужинать: общая трапеза в строгом молчании, при чтении житий святых, постные блюда. Читала Мэри, и читала стоя; он несколько раз вспоминал, что она устала, с тревогой смотрел на сосредоточенное лицо, освещенное маленькой свечечкой, прилепленной к аналою. После всех, в уже опустевшей трапезной, села есть она сама и указала ему на табурет около себя.

— Я тебе не успела рассказать еще о папе, — начала она. — В последнее время он получил разрешение выходить за зону оцепления — это нужно по роду его работы. Ему выдали пропуск на право свободного хождения, ну, а там, в поселке за зоной, живет одна наша знакомая, которая была в том же лагере и кончила срок. Деваться ей некуда, и она осталась пока там. Папа иногда заходит к ней между работой. Она поит его чаем и дает читать газеты. Об этом по почте, конечно, нельзя было писать, но эта дама приезжала сюда и пришла ко мне с письмом от папы. Хорошо, что тогда только что проданся буфет и я могла отдать ей всю выручку, чтобы она покупала папе что-нибудь из еды и витаминов. У папочки цинга. Мы сговорились, что я к ней приеду, чтобы потихоньку повидать папу, но денег нет.

Мэри остановилась, и щеки ее порозовели. Мика взял ее руку:

— Надо раздобыть. Я тебе помогу, надо опять снести что-нибудь в комиссионный. Я тоже могу продать свои книги или коньки, я не мальчик, чтобы забавляться. А вот эти десять рублей пусть будут тебе на мелочи.

— Мика, нет, нет! Я не возьму. Это нельзя.

— Если ты не возьмешь — мы не друзья и больше я никогда не приду к тебе. Ты отлично знаешь, как я глубоко уважаю твою мать, вообще — вашу семью... Мы с тобой встретились на пути к Христу... мы — будущие иноки... между нами не должно быть... этикета.

— Я не знаю, буду ли я инокиней, Мика. У меня это еще не решено. Жаль, что мы с тобой не можем стать студентами богословского института — вот где мы пригодились бы! А иночество... Я люблю

монастыри: тихие кельи, птицы, «стоны-звоны-перезвоны, стоны-звоны, вздохи, сны... стены вымазаны белым, мать-игуменя велела...» Люблю уставное пение, старые книги с застежками, монашескую одежду, поклоны... А быть инокиней в миру... это уже совсем не то. Никакой поэзии.

— В десятом веке — лес и звери, в двадцатом — враждебные люди и шумный город. В наше время еще интересней, потому что опасней.

— Ты думаешь?

— Убежден.

— А ты уже решил принять иночество?

— Да. Но обетов еще не давал.

— Ты слышал, что мощи Александра Невского увезены из Лавры по приказу правительства и будут выставлены напоказ в Эрмитаже? У нас все были очень потрясены этим: сестра Мария даже плакала, и по всему храму шепот пробежал, когда это стало известно в церкви, за Всенощной.

Он нахмурился.

— Никакое кощунство не властно над святыней! Поруганные иконы засияют еще большим светом, а преследуемые люди очистятся в горниле страданий. Не огорчайся, Мэри, ни за мать, ни за отца, ни за нашу святыню, — и он положил свою руку на руку девушки. — Смотри, какая у тебя рука маленькая по сравнению с моей, мизинец совсем крошечный.

— Не смотри, пожалуйста, на мои руки. Это они черные от картофельной и морковной шелухи. Не отмываются.

— Пустяки. Ты похожа на монахиню в этой косынке. Может быть, нам с тобой уже не придется носить такую одежду. Но это не значит, что мы с тобой не будем настоящими иноками.

Мика продал за пятьдесят рублей свои коньки, понемногу еще раздобыл денег, и вскоре Мэри уезжала к отцу. Вместо чемодана она взяла сетчатую сумку, чтобы никто не заподозрил в ней приезжую — свидание с отцом должно было состояться нелегально. Еще кто-то посоветовал взять с собой жбанчик для керосина — лучший способ иметь на улице вид местной жительницы.

Мика поехал с Мэри на вокзал.

В его отсутствие к Нине пришла Марина Рабинович.

— Как я рада тебя видеть! Садись, Марина, я сегодня одна, выпей со мной чаю, — говорила Нина подруге.

Марина скинула с плеч отливавшую серебром чернубурку и села.

— А Мика где же? Опять в церкви? Всенощная должна бы уже кончиться.

— На этот раз не в церкви. Провожает на вокзале барышню, — улыбнулась Нина.

— Да что ты! Ну, значит, начинается! Расскажи-ка, расскажи!

— Да, собственно говоря, ничего еще не «начинается». Он по-прежнему воображает себя монахом.

— А что же означают эти проводы?

— А это очень трагическая история, — и Нина рассказала о семье Валуевых. Постепенно от Мики разговор перешел на другие темы.

— Нина, ты не должна жить в такой пустоте, без романа. Тебе непременно надо увлечься, иначе ты затоскуешь. Уже прошел год, довольно траура, — сказала Марина.

— Нет, романов у меня больше не будет. Да и что значит — «надо увлечься»? Это хорошо, когда приходит стихийно, подымается из глубины нашего существа, а искусственно насаженное — уже не то... Я очень тяжело пережила эту вторую потерю и свою вину.

— И все же, Ниночка! Ведь тебе еще только тридцать пять! Попробуй встряхнуться. Я тебя познакомлю с очень интересным человеком.

— Нет, дорогая, не хочу. В этот раз не выйдет. Не будем даже говорить. Рассказывай лучше о себе. Как здоровье Моисея Гершелевича?

Лицо Марины стало серьезно.

— Я очень боюсь, что у него рак. За этот месяц он потерял в весе пять килограммов. А теперь лечащий врач послал его на консультацию в онкологический. Завтра его будет осматривать сам Петров, и тогда все решится. Он страшно мнителен, как и все евреи, и теперь места себе не находит.

— Боже мой, какой ужас! Бедный Моисей Гершелевич! — воскликнула Нина.

— Скажи: бедная Марина! Если бы ты могла вообразить, как он меня изводит! Он стал ревнив и раздражителен чудовищно. Все не так, я во всем виновата, что бы я ни состряпала — ему все не по вкусу. Доктор велел есть фрукты, а ведь их достать теперь нелегко. Я по всему городу гоняюсь и всякий раз виновата, если не найду таких груш, как он хочет. Он стал теперь уставать, по вечерам выходить не хочет — сиди с ним! Сейчас уходила к тебе со скандалом. Недавно приревновал меня к сослуживцу, который поцеловал мне руку. Даже в кино одну не пускает.

— Ну, это так понятно! Он старше тебя, а ты красива, всегда везде пользовалась успехом. Понятно, что он беспокоен, особенно сейчас, когда ему тяжело равняться на тебя, притом он, конечно, видит твое равнодушие. Ему теперь многое можно извинить. Угроза рака! Ведь это пережить нелегко! Ты должна быть поласковей к нему это время.

— Ах, брось, пожалуйста! Ты всегда заступаешься. Сколько он попил моей крови — знаю я одна. То же самое и теперь: не хочет понять... каждый вечер ко мне в постель... А я не могу, пойми, Нина, не могу... он мне физически стал противен. Я молода, здорова... раковый не может не возбудить отвращения. Подумать не могу, что мне предстоит уход. Не смотри на меня с укором, лучше поставь себя на мое место и пойми.

— Нет, Марина, не понимаю! Когда погиб мой Дмитрий, как я тосковала, что не была рядом, не могла облегчить, ухаживать... Я бы все сделала. Я даже вообразить себе не могу брезгливости в этом случае.

— Сравнила! Дмитрий — молодой офицер, красавец, в которого ты была влюблена до потери сознания, а этот!

— Какая уж тут красота — перед смертью! Неужели ты не можешь из такта или сострадания побороть, скрыть свое отвращение? От смерти не уйдешь, придет и твой час!

— У тебя всегда виновата я. Будь уверена, что, если б болел Олег, мое отношение было бы другое.

— Не знаю. Пожалуй, что не уверена. Вот Ася — в ее отношении я не сомневаюсь.

— Расскажи лучше про их ребенка, каков он?

— Ах, душонок! Ему сейчас десятый месяц, уже ходить пробует; здоровенький, розовый, ручки в перетяжках, реснички длинные, загнутые. Очаровательно хохочет, ко всем идет на руки, даже меня знает.

— Воображаю, как обожает его Олег!

— Его все обожают, бабушка и та глаз не сводит, а она особенной чувствительностью не отличается.

Марина взглянула на свои изящные часики.

— Ну, я с тобой прощаюсь: пора готовить фруктовые соки, а то опять будет сцена. Посмотри, как эти соки разъели мне пальцы.

— Потерпи. Это твоя обязанность. Мало разве Моисей Гершелевич баловал тебя? — сказала Нина сухо.

Уже в дверях, накидывая чернобурку, Марина вдруг сказала:

— Коли, не дай Бог, рак, — это конец! А я тогда опять в безвыходном положении. — Она взглянула на Нину и, не найдя себе сочувствия в ее лице, нерешительно продолжала: — Вот уже пять лет мы с Моисеем коротаем вместе, худо ли, хорошо ли... Он познакомился со мной еще при маме, во время нэпа, у наших соседей по новой коммунальной квартире. Помню, я стирала большую стирку, а был дивный майский вечер, светлый, золотой! Я стою босая над лоханью и думаю: это мне вместо прогулки верхом с офицером и лицеистами! Куда девалось наше счастье? Тут-то и подоспел Моисей. Он приехал за мной на автомобиле, приглашая кататься, и вытащил прямо из прачечной! В прежнее бы время ему, конечно, не видать меня как своих ушей. Но, клянусь тебе, изменять ему у меня тогда и в мыслях не было. Это пришло после... Разве я могла предугадать?

— После... «парк огромный Царского Села, где тебе тревога путь пересекла!» — процитировала Нина любимую поэтессу.

## Глава двадцать вторая

### ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

**24 июня.** Наша музыкальная школа реорганизуется: она превращается в техникум, программа повышается, вводятся зачетные книжки и прочие формальности. В связи с этим учащиеся, не удовлетворяющие по способностям новым требованиям, исключаются, и я в том числе. Фамилия Аси висит в списке переведенных на старший курс, очевидно, через год будет оканчивать. А мне и в самом деле давно пора поставить крест на моих занятиях музыкой.

**25 июня.** С тех пор, как Лелю Нелидову изгнали из больницы, я не знаю, что делается у Олега и Аси и все ли благополучно. Часто ходить стесняюсь, и радости мне от этого немного, а вместе с тем — постоянно беспокоюсь. Когда в последний раз я была у них, Ася собиралась с ребенком в деревню, опять в те же Хвошни. А сейчас уже около месяца не имею сведений.

**26 июня.** Вчера я встретила на улице одну знакомую, которая возвращается в среде писателей, и узнала от нее, что поэт Мандельштам выслан и живет на окраине Воронежа в деревенской избе, в углу с тараканами, почти впроголодь. Ходят слухи, что Сталин сказал о нем: «Убрать, но не уничтожать». Какой цинизм: о поэте, как о насекомом! И до того дошло уже раболепство перед восточным тираном, что даже те, которые шепчутся об этом, упирают на то, что товарищ Сталин все-таки сказал «не уничтожать», отыскивая признаки гуманности! Николаю Первому ставят в вину, что он не сумел предотвратить дуэли Пушкина, Александру Первому — что удалил поэта в Михайловское, но в своем поместье Пушкин скакал верхом, играл на бильярде, рылся в своей библиотеке и принимал друзей. С Мандельштамом похуже, но это как будто никого не возмущает. Есенин кончил самоубийством, Гумилев расстрелян за контрреволюцию, Блок, смертельно тоскуя, больным вырывается из пинских болот и голодает, Мандельштам голодает в ссылке — вот судьба лучших, наиболее талантливых и замечательных поэтов под опекой советской власти. Вот как бережет она русскую славу! В литературных кругах о Мандельштаме говорят: «Со своей волчицей голодной выходит на дорогу волк», — подразумевая его и его верную Надю. Циники!

**27 июня.** Сегодня ко мне зашла та студентка, которая живет в квартире у Юлии Ивановны и которая рассказала про поезд, полный детей. Разговор с ней и на этот раз вышел очень интересен. Студентка эта, Люба, училась в Институте истории искусств, который не так давно закрыли, заявив в газетах, что он представляет собою вредный рассадник формалистической школы и что с кафедр его льется «зеленый идеализм», а студенческая среда в большинстве своем состоит из «бывшей аристократической молодежи», которая, «сбавив свой гонор», хлынула в этот институт как в единственное место, где несколько ослаблен классовый подход при приеме. Произошло это потому, что институт вечерний, находится на самоснабжении и стипендий не предоставляет. Люба показывала мне газету, поэтому некоторые выражения я привела буквально. В постановлении о закрытии было объявлено, что пролетарская часть студенчества будет переведена на соответствующий курс университета; Люба училась на третьем и была одной из самых успевающих студенток, много времени отдавала пресловутой «общественной работе», а по происхождению она дочь крестьянина. Казалось бы, удовлетворяет всем требованиям и может не страшиться за себя. И однако же Люба эта была исключена из списков переведенных в университет! Какое же объяснение она получила? Оказалось, некто Крумчицкий доказал, что она пренебрегает марксистскими методами и открыто ругает марксизм. Никого из дворянской русской молодежи в университет не перевели — только евреек, одну армянку и студентов из пролетариата,

которые в своем большинстве не успевают или успевают слабо. Среди оставшихся за бортом — внучка композитора Римского-Корсакова, в вину ей тоже поставлено «происхождение». О несчастьях этой семьи я слышу уже не в первый раз — одна из бесчисленных позорных страниц советской действительности!

**29 июня.** Сегодня Ася приехала в город на один день и забежала ко мне пригласить меня провести у нее в Хвошнях мой отпуск, который начнется через два дня. Говорит, что целый день одна с ребенком, Олег приезжает только по субботам — он теперь в роли чеховского дачного мужа. Леля Нелидова наконец получила службу и за все время приезжала только один раз. Принять или не принять приглашение? С Асей приятно, в ней совсем нет пошлости и деликатна она исключительно. Места для прогулок там, кажется, замечательные — это бывший великокняжеский заповедник, и Ася уверяет, что лоси подходят к самой деревне. Когда я спросила Асю, куда я буду деваться по субботам, она стала уверять, что Олег ночует всегда на сеновале. Поеду, пожалуй... только бы ребенок не надоедал, детский плач — ужасная скука, а умиление и восхищение родителей — еще скучнее!

**30 июня.** Вчера в нашей больнице разыгрался любопытный инцидент. Есть у нас одна старая сестра милосердия, по образованию она фельдшерица, притом бывшая революционерка, подпольщица, сидела в царских тюрьмах и однако же ярая противница советского строя. Я слышала раз, как она заявила во всеуслышание: «Мы ведь теперь не в царской России, где могли свободно переезжать из города в город, теперь мы, как рабы, прикреплены к нескольким метрам нашей жилплощади». Другой раз я слышала, как она говорила одному из тех наспех испеченных дрянных врачешек, которых не выносил дядя Владимир Иванович: «Вы вот советский врач, а по латыни двух слов грамотно написать не можете, я — фельдшерица царского времени — вас поправляю». В настоящее время сестра эта лежит с переломом голени. Она одинока, и позаботиться о ней некому. Несколько человек из нашего персонала сговорились купить для нее и снести ей на дом масла, яиц и сахару; я взяла на себя сбор денег и пошла с подписным листом. И что же? Когда в коридоре я столкнулась с Кадыром — нашим прекрасным предместкома, он позволил себе вырвать у меня лист. «Что? Сборы, пожертвования без ведома месткома! Да как вы смеете! Это контрреволюцией пахнет: вы этак что угодно повернуть можете! Запомните: мероприятия такого типа могут исходить только от месткома! Мне безразлично для кого — для кого бы ни было! К тому же товарищ Гилецкая настолько вызывающе держится, что не может считаться советским человеком. Прекратить немедленно!» Кстати, недавно товарищ Кадыр на операции забыл и зашил в ране хирургический инструмент, последствие — острейшие боли, нагноение и — повторная операция.

**1 июля.** Первый день отпуска! Собираюсь к Асе. Кроме одежды и книг приходится тащить с собой крупы и сахар, в деревне ничего нет. Ребенку купила целлулоидного попугая, Асе везу в подарок шарфик. Отдохнуть в тишине очень хочется. Гулять, очевидно, буду одна, Ася из-за своего бутуза далеко ходить не может, но я сидеть пришитой к дому не собираюсь.

**Вечер.** Только что забежала ко мне Леля Нелидова, принесла пирожки, которые ее мать испекла Асе, безделушку для Славчика и летний сатиновый костюмчик. Леля очень была хороша со своими стриженными кудрями, но показалась мне утомленной и похудевшей. Я даже спросила ее, не больна ли она, но ответ был короткий и несколько небрежный, а в сущности малоудовлетворительный: «Немного не в порядке легкие, ну, да это скучная тема!»

**4 июля.** Уже третий день я в деревне. Место в самом деле красивое: лес и река. У Аси чистенькая светелочка с двумя окнами, а в соседней светелке — тетушка Нины Александровны, старорежимная, весьма сварливого нрава, Ася, кажется, ее боится. Крестьянская семья не слишком симпатичная — патриархального духа я не заметила. Я довольно много гуляю одна. Надо отдать справедливость Асе — она не навязывает своего ребенка и не докучает мне восторгами. В первый день моего пребывания она, видя, что я собираюсь гулять, сказала было: «Возьмите и Славчика. Ты пойдешь топи-топи с тетей?» Но мое лицо,

очевидно, не выразило по этому поводу особой радости, как и лицо Славчика, — она тотчас изменила план действий и теперь постоянно останавливает ребенка: «Славчик, отойди, не мешай Елизавете Георгиевне. Славчик, нельзя так громко кричать — Елизавета Георгиевна читает».

Она так же мила теперь в роли молодой матери, как была мила девушкой, так же резва и легка, та же искренность. Редко, очень редко мелькнет в ней выражение озабоченности или тревоги, мелькнет, как облако, и снова она вся солнечная. Ребенка своего обожает, по-видимому, самым банальным образом и не тяготится тысячами скучнейших обязанностей: накормить с ложечки, посадить на горшочек, переменить штанишки, и прочими прелестями, которые, казалось, должны быть в тягость артистической натуре. Я спросила ее: «И так весь день? И не надоедает?» Она ответила: «Ведь я же его люблю! Сколько он мне приносит радостей: то новый зубок, то новое слово... каждый день новый лепесток на этом чудесном цветке. С ним не может быть скучно!» — «А музыка?» — спросила я. Она ответила: «Музыка никуда от меня не уйдет — она во мне. В технике я сейчас, конечно, вперед не двигаюсь, но ведь я эстрадной пианисткой не собираюсь быть. — И прибавила, улыбаясь: — Внутри у каждого есть камертон, прислушиваясь к которому знаешь, что делать». Есть в Асе оттенки мне не совсем понятные, которые в первую минуту меня разочаровывают, чтобы вслед за этим способствовать еще новому очарованию. Вчера я слышала как она, убаюкивая ребенка, тонким, высоким голосом пела:

Долетают редко вести  
К нашему крыльцу.  
Подарили белый крестик  
Твоему отцу.

**5 июля.** Вчера вечер был очень хорош, и мы с Асей долго сидели на воздухе. Ребенок уже спал. Я читала Анатоля Франса, она тоже что-то читала. Когда я спросила: что? — показала 140-ю кантату Баха. Я выразила удивление, что она читает ноты как книгу. Она ответила: «Я мысленно слышу то, что пробегаю глазами. Это совсем не так уж трудно».

**9 июля.** Приезжал Олег и уже уехал; я провела с ним полтора дня! Я не пошла встречать его на станцию: Ася, собираясь туда, передела свой любимый сарафан, переплела косы, собрала огромный букет ромашек и бутуза своего тоже передела, чтобы тащить с собой на станцию. Видя такие приготовления, я решила не портить им встречу своим присутствием, ушла на опушку леса и, стараясь подавить свое волнение, ходила там взад и вперед. Когда, наконец, собравшись с духом, я направилась к дому, то столкнулась с ним еще у околицы: он шел с ведром к колодцу, а ребенок сидел у него на плечах, Ася бежала сзади и глаза у нее светились, как звезды. Я почувствовала себя совсем лишней! Вечер, однако, прошел хорошо и непринужденно: мы долго сидели в садике, и я не испытывала отчужденности. Утром была неприятная минута: я случайно услышала их разговор в сенях, где Ася стояла у керосинки. Он вошел и сказал: «Скорей целуй, пока мы одни». Наступила тишина, потом сказала она: «Довольно, пусти, видишь, кофей из-за тебя убежал». Зазвенела посуда, а потом сказал опять он: «Знаешь, я думал сегодня утром о Елизавете Георгиевне, она, безусловно, очень умна, и исполнена удивительного благородства, но несколько суха. Обратила ты внимание, как она держится с ребенком?» Ася ответила: «Елочка детей не любит — вот и все!» Он сказал: «Она способна, может быть, на героизм, но если жизнь сложится так, что подвиг пройдет мимо, она засохнет, как колос на корню. И будет второй Надеждой Спиридоновной. К этому все данные!» Я отошла, чтобы не слушать далее...

Я — суха! Да, это, конечно, так. Моя неприязнь к ребенку никого не обманула. Они привыкли к восхищению и восторгам и, конечно, сразу заметили мою сдержанность. Ну и пусть! Не обязательный же это закон — умиляться на детей. Я — суха! Но разве же я всегда была такой? Разве моя вина, что я еще совсем юной встретила человека, после которого уже ни на кого не могла обратить свои взоры? Разве моя



вина, что этот человек не полюбил меня и что я не стала, как Ася, молодой счастливой матерью? Впрочем, она недолго такой будет: если у нее каждый год будет по ребенку, увидим, что от нее останется через пять лет. Я — суха. Спасибо за меткое определение! Я ему это блестяще доказала, когда он лежал простреленный, не в силах пошевелиться. Суха!

**10 июля.** Вчера я расстроилась и недорассказала, ведь вечером я оказалась свидетельницей их ссоры. Я вошла, когда он говорил: «Где же все-таки халатик? Отвечай!». Она, спотыкаясь на каждом слове, лепетала: «Мне он не нужен, пойми... Я его редко надевала... Мне гораздо больше доставит удовольствия дать Славчику яичко утром». «А, понимаю! Отдала за десяток яиц». «Ничего не за десяток, а за два десятка!» — «Так! И это, несмотря на мою просьбу! Елизавета Георгиевна, как вам это нравится — она отдала свой чудесный халат, подарок персидского хана ее отцу, за два десятка яиц и еще отпирается, лгать выучилась. Ася, неужели же тебе не стыдно лгать?» Я сказала, чтобы только сказать что-нибудь: «Ложь всегда безобразна». Она взглянула исподлобья на меня, потом на него, но не рассердилась, не вспыхнула, даже не стала оправдываться, она только потерлась головой о его плечо, и он в ту же минуту размяк, улыбнулся и любовно провел рукой по ее волосам: «Глупая, ты была так очаровательна в этом халатике», — сказал он. Милые бранятся — только тешатся.

**11 июля.** Подвига не будет — уже был! Все героическое в нашей жизни уже кончилось, и у него и у меня. Я знаю, я бы пришла в ту рыбацкую хибарку, где он скрывался, если бы знала, где он находится; ничего не могло бы меня остановить! И что же? После таких трагических и больших минут, которые подошли ко мне в юности, не получить больше ни одной подобной за всю мою жизнь? Стареть и сохнуть от бессильной злобы на советскую власть, на него, на нее, и... только!

**12 июля.** Бесконечные думы и одинокие прогулки по меже среди ржи. Хочется быть одной.

**13 июля.** Приехала Леля Нелидова. Я вошла в светелку, когда она подбрасывала Славчика, а тот смеялся залихватным звонким смехом, потом она сказала ребенку: «Пусть твоя мама разбирает вещи и стряпает обед, а мы с тобой пойдем погулять», — и унесла карапуза, который охотно пошел к ней на руки. Утром она опять сказала: «А кто хочет на ручки? Я погуляю с ним, Ася, пока ты прибираешься», — мне во второй раз стало как-то неловко за себя. У Лели бюллетень, к ней привязалась температура, которая очень всех беспокоит. Она приехала на три дня, пользуясь освобождением от службы. Как всегда, очень мило одета, хоть и в простом ситце, выстиранном и выглаженном руками Зинаиды Глебовны. Она избалована гораздо больше Аси, несмотря на нужду, из которой они никак не могут вырваться.

**15 июля.** Что бы это могло быть... странно! Здесь столько узких переходов, заворотов и клетушек, что я постоянно, совершенно непреднамеренно, слышу чужие разговоры. В эту субботу я снова слышала один, всего из двух-трех слов, но он посеял во мне тревогу. Было так: Олег уже приехал, Ася разогревала ему обед, а он пошел с ведром к колодцу; я вышла в сени и увидела, как он, проходя, быстро подошел к Леле, которая черпала там воду из бочки, и озабоченно спросил: «Благополучно?» Она ответила: «Потом расскажу, очень тяжело». Что все это может значить? Что может быть между ним и Лелей такого, что является их общей тайной от меня и от Аси?

**16 июля.** Ну и денек был вчера! Ходили на прогулку с Асей, Лелей, Олегом и Славчиком. Пошли; очень скоро свернули с проселочной дороги и стали продираться узкой тропиночкой среди зарослей и бурелома. После нескольких поворотов вышли к речке. Я была поражена дикостью и красотой места: мы шли низким берегом, с одной стороны была речка, с другой — густые темно-зеленые вязы и липы, в тени которых было почти темно, цветущие кусты шиповника, переплетавшиеся с дикой смородиной, задевали нас своими колючками. Противоположный берег реки был очень высокий, обрывистый; белые пласты подымались крутыми уступами; темные, сумрачные ели громоздились наверху; вид был очень величественный. Я даже не подозревала, что под Петербургом могут быть такие виды. В одном месте — на

той стороне — ели вдруг пошли сухие, все в белых космах, и Ася, указывая на них, заявила, что теперь не хватает только избушки на курьих ножках и Бабы-Яги в ступе. В этом месте берег стал еще круче. Вскоре Олег остановился около упавшей осины, перекинувшейся через речку наподобие моста, и спросил: хватит ли у нас храбрости перейти по дереву на ту сторону? Когда мы перебирались поочередно, с его помощью, Ася и Леля визжали, а я перешла очень храбро. Он сказал: «Елизавета Георгиевна, конечно, оказывается на высоте!» — и поцеловал мою руку. Пустая галантность, а у меня сердце забилось! В удобном месте мы вскарабкались на кручу и опять углубились в чащу по незнакомым даже ему, чуть видимым тропкам; он делал при поворотах зарубины перочинным ножом на коре деревьев. Возможность заблудиться придавала особую прелесть и остроту всему путешествию. В одном месте Олег сказал, указывая на разодранный пенёк: «Здесь поработал медведь». Другой раз он сказал: «А вот следы лося». Спустя некоторое время мы вдруг вышли на открытую лужайку, такую красивую, солнечную, изумрудную! И тут, пока Ася кормила Славчика, для которого взяла с собой молоко и булку, Леля обнаружила в зарослях иванчая землянику. И она и Ася тотчас набросились на ягоды, уверяя, что совершенно необходимо собрать корзиночку для Славчика. Скучные эти матери! Я села на пенёк, а Олег сказал: «А мы со Славчиком поищем грибов, земляника — дело женское». Я больше часа сидела одна, комары совсем заели меня, когда наконец я услышала его голос: «Елизавета Георгиевна, поправьте, пожалуйста, на ребенке панамку». Я оглянулась: он стоял в двух шагах от меня, а Славчик спал сладким сном у него на руках. Я перехватила полный нежности взгляд, с которым он смотрел на сына. Это может быть очень трогательно, но, с моей точки зрения, мужчине вовсе не идет: ребенок на руках лишает его мужественного вида. Вернулись мы в сумерках. Ужинать сели уже при свечах. После ужина Олег тотчас ушел на сеновал, говоря, что для сына ему остается только 4 часа, так как вставать надо на рассвете. Ася пошла его проводить и пропала. Леля легла и через несколько минут сонным голосом пробормотала что-то о том, чтобы я тоже ложилась, а двери оставила открытыми, мол, о ворах в этой деревне еще никто никогда не слышал. Ей все трын-трава! Продолжая ходить из угла в угол, я несколько резко ответила: «Возмутительно, что Ася застряла! Что за бесконечные объяснения ночью, ведь Олегу Андреевичу вставать на заре». Сказала, не подумав. Леля высунула голову и ответила: «Вот сейчас и видно, что вы старая дева. Я младше вас лет на десять и все-таки понимаю, что могло задержать ее», — и тотчас опять спряталась. Намек ее я, разумеется, поняла, как и то, что своим намеренно невежливым ответом она пожелала, в свою очередь, меня подкусить. Оса ужалила, но я это заслужила и промолчала. И все-таки, почему же «на десять лет», если ей 22, а мне 30! Когда Ася, наконец, прибежала, глаза ее светились в темноте, как светляки.

**19 июля.** Завтра я уезжаю. Три недели в деревне освежили и укрепили меня. Тишина, лес, воздух, птицы — всем этим я наслаждалась вдосталь. Ни шум, ни суета, ни тревоги сюда не доходили. За это время я пришла к трем выводам. Первый: он все так же дорог мне! Я все так же безнадежно, глупо, по-институтски влюблена. Я ловлю его слова и жесты, выражение лица и звук голоса для того, чтобы потом без конца приводить их себе на память. Второй мой вывод тот, что я все-таки и несмотря ни на что очень люблю Асю. Она удивительно милое, нежное и совершенное создание. Я ни разу не заметила в ней никакой шероховатости, досады или раздражения. Она как будто распространяет вокруг себя невидимые лучи, которые затопляют симпатией к ней. Она была удивительно внимательна ко мне: в одно утро, когда я проснулась с головной болью, она тотчас заметила мое состояние и принесла мне в постель кофе; другой раз, увидев, что солнечное пятно падает мне на книгу, она сейчас же завесила окошко. Она не подпускала меня к плите, повторяя, что я приезжала отдыхать, хотя сама в течение дня очень часто не успевала присесть даже на полчаса. Она вся соткана из тепла и света. И вот третий мой вывод, уже касательно моей собственной персоны. Сами того не замечая, Олег и Ася указали мне на мой очень значительный недостаток; есть латинская поговорка: я человек, и ничто человеческое мне не чуждо; так вот, есть нечто, мне чуждое, среди общечеловеческого — супружеская ласка, материнская ухватка, любовь к детям... Ведь вот у Лели Нелидовой тоже нет своего младенца, а как, однако, просто и легко справлялась она с

младенцем Аси! Во всех младенческих атрибутах, ну там чепчиках, башмачках, игрушках — она разбиралась так, как будто вырастила семерых! Я боялась прикоснуться к Славчику, чтобы не сломать или не уронить его, а она об этом не думала: играть с ним, баюкать его доставляло ей удовольствие, ребенок шел к ней на руки, а при взгляде на меня он всякий раз ежился или начинал реветь так, как будто страдал мучительными коликами в желудке. Асю всякий раз это смущало, и мне делалось неловко. Не могу объяснить, но мне кажется, что именно этот мой недостаток играет во всей моей жизни какую-то роковую роль.

## Глава двадцать третья

Хрычко уже больше чем полгода пребывал в заключении. Жена его несколько раз плакала в кухне, уверяя, что муж невиновен, что его спровоцировали на выпивку и драку с милиционером товарищи, а вот в ответе остался он один, и семье нечем жить. Мадам, взволнованная этими жалобами, прожужжавшими ей в кухне все уши, упросила Наталью Павловну предоставить Клавдии возможность зарабатывать у них в качестве уборщицы. Наталья Павловна с некоторым неудовольствием все-таки согласилась. Она даже рекомендовала Клавдию для домашних услуг мадам Краснокутской; рекомендация эта сопровождалась, однако, секретным дополнением: за честность женщины не ручаемся, советуем не оставлять ее в комнатах одну.

Появился Хрычко в квартире неожиданно: он вошел в кухню, когда там не было никого, кроме Олега, откомандированного Асей присмотреть за кипятившимся молоком. Хрычко вошел и угрюмо опустился на табурет. Он не поздоровался с Олегом, и тот воздержался от приветствий.

Стуча когтями, вбежала Лада и тотчас завертелась у ног соседа, через минуту ее передние лапы легли к нему на грудь. Олег хотел было одернуть собаку, зная, что Хрычко несколько раз прохаживался по поводу цацканья интеллигентов с животными, но, к немалому своему удивлению, увидел руку на голове собаки.

— Лада, хорошая собака, Ладушка умница! — пробурчал ласковый басок.

В кухню вбежала Ася.

— Павел Панкратьевич? Вернулись! А Клавдия Васильевна сейчас при поденной работе, и Павлик с ней. Дверь на ключе, но это ничего — я вам, если хотите, разогрею макарены и чаю заварю крепкого.

Олег повернулся и быстро вышел.

— Ты что? Ты уже рассердился? — виновато спросила она через несколько минут, вернувшись в комнату.

— Пересаливаешь опять, — коротко, но выразительно отчеканил он.

— Олег, ведь ты в тюрьме был. И все-таки не ты, а собака первая...

— Постой, — перебил он, — неужели же я, по-твоему, должен был лезть к нему с соболезнованиями? Не способен.

— Не обязательно слова. Ну, предложил бы чаю или хоть пожал руку.

В этот вечер Надежда Спиридоновна праздновала свои именины. Молодым Дашковым предстояло идти с визитом. Наталья Павловна ограничилась письмом и вместо именинного вечера собиралась ко всеобщей в храм Преображения, где у нее было свое давнее местечко, тщательно оберегаемое от посторонних — мадам Краснокутской, мадам Коковцовой и прочих аристократических приятельниц, составивших в приходе нечто вроде маленькой касты и завладевших одной из скамеек.

Ася в этот вечер была не в духе.

— Не хочется идти. Там всегда скука. Заставят меня играть, а сами будут разговаривать под музыку. Я Надежду Спиридоновну не люблю. Я лучше пойду с бабушкой в церковь. Мне так теперь редко удастся туда вырваться. По воскресеньям все словно нарочно подкидывают мне разные дела... — ворчала она.

— Нет уж, пойдем. Мне без тебя появляться вдвоем с твоим мужем неудобно, а я по некоторым соображениям непременно хочу быть, — вмешалась Леля, вертевшаяся перед зеркалом с тайным намерением подпудрить носик, как только выйдут старшие. — Собирайся, а я в воскресенье покараулю за

тебя Славчика, если это уж такое счастье — попасть к обедне.

— А ты зачем говоришь с насмешкой? — переменялась Ася.

— Аська, одевайся, ведь мы тебя ждем, — торопила Леля. Лицо Аси снова омрачилось.

— Надеть мне нечего! Белое платье уже вышло из моды, оно слишком короткое. Я в нем буду смешна! А блузки опротивели!

Тем не менее английская блузка с черной бархаткой вместо галстучка все-таки была надета, а волосы вместо кос собраны в греческий узел, и все дальнейшие возражения отложены в сторону после того, как Леля прошептала на ухо какие-то свои соображения. Олег, занятый бритьем, нимало не любопытствовал, что это были за соображения, тем не менее расслышал имя Вячеслава. Очевидно, восхищенный взгляд влюбленного мужчины обостряет жизнерадостность, даже если этот мужчина забракован, и особенно в случае, если другие поклонники на данном этапе отсутствуют.

Небольшое общество собралось под оранжевым абажуром: вокруг старинного круглого стола с львиными лапами на шарах. Прежний, давно знакомый Надежде Спиридоновне круг. Чаепитие ничем особенным не ознаменовалось, электрический чайник вел себя вполне корректно (не в пример своему собрату из соседней комнаты). Ася играла, и ее действительно не слушал никто, кроме Олега, которого Шопен в исполнении Аси гипнотизировал настолько, что он пропускал мимо ушей обращаемые к нему фразы и рассыпался в извинениях после того, как его призывали к порядку.

Когда гости уже расходились и прощались в кухне у двери — парадный ход оставался заколоченным с восемнадцатого года, — одна из приятельниц Надежды Спиридоновны начала объяснять, как проехать к ней на новую квартиру. Она вынуждена была устроить обмен жилплощади — вселенное к ней по ордеру пролетарское семейство не давало покоя.

— Из собственной квартиры пришлось бы бежать! Уж до того доходило, дорогая Nadine, что уборную кота устроили нарочно у самой моей двери, а на мои кресла, выставленные в коридор, бросали обрезки колбасы и хвостики селедки... Душа болела! — говорила она, закутывая теплой шалью свою бедную седую голову. — Приезжайте на новоселье, дорогая. Комната у меня теперь самая маленькая, но милая. Пересеть на шестнадцатый номер трамвая вам придется около Охтинского моста. Знаете вы Охтинский мост?

— Тот — с безобразными высокими перилами? Знаю, конечно. Ужасная безвкусица! Петербург бы ничего не потерял, если бы этого моста не было, — сказала Надежда Спиридоновна.

Другая гостья, уже седая профессорша, надевая себе ботинки у мусорного ведра, воскликнула:

— Ну что ж мой «гнилой интеллигент» опять замешкался? — И прибавила, обращаясь к Асе: — Подите скажите ему, моя милочка, что я уже одета и жду.

Все знали, что «гнилым интеллигентом» мадам Лопухина называет своего мужа, профессора. Этот последний как раз показался в дверях рядом с Лелей.

— Еще немножко терпения, маленькая фея! Как только наши милые коммунисты взлетят наконец на воздух, я везу вас кататься на автомобиле, а после, с разрешения Зинаиды Глебовны, угощу в ресторане осетринкой и кофе с вашими любимыми взбитыми сливками.

— Профессор, как видите, не теряет даром времени, — сказал с улыбкой Олег, подавая пальто профессорше.

— Вижу, вижу! — добродушно засмеялась та. — Бери-ка лучше свою трость, мой милый, выходим: автомобиль нас пока что не ожидает.

Еще одна гостья, вдруг спохватившись, стала рассказывать о том, как не побоялась оказать приют Владыке и как он всю ночь простоял в молитве. Надежда Спиридоновна и тут не воздержалась от нравоучения:

— Очень напрасно вы это делаете. Что знают соседи, то знает гепеу. Старая латинская поговорка.

Олег уже держал Асю под руку, Леля стояла возле них и, дожидаясь конца их разговора, оглянулась на дверь, которая — она это знала — вела в комнату Вячеслава.

«Досадно, если он так и не выйдет и не увидит меня в новой шляпке!» — думала она. Но дверь оставалась закрыта, зато в соседней с ней видна была щелка, которая становилась все шире и шире, и наконец оттуда вынырнула завитая и кругленькая, как булочка, девица, которая подошла к своему примусу и стала разжигать его, хотя был уже первый час ночи. От нее за версту разило дешевыми духами. Ткнув пальцем на дверь Вячеслава, девица фамильярно заговорила:

— Загрустил парень! Последнее время не повезло ему! Сначала одна хорошенькая девчонка натянула ему нос, а теперь, видите ли, идет чистка партии, предстоит отчитываться да перетряхивать свои делишки перед партийным собранием. Хоть кому взгрустнется!

Леля смутилась было, но сочла своим долгом заступиться:

— Вячеславу это не страшно; он фронтовик и коммунист, вряд ли найдется что-нибудь, что можно было бы поставить ему в строку.

— Прицепиться всегда можно! — возразила с уверенностью девица. — Разве у нас людей ценят? Мало, что ли, пересажали бывших фронтовиков? Кого в уклонисты, кого в троцкисты, а кому так моральное разложение припишут. По себе небось знаете, какие кровососы. Я сильно возмущимшись была, как узнала про расправу с вами.

Леля вздохнула:

— Да, со мной поступили несправедливо.

— А с кем они справедливо? — спросила девица. Олег вдруг обернулся и окинул говорившую недоброжелательным взглядом.

— Ася, Елена Львовна, идемте! Что за разговоры у двери! — решительно сказал он.

Леля кивнула девице и пошла к выходу.

— Зачем вы разговариваете с этой особой? Отвратительная личность, которая не заслуживает никакого доверия! — сказал Олег, едва лишь они вышли на лестницу.

Почтовый ящик у входной двери стал в последнее время для Лели предметом, возбуждающим самые неприятные ощущения: она обливалась холодным потом всякий раз, когда в нем белело что-то, и спешила удостовериться, что письмо адресовано не ей. Боясь, чтобы приглашение на Шпалерную не попало в руки Зинаиды Глебовны, она бегала к ящику по несколько раз в день.

С тех пор как в январе она согласилась на сотрудничество, ее вызывали только два раза: первый раз беседа носила самый миролюбивый характер, следовательно встретил ее как добрый знакомый, улыбнулся, сказал несколько комплиментов, спросил о здоровье, спросил, как нравится ей новая служба, и только мимоходом полюбопытствовал, не имеет ли она что-нибудь сообщить. Она с виноватым видом пролепетала «пока ничего» и ушла, несколько успокоенная. Во второй визит в ответ на новое «пока ничего» следовательно несколько строго сказал, что она обязана прилагать некоторые усилия к тому, чтобы раздобыть сведения.

— Это не может быть слишком трудным в вашем кругу. Попробуйте сами заводить соответствующие разговоры, подкиньте тему, и дело пойдет.

И вот ее вызвали в третий раз. Следователь осведомился о здоровье и тотчас перешел к делу.

— Как, опять ничего?!

— Ничего... Мне как-то не везет... Про меня уже знают, что я советская... знают, что работаю в тюремной больнице, вот и не доверяют... Никто ничего не говорит... Остерегаются...

— Так ли, товарищ Гвоздика?

Она чувствовала, что начинает дрожать. «Господи, Господи! Вот оно, начинается!»

— Вы были где-нибудь за это время?

— Да... нет... дайте вспомнить...

— У Нины Александровны, в день именин ее тетки, вы были?

— Была... — пробормотала Леля, пораженная его осведомленностью.

— Скажите, а там, на именинах, в течение всего вечера вы тоже не слышали никаких предосудительных разговоров — порицаний правительства, анекдотов, насмешек над Советской властью?

— Ничего.

— Вы совершенно в этом уверены?

— Совершенно уверена. Ни одного слова. В нашем кругу такие разговоры не приняты.

— Так-таки ничего?

— Ничего.

— Позвольте вам не поверить! Я уже имею некоторые сведения от людей, которые исполняют свои обязанности честнее, чем вы. Мне, например, известен во всех подробностях ваш разговор с гражданкой Бычковой. Она очень резко отзывалась о происходящей повсеместно партийной чистке, а также возмущалась тем, как обошлись с вами год назад. Вы согласились с ней! «Со мной поступили несправедливо» — вот ваши подлинные слова. Казаринов прервал ваш разговор. Разве не правда?

Леля, растерянная и сбита с току, испуганно смотрела на своего мучителя.

— Что вы на это скажите, товарищ Гвоздика? — нажимал следователь.

— Такой разговор в самом деле был, я о нем забыла, потому что он шел не за именинным столом, а в кухне, при выходе. Я эту Бычкову совсем не знаю и очень удивилась, когда она со мной заговорила на такую тему...

— А отчего же вы не захотели мне сообщить? Ведь я наводил вас! Если вы покрываете незнакомых, мне уже ясно, что тем более вы умолчите о своих.

— Я совсем не собиралась покрывать, этот разговор у меня просто из памяти вылетел. Но я не отрицаю: он был, в самом деле был, только говорила одна Бычкова.

— После того как я вас уличил, дешево стоят ваши показания, Елена Львовна! Собственно говоря, этого умалчивания уже довольно, чтобы применить к вам статью пятьдесят восьмую, параграф двенадцать. И следовало бы это сделать. Как я могу теперь вам верить, скажите на милость? Вот вы только что заявили мне, что фамилия вашей кузины Казаринова, а не Дашкова. Могу ли я быть уверен, что вы ее не покрываете? А ну, довольно комедий! Извольте-ка говорить правду, или засажу! Отвечайте!

— Что отвечать? — прошептала Леля.

— Кто этот Казаринов, супруг вашей кузины? Гвардеец он? Как его подлинная фамилия? Или тоже из памяти вылетела?

— Я всегда слышала только Казаринов, никакой другой фамилии я не знаю, — отвечала она.

— Не лгите! Я очень хорошо вижу, что вы лжете. Я долго вам мирволил — хватит. Выкладывайте мне фамилию, или сейчас арестую вас. Домой не вернетесь.

Леля молчала. Она вдруг увидела в своем воображении Славчика, его румяные, как грудка снегиря, щеки...

— Ну? Говорите! Я жду. Фамилия?

— Я другой фамилии не знаю.

— Врете, знаете.

— Нет, не знаю. Я знакома с ним всего три года. Если он что-нибудь о себе скрывает — откуда мне знать? В поверенные такой человек молодую девушку не выберет, сами понимаете.

— Так. А Дашкова, Нина Александровна, никогда не говорила вам о нем ничего?

— Ничего.

— Родственник он ее?

— Сколько мне известно, нет.

— С каких пор они знакомы? Что их связывает?

— Не знаю. Он, кажется, был у белых вместе с ее мужем, ординарец или денщик... Он не аристократ. Дашков не такой был бы — по-французски говорит плохо, кланяется и того хуже... Мне подметить не трудно.

— И вы ни разу ни от кого не слышали никакой другой фамилии?

— Ни разу.

Следователь встал и начал ходить по комнате.

— Ну, смотрите, Нелидова! Я этого Казаринова выведу на чистую воду, и если подтвердится, что он Дашков, вы мне за это ответите. Предупреждаю. А теперь благоволите объяснить вот что: мне сообщено, что тридцатого сентября хозяйка квартиры, ну именинница, Надежда Спиридоновна, делала намеки, упоминала, что намерена взорвать Охтинский мост. Можете ли вы подтвердить такое обвинение? Слышали ли это?

— Мост? Надежда Спиридоновна? Что за чепуха! Кто это мог наплести? Ведь ей за семьдесят! Как взорвать? Чем? Примусом?

— Вам все шутки, Нелидова. Может быть, старуха и не запаслась взрывчаткой, почти наверное — нет, но такие слова, как «лучше бы этого моста не было», уже кое-что доказывают. Наш комиссариат полагает, что в таких случаях удалить вовремя человека благоразумней, чем расстреливать виновного после того, как он выполнит свое злое дело, которое повлечет за собой к тому же не одну человеческую жертву. Мне важно установить сейчас одно: слышали ли вы слова «лучше бы этого моста не было». Они были произнесены при вас. Это уже установлено. Служебная этика запрещает называть имена, ведь вы же не захотели бы, чтобы я называл ваше! Итак, готовы вы подтвердить, и притом письменно, что слышали эти слова? Если нет, вы меня окончательно убедите в пособничестве классовым врагам. Итак?..



Все уже установлено, и если бы она продолжала отрицать, то ничего бы не изменила этим, только себя погубила бы. Для Олега и Аси так вышло тоже лучше: следователь убедился, что она не все огульно отрицает, и ее отрицания через это приобретают вес. Так думала Леля, стараясь усыпить свою совесть. Она уговорилась с Олегом, и они встретились около Летнего сада. Леля передала весь разговор со следователем, умолчав только о том, что подтвердила обвинение против Надежды Спиридоновны.

— Вы должны быть сугубо осторожны теперь, Леля. Немедленно прекращайте разговоры, когда их заводят чужие, — и спросил: — А каков собой этот следователь?

— Невысокий, белобрысый, а глаза злые-злые, пристальные.

— Он извивается и ерзает на месте, прежде чем задать вопрос? — опять спросил Олег.

— Да, он иногда раскачивается, как змея на хвосте. Но самое ужасное — его глаза: у него необычайно расширяются зрачки. В этом что-то хищное и страшное! Как вышло, что мы попали к одному и тому же?

— Это не случайно, Леля, это хитрый прием, которым он готовит большую западню. Не говорите пока ничего Асе, пусть будет счастлива еще хоть месяц или два.

— Олег Андреевич, а я? Что же будет со мной? Я ведь совсем не успела быть счастливой! — Надтреснутый звук ее голоса и наивность вопроса укололи сердце Олега. — Вы говорите: месяц или два — это звучит как «мэне, тэкел, фарес» в Библии. Почему вы отмерили срок? Не сомневайтесь во мне.

Он взял ее маленькую руку и, отогнув перчатку, поцеловал сгиб кисти, отступив от этикета.

— Спасибо за меня и за Асю, но если даже у вас хватит мужества и хитрости втирать следствию очки еще в течение некоторого времени, это не значит, что они не найдут иного способа накрыть меня или попросту приклеить мне новое обвинение, чтобы упрятать в надежное место. Дай только Бог, чтобы это коснулось одного меня.

Они разговаривали, прогуливаясь вдоль решетки Летнего сада, и, когда простились, Леля медленно пошла вдоль Лебяжьей канавки. В последнее время было много тяжелых впечатлений. Несколько дней назад скончалась Татьяна Ивановна Фроловская. Слабая надежда, что Валентин Платонович сумеет хоть на пару дней вырваться на похороны матери, не осуществилась: он не приехал и только обменялся телеграммами со своим другом Шурой, который взял на себя все хлопоты по погребению.

Пожалуй, даже лучше, что Валентин Платонович не приехал: от него ей ждать нечего! В отставке уже двое, но что толку, если дни идут за днями, а счастья нет? Погруженная в эти печальные мысли, она неожиданного увидела себя на Гангутской перед домом Фроловских, куда ее машинально вынесли ноги. Охваченная внезапно чувством необъяснимой вины перед одинокой женщиной, которая с такой нежностью обнимала ее, она остановилась перед подъездом.

Сейчас там хозяйничают эти подлые девчонки: фотографии, конечно, выброшены в мусор, а за дорогие вещи идут ссоры и брань. Едва она это подумала, как увидела на скамеечке у подъезда старую Агашу — опять в той же кацавейке и сером платке. На сей раз старушка не бросилась к ней, а только закивала с полными слез глазами. Леля приблизилась сама.

— Здравствуйте, Агаша! Ну как, оставил жэк за вами комнату Татьяны Ивановны? — просила она.

— Комнату отписали за девчонками, а мне никакой комнаты не нужно, барышня. Я в Караганду собираюсь. Работу я потеряла и внучкам моим теперь в тягость, а Валентин Платонович письмо прислал. Пишет: «Няня Агаша, я совсем одинок теперь». Может, я и пригожусь ему малость. Здесь-то мне делать уже нечего, дурочкой я стала: сижу этак да плачу, все барышню мою вспоминаю да сынишек ейных — кадетики маленькие с пуговчиками начищенными, с погончиками и в башлычках, — вот они передо мной, ровно как живые. Я особенно Андрюшу любила, который молодым офицером от тифа помер...

Леля молча стояла перед старухой, не зная, что говорить... Поехать, что ли, и ей? Написать ему: «Я знаю, что ты любил меня. Я не боюсь бедствий. Бери меня». Этой добровольной ссылкой она прекратит домогательства следователя, а человек, к которому она поедет, любит ее, и, конечно, только из гордости и великодушия он не объяснился с ней, уезжая. Он оценит эту жертву, он ее стоит. Поехать?

«Нет, не могу! Караганда! Кибитка! Нет, не могу — не выдержу!»

Сырая мгла окутывала улицы; зажгли фонари, и свет их тускло желтел сквозь изморозь. Вокруг бесконечно сновали прохожие, и каждый казался придавленным своим неразделенным горем...

«Ночь как ночь, и улица пустынна... Так всегда! Для кого же ты была невинна и горда?»

«Для кого?»

## Глава двадцать четвертая

Надежда Спиридоновна получила приглашение «в три буквы» (как выражались обычно Олег и Нина), а вернулась оттуда только через три дня, на лбу ее был страшный багровый подтек, губы были плотно сжаты, веки покраснели, а в волосах исчезли последние темные нити. Аннушка так и ахнула, взглянув на свою старую барышню. Надежда Спиридоновна не стала, однако, ни сетовать, ни охать, а молча, с достоинством прошла к себе. Как только вернулась из Капеллы Нина, она потребовала ее в свою комнату: Надежда Спиридоновна была уверена, что донос сфабрикован ее домашними врагами — Микой и Вячеславом, и напрасно Нина клялась и божилась, что ни тот, ни другой не способны на такое дело и что тут безусловно приложила руку Катюша. Это было ясно всем, кроме самой потерпевшей.

Оказалось, что Надежда Спиридоновна не лишена гражданского мужества, она отказалась подписать обвинение и отрицала вину даже когда ей пригрозили ссылкой и несколько раз хлестнули смоченным в воде бичом.

— Странные творятся вещи, Ниночка, следовательно мне очень прозрачно намекал, что мне выгодней признаться в намерении взорвать... это сооружение... чем отрицать свою вину.

Слова «Охтинский мост» Надежда Спиридоновна не отважилась произносить, как будто именно выговаривание этих слов и принесло ей беду.

Надежда Спиридоновна пожелала вызвать Нюшу, которая должна была ей помочь подготовиться к отъезду, так как теперь следовало ждать со дня на день повестки с предписанием в двадцать четыре часа покинуть Ленинград. И решение не замедлило: ссылка в Костромскую область в трехдневный срок. Ехать предоставлялось не этапом. Для Надежды Спиридоновны самой большой трагедией было бросить квартиру и вещи — комната должна была отойти в распоряжение РЖУ, и, таким образом, *ried-a-terre*<sup>[72]</sup> в Петербурге Надежда Спиридоновна теряла уже безвозвратно. Остающиеся вещи приходилось поэтому рассовывать по родным и знакомым. Надежда Спиридоновна тщательно укладывала, запирала и переписывала свое добро. Явившаяся Нюша была допущена к этой процедуре и с вызывающим видом наперстницы перебежала из комнаты в кухню. В ее манере держаться с Ниной появилась нота ничем не оправданного пренебрежения.

— Барышня велели мне к ихнему кофрочку замочек повесить и перенести в вашу комнату — освободите уголок. Также и пальтецо ихнее велено в ваш шкаф перевесить, пока им не заблагорассудится приказать вам переслать по адресу, — говорила она.

Раз Нина вошла к тетке в комнату, когда обе женщины разглядывали мужское пальто с бобровым воротником; Надежда Спиридоновна сказала:

— Вот пальто твоего отца, Ninon, раздумываю, как лучше поступить с ним: в комиссионный магазин отнести или на сохранение в ломбард отдать? Как посоветуешь?

Нина почувствовала, как вспыхнули щеки. Невеликодушная! Сколько раз она при тетке выражала тревогу, что Мика слишком легко одет и что не на что склотить ему если не зимнее пальто, то хоть теплую куртку, но та ни разу не предложила для мальчика вещь, принадлежащую, по сути дела, ему!

— Делайте, как вам удобней, тетя!

Но когда Нюша выразила на кухне во всеуслышание опасение за свой узел, Нину прорвало:

— Объясните, тетя, вашей Дульсинее, что я не пожелала воспользоваться ничем из вещей моего отца, на которые имею неоспоримые права. А потому не могу заинтересоваться тряпками, которые вы сочли

нужным ей подарить! — воскликнула она и убежала, чувствуя слезы старых обид в горле.

Много беспокойства вышло по поводу кота Тимура, которого Надежда Спиридоновна пожелала обязательно взять с собой. После долгих переговоров с Нюшей, причем на консультацию дважды вызывалась Нина, именитому животному была заготовлена глубокая корзина, дно которой выстлано мягким, а в крышке проделали несколько отверстий для доступа свежего воздуха.

Олег, разумеется, вызвался доставить на вокзал Надежду Спиридоновну со всеми ее картонками и чемоданами. Так уже повелось, что в услугах, где требовались мужская энергия и находчивость, обращались именно к Олегу. Все казалось иногда, что здоровье ее мужа заслуживало более бережного отношения, но она знала, что говорить с ним на эту тему бесполезно, и молчала, даже когда ей случалось поплакивать втихомолку от досады.

Надежда Спиридоновна имела очень тесный круг знакомых и, в силу особенностей своего характера, большой симпатии не завоевывала; однако расправа, учиненная над семидесятипятилетней старухой, была так жестока, а обвинение столь нелепо, что вызвало волну глухого протеста в рассеянных остатках дворянского Петербурга: на вокзал откуда-то выпыпали древние старухи в черных соломенных шляпках с вуалетками и в старомодных тальмах. Графиня Коковцова успокаивала их уверениями, что немедленно же сообщит обо всем происходящем «в Пагиж бгату». Полина Павловна Римская-Корсакова впопыхах явилась на вокзал с лицом, опять испачканным сажей, так как «буржуйка», оставшаяся в ее гостиной еще с дней гражданской войны, неисправимо коптила. Придерживая плащ жестом, которым в прежние дни она держала шлейф, дама эта, одетая почти в лохмотья, жаловалась, что подала было просьбу в Совнарком, чтобы установили ей, как бывшей фрейлине, пенсию, но многочисленные племянники и племянницы пришли в ужас от ее смелости и умолили взять обратно заявление, которым она будто бы могла подвести их. Жена бывшего камергера Моляс, грассируя, рассказывала, что начала хлопотать за мужа, томившегося в Соловках, и намерена сообщить в Кремль о заслугах его матери Александры Николаевны Моляс — первой исполнительницы целого ряда романсов и партий из опер Мусоргского и Римского-Корсакова. Все, выслушивавшие эти планы, единогласно нашли, что такое заявление несколько напоминает гениальный трюк Полины Павловны, так напугавшей трусливую родню.

Позже всех появился на вокзале старый гвардейский полковник Дидерихс, высокий, худой, с длинной шеей и глазами затравленного зверя. Олег при виде его совершенно невольно выпрямился и потянул было руку к козырьку фуражки, старый лев прикоснулся к своей и уже хотел сказать «вольно», но оба инстинктивно оглянулись по сторонам... Генеральская дочка Анна Петровна блаженно улыбнулась при виде жестов, тревоживших когда-то ее сердце и нынче изъятых из обращения... Она даже приложила к глазам платочек, вынутый из бисерного ридикюля.

«Экспонаты времени империи в будущем музее русского дворянского быта!» — думал Мика, распахивая по полкам багаж и оглядывая эти призраки прошлого.

Надежда Спиридоновна выдержала характер: она не плакала, жала руки, благодарила, кивала, обещала писать и до последней минуты стояла у окна, сверкая неукротимыми глазами. Неизвестно, что почувствовала она, когда опустился занавес над трагедией, в которой она блестяще исполнила первую роль, и поезд помчал ее и «Тимочку» в неизвестные дали, которые Нина, прощаясь, окрестила «лесами из «Жизни за царя». Одна Леля не захотела проводить Надежду Спиридоновну, сколько ее ни уговаривали мать и Наталья Павловна. Когда Олег, слышавший эти уговоры, бросил на нее быстрый взгляд, она опустила глаза, и это навело его на некоторые мысли...

Через несколько дней к Наталье Павловне явился с визитом полковник Дидерихс, периодически навещавший старую генеральшу. Как только они остались вдвоем за чашкой чая, он сказал:

— Не хотел вас волновать, Наталья Павловна, но долгом своим считаю вас предостеречь: в доме вашем появился кто-то, имеющий связь с гебеу. Меня на днях вызывали в это учреждение и повторили мне там слово в слово разговор, который мы с вами вели в мой прошлый визит к вам, вплоть до анекдотов, которые я позволил себе вам рассказать. Как это могло случиться?

Наталья Павловна была поражена:

— Не знаю, что думать! Боже мой! Меня посещает такой проверенный тесный круг друзей... А впрочем, в то воскресенье как раз не было гостей, мы были в своей семье... Вы сами понимаете, что я не могу заподозрить Асю или моего зятя... Мадам? Это милейшие, преданнейшее существо... Я за нее ручаюсь, как за самую себя! Кто же?

— В тот раз еще была маленькая Нелидова, — сказал, припоминая, Дидерихс.

— Леля? Леля была, но ведь эта девочка выросла на моих глазах, она и Ася — это одно и то же.

— Да, да, я понимаю, я хорошо помню ее отца и деда... и все-таки я советую вам, Наталья Павловна, порасспросить обеих девочек. Конечно, они не являются сами осведомительницами — никто этого о них не может думать, но нет ли подруг, которым они проболтались? Молодость легкомысленна, а в наше время пустяк может иметь роковые последствия. Там завелась некто Гвоздика, которая, говорят, строчит доносы. Я беспокоюсь прежде всего о вас.

Старый гвардеец почтительно поцеловал руку Наталье Павловне.

Она обещала переговорить с юным поколением. Вызванная тут же Ася, не спуская с бабушки испуганно расширившихся глаз, уверяла, что никому никогда не повторяет разговоров, подруг у нее нет — бабушке это известно, только Леля и Елочка, но даже Елочку она не видела уже больше месяца... Так на кого же думать? Наталья Павловна обещала расспросить и Лелю, которая вечером, наверно, прибежит по обыкновению. Старый полковник удалился, оставив в тревоге и бабушку, и внучку.

Когда вернулся со службы Олег, Ася стала ему рассказывать странную историю.

— Ты ведь знаешь, милый, как я не люблю анекдотов! Я даже никогда не запоминаю их. Остроты и шутки я понимаю всегда часом позже, чем все вокруг меня, а то так и вовсе не дойдет. Ну разве похоже, чтобы я стала рассказывать анекдоты, да еще чужим людям? В музыкальной школе я тихоня, как мышка, я ни с кем не говорю, кроме как на узко музыкальные темы, я всегда тороплюсь к Славчику и мне даже времени нет болтать.

Олег хмурил брови, выслушивая этот лепет. Пригрозили! Запугивают девчонку, а она, щадя нас, подводит окружающих!

Олегу вдруг остро сделалось жалко Лелю, захотелось сейчас, немедленно, увидеть ее, говорить с ней строго, а втайне любоваться особенными огоньками ее глаз, совсем не такими, как у Аси, — не светлыми и чистыми, а страстными, горячими. Она невинна только в силу воспитания и семейных традиций... Олег вдруг поймал себя, что мысли его о Леле зашли слишком далеко.

Леля не появилась ни в этот день, ни на следующий. Наталья Павловна забеспокоилась и уже около одиннадцати вечера послала к Нелидовым Олега и Асю.

Отворила Зинаида Глебовна и тут же, в передней, стала рассказывать, что Стригунчик больна и пришлось уложить ее в постельку, — все эти дни она была очень печальная и неизвестно почему несколько раз плакала, а вчера на службе ей сделали просвечивание легких и обнаружили, что обе верхушки завуалированы, этим и объясняется температура, которая к ней привязалась еще с весны, вялость и убитый вид. Вот к чему приводит неполноценное питание, постоянное промачивание ног из-за отсутствия хорошей обуви и утомление на работе... В этом возрасте туберкулез в какой-нибудь месяц может принять

скоротечную форму... Стригунчик в опасности! Необходимы усиленное питание и воздух, а зарплаты не хватает на ежедневную жизнь и до сих пор они не могут приобрести необходимые теплые вещи, а тут еще осень со своими дождями...

— Стригунчик, тебя пришли навестить Ася и Олег Андреевич. Сейчас мы все вместе чайку выпьем здесь, около тебя. Садитесь, Олег Андреевич.

Он сел на старое кресло в единственной комнате и бросил воровской взгляд на девушку, закрытую старым шотландским пледом, и на ее локоны, рассыпавшиеся по подушке. Ася вызвалась сбежать в булочную, а Зинаида Глебовна вышла в кухню заваривать чай... Надо было воспользоваться минутой...

— Опять вызывал? — спросил он тотчас.

— Опять!

— Леля! Если причина во мне, я заявлю на себя, чтобы ваша пытка кончилась. Я не хочу, чтобы вас трепали из-за меня.

— Нет, нет! Не делайте этого, Олег Андреевич! Я вам доверилась, и вы не смеете вмешиваться без моего разрешения. Мне только хуже будет: он привлечет меня за ложное показание! — Она даже села на постели, щеки ее пылали. Она была очень хороша в эту минуту.

— Глупости, Леля! Вы отлично могли не знать о моем происхождении. Я сам заявлю следователю, что скрывал свое имя даже от родственников.

— Нет, нет! Не смейте, Олег Андреевич. Я не позволю. Мне виднее! Кто вам сказал, что дело в вас? Не в вас вовсе! Он хочет через меня шпионить за целым кругом лиц, он меня спрашивал про нашего знакомого полковника и про Нину Александровну. Он меня в покое все равно не оставит, да еще догадается, что я проговорила о своих визитах к нему, а ведь у меня подписка. Никто мне теперь помочь не может, никто! Я больна только от этого.

— Не фантазируйте, Леля: у вас затронуты легкие, их необходимо и вполне возможно теперь же подлечить, а вот как вас из его лап выцарапать?.. Эта задача потруднее.

— Уже невозможно! Он меня как паук муху в свою паутину засасывает. Теперь до конца моих дней так будет! Я кое-что была принуждена наговорить ему. Он был доволен и обещал сигнализировать парткому нашего учреждения, чтобы тот устроил мне бесплатную путевку на юг, в санаторий. Было бы, конечно, хорошо для моего здоровья, но не знаю уж, будет ли мне теперь где-нибудь весело... Эта Катька мне очень испортила. Статья пятьдесят восьмая, параграф двенадцатый! Что это значит, Олег Андреевич?..

Путевка очень скоро была получена. Ася упростила бабушку не волновать Лелю и Зинаиду Глебовну расспросами о странной осведомленности гепеу, Олег присоединился к ее ходатайству, опасаясь, что вскрыется слишком много тяжелого для обеих дам. Разговор решено было отложить до возвращения Лели. Зинаида Глебовна была счастлива возможностью поправить здоровье дочери и умилялась отзывчивости служебной администрации. Вместе с тем она очень опасалась впервые выпускать Лелю из-под своего крыла. Она не могла вспомнить случая, чтобы в дореволюционное время девушку отпускали куда-нибудь одну без сопровождения семьи или гувернантки. Робко, с виноватым видом шептала она дочери свои наставления:

— Стригунчик, послушай меня: там, конечно, будут мужчины... среди них теперь много очень дурных... Держись от них подальше, родная! Не ходи с ними гулять... Они тебе могут причинить очень большое зло. Ты этого еще не понимаешь.

— Ах, мама! Ты говоришь, как говорили Красной Шапочке «берегись волка»! Я не маленькая, мама. Мне все-таки не четырнадцать лет, — возражала дочь.

Общими усилиями перечинили Леле белье, сшили ей одно новое платье, а другое отобрали для нее у Аси и собрали ее как могли в дорогу.

Прощаясь на вокзале, Ася говорила:

— Улыбнись же, Леля! Ты увидишь море, скалы, кипарисы... Ты будешь собирать ракушки, лежать в кресле у моря... А сколько ты расскажешь нам, когда приедешь! Я уверена, что как только ты вдохнешь всей грудью солнечного теплого воздуха, у тебя внутри все заживет. Ты только дыши поглубже и не беспокойся ни о чем.

Леля печально вздохнула.

— Я не умею так отдаваться радости, как ты. Так пошло с детства, вспомни: ты всегда кружилась около меня и тревожилась, что я недостаточно счастлива и весела. Мы с тобой, Ася, совсем разные, и того, что может случиться со мной, с тобой никогда не будет.

— Чего не будет, Леля? Что ты хочешь сказать?

— Ничего. Я пошутила. Береги без меня мою маму лучше, чем это умею делать я.

В квартире на Моховой отъезд Надежды Спиридоновны тоже вызвал соответствующую реакцию: Катюшу стали преследовать неудачи — кастрюли у нее ежедневно подгорали, кот повадился пачкать у самой двери, аппетитные булочки, положенные на стол под салфетку, оказывались под столом, кипятившееся белье пригорало в новом котле. На все претензии, обращенные к Аннушке, она получала самые различные реплики.

— Глядеть надоть! Поставишь и бросишь.

Или:

— Чего пристала! Я тебе не домработница!

В одно утро пол перед Катюшиными дверьми оказался весь вымощен котлетами, которые она готовила накануне, и притом не одними только котлетами... Объяснения, визги и угрозы не могли пробудить тот лед равнодушия, с которым ее выслушивал дворник и Аннушка. Доведенная до слез, она бросилась стучать к Нине и, когда та появилась на пороге, излила ей свое негодование. Бывшая княгиня окинула ее пренебрежительным взглядом:

— Я полагаю, даже вам ясно, что подобная проделка не в моем стиле, — надменно бросила она и отвернулась.

Высочивший на стук Мика, которому Катюша тоже сочла возможным изложить свои претензии, разразился хохотом, упав на стул. Не удалось добиться ни слова.

Пользуясь высоким покровительством, Катюша очень быстро и легко устроила обмен комнаты. Очевидно, предполагалось, что ей, как провокатору уже разоблаченному, делать в этой квартире больше нечего. В то утро, когда она стала выносить свои тюки и корзины, все обитатели, словно по уговору, собрались в кухне, но никто не обращал на нее ни малейшего внимания: Аннушка и дворник невозмутимо пили чай, держа блюдечки на растопыренных пальцах и потягивая через сахар, Мика с ожесточением таскил плоскогубцами гвоздь, а Нина, стоя в задумчивости около примуса, смотрела поверх Катюшиной головы куда-то в окно... Пробурчав что-то себе под нос, девица стукнула с размаха в дверь Вячеслава.

— Чего нужно? — спросил Коноплянников, появляясь на пороге.

— Я к тебе по комсомольской линии: пособи вещи перетащить, видишь, уроды эти бастуют, словно английские горняки.

— Пожала, что посеяла. Ладно, дотащу до трамвая, а там — управляйся сама. — И Вячеслав забрал чемоданы.

— Еще мало им перцу задали! Вовсе бы разорить гнездо это контрреволюционное! — буркнула Катюша, забирая в свою очередь корзины.

— Но, но, но! Помалкивай! Не то накостыляю! — откликнулся дворник.

Катюша проворно подскочила к двери, но у порога обернулась и еще раз оглядела всех.

— Не жисть, а жестянка! — и с этим глубоко философским определением существующего порядка Екатерина Томовна захлопнула дверь, навсегда покинув квартиру на Моховой.



## Глава двадцать пятая

Ася по-прежнему считала себя счастливой и мысленно извинялась за свое счастье перед теми, кто окружал ее. Славчик уже говорил «мама, папа, баба, зай, дай» и еще несколько слов, он хорошо бегал, топая тугими крепкими ножками, ей он улыбался как-то особенно радостно и широко — не так, как другим.

Она была счастлива и за роялем — дома и в музыкальной школе. Стоило только переступить порог школы — и слышавшиеся из-за всех дверей звуки роялей и скрипок вызывали в ней уже знакомый ей трепет, как далекий прилив, который должен был окунуть ее в море музыки. Она любила сыгровки и репетиции с их повторениями и наставлениями педагогов, ей доставляло радость обязательное хорошее пение, увлекали занятия гармонией и толки о деталях исполнения между молодыми пианистами, которые выползали из классов, напоминая тараканов своими смычками. Немного менее симпатичными казались ей будущие певцы и певицы — они слишком уж носились с собственными голосами и слишком мало уделяли внимания музыке как таковой. Она часто слышала ученический шепот: «Говорят, могла бы большой пианисткой сделаться, да вот в консерваторию не принимают».

И часто становилось больно: не принимают и не примут! Но она утешала себя мыслью, что музыка и талант при ней останутся — отнять это не властен никто! «Не сделаюсь концертной пианисткой, сделаюсь аккомпаниаторшей, мне нравится играть в дуэтах и трио, а для себя и для друзей буду играть что захочу и сколько захочу...»

Гораздо больше она огорчалась по поводу Лели, видя, что с каждым днем сестра становится все печальнее и замкнутее. Мысль, что счастье обходит Лелю, настолько расстраивало Асю, что несколько раз она пробовала вступать в договор с Высшими Силами и просила то Божью Матерь, то Иисуса Христа взять от нее кусочек счастья и передать сестре, если возможно!

Она получила от сестры два письма.

Когда поезд, пыхтя, приблизился к перрону и сестры увидели друг друга через окно вагона в сумраке зимнего утра, обе почувствовали себя на несколько минут счастливыми так же беззаботно и цельно, как это бывало в детстве.

— Стригунчик, родная моя! Девочка ненаглядная! Поправилась, похорошела, загорела! Ну, слава Богу! — твердила Зинаида Глебовна с полными слез глазами, обнимая дочь.

С вокзала поехали прямо к Наталье Павловне, где всю компанию ждали к утреннему кофе, у мадам уже было приготовлено удивительное печенье. Славчик был мил необыкновенно, он не забыл свою крестную, называл ее «тетя Леля» и ухватился маленькой ручкой за платье. Она посадила его к себе на колени и стала зацеловывать загривок и шейку по принятому ею обыкновению.

— Ты не бойся, Ася, у меня закрытая форма, я не бациллярная, — вдруг сказала она, что-то припомнив. Ася возмутилась до глубины души, доказывая, что у нее и в мыслях не было.

Мать и француженка не забыли осведомиться, приобрела ли Леля поклонников на волейбольной площадке и в салоне. Леля невольно улыбнулась, вспомнив грубоватых вихрастых парней с потными руками — типики эти никак не могли быть сопоставлены с силуэтами, рисовавшимися ее матери, которая невольно припоминала своих партнеров по теннису и верховой езде. И Леля предпочла не вдаваться в подробности, чтобы не разочаровывать ее.

Как остро чувствовалось что-то исконно родное, свое в этих людях, в их манере говорить, в их настроенности, в их привычках! Ни бесцеремонности, всегда так задевавшей ее, ни этого странного фырканья, которое так сбивает с толку, ни внезапных обид с надутым молчанием, которое принято в

пролетарской среде... Безусловная, естественная корректность, которая уже вошла в плоть и кровь, имеет такую огромную прелесть! Только в такой атмосфере чувствуешь себя застрахованной от всяких неосторожных прикосновений. Она в первый раз произвела переоценку ценностей и теперь наслаждалась, как рыба, попавшая с песчаного берега в родную стихию. Понадобилось шесть недель провести в чужой среде, чтобы оценить эту!

Но где-то в глубине сердца уже шевелился страх: узнал ли он, что она вернулась? Неужели узнал и снова вызовет? Страх этот примешивал чувство горечи к каждому светлому впечатлению.

«Какая я была счастливая, пока не было в моей жизни этого! Но я тогда недооценивала своего счастья!» — думала девушка, пробуя замечательное «milles feuilles» и мешая ложечкой кофе в севрской чашке.

Когда кончили пить кофе и перемыли посуду, Ася увела Лелю в свою спальню, чтобы поболтать вдвоем. Тут только Леля рассказала самую интересную и сенсационную новость: у нее появился поклонник!

— Ходил за мной следом: куда я, туда и он! Глаз не спускал! Гуляли, в волейбол играли, в салоне сидели вместе, фокусы на картах мне показывал, смешил меня...

— И в любви уже признался? — спросила Ася.

— Намеки делал, а при прощании просил разрешения продлить знакомство и записал мой адрес. Он приехал за десять дней до моего отъезда и в Ленинград вернется только к Новому году. Я.... знаешь, Ася, он мне понравился! Я вся сейчас точно из электричества — это со мной в первый раз! При прощании он мне сказал, что еще ни одна девушка на него не производила такого впечатления и что во мне удивительно пленительное сочетание скромности и эксцентричности, грусти и жадности к жизни. Это подмечено тонко, не правда ли?

— А кто он, Леля?

— Фамилия его Корсунский, а зовут Геннадий Викторович, отец его крупный политработник, только об этом ты пока не говори ни маме, ни Наталье Павловне. Санаторий этот для работников гепеу, но он не агент большого дома — он имеет какое-то отношение к искусству, мы только вскользь коснулись этой темы, и я не совсем поняла... Конечно, Геннадий этот — не нашего круга, но применить к нему мамино любимое «du простой» все-таки нельзя: если в нем мало черточек и ухваток типично дворянских, то и плебейского мало. Взгляды его, конечно, совсем другие, чем, например, у Олега, но мне нравится в нем кипение жизни, что-то победительное, жизнерадостное. Я не люблю мужчин, которые в миноре, надломленного достаточно во мне самой.

— Я так хочу, чтобы и ты была счастлива, Леля! — сказала Ася, и обе одновременно припомнили, как в детстве отказывались вместе от сладкого, если у одной из двух болел живот.

— Счастье не ко всем так приходит, как пришло к тебе, Ася. Такого у меня не будет, а кусочек, может быть, перехвачу и я.

— Полковник Дидерихс заключен в лагерь. Его жена сама сообщила это бабушке в воскресенье у обедни, — вдруг вспомнила Ася.

Удар по больному месту! Последствие визитов в кабинет № 13!

— Я не ожидала, что так взволную тебя, Леля! Прости. Ты там, у моря, отвыкла от наших печальных новостей. Я тоже стараюсь не думать. Знаешь, я, как страус, не смотрю на опасность, чтобы она меня не увидела.

На другой день после возвращения Лели Наталья Павловна позвала ее в свою комнату и задала вопрос совершенно прямо, воспользовавшись случаем, что ни Аси, ни мадам дома не было. Она прямо была уверена, что получит ответ вроде ответа Аси или в худшем случае признание в неосторожности при разговоре с соседями. Не получая ответа вовсе, она оглянулась на девушку и увидела ее страшно взволнованное лицо.

— Говори мне сейчас же все, — сказала Наталья Павловна с тем самообладанием, которое ей не изменяло никогда.

В ресницах у Лели задрожали слезы.

— Говори, дитя, — повторила Наталья Павловна.

— Олег Андреевич знает все. Пусть он расскажет, — с трудом вымолвила Леля.

Наталья Павловна тотчас кликнула Олега, который был оставлен на этот час в качестве няньки при своем сыне и штудировал газету, сидя около детской кроватки. Олег объяснил все дело без комментариев, но в заключение прибавил:

— Позволю себе заметить, что не могу считать Елену Львовну слишком виновной: устоять в такой обстановке нелегко! Прошу вас извинить ей вполне понятный в молодой девушке недостаток героизма. Елена Львовна как только могла старалась выгородить меня и Асю.

Наталья Павловна молчала, глубоко пораженная.

— Не плачь, моя милая! Я не собираюсь тебя упрекать, — сказала она наконец и провела рукой по кудрям девушки. — Выйди и успокойся. Мама твоя ничего не должна знать.

Когда Леля вышла, Наталья Павловна в полуоборот головы взглянула на своего зятя, слегка закусив губы:

— Олег Андреевич, что же это? Мы не на краю бездны — мы уже летим в нее. Как спасти этого ребенка? — спросила она.

— Ее надо спасти одновременно и от предательства, и от репрессии, и я пока не вижу способа, — сказал Олег. — Заявить на себя? Но моя явка ничем Елену Львовну, по-видимому, не выручит. Этот подлец выбрал ее своим орудием и понимает, что она в его руках.

— Да, такая явка — не выход. Об этом даже думать не смейте.

На другой день Олег Дашков вернулся домой к обеду хмурый. Его уволили с работы. Воспользовались долгим отсутствием Рабиновича. Его заместитель, человек очень впечатлительный, каждый день читая в газетах о вредном влиянии «белогвардейского охвостья», в конце концов не выдержал и лихорадочно стал увольнять всех подозрительных.

В эту ночь Олег почти не спал: он ясно видел, что попал в положение человека, у которого земля горит под ногами. Угроза высылки за черту города становилась слишком реальна.

Среди ночи вставала Ася, и он слышал, как, спрятавшись за шкафом, она молится:

— Спаси, Господи, и помилуй мужа моего, Олега, и даруй ему мирная Твоя и премирная благая. Спаси, Господи, и помилуй старцы и юныя, нищия и вдовицы, и сущия в болезни и печалех, бедах же и скорбех, обстояниих и пленениях, темницах же и заточениих, изряднее же в гонениях, Тебе ради и веры православный, от язык безбожных, от отступник и от еретиков, сущия рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силою Твоею ослабу, свободу и избаву им подаждь.

Утром Дашков отправился в порт за расчетом, намереваясь затем начать поиски нового места. В

манеже руководил верховой ездой Борис Оболенский — обещал попытаться устроить его.

Спускаясь с лестницы, он уже представлял себе корпуса незнакомых заводов и холодные проходные, по которым ему опять суждено скитаться, за проходными — серые и скучные канцелярии и папки анкет с опостылевшими вопросами — вроде: «Чем занимались родители вашей жены до Октябрьской революции?» или: «Ваша должность и звание в белой армии?» Все это надо заполнять и вручать неприветливому, уже заранее оцетинившемуся служащему отдела кадров — сторожевого пса при грозном огепеу.

## Глава двадцать шестая

Нина и Марина подымались по лестнице в квартиру на Моховой. Щеки им нащипал мороз, отчего обе казались моложе и свежее, но глаза были заплаканы и у той, и у другой.

— Сейчас согреемся горячим чаем, ноги у меня совсем застыли, — сказала Нина, открывая ключом дверь. И как только они вошли в комнату, Нина усадила Марину на диване и заботливо прикрыла ее пледом. — Отдыхай, пока я накрою на стол и заварю чай. Жаль, что у меня не топлено, но я решительно не успеваю возиться с печкой. Я тебя сегодня не отпущу, ночевать будешь у меня: я ведь знаю, что такое возвращаться с кладбища в опустевший дом.

Через четверть часа она придвинула к дивану маленький стол и стала наливать чай.

— Не представляю себе теперь моей жизни! — уныло сказала Марина, намазывая хлеб.

— Не отчаивайся, дорогая! Первые дни всегда кажется, что нет выхода и неизбежна катастрофа, а потом понемногу силы откуда-то берутся, и снова цепляешься за жизнь. Неужели не сумеешь себя прокормить? Фамилия теперь тебе не помешает: это на наших дворянских именах проклятие, а ты уже не Драгомирова, а Рабинович, поступишь опять в регистратуру или в канцелярию... Кроме того, у тебя вещей много, можно «загнать» часы или чернобурку.

— Я боюсь, что многие вещи мне не отдадут.

— Кто не отдаст? Как так?!

— Его сестры. Если бы ты знала, что за особы эти жидовочки, особенно младшая, Сара. Пока Моисей Гершелевич был жив, обе перед ним на задних лапках танцевали. Да и как не танцевать? На курорт всегда за его счет ездили, ребенок у старшей за счет Моисея Гершелевича в пионерлагерь отправлялся и английскому языку учился — все почему-то Моисей обязан был им устраивать! Воображаю, как обе злились, когда видели, сколько его денег уходит на мои наряды! Однако волей-неволей молчали; ну а в последнее время обнаглели до такой степени, что я при одной мысли о встрече с ними домой возвращаться не хочу.

— С тобой живет, кажется, только младшая?

— Вот в младшей-то и все зло! Сарочка просто фурия: старая дева, безобразная, рыжая, в веснушках, завидует моей наружности и туалетам, сама одеваться не умеет: в вещах видит только деньги, а вкуса никакого. «Этот мех — валюта! Эти перчатки, по крайней мере, сторублевые!» — только, бывало, от нее и слышу!

— Пусть говорит что хочет, но ведь не воровка же она, чтобы присвоить твою собственность! То, что дарил тебе муж, — твое неоспоримо.

— Воровка не воровка, а интересы мои ущемить сумеет. Ты не представляешь себе ее наглости! На днях в моем присутствии говорит с сестрой по телефону и заявляет ей: «Моя русь присмирела, морду держит вниз». Это обо мне!

— Что?! — воскликнула Нина и ударила по столу. — И ты не дала ей по физиономии? Ты стерпела?

— Ты знаешь — я трусиха, и потом... у постели умирающего!..

— Но какая, однако, наглость!

— Вот теперь видишь, а мне с ней жить придется! Пока Моисей был жив, она не смела подкусывать, ну а теперь вознаградит себя за все годы.

— Тебе надо изолироваться от нее, хозяйничай отдельно, а дверь в ее комнату заколоти.

— Нина, какую дверь, в какую комнату? Она требует себе ту большую, в которой жили мы с Моисеем, а меня предполагает выселить в соседнюю, в проходную. Я тебе говорю: она мне житья не даст.

— Постой, постой: почему? На каком основании? И разве большая комната не имеет отдельного выхода?

— Не имеет, а права на эту комнату у Сарочки есть. Тут все напортила практичность еврейская: когда два года тому назад Сарочка эта свалилась к нам на голову из своего Бердичева, Моисей оформил большую комнату на ее имя, так как ставка ее была ниже и выходило выгодней с оплатой, ну а платил, конечно, сам, — и жили мы себе спокойно в большой комнате; ну а теперь она кричит на меня: «Пусть переезжает в проходную, большая комната принадлежит по закону мне!» Придется ютиться кое-как, а Сара будет ходить мимо в любую минуту.

— Да что ты! Печально. Пожалуй, и в самом деле ничего нельзя сделать.

— Конечно, ничего. А как она меня третировала в последние дни жизни Моисея! Она заметила, что я с больным теряюсь и не умею... Проходит, бывало, мимо и бросает мне: «Загляни хоть на минутку к супругу, верная жена!»

— Тебе, Марина, не надо было уступать ей свои обязанности: теперь у них негодование против тебя отчасти справедливое, ты им сама против себя оружие в руки дала.

— Поверь, что если б я просиживала напролет все ночи, было бы несколько не лучше! И разве мало мне досталось забот за эти месяцы? Я тебе, кажется, еще не рассказывала: ведь накануне его смерти — в пятницу — я осталась с ним одна на весь вечер. Врач еще заранее предупредил, что Моисей, может быть, и суток не проживет, а Сарочка все-таки ушла и оставила меня одну. Я сидела в соседней комнате, вдруг он начал стонать, и в эту как раз минуту зашевелилась гардина у двери в переднюю. Отчего-то я вообразила, что это Смерть вошла и вот проходит мимо меня к нему... Я вся похолодела, забралась с ногами на диван и дрожу: как нарочно, я одна, в квартире пусто, зажжена только тусклая лампочка, а я боюсь встать, чтобы включить люстру. Он окликает: «Марина, ты здесь? Подойди!» А я молчу — боюсь выдать свое присутствие, шевельнуться боюсь... «Она тут, она меня заденет», — думаю, и кажется, волосы шевелятся на голове. Так просидела я час или больше... только когда Сарочка зазвенела ключом в передней я решилась вскочить и бросилась ей навстречу; как только другой, живой человек оказался рядом, сразу стало не так страшно. Я знаю, я виновата, что не подошла, не упрекай — я сама знаю, и это уже не поправить! — Она вытерла глаза. — Теперь они затевают семейный суд, — продолжала она после минуты молчания, — соберется вся их родня, и старый дядюшка, новый Соломон, явится разбирать, кому какую комнату и какие вещи. Вот еще удовольствие — являться в качестве подсудимой на еврейский кагал!

— Не отказывайся, Марина! Являться ты, конечно, не обязана, но этим ты проявишь уважение к их семье. Почем знать? Может быть, этот «Соломон» рассудит по справедливости. Мне кажется, что вещами тебя не обидят: они не такие люди... вся беда в комнате!

— Нина, тебе не кажется иногда, что все это только тяжелый-тяжелый сон, что в одно утро ты проснешься и увидишь снова счастливую радостную жизнь вокруг себя, своих родителей живыми, анфилады комнат вместо этих грязных коммунальных углов и все, чему пришел конец в восемнадцатом году?

— Я спою тебе один романс, — сказала, вставая, Нина, — это Римского-Корсакова.

Она подошла к роялю, зябко кутаясь в старый вязаный шарф, и, не подымая запыленной крыши и не открывая нот, взяла несколько аккордов и запела:

О, если б ты могла хоть на единый миг  
Забыть свою печаль, забыть свои невзгоды!  
О, если бы я твой увидеть мог бы лик,  
Каким я знал его в счастливейшие годы!

И вдруг остановилась и, не снимая рук с клавишей, приникла к роялю головой:

— О, если бы и я могла хоть во сне, на минуту, перенестись в нашу гостиную в Черемухах... окна в сад, свечи на рояле, соловьиное пение, Дмитрий и наш влюбленный шепот... Ну, не плачь, Марина, не плачь! Не ты одна... у всех горе. Если тебе в самом деле станет невыносимо с твоей Сарочкой — забирай вещи и переселяйся ко мне.

Мы обе одиноки — станем жить, как две сестры, друг о друге заботиться...

Они бросились друг другу в объятия.

— Приедешь? Ну вот и хорошо!

Послышался стук в дверь и голос Аннушки:

— Лександровна! Выдь на кухню, тебя дворник ожидает! Не муж, не-е! Другой — Гриша. Бумага у него до тебя какая-то.

Нина насторожилась:

— Что такое? Какая бумага? Вот подумай только, Марина: я так издергана, что от слов «дворник» и «бумага» пугаюсь — сама не зная чего! Извини, я на минутку. — И она убежала.

Марина прилегла на диванную подушку и зябко натянула на себя плед. В ушах ее еще раздавались унылые речитативы кантора, поразившие непривычное воображение. Так странно: мужчины у гроба в шапках, и никто не подходит прощаться и поцеловать чело усопшего! Ей не хватало «со святыми упокой» и «вечная память». Хотелось перекреститься, но она не посмела... Она ничего никогда не посмеет. Одна она заплакала, когда закрывали гроб!

От усталости она словно погрузилась в небытие. Из дремоты ее вывело прикосновение руки.

— Что с тобой, Нина? На тебе лица нет! — воскликнула она и села.

— Прочти, — сказала Нина и протянула ей бумагу.

— А что такое? «Предписывается не далее как в трехдневный срок покинуть...» Что?! «...покинуть Ленинград... не ближе как...» Что такое? Господи! — и Марина схватилась за голову. — Стоверстная полоса! Опять твой титул вспомнили!

Нина тяжело опустилась на стул.

— Ну вот и кончено! Теперь пропали и комната, и мои выступления! Буду мыкаться в Малой Вишере или в Луге и петь по клубам за гроши Дунаевского! А Мика? Его придется оставить одного. А святая Елизавета Листа? Я должна была петь эту партию! О, недаром, недаром я так переживала арию в изгнании! Марина, я — без музыки! С искусством кончено. Сейчас я только вижу, как я была еще богата, и вот — теряю все!

— Безумие! Бред какой-то! — восклицала Марина. — Беги сейчас же в Капеллу — пусть похлопочет. Такого сопрано, как у тебя, нет! Партия разучена — увидишь, они заступятся!

— Заступится Капелла? О, нет. Ты плохо знаешь, Марина, наши административные порядки: пальцем не шевельнут, разговаривать даже не станут! Опальная — ну так убирайся! Бывали уже примеры, с Сергеем тоже так было.

— А местком?

— Местком уже давно потерял то значение, которое имел в двадцатые годы, считается, что теперь администрация своя, советская, и потому политика месткома не может войти в противоречие с политикой администрации. Одна лавочка!.. Я не буду петь святую Елизавету!

У Нины не нашлось и десятой доли той практической мудрости, которую проявила в подобные же минуты Надежда Спиридоновна: на следующий день она с утра побежала к Наталье Павловне, где, согретая сочувствием всей семьи, провела весь день и, разумеется, была оставлена к обеду. На прощанье она пела всему обществу арии из «Святой Елизаветы» и домой вернулась только к вечеру, сопровождаемая Асей, которая прибежала помочь ей в укладке и разборе вещей, но дома Нину ждали две артистки из Капеллы, которые, узнав о несчастье, пожелали выразить сочувствие, и дело кончилось опять музыкой и чаепитием. Только на третий день с утра Нина побежала за расчетом; задержалась она долго и вернулась уже во второй половине дня, очень расстроенная. Марина, не дожидаясь ее возвращения и предвидя, что та ничего не успеет, самостоятельно начала складывать вещи подруги. Добрые гении Нины — дворник и Аннушка — тоже явились на выручку, и кое-что удалось наладить только благодаря им. Комната Нины — в 32 метра — была вся заставлена вещами: частично ее собственными, частично теткинскими, она была ровно в два раза больше Микиной; важно было сохранить именно эту комнату. Дворник обещал попытаться устроить в жакте, чтобы лицевой счет Мике перевели на эту площадь. С такой целью Мику спешно переселяли в комнату Нины. Олег, который явился предложить свои услуги, помогал Мике передвигать тяжелую мебель. Комната скоро оказалась настолько перегружена, что получила вид мебельного или комиссионного магазина: Мике предстояло передвигаться в ней, как в девственной чаще, и бросаться в свою постель прямо с комода. Вторая комната отходила немедленно в распоряжение РЖУ. Тысячи препятствий и самых нелепых запрещений лишали возможности передать эту комнату Марине, которая могла бы сохранить вещи и позаботиться о Мике. Марина сама сознавала эту невозможность и, страшно расстроенная всем происшедшим, заливалась слезами, укладывая вещи. Аннушка, никогда не терявшая головы, с утра замесила тесто и теперь пекла ватрушки, чтобы снабдить ими Нину на дорогу, и гладила ей бельё. В самый разгар суматохи явился с работы Вячеслав и едва не наскочил на огромный шкаф в середине коридора.

— Чего это здесь происходит? Никак, въезжает кто-то? — спросил он, оглядываясь.

Ответы посыпались на него со всех сторон:

— Безобразия творятся, вот что! — крикнул Мика.

— Перегибчик опять! — ответил Олег.

— Да все твои коммунисты окаянные! Чтоб им передохнуть, безбожникам! И как это терпит их Господь?

Вячеслав попросил более толкового ответа.

— Выгоняют меня на сто верст за черту города, — ответила Нина. — За что? Вы сами, Вячеслав, отлично понимаете, что опасна я быть не могу. Очевидно, опять моих мужей припомнили, по всей вероятности, я до конца моих дней за них в ответе буду.

— А как же ваше пение? Ведь вы же на государственной службе! — пробормотал юноша, соболезнующе глядя на нее.

— С работы в два счета сняли, рта не дали раскрыть — у нас недолго! — ответила Нина.

Он так же озадаченно посмотрел на нее и предложил свои услуги по передвижке мебели.

Утром, прежде чем уйти на работу, Вячеслав постучал к Нине, которая уже в вуали и шляпке ходила по



своей разоренной комнате, ожидая Олега, обещавшего проводить ее на вокзал.

— Нина Александровна, я уйду, хотел попрощаться с вами. Вы не унывайте... С вашим голосом вы везде... — и замялся, не зная, что сказать.

Но Нина всегда была к Вячеславу расположена и ответила очень тепло:

— Спасибо, Вячеслав, милый! Я знаю, что вы меня искренно жалеете. Надеюсь, что не пропаду. Я в свою очередь желаю вам всего самого лучшего — удачи и счастья и в работе, и в личной жизни, — и со своей приветливой открытой манерой протянула руку.

В это время вошел Олег.

— А я вот работаю и не могу проводить Нину Александровну. У вас выходной сегодня? — спросил юноша пожимая протянутую ему руку.

— Могу вам доложить, что со службы я уволен, и притом как политически неблагонадежный — с волчьим паспортом, — ответил Дашков.

Вячеслав совсем сник:

— Да ведь вы, кажется, очень нужны были! Как же так могло случиться?

— А такова уж политика в нашем государстве: человека «с прошлым» необходимо выкидывать за борт. Сострадание несовместимо с классово-борьбой — так ведь?

— Однако сейчас не до разговоров, — продолжал Олег, — где чемоданы?

— Прощайте, Аннушка! — сказала задрожавшим голосом Нина, подходя к старой дворничихе, и приподняла вуаль.

— Господь с тобой, Нинушка! Дай я перекрещу-то тебя, моя касатушка! Махотной ведь я тебя знала, Нинушка, доченька моя ненаглядная, я в те дни еще в горничных у твоей матушки жила.

Нина уронила голову на плечо старушке.

— Спасибо вам, Аннушка, за любовь, за заботу! Мне не пересчитать всех тех пирожков и булочек, которые вы совали мне, и Мике, всех тех чашек чая, которые вы приносили, когда я возвращалась с концертов усталая и некому было обо мне позаботиться. А эти дрова, которые вы мне подкидывали! Я все помню, все знаю. И вы, Егор Власович, без вас я бы совсем пропала!

— Полно, барыня моя, полно! Чего это вы припоминать вздумали! — говорил дворник, теребя в руках шапку.

Вячеслав остановился у двери, наблюдая эту сцену.

— Ах, болезная моя! — всхлипывая и вытирая глаза передником, продолжала Аннушка. — Не на радость ты вышла за князя своего! Не зря в утро свадьбы в спальне твоей покойной матушки треснуло большое зеркало! Я тогда же сказала: к беде! Не будет ей счастья, нашей пташке-певунье, хоть и богат, и знатен, и молод князь, а счастья не будет, не! Так вот и вышло. Да и теперь: вот уже сколько лет как князь в могиле, а ты все, родимая, за него терпишь!

Олег хмурился, слушая эти причитания.

— Анна Тимофеевна, к чему вспоминать? Вы только расстраиваете Нину Александровну. Дмитрий Андреевич не виноват, что революция изломала жизни. Едемте, или мы опоздаем. — И он взялся было за чемоданы, но дворник стал отнимать их у него:

— Не допущу, ваше сиятельство, не допущу! Не годится! Я сам... Какая там грыжа! Уже давно зажила

моя грыжа, и не может быть такого дела, чтобы я не посадил Нину Александровну в поезд. — И все-таки завладел чемоданами.

Мика забрал остальные, а Олег взял под руку Нину. Опустив вуаль на лицо, чтоб скрыть заплаканные и дрожавшие губы, она стала спускаться, оглядываясь на Аннушку, которая стояла на площадке, утираясь косынкой.

Лужский поезд уходил в девять утра; тем не менее на платформе ожидала большая группа провожающих. Мика ехал с Ниной, чтобы помочь с вещами и поисками жилья. Окончив весной школу, он устроился чернорабочим на завод и теперь успокаивал Нину, что сможет кое-как обеспечить себя. У него были, по-видимому, свои планы, которыми он ни с кем не желал делиться. Аннашка пообещала готовить и стирать на Мику, и с этой стороны Нина могла быть спокойна.

— Я буду приезжать, видаться мы, конечно, будем, — твердила Нина, — но мое пение, мое пение!..

Она тоже не плакала, только закусывала губы и хмурилась. Плакала одна Марина.

— Только и была у меня радость, что приехать с тобой поболтать, — шептала она, — кроме тебя у меня никого нет. Сознание, что твоя комната пуста, будет мне невыносимо. Потеря за потерей.

— Ну, полно, дорогая, — урезонивала Нина, — ведь я уезжаю не в Казахстан и не в Сибирь. Знаешь, блестящая идея: в Луге я, наверно, легко найду комнату. Плюнь ты на свою Сару и на проходную клетушку и переезжай ко мне. Я была бы так счастлива. Хочешь?

— В Лугу? — голос Марины упал. — Да ведь я тогда по советским порядкам потеряю ленинградскую прописку и навсегда останусь в этой дыре! Нет, лучше буду приезжать к тебе почаще!

Свисток поезда прервал разговор. В туманном сером рассвете декабрьского утра в одну минуту скрылся из глаз уходящий поезд. А люди все стояли и махали ему вслед.

## Глава двадцать седьмая

Материальное положение в семье Натальи Павловны стало очень затруднительно. Каждую неделю приходилось относить что-либо из вещей в комиссионный магазин, несмотря на то, что старались жить как можно экономней; каждое утро Наталья Павловна и мадам совещались, каким образом свести к минимуму расходы дня, но жизнь выставляла свои требования, обойти которые было невозможно. Вести хозяйство было тем труднее, что в этой семье из четырех человек двое — Наталья Павловна и Олег — были «лишенцами» и вследствие этого не получали продуктовых карточек, обреченные законным образом на голодовку. Распределение по карточкам никакой роли внутри семьи, разумеется, не играло и служило только поводом к нескончаемым издевкам над правительством, которое не могло покончить с системой нищенских пайков и полуголодным режимом. Продуктов не хватало, а чтобы докупать у спекулянтов, не хватало денег. Олег раздобыл несколько уроков и лекции в пожарной части, но этого было слишком недостаточно. Положение безработного его тяготило и возмущало, а необходимость с утра оставаться дома и присутствовать при утренней черновой работе по дому казалось ему в высшей степени досадной и скучной. Вид еще не прибранных комнат, халатики и передники на домашних, восклицания и вопросы, с которыми обращались друг к другу женщины: «Ася, вымела ты гостиную?!» или «У Славчика опять нет запасных штанов, надо за стирку приниматься!» — все это вызывало в нем приливы досады и глухого раздражения. «Эта сторона жизни не для мужчин, — думалось ему, — мужчина даже на первобытной ступени развития всегда был занят вне своего очага — на охоте, на войне, на пастбищах. Когда возвращаешься со службы домой, где тебя ждут с уже накрытым к обеду столом, чувствуешь себя главой семьи, заслуживающим уважения. В часы отдыха с удовольствием поиграешь с ребенком, поможешь жене, но начинать день с бесцельного шатания по дому — значит потерять понемногу уважение к самому себе!»

Ася, по-видимому, угадывала его томление и в свою очередь болезненно переживала это новое осложнение, огорчавшее ее больше, чем отсутствие заработка. Она то и дело подходила к мужу и, заглядывая ему в глаза, говорила: «В гостиной уже прибрано, милый. Можешь сесть там читать». Или: «В спальне уже освежено, тебе там никто не помешает, а записки Талейрана, которые ты начал читать, на столике у окна». Он целовал ее в лоб, но досада не проходила. Он предлагал и свои услуги, но наиболее охотно исполнял поручения вне дома и скоро взял себе за правило гулять со Славчиком как раз в первые утренние часы, наиболее невыносимые, когда он решительно чувствовал себя лишним в этом женском царстве.

В одно февральское утро он подымался с сыном по лестнице, возвращаясь с прогулки, когда кто-то окликнул его снизу, и он увидел Вячеслава, нагонявшего его через ступеньку.

— Я к вам, Казаринов. Аннушка сказала мне ваш адрес. Это сынок ваш? У, какой хороший бутуз! Похож, разбойник, на своего папу, — и Вячеслав протянул ребенку палец, который Славчик тотчас ухватил, причем весело и заливчато рассмеялся.

— Этому ребенку, может быть, лучше было вовсе не родиться на свет! — сказал Олег, в свою очередь не спускавший глаз с сына. — Представляете вы себе, Вячеслав, его будущее и те нескончаемые анкеты и репрессии, которым он будет подвергаться за своих родителей?

— Погодите, погодите, товарищ Казаринов! Не торопитесь с прогнозами! К тому времени, как этот ваш бутуз кончит школу, мы, может быть, уже покончим с классовой борьбой и сможем позволить себе роскошь не опасаться своих врагов, а может быть, их у нас уже не будет! Я к вам, товарищ, не войду. Я хочу только предложить вам место в приемном покое больницы, где сам работаю. Ставка небольшая, а все годится на первый случай. Я так полагаю, что на анкету у нас смотреть не будут — должность не

ответственная, это вам не порт! А люди нужны: носилки таскать некому. Ближайшим начальством вашим буду всего только я. По рукам, что ли? — И он назвал адрес, уже знакомый Олегу.

Благодаря Вячеслава, Олег спросил: знает ли он медсестру Муромцеву? Но Вячеслав работал еще недавно и не успел перезнакомиться с персоналом больницы.

— Я все эти пять лет, пока учился сначала на рабфаке, а после на фельдшера, проработал на заводе, Казаринов. Теперь мне в больнице как-то еще не по себе. На заводе у нас уже слаженный коллектив был, ребята подобрались веселые, дружные, а здесь все друг на друга волками смотрят, общественная работа не ладится, кружков никаких. Дождаться я не мог того времени, когда начну работать по специальности, а теперь вот ровно бы жаль завода, — сказал он.

На следующее утро Олег появился в больнице, причем сразу же был удостоен почтительного поклона швейцара. Анкета и в самом деле на сей раз не помешала, и он был зачислен в штат.

В этот день в больнице должно было состояться общее собрание, которому предшествовал редко наблюдаемый ажиотаж: Олег слышал, как в санпропускнике одна из санитарок повествовала другой:

— Старый дохтур сказал, вишь, бес в ее и взаправду вселился, потому как и бесы, и Христос, Царь Небесный, есте, и это только жиды уверяют, что ни Господа нашего, ни бесов в заводе нет. Это, вишь старый; ну, а молодой — тот на дыбы: это-де контра! Ни бесов, ни Богу нетути, ты, такой-сякой, видать, из прежних господ, и я тебя на собрании на чистую воду выведу!

Позднее, проходя с носилками через коридор, Олег услышал, как один молодой врач сказал другому:

— Сегодня на собрании старого невропатолога за отсталую идеологию крыть будем.

Вслед за этим фельдшер в санпропускнике сказал Вячеславу:

— Уж уконтропупят сегодня нашего старика!

Но Вячеслав, к которому Олег обратился за разъяснениями, знал только начало истории: «на нервном» появилась в женской палате истеричка, которая убедила себя, что ее атакует нечистая сила, требуя от неё кощунственного акта; недавно, ночью, больная эта перепугала всю палату и дежурный персонал, уверяя, что увидела в уборной безобразное существо, похожее на лягушку и немного на обезьяну. При этом женщина тряслась и плакала, так что пришлось вызвать дежурного врача, который с трудом водворил порядок.

Кого и за что собирались «крыть», Вячеслав не знал, но можно было предполагать, что столкновение двух невропатологов имеет отношение к этой больной.

— Придем на собрание, узнаем, — закончил Вячеслав.

Но на собрание они опоздали, задержались в приемном покое, и пришли, когда на трибуне уже ораторствовал один из врачей, как оказалось, молодой невропатолог:

— Мы имеем налицо выраженную истерию, почвой для которой являются религиозные представления, в данном случае представления о нечистой силе и одержимости. Какие же объяснения представил мой уважаемый коллега досужим бредням этой истерички? Я могу процитировать его слова, за точность которых ручаюсь: «Народное представление об одержимости вовсе не так нелепо и не лишено под собой почвы: чужая, темная воля подавляет в этих случаях человеческую, а тело человека используется одержителем как орудие для своего проявления». И еще: «До тех пор, пока психиатрия и невропатология не примут несколько истин оккультного порядка, они не смогут успешно бороться с такими явлениями, как мании, навязчивые идеи, галлюцинации, идиосинкразии...» Товарищи, да ведь это уже отдает теософией! Но когда я указал на этот факт моему уважаемому коллеге, он ответил: «Я говорил с вами, как с другом и с

коллегой, и надеясь, что разговор этот останется между нами». Но я не придерживаюсь ни отживших понятий, ни отжившей морали, в наше время сознание каждого должно быть подчинено контролю общества; кто умеет убеждать, пусть и отвечает за свои слова! Я лично отмежевываюсь...

«Совсем плохо!» — подумал Олег, всматриваясь в головы присутствующих и стараясь решить, которая принадлежит человеку, позволившему себе высказать свою задушевную мысль.

На трибуну тем временем поднялся директор Залкинсон, который не ожидал, не мог предположить, не мог думать... и теперь потрясен, поражен и не допустит... Потом начали высказываться коллеги-врачи, причем каждый в свою очередь спешил отмежеваться от товарища и доказать, что не имеет с ними ничего общего. Наконец в первых рядах поднялась фигура в белом халате, с длинной бородой и высоким лбом; старик попросил слова и, поднявшись на трибуну, сказал:

— Я признаю жизнь человека одновременно на нескольких планах: физическое тело, по моему глубокому убеждению, есть только проекция на один план. Душу признаю и в Бога верю, и без Его святой воли волос с моей головы не упадет!

Его перебили:

— Мракобес! Церковник! — раздались усердные выкрики с мест.

Молодой электромонтер попросил слова и крикнул:

— Человеку, отравленному религиозными предрассудками, не место в рядах советских ученых! Кто вам позволил, гражданин профессор, с этой высокопоставленной трибуны так выражаться?

Олег обернулся на Вячеслава.

— Ну, с этой «высокопоставленной» трибуны ни одного слова в защиту, разумеется, не прозвучит! — шепнул он.

— Ошибаетесь! — отрезал Вячеслав. — Товарищ председатель, разрешите теперь мне! — и начал продираться вперед.

— Товарищи! — и что-то молодое, бодрое, смелое зазвенело в этом голосе. — Чем, скажите, мы сейчас заняты? Ведь мы топим человека! Все словно сговорились спихнуть в воду одного, старого, да еще заслуженного работника! Религия, конечно, дело отжившее, дело вредное. Религия усыпляет разум трудящихся и ослабляет их волю к борьбе с гнетом эксплуататоров. Товарищ Ленин и Сталин учат вести борьбу с религиозными предрассудками. Однако же это еще не значит, что каждый верующий человек — наш враг! И мы должны им помочь освободиться от старых предрассудков, а не топить их за это. Товарищи, давайте разберемся: враг тот, кто с нами воюет, а этот человек работал с нами; враг тот, кто вредит исподтишка — ползет, прячется и ударяет в спину, а этот человек говорил прямо, сам высказал свои мысли в дружеской беседе; коли мы его взащей вытолкаем, мы только сраму наберем! Всякий о нас скажет: у, предатели! Все они, коммунисты, такие! О нас и так уже довольно дурного говорят, и очень уж разрослась у нас эта нездоровая атмосфера доноса. Негоднее это, товарищи, дело! Партия учитывает удельный вес человека, и тому, кто большую пользу приносит, можно извинить другой раз то, чего нельзя извинить мне. А людей, которые не боятся говорить прямо, надо всегда ценить — такие-то нам и нужны! Вы вот не любите нас, товарищ профессор, а мы еще с вами друзьями заделаемся, мы вас еще перевоспитаем по-своему.

В президиуме перешептывались, и наконец председательствующий сухо окликнул:

— Время истекло: закругляйся, Коноплянников!

Вячеслав оглянулся на красный стол и угрюмые лица людей, сидевших за ним.

— Сейчас закругляюсь. Да здравствует революция на всем Земном шару! — оборвал он и сошел с трибуны.

Когда собрание кончилось, Олег и Вячеслав вышли вместе. Оба одновременно глубоко вздохнули: морозный воздух был, конечно, очень приятен после душного зала, но этот вздох как будто затаил в себе еще нечто.

— До чего же исподличались люди за эти пятнадцать лет! — сказал Олег, закуривая. — В прежнее время предательство считалось позором и решиться публично на предательство — значило быть выброшенным за борт в любом прежнем обществе: в военном ли, учебном ли, в студенческом ли, в рабочем ли — все равно! Я знаю случай, когда студента, заподозренного в сношении с Третьим отделением, открыто бойкотировали все: никто на всем курсе не подавал ему руки. Помещики никогда не принимали у себя жандармских офицеров. Когда шел процесс над декабристами, было широко известно, что целый ряд лиц, из самых аристократических кругов, осведомлен о существовании союза, и, однако же, никто не репрессировал их. Известен разговор Николая Первого с молодым Раевским. Император спросил: «И вы не сочли долгом сообщить мне?!» А тот ответил: «Такой поступок не вяжется с честью офицера, Ваше Величество!» И Николай пожал ему руку со словами: «Вы правы!» В те дни сочли бы подлостью то, что вы называете «отмежеванием». Я вспоминаю историю в Пажеском корпусе при Александре Втором. Мне она хорошо известна, в нее был замешан мой отец: группа кадетов была уличена в неповиновении и шалости, за которую грозило исключение. В заговоре была вся рота, иначе говоря — класс; пойманы несколько человек, которые, разумеется, отказались выдать товарищей. Дело, однако, не в этом — интересна реакция начальства: прибегли к авторитету Императора, который ответил: «Мои будущие офицеры иначе держать себя не могут — предателей вы из них не сделаете! Немедленно выпустить из карцера!» Вот как говорили императоры: а ваш вождь призывает к массовым доносам и утверждает выслеживание как доблесть! Картина, которую мы наблюдали сейчас в зале, возможна только при вашей системе власти, Вячеслав.

— Коли вы все это говорите, Казаринов, чтобы повернуть меня в другое русло, так не надейтесь попустому: болезни и недостатки наши я и сам отлично знаю, но делу нашей партии не изменю.

— Я никуда не собираюсь вас тащить, мой юный друг. Мне слишком опротивело идейное насилие, чтобы я вздумал применять его сам. Но всегда молчать не могу — у меня в груди все клокочет!

— Мне жаль вас, Казаринов, человек вы хороший и субъективно честный, а вот не видите, что ровно в бездну катитесь!

Олег бросил на него быстрый проницательный взгляд:

— Я в этой бездне, конечно, буду, но я делаю все, чтобы это случилось как можно позднее, а вот вы, Вячеслав, легко можете оказаться собственным могильщиком: в эту бездну вы тоже катитесь, я убежден!

Вячеслав сдвинул на затылок свою фуражку и, провожая внимательным взглядом промчавшийся грузовик, спросил:

— А что, та девчонка, кузина ваша, вышла она уже замуж?

— Нет, Вячеслав. Еще не вышла. Это теперь не так легко.

— Конечно, нелегко! Господ офицеров бывших не так уж много осталось — спились с тоски, которые не засажены... а другие новыми Азефами соделались; один вот тут в комиссионном магазине оценщиком служит, цены накручивает не хуже спекулянта, а сам весь — как петух. Чем не жених? — И, кивнув Олегу, Вячеслав свернул в переулок.

Из темноты просунулась к ногам Олега морда бульдога с выпяченной губой и круглыми, навывкате,

глазами... Совсем таким же был Али-Баба и так же сопел, натягивал цепочку. Вспомнился отцовский лихач, набережная Невы и Али-Баба под медвежьей полостью. Породистые собаки стали так редки, что поневоле ассоциируются с минувшим... Недавно на улице незнакомая дама расплакалась при виде пуделя Аси... Удивляться нечему: для нее пудель, очевидно, тоже связывался с воспоминаниями о собственной семье, собственных квартирах и мирных, милых радостях... Невыносимо мрачен советский Петербург, то бишь Ленинград!

Отворив ключом дверь, Дашков еще в передней услышал печальную певучую мелодию, переплетавшуюся с подголосками левой руки, и увидел с порога склонившийся над роялем ясный лоб.

Он приблизился и поцеловал голубые жилки на виске.

— Славчик гулял сегодня?

Она кивнула, продолжая наигрывать.

— Что ты исполняешь? Мне это как будто незнакомо.

— Моё сочинение, — ответила она, все еще не снимая рук с клавишей.

— Твое сочинение? Сыграй еще раз, я хочу выслушать с начала.

— Нет, нет! Еще не готово. После когда-нибудь, — она вскочила, захлопнула крышку.

Он привлек жену к себе.

— Я сегодня столько наслушался отвратительных разглагольствований. Хочу забыть. Все-таки сыграй мне свой прелюд, может быть, это ноктюрн?

— В смысле формы это, скорее всего, фантазия, — ответила она все еще неохотно. — Я очень много вложила в это души, но до сих пор не могу закончить и устранить две-три шероховатости... А задумано было давно... — И тут в голосе ее зазвенела душевная нота. — Помню, дядя Сережа повез меня раз на август месяц в тихую деревеньку под Лугу. И вот раз осенним вечером, когда дядя Сережа был где-то на рыбалке, я шла одна в полях, собрала букет — растрепанный, пестрый, были там иван-чай, медуница, осенние ромашки... уже свежело и темнело... пусто-пусто было в поле и тихо, туман засеребрился и холодком повеяло. Я шла позже, которая вся заросла запоздалой анютиной глазкой, я озябла и заторопилась домой... И вот издалека, из церкви, которая чуть видна была на краю леса, донесся церковный благовест. Был канун Успенья, шла всенощная. Почему-то я вздрогнула и цветы уронила, рассыпала... Мне что-то особенное показалось в этом звоне, что-то грустное и вместе с тем торжественное и странно родное... Звон все разрастался, гудел и переносил меня в прошлое — в те стародавние времена, когда чище, проще было у нас на Руси, когда в лесных чащах воздвигались одинокие кельи и монастыри, такие, как Сергиевская обитель, где печалился за свою родину Сергей Радонежский и приносил свои великие молитвы на коленях в чаще. Знаешь, ведь медведи ложились к его ногам и, говорят, молились с ним. Перед Куликовой битвой туда Дмитрий Донской вывел глухими тропами свою рать и склонил свои знамена к ногам святителя. В этом звоне со мной как будто заговорила душа России, он был как стон родной земли, а последняя яркая полоска заката — как кровь — как кровь... Мне и плакать хотелось, и молиться! У России так много было горя, и оно все не залечивалось, не проходило... Я помню: на небе и в поле темнеет, а я стою и стою. Может быть, я была под впечатлением корсаковского «Китежа» и потому могла так почувствовать именно звон, но долго потом находилась под обаянием этой минуты... Теперь колокольный звон уже запрещен повсеместно.

Они помолчали.

— Знаешь, — и руки ее потянулись к нему. — Я никогда не сделалась бы эмигранткой! Наша Русь и в самые горькие годы остается величественной, и святой, и мне кажется, покидать ее ради собственной

безопасности грешно.

Брови Олега сдвинулись, словно от боли.

— Стон родной земли... Это ты хорошо сказала! Смотри же, не откладывай окончание этой работы, чтобы я успел ее услышать.

Взгляд, полный тревоги, нежности и страха, мелькнул ему из-под ее ресниц, и он тотчас подумал, что не следовало произносить этих слов.

— Играла ты своему профессору эту вещь? — спросил он, желая дать разговору другое направление.

— Он запрещает мне сочинять, — грустно ответила она. — Не хочет, чтобы я отвлекалась от исполнительства.

Около часа ночи Олег, уже собираясь заснуть, протянул руку к выключателю, и в эту минуту глухой стук грузовика привлек его внимание.

— Машина... около нашего подъезда... в такой поздний час... Что это может быть? — проговорил он, прислушиваясь.

Ася села на постели. Минуты две они не шевелились.

— Уехал. Всё. Спи, дорогая, — сказал Олег, оглядываясь на жену.

Она не ответила улыбкой.

— Я знаю, о чем ты подумал. Я все знаю, — содрогнувшись, прошептала она.



## Глава двадцать восьмая

В это декабрьское утро все женщины в квартире проснулись не в духе.

— Боже мой, Боже мой! В моем портмоне только пять рублей, а получка у Олега Андреевича еще не скоро и, наверно, будет ничтожная... О, милое пролетарское государство! Довольны, хамы? Не ценили того, что имели, пожелали господами стать, получайте теперь: карточки, очереди, фининспекторов и коммунальные квартиры. Мне такое существование и постоянные угрозы становятся не под силу, а тут еще Ася в последнее время осмеливается возражать... Зараза, страшная моральная зараза... она носится в воздухе! — говорила самая старшая.

Француженка вторила ей, стоя у закипавшего чайника:

— Что за медлительный народ! Mon Dieu! Уже пятнадцатый год, а все нет реставрации! Лишь бы хватило у нас сил вытянуть!

Когда обе дамы выходили, в кухню вбежала Клавдия Хрычко, встала на подоконник и, высунувшись через форточку в синеватую морозную мглу, еще окутывавшую двор, прокричала сыну, которого поспешила выпроводить на прогулку:

— Павлютка-а! Гляди: около дворницкой белье с веревок снимали, а наволоку уронили — подыми да принеси. Скорей, не то кто другой подберет! Экой неповоротливый!

Уже спрыгнув с подоконника, она увидела Асю, которая вошла с подносом посуды.

— Дивитесь небось меня, Ксения Всеволодовна? Нехватки ведь у нас, нужда... воровать я бы в жисть не стала, а поднять... почему не поднять?

— Зачем вы, Клавдия Васильевна, выпустили на прогулку вашего Павлика? — спросила вместо ответа Ася. — Ведь он простужен, к нему бы надо вызвать детского врача!

— А вы уж заметили? Больной он, точно. Я уже сахарцу жженого с молоком выпить ему дам. Жалостливая вы, Ксения Всеволодовна. Изо всей вашей семьи одна вы такая. Муж ваш и бабка и мадама ваша волками на нас глядят — нешто я не вижу? Я вам от нашего пирожка ломтик отрезала, вот, — берите, вы, я знаю, не побрезгуете. Кушайте на здоровье. — Она присела на табуретку. — Извелась я, Ксения Всеволодовна! Эдуард мой окаянный грубит, бродяжничает, учебу вовсе бросил, со школы приходят, требуют, чтоб явился в классы, грозят, что выгонят за хулиганство: переросток, говорят. А где я его возьму, когда он котору ночь дома не ночует? С мужем тоже беда: я у него отобрала да под матрац запрятала пятьдесят рублей из евонной зарплаты, дрова хотела купить, оттого что ордеру срок, а он выкрал вечор, как я в баню ходила, да пьяным воротился. Одолжите на дрова, Ксения Всеволодовна, не то пропадать ордеру. Я не забыла, что уж задолжала вам, не опасайтесь: я уже верну все.

— Извините... у меня нет: бабушка не очень любит, когда я распоряжаюсь деньгами... Завтра, если я получу за урок, тогда... сколько смогу... с тем только, чтоб опять никто не знал. А к вашему Павлику я сейчас по телефону доктора вызову.

Ася убежала, перекинув через плечо полотенце, вышитое еще старыми владимирскими кружевницами. Другая жилица, жена красного курсанта, приблизилась к своему примусу; сознавая превосходство своего супруга над прочими мужчинами в этой квартире, она держалась заносчиво.

— Вечно клянчите! Охота унижаться перед этими господами! Они вас в грош не ставят! Девчонка эта дура, умеет только ресницами хлопать. С такими, как вы и она, не построишь коммунизм. Вот погодите: покажут вам при паспортизации!

Олег работал теперь посменно, он только вернулся с ночного дежурства и строил Славчику дом из кубиков. Ася, войдя в комнату, любовно созерцала мужа и сына.

Нервы, однако, были уже так напряжены, что раздавшийся звонок заставил ее вздрогнуть. Олег вышел отворить, а она осталась около ребенка, тревожно прислушиваясь.

Пальцы сжались в крестное знамение.

Олег вернулся, имея очень раздраженный вид.

— Что? Что? — воскликнула она, бросаясь к нему.

— Очередная мерзость! Открываю — незнакомая женщина, которая рекомендуется: медсестра из вендиспансера; почему не является на лечение Эдуард Хрычко? Этот малолетний бродяга с именем английского лорда — сифилитик! Ты понимаешь ли, что это значит? Мальчишка лишен всякого чувства порядочности: он способен выпить в кухне из чужой кружки и поставить ее к чистой посуде — я это сам наблюдал однажды. Вот удовольствие — жить с подобными типами! Пойду объясняться, передать все-таки надо. Любопытно, что вопрос о врачебной тайне, по-видимому, вовсе отмечается в советской медицине! Ну, да в наших условиях это, пожалуй, правильно.

Она выбежала за ним и настигла в коридоре.

— Олег! Я боюсь, подыметесь шум... я так боюсь и не люблю шума... говори как можно мягче...

Говорить с главой семьи было, однако, не так просто. Когда Олег обратился с вопросом: «Товарищ Хрычко, известно ли вам, что ваш сын венерический больной?» — тот только хмыкнул, и никак нельзя было понять служило это выражением отрицания, утверждения, негодования или удивления. Олег начал было излагать свои претензии, но Хрычко перебил:

— А вам-то что до того? Мы ведь в ваши дела не мешаемся! Вечор я в жактовской конторе стоял, так слышал, упоминали там, что райсовет включил и вас в списки намеченных на выгонку, а вы еще хозяев из себя изображаете!

«Мадам» Хрычко тотчас подскочила на помощь к мужу:

— Уж таки так и больной? Да откуда же вам известно это? Больно на выдумки горазды! Уж не у доктора ли встретились? Не трогал бы вашу посуду? А он и не трогает! На что она ему?

Олег питал непреодолимое отвращение к бабьему крику и истерическим возгласам и, не желая продолжать в таком тоне разговор, тотчас предложил перенести его на вечер, когда соберутся все жильцы. Он рассчитывал в этот раз на авторитетную поддержку красного курсанта. Принцип «разделяй и властвуй» мог иногда оказаться весьма полезным в коммунальной квартире.

Ася стояла лицом к шкафу и не повернулась, когда он вошел; это показалось ему подозрительным. «Наверно, услышала о списке из райсовета», — подумал он и повернул ее к себе с вопросительным взглядом.

— Сейчас такой хороший снежок! Я поведу гулять Славчика, а ты ляг — ведь ты всю ночь не спал. — Голос прозвучал несколько жалобно, но взгляд его она выдержала спокойно.

Одев Славчика, вынесла его на скрипучий, веселый снег, на свежем, морозном воздухе сразу стало радостно. Олег немного поиграл с сыном и вернулся домой. Ася взяла Славчика за ручку и направилась к скверу. Два милиционера поравнялись с ней. Тревожно она обернулась на них.

«Входят в наш подъезд... А вдруг к нам?»

Она схватила ребенка на руки и повернула обратно. Славчик был уже тяжелым, и она добежала

только до второго этажа, когда в третьем послышался звук открываемой двери.

Да, это была их дверь! Милиционеры уже выходили, а ее муж стоял на пороге, когда она поднялась. Громко топая, милиционеры пошли вниз.

— Что? — уже во второй раз в это утро спросила она, останавливаясь и тяжело дыша.

— То, чего мы ждали, — и он показал повестку.

Она спустила с рук ребенка.

— Куда?

— За сто верст.

— Тебя или нас всех?

— К счастью, только меня.

Она молчала.

— Ася, это еще не катастрофа... Не расстраивайся, дорогая! Это только очень большая неприятность. Я опять лишуюсь работы — вот главное осложнение. Раздевайся, сейчас спокойно обсудим.

Она послушно разделась и раздела ребенка.

— Я боюсь только разлуки! Ничего другого я не боюсь. Я уверена, что мы еще очень хорошо будем жить... — прошептала она дрожащим голосом.

— Ты у меня храбрая, мужественная девочка.

Семейный совет был очень серьезен на этот раз: Олег, и Наталья Павловна, и мадам категорически настаивали, что Асе с ребенком уезжать в Лугу невыносимо. На это было несколько слишком серьезных оснований: Асе оставалось всего полгода до окончания музыкальной школы, иметь хотя бы этот диплом (за невозможностью получить консерваторский) значило уже очень много — диплом этот давал Асе право работать преподавательницей в детских школах и аккомпанировать. Далее, если Ася вздумает ехать с мужем, она немедленно потеряет комнату, а следовательно, и возможность вернуться. Кроме того, в Луге (согласно сведениям из письма Нины) свободных жактовских комнат нет, устроиться по-семейному невозможно, кроме как за очень большие деньги у частных владельцев. Денег этих не было — стало быть, деваться с ребенком некуда, и рояль вывезти тоже некуда. И, наконец, у Аси имеется небольшой заработок в виде аккомпанементов и уроков; бросать его теперь, когда Олег снова без работы, было рискованно.

Оставалось пока ехать одному Олегу, снять угол и попытаться раздобыть работу, а сюда наезжать в выходные дни.

— К счастью, дело к весне, — говорил Олег, — если я найду в Луге работу, я сниму там комнату в частном доме, а ты на лето приедешь ко мне со Славчиком. Осенью видно будет: жизнь сама подскажет, как поступить.

Это был день непрерывных неожиданностей: из передней вдруг послышался визг Клавдии и звуки, напоминающие рычание собаки, — старший Хрычко волочил за шиворот упирающегося Эдуарда, награждая его ударами кулака.

— Папка! Ты убьешь его! — отчаянно голосила Клавдия. — Помогите, добрые люди! Он искалечит парня! Экие бесчувственные тут все! Хоть умри на их глазах — не вступятся!

Вступаться и в самом деле никто не пожелал.

Через час явившийся по вызову Аси детский врач диагностировал у маленького Павлика корь.

Семье Хрычко в этот день не везло так же, как и семье Дашковых!

Кори никто особенно не боялся, но заполучить ее Славчику — означало, что Ася будет связана по рукам и ногам, а это было теперь особенно некстати. К концу дня Славчик уже начал чихать, и у него покраснели глазки — очевидно, оба ребенка захватили заразу одновременно.

— Никуда не поеду, пока не опустится температура, — заявил Олег, обнаруживая на термометре тридцать девять градусов, — пусть хоть силой тащат!

В этот злополучный день они умудрились поссориться, может быть, потому, что нервы у обоих слишком напряжены. Олег вошел в комнату, когда Ася цедила через ситечко клюквенный морс в белую эмалированную кружку, из которой обычно пила Славчика; наполнив ее, она отцедила столько же в другую кружку.

— А кому предназначается вторая порция? — спросил Олег, уверенный, что она ответит «тебе», и уже готовый сказать «отказываюсь в пользу моей Кисы», но она только нахмурилась.

— Ты кажется, забыл, что в квартире не один больной ребенок, а двое?

— А! Понимаю! Опять на сцену маленький выродок с черепом отсталой расы. Таких черепов никто еще никогда не видел у русских детей, — сказал он с оттенком досады.

Морщинка между двух тонких бровок стала явственней.

— Я помню, как-то раз в деревне женщина-крестьянка меня упрекнула за мою жалость к собаке; она сказала: у вас, у бар, животное завсегда первее человека. Я напрасно ее убеждала, что собака чувствует, как человек, холод, голод и обиду. Теперь придется убеждать моего мужа, что ребенок чувствует лишения независимо от формы своего черепа.

— Нет, ты мне лучше объясни, — возразил он, задетый за живое, — почему считаешь своей обязанностью заботиться о мальчике, у которого есть родители? Ты хорошо знаешь, что я не скуп и никогда не жалею денег, чтобы побаловать тебя и Славчика; если бы я зарабатывал достаточно, я не стал бы вмешиваться в эти мелочи, как не вмешивался до сих пор, но в последнее время мы сами питаемся неполноценно, отец этого ребенка через день хлыщет водку, а я вот за три года ни разу не купил себе пол-литра портвейна, я коробку папирос растягиваю на неделю, чтоб сэкономить на себе. А ты ущемляешь моего сына ради ребенка этого хама. Если непременно желаешь заниматься филантропией, выбери ребенка, у которого родители репрессированы, или ты нарочно раздражить меня хочешь?

— Ни заниматься филантропией, ни дразнить тебя я вовсе не собираюсь. Мне доставляет радость видеть, как сияет ребячье личико, — довольно этого тебе? Вчера ты ходил из угла в угол и повторял: я не виноват, что я — сын генерала и князя! Но и этот ребенок не виноват, что его отец пьет.

Гармония в отношениях не восстанавливалась до позднего вечера.

Собираясь ложиться, Олег сказал:

— Если из-за этого уродца я лишуюсь любви и ласки моей жены, я еще менее способен буду питать к нему добрые чувства. Неужели я так эгоистичен и скуп, что меня следует наказывать в течение вот уже десяти часов, и неужели мальчик стоит того, чтобы ради него раскачивать наши отношения?

Румянец досады залил ее щеки.

— Опять, опять! Ни скупым, ни эгоистичным я тебя не считаю, а только безмерно гордым!

— Ах, вот как! Ну, тебе виднее. Завтра или послезавтра твой гордый муж уедет, может под конвоем, в эту уже заранее мне ненавистную Лугу, а ты, ко всем такая добрая, с ним так сурова.

Ася повернулась к нему от зеркала, перед которым расчесывала косы, и, откладывая гребенку, сказала:

— Я знаю, что для меня и для Славчика ты дашь содрать с себя заживо кожу, но я хочу, чтобы твое сердце немножко... ну, совсем немножко... распространилось!

— Не выйдет, Ася! Принимай меня таким, какой есть. Если бы ранее излилось на мою душу твое солнечное тепло, я, может быть, был бы мягче, но эти десять лет меня ожесточили, я сам знаю! Христианина, в полном значении этого слова, ты из меня не сделаешь. Мои мечты не идут дальше этой жизни — я хочу борьбы, хочу деятельности большой, всепоглощающей, на пользу моей Родине, я ненавижу ее врагов, моя вынужденная пассивность меня угнетает! — и он стал ходить из угла в угол.

Пронзительный звонок раздался в эту минуту и заставил их обменяться тревожными взглядами. Олег побежал отворять, в полной уверенности, что звонит милиция, чтобы проверить, убрался ли он из города. Оказалось, однако, что визит милиции относится к Эдуарду, который замешан в шайку подростков, пойманных в краже. Перепуганная чета Хрычко клялась и божилась, что мальчик уже с неделю не показывается. Олег не пожелал опровергать этих показаний.

— Я ничего не знаю, — ответил он на вопрос милиционера.

По-видимому, Эдуард действительно дома не ночевал, так как милиция, заглянув в «пролетарскую» комнату, удалилась ни с чем.

Утром Олег отправился за расчетом в больницу, а возвращаясь, столкнулся с управдомом, который приходил осведомляться, уехал ли он, и сделал ему соответствующее внушение. Тем не менее день прошел благополучно; только вечером, едва кончили пить чай, раздался опять один из тех звонков, которые вселяли тревогу во всю квартиру, и в передней опять выросла фигура милиционера. Клавдия, отворявшая дверь, не без язвительности крикнула Олегу:

— Нынче не за Едькой, а за вами!

Положение становилось невыносимым! У милиционера было добродушное лицо, напоминавшее Олегу лица солдат.

— Вы что ж это, гражданин Казаринов, не повинуетесь приказу и нас бегать заставляете? Я не хотел на квартиру соваться — осведомился в жакте: здесь еще, говорят. Я ведь понимаю, что ехать неохота — хоть до кого доведись! Ну, да ведь если приказ вышел — все равно ехать заставят: недобром, так под конвоем, да еще штраф в сто рублей заплатите. Так уж лучше езжайте теперь. Лужский поезд через час, и мне от начальства велено вас на него проводить. Давайте, собирайтесь!

— Есть, товарищ! Придется! Я противится приказу не собирался: сынишка у меня заболел, так я хотел оттянуть денька два. Дождаться выздоровления. С вами, товарищ, я вижу, можно договориться: оставьте вы меня самого уехать; можете спокойно отпрапортовать, что проводили, — я не подведу; даю слово, что отбуду с этим поездом, а уж под конвоем меня не ведите! — И, взглянув еще раз на честное солдатское лицо, не устоял перед соблазном прибавить: — Всю войну провоевал, а вот теперь из города убирайся, словно я вор или хулиган.

На простом лице появилось выражение сочувствия.

— Что говорить! Времена нонче тяжелые! А вы на каком фронте воевали-то?

— Под Двинском.

— А я в Галиции. Ладно, я вам поверю, отбудете, значит, беспременно? До свиданья! — и милиционер вышел.

Олег закурил, постоял в передней и, притушив папиросу, пошел в спальню.

## Глава двадцать девятая

Луга и Малая Вишера тридцатых-сороковых годов — за исключением лет Великой Отечественной войны — представляли собой убежище высылаемых за черту Ленинграда. Там ютились все ленинградцы, получавшие «минус» или «стоверстную» — как политические, так и уголовники. Происходило это потому, что оба городка были ближайшими из расположенных после ста километров и связаны с центром прямым железнодорожным сообщением. В результате Луга была переполнена, и так называемых «жактовских» комнат не хватало. Нарасхват были комнаты мелких дачных собственников, которых еще не коснулось «раскулачивание» и которые, несмотря на огромные налоги, все-таки находили выгодным сдавать внаймы свои комнаты; в ряде случаев брали плату только за прописку, так как очень многие репрессированные, как раз из «бывших», втайне проживали у своих родных в Ленинграде, и только необходимость быть где-то прописанными заставляла их заключать кабальные сделки с хозяевами дач. Так поступали, разумеется, только те, кто не связан был службой. В Ленинграде на работу принимали лишь с ленинградской пропиской или с пропиской самого ближайшего пригорода, и те стоверстники, которые вынуждены были работать, волей-неволей и жить должны были в указанной полосе. Для Олега здесь вопроса не существовало: служба была ему необходима, а следовательно, жить предстояло отныне в Луге; возможность кататься туда и обратно отпадала из-за высоких тарифов.

Переспав на вокзале ночь, он отправился на поиски жилья. В центре городка, разумеется, не нашлось ничего, и он перенес свои поиски на дачные окраины. За день Олег измучился и к ночи вернулся на тот же вокзал. На следующее утро опять начались те же поиски; встреченный им рабочий, с которым он случайно разговорился, сказал ему, что лесопильный завод набирает молодых мужчин, но для этого надо иметь прописку и жилье. Прозябший, усталый, голодный и злой, Дашков продолжал свои скитания; наконец он попал в Заречную слободу, на самую крайнюю улицу, которая граничила с густым хвойным лесом. «Хорошо было бы обосноваться в этом районе, по крайней мере буду разнообразить время прогулками по лесу, не то здесь от тоски с ума сойти можно», — думал он, переходя с вопросами от дома к дому. Наконец в одном — самом некрасивом и ветхом — старуха, напоминая ведьму своим крючковатым носом и недобрыми хищными глазами, заявила ему, что угол и прописка у нее найдутся. В сущности, это оказался не угол, а сундук, на котором можно было лечь, — старуха сдавала этот сундук как нары и предупредила при этом, что комната уже заселена по углам. Боясь упустить работу, Олег согласился на сундук и вручил старухе деньги за ближайшие полмесяца.

Он уселся на опушке леса на обледенелый пенек, чтобы поужинать хлебом с брынзой. Он и сам не заметил, откуда подошла к нему эта собака — красивый породистый сеттер, по-видимому, бездомный, рыжая шелковая шерсть висела грязными спутанными клоچьями, длинные висячие уши давно никто не расчесывал, бока ввалились.

— Ах ты, бедняга! Да ты, я вижу, тоже бедствующий аристократ! Ну, поди сюда, бери, — и Олег протянул кусок хлеба. Собака подошла, хромая, и взяла хлеб, деликатно не коснувшись руки человека.

— Мы с тобой, как видно, товарищи по несчастью, ты кто же — граф, маркиз или князь?

Сеттер в печальной задумчивости внимательно смотрел на него. Олег выложил перед ним остатки хлеба и брынзы.

— Извини, как говорится, чем бог послал. Ну, пойдём, побродим по лесу, а то ведь тоска, брат.

Усвоенным с юности охотничьим жестом он ударил себя по колену, и тотчас что-то сверкнуло в печальных глазах собаки.

Уже в сумерках они подошли к неприглядному дому на опушке.

— Вот и наше палаццо! Не знаю, впустят ли тебя. Придется, пожалуй, весьма не по-товарищески тебя бросить. Ночевать на морозе очень уж не хочется.

Старуха и в самом деле не разрешила войти с собакой, и Олег вошел один, сопровождаемый долгим взглядом, в котором были одновременно и укор и понимание.

Он все-таки не ожидал такой картины: комната оказалась вся до отказа забита народом — лежали прямо на деревянном полу, сидели на подоконниках, играя в карты, ругались, курили, кто-то опрокидывал «маленькую» прямо в горло и удовлетворенно крякал, кто-то наяривал на баяне. Уголовники! — мир засаленных полосатых гимнастеров, голубых маек и старых кожанок, парни «что надо» и полуспившиеся мужики, — половина из них, по всей вероятности, нигде не прописаны. Сундук оказался занят; правда, в ответ на протест Олега старуха явилась навести порядок и согнала с него одну из подозрительных личностей. Подложив под голову свой рюкзак и закрывшись пальто, Олег устроился кое-как на абонированном участке. Унылые напевы баяниста: «Вот умру я, умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя» — наводили тоску.

«На дне! — подумал он. — В эту ночь останусь здесь, а завтра придется поискать нового прибежища».

Однако, как только пробило одиннадцать, на электростанции выключили свет, и вся публика волея-неволей стала устраиваться спать. Позажигали два-три сальных огарка, от которых по грязному потолку заходили гигантские тени, но вскоре затушили и их.

— Гони, гони — и без нее живого места нет! — услышал вдруг Олег чей-то возглас.

— Пошла, пошла, рыжая бестия! — подходил другой.

Олег приподнялся:

— Что там?

— Собака проскочила. Пошла, пошла отсюда, стерва!

Олег чиркнул зажигалкой, глаза его и сеттера встретились.

— Не гоните, это мой сеттер, пусть погрееется.

— Да здесь и людям-то места нет. К себе на сундук бери, коли так.

— Разумеется, возьму к себе.

Олег хлопнул ладонью по сундуку, сеттер легким прыжком оказался около него и стал устраиваться, задевая Олега обледенелыми лапами и дыша ему в лицо.

— Ложись, ложись, мой бедный маркиз. Ты меня пожелал иметь своим хозяином? Неудачный выбор! Я такой же бездомный, как и ты, — шептал Олег, почесывая собаке за ушами. Холодный нос коснулся его уха. Дашков обнял и прижал к себе собаку, оба затихли в объятиях друг друга.

На следующий день документы Олега поступили на прописку, а сам он с утра отправился разыскивать лесопильный завод, где ему предложили наведаться через несколько дней. Позвонив с вокзала домой, он узнал от Натальи Павловны, что ребенку лучше и Ася решила отлучиться на уроки. Наталья Павловна сообщила также, что получила письмо от Нины, которая устроилась в доме литфонда; Олег тотчас пожелал разыскать этот литфонд, но напрасно стучал в калитку — в доме не было ни души. Только на третий день в ответ на его стук наконец открылась дверь, и он увидел, как Нина спешит к калитке, увязая в сугробах заметенного снегом сада. На ней были валенки и платок. Дашков поцеловал ей руку:

— Как ни переряжайтесь — все равно губернаторша или генеральша!



— Посмотрите мою резиденцию: я одна в пяти комнатах, — ответила она, смеясь. — Это дом отдыха для писателей, он в зимнее время закрыт. Меня устроила сюда военчасть: я пела у них в клубе и договорилась вести частным образом кружок художественной самодеятельности с женами комсостава и хоровое пение с их детьми. Узнав, что мне негде жить, заведующий клубом командир с тремя шпалами сам ходил к коменданту литфонда и просил его разрешить мне тут пожить, а прописку мне устроили в соседнем доме у сторожихи. Здесь было бы очень хорошо, если бы не лютая стужа в комнатах; я хозяйничаю на керосинке и отапливаюсь только ею же, а ведь дом нежилой, стены сырые. У меня зуб на зуб не попадает, я все время в валенках и в пальто.

Нина оказалась в обществе Марины, которая приехала, как только выяснилось точное местопребывание Нины. Обе сидели за чаем в литфондовской гостиной и тотчас пригласили Олега к столу.

— Я тебе еще месяц назад сказала, что кончится именно так! — говорила, продолжая прерванный разговор, Марина. — Я не умею защищаться: меня может обидеть кролик, а не то что целый кагал.

— А что, в самом деле судил-рядил тот Соломон? — спросила Нина.

— Он. Только, несмотря на самые веские основания прозываться именно так, имя его оказалось Яков Маркович. Огромная голова, маленькие кривые ножки, борода, как у Карла Маркса, а глаза — лисьи, облачен в допотопный лапсердак. В середине допроса что-то ему в наших ответах не понравилось — вдруг как двинет от себя стол, а один из уважаемых членов рода сидел на шаткой скамеечке и, когда стол ушел у него из-под локтей, — грохнулся на пол. Сарочка как взвизгнет... Разве воспитанная женщина позволит себе закричать? А они все затараторили, завизжали, загалдели.

— Какие же вопросы задавал этот Яков Маркович? — спросила Нина.

— Прирожденный крючоктворец! пожелал выяснить, кто ухаживал, а мне по части бойкости в ответах — где уж с Сарочкой равняться! Я мямлю, а она тараторит по-своему — я не понимала, так и возражать не могла. Ну, присудил ей большую комнату, а не проходную маленькую на том будто бы основании, что она дежурила у постели по ночам... в действительности, конечно, потому, что единоплеменница! Я могу оспаривать через суд, да не хочу: в успехе я вовсе не уверена, а с ними в этом случае рассорюсь окончательно.

— А вещи? — спросила Нина.

— Вещи все мне отдали. Сарочка заявила было претензию на мою чернобурку, но Соломон решительным жестом осадил ее. Она поревела, но покорилась. Кстати, это Соломон заявил, что «нажмет» на зава какой-то поликлиники, очевидно, тоже еврея, чтобы меня приняли туда работать кастеляншей. Все бы ничего, если б не комната!

Олег слушал, отделяваясь сочувственно-безразличными репликами. Разговор затянулся так же, как чаепитие, которое разнообразилось привезенной Мариной кулинарией собственного изготовления. Олег, которого общество Марины несколько тяготило, вызвался принести дров из лесу, чтобы Нина могла протопить, и ушел, сопровождаемый верным Маркизом. Когда он вернулся с вязанкой за спиной, было уже совсем темно, и Марина поднялась, чтобы поспеть к вечернему поезду. Олег предложил свои услуги доставить Марину на вокзал, уныло предчувствуя, что разговор тем или иным путем непременно нырнет в прошлое. Очень скоро они подошли к огромной луже талого снега, образованной снеготопилкой, и Марина беспомощно остановилась. Он протянул ей руку, говоря: «Прыгайте!» — и на минуту она оказалась в его объятиях. Почувствовав, как быстро разомкнулись его руки, она смутилась и сказала:

— Вы вправе считать меня эгоистической и ничтожной женщиной, Олег Андреевич, если вы иногда вспоминаете... те дни... то, наверно, с упреком.

Секунду он помедлил с ответом.

— С огромной благодарностью.

— Как? — удивленно спросила она.

— Да, с благодарностью. Я ни о чем не жалею и всю жизнь буду благодарен вам, что вы согрели меня. Несмотря ни на что...

— Вы можете переночевать в одной из этих комнат, — сказала ему Нина, когда он вернулся с тайной надеждой услышать именно эти слова.

— Здесь отдохнете, наверно, лучше, чем на своем сундуке, и мне не так страшно будет, а то я дрожу при каждом шорохе — вокруг так пусто, а Луга полна бандитов, которых выселяют из Ленинграда, как и нас с вами.

Чувствуя, что глаза его слипаются после трех бессонных ночей, Олег решил воспользоваться предложением Нины и начал устраиваться на ночь в гостиной. Мимо садовой ограды по пустому обледенелому шоссе промелькнула женская фигура, прямая как стрелка, с рюкзаком за спиной, она попала на минуту в полосу света, падавшего из окна, и Олег увидел, как, перескочив с легкостью козы через канаву, она скрылась в темноте. Движением этим она напомнила ему Асю, и тоскливое ощущение, словно невидимой рукой, тотчас притронулось к его сердцу. Нелепая мысль: ее никогда бы не отпустили на ночь в незнакомый город. Кто-то из сосланных, наверно; на коренную лужскую обитательницу непохожа — покрой пальто не здешний и без валенок, в одних башмачках!

Почти тотчас Нина его окликнула:

— Олег, войдите, если не легли, — кто-то стучит, мне страшно!.. Не открывайте, спросите сначала! Здесь полно уголовников! — шептала она, следуя за ним со свечкой. Но он быстро распахнул дверь, охваченный страстной уверенностью, от которой затрепетала каждая жилка.

— Олег! Ты здесь? Какое счастье!

— Дорогая, дорогая, любимая! Ты приехала! А ведь мне уже стало казаться, что я больше тебя не увижу, что ты так же внезапно исчезнешь из моей жизни, как появилась в ней! — Схватив жену на руки, он перенес ее в комнаты и, упав на колени, прижался головой к ее ногам, обнимая их. — Какой тебе неудачный достался муж! Он ничем тебя не может обеспечить, и ты еще вынуждена таскаться за ним по этим медвежьим окраинам!

— Такой достался, которого я люблю! — ответила Ася, лохматя его волосы. — Я очень забеспокоилась и загрустила! Ведь уже четыре дня. Бабушка и мадам, увидев, что я подревываю втихомолку, сжалились надо мной и отпустили к Нине. А что это за собака? — Она коснулась рукой Маркиза, который очень тактично помахивал хвостом, выжидая, пока его представят. — Я была почти уверена, что найду тебя у Нины, — говорила Ася, — мы предполагали, что я дойду засветло, бабушка припомнила, что прежде в Лугу ходил экспресс, но этот поезд тащился целых четыре часа, а после я еще два часа скиталась по городу в поисках литфонда. Я вам привезла целый рюкзак провизии — у бабушки купили наконец кофейный сервиз. Ну, а теперь поите же меня чаем!

«Я все еще выигрываю у жизни прекрасные минуты», — думал он, слушая, как Ася наигрывает своего любимого Шуберта на разбитом пианино в пустом салоне.

Он хранил в своей душе запас слов и мыслей, скопившихся за дни разлуки, но лишь когда они устроились наконец на ночь на одном из огромных диванов литфонда и уже лежали, любуясь разукрашенными морозом окнами, в которые ярко светила полная луна, он заговорил о том, что его переполнило.

— Я не могу забыть твоих слов о «горе России»! У меня с собой томик Блока, и я зачитывался «Куликовым полем». В этой вещи есть тонкости, которые могут понять очень немногие. Для этого надо быть русским и любить Россию, много знать и во многом разбираться, не терять высокой культуры и, наконец, быть человеком с развитым воображением. Этим требованиям мы с тобой более или менее удовлетворяем. Я не претендую на особую эрудицию или особую мудрость, быть может, от меня ускользнут тысячи тонкостей во всяком другом произведении, но это написано как будто для меня! В нем для меня оживают значения, которые недосказаны, но будят целые гаммы настроений, целый строй мыслей! Они не конкретны, но могучи и идут одно за другим вереницами... «О Русь моя! Жена моя! До боли нам ясен долгий путь!» или: «Я — не первый воин, не последний, долго будет родина больна». Я здесь понимаю нечто такое, что не сумею передать словами... Эти таинственные пароли — все в моей душе! Нерукотворный лик в щите у воина — для меня твой лик, это ты касаешься моей души, когда нужны благословение или утешение. Твой прелюд подготовил почву для более глубокого восприятия блоковских строк, это ты заронила в меня мысль о прошлых страданиях России, и я как будто почувствовал себя ответственным за них! И ты, конечно, согласишься, что я готов был бы с радостью умереть, если бы смерть моя могла принести исцеление Родине. Это не фраза с моей стороны: мне с юности казалось убогим, жалким, недостойным трястись над собой, цепляться за собственное существование. На фронте я не жалел себя — хотелось подняться над инстинктом самосохранения, мне доставляло спортивный интерес тренировать себя в этом отношении. У меня была репутация храбреца — два Георгия и Владимир с мечами, кажется, заслуженные. Я за храбрость даже был представлен к золотому оружию. Но к чему это привело? Война с немцами? Ее конец был извращен, поруган и опоганен большевиками. Бои с красной армией привели к поражениям и мукам, которым нет конца... А как были счастливы в Куликовской битве русские витязи — наши предки! Не существовало сомнений — все было ясно, все светло! А теперь правый путь потерян — «...не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой». С какой тоской я иногда думаю, что умру прежде, чем придет битва за освобождение, умру в подвале или на тюремном дворе... Мне иногда снится этот двор. В последнюю минуту не будет светлой уверенности, что Родина восстала, спасена, расцветает... Когда придет... час расплаты... помани «...за раннюю обедней мила друга, светлая жена!»

Она слушала молча, не спуская с него печального и серьезного взгляда; не стала возражать, не сказала: «Ты не погибнешь», не сказала: «Если ты умрешь, и я умру», — только взяла его руку и поцеловала.

— Помяну, — тихо шепнула она.

...Завод отказался принять Олега, ссылаясь на то, что не получил обещанных ему дополнительных штатов. Через несколько дней, однако, Олегу посчастливилось устроиться чернорабочим по починке мостов и шоссе дорог. Зарплата была очень невелика, но он остался и этим доволен. В первый же канун своего выходного дня он поехал домой, чтобы пробыть там ночь, день и следующую ночь и уехать на рассвете. Обстановка в квартире не благоприятствовала нелегальным наездам: в первый же вечер был опять налет милиции, продолжавшей охотиться за Эдуардом. Олег не вышел на звонок, и милиция почти тотчас удалась, но жена красного курсанта заявила утром в кухне: «Жизнь в этой квартире становится невыносимой из-за проживающих нелегально двух лиц». Это могло относиться помимо Эдуарда только к Олегу. Клавдия набросилась на соседку:

— Змея подколодная! Устроилась как нельзя лучше и жалит! Не все такие довольные и сытые, как ты. От звонка просыпается, подумаешь! А когда мой муж с «ночной» придет и спать ляжет, ты его, что ли, не будишь своими патефонами? В жакт заявишь? А я вот заявлю, только не в жакт, а твоему мужу, что как только он в командировку отбыл, к тебе тотчас командир с двумя шпалами зачастил...

Когда Эдуарда, наконец арестовали, Клавдия сказала: «А ну его! Замучил он нас! Может, в колонии

одумается». Однако несколько раз среди дня принималась плакать. Через две недели Эдуард ускользнул из колонии, и нелегальные появления на квартире и звонки дворников и милиции начались снова. В связи с этим Олегу приходилось быть особенно осторожным, тем более что следовало опасаться жены курсанта.

— Выдры этой нет в коридоре? Могу я выйти в ванную? — спрашивал он.

— Подожди, я пройду посмотрю, свободна ли дорога, — отвечала Ася.

Славчик, однако, постоянно выдавал присутствие Олега звонкими восклицаниями «папа». Выдра зажала в кулак все женское население квартиры и, появляясь в кухне, держала в постоянном страхе и Асю, и мадам, и Клавдию, чья добродушная круглая физиономия казалась теперь симпатичной по сравнению с надменно сжатыми губами и вздернутым носом накрашенной дамы новой формации.

— В ванной пол забрызган: ваш муж, наверное, под душем мылся, — говорила она Асе, и та, не смея возразить, бросалась с тряпкой в ванную, хоть и знала исключительную аккуратность Олега.

В передней опять натоптано: ваш сын, как пройдет, так наставит, — говорила она Клавдии, и та в свою очередь хваталась за тряпку, даже если Эдуард не появлялся.

Несколько раз Олег доказывал себе, что ехать не следует, чтобы не нарваться на неприятность. Милиция брала штраф в пятьдесят рублей за незаконное пребывание в квартире в ночное время и столько же с человека, предоставлявшего убежище, — сто рублей могли весьма ощутимо подорвать их месячный бюджет, но когда Олег мысленно взвешивал на весах эту сумму и радость видеть семью — последняя перетягивала.

— Авось обойдется! — говорил он себе и мчался на вокзал, охваченный радостным ожиданием. Дворянская непрактичность, которая внушала взгляд на деньги как на нечто не заслуживающее большого внимания, приходила на помощь: с деньгами обойдется! Неужели из-за денег лишаться свидания с семьей? Наталья Павловна и Ася первые доказывали ему несостоятельность такого положения! Вот если бы наказанием было заключение — тогда другое дело! До тех пор, пока имели дело с милицией, положение было еще терпимо и последствия не столь трагичны.

В одно утро, покидая дом, Олег столкнулся в передней с Эдуардом. Было только пять утра, Олег торопился на поезд, и Ася в одном халатике совала ему по карманам бутерброды и сахар, когда Клавдия осторожно выглянула в переднюю; «Не порадуешься вовсе на такую-то жисть!» — сочувственно пробормотала она и бесшумно открыла входную дверь, чтобы выпустить Эдуарда, а затем, не закрывая ее, посторонилась, чтобы пропустить торопившегося Олега, «Ну счастливо!» — опять пробормотала она, и это напутствие относилось, казалось, к обоим. Внизу, спустившись с лестницы, Олег обогнал мальчишку, который пошел следом за ним. Не желая лишней раз показываться дворникам на глаза, Олег облюбовал себе лазейку через соседний двор и теперь быстро проскользнул в закоулок к невысокой каменной стене, отделявшей их двор от соседнего. С ловкостью гимнаста он подтянулся на руках и сел на хребет стены. Эдуард стоял внизу и с завистью смотрел на него, так как был слишком мал ростом, чтобы подняться таким же образом. Олегу вдруг стало жаль мальчишку: ему в первый раз бросились в глаза бледность, худоба и рваное пальто этого подростка.

— Ну, становись на тот камень да давай руку — я подтяну тебя, — сказал он. Но когда соскочил, с отвращением обтер руки снегом и ушел не оборачиваясь. «Хорош у меня товарищ по несчастью! Нечего сказать!» — подумал он.

В Луге одиночество Олега разделяли только Нина и Маркиз. В первый же раз, когда Олег, возвращаясь в Лугу, вышел из вагона, он увидел собачью морду с длинными ушами: собака безнадежным взглядом озирала поезд и, может быть, уже несколько часов торчала здесь, около облупившейся грязной стены, вся продрогшая и голодная. Неизвестно, сколько еще часов готова она была простоять тут.

Близорукие глаза сеттера еще не разглядели хозяина, который увидал его, еще висая на подножке.

— Маркиз! — крикнул Олег; тот дрогнул, бросился вперед и прыгнул ему на грудь.

В следующий раз Олег, уезжая, просил свою хозяйку кормить без него Маркиза и оставил ей на это трехрублевку, но далеко не был уверен, что деньги истрачены по назначению.

Преданность собаки согревала Олегу сердце и скрашивала одинокие прогулки по лесам. Этим прогулкам он отдавал все свободное время, делая иногда по пятнадцать-двадцать верст за день в любую погоду, лишь бы не сидеть в комнате у старухи. Выходя из поезда, Олег всякий раз тревожно искал глазами мохнатого друга, боясь, чтобы тот не затерялся. Это упорно «нераспространявшееся» сердце было очень постоянно в своих немногих привязанностях, и Маркиз, по-видимому, был таким же!

К Нине Олег заходил раза два в неделю — провести с нею вечер и принести ей дров из лесу. Она пела ему его любимые романсы, поила его чаем, и в печальных разговорах они засиживались иногда до утра. Жизнь опять как-то налаживалась. Иногда Олегу удавалось убедить себя, что благодаря этой высылке он вышел из поля зрения Нага, который забудет наконец о нем. Приближавшаяся весна сулила ему радость заполучить к себе семью. Окрестности Луги славятся прекрасными хвойными лесами, и, блуждая там по сугробам, он уже воображал, как понравятся эти леса Асе и как они будут гулять здесь со Славчиком, если... Без этого «если» не обходилось ни одно предположение, ни одна мечта.

## Глава тридцатая

Величественная фигура швейцара уже несколько дней не красовалась около лифта больницы; посланная администрацией санитарка принесла известие, что Арефий Михайлович заболел; одновременно поползли слухи, у него большие неприятности и арестована старуха жена.

Едва лишь слух этот коснулся ушей Елочки, тотчас она побежала к старику и нашла его в одиночестве в неприбранной комнате на кровати. Старый богатырь поведал Елочке свое несчастье; шурин его работал «на плотках» и, возвращаясь из очередных рейсов, всегда выпивал «маленькую»; в этот раз он хватил через край, распетушился, побил где-то стекла и попал в милицию; супруга Арефия Михайловича понесла брату передачу, которую дежурный милиционер не пожелал принять; слово за слово, завязалась перебранка; милиционер толкнул почтенную швейцариху, которая упала в лужу и испортила новый салоп; тут она раскричалась; «Ах ты, слюнявый пентюх! Зазнались, заелись вы тут! Расплодила вас, паразитов, советская власть, будь она проклята! Которые люди честно работают, смотришь, гроши получают, а вы вон как заелись! Рожи-то салом заплыли!» Кричала, а там, недолго думая, схватила со стены портрет Сталина и запустила им в милиционера. Подскочили *товарищи* и, остановив разбушевавшуюся старушку, заявили, что не спустят оскорбления; совместными усилиями пустили в ход весь блат, которым только располагали, и старушка очень скоро была присуждена к трем месяцам заключения за хулиганство.

Арефий Михайлович в свою очередь возмутился: ходил в районный суд и к юристам и добился пересмотра дела, но во вторичной инстанции обратили внимание на ту сторону, которая до сих пор оставалась в тени, а именно — на разбитый портрет вождя и друга народов и на непозволительные выкрики по адресу советской власти. Несчастливая швейцариха получила нежданно-негаданно пятьдесят восьмую статью и пять лет лагеря.

— Сам, своими руками погубил старуху, Елизавета Георгиевна, сам! Ну, отсидела бы три месяца — и вся недолга, а у меня, вишь ты, ретивое закипело, дохлопотался! Теперь ей оттоль и не выйти — стара ведь она у меня!

На другой день Елочка стояла на площадке лестницы в больнице и рассказывала всю историю санитарке Пелагее Петровне, когда мимо проходил новый фельдшер приемного покоя, партиец, и спросил, останавливаясь:

— Вы были у Арефия Михайловича? Ну, как он?

Елочка тотчас же приняла надменный вид и злобно отчеканила:

— Плохо: жену засадили по пятьдесят восьмой, а у старика был сердечный приступ, лежит один, ухаживать некому, плачет.

Лицо фельдшера приняло озабоченное выражение:

— Надо что-нибудь для него сделать! Наш коллектив должен товарища поддержать — ну, хоть снести ему продуктов на дом или выделить человека прибрать ему комнату... Давайте организуем хоть мы с вами.

Елочка с удивлением вскинула на молодого человека глаза: партийцы обычно шарахались в сторону, как только издали мелькнет призрак пятьдесят восьмой статьи, а этот!

— Организовать отказываюсь! Я раз попробовала, но предместком устроил мне скандал. Я, конечно, к Арефию Михайловичу пойду, но сама по себе. Организуйте вы, — и отошла все с тем же надменным видом.

Вслед за этим небольшой грипп уложили ее в постель; в первый же день, когда она вышла на воздух,

чтобы отметить бюллетень в поликлинике, и уже шла домой, вниманием ее завладел Преображенский собор, с которым она поравнялась. Ставить свечи, прикладываться к иконам — все это она уже оставила, но постоять в этой торжественной тишине, сосредоточившись на своих думах, и обратиться с мольбой к Высшему Милосердию иногда хочется! Переступая порог храма, она вспомнила институтскую церковь и детские отчаянные молитвы за спасение России.

— Мир всем! — послышался голос из алтаря, и невольно склонилась голова Елочки, как прежде, когда, бывало, словно рожь от ветра, склонялись ряды покрытых платками головок.

День был будний, и в соборе никого не было, кроме обычных завсегдатаев — древних старушек, ковылявших от иконы к иконе и целовавшихся при встрече.

Ни тишина, ни торжественность не водворялись в сердце Елочки. Она была расстроена письмом, которое получила в это утро из Свердловска от самой молодой из своих теток — единственной оставшейся в Союзе.

Письмо это возмутило Елочку.

Звучало «Отче наш», Елочка продвинулась еще немного вперед и вдруг увидела знакомую головку на вытянутой шейке, бархатный потертый берет gris perle<sup>[74]</sup> и две длинные каштановые косы; порт-мюзик и картошка в сетке говорили о том, что обладательница их забежала сюда тоже по пути, на минуту, но глаза с голубыми тенями под ними смотрели прямо в алтарь, и всё выражение этого лица показалось Елочке настолько отрешенным, что она воздержалась от желания сделать шаг к Асе и тронуть ее за плечо. Прошло, однако, лишь несколько мгновений. Ася быстро поднялась с колен, метнула беспокойный взгляд на часы в углу собора и немного поспешно приблизилась к аналою, бережно положила к иконе Праздника две чудные розы, потом перекрестилась и быстро направилась к выходу. Елочка настигла ее уже у самой двери, они заговорили шепотом, но, отвечая на вопросы Елочки о здоровье ребенка, положении Олега в Луге, Ася как-то странно-тревожно поводила глазами вокруг и внезапно прервала сама себя:

— Я хотела вас попросить не говорить бабушке, что вы меня встретили здесь, и о розах тоже...

— Хорошо, я не скажу, да вряд ли и увижу Наталью Павловну в ближайшее время. Что, однако, может она иметь против? Ведь она сама верующая? — спросила удивленная Елочка.

— Видите ли, мне часто попадает, что я слишком надолго отлучаюсь из дому. Я уверяю, что задерживаюсь в музыкальной школе, а сама по пути все-таки заворачиваю сюда. Хочется хоть на минуту преклонить колени, а дома очень много дела, Славчика ведь ни на минуту нельзя оставить без присмотра, стирка, очереди... мы все измотались! Я здесь нелегально, — и она виновато улыбнулась.

Когда она убежала, Елочка, припоминая слова Аси о том, что сегодня у Олега выходной день, но они не увидятся, так как поездки друг к другу стоят дорого и они уговорились поэкономить на этот раз, Елочка внезапно приняла решение съездить к изгнаннику самой. Ей представилась уже прогулка в лесу и один из тех разговоров, которые так заряжали ее внутреннее. Спешно вернувшись домой, она собрала в сетку кое-какой провизии и помчалась на вокзал. Фетровая шляпка с птичьим крылышком и маленькая муфта, болтавшаяся на старомодной цепочке из черных деревянных четок, придавали ей несколько архаичный оттенок, неотделимый от нее. В Луге, выходя из поезда, она увидела Олега на перроне; изыщество его осанки, даже в верблюьем свитере и высоких сапогах, бросалось в глаза тотчас. Он кого-то ждал: может быть, все-таки надеялся, что Ася нарушит договор? «Сейчас увидит меня и разочаруется!» — мелькнуло в ее мыслях. Он, однако, ничем не обнаружил своего разочарования.

— Очень, очень тронут! — сказал он, предлагая ей руку.

Проходя городом, Елочка несколько раз замечала людей с интеллигентными лицами, занятых

перетаскиванием бревен и отбиванием льда на тротуарах. Раз она обратила внимание на пожилую даму очень респектабельного вида, которая ковыряла ломом посередине улицы, тщетно стараясь скалывать лед. Другой раз дорогу им пересекла ассенизационная повозка; погоня клячу, тащившую элегантный экипаж, возница напевал арию из «Сильвы», и Елочка готова была побиться об заклад, что распознала в нем опытным взглядом бывшего офицера. Все это производило далеко не радостное впечатление... Улицы маленького городка выглядели уже по-весеннему: мартовское яркое солнце, талый снег, капель, чирикающие воробьи... Тем не менее Елочке стало почему-то холодно и неуютно: то ли от непривычного свежего загородного воздуха, то ли от самолюбивых опасений... Выяснилось, что идти им, в сущности, некуда:

— На мой сундук я приглашать не рискую, — сказал он.

Вся надежда была только на разговор, которому не так легко было завязаться. Перекидываясь фразами о трудностях жизни и о положении Аси, они вышли к мосту через речку Лугу и тут неожиданно столкнулись лицом к лицу с фельдшером больницы.

— А я как раз вас-то и разыскиваю, — сказал он Олегу.

Елочка, не ожидавшая подобных отношений, была несколько шокирована. Из разговора выяснилось, что Вячеслав приехал еще с утренним поездом по делу, покончив с которым, решил навестить Олега. Вячеслав не пожелал рассказать, в чем заключалось дело, а заключалось оно в следующем: накануне этого дня, оставшись дома один, он вышел отворить на звонок и увидел перед собой двух мальчиков, по-видимому, братьев — оба черноглазые, шустрые, старшему лет десять.

— Пустите нас! Пустите, спрячьте! Скорей, скорей! — и оба вбежали в кухню, причем старший предусмотрительно потянул за собой дверь.

— Что вы боитесь, малыши? От кого вас прятать? — спросил Вячеслав, стоя посередине кухни.

— Гепеу! Гепеу! Нумерной круглосуточный! Спасите, спрячьте! — повторяли оба.

— Да говорите вы толком, в чем дело! — прикрикнул Вячеслав.

Тогда старший мальчик, твердо глядя ему в глаза, ответил:

— Мы из квартиры на втором этаже. Гепеу хочет увезти нас и запрянуть в нумерной детдом, а мы не хотим туда. За нами обещала приехать тетя. Спрячьте нас.

— А ваши родители?

— Мама недавно умерла, а папа — настоятель собора. Борька, не реви, дай рассказать. Папа говорил, что если его возьмут, мы должны ехать к тете. Вчера его взяли, а нам сказали, что придут за нами, и вот пришли, а мы убежали через черный ход. Товарищ рабочий, не выдавайте нас — позвольте переночевать, а завтра с утра мы уедем — тетя в Луге.

Вячеслав задумался.

— Есть у вас ее адрес? — спросил он.

— Да, вот здесь — пришит к крестик, — и старший мальчик расстегнул ворот курточки.

— Покажи бумагу. Кто этот писал?

— Наш папа.

У входной двери послышался звонок; мальчики взвизгнули и, схватившись за руки, бросились в коридор. Вячеслав за ними.

— Да остановитесь вы, бутузы! Идите сюда, ко мне в комнату. Сидите тихо: я не выдам вас.



И Вячеслав вышел в кухню, чтобы отворить.

— Кого вам, гражданин?

— Извиняюсь, товарищ! К вам не забежали два мальчика? Велено доставить по назначению, а я уже битых полчаса гоняюсь за ними, взопрел весь и одышка взяла.

— Нет, никого не видел. Все было тихо, — и Вячеслав закрыл дверь.

— Они ушли, — сказал он, возвращаясь к детям. — Но еще неизвестно, лучше ли это, — в детском доме вас будут кормить, поить, одевать и учить. А что сможет вам дать тетка? Еще неизвестно, захочет ли она вас принять!

— Захочет, она обещала. Папа говорил: если мы будем при ней, нас никуда не заберут. А в детский дом мы не хотим: там слуги антихриста нас будут учить безбожию, там мы потеряемся, и папа после нас не найдет. Так было в семье у папиного прихожанина.

— Слуги антихриста? Слушать тошно! Дурачье вы еще. Ну, да слушайте: завтра я отвезу вас в Лугу, но если мы тетки вашей не найдем или она не захочет принять вас, я сам сдам вас людям, которые приходили только что. Примите, что они пришли за вами ради вашей же пользы. Ну, а на сегодня оставайтесь у меня. Сейчас будем чай пить, а глаза вытрите — не разводите мокроту.

На следующее утро с первым же поездом Вячеслав повез мальчиков в Лугу. Тетка была обнаружена точно по тому адресу, который был написан рукой иерея. Это оказалась худая смуглая женщина, несколько чахоточного типа, тоже с черными большими глазами.

— Ах ты, Господи, Микола Милостивый! Ну, идите, идите сюда! Возьму. Как же не взять-то — перед Богом обещала! Возьму, ведь это мой крестник, — и худая рука из-под серого платка любовно легла на голову младшего мальчика.

Домишко был ветхий, деревянный, комната темная, заваленная тряпьем... У Вячеслава сжалось сердце.

— На что содержать буду? Бог не оставит. Я вот портняжничаю малость, голодать не дам. Пусть Бог вас благословит, что позаботились о детях, — и опять она провела рукой по голове мальчика. — Войдите чайком согреться. Чем богаты, тем и рады, — прибавила, обращаясь к Вячеславу.

— Идемте, идемте! — и старший мальчик потащил Вячеслава за рукав. — Вы тоже, наверное, прихожанин нашей церкви?

Вячеслав усмехнулся, хотел было сказать, что он партиец и ему в их церкви делать нечего, но вдруг вместо этого пробормотал что-то — мол, некогда, надо еще успеть куда-то, повернулся и пошел от них шагая через лужи.

Старший мальчик догнал его:

— Тетя Маня сказала, чтобы вы приезжали нас навестить. Приезжайте. И скажите нам ваше имя — мы будем за вас молиться.

Вячеслав пристально посмотрел в глаза ребенку:

— Мне молитв ваших не нужно! Ты вот не думай о партийцах как о злодеях и доносчиках — это гораздо сложнее, понял?

Разыскивая Олега, он не мог отвязаться от мысли, что вовлекается все глубже и глубже в чуждую ему и враждебную в классовом отношении среду. Какая-то червоточина завелась в последнее время в его мыслях... Олег и Нина, на его глазах снятые с работы и оторванные от семьи, та женщина на окне, в кухне,

старик-швейцар, убитый горем, и теперь эти перепуганные дети, — неотступно сопутствовали его думам. Все это были классовые враги, уже клейменные, но он не мог не видеть их человеческой красоты! За фигурой попа — худшего из классовых врагов — выросстал отец, который дрожащей рукой вешал ладанку на шею маленького сына. А кто такая эта «тетя Маня»? Богомольная фанатичка, разумеется, тоже ненавистна существующему строю, и притом портниха, кустарь-одиночка, прячущаяся, конечно, от всевидящих глаз фининспектора... Но сколько любви! Какая готовность к жертве, граничащей с подвигом! У этих людей были свои незабываемые обиды, и трудно становилось осудить их за враждебное отношение. И все-таки откуда это море недоверия и презрения к Советской власти? Какое огромное внимание уделяет она вопросу детского воспитания, какие колоссальные средства затрачивает на детдома, школы и ясли — и вот какой панический страх, а репутация коммуниста переплетается с репутацией предателя, чуть ли не палача! да что же это?!

И только что коммунист Коноплянников решил, что лучше не разыскивать Олега, который своими разговорами еще больше раскочерит его незыблемое, казалось, кредо, как тут же натолкнулся на Олега, Елочку и собаку. Волей-неволей пришлось заговорить и присоединить и свою фигуру к разочарованному трио, причем сеттер обнюхивал встречного весьма недружелюбно.

Олег предложил своим гостям отправиться к Нине, которая тоскует в одиночестве, а кстати может попотчевать гостей горячим и крепким чаем: ведь она располагает целиком дачей и таким сокровищем, как керосинка. Нина и в самом деле встретила гостей очень радушно. У нее уже сидела одна гостя — седая старушка, тоже из высланных, с которой они уже чаевничали, и, таким образом, мечта Олега о горячем чае тотчас осуществилась. Зато обнаружилось, что старушка обладает жалом еще более ядовитым, чем у Олега, и притом удивительным бесстрашием; нежданно-негаданно она огорошила Нину следующей тирадой:

— Что это вы меня подталкиваете, моя милая? К осторожности, что ли, призываете? Так я, позвольте вам сказать, ничего и никогда не боюсь!.. Вы уж не партиец ли, милый юноша? Ага, так! Я тотчас догадалась! — И пошла, и поехала щелкать по больным местам: — Что вы нам тут чепуху всякую в голову вбиваете, будто бы Сталин — любимый ученик Ленина? Заладили и в речах, и в печати! Всем старым революционерам отлично известно, что Ленин не доверял Сталину и говорил о нем: он властолюбив и мстителен, «не допускайте его встать во главе!» Я была знакома с Крупской и слышала эти слова от нее самой.

И не успел еще Вячеслав переварить упоминание о Крупской, которое подействовало на него, словно удар ножа, как старушка перешла в новую атаку:

— Эх, не сумела ваша партия воспитать молодежь! Я вспоминаю наше племя! Сколько было в нас самой бескорыстной и беззаветной готовности жертвовать собой за народ! Мне довелось работать на эпидемии чумы. Царское правительство не гнало насильно, под угрозой лишения работы, как это делается теперь. Публиковали официальные приглашения на строго добровольных началах, и, однако, от добровольцев отбою не было, гнали обратно, и никто не хотел уходить, — это вам говорит очевидец! А какие смелые пламенные речи лились, бывало, на наших собраниях и студенческих сходках! Мы не цеплялись за выгодные места и не повторяли как попугаи газетных лозунгов!

Последняя тирада, может быть, не была так убедительно аргументирована, как первая, но зато согласовалась с собственными наблюдениями Вячеслава. До сих пор выводы из них были еще неясны ему, но теперь он почувствовал, что нечто в этом роде, пожалуй, замечал и сам и болезненно всякий раз уязвлялся. Ему делалось все больше и больше не по себе. На его счастье, попали к Нине они только около пяти, а в семь надо было уже выходить к вечернему поезду, неприятные разговоры поэтому не слишком затянулись.

В вагоне осаждали все те же мысли: медсестра на противоположной скамейке тоже не проявляла особого довольства жизнью, и он готов был биться об заклад, что она ярая контра. Об этом, казалось, кричала даже ее забавная муфточка на черных четках, а еще больше — ее надменное молчание.

Только на следующее утро, собираясь на работу, он несколько встряхнулся, сказав себе, что кое-что тут, несомненно, выдумки классовых врагов, а кое-что перегибы у власти на местах, есть и сознательное вредительство пробравшихся в управленческий аппарат троцкистов и бухаринцев. Не зря партия проводит эту чистку в своих рядах и в аппарате. Слово «чистка» его успокоило. В самом деле: если бы Советы и великий Сталин находили все в должном порядке, они не выбросили бы лозунг о чистке, а коли он выброшен, стало быть, там, наверху, тоже видят ошибки, с которыми уже повели борьбу решительно, по-большевистски! Все сделалось опять ясно, встало на свои места.

Отпуск ему записан в мае. Надо будет съездить в родную деревню, посмотреть, как там идет жизнь, каково переустройство. Прежде он, бывало, всякое лето навещался, а теперь пятый год глаз не кажет. Навестить дядьев да теток, подышать деревенским воздухом, как раз будет и посевная кампания, да своими глазами посмотреть нарождающиеся колхозы. Тогда небось тени от сомнений не останутся и сил прибавит, иной раз надо и самого себя почистить. Если такое дело!

Он словно бы накидывал градусную сетку на водоворот своих мыслей, чтобы безошибочно определить местонахождение болезнетворного очага и безжалостно выскоблить и выскрести всякую контру в самом себе.

Непоколебимая целостность его мыслей была восстановлена.

Слуги антихриста! Как бы не так!

А славный мальчик этот черноглазый, да ведь испортит его эта тетя Маня нелепым воспитанием, а Вячеслав мог бы сделать из него честного гражданина!

## Глава тридцать первая

В санатории Леля внезапно окунулась в атмосферу мужских ухаживаний и любовных соревнований, и этот мир опьянил ее; мужчины были грубее и примитивней, чем ей хотелось бы, зато в них были более обнажены их инстинкты и яснее сквозило мужское хищничество, которое ей нравилось. Игра с мужским темпераментом привлекала Лелю. Рыцарство размагниченных представителей уходящего класса давно стало казаться бесцветным и бледным. В этот год все впечатления свелись только к санаторским. Это было очень захватывающе, потому что вокруг кипела молодежь, веселая и праздная, все интересы которой сконцентрировались на романах. Сначала Леле казалось странным позволить хватать себя за локти и плечи, выслушивать намеки и убегать от поцелуев, но эта игра увлекала все больше и больше. Интерес подогревался еще тем, что она безусловно имела успех, и притом прослыла «крепким орешком». Женская половина отдыхающих завидовала как ее изяществу, так и этой репутации, — она чувствовала. Всеобщее любопытство как будто даже сконцентрировалось на том, достанется она кому-нибудь или не достанется? Это открыто обсуждалось за обеденными столиками и доставляло ей огромное удовольствие. Некоторые девчонки ее открыто возненавидели, и это тоже содействовало росту ее успеха. Тем не менее она отдавала себе совершенно ясный отчет, что раздраживать в мужчинах страсти доставляет ей все большее и большее наслаждение.

Когда появился Геня Корсунский — «гвоздь сезона», — он занял среди мужчин примерно то же положение, что она среди женщин. Все как будто отступили, давая ему место, но тут-то именно (может быть, потому, что этот человек заинтересовал ее больше остальных) ей захотелось заставить его понять, что она не такая, как все, и требует особо бережного отношения и внимания исключительного. По-видимому, он это понял, если, признав себя побежденным, пожелал перенести знакомство в Ленинград. И вот теперь он не давал о себе знать!

Пролетел уже весь январь, а он не появлялся! И она увидела себя вновь перед пустотой... Опять довольствоваться обществом матери, Натальи Павловны и Аси с Олегом? Опять этот сухой постный режим, а впереди — перспектива превращения в сухую и злую старую деву? Ей было всего двадцать два года, а она думала о себе так, как будто ей было тридцать! Происходило это отчасти оттого, что на ее глазах так быстро и легко выскочила замуж Ася и этим словно поставила ее в положение перестарка. Окружающие считали ее почти девочкой, и только сама она уже готова была махнуть на себя рукой, замирая от страха, что на ее долю не выпадет радости. Эта мысль делала ее раздражительной, она опять стала до колкости суха с матерью и потеряла вкус ко всем уютным милым минутам домашней жизни; глядя в зеркало на свое хорошенькое личико, со страхом думала, что ей уже недолго быть такой и она упускает время... А что делать? Где найти поклонников, да еще таких, как хочется? Угрожающий бег времени открылся ей, чтобы мучить ее постоянными опасениями о потере драгоценных минут и невозможности ничего изменить. В ней стала появляться зависть к Асе, которая нашла свое счастье еще в то время, когда нисколько не томилась по любви, зависть, несмотря на то, что Олег никогда не пленял ее воображение.

И вот в одно утро, когда, сжавшись комочком на их древнем сундуке, она раздумывала над неудачами своей жизни, в ее дверь постучала соседка со словами:

— К вам пришли.

Она выглянула в переднюю, и словно горячее вино пробежало внезапно по всем ее жилам, согревая кровь: перед ней стоял Геня, цветущий, веселый, в кожаной куртке и меховой круглой шапке. Щеки его были ярко-розовые, а черные глаза сверкали, как уголья.

— Узнаете меня, Леночка? Явился с вашего разрешения, если припоминаете? Думал заявиться тотчас

по приезде, но меня в командировку угнали. Могу я войти?

— Пожалуйста, Геня! — воскликнула она, чувствуя, как горячая жизненная волна захлестывает ее через край.

Едва только разговор завязался, как вошла Зинаида Глебовна.

— Мама, позволь тебе представить: Геннадий Викторович Корсунский — один из отдыхающих вместе со мной.

Геня поднялся не спеша и, кланяясь, не поцеловал руку ее матери. Это покорило Лелю, но она тотчас сказала сама себе: нельзя требовать от него старорежимной изысканности, он по-своему достаточно вежлив, и этого должно быть довольно.

При Зинаиде Глебовне, однако, разговор начал увядать, и Леля смертельно испугалась, что Геня сбежит от скуки... Но у него оказались другие планы:

— А что если мы с вами, Леночка, предпримем сейчас небольшую экскурсию по кино? Мой пропуск со мной, погода отличная, собирайтесь-ка поживее.

— Стригунчик, как же так? Ведь тебе пора обедать и на работу... — забормотала Зинаида Глебовна, видя, что дочь с готовностью вскочила.

— Об этом не беспокойтесь: накормим где-нибудь вашу Леночку, голодной не оставим и на работу доставим без опоздания, — успокоил покровительственно Геня, подавая Леле пальто.

В темноте кинозала, сидя рядом с Геней, Леля почувствовал, что его рука пробирается в ее рукав. Это уже вовсе не предусматривалось хорошим тоном, но вырваться она не решилась, боясь чрезмерной сухостью отпугнуть его. Чем-то надо было жертвовать в угоду этому человеку!

— Леночка-Леночка, милая девочка, я соскучился по вас, — шепнул он, привлекая ее к себе.

— И я, — ответила она еле слышно.

Из кино поехали в кафе Квисисана, где Леля пила кофе со взбитыми сливками и ела пирожное. На работу она была доставлена на такси.

Как изменилось все за один этот день! С ее груди разом снялась удручающая тяжесть, исчезло ощущение уходящих без радости дней! Ее наконец оценили, ею любуются красивый веселый юноша с черными южными глазами, он готов баловать ее, он в нее влюблен! Это сразу сделало ее веселой и доброй... Вечером, у Бологовских, опечаленных отъездом Олега, она с готовностью помогала Асе и мадам в их хозяйственных делах, весело играла с ребенком, то и дело заглядывая в глубь своего сознания, где сверкала радостная уверенность: счастье будет и у нее!

На следующий день у ворот больницы Лелю ждал автомобиль — Геня повез ее опять в кино, а оттуда в ресторан ужинать. Выходя уже около двенадцати ночи из ресторана, он взял ее под руку и шепнул ей на ухо:

— А теперь поехали ко мне. Согласны, Леночка?

Она остановилась, точно ее хлестнули бичом.

— К вам? Нет, Геня, я не поеду, — и вырвала у него руку.

— Почему, Леночка? Мне казалось, мы друг друга любим. Разве нет?

Она молчала.

— Леночка, от жизни надо брать все, что можно сделать человека счастливым. Вы ведь отлично

видите, что я от вас без ума.

Фраза эта приятно щекотала ей слух, но она все-таки молчала.

— Вы меня не любите, Леночка? — допытывался он.

— Геня, я к вам не поеду. А сказать «люблю» для меня не так просто.

Они выжидательно глядели друг на друга, пауза была очень напряженная.

— Вы еще никогда не любили, Леночка? Вы простите меня... вы девушка?

Ей осталось только спрятать запыхавшие щеки в меховой воротник.

А все-таки он безмерно дерзок!

Геня хмурился, что-то взвешивая. Наконец произнес.

— Простите меня, Леночка Лисичка, не сердитесь на серого волка. Поедьте к вам?

Она облегченно и радостно вздохнула и в награду разрешила ему целовать себя в темноте машины.

«Теперь он наконец понял, что со мной нельзя шутить, и теперь, если заговорит о любви, то это будет уже предложение.

Все-таки он милый!» — думала она, закрывая глаза под его поцелуями.

Последующая неделя была вся полна встреч и веселого оживления. Геня не стеснялся в средствах: кино, театры, такси, конфеты, ужины в ресторане сыпались на нее, как из рога изобилия.

В один вечер, сидя рядом с Геней в партере Александринского театра, с коробкой конфет на коленях, Леля, обводя глазами ряды кресел, внезапно вздрогнула: на нее пристально смотрели холодные, злые, зеленовато-серые глаза. Сердце ее тотчас забило. «Зачем он здесь? Господи, куда бы мне только уйти от этого взгляда?» Она постаралась принять равнодушный вид и предложила Гене выйти в фойе. Звонок заставил их почти тотчас вернуться в зрительный зал.

— Вы знакомы с этим товарищем, Леночка? — спросил Геня, едва лишь они уселись.

— С кем? — прошептала она, хотя заранее была уверена в ответе.

— С тем, что стоит у прохода в пятом ряду. Взгляните, как он смотрит на нас.

Леля, однако, обернуться не захотела.

— Я его не знаю, — сказала она.

— А мне его лицо как будто знакомо, — продолжал Геня. — Но не могу вспомнить, где я встречался с ним. По-видимому, он размышляет над тем же, если так внимательно изучает меня и вас. Вероятней всего, встречались по служебным делам...

— Геня, скажите, где вы служите? Я давно хотела у вас спросить.

— В цензурном комитете, в реперткоме, точнее. Поэтому-то у меня и пропуска во все театры.

— Как? Вы — цензор, Геня?

— Это вам не нравится, Леночка?

— Цензура так уродует произведения. Мне всякий цензор напоминает сейчас же Бенкендорфа, — смущенно пробормотала Леля.

— И тем не менее ваш самый преданный друг — новый Бенкендорф! — засмеялся Геня. — В нашей работе есть очень большие преимущества, Леночка: мы в курсе всех новинок кино, театра, литературы.

Цензор все видит первым. Вот подождите, будете вместе со мной ходить на просмотры фильмов и пьес, так сами войдете во вкус нашей работы. Конечно, приходится иногда кое-что перечеркивать, руководствуясь инструкциями свыше... Цензор — человек подначальный, как и всякий другой... Тут уж ничего не поделаешь! Сколько могу, стараюсь быть мягче, даже попадает иногда! — и он добродушно засмеялся.

В антракте Геня ушел в курительную комнату, покинув Лелю в коридоре бенуара. Она подошла к одному из больших стальных зеркал и, взглядывая, хорошо ли лежат ее кудри, вдруг увидела позади себя отражение все того же холодного, злого лица, которое проплыло мимо. Она взглянула ему вслед и увидела, что он входит в курительную за Геней. Одновременно ноздрей ее коснулся запах, напоминающий минуты в кабинете № 13, — духи, которыми душился следователь, и примешивающийся к ним запах серы.

Он весь — как нечистый дух! «Элладой» хочет заглушить свой естественный запах, чтобы не выдать родство с нечистым.

Леле показалось, что Геня вернулся к ней чем-то озабоченный: он несколько раз хмурился и уже не шутил. Прощаясь с ней, он сказал, что не может быть у нее завтра утром, хотя они только что перед тем условились, что он повезет ее завтракать в Квисисану. Расспрашивать она не решилась, но стало как-то беспокойно. Всю ночь она раздумывала над впечатлениями этого вечера, чувствуя, как тяжело и беспокойно замирает ее сердце. Тут было несколько больных точек: цензура, да еще советская! Леля знала, как издевались над ней все ее близкие и до каких нелепостей она доходит! — Второе — следователь видел ее с молодым человеком: теперь он может взять под обстрел ее отношения с Геней и начнет допрашивать о нем... И третье: отчего Геня так изменился к концу вечера, так коротко и сухо простился с ней и отменил встречу? Может быть, обиделся за «Бенкендорфа»?

Следующий день тянулся убийственно медленно. Вернувшись с работы вся наэлектризованная, она весь вечер ждала его, но он не шел! Несколько раз она подбегала к дверям и смотрела в замочную скважину на лестницу — напрасно! Начала осаждать тревожные мысли: непрочное здание рухнет и счастье уходит, счастье, которого она так упорно и долго ждала! Неужели из-за одной неудачной фразы? Да пропади вся эта политика и вся эта семейная вражда к новым установкам! Ну, цензор так цензор! Ведь цензор — не следователь! Может быть, и в цензуру-то Геня пошел только затем, чтобы иметь дело с искусством, а не с канцеляриями и новостройками. Важно одно — он ее любит! Пусть бы только пришел, а уже она сумеет опять повернуть к себе его сердце, она не уступит так легко свое счастье!

Ночь тянулась так же медленно, запомнились часы, которые отбивали удар за ударом, отсчитывая такты ее мучительным думам. Эта ночь кончилась наконец, но легче не стало. Она чувствовала, что мать тревожно наблюдает ее, и необходимость притворяться раздражала ее настолько, что она с трудом удержалась от резкого слова. Она боялась подумать, что будет, если он не придет, — боялась пустоты предстоящего вечера и дум новой бессонной ночи. Несколько раз она пряталась промеж дверей, чтобы опять смотреть в щелку, но время шло, а его все не было! В полвторого предстояло обедать и собираться на работу. Она нырнула снова в темную щель входных дверей к замочной скважине, откуда ей в лицо тянулась струя холодного воздуха. Картина та же, что вчера: скованная холодная тишина лестничных клеток, нарушаемая стуком дверей. Она уже приоровилась разбираться в этих стуках: вот захлопывается чья-то дверь и слышны шаги вниз — этот звук ее не интересует; вот он повторяется снова. А вот звук более отдаленный и подающий надежду — звук захлопываемой внизу лестничной входной двери и шаги наверх — все внимание ее мобилизуется; если бы она была собачкой, то наострила бы уши; а сердце опять отбивает дробь. Услышанные шаги во втором этаже затихали и кто-то открывает ключом дверь... и снова тишина — строгая, равнодушная и такая же холодная, как струйка воздуха, которая тянется через щелку ей в лицо. Опять стук двери, два разговаривающих голоса и шаги вниз — не то! А вот и шаги наверх,

послышавшиеся вдруг очень близко (они были сначала заглушены голосами), но это не его шаги — это шаги тяжелые, медленные, сопровождаемые усиленным дыханием: это идет кто-то страдающий одышкой, кто-то старый. Вот они останавливаются. Слышно, как бьют часы — уже час. Скоро мать позовет обедать, а потом на работу... Господи, Господи, он не придет! За что Бог наказывает ее, за что? «Знаю: брата я не ненавидела и сестры не предала» — эти строчки Ахматовой как раз к ней! Она опять нагибается к щелке и вдруг слышит удар захлопывающейся лестничной двери и шаги наверх — шаги быстрые, молодые... кто-то взбегаёт через ступеньку, ближе... Страшно верить: а ну как шаги опять остановятся на полпути? Но шаги не останавливаются, и вот она уже видит в щелку очертание кожаной куртки... Господи, какое счастье! Она только что хочет покинуть свой наблюдательный пункт, как замечает, что Геня останавливается и, опираясь о перила, словно раздумывает: войти ли не войти? Минута, другая, третья... Геня не идет звонить — почему? Открыть самой — значит выдать себя, а отойти — риск: ведь он колеблется, вдруг он не войдет?

— Стригунчик, обедать! — раздаётся так хорошо знакомый, ненужный и досадный оклик матери. Она не отвечает и снова нагибается к щелке: Геня стоит по-прежнему! Нет, это нельзя так оставить — будь что будет! И она распахивает дверь.

— Геня, вы? Здравствуйте! Отчего вы не идёте, а стоите здесь?

Он берет ее руку:

— Здравствуйте, Леночка. Я только-только поднялся, а вы! тут как тут! Как всегда, приятно взглянуть на вас!

Они входят в комнату, и каждый ловит на другом внимательный и как будто настороженный взгляд.

— Геня, вы не оскорбились ли, что я вас сравнила с Бенкендорфом? Я упрекала себя за эту фразу.

— Нет, нет, Леночка, что вы! Вчера утром я оказался занят, а вечером голова разболелась — только и всего.

Но ей почему-то кажется, что головная боль — только предлог и что он не захотел сказать правду. Однако допрашивать она не решается.

Геня лихо доставил ее в такси на работу и все продолжение пути кормил ее шоколадными конфетами, доставая их из коробки и поднося к ее губам в промежутках между поцелуями. Для разговоров, таким образом, времени не оставалось. Решено было, что к окончанию работы он заедет за ней и они проведут вечер вместе.

В этот вечер впервые был затронут вопрос о ее происхождении.

— Кто этот старый человек в таком странном одеянии, Леночка? — спросил Геня, указывая на одну из фотографий в комнате Нелидовых.

— Дедушка, он был сенатор. Это камергерский мундир.

— Ого! — сказал Геня. — У вас от этого не бывают неприятности?

— Да, Геня, от вас не скрою: мы с мамой очень много бедствовали, иначе я не работала бы в тюремной больнице. Вы — советский человек, Геня, и тем не менее, наверно, согласитесь, что преследовать меня за моих предков — несправедливо, я ведь тут ни в чем не виновата.

— Ну, разумеется. Это обычный наш перегиб палки. У вас, кроме матери, есть еще родные, Леночка?

— Нет, родных нет.

— Как? Никого? — почему-то удивился он.

— Только двоюродная сестра, — сказала Леля.



- Вот как! Она живет одна, или...
- С бабушкой и с мужем...
- Эта бабушка тоже, наверное, аристократка?
- Бологовская, вдова генерал-адъютанта.

Выслушивая эти спокойные простые ответы, он несколько раз бросал на нее быстрый и как будто удивленный взгляд.

- Ваша мамаша, наверно, ко мне не очень благоволит — я человек другого круга.

— У нас нет теперь нашего круга, Геня: nous sommes declasses [75], как сказали бы французы. Притом, дворянскому кругу приписывают теперь множество таких недостатков, которых на самом деле не было. Например, зазнайство считалось в нашей среде дурным тоном, присущим только выскочкам. В детстве за нами очень строго следили, чтобы мы были вежливы и приветливы с прислугой, вообще с окружающими. Когда я теперь наблюдаю надменные мины, с которыми молодые врачи проходят мимо младшего персонала, я невольно думаю: вот бы им поучиться вежливости у мамы или у Натальи Павловны.

— Да, да, — пробормотал он несколько озадаченно. — Так вы полагаете, что Зинаида Глебовна... — и оборвал фразу. Леля мысленно закончила ее за него: «не была бы против нашего брака», — и румянец залил ее щеки. Понимая, что ответ ее должен быть в высшей степени тактичен и ничуть не изобличать ее догадок, она сказала:

— Моя мама кротка и добра и готова любить всех, кто добр со мной, — и замерла в ожидании следующей фразы. Но он сказал совсем другое:

— А кухня ваша вышла за человека вашего круга или он новой среды? — По всей вероятности, он спрашивал это, желая точнее уяснить, как будет принят сам.

— Он не дворянин, но человек интеллигентный, как и вы. Ее он безумно любит, и это то главное, что нам в нем дорого.

- А как его фамилия?

Леле казалось, что кто-то, неосяземо касаясь ее уха, шепчет ей: «осторожней!».

- Казаринов, — ответила она после минутной паузы.

Почему-то и он молчал несколько минут и, не продолжая этого разговора — разговора, который касался обнаженных проводов высокого напряжения, — вдруг сказал:

- А не махнуть ли нам в кино, Леночка?

- С удовольствием, Геня.

Но она не следила за кинокомедией, над которой потешался он, она думала над тем, что заставило ее солгать ему и каковы могут быть последствия?

Когда придет эта минута? Он что-то должен сделать с ней, чего она не испытала. Это будет то именно, из-за чего люди разбивают свои и чужие жизни, разоряются, стреляются, лишь бы получить «это» от человека, который начинает притягивать тебя, как магнит! Она этого ждет. Ее маленькое тело еще настолько невинно, что она не представляет себе ни одного из ощущений, которыми, наверно, сопровождается страсть. Но вся она — ожидание! Если «это» не подойдет к ней теперь — она зачахнет. Отчего так? Отчего Ася была и осталась до странности равнодушна к этой стороне жизни? И Олег, называя жену то Снегурочкой, то Мимозой, то святой Цецилией, сам подсказывает эту мысль. Для Аси с самого начала смысл, соль отношений заключалась в чем-то ином, а вот ее томит непонятное тяготение к какой-то

таинственной минуте. В чем тут дело? В один из вечеров она вернулась домой, сопровождаемая Геней, несколько раньше. Зинаиды Глебовны не оказалось дома.

— Никого? — спросил он, озираясь, и глаза его вдруг блеснули.

— Геня, не надо! Геня, что вы делаете, не смейте! Я не позволю! Геня, я не хочу! Вы обязаны повиноваться! Прочь — слышите? — и, набравшись сил, Леля оторвала его от себя, он ей показался тяжелым и мягким, как куль муки. — Это же нахальство, наконец! — воскликнула она возмущенно.

Он разозлился:

— Вы что же, всегда, что ли, будете кормить меня одними надеждами? Я не импотент, чтобы довольствоваться вашей дружбой.

Леля вспыхнула:

— Вы обязаны быть деликатным в разговоре со мной! Вы не смеее касаться... касаться... некоторых вещей... Это грубо. Я однажды уже просила вас держать себя корректно.

— Вы хотите непременно в загс прогуляться или, может быть, в церковь меня потащите?

Леля гордо вскинула голову.

— Я своей руки никому не навязываю. Вы можете уйти вовсе, Геня, и это, кажется, самое лучшее, что вам теперь остается сделать.

— Вот как — самое лучшее! Целый месяц вертелся около вас, баловал, веселил, и вдруг — скатертью дорожка, катись, голубчик!

— Похоже, что вы намерены предъявить мне счет? — надменно сказала Леля.

«Прогоню», — подумала она и только что хотела произнести несколько очень решительных слов, которые бы окончательно разделили их, как он обхватил ее и повалил на сундук; однако же это было не насилие — он не сдавил и не зажал ее, а только ласкался, терся, как кот.

— Леночка-Леночка, милая девочка! Не гоните меня. Ну, зачем мы куражимся, друг друга задираем... Ведь все это вздор, а вот что настоящее! Приголубьте меня хоть немножечко. Ведь это самая большая радость жизни. Ведь я же на самом деле влюблен! Ведь не слепая же вы, чтобы не видеть этого!

Дверь отворилась и вошла Зинаида Глебовна. Оба вскочили. Она все-таки подросла со своим материнским наблюдением, маленькая, худенькая, она с величавым достоинством молчала в ожидании объяснения.

— До свидания, — только и сказал Геня, обходя Зинаиду Глебовну. Но в передней, уже у самого порога, он остановился. — Вам будет от нее головомойка, Леночка? — конфиденциально осведомился он и, прежде чем Леля собралась ответить, прибавил: — Видно, и в самом деле без экскурсии в загс нам не обойтись. Пока.

Вот она и получила предложение в новом вкусе: без коленопреклонений, без клятв в верности, без объяснений с матерью! В теории рыцарство казалось скучным, а вот на практике получалось, что без налета романтики выходит чересчур грубо, и притом она не застрахована ни от обиды, ни от оскорбления! «Не обойтись без экскурсии в загс» — как расценивать эту фразу: считать ее предложением или не считать? Ведь он даже не спросил ее согласия, даже не сказал, что сам желает этого... Она стояла несколько ошеломленная.

— Стригунчик, что значит эта сцена? Ответь, пожалуйста.

— Ах, мама! Я знаю все, что ты скажешь. Ну, да — мы целуемся! Что делать, если он воспитан в

совсем других понятиях. Ты же видела — я его отталкивала.

— Но ты позволяешь ему больше, чем можно позволить жениху. Делал он тебе предложение? Ответь.

— Завтра я тебе скажу все точнее, мама: видишь ли, мы еще не договорились до конца. А ты не будешь против?

Зинаида Глебовна привлекла к себе дочь.

— Я хочу только твоего счастья, дитя мое драгоценное! Человек этот не нашей формации, но в какой-то мере интеллигентный. Если ты его любишь, я препятствовать не буду, хотя уже теперь вижу, что ни уважения, ни внимания мне от него не дожидаться, с тобой же он слишком смел... Стригунчик, будь осторожна!

Леля обхватила шею матери.

— Мама, мамочка! Несчастливые мы с тобой!

— Стригунчик, девочка моя, неужели он так тебе нравится?

— Нравится, мама. Иногда я, досадуя на него, и злюсь и в то же время знаю, что без него затоскую. Да, мама: я хочу, чтобы он стал моим женихом; я уверена, что будет очень много шероховатостей, но пустоту моей жизни я больше выносить не могу.

Утром появился Геня в коричневых полуботинках и парадном галстуке, со свертками под мышкой.

— Вот вам в подарок туфельки, Леночка, — я заметил, что с обувью у вас не совсем благополучно. А вот здесь — перчатки. Я выбирал самые лучшие в нашем разделе. Померьте, не велики ли? У вас лапки, скажу вам, как у мышонка.

Леля смотрела ему в лицо, и в глазах ее был вопрос.

— Эти подарки... Не знаю, Геня, по какому праву вы делаете их?

— Да разве мы не жених и невеста, Леночка?

— А вы разве спрашивали меня, Геня, желаю ли я стать вашей невестой?

— А разве мои глаза и поцелуи не спрашивали вас об этом? Разве вы откажете мне быть моей женой? Не мучайте, лисичка, своего серого! Неужто откажете?

— Не откажу... — прошептала Леля, краснея.

— Как жениху — поцелуй, и едемте завтракать в «Европейскую». Вспрыснем наше жениховство бутылкой шампанского.

— Подождите, Геня! Вы неисправимы! Надо ведь маме сказать... Возьмем с собой и мамочку.

— А вдвоем разве не веселее, Леночка? Матери — тяжелая артиллерия. Вы уж лучше сами скажите ей потом, вечером. Объясните, что комната у меня есть, и очень хорошая, и что зарабатываю я достаточно. Служить вам не придется. Каждое лето буду катать вас на Кавказ и в Крым. Вы у меня поправитесь и расцветете!

— Для моей матери ваше материальное положение не играет роли, Геня, — сказала Леля гордо.

— Ну, и прекрасно, коли так, Леночка! Примеряйте же подарки, и — едем!

Его добродушие и веселость, казалось, разбивали все укрепления, но перевести его в серьезный тон никак не удавалось, и опять ей чего-то не хватало: не хватало бережности и нежности, ну, хоть двух-трех слов о том, что без нее для него нет счастья в жизни и что он еще никого не любил так, как ее! Она раздумывала над этим за столом в ресторане, и радость перемешивалась с разочарованием.

Она взглянула на Геню — он уже сделал заказ и в эту минуту задумался, оперев на руку нахмуренный лоб. Ей бросилась в глаза озабоченность его лица... Чем мог быть обеспокоен в такой день этот эпикуреец в советском вкусе?

— Геня, о чем вы задумались?

Он встрепенулся.

— Леночка, ну, отчего это так часто портит нам счастливые минуты какая-нибудь, прямо скажем, пакость? Завелся же такой порядок в нашей жизни!

— У вас неприятности, Геня?

— Прицепилась одна с некоторых пор. Ну, да я не унываю — выкручусь! Вот несут наш заказ: ваши любимые взбитые сливки.

— Эта неприятность имеет отношение к нашей свадьбе, Геня?

— Нет, нет! Ни малейшего. Служебное.

У нее на языке вертелось: «Я всегда готова буду разделить каждое ваше огорчение, вы во мне найдете друга!» Но не решилась произнести этих слов, боясь показаться навязчивой или любопытной.

— Когда же пойдем к вашей кухне, Леночка? Надо ведь познакомиться с будущей родней, — сказал вдруг Геня.

Леля удивилась: Геня готов сделать родственные визиты, Геня, который двух слов не захотел сказать с ее матерью!

— Рада буду повести вас в этот дом, Геня, там родные мне люди.

— Так почему же вы оттягиваете этот визит, Леночка?

— Что вы, Геня! У меня и в мыслях этого нет! Но поймите, что вести вас к Наталье Павловне прежде, чем вы стали моим официальным женихом, я не могла: представить вас, говоря «это мой мальчик», немислимо в этом доме.

— Ах, да: ведь там сиятельнейшие аристократки! — сказал он.

Леля молчала.

— А впрочем, муж вашей кухни, если я правильно понял, такой же выходец из низов, как и я: мой отец в молодости был типографским рабочим, он — старый партиец, подпольщик, с тех пор он, правда, успел окончить высшую партийную школу и теперь на руководящей партийной работе в Киеве. А кто родители этого Казаринова?

Странно, что Олег его так особенно интересуется!

— Сегодня же вечером я забегу к Наталье Павловне и спрошу ее, когда ей удобно будет нас принять.

Он удовлетворенно кивнул и начал рассказывать сцену из «Золотого теленка», ту, где Бендер и Балаганов выдают себя за сыновей лейтенанта Шмидта. Это произведение он втайне почитал за шедевр мировой литературы, хоть и не решился бы вслух признаться в этом, опасаясь обвинений в дурном вкусе со стороны Лели и в недостаточной лояльности со стороны товарищей.

На службе Лелю в этот день не оставляло ощущение перемены — новой пламенной переполненности, приближавшейся к ней на смену прежнему прозябанию. Но сквозь все эти ощущения, и наперекор им, в сознании ее несколько раз назойливо проплывало воспоминание о Вячеславе и его предложении, в котором под самой простой формой заключалось отношение по существу рыцарское:

раньше, чем искать наслаждений — хотя бы самых беглых, таких, как пожатия рук и поцелуи, — этот юноша обещал оберегать ее и заботиться о ней, а представитель советской золотой молодежи имел в центре прежде всего себя самого! Она не могла не заметить этого различия.

## Глава тридцать вторая

«Леди» — таково было прозвище манекена, торчавшего в углу диванной. Олегу пришла блестящая мысль выпилить в этой «леди» дупло и начинить ее тем компрометирующим материалом, который становилось все опаснее и опаснее держать дома. Это были кресты и ордена, визитные карточки и пригласительные билеты к «его» или «ее» превосходительству, а также метрики и фотографии, на которых перемешивались Преображенские, семеновские и кавалергардские имена и мундиры. Наталья Павловна, несмотря на все уговоры, не желала предать все это огню. «После моей смерти вы можете сжечь все, и пусть это будет тризна по вашей бабушке, но пока я жива — я не разрешаю. Гепеу все равно отлично известно, кто я», — говорила она.

У Аси была своя «опасная» драгоценность: подаренная ей Ниной, уцелевшая в альбомах фотокарточка Олега мальчиком в форме пажа; на карточке этой имелась надпись: «Олег в день поступления в Пажеский корпус». Ася очень любила эту фотографию и держала ее некоторое время в своей комнате на камине, пока Олег не убедил ее, что это слишком рискованно. С полгода затем карточка пролежала засунутой за картину, и наконец было решено передать ее вместе с другими реликвиями на сохранение «леди». Конспирация была настолько оригинальна, что догадка, казалось, могла возникнуть, только если бы агентам гепеу пришла неожиданная фантазия перевернуть несчастную «леди» вниз головой и увидеть при этом следы хирургического вмешательства, а это было маловероятно.

Сразу после завтрака Олег заперся в диванной, вооружившись инструментами, рядом на ломберном столе уже был нагроможден весь тот багаж, который должен был заполнить внутренность манекена, кое-что было добавлено Ниной, посвященной в замыслы Олега.

В этот день, когда все общество собралось к обеду, Наталья Павловна сказала:

— Сообщу вам приятную новость, я ее приберегла к тому моменту, когда мы соберемся все вместе: Леля выходит замуж и сегодня вечером будет у нас со своим женихом.

Мадам рассыпалась радостными восклицаниями, Ася лукаво улыбнулась, говоря: «Я это знаю!», Олег задал несколько конкретных вопросов. Однако Наталья Павловна никаких подробностей касательно личности жениха сообщить не могла: Леля забегала только на минуту, сияющая, попросила разрешения явиться и так же быстро убежала. Строго говоря, Наталья Павловна уже имела основания относиться с предубеждением к Лелиному жениху: за несколько дней перед тем Зинаида Глебовна со слезами говорила ей, что Стригунчик явно благоволит к новому поклоннику и дело клонится к браку, а между тем юноша из партийной среды и воспитан очень поверхностно. Но поскольку сведения эти сообщены были под секретом, Наталья Павловна никогда не позволила бы себе пролить на них свет. В течение всего обеда разговор вертелся вокруг замечательного события. Уходя работать в диванную, Олег сказал:

— Я, разумеется, предпочел бы увидеть в этой роли Валентина. Помни, Ася, будь осторожна в разговорах, а сюда входить не приглашай.

Молодая пара явилась в девять часов, сопровождаемая Зинаидой Глебовной. Леля в своем единственном более или менее нарядном платье и новых туфлях показалась всем очень хорошенькой и оживленной, с порозовевшими щечками. Геня, подвергнутый предварительной обработке со стороны Лели, снизошел до того, что, здороваясь, поцеловал руку Наталье Павловне. Таким образом, первые минуты прошли вполне благополучно.

— Поздравляю тебя, крошка! Рада твоему счастью! — говорила Наталья Павловна со своей неподражаемой величавой осанкой *grande dame*, целуя Лелю в лоб. — Садитесь, рассказывайте, когда же

свадьба?

Желая благополучно миновать вопрос о церковном венчании, Леля поспешила прощепетать, что дата еще не установлена.

— Где вы служите? — спросила Наталья Павловна Геню, и тот, нимало не смущаясь, выложил ей свой цензурный комитет. Наталья Павловна выронила лорнет из горного хрусталя, и он повис на цепочке. Леля завертелась на стуле, но Олег спас положение тем, что перенес разговор на театральный репертуар, и Леля уцепилась за него, как за якорь спасения. Ася предложила выступить с пением. В репертуаре был романс Гретри, который исполняла Леля, и Ася хотела предоставить сестре возможность показать свой голос.

Леля в самом деле хорошо спела в этот вечер — слова отвечали ее настроению.

Il me dit: je vous aime.  
Et je sens malgré moi,  
Je sens mon coeur, qui bat,  
Qui bat, ji n'en sais pas pourquoi[76]

Наталья Павловна и Зинаида Глебовна смотрели на нее с дивана.

— Наши девочки такие талантливые и тонкие! Они как тепличные цветы! Эта грубая жизнь сомнет их, — шептала, вытирая глаза, Зинаида Глебовна.

— Не споете ли вы теперь Дунаевского? — спросил тут Геня. Из Дунаевского Леля ничего не знала. Зинаида Глебовна улучила минуту и шепнула Наталье Павловне:

— Хам, хам! Что ему среди нас делать? Обратили ли вы внимание на его манеру обращения со мной? Я не выношу эту манеру.

Наталья Павловна соглашалась величественным и печальным кивком головы. Геня внимательнейшим образом рассматривал интерьер комнаты.

В этот день была продана и уже вынесена из гостиной большая хрустальная люстра, опускавшаяся из плодового букета, вылепленного на потолке. Это существенно изменило вид гостиной, и все-таки комната со своим красным деревом и фарфоровыми свечами в бронзе имела еще очень изысканный облик, а дамы на старинном диване дополняли картину.

— Я искала цветов, но магазины пусты. Я мечтала тебе поднести букет пурпурной гвоздики, — сказала Ася.

— Что? Гвоздики? Почему именно гвоздики? — воскликнула Леля.

— Невестам не подносят пурпурных цветов, а только белые, — внесла внушительную поправку Наталья Павловна.

— Но почему же гвоздики? — не успокаивалась Леля.

— Да ведь ты же всегда их любила! Что с тобой, Леля? На что ты обиделась?

Хорошенькие губы Лели дрожали.

— А теперь я эти цветы ненавижу! Запомни!

Стол был уже сервирован, когда мадам обнаружила отсутствие чая в серебряной массивной чайнице и стала взывать к молодежи, чтобы кто-нибудь пощадил ее старые кости и сбегал в магазин. Олег с готовностью поднялся и вышел, забрав с собой пуделицу. Леля начала ловить Славчика, который с радостным визгом бегал по гостиной; увертываясь, ребенок выскочил в диванную, Леля за ним. Геня, тяготившийся чопорными фразами Наталья Павловны, сорвался с кресла и бесцеремонно последовал за

невестой.

— Что это у вас? — спросила удивленная Леля и остановилась перед перевернутым манекеном, окруженным опилками. (Случайно ее еще не успели посвятить в тайну.)

— Похоже, что вы, товарищи, конспирацией тут занимаетесь? — добродушно засмеялся Геня.

— Из-за бабушки, — с ноткой жалобы в голосе ответила Ася, — бабушка не хочет расставаться с семейным архивом. Она ничего не скрывает — и в гепеу, и в райсовете отлично знают, что она вдова генерал-адъютанта, однако же могут сказать: зачем мы бережем такие вещи? Вот мы и порешили лучше спрятать.

— Ух, какая девочка чудная, и бант огромный — сейчас улетит, как бабочка! — сказал Геня, беря в руки одну из карточек. — Это уж не вы ли? — прибавил он, обращаясь к Асе.

— Да, я на коленях у папы, — ответила та. Геня взял другую карточку, где была сфотографирована Наталья Павловна в боярском летнике и кокошнике.

— Какая странная одежда! — сказал он.

— Придворная форма, — пояснила Леля.

— Бабушка была фрейлина, — сказала Ася.

Он с любопытством взглянул на ту и на другую и взял еще одну карточку.

— А это, кажется, ваш муж? — спросил он уже с новой интонацией.

Ася, застигнутая врасплох, растерянно молчала.

— Как похож Славчик на эту карточку Олега: совсем такие же глаза, — сказала Леля.

Геня перевернул карточку и прочел надпись.

— Паж, — сказал он и начал перебирать остальные.

— Пойдемте в гостиную к бабушке, — нерешительно сказала Ася.

— А кто эти двое в подвенечном уборе? — со странными упорством продолжал Геня.

— Знакомая дама со своим женихом, — ответила Ася.

— Кавалергард, — сказала Леля, предупреждая вопрос Гени и глядя через его плечо.

— Он поразительно похож лицом на вашего мужа... отец или брат? — Спросил опять Геня у Аси.

— Брат, — проямлила та, находя слишком неудобным промолчать во второй раз.

Ни Ася, ни Леля не подозревали, что на этой карточке тоже имеется надпись, но Геня перевернул, и все увидели: «На память о дне нашей свадьбы. Нина и Дмитрий Дашковы».

Геня перевел глаза на Лелю, и она вдруг вспыхнула и отвела свои, как будто в чем-то уличенная.

— Неудобно, что старшие одни в гостиной, — сказала Ася, беспокоившаяся больше всего о том, чтобы Наталья Павловна не сочла невежей Геню и чтобы Олег не рассердился, увидев его перед манекеном.

— Ну пошли, пошли. Уважимте старуху, — добродушно откликнулся Геня.

За чаем разговор то и дело приближался то к одной, то к другой пропасти, которые удавалось благополучно миновать только благодаря стараниям Лели и Олега, с удивительной находчивостью приходившего на помощь. Радость и оживление Лели потухли с той минуты, как Геня бросил на нее свой взгляд, узнав подлинную фамилию Олега. Ей почудился упрек в этом взгляде и теперь не терпелось внести ясность в их отношения. Она не могла дожидаться конца беседы за чайным столом и вздохнула свободно



только когда все вышли в переднюю. Наталья Павловна произнесла несколько приятных фраз; мать, разумеется, сказала, что если они хотят пройти пешком, пусть идут вдвоем, а она сядет в трамвай. И вот они идут рука об руку.

— А ваша кухня очень мила: прехорошенькая и так просто себя держит, — сказал Геня.

— Боже мой! Да как же иначе-то можно себя держать? Так принято, так мы приучены с детства, — возразила Леля.

Они помолчали.

— Геня, — тихо сказала она, и маленькая рука протянулась к нему, — не оскорбились ли вы? Я не собиралась хитрить с вами: я дала себе слово, что доверю вам нашу семейную тайну, чтобы вы знали, с какими людьми имеете дело. Но вчера я об этом забыла, а сегодня... не собралась с духом... Верьте, что ни я, ни Ася никогда не усомнимся в вашей порядочности.

Но он не повернулся к ней и не взял ее руку, глаза его не засветились ей навстречу, когда, прибавляя шаг и словно убегая от нее, он ответил:

— Я на доверие ваше не претендовал и не претендую, но такого пассажира, признаюсь, не ожидал. Можно было предполагать, что все это только нелепое, ни на чем не основанное подозрение...

Леля в изумлении остановилась.

— Как «предполагать»? Как «подозрение»? Да вы разве уже слышали об этом? Кто мог вам говорить?

— Никто ничего не говорил. Я сам сделал некоторые выводы... Бросимте этот разговор.

Наступило молчание.

— Отчего у меня вдруг так заныло сердце! — Леля вновь остановилась, и слезы зазвенели в ее голосе.

— Стоит ли расстраиваться, Леночка? Какое нам, в конце концов, до этих людей дело? У нас своя жизнь. — Он взял ее под руку. — Послушайте-ка, Леночка, что я вам скажу: накануне первого мая у нас в клубе вечер — торжественная часть, ужин, вино, танцы. Все будут с девушками, и я хотел привести свою. Поедет она со мной? Леночка-Леночка, милая девочка, ваша кухня хорошенькая, очень хорошенькая, но «изюминка»-то в вас, а не в ней. Слышали вы это выражение — «изюминка»?

Леля прижалась к его руке.

— Геня, вы меня в самом деле любите?

— Вот так вопрос! Стал бы я иначе вас приглашать? Я часа бы на вас не потратил! После дома отдыха я еще ни на одну девушку, кроме как на вас, не смотрю, да вот толку-то пока никакого.

— Как никакого, если я ваша невеста! Разве этого мало?

— Вы знаете, чего я хочу.

— Почему же непременно теперь? Зачем ускорять события и напрасно терзать меня?

— Улита едет, когда-то будет?

— Почему так, Геня? Свадьбу можно сделать очень скоро, на церковном венчании я не настаиваю, хоть мне и грустно отказаться от него. Ничего не мешает нам стать мужем и женой.

Наступила минутная пауза.

— В ближайшие дни я не смогу к вам заскочить — у меня срочная командировка, а тридцатого вечером заеду, чтобы вместе отправиться на вечеринку. Идет?

— Буду ждать, — ответила Леля и не решилась повернуть разговор снова на душевную тему, хоть и чувствовала, что не удовлетворена объяснением.

Тридцатого Геня появился у Лели в шесть часов вечера.

— Вы? — спросила она, выбегая к нему еще в домашней блузке, — я не ждала вас так рано. Я еще не готова. Мама гладит мне платье.

Он поймал ее за руку и увлек в угол.

— На вечеринку еще рано, но я приехал попросить... попросить вас захватить сначала ко мне... Я не ловелас и не обманщик! Я не стану лживо уверять, что вы уйдете такой же... как пришли. И все-таки прошу! Ведь и меня может обидеть недостаток доверия то в одном, то в другом... Или вы сейчас поедете ко мне, или пусть все между нами кончено! Вот — как хотите.

— Но почему так, Геня? Не понимаю ничего!

— Не надо расспросов, Леночка! Боюсь потерять вас — довольно вам? По-видимому, родные ваши вам дороже меня!

— Мои родные тут ни при чем, а отказывать вам я не собираюсь. Объясните яснее.

— Не стану. Мне не объяснения нужны. Вот я теперь увижу вашу любовь! Ну, как?

— Вы так жестко и сухо со мной говорите!

— А вы смотрите не на тон, а на содержание слова!

— А что же... потом?

— Потом пойдем в загс — в день, который наметили, если вы ничего не измените.

Он сделал ударение на слове «вы». Она пылливо всматривалась в него, чувствуя, что он чего-то не договаривает. И опять ее охватила уверенность, что она перед несчастьем, которое стоит тут, у двери, стоит и стучит...

— Пусть это будет между нами теперь или не будет вовсе, — повторил Геня, глядя мимо нее.

Что-то трепыхало в ее груди, как будто залетела туда и билась там испуганная птица. Она закрыла лицо руками.

— Ну, как? Едете или не едете? — приставал он.

Потребовать клятву, что он ее не бросит, показалось ей слишком банально, как-то унижительно. Да и что могла значить клятва для такого человека?

Она помедлила еще минуту.

— Я согласна, Геня... я поеду... Я верю вам... запомните это...

Он крепко сжал ее руку.

— Тогда бегите одеваться, а маме вашей скажите, что вечеринка начинается в шесть. Бегите, я подожду.

Когда Леля была готова, Зинаида Глебовна, наблюдавшая за переодеванием, приблизилась поправить на дочери оборку, а потом перекрестила ее со словами:

— Ну, Христос с тобой, моя детка. Повеселись, потанцуй, а я не лягу — буду тебя дожидать.

Пришлось сделать очень большое усилие, чтобы не заплакать и не броситься матери на шею.

Все совершилось так быстро и просто, и все с самого начала не так, как у Аси. Венчальное платье с

длинным шлейфом, белые-белые цветы, свечи и торжественные песнопения — без них все приняло оттенок падения, которое смутно предчувствовала и которого боялась. Почему он не захотел дожидаться хотя бы загса? Непонятный каприз омрачил ее неповторимые минуты и поставил ее в зависимость... А тут еще репродуктор выкрикивает: «Будь, красотка, осторожней и не сразу верь». А Геня не понимает всего, чем полна ее душа. Ах, эта неуместность мефистофельского хохота! Помогая ей одеваться, он шутит, торопит на вечеринку, и совершенно очевидно, что он... не в первый раз! Самого слабого оттенка смущения, растерянность или робости не промелькнуло в нем, и только усилием воли она подавляет желание расплакаться.

В переполненном шумном зале стало еще тяжелее. Вот когда довелось сдавать экзамен пройденной в детстве школе воспитания.

Как часто в воображении она рисовала себе балы: много-много огней, цветы, бриллианты, серпантин, исступленные завывания джаза, «шумит ночной Марсель», дамы в эксцентричных туалетах и красивые, смелые мужчины — весь этот угар оживлял в ней глубоко скрытый темперамент.

Те балы, о которых вспоминала мать, ее не привлекали; этикет высшего круга казался ей скучным, замораживающим. Присутствие высокопоставленных особ, эти дамы с шифром, эти матери, наблюдающие в лорнеты за своей молодежью, постоянная настороженность, чтобы не сделать «faux pas»<sup>[77]</sup>, вся официальность — должны были, казалось ей, наводить тоску и лишать сладкого яда эти вальсы и pas de quatre<sup>[78]</sup>, несмотря на всю изысканность среды и обстановки.

Но здесь, в этой зале, не было ни эксцентричности, ни этикета, а только распущенность; здесь слишком остро не хватало изящества. Мужчины уже слишком мало были похожи на салонных львов. Женщины — расфуфыренные и развязные жирные еврейки из nouveaux riches<sup>[79]</sup> и пролетарские девицы, державшие носки вместе и пятки в стороны, а толстые руки сжатыми в кулачки. Короткие юбки открывали неуклюжие колени, губы у всех ярко размалеваны, безвкусица в одежде, ублюжество манер, визгливый беззастенчивый хохот, запах пота и дешевых духов, красные бутоньерки и обилие партзначков — все это действовало удручающе. Это было уже совсем не то, чего бы ей хотелось!

Замечал или не замечал Геня все это убожество? Он, правда, шепнул ей:

— Моя Леночка лучше всех.

А в общем, был весел и чувствовал себя, по-видимому, в родной стихии. Веселостью своей он в какой-то мере выказывал безразличие к тому, что произошло час назад между ними, и это оскорбляло ее в самых тонких чувствах.

Пришлось встать, когда пили за товарища Сталина.

С опущенными глазами, стараясь ничем не выразить кипевшего в ней негодования, она выпила за изверга, а Геня в каком-то глупом восторге еще повторял слова тоста!

Он опрокидывал рюмку за рюмкой и подливал ей, требуя, чтобы она выпила непременно до дна, и это было досадно и скучно. Видя, что он становится все развязнее и развязнее, она пыталась удерживать его:

— Геня, не пейте больше! Геня, довольно! — И обрадовалась, когда начались танцы.

Однако после нескольких фокстротов он потащил ее в буфет, где опять спросил портвейна. Усаживая ее, он как будто случайно коснулся ее груди, а наливая ей вино, почти обнял ее.

— Геня, ведите себя прилично, или я тотчас уеду домой, — сказала она, окидывая его недружелюбным взглядом. — Помните золотое правило: джентльмен может пить, но не может быть пьян.

Геня, разумеется, стал уверять, что он не пьян, совсем не пьян.

Не было вальса с веселыми выкриками «A une colonne!»<sup>[80]</sup> и «Valse generate!»<sup>[81]</sup>. Эти команды были ей знакомы еще по детским балам. Не было танго, которое ей не пришлось танцевать еще ни разу в жизни, только тустеп и фокстрот, которые танцевали, безобразно прижимаясь друг к другу и покачиваясь из стороны в сторону.

— Ты чего это, Геня, не знакомишь нас со своей девушкой? Себе приберегаешь? Пошли теперь со мной, гражданочка. Я этак в обнимку, — услышала она вдруг заплетающийся голос и, обернувшись, увидела пьяную красную физиономию и распахнутую на волосатой груди рубашку.

— Благодарю. Я с незнакомыми не танцую, — сдерживая негодование, ответила Леля и уцепилась за Геню.

— Что вы, Леночка, мы тут все знакомы! Это наш завхоз, отличный парень. Пройдитесь с ним, а я сбегаю в буфет вам за шоколадкой.

— Нет, Геня. Я вас прошу проводить меня домой. Я очень устала, меня ждет мама, а вы можете снова вернуться и танцевать хоть до утра. — И так как завхоз уже ретировался, прибавила: — Я не желаю танцевать с подобным типом: он едва на ногах держится, разве вы не видите? Нет, Геня: вы сначала проводите меня, а потом пройдете в буфет.

Он повиновался ее повелительному тону, но как только они оказались в такси, он, словно изголодавшись по ней, схватил ее в объятия, ощупывая жадными руками ее маленькие груди, которые ей не приходилось стягивать бюстгалтером, так они были миниатюрны.

— Геня, Геня, qu'est-ce que vous faites! Ça ne va pas!<sup>[82]</sup> — прошептала она, забывая, что он не понимает по-французки, и отстраняя его; но он сжал ее еще сильнее.

— Вы только не вздумайте прогнать меня! Я еще не успел на вас порадоваться, посмаковать. Обещайте, что ваша любовь у меня останется, что бы ни случилось, — бормотал он заплетающимся языком.

— Геня, перестаньте! Мы не одни. Потом поговорим.

— Нет, теперь, а то я ночь не буду спать. Вчера, Леночка... вчера... у меня был неприятный день... Мне это тяжело, честное ленинское! Уж этот мне Шерлок Холмс! Ему охота по службе выдвинуться, а я тут при чем? Я вообще-то, честно, люблю вас... Вы — милашка такая! Только зря вы мне вашего пажа подставили...

— Что? Что?! — в ужасе вскрикнула Леля.

— А вы обещайте, что не разлюбите! — продолжал бормотать Геня. — Ну да, может быть, они не узнают... Я вас спрашиваю: где тут моя вина? Я сам пострадавший — помешали моему счастью с девушкой... Я вас спрашиваю... У меня любовь, а они лезут — Дашкова им подавай...

Геня совсем раскис и, свернувшись клубком, соскользнул, словно куль, к ее ногам.

Шофер в эту как раз минуту затормозил перед домом Лели.

— Ну, девушка, кавалер ваш, видать, совсем размокропородился! Как нам теперь быть с ним? В отрезвиловку, что ли, доставить?

Но Леля, вся заледенев, не понимала, о чем он говорит.

— Господи, Господи! Что же это! — повторяла она, хватаясь за голову.

— Да ничего, протрезвится! А вот кто мне теперь платить будет? Есть ли у вас деньги, девушка?

Сообразив наконец, о чем говорит шофер, Леля стала растерянно шарить у себя в сумочке и в

карманах, где, к счастью, неожиданно отыскала то, что было нужно. Протянув деньги шоферу, она назвала адрес Гени, а сама бросилась к подъезду, словно убегая от погони.

— Боже! Боже! — слетало с ее холодных губ.

## Глава тридцать третья

Накануне первого мая, сразу после работы — утренняя смена кончалась в три часа, Олег помчался на вокзал, в восторге от мысли, что может провести дома двое с половиной суток. Он и Маркиза взял с собой.

В Ленинграде, выскочив с собакой на ходу из трамвая, он забежал в гастроном на углу купить Асе и Славчику по пирожному.

Но дома было безрадостно — вчера Наталью Павловну вызвали в часть и взяли подписку о невыезде, а это значило, что со дня на день следовало ожидать ссылки.

Олег возмутился:

— Какая жесткость! Человеку скоро семьдесят! Вот нелюди!

Ася плакала, и Олегу даже пришлось строго поговорить с ней, чтобы как-то воззвать к ее мужеству.

Приложившись к ручкам Натальи Павловны и француженки и обменявшись с ними несколькими словами по поводу тех мер, которые следовало принять, Олег пошел в ванную, предвкушая удовольствие встать под душ, но натолкнулся там на Асю: она сидела на краю ванны с печально склоненной головкой и распущенной косой.

— Ты точно сестрица Аленушка, окликающая братца Иванушку... Ася, да ты опять плачешь!

— Я очень боюсь за бабушку. Я не смогу быть больше мужественной, я вдруг увидела бессилие: удар — выпрямимся, залижем раны, снова удар... опять из последних сил наладим жизнь, и снова... Когда же конец? У меня такое чувство, что наше гнездо разоряют. А ты стал слишком суров в последнее время, ты, может быть, разлюбил меня?

— Что ты! Что ты, родная! Никогда еще я не любил тебя так, как теперь! Но бывают минуты, когда с человеком, который падает духом, следует заговорить решительно и даже строго — только и всего! Прости, если я тебя обидел, моя чудная девочка. Ну, улыбнись же! — Но она закрывала лицо руками, и он увидел, что сквозь тонкие пальчики текут слезы. Кто-то толкнул Олега — это пудель протискивался к своей хозяйке, большие черные глаза собаки тревожно и соболезнующе устремились на Асю, но та не изменила положения.

— Теперь горе даже то, что могло бы быть счастьем, теперь все горе, все. Мне жалко нас всех, мне жалко самоё себя... — шептала она сквозь слезы.

— Да что же все-таки случилось, Ася? Какое еще осложнение или горе? Посмотри, я около тебя на коленях, не мучай меня и свою верную Ладку, скажи нам. — Она молчала, глядя в пол; нахмурившись, он молча всматривался в нее... — Кажется, я догадываюсь... Я правильно догадываюсь? — и взял ее руку.

Она кинула на него быстрый пугливый взгляд из-под ресниц и снова их опустила, на щеках остановились две крупные слезинки.

— Я угадал. Но разве это уж такое горе? Сейчас, конечно, очень трудный момент, я понимаю... И все-таки: неужели мы с тобой будем считать это несчастьем? Слезы-то, слезы, какие соленые, горькие, вкусные... — Он целовал ее мокрые щеки. — Ага, улыбнулась! Твоя улыбка — как радуга после дождя. Ася, послушай: а что если там девочка — дочка?

Она, все еще всхлипывая, прижалась к его груди.

— Так ты рад! А я ведь не решалась тебе сказать — я еще никому не говорила.

— С каких пор ты стала меня бояться, Ася? И почему ты так виновато смотришь? Ты — моя святая!

Пусть мы бедствуем, и все-таки не будем унывать, Ася, пусть, наперекор всему, новый ребенок будет счастьем для нас!

После обеда Олег засел за письма Пешковой и Карпинскому, которые он составлял от лица Натальи Павловны, с просьбой заступиться перед органами политуправления за семидесятилетнюю больную вдову; Наталья Павловна должна была их переписать собственной рукой. Желая поднять присутствие духа у окружающих, Олег разработал план действий на случай, если повестка все-таки придет: Наталья Павловна поедет сначала с мадам, Ася останется кончать учебу и распродавать вещи и приедет позднее, обменяв ленинградские комнаты на комнаты в том городе, где будет Наталья Павловна.

— У меня только «минус» — к Луге я не прикреплен и надеюсь, что мы сможем поселиться все вместе, — говорил он, великолепно сознавая всю шаткость этих позиций. Тем не менее ему все-таки удалось несколько восстановить равновесие, и он с радостью заметил, что Ася приободрилась.

Часов около восьми вечера Олег, сидя на диване рядом с женой, доказывал ей, что великолепно может без всякого ущерба для собственного здоровья еще и еще ограничить расходы на собственную персону в Луге.

— Ни в коем случае не присылай мне больше таких роскошей, как сыр и ветчину, — говорил он.

Ася подняла голову:

— Я этого не посылала — у тебя воображение разыгрывается.

— Как же не посылала? А помнишь — через Елизавету Георгиевну, когда она навещала меня в Луге?

— Через Елочку я не передавала ничего!

Они с удивлением переглянулись.

— Елочка, стало быть, захотела нам помочь! — сказал Ася. — Это так на нее похоже: подсунуть незаметно от чужого имени. Ты видишь теперь, что напрасно называл ее сухой. Как жаль, что у нее нет своей семьи, своего счастья! — И, положив голову на плечо мужа, продолжала, понизив голос: — Знаешь, она ведь любила в юности, еще когда была сестрой милосердия в Крыму. Это был раненый офицер, он погиб от репрессии красных, а она не из тех, чтобы забыть и полюбить другого, она до сих пор полна им одним и плачет каждый раз, когда заговорят о нем; он подарил ей раз духи «Пармскую фиалку», и она до сих пор бережет, как самую большую драгоценность, этот флакон и ту косынку, которую он залил, пытаюсь ее надушить.

Олег вдруг взял ее руку:

— Не рассказывай. Не будем касаться чужих тайн. — Он быстро встал. — Пойду выкурю папиросу.

Он никогда не курил в комнатах, а всегда выходил в кухню или в переднюю.

Итак, она любила его! Любила и, кажется, любит, эта замкнутая молчаливая девушка! Сколько выдержки, сколько такта!

Перед ним вереницами закружились образы... Вот она — юная, девятнадцатилетняя, в переднике с красным крестом, в длинной сестринской косынке. Он вспомнил ее застенчивую заботливость, тихий голос, осторожные руки, гордую головку... Эта крымская трагедия, на фоне которой выступала она и ее незамеченная, неоцененная любовь, была залита кровью... Воспоминания были так болезненны, что лучше было их не касаться, — агония белогвардейского движения, за которой тянулся призрак расстрела на тюремном дворе...

Он нахмурился и, потушив папиросу, вернулся в спальню.

Ася стояла на подоконнике, заглядывая в форточку.

— Дождь моросит, тихий, теплый, весенний. Теперь все зазеленеет, — сказала она ему с улыбкой, как будто дождь этот обещал благодатную перемену не цветам и листьям, а измученным людям. — Тучка проходящая... вот уже радуга — посмотри! Что если бы на этом причудливом облаке с янтарным оттенком вдруг показался Светлый Дух, но не грозный Архангел с трубой, призывающий на Суд, а другой, весь исполненный любви! И пусть бы его увидели одинаково и праведные и неправедные, и верующие и атеисты; может быть, тогда люди покаются и все зло кануло в вечность... Как ты думаешь?

Но он думал совсем о другом и сказал:

— Не хочешь ли пройтись со мной к Елизавете Георгиевне? Мы, право же, слишком мало внимательны к ней. Принесем ей хоть букет цветов.

Ася соскочила с окна и с готовностью схватилась за шляпку.

На улицах пахло распускающимися тополями, душистые липкие ветки которых продавали на каждом углу, запах их навсегда связался в памяти обоих с этим незабываемым последним счастливым вечером.

К одиннадцати они уже вернулись домой, но Ася настолько устала, что отказалась от чая, желая скорее лечь. Олег поднял ее с дивана и на руках перенес на постель.

— Когда ты с нами, я ничего не боюсь, я опять счастлива! — лепетала она, опускаясь на подушку. — Только бы не разлучаться с тобой и со Славчиком.

— А дочка? О дочке-то ты и забыла? Смотри, чтобы непременно была дочь. Славчик похож на меня, а твои тончайшие черты остались неповторенными. Я хотел бы назвать дочку Софьей в памяти моей матери. Будем водить ее в коротких платьицах, а на головку ей завязывать огромный бант: так одевали когда-то мою сестренку.

Она блаженно улыбалась:

— Спасибо, милый! — и глубокая нежность зазвенела в ее голосе. — Я виновата, я сама вижу, что стала слишком легко расстраиваться. Не знаю, что со мной теперь — я везде вижу только боль и горе!

— Ты — святая, — сказал он, — если вечная жизнь существует, мы с тобой и не встретимся: я — нераскаянный грешник, а ты...

Ася открыла глаза.

— Молчи! Не смей так говорить. Ты придешь туда же, где буду я, иначе я счастлива не буду. Почему-то я уверена, что умирая, услышу колокольный звон и увижу белые тени, которые поют «Осанна» и «Свят, Свят, Свят еси, Боже»! Мне иногда уже мерещится... Наверное, очень большая дерзость думать так!

И опять закрыла глаза...

«Тебе мерещится это, — подумал он, — а мне только узкоглазый киргиз, который метится в мое сердце».

Он смотрел на то, как засыпает Ася, и думал: что если она, жалеющая всякую тварь — собак, кошек, голубей, узнала бы, как он отдал приказ расстрелять восьмерых человек? Разлюбила бы она его?

Он вдруг с небывалой силой в душе своей раскаялся во всем дурном, что жизнь заставила его сделать. Доселе он и не думал о тех восьмерых большевистских нелюдах, убийцах и грабителях, которых расстреляли по его приказу. А теперь вдруг всплыло. И всплыло как грех. Да, он не мог поступить иначе, но горе ему, что судьба распорядилась казнить их его рукою.

Этому раскаянию отчасти предшествовало событие, разыгравшееся в Луге накануне; Олег задумал



извлечь пользу из своих ежедневных скитаний по лужским лесам и привезти с собой к обеду дичь, пользуясь дружескими услугами Маркиза. Лесник, мимо избушки которого он часто проходил, одолжил ему ружье, и он отправился на охоту. У Маркиза были свои планы, и очень скоро он выгнал на поляну зайца.

«Давно не стрелял... Эх, маху дам!» — подумал Олег, прицеливаясь. Но заяц бежал странно медленно и почти не увертывался. Выстрел Олега повалил его. Приблизившись, Олег увидел издыхающую зайчиху, около которой копошились с жалобным писком только что родившиеся крошечные зайчатки — мелькали их длинные ушки и еле заметные хвостики. Олег невольно остановился; Маркиз остановился тоже и взглянул на хозяина значительным, понимающим взглядом. «Что мы с тобой наделали! Ну, и изверги же мы после этого!» — сказал, казалось, взгляд собаки. Умирающая мать оперлась о лапку и стала облизывать ближайшего детеныша... Олег отвернулся и пошел прочь.

«Вот почему она так тихо бежала, бедная! У нее уже начинались роды, а мы ее так немилосердно загоняли!» — Он вспомнил Асю беременной и тот беспомощный взгляд, который она бросила на разлившийся ручей; вспомнил ее письма о новорожденном сыне и слишком маленьких сосочках... потом вспомнил свою рану — ему тоже довелось убегать от опасности в те как раз минуты, когда было мучительно каждое движение! Денщик помогал ему встать, повторяя: «Пропали, коли не дойдем». И он с отчаянным усилием подымался, делал, шатаясь, несколько шагов и снова опускался на землю...

Бывают минуты, когда живое существо, пораженное болью или слабостью, зависит полностью от великодушия и внимания окружающих. Кто хоть раз оказался в таком положении — болезнь ли, рана ли, беременность ли, — тот не может забыть отношения к себе. В такие минуты равнодушие, небрежность или любопытство не легче жестокости. Он такую минуту пережил, но не научился милосердию!

Зайчата и убитая зайчиха переплетались теперь в его мыслях с будущим его собственных детей — ведь было какое-то страшное сходство. Желание во что бы то ни стало жить, спастись, любить — и равнодушный, бессердечный выстрел охотника...

Только тот, кто жил при большевистском терроре, понимает, что такое звонок среди ночи. От одного ожидания его устают, замучиваются и раньше времени гибнут человеческие сердца! Такой звонок — вестник несчастья, разлуки, крушения всех надежд... Счастлив тот, кто его никогда не слышал и не ожидал из ночи в ночь.

Пробило час, потом два — Дашков не мог уснуть под давлением болезненных впечатлений и лежал на спине, заложив руки за голову и напряженно глядя в окно, где по черному небу плыло странное оранжевое облако... Внезапно из передней донесся пронзительный, резкий звук, который можно бы сравнить только с трубой Архангела в Судный день! Уж не стоял ли в самом деле на том оранжевом облаке невидимый Архангел!..

# Часть третья

## Глава первая

*Тихими, тяжелыми шагами*

*В дом вступает Командор...*

*А. Блок.*

Торопливо одеваясь, он говорил себе, что это, по всей вероятности, милиция, высчитав, что он и Эдуард явятся на праздники к родным, решила сделать налет и оштрафовать нарушителей.

На его вопрос: «Кто там?» — ответом было: «Откройте, дворник!» Голос и впрямь принадлежал дворнику. Дашков открыл дверь. Пятеро в нашивках и с револьверными кобурами выросли позади бородатой фигуры в старом ватнике.

— Вот гражданин Казаринов, — сказал дворник, виновато моргая.

— Руки вверх! — закричали те и навели свои револьверы. — Бывший князь Олег Дашков, вы арестованы.

Вот она — эта минута! Она все-таки пришла! Уплывают и жизнь и счастье! Ему послышался легкий вскрик — Наталья Павловна, стоя на пороге гостиной, схватилась за косяк двери, как будто боясь упасть... Он рванул было ее поддержать, но был тотчас же схвачен за плечи.

— Стоять на месте! — рявкнул один. — Оружие есть? Отвечайте! — и торопливые руки стали ощупывать его.

— Оружия у меня нет.

— Вот ордер на обыск и арест — смотрите. Ведите в свою комнату, а вы, товарищ дворник, подымайте соседей: нам нужен свидетель при обыске.

Там, в спальне, Ася, проснувшись от шума в передней, стояла в халатике, растерянно оглядываясь, и при виде мужа под револьвером застыла на месте с широко раскрытыми глазами, полными ужаса. Ни кровинки не осталось в этом лице. Мадам выскочила из диванной с шумными французскими восклицаниями и тоже остолбенела. Мерцание белой ночи, заливавшее комнату, вытеснил электрический свет, включенный властной рукой. Всех заставили сесть — поодаль друг от друга.

— Начнем с этого угла, — сказал старший и указал на зеркальный шкаф. Среди гепеушников оказалась женщина — она подошла к Асе и стала ее обшаривать. Послушно стоя с поднятыми руками, Ася не спускала с мужа все тех же остановившихся глаз.

— Есть, товарищ начальник! Записка! — воскликнула гепеушница.

— А ну читай, что там, — откликнулся старший, наблюдая, как двое других перерывают шкаф.

— Читай, я очки позабыла, — женщина передала записку самому молодому из агентов; тот стал читать, запинаясь: «Сегодня на рассвете я долго любовался выражением покоя на твоём лице. Милана твоя очаровательно выглядывала из-под кружев...»

Ася вспыхнула, Олег поднес руку ко лбу; Наталья Павловна и француженка сидели с отсутствующими лицами.

— Читай, чего остановился? — пнула паренька женщина.

Но тот пробормотал:

— Товарищ начальник, тут видать, дело молодое на контрреволюцию больно непохоже... читать-то некстати будет.

— Брось, — сказал старший. Записка упала к ногам Аси, и та ее тотчас подхватила.

— Что, взяла? Уличили небось! Не заводи в другой раз шашней, — прошипела гепеушница. Ася с наивным изумлением обернулась. Гепеушница приблизилась к Наталье Павловне и начала теперь ее обшаривать крючковатыми растопыренными пальцами, злобно бормоча — Давай-ка, карга старорежимная, тебя пощипаем!

Ася встала и сделала несколько нерешительных шагов по направлению к двери.

— Куда, куда, княгиня сиятельнейшая? Изволь-ка на месте посидеть! — крикнула гепеушница. Никогда не слышавшая этого титула в приложении к себе, Ася не обернулась. Это дало Олегу новую мысль.

— Моя жена не знала, что я живу под чужим именем, — сказал он, — вы видели, она даже не обернулась ни на «сиятельство», ни на «княгиню». Не откажитесь подтвердить следствию, я сошлюсь на вас.

Ася озадаченно смотрела на мужа.

— Ася, я не Казаринов, я скрывал свое имя, — продолжал Олег; она все так же молчала.

— Гляди-ка, неужто и вправду не знала? — сказал один.

— Свежо предание, — возразил старший. — Это как понимать, гражданочка, вы что, не знали, за кого выходили? Будто бы уж никогда не слышали, кто он на самом деле?

Гепеушники с любопытством посмотрели на Асю. С полсекунды стояла тишина.

— Знала все, — тихо сказала она, махнув рукой.

— То-то же. Ну да ладно: нам в это дело мешаться нечего. Сядьте и сидите, а вы, арестованный Дашков, не разводите тут плешей. У следователя еще успеете наговориться: там вас не токмо говорить — петь научат.

Двое агентов перешли в комнату Натальи Павловны, остальные продолжали начатый обыск, двигаясь из угла к середине комнаты. Строгость, с которой обыск начался, была несколько ослаблена: Олега уже не держали под дулом, может быть, из-за недостатка людей. Гепеушница приблизилась к кровати Славчика.

— Возьмите кто-нибудь ребенка, я кровать перетряхну.

Олег, который оказался ближе всех, поспешно подошел, отогнул одеяльце и поднял на руки теплый спящий комочек. Спутанная головка с розовыми щечками упала к нему на грудь, ребенок что-то прошептал, не открывая глаз. Олег отвел рукой темную прядку с его лба и поцеловал кудрявую головку, пока женщина с профессиональным азартом перетряхивала простынки и одеяльце. Темные глаза ребенка открылись:

— Па-па...

Олег сжал обеими руками маленькое тельце. Славчик посмотрел на гепеушников:

— Дяди! Дяди!

В эту минуту женщина вытряхнула из-под подушки плюшевого зайца и отшвырнула его.

— Зая упал, — сказал Славчик и потянулся рукой к игрушке.

— Ничего, зайка не ушибся, зайка у нас никогда не плачет, — сказал Олег. — Покажи, как ты умеешь

обнимать папу.

Крошечные ручки в перетяжках обхватили его шею, а губки прижались к щеке.

— Oh, mon Dieu! — простонала со своего места француженка.

— Дай мне его, — проговорила Ася и протянула руки к ребенку. Что-то надтреснутое, странное и болезненное прозвучало в ее голосе. Олег догадался — она боится, что ее тоже арестуют, и тоже торопится проститься с сыном.

— Сидеть на месте! — предостерегающе крикнул на Олега старший гешефтшик. Ася уронила протянутые руки.

Один из младших сотрудников вошел, спрашивая, как быть со шкафами и стеллажами книг в гостиной и в библиотеке:

— Коли кажинную перетряхивать, мы до следующего вечера отсюда не выберемся. И на хрена им столько этого добра!

— Трясите на выбор одну из трех, — сказал старший и велел идти на помощь им гешефтшице, трудившейся теперь над постелями Олега и Аси. Сам же он все время переходил из комнаты в комнату со строгим и важным видом. Вызванный в свидетели Хрычко без толку толкался вслед за агентами, переминался с ноги на ногу, теребил свой пояс и угрюмо молчал. Ни злорадства, ни ехидства в нем не наблюдалось — скорее плохо скрываемое сочувствие. Только во время чтения несчастной записки он позволил себе улыбнуться весьма недвусмысленно.

Через некоторое время из соседней комнаты опять вышел агент и сказал:

— Там дура эта. Ну, как ее?.. Мунакен. На которую одежду примеряют. Сами, что ли, будете ее раскулачивать?

— Так называемая «лэди», — ехидно сощурился старший, обводя взглядом Асю, Олега, Наталью Павловну и француженку. — Интересно полюбопытствовать, чем вы ее нафаршировали.

Олег сурово сдвинул брови.

— Ты проговорила кому-нибудь? — спросил он жену.

— Нет! Нет! — воскликнула она с отчаянием — Никто не знал! Никто!

— Et ce jeune homme? Ce Gennadi? Il a, done, vu[83] — промолвила в нос француженка.

Ася схватилась за голову.

— Gennadi? Oui, il a vu! Mais c'est impossible! Incroyable! Pauvre H'ell`ene!![84]

— Ася! Sois tranquille! Silence![85] — сразил Олег.

— Семенов, ты что смотришь? Что еще за иностранные разговоры! — сказал, входя, старший агент молодому. — Вы что это там меж собой — курлю курлю, а? Молчите! Ну, ничего, скоро вас не то что по-французски — по-китайски говорить заставят!

Олег отвернувшись, смотрел, как настенные часы отсчитывают последние минуты в этом доме.

Около девяти утра обыск гостиной, спальни и библиотеки был наконец закончен.

— Ну теперь сюда, и будем закругляться, — сказал старший агент, подходя к диванной. Француженка вскочила как ужаленная и загородила вход.

— Ордер на обыск? — спросила она.

— Мы предъявляли ордер еще пять часов тому назад. Вы что, с неба, что ли, свалились?

— Вы предъявляли ордер на комнаты Казариновых и Бологовской, а это моя комната. Я — иностранка.

— Иностранка? Латышка, что ли? Или эстонка?

— Я — латышка?! Я — француженка, парижанка! — гневно грассируя, воскликнула мадам. — Вы ответите за все ваши грубости! — и весьма решительно покрутила указательным пальцем перед самым носом старшего агента, да так, что даже оцарапала ему кончик носа длинным и острым ногтем.

— Хватайте эту ведьму! — крикнул тот, хватаясь за нос. Но Тереза Леоновна уже вошла в раж.

— Только попробуйте! Только прикоснитесь! Вы будете иметь дело с консулом! Сейчас звоню к консулу, сейчас!

— Валяйте, звоните!

Madame подбежала к телефону и схватила трубку, но едва лишь она назвала требуемый номер, как рука агента легла на ее руку.

— Гражданка, успокойтесь. Никто на вашу безопасность не посягает. Оскорбляете пока только вы. Я настоятельно прошу вас удалиться в свою комнату. Вопрос по поводу вас мы выясним в ближайшие же дни. Семенов, что стоишь? Принести французской гражданке воды.

Француженка с самым воинственным видом прошла в свою комнату и встала перед раскрытой дверью. Семенов поднес ей стакан воды, но она его отпихнула.

— Гражданка, пройдите к себе и закройте дверь, — пытался еще приказывать ей старший.

— Я уже у себя, на свободной территории, и никто не имеет права мною здесь командовать, — возразила Тереза Леоновна. Она была великолепна.

Славчик, проснувшийся снова от шума голосов, потянулся, заворковал и сел на кровати; но когда он опять увидел «дядей», вдруг нахмурился и затыкнул жалобную ноту. Один из агентов кивнул Асе в ответ на ее вопросительный взгляд, она подошла к ребенку.

— Агунюшка, мальчик мой! Сейчас мама оденет тебя, а потом согреет тебе молочко. Где наш лифчик? — Голос вдруг оборвался, и она уткнулась лицом в мягкую шейку ребенка, который топтал по кровати голыми ножками.

— Так, — неожиданно громко сказал старший агент. — Ну-с!

Все вздрогнули, с ужасом глядя на его поцарапанный француженкой нос.

— Гражданин Дашков, приготовьтесь следовать за нами.

У Олега вырвался вздох облегчения — он один, слава Богу! Асю не берут!

Агент повернулся к Асе.

— Можете собрать в дорогу вашего мужа.

Глядя в ее огромные глаза, Олег сказал, стараясь как можно спокойнее:

— Дай мне, пожалуйста, шерстяной свитер, два полотенца и перемену белья.

Она подошла к нему и стала надевать на него свитер, растягивая последние минуты. Застегивавшие ему ворот пальцы двигались все медленней и медленней, потом совсем остановились, и она прижалась лбом к его груди. Он поцеловал руку, лежавшую на его плече.

— Спасибо тебе, дорогая, за любовь, за счастье. Будь мужественна. Если тебя вышлют, постарайся всеми силами устроить так, чтобы уехать с Натальей Павловной и с Нелидовыми — репрессия, наверное, коснется и их. Я верю, что ты сумеешь вырастить наших детей. Я хочу, чтобы они знали судьбу своего отца и обоих дедов, чтобы не было этого безразличия, которого я не выношу, чтобы в дальнейшем... ты поняла меня? Ну, поцелуй меня в последний раз.

Она посмотрела ему в глаза, чтобы он взглядом ответил на ее безмолвный вопрос; он понял и ответил, но не глазами, а вслух:

— Ты не жди меня назад. Путь был безнадежен, ты это знала с самого начала. Ну, вот он и кончился. Перекрести меня.

Жена осенила мужа крестом. Это сразу вызвало злобную реакцию. Опять раздался резкий, сухой голос:

— Гражданка, отойдите, довольно! Арестованный, берите ваши вещи. Отправляемся.

Наталья Павловна тоже перекрестила Олега, мадам опять что-то кричала агентам. Сопровождаемый конвоем, он вышел на лестницу и стал спускаться, намеренно замедляя шаг. У подъезда стоял «черный ворон». Олег обернулся в последнюю минуту: да, она здесь — стоит на приступе подъезда и смотрит на него, закусив губы. Вот теперь в самом деле это лицо мученицы, а у ног ее — белый шерстяной комок с тремя черными точками — нос и два черных глаза с тем же замирающим, полным тревоги и мольбы взглядом, что и у нее.

— Олег, прощай! Я буду мужественна, буду! Не бойся за сына! — зазвенел надтреснутый голос.

Руки втокнули его в машину, дверь захлопнулась. Это кончился тот отрывок счастья, который был отмерен для них! Горе России, как темное облако, заволокло и их.

*Помяни за раннюю обедней мила друга, светлая жена!*

Ася стояла и смотрела вслед «черному ворону».

— Гражданка, давайте-ка возвращайтесь. Выходить из квартиры запрещается! — повторял кто-то около нее. Не могли оставить хоть на минуту в покое! Куда она убежит, когда дома остался оторвавшийся от нее маленький теплый комочек? Она начала медленно подниматься, держась за перила; войдя в гостиную, опустилась на первый попавшийся стул. Наталья Павловна подошла к ней и привлекла на свою грудь ее голову.

— Дитя мое, ты ради ребенка должна взять себя в руки, — сказала она.

Эти слова «взять себя в руки» Ася с детских лет постоянно слышала от бабушки. Человек, произносивший их, сам настолько владел собой, что имел полное право требовать того же от других. Ася почувствовала, что ожидала именно этих слов, но они ничем не могли помочь ей сейчас: она слишком опустошена и разбита, ничто не доходит... оставьте ее!

Вошел агент — опять тот самый, с царапиной на носу. Он сказал:

— Там гражданочка какая-то прибежала, молоденькая. Очень чувствительная. Только на нас взглянула да и повалилась замертво. Может, вы опознаете да разрешите сюда внести?

Ася вскочила.

— Леля! Она, значит, все знает! Бедная Леля! — и бросилась в переднюю.

## Глава вторая

### ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

**2 мая.** Это то, чего я страшилась всего больше в течение последних трех лет! Теперь для меня потерян последний смысл жизни. Лучше мне было умереть, чем пережить то, что я переживаю! Три года назад, раненная в самое сердце, я оплакивала надежды на собственное счастье; мне стоило очень больших усилий не пасть духом и удержаться в жизни. Сейчас к моему отчаянию уже не примешивается никаких личных чувств — погибает человек, который был способен на подвиг, который жаждал борьбы и выжидал минуту, чтобы броситься противнику на горло. Он — Пожарский, и вот он погибнет в их застенках! Он погибнет, а эта ничтожная масса, эти жалкие твари — воспитанники коммунистической партии, в которых нет ни чести, ни благородства, ни величия, эти распропагандированные ироды останутся жить! Я вижу впереди полную гибель России — моральное разложение, оскудение... Я вижу ее конец, как черную бездну, кишашую выродками вместо людей! Мне страшно смотреть в эту бездну! Моя вера в великую миссию «последних могикан», которые призваны возглавить великую грядущую борьбу, терпит поражение: таких людей не остается! Единицы, которые еще скрываются, — обречены! Россия не будет спасена или спасется совсем другим путем, а для меня смерть моей мечты — моя моральная смерть! Я — убита.

Ася... Это ее горе, а мое — никому не известно! Я в стороне, как всегда. А между тем силу моего горя даже измерить невозможно... Конец. Бездна.

**3 мая.** Что удерживает меня от самоистребления? Мне хочется до конца искренне ответить себе на это. Прежде всего, еще живет слабая, правда, надежда иметь о нем известие — проштемпелеванное, сто раз проверенное письмо или свидание с Асей... Еще принимают передачи — значит, еще можно что-то для него сделать. Второе — мне жаль Асю! Я стараюсь помочь ей, чем только могу, и это спасает меня от прострации. Мелькает мысль о преступности самоубийства; и православие и теософия одинаково порицают его. Пресечь курс духовного роста и свести к нулю все очистительные испытания настоящего существования — такая возможность удерживает. Допускаю, что за всем этим прячется и звериный, естественный страх смерти. Я его не замечаю, но я не настолько самоуверенна, чтобы исключить вовсе его роль. Вот так и бьюсь изо дня в день, но долго такое состояние тянуться не может.

**4 мая.** Вспоминаю его слова, сказанные в последнюю встречу — он словно простился со мной ими! Я никого не ждала в этот вечер; сначала читала, потом грустила, сидя у окна. Вечер был так прекрасен, что не хотелось ни прибираться, ни шить. Слышу звонок — открываю: чета Дашковых! У него на руках карапуз, который начинает немного походить на своего отца (хотя существо это, прямо скажем, несносное!); она — с букетом ветрениц и фиалок, прехорошенькая в своей соломенной шляпке с большими полями. Были они недолго, и разговор был самый общий — ребенок все время отвлекал внимание; одна только минута была значительна и наполняет меня сознанием удивительных тайн, скрытых за внешней, фактической стороной жизни! Ребенок заявил — «пипи», и Ася вывела его за ручку, а мы остались на минуту вдвоем. И вот он сказал: «Елизавета Георгиевна, у меня давно нарастает в душе желание выразить вам то глубокое уважение, которое я питаю к вам еще с первой печальной встречи в дни нашей юности. Вы настоящая русская женщина — такая, каких описывал Некрасов. Нравственная красота вашего образа всякий раз заново поражает меня», — и он поцеловал мне руку. Поразительно, что это как раз те слова, которыми в моих мечтах оканчивались наши воображаемые встречи. Не хватает трех ничем не заменимых слов — «я вас люблю!» но все остальное — вплоть до ссылки на Некрасова — точно списано со страниц моего

дневника. Он точно прочитал тайком и высказал... Разве не удивительно? Что побудило его вдруг заговорить? Предчувствие, что более мы не увидимся? Ведь не эти же пустяки — ветчина и масло, которые я ему подсунула будто бы от Аси? Визит их состоялся 30-го вечером, а на другое утро... Боже мой! У меня заранее было решено уехать первого мая в Царское Село, в парк, чтобы не видеть парада, гулянья, пьянства и прочих прелестей «пролетарского праздника». Но дело в том, что еще вечером я обнаружила сумочку, которую Ася забыла у меня на пианино; там могли быть ключи и деньги... И вот на другое утро по дороге на вокзал я забежала к ним, чтобы вернуть ридикюль. На мой звонок открыл гепеушник с винтовкой. Очевидно, я очень изменилась в лице, потому что тотчас услышала; «Не пугайтесь, гражданочка, не пугайтесь. Входите и, пожалуйста, нам ваши документики». Хорошо, что всегда ношу их с собой! Я стала открывать мой портфель, но руки мои так дрожали, что я не тотчас смогла это сделать. Ведь я могла предполагать себя арестованной! Это были только две-три минуты, но, Боже мой, сколько я успела передумать! Ужасней всего была мысль, что текущая тетрадь дневника не спрятана и находится в ящике письменного стола, а там упоминается фамилия Олега! Вторая, не менее убийственная мысль была, что он, по всей вероятности, уже арестован — почему бы иначе гепеу засело в этой квартире? И третья мысль — какова будет теперь моя собственная судьба? В моем дневнике есть фразы, которые мне не простятся... Я слышала, как стучит собственное сердце! Через минуту они сказали: «Пожалуйста-ка теперь нам ваш портфельчик». К счастью, в портфеле ничего не было, кроме завтрака и книги для чтения в поезде; а в сумочке у Аси — зеркальца, надушенного платка и засушенной розы. Все это мне тотчас вернули со словами: «Так, гражданка! Аресту мы вас не подвергаем, но отпустить из квартиры в течение нескольких часов не можем. Пройдите во внутренние комнаты и посидите. К телефону и к наружной двери не подходить». С этого момента я успокоилась за себя, тем более что увидела бабу-чухонку, по всей вероятности молочницу, которая сидела тут же с кувшинами — стало быть, я задержана была в общем порядке: это была засада — хотели кого-то выловить или кого-то поджидали и механически задерживали всех проходящих, чтобы о засаде не стало известно. Но, успокоившись за себя, я еще сильнее заволновалась за Олега и Асю, тем более что навстречу мне никто не выходил. Вступив в гостиную, я увидела Наталью Павловну и мадам; француженка пошла мне навстречу со словами: «Oh, quel malheur! Monsieur le prince est arr<sup>^</sup>et'e!![86]»

Помню: я оперлась о стол и видела, как дрожат мои руки! Наталья Павловна с обычной спокойной корректностью выразила мне сожаление по поводу того, что я попала в засаду, и двумя-тремя словами объяснила происшедшее, говоря, что при обыске ничего не обнаружили и что пришли уже с готовым ордером на арест, так как им стала известна подлинная фамилия Олега.

— Каким же образом это могло случиться? Чей-нибудь донос? — спросила я.

Наталья Павловна ответила: «Не знаю», но ответила после минутного молчания, как будто не пожелала сказать правду. Это оставило во мне неприятный осадок, даже промелькнула мысль — уж не подозревают ли они меня!

Наталья Павловна сидела на диване около Лели Нелидовой, которая лежала с закрытыми глазами, всхлипывая, как ребенок.

— Ну, успокойся, детка, успокойся! — как-то необыкновенно мягко и ласково повторяла Наталья Павловна. Даже странно было видеть эту нежность — естественнее казалось бы утешать Асю. Я нарочно тут же спросила — где Ася? Мне ответили, что у себя со Славчиком и что боялись, как бы не подвергли аресту и ее, но, к счастью, этого не случилось. Я села около самой двери, не желая никому навязывать своего общества и чувствуя, что вся дрожу от нервного напряжения. Гепеушников теперь присутствовало только двое, и они оставались в передней. Наталья Павловна и француженка были очень бледны и осунулись за одну ночь. Леля вдруг села и, поправляя волосы, стала отрывисто говорить: «Мама... беспокоится... ждет.



Домой... к маме!» — и снова разрыдалась, припав к плечу Натальи Павловны.

— Ну, перестань, перестань, дорогая, выпей воды! — повторяла Наталья Павловна и гладила ее волосы, а мадам держала рюмку с валерьянкой. Это все показалось мне чрезвычайно странно — что за претензия быть в центре внимания, когда в семье такое горе! Заставлять утешать себя людей, которых несчастье коснулось гораздо ближе, — невоспитанность, которой я не ожидала от Лели Нелидовой. Я ведь молчу! Это горе меня касается, во всяком случае, ближе, чем ее. К чему все эти рыдания?

Вошла Ася. Она мне показалась почти восковой, только веки были наболевшие, красные. Мы пожали друг другу руки молча, потом она тотчас же приблизилась к дивану, на котором впору было бы лежать ей, и сказала:

— Опять? Бабушка, что же с ней будет? Ведь это который раз! Зазвонил телефон, к которому подошел гепеушник; нам слышно было, как он говорил кому-то: «Подойти к телефону не может. Не беспокойтесь, гражданочка, ничего не случилось, а подойти не может. Елена Нелидова? Да, да, здесь есть такая. К телефону не подойдет, сколько же мне повторять-то?» Все переглянулись.

— Сейчас прибежит Зинаида Глебовна, — сказала озабоченно Наталья Павловна.

И действительно: через полчаса она была здесь же, испуганная непонятными словами, и, разумеется, ее тоже задержали. Наталья Павловна увела ее к себе в библиотеку и долго говорила с ней наедине, потом обе опять сидели около Лели, которая все так же или лежала молча, или начинала плакать так, что ее отпаивали водой, но не говорила ни слова. Ася держалась очень сдержанно и молчаливо; мне хотелось узнать у нее несколько подробностей, но видя ее подавленность, я не решилась заговорить. Славчик прибежал с какой-то игрушкой и стал было дергать Лелю, повторяя: «Тетя Леля, смотри — зая!» — но его заставили отойти. Обстановка создавалась чрезвычайно тяжелая. Было уже 3 часа, когда madame вскипятила чайник и пригласила всех за стол, чтобы немножко подбодрить себя чашкой крепкого чая. Лелю, однако, не удалось заставить сесть: она попросту не отвечала, как в столбняке; Ася принесла Славчику кашку, но сама не ела, уверяя, что у нее в горле комок и глотать она не может. Я решилась выпить чашку, потому что все время дрожала, как в ознобе. В эту минуту опять послышался звонок и чей-то испуганный возглас, а в ответ на него все то же: «Не пугайтесь, входите!» Женский голос произнес еще несколько слов, и Наталья Павловна сказала:

— Это Нина! Ах, Боже мой! — взялась рукой за лоб.

— Какая княгиня Дашкова? Почему Дашкова? Я — Бологовская! — слышался уже около самых дверей взволнованный голос Нины Александровны.

— Ну, стало быть, урожденная Дашкова.

— Я урожденная Огарева.

— Постой, постой, товарищ Иванов: она княгиня по первому мужу; а вы не рыпайтесь зря, гражданочка. Из-за чего спорите? Неужели же мы не разберемся? Нам о вас все доподлинно известно — Нина Александровна Огарева-Дашкова-Бологовская, так? Так! Ну и не из-за чего волноваться! А ты, Иванов, не лезь. Товарищ начальник не с тебя, а с меня порядок спрашивать будет. Пойдите в эту дверь, гражданочка, и сядьте там.

На пороге показалась Нина Александровна и, увидев Наталью Павловну, бросилась ей на шею. Они заговорили полупшепотом, Нина Александровна плакала. Жизнь абсолютно была выбита из колеи — чувство было такое, что к обычной действительности с ее повседневным укладом мы уже не вернемся вовсе. Прошло еще с полчаса... Вдруг вошел агент, по-видимому старший (который, как мне сказали, распоряжался во время обыска, а потом уходил). Он сказал:

— Кто здесь Нина Александровна Бологовская — бывшая княгиня Дашкова?

— Я, — проговорила княгиня, бледнея.

— Приготовьтесь следовать за нами.

Мы все так и ахнули. Первой нашлась Наталья Павловна — она подошла к княгине и обняла ее:

— Успокойтесь, Ниночка, не дрожите так, дитя мое! Мадам, будьте так добры, дайте Нине Александровне мой чемодан и мешочек с ржаными сухарями, которые у меня приготовлены на всякий случай. А ты, Ася, вынь из моего шкафа перемену белья и два полотенца. У меня только сорок рублей, а деньги обязательно надо иметь при себе... Зинаида Глебовна, дорогая, не найдется ли у вас сколько-нибудь?

Нелидова вынула пятнадцать рублей; княгиня, вся дрожа, поднялась, поцеловала руку Наталье Павловне, потом приникла на минуту к ее груди.

— Господь с вами, дитя мое, — сказала Наталья Павловна.

Потом княгиня повернулись к Асе, взяла ее за виски, молча, долгим взглядом посмотрела на неё, поцеловала и пошла к выходу. Со мной она не простилась. У порога она обернулась и сказала:

— Брат... Мика... дайте ему знать, — и вышла между двумя агентами.

Очень скоро после этого тот же человек вошел и сказал, что засада снята и мы можем расходиться. Уходя, я незаметно положила тридцать рублей на самоварный столик в надежде, что сочтут своими в этом переполохе. Дома ждала пустота и отчаяние.

**5 мая.** Сегодня была у них и видела Лелю Нелидову. Она страшно осунувшаяся и бледная — не лучше Аси, — но держится теперь вполне прилично. Они все ждут репрессий. Чудовищно страшно чувствовать себя накануне приговора, высылки, разлуки, разоренья... Звонки пугают всех — ждут то вызова к следователю, то повестки с предписанием немедленно выехать, Наталья Павловна торопит с распродажей вещей, Ася бегаёт на Шпалерную, тщетно стараясь попасть к прокурору... и это все вместе взятое создает крайне удручающую атмосферу. Все почему-то уверены, что опасность грозит в первую очередь Леле Нелидовой. Я слышала, как ее мать говорила: «Я совершенно перестала спать, мне все время чудится, что идут за Лелей». А вчера Наталья Павловна сказала:

— Почему не идет Леля? Уж не случилось ли чего-нибудь? Господи, спаси нас и помилуй! Мать с ума сойдет, если возьмут девочку!

Я или чего-то не улавливаю, или от меня что-то скрывают: аристократическая каста всегда тяготеет к замкнутости, а я чужая! И вот даже то, что я между ними одна не обреченная, уже отъединяет меня от них и, наверное, именно потому в обреченности мне чудятся элементы «похоже». Я жизни себе не представляю без Олега, без Аси и ее семьи. Они и не подозревают, что я приношу к ним в дом полностью все мое сердце! Без них — абсолютное одиночество, и любовь моя никому не будет нужна... Вот так и случается, что человек переносит любовь на животное, а еще смеются над старыми девами и одинокими стариками, которые привязываются к собакам, кошкам и лошадям. Смешного тут, впрочем, ничего нет.

**6 мая.** Француженку сегодня вызывали к консулу: у нее неприятности по поводу ее поведения во время ареста Олега — говорят, она бранила во всеуслышание советскую власть и, кажется, расквасила физиономию старшему гепоушнику. Арестовать ее, конечно, не могут, а вот принудить выехать за пределы СССР отлично могут, и Наталья Павловна очень этого опасается.

**7 мая.** Что делает он в заточении, что думает, что чувствует? Томится ли за свою Родину или его мысли все только о семье? Вспомнил ли меня хоть один раз? «Почти наверное расстрел, — это мне сказала

Наталья Павловна и прибавила: — Асе я не говорю, но она и сама, мне кажется, это понимает».

Расстрел... Выведут, завяжут глаза и... такого человека больше не будет! Пролетариат расправится с аристократом! Впрочем, нет, вздор говорю! Вот когда жгли их майорат и убивали его мать — это была пролетарская месть, а сейчас это идет не с низов, не стихийно, это режется верхушка во главе со Сталиным; им не нужны люди, они хотят стада баранов, которых «железным посохом» погонят к «неизведанным безднам». Древних имен они боятся не только как знамени, вокруг которого может сгруппироваться оппозиция, — они знают, что это головы, в которых мозги отточены из поколения в поколение, которые отлично разбираются во всем происходящем и не пойдут слепо.

Допросы... Я все знаю. Зять Юлии Ивановны вышел недавно оттуда с отбитой почкой — следовательно на допросе! Сначала это были темные слухи, которые ползли, передаваясь шепотом: «Знаете ли, ему отбили почку...»; «Знаете ли, у него переломлены пальцы...» Теперь истязания в тюрьмах перестали быть тайной; об этом знают все! Вчера вечером от беспокойства и тоски я дошла до исступления: я металась по комнате, свет белой ночи за окном изводил, нагоняя невыносимую тоску... потом я как-то вся застыла. Я не могу позволить себе истерику, как Леля, — около меня никто не сядет на диване и некому отпаивать меня водой.

**8 мая.** Гром грянул еще раз! Наталья Павловна получила повестку о высылке в Самарканд в трехдневный срок. Чтобы оттянуть время, заявили, что по состоянию здоровья она ехать не может, и теперь ждут врача от гедеу. С Аси взяли подписку о невыезде — это значит: жди репрессии. Ася страшно волнуется, как она уедет, оставив Олега в тюрьме; однако лица, присоединенные к обвинению только по родству, высылаются обычно после приговора над обвиняемым. Во всяком случае, и я и Леля клялись и божились ей, что будем носить передачи и к прокурору пойдем, на это Ася ответила Леле: «Ты сама под ударом». Почему? Они все недостаточно практичны и много теряют драгоценного времени: надо было давно рассовать по комиссионным магазинам мебель и вещи, а они до сих пор еще ничего не сделали; Ася машет рукой и отвечает: «Все равно», а на что она будет жить? Сегодня у них весь день какие-то споры, чего никогда не бывало: Наталья Павловна, обычно такая выдержанная, даже возвысила голос и почти кричала на Асю: «Сейчас же за рояль! Через две недели выпускные экзамены, а ты не прикасаешься к клавишам! Ты обязана закончить, или ты пропадешь! Подумай о ребенке!» И потом сказала, обращаясь ко мне: «Это все последствия ее глупости: когда была беременна, из кокетства не пожелала сдавать экзамены и задержалась на целый год, а вот теперь может сорвать себе окончание!»

Ася со своею кротостью не возражала ни слова и послушно села к роялю, но, не начиная играть, только приникла лбом к крышке. Я обняла ее, а она сказала: «Не могу играть, не могу!» — и осталась сидеть в том же положении.

Второй предмет недоразумений — собаки: белый пудель — Лада ждет щенят, а тут еще Олег привез из Луги породистого старого сеттера, который пристал к нему на улице. Наталья Павловна, которая, оказывается, несколько практичней остальных, уверяет, что собак необходимо подарить или продать, так как содержать их не на что, а таскать с собой по ссылкам немислимо, но Ася ни за что не соглашается, я даже не ожидала от нее такого упорства. Сеттер, по-видимому, успел очень привязаться к Олегу и целыми часами воеет около входной двери, что производит очень тяжелое впечатление.

**10 мая.** Сегодня опять разговоры о собаках. Ася твердит свое: «Олег так любит его». Я посмотрела на сеттера с длинными шелковыми ушами и тоскующим взглядом, и меня вдруг охватила нежность к этому псу. Я сказала, что готова его взять, и уже вообразила, как буду его любить и беречь, но к великому моему изумлению Ася ответила: «Нет, не могу, не расстанусь!» Как раз в эту минуту маленький Славчик ласкался к ней, и мне пришла в голову совсем новая мысль: у нее ведь остается ребенок — ребенок от любимого человека, ребенок, который уже теперь походит на него, а у меня никого, ничего! Я хватаюсь за собаку,

которую он любил, чтобы плакать, когда она будет выть, и даже в этом получаю отказ! Мне стало очень горько, и досада на Асю сегодня весь день преследует меня.

**11 мая.** Эта мадам — симпатичная, добрая, энергичная, живая, но у нее есть склонность к игривости, которая ее не покидает даже в самые трудные минуты. Вчера Ася рано легла, так как очень устала, простояв в тюремной очереди 6 часов; а мадам и Наталья Павловна оставались в гостиной; мадам вертела цветы. Я подошла к ним проститься, и в эту минуту как раз до нас донеслись заглушенные рыдания Аси из спальни. Они переглянулись, и француженка сказала:

— La pauvre petite... Elle est si jeune encore![\[87\]](#)

Зачем такое сопоставление слов? При чем возраст? Было вложено что-то специфическое, какой-то намек... Ей, мол, объятий и поцелуев в этой спальне не хватает... Наталье Павловне, по-видимому, тоже что-то не понравилось в словах француженки: она нахмурилась и встала, говоря: «Пойду успокоить».

**12 мая.** Мадам уезжает завтра. У них полное отчаяние. Ася, которая до сих пор держалась очень мужественно, в этот раз разрыдалась с таким отчаянием, точно она теряет мать. Мадам — всегда очень экспансивная — ревела, как белуга, обхватив шею Аси. Вещи никто не продает, а ведь каждую минуту можно ждать конфискации. Я опять говорила, но до них не доходит. Сегодня Наталья Павловна подозвала меня к себе и говорит: «Дайте мне вас поцеловать за все ваши заботы, моя милая, добрая. Спасибо, что вы нас не оставляете». Эти слова согрели мне сердце, а то я уже, начинала думать, не лишняя ли я у них. Я предлагала делать Наталье Павловне инъекции, укрепляюще сердечную мышцу, но она отказалась, говоря: «Сейчас мне чем хуже, тем лучше». Гепеушный врач отложил срок высылки на неделю.

**13 мая.** Не верю, что больше никогда не увижу его, не верю! Эти белые ночи я возненавидела!

## Глава третья

Ася бегом возвращалась со Шпалерной. Она ушла из дома в шесть утра, когда все еще спали, и теперь сквозь всю глубину ее горя пробивались тревоги и заботы предстоящего дня! Завтрак не готов, Славчик, наверное, очень проголодался... он не мыт, не гулял... бабушка тоже не обслужена, в комнатах не прибрано... Как обходиться без помощи мадам теперь, когда весь день — на Шпалерной в бесконечных очередях!

Потерять француженку казалось ей в некоторых отношениях тяжелее предстоящей разлуки с бабушкой. Отношения с Терезой Леоновной уходили корнями к самым первым воспоминаниям. Ее забота всегда окружала Асю со всех сторон, с ней было проще, теплее, ее всегда можно было упросить, с ней можно было покапризничать, она знала все ее вкусы и слабости, например, знала о ее неприязни к молочной пенке, которую мадам тщательно вылавливала потихоньку от бабушки из Асиной чашки. Только мадам умела варить ей яичко именно в мешочек, без жидкого белка; мадам до сих пор ее причесывала, к мадам можно было выбежать полураздетой и сказать: «Застегните мне пуговку на лифчике!» или крикнуть из ванной: «Потрите мне спину!» Наталья Павловна, вся grude[88] и distingu'ee[89], вносила в отношения строгость и легкую натянутость. Она всегда вызывала у Аси очень большое уважение, но также и то, что называется «страх Божий». Целая вереница запретов и требований, многие из которых никогда не произносились, но предполагались сами собой, определяла отношения; ежеминутно приходилось считаться с желаниями и привычками Натальи Павловны; нельзя было вообразить себя повиснувшей на бабушкиной шее или распорядившейся бабушкиным временем; возражать или просить о чем-нибудь — Боже сохрани! Плакать — ни в каком случае! Простоты в отношениях с Натальей Павловной не было и не могло быть.

Отворяя теперь ключом дверь, Ася думала: «Кажется, madame выбежит и спросит: «Est-tu bien fatigu'ee ma petite?[90]» и побежит разогревать кофе! Милая, дорогая, родная madame! Она относилась ко мне, как к дочери, — кто же теперь будет любить и беречь ее на старости лет? Во Франции у нее уже никого нет. Как она горько плакала, обнимая своего «дофина!».

В передней было пусто, и никто не встретил Асю, кроме собак. «Где мой хозяин?» — спросили глаза сеттера, беременная Лада лизнула ей руку. Ася любовно погладила обе толкавшие ее морды и вошла в гостиную — Наталья Павловна в печальной задумчивости сидела одна за обеденным столом.

— Я уже начала беспокоиться за тебя, детка. Мой руки и садись, ты, наверное, устала и проголодалась, — сказала она.

— А где Славчик, бабушка? — спросила Ася, целуя руку Наталье Павловне.

— Прибегала Леля и увела его гулять на Неву. Леля сегодня работает с трех часов.

Ася устало опустилась на стул.

— Бедная Леля! — тихо сказала она.

— У тебя приняли передачу? — спросила Наталья Павловна.

— Нет, бабушка; мы простояли два часа сначала на улице, а потом столько же в здании, потом вышел агент и сказал, что сегодня он будет принимать только для уголовников. Завтра придется идти снова.

— Завтракай, детка: здесь горячая картошка, а я пожарю тебе греночки к чаю. Славчик очень хорошо покушал и, когда одевался, был умницей. Штанишки его я выстирала и повесила в кухне.

— Бабушка, ведь тебе нельзя утомляться, а ты все утро хлопотала.

— Все эти «нельзя» хороши, пока можно! — и, произнеся этот афоризм, Наталья Павловна ушла в кухню.

Раздался звонок; Ася побежала в переднюю, ожидая увидеть Лелю со Славчиком, и невольно подалась назад, увидев перед собой Геню. Сердце у нее забилося со страшной быстротой; не приглашая его войти, она остановилась в дверях.

— Привет, Ксения Всеволодовна! Придется побеспокоить вас, — сказал он, приподнимая шляпу, — я, видите ли, никак не могу добиться встречи с Леночкой. Два раза был у нее на квартире, но меня всякий раз уверяют, что Леночки нет дома и что она будто бы не желает меня видеть, а между тем завтра день, который был у нас назначен для прогулки в загс. Я очень опасаюсь интриг со стороны одной особы: может быть, Леночке не передают, что я навещаюсь, и стараются уверить ее, что я смылся? Удивляюсь бесцеремонности, с которой старшие вмешиваются в дела молодежи! Не откажите передать Леночке эту записку, если увидите ее сегодня, а может быть, найдете времечко и сбегаете к ней, а?

Сердце все так же стучало у Аси, что-то подымалось и застилало глаза, даже ноги вдруг ослабели. Она сделала над собой усилие и сказала:

— Я думаю, вам лучше узнать правду, Геннадий Викторович: тетя Зина передает вам только то, что ей поручает Елена Львовна. Вам лучше не искать больше встреч с Еленой Львовной. Извините, — и захлопнула дверь.

Когда Ася рассказала, кто приходил, Наталья Павловна еще и отругала ее за излишнюю кротость, прибавив:

— Я не узнаю в тебе Бологовскую!

— Бабушка, не сердись на меня! Разве кротость может быть излишней?

— Даже очень часто, — отрезала Наталья Павловна и прибавила: — Какая, однако, безмерная наглость со стороны этого субъекта!

Через полчаса Леля привела Славчика. Смех и щебет ребенка странно звучали в тишине этих комнат.

— Ну, пошли ручки мыть! Славчик, беги к маме, — и Ася присела на корточки и раскрыла для объятия руки. — Душечка, маленький, бедный мой! — прошептала она, целуя мягкую шейку.

— Звонок! — сказала, настораживаясь, Леля. — Не агенты ли? Ложитесь скорее, Наталья Павловна!

— *Op me chasse!*<sup>[91]</sup> — проговорила старая дама, торопливо подымаясь с кресла и запахивая на себе черную шаль дрожащими руками.

— Нет, нет, бабушка, это не за тобой! Это, наверное, Елочка — она обещала прийти к двенадцати, — поспешно сказала Ася.

— Классная дама — эта твоя Елочка. Прежде про таких говорили — «проглотила аршин». И зачем ходит в скомпрометированный дом? Нам от ее визитов не легче, а себе она хуже делает, — и, говоря это, Леля побежала к входной двери.

— Как? Вы? Сюда? В этот дом? Вон отсюда, гадина! Не то я задушу вас своими руками! Я вам все лицо расцарапаю!

Наталья Павловна и Ася бросилась в переднюю на эти исступленные возгласы, обе соседки не замедлили высунуть носы.

— Видали ли вы что-либо подобное, видали? Пудами не вымерить того горя, которое он нам принес, и он является со мной объясняться! Подлый, гнусный! — в бессильном бешенстве кричала Леля, стоя

посередине передней.

— Успокойся, успокойся! — воскликнула, бросаясь к ней, испуганная Ася.

— H'el'ene, H'el'ene, pas devant les gens!<sup>[92]</sup> — воскликнула Наталья Павловна, выразительно сжимая ей руку.

На пороге двери, которая оставалась открытой, показалась Ёлочка.

— Что случилось? Не повестка ли? Кто это вышел от вас? Гепеушник?

— Да, да! Гепеушник! Гоните его, гоните! — кричала Леля.

Елочка в изумлении озиралась.

— Никакая не повестка, дались вам эти повестки! Поскандалила малость с молодым человеком; и у благородных, видать, случается! — Буркнул ей в ответ Хрычко.

— Пойдемте в комнаты, — сказала Ася.

— Пожалуйста, не думайте, что я опять буду плакать, как плакала тогда. Не надо мне валерьянки. Я теперь уже не плачу! Вот спросите маму, совсем не плачу! — говорила Леля, отстраняя воду.

— Мне жаль, что ни одна из вас обеих не нашла правильного тона с этим человеком, — сказала, опускаясь в кресло, Наталья Павловна. — Мы, очевидно, что-то упустили в вашем воспитании! — и характерное для последних дней выражение глубокой озабоченной скорби легло на ее мраморные черты.

Елочка, не посвященная в тайны этого разговора, почувствовала необходимость направить его в другое русло.

— Наталья Павловна, я принесла вам деньги, — сказала она, — я отнесла в комиссионный магазин те вазы, о которых мы с вами говорили. И, представьте себе, их тут же, при мне, купили! Ими очень заинтересовался элегантный иностранец, который оказался английским послом. Вот девятьсот рублей и квитанция.

— Благодарю вас, благодарю! — сказала Наталья Павловна. — Английский посол? Очень грустно, очень!

— Почему же грустно? — переспросила удивленная Елочка.

— Эти вазы — уникам; они были нашим русским богатством! Если бы их купил русский музей, я бы не сокрушалась! Но наши драгоценности выкачиваются за границу, и мне больно за мою Родину и за то, что я невольно содействую этому.

— Бабушка, ну зачем думать о таких вещах! — воскликнула Ася. — Не все ли равно? Помнишь наши луврские вазы? Их тоже, может быть, обливала слезами французская маркиза, а ты ведь любовалась же ими?

Но Наталья Павловна не удостоила Асю ответом и повернулась к Елочке.

— Вот, вы видите — ни у нее, ни у Лели нет вовсе ни патриотических, ни гражданских чувств! Никакого душевного величия! Это все — кончилось! — с горечью сказала она.

Всегда замкнутая и сдержанная Елочка бросилась на колени к креслу Натальи Павловны и прижалась губами к ее руке.

— Какая вы замечательная! Таких, как вы, больше не остается! — воскликнула она.

Наталья Павловна погладила волосы девушки.

— Спасибо на добром слове! Мои дни уже на исходе, и тем отрадней видеть родные мне чувства в

молодом существе. Мне случалось уже ловить их в вас.

Леля и Ася, виновато прижавшись друг к другу, растерянно смотрели на Наталью Павловну и Елочку, и они подумали одно и то же: в их молодой жизни было слишком много личного горя, чтобы испытывать высокую патриотическую скорбь!

Спустя час, собираясь уходить на работу, Леля заглянула в ванную, где Ася полоскала детское белье. Ася стояла, прислонившись к стене, с руками около лба.

— Что с тобой? — спросила Леля. — Тебе как будто дурно?

— Да... устала очень и замучила тошнота...

— Тошнота? Ты, может быть, в положении?

Ася прижала палец к губам и оглянулась.

— Молчи: я бабушке еще не говорила. Не хочу ее тревожить. Если ей придется уехать — пусть лучше не знает!

Леля опустилась на табурет.

— Ася, да что же это! За что на нас сыпятся все несчастья сразу! Надо скорее аборт — нельзя оставить. Кажется, делают только до трех месяцев... сколько у тебя?

— Про аборт мне не говори: я это делать все равно не буду.

— Не будешь? В уме ли ты! Накануне ссылки и полного разорения... без мужа... Аська, ты бредишь просто!

— Ты, Леля, сначала выслушай: это будет дочка Сонечка... у нас уже все решено. Леля, ты помнишь: у тебя был нарыв на пальце и я водила тебя к хирургу? Там стояло ведро с ватой и кровью... я не могу себе представить, что мой ребенок будет растерзан по жилкам и выброшен в такое ведро... Это убийство! Не убеждай меня ни в чем, если не хочешь со мной поссориться.

— Нет, буду убеждать! Это слишком серьезно, и времени терять нельзя. Надо в больницу, немедленно в больницу, а то поздно будет!

В эту минуту у двери остановилась Елочка.

— Елизавета Георгиевна, помогите мне убедить Асю, устройте ее в больницу: у нее беременность, а она не принимает мер! Ведь она же пропадет с двумя детьми! Елизавета Георгиевна, помогите нам.

— Замолчи Леля! Не распоряжайся за меня! Я хочу второго ребенка, понимаешь, хочу!

Елочка молча смотрела на обеих.

— Елизавета Георгиевна, что же вы ничего не говорите? Нельзя же допустить... мы и так погибаем! Не сегодня-завтра она поедет в ссылку... хорошо, если с Натальей Павловной или с нами, а может быть, совсем одна... Надо скорей принять меры, скорей! — В интонации девушки звучало отчаяние.

— Мне кажется... — начала Елочка, пропуская слова, как сквозь заржавленную мельницу, — мне кажется, Леля права: я завтра уже устрою вас, Ася, к нам на койку, надо в самом деле торопиться...

— Не трудитесь, я не пойду! Сонечка мне горя не прибавит, не в ней мое несчастье! Я обсуждений больше не хочу... кончено!

Леля перед уходом все же сообщила Наталье Павловне. Вечером Наталья Павловна строго поговорила с Асей, но, видя ее непреклонность, сказала:

— Что ж, никто не вправе решать за тебя. Олег Андреевич не осудил бы тебя ни в том, ни в другом



случае.

На следующий день к Бологовским явился агент с билетом дальнего следования для Натальи Павловны, а почти по пятам за ним — управдом с известием, что комнаты Натальи Павловны и мадам будут в ближайшие же дни заселены по ордерам и должны быть освобождены немедленно. Ася, поглощенная сборами Натальи Павловны, покорно выслушала сообщение, чувствуя, что не может вникнуть в суть дела, и снова бросилась к чемоданам.

В этот же вечер она вместе с Нелидовыми провожала бабушку. Местом ссылки был назначен Самарканд.

Наталья Павловна вышла из квартиры вся в черном, с опущенной креповой вуалью, держась необыкновенно прямо и величественно кивая направо и налево старым жильцам дома, собравшимся у подъезда. Спокойствие не изменило ей даже на перроне.

— Бог даст, еще увидимся! — говорила она Зинаиде Глебовне. — Как только получите предписание уехать, тотчас же подавайте просьбу назначить вам Самарканд. Вместе мы не пропадем нигде. Если доведется увидеть Олега или Нину, скажите им, что я все время думаю о них и молюсь за них, как за своих детей. Поддержите Асю; что бы ни случилось, она должна сдать выпускные экзамены.

Только в самую последнюю минуту, когда к ее груди припала головка внучки, у нее чуть дрогнули губы и увлажнились глаза:

— Христос с тобой, дитя мое! Не падай духом!

## Глава четвертая

«Товарищ Казаринова, уведомляю вас, что в силу занятости не могу более уделять времени прослушиванию вас у себя на дому» — и великолепный профессорский росчерк.

Вытащив это письмо из ящика и прочтя его, Ася грустно покачала головой — и этот! Человек, чья седая голова напоминала ей бетховенскую. Как он был благовоспитан, изыскан, и на тебе — «товарищ Казаринова». Куда все подевалось? Какая гнусность! Остается только надеяться, что хоть Юлия Ивановна не опустится до такого.

Было утро следующего дня после проводов Натальи Павловны. Лада весело вертелась у ног Аси, будто напоминая: «Уж я-то, во всяком случае, тебя никогда не брошу».

Едва Ася усадила Славчика на высокий стульчик пить молоко, раздался звонок и на пороге появился Мика. Он догадался извиниться за раннее посещение и, не входя в комнаты, отрапортовал, что добился, наконец, аудиенции у прокурора. Аудиенция эта длилась две минуты; прокурор не предлагал посетителю сесть и, держа руку на звонке, удостоил Мику лишь несколькими словами. Нина обвиняется по статье пятьдесят восьмой, параграфы одиннадцатый и двенадцатый; когда же Мика осведомился по поводу Олега, прокурор сердито ответил, что дает справки только самым близким родственникам, и нажал кнопку звонка, которым вызывался следующий посетитель.

— Эдакая подлая морда! С наслаждением бы шею ему свернул! — закончил Мика свой доклад и, метнув на Асю быстрый взгляд, опустил глаза.

Два с половиной года тому назад он каялся на исповеди в страсти к ней; скоро после этого он увидел ее беременной, когда явился к Бологовским с каким-то поручением от Нины. Его эстетическое чувство было оскорблено ее изменившейся фигурой, и он сказал себе, что мужская страсть отвратительна, потому что уродует такие совершенные создания, а его собственная страсть, как легкая птичка, выпорхнула из шестнадцатилетнего сердца. Теперь эта же самая Ася стояла перед ним стройная, как козочка, в темном платье, перетянутом ремешком; тяжелый узел каштановых волос сползал ей на плечи мимо маленького уха, лоб был почти прозрачной белизны, а глаза смотрели печально и очень серьезно; они показались ему темнее и глубже, чем раньше, траурным покрывалом ложились на них ресницы; отпечаток чего-то лучшего, совершенного почудился Мике в ее лице. «Так выглядела, наверное, святая мученица Агния, когда палачи привели ее в Колизей и волосы окутали ее с ног до головы!» — подумал он; понятие высшего женского благородства еще не входило в его мысли — понятие святости было роднее и ближе. «Как бы мне не влюбиться опять, а то ведь тотчас прикинется и начинай сначала! Уйду-ка подобру да поздорову. Господи, спаси меня от искушения!» Он уже повернулся к двери, но Ася сказала:

— Не можете ли вы, Мика, помочь мне передвинуть мебель? У меня отнимают две комнаты.

— Приду, приду сегодня же вечером, и товарища приведу — Вячеслава, соседа, он как раз сегодня из отпуска должен возвратиться. Вдвоем мы вам в полчаса все устроим, — и Мика умчался. Он шел по улице и размышлял: «Как хорошо! Работницы на заводе и наши школьные девчонки все дрянь по сравнению с ней: противная у них бойкость. Мэри... Мэри умная, милая, серьезная, но этой как будто ничто земное не касается!»

Ася между тем вернулась к ребенку. Что делать с малышом? Надо бежать к прокурору и в комиссионный магазин, надо переделать тысячу дел, а ребенка оставить не на кого. Отвести к тете Зине? Она помочь не откажется, но она такая усталая... однако другого выхода нет.

— Кушай поживей, Славчик, и поедем к тете Зине — поиграешь с ней в кубички и в мишек. Кончай

скорей: кашка сладенькая, ложечка маленькая! Ну, полетели, на головку сели!

Опять раздался звонок; привычная мысль: только бы не повестка о высылке, и сердце опять стучало, пока бежала в переднюю. За дверьми стояла еврейка Ревекка, соседка Лели, вывозившая ее в советский «свет», — тридцатилетняя, цветущая, рыжие пейсики мягкими кольцами выбиваются из-под модной шапочки, надетой набекрень, покрашенные губки приятно улыбаются. Олег окрестил ее «mademoiselle Renaissance»[\[93\]](#).

— Здравствуйте, Ася. Я с поручением от нашей Лелички. Ревекка всегда была фамильярна и не слишком церемонна. Не ожидая приглашения, вошла в комнату Аси, стала все рассматривать, будто прицениваясь.

— Хорошая у вас комната, Ася, и сколько дорогих вещей... дедовские, наверное? Я к вам вот по какому случаю: Зинаида Глебовна у нас заболела, ночью «скорую помощь» вызывать пришлось — удушье! Лучше, уже лучше, не беспокойтесь. Сделали укол и тотчас остановили припадок. Однако велели лежать. Леличка наша страшно расстроилась, недостаточно ведь она бережет мать, все мы это знаем, люди свои. Вчера опять поскандалила вечером, нам за перегородкой слышно, а как та начала задыхаться — Леля наша совсем обезумела: ворвалась к нам и за голову хватается. Уж мы с мужем ее урезонивали, чтобы хоть ради больной поспокойнее держалась. Просила передать вам, чтобы пришли поухаживать: ей сегодня на работу к десяти часам, а Зинаиде Глебовне велено лежать без движения. Придете? Ну вот и отлично. А что, Асенька, вы не знаете ли: как у нее с этим молодым человеком — Геннадием? Ходил, ходил, да вдруг перестал, а она невеселая что-то... Не придется, что ли, свадьбу праздновать, не знаете? Очень мне нравится ваша комната, Ася, если будете что продавать из этих ваз или канделябр — скажите мне: я куплю за хорошую цену, муж теперь получает достаточно. Ну, а теперь мне пора, — в Пассаж хочу забежать, занавески купить тюлевые. Всего! — и Ревекка, еще раз окинув внимательным взглядом комнату, ушла.

Собрав Славчика, Ася отправилась к Нелидовым. Зинаида Глебовна лежала с виноватым видом:

— Ты мое золото! Вот пришлось побеспокоить нашу девочку! Допрыгалась я! Укатали, наконец, сивку крутые горки! Слыхано ли — в сорок шесть лет стенокардия! Доктор сказал: если отлежусь, еще могу поправиться. Я просто устала. С семнадцатого года ни одного дня покоя. Славчик, подойди ближе — сейчас посмотрел совсем как Олег Андреевич...

Дав нужные наставления, Леля попросила Асю проводить ее до двери. Почему-то горячее обычного простилась со Славчиком. На лестничной площадке она показала Асе бланк:

— Вот оно, «приглашение на бал». В большой дом. Со службы прямо туда. Знает один Бог, вернусь ли. Убийственно, что именно сегодня; доктор сказал мне потихонечку, что второй приступ мама не перенесет. Все против нас! Не целуй меня — я злая, колючая, меня теперь раздражает каждая мелочь. Если я не вернусь, ты скажешь маме, что я ее люблю безумно и не пережила бы ее потерю. Пусть она мне простит все мои дерзости. Ты и мама — вот два дорогих мне человека, — холодные пальцы схватили руку Аси. — Я помню все сейчас — наши игры в белых нарядных детских, а после мазанку в Крыму... и Сергея Петровича, и потом двух мужчин: твоего Олега, и этого мерзавца Геннадия. Ты полюбила человека, я — ничтожество, но ты меня не винишь, я знаю, знаю. Ну, выпусти меня и беги, а то моя мама заподозрит и начнет беспокоиться. Деньги, все какие есть, я оставила на столе под пресс-папье. До свидания... или — прощай.

Ася вернулась в комнату, где на старой походной кровати, на штопаной наволочке с вышитой белым по белому дворянской короной покоилось милое усталое лицо, обрамленное седеющими, тонкими, как паутина, волосами.

— Ася, о чем вы говорили на лестнице? Не получила ли Стригунчик приглашения к следователю? Бога ради, не скрывай ничего.

— Лежи, лежи, не садись, тетя Зина! Леля говорила, что беспокоится за тебя, и винила себя в раздражительности. Вот и все.

— Милая девочка! Ведь я и сама знаю, что это все у нее от нервов. Так понятно после всего, что она пережила. Смотри, у Славчика чулочек разорвался, дай мне иголку, я зашью.

Заглянула мадемуазель Ренессанс и предложила, что возьмет с собой ребенка, так как шла в Летний сад; Ася замялась было, но Зинаида Глебовна шепнула ей: не бойся, Ревекка Исааковна очень заботлива.

Ребенок послушно ушел с чужой тетей. И в комнате наступила тишина.

— Ася, сядь ко мне на постель, дорогая.

— Ты не спишь, тетя Зина?

— Нет. Я все эти годы вертелась, как белка в колесе. Некогда и думать было, а вот теперь осаждают то мысли, то воспоминания. Ася, если я теперь умру... не перебивай, милая, дай сказать! Если я теперь умру, обещаю тебе, что никогда не оставишь мою Лелю. Ведь у нее кроме тебя никого. В этой истории с твоим мужем она виновата без вины. Кто же мог знать, что этот Геннадий такой мерзавец! Леля ему не проговорила: вы обе были одинаково неосторожны с фотографиями.

— Да, тетя Зина, да — я знаю. Леля так выгораживала Олега у следователя, мне даже в голову не приходит винить Лелю.

— Ну, спасибо, милая, спасибо. Я — так, на всякий случай. Леличке очень дорого стоила эта история. Ты все-таки была счастлива, Ася, а это очень много значит — первая счастливая любовь всегда оставляет в женщине чарующий след, как ни сложилась бы дальше ее судьба. Под венцом мы все любовались вами: по возрасту, по наружности, по воспитанию вы были идеальной парой. Твоя первая брачная ночь, наверное, навсегда останется для тебя чудесным воспоминанием, а моя Леличка... не знаю, говорила ли она тебе... Подлый, подлый! Еще посмел ее успокаивать — сказал: не бойтесь последствий, я был осторожен в ласке... еще воображал, что мы потом его предложение примем.

— Тетя Зина, ты волнуешься, а тебе это вредно. Ляг, тетя Зина.

Но Зинаида Глебовна не могла успокоиться.

— Ах, как ужасно, что выслали тогда Валентина Платоновича! Все бы могло быть иначе!

Часы шли. Славчик вернулся с прогулки с новым мячиком, и Ася уложила довольного мальчугана спать на фамильный нелидовский сундук. Зинаида Глебовна не засыпала и все что-то говорила.

— Все воспоминания! То отец перед глазами совсем как живой, то муж, то сестра! И это море крестов под Симферополем! Помнишь ты нашу мазанку, Ася? Надо было спускаться по глиняным ступенькам, окна — вровень с землей. Ты спала на одной наре с Лелей. Каждую ночь наведывалось ЧК. Кого они искали — не знаю: никого из мужчин с нами уже не было. Потом пришел выпущенный из ям Серж — бедный Серж! Помню, у него была любимая трость, в которую был заключен трехгранный штык. Чекисты не догадались и не отобрали во время обысков. Я сберегла ему эту тросточку и, помню, все хромала, для вида, чтобы не возбуждать подозрений. Серж так обрадовался, что она нашлась, — он перецеловал мне за нее все пальчики, он был тогда ко мне очень внимателен, бедный Серж. А впереди еще было так много — почти пятнадцать лет мук! Только теперь виднеется конец, но тут мысли о вас, и опять нет покою. Ася, если я теперь умру, не тратьтесь вы обе на мои похороны: ведь это вам рублей триста, а то и больше будет стоить! Наше положение сейчас такое тяжелое! Отдайте меня в морг, а помолитесь дома... Обещай, Ася.

— Нет, тетя Зина, ни Леля, ни я не согласимся на это — все будет сделано как надо. Только не думай о смерти — ты полежишь и поправишься. Попробуй теперь заснуть.

— Что ты! Какой тут сон! Я все о вас думаю: на кого я вас обоих оставлю, да еще без средств, да еще накануне высылки! Хоть бы вас не разлучили... Боже, Боже!

В три часа у Лели заканчивался укороченный рентгеновский служебный день. К этому времени Ася по желанию Зинаиды Глебовны сварила картошку и накрыла на стол. Слушая, как тетя Зина рассказывает Славчику сказку про Красную Шапочку и Серого Волка, она тревожно наблюдала за часовой стрелкой, чувствуя, что начинает дрожать.

— Леличка что-то запаздывает, — проговорила вдруг Зинаида Глебовна.

Ася нервно передернулась от этих слов.

— Странно, что Стригунчика все еще нет, — сказала Зинаида Глебовна еще через полчаса. — Она никуда не собиралась заходить и знает, что я ее жду.

Ася выбежала в темную прихожую и, спрятавшись между пальто у вешалки, закрыла глаза: «Боже, пожалей нас, спаси! Мы погибаем!» Потом открыла дверь на лестницу и прислушалась — тишина! Боа-констриктор засосал, задушил, не выпустил. Все страшней и страшней! Когда уводили мужа, у Аси еще оставались бабушка, мадам, тетя Зина и Леля, теперь она стояла перед страшной пустотой!

Она всегда любила Иисуса Христа. Когда ей было пять лет, она видела Его однажды во сне: зелено, солнечно, тепло-тепло... Он стоял в поле на холме, а рядом с Ним маленький кудрявый барашек. Этот барашек, наверное, была она сама. За богослужением в храме она всегда замирала, когда произносилось Его имя — в одном только слове «Христос» уже что-то благодатное! Что же значит диктатура, чья бы она ни была, перед Его любовью? И что значат все наши страдания перед тем вечным блаженством, которое распаивается впереди!

— Ася, Ася, — послышался слабый, разбитый голос, — поди сюда, скажи мне: в чем дело? Она не на службе, она у следователя? Не лги мне!

Ася припала к рукам Зинаиды Глебовны.

Бьет четыре, бьет пять, бьет шесть часов... Асе давно надо быть дома: собаки тоскуют и воют, в пять должна прийти покупательница на бабушкин трельяж, в шесть — мальчики передвигать мебель... Пропадай все!

— Посмотри еще раз на лестнице, Ася!

— Я только что выходила — пусто!

— Посмотри еще раз, деточка, пожалуйста! Опять никого!

— Стригунчик в тюрьме! Стригунчик! А я-то ее не перекрестила, не простилась с ней! Ася, ты помнишь картину «Княжна Тараканова»? Ее изведут, ее изнасилуют, ее — мою девочку, моего ребенка! Это свыше моих сил! Этого я не переживу! Конечно — я ее больше не увижу!

У Аси льются слезы, она целует худые руки и умоляет успокоиться; одновременно что-то бормочет Славчику:

— Мишка сел, Мишка пошел гулять... да, милый, да... вот построй Мишке дом: сюда положи кирпичик и сюда... тетя Зиночка, не волнуйся так... может быть, еще вернется!

Но вот уже вечер, Славчик уже спит, а Стригунчика нет. Белая ночь раскинулась над городом со своим загадочным белым светом: окно раскрыто, и со стороны Летнего сада льется запах цветущих лип, но Зинаида Глебовна жалуется на духоту и боль в груди.

Испуганная ее тяжелым, свистящим дыханием, Ася хватается за нитроглицерин.

— Ну — все! — говорит в эту минуту Зинаида Глебовна и откидывается на подушку.

— Что ты, что ты, тетя Зиночка! Нет, нет, не все! Вот лизни пробку — сразу лучше станет, — обрывающимся голосом лепечет Ася.

— Стригунчик, Стригунчик, — едва шепчет Зинаида Глебовна.

Ася бросается в сотый раз на лестницу — лестница пуста. Она бежит обратно и, увидев, что Зинаида Глебовна схватилась за грудь и ловит воздух посиневшими губами, бросается стучать к соседке.

— Ревекка Исааковна! Умоляю — выйдите! Я бегу вниз вызывать «скорую».

Ревекка выходит, запахивая на ходу халат, идет к постели. Ася стремглав мчится вниз.

— Кажется, уже не дышит, — говорит ей Ревекка, когда она возвращается.

Ася берет холодную руку Зинаиды Глебовны, смотрит на изменившееся, иное лицо. Где ты, где ты, тетя Зина?

## Глава пятая

Предъявив главному врачу больницы повестку о вызове в большой дом и, разумеется, тотчас получив разрешение отлучиться, Леля вернулась в рентгеновский кабинет. Угрюмая и молчаливая, она машинально выслушивала болтовню молоденькой, курносой и быстроглазой санитарки, которая застегивала на ней сестринский халат.

— Больных много? — перебила она санитарку.

— Со стационара — пятка, плечо и череп, да двенадцать — на просвечивание грудной клетки, а из большого дома — двое на просвечивание кишок; опять тот же конвойный привел, ждут за дверьми.

— Какой «тот же», Поля?

— А тот, которому я приглянулась в прошлый раз — помните, смеялись мы? Я уж ему сказала: коли кишок просвечивание — значит, барием кормить, да смотреть по три раза, засидитесь тут. А он смеется: сколько потребуется, столько и просидим, говорит, время-то казенное!

Леля устало вздохнула.

— Начать придется с них. Достаньте барий, Поля, я приготовлю смесь. Опять проглотили что-нибудь?

— Гвоздей, говорит, наглotalись, ну и народец! — усмехнулась Поля.

— Это не с радости делают, Поля! Где сопроводительные бланки? Дайте мне, я занесу в журнал. А рентгеноскопию легких придется перенести на завтра — сегодня я работаю только до двенадцати, санкция начальства уже имеется.

Поля протянула ей бланки со штампом большого дома, Леля бросила на них равнодушный взгляд, но внезапно вздрогнула: Дашков Олег? Что такое? Почудилось или в самом деле он? Пятьдесят восьмая! Кто ж другой?

Она оперлась дрожащей рукой на стол.

— Эй, Елена Львовна, никак дурно вам? — окликнула Поля, доставая порошки из аптечного шкафчика.

— Не дурно, нет, — с усилием ответила Леля.

Она побежала к двери. Вот конвой, а вот и заключенные! Все сидели на деревянной скамье у входа в кабинет со стороны лестницы.

Когда она выбежала, один Олег поднялся, остальные остались как были. Он встал, но ни одна черта в его лице не дрогнула — была ли это все та же свойственная ему во всем выдержка или он догадывался, что увидит ее, и приготовился заранее? Глаза их встретились на одну секунду и тотчас, как по команде, разошлись. Но ей выдержки все-таки не хватало: губы ее задрожали так, что она их прикусила, и не могла начать говорить — боялась, что голос сорвется и выдаст ее. Конвойный — рослый, хамоватый парень — заговорил первый:

— Опять к вам меня прислали, товарищ рентгенотехник, с двумя вот молодчиками. Велено просвечивание кишок сделать. Я бланки сдал вашей санитарочке. Ежели возможно, так начинайте уж с нас, чтобы задержать недолго: «черный ворон» ведь дожидается.

Леля тщательно старалась овладеть собой и все еще не решалась заговорить. Она перевела глаза на второго заключенного: по типу уголовник, грубые черты, взлохмаченная голова с низким лбом; он припал к спине скамейки, держась руками за живот, и тихо подвывал, как больное животное.

— Этому плохо, кажется? — сдавленным голосом проговорила, наконец, Леля.

— Народ ведь такой отчаянный, товарищ! Никак за ими не уследишь: и градусники и гвозди — все глотают! А потом отвечай за их. На лестницу сейчас еле поднялись — этот вот совсем валится.

Леля взглянула на бланк.

— Это — Дашков? — умышленно спросила она, указывая на уголовного.

— Дашков — это я, — сказал Олег. — Я ничего не глотал, у меня повреждена рука, просвечивание кишок мне не нужно.

Леля только тут увидела, что он держал правую руку в левой и она была замотана тряпкой.

— Что с рукой? — спросила она, глядя мимо него и стараясь принять официальный тон, хотя продолжала дрожать.

— Сломаны пальцы, — ответил он, и в этот раз у него тоже как будто пресекся голос.

Санитарка, вышедшая вслед за Лелей, заахала:

— Матушка-голубушка! На какие только выдумки они не горазды! Слыхано ли, пальцы себе ломают!

— Я не ломал, мне их сломали! — сказал Олег.

Конвойный стукнул винтовкой:

— Не разговаривать! Отвечать на вопросы только!

Леля поняла — Олег сказал эти слова, чтобы дать ей понять о форме допроса, которому был подвергнут. Белая пелена задернула ей глаза... На несколько секунд ей и впрямь стало дурно. Призвав на помощь всю свою волю, она опять взялась за бланки и нашла, наконец, в себе силы прочитать и разобраться в написанном.

— Дашков назначен на снимок правой кисти, а на просвечивание кишок — Никифоров, — сказала она уже более спокойно.

— Точно ли, товарищ? Насчет гвоздей, помнится, о двоих говорили? — возразил конвойный.

— Совершенно точно, если я говорю. Ведите обоих в кабинет, — и Леля пошла не оборачиваясь.

Поля приблизились к стонавшему уголовнику и взяла его под руку.

— Ну, идем. Подымайся, идем! Чего уж тут! Любишь кататься, люби и саночки возить!

Тот поднялся, шатаясь. Они вошли первыми, за ними Олег, за Олегом конвойные.

— Подождите за дверьми, — сказала Леля, останавливая последних.

— Нет уж, разрешите и нам, товарищ. У этих обоих по целой катушке, видать, «вышка» ждет, будущие смертники. Боязно с глаз спустить, — возразил тот же парень.

Леля содрогнулась и быстро взглянула на Олега: он не изменился в лице — или для него это не было новостью, или он не придавал значения разговору конвоя.

— В нашем кабинете окна решетчатые, а ключ от второго выхода в надежном месте, я отвечаю за свои слова. Останетесь за дверьми, — настаивала Леля. Но конвойный не отходил.

— Нет, товарищ! Конечно, извиняюсь, но не отойду. Наказывали глаз не спускать. Народ уж больно отчаянный. Разрешите войти хоть одному мне. Я у самой двери сяду, не помешаю. Ведь я на службе, товарищ.

Леля не решилась более настаивать. Конвойный вошел и опустился у двери на табурет; заключенных



провели к топчану в глубину комнаты. Леля мучительно искала выхода.

Она окликнула санитарку и нырнула в темную проявительную. Поля пошла за ней; они остановились друг против друга при свете красных фонарей.

— Поля, я вас попрошу об одном одолжении. В свою очередь обещаю выручить вас или услужить вам чем только смогу. То, о чем я попрошу, очень важно для меня, Поля.

— Да что вы этак волнуетесь, Елена Львовна? Вы, может, без денег — так я одолжу с радостью.

— Нет, нет, Поля, совсем не то. Обещайте только о нашем разговоре никому не сообщать.

— Ладно, промолчу. Да что надо-то?

— Поля, один из них, этих двух заключённых, — тот, который моложе, — муж моей сестры...

Поля насторожилась, и улыбка сбежала с ее лица.

— Он по пятьдесят восьмой. Он не преступник, Поля. Царский офицер — только за это. У него семья, ребенок...

Она задышалась, Поля молчала.

— Я хочу только... я ничего плохого не сделаю... Два-три слова ему о жене и ребенке. Я никого не подведу. Помогите мне!

— Елена Львовна, дело-то ведь такое... сами знаете... Если вы ему письмо сунуть желаете, так ведь его обыщут при возвращении в камеру: найдут — загорится сыр-бор. Тогда несдобровать нам.

— Я знаю: письмо нельзя. Нет, нельзя! Несколько слов только... У него сломаны пальцы, по рентгеновским правилам снимать надо каждый палец в отдельности. Отвлеките тем временем внимание конвойного. Вы ему понравились — поговорите с ним, выманите покурить... У нас еще полчаса до прихода врача. Поля, умоляю вас!

— Ладно, пособлю, хоть и не дело! Да уж больно вас жаль. То-то я гляжу: совсем вы извелись за последнее время. Ну, а болтать я и сама не захочу — не враг же я сама себе!

— Это можно сделать только пока я буду укладывать его пальцы, — продолжала Леля, — человек он в высшей степени выдержанный и осторожный... он ничем не обнаружит... Мы обменяемся только несколькими словами... Включите вентилятор, чтоб заглушить.

— Понимаю, понимаю — устроим. Заряжайте кассету. Я пошла.

Леля зарядила кассету, приготовили барий и вышла к больным. Уголовник лежал на кушетке и стонал, Олег сидел с опущенной головой, заложив руки в рукава тюремного серого халата. Минут десять провозились над уголовником, заставляя его есть бариевую смесь, которая к моменту прихода врача должна была перейти в кишечник. Он ел, упираясь и отплевываясь, потом опрокинулся навзничь на топчане.

— Теперь ваша очередь, — обратилась Леля к Олегу официальным тоном. Он с готовностью встал. Поля быстро направилась к конвойному и села около него.

— Глядишь, и покалякать с хорошеньким мальчиком минуточка выпала, — засмеялась она, и разговор их живо встал на рельсы.

— Сядьте, а руку протяните сюда, — громко скомандовала Леля, а сама быстро оглядела кабинет, оценивая положение. Он впился в нее жадным ожидающим взглядом, и она поняла, что он угадал ее маневр. Она взяла его искалеченную руку и положила ее на кассету.

— Ася пока на свободе, здорова; ее только раз вызывали: взяли подписку о невыезде и отпустили; надеемся, что теперь уже не арестуют. Удалось продать гостиную мебель, так что деньги пока есть. Я каждый день там бываю. Наталью Павловну выслали в Самарканд, писем пока с места не имеем; с нас тоже взяли подписку о невыезде, ждем решения; будем хлопотать, чтобы всем вместе. Мама очень больна, Нина Александровна арестована тогда же, когда вы; мадам выслана во Францию.

Он смотрел вперед, на конвойного, сохраняя бесстрастное выражение лица. Леля вновь удивилась его выдержке.

— Ася в положении?

— Да. Переносит хорошо, как и со Славчиком. Ее заставили переменить удостоверение личности и выдали новое, на Дашкову. Славчику выписали новую метрику.

Он вдруг поднес руку к лицу и закрыл глаза. Леля испуганно смолкла; он опустил руку, и лицо его было непроницаемо по-прежнему.

— Несчастный ребенок! С этой фамилией они не дадут ему жизни, — сказал он. — Что с Зинаидой Глебовной?

— У мамы был очень страшный приступ стенокардии; повлияло все, что случилось. Подождите минутку: я сделаю снимок, чтобы не возбуждать подозрений, — и она отбежала к столику управления. Больной, спокойно: я снимаю! — прозвучал через минуту тонкий голосок. Парочка у двери флиртовала по-прежнему.

— Я перед вами виновата... очень виновата... Простите, если можете! — шепнула она, и голос ее оборвался.

— Я не вижу вины с вашей стороны.

— Я ввела в дом провокатора... как же нет вины?

— Спокойней, Леля! Вы слишком волнуетесь, и это видно по вашему лицу. Не вините себя: я уже давно был под ударом... Меня выслеживали, и я это знал. Надеюсь, с Асей вы друзья по-прежнему?

— У Аси золотое сердце, а я как только поняла, какую роль сыграл этот человек, тотчас закрыла перед ним дверь.

— В этом я был уверен, — сказал Олег.

— Больной! — жестко и повелительно крикнула вдруг Леля, — не двигайте руку! Сколько раз я буду укладывать ваши пальцы?

Олег понял ее игру.

— Вы делаете мне больно, — ответил он в тон ей. Конвойный стукнул прикладом, очевидно для поддержания дисциплины, и снова отдался захватывающему разговору.

— Леля, скажите Асе, чтобы непременно обратилась в консультацию по охране материнства и младенчества; эти учреждения имеют некоторые права, гепеу, конечно, всесильно, но попытаться следует. Меня отсюда живым, разумеется, не выпустят; к опасности я привык, и за последние минуты пусть Ася особенно меня не жалеет. А о пытках не говорите ей теперь — потом, позднее... с тем, чтобы она могла когда-нибудь рассказать детям... они должны узнать все.

— Неужели пытаются?

— Спокойней Леля. Допрашивают сутками... следователи меняются, а допрашиваемый остается... не позволяют ни отойти, ни сесть, пока не упадешь замертво. Очень в ходу пытка бессоницей; в «шанхае»

бьют бичами по плечам и ломают пальцы... Говорят, есть шкафы, где задыхаются, но сам я не видел их.

— Больной, спокойна, снимаю. — Она опять отошла к столику управления, потом вернулась.

— А что, Славчик еще вспоминает меня? — спросил Олег, и только тут голос его дрогнул.

В эту минуту быстрым деловым шагом, бойко и молодежато вошел в кабинет врач — молодой, самоуверенный, с партийным значком.

— Здравствуйте, Елена Львовна! Здравствуйте, Поля! Ну, как? Больных много? Желудки или легкие?

Поля живо отпрянула от конвойного, Леля убежала в проявительную. Врач облачился с помощью Поли в белый халат, после чего уголовного тотчас поставили за экран; очень скоро удалось обнаружить гвоздь. Один из конвойных объяснялся после этого по телефону с начальством, требуя инструкций; Леля писала под диктовку врача заключения по поводу гвоздя и сломанных пальцев (врач диагностировал по мокрому снимку).

Ее не было в кабинете, когда конвойные уводили своих подопечных; выйдя из проявительной, она стремглав выскочила вслед за ними и увидела Олега уже на повороте лестницы: глаза их встретились в долгом взгляде...

— Интересный мужчина этот пятьдесят восьмой! Как вы находите, Елена Львовна, а? Вы так на него посматривали, — сказал рентгенолог, когда она вернулась к экрану. Леля дрожала, но принудила себя улыбнуться.

Было уже около двенадцати. Информировав врача, что имеет разрешение уйти, она сняла халат, взяла свой маленький саквояж и спустилась в гардероб, потом вышла на улицу.

«Последний час свободы! Необходимо теперь же сообщить Асе про Олега. Забегу на почту. Надо осторожно, иносказательно, чтоб перлюстратор не заподозрил...»

В результате долгого обдумывания получилось следующее послание: «Милая Ася! Пишу тебе перед тем, как уйти к нему. Видела на службе Олега. Он здоров и просил передать тебе, чтобы ты непременно обратилась в охрану материнства и младенчества. Я, наверное, уеду на курорт. Расстаемся надолго. Постарайся не потерять меня из виду. Мамочку, родную, бесценную, и тебя, мою кроткую, дорогую, люблю больше самой себя. Будь маме без меня дочкой. Твоя злая, виноватая, но безмерно любящая Леля».

Она два раза перечла это письмо.

«Можно подумать, что улепетываю с любовником! Ну да мама и Ася поймут, а мне только это нужно, — и запечатала конверт. — Пора. Опаздываю. О, какая тоска! А тут еще это солнце и эти цветы любви, шиповник на каждом углу! Я знала, я всегда знала, что не буду счастлива».

Прямо перед ней высился белый Преображенский собор — собор гвардии, где столько раз выстаивали службу ее отец и дед и где венчалась ее мать двадцать четыре года тому назад. Она постояла в нерешительности и потом переступив порог храма. Милый-милый, давно знакомый запах свеч и ладана, полусвет, огоньки и печальные родные напевы... все это напоминало ей детство; смутное волнение овладело душой. Обедня кончилась, кого-то отпевали.

Стальные, холодные, серые глаза боа-констриктора остановились на ней, когда она переступила порог кабинета.

— Садитесь, товарищ Нелидова, садитесь! Потолкуем. Ну, что ж, вы уличены. Вы не только не осведомляли меня, нарушив этим наше соглашение. Вы сознательно сбивали и запутывали следственные органы, прикрывая врага. Прямая контрреволюция! Вы сами оказываетесь активным врагом, скрывающимся под маской хорошенькой, кокетливой девушки. Ваша порция свинца вас дожидается!

Можете быть спокойны!

Леля молчала.

— Ну-с, как же мне с вами быть, Елена Львовна? А?

— Вы можете, конечно, издеваться, сколько захотите, а я повторяю то, что говорила: я не знала, что Казаринов фамилия вымышленная.

— Что? Ты все еще лжешь, мерзавка, отродье белогвардейское! Не знала! Она не знала! «Я давно хотела вам доверить нашу семейную тайну» — это чьи же слова, по-твоему?

— Ах, вот что! Он сообщил вам даже такую подробность? Какой услужливый этот Геннадий. Ну, тогда в самом деле мне уже нечем защищаться. Да, я знала, кто Казаринов, но ведь не все такие подлецы, как комсомолец Корсунский! Мне эти люди были дороги. Олег Андреевич контрреволюционер в прошлом — он честно работал в порту...

Внезапно сильным ударом ноги он вышиб из-под нее табурет, и она упала на пол.

— Молчать! Я тебя сгною в лагере!

Леля встала с пола и подняла уроненную сумочку.

— Вы не смеете толкаться и говорить мне «ты», — сказала она. Интонация обиженного ребенка слышалась в ее голосе.

— Что?! Я не смею? Да я могу на расстрел послать, если захочу! Вы арестованы, гражданка. Садитесь на тот стул, туда, говорю, подальше; подайте вашу сумочку.

Порывшись в сумочке и вынув оттуда документы, он отложил их в сторону и взялся за телефон.

— Алло! Вот мне надо девушку оформить. Подошлите в тринадцатый кабинет ордер на арест.

Леля дрожала, хоть и старалась всеми силами сохранить спокойствие. Следователь повесил трубку и прошелся по комнате.

— А что, Дашкова молодая — Ксения, — знала она прошлое мужа? — спросил он.

— Из показаний вашего шпиона вам уже все достаточно известно, — огрызнулась Леля.

— Пренеприятная личность эта ваша Ксения! Я видел ее, когда брал подписку о невыезде, и мне настолько неприятно было иметь с ней дело, что у меня даже начались произвольные сокращения мышц в скулах, как от кислого яблока. И что вы ее жалеете? Себя из-за нее запутали.

«Да он как бес, которого корчит от ладана», — подумала Леля.

Вошел один из сотрудников с какими-то бумагами, и начались мытарства. Помощник следователя повел Лелю по бесконечным коридорам; спускались, подымались, снова спускались. Главное здание оцепеу — шедевр советской архитектуры — соединяется с тюрьмой коридором с окнами; коридор этот получал прозвище — «мост вздохов». Через него, не выходя на улицу, заключенных проводят в здание тюрьмы и обратно на допросы. Леля уже слышала про этот «мост вздохов» и, узнав по описанию, поняла, куда попала. Теперь переходы пошли длинные, коридоры темные, стены сырые с тусклыми лампочками; двери железные, сквозные, похожие на ворота.

«Бьют в «шанхае»... что такое «шанхай»? А что если меня ведут туда?» — и сердце замирало.

Наконец, ее привели в комнату, которая была поделена на секторы; в каждом секторе стоял топчан. Здесь ей разрешили сесть и заставили заполнить анкету, а также измерили ее рост и записали приметы: фигура худощавая, аккуратная, волосы кудрявые, стриженные; красивая блондинка, родинка на щеке,

маленькие руки. Тут же сфотографировали, посадив на особый стул с прибором, который обуславливал позу; взяли также отпечатки пальцев. Потом опять бесконечными коридорами повели к доктору. Пока доктор выслушивал ее сердце, она смотрела на странное сооружение, похожее на хирургический стол или зубо врачебное кресло, — для чего оно? Может быть, это орудие пытки? Это и оказалось орудием пытки, но пытки моральной: врач приказал лечь на это кресло и подверг ее гинекологическому осмотру.

В соседнем секторе следователь опять звонил кому-то, говоря: «Приготовьте камеру», — и опять пошли бесконечными коридорами. После бессонной ночи и всех мук этого дня Леля чувствовала такую усталость, что всякая восприимчивость притупилась понемногу, и она думала уже только о том, чтобы заснуть скорее, пусть в камере, но заснуть!

Прошли еще через одну железную дверь и оказались в очень большой удлиненной комнате; она имела совершенно особый построй: по правую сторону были окна, по левую шел длинный ряд узких камер-одиночек, расположенных в два этажа. На каждой дверце — «глазок» на уровне человеческого лица, пониже — окошечко, через которое подают еду; подымавшаяся в верхний ряд камер железная лестница была затянута проволокой; во всю длину комнаты был расстелен красный бобриковый ковер.

Подошла конвойная женщина и приняла Лелю под свою ответственность.

— Идите тише, уже был отбой — второй час ночи, — сказала она Леле.

Оказалось, что в допросах, процедурах и бесконечных переходах прошел и кончился день. Вошли в одиночку: прямо — окно, высокое, скошенное; слева — привинченная к стене металлическая откидная койка; справа — тоже откидной металлический столик и сиденье, лицом к окну; полочка с алюминиевой миской и кружкой; под окном — унитаз.

— Отдайте мне пояс с застёжками для чулок и ложитесь немедленно спать, головы одеялом не закрывать, — скомандовала женщина и, получив требуемое, захлопнула дверь одиночки.

Юная узница еще раз растерянно оглядела свое убежище, потом откинула койку, свернула вместо подушки неуютное серое байковое одеяло и легла на жесткий матрац, закрывшись пальто.

«Мост вздохов», «шанхай», сломанные пальцы... а мама, наверное уже умерла!» — и в ту же минуту заснула, как в бездну провалилась.

## Глава шестая

Аннушка сказала ему сначала так:

— Дела у нас тут без тебя такие пошли, что ум за разум заходит! Садись, щей налью, пока горячие.

Но в тарелке у Вячеслава щи остыли от высыпавшихся на него как из решета новостей.

— Как? И Нина Александровна тоже! Да по какой же статье ее обвиняют? Эх, Анна Тимофеевна! Посылать проклятья по адресу власти, конечно, очень легко, однако же надо вникнуть: Олег Андреевич жил под чужим именем и скрывал прошлое... Это карается каждой властью. Уж не думаете ли вы, что в Англии или во Франции за это погладят по головке? Что же касается Нины Александровны — ее могут обвинять в пособничестве. У прокурора Мика был? Прокурор разговаривать не желает? Уж извините — не поверю!

Аннушка всплеснула руками:

— Да неужели я лгать буду? Вот хоть мужа моего спроси. Эти окаянные и старика-то моего вовсе замучили: что ни день, то являйся к ним да выкладывай всю подноготную. Намедни арестом пригрозили: ты-де такой-сякой, ложными показаниями нас с толку сбил...

Дверь, которая вела в комнату Аннушки, раскрылась, и на пороге показался, опираясь на палку, дворник. Вячеславу бросились в глаза его провалившиеся скулы, заострившийся нос и поседевшие виски.

— Застрекотала, сорока! — крикнул он жене, стуча палкой. — Мало тебе, что ли, бед? Сама за решетку захотела?

Вячеслав выпрямился.

— Вы, Егор Власович, меня знаете: разве я зарекомендовал себя хоть раз как передатчик? — спросил он.

— Ты партиец и безбожник — вот что я знаю! — сердито крикнул дворник.

Вячеслав пошел к себе, но на пороге остановился.

— Мика дома? — спросил он.

Аннушка объяснила, что Мика еще на рассвете ушел в тюремную очередь, а оттуда — на завод. Выходить на работу Вячеславу предстояло только на следующий день; он заперся у себя караулить возвращение Мики и занялся составлением прошения в Кремль, которое подавал от лица своего дяди — середняка, несправедливо, по его мнению, обвиненного в кулачестве, — одно из наиболее тягостных впечатлений, вынесенных им из поездки в деревню.

Только в конце дня он услышал в кухне «трубу иерихонскую», как называла, бывало Нина зычный голос брата.

— Давайте, давайте, Аннушка, голоден так, что нипочем гиппопотама съем. — Мика, по-видимому, не терял бодрости.

Отложив бумаги, Вячеслав поспешила в кухню, где «юный Огарев» трудился над своей порцией щей за покрытым аккуратной клеенкой столом — форпостом Аннушки.

— Здорово, Мика! Ешь, ешь — поговорить еще успеем, и Вячеслав пожал ему руку.

— Разговоры наши будут невеселые, друже, так как дела у нас пошли прескверно, однако на аппетите моем это, как видишь, не отражается, — продолжая уплетать щи, откликнулся Мика. Спустя полчаса в

разговоре один на один Мика рассказал Вячеславу про свою двухминутную аудиенцию у прокурора (аудиенцию, которой пришлось добиваться в течение трех недель). Антисоветская настроенность, антисоветская пропаганда, пассивное пособничество и прикрывательство — всё это тучей собралось над головой Нины.

— Ты бы посмотрел да послушал, что там делается, — говорил Мика. — Передачу принимают от ограниченного числа лиц, а стоят несметные толпы. Прибегаю к пяти утра, чтоб быть в числе первой сотни. Построиться очередью у тюремных ворот не всегда удается — милиция разгоняет. Ну, прячемся тогда по соседним воротам и подъездам, а как двери откроются, мчимся сломя голову! Тут уж ноги выручают. Но если тебе и посчастливилось занять одно из первых мест, ты все-таки не гарантирован, что передачу у тебя примут — высунется вдруг хамская морда и заявит: сегодня, дескать, принимаем только для уголовных! Вот и убирайся ни с чем. Стояла раз со мной рядом дама — баронесса Остен-Сакен, — у нее засадили и мужа и сына; мужа за то, что с английским королем играл в карты, когда в качестве флигель-адъютанта сопровождал Николая в Лондон; сына за что — не знаю; сына расстреляли, а старый барон, узнав об этом, в тюрьме — повесился! Рывкнули они ей это из своего окошечка... упала; я подымал.

А то пристала раз ко мне там — в очереди — крохотная старушка, деревенская — с котомкой, в валенках; просила указать ей прокуратуру, да пока я переводил ее через улицу, объясняла, что хлопчет за сына. Выразилась она совершенно необыкновенным образом: «Вот сколько у нас по колхозу наборов в тюрьмы было, а мы с Миколкой все держались, а теперешним набором прихватили и моего Миколку», — вот тебе голос народа! «Набор в тюрьмы» — слышал ты что-нибудь подобное?

Вячеслав встряхнул своими всегда всклокоченными волосами, словно конь гривой, очевидно, для освежения своих умственных способностей, и сказал:

— Мика, ты не преувеличиваешь? Не пугаешь?

— Я, что ли, баба-сплетница? Позволь заметить, что мне в настоящее время не до шуток.

— Извини: сорвалось с языка... — Вячеслав сжал себе виски обеими руками. — Откуда такое искривление генеральной линии партии?

— Такие, милый мой, искривления у Николая не водились! Дзержинский ли, Менжинский ли, Ягода ли, Медведь ли — все одно и то же искривление. Воображаю, какие еще впереди!

— Тебе легко возмущаться, Мика! Эта власть тебе чужая. Твои деды и прадеды — помещики, сестра — титулованная. А для меня это все свое, кровное! Я в шестнадцать лет взял винтовку: бои, окопы, бессонные ночи, ранения — я через все прошел! Не жаль было ни сил, ни здоровья, ни времени... Верил, что строим счастливую жизнь, что навсегда покончим с произволом, неравенством, нищетой. Мне мерещились ясли, заводы, родильные дома, мирное строительство, сытые дети, и вот теперь — эти опустевшие деревни, ропот, разделение...

— И террор! — безжалостно отчеканил Мика. — Теперь, через пятнадцать лет после революции, когда нет ни войны, ни сопротивления...

— Врешь, сопротивление есть! Пассивное, но упорное и злое, которое ползет из каждой щели. Взгляни на себя, на Олега Андреевича; разве вы нам друзья? Разве вы нам поможете? Злорадство и ненависть прут у вас из всех пор! Вы радуетесь каждой нашей неудаче!

— Не смешивай меня и Олега, друже! Дашковы — военная аристократия, а наша семья глубоко штатская, либеральная. Отец отказался в свое время от звания камергера; дед организовал в имени бесплатную больницу и школу; я не цепляюсь за прошлое — я пятнадцатого года рождения и не помню прежнюю жизнь. Я всегда был глубоко равнодушен к тому, что пропали поместье и земли. Собственность я

ненавижу! Сословных предрассудков во мне вовсе нет. Я тоже ищу новой жизни, новых форм. С вами идти мне помешала только ваша нетерпимость и узость, ваша мстительность и коварство! Был момент — я так искал знамени, которому бы мог служить! Вот вы и показали мне ваш террор, еще не превзойденный в истории. Сами выковали из меня врага, понял? Еще пожалеете, когда доведется сводить счеты, — самоуверенно закончил юноша и, увидев нахмурившееся лицо товарища, прибавил более миролюбиво: — Кстати, просьба к тебе.

— Валяй, говори! Для Нины Александровны готов очередь выстоять.

— Нет, я не о себе. Асе Дашковой помочь надо: комнату у нее отбирают. Бабушка и француженка, видишь ли, высланы, муж сидит — значит, отдавай лишнюю площадь. Просила мебель передвинуть.

Вячеслав нахмурился:

— В этот дом я не ходок, да уж ради Олега Андреевича куда ни шло! — И он взялся за шапку.

На эту реплику Вячеслав ответил молчанием. Занесла же его нелегкая в их среду! Жил бы в рабочем общежитии с ребятами — все было бы ясно и просто; радовался бы достижениям и трудовым вахтам, бодро смотрел вперед и не было бы этих сомнений и неприятностей. Может, и семьей бы уже обзавелся! Бросить, что ли, здесь все да махнуть куда-нибудь на стройку? На север или в Комсомольск? Там, где потрудней, где людей не хватает, там он на месте будет, а здесь все не ладится у него и тоска прикинулась. Так думал Коноплянников, шагая рядом с Микой. Он вспомнил Лелю и свою отвергнутую любовь и стиснул челюсти.

А на улице громкоговоритель распевал во весь голос слова ходовой песни:

Но когда в кружок ты вышла  
И глазами повела,  
Я подумал: это вишня  
Между елок расцвела.

Молодые люди напрасно прождали сначала на лестнице, а потом у подъезда. Аси не было.

Только на следующий день, когда Мика, на этот раз один, забежал на разведку прямо с завода, он узнал о новом несчастье у Аси.

Часов в девять вечера он постучал к Вячеславу:

— Можешь сейчас пройти со мной передвинуть мебель у Дашковой? Я договорился — она дома; вчера недоразумение вышло не по ее вине — несчастье опять у них.

— А что такое? — равнодушно спросил Вячеслав, беря шапку.

— Кузина ее арестована, Нелидова Леля.

— Что? Нелидова?! Говори, что знаешь по этому делу?

— Ничего еще не знаю. Вот придем — расспрошу.

— Экий нерасторопный! Пошли.

Опять зашагали в том же направлении.

— Слышал ты когда-нибудь про дело Ветровой? — спросил Мика.

— Нет. Что за дело такое?

— Это было еще в царское время. Один из старых друзей нашей семьи при мне Нине рассказывал. Студентка одна, политическая, Ветрова, изнасилована была тюремным сторожем. Оказалась Лукрецией:



взяла керосиновую коптилку и зажгла на себе одежду. Сгорела заживо! Скандал вышел. Каким образом стало известно — не знаю, а только весь университет загудел, как пчелиный улей. Демонстрация: панихида на площади перед Казанским собором, море молодежи, пламенные речи... Ну, полиция, конечно, тут как тут! — загнали в манеж, посажали многих. Допрашивали, однако, очень мягко и приговоры были самые мягкие: правительство было, по-видимому, смущено. Тот, который рассказывал, получил полгода ссылки и после тотчас же восстановился в университете. Дело, однако, не в этом. Я думаю сейчас вот о чем: случись такое теперь — а конечно, и случается — протеста в обществе ведь не будет! О пытках ведь знают — и не протестуют! Страх сковал! Гепеу не полиция — поймают одного студента, а изведут целую семью и десяток товарищей нипочем на тот свет отправят. Вот и не протестуют! Общество выродилось. У тебя мозги вывихнуты партучебой, а все-таки пойми: безмолвие в университете и на заводах свидетельствует против вас.

Вячеслав вдруг повернулся к нему с гневно сверкнувшими глазами:

— Молчи лучше!

— Да чего злишься-то! Или стыдно за свой социалистический режим? Не надо было лезть в партию! Ты забыть не можешь, что девяносто лет назад твоего прадеда помещик в карты проиграл, а у меня вот родной отец убит вашими коммунистами, которые пришли отнимать имение. Мне тогда года четыре было, но я помню, как он упал. Я до сих пор иногда вижу это во сне и просыпаюсь в холодном поту. Теперь заточили как преступницу мою сестру, а меня не принимают в университет. Мои обиды свежее твоих, а ты еще удивляешься нашей ненависти!

Вячеслав остановился:

— Мика, я не хочу ссориться с тобой теперь! Замолчи, прошу тебя!

Он узнал подробности: Ася при нем рассказывала Мике о неоднократных вызовах и вымогательствах следователя, умолчав из чувства такта о Гене. Мика вызвался помочь с похоронами Зинаиды Глебовны, обещал привести друзей, которые безвозмездно отпоют зауспокойную и на руках перенесут гроб. Вячеслав, в свою очередь, смущенно пробормотал:

— Я тоже мог бы пригодиться! Вам одной не справиться со всеми хлопотами и очередями. Давайте я соберу и отнесу передачу Елене Львовне и к прокурору пробьюсь. Идет?

— Спасибо, — подавленным шепотом отозвалась Ася.

Но после, на лестнице, Мика ему сказал:

— Прежде всего надо ее найти, а для этого тоже выстоять очереди в тюремных справочных бюро. Я тебе дам адреса тюрем; но ты не надейся, что прокурор тебе ответит — не станет даже разговаривать: заявит, что имеет дело только с ближайшими родственниками, как мне по поводу Олега.

— А я его заставлю ответить! Пусть попробует отвертеться! Мне не так легко зажать рот, а если скажет, что я чужой, я ему заявлю, что я фактический муж — коротко и ясно!

Мика бросил на Вячеслава несколько озадаченный взгляд, но не решился продолжать разговор на такую деликатную тему. Пошли молча.

Кукушечка! Деревцо вишневое! Попалась, бедная! Олег хороший человек — понятно, что выдать не захотела! Сама-то она вся пугливая, слабенькая, нежная, а вот устояла ведь, дала отпор! Стало быть, есть у нее внутренняя сила и товарищ она, видать хороший... Экие подлости в огепеу делаются: схватили девушку — полуробенка, да как с ножом к горлу: выдавай или засажу! Запугивают, тянут показания... да это святейшей инквизиции впору! Известно ли там — наверху? Набрали в штаты всякой дряни и дали волю! Надо сигнализировать! Эту историю нельзя оставлять! Все эти Дашковы, Бологовские, Огаревы трусят, их в

самом деле происхождение сковывает; ну, а он, Коноплянников-то, — свой, всю революцию провоявал, у станка семь лет, его-то выслушают! Следователь Ефимов... Уж будет он стоять перед революционным трибуналом! Надо не только в Москву писать — надо привлечь райком и заручиться поддержкой председателя; до самого Сталина дойти, а кукушечку вызволить!

Она теперь одна, замученная, жалкая! Антипатичных ему дам около нее уже нет, одна только эта молодая, кроткая Дашкова. Если он выручит свою кукушечку, она отогреется на его груди. Никто не встанет уже между ними! Он вообразил, как приходит за ней, и вот ее выводят из тюремных ворот: она с узелком, в платочке и сером ватнике, бледная худая... увидев его, она бросается на шею своему спасителю. Обнять ее, прижать к груди, погладить эти шелковистые кудри... даже голова у него закружилась! Отчего женское лицо приобретает иногда такую власть, причем от этого не застрахован даже человек сдержанный, серьезный, преданный идее... В этой девушке не было ничего, что он привык ценить, оставаясь объективным, — что же приковало к ней его сердце? Тоска подымалась со дна его души. С тоской он бы сладил, не стал бы нянчиться с собственной душой, но подкрадывавшееся разочарование в деле, которому он отдал все молодые силы, подтачивало, вносило беспорядок в его внутреннюю жизнь. Бездна и усталость в интонации Аси, ее рука, уроненная на голову малыша, цеплявшегося за ее платье, врезались в его память. Под спокойствием, привитым строгостью воспитания, угадывалось отчаяние этой молодой женщины.

Да неужели действительно вышлют и ее и ребенка? Разве так слаба Советская власть, что женщины уже опасны стали? «С женщинами воюем! Лагеря для женщин! Олег Андреевич прав: императоры не трогали жен декабристов и семьи народников... Уж не чувствовали они себя уверенней на своем посту, чем мы большевики, на своем? Или в самом деле были великодушнее и добрее? Эх, неладно что-то у нас в аппарате!»

Бездеятельность и пассивная скорбь не были свойственны его натуре.

«Завтра же пойду сначала к прокурору, а потом в райком! — говорил он себе. — Следователь Ефимов... посмотрим, кто кого!»

## Глава седьмая

На тюремных окнах ворковали голуби; воркование это иногда напоминало жалобный стон и усиливало тоску. Было так тихо, что слышно, как надзирательница, завтракая у окна, разбивала крутое яйцо. Иногда, становясь ногами на унитаз, Леля дотягивалась головой до окна и видела кусочек неба. В шесть утра надзирательница, проходя, стучала ей в дверь и говорила: «Подъем», надо было в ту же минуту вскакивать и стелить койку, которую уже не позволялось откидывать в течение дня; потом надзирательница говорила: «Хлеб и сахар», а еще через несколько минут: «Кипяток». Все это ставилось на доску перед окошечком. В середине дня полагался обед — щи из хряпы и каша; вечером — опять кипяток с хлебом.

На цементном полу была протоптана дорожка сотнями узников, которые бороздили его, шагая из угла в угол; и она ходила, как они. Надзирательница изводила, постоянно заглядывая в «глазок», то и дело слышался ее хриловатый оклик: «Не закрывать головы полотенцем!», или: «Вы что там руку себе ковыряете? Смотрите у меня!», или: «Почему не едите? Есть надо: я за вас отвечаю!». Позволялось получать книги из тюремной библиотеки, но тоска, страх и отчаяние, душившие ее, не давали ей возможности углубиться в читаемое. Допросы — вот была ее мука! Чего еще хотел от нее следователь? Она была уже уличена, Олег — обвинен полностью, Нина — давно призналась, что покрывала Олега, и, по-видимому, под пыткой подписалась, что вела и поощряла их контрреволюционные разговоры; Леля сама видела подписанное Ниной показание. Казалось бы, не оставалось уже ничего, что можно было еще выудить, а допросы все-таки продолжались! Нервы были мучительно напряжены; вот-вот войдет конвой, чтобы вести ее в кабинет № 13; она не была застрахована от этого даже ночью, очень часто следователь вызывал ее именно в ночные или вечерние часы, запугивая ее воображение. Она уже хорошо знала те нескончаемые коридоры, по которым ее вели и где гудели грубые выкрики и отборные ругательства, доносившиеся из кабинетов, мимо которых ее проводили, — в эти часы там допрашивали заключенных, а с ними церемонились еще меньше, чем с вызываемыми по повесткам. Далее начиналось обычное: «Садитесь. Ну, что — вспомнили что-нибудь?» — а след за тем угрозы и издевки. Он любил выражение: «рассказывайся до пупа», которое казалось особенно оскорбительным Леле. Допрос затягивался иногда до утра; следователь как будто забывал, что человек испытывает естественную необходимость остаться одному хоть на несколько минут. Это было утонченной пыткой, имевшей, по-видимому, целью поиздеваться над ее стыдливостью и воспитанием. Как бы ни было, она всякий раз держала себя в должных границах, преодолевая свои мучения.

Была неделя, когда он вызывал ее каждую ночь, а между тем в течение дня раскрывать койку строго-настрого запрещалось; старая ведьма была тут как тут: «Захлопните койку! Никаких возражений! Порядок один для всех!» Чтобы обмануть ее бдительность и хоть немного забыться дремотой, Леля брала книгу и, делая вид, что читает, дремала, облокотясь на руку. Но стоило ей выпустить из рук книгу или уронить на грудь голову, раздавался окрик: «Не спать! Днем спать запрещается!» Пытка бессонницей! Кажется, она применялась к Каракозову? Но ведь Каракозов стрелял в Императора, а что же сделала она? Молилась ли за нее Ася в уголке за буфетом или шкафом, как в детстве? Где Ася? Жива ли мама? Сюда не доходит ни зова, ни отклика!

Один допрос был особенно мучителен: в этот раз ее допрашивали двое — следователь и его помощник; сестра не позволили, и она выстояла пятнадцать часов на одном месте, в то время как мужчины несколько раз сменяли друг друга и, по-видимому, даже успевали вздремнуть в одном из пустых кабинетов. Было часов шесть утра, в окнах начинался рассвет, когда они сошлись опять вдвоем и, приблизившись к ней оба с угрожающим видом, заложив руки в карманы кожаных курток, стали плевать

ей в лицо, произнося неприличные ругательства; по-видимому, целью ставилось добить ее морально, потом один из кожаных рукавов взял телефонную трубку.

— Доставить немедленно в кабинет номер тринадцать... — и она услышала фамилию слишком хорошо знакомую! Она замерла, глядя на дверь. Опять встретились их глаза в пристальном и быстром взгляде... Он осунулся за это время, и еще заострились красивые черты; Леля заметила серебряные нити в пряди его волос — той, которая падала на шрам от раны.

«Здесь нет зеркала, и я не вижу себя; наверное, поседела и я!» — подумала она.

— Ну, вы друг друга очень хорошо знаете! Не правда ли? — спросил следователь.

— Мне очень прискорбно видеть вас здесь, Елена Львовна, — сказал Олег, вполне владея своей интонацией. — Я все время повторяю, что подлинная моя фамилия была вам неизвестна; к несчастью, мне не верят. Дело все в том, что я не Казаринов...

Но Леля замахала руками.

— Не надо, Олег, не надо! Я давно создалась... Спасибо. Не надо. Не вредите себе.

— Убедился, мерзавец? — вмешался следователь.

Но Олег пропустил эту реплику мимо ушей.

— Меня пытаются уверить, — спокойно продолжал он, — будто бы вы, Елена Львовна, показали, что я состоял в контрреволюционной организации и открыто признавался в этом вам и Наталье Павловне. Разве вы утверждали это?

— Нет! нет! Я все время повторяла, что этого быть не могло и что я никогда не слышала об этом! — поспешно воскликнула Леля.

— Я был уверен, что это провокация, — все с той же интонацией продолжал Олег. — Но если и впредь у вас будут вынуждать какие-либо показания против меня — соглашайтесь со всеми: теперь мне уже все равно, а ваша участь... — Он не договорил: следователь сделал движение, готовясь ударить его по лицу, и Олег моментально с необыкновенной ловкостью перехватил его руку, а другой схватил табурет. — Не позволю! Допрашивайте, сколько хотите, а бить не смейте! Не позволю!

Два револьвера мгновенно уставили на него свои дула.

— Не испугаете! — усмехнулся Олег. — Я все ваши штучки знаю! Я, может быть, и хотел бы, чтоб вы меня застрелили, да не посмеете!

Леля в ужасе закрыла лицо рукавами серого тюремного халата.

Выстрелят! Сейчас выстрелят!

— Конвой! — железным голосом проговорил в телефонную трубку следователь и прибавил, наверно, обращаясь опять к Олегу: — В «шанхай» и в карцер опять захотел?

Послышались тяжелые шаги конвоя, который был, по-видимому, наготове, поблизости.

— В карцер его! Хлеб и вода; синий свет; койку не откидывать вовсе! — отчеканил ледяной голос.

Леля открыла лицо, провожая глазами Олега; жесткий кулак ударил ей в висок, так, что она пошатнулась и вскрикнула. Олег стремительно повернулся было на этот полный испуга и ужаса вопль, но конвойные поспешно вытолкали его, схватив за локти и плечи.

— А ну-ка пойдём со мной! — зашипел следователь почти над ухом Лели. Обычно ее уводил обратно в камеру конвой, но в этот раз он не вызывал конвоя — они повели ее сами.

«Только бы не изнасиловали! только бы не «шанхай»!» — думала она и следовала за ними, исподлобья с детским страхом взглядывая на них и то и дело нагибаясь, чтобы подтянуть большие, грубые, белесные чулки — а они опять спускались, ведь чулочный пояс был отобран.

Камера внизу, в подвале: полутьма, стол, два стула, настольная лампа, коммутатор. Она еще не бывала здесь. Следователь, крикнул кому-то: «Пожалуйста!» И вошел человек — широкоплечий, с тупым, свирепым лицом; следователь сказал ему: «Вот всыпьте сколько потребуется», — взял газету и сел; человек схватил длинный хлыст и опустил его в воду... Леля с ужасом следила за ним глазами... Он размахнулся и изо всех сил хлестнул ее по худеньким плечикам и нежной груди! Кричать? Да ведь никто не придет на крик — он никого не удивит и не испугает!

Только когда Леля лежала уже на полу, следователь, наконец, сказал:

— Ну, как будто бы и довольно! — и махнул рукой страшному человеку, чтобы тот вышел, а сам зажег настольную лампу. — Вот обвинительный акт; здесь зафиксированы собственные твои признания в том, что ты покрывала классового врага. Даю четверть часа на ознакомление и чтобы все было подписано или я сгною тебя в лагере. К столу! Быстро!

Изнемогая от страха, боли и усталости, Леля послушно подписала. Шатаясь и держась за стены, она приплелась обратно в камеру и легла на свою койку, но окрик надзирательницы тотчас же вывел ее из небытия. Она не шевельнулась и только, зябко передернув плечами, поправила на себе пальто, которым закрывалась, как будто желая спрятаться. Женщина окликнула второй раз, после чего вбежала в камеру:

— Встанешь ли ты наконец?

Леля повела на нее глазами, под которыми лежали черные тени, и не шевельнулась.

— Ну, что ж ты, оглохла, что ли? — крикнула та.

— Не могу, не встану.

— Как не встанешь? Не финтить тут! За неповиновение — карцер! Послушайся лучше добром.

— Нет, все равно не встану... не могу! — и Леля опять уронила голову. Начинался озноб; зубы стучали, ухо ныло — от ударов или от простуды, она сама не знала. Надзирательница постояла над ней и вышла. Часа через два дверь открылась, и Леля увидела незнакомую женщину в белом халате. У нее было необыкновенно длинное лицо и тяжелая нижняя челюсть, во всем облике ее было что-то лошадиное. Леля не знала, что женщина эта, исполнявшая обязанности врача, уже давно получила между заключенными кличку «Лошадь».

— На что вы жалуетесь? — спросила Лошадь.

Леля села на койке.

— Избита. Грудь и плечи. Ухо тоже болит.

— Покажите. — Голос звучал официально: ни удивления, ни сострадания. Дело, по-видимому, было привычное, Леля обнажила лилово-синие подтеки.

— Свинцовые примочки и «solux», — сказала Лошадь, поворачиваясь к двери.

— У меня нет сил встать, — промолвила Леля.

— Больным разрешается лежать, — сказала, уходя, Лошадь.

«Solux» и свинцовые примочки остались пустым звуком; надзирательница, однако, не тревожила.

К вечеру боль в ухе и виске стала невыносима; не находя себе места, Леля то садилась, то ложилась и, наконец, стала стонать. Надзирательница — другая, ночная — заглянула в «глазок».

— Чего это ты? Шум производить запрещается! Тихо сиди.

— Не могу. Ухо болит. Терпения больше нет. Вызовите еще раз врача. Плохо мне, — бормотала, мотая головой, Леля.

— Врач будет только утром, а пока, хошь не хошь, терпи. Горячей воды могу дать, грелку сделай.

Но намоченный платок тотчас остывал, и Леля попросила бутылку.

— Это уж ты оставь. Бутылку ты, может, разобьешь да стекла есть станешь, а я отвечай, — было ответом.

Только в середине следующего дня пришла вызванная Лошадь. Вырываясь из забытья, Леля с трудом повернула голову и не отвечала на вопросы.

— Перестарались: без больницы не обойтись, — услышала она слова Лошади, обращенные к надзирательнице.

А потом наступило беспамятство.

Приходя на короткое время в себя и оглядывая серые стены палаты и белые халаты персонала, Леля несколько раздумала: «Больница... может быть, это наша — имени Гааза? Если увижу кого-нибудь из знакомых сестер, попрошу, чтобы узнали, жива ли мамочка. В такой просьбе не откажут... шепнут незаметно. Все-таки люди — не звери».

Скоро, однако, выяснилось, что она лежит в Крестах, и рядом нет никого, кто бы исполнил эту просьбу. У нее оказался мастоидит, и она проболела около месяца. Еще недавно болеть было в своем роде удовольствием: мама всегда рядом, кружится у кровати Стригунчика, как птица над гнездом, приносит в постель «чаек» и «бульончик»; Ася забегает каждый день навещать, щебечет, сидя на краю постели; всеобщее внимание и нежность еще усиливаются — само желание окружающих побаловать уже создаст особо нежную, сердечную атмосферу. Букетик анемонов от Аси, коробочка мармеладу от Натальи Павловны, сладкая булочка, купленная мамой на последний рубль, — уже огромная радость при их скудных достатках.

Все это получило в ее глазах огромную цену теперь, когда уже навсегда ушло! Здесь — равнодушные лица, холодное молчание, быстрые подозрительные взгляды и сковывающий страх перед самым ближайшим будущим. Лежи и молчи, когда ухо и голову сверлит мучительная боль. Нельзя лишний раз подозвать, окликнуть; если и жалеют, все равно не обнаружат жалости — боятся, дали подписку; она ведь хорошо все это знает.

Едва лишь упала температура, как тотчас ее перебросили обратно в камеру. Опять одиночка, не та, но такая же: так же принесли ей хлеб и кипяток, так же швырнули тряпку для уборки, днем те же щи и каша... На второй день забряцал засов; звук этот вызвал жуткие ассоциации; отпрянув к стене, она впилась глазами в ничего не выражающее лицо конвойного. Ее повели, но при этом повернули в другой конец коридора, и переходы пошли сразу же незнакомые. Через несколько минут, стоя между двумя конвойными, в незнакомой комнате, она услышала:

— Согласно постановлению тройки огепеу... — и потом пошли какие-то номера и параграфы и все время мелькали слова «контрреволюция» и «враг народа». Что бы это могло быть? Приговор? Но ведь суда еще не было! И вдруг она услышала слово «приговаривается». В ней все дрогнуло и мучительно насторожилось. Между этим словом и следующим прошло не более полсекунды, но в голове успели промелькнуть мысли одна тревожней другой: «Только бы ссылка с мамой и Асей! Господи, помоги! Сделай, чтобы не лагерь!».

И вдруг она услышала слово, которое было четко и злобно отчеканено, буквы «р» особенно

раскатистые, как будто выговаривание этого слова доставляло особенное удовольствие тому, кто читал: «К высшей мере наказания через расстрел».

— Расстрел?! Как?! Расстрелять меня? Меня расстрелять? Да ведь я ничего не сделала! Я... Я... — она задыхнулась. Оказалось почему-то, что она уже сидит, и конвойный держит около ее губ кружку с водой.

— Выпейте, гражданка.

— Расстрелять меня? Но ведь я...

Тут подошел «он», и расширенные зрачки кобры, которые преследовали ее в недавнем бреду, взглянули на нее. Она моментально затихла и сжалась. Сейчас он скажет: «Ведите ее на расстрел немедленно». Но он сказал совсем другое:

— Вы имеете право в течение ближайших нескольких дней подать в Москву просьбу о помиловании, и расстрел, возможно, будет заменен концлагерем.

Леля не сразу поняла, он повторил и прибавил:

— Будете подавать или не будете?

— Да, да, конечно, буду! Непременно! А меня не расстреляют тем временем?

— Приговор приводится в исполнение через определенный срок, в течение которого тот или иной ответ обязательно будет получен, — опять отчеканил он и отошел, скрипя сапогами.

Дрожащей рукой подписала Леля бумагу, которая, по ее мнению, составлена была далеко не убедительно. Она непременно хотела, чтобы были помещены разъяснения, такие, как: «Мне только 22 года, и я очень хочу жить», и еще: «Я никогда ничего плохого не делала». Но составляющий бумагу юрист категорически их забраковал. Прошение получилось слишком официальное и сухое, по мнению Лели, но она не посмела настаивать, замирая от опасения, что они скомкают бумагу и скажут: «Если вы будете капризничать, мы вовсе не пошлем прошение».

Страшно возбужденная, с сухими глазами, закусив губы, металась она весь день по своей камере: «А вдруг меня расстреляют, прежде чем придет ответ? А вдруг откажут в помиловании? Что будет с мамой, если она узнает?! Олег... если меня, то уж его-то тем более... Ася! Славчик! Как же они? Сегодня маму и Асю, наверно, выселяют как ближайших родственников тех, кто к высшей! Куда же они поедут?»

Едва лишь дали отбой, она забралась на койку, и тут ею внезапно завладел новый строй мыслей.

Смерть... она совсем близко... Почему знать — может быть, в эту же ночь. Есть ли что-нибудь по ту сторону жизни или ничего нет? Лицом к лицу перед неизвестностью! Лелю учили верить, и она верила, но почему она так мало думала о будущей жизни? Иисус Христос учил всех любить, в Евангелии столько чудесных слов об этом; в церкви читают и поют о подвигах духа, о молитве, о вере, о Причастии... а она словно мимо проходила! Ведь знала же, что умрет когда-нибудь... Она никому не делала зла, но и добра почти никому. Она всегда думала в первую очередь о себе. Мама, папа, дедушка и бабушки, прислуга, а позднее и Ася, и мадам, и Сергей Петрович — все существовали, казалось, для того только, чтобы ей веселее и легче было жить! С мамой она постоянно была дерзка. Правда, всю до копейки зарплату отдавала в ее распоряжение, всегда спрашивала позволения уйти в гости или в театр, но при всем том все-таки маму третировала; если даже маму целовала — точно одолжение делала! Почему же, однако, никто — ни один человек не сказал ей ни разу: ты мало любишь людей, даже родных тебе, ты не следуешь заветам Христа! А между тем сколько тысяч раз ей повторяли наставления, как владеть ножом и вилок! Ее задаривали игрушками в дни Рождества и Пасхи и приглашали к ней детей, разодетых, как куклы, но никто ни разу не шепнул: «Сбереги святость этого дня!» А потом, когда жизнь переменялась и пришли испытания, ее все жалели, но тут никто не напоминал о любви и терпении, о кротости. А с другой стороны,

кто жил лучше? Из всех по-настоящему добры только мама и Ася. А впрочем... как увязать с христианской любовью мамино «ди простой» и ту пренебрежительную гримаску, с которой она отзывается о каждом, кто не насчитывает за собой хотя бы четырех поколений? Приблизится к ангелам и святым Леля недостойна... Кого же она увидит, когда ее пробьет пуля? Темноту? Жутких, разлагающихся, уродливых существ, которые окружают и будут мучить? Геенну огненную? Тогда уж лучше совсем ничего! Страшно, страшно!

Она лежала лицом к стене, схватившись за виски обеими руками, и ужас заполнял без остатка все ее существо.

«Я, кажется, даже молитвы забыла! Только «Отче наш» и «Верую» помню, — и уже хотела прочесть их, как услышала бряцание затвора. — За мной», — и села, чувствуя, что холодный пот выступает у нее на лбу.

— Собирай вещи и выходи, — услышала она оклик конвойного и дежурной надзирательницы. Она вскочила.

— Нет, нет! Я не пойду. У меня послана просьба о помиловании. Следователь мне сам обещал, что меня не расстреляют, пока не придет ответ. Не пойду. Нет, нет!

— Экая бестолковая! Сказано ведь — с вещами выходить, а нешто на расстрел с вещами ведут? На том свете не нужно твое барахло. В другую камеру тебя переводят, только всего и есть, — усмехнулся конвойный.

Леля вздохнула несколько свободней.

— В другую камеру? Правда? Вы, может быть, нарочно говорите?

— Станем мы еще выдумывать! — сказала надзирательница. — После приговора в одиночках не держат, таков уж порядок. В общую пойдешь, к смертникам.

— Что?! К смертникам? Не пойду. Нет, нет! Оттуда не возвращаются! Бумага о помиловании придет сюда, и если меня не будет...

— Чего городишь? Пойдешь, коли велят. Сейчас собирай тряпки. Не затеряется твоя бумага.

Леля в отчаянии уцепилась за койку, но грубая рука схватила ее за плечи.

— Слушаться! Некогда нам тут с тобой хороводиться! Ну! — В голосе уже послышалась угрожающая нота.

Вся дрожа и всхлипывая, она стала собираться: накинула пальто, повязалась шарфом и вышла в темный, холодный коридор.

— Господи! Помоги, защити! Прости, что я так дерзка была! Прости мне всю мою жизнь, — шептали дрожащие губы. — Хоть бы увидеть Олега или Нину Александровну: я возьму их за руки... не так страшно, как совсем одной. Пожалей и не осуди меня, Господи!

Она уже покорилась и затихла, только изредка судорожно вздрагивала. Долго шли холодными, темными коридорами; в одном из них, наконец, остановились; опять забряцал затвор — камера смертников... Обреченные, такие же, как она!



## Глава восьмая

Олег отказался подписать обвинительный акт, несмотря на щедро применяемые «методы воздействия», и это усугубило тяжесть обвинения. После того, как приговор о расстреле был зачитан, его перевели в камеру смертников. Подать просьбу о помиловании он не захотел, не надеясь на успех и считая это напрасным унижением; притом смертный приговор мог быть заменен в лучшем случае двадцатью годами лагеря, а это казалось ему страшнее расстрела.

Смертники имели одну льготу: им не возбранялось лежать с утра до вечера на откинутой койке; для того, кто был измучен допросами и карцерным режимом, это было наслаждением — последним, которое еще оставалось в ожидании развязки. Увидев откинутые койки и угрюмые фигуры, распростертые на них, Олег тотчас откинул свою и тоже улегся.

Выкрашенная серой масляной краской стена около его койки была испещрена надписями, сделанными карандашом; он прочел некоторые: «Долой Сталина!», «Умираю ни в чем не повинный», «Оставь надежду навсегда, сюда вошедший!» Последняя фраза уже давно занимала его воображение и теперь прозвучала, как тема рока в симфонии Бетховена.

То неизбежное, что он всегда ждал, приблизилось. Бедная Ася! За эти три неполных года счастья она поплатится теперь целой жизнью: биться с двумя детьми в глухом, далеком углу, в ссылке, отмеченная, как проклятьем, знаменитой княжеской фамилией и белогвардейским прошлым мужа! В деревне, в избе, на лежанке... Хорошо, если среди русских, а то как загонят к киргизам или якутам... Сознание Славчика будет формироваться в сельской семилетке, где ему на каждом уроке будут внушать на якутском языке, что отец его — враг народа и мерзавец... Он возненавидит свое имя и не захочет прийти даже на могилу отца... а впрочем, ведь у Олега не будет могилы!..

Мысли его были прерваны бряцанием затвора; принесли нарезанный порциями хлеб и кипяток в чайнике, который поставили на стол посреди камеры. Сумрачные фигуры зашевелились, разбирая и наполняя металлические кружки при тусклом свете маленькой лампы под потолком.

— Ну, сегодня уж я в остатний раз чайком греюсь; сегодня в ночь уж беспрременно придут за мной. Я уж всех тут пересидел. И тебя, паря, поди, прихватят, засиделся и ты, — сказал молодой вихрастый уголовник, обращаясь к товарищу — самому юному в камере.

— Отстань, — огрызнулся тот, передергиваясь. Олегу бросился в глаза его пришибленный вид.

Но вихрастый парень не захотел отстать:

— А ты повеселей немножко: нюни-то не разводи. Бога, что ли боишься? Небось не засудит, оттого что ничего-то там, по ту сторону, нет — пар вон, и вся недолга.

— Попридержи язык, не всем твои шутки по сердцу! Лучше бы молитву прочел, чем глумиться тут, — прикрикнул кто-то басом из угла.

— А что мне молитва? С такой катушкой, как у меня, к чертям разве, и там, почитай, не примут, — засмеялся принужденным смехом приговоренный.

«Бандит, наверно», — подумал Олег.

— Молчи, говорю, — повторил тот же бас, и снова стало тихо.

— Не видать и не видать нашей Матушки Узорешительницы: стало, Господь наложил запрет ей прийти в нашу камеру, заказал путь! Ох, ох-ох, грехи наши тяжкие! Не придтись ей, никак не придтись! — заохал вдруг маленький старичишко, ставя на стол кружку.

— Кого вы ждете? Разве дают свидания осужденным на высшую? — спросил, настораживаясь Олег.

— Каки таки свидания? С ней, со Смертью-матушкой разве что свидание нам заготовлено! — опять заохал старик.

— Так кого же вы ждете в таком случае? — опять спросил Олег.

— Вас только что перевели сюда, а мы все его рассказы уже наизусть знаем, — заговорил человек интеллигентного вида, еще молодой, но с профессорской бородкой, — он святую Анастасию Узорешительницу, видите ли, поджидает, но высокая гостья заставляет себя слишком долго ждать.

— Анастасию Узорешительницу? — переспросил с удивлением Олег.

— Да, ни больше ни меньше! Рассказывает длинную историю, как эта высокая особа, специальностью которой стало утешение заключенных, забрела раз, оставаясь невидимой конвою, к таким же смертникам, как мы с вами. Кого-то она ободрила обещанием помилования, а на нескромный вопрос ответила, что этот человек с ней увидится в одном из московских переулков. Когда же сей счастливец, получивший и в самом деле помилование, пошел вскоре после этого в Москву, и именно в тот переулок, он вошел в маленькую церковь, мимо которой проходил, и увидел икону святой Анастасии, в которой будто бы признал неизвестную женщину, приходившую к нему в камеру. Обслуживавшая церковь монашка, которой он рассказал случившееся, разъяснила ему при этом, что такие случаи уже бывали и она наблюдала много благодарных клиентов. Как вам нравится такое повествование?

— Я счастлив был бы, если б мог этому поверить, и не вижу здесь ничего, над чем можно было посмеяться! — ответил Олег. — Это все очень трогательно.

— Вы по пятьдесят восьмой, очевидно? — спросил интеллигент, приглядываясь к нему.

— Точно так. Очевидно, и вы?

— И я. Приклеили мне контрреволюцию за то только, что позволил себе несколько неосторожно высказаться по поводу черепов отсталых рас, а именно: отметить некоторое различие в их строении с черепами русских. Обвинили в злостном расизме, — и ученый усмехнулся, — А вы?

— Я — гвардейский офицер в прошлом. Гепеу стала известна моя подлинная фамилия.

— Какая же именно? — спросил интеллигент, снимая очки.

Олег назвал себя, и они обменялись рукопожатиями.

— У вас семья? — спросил ученый.

— Жена и ребенок, — и, не желая затягивать разговор, Олег поклонился и ушел на свою койку.

Через несколько минут дали отбой, и установилась тишина; только старичок шептал на коленях молитву.

Олег вспомнил картину, которая была создана под впечатлением его фантазии, — княгиня Дашкова рассказывала однажды знакомой ей художнице, каким рисуется ад в воображении ее сынишки, и та изобразила на полотне кудрявого ребенка, который огромными испуганными глазами смотрит на призрака зла — страшные рептилии, кишасящие в темной пещере. Головка ребенка была окружена нимбом, который говорил о его незапятнанности.

«Таким я и был тогда, но с тех пор было столько горя и боли, крови и зла. Теперь я могу надеяться только на милосердие; как в той заветной молитве: яко разбойник исповедую... Подлости я за собой никакой не знаю, за тех, кого я люблю, я жизнь отдаю, но тех, кто вне моей орбиты, я любить не умею. Ася права: я слишком горд!»

И он вспомнил слова своей жены: «Я хочу, чтобы сердце твое распространилось».

Она тогда расчесывала волосы, и точеное, как у камеи, лицо было окружено их мягкими душистыми волнами... Откуда взяла она эти слова? Ася? Вот она всех жалела! И мужа, и собак, и этого уродливого ребенка, и даже цветы... Она никогда не жаловалась, не упрекала...

Качество, редкое в женщине! Если она огорчалась, то только «сворачивалась», как мимоза. Было что-то детское в той ласке, с которой она прижималась к нему: трется, как котенок, о его плечо и ерошит ему волосы... Ему вспомнилось, как один раз она его упрекнула, да, упрекнула! При этом воспоминании густой румянец стыда залил его лицо... Это было за два дня до рождения Славчика! Прежде подвижная, тонкая, резвая девочка изнемогала под тяжестью десятифунтового ребенка; жизнерадостность начала ей изменять; она, видимо, истосковалась ожиданием и огромным животом — ни сесть, ни лечь, ни наклониться... В этот вечер, когда они ложились в своей спальне, она прибегала к обычной уловке... О, он хорошо знал эти уловки — ляжет, бывало, и закроет глаза: делает вид, что заснула... Она это часто проделывала, но в этот раз он не пожелал уступить — ему досадным показалось это постоянное желание избежать страстных ласк. Даже странно было, что это — такое юное, и влюбленное, и ласковое — существо оставалось таким бесстрастным! Он насильно повернул ее к себе... Она молчала, но после, когда он опять уложил ее, закрыл, перекрестил и, целуя в лоб, сказал «спокойной ночи», она вдруг проговорила с жалобой в голосе: «Сегодня уж ты мог бы оставить меня в покое», — и обиженно уткнулась в подушку.

«Сколько надо было иметь эгоизма и чувственности, чтобы заслужить такой упрек! Да, мы — мужья — бываем слишком часто и грубы, и безжалостны. А вот теперь на нее одну ляжет вся тяжесть семейной жизни: она останется одна с двумя младенцами... с двумя! Смерть, да — смерть, теперь, когда я так нужен и семье, и Родине, когда... наконец, счастлив... смерть!»

Чей-то голос сказал:

— Ну вот и накликали — идут!

А другой подхватил:

— И впрямь идут. Ну, братцы, крышка!

Олег приподнялся на локте, прислушиваясь: из коридора доносились голоса и бряцание затворов.

— Не к нам, — сказал кто-то. Но как раз в эту минуту стали отворять камеру. Олег сел на койке, чувствуя, как тревожно отбивает дробь его сердце.

Надзиратель и конвойные остановились в дверях.

— Выходи, кого назову: Иванов, Федоренко, Эрбштейн, Муравин.

Заключенные один за другим подымались с коек. Последняя фамилия принадлежала молодому ученому.

Олег схватил его за руку и крепко пожал.

— Спасибо, — проговорил тот.

— Прощайте, товарищи! — обрывающимся голосом крикнул уже с порога уголовник — тот, который был всех моложе.

— Того же и вам желаем! — бравируя, развязно выкрикнул его вихрастый товарищ и взмахнул шапкой.

Дверь за партией затворилась.

«Маленькая отсрочка! — подумал, опускаясь на койку, Олег. — Отчего так колотится сердце? Кажется,

трусом я никогда не был! И зачем они медлят? Только затягивают агонию. Еще ночь или несколько ночей до тех пор, пока в одну из них...»

В тот день, скитаясь из угла в угол по камере, он прочел одну из надписей, не замеченную им прежде: «Корабль уплывал к весне».

Весна — одно из многих нежных наименований, придуманных им для Аси, и, стоя перед надписью, Дашков вдруг ощутил, что это и есть его последнее свидание с Асей на земле.

Через час или два, когда все хлебали суп, седой старичишко, тщетно поджидавший Анастасию Узорешительницу, вдруг забормотал:

— Сегодня, должно, придут меня ослобонить. Вы вот все только потешаться над стариком умеете, а кабы вы побольше веровали, может, она и вошла бы к нам — Матушка Анастасия; теперича только у двери малость постояла, а и то в камере стало ровно поблагодатней; я вот, убогий, учуял в сердце своем. Неужели вовсе никто того не приметил?

— Кажется, я заметил что-то! — вымолвил Олег и смутился.

Один из «пятьдесят восьмых» сказал:

— Вот и сладь тут с верующими: на все свое объяснение подыщут — не надула, мол, а не учуяли по причине вашей же толстокожести — на-кось, выкусите!

— Смейся, милый человек, смейся, а только меня ослобонят сегодня, — настаивал старик. — Вот помани мое слово: она, Матушка, на то и приходила, чтобы утешительное слово сказать.

Олег пристально взглянул на старика.

— За что приговорен? — спросил он, изменяя своей привычке не задавать вопросов.

— Монашек из Страстного монастыря. Обитель нашу вовсе порешили, а меня на поселение упекли да на отметку взяли. Спервоначалу на Север: едва Богу душу не отдал — гоняли нас безо всякой жалости, скользили мы по наледям, руки да ноги ломали, и голода и холода натерпелись — курочку мою черную я на руках тащил; благослови ее, Господи! Одна-то она жалела меня, убогого; кажинный день по яичку мне несла, силы мои поддерживала; да после, как в Узбекистан нас перебросили, еще пуще ожесточились наши гонители: отобрали и мою курочку. В песках горше, чем в сугробах: народ пошел злой, горбоносый, христианской веры вовсе ни в ком не встретишь; тоска забрала — сбежал, и с тех пор не сидится нам, бродяжничаем. Раз случилось в одном селе мне перед сходкой против колхоза ратовать, оттого что родом я псковской крестянин; ну, а как изловили, одно к одному все и засчитали; злостный вредитель, заявили мне. Тем только утешаюсь, что хоть и краешком, а все за веру Господню претерпеваю!

«Святая простота!» — подумал Олег.

Гордая душа все еще себя и свои чувства ставила выше окружающих.

День, однако, не принес ничего нового. Дали отбой.

В камере смертников никто не засыпал тотчас после отбоя: настороженное ожидание отгоняло сон, и лишь после того как проходили те первые часы, в течение которых всего чаще являлись за приговоренными, или когда конвой уже удалялся, сон смыкал усталые веки измученных людей.

Лежа на койке, Олег внимательно вслушивался в тишину, царившую в коридоре. Прошло около часа, и вот гулкие тяжелые шаги, еще отдаленные, коснулись его слуха.

«Идут», — подумал он.

— Идут, — проговорил кто-то, и головы начали подыматься.

— Принесла нелегкая, — отозвался кто-то из уголовников.

Шаги неумолчно приближались, и вот слышались обычные переговоры с надзирателями и бряцание затворов.

«В этот раз не минуют», — подумал Олег, все так же вслушиваясь.

Тронули затвор, и в бряцании его прозвучала та же неумолимость.

Послышалась команда:

— Семенов Илья!

За стариком! С невольным участием и симпатией Олег повернулся к нему, забыв на минуту о себе.

— Никак, меня? Экая оказия, Господи Батюшка! Как же так оно получилось? — забормотал он крестясь.

— Вот тебе и Анастасия Узорешительница! — крикнул один из уголовников.

Олег только что хотел осадить того, кто позволил себе этот выкрик, но как раз услышал:

— Дашков Олег!

Легкий озноб прошел по его спине.

— Я, — откликнулся он и встал. — Ну, старик, пойдем! Кто-то в самом деле стоял у двери в ту ночь, только слов мы с тобой не поняли.

Больше никого не вызвали. Из коридора вывели в другой коридор, а потом на лестницу, где уже стояла готовая партия и вооруженная охрана. При выходе на тюремный двор свежий, живительный воздух коснулся лица. В груди — словно туго натянутая пружина. Он думал — тут же поставят в ряд, но увидел три «черных ворона»; их погрузили. Опять отсрочка — куда-то повезут. Это, кажется делается в Разливе...

Натянутая пружина несколько ослабела, и снова закружились мысли о семье: «Ася придет справиться... ведь брякнут ей без подготовки. Сейчас уже седьмой месяц — не случились бы преждевременные роды!»

Кто-то рядом с ним сказал:

— Товарищи, а что если нас на вокзал — и в лагеря?

— Ну, да! На вокзал! Как же! Приказа о помиловании не зачитали, вещей забрать не велели... С такого паровоза прямое сообщение на тот свет.

Один старый мужчина вдруг зашатался и взялся за голову. Олег поддержал его.

— Спасибо, — сказал тот, — вы, очевидно, по пятьдесят восьмой?

— Да, — коротко ответил Олег.

— Я тоже. Я подумал сейчас о жене: она совершенно одинока, ей шестьдесят лет и у нее порок сердца. А у вас есть семья?

— Да. Моей жене только двадцать два года, и она остается с двумя младенцами, — и Олег умолк, чувствуя, что ему зажимает горло.

Кто-то сказал:

— Нет, брат, это не вокзал! Лисий Нос или Разлив — вот это что!

— Ай, изверги! Ай, мерзавцы! Ни в какой контрреволюции я-таки не повинен! Она и не снилась мне! Обвинение за уши притянуто! — тоскливо воскликнул вдруг с явно еврейским акцентом худой человек в

очках и схватился обеими руками за голову.

— А я ведь в прошлом эсер, — заговорил другой приговоренный, — сколько раз при царе в ссылках был. Вот уже не думал не гадал, что заслужу такую благодарность, — этот голос звучал спокойно, несмотря на глубокую горечь, которая в нем слышалась.

— Господи, помилуй меня, грешного! — шептал монашек около Олега, — начинать, что ли, канон на исход души?

Дрогнули, когда машина внезапно затормозила.

— Эй, сволочи, выходи! Стройся по пять штук в ряд. Руки в заднее положение, — и вооруженные охранники толпой обступили их.

Подшли еще две машины; слышно было — плакали женщины, одна вскрикнула, и Олегу показалось, что он узнает голос Нины.

Он огляделся: пустое низкое место, высокая стена, увенчанная колючей проволокой, и открытые ворота — там тот двор, который ему столько раз снился!

Остается всего лишь несколько минут... Наступает великая перемена. Вместе с телом отпадут все привычные условия существования и многое, что казалось значительно и дорого... Все, но не любовь к Асе! Любовь останется! Конечно, она связана с телом и бьется в каждой жилке мужского организма, но она прорастает и глубже, и если физическая оболочка сейчас отпадет — любовь останется! Сейчас — за две или три минуты до смерти — ему это совершенно ясно, и это именно ощущение несет в себе предчувствие бессмертия.

Ему завязывают глаза; он стал было освобождать рукой защемленную прядь волос, но тут же усмехнулся: что значила боль натянутого волоса, когда сейчас засадят в грудь целую горсть свинца?

— Не надо! — сказал он, срывая повязку.

— Долой узурпатора революции! — крикнул эсер.

Восклицание это оторвало мысли Олега от личного.

Он вдруг стал думать, что должно крикнуть ему в эти последние минуты. Он почувствовал небывалую, огромную любовь к Родине, будто все те годы, которые он самоотверженно отдал служению Ей, слились в одну золотую минуту. И он задохнулся, сладостно шепча одно только слово:

— Россия!..

Ночное небо было над его головой — высокое, далекое, звездное! Свет звезд просился в душу. Ненависть и обида, еще недавно клокотавшие в его груди, стихли; презрение, гордость и вся узкая классовость, замкнувшая все лучшее, что было в нем, — все это ощущалось теперь как нечто второстепенное, поверхностное, наносное перед тем, что концентрировалось в груди — там билась любовь, перераставшая рамки тела, и заливало всю душу настороженное и трепетное ожидание предстоящего. Новая насыщенная жизненность охватила его, а тело в мучительном напряжении ждало удара.

Было два светлых образа в его жизни — две привязанности; все лучшее в нем связывалось с ними — в детстве и юности — мать, позднее — Ася. Над ними — именно в этой самой высокой точке души — реял, казалось призраком России.

— Господи, спаси мою душу! Яко разбойник исповедую. Мама, родная, дорогая, если ты жива — ты меня видишь и слышишь! Приди же и встреть своего сына...

Толчок в грудь. Земное кончено. В том теле, которое упало, уже нет души. Жизнь или смерть? Свет или темнота?

## Глава девятая

— Надо их пропустить без очереди; они маленькие и измучаются, — сказала Ася.

Несколько человек согласились с ней и двух черноглазых мальчиков пропустили вперед. Очередь безнадежным кольцом извивалась в тесном и душном помещении. Ася прислонилась к стене и, озираясь, пыталась вычислить, которая она по счету. Славчик в этот раз остался дома совсем один! Она оставила ему молоко с булкой и игрушки; спички и острые предметы тщательно запрятала, и тем не менее тревога за малыша сосала материнское сердце. Стоскуется и заплачет! Молоко, наверно, разлил и булку будет жевать всухомятку; штанишки, конечно, мокрые; не потянул бы за хвост сеттера, не ушибся бы как-нибудь! Дело все не решается, страшно подумать, что будет... а тут еще от мадам писем не было... Она опять стала считать: «Кажется, я теперь пятидесятая... еще часа полтора. И что это мне сегодня Говэн все время припоминается?»

Призрак литературного героя — любимого героя ее юности, над судьбой которого она плакала в четырнадцать лет, первый пленивший ее мысли мужской образ — с утра в этот день навязчиво сопутствовал ей: траурный марш, шеренги войск, барабаны, затянутые в черное, эшафот; и он — молодой, красивый, героический, этот аристократ, отдавший жизнь своему народу, — приближается к гильотине, гениальному созданию революции, порожденному необходимостью быстрее и ловчее рубить головы всем тем, кто *si-deuant*, как они... Теперь гильотины нет, теперь иначе, но от этого не легче!

— Да, я вот за этой дамой. Да, очень долго! Ну, конечно, пятьдесят восьмая! У вас тоже? Смотрите, этот старик еле стоит — его бы надо усадить или пропустить без очереди.

То перекидывались словами, то понуро смолкали и передвигались все ближе к окошку, и по мере приближения сосущее беспокойство делалось все острее и мучительней и концентрировалось только на том, что скажут из этого окна и примут ли передачу.

Когда впереди осталось только три человека, волнение Аси достигло предела — она чувствовала, что вся дрожит и что руки ее холодеют, а в ногах появилась странная слабость...

«Сейчас могут объявить мне приговор... Страшно! Боже мой, как страшно! Что если... если двадцать пять лет лагеря без права переписки — ведь это почти как смерть! Олега замучают, а мы со Славчиком будем совсем одни в целом мире. Страшно, а я так мало молилась эти дни...»

Она взглянула еще раз на очередь и малодушно шепнула даме, стоявшей позади нее:

— Подходите сначала вы, — а сама закрыла ладонями лицо: «Господи! Иисус Христос! Милосердный, светлый, милый! Пощади меня и Олега! Ну, пусть ссылка или хоть пять лет лагеря — сделай так! Тогда еще можно надеяться на встречу, я буду его ждать. Иисус Христос, если непременно нужно одному из нашей семьи погибнуть — возьми меня, лучше меня! Я — бестолковая, не сумею ни заработать, ни воспитать сына, ничего не сумею! Мальчику отец нужнее. Мой Олег любит земную жизнь, он хочет борьбы, деятельности... Господи, я мало молюсь, но зато у меня сейчас вся душа в молитве! Пощади Олега! Только бы не... пощади нас!»

Испуганно как заяц, взглянула она на окошечко, через которое разговаривала пропущенная ею дама, и растерянно оглянулась назад.

— Подходите, — шепнула она пожилому мужчине, стоявшему за ней.

Но тот пристально и печально взглянул на нее, указал ей головой на окошко и слегка подтолкнул вперед под локти. Дыхание у Аси захватило.



— Дашков Олег Андреевич, — дрожащим голосом, запинаясь, выговорила она и, поставив свою корзину на доску перед окном, припала к ней головой.

«Ты будешь милосердным, будешь!» — твердила она про себя.

— Нет такого, — отчеканил через минуту трескучий голос.

Она дрогнула и выпрямилась:

— Как нет?! Он был здесь, был, я знаю!

— Нет такого, говорю вам, гражданка! В списках тех, на кого принимаем передачу, не числится. Следующий подходи.

Ася уцепилась за окошко:

— Скажите, пожалуйста, скажите, что же это может быть — отчего его нет? К кому мне идти?

— Гражданка, не задерживайте! Я вам уже ответил, а бюрократию разводить с вами у меня времени нет. Может, переведен, а может, в лазарете или приговорен. Не числится. Следующий!

Но Ася не отходила, цепляясь рукой за окно. Мужчина, стоявший за ней, твердо и решительно сказал:

— Эта гражданка выстояла в очереди пять часов. Мы все, здесь стоящие, готовы подождать, пока вы справитесь по спискам. У вас должны быть перечислены и заключенные, и приговоренные. Вы обязаны справиться и ответить — вы работник советского учреждения.

Окошечко вдруг закрылось. Все стояли в полном молчании; странно было — в этом оцепенении чувствовалось предвестие чего-то грозного. Мужчина поддерживал Асю под локти. Одна из дам — последняя в хвосте — вдруг подошла и, беря Асю за руку, сказала:

— Мужайтесь, дитя мое.

Опять открылось окошечко.

— Дашков Олег Андреевич приговорен к высшей мере социальной защиты; приговор приведен в исполнение. Следующий.

Секунда гробовой тишины.

— Приговорен? Приговорен! Высшая мера... Это что же такое — высшая мера?! — голос Аси оборвался.

Мужчина слегка отодвинул ее от окна:

— Поймите сами, что может называться «высшей мерой наказания», — тихо, внушительно и серьезно сказал он.

Глаза Аси открывались все шире и шире, немой ужас отразился в ее лице.

— Высшая, самая высшая... так это... это... — повторяла она побледневшими губами, — гильотина?! — и закрыла руками лицо.

— Следующий! — повторил голос из окна, и мужчина оставил Асю, чтобы в свою очередь навести справку.

— Теперь не гильотинируют и не вешают, — поправил какой-то юнец из очереди. — Высшая мера в нашем Союзе означает расстрел. — Он, по-видимому, полагал, что такие слова могут служить утешением.

— Да молчите уж лучше! — замахала на него дама, обнимавшая Асю.

Ася вдруг затрепетала и, как будто желая освободиться от чужих рук и сделав несколько неверных

шагов в сторону, прислонилась к стене.

— Несчастливая девочка! — тихо сказал кто-то в очереди.

— О ком она справлялась — о муже, об отце или о брате? — спросила одна из дам, вытирая глаза.

— О муже, кажется. Да она не в положении ли, посмотрите-ка, — сказала другая.

— Вам не дурно ли, молодая женщина? Не вызвать ли медицинскую сестру? — спросил один из мужчин, приближаясь к Асе.

— Нет, нет... спасибо, не надо... оставьте! — забормотала Ася и бросилась к выходу, как будто спасаясь от погони.

Сначала она стояла около каких-то ящиков, потом ее толкнули те, которые их грузили, — сказали, чтоб не мешала; потом — около серой глухой стены; потом попала, сама не зная как, к мосту канала и стояла, опираясь на чугунные перила.

Ушел совсем из ее жизни! Ушли все, кому она была дорога! Она и ее Славчик всеми покинуты, случайно забыты на этой земле, всем чужие! Ушел из жизни, а дома ждет маленькое, совсем маленькое существо, а внутри ее шевелится крошечными конечностями другое, которое он никогда, никогда не увидит! Да разве можно лишать жизни молодых — тех, у кого есть дети?! Ушел совсем, а ее любовь еще только-только в расцвете! У него были красивые густые волосы — она любила их трепать и ерошить... никогда уже больше не тронут ее пальцы этих волос! И голова никогда больше не прижмется к его плечу!

Какой отрадой было, прижимаясь к нему, сознавать, что между ней и действительностью стоит этот сильный и умный, бесконечно преданный ей человек! Он, правда, часто говорил: «Не надежен твой муж», но она, рядом с ним, ничего не страшилась: в ссылку, в лагерь — всюду пошла бы за ним, уверенная в его защите и поддержке. Какие угодно испытания, лишь бы быть под его крылом! И вот теперь она одна лицом к лицу со всеми невзгодами! Бедный, милый, любимый, у него было так много горя, он так недолго был счастлив! Ему еще так хотелось деятельности — кипучей, полезной, захватывающей! Хотелось славной смерти за Родину на поле битвы, а смерть от рук палачей все-таки подошла, все-таки настигла! И поглотила, как бездна!

Ему было свойственно постоянное желание зацеловать и затрепать ее, завладеть ею, а ее страсть оставалась еще не пробужденной; желание его вызывало в ней только сострадание: в самом деле, как не жалеть человека, который, обладая таким умом и волей, так часто попадает во власть инстинкта! Она отдавалась только жертвенно и не сумела этого скрыть! Это могло быть больно ему! Он вправе был ожидать страстных объятий — он был хорош собой, изящен, высок, строен... Но ее тело обладало устойчивым целомудрием, легким холодком Снегурочки, и та влюбленность, с которой она выходила замуж и отдалась, не растопила этого холодка, тонко сочетавшегося с теплотой ее души, теплотой интонации, теплотой взгляда... Надо было притворяться, чтобы доставить ему эту радость, она не догадалась, а теперь уже ничего нельзя ни изменить, ни поправить! Он говорил ей иногда: «Другой когда-нибудь разбудит твою страсть!» Глупый! Этого не будет — она никогда не полюбит другого! Он — отец ее младенцев, от него она получила таинственное посвящение, превратившее ее из ребенка в женщину и мать; его одного можно было так глубоко уважать и жалеть одновременно! Неправда, что в жалости есть оттенок презрения — она всегда так восхищалась и гордилась его благородством и храбростью, его умом и осанкой, и вместе с тем так жалела его за лагерь, за раны, за скорбь над Родиной, за то, что он побежден! Она часто клала голову к нему на грудь... Может быть, как раз это место пробила одна из пуль? Бедный, любимый, милый! Убит, упал, залит кровью, а ей даже не подойти, чтобы обнять и проститься, прочесть последнюю мысль в лице и обтереть кровь, благословить в неведомый путь! Она даже не будет знать, где его могила... А впрочем, она забыла: у него не будет могилы! Что он думал, что чувствовал, когда шел

умирать и знал, что она останется одна с двумя младенцами? Ее не было рядом, чтобы припасть к его груди и сказать: «Я любила тебя! Я знаю: я часто бывала слишком сдержанна, но это, видишь ли, только потому, что из тысячи шелковых ниток моего кокона распутались еще не все! Я любила тебя, так глубоко, так преданно любила!» Но путь с самого начала был безнадежным — вот он и кончился! Безнадежным станет теперь ее путь: с ним ушли из ее жизни вся романтика, все личное, дорогое, заветное, «Нет твоего сказочного принца, нет отца у твоего ребенка, нет на земле рыцаря без страха и упрека!»

Нежный звук, привычный ее уху, — жалобный плач ребенка, — вывел ее из забытья: около нее споткнулся и упал двухгодовалый малыш; она подняла мальчика, к которому уже спешила мать, и только тут вспомнила, что Славчик с утра один, и с ужасом увидела, что уже сумерки, а она в отдаленной части города. Она бросилась к трамвайной остановке и вскочила в первый же выгон, не отдавая себе отчета в том, что делает. Очевидно, в ее внешнем виде было что-то, что привлекло всеобщее внимание — ей тотчас освободили место и принудили ее сесть. От этого, однако, вышло хуже: обреченная на пассивность, она снова погрузилась в свои думы и встрепенулась, только когда слух ее задело название трамвайной остановки — трамвай завез ее совсем не в ту сторону. Она метнулась к выходу и увидев, как далеко попала, жалобно, по-детски заплакала, стоя посреди улицы. Прошло еще полчаса, прежде чем она, задыхаясь, вбежала в свой подъезд и тотчас услышала плач ребенка: на площадке третьего этажа в одной рубашечке, босиком, стоял маленький мальчик и громко плакал, захлебываясь и растирая кулачками глаза.

— Славчик, что с тобой? О чем ты, мой ребенок? Мальчик мой! Мама забыла, бросила! Ты озяб? Ты кушать хочешь? Отчего ты в одной рубашечке, отчего на лестнице? Ведь мама запретила тебе выходить! Пойдем, мама тебе молочко согреет, единственный мой, любимый мой! — шептала она, порывисто прижимая к себе ребенка.

Ее всегда красивую аккуратную комнату теперь трудно было узнать: беспорядочно составленная мебель, вынесенная из диванной, загромодила углы, разбросанные за день игрушки некому было подобрать, по полу везде расползались крошечные щенки Лады, оставляя за собой маленькие лужицы. Опечаленными казались даже немые вещи; старинный, красного дерева туалет с изящными предметами гараховского стекла выглядел всех грустнее, может быть, потому, что отражал теперь лишь испуганное, побледневшее лицо.

Согреть молоко и сварить кашу оказалось не так просто в том состоянии, в котором находилась Ася: поставив кастрюльку на плиту, она вернулась к себе и бросилась на диван, и тут ее поразило соображение: а вдруг попали ему в лицо? И, застонав от боли, она замотала головой и уткнулась лицом в диванную подушку. Славчик тянул ее за платье, потом опять начал плакать, — она не подымала головы.

Из полубеспамятства ее вывели крикливые голоса соседок:

— Идите, поглядите, чего в кухне наделали: горят у вас кастрюли-то, чаду полно! Безобразие одно от вас! Тоже уж — интеллигенция!

Ася бросилась к месту катастрофы и схватилась за тряпки, со страхом взглядывая на трех мегер, собравшихся там же. Новая — вселенная по ордеру в комнату Натальи Павловны — казалась ей самой опасной.

Мадам умела парировать удары и во время подобных столкновений даже решалась наступать, подбоченясь; Наталья Павловна своим молчаливым и властным достоинством прекращала всякие выходки; Олега побаивались и затрагивать его решались только мужчины и то в редких случаях; но Ася была совершенно беззащитной перед грубыми выходками этих баб. Покончив с уборкой и накормив ребенка, она усталым машинальным движением стала стелить мальчику кровать. Славчик вертелся около.

— Хочу г'ибы и четы'ех котяточек.

— Славчик, мама не может рассказывать сегодня сказки. Мама так устала! Засни сам, а мама посидит рядом. Не капризничай, милый. Не мучай свою маму. — Она привлекла его к себе на колени и прижалась осунувшейся щекой к розовой щечке ребенка. — Милый, родной — ложись! Ну, так и быть: про гриб-боровик расскажу, а потом — спать. Ну, что ты, Маркиз? Нет твоего хозяина, понял? Ну, и уйди, оставь меня. А ты что хочешь, Лада? Вы словно сговорились меня мучать, — и она слегка отстранила собак, которые совали к ней морды, как будто обеспокоенные ее состоянием.

Через приоткрытую дверь донеслись звуки радио; мужской голос пел: «Где же вы, дни любви?..» Судорога сжала ей горло, а голова опять упала на подушку рядом с головкой сына.

— Мама! Ну мама же! — и нота отчаяния прозвучала в голосе ребенка.

— Сейчас, милый, сейчас. Не плачь только! Давай подоткнем одеяльце. Ручки сюда — наверх. Ну, слушай: гриб-боровик, под кусточком сидючи, на все стороны гляючи... Боже мой, как тяжело!

Рассвет застал ее на маленьком диване: сжавшись комочком, она забылась на несколько минут, охваченная смертельной усталостью после пытки предыдущего дня и бессонной ночи. Возвращаясь снова во власть своего горя в синеватом прозрачном полусвете, установившемся в спальне, она вдруг отчетливо прочитала в своем сознании, точно внутренним умом услышала шепот: «Помяни за раннею обедней мила друга, светлая жена!» Он говорил это ей тогда, в Луге, а сейчас как раз начинается ранняя — надо бежать! И поспешно вскочила, цепляясь за мысль, что еще можно для него что-то сделать, быть ему полезной.

Надо сначала выйти в ванную и кухню, и это ее смущало: она слышала там шаги и голоса и боялась попасть в когти соседок.

— Пожаловала фефела наша! Вчера убирала, а лист в плите весь залитым водой оставила — не видали глазыньки, — сказала одна.

— Белье-то бы хоть снимала с веревок-то! Другим тоже нужно: не у тебя одной ребенок. Спаси пора бы поубавить. Подумаешь — княгиня выискалась! — сказала другая.

— Воображает, что больно хороша, а сама — тоща тощей! У нас на такую бы и не посмотрел никто, — сказала опять первая.

Ася снимала белье, тревожно озираясь на эти косые взгляды.

— Я, кажется, вам ничего не сделала! За что у вас такая злоба? — отважилась она выговорить и вышла, не дожидаясь ответа. Есть она не могла, хотя не ела уже сутки. Спешно одевая малыша, которого вынуждена была тащить с собой, она бормотала ему какие-то увещевания, ребенок не хотел подыматься и, засыпая, валился на бок; потом повлекла за ручку, боясь опоздать. Холодок раннего утра, пустота улиц, голубовато-розовое небо, а больше всего припомнившийся стих втягивали ее в струю задушевных представлений, связанных с «Куликовым полем», и ее охватила надежда, что в храме ей станет легче. Но этому не суждено было сбыться: ни лики святых, ни кафельный дым, ни любимое пение, ни таинственные возгласы не доходили в этот раз до ее души, может быть, потому, что Славчик не хотел стоять на месте — все время вертелся и дергал мать, не давая ей ни на минуту сосредоточиться, а усталость ее оказалась настолько велика, что она не простояла и часу: ей начало сжимать виски и застилать глаза и очнулась она уже на скамейке у церковного ящика. Незнакомые женщины, стоявшие около нее, объяснили ей, что она упала, и, подавая воду, советовали вернуться скорей домой.

— Я хотела отслужить заупокойную обедню или панихиду, — сказала Ася.

— Заупокойную обедню заказывают накануне, — наставительно сказала одна из женщин, — ну, а панихиду можно и сегодня, только сначала батюшка обедню кончит, а потом крестины у нас заказные... Не долго ли будет ждать с ребенком?

А другая спросила:

— Вы с певчими, что ли, панихиду заказывать будете?

Ася только тут спохватилась, что ушла из дому без копейки денег. Женщины жалели ее и приглашали прийти на другой день, обещая, что сами договорятся со священником и хором; она согласилась из деликатности, но все эти деловые переговоры, а еще больше изводящий рев Славчика спугнули ее порыв; чувствуя, что тоска переполняет ее через край, она заторопилась выйти, волоча за руку всхлипывающего ребенка. Уходя, она бросила безнадежный взгляд под купол — она любила кадильный дым, который легкими облачками подымается вверх, а льющиеся ему навстречу солнечные лучи золотят его... Но в этот раз в куполе было безрадостно — он давил... опять серое облако!

## Глава десятая

Елочка все последнее время была очень занята на работе — желая поддержать материально Асю, она набрала себе сверхштатных ночных дежурств и из-за этого не могла проводить у Аси много времени и выручать ее в бесконечных очередях в прокуратуре; помощь ее для окружающих была незаметной.

— Так и всегда со мной: красота эшафотов и жертв идет мимо! Я не героиня и не мученица — я только труженица! — С горечью говорила она себе.

В это утро, вернувшись после одного из ночных внеочередных дежурств, она не стала ложиться, а выпила для бодрости крепкого чаю и побежала узнать последние новости. Приговор ожидался со дня на день. От квартиры Бологовских у нее был теперь ключ, принадлежавший ранее Наталье Павловне. Еще в передней она увидела, что дверь Асиной комнаты стоит распахнутая настежь; однако на ее оклик вышли одни собаки; в глаза сразу бросился небывалый беспорядок; незастеленные кровати, невытая посуда, разбросанные на полу игрушки, незатертые лужицы... Елочка подивилась беспечности, с которой Ася оставила двери незапертыми, чего никогда не разрешали делать ни Наталья Павловна, ни Олег. Елочка прошла в кухню, но Аси не было и там; Хрычиха, занятая мытьем кастрюль, объяснения дала самые сбивчивые:

— Вечор весь день пробегала. К ночи только вернулась. Видать, больно усталая... две свои кастрюли спалила. Наши на ее разорались, а я уж молчу: жалость меня взяла на ее глядячи...

Новая жилища, входя, услышала последнюю фразу и злобно бросила:

— Непутевая уж больно ваша княгиня новоявленная! Вечор ушла, а князенка своего без присмотра бросила: орал тут на общей площади; я и то урезонивала. А гордости небось не занимать стать! Таких, как она, у нас в Союзе уже пятнадцать лет выводят, да все не перевелись — живучи больно!

Елочке не трудно было угадать, что кухня стала ареной травли. Не имея привычки терять время зря, она занялась приборкой Асиной комнаты. Вытирая верх шкафа, она стояла на табурете, когда услышала шаги и голосок Славчика, и обернулась на вошедших. Ноги у нее стали подкашиваться, и Елочка едва не упала с табурета, увидев Асю — бледную, с синими кругами вокруг глаз и, главное, в черной косыночке вместо обычного берета. Косыночка эта не оставляла сомнений...

— Что? Что? — воскликнула Елочка, соскакивая с табурета. — Узнала что-нибудь?

Ася не сразу ответила.

— Конечно, — сказала она, наконец, не изменяя положения.

— Что конечно? Следствие? Так значит — приговор?

— Да... приговор...

— Какой же?

— Сказали: высшая мера... сказали... — голос Аси пресекся.

Елочка опустила в кресло.

— Может быть, еще заменят... иногда заменяют лагерем...

— Как же заменят, если... если приговор уже приведен в исполнение, — сказала Ася с усилием.

— Как? Уже в исполнение? Уже? — И вновь, второй раз в жизни Елочка все умерло: умер ее Пожарский, умерла, так и не начавшись, грядущая битва — воодушевление, знамена, колокольный звон.

Умерло новое Куликово поле. Конец всему.

Она взглянула на Асю: та все так же стояла, только две слезы ползли теперь по прозрачным щекам...

«Никто не любил его так, как я, — подумала Елочка, — но ведь она была с ним счастлива, а теперь это счастье ушло навсегда! Мне ее жаль, глубоко жаль!»

И она поднялась с кресла:

— Сядь, Ася, ты совсем измучена. Когда ты узнала?

— Вчера. Теперь уже никогда... теперь — все! — И Ася проглотила слезы.

— Сядь, дорогая! Сними пальто и глотни воды. Славчик, да отойди же, не лезь! — И Елочка с жестом досады оторвала мальчика от платья Аси.

— Он все время сегодня капризничает и не слушается. Измучил меня гадкий мальчик! — сказала Ася и, подойдя к кровати, бросилась на нее лицом вниз.

— Славчик, поди сюда, — строго сказала Елочка. — Отчего ты такой нехороший? Ты видишь, маме не до тебя.

И одновременно в ее сознании проносилось: «Я, кажется, не то говорю, что надо. Не умею я обходиться с детьми!» Она подняла ребенка и посадила на стул.

— Ну чего ты опять плачешь? Некогда тут с тобой возиться! Скажи, что ты хочешь?

— С папой кубики, — ответил ребенок.

Ася приподнялась на локте:

— Вот! Слышишь, слышишь! Олег любил играть с ним... теперь этого уже не будет... ничего не будет! Они все меня теперь мучают: и Славчик, и собаки... Этот сеттер... я глаз его видеть не могу... А Славчика я разлюбила, совсем, совсем разлюбила! — И снова опустила лицом вниз, но через минуту, приподняв голову, сказала: — Ах, да! Он голоден! Я ведь его сегодня не покормила.

Елочка растерянно обернулась на ребенка: трикотажный, шерстяной с расчесом костюмчик плотно охватывал детскую фигурку; на розовой щечке остановилась слеза, губки обиженно надулись, а карие глаза смотрели серьезно, грустно и укориженно из-под загнутых ресниц.

Какой же в самом деле прелестный ребенок и до чего похож на Олега! Как она не замечала до сих пор! Маленький князь Дашков — все, что осталось от любимого ею человека... И в сердце Елочки что-то точно повернулось под натиском внезапной тоскливой и болезненной нежности к этому маленькому существу.

— Ну, поди сюда, Славчик, сядь ко мне на колени. Сейчас тетя Елочка тебя накормит. Да ты его совсем загоняла, Ася, оттого он и плачет.

Ребенок потерся головкой о ее плечо; никогда раньше он не делал этого... Или он что-то понял? Да ведь не мог же он понять, что в этом гордом сердце вновь, «смертию смерть поправ», зарождалась новая надежда, новая любовь, и что это сильное сердце впервые выпустило нежные и тонкие побеги материнства!

Раздался звонок, и обе собаки залились лаем, который почему-то больно ударял по нервам. Елочка выбежала открыть, проникаясь уже заранее чувствами цербера, и увидела перед собою Мику Огарева, которого встречала уже раза два у Бологовских. С юношей было что-то неладно: он стоял, прикусив губы, и был очень бледен, а веки его покраснели.

— Могу я видеть Ксению Всеволодовну? — спросил он, тормоза фуражку.

Елочка тотчас поняла, что ему уже известно что-то.

— Не знаю, захочет ли она выйти к вам... Она сейчас в очень тяжелом состоянии... — начала со своей несколько надменной манерой и с чувством собственности на Асю.

— Ей уже объявили? Что объявили ей? — поспешно спросил Мика.

— Приговор к расстрелу, и приговор этот уже приведен в исполнение.

Мика вдруг круто повернулся и побежал вниз по лестнице. Узнав, что звонил Мика, Ася всполошилась:

— Как могла я забыть! Леля... Нина Александровна... Что если и их? Леля! Леля! О, это слишком, слишком!

Елочка молча стояла над ней.

— Ася, объясни мне вот что, — сказала она, наконец, — я до сих пор понять не могу, какое отношение имеет Леля к этому процессу? Вы как будто ожидали ее ареста... почему? Разве она не посторонняя Олегу?

Ася все еще сжимала руками голову.

— Как? Ты разве не знаешь? На Лелю был страшный нажим в гепеу. Ее систематически вызывали туда, в большой дом, и требовали показаний по поводу личности Олега, а она его покрывала, утверждала, что пролетарий! Ну, вот и ответила за это. Как я могла не вспомнить о ней и вчера и сегодня! Вся моя жизнь прошла с ней: знаешь, маленькими мы всегда играли вместе, ведь между нами только полгода разницы. Только я была резвая — всегда смеялась, пела, а Леля почему-то очень серьезная; я помню, что ее мама и папа беспокоились, почему она такая; наверно, уже тогда она предчувствовала свою судьбу! — и Ася снова опустила на кровать лицом вниз.

Елочка угрюмо задумалась. Эта хорошенькая капризная девушка, постоянно занимавшая ее мысли, даже отсутствуя, как будто смеялась над ней и дразнила ее; она как будто говорила, высовывая язык, как маленькая школьница: обошла, перехитрила! Ведь жертвенность должна была достаться Елочке, коль уж на ее долю не выпало ни красоты, ни женского счастья, ни всеобщего обожания, ни талантов. И вдруг последнее, что у нее оставалось, — мученический венец, — и тот уходит от нее, поделен между Асей и Лелей, которым и так досталось все, все все!

Она сидела, опустив голову, убитая этими мыслями. Детский голосок пролепетал:

— Мама, булки дай, — это его ребенок говорит и дергает мать, которая безучастна ко всему!

Елочка спохватилась, что так и не накормила Славчика.

— Лежи лежи, Ася. Я сварю ему кашку. Сейчас, Славчик, тетя Елочка даст тебе кушать. А тебе, Ася, я приготовлю чай: тебе надо поддержать силы. — А про себя опять подумала. «Не мученица и не героиня, а только трудовая пчела».

Ася, однако, есть не стала, несмотря на все уговоры: она уверяла, что в горле у неё комок, который мешает глотать.

К двум часам Елочке пришлось уйти на работу.

— Что с вами сегодня, Елизавета Георгиевна? — спросил ее хирург, когда на операции она подала вместо трубочки Левре петлесжиматель Грефе. Выйдя уже вечером из здания больницы и чувствуя страшную усталость, она побежала тем не менее опять к Асе, одолеваемая беспокойством за происходящее там. По дороге получила хлеб и булку.

Асю она нашла спящей; Славчик лежал рядом с ней на кровати Олега; ребенок сбился на самый край;



по тому, как он лежал — не раздетый и готовый упасть, — Елочке стало ясно, что душевное равновесие еще не вернулось к Асе. Она не стала ее будить, надеясь, что сон хоть немного восстановит ее силы, и, загородив Славчика стулом и прикрыв заботливо пледом, выпила в полном одиночестве чай. Ася не оставила ей ни подушек, ни одеяла, накрывшись пальто, Елочка пристроилась кое-как на диване, но нервы были слишком напряжены и сон не приходил. Что-то стучало ей в уши, она точно слушала заунывно-похоронный звон, а мысли все время возвращались к минуте казни. Пробило двенадцать, потом час... около двух, едва лишь она забылась, заглушенное рыдание ее разбудило. Она поспешно встала и при свете маленькой заслоненной лампы подошла к Асе, без слов, молча, она обняла ее и прижала к груди ее голову.

— Ты здесь? — тихо спросила Ася.

— Да, дорогая! Здесь, с тобой...

— Елочка, я сейчас подумала, какая я была дурная жена! Знаешь, я никогда не заботилась о его белье; раз он сказал: «Я готов сколько угодно ходить в штопаных носках, но носить дырявые не желаю». Мадам это слышала и стала ему штопать сама, а я просиживала за роялем и умилялась на Славчика! А раз... знаешь, раз он сказал: «Отчего ты никогда не приготовишь к столу ре... редьку?» Он ведь так редко высказывал желания, а это желание такое маленькое и скромное, а я не исполнила, я забыла!

— Ася, не мучай себя упреками, ты отдала ему жизнь, ты не побоялась ничего — даже фальшивой фамилии! Ты родила ему чудного мальчика! Он был тебе безмерно благодарен за все, он обожал тебя! Вашему счастью мешали только угрозы гепеу, но не в твоей власти было устранить их. Не упрекай себя!

На это Ася сказала:

— Ты только несколько дней видела человека, которого любила, и все-таки всю жизнь не могла забыть его, а я! Мне без моего Олега пусто, так пусто... мне так холодно, страшно и неприятно и мне так жаль его... У него было так много горя, а счастлив он был так недолго... Если б ты могла понять эту острую мучительную жалость — она как нож, воткнутой в тело... Если б ты могла...

— Если б только я могла объяснить тебе, — тихо с горечью перебила Елочка, — как может иногда быть дорог человек, который не дал ни одной минуты счастья, а только мучил, сам того не зная; и что такое любовь, которая ни на что не надеется, ничего не ищет для себя, которая видит, как человек уходит к другой, и все-таки желает ему счастья... если бы ты могла понять такую любовь, ты, может быть, прозрела бы и осознала тяжесть моей потери!

— Что?! — воскликнула Ася, и слезы ее разом высохли. — Что ты сказала? Ты сказала о нем и о себе! Так он, значит, тот раненый, которого считали убитым и которого ты... Зачем ты молчала? Зачем?! Ведь я тебя спрашивала! Я бы ни за что не встала между вами!

Елочка отняла руки, которыми закрыла было лицо.

— Подожди, выслушай сначала! — и в голосе ее неожиданно прозвучала спокойная властность. — Пойми: я хотела видеть его счастливым! К тому же я слишком горда, чтобы насильно тянуть его к себе, рассчитывая на благодарность. А если бы я сделала тебя поверенной своего чувства, это бы навсегда встало между нами. Это возможно только теперь, когда его нет. Пойми, и не надо тревожить все это словами.

И она отчетливо ощутила всю красоту одинокой вершины и все величие отрешения. Ей было дано на минуту вознестись выше себя.

Только через несколько минут Ася отозвалась шепотом:

— Помнишь наш первый задушевный разговор у камина в гостиной? Я сказала тебе тогда: «Какая вы

большая, глубокая, умная! А я — какая жалкая, ветренная, пустая!» Это же я говорю себе и сейчас. Твои слова дали мне понять очень многое!

И обе подумали: «Слышит ли нас он? Видит ли нас в эту минуту?» Но синий сумрак не открывал потустороннего.

На рассвете Асю вывело из забытья прикосновение руки, и когда она подняла голову, то увидела перед собой Елочку с чашкой какао и сухариками; Елочка была уже в пальто и шляпе.

— Не возражай ничего. При мне сейчас же съешь и выпей — я тороплюсь на работу. Славчика я одела и накормила, собак уже вывела. Ну, ешь же. — И она поставила чашку на столик у постели.

Ася бросилась ей на шею:

— Ты придешь ко мне сегодня же? Придешь? Ты не оставишь меня одну?

Уходя, Елочка подумала: «Вот когда, наконец, я становлюсь незаменимой и единственной! Дорогой ценой досталось мне это место, но теперь никто уже не займет его!»

## Глава одиннадцатая

У Мики в этот день было свидание с сестрой. За те «уступки», которых сумел добиться от Нины следователь, она получила это свидание не через решетку, а в углу общей комнаты у окна.

Голова у Нины была перевязана, обтянутые скулы исхудалого лица, черные круги под глазами и тюремный халат изменили ее до неузнаваемости. Она казалась старше лет на двадцать. У Мики захватило дыхание, когда он увидел эту тень прежней Нины.

— Ну, прощай, Мика, — сказала она. — Мне дали семь лет лагеря. Не думаю, чтобы я смогла это вынести. Жизнь мне сохранена только за то, что я подписала бумагу, в которой говорится, будто бы Олег сам признавался мне, что состоит в контрреволюционной организации. Конечно, его и без моих показаний все равно бы пристукнули, и все-таки мне невыносимо тяжело! Уже вторую ночь я вижу во сне Софью Николаевну — его мать. Устоять перед их угрозами и побоями почти невозможно... Леля Нелидова тоже что-то подписала...

— Нина, так это правда, что бьют? Тебя били?

— Вот смотри: два зуба выбиты! Я так вымотана, так обессилена. Допросы без перерыва по двое суток, руки в синяках. Следователь уверяет, будто бы меня, как артистку, используют для концертов и самодеятельности, а тяжелые работы меня минуют... Я этому плохо верю, да и радость небольшая петь этим Скуратовым! Я хотела тебе сказать: теперь моя опека над тобой волей-неволей кончается; ты сам будешь вершить свою судьбу — смотри: будь осторожен, не попадись в их когти!

— Думать лишь о том, как спасти свою шкуру, я не собираюсь, но... Короче, ты обо мне не беспокойся. Обещаю тебе: со мной ничего не случится.

— Ну, спасибо. И еще одна просьба: не говори Асе, что я подписала эту бумагу, а Егору Власовичу, Аннушке и Марине расскажи все начистоту. Вещи продавай, если будет трудно; распорядись всем, как хочешь. А за меня молись как за грешницу, если не разучился еще молиться! Перекрестить хочешь? Ну, перекрести. Дай поцелую эти лягушачьи глаза, такие мне родные. Я не плачу — ты видишь, у меня слез уже нет. Молчи. К нам подходят.

Выйдя из стен тюрьмы, он расстегнул ворот куртки, чтобы нащупать крест под рубашкой и сжать его.

— Господи, яви Свою мощь и силу! И это здесь, в России, в бывшем Петербурге, происходят такие вещи! Истязают женщину, чтобы вынудить у нее заведомо ложные показания! Нет, не всегда можно и следует прощать — таких мерзавцев, как этот следователь, прощать нельзя!

Ветер с моря дул в лицо вместе с мокрым снегом и свистел всю дорогу, пока он мчался на квартиру Аси.

«Расстрел... Господи, будь милостив да минует нас чаша сия!»

Открыла Елочка и сурово поведала о расстреле Олега. Мика ринулся вниз и остановился в подъезде, словно сведенный судорогой.

— Жди милосердия! Как же! Мы раньше переоколеем все, чем дождемся ответа хоть на одну молитву! Жестоко, — произнёс он вслух.

Участь Нины казалась ему трагичней участи Олега. Нину ждало все самое худшее: укоры совести, разбитое тело, непосильно тяжелые условия существования. Разве не легче просто умереть?! Нина так исхудала, что вся стала какая-то маленькая... Зашибленная, с перевязанной головой, она чем-то напоминала ему перевязанного Барбоску, у которого болят зубы: открытка, которая в детстве часто

встречалась ему в старорежимных альбомах и вызывала в нем настолько сильную жалость к собачке, что он избегал смотреть на эту открытку.

«Я тоже виноват и буду мучиться своей виной не меньше, чем она своей, теперь, когда уже ничем не могу помочь! Ей нелегкая досталась задача тащить и воспитывать меня с четырех лет, а я всегда только мучил ее непослушанием, издевками и всякими фокусами и штучками. Она так рано овдовела, а когда полюбила, я и тут затравил ее... Как мы все порочны и как глубоко несчастны, а я к тому же все еще не христианин — я не могу произнести: Господи, да будет воля Твоя! Я кощунствую! Да, это было кощунство — то, что я позволил себе в подъезде! Михаил Александрович, вы набор всевозможных пакостей! Можете о себе не обольщаться!» — так размышлял Мика и не заметил, как попал в объятия милиционера.

— Гражданин юноша, прекрасненько — переходите улицу в недозволенном месте. Платите штраф!

— Отстаньте ради Бога! Денег у меня при себе нет. Хотите тащить в отделение — пожалуй, тащите. Мне все равно.

— Вы как мне отвечаете, гражданин? Как это так вам все равно?

— А так, что мою сестру в тюрьме пытали, а теперь отправляют в лагерь ни в чем не виноватую и больную. Ясно вам?

Милиционер махнул рукой:

— Проходите, гражданин, и в другой раз будьте внимательней.

Мика проводил его несколько ошалелым взглядом. Вот так штука! Дошло! Видать, хороший малый.

Его заранее раздражала та реакция, которая — он это знал — последует в кухне в ответ на катастрофические известия. Они промолчать не сумеют! Сейчас же пристанут с расспросами и начнут ахать и охать, еще завоят чего доброго! Такт-то ведь за редким исключением достояние того как раз воспитания, против которого он всегда бунтовал, находя в нем то фальшь, то условности, то принуждение. Бунтовал, а когда, бывало, в ком-либо из окружающих не хватало этого самого такта, сейчас же первый злился.

Реакция и в самом деле оказалась именно та, которую он ожидал:

— Нинушка, дитячко ты мое! Краса ненаглядная! Изведут тебя окаянные лиходеи! Мало, что мужей твоих, сперва одного, а после и другого, ухлопали, теперича и саму порешат! Вовсе у их ни стыда ни совести! — голосила Аннушка, подперев щеку. Приятельница — прачка — скорбно кивала головой, одновременно и сочувствуя и одобряя способ причитания.

Дворник молчал, но по его морщинистому лицу медленно катились слезы, а сжимавшая костыль рука дрожала.

— Молчи, Анна! — выговорил он, наконец, глухо. — Касатку нашу теперь не вернуть, а у меня от причитанья твоего сердце заходит. Малость повремени. Поди-кошь покличь Мику — договориться бы с ним, в какой день справить службы Божии.

— Как же, как же! Олега-то Андреевича и отпеть и помянуть надобно! — и Аннушка засеменила к двери: — Мика! Выдь, родной! Муженек мой тебя спрашивает.

— Слушаю вас, Егор Власович! — рапортовал Мика, появляясь на пороге кухни.

— Поди сюда. Чего хоронишься-то? — медленно заговорил дворник и притянул молодого человека за рукав. — Мы в твоём горе тебе не чужие, сам знаешь. Оно бы отпеть следовало, да заочно земле предать Олега Андреевича, и молебен бы за здоровье болящей и скорбящей рабы Божией Нины отслужить не мешкая. Договорись с Ксенией, да Марину Сергеевну извести.

— Сделаю, я сам о том же думал, — кивнул Мика.

Аннушка перебила:

— Микушка, а что же девонька тая — подружка Асенкина, — которую по нашему же делу взяли, что она? Неужто и ее к высшей? Ведь ей, почитай, не больше двадцати годочков?

— О Елене Львовне мне ничего не известно. Они осведомляют только по поводу самых близких. Вот Вячеслав вернется — спросим, — ответил Мика.

Когда Вячеслав вошел, то пересек кухню, не говоря ни слова; и так же молча взялся за скобку своей двери. Мика и дворник проводили его взглядами и вопросы замерли у них на губах, но Аннушка не утерпела:

— Ну, чего узнал? Говори! Господи, проходит и молчок!

Вячеслав помедлил, как будто с силами собирался, а потом, швыряя фуражку на кофорок Надежды Спиридоновны, ответил:

— Загубили девчонку!

Аннушка ахнула, дворник выпучил глаза, а Мика спросил:

— А просьба о помиловании?

— Подано, да ведь меньше десяти лет не дадут, коли присуждена к высшей, — и скрылся за дверью своей комнаты.

Все помолчали.

— Совсем, видать, извелся. Лица на ем нет. Почитай, невеста она ему, — сказала соотрадательная Аннушка, но Мика не пожелал касаться таких деликатных тем; к тому же отношения Вячеслава и Лели были для него такой же загадкой, как и для остальных. После нескольких минут колебания он постучал в неприветливую дверь.

— Можно к тебе? Я хотел узнать, когда ответ из Москвы ожидается?

— Следователь сказал: дней через десять, — ответил Вячеслав.

— А свидания тебе не удалось добиться?

— Свидание дадут, если выйдет помилование, а пока остается только ждать. Притом я не знаю, с кем захочет она иметь свидание: дают только один раз с одним лицом — может быть, предпочтет Ксению Всеволодовну.

Но Мика и тут не задал вопроса. По-видимому, Вячеслав оценил эту деликатность — он взял руку Мики и крепко пожал.

— Ты, Мика, знаешь: я Нину Александровну и уважаю и люблю. Душевный она человек! И с Олегом Андреевичем мы, почитай что, друзьями были. Мне их судьба сердце переворачивает.

Мика невольно отметил, что из них двоих Вячеслав первый сумел выразить участие, и промолчал, боясь, чтобы голос не выдал его душевного волнения, которое он считал недостойным мужчины.

— А как твои дела по партийной линии? — только через несколько минут спросил он, задушив слезы и овладев собой.

— Скверно — вычистили! Я, по правде говоря, не ожидал. Все припомнили, одно к одному свели: и неудачную речь в защиту профессора, и заступничество за швейцара, и хлопоты за Нелидову, и поездку в Лугу с детьми. Предместком — такая сволочь; я не выдержал и свой партбилет ему прямо в морду

швырнул! Ну да я восстановлюсь. Я было на стройку в Комсомольск уже подрядился, да придется, видно, прежде в Москву ехать: добьюсь там пересмотра. В Москве рассудят по справедливости: за меня вся моя жизнь!

Но в интонации его были ноты подавленности.

— Ты надеешься еще найти справедливость? Смотри, как бы и тебе не приклеили пятьдесят восьмую с каким-нибудь из ее бесчисленных параграфов.

— Меня этим не запугаешь, а всем молчать тоже нельзя. Товарищи Менжинский и Ягода не на высоте и набрали себе в штаты недостойных лиц, а в первичных организациях у нас завелись шкурничество и бюрократизм. Это все толково изложить надо и вскрыть нарыв на теле нашей партии! Сейчас мне ничего на ум не идет, а вот как выйдет решение с Еленой Львовной, тотчас примусь за дела. — Вячеслав говорил как будто с трудом, через силу выговаривая.

Подошла Аннушка.

— Идите оба к столу, чаю выпейте. Шутка ли: с вечера не евши ни тот ни другой. Нинушка, моя голубушка, уезжая в Лугу, наказывала: пригляди за моим Микой ненаглядным. Должен ты теперь меня слушать: я тебе вместо бабки.

Дворник уже держал блюдечко на пяти пальцах и поднес было к губам, да поставил обратно:

— Как живая она у меня перед глазами, — глухой голос старика дрогнул. — Да не такая, вишь, какой в последние годы была, а подросточком с косами. Помнишь, Аннушка, болел я в Черемухах легкими, и она сама кажинное утро «кофий по-венски» с барского стола мне приносила; войдет с подносом и встанет, а глазки так и светятся. Помнишь ты, как стали ее верховой езде учить — я за повод лошадь веду, а она мне: «Не отходи, Егор!» — да прямо в волосы мне, бывало, вцепится рученькой своей. Покойный барин изволили раз подарить ей ослика и кабриолетик; избиделся я: нешто это порядок, говорю, нельзя никак в конюшенную пустить этакую тварь! Лошадь — животное благородное и такого соседства не потерпит... Но Аннушка перебила повествование мужа:

— Я в те дни мою Нинушку жаворонком звала: голосок у нее уже тогда звонкий был, да пела-то недолго — как убили Дмитрия Андреевича, так и примолкла, сердечная. Я ей: что же ты песни свои забыла, Нинушка? А она мне: пела-пела пташечка и затихла, знало сердце радости и забыло! А потом, как прикончили старого барина...

Мика вскочил:

— Я пойду, Анна Тимофеевна! Я слушать все это... Мне... Поброжу немного по улице... так лучше будет.

На лестнице он столкнулся с Мариной, которая взбегала через ступеньку.

— Что? — спросила она, останавливаясь и тяжело дыша.

Он минуту помедлил, язык ему не повиновался.

— Поднимитесь к нам... Аннушка вам все скажет...

Она испуганно схватила его за руку. Не глядя ей в глаза, он вырвал руку и сбежал вниз.

Была только одна душа, с которой ему хотелось сегодня говорить; взаимопонимание между ними уже было достигнуто, и задушевность становилась потребностью. Едва он выбрался на улицу, ноги сами вынесли его на Конную.

— Что с тобой? — спросила Мэри, едва лишь открыла ему дверь.

Сесть в ее маленькой комнате можно было только на кровать; пахло лампадным маслом, ладаном и немного сосновой веткой, которая была заткнута за икону Скоропослушницы. Она была в черном — старом школьном платье, уже заплатанном, волосы гладко зачесаны в косу; она была не из тех, что прихорашиваются: губы ее еще не знали помады, она не душилась, не пудрилась. На столике у кровати рядом с Творениями Ефрема Сирина лежал томик ее любимого Достоевского. Тут же просфора, вынутая за упокой брата. И казалось, возвышенная и серьезная атмосфера храма занесена сюда и отсвечивает даже в ее лице и взгляде. «Херувимские» кладут свою печать на лица!

Он стал рассказывать, заранее зная, что ее реакция будет такая именно, какая нужна ему, — иная, чем у всех тех, с кем он сталкивался сегодня утром.

— Я сейчас с тоски не знаю, куда деваться! Дома Аннушка причитает и плачет, хоть уши затыкай. Как преступницу — на семь лет каторги! В том виде, в каком она сейчас, ей этого не перенести, а ведь она заменяла мне мать — я это слишком поздно понял! — он вдруг приник лбом к рукам девушки... — Мэри, я грешник, я сейчас кощунствовал омерзительно, безобразно! Когда я узнал, что ее пытали, меня разобрало отчаяние! Если бы ты только слышала, что я говорил в подъезде! Мне кажется сейчас, что борьба политическая принесла бы, может быть, больше плодов и больше удовлетворения, чем наши молитвенные бдения и работа над собой! Я способен повернуть на все сто восемьдесят градусов!

— Сохрани тебя Бог, Мика! Политические партии — омут! В них все строится на многоглаголании и обмане, на убийствах и мести! Слова-то у них у всех хороши — у наших коммунистов даже лучше, чем у других, а что на деле — вот мы теперь видим! Царствие Божие внутри нас, не забывай! — Она положила руку на его голову и смотрела на него серьезно и озабоченно, как врач на больного. — Старайся быть благостным, Мика. Нам — христианам — дано великое счастье обновлять душу в Таинстве Причащения. Если ты раскаиваешься и признаешь свою вину, кощунство твое с тебя снимется. А за Нину Александровну мы теперь должны молиться, не отчаянием нашим мы ей поможем. Почему знать? Может быть, великое испытание это послано ей, чтобы разбудить в ней веру и тягу к духовному. Знаешь, я сейчас все время около умирающей: меня приставили к сестре Марии, даже с клироса ради этого сняли. Сестра Мария ждет кончины, как перехода в иное существование, и уже забрасывает взгляд по ту сторону. Она недавно видела во сне, как будто к ней в грудь вошло Солнце... А вчера — я слышу — она тихо напевает ирмос: «Бога человекам невозможно видети...» Она переживает что-то высокое.

— Нина уже давно потеряла веру! — печально сказал Мика. И после минуты молчания воскликнул: — Как допускает европейский христианский мир такие гонения на русскую интеллигенцию и русскую Церковь? Вот Россия всегда приходила на помощь и грекам, и болгарам, и сербам, и Кипру, а когда гибнем мы, никто пальцем не шевельнет! Эта гордая голодная Англия только радуется, когда та или иная великая держава терпит катастрофу. Но Россия опять восстанет назло им всем! Ее еще в пятнадцатом веке сравнивали с фениксом, который возрождается из своего же пепла.

— Да, Мика, и спасет Россию Церковь! Не эти несчастные белогвардейцы, которым не на кого опереться и которых скоро пересажуют всех до последнего, а именно Церковь! Я чувствую, что выросла в Церковь органически: атмосфера храма, иконы, свечи, пение, церковная среда — все это со мной уже сроднилось. Это не значит, что я не вижу недостатков в церковной среде, но когда болеешь душой, преданность становится еще сильнее! Только в церковной среде в нашу жизнь может войти подвижничество. Как безмерно я благодарна маме, которая приоткрыла передо мной этот мир. В школьные годы мне случалось досадовать на маму за нескончаемость требований и запретов, теперь только я поняла, чем я ей обязана. Она не побоялась привить нам то, что преследуется как одиозное, а сама всегда так мужественно принимает удар за ударом! Ты вот говоришь о политической борьбе. Древние христиане погребали одного за другим своих лучших последователей и пресвитеров, но за

оружие брались только как воины в армии. Христианин при любой власти обязан быть самым лучшим гражданином. Ты помнишь, что ответил святой Севастиан императору Максимиану, когда тот заподозрил в нем заговорщика? Когда я в пятнадцать лет читала о святом Севастиане, я думала: вот идеал мужчины! Это был блестящий римский офицер, один из начальников дворцовой кордегардии, а умер как мученик.

— Святого Севастиана ты не встретишь, Мэри, будь уверена. Святой — один на несколько миллионов! — с неожиданной досадой сказал Мика, почему-то задетый за живое ее словами.

— Конечно, не встречу, а если б встретила, он, наверно, нашел бы подругу более достойную, чем я. Конечно, не встречу, но я могу в другом увидеть те черты, которые мне так нравятся. Я помогла бы ему усовершенствовать себя и свой христианский путь, а он помог бы мне, чтобы вместе восходить к идеалу. В этом виде мне кажется прекрасным христианский брак.

«Да, — подумал Мика, — мы уже взрослые теперь. Ее ждет замужняя жизнь, и, может быть, скоро. Любовь такой девушки — большая опора. Это тебе не Ксения Дашкова или Леля Нелидова — две куклы с очаровательными личиками и восковыми руками, но пустоголовые. Обе только на грешные мысли наводят. А Мэри встанет рядом как равная, мыслящая и сильная! Кого полюбит она?»

— Знаешь, Мика, на днях меня вызывали в красный уголок и там какой-то корреспондент имел со мной серьезную беседу.

— По поводу чего же?

— А вот зачем я, молодая девушка, окончившая десятилетку, пою на клиросе и гублю себя в церковной среде. Перед вами, говорит, огромное поле деятельности. Мы дадим вам службу, а может быть, и путевку в вуз; порвите только с этими ханжами и мракобесами; напишите статейку в виде письма в «Комсомольскую правду», что вы порываете с Церковью: мол, окончательно разочаровались в религии и ее последователях, и начните новую жизнь. Я, говорит, помогу вам составить статью и замолвлю за вас словечко в предстоящей паспортизации. Я, разумеется, отказалась.

Мика крепко сжал ее руку...

Лампадка одна горела и дрожащим отблеском освещала кроткий лик Казанской Богоматери; сидя на табурете около больной, Мэри пристально всматривалась в ее лицо. «Бога человекам невозможно видеть...» Вот эта улыбка, которая появляется иногда на ее губах... Мэри старалась на всю жизнь запомнить улыбку человека, который уже видит потустороннее.

Старая инокиня открыла глаза, и Мэри встала, чтобы подать ей кружку киселя.

— Выпейте, это — клюквенный. Я сама готовила. Вы еще ничего не кушали сегодня.

— Спасибо, моя девочка. Будь добра, сбегай вечером на Творожковское подворье и попроси отца Христофора прийти ко мне завтра со Святыми Дарами. Я боюсь откладывать эту минуту.

— Слушаюсь, — ответила девушка, опять приподымаясь, и не прибавила общепринятых фраз — «вы поправитесь», «не надо думать о смерти».

— Бог еще милосерд ко мне, грешной, — продолжала монахиня, — есть целые области, в которых не осталось ни единого храма, люди живут и умирают без Причастия. Несчастные большевики — какую тяжелую ответственность взяли они на себя, что создали такое положение! Вот твоя мать прислала мне письмо, где пишет, как она стосковалась без церковных Таинств. Надо ей помочь: я попрошу отца Христофора переслать ей Дары. Она не раз у него исповедовалась. Нужен верный человек, который возьмется отвезти... можно было бы это поручить тебе, только прежде ты закрой мне глаза — я уже привыкла видеть около своей постели тебя.



— Я и сама не захочу вас оставить в ваши последние часы, — сказала Мэри. — Бедная мама! Никогда не слышать Божественной Литургии! Я бы, кажется, не вынесла, — прибавила она.

— Да, Маша. «Мерзость запустения на месте святом». Что бы сказал Федор Михайлович Достоевский! Народ-Богоносец оказался громилой с черной душой. Остается надеяться, что это явление временное. Теперь идет очищение и сроки его знает только бог! Ты мне напоминаешь свою мать: и лицом и целеустремленностью. Жаль, что не доведется мне увидеть твоего пострига.

Щеки Мэри порозовели.

— Вы знаете, сестра Мария, как я люблю монашество. Я мечтала о нем... Но я все-таки не могу вовсе не думать о земной любви, считать ее греховной. Я уже два раза признавалась на исповеди отцу Варлааму. Ведь любовь повышает способность к творчеству, любовь дает жизнь новым существам, любовь побуждает даже самого эгоистического человека жертвовать собой для любимой женщины, для детей... разве мало примеров? Я давно хотела вам рассказать... я не хочу, чтобы вы думали обо мне лучше, чем я есть... у меня... я... мне нравится один мальчик, тоже верующий — из братства. Мы с ним пока только друзья, но очень хорошо понимаем друг друга; если бы я его полюбила и прошла с ним за руку весь путь к вечной жизни и богопознанию через узкие врата, разве не прекрасен был бы такой союз и, может быть, мученичество вместе, как в древних Церквах?

Но инокиня с сомнением покачала головой.

— Берегись соблазна. Старайся не думать о браке. Ты пришла к Богу, не успев вкусить порока. Это большое счастье. Умей дорожить им.

— Сестра Мария... простите меня за дерзость, но... ведь вы же любили в молодости; мама говорила, что иночество вы приняли только после того, как муж ваш погиб на «Петропавловске». Почему же вы отговариваете меня, если сами...

Инокиня приподнялась, опираясь на локоть.

— Да, я любила, Машенька, и острую рану нанес мне этот человек! Я вышла замуж очень молодой. Мой муж, морской офицер, увез меня во Владивосток, где стоял тогда «Петропавловск». Ни один город в мире, я думаю, не жил так весело и не безумствовал так, как этот порт, где собирались моряки со всего света. Наши офицеры — золотая молодежь царского времени, столбовые дворяне, получившие блестящее воспитание, — задавали тон и сорили деньгами, купая в шампанском дам полусвета... Кутежи приняли такие размеры, что издан был специальный приказ посылать в дальневосточные порты только женатых юношей. Я ни о чем, конечно, не подозревала... И вот однажды, когда я вернулась из Петербурга, куда ездила к матери, я застала в комнатах... застала красотку... полуобнаженная... лежала на моем рояле. Я без оглядки убежала из дому и в тот же день умчалась обратно в Петербург. В тот именно день я потеряла любимого мужа. Спустя месяц началась война, и погиб от взрыва «Петропавловск». Я переживала только боль за поражение как русская патриотка, а гибель мужа оказалась для меня выходом из создавшегося невыносимого положения: как вдова я могла снова выйти замуж или уйти в монастырь, который и прежде привлекал мои мысли, а если бы муж вернулся, меня водворили бы обратно в его дом; я же не могла даже вообразить себе близости с этим человеком после того, что видела... Теперь все это уже так далеко! Я без боли уже поминаю на молитвах имя мужа — все сгорело во мне, я все простила... Но что делалось когда-то в этой грешной душе! Мне трудно много говорить... Прочти мне о праведных у источников вод.

Мэри послушно стала перелистывать Апокалипсис, но упрямая черточка залегла между ее бровей и около губ.

Это только прежде, когда были богатство и роскошь, могли происходить такие вещи. А Мика не такой, как эти блестящие офицеры. Нельзя даже вообразить себе Мику с «красотками». Он вырос после

«очистительных бурь» и удовольствия не занимают большого места в его жизни. «Он полюбит меня, потому что у нас близость душ, которая все нарастает. Путей отречения много, очень много... Я отдам Церкви все мои силы, но счастье с Микой я оставлю себе».

За стеной, в квартире у соседей, патефон громко наигрывал фокстроты.

## Глава двенадцатая

Дворник молился всех горячее, осеняя себя крестными знаменами и с усилием преклоняя колени.

— Помяни, Господи, раба Твоего Олега убиенного! Помилуй, защити, охрани рабу Твою скорбящую и болящую Нину! — шептали его губы.

Отпевание служили в одном из соборов; многие из желающих присутствовать не смогли бы добраться до Киновии, которая была расположена в отдаленном районе на правом берегу Невы и куда надо было добираться по перевозу. Были оповещены все родные и знакомые. Братство явилось полностью, и прихожане удивлялись присутствию такого большого числа молодежи, которая пела слаженно и красиво, как хорошо обученный хор, а не случайное собрание молящихся.

Ася при первых звуках службы отошла в сторону и встала в уголке у иконы Серафима Саровского; изредка взглядывая на икону исподлобья полными слез глазами, она думала: «Ты меня всегда слышал, но как раз самой большой моей молитвы не исполнил... почему? Почему?»

Елочка, тотчас с решительным видом двинувшаяся за Асей, стояла сзади, как будто готовясь ее поддержать: Ася, однако, благополучно выстояла всю службу и плакала только совсем неслышно. Елочка не плакала вовсе и простояла с сухими глазами во время пения «Со святыми упокой». Она несколько раз неприязненно косилась на рыдавших Аннушку и Марину и даже передернула плечами, когда Марине пришлось подать воды.

«Это что еще за демонстрация чувств? Кто эта дама в трауре, которая делает себя первой персоной в горе? Уж, кажется, эти потери прежде всего наши», — ревниво думала она. Чувство собственности на Олега и Асю не оставляло ее даже здесь.

По окончании службы непредвиденно разыгрался инцидент: старый диакон, словно злобный индюк, напустился внезапно на Мику, не сжалившись ни над его юностью, ни над расстроенным лицом.

— Вы подвести нас, что ли, пожелали этою панихидой? Просите возглашать за «убиенного», а сами собираете столько народу, молодежь, дамы все, как на подбор, свой хор приводите... Для чего вам все это понадобилось в такие тяжелые для Божьей Церкви дни? Да ведь нас потом обвинят, что мы панихиды в демонстрации превращаем или что у нас тут недозволённые собрания «бывших». Нам и без того обвинение за обвинением бросают.

Собравшиеся, обступив Мику, сначала молча выслушивали распетушившегося старика; потом пробежал шепот негодования... Но достойный ответ нашла только одна — самая юная, с черной косой, как у школьницы:

— Отец диакон! Служителю Церкви не подобает быть таким малодушным в тяжелые для Божьей Церкви дни. — И, перекрестившись, прибавила: — Да простит Господь и вам и мне.

Диакон хотел было что-то еще злобно сказать, но, лишь хватанув ртом воздуха, вдруг передумал, перекрестился и с растерянным видом отошел.

В притворе подошла к Асе Марина и после нескольких слов с выражением сочувствия поманила к себе Славчика.

— Подойди ко мне. Покажись, ну, покажись, какой же ты? — она поцеловала его в щечку, потормошила и снова разрыдалась, обнимая малыша.

— Ну-ну-ну, — заворчала, подходя, Аннушка, — впредь думай больше! Не тем местом думаешь, каким надо!

— Эта дама, наверно, ребенка потеряла? — спросила Елочка стоявшую около нее Краснокутскую, но та не могла ничего объяснить ей.

«Русская Андромаха! — думал молодой Краснокутский, не спуская глаз с Аси, державшей за ручку Славчика. — Через год я сделаю ей предложение. Полагаю, что в этот раз она оценит и примет!»

Мадам Краснокутская, по-видимому, думала то же самое и заботливо, уже заранее по-матерински, поправляла на Асе шарфик, говоря:

— Не простудитесь, моя прелесть.

Когда Ася и Елочка вернулись на квартиру Аси, первое, что им бросилось в глаза, была многострадальная офицерская шинель, которая, благодаря бесхозяйственности Аси, все еще висела в передней.

— Древние были по-своему правы, когда сжигали вещи умерших! — печально сказала Елочка. Ася ничего не сказала, только углы ее губ дрогнули. Из комнат навстречу им уже ползла невидимым клубком пустота; собаки, по-видимому, почувствовали ее настроение — не прыгали и не радовались, встречая хозяйку, а только тихо коснулись холодными носами рук Аси, слабо повизгивая. Обе подружки прошли в спальню, перешагивая через расплзавшихся по комнате щенят. Ася устало опустила в качалку.

— Кажется, в самом деле не следовало оставлять беременность. Я все-таки не учла размера бедствий! Это будет заморыш или уродец: уже седьмой месяц и все еще незаметно на посторонний взгляд. Со Славчиком было не так.

— Глупости, Ася! Ребенок будет самый нормальный, увидишь. Уродливые дети рождаются от алкоголя и венерических болезней; я работаю в больнице и знаю. Не внушай себе.

Но Ася не слушала ее.

— Впереди — точно бездна! Как я уеду в незнакомое место одна, в положении, с ребенком на руках? На кого я потом буду оставлять детей? Работать необходимо, а кем работать? Диплома я не получу... я не могу сдать выпускных экзаменов... со мной уже несколько дней творится что-то странное: я забыла все разученные вещи, а ведь программа была уже готова. Сегодня я в сотый раз сказала себе, что должна взять себя в руки, и села за рояль, но я ничего не могу сыграть, ничего! По-видимому, я потеряла музыкальную память — от страха или от тревог — не знаю. Может быть, это со временем пройдет, но сейчас, сколько бы я себя ни принуждала — я сыграть не могу. А ведь я уж и так пропустила все сроки. Кроме музыки я ни на что не способна... на что же я буду содержать семью?

Елочка искренно возмутилась:

— Ты работать не будешь. Это невозможно с детьми. Работать буду я. Здесь ли, в ссылке ли, ты без моей поддержки не останешься.

Слезы опять наполнили уже наболевшие глаза Аси.

— Что ты! Что ты! Я не допущу! Ты и без того огромную жертву... Все счастье мне отдала... Неужели же я еще буду собирать с тебя мед, высасывать все соки?

Елочка ее перебила:

— Не будем обсуждать сейчас. В настоящее время на работу тебя все равно не примут: и из-за анкеты, и из-за беременности... пусть сначала родится ребенок и выяснится, где вам придется жить... тогда вместе решим остальное...

Наступило печальное молчание.

— Что мне пришло в голову, — встрепелась вдруг Елочка, — в таких случаях всегда конфискация... каждую минуту могут явиться описать имущество. Надо спасти, что только возможно! Дай мне сегодня же что-нибудь из дорогих вещей — я отнесу к себе.

Ася обвела глазами комнату, потом встала и подошла к туалету.

— Вот, — и она протянула Елочке два бархатных футляра. — Здесь фамильная драгоценность Дашковых — фамильные серьги, а здесь — бабушкин жемчуг. Сохрани для Сонечки.

— Еще что?

— Ничего. Рояль... Рояль ты не унесешь! А предметы необходимого обихода не описывают. Мне больше ничего не дорого, — и она повернулась к окну.

— Ах, Ася! Ты неисправима в своей беспечности! Ведь на продажу вещей ты сможешь жить. Вспомни, сколько раз вас выручали фарфор и бронза Натальи Павловны! Вот она отдавала себе ясный отчет в положении ваших дел, а с тобой так трудно! Вот хотя бы твой соболь или эта картина — курица с цыплятами, — их тоже можно превратить в деньги.

Глаза Аси печально остановились на картине.

— Она стоит три тысячи, но что толку, если ее никто не покупает? Возьми ее себе; я ее тебе дарю; она мне дорога в память встречи с Олегом, и я не хочу, чтобы она попала в чужие руки, а с собой в ссылку я ведь ее не потащу. — И пошла к двери. — Я в кухню: надо согреть макароны Славчику и щеняток покормить — у Лады уже не хватает молока.

Оставшись одна, Елочка стала стягивать с ребенка свитер; в эту минуту раздался звонок; она побежала в переднюю и увидела своего сослуживца — невропатолога, которого без ведома Аси пригласила к ней ее освидетельствовать.

— Борис Петрович! — радостно воскликнула Елочка. — Как я благодарна вам, что вы пришли! У моей приятельницы после тяжелого потрясения наблюдаются тяжелые отклонения от нормы: она не ест — уверяет, что ей мешает комок в горле; почти не спит и жалуется на потерю памяти...

Врач приглаживал перед зеркалом волосы маленьким гребешком.

— Пока пациентки нет, не скажете ли вы мне: какого характера душевные переживания? — спросил он.

— Несколько дней тому назад расстрелян ее муж по обвинению в контрреволюции. Пока тянулся процесс, она успела уже известись, а теперь...

Врач нахмурился.

— Елизавета Георгиевна, я никак не мог ожидать, что, повинуясь вашему приглашению, попаду в скомпрометированный дом! Вы меня поставили в очень неудобное положение. Извините меня, — и он протянул руку к пальто.

Елочка стояла, как громом пораженная.

— Я привыкла думать, что врач и священник не отказывают ни при каких случаях, — отважилась возразить она.

— Все зависит от обстановки, — и, поклонившись, врач поспешно вышел.

Через несколько минут снова послышался звонок.

«Одумался! Совесть заговорила», — улыбнулась Елочка, торопливо распахивая двери... Перед ней стояла старая дама.

— Юлия Ивановна! — воскликнула Елочка, бросаясь навстречу старушке.

— Здравствуйте, дитя мое! Я хотела бы увидеть Асю. Я с большим трудом выхлопотала ей новую отсрочку выпускных экзаменов. Необходимо, чтобы она теперь же явилась в техникум расписаться в приказе и немедленно приступила к занятиям, иначе...

— Юлия Ивановна! К сожалению, это невозможно! Ася заниматься не в состоянии: мы только что вернулись с панихиды по ее мужу, Олег Андреевич расстрелян.

Старая учительница опустила на стул.

— Мне передали, что он арестован, но я не знала, что все обстоит так трагично. Бедная крошка! — сказала она с нежностью и после нескольких минут молчания прибавила: — В этой девочке гибнет редкий талант! Мазурки Шопена и миниатюры Шуберта и Шумана она играла лучше законченных пианистов.

Она скорбно задумалась, Елочка в почтительном молчании стояла перед ней.

— Странная и хрупкая вещь — талант! — заговорила опять Юлия Ивановна, видимо, погруженная в свои мысли. — Всякий раз, когда мне в руки попадает высокоодаренный ученик, я уже заранее дрожу над ним и непременно случится что-нибудь, что помешает мне вырастить из него большого музыканта. Способные и малоталантливые блестяще заканчивают консерваторию, а неповторимые... На старости лет это становится моей трагедией. Ася была последней моей надеждой!

## Глава тринадцатая

Танька Рыжая с копной завитых, во все стороны торчащих волос, с ярко размалеванными губами и ногтями, разгуливая по камере смертников, уверяла окружающих:

— Мне помилование выйдет в обязательном порядке. Даже не тревожусь! Права не имеют пристукнуть: мне еще восемнадцати нет! — И, показывая кукиш, прибавляла: — Накось, выкуси!

Она убила кастетом банковскую кассиршу. Со страхом взглядывая на эту девицу, Леля напрасно старалась уловить что-нибудь похожее на угрызение совести — одна наглая беспечность бросалась в глаза. Тюремные окна выходили во двор, ограниченный другим зданием с окнами таких же камер. Таньку Рыжую можно было часто видеть у окна переглядывающейся с мужчинами. Теми или иными знаками она приглашала их наблюдать за своими телодвижениями, чтобы вместе увлечься одной и той же игрой; при этом она обнажалась, как находила нужным. Восемнадцатилетняя Шурочка ложилась лицом вниз, чтобы не видеть этого бесстыдства. Вина этой Шуры была столь же «велика» — работая на обувной фабрике и сдавая на конвейер очередную деталь, она начертала на ней: «Долой Сталина». Учинили следствие и заподозрили одного из рабочих; воспитанница детского дома смело явилась в местком и заявила на себя требуя, чтобы освободили ни в чем не повинного товарища по работе. Теперь Шурочка ждала решения своей участи в камере смертников.

Еще сидели три монашки; эти не подавали просьб о помиловании, не подписывались под протоколами — они не хотели вовсе иметь дела с «бесовской» властью. На допросе они не давали показаний, не сообщали даже своих имен; в камере не вступали в разговоры; забившись по углам, они в положенные часы тихо пели церковные службы и никакие выходки и сквернословия Таньки Рыжей, ни окрики надзирателей не останавливали на себе их внимания. Слушая знакомые с детства напевы «Господи воззвах» и «Свете тихий», Леля всякий раз чувствовала, что слезы подступают к ее горлу.

В одну из ночей пришли за соседкой Лели по койке — шансонеточной певицей, обвинявшейся в связях с эмигрантами в целях шпионажа. Широко раскрыв глаза, полные ужаса, следили Леля и Шурочка, как та медленно подымалась и застегивала на себе пальто дрожащими руками. Как раз на другое утро явился конвой за Лелей.

— Не бось, не бось! Прощение, поди, объявят. Вот помяни мое слово: коли днем, значит, благополучно, — ободряюще шептала ей Шурочка.

Подскочила и Танька Рыжая.

— Не нюнь, смотри! Наплюй им в рожу! — присоединила она и свое непрошеное сочувствие...

В эту последнюю встречу он поиграл с ней на прощанье, как кошка с мышью.

— Ответ из Москвы получен, — сказал он, вертя конвертом, и смолк, всматриваясь в нее прищуренными глазами. — Москва пересмотрела ваше дело. Ну-с, пишут нам, чтобы мы... — И опять смолк, наслаждаясь видом своей жертвы.

Леля молчала, чувствуя, что дрожит от напряжения, и слыша стук собственного сердца.

— Итак, приговор о расстреле решено... — новая пауза.

Леля все так же не шевелилась. Что дальше? Оставить в силе или заменить? Две секунды его молчания показались ей вечностью.

— ...заменить десятью годами концлагеря. Всего наилучшего, мадемуазель Гвоздика. — И, словно прощаясь с ней, он с насмешливой галантностью вытянулся и щелкнул каблуками, как шпорами. В этом

жесте промелькнуло что-то слишком знакомое... что-то старорежимное, напомнившее ей кого-то... Валентина Платоновича, может быть... Что такое? Померещилось! Неужели же эта кобра в прошлом... Она припомнила, что уже не раз и не два некоторые обороты его фраз казались ей составленными по старым образцам... А вот теперь он как будто полностью показал себя напоследок. Но где же утерялись понятия о благородстве и чувстве чести, которые в те дни внедрялись в сознание вместе с «Отче наш»? Эта кобра...

На следующий день Лелю перебросили в Кресты вместе с группой других. Там камера была значительно менее благоустроена, чем в большом доме, и переполнена до отказа — лежали вплотную одна к другой на дощатых нарах и под нарами, кто какое место захватил, матрацев не было вовсе: подкладывали пальто и платки; камера кишела насекомыми. Одним из первых впечатлений Лели была огромная белая вошь, которая ползла по пестрому крепдешину молодой женщины, лежавшей на собственном пальто на полу посреди камеры. Леля едва нашла себе маленькое местечко под нарами, где сидеть можно было только с наклоненной головой.

В этой камере тоже были монашки. Соседками Лели оказались на сей раз две совсем простые старухи. Одну из них — уголовницу, сидевшую за кражу, — окружающие прозвали Боцманом за грубый голос и привычку ругаться; по ночам она храпела на всю камеру. Другая — Зябличиха — была, напротив, очень молчаливая и степенная; она все время вязала, сделав себе крючок из зубной щетки и распустив на нитки свое же трико. Зябличихе инкриминировалась контрреволюция: как-то раз в очереди за картошкой ее прорвало — она вдруг разговорилась, доказывая, что при царях жилось сытее: картошку и огурцы покупали только ведрами и добра этого никто и не считал, а о хлебе и сахаре и разговору-то не водилось.

Градус общего настроения был здесь менее удручающим — заговаривали друг с другом, читали и даже играли иногда в домино за большим столом, который стоял посреди камеры.

Лелю донимали апатия и усталость, пришедшие на смену нервному перенапряжению. Страшная кобра уже не вызовет ее — это служило единственным утешением в безотрадном настоящем и будущем. Почти все время она находилась в полудремоте. Одно, что занимало ее мысли, — свидание, на которое она имела теперь право. Кто придет к ней? В поданном заявлении она указывала на мать или Асю; она почти не надеялась, что мать жива; в передачах, которые она несколько раз получала, чувствовалась чужая рука — мама и Ася уж наверно сунули бы туда яблочек и ее любимые конфеты «Старт»; они очень хорошо знали, что карамели она не любит и мятные пряники тоже; вот и мыло не то, которое она употребляла обычно. Кто же делал эти передачи? Уж не Елочка ли? Так или иначе, это указывало, что с ее матерью случилось что-то.

И вот наступило утро, когда ее, наконец, вызвали на свидание. Проходя по коридорам, она чувствовала, что дрожит в лихорадочном ожидании. Все в ней разом словно оборвалось, когда она увидела через решетку худое и смуглое лицо Елочки.

— Я пришла вместо Аси. Ася в больнице: вчера у нее благополучно родилась дочка! — поспешно крикнула ей Елочка, в свою очередь взволнованная и предстоящим тяжелым разговором и Лелиным лицом, показавшимся ей почти восковым.

— А мама? Моей мамы уже... уже нет? — Голос Лели оборвался.

Елочка тяжело вздохнула.

— Да, Леля. Зинаида Глебовна скончалась еще в день вашего ареста. Мне очень грустно сообщить вам это. Второй приступ оказался смертельным. Ася была неотлучно при ней.

Леля прижалась головой к решетке и молчала. Елочка корректно выждала минут пять и наконец собралась с духом.



— Простите, Леля, что я прерываю ваше молчание! У нас только десять минут времени, а свидание разрешается только одно. Я знаю, что я вам чужая, но лучше я, чем никто. Что передать от вас Асе и какие вещи вам приготовить к отъезду? Постарайтесь собраться с мыслями.

Леля все так же молчала.

— Вы, может быть, хотите, чтобы я ушла? — спросила Елочка.

— Нет, нет, Елизавета Георгиевна. Я вам очень благодарна, а только я... — Она снова умолкла.

— Леля, у нас остается всего пять минут времени!

Леля подняла голову.

— Скажите об Асе. Остается она в Ленинграде?

— Неизвестно. Подписка о невыезде еще не снята. Возможно, что оставили только до родов. В ближайшее время все должно выясниться.

— Она очень, очень убита? — спросила Леля.

Елочка молча кивнула.

— А выпускные экзамены она сдала?

— Нет, не смогла, — Елочка покосилась на надзирателя, который ходил между решетками.

— Скажите, чтобы она меня не забывала, не теряла из виду. Скажите, что я буду думать только о ней. У меня, кроме нее и Славчика, нет никого на свете! Не знаю, увидимся ли мы: десять лет лагеря я, наверно, не вынесу. И еще скажите... On m'a battut! [\[94\]](#)

Елочка вздрогнула и опять оглянулась налево и направо; кудрявая головка Лели припала к решетке. Потом она снова оторвала лицо.

— Спасибо вам за передачи, Елизавета Георгиевна!

— Я не делала вам передач. Их приносил Вячеслав Коноплянников. Он же выстаивал очереди к прокурору.

Изумление отразилось на восковом лице; потом слегка дрогнули губы и сощурились ресницы, как будто взгляд пытался проникнуть в неведомые глубины... И вдруг далекий отблеск радости, как неясная радуга, скользнул по скорбным глазам и губам.

«Как равнодушны они все к мужской любви!» — подумала Елочка.

— Отчего же... отчего же он не пришел сам? — голос Леля задрожал.

— Я, разумеется, готова была предоставить ему эту обязанность, — голос Елочки прозвучал сухо, — он намеревался идти и уже приготовил вам для передачи замечательные сапожки — русские, высокие, из очень хорошей кожи, где-то сам заказывал... Вчера он должен был прийти окончательно договориться с Асей, которая тоже непременно хотела иметь с вами свидание. Но я напрасно прождала его весь вечер, а Ася попала в больницу на десять дней раньше, чем мы предполагали, и идти пришлось мне. Сапожки эти я вам принесла, а также ваше зимнее пальто и теплый оренбургский платок от Аси — все это было приготовлено уже неделю тому назад. Скажите: не нужна ли еще что-нибудь?

— Нет, ничего. Ничего не нужно! Только мамину фотокарточку пришлите. Я Асе напишу, если будет дозволено. Берегите ее, а она пусть побережет могилу мамочки. До свиданья, спасибо вам, Елизавета Георгиевна.

И, не дожидаясь сигнала, Леля отошла от решетки.

Сапожки в самом деле оказались удивительно хороши и как раз впору, но где же человек, приславший их? Отчего вдруг раздумал прийти? Не был уверен в том, как она его примет? Или Ася слишком настаивала на своих правах? Он продолжает любить и помнить, несмотря на то, что отвергнут! Она знала случаи, когда близкие родственники сторонились репрессированных, опасаясь скомпрометировать себя, но он не сделал так! Тут-то — на самых опасных мелях — он и протянул руку помощи, как мог бы сделать жених!

«Лучше не думать! Десять лет лагеря — я или умру там или выйду старухой. Лучше не думать».

Волосы ее отросли за это время и пышными локонами опускались на шею, — они будут седые, эти локоны! Кому она будет тогда нужна? Невыносимы эти мысли! Когда смерть стояла совсем близко, мысль была только о том, как бы сохранить жизнь; сейчас, когда острый момент прошел, подымался вопрос: зачем жить, если впереди ни счастья, ни семьи, а лишь один изнурительный труд? Не лучше разве было погибнуть сразу?! Она начала предчувствовать, что тоска по счастью замучает ее. Что-то острое, подымаясь на поверхность со дна души, вонзалось в каждую мысль, в каждое впечатление... У нее составилось убеждение, что невидимое острие, выходя из сердца, подымается вдоль позвоночника и пронзает мозг!

«Это мне возмездие за мои постоянные капризы и недооценку ближних, за мои эксцентрические тяготения. Именно сюда уходят корни этого страшного растения. Оно питалось тою скрытою порочностью, которую никто не замечал во мне, кроме меня самой, а теперь — отчаянием, которое меня душит. Его не выдернуть никакими усилиями, и оно будет отравлять меня день и ночь, как злокачественная опухоль своими токсинами. У Аси ничего подобного не может быть, как бы глубоко она ни была несчастна».

Не прошло и недели, как вся камера была разбужена среди ночи командой:

— Собирай вещи, выходи в коридор! Без разговоров! Быстро!

В коридоре на тумбе уже лежали кипы «тюремных дел», которые заводились на каждого. Тюремное начальство передавало заключенных этапному. Команды отличались бесцеремонностью, претендовавшей на лаконичность:

— Стройся! По четыре штуки! Руки в заднее положение! Живее, живее!

Эффектней всего была посадка в «черный ворон», куда заключенных запихивали, уминая ногами, дабы вместить как можно больше. Леля встала в четверке с Зябличихой, Шурочкой и одной из монахинь и, как только началась высадка на отдаленных запасных путях, по-видимому, Московского вокзала, поспешила построиться с теми же, чтобы избежать соседства с Танькой Рыжей и Боцманом. Однако после первой же переклички выяснилось, что уголовниц нет среди приготовленных к отправке — эта партия из двух тысяч человек состояла только из политических. Огромный железнодорожный состав уже был наготове. К каждому вагону-теплушке были прилажены широкие сходни, по обе стороны которых стояли конвойные с собаками; овчарки злобно скалились, хрипели и выкатывали глаза, натягивая цепь и пытаясь схватить заключенных, пропускаемых мимо них; пена капала с высунутых языков. Леля с детства привыкла умиляться на всех четвероногих — и собак, и телят, и овец, и кошек — и с ужасом смотрела теперь на этих озлобленных тварей. «Они, по-видимому, заразились от этих людей их сатанинской злобой! Таких даже Ася не решилась бы гладить и целовать в морду!» — думала она, подбирая в руку платье, чтобы благополучно пробежать между двух морд.

В каждую теплушку было запихнуто по пятьдесят человек; лежали, плотно прижавшись друг к другу, на нарах и под ними на разостланной соломе. Посредине была бочка с водой, а рядом на полу дыра, предназначенная играть роль уборной. Двери плотно закрыли на болты; в первый раз их раздвинули только в середине следующего дня, когда принесли еду и произвели проверку. Способ, применяемый в последнем случае, тоже был образцом «вежливости»: заключенных сначала уминали в один угол, а потом

перегоняли палкой в другой, пересчитывая поштучно, как скот.

Поезд то и дело подолгу стоял, но всякий раз на очень отдаленных запасных путях. Леля часто припадала лицом к щели, которая приходилась поблизости от ее места, и видела мелькавшие мимо бесконечные леса, да изредка огни станций, но поезд ни разу не остановился против хоть одной из станционных построек.

Слава Богу, что среди заключенных не было уголовниц! В основном все женщины оказались приятные, вежливые; много аристократических дам, державшихся мужественно и просто. Привыкнув друг к другу, стали заводить долгие разговоры — то кто-нибудь рассказывал о своей жизни, то находились охотницы читать наизусть стихи или пересказывать особо памятные книги. Оказалось несколько артисток — они пели и очень хорошо декламировали. Леля тоже постепенно освоилась, читала «Белое покрывало» и «Для берегов отчизны дальней». Произнеся последнюю фразу стихотворения: «Но жду его; он за тобой...», она вспомнила Вячеслава... «Он за мной, мы встретимся!» — пронеслось в ее мыслях.

Было среди них и несколько старых революционерок, обвиненных в каком-нибудь «уклоне» или прямо в «терроре». Они рассказывали о репрессиях царского времени.

— Если бы прежних революционерок осмелились вот так перегонять палками или травить собаками, как нас теперь, или хоть раз ударить, — такое событие тотчас бы переросло в грандиозный скандал с забастовками, самоубийствами и прокламациями и в тюрьме и на воле; а теперь произвол носит узаконенный характер и террор каждому замыкает уста, — сказала одна из эсерок.

— Этого бы не было, если бы был жив Владимир Ильич, — возразила старая большевичка.

Леля, которая привыкла считать Ленина самым страшным врагом, вроде людоеда из сказки, отважилась вступить в разговор и рассказала о неистовствах чекистов в Крыму. Это произвело впечатление, тем более что рассказывала девушка, совсем юная, рассказывала дрожащим голосом, явно находясь под впечатлением лично пережитого.

— Вы меня глубоко огорчили, — ответила на это старая большевичка, а другая партийка прибавила:

— Я кое-что об этом слышала, но не была уверена в достоверности слухов. Говорили, что Дмитрий Ульянов посылал товарищу Дзержинскому телеграммы с требованием прекратить расстрелы и стихийные расправы с побежденными, но Владимир Ильич оставлял за Дзержинским свободу действий. Надо все-таки учесть, что тогда шла борьба, и этой жестокости можно найти те или иные обоснования, а вот то, что делается теперь, не имеет уже никакого оправдания!

Тотчас стали защищать Ленина, сравнивая его со Сталиным. Он-де был и скромным, и благородным, и добрым, и чуть ли не воплощением мирового Добра. Леля и тут заспорила, и ее поддержали.

— Многие знаменитые изверги были в быту скромными людишками, — заметила одна дама.

Другая весьма сдержанно и с осознанием того, что говорит, высказалась, что все зверства большевиков были вовсе не вопреки, а благодаря идеям Ленина. Но спор, внезапно разгоревшись, быстро угас — все-таки оставалось опасение, что и здесь могут оказаться предательницы, способные ради улучшения своих условий доложить начальству о содержании разговоров.

Как ни мучительна была эта дорога, общение с остальными заключенными родило в Леле надежду, что и в лагере можно будет выжить, если рядом будут такие подруги по несчастью.

Наконец, прибыли в Свердловск.

До этого города добирались три недели, а при приближении долго стояли на запасных путях. После команды «выходи» двинулись пешим строем: говорили, будто бы впереди ведут мужчин, которые

заполнили передние вагоны этого же поезда. Никто, однако, не мог проверить неизвестно откуда возникших слухов. После того как вошли в ворота пересыльной тюрьмы, всю партию оставили стоять за высокой стеной, делившей двор на секторы. Неожиданно совсем близко за стеной в соседнем секторе слышались мужские голоса... завязалась тотчас оживленная переключка: называли имена, спрашивали о мужьях и женах. Вдруг один голос крикнул:

— Нет ли здесь Нелидовой Елены?

Леля едва не задохнулась от неожиданности.

— Здесь, здесь! Кто спрашивает? Кто? — но сама уже безошибочно знала — кто!

— Это я — Вячеслав. Кукушечка родненькая, так ты здесь же! Здорова ты, Алenuшка?

— Вячеслав! Спасибо за сапожки, за все! Неужели увидимся? Почему вы... за что же вас-то?!

Но ответа она не получила: слышались ругань и угрозы надзирателей. Мужчины смолкли. Около Лели мгновенно образовался кружок — сколько рук протянулись к ней!

— Кого вы встретили? Кто это? Жених? Брат? — спрашивали ее.

— Он любил меня, а я отказала! — отвечала она сквозь лившиеся слезы. Она даже не удивилась его «ты» — он показался ей совсем родным сейчас! Еще недавно хотелось счастья необычно яркого, особенного, и ни тот, ни другой, ни третий не удовлетворяли требованиям: один недостаточно интеллигентен, другой недостаточно эксцентричен, третий недостаточно изящен! А вот теперь каким блаженством показалась бы ссылка на вольное поселение с этим самым Вячеславом! Он бы оберегал ее, делил с ней все трудности, а по ночам обнимал и нашептывал, что лучше ее нет девушки на свете и что за ее локоны отдаст жизнь! И опять все мысли ее и чувства попали на знакомое острие.

В Свердловске надежды Лели на хороших подруг по несчастью рухнули — всех разбросали по разным камерам, перемешав с уголовниками и бытовиками.

На следующий день Леля впервые познакомилась с баней (на Шпалерной ее, как сидевшую в одиночке, в общую баню не допускали). Порядки советской этапной бани были весьма странные: заключенным женщинам вменялось в обязанность, стоя обнаженными, вручать свои вещи с рук на руки мужчине, дежурному по бане; несколько других мужчин ходили тут же взад и вперед в качестве надсмотрщиков. Леле, которая не привыкла обнажаться даже при посторонних женщинах, было очень нелегко подчиниться порядку, который как будто целью своей ставил добить всякую щепетильность и стыдливость.

В пути были еще несколько дней; поезд шел теперь гораздо скорее и на запасных путях не стоял вовсе. Догадывались, что попали в Сибирь. Тысячи и тысячи километров от дому... а впрочем, у неё теперь нет дома! Наконец, прозвучала команда: «Выходи с вещами! Стройся!»

Окруженные конвойными и собаками, двинулись в тайгу пешим строем по широкому тракту при позднем зимнем рассвете. Вокруг высились обледенелые ели и сугробы снега; новые сапожки очень выручали, нос прятался в оренбургский платок; шли по четыре в ряд.

С рук соседки выглянуло из-под шерстяных косынок младенческое личико, а потом вывернулась и крошечная ручка. Леля несколько раз озиралась на эти сияющие глазки и растянувшийся до ушей ротик.

— Сколько ему? — спросила она и встретила взгляд молодой женщины, кутавшейся в старый офицерский башлык, такой же, в какой, бывало, куталась сама Леля.

— Полгодика ему, а второй на обозе едет — тому уже три.

— Вы по пятьдесят восьмой? — спросила Леля.

— По какой же еще? Сестра мужа вышла за английского посла, бывала с ним у нас... Вот и вся моя вина! — горько усмехнулась женщина. — Не знаю, что с детьми будет... Уверяли меня, что определят их в ясли при лагере и будто бы позволят мне их навещать, но... боюсь подумать, что впереди...

— А может быть, и в самом деле позволят? — сказала Леля. — Вот бы нянями устроиться туда и вам и мне!

— Руки затекли, — шепнула молодая мать, перекладывая живой пакетик.

— Дайте его мне, вы устали. Он мне крестника моего напоминает. — И Леля приняла на руки этот маленький движущийся клубок. До сих пор она еще никогда не делала первой попыток к сближению и попала в струю теплой симпатии неожиданно для себя; симпатии, вызванной, может быть, только тем, что рядом женщина ее круга и ее лет.

— Агунюшка, маленький! Люли-люленьки, прилетели гуленьки! Молочка-то тебе хватает? А мой крестник вырастет без меня, и когда я вернусь (если вернусь!), я для него буду чужой, не нужной, лишней!..

Шли, шли, шли... Усталость нарастала, и всякая восприимчивость понемногу притуплялась. По-видимому, был отдан приказ дойти прежде сумерек до места назначения — остановок не делали и торопили колонну.

Ежеминутно раздавались окрики конвоя:

— Не отставай, смотри! Равняйся, не то собак спущу! Кто там сел? Подымайся! Шутить не буду — живо овчаркой затравлю!

Бросалась в глаза фигура уже пожилой художницы на костылях — она была поставлена впереди и возглавляли шествие! Молодая мать уже давно взяла обратно ребенка и, изнемогая от усталости, начала отставать, а Леля думала теперь уже только о том, чтобы самой не упасть в снег.

Внезапно один из конвойных приблизился и, не говоря ни слова, ловким ударом приклада выбил ребенка из объятий матери и отшвырнул ногой в канаву! Это не приснилось, не померещилось — это в самом деле было. Как могли они молча пойти дальше? Но они пошли после короткой сумятицы, когда на остановившийся ряд натолкнулись шедшие сзади... Угрожающие крики конвойных в одну минуту навели порядок. Снова пошли!

И это уже был сон — иначе как жить после того, что произошло?! И Леля уверяла себя, что это сон — ведь все кругом расплывается и кружится, как во сне. Значит, сон, и ребенок той женщины на самом деле жив.

Какую кашу дадут на остановке?.. В канаве... ему холодно... маленькие ручки синеют... он не сразу умер: он замерзает... может быть, ищет губками грудь... Если и Асе придется идти так... и тоже с двумя младенцами... тогда...

Нет, это не сон. Леля отважилась, наконец, обернуться на свою соседку — та брела, спотыкаясь, с низко опущенной готовой. Леля подхватила ее под руку.

— Не дойдет! — сказал кто-то из соседнего ряда. — Попросите начальника этапа посадить ее на сани. Он все время разъезжает верхом туда и обратно.

Леля взглянула на верхового, маячившего во главе колонны, и выбралась на обочину под руку с новой подругой, которая припала головой к ее плечу. Колонна растянулась версты на две и вьется по ледяной дороге; люди еле волочат ноги, кто в шинели, кто в меховой шубе, кто в тулупе, а кто так просто в одеяле. Вот послышался злобный храп и повизгивание — с ними поравнялся отряд овчарок; человек, державший вожжи, обернулся на двух женщин:

— Чего стоите? Кто вам разрешил выйти из ряда?

— Мы ждем начальника этапа, — ответила Леля.

— Стоять у дороги не положено! Какого еще тебе начальника? Пошла на место! Живо!

— Вы — командующий собачьим отрядом, а я хочу говорить с командующим этапом, — ответила Леля.

— Я те покажу командующего собачьим отрядом! Отведаешь сейчас у меня! — и наклонился спустить собаку...

Леля вскрикнула и в ужасе ринулась к своему месту. Две озлобленные морды с высунутыми языками, с оскаленными зубами уже отделились от стаи, вот они уже наступают...

Она не помнила, как попала на свое место и кто удержал собак, которые могли разорвать ее; одна пасть успела схватить ее за голень, другая задела щиколотку... Она не чувствовала даже боли и только тряслась, как в ознобе.

— Этим людям позволено все! Поступить так на глазах всего этапа может лишь тот, кто заранее уверен в полной безнаказанности, — произнес кто-то около неё. Молодой соседки уже не было рядом — положили ли ее на сани, приткнули ли в другое место или разорвали собаками, Леля не знала. Навязывалось в память что-то хорошо знакомое с детства... что-то страшное... «Хижина дяди Тома» — вот это что! Сто лет тому назад так обращались с неграми, а теперь — в двадцатом веке — с русскими! А где-то в Швейцарии Литвинов произносит трескучие речи о недопустимой жестокости в обращении с туземцами в колониальных странах... О! С неграми нельзя, но она — русская... с русскими можно!

Голова опущена, а ноги еще шагают из последних сил. Разницы между «могу» и «не могу» она теперь не знала — ей казалось, что идти она больше не может, но она шла, шла с прокушенной ногой и могла уже идти еще долго.

Шли до сумерек; уже темнело, когда, наконец, остановились в виду лагеря и Леля впервые бросила взгляд на высокие, как стена, заборы, башни по углам и часовых на них. Горизонт замыкали леса.

## Глава четырнадцатая

### ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

**9 ноября.** Ася все так же подавлена и молчалива; занимает ее только предстоящее свидание с Лелей. Вчера, когда вывозили конфискованную мебель, она оставалась почти безучастна, и только когда начали передвигать рояль, схватилась за голову и глаза ее вдруг наполнились слезами. Я обняла ее и заставила отойти; при этом я сказала:

— Успокойся: у меня есть пианино — оно теперь твое.

Она на это возразила:

— Пианино — ящик, а у рояля — душа! Она бывает иногда очень оригинальная.

**10 ноября.** Бывшая прислуга Нины Александровны — Аннушка — очень добрая женщина: всю эту неделю она по собственной инициативе приходит в мое отсутствие подежурить около Аси, чтобы не оставлять ее перед родами одну. После конфискации вещей полы оказались страшно затоптаны, она их натерла, а после перестирала все приданое для будущего младенца. Делает все очень быстро и ловко, только уж словоохотливая слишком — посудачить любит: об Олеге отзывается очень сердечно, но уж лучше молчала бы — я вижу, что Асе тяжело, когда это имя треплется в ненужной болтовне.

**12 ноября.** У Аси дочка! Уф, совершилось! И притом дней на десять — двенадцать раньше, чем мы предполагали. Сейчас звонила в справочное и узнала, что здоровье обеих особых опасений не внушает; Ася, однако, ослабела настолько, что ей сочли нужным сделать переливание крови; девочка — доношенная и во всех отношения нормальная, только очень маленькая — всего шесть фунтов. Не удивительно! Не могу не уважать тех чувств, которые руководили Асей, когда она отказывалась от аборта, и вместе с тем досадую: ребенок этот невероятно усложняет трудность положения, а радости никому не приносит. Роды начались, когда я была на работе; ловлю себя на том, что мне было немного любопытно понаблюдать, как это происходит, хотя бы в начале.

Я проектировала сама отвести Асю в Оттовскую, но эта обязанность досталась Аннушке. Славчика она взяла к себе на эти дни. Щенки Лады, к счастью, уже все пристроены.

**13 ноября.** Фельдшер Коноплянников... Неужели между ним и Лелей завязался роман? Леля, такая изящная, даже изысканная, с ее тонкими причудами, с ее надменностью, могла заинтересоваться этим тупоумным партийцем-простаком? С ее происхождением... впрочем, такие мезальянсы теперь в моде, и некоторые усматривают в этом даже особый шик; в советской военной верхушке каждый норовит подцепить бывшую смоляночку... И все-таки я не могу соединить в своих мыслях Нелидову и Коноплянникова. Он бестактен в высшей степени — требует, чтобы на свидание пропустили именно его! Ася колебалась, не зная, как поступить, — очевидно, она недостаточно в курсе дела. Судьба за Вячеслава — Ася попала в больницу раньше, чем предполагалось. А он не является ни вчера, ни сегодня. Если в течение вечера его не будет — на свидание завтра утром придется идти мне.

**14 ноября.** Дурак-фельдшер так и не явился — хлопотал, добивался и в последнюю минуту спасовал. К Леле иду я.

**14 ноября, вечер.** Ее лицо за решеткой... Это лицо перед глазами! Исхудалый овал, темные круги вокруг глаз, скорбные тени в ореоле золотых волос — с нее можно было бы писать Марию Антуанетту! Следователь Ефимов!.. Неужели он не будет обличен, опозорен, наказан? Если бы хоть один человек,

вырвавшийся из его лап, мог рассказать о нем во всеулышание!.. Следователь Ефимов — партиец, который бьет женщин и девушек и получает ордена!.. Когда-нибудь в анналах страшного здания еще отыщут его имя, узнает когда-нибудь весь огромный мир, как насаждала коммунизм советская власть!

**15 ноября.** Не успеваю писать: работать приходится больше положенной нормы, а со службы мчусь прямо в больницу отнести что-нибудь питательное для Аси, которая, наконец, просит есть. Оттуда — к Аннушке, проведать Славчика; ему тоже тащу лакомство или игрушку. Он всегда бежит мне прямо в объятия и спрашивает: «Пьинесла?» А вся рожица при этом сияет. Занятость моя отчасти спасительна — тоска заела бы мне сердце, а теперь нет возможности сосредоточиться на моем горе.

**16 ноября.** Я поражена! Сегодня в больнице я остановилась перед нашей стенгазетой, заинтересованная заголовком одной статьи — «Разоблаченный враг». Читаю, и что же? Статья посвящается Вячеславу Коноплянникову: его вычистили из партии, оказывается, а потом «крыли» на очередном заседании. Жаль, я не знала! Я сказала бы что-нибудь в защиту, а то ведь у нас как начнут клеймить человека, так каждый кому не лень обливает его, словно из ведра помойного, прочие же трусливо молчат или поддакивают, чтобы не навлечь на себя подозрений в сочувствии, или «двурушничестве», или еще в чем-либо... Насколько я могла понять, наша так называемая «общественность» ставит в вину Вячеславу: 1) заступничество за швейцара, 2) заступничество за нашего высокоуважаемого профессора-невропатолога, которого порицали за антимарксистскую идеологию. Ну, это еще более или менее понятие (хотя нетерпимость и узость руководящих кругов выступает со всей очевидностью!). Но далее идут обвинения уже совершенно возмутительные, так как они касаются частной жизни Конопляникова, событий, происходящих вне стен нашей клиники. Ему ставится в вину, будто бы он постоянно «якшается» с классово чуждым ему элементом — попами и аристократами; далее — будто бы он активно содействовал, чтобы чьи-то дети (не понимаю, чьи!) избегли оздоровительного влияния советского детдома и разлагались в «трясине предрассудков»; вслед за этим начинаются намеки на отношения с Лелей. Привожу текст: «Характерно, что даже предметом первой юношеской привязанности товарищ Конопляников выбирает бывшую дворяночку, которая в раннем детстве играла в кошки-мышки с сыном ни более ни менее как самого великого князя Константина Константиновича! В дальнейшем девица эта, сбавив несколько свой гонор, появилась в нашем учреждении, пробиваясь в члены союза; но, однако, наша парторганизация проявила необходимую бдительность и сумела...» — и тому подобное. Право, это уж слишком!.. Меня словно бичом хлестнули! Я тотчас побежала в санпропускник, чтобы вызвать Конопляникова и выразить ему свое возмущение, а кстати, спросить, почему он не явился на свидание с Лелей. До сих пор я не считала возможным заговаривать с ним на подобные темы, так как у Аси я лично с ним не встречалась и о любви его к Леле узнала только от Аси, когда у нее начались с ним переговоры по поводу визита в тюрьму. Итак, прибегаю в приемный покой, а там мне заявляют, что Вячеслав от должности отставлен, и вот уже неделя, как его нет. Теперь я перед задачей: как реагировать на эту историю? Разыскивать ли Вячеслава или не касаться вовсе этого дела, поскольку меня лично с Вячеславом еще ничего не связывает? История с ним показывает, насколько опасно возвращаться среди одиозных лиц. По-видимому, дружба с Олегом (тоже весьма загадочная для меня!) не прошла для него даром. Мое собственное поведение легко может быть признано еще более вызывающим. Я не боюсь быть скомпрометированной, но самой лезть, что называется, на рожон теперь, когда Ася держится только мной, было бы безумием! Да! Ради Аси я должна стать немного осторожней. Я полностью поддерживаю Вячеслава, если подойдет такая минута, но сама приближать ее не буду.

**17 ноября.** В статье есть фраза: «Товарищ Конопляников напрасно бил себя кулаком в грудь, повторяя: «Найдите на мне хоть пятнышко!» Мы эти пятнышки нашли в достаточном количестве». Бедный юноша! Он пытался, очевидно, оправдаться! Он, кажется, всю гражданскую войну провел на фронте, почти мальчиком, и вот благодарность! «Мы не потерпим в наших рядах...» Кого вы не потерпите, ну, говорите,



великолепные подлецы, кого? Юношу, который влюбился в прелестную девушку, не дав себе труда справиться прежде в анкете, каково ее «социальное происхождение»? Юношу, который позволил себе стать другом человека, обвиненного по 58-й? Юношу, который позволил себе публично заступиться за старого ученого, которого вы травите? Его вы желаете выгнать из своих рядов? Ну, выгоняйте! Еще одним благородным человеком станет среди вас меньше, только и всего!

**19 ноября.** Час от часу не легче! Вячеслав-то, оказывается, арестован! Вот почему он не появляется на квартире у Аси. Мне стало это известно следующим образом: сегодня я оказалась одна на квартире у Аси, куда забежала, чтобы достать из нафталина и отнести к Аннушке зимнее пальто Славчика; раздался звонок, открываю: Мика Огарев, а с ним девушка его лет — черноглазая, с умным личиком; припоминаю, что видела ее на панихиде; представил он мне ее замечательно: «Мэри». И больше ничего — ни отчества, ни фамилии, ни пояснительного слова — сестра, кузина, невеста! За спиной у обоих рюкзаки, оба в высоких сапогах. Мика заявляет: «Мы вот по какому случаю — меня высылают в Уфу, отсюда я прямо на вокзал и хотел попросить...» Тут последовали обычные просьбы высылаемых — квитанции в комиссионный магазин и прочее. Я обещала, что Ася все исполнит, а если уедет и сама, передоверит мне. Потом я спросила девушку, высылают ли также и ее. Она ответила: «Меня пока не высылают. Я еду сама: паспорта мне не дадут, и я решила уехать к маме, чтобы не быть высланной в другое место». А Мика пояснил: «У нее отец в лагере, а мать в ссылке под Оренбургом; там мы будем поблизости, а может быть, мне разрешат из окрестностей Уфы переехать под Оренбург к ее маме». «Я уверена, что разрешат!» — пылко воскликнула девушка. Вид у обоих был самый веселый, как будто они отправлялись на *parlie de plaisir*<sup>[95]</sup>. Я спросила Мику, что он сделал с огромной библиотекой (о которой слышала от Аси); он ответил: «С книгами я не расстанусь — ни одной не продам! Сейчас стеллажи разместились в коридоре, но понемногу я их все перевезу туда, где буду находиться. Мы с Мэри все перечитаем в зимние вечера, когда в степях будет вить метель». И потом он прибавил: «Я не хотел затруднять Ксению Всеволодовну и все квитанции оформил на Вячеслава, нашего соседа, но он арестован, и мне пришлось переделывать доверенность». Подробностей Мика никаких не знал, кроме того что Вячеслав хлопотал за Лелю и будто бы дружил с Олегом... Вслед за этим мои неожиданные гости поднялись уходить. Интересная деталь — девушка сказала: «Я везу маме Святые Дары; они у меня зашиты под лифчиком. Мама очень стосковалась без Причастия, а там, где она находится, нет церкви». Мика уточнил: «Это очень ответственная миссия. Мы затем и едем вместе, чтобы я мог охранять Мэри в пути. Я не по этапу и могу довести ее до самого места». Потому, как они переглядывались с улыбками и с какой предупредительностью Мика снимал и опять надевал на девушку рюкзак, я заключила, что они влюблены. Только влюбленные, и притом 19-летние, могут уезжать в ссылку с такими сияющими лицами. Предупредительность Мики вряд ли можно объяснить только тем, что у девушки на груди Святые Дары! Во всяком случае, все это вовсе не банально.

**20 ноября.** Бедный Вячеслав! Он останется перед лицом всеобщего полного равнодушия к собственной судьбе! Ни единый человек не явится к прокурору узнать, какой параграф угрожает ему, никто не принесет ему передачу... Пасую даже я! Бог видит: я поступаю так не из страха за себя — если меня теперь возьмут, погибнет последнее, что осталось от Олега: маленькая семья из двух младенцев и молодой матери, которая приспособлена к нашей действительности не больше, чем лилия к сорокаградусному морозу. Судьба этой семьи не дает мне покоя!

**22 ноября.** А вдруг мои записки когда-нибудь станут известны обществу и подымутся голоса, обвиняющие меня в клевете на современное мне общество и советскую власть? Ну, так пусть подымут архивы и заглянут в современные мне «личные дела» учрежденческих канцелярий, в стенгазеты с их самокритикой, в протоколы общих собраний — там найдутся такие вещи, которые страшны не менее, чем архивы гепеу, страшны не пытками и смертными приговорами, но нетерпимостью, травлями, кощунством, издевками. Пусть подымут эти великолепные архивы!

**23 ноября.** Сегодня привезла из больницы Асю. Теперь только бы гепеу не тронуло! Ссылка Мики показывает, что дело Олега и Нины Александровны еще не затихло.

**24 ноября.** Эта новорожденная девочка... О, зачем она появилась на свет! Она до такой степени заморенная и жалкая, красненькая и сморщенная... Я понимаю, что в потенции здесь и красота, и аристократизм, и талант, и ресницы... Но сейчас, сейчас... сейчас это крошечный жалкий червячок! Я никогда не видела близко новорожденных, опыта у меня никакого нет, и все-таки мне кажется, что эта девочка немного недоношенная или неполноценная, она даже не увякает, а только мяучит как еле живой котенок, а между тем сколько сил, здоровья и денег она потребует от нас обеих, и все это притом будет в ущерб Славчику! А впрочем — что говорить об этом теперь уже ничего не поделаешь!

**25 ноября.** У девочки очень беспокойный нрав: мяуканье ее почти не прекращается. Сегодня она всю ночь нам не давала спать. Даже у груди она извивается, как червячок, и разводит крошечными кулачками. Странные эти матери — у Аси к ней положительно преувеличенная нежность! Она с рук ее не спускает, баюкает, целует, а между тем дела так много, что просиживать зря над кроваткой попросту безрассудно. Удивительное существо Ася — о ней всегда приходится заботиться тем, кто ее окружает. И это не вызывает с ее стороны протеста, а между тем эгоизма в ней нет ни капли, напротив, это жертва, полная любви. Кротка она, как овечка, даже там, где это вовсе неуместно. Ее нельзя даже вообразить себе раздраженной или резкой.

**26 ноября.** Девочка опять кричала всю ночь. Она не берет грудь, а отмахивается от неё и бьет по ней. Ася до того худа и утомлена, под глазами у нее такие черные тени, что мне иногда страшно за нее. Если с Лели можно писать Марию Антуанетту, то с Аси — Mater Dolorosa<sup>[96]</sup>. Эти две девочки, которых я иногда сравнивала с редкими оранжерейными цветами, дали два мученических лика. Судьба их неизбежно должна была стать апофеозом счастья или трагедии. Жребий обывательниц или тружениц, конечно, ниже их.

**28 ноября.** Однако, что же это в самом деле? Ребенок погибнет, если так будет продолжаться! Решили снести ее в консультацию. У меня после этих бессонных ночей мучительно болит голова, от Аси осталась одна тень.

**29 ноября.** Ну, вот — все объяснилось: грудь Аси пуста, несчастную крошку едва не уморили голодом. Контрольное взвешивание показало, что ребенок не высосал ни одной капли молока. Чего же удивительного? Неделю Ася не ела вовсе ничего, а потом только то, что я насильно запихивала ей в рот. Начали покупать женское молоко (при консультации). Дорого, но другого выхода нет.

**30 ноября.** Сегодня спешно крестим девочку. Восприемница — я. Откладывать боимся ввиду полной неизвестности самого ближайшего будущего.

**1 декабря.** Девочка уже спокойнее, уже лучше спит. Сегодня я перехватила грустную улыбку, с которой Ася смотрела, как Сонечка присосалась к рожку, сладко причмокивая.

**2 декабря.** Сегодня мы первый раз купали Сонечку, до сих пор воздерживались из-за пупочка. Когда мы ее распеленали, она очень забавно потягивалась, расправляя ручки и ножки, а в ванночке лежала спокойно, только тарщила свои черничные глаза и посасывала конец простыни. Еще неделя, и она, пожалуй, станет похожа на нормального младенца.

Аннушка очень трогательна — каждый день приходит на час или два постирать пеленки.

**3 декабря.** Катастрофа! Ссылка! Теперь! Зимой! Для малютки это все равно, что смертный приговор! Вчера вечером принесли повестку. На сборы только сутки. Что делать? К кому бежать? Кого умолять? Ехать невозможно, немислимо, хотя бы из-за девочки, которая только что ухватилась за жизнь крошечными лапками... Была минута — я от бешенства начала швырять вещи. Ася спокойней меня на этот раз. Она

пробует меня утешать, говорит: «Успокойся! Ты ведь всегда так благоразумна! Уедем — что ж делать! Видно, так суждено. Мне уже всё равно сейчас, лишь бы дети были здоровы». А мне вот не все равно! Я знаю, что уезжать невыносимо, невозможно! Я не могу их отпустить одних в неизвестность, а ехать с ними... Это то, о чем я думаю день и ночь, но... Это будет уже полная материальная катастрофа.

**3 декабря, вечер.** Я уже вижу свой жребий! Он мне уже давно мерещится, и я предвидела, что от него мне не уйти. Напрасно я себе говорила: я уеду с ними! Абсолютно ясно, что мне ехать — безумие! Я — рабочая сила, здесь я могу заработать больше ставки: каждый оперируемый больной желает пригласить именно меня дежурить около своей постели, он уже знает мое имя от санитарок и предшествующих больных, я — популярна. А в новом месте приработка может и не найтись, притом еще неизвестно, будет ли больница в том месте, куда загонят Асю. Остаться всем без заработка слишком страшная перспектива. Семья держится только мной, и я должна остаться, как часовой на своем посту. Проклятый, проклятый жребий! Мне во сто раз легче было бы уехать с ними. Темные глазки Славчика, похожие на глаза Олега; Ася с ее неистощимым, всегда новым очарованием; эта малютка, за жизнь которой я уже столько боролась, жизнь в семье... ну, наконец, новая обстановка, новые места... А здесь? Здесь я, наверное, буду почти круглые сутки вертеться в больнице, а в награду видеть пустые стены моей комнаты! Так, но что делать! Что делать?

**4 декабря, утро.** Всю ночь проговорили с Асей — я остаюсь.

**4 декабря, вечер.** Уехали! Ася протащила незаметно под скамью Ладу — мало ей двух детей, она еще собаку берет с собой. А та словно бы поняла: притаилась под скамьей и носу не высунула. Мне удалось достать несколько банок сгущенного молока, и я велела Асе разводить кипятком для Сонечки. Впрочем, в такой обстановке ее все равно не спасти. Неизвестно еще, когда я получу известие... Прощаясь, Ася целовала мне руки... Только вспомню — и снова плачу... Сеттер сидит около меня, положив голову мне на колени.

## Глава пятнадцатая

Егор Власович и Аннушка остались одни в квартире на Моховой, которая уже была заселена новыми людьми, явившимися с ордерами, и лишь стеллажи с книгами вдоль обеих стен коридора еще напоминали о прежних владельцах.

Егор Власович угасал.

— Анна, сходи к обедне, Христом Богом прошу. Вынь просфору за здоровье скорбящей рабы Божией Нины и путешествующего Михаила. Я чаю не хочу: попозднее, как от просфоры вкусим, тогда и выпьем. Иди, а я полежу покамест. Ничего мне не нужно, — почти каждое утро говорил он и, поворачиваясь, вытягивал худую шею, чтобы увидеть с постели, не коптит ли лампадка. Киот его, в который собраны были теперь иконы со всех Огаревских комнат, выглядел очень богатым и красивым, и это его радовало.

Он стал теперь болезненно раздражителен и постоянно придирался даже к жене, с которой прожил душа в душу тридцать пять лет.

— Ох, уж мне эти соседи новые! Прикрой дверь, Анна. Глаза б мои не глядели на этих девок стриженных и юбки ихние короткие. От одних голосов крикливых тошно делается. И завелась же этакая мразь в нашей квартире! — ворчал он.

— Никак ты вовсе из разума вышел, Власович? Сам-то ты барин, что ли? — возражала его мудрая половина.

— Я — крестьянин! Мои отец и дед землю пахали, российскую землю-матушку; а я — верный слуга моих господ и в баре не лезу, как эти: побросали свои дома и сохи и прут в города загребать в чужих очагах добычу. Захотелось легкого столичного житья, а того не понимают, что заселить барскую квартиру да нацепить городские тряпки — еще не довольно, чтобы стать господами. Рылом, голубчики, не вышли!

Аннушка укоризненно качала головой.

— Придумаешь тоже! Чегой-то злобный ты нонче стал, Власович. Погляди-кась на соседнюю дочку Вальку — в десятом классе девчонка! Говорит: кончу — на инженера учиться пойду! Во главе цеха встану. Чем она хуже Микиной Мерюси? Тебе бы только ругать новые порядки, а за худым и хорошее упускать нельзя... При царях простому человеку ходу не давали — чего уж говорить-то! А теперь кажинный может в люди выйти, была бы только голова на плечах.

— Тоже уж: «не давали ходу». Адмирал Макаров вот из боцманов вышел.

— Так ведь это один на десять благородных, а теперича все под одно!

— А теперича одна серость! Благородство повывели начисто. Каждая баба норовит в дамы, а сама ходит, как корова, объевшаяся травой.

— Перемелется — мука будет, — не унималась Аннушка.

— Кака така мука? Не случись всей этой заварухи, жили бы мы и сейчас в Черемухах своим домом. Сына, поди, уж поженили бы; ты бы внучат нянчила, ну а я, само собой, — при лошадях. А дом бы у нас был — полная чаша! Ну, да на все Господня воля.

В этом вздохе заключалась вся идея, питавшая его думы и томившая ожиданьем дух. Как только жена уходила, он с усилием сползал с кровати на обрывок ковра и становился на колени.

Он перечислял живых и мертвых — мертвых было больше! — молился за убитого сына, за бывших господ, не забывая даже имен Дмитрия и Олега, молился за Родину и за Церковь, а себе просил

безболезненной, непостыдной, мирной кончины. Молитва за живых тянула за собой только два или три образа — жена, Нина, Мика и Надежда Спиридоновна; последняя тоже была дорога — профиль ее вырисовывался в его памяти то на фоне маркизы на господском балконе или цветных стекол столовой, то в пятнистой тени липовой аллеи в Черемуховском саду.

— Как-то она там управляется одна в деревне? Неужто к колодцу по осенней грязи сама топает? Ручки-то у ней крохотные и подагра давно свела, небось, и ведра не вытащить... А все ж она хоть на свободе, моя Спиридоновна, а Нинушка, голубка, подневольная, каторжная! Умом мне эту мысль не охватить... Как бы не оскорбил ее кто из мужчин, не дай Господи, не обругал, не ударил... С ейным воспитанием етого и не перенести. Вся она как георгина прекрасная — наш садовник говаривал, — а заступиться-то некому! Охрани, Господи, свое дитяtko! Отпусти ей грех ее иудин. Подай голубиное крылышко моей молитве, чтобы хоть малость повеяло лаской в ее душу исстрадавшуюся...

Входила Аннушка и при виде мужа на коленях водворяла его с добродушным ворчанием обратно в постель, а после тащила пыхтевший самовар. Она и супруг предпочитали его электрическому чайнику, отданному в их распоряжение Надеждой Спиридоновной и красовавшемуся на комодке наподобие вазы или статуэтки поверх вязаной скатерти.

Иногда навещала приятельница — прачка. Егор Власович любил ее посещения, это была набожная женщина, которая взяла на себя добровольную обязанность стирать убрусы и прочую церковную утварь, а потому бывала в курсе церковных дел и сообщала их, перетолковывая на свой лад.

— А патриарх-то Тихон от сана, оказывается, не пожелал отступить, — говорила она, наливая себе чай на блюдце. — Прочел о том бумагу правительственную, а как подписи его потребовали, так настроил внизу: прочел, дескать, остаюсь служителем Божий, патриарх Тихон. Келейный послушник и митрополит Крутицкий сами читали.

— Помяни, Господи, от жития сего отшедшаго святейшаго патриарха Тихона и в вечных Твоих селениях со святыми упокой! — и дворник осенял себя крестным знамением.

Иногда рассказы прачки носили более пространный и таинственный характер:

— Монастырь-то, вишь, прикрыли, а братию — к высылке, кого куда. Двоим инокам Архангельск достался. Высадили их там из теплушек — идите, мол, куда глаза глядят; а куда идти-то? Ни единой души знакомой; за деньги и то не пускают: потому — живут тесно, а тут еще церковники, — как бы не нажать неприятностей! Гонят, отмахиваются. За большие деньги, может, и впустили бы, да откуда у ссыльного инока деньги? Промаялись день, на вокзале переночевали; следующий день топтались сызнова; вовсе измучились и к вечеру за город на шоссе вышли; думали, может, там что подыщут. Бело, пусто, ветер гуляет; смеркается уже, а приткнуться некуда — ложись да помирай. Уж и стучаться опасаются — натерпелись издевок да отказов. Вдруг из одного домика хозяйка навстречу, да в пояс кланяется: «Пожалуйте, отцы родные! Чего ж вы этак позамешкались? Уж я жду, жду, все глазыньки проглядела! Пирогов вам напекла и матрацы набила!» Глядят на нее иноки — личность хоть и благообразная, однако ж вовсе незнакомая. «С чего ж ты нас, мать, поджидаешь? Написал тебе о нас кто, што ли?» — «Никто мне не писал ничего, а только в нонешнюю ночь Владычица мне приснилась: приими моих скитальцев, говорит. Жаль мне их, приими! Я тебя благословлю! И еще в третий раз повторила: приими! Входите, отцы мои, входите. Удостоите! И благословите меня, грешную!»

Аннушка вытирала слезы, а дворник крестился, но и выслушивая эти трогательные рассказы, он не мог отделаться от мысли, что ни жена, ни прачка при всем их благочестии чего-то еще не понимают из постигнутого им и упускают некий очень важный момент...

— Не уразумеваете! Не в том суть, что инокам ночлег отыскался. За веру Божию и потерпеть можно,

как мученики терпели; тут, вишь ты, устремление духовное и голос Владычный вещающий — вот в чем суть! Случалось мне читать в духовных книгах, что большое рвение и чистоту духа должен воспитать в себе человек, чтобы открылись у него очи или слух на духовное. Теперича об этом не говорят — потому что запрет наложен, а ранее сколько было в народе ищущих правды Божией! И великих молитвенников среди простых мирян. О монастырских-то и говорить нечего — ровно крепости духовные, наши обители высились. В детстве, я помню, для нас — ребят — не было большей радости, как зазвать в избу к своему тятю на ночевку странника да послушать его рассказы. Сядешь, слушаешь, а в душе ровно что нарастает. В шестнадцать лет я совсем уж было в монастырь собрался, да вот не судил Бог.

Прачка раскатисто расхохоталась.

— Аннушка, поди, помешала! Обет-то целомудрия, и впрямь, не просто дать, особливо как враг рода человеческого подмахнет тебе встречу с распригожей девушкой! Аннушка и в пятьдесят лет баба-ягодка, а в молодости, поди, и глаз не отведешь. Тут-то ты и споткнулся!

Аннушка заулыбалась, но дворник нахмурился.

— Я тебе о духовном, а ты о чем? Ох, и плоский же у вас — у баб — разум!.. Опять же и то понять надо, что в духовной жизни ни работа, ни брак человеку не помеха — было бы устремление. Случалось мне в молодые годы по вечерам лошадей отводить в поле; и бывало в эти часы такое в поле наваждение: обдаст тебя благодатью, ровно паром в бане, — стоишь, как ошалелый, и только крестишься... Думаю, посылал это мне святитель Радонежский, оттого что я всякий раз, как уйду с уздечкой, вспомню обязательно, что и он в юности так же за лошадушками хаживал и призвание на иноческую жисть в поле получил. Он мне в те дни помогал угадывать, в какую сторону лошадь ушла, — ровно собака нюхом, я лошадушек находил. Садовник наш всегда дивился.

Часто он возвращался мыслью к прегрешению Нины, которое, по-видимому, его угнетало:

— Анна, сходила бы ты к Дашковой молодой: может, там ребеночек уже народился: пеленочки, што ли, постирай. Надо помочь и грех тем Нинушкин малость загладить. Поди, грех этот на ей камнем обвис. Сдается мне, сбавил бы ей Господь тяжести, коли бы мы с тобой потрудились.

Когда же Аннушка вернулась в один день с известием о ссылке Аси, старик расстроился до слез, и Аннушка пожалела, что не догадалась скрыть.

— Да как же оно так: с двумя младенцами неведомо куда?.. Отродясь я таких дел не слыхивал. Нежная она, эта Дашкова, что твой цветочек. Вспомни ты, какое у ей личико. Лилия королевская — наш бы садовник сказал! Где ж такой королевне с нуждой и горем управиться? Сама посуди. На убой ее, значит! — горестно повторял он. Связывая эту ссылку с судьбой Олега, он, по-видимому, считал, что и она падет на совесть Нины, и это увеличивало его душевное смятение.

Ночью он томился. Он вспоминал опять Черемухи, господ и лошадей; мельтешила перед глазами знакомая тропа с крылечка людской избы к конюшне, вся в снегу тропа, в морозном синем рассвете... Сосульки понависли с низеньких крыш, снег похрустывает под ногами, и вот уже ловит его слух знакомое ржание — лошадушки зачужали, здороваются!

— При господах лучше было. Пусть другие хватаются за эту новую жисть, за стройку эту, а мне не по сердцу. Все спешка, да шум, да суета; вахты эти да достижения... Время словно поубавилось — ни вздохнуть, ни призадуматься, ни побеседовать, как, бывало, мы с садовником... Ох, тоскливо!..

Хотелось вдохнуть чистого деревенского воздуха, а стены комнат давили. Только перед утром он забылся, а проснувшись, сказал:

— Покойников я нонече во сне видел. Не к добру это, Анна.

— Каких таких покойников, Власович?

— Барина старого Александра Спиридоновича: изволили по дорожке идти в чесунчовой своей толстовке с тросточкой; и борода ихняя, и рука с перстнем. А еще лошадушку господскую, любимицу мою Антигону: подошла, головушкой покачала, заржала и бегом! Ровно за собой подманивала.

— А ну тебя, Власович! Мелешь глупости.

— Не, Анна! Лошадь — она много знает. Мы вот с Олегом Андреевичем покойным о лошадях много беседовали, понимали один другого. Прежние люди не чета нынешним; вот хоть бы Олега Андреевича взять: весь насквозь барин, а держал себя просто: и поклонится первый, и побеседует; потому — воспитание! А эта паскудная соседская Валька уже теперь зазнается: я образованная, мол, а ты — серость!

Как всегда, он отослал жену к обедне, но когда она вернулась, ей показалось в муже то, что называют «переменной».

— Чего ты, Власович? Не худо тебе? Чайку, что ли, спроворить? — спросила она.

— Нет, не надо. Ничего не надо... Слабость нашла... Дай сказать... Помолчи, Анна. Прости, коли в чем... И справь по мне службы Божии. А Нинушку, голубку, не оставь любовью... Помоги ей чем сможешь... и той — другой — помоги... Слышишь, Анна?

— Кому еще помочь-то, Власович? Не разберу, — прошептала Аннушка, наклоняясь к мужу и утираясь косынкой.

Егор Власович уже более ничего не отвечал.

## Глава шестнадцатая

Вернувшись домой с ночного дежурства, Елочка открыла дверь и была приятно поражена видом живого существа, которое тотчас поспешило ей навстречу.

— Маркиз, я и забыла о тебе! Ну, пойдем погуляем, бедный мой.

Накануне вечером она была свидетельницей сцены, которая теперь не выходила из головы: на праздничном обеде у Юлии Ивановны ее зять — еще недавно вступивший в семью молодой научный работник — встал со своего места с бокалом и провозгласил тост за товарища Сталина. Все поднялись в полном безмолвии, и последней поднялась сама хозяйка дома, Юлия Ивановна, — с застывшим выражением лица, с глазами, опущенными на скатерть. Здесь, в своей семье, у себя за столом, она не посмела опротестовать тост и вынуждена была проглотить пилюлю, преподнесенную новым, младшим родственником! Молчание, с которым был принят тост, уже набрасывало тень на собравшееся общество, а о том, чтобы встретить его возражениями, не могло быть и речи!..

Обида за достоинство Юлии Ивановны, вынужденной спасовать перед собственным зятем, отвлекала Елочку от уже привычного беспокойства за Асю, но и в этой обиде была все та же, хорошо ей знакомая горечь, постоянно озлоблявшая и внутренне высушивавшая ее.

Вернувшись после прогулки с собакой, она, не раздеваясь, бросилась на маленький диванчик, продолжая чувствовать сильную разбитость во всем теле. Ей показалось, что она только что успела забыться, когда будильник возвестил, что пора готовить завтрак и собираться в клинику. Ее знобило, она смирала температуру — тридцать восемь и три.

Позвонив по телефону на службу, а после в квартирную помощь, она легла на тот же диванчик. Тоска одной! Некому даже чаю принести и сбежать за булкой. Ася, конечно, позаботилась бы, а теперь — некому!.. Тоска!

Через час стук в дверь опять разбудил ее. Анастасия Алексеевна приближалась неслышно, как пантера.

— Никак заболели, миленькая? Я заходила к вам на хирургию, сказали: не вышла, дала знать, что больна; я скорее сюда. Может, банки сделать, а может, компресс? А может, за лекарством сбежать или чайку согреть? Говорите: что надо? Да вы бы легли по-настоящему; давайте я вам кровать раскрою.

Елочка начала было возражать, но подчинилась.

Анастасия Алексеевна и в самом деле пригодилась: напоила бальную чаем, открыла двери врачу, сбегала за прописанным лекарством, вывела снова сеттера и даже вызвалась на ночь остаться.

К вечеру, однако, температура у Елочки не поднялась, а напротив, несколько уменьшилась.

— Вот так всегда! Даже поболеть, чтобы передохнуть, не удастся, — с досадой сказала она.

Анастасия Алексеевна запрещала ей вставать и очень охотно хозяйничала в кухне; на ужин она принесла кисель и печенье, собственноручно приготовленное. Со всеми приемами опытной сестры она перебинтовала Елочке горло и даже покормила ее с ложки.

— А я все хотела спросить вас, миленькая, — как-то заискивающе начала она, перемывая чашки, — этот бывший поручик Дашков, ведь он у вас в клинике санитаром работал или я опять путаю?

Елочка насторожилась было, как боевой конь, но тотчас же с горечью подумала, что заметать следы уже нет надобности, и коротко отрезала:



— Работал.

— Так, стало быть, он живым оказался? Уцелел тогда от расправы?

— Стало быть.

— Наверно, вы его и пристроили санитаром?

— Ошибаетесь, Анастасия Алексеевна! Как раз не я. Фельдшер приемного покоя Коноплянников его туда устроил.

— Вот оно что! Выходит, вы сначала и не знали, что он с вами работает?

— Сначала не знала, а вот вы-то откуда все это знаете?

Елочка даже приподнялась на подушке.

— А я ведь у вас в клинике год назад на нервном лежала, забыли? Ну, а Дашков этот пришел раз к нам в палату с носилками; я его тотчас признала, даже окликнула; да только он не захотел быть узанным, иначе назвался.

Елочка нахмурилась — ее внезапно поразила мысль: не здесь ли следует искать объяснения всему случившемуся? Много раз она задумывалась над тем, каким образом стала известна фамилия Олега.

— И вы, очевидно, рассказали это своему супругу? — спросила она с нотой брезгливости в голосе.

— Нет, Елизавета Георгиевна, как Бог свят, не рассказывала.

— Анастасия Алексеевна, вы лжете! Весной Дашков был арестован как раз по обвинению в том, что скрывается под чужим именем. О, вы, конечно, не доносили! Вы только мило поболтали с вашим супругом, и вот результат — Дашков расстрелян два месяца тому назад!

Анастасия Алексеевна выронила полотенце и села.

— Да что вы говорите? Зачем вы меня пугаете? Господи, спаси нас и помилуй!

— Говорю то, что было! — Елочка закусила дрожащие губы, но через минуту, не в силах справиться с душившим ее волнением, воскликнула: — Уйдите от меня! Уйдите — слышите?!

— Елизавета Георгиевна, голубушка моя, не оставлю я вас больную, в постели. Не волнуйтесь так, ради Христа!

— Я не больна! Завтра я встану. Да хоть бы я в тифу опять лежала, ваших забот я не хочу!

— Елизавета Георгиевна, вот перед Богом говорю: я мужу про поручика ни слова не вымолвила! Довольно уж с меня этих вытянутых лиц и неслышных шагов... Чур меня! Ей-Богу, довольно!

— Нелепость какая! — с досадой воскликнула Елочка. — Дашков не явится вас душить — можете быть спокойны! Если бы дано ему было приблизиться к земле, он бы, во всяком случае, явился не к вам. Но мертвые уходят очень далеко — между нами и ними бездна!

— Вот и разволновались. Вы бы уснули лучше, миленькая. Я сейчас затемню свет, а сама — тут, на диванчике. Не отсылайте меня, солнышко мое! Непровинна я на этот раз. В квартире у нас сейчас уже все легли: После таких-то разговоров подыматься по темной лестнице, открывать ключом дверь в темную переднюю, идти до постели... Не понять вам, каково это — озиаться, нет ли кого за плечами... Я знаю, что будет день, когда глазам моим откроется кто-то очень страшный, и тут припомнится мне и выплунутое Причастие, и другие дела... Пусть я дура в ваших глазах — я боюсь...

— У вас тяжелая истерия, поймите вы это, ведь вы медработник, — сказала Елочка, а про себя подумала: «Мне во всем не везет: заболел я на несколько дней раньше, около меня была бы Ася, а не эта

недотыкомка». — Хорошо, оставайтесь. Дайте мне, пожалуйста, прополоскать горло, если уж так.

Анастасия Алексеевна посмотрела нерешительно на дверь, потом на Елочку:

— Полосканье-то у меня в кухне... Ах, батюшки мои! — Но вышла все-таки. Она боялась даже пройти по коридору.

Утром Елочка настояла, чтобы Анастасия Алексеевна шла домой, и почти вытолкала ее за дверь, уверяя, что здорова.

Через день она смогла выйти к врачу и была выписана на работу следующим днем. Выходя из поликлиники, она ощутила острый приступ тоски при мысли, что проведет одна весь предстоящий день... Мысли ее перебросились к Анастасии Алексеевне: «Я была с ней слишком резка. Она так заботливо хлопотала около меня, а я... Зайти, что ли, к ней? Тут недалеко... Пройдусь, снесу ей булки и колбасы и выпью с ней чаю. Она так всегда радуется мне!»

Еще подымаясь по лестнице, Елочка увидела, что дверь квартиры распахнута настежь. В передней стояли две соседки.

— Вот с полчаса, как увезли. Кричала, даже подралась с санитарями, ну, да тем не впервой — живо скрутили, — говорила одна другой. Обе повернулись к Елочке, когда та постучала в дверь Анастасия Алексеевны.

— Вам кого нужно? — спросили они, но в эту же минуту дверь отворилась и Елочка увидела перед собой Злобина.

— Сестра Муромцева! Войдите, пожалуйста. Знаете ли, какое несчастье? Жену только что отправили в психиатрическую.

Елочка содрогнулась:

— Как?! Что же случилось?

— Войдите, пожалуйста. Прошу вас сесть. Сейчас я расскажу вам все как было.

Елочка села на край стула не раздеваясь.

— Говорите. Я слушаю, — подчеркнуто сухо сказала она.

— Видите ли, состояние Насти ухудшалось со дня на день. Вы уже слышали, что она страдала депрессивным психозом и навязчивыми идеями, доходившими до галлюцинаций. Сначала ей белые офицеры мерещились под впечатлением репрессий, имевших место в Феодосии.

«При вашем благосклонном участии!» — едва не выпалила Елочка.

— Позднее она начала меня уверять, что ее атакует нечистая сила, — продолжал он. — Ох, намаялся я с этой женщиной!.. То она из собственной квартиры бежит, уверяя, что у нас на сундуке лиловый старик трясется, или лягушка, извольте ли видеть, под столом надувается. А то так на работе ей в ком-нибудь из больных мертвец почудится, и она при всем персонале за голову хватается, так что с работы ее отовсюду снимали. Однажды при моем товарище, враче, ворвалась в комнату — крестилась и молитву читала... Осрамила меня, можно сказать!

— Да, я все это знаю. Вы даже сочли нужным переехать от нее, — вставила Елочка.

— Совершенно верно, но — хотел бы я знать — кто бы на моем месте ужился с такой женой? Во всяком случае, я не переставал заботиться о ней. Полагаю, она вам говорила?

— Да. Я это знаю. Что ж дальше? — все с той же сухостью нажимала Елочка.

— В последнее время состояние ее резко ухудшилось. Надумала она к Причастию идти после общей исповеди, как теперь входит в обычай. Но при приближении к Чаше начались у нее нервные подергивания, и священник — мерзавец! — в Причастии ей отказал, потребовал, чтобы явилась к нему на индивидуальную исповедь. Я еще притяну к ответу этого батю! На индивидуальную исповедь она пойти побоялась, и страшно всё это ее расстроило. А тут как назло еще новое неприятное впечатление: узнала она от кого-то, что расстрелян поручик Дашков. Вы его помните! Нельзя было, разумеется, сообщать ей таких вещей, да разве от «добрых знакомых» устережешь? Она поручика этого однажды видела — до сих пор не разберу, наяву или в галлюцинации, — и теперь перепугалась, что он явится сводить счета. Упрекала меня, будто бы я с ее слов выдал поручика политуправлению и что он работал под чужой фамилией где-то санитаром. А между тем разговоров об этом поручике у меня с женой уже года два не было, и я никогда не слыхивал ни о каком санитаре под чужой фамилией. Видно, и в голове у Насти действительные факты уже перемешивались с вымышленными. Панически стала бояться темноты и умоляла меня не оставлять ее одну по вечерам. Я несколько раз заходил после работы и на ночь оставался; играл с ней в карты, заводил патефон — все это, однако, помогало только в моем присутствии. А вчера начала буйствовать. Сидели мы, видите ли, с ней вчера за картами, а тут пришел мой приятель — следователь по политчасти, мы с ним уже года два не виделись. Он хотел провести со мной вечер и рассказать о деле, которое только что вел и которое будто бы будет мне интересно. Я, однако, просил его при жене о делах не говорить и усадил за карты; вскользь он только упомянул, что удалось ему выследить махового белогвардейца. Ну-с, играем мирно в кинга, смеемся. Вдруг жена начинает дрожать. «Кто-то из нечистых поблизости, — говорит, — вот уже серой запахло, и на диване серый комок ворочается». Покосился я на диван — никого, разумеется; однако я уже сам не свой, сейчас, думаю, выкинет свой очередной номер. А она мне: «Отчего у твоего приятеля лицо меняется: то, гляжу, он, то незнакомый кто-то войдет в его лицо и снова выйдет... вон, гляди, тень за его креслом...» Я сквозь землю готов провалиться, начинаю извиняться. Приятель мой, как человек воспитанный, отвечает: «Ничего, ничего! Бывает... С больного человека что и спрашивать!» А жена вдруг как завизжит: «Нечистый здесь! Помогите! Он нечистого к нам в гости привел! Вон руку с когтями протягивает! Караул!..» Приятель мой поднялся уходить, а я с помощью соседок удержал жену и вызвал «скорую помощь». Те приехали, но заявили, что увезут только в психиатрическую. Вот и соседи слышали. Как видите, вины моей здесь никакой нет.

Он словно хотел оправдаться. Елочка молчала, подавленная. «А вот я, пожалуй что, и виновата!» — подумала она и спросила:

— Может это пройти? Как вы полагаете?

— Полагаю — нет! Мне прошлый раз еще психиатры говорили, что эта форма заболевания очень упорная, лечению не поддается. На этом основании мне тогда уже был дан развод, и если я Настю не оставлял, то только по моей доброй воле. Я думаю, вы, Елизавета Георгиевна, согласитесь, что держать ее на свободе становилось опасно — она могла учинить что-нибудь над собой... или здесь, в квартире...

— Это верно, — и Елочка встала, чтобы уходить.

— Елизавета Георгиевна, быть может, мы с вами встретимся и проведем вечерок вместе? Может быть, в кино или в театр соберемся? Мы с вами оба теперь одиноки... Я ведь еще в крымском госпитале, бывало, на вас заглядывался, да ведь женатому не подступиться было к девушке при прежних-то понятиях... А теперь, если бы вы только захотели...

Елочка в изумлении остановилась на пороге.

— Доктор Злобин, вы уж не предложение ли мне делаете?

— Предложение.

Что-то заклокотало в груди Елочки и поднялось к ее горлу... Первое в ее жизни предложение — и от кого же!..

— Так вот что я вам отвечу, доктор Злобин: я одинока, и лучшие мои годы уже позади, но требования мои по отношению к человеку, который может стать моим мужем, от этого не снизились: я прежде всего должна очень глубоко его уважать — биография его должна быть безупречна, а ваша... Вы меня поняли! — и вышла не оборачиваясь.

## Глава семнадцатая

Горе этой собаки по силе равнялось человеческому. Стоя уже несколько поодаль от Аси, она кроткими темными глазами и глубокой обидой и скорбью смотрела исподлобья на свою хозяйку, поджав хвост.

На Асе она сконцентрировала всю полноту привязанности; в тесной замкнутости ее сознания, в вынужденном безмолвии — глаза, голос и руки хозяйки были постоянным источником радости. Ладу и ночью и днем грызла тревога, как бы ей не оказаться оторванной от Аси, привязанность к которой уходила корнями к самым первым щенячьим воспоминаниям, когда крошечным шерстяным комочком она сосала палец Аси, обмотанный тряпкой, пропитанной молоком, и отогревалась в ее постели. Может быть, она считала Асю своей матерью — так или иначе, без Аси не было ни счастья, ни покоя собачьему сердцу! Вот ее хозяйка вышла... Лада не знает — куда... Если хозяйка берет с собой сеточку или корзину, значит, она скоро вернется и принесет с собой вкусные вещи, разбирая которые непременно что-нибудь сунет ей; но в этот раз она ушла без сеточки и без корзины — вернется ли, Бог весть! Лада встала с тюфячка и идет в переднюю, чтобы лечь у двери; и постоянно случалось, что она начинала радостно визжать и царапать дверь за пять-десять минут до того, как Ася входила в подъезд, и для всех оставалось загадкой, что могло послужить для собаки сигналом приближения. По утрам Лада подходила здороваться и лизнуть руку. Если Ася оказывалась еще в постели, то часто, нарочно лежа неподвижно, она подглядывала сквозь опущенные ресницы и видела совсем близко, около своего лица, собачью морду, которая пристально всматривалась в ее лицо; не обнаружив пробуждения, собака осторожно отходила, стараясь не стучать когтями.

Вечер. В квартире уже почти все легли, а молодая хозяйка задержалась со стиркой детского белья; беспокойство прогоняет у собаки сон, и всякий раз, заканчивая около двенадцати работу в кухне или в ванной, Ася видела собачью морду, которая тревожно-заботливо заглядывала к ней. Быть отделенной от хозяйки запертой дверью было всегда невыносимо для Лады — перед такой дверью она начинала подвывать совершенно особым образом, выделывая рулады на высоких нотах; Ася, смеясь, называла это «колоратурой», и Лада уже знала это слово. Если Ася запиралась в ванной, ее всегда выдавало присутствие у двери собаки. Способность к пониманию разговоров была у Лады необъяснимо развита. Несколько раз все становилось в тупик перед тонкостью ее реакций. Иногда она понимала самые длинные, запутанные фразы; так, однажды мадам сказала: «Возмутительно, что собака не выпила молока — теперь оно скиснет». Лада посмотрела на мадам долгим пытливым взглядом, поднялась и, подойдя к своей мисочке, вылакала молоко. Если вечером Ася говорила: «Возьми меня завтра с собой на лыжах, Олег», Лада садилась утром около Асиных лыж, и ее нельзя было заставить отойти. В семье даже вошло в обычай прибегать к французскому в тех случаях, когда нежелательно было волновать собаку. Один раз в жизни Лада попала на воровстве; она съела восемь котлет, оставленных в тарелке на столе. Операция была проведена мастерски: собака влезла на стул и уничтожила содержимое тарелки, не сдвинув ее с места. Мадам, подойдя к столу, с изумлением смотрела на опустевшую тарелку, и тут глаза ее встретились с глазами Лады — собака сама выдала себя: охваченная, очевидно, угрызениями совести, она бросилась к ногам мадам и, взяв в зубы подол ее платья, сидя на хвосте, засемила передними лапами, что у нее всегда служило выражением извинения. Никто не ударил Ладу, тем не менее она сумела сделать соответствующие выводы: больше она не крала, хоть бы мясо лежало под самым ее носом. Точно так же извинялась она, если ее щенята, расползаясь по комнатам, устраивали лужи на паркете — не менее серьезное нарушение собачьей морали! Лада понимала человеческие слезы: как только она видела Асю или Лелю плачущими, она ставила лапы им на колени и тянулась мордой к человеческому лицу.

В последнее время в жизнь Лады вошло много тревог: люди, окружающие ее хозяйку, стали исчезать

один за другим; семья таяла... Это было тяжело, но пока Ася оставалась с ней, собака не теряла присутствия духа; она только еще настойчивей ходила по пятам за Асей и все с большей тревогой проводила часы ожидания.

На вокзале, при посадке на поезд, Лада тотчас угадала, что ее могут не пропустить; она сжалась в комочек, прижала уши и крадучись в одну минуту проскочила под лавку; она не подавала ни одного признака жизни, и все-таки ее обнаружили и теперь гонят эти люди с грубыми голосами; они вытащили ее за ошейник из-под лавки, выбросили ее из теплушки на рельсы и швырнули ей вслед камнем. Ее хозяйка в отчаянии хватается их за руки и плачет — ничто не помогает! Поезд уже пыхтит, сейчас он тронется, а страшные люди не пускают ее подойти к вагону и грозят палкой. Хозяйка стоит теперь на самом краю теплушки, держась руками за раздвинутые двери, и полными слез глазами смотрит на нее... Взгляды собаки и человека встречаются, и безошибочное понимание делает слова ненужными!..

«Не вини меня, что я тебя бросаю! Мне запрещают — ты видишь сама! Я все так же тебя люблю и жалею; я знаю — ты без меня пропадешь, моя бедная, дорогая, хорошая! Больше мы с тобой не увидимся!»

«Я твоя верная Лада! Спасибо тебе за твою великую человеческую любовь. Спасибо за моих непородистых щенят, которых ты пожалела и выкормила. Без тебя для меня нет жизни. Прощай. Да будешь ты сохранена!»

Поезд двинулся. Асю пытались урезонивать:

— Ну, что вы! Что вы! Как можно так расстраиваться из-за собаки! Вы уже потеряли мужа и родителей и можете так плакать о животном!

— Эта собака любит меня, как человек. Она разлуку не перенесет. Добывать себе еду она не умеет! — в отчаянии повторяла Ася.

Поезд прибавил ходу. Маленькая станция и собака на пустом перроне остались позади...

Этот лагерь играл роль распределительного пересыльного пункта. После высадки на маленькой глухой станции туда погнали лавиной весь этап, включая и тех, кто следовал на поселение, а не на лагерные работы. Постройки были все деревянные — и длинные бараки, и настилы вместо земли, и высокие заборы с башнями по углам, и дощатые уборные... ни одного деревца или кустика; помимо барачных и уродливо торчащих уборных — амбулатория и кухня; и никаких других строений. Выдавали суп и хлеб, за которыми каждый сам должен был являться со своей миской; на маленьких кирпичных печурках, выстроенных на воздухе, разрешалось кипятить воду, печь картошку и варить кашу тем, кто имел некоторый запас провизии. Всюду царилась грязь; сыпали вонючий дуст, и тем не менее темные бараки кишели вшами.

Ася целыми днями неподвижно сидела в отведенном ей уголке на нарах, закутавшись в ватник и плед, с поджатыми ногами, и качала Сонечку. Всякий раз, когда надо было встать и куда-либо идти, ей приходилось делать над собой очень большое усилие; пересечь барак и дойти по деревянному настилу до ближайшей печурки представлялось ей огромной трудностью, требующей затраты энергии, которой у нее не было. Притом она уверила себя, что только пока она баюкает и обнимает ребенка, смерть не властна подойти к нему, и это суеверное, насильно навязывающееся чувство ее преследовало. Ей было страшно выпустить из рук Сонечку, страшно даже молиться за нее — как бы не вышло наоборот!

Иногда со дна ее души вырастал, как вздох, молитвенный призыв: «Пожалей! Спаси!» — поднимался и угасал. Состояние скованной неподвижности в углу на нарах с прижатым к груди ребенком было сейчас наименее мучительно, и она при первой возможности погружалась в эту скованность.

Славчик, напротив, все время находился в движении и вертелся, как волчок, заглядывая во все закоулки барака; появление его везде встречало самое ласковое приветствие.

— Славочка, поди ко мне, милый! Посмотри, что у меня есть, — подзывала ребенка худенькая женщина в пенсне — научная работница, притянутая к делу киевских академиков.

— А, вчерашний малыш! Ну, садись, садись, потолкуем, — приветствовал мальчика около печурки семидесятилетний улан Ее Величества — экс-красавец, военной выправкой несколько напоминавший Олега.

Асе постоянно случалось спрашивать у соседей:

— Вы не знаете, куда опять убежал мой малыш!

— Кажется, старик-волжанин его забрал, — отвечали ей.

— Нет, нет, он у меня — пряничек ест, — откликнулась из своего угла бывшая генеральша Панова.

Молоко или кисель для Сонечки занимали умы всех женщин барака. Все банки со сгущенным или сухим молоком были предоставлены в распоряжение Аси; постоянно кто-то из дам совал деньги дежурному стрелку (как называли в лагере конвойных) с просьбой раздобыть молока для ребенка. Не имея весов, трудно было сказать, достаточно ли прибавляет в весе маленькое существо, но крошечное личико белело и округлялось.

Ася была молчалива. Несмотря на заботу, окружавшую ее со всех сторон, разговаривать с людьми и тем более рассказывать о своей судьбе казалось мукой.

Почему-то часто вспоминалось детство, а жизнь с Олегом отступила куда-то в прошлое... Светлая солнечная детская белая кроватка, игрушки, заботливые лица, колыбельные песни, плюшевый мишка... Ей вспоминались утра в детской; просыпаясь рано и открывая глаза, она часто испытывала чувство блаженной и светлой легкости; тогда, в утренней тишине комнаты, ощущалась особенная прозрачность, на каждой вещи как будто лежал светлый покров, который в такие минуты был доступен ее восприятию — точно вдруг открывало зрение на невидимое! Может быть, эта святость шла от белых гиацинтов, которые всегда в те годы стояли на окнах детской. Как она любила это состояние — лежит, бывало, и боится двинуться, чтобы не спугнуть его, и хочется, чтобы подольше не приходили будить. Теперь это навсегда ушло. В последний раз большую восторженную радость она ощутила после рождения Славчика.

Она слышала раз, как улан в разговоре с Пановой назвал ее сломанным цветком.

Лагерь весь деревянный.

— Совсе землицы нет. Грачику и тому пройтись негде будет — червячка клонуть, — говаривал дядя Ваня — старый волжанин, который сидел за то, что назвал колхозный строй пагубным.

Лагерь весь деревянный... тоска! Однажды Асе пришли на память вопли одной из жен в сказке о Синей Бороде: «Погляди с высокой башни — не крутится ли пыль в поле, не скачут ли мои братцы мне на помощь!» — «Нет, никого нет в поле! Только стадо баранов идет...»

Так и им — нет избавления, нет помощи! В груди — словно стержень из застывших слез...

Если бы мама или мадам могли себе вообразить, что их Асю и ее детей будут заедать вши и она будет чесать себе спину о грязные стены тюремного барака!.. Говорят, детство вспоминает тот, кто умрет скоро!

Около печурок постоянно толклись люди, и там возникали слухи, достоверность которых никто не мог поверить. Так, скоро пронесся слух, что в лагере получены требования с ближайших строек: прислать на работу заключенных, имеющих те или иные ценные специальности, и особенно много будто бы требовалось инженеров, слесарей и врачей. Скоро после этого заключенных спрашивали, по какой

специальности может работать каждый и каков его образовательный ценз. Ася слышала, как некоторые говорили, что высылка иногда хуже лагеря, который все-таки гарантирует похлебку, кусок хлеба, крышу над головой и товарищей, в то время как в ссылке человека просто выбрасывают за борт в самых неблагоприятных условиях. Лично она была другого мнения: в предстоящей ссылке теплилась надежда попасть в деревню, поближе к лесу, и тогда у детей будет молоко и воздух, а вокруг — зеленое царство; самая жестокая нужда казалась ей лучше лагерных барачков и труда под понуканье конвойных; их шаги, голоса и фигуры внушали ей ужас.

Через несколько дней большая партия заключенных — главным образом мужчин — была отправлена из лагеря на грузовиках; на следующий день еще одна уведена пешком строем. Говорили, что двигаются в направлении железнодорожной станции. Остались самые «никчемные», как шутя выражалась генеральша Панова, — не имеющие никаких ценных специальностей.

Через день или два на рассвете прозвучал клич:

— Собирайся на отправку, складывай вещи, не канителься!

В опустевших бараках зашевелились полубольные шаркающие старухи, взятые за происхождение или чиновных мужей и переговаривавшиеся между собой на безупречном французском языке.

— Торопитесь, бабки, торопитесь! Лагерь становится сейчас на дезинфекцию! Торопитесь, белогвардейские подстилки! — скалил зубы молодой конвойный, проходя между нар. — Упаковала, что ли, своих сосунков, красотка? Молока опять? Да я бы, может, и принес, но уж очень ты несговорчива — занятого человека битый час у ворот зря торчать заставила. Поклонись теперь Федьке — он подберет меня.

Ася с пылающими щеками молча пеленала Сонечку.

— Не волнуйтесь, деточка! Чего и ждать от такого хама. Лучше не отвечайте вовсе, — шепнула Панова, натягивая рейтузы на Славчика. — Доедем и без молока — везут недалеко. Игнатий Николаевич сам слышал, как шофер говорил, что запасного бензина ему не потребуется.

Высадили часа через два в небольшом городке.

Когда партия стояла около грузовиков на дворе перед длинным зданием местного гепеу, один из начальников, с нашивками, в папахе, вышел из здания на крыльцо и провозгласил:

— Ага! «Соэ»! Сколько тут этих «соэ»?

Произвели поименную перекличку, сдали и приняли под расписку, — и грузовик с несколькими гепеушниками на нем запыхтел и повернул обратно.

— Товарищ начальник, разрешите задать вам один вопрос, — обратился тогда к человеку в папахе старый улан. — Что такое «соэ»?

Ответ был очень глубокомыслен и вразумителен:

— «Социально опасный элемент». Как же вы, гражданин, не знаете, что собой представляете?

— Никто не оповестил меня о перемене моего звания: в Соловках меня относили к «роэ», и это означало: «рота отрицательного элемента», — ответил улан.

— Молчать! — крикнул человек в папахе, уловив насмешку в звуке этого спокойного голоса.

Мужчин отделили и увели в здание, а женщин после повторной переклички объявили свободными — с обязательством являться на перерегистрацию два раза в месяц. Ворота открылись, и женская часть «соэ» оказалась посередине улицы под медленно падающими со свинцового неба снежинками.



Вещи великодушно разрешили оставить на пару суток в гепеу. Предполагалось, что за эти сутки ссыльные подыщут себе помещение.

— Vais que donc faire? Oh, mon Dieu!<sup>[97]</sup> — пролепетала бывшая смолянка, уже седая, прозванная между ссыльными Государыней за то, что она каждые пять минут углублялась в воспоминания, неизменно начинавшиеся словами: «Когда покойная Государыня Императрица приезжала к нам в институт...» Речь свою Государыня постоянно пересыпала французскими фразами, и это, в соединении с валенками и деревенским платком, производило весьма странное впечатление.

— Ничего, ничего! Никогда не надо отчаиваться! Хуже, чем было, не будет, — бормотала в ответ оптимистка Панова, считавшая своей обязанностью поддерживать бодрость в маленьком отряде, как это делал когда-то ее муж в своем.

— Гражданочка, а гражданочка! — закудахтала в эту минуту крошечная старушка из местных жительниц, которая остановилась с двумя ведрами на коромысле против ворот гепеу, созерцая торжественный выход «соз». — Ты, что ли, гражданочка, крестьян мутишь? Видать, из господ, а мне сын-партиец сказывал, что бывшие господа на саботаж, мол, сегодня подбивают и отравляют наши колодцы...

— Я, я, как же! Во всех бедствиях виновата я, — ответила Панова, с трудом волоча больные распухшие ноги. — Софья Олеговна, агу! Самое страшное уже позади, — и, подхватив под живот худую, как скелет, кошку, перебежавшую ей дорогу, немедленно присоединила ее к «соз».

Все пространство вокруг наполнилось медленно падающим снежным пухом.

## Глава восемнадцатая

Надежда Спиридоновна наконец устроилась более или менее сносно: на деньги, высланные Микой за продажу гравюр, она поставила в своей комнате печурку, а на те, что получила за продажу каракулевого сака, вставила вторые рамы и запаслась дровами.

Тимочка был здоров и тоже очень доволен печкой; клопов и тараканов в этой избе не было (в противоположность предыдущей, из которой они бежали), мужчин тоже, к счастью, не было! Хозяйка попала женщина тихая, честная и аккуратная; она мыла Надежде Спиридоновне пол по субботам и безотказно подавала ей утреннее молоко. Картошка и керосин у Надежды Спиридоновны были заготовлены на всю зиму; длинные нити хороших боровичков, собственноручно собранных в ближайшем лесу, висели около печки рядом с такими же нитями луковиц; порядочная сумма денег осталась еще нетронутой. Таким образом, предстоящая зима Надежду Спиридоновну не слишком пугала, и она уже начала надеяться, что мытарства ее кончились... И вдруг — неожиданное осложнение!..

В этот злополучный день она вышла прикупить себе около булочной хлеба не раньше не позже, как за час до своего обеда; в Заречной слободе на перекрестке — там, где был сложен тес, — сидели на досках несколько женщин с котомками; одна из них, совсем еще юная, подняла в эту минуту голову...

«Какое одухотворенное лицо у этой девушки!.. Кого она мне напоминает? — подумала Надежда Спиридоновна, оборачиваясь, чтобы взглянуть еще раз на этот прозрачный лоб, длинные темные ресницы и иссиня-серые глаза, которые как будто бросали тени на нежные веки. — Ах, Боже мой! Да ведь это молодая жена Олега Дашкова — поручика Его Величества лейб-гвардии кавалергардского полка! Как она изменилась!..»

В первую минуту Надежда Спиридоновна обрадовалась встрече; ей представилось, что Ася приехала по поручению Нины и привезла ей денег, масла и сахару; поэтому, когда Ася бросилась к ней, она почти нежно обняла ее и поцеловала; тотчас, однако, выяснилось, что ситуация иная в корне: помощи ждут от нее, от Надежды Спиридоновны, и отказать немислимо — все эти женщины в самом безвыходном положении, и все ее круга: фамилии, французские фразы и упоминания о Государыне Императрице не оставляли сомнений! Если бы ее окружили деревенские женщины, она, не церемонясь, разогнала бы их, но светский такт несчастной генеральши, эти деликатнейшие уверения и извинения, эти «Entre nous soit dit»<sup>[98]</sup> и «Vous avez raison, ch'ere amie»<sup>[99]</sup> обезоружили старую деву. Она повела к себе завшивленных и голодных дам. Никогда еще в жизни человеколюбие Надежды Спиридоновны не поднималось до такого пика!

Но хватило этого человеколюбия только на одни сутки.

Уже на следующее утро, воспользовавшись минутой, когда Надежда Спиридоновна вышла на погреб с крынкой сметаны, старая генеральша подошла к Асе и, целуя ее в лоб, сказала:

— Нам придется теперь же покинуть дом вашей родственницы: мы, разумеется, ей в тягость. Вы сами отлично видите, что она даже не пытается это скрывать. Не вздумайте, пожалуйста, уходить с нами из каких-либо товарищеских чувств: ваше положение совсем другое.

В эту минуту вошла Надежда Спиридоновна.

— Ch'ere amie, — обратилась к ней с улыбкой Панова, — мы вам чрезвычайно благодарны за ваше гостеприимство, но пора ведь и честь знать! Вашу милую Асю мы, разумеется, вам оставляем, а сами постараемся подыскать себе постоянное жилье.

Надежда Спиридоновна пробормотала из вежливости две-три фразы и поспешила проститься.

Почему именно Надежда Спиридоновна!» — с тоской подумала Ася.

В самом деле: почему в этом глухом, забытом Богом Галиче Ася встретилась не просто с какой-нибудь случайно знакомой доброй женщиной, а именно с этой Надеждой Спиридоновной?..

Утро.

— Что это ваша Сонечка так плохо спит? Никогда, в самом деле, покоя нет из-за этого ребенка!

— Извините, пожалуйста, Надежда Спиридоновна. Она только раз пискнула: она мокренькая была! Я ее на руках закачала, лишь бы она скорей умолкла.

Надежда Спиридоновна спускает ноги с кровати, Ася кидается к ней.

— Ни к чему! Я отлично сама могу достать мои туфли: я ставлю их всегда на одно и то же место и нахожу ногами безошибочно.

Ася отскакивает от нее к Славчику.

— Осмотрите повнимательней белье ребенка: наверное ли не осталось вшей? За воротником поищите. Ведь это самое большое бедствие, какое только можно вообразить.

— Нет, нет, Надежда Спиридоновна, ничего не осталось. Ведь я все белье намочила сначала в керосине, потом перестирала и каждую складку прогладила горячим утюгом. Ничего не осталось.

— К чему вы так кутаете ребенка? Что это за фуфайки? Мальчишку закалять следует. Как замечательно закаляли нас в Смольном — каждое утро до пояса холодной водой. Точно так же и мальчиков в корпусах.

— Я вовсе не кутаю: муж запрещал мне это с первого же дня. Но Славчик все время выскакивает в сени, он с насморком, а в сенях ниже нуля — там вода замерзает.

— Кстати, в сенях у вас сложена гора мокрых пеленок; скоро от детских пеленок деваться будет некуда.

— Я сегодня все выстираю. Я вчера не успела. Вы ведь видели...

— Всегда одно и то же! Отчего я все успеваю?

Ася молчит.

— Накрывайте стол, а я пойду в сени мыться; мне семьдесят два, но я моюсь всегда ледяной водой и никаких простуд не боюсь.

Через десять минут, совершив свое героическое омовение, Надежда Спиридоновна возвращается в комнату.

— Так и есть! Стол, конечно, не накрыт! А вы ведь уже знаете, что я имею обыкновение садиться ровно в восемь. Я своих привычек менять не намерена.

— Извините: Сонечка опять запищала. Сейчас все будет готово!

Ася бросается к деревенскому погребу с посудой.

— Зачем вы этот хлеб на стол кладете? Спрячьте обратно — есть краюшка почерствее: подавать надо в порядке очереди. А кофе я заварю сама: вы не знаете, сколько ложек надо засыпать, чтобы было достаточно крепко. Смотрите: ваш Славчик схватил мой флакон. Ребенок должен знать, что чужие вещи он трогать не смеет, и воспитывать ребенка надо с самого начала. Запомните!

Дощатый кривой стол наконец накрыт заштопанной, но прекрасной затканной скатертью «из прежних»; около места Надежды Спиридоновны ее любимая северская чашка и серебряный кофейник, а на

нем «матрена», разодетая и вышитая ее собственными руками. Оттенок благодушия разливается по лицу Надежды Спиридоновны, когда она усаживается на свое хозяйское место, обозревая стол. Эта молоденькая Дашкова хоть и невыносима своей бестолковостью и вечно пищащими младенцами, но в отсутствии субординации ее никак нельзя упрекнуть: она пододвинула ей под ноги скамеечку, а за столом сидит выпрямившись, прижав локти и опустив глаза, как только что выпущенная институтка: видно по всему, что она прошла строгую школу воспитания и с детства приучена уважать старших.

— Налить вам кофею, Ася?

— Пожалуйста, Надежда Спиридоновна, — и Ася берется за сахарные щипчики.

— Как? Вы в кофе сахар кладете? Вы, стало быть, в кофе ничего не понимаете! Натуральный кофе — благороднейший напиток, но он должен быть крепкий и горький; вся его прелесть как раз в благородной горечи. Возьмите теперь ложку меда — это деревенский, настоящий; я ходила за десять километров в Цицевино. А масло закройте колпачком — пусть останется нам на завтра. Здесь масла достать нельзя — я сама сбиваю его и подбавляю морковного сока. Человек должен все уметь делать. Истинное величие духа в том и состоит, чтобы никогда не опускаться и не изменять своим правилам. Бабушка ваша, кажется, отличается твердостью духа и, разумеется, благородством манер — вот берите пример с нее, а то теперь молодежь даже в лучших семьях разучилась себя держать. Нина и та в последнее время стала слишком непринужденна: при каждом готова на смех и на слезы, юбка короткая и всегда бегом, как девчонка. А ведь наш род очень древний.

Ася молчит.

— Очень древний, а со стороны матери еще древнее: генеалогическое древо наше корнями уходит в Рим — мы ведь от Сципионов.

Ася с робким изумлением поднимает на Надежду Спиридоновну глаза.

— А ваш род?

— Дашковы, кажется, от Рюрика, а Бологовские... не знаю, не помню... Знаю, что герб наш — олень и башня — вышиты бисером у бабушки на подушке.

— Рюрик... Что такое Рюрик по сравнению со Сципионом!.. — задумчиво отзывается Надежда Спиридоновна, подымая глаза к потолку.

После второй чашки кофе Надежда Спиридоновна любила что-нибудь вспомнить и рассказать...

— Первый раз за границу я ездила еще с отцом и братом, молодой девушкой. Мы провели месяц в Ницце — очаровательный город! В то лето там было много русских. Один гвардейский офицер сделал мне тогда предложение, но мой отец отказал ему в моей руке, поскольку офицер этот оказался игрок и уже спустил в Монако свою подмосковную. Позднее я ездила в Лозанну с братом и маленькой Ниночкой, а в Германии я была несчетное число раз в сопровождении одной только Нюши. Тогда это было очень просто: сунешь дворнику пять рублей, и он на другой же день принесет себе заграничный паспорт. Видели вы Сикстинскую мадонну? Я, бывало, садилась на кресло напротив картины и подолгу не спускала глаз. Рафаэль гениально запечатлел на полотне младенческое очарование и тонкую прелесть материнства.

— Мерси, Надежда Спиридоновна. Разрешите мне встать: время кормить Сонечку.

— Суета всегда с вами какая-то: не поговоришь, не посидишь спокойно. Зачем вы сливочник этот схватили?

— Немножко молока... девочке...

— В этом сливочнике — утреннее: для меня и для Тимура. Возьмите вчерашнее вон из той кастрюли,

оно еще вполне свежее. Надо вам сегодня же поискать комнату. Я уже с неделю твержу одно и то же.

— Я и сама очень хочу переехать. Я ведь понимаю, что вам беспокойно с моими детьми. Отделите меня, пожалуйста, хоть в хозяйстве. У меня нет лишних денег и запасов провизии. Мне было бы удобней самой покупать и стряпать... а то я... мы все за ваш счет...

— Глупости: ни в каком случае я не хочу, чтобы моя комната походила на коммунальную кухню. Пока вы не выехали, вы — моя гостья. Только я вас прошу повнимательнее относиться к моим требованиям: вы вот брали совок мусор подобрать, а назад не поставили...

Ночь.

— Опять сморкаетесь? Что это вы за привычку взяли плакать по ночам? Думаете, я не слышу? Только задремлешь — и непременно помешаете или вы, или ваша Соня.

Тимур и тот казался отвратителен Асе: было что-то слишком самоуверенное в той важности, с которой он укладывался на свое излюбленное место на лежанке или брезгливо лакал свое утреннее молоко; фыркая на Славчика, он, казалось, сознавал превосходство своего положения; казалось, он наушничает хозяйке. Однажды, оставшись с ним наедине и встретившись с его желтыми круглыми глазами, Ася не выдержала и сказала:

— Подлиза, интриган, любимчик! Никогда еще не встречала таких злых, сухих и мелочных, как ты и твоя хозяйка!

Кот смотрел на нее не мигая и как будто говорил: «А я передам кому следует!»

Раза два Асе удалось вырваться из дома и обегать соседние дворы в поисках комнатухи, но тщетно! В одном доме комната подвернулась было, но как только хозяева узнали, что у нее два младенца, тотчас отказали. Времени на более обстоятельные поиски не хватало.

Еще недавно ей казалось, что вещи не имеют большой цены и терять страшно только людей... теперь она начала думать иначе: насколько легче было бы ей в своей собственной комнате, там, у себя, где ласка исходила от каждого предмета! Она могла бы свободно поплакать, спрятавшись в бабушкино кресло со знаменитой подушкой; помолиться все за тем же шкафом; утром взять детей к себе на две составленные рядом кровати и покувыркаться с ними; никто не посмел бы ее одернуть, сколько бы Сонечка ни плакала, а согревая молоко, она могла схватить любую кастрюльку! Там, в ее спальне, в кресле-качалке, остался сидеть, растопырив лапки и вытаращив глаза-пуговицы, ее старый любимец, — плюшевый мишка с оторванным ухом. Мадам, обладавшая большой фантазией, уверила ее когда-то, что игрушки иногда оживают, согреваемые духом человека, — они становятся «полуживыми»; мысль эта, заброшенная в сознание девочки (очевидно, с целью продлить интерес к игрушкам), сделала то, что Ася в продолжение еще многих лет считала одушевленным своего мишку и до последнего времени не могла вполне разделаться с этой уверенностью... Она во что бы то ни стало хотела взять медведя с собой, уже воображая его на ручках Сонечки; но в минуту отъезда, в слезах выходя из квартиры, забыла — он так и остался, бедный, в качалке, а новые обитатели, может быть, выбросили его на помойку. Хоть бы маленький Павлик взял его себе. Как-то теперь Павлик? Он начал ходить в школу — учится, наверное, плохо и получает оплеухи... Без нее никто его не пожалеет... Спустя дней десять после водворения у Надежды Спиридоновны Ася получила денежный перевод от Елочки, которой сообщила свой временный адрес. С деньгами в руках она робко приблизилась к Надежде Спиридоновне.

— Я вам должна... мы все время питались за ваш счет... Теперь я получила деньги и могу с благодарностью...

Старуха выпрямилась.

— Денег от вас я получать не желаю. Ася, я возражений не потерплю. Поберегите эти деньги на свое переселение. Как обстоит дело с комнатой? — И, выслушав информацию, прибавила: — Ну, разумеется! Быть в соседстве с детьми — маленькое удовольствие!

Ася вздохнула: с некоторых пор она постоянно чувствовала себя виноватой в том, что у нее есть дети! Тем не менее то достоинство, с которым Надежда Спиридоновна отвергла все расчеты, произвело на Асю впечатление. Впрочем, все добрые чувства рассеялись в тот же вечер, когда в шкафу, который Надежда Спиридоновна держала обычно закрытым на ключ, мелькнул большой коробок, полный крупных, отборных яиц. Она прятала их от Аси и, видимо, ела тайком. Ася почувствовала, как щеки ее запылали — ей стало досадно и противно.

На следующий день Надежда Спиридоновна снова отправила ее на поиски жилья. Пробираясь в валенках с сугроба на сугроб вдоль канав в фиолетовых сумерках, Ася удивилась пустоте улиц — за глухими заборами, казалось, не было вовсе никакой жизни! Тощая собака рылась в мусорной куче, и Асе вспомнилась Лада.

Внезапно слуха ее коснулись звуки «Чиарины», доносившиеся из окон невысокого деревянного дома. Она остановилась, схватившись за колья калитки. Играл несомненно дилетант, но играл «с душой», незаученно, сначала «Карнавал», а потом — «Крейслериану».

Дом, ее родной дом, милые родные лица, милые родные комнаты, любовь, ласка, музыка — все, что уже не вернется никогда. Она не знала, сколько времени простояла тут! Музыка смолкла, а она все не двигалась, погруженная в горькие думы...

С деревянного крыльца на пустой заснеженный дворик вышел человек, тоже в валенках, в полушубке и ушанке, и подошел к калитке.

— А я, кажется, неплохо играл сегодня, — весело сказал он.

— Я не ожидала, что здесь зазвучит Шуман, — смущенно пробормотала Ася.

— А я не ожидал, что в этой дыре найдутся квалифицированные слушатели. Рояль этот вывезен из дворянского особняка и стоит в пустой зале здешнего клуба; я выхлопотал у заведующего разрешение приходить играть на нем, что и вам советую сделать, если владеете инструментом. — Он окинул ее взглядом: — «Пятьдесят восьмая» наверно?

Ася молча кивнула.

— Стало быть, товарищи по несчастью. Разрешите представиться: Кочергин Константин Александрович, врач. Жена моя у нас на квартире держала эсеровский центр, и по этому случаю сижу в этой дыре, хотя ни одного эсера в глаза не видел. Ну, а жена запрятана еще дальше, и о ней уже пять лет не имею сведений. Ну, а вы, очевидно, за отца? Или за мужа?

Ася безнадежно махнула рукой и выбралась из сугроба на тропинку.

— Куда вы торопитесь? Давайте помузицируем вместе, отведем душу. У меня кое-какие ноты там сложены. Вы в четыре руки играете?

— Играю, но я не могу задерживаться — у меня дети.

— Дети?

— Да, двое.

— Да сколько же вам лет?

— Почти двадцать три года. Я побегу. С детьми моя grand-tante, она на меня рассердится.

— Постойте, подождите, ну, подождите же! Дайте ваш адрес. Вы, по-видимому, себе еще не представляете, какая дыра этот Галич: человек здесь находка! Кроме того, не забывайте, что я — врач и могу пригодиться при случае. Хотите, я пропишу рыбий жир и витамины вашим малышам? При себе рецептных бланков у меня сейчас нет, но если вы зайдете в поликлинику, где я работаю, я вам устрою это.

Когда на следующее утро Ася попросила разрешения сбегать на полчаса к доктору, с которым познакомилась накануне, Надежда Спиридоновна так и подскочила:

— Как?! Вы с мужчинами знакомитесь? Я вас отпускаю поискать крова, а вы изволите флиртом заниматься, сударыня? Вздумаете, чего доброго, сюда неведомо кого приводить! Имейте в виду: я мужчине не разрешу перешагнуть порог моей комнаты! Если желаете заключать легкомысленные знакомства — вон из моего дома! — Крючковатый подагрический палец вертелся около самого лица Аси.

Напрасно Ася старалась объяснить, что не помышляла о флирте: Надежда Спиридоновна успокоилась только после того, как вынудила у нее обещание не идти за рецептами. Видя, что Ася от обиды расплакалась, она сочла нужным ей пояснить.

— Испорченной я вас не считаю, можете не обижаться, Вы, очевидно, просто дурочка: вам не шестнадцать лет, и вы могли бы уже понять, что ни один мужчина никогда ничего не делает для женщины без задних мыслей. Как же можно доверять таким существам?..

Кочергин напрасно в это утро метался от пациента к окну в маленьком кабинете местной поликлиники.

Тем не менее в гороскопе Надежды Спиридоновны было написано, что порог ее девственной кельи мужчина все-таки переступит.

Славчик начал «кукиться», по выражению любезной grand-tante, и на следующее утро оказался в жару. Ася испугалась, что ребенок схватил воспаление легких; Надежда Спиридоновна полагала, что это всего-навсего грипп, но грипп, как заболевание заразное, опасен для окружающих. Предосторожности ради Ася переместила Сонечку подальше — на лежанку, к великому негодованию Тимура, сердито горбившего спину.

Надежда Спиридоновна была очень недовольна случившимся.

— Этого еще недоставало! — повторяла она, прохаживаясь взад и вперед по комнате с озабоченным и хмурым видом. Ася исподлобья пугливо взглядывала на нее. Днем температура поднялась до тридцати девяти. Страхнув градусник, Ася молча с решительным видом подошла к своему ватнику, висевшему у двери, влезла в валенки и повязалась платком.

— Куда? — сурово спросила ее Надежда Спиридоновна.

— За доктором, — сдержанно ответила Ася. Она уже приготовилась к буре, но Надежда Спиридоновна промолчала, очевидно, она учла, что в этот раз ей Асю не остановить, и, как женщина умная, решила, что не следует зря тратить свой порох.

Этот человек появился в избе у перепуганных женщин как добрый гений: надувшемуся и заплаканному Славчику он прежде всего устроил из пальцев «козу рогатую», потом пощекотал ему ладонь и, напевая «сороку-белобоку», забрал ребенка на руки и совершенно незаметно выслушал и выстукал маленькую грудь и спину. Запущенная в горло ложка вызвала горькую обиду со стороны Славчика, очевидно, пожалевшего о преждевременном доверии к чужому человеку, но новый доктор его легко успокоил рассказом про kota в сапогах, после чего Славчик снова пожелал вернуться к нему на колени.

Не спуская ребенка с рук, Кочергин давал свои наставления: по его мнению, у Славчика был бронхит, с которым надо было как можно скорей покончить, чтобы он не перешел в воспаление.

— Если есть банки, давайте! Я сейчас поставлю. Нет? Хорошо, я сейчас принесу свои и, кстати, в аптеку забегу за лекарствами и скипидаром. Вы сами чрезвычайно изнурены, Ксения Всеволодовна, я достану вам глюкозу, аптекарь меня знает. А вам, Надежда Спиридоновна, не нужно ли чего-нибудь? Кости болят? Спирта Лори у нас в аптеке, конечно, нет, но у меня дома была бутылка — я захвачу. Итак, отправляюсь, не тратя времени даром.

Вернулся он очень скоро и, продолжая забавлять Славчика сказками и прибаутками, поставил ему банки, после чего, освидетельствовав маленькую Сонечку, объяснил, в каких дозах следует ей давать витамины и рыбий жир. Надежда Спиридоновна была приятно поражена обходительностью и вниманием нового доктора, даже решила показать ему пораненную лапу Тимура, которую Кочергин удивительно ловко промыл и перебинтовал, несмотря на фыркание «интригана».

Уже надев тулуп и стоя с ушанкой в руках у низенькой двери в сени, Кочергин говорил:

— Завтра после работы я забегу узнать, как дела, и сделаю опять банки. Микстуру я заказал и принесу с собой да еще прихвачу вам ваты и марли для маленькой. Нет, нет — я с ссыльных не беру денег: мы товарищи по несчастью, ни в коем случае!.. Да, я с детьми умею: у меня тоже сынишка, но я его не видел уже три года — он в Ленинграде с моей тещей...

Ася выскользнула в сени и, появившись снова на пороге и в упор глядя на Надежду Спиридоновну, сказала:

— Чайник уже вскипел...

Надежда Спиридоновна поняла ее маневр.

— Оставайтесь выпить с нами чаю, — выговорила она волей-неволей, но новый доктор окончательно завоевал ее расположение тем, что отказался сесть за стол — он уверил, что ему до вечера надо сделать еще один визит. Прощаясь, поцеловал руки Надежде Спиридоновне и Асе.

Когда, проводив врача до крыльца, Ася вернулась в комнату, Надежда Спиридоновна торчала сухой палкой около колыбели Сонечки и низким, хриплым голосом, почти басом, напевала ей, картавя, французскую песенку:

Ainsi font, font, font  
Les petites marionnettes,  
Ainsi font, font, font,  
Les jolies petites fillettes.  
Ainsi font, font, font,  
Trois petits tours et puis s'en vont...[\[100\]](#)

На следующий день опасность воспаления легких у Славчика миновала. Кочергин принес крупу, сахарный песок, сало, яйца.

— Мне пациенты суют — оправдывался он.

Ася подошла забрать свертки и прошептала:

— Я вам так благодарна... Вы так добры... не знаю, чем смогу отплатить вам...

Славчик топал ножками на ее коленях, и она, обнимая сына, говорила:

— Ну вот, теперь мой зайчонок скоро поправится: мама будет давать мальчику-зайчику овсяную кашку и гоголь-моголь...



Прижимаясь щекой к горячей щечке ребенка, Ася подняла глаза на Кочергина, который приготавливал в эту минуту горчичник; он смотрел на нее. И что-то было в этом взгляде. Что-то мужское и хищное.

Когда вернулась Надежда Спиридоновна, Ася показала ей коробок с яйцами, принесенными Кочергиным:

— Это будет вам и Славчику.

Старуха несколько смутилась.

— Заботьтесь о ребенке, у меня есть свои.

И с этого дня стала варить себе по парочке, каждый день пересчитывая остаток. Стоя над кастрюлей, в которой кипели яйца, она всякий раз читала по три раза «Отче наш», что у нее служило, по всей вероятности, меркой времени. Это неудержимо раздражало Асю: разве как рецепт для варки яиц дал эту молитву милосердный Иисус Христос?

Через несколько дней Асе пришлось выйти вместе с Кочергиным, чтобы зайти в аптеку, сам Кочергин торопился к пациенту. Едва лишь они вышли на темную улицу, как, овладев ее рукой, он сунул ей в варежку тридцатирублевку.

— Нет, Константин Александрович, ни за что! Возьмите обратно!

— Послушайте, я это делаю ради детей, — сказал он, останавливаясь, — я отлично вижу всю безвыходность вашего положения. Мне заплатили за визит; я обычно отказываюсь от оплаты, а в этот раз принял, имея в виду отдать вам. Здесь есть небольшой базарчик — сбегайте туда завтра утром: там продают мед, молоко, квашеную капусту, свинину. Поймите: все это необходимо и для вас, и для Славчика, и для малышки.

— У вас своя семья, а мне помогает одна добрая душа, мой друг, — все еще отбивалась Ася.

— Простите нескромный вопрос: этот друг — женщина или мужчина?

— Женщина.

Они помолчали.

— Возьмите ваши деньги, Константин Александрович.

— Нет, не возьму! Станный народ женщины! Если бы я раскатился к вам в день ваших именин в Петербурге с корзиной роз или флаконом духов, вы приняли бы не колеблясь, хотя это стоило бы много дороже. Но когда я прошу принять деньги, чтобы накормить больного ребенка, вы оскорбляетесь!..

— Я не оскорбляюсь — я не хочу. Как я потом рассчитаюсь с вами?..

Он насвистел какой-то мотив и прибавил:

— Вот чего вы опасаетесь.

— Я не понимаю вас, — ответила Ася.

— Узнали фразу, которую я насвистел вам?

— Нет.

— Нет так нет. А может быть, и припомните...

Тридцатирублевка все-таки перешла в руку Аси.

Уже ночью, лежа без сна и напряженно прислушиваясь к дыханию детей, Ася вспомнила вдруг мотив,

который насвистел ей Кочергин, — Римский-Корсаков, «Царская невеста», второй акт: «С тебя — с тебя немного: один лишь поцелуй!..» И опять женский инстинкт шепнул ей: «Осторожней!» — точно так же, как женщинам другой категории этот же инстинкт шепчет: «Поднажми!» или: «Здесь клюнет!»

Она теперь уже знала биографию этого человека. Ему около сорока; он не был аристократом и, узнав фамилию Аси, сказал: «Я не из этого числа». Однако он насчитывал за собой несколько поколений с высшим образованием. Диплом врача он получил весной 1914 года и сразу же попал на фронт молодым ординатором; во время гражданской войны продолжал работу в госпитале на территории красных; был арестован чекистами по обвинению в намерении перейти линию фронта; о последнем событии он рассказывал так:

— Прозябали мы в великолепной тюрьме, голодные и полуживые, без всякой надежды выбраться; каждый день кого-то из нас уносили в тифу. В одно утро заглянули к нам чекисты и вызвали нескольких человек на работы по очистке города; среди них — моего товарища, который лежал без сил в злейшей цинге; я вызвался отработать за него. Привели нас в солдатские кухни, велели мыть полы и воду носить, а повара попались ребята хорошие и накормили нас до отвала. На следующий день, как только чекисты сунули нос в камеру, все мы как один повскакали: «Меня возьмите, и меня, и меня!» Да только новой партии не посчастливилось: целый день уборные чистили и маковой росинки во рту не было! Потом меня начали водить под конвоем в дом к одному крупному великолукскому партийцу, у которого жена лежала в тифу. Я набил себе руку на ранениях, а в терапии был тогда слаб — не уморить бы нечаянно, думаю, пропадет тогда моя головушка!.. Поправилась она на мое счастье, и партиец этот в благодарность похлопотал о пересмотре моего дела. Весной двадцать второго года меня за «отсутствием улик» выпустили наконец на Божий свет. Квартира моя за эти годы пропала, и мы с женой оказались в самом бедственном виде; я все лето босой по визитам ходил да собирал грибы на похлебку; осенью меня угнали на тиф, а жена в это время была в положении. Уезжая, я просил прежнего денщика, с которым мы вместе застряли в Великих Луках, позаботиться о моей жене. Когда я вернулся, моя Аня рассказывает, что Миколка наш снабжал ее бесперебойно и с ним она была сытее, чем со мной. «Как это ты сорганизовал?» — спрашиваю. А он вытянул руки по швам и, тараща на меня глаза, отрапортовал: «Так что, ваше благородие, воровал-с!» Такими-то развлечениями баловала нас жизнь при советском режиме. В царское время мне за блестящий диплом полагалась заграничная командировка... вот тебе и командировка, вот тебе и карьера!.. Тюрьма, голод, ссылка — всего перепробовал!

Ася уже знала, что политика не играла большой роли в жизни этой семьи — эсеркой была всего-навсего свояченица Кочергина. Это были такие же жертвы террора, как ее собственная семья. По мере того как она привыкала к Кочергину, он становился ей все симпатичнее. Дружеская простота его обращения, его забота и отеческая ласка к детям отогревали ее мало-помалу, точно он дышал теплом на замерзающие в снегу зеленые росточки, а его шутливо-оптимистический тон сообщал ей бодрость. Было только одно, что ее пугало в отношениях с ним, — взгляд, который она время от времени перехватывала. Этот взгляд вместе с мотивом из «Царской невесты» и «нескромным вопросом» внушал ей опасения

## Глава девятнадцатая

Рождество приближалось... В одно утро, когда Ася вышла во двор, она увидела деревенские санирозвальни, убогую лошаденку со спутанной гривой и бородатого крестьянина, который ходил вокруг саней, похлопывая рукавицами; рядом вертелась кудлатая шавка. Выяснилось, что деревенский экипаж этот со всей свитой приехал за Надеждой Спиридоновной.

Укутываясь в платки и телогрейки для предстоящего путешествия, старая дева объяснила Асе, что некоторое время прожила в деревне в десяти верстах от города, где у неё сложились самые хорошие отношения с хозяевами. В город она переехала только ради того, чтобы быть ближе к аптеке, рынку и почте, а главное, вследствие необходимости являться два раза в месяц на отметку в комендатуру. Теперь она едет к прежней хозяйке погостить несколько дней.

— Я давно собиралась, так уж лучше поеду теперь. Не скрою, что дети мне очень досаждают. Я не могу больше выносить вашу вечную суетню и писк. Может быть доктор поспособствует вам в поисках помещения? В конце концов я вовсе не обязана оказывать постоянное гостеприимство.

Она заперла на ключ кофр и шкафчик и подошла поцеловать опущенную голову Аси.

Надежда Спиридоновна положительно умела ладить с крестьянами. Может быть, даже ее скопидомство было по сердцу мелкому собственнику-средняку.

В этот вечер Кочергин не торопился к пациентам и сам сказал:

— Я очень озяб и с радостью бы погрелся чаем, если вы захотите меня напоить.

Самовар, принесенный хозяйкой, уже кипел на столе, и Асе показалось, что было бы слишком неблагодарно выгнать человека на мороз. Разговаривая с увлечением о музыке, он засиделся. По-видимому, в нем, несмотря на все несчастья, еще не вытравился дух энтузиаста-интеллигента, жаждущего трудиться на благо народа, — он стал уверять Асю, что их общий долг — несколько оживить и встряхнуть здешних обывателей, а именно: организовать музыкальные вечера, на которых он и Ася могли бы знакомить местную публику с классическими и русскими произведениями. Заведующий клубом, конечно пойдет им в этом навстречу... В другое время такой разговор может быть, и заинтересовал бы Асю, но теперь, одолеваемая своими печалью и тревогами, она едва слушала Кочергина и наконец решилась напомнить, что уже скоро двенадцать! После таких слов он тотчас поднялся, но, прощаясь с ней у порога, задержал ее руку в своей и сказал:

— Я заболел — меня фаланга ужалила! Уже три ночи я не сплю: прелестное женское лицо меня преследует.

Ася смотрела мимо него в темные сени и молчала, только чуть сдвинула пушистые, как у осы, брови. Он с минуту всматривался в это лицо, в котором не было и тени улыбки, молча поцеловал ее руку и перешагнул порог.

Итак, она не обманулась! Боже мой, как это неудачно, как досадно, какие вносит осложнения!.. Придется оттолкнуть человека, который сделал ей так много добра, который был так великодушен и отзывчив! Может быть, придется вовсе разорвать с ним! А ведь она так одинока здесь... Страшно даже вообразить себя без его дружеской помощи.

Следующий день был Сочельник. Где вы, где вы, давние Сочельники из теплого, уютного и веселого детства?.. С утра в залу не пускают — там стоит елка, которую зажгут вечером. Мама уехала за украшениями на кустарный базар. Мороз разрисовал все стекла на больших окнах, выходящих на Неву. В

комнатах поэтому рано наступает таинственный полумрак — там, где не зажжены люстры. Во время прогулки в своей белой шубке и белом капорчике за ручку с мадам она видит в ярко освещенных витринах елки и зайчиков на снегу под ними — что обостряет ожидание. На Большой Конюшенной и на Ямской елки стоят длинными рядами, точно ты попала в густой лес.

Каким восторгом полна минута, когда двери залы наконец открываются и детям разрешают войти и увидеть волшебное дерево! Оно отражается в больших зеркалах, и кажется, что стоят вереницы елок. Она смотрит на вершину где Вифлеемская звезда, но она знает, что внизу под зелеными ветками спрятаны подарки, и ей уже хочется залезть туда и вынуть их. Какие бывали игрушки! Теперь она уже никогда не видит таких! Однажды она получила избушку на курьих ножках и заводную бабу Ягу, которая ходила вокруг потрясая клюкой! А эта чудная кукла Люба, у которой ресницы были, как у неё самой, которая говорила «мама», а одета была в меховое мантио, муфточку и шапочку, совсем такие, как носила ее собственная мама! Как раз в тот Сочельник братишка Вася получил в подарок полное обмундирование семеновского офицера и к рождественскому ужину пошел в эполетах и с шашкой. Папа объяснил, что за ужином не принято сидеть вооруженным, и велел отцепить шашку. Ужин — постный: подают только рыбное и кутью, а потом пряники, пастилу и орехи, которые так весело щелкать. А ночью, прежде чем заснуть, она выползает из-под одеяла на ковер; осторожно, очень осторожно, чтобы никто не услышал, и читает молитву о волхвах и звезде. Ей хочется в темноте и тишине явственнее ощутить святость вечера. Жаль, что, сколько бы она ни смотрела вверх, она видит только темный потолок, а не те белые чарующие ангельские крылья, которые наполняют все небо в эту ночь! Печальный вздох тонет в мыслях о завтрашнем дне; завтра — елка у бабушки, где всегда бывает большое собрание детей, елка, лотерея и волшебный фонарь, а дядя Сережа дирижирует детской кадрилию и игрой в «золотые ворота». Сколько прелестных детских лиц — знакомых и дорогих — мелькает в анфиладе освещенных комнат! Вот кузен Миша — кадетик, вот лицеист Шура со своими круглыми черными глазами, вот Леля — она самая нарядная и хорошенькая со своими золотистыми кудрями; она танцует соло в костюме Красной Шапочки. На третий день опять елка, на этот раз в Мраморном дворце — у тети Зины.

И за всеми этими подарками, огнями, угощением и музыкой Асю чарует любовь и ласка, которые льются из всех глаз и наполняют собою все голоса... Ей не приходит в голову, что сияние детской талантливой души накладывает собственные блики на все окружающее и золотит все и всех вокруг себя. Даже теперь — в двадцать три года — это ей не приходит в голову!..

К вечеру душевная боль усилилась. Дети уснули; хозяйка дома — молодая степенная девушка — ушла из своей половины, расстелив повсюду чистые половики и заправив лампадки. В избе установилась полная тишина; только часы тикали. Ася села на покрытый пестрым половичком табурет под большими старинными часами, вывезенными Надеждой Спиридоновной, и слезы ее полились ручьями... Одна!.. Погибли все, кого она любила, все!.. Счастье, которое все детство ее манило обещаниями и шло к ней — огромное, светлое, лучистое, — оказалось таким недолгим!.. Семейный очаг разрушен. Одна всю жизнь, одна с двумя малютками, всеми забытая, в глуши, в ссылке, в нищете!.. Вот он — «безнадежный путь», которому она так гордо бросила вызов!.. Бедные малютки! У них никогда не будет праздников! Глушь, вьюга, изба, деревянная скамейка, сальная свеча, черный хлеб — вот какой у них Сочельник! Нет отца, нет бабушек и дедушек — некому их баловать. «Мы здесь совсем одни. Константин Александрович... он добрый, он умеет вносить бодрость и оживление, но он — чужой...»

К мыслям ее о Кочергине примешивалась странная горечь — неужели непременно нужно было влюбиться? Неужели нельзя было, ну, хотя бы ради детей, остаться просто хорошими друзьями? А вот теперь холодное равнодушие, с которым она выслушала его признание, конечно, уязвило его — больше он не придет. Если бы хоть Лада была здесь и сунулась к ней черным скользким носом...

Славчик проснулся и внезапно встал в постельке, глядя на мать круглыми, осовелыми со сна глазами. Она вскочила и порывисто прижала его к себе.

— Мальчик, милый! Мама тебя любит и за себя и за папу! Мама не даст тебе быть несчастливым! Славчик, знаешь, твой папа был большой, замечательный человек! Когда-нибудь я расскажу тебе, как он любил родину!.. — шептала она, не надеясь, что ребенок сможет понять ее, и целуя бархатную шейку, которая пахла скипидаром.

Богатырский удар в дверь заставил обоих вздрогнуть.

За дверью, весь в снегу, стоял Кочергин.

— Я, как Дед Мороз, весь белый, с елкой в руках. Сейчас мы ее зажжем для Славчика. Вот и свечки — я их у одной богомольной пациентки выклянчил. Они нам послужат, коли елочных нет. Эти прянички мы развесим, а вот и подарок — лягушка заводная, она моему Мишутке принадлежала; я забрал, уезжая, и все таскаю в кармане... пусть теперь перейдет к вашему. Вытирайте теперь слезы и несите мне топор — я заделаю елку в крест, а вы тем временем ставьте самовар, если умеете... Пусть наперекор судьбе и у нас и у ребенка будет счастливый вечер.

Славчик вытягивал шейку, выглядывая из постели, — ему уже был знаком этот голос.

Есть поступки, вознаградить за которые невозможно и которые женщина не сможет забыть, но всегда страшно оказаться благодарной мужчине!

Только бы не начал он опять говорить о своей любви, только бы у него хватило великодушия и такта оставить ее чувства в покое, понять, что сейчас она любить не может, что ее душа — сплошная рана! Она начинает опасаться этого человека — он не должен был говорить тех слов, которые сказал вчера, — из уважения к ее горю и к собственной жене, не должен!

Чего бы она только ни отдала, чтобы елочку эту принес Олег, — половина горя ушла бы из ее жизни!

Она колет на коленях лучины и вытирает потихоньку слезы, которые бегут и бегут... Счастливой теперь она не может быть! Этот доктор все-таки не понимает всей глубины ее горя!

Но Славчик, несомненно, счастлив был в этот вечер. Он сидел на коленях у Кочергина и доверчиво смотрел на него.

Потом он устал скакать и радоваться и заснул внезапно, стоя на коленях и уткнув мордашку в подушку, задком вверх.

Мужчина и женщина остались вдвоем. Наедине друг с другом, он взял ее руку, приложил к своим губам.

— У вас есть жена, Константин Александрович, — сказала Ася.

— Моя жена!.. Жестоко то, что вы говорите! Раз десять я запрашивал о ней гепеу и всякий раз получаю только один ответ: «умрет — известим». Сколько же времени можно оплакивать разлуку? Я потерял надежду на встречу, а у вас и самой слабой надежды нет.

— Все равно — я не хочу!.. У меня... да: у меня нет надежды, но ваша жена еще может вернуться; недопустимо, чтобы человек, вырвавшийся *оттуда*, — измученная, больная, усталая женщина — узнала, что ее не дождались, что уже есть другая...

— Ксения Всеволодовна, ведь я бы, как отец, любил ваших детей!

— Я знаю. Вот этому я верю. Спасибо, Константин Александрович, но разве... разве вы не можете любить их без... тайных встреч со мной?

— Нет, мне слишком тяжело будет вас видеть. Если вы не согласитесь быть моей, я буду просить перевода в другой город.

— Ну, эта решать можете только вы сами, — ответила Ася, — не трогайте меня, Константин Александрович, пустите.

Но он притянул ее к себе сильной рукой. Ася увернулась и бросилась к лежанке, на которой спал Славчик. «Около ребенка не посмеешь!» — сказал ее взгляд. Он действительно не сделал ни шагу вперед.

— Константин Александрович, спокойной ночи! Если хотите остаться нашим другом, приходите завтра, а теперь уже поздно — идите.

Он медлил. Затем глубоко вздохнул и повернулся к двери:

— Быть по-вашему, я ухожу.

Через минуту он крикнул из темных сеней:

— Как у вас тут щеколда открывается? Не разберу.

Ася выскочила в сени со свечой и, поставив ее на крышку бочки с водой, подошла к задвижке. В ту же минуту она была опрокинута на пачку соломы, сложенной в углу у двери: он подмял ее под себя. Извиваясь под ним вьюном, она отчаянно брыкала его ногами и била кулаками в грудь и в лицо; потом перехватила его руку и впила зубами ему в палец, изо всех сил сжав челюсть. Он вскрикнул и выпустил ее. В ту же секунду она вскочила и бросилась к себе, защелкнув перед его носом задвижку. В доме наступила тишина.

В Асе все клокотало от негодования.

До сих пор все знакомые ей мужчины относились к ней с рыцарским уважением. Ни Олег, ни Сергей Петрович не разрешали при ней ни одной сальной шутки, ни одного рискованного анекдота. Она вспомнила, как Шура, прощаясь с ней сказал: «Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим!» Она вспомнила даже Валентина Платоновича в Москве на лестнице. Но этот доктор...

Ноги и руки ее ныли, утомленные борьбой, щеки горели; она сознавала себя победительницей — чувство собственного достоинства все разгоралось.

В доме было по-прежнему тихо — ушел или притаился?

Вдруг она услышала нерешительный стук в дверь; через несколько минут он повторился более настойчиво. Она не отзывалась.

— Ксения Всеволодовна, в вашей комнате остался на комодке ключ от моей комнаты, — слышался его голос.

Ася взяла ключ и швырнула его в узкую щелку, после чего тотчас снова захлопнула дверь.

— Ксения Всеволодовна, Бога ради, впустите меня на минуту. Клянусь жизнью моего сына, вам не угрожает ничего!

Ася распахнула дверь и, стоя на пороге с заложенными за спину руками, надменно взглянула на своего противника. Тот рухнул к ее ногам.

— Простите! Я обезумел! Это был бред! Вы защищались как львица! Умоляю простить, и пусть все будет по-прежнему. — Он обнял ее ноги.

— Я прощу вас. Но... забыть такую вещь нелегко... Между друзьями должно быть доверие, а я теперь...

— Вы суровы! Ведь я прошу прощения; я поклялся... вы помните, чем я поклялся? Что может быть дороже собственного ребенка?

Теплая волна толкнулась в сердце Аси.

— Да, вы правы — я не великодушна! Вот сейчас я в самом деле прощаю! Если вы жалеете меня и детей, — голос ее задрожал, — будьте нашим другом, но с тем, чтобы даже разговоров о любви не было. Или — уйдите вовсе! Это будет очень грустно и для меня, и для вас, а все-таки лучше, чем то, что предлагаете вы. И в том и в другом случае я всю жизнь с благодарностью буду вспоминать, что вы вылечили моего Славчика и устроили ему эту елку в этот печальный Сочельник.

Она протянула руку; Кочергин поднес ее к губам молча и встал. В ту минуту, когда он нахлобучивал свою ушанку, она увидела, что укушенный палец был замотан носовым платком, который весь промок от крови. Она почувствовала, как больно сжалось ее сердце, когда дверь за ним затворилась.

Ей показалось, что именно с этой минуты она стала большая, взрослая — ее юность и опека над ней старших кончились навсегда!

Утром пришлось упросить хозяйку дома покараулить детей, чтобы иметь возможность уйти на розыски; Надежду Спиридоновну можно было ждать со дня на день, а она все еще не подыскала себе помещения и без ужаса не могла вообразить, с каким лицом предстанет пред грозной теткой.

Ей покоя не давало одно впечатление: Славчик, забившись в угол, с робостью следит за Надеждой Спиридоновной, прохаживающейся по комнате. Он не чувствует себя здесь дома, он уже переживает унижение, а ведь впечатления, которые ложатся на детскую душу, часто неизгладимы, Олег никогда бы не допустил, чтобы его сын вырос забитым и робким.

Пользуясь тем, что вырвалась из дому, она зашла к Пановой, которая однажды уже навещала ее и приглашала в свою резиденцию. Резиденцией этой оказался пустовавший дровяной сарай без окон, с продувными щелями. Старая генеральша целый день то собирала хворост, то топила времянку, которая однако же не могла нагреть помещения — за ночь стужа всякий раз устанавливалась заново, и вода в ведре покрывалась корочкой льда. Панова тотчас усадила Асю пить чай на опрокинутом деревянном ящике, заменявшем собой стол, и вытащила для гостя все, что было у нее в закромах — кружку квашеной капусты, несколько печеных картошек и буханку пшеничного хлеба, а единственное яйцо поручила отнести Славчику. Все эти деликатесы она получила от председателя райисполкома, с дочерью которого занималась французским. Эта забота старой дамы лишней раз подчеркнула в глазах Аси черствость Надежды Спиридоновны.

От Пановой Ася отправилась к агенту опеку. Она заявила, что намерена перебраться с детьми в деревню. Агент, вопреки ожиданиям, довольно равнодушно ответил:

— Являться на перерегистрацию вы обязаны, и притом в точно указанный срок, а жить в пределах района вы можете где хотите. Обязываю лишь предъявить прописку, чтобы в случае неявки мы могли безотлагательно навести справку.

Надежда Спиридоновна появилась на следующее после этого утро и вполне одобрила план Аси, быть может, попросту желая отделаться от обременительной гостыи, которую слишком неудобно было выгнать со двора.

Ася уехала в тот же день, несмотря на горячие возражения Пановой, которая прибегала специально, чтобы попытаться отговорить молодую женщину от такого рискованного шага.

Кочергин не появлялся — как в воду канул! Уезжая, Ася напрасно обводила глазами бедный дворик и заваленную сугробами пустую улицу, по которой ее волокла убогая Савраска.

## Глава двадцатая

Жилая зона и зона оцепления; обе окружены высоким двойным забором, опутаны колючей проволокой; вдоль всего забора — распаханная полоса; по углам — вышки с часовыми; у ворот в зоны — проходные с дежурным; внутри жилой зоны — мужские и женские бараки, столовая, кухня и больница; в зоне оцепления — мастерские; в обеих зонах — ни одного дерева: предусмотрено приказом, чтобы часовые с вышек могли беспрепятственно обозревать территорию лагеря.

Выход за зону — только под конвоем. Лагерь — не штрафной: внутри каждой зоны передвижение свободно, в бараках стражи нет, не возбраняется обмениваться фразами.

Подъем — в шесть утра; завтрак в столовой, перекличка и развод на работы: в час — обед; в семь — ужин; в десять — отбой ко сну; между ужином и отбоем — свободное время; перед обедом и перед отбоем — повторные переклички. Барак — длинное деревянное здание с решетчатыми окнами и кирпичной печью; вагонная система нар верхних и нижних с узкими проходами; голые доски — ни матрацев, ни простыней; под головами — бушлаты и сапоги; барак кишмя кишит клопами и вшами; вещи заключенных частично тут же, частично в «каптерке». Дневальные метут пол и топят печи; барак переполнен до отказа — спят даже на досках, переложенных наподобие моста с одной верхней нары на другую; человек никогда не остается наедине с самим собой; тишины нет даже ночью — тот храпит, тот кашляет, тот охает, тот плачет или шепчется... Шаги и перекличка патруля у дверей...

Заключенные в этом лагере различных категорий, с различными сроками; «пятьдесят восьмых» здесь называют «контриками», а уголовных — «урками»; есть еще «бытовики», составляющие среднюю прослойку в обществе заключенных, — растратчики, прогульщики и прочие нарушители трудовой дисциплины.

Присутствие уголовного элемента невыносимо для обвиненных по пятьдесят восьмой. Непозволительная и совершенно безнаказанная грубость конвоя наиболее болезненна для них же, как для людей более щепетильных, нежели уголовники.

Конвойных в лагере называют «стрелками» и «вохрами» (от слов «вооруженная охрана»). В огромном большинстве это представители нацменьшинств.

Лелю в первое же утро на разводе определили в бригаду по обкалыванию льда на «лежневке» — так называли в лагере узкие дороги, проложенные к соседним лагерям и штрафным пунктам в различных кварталах этого же леса, а также к поселку, где было сосредоточено управление лагерями и жили вольнонаемные служащие. В лагере этом валили лес, но весьма значительная часть заключенных была, разумеется, занята на обслуживании нужд лагеря — в столовой, в кухне, в больнице, при дорогах и транспорте.

Тотчас же оказалось, что работа Леле не под силу — лом был слишком для нее тяжел и валится из рук; конвойные ее немилосердно понукали, угощая придирчивыми окликаками:

— Будешь ты у меня шевелиться? А ну, поторопись немножко, придурка! У, барахло буржуйное!

Возвращаясь в этот первый день в барак, она вытирала себе варежкой глаза при мысли, что завтра ее ожидает другой такой же день и что силы ее падают, а впереди несчетное количество все таких же дней!

К тому же у нее тотчас установились враждебные отношения с урками. Спустя несколько часов по прибытии в лагерь она сделалась свидетельницей следующей сцены: на одной из верхних коек барака сидела, болтая спущенными вниз голыми ногами и задевая ими головы проходящих, женщина — ярко



размалеванная, с рыжими растрепанными волосами. Подошел огромный, грубо высеченный детина и, отпустив неприличное ругательство, стянул ее за голые ноги на пол и набросился с кулаками. Леля выскочила из барака с криком:

— На помощь! На помощь! Человека бьют!

Подоспели конвойные и выволокли дерущуюся пару. Тотчас со всех нар повскакали урки и окружили Лелю, называя «сволочью».

— Он ее приревновал, а твое какое дело?! Ты чего вылезла? Зачем натравила?! — галдели они вокруг растерявшейся девушки.

Леля только тут узнала, что вход мужчинам в женский барак, а женщинам в мужской запрещен настрого, как и любовные свидания, и что выдать встречу мужчины с женщиной (даже если встреча эта протекала далеко не в любовных тонах) считается поступком настолько же предательским, как на свободе — донос в гепеу.

В этот же вечер несколько урок разыграли в карты сапожки Лели — та, которая проиграла, должна была их украсть и вручить той, которая выиграла. Не обнаружив утром любимых сапожек, Леля пришла в ярость, которой после сама удивилась.

— Обворовать заключенного, своего же товарища по несчастью! Отнять у человека последнее! Подло, бессовестно! — в болезненном раздражении повторяла она около умывальников, где толпились все обитательницы барачков. Подошел стрелок с командой строиться и следовать в столовую, и, не давая себе труда взвесить последствия, Леля громко отчеканила:

— Товарищ стрелок, составьте акт: меня обворовали! Этого не должно быть между заключенными. Я протестую и требую, чтобы нашли виновного.

Рыжая урка — огромная татуированная девка в косынке, надетой как-то боком, — встала против Лели и показала ей два пальца, а потом провела ими по своей шее; одновременно сзади кто-то очень выразительно сжал Леле локоть. Она обернулась и увидела два озабоченных лица.

— Перестаньте, перестаньте! Замолчите! — быстро зашептали обе женщины. Леля растерянно смолкла; конвойный обернулся:

— Выходи, кого обворовали! Чего написать-то?

В ответ была тишина. Конвойный осклабился:

— Раздумала баба жаловаться! Оно и впрямь — промолчать-то вернее будет! Эй, строиться! Пошли.

Уже немолодая дама с громкой двойной фамилией — жена морского офицера с царского крейсера «Аврора» — и другая, дочь лютеранского епископа, обе долго увещевали Лелю, стараясь объяснить ей положение вещей:

— Знаете ли вы, что значат два пальца? Угроза вас убить — убить, если вы будете продолжать обращаться к конвою. Раз навсегда запомните — натравливать на урок конвой немислимо! Они найдут способ отомстить. Приходится молча переносить все их штучки. Кстати, если присмотреться, урки не все отвратительны и бывают иногда хорошими товарищами, — говорила бывшая морская дама.

— Жизнь здесь ни в грош не ценится! — говорила Магда, дочь епископа, — я в лагере уже второй раз; в том — в первом — урки разыграли в карты голову начальника лагеря: проигравшая должна была его убить и убила. Никогда не угрожайте им и не подчеркивайте разницы между собой и ими.

Ложась в эту ночь спать и закрываясь с головой, Леля крестилась:

— Террор урок!.. Этого еще не хватало!

Ночью она проснулась от толчка и громкого шепота возле своего уха. Мгновенно покрывшись холодным потом, она села, испуганно озираясь. Она занимала верхнюю нару в углу и дорожила этим местом: там была щель между бревнами, из этой щели дуло, но зато и вливалась струя чистого воздуха; вплотную с ней было место молоденькой урки Подшиваловой; это была почти девочка, со смазливym личиком, она еще в средней школе спуталась со шпаной и стала наводчицей в воровской шайке. Леля увидела ее сейчас перешептывающейся с мужчиной, в котором узнала одного из конвойных — так называемого Алешку-стрелка; это был сын донского казака, высланного в эти края при расформировании Войска Донского. Многие контрики удивлялись, что Алешка был зачислен в штат, имея репрессированного отца. Леля едва только успела подумать, что делает Алешка здесь в такой поздний час, как увидела, что конвойный снимает шинель; вслед за этим он без дальнейших церемоний положил эту шинель на нее, слегка отодвинув ее при этом локтем, а сам навалился на Подшивалову, которая обхватила его обеими руками. Вся кровь прилила к щекам Лели.

— Вы как смеете? Что за бесстыдство! Вы здесь не одни! — возмущенно воскликнула она.

Стрелок прищурился:

— Ишь, важная какая! Ну, а где ж бы это нам остаться вдвоем, скажи на милость, а?

С одной из нар поднялась страшная голова рыжей урки Лидки Майоркиной; при слабом свете тусклой лампы под потолком лицо ее с белесоватыми глазами казалось лицом Горгоны.

— Кто тут бузит? Сахарная интеллигенция опять!.. Святая, подумаешь, выискалась!.. Сама-то ты не баба, что ли? Подожди — проучим! Урки-бабы, раскурочим ее, чтобы не зазнавалась!

Леля уткнулась в подушку.

На ее счастье, в это же утро, едва проиграли зорю, в барак вошли два рослых конвойных и направились прямо к Лидке Майоркиной.

— Складывай живо свои шмотки и одевайся. Приказано тебя переправить в другой лагерь. Транспорт уже дожидается.

Последовала новая безобразная сцена: урка визжала, плевалась и ругалась неприличными словами, а вслед за тем разделась догола, очевидно, в знак протеста; конвойные вызвали для подкрепления еще двух рослых стрелков и живо закатали в байковое одеяло и перевязали веревками татуированную красотку, после чего вынесли ее на руках из барака, несмотря на отчаянные визги и барахтанье.

— Чего ради так сопротивляться? Не все ли равно, который лагерь? — спросила Леля соседку.

— У нее любовник здесь, да и в штрафной, хоть до кого доведись, неохота! Ей за буйство уже давно грозили переводом в штрафной, — ответила та. Леля подошла к окну и увидела отъезжающие сани, в которых лежала спеленутая фигура, прикрытая рогожей, словно покойник.

— Вам посчастливилось с переводом Майоркиной. Это вас Господь Бог хранит, — шепнула Леле около умывальников дочь епископа.

Сухощавая фигура и обнаженные виски напоминали Леле Елочку.

— Что такое «раскурочить»? — спросила Леля.

— Это их блатной жаргон... обокрасть, наверно... — ответила Магда.

— Вы слышали, что было ночью? — спросила опять Леля.

Изнуренное лицо этой немолодой уже девушки залил румянец.

— Не будем обсуждать наших меньших сестер и братьев. Они, может быть, не имели в своем детстве тех облагораживающих влияний, которые имели мы. Пусть сам Господь судит их судом праведным, — ответила Магда.

В это утро стрелок, приготовившийся сопровождать партию по скальванию придорожного льда, сказал, указывая на Лелю:

— Товарищ начальник, эту я не возьму — ползет, как улитка! Вся партия из-за ее плетется. Ломом тоже еле шевелит; всю норму, поди, им сбивает. Беда с таким бараклом. Вот хоть бригадира спросите...

Бригадир, интеллигентный человек из числа «пятьдесят восьмых», в свою очередь прибавил:

— Вполне согласен с мнением стрелка. Мне кажется, что эта заключенная слишком слаба физически для такого вида работы. Бригада наша считалась ударной, и нам за это положено внеочередное письмо, а теперь мы можем сорвать нашу норму ударников.

Леля бросила на бригадира взгляд затравленного зверька, не понимая, что тот ведет дело к ее же пользе. Гепеушник толкнул ее в сторону врача, присутствовавшего на разводе в обязательном порядке:

— Ты! Медсантруд! Определи-ка трудоспособность!

Врач — тоже из заключенных — увел Лелю в свою щель, выслушал ее жалобы и, потыкав стетоскопом в ее грудь, объявил, что она годна только на «легкий» труд ввиду туберкулезного процесса и сильного невроза сердца.

С этого дня Лелю определили дежурить в землянке у котла и поддерживать разведенный под ним огонь. Несколько в стороне, в сарае, стояли бочки с горючим, и когда приезжали машины. Леля выдавала им бензин и горячую воду и записывала количество выданных литров. Леля очень сомневалась, чтобы пропитанный нефтью воздух был полезен для ее легких, но молчала, потому что работа в землянке требовала меньшей затраты сил и удавалось иногда подремать, уронив голову на счетоводную книгу, в промежутках между заездами шоферов. В час дня, заслышав призывной гудок, она шла с ложкой получить чашку «баланды», как называли в лагере суп, который привозили из жилой зоны, для тех, кто работал в зоне оцепления; вечером питание происходило в общей столовой.

Скоро у Лели завелись приятельские отношения со стариком-пекарем из бытовиков. Он пришел к ней раз поклянчить керосинцу на растопку печи и повадился понемногу приходить с бутылкой каждый день, а Леле приносил ржаную краюху. Она прятала ее за пазуху и приберегала для свободных минут, а потом ела по маленьким кусочкам, смакуя, но никогда не выносила из землянки, опасаясь вопросов, откуда у нее такая драгоценность.

Перепадали куски ситного и от Алешки.

— Бери, недотрога! Молчи только! — сказал он раз.

Леля вспыхнула:

— Мне подкупа не надо! Я не доносчица: я за то и сижу, что отказывалась выдавать!

— Разговорчики! Уж сейчас и закипело ретивое! Ешь, коли голодная, — отрезал стрелок.

Некоторые из контриков находили, что Алешка был мягче остальных — пожалуй, Леля была согласна с этим.

Подшивалова хвастливо заявляла соседкам:

— Работенка у меня нонече завелась совсем-таки блатная!..

Ее водили на переборку овощей, и всякий раз она притаскивала в кармане то брюкву, то морковь и

всегда угощала Лелю. Вахтерам вменялось в обязанность обыскивать возвращающиеся с работ бригады, но вне присутствия командного состава гепоу процедура эта иногда сводилась к проформе, а Подшивалову, как любовницу своего же товарища, обыскивали еще небрежней, чем остальных.

«Я — плохой товарищ!» — думала Леля, принимая подачки Подшиваловой и вспоминая те, которые получала от пекаря... Но недоверие к уркам слишком прочно гнездились в ней! Эта самая Подшивалова там — в Ленинграде — выслеживала дам в дорогих мехах, а после звонила в квартиры и тихим голосом говорила: «Откройте, пожалуйста, я только хотела узнать...» А рядом с ней стояли громилы с топорами. Леля гнала от себя такие мысли. Оказаться во вражде со всем бараком, ни в ком не находить ни сочувствия, ни заботы — это было слишком страшно! Самые утонченные дамы — вроде княжны Трубецкой — держали себя с урками приветливо и просто, не подчеркивая классовых отличий. Другого выхода не было! Острота чувств притуплялась, даже беспокойство за близких понемногу исчезало, падая на дно души... Смертельная усталость покрывала все чувства, окутывая серой дымкой. В дырявых валенках и ватнике, уже списанном за негодностью с лагерного инвентаря, подпоясанная чулком, с запрятыми под платок кудрями, бледная до синевы, Леля не думала теперь ни о красоте, ни о личном счастье — было только одно постоянное желание: лечь и поспать.

В одно февральское утро она колола лучинки на коленях около своего сарая, когда вдруг услышала громкий начальственный возглас:

— Ну, чего опять стряслось? К проволочному ограждению, что ль, бросилась?

Леля обернулась: в двух шагах от нее стоял один из старших начальников, оклик его относился к стрелку, который проходил мимо и нес на руках женщину в лагерном бушлате; руки ее безжизненно свисали вниз, длинная коса мела снег...

— Стрелять, что ль, пришлось? — снова запрсило начальство.

Вохр остановился.

— Не-е! Какое там стрелять! Лес валили, надрубили дерево, прокричали по форме: отойди, поберегись! — а она стоит и ворон считает, ровно глухая... Зашибло, видать, насмерть... Может, и нарочно подвернулась, потому — несознательность.

— Сам ты зато больно уж сознателен! Ладно, разбирать не станем, почему и отчего, — спишем в расход, а тебе, брат, выговор в приказе вклеим: за год уже пятый случай, что в твое дежурство беспорядок. Нечего стоять тут всем на поглядение — в мертвецкую! А врача все-таки вызови — пусть констатирует.

На вечерней переключке после того, как произнесли: «Кочергина Анна!» — ответа не последовало. Выкликающий повторил имя. Легкий шепот прошел по рядам, а потом один голос выговорил, словно через силу:

— Деревом на работе убило.

А один из стрелков подошел и что-то сказал шепотом. Движение руки — списали! Дочь епископа, стоя рядом с Лелей, вытерла глаза.

— Еще молодая: только тридцать два года, — шепнула она, — была без права переписки, очень по семье тосковала... Кому-то горе будет, если известят... а может быть, и не дадут себе труда посылать уведомление.

— А не самоубийство это? — спросила Леля.

— Нет, нет! Что вы! У нее ребенок, мать, муж. Она не пошла бы на такой грех. Даже в мыслях не надо ей этого приписывать, — торопливо заговорила Магда.

«Да неужели же самоубийство в таких условиях можно считать грехом?» — подумала Леля.

Вечером, едва только Леля улеглась на своей наре, как услышала голос Магды:

— Спуститесь, Елена Львовна! Я прочту молитвы за погибшую. Собралось несколько человек. Леля свесила вниз голову:

— А урки? Они нас не выдадут?

— Думаю, не выдадут. Во всяком случае, помолитесь за ту, которая еще вчера была с нами, — наша прямая обязанность.

Утром имя Кочергиной уже не упоминалось на переключке, но Леле бросилось в глаза, что Магда чем-то чрезвычайно расстроена. Не может утешиться по Кочергиной? А, может быть, неприятности по поводу чтения отходной? — подумала Леля и передернулась при мысли, что ее видели стоящей рядом с Магдой и крестившейся. А вдруг — штрафной лагерь или штрафной пункт? Во время развода не было возможности подойти и заговорить; работали и обедали в разных зонах; только за ужином, в столовой, Леле удалось подойти к Магде. Из расспросов выяснилось, что в каптерке, где работала Магда, пропало несколько чемоданов со всем содержимым.

— Это, конечно, урки! Их работа. Конвойные не осмелятся, — повторяла в слезах Магда.

Мимо проходил в эту минуту заправила всех урок — красивый молодой человек, окончивший пять классов в общеобразовательной школе. В лагере его все называли Жора. Он приостановился, увидев Магду в слезах.

— Ты что тут мокроту разводишь?

Леля бросила на него недоброжелательный взгляд, а Магда сказала кротко:

— У меня несчастье, Жора! Я заведу каптеркой, а за эту ночь пропало несколько чемоданов. Подумай, в каком я положении! Пожалей меня, Жора, помоги мне!

Молодой человек задумался, мысленно что-то взвешивая; Магда судорожно сжала руку Лели.

— Попробую кое-что предпринять. Выжди немного, плакса, — и он отошел, напевая.

После окончания ужина, когда Леля и Магда выходили из столовой, Жора подошел к ним и конфиденциально сказал:

— Поищите в куче снега за дизентерийным баракком, и молчать у меня...

В лагере снег был не тем нетронутым чистым покровом, который так прекрасен в полях и садах, — здесь он был весь посеревший, загаженный, заплеванной, истоптанный, словно опороченный. После каждого нового снегопада через день или два он уже чернел заново.

Едва лишь девушки шагнули в сугроб, как тотчас наткнулись на что-то твердое.

— Здесь, здесь! — радостно воскликнула Магда.

Леля оглянулась на крылечко черного хода больницы, где стояли метла и лопата.

— Хорошо бы эту лопату. Я сейчас попрошу, — и быстро вбежала в сени, где не оказалось ни души; она постучала, наугад в одну из дверей, которая тотчас отворилась.

— Аленушка?! Ты! — и мужские руки протянулись к ней; не успела она опомниться, как попала в объятия Вячеслава и разрыдалась на его груди.

— Родная моя! Ведь вот где встретились! А я не знал, что ты здесь. В Свердловске переформировали весь этап, и я думал, что уже навсегда потерялись твои следы! Изнуренная какая... уж не больна ли? Я ведь

тогда ходил к тебе в тюрьму... так я жалел тебя, что сердце пополам рвалось. Очень я тебя полюбил, забыть не мог, хоть ты и прогнала меня, моя красавица гордая! Я уж свиданье выхлопотал, но тут-то меня и засадили — тоже контру мне приписали.

— Вячеслав... так много несчастий... моя мама умерла... Олег расстрелян. Ася в ссылке... и меня ведь тоже сначала к расстрелу... Я сидела в камере смертников, а теперь осуждена на десять лет!

— И я на десять. Не плачь, ненаглядная, не помогут слезы! Вот теперь встретились, хоть и украдкой, а будем видеться, поддержим друг друга... Может, и дотерпим вместе!

Она подняла на него глаза — изменился и он за два с половиной года: побледнел, похудел, потерял юношеский вид. Тяжелые переживания, как резец художника, прошлись по этому лицу — придали ему осмысленность и завершенность.

— Вячеслав, я очень часто вас вспоминала... я совсем, совсем одинока... О, я теперь уже не гордая... это все позади!

Его губы прильнули к ее губам.

— Я боюсь... войдут, накроют... крик подымут... — прошептала она, вырываясь.

— Светик мой, Аленушка! Я ведь осведомлялся о тебе в женском бараке... но одна бытовичка уверила меня, что никакой Нелидовой нет. Здорова ли ты — уж больно прозрачная и худая!..

— Нездорова, сил нет, еле двигаюсь! Вот легла бы и не встала... лихорадит меня и тоска заела... Уж лучше б умереть.

— Глупости, Алена, умереть всегда поспеем! Не вырывайся: одни ведь мы... Ты на какой работе?

— Выдаю шоферам горючее; я в зоне оцепления, в землянке, что за мастерскими. А вы... а ты?

— Ну, я фельдшером, разумеется! В инфекционное попал — к тифозным и дизентерийным. Надо нам придумать способ видеться. У нас госпиталь обслуживают только заключенные... много хороших людей — помогут. Больные тяжелые у нас, очень тяжелые, а медикаментов почти нет, и питание негодное. Смертным случаям мы счет потеряли; по двенадцати часов работаем, измучились. Я, знаешь, сам дизентерией заразился: месяц пролежал, думал — не встану, кровавая была. Будь осторожна! Смерть хозяйничает в лагере. Санитарное состояние никуда не годится! Строчим докладные записки, да никто внимания не обращает — точно речь о собаках, а не о людях! — Он вдруг выпустил ее руку: — Идут!

Смерть хозяйничает в лагере!.. Леле тотчас представилось, что в одном из грязных углов барака притаился страшный призрак и высматривает себе жертву.

Появился санитар.

— Ты куда, Славка, сыворотку подевал?

Леля только тут вспомнила о Магде.

— Можно мне взять у вас лопату? — спросила она.

— Бери, девушка, только на место потом поставь.

Леля выскочила на крыльцо и тотчас попятилась: мимо нее по проложенной в снегу дорожке шли два важных гепоушника с нашивками и кобурами.

— Надо попросить у товарища Петрова штук пять попов в сторожевую роту на склады. Лучше попов никто у нас не окарауливает, — говорил один другому.

Магда тоже замерла в снегу по ту сторону дорожки.

Черная ворона села на серый снег...

## Глава двадцать первая

Она любима! Что же будет? Любовные свидания, как у Алешки с Подшиваловой?.. На это она не пойдет, а он слишком ее уважает, чтобы предложить ей это! А как иначе? Подшивалова рассказывала ей об одной парочке в бригаде по переработке овощей: во время перекура парочка эта забиралась в огромный чан, в то время как все остальные садились на землю, прислонясь к нему спиной, и зубоскалили, окликающая иногда любовников... А недавно в женском бараке вохры стащили с верхних нар ее приятеля, уже старого повара, и публично срамили, а затем перебросили его в соседний лагерь — почти со всеми парами кончалось именно так.

Или отказаться от встреч вовсе? Но впереди столько лет! Слишком мало вероятности, чтобы оба дожили до выхода из этого проклятого места. Если насильно затушить вспыхнувший огонек, не останется опять ничего — пропадай тогда жизнь!.. Любовь, одна любовь привязывает человека к существованию в этих чудовищных условиях!

Она попросила у Подшиваловой обломок зеркала и взглянула на себя: еще красива! Углы губ несколько опустились, щеки впали, но черты сохранили свой изящный чекан, а глаза как будто тронуты тушью от утомления и бессонницы; челки нет, но непокорные пряди выбиваются на лоб из-под уродливой косынки; худая — кости ключиц выступают на впалой груди, но в этом своеобразная грация... Еще красива, хотя в красоте этой уже меньше девичьей свежести... Еще нет ни морщин, ни складок, однако в чем-то неуловимо сказывается пройденный мученический этап. Пожалуй, она стала даже интересней с этой печатью скорби в лице! Он сумеет оценить этот новый отпечаток, он не остановится ни перед чем, он — смелый, предприимчивый, настоящий мужчина, как Олег, он что-нибудь придумает, он найдет выход!

И тем не менее день прошел, а они даже мельком не взглянули друг на друга, а ведь каждый их день словно у смерти отвоеван! С наступлением ночи ей делалось страшно в бараке; она озиралась на темные углы, точно и в самом деле ожидала увидеть скелет с косой.

Кто заразный, кто обреченный? Может быть, уже она сама? Вот сегодня ее опять искусила вошь, возможно, тифозная... Неужели она умрет прежде, чем... Не дай, Господи, умереть прежде любовного свидания!

Всю ночь она ворочалась на жестких нарах, томление переполняло грудь.

Утро началось с неожиданной неприятности: ее сняли с привычной работы и перебросили в бригаду по повалке и трелевке на место выбывшей Кочергиной; в сарай с горючим назначалась Подшивалова. Леле не раз случалось говорить с Подшиваловой о преимуществах своей работы, и та, видимо, пустила в ход свой блат, чтобы заполучить это место. Врачебное заключение значило очень мало для тех, кто ведал распределением.

— Ну, и подлая же ты, Женька! — сказала она Подшиваловой, передавая ей в конторе счетоводную книгу и ключи.

— А я-то и пальчиком не шевельнула — честное ленинское! Вот те Христос! — затараторила та, словно из лукошка посыпала. — Переборка овощей, вишь ты, кончилась; надо нас было рассовать по местам; ну, мой хахаль и постарался; обещал поднажать, чтобы устроить меня на хлебрезку, а вот, пожалуйста в сарай с горючим! Я еще намылю ему шею, коли он проворонил лакомый кусочек, болван этакой! Не злись, Ленка: коли попаду на хлебрезку, стану тебе таскать кусочки.

Леля только рукой махнула и вышла из конторы.

Погнали далеко за зону строем в сопровождении стрелков. Мужчины валили и пилили лес, а



женщины собирали сучья: надо было наколоть и нащипать определенное количество вязанок из дранки. Вохры — все тот же Алешка и узкоглазый мусульманин Косым — очень мало обращали внимания на женщин, но зорко стерегли мужчин. То и дело слышались их оклики:

— Куда, куда, господин хороший? Не отдаляйся! — вопил Алешка. — Шагай обратно! Сам не рад будешь, коли запалю в рожу! То-то же.

Мусульманин был не так многословен:

— Цэлюсь! — орал он с места в карьер.

Этот вохр сам отсидел в лагере за неудавшуюся родовую месть, а по окончании срока был зачислен в конвой; в отпуск он собирался ехать на родину, чтобы снова мстить. Некоторые из контриков — в том числе Магда — пытались его отговаривать, напоминая, что он снова попадет в лагерь и уже на более долгий срок, но в ответ получали только: «Убью!»

При лагере была фотография, называемая «мордопысня»; мусульманин снялся в этой мордопысне голым, с двумя револьверами, и показывал эту карточку в каптерке, уверяя, что послал такую же своему врагу в качестве грозного напоминания.

Леле до сих пор не приходилось видеть этого стрелка, и теперь его свирепое гортанное «Цэлюсь!» заставляло ее каждый раз вздрагивать.

С работой и без понуканья приходилось торопиться, поскольку норма была очень жесткая. От непривычки к физическому труду на воздухе и на ветру Леля измучилась не меньше, чем в свой первый день.

По окончании работы, выходя из столовой в уже жилой зоне, она увидела Вячеслава рядом с незнакомым юношей в очках; оба прохаживались по двору между кухней и столовой. Вячеслав еще никогда не появлялся здесь в эти так называемые свободные часы (между ужином и отбоем). В медицинской работе, при необходимости ночных дежурств, расписание, естественно, было свое, подведомственное врачам; этим же, вероятно, можно было объяснить и то, что до сих пор они не встречались. Во всяком случае, появление Вячеслава теперь на лагерном дворе показало Леле, что он ищет способа подать весточку. И в самом деле: через несколько минут юноша в очках приблизился к скамье, на которой она сидела около женского барака, и, прислонясь к стене и глядя вперед, а не на нее, сказал:

— Разрешите представиться: Ропшин, биолог; здесь работаю лаборантом; контрик, разумеется. Вячеслав Дмитриевич просил передать вам записку. Уроните, пожалуйста, платочек: я вам его подниму и одновременно передам письмо.

Леля сорвала с головы косынку, и записка оказалась в ее руке.

Она не чувствовала себя шокированной вмешательством третьего лица, понимая необходимость предосторожности. Напротив — ободрилась при мысли, что вокруг их любви сомкнулся защитный круг тактичных, доброжелательных людей.

Вячеслав писал на рецептном бланке: «Аленушка! Завтра сразу после ужина подойди опять к черному крылечку инфекционного барака. Я буду там. Завтра дежурит врач, с которым мы друзья: он обещал уступить мне свой закоулок. Все из персонала, кто будут в этот час, в заговоре. Твой В.»

Дрожь пробежала по жилам Лели. Она сама не знала, была ли то дрожь страсти или робости. Страшно, чтобы не накрыли, страшно войти к заразным, страшно, чтобы как-нибудь не сорвалось!.. У нее была при себе маленькая иконка Божьей Матери, которая обычно висела у изголовья Зинаиды Глебовны; готовя к передаче теплые вещи, Ася зашила эту иконку за подкладку; Леля нащупала и в удобную минуту, подпорвав подкладку, извлекла образок и старательно прятала его от любопытных глаз. До сих пор

она еще ни разу не молилась и дорожила образком больше как воспоминанием о матери. В этот вечер, убедившись, что соседи заснули, она вытащила икону.

— Как читается этот тропарь, который любит Ася? Потщися, погибаем... Нет, не припомнить! Защити от чудовищной злобы, спаси от преследований, голода и заразы... Хоть раз в жизни пролей на меня божественное милосердие. Хоть один раз! Я почти не верю и все-таки прошу!

Потускневший, потемневший лик был мертвенно неподвижен... Что это: кусочек ли безжизненной материи или обладающая благодатью и тайной силой реликвия?.. Запечатлелась ли на ней частица материнской любви и бессмертна ли эта любовь?..

Мама! Мамочка! Видишь ли ты свою дочку здесь, на соломе, в тюремном бушлате, завшивленную, больную? Видишь ли ты, как она одинока? Она не может молиться святым, не умеет! Ты скорее услышишь! Ты всегда была так кротка и терпелива со своей капризной, взбалмошной дочкой, ты всегда ее жалела за то, что мало выпало ей на долю счастья... Вымоли ей сейчас хоть часочек радости, вымоли мужские поцелуи — она бредит ими уже столько лет, и все нет и нет любовного огня. Нельзя же просить о нем Бога, а тебя — можно! Мама Зиночка, кроткая мученица, бедная мама Зиночка! Так мало видела ты заботы, так мало ласки... Никогда твоя дочь не осведомлялась, сыта ли ты, хотя отлично видела, что лучшие куски ты отдаешь ей; никогда не спрашивала тебя, не слишком ли ты устала, когда ты стирала белье и мыла пол, а она болтала и гуляла с Асей. И все-таки она тебя любила! Часто, очень часто накопало в ней тоскливое желание припасть к тебе, покрыть поцелуями твои руки... Но что-то мешало: глупая сдержанность там как раз, где ее не нужно! Страх показаться сентиментальной или ребячливой. Прости за это!.. Только когда тебя не стало, она поняла, чем была для нее твоя любовь! Если ты жива — помоги, обереги. Призови себе на помощь Божью Матерь — тебя Она услышит... Завтра... Завтра!

## Глава двадцать вторая

— Аксиньюшка, самовар на столе! Иди чайку выпить, — крикнула из сеней старая крестьянка в кацавейке и повойнике.

— Спасибо, Мелетина Ивановна! Сейчас Сонечку укачаю и прибегу, — отозвалась из светелки Ася и через несколько минут, перебежав холодные сени, нерешительно взялась за скобку двери. — Одни вы, Мелетина Ивановна?

— Одна, одна, не бось. Иди садись под образа. Я тебе налью чашечку. Заснули твои-то?

— Спят.

— Ну, и слава Те, Господи! Сынок твой больно потешный, Севолодна! Намедни, как ты к бригадиру вышла, все около меня вертелся — расскажи да расскажи ему про кота-воркота, а сам наперед уже кажинное слово знает, даром что трех лет нет. Нонече я ему расскажу ужо про козлика и семерых волков.

Ася задумчиво смотрела на струйку самоварного пара, поднимавшегося к низкому бревенчатому потолку.

— Он сказки любит, — тихо отозвалась она.

— Гляжу я на тебя, Севолодна, и ажно, сердце за тебя болит: никогда-то ты не улыбнешься, не засветишься. Оно конечно — вдоветь тяжело, особливо на первых порах, да с детьми; ну, да без горя кто живет, родимая? А твое-то горе, смотришь, еще поправимое — молода ты, да пригожа лицом, еще не один присватается: дети у тебя не пригульные — умный мужик в укор их тебе не поставит. Малость поуспокоишься и снова молодухой станешь. А коли будешь с утра до ночи печалиться, высохнешь раньше времени, что тростинка. Нельзя так, моя разлапушка. Лицо твое тоже дар Божий.

— Мелетина Ивановна, не утешайте меня. Спасибо, что жалеете, но... Я свое горе закрыла на ключ, и когда его касаются, мне еще больней делается.

— А поплакать-то, Аксиньюшка, другой раз лучше, чем в себе горе вынашивать. Немая скорбь, затаенная, всего, вишь, страшнее; сказывают, точит она человека, что червь.

— Не жаль. Пусть точит.

— Чего зря мелешь? Тебе такие речи не к лицу — у тебя дети. Парочка твоя больно уж хороша. Вечор Сонюшка глаза на меня таращит, что совеныш маленький. Не устоит, говорят, горе там, где слышен топот детских ножек. Ты в Бога-то веруешь?

— Верила... верю! — и как будто далекий солнечный блик скользнул перед ее глазами, когда она произносила эти слова.

— Ну, так и не грехи. Великий грех — смерть призывать. Это тебя враг мутит. Я вот, вишь, всех похоронила, с нелюбимой невесткой осталась и в своей избе уже не хозяйка, а все живу. А для чего живу — в том Господня тайна: Он Один знает, когда кому срок. Я тебя в церковь следующий раз с собой возьму. Только далеконок от нас теперь церковь. Надо бы лошадь у бригадира выпросить — безлошадные мы теперь. Я другой раз захожу на колхозную конюшню, да как покличу: Гнедой, Гнедой! — так он сейчас ко мне и дышит мне на руку. Захирел, бедный, запаршивел, что дитя беспризорное. Без дела да без ухода стоят они, наши лошади. Вот оно, горе горькое!

Они помолчали.

— Вот погоди, Севолодна, придет весна; зазеленеют наши леса, запоют пташки; станем ходить с тобой

по ягоды и по грибы. Сторона наша лесная, привольная, оно конечно — места глухие: кто до городской жизни охоч, того здесь тоска возьмет, а только наши леса очинно хороши.

— А волков нет у вас?

— Как не быть волкам — есте! Зимой по деревенской улице другой раз проходят. Намедни еще я ночью на крыльцо вышла — показалось мне, что овцы в овчарне завозившись, — ан, гляжу, за плетнем два волка снег вынюхивают. Видала ты пса хромого, рыжего? Побывал у волка в лапах. А позапрошлой зимой девушку у нас заели. И всего-то пошла она в овин на краю поля; и фонарик при ей; да, видать, укараулили: гляжу это я в оконце, в поле-то темно, и только видать мне, как закрутился ейный фонарик — скользит ровно уж по земле, и прямехонько к лесу. Пока похватили топоры да выскочили, ее уж и загрызли. По следам было видать, что двое вцепились; одного она ослепила — как поволокли ее, видать, пальцами ему глаза проткнула; тут же его и выловили, а другой убежавши. Так и сгибла, пропала девушка. Ну, да это зимой, а летом уходят они подалее да поглуше — гулять без опаски можно.

— А по той дороге в Галич, куда мне на отметку ходить, нету их?

— А там нетути. Феклушка моя почем зря бегаёт. Та дорога, видишь ли ты, проезжая: со всех наших деревень по ей к Галичу плетутся, другой раз и грузовик проедет. Потому и никто их там не видывал, ни с кем еще беды не бывало; не бойся, Севолодна. А вот скоту нашему очинно от волков достается. Слыхала ты когда, Аксиньюшка, как скот от волка обороняется? Мне пастухи сказывали: коровы — те, как волка зачуют, сейчас в круг, рогами кнаружи, а телят в середину, и кажинная корова на рога волка принимает. Ну, а лошади обратно — задними ногами кнаружи, а мордами внутрь, и встречают волка копытами, а жеребятки-то в ихнем кругу промеж морд запрятаны. А как волк от их копыт поумаётся, так выходит к ему на единоборство самый что ни на есть крепкий конь и его добивает. У скота, вишь, свой разум. Это человек по гордости своей только думает, что бессловесная тварь не смыслит. Погляди в глаза хоть нашей Бурене...

— Мелетина Ивановна, а как решено с Буреной? Неужели в самом деле будут колоть? Она у вас такая кроткая и глаза печальные... у моей собаки такие были.

— Ох, и не говори, Аксиньюшка! Корова и добрая и разумница, да только больная, и проку от ее уже давно никакого, а у нас в колхозе корова и всего-то одна. Приключись с ей болеть опосля теленочка. Я, знаешь, все подстерегала, как ей родить, потому как я при ей в коровниках. Да не устерегла: заснула, а как на зорьке подошла — теленок уже подле ей, и она начисто его вылизала и сиси ему уже дала. Мне б его и отобрать сейчас, да я на старости больно жалостлива стала: дай, думаю, оставлю на денек; пусть попоит молочком родное детище. Так день ото дня и откладывала, а как пришли за им из колхоза — сама и наплакалась: веришь ли, только вошли наши парни, тотчас смекнула она, что за им, — загородила свое детище, рога наострила, глаза выпучила; хоть и не подступайся! А опосля-то, как увели, — мычит, слышу, да так жалостно! Слезы по морде катятся, есть перестала... а там и хворь на ее напади. Председатель орет, что корова вовсе порченная и что только на мясо она и годна, потому она быка, вишь, не принимает. А мне ровно бы и жаль, коли зарубят Бурену, очинно она понятлива, хоть и с норовом: невестка сядет, бывало, доить, так и всякий раз впустую — не дается она ей, зажимает, вишь, молоко. Та и досадует и ругается. Один раз с прутом вошла: ну, говорит, Бурена, отхлестаю я тебя, коли будешь упрямиться. И положи тот прут возле ей, а Бурена как швырк его копытом. Ну, а сяду я, да как начну приговаривать: дай молочка, родимая! Ну-ка, дай, моя хорошая! Так сейчас и надою ведро. Вот она, наша Бурена, какая. — И Мелетина Ивановна утерлась косынкой.

— Мелетина Ивановна, как вы думаете, что ответит мне председатель?

— А кто его знает, чего ответит. Повремени — узнаешь. Слышала я, сказывали, что колхозную почту тебе нельзя доверять, потому как ты на подозрении у них... Председателю из города о тебе передано.

— Ах, вот что! Вот что! Не доверяют! Ну, тогда пусть возьмут меня к коровам и овцам на скотный двор — я животных люблю. А то так на полевые работы...

— А мне сдается, Севолодна, не рыпайся ты, сиди смирно. Не для чего тебе и вовсе лезть в колхоз; платят у нас копейки; мукой выдали — на месяц только хватило, а картофель так вовсе гнилой — скормила поросенку. Колхозными трудоднями никто у нас не кормится; да и много ли ты, родимая, трудодней выработаешь? Погляди-ка на свои рученьки — силы в их, видать, никакой; опять же и детей тебе оставлять не на кого. Пустое это дело! Вот кабы ты шить умела...

— Не умею, Мелетина Ивановна! Иголку терпеть не могу! Ничего не умею! Уж такая бесталанная уродилась.

— А кто тебе, Аксиныюшка, деньги высылают? Вечор, слышала я, получила ты пятьдесят рублей.

Ася объяснила происхождение денег.

— Ну, и бери, пока дает. Брать от крестной на сиротку не зазорно. Аль не хватает?

— Не хватает. Мне бабушку поддержать надо: ей уже семьдесят, а она совсем одна в чужом месте, в Самарканде. Там у нее даже комнаты нет — угол на веранде. Там всю веранду заселили ссыльными, которым некуда деться. Сестра в лагере, в казарме, под конвоем... она голодает... ей бы надо посылку выслать. Лучше не рассказывать — у меня горе со всех сторон. Живого места в душе нет. — Ася встала. — Сейчас ваши вернутся. Я пойду к себе — ваша невестка меня не любит.

— Зависть у ей к тебе, Севолодна! Уж такой она человек. Мне от ее тоже житья нет с тех пор, как я сына похоронила. Погоди: еще с полюбовником своим со двора меня сгонит.

Дети спали. Славчик разметал ручонки и лежал поперек постели. Сонечка лежала еще туго спеленутая. Сердце Аси всегда сжималось, когда она смотрела на свою дочку: Славчик видел так много любви и заботы в первые два года своей жизни, а это крошечное существо едва не осудили на уничтожение, она пришла как лишняя, как ненужная; ей не выпало даже радости и пососать материнскую грудь, и Асю постоянно грызла тревога, что девочка не вырастет здоровым, полноценным ребенком. «Мы будем водить ее в коротких платьицах, а на головку ей завязывать огромный бант» — портрет этот, нарисованный отцом Сонечки, неразрывно связывался с дорогими игрушками и красивыми большими комнатами, в которых порхает девочка-бабочка, а не с этой прокопченной избой, которая завалена до самых окон сугробами!

Постояв над спящими детьми, Ася подошла к оконцу и, заложив руки за голову, посмотрела на темный дворик, потом перевела взгляд на горку белья, отложенного для починки. Она накинула платок и выбежала на занесенное снегом крылечко. Деревенька из шести дворов расположилась в середине большого леса, который тянется до самого Галича. Старые русские места, где жил Иван Сусанин и где скрывался в своей вотчине Михаил Романов. Лес подступает к деревеньке со всех сторон; он весь теперь белый, весь неподвижный, и над ним ярко сияет звездное небо. Сретенские морозы в эту зиму были не хуже крещенских. Как хороша та планета над лесом! Умершие — там, в этих звездных мирах.

В глубине ее души жило смутное желание попасть в церковь — войти в полумрак под купол с его таинственной высью и шорохами, вдохнуть воздуху, в котором, казалось ей, застыли вместе с запахом ладана невидимые кристаллы молитвы, найти где-нибудь в боковом приделе икону Скорбящей, перед которой всегда кто-то расprostерт ниц, прикоснуться губами к Пречистому Лику, склонить колени, укрепить свечечку и заплакать... «Помяни... за раннею обедней мила друга, верная жена!» Но она была лишена возможности даже помянуть своего друга — она не могла ни на минуту отлучиться от детей. К тому же церковь в соседнем селе была и теперь закрыта — все та же «мерзость запустения на месте святом». Оставалось только целовать свой крестик, засыпая. Кто знает, может быть, по ночам ее душу уносят из тела

в заоблачные просторы — не туда, где «праведные сияют, яко светила», думалось ей, — в иные, менее совершенные круги, где блуждают такие, как Олег, — призываемые к покаянию и самоочищению, и, может быть, там они встречаются и молятся, и так же вот горит свечечка, колеблемая веянием крыльев... Может быть!.. Но просыпаясь, она не помнила ничего и чувствовала себя всегда покинутой и одинокой, и в этом именно — казалось ей — заключается ее очень большое несовершенство.

Яркий свет залил землю в утро Сретения Господня; он струился потоками. Увидев эти солнечные лучи, затоплявшие белые снега и темные сосны в белых опушках, Ася не утерпела и, оставив у колодца ведро, выскочила за калитку. Она запахла на ходу ватник и платок и побежала к лесу, увязая в сугробах.

На минуту... хоть на минуту, пока дети спят. Солнце совсем мартовское, и как будто уже весной пахнуло! Клест... вот там клест на ветке шишку дерет... А снегири так и звенят! Вот потому-то она и хотела в деревню. Теперь скоро начнется капель, она увидит проталины, грачи пойдут по талому снегу... весна, обновление! А человеческая душа, которая вся во власти горя, обновляется ли человеческая душа? Возможно это на земле? Или только *там*, после смерти?..

Она закинула голову, глядя на вершины берез и сосен. Лучи еще были косые — утренние — и шли по макушкам; внизу — синие тени; вокруг — тишина и свет!..

— Сегодня Твой праздник, Господи. В этом свете чудится мне частица Твоего сияния — он особенный: озаренный, нездешний, легкий! Мне радостно смотреть! Серое облако стояло так долго, а сегодня вдруг свет. Спасибо Тебе, милый Иисус Христос, что Ты вспомнил обо мне в этот день и что Твои лучи нашли меня так далеко, в лесу, в этой избушке... Я уже ничего у Тебя не прошу, Господи, — да будет воля Твоя, а не моя! Прости, что я на тебя роптала; я забыла, что одно чудо Ты все-таки совершил для меня — Сонечка осталась жива в этом страшном лагере наперекор всем опасениям! Эту молитву Ты исполнил — одну, но очень большую. Я только сейчас вдруг вспомнила, вдруг поняла. «Благодарю Тя, Господи Боже мой, яко не отринул мя еси грешнаго, но общника мя быти святынь Твоих сподобил еси...» — читают на благодарственном молебне. Сегодня благодарю я.

Не хотелось опускать головы, не хотелось отрываться от затоплявшего света; это тепло в груди и в душе было слишком отрадно; так бывало иногда в детстве! В душе ее зашевелилось неясное, но дорогое воспоминание: ей было лет пять... однажды утром она осталась одна в детской, и вдруг словно раздвинулись стены, и солнечный свет затопил комнату... Окна выходили на южную сторону, и солнце часто бывало здесь, но в этот раз оно было раньше и ярче обычного; за оконным стеклом забились голуби... это тоже бывало не раз, но нынче они затрепетали... Солнечный свет делался все ярче и ярче... она бросила кукол и встала, почувствовав на себе Чей-то взгляд. И вот голос, похожий на голос матери, сказал за ее спиной: «Не бойся, так бывает, когда смотрит Бог!» Она вся сжалась и благоговейно задрожала... Длилось минуту и ушло... больше ничего не было! Странно только, что, когда на другой день она заговорила о случившемся с матерью, та не могла понять, о чем толкует девочка, и уверяла, что не заходила утром в детскую. Надевая перстни на пальцы, она рассеянно прибавила: «Фантазируешь или приснилось...» С тех пор ни разу не пробовала Ася касаться словами этой сокровенной минуты и чем старше становилась, тем с большим благоговением думала о ней. Утренняя светлая легкость и радость на молитве, посещавшие ее иногда, напоминали ту минуту, но никогда не достигали такой силы... Голоса и сегодня не было, но излучения воспринимались такими же, что и в то незабываемое утро.

«Вот люди не верят в возможность общения с Высшими, а как это просто! Прилетит, прольется и улетит... — думала она, стоя по-прежнему с запрокинутой головой, как зачарованная. — Дух дышит, где захочет! О, это, конечно, не Бог, но Кто-то из Святых... Призвать эту минуту нельзя и удержать тоже; не от меня это зависит, как за роялем. За что мне даются такие дивные минуты?»

Назади ее сознания тихо брели музыкальные мотивы...

«Что мне припоминается? «Китеж»? Да, это из «Китежа»: голоса райских птиц и Феврония в светлом граде. О, за что же эта радость, чем я Богу угодила?!»

Клавир «Китежа» и фуги Баха лежали у Аси в чемодане, в избе под лавкой: собираясь в ссылку и спешно укладываясь, она и Елочка обсуждали и мысленно взвешивали каждую вещь, так как количество багажа было строго ограничено; тем не менее она все-таки сунула в чемодан потихоньку от Елочки несколько папок, отлично сознавая нелепость этого поступка, но чувствуя себя не в состоянии расстаться с откровениями на музыкальном языке.

Когда она возвращалась к дому, все так же увязая в сугробах, вокруг все выглядело уже несколько иным. Она не знала, что именно так будет: после минуты озарения на очень короткий срок зрение всегда приобретало особую зоркость и ясность — как будто снимались мутные очки. Снег и синие полосы на нем выглядели особенно девственными; голубь, ворковавший на крыше крылечка, говорил, по-видимому, о только что случившемся — он-то, конечно, все знал; на лице Мелетины Ивановны, встретившей ее в сенях, морщинки расположились так, что подчеркивали ее кротость, а чело ее было увенчано скорбной ясностью; в собственной маленькой горнице установилась особая прозрачность, образок старца Серафима у постели словно светился, а на личике спящей дочери почилло выражение священной тишины, которое не всегда в одинаковой мере было доступно взгляду матери.

Когда она стала собирать на стол, то увидела, что и на белой скатерти, и на глиняной кринке с молоком, и на круглом деревенском хлебе лежит благая, светлая печать.

## Глава двадцать третья

Каждое утро, подымаясь на заре вместе с Мелетиной Ивановной и умываясь ледяной водой из маленького рукомойника, висевшего на крыльце, Ася перебежала двор, пожимаясь от холода, и закладывала в ясли Бурене охапки сена. Потом, схватив глиняную кринку, шла на другой конец деревни за молоком к старому деду, который еще держал свою индивидуальную корову. Это были лучшие минуты в течение дня: на улочке не было еще ни души; подымавшееся солнце золотило верхушки леса; утренний заморозок щипал щеки; снегири звенели в придорожных вербах; по подмороженной дороге прыгали голуби и воробьи и возились около маленьких луж, вздувавшихся от ветра; чистота воздуха и уже повесенному светлого неба лилась ей в грудь. Она положила себе за правило читать по пути «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся!» и «Верую» — ведь это было единственное время дня, когда она могла сосредоточиться на своих мыслях, а ей хотелось сохранить в душе светлый след и поддержать себя в уверенности, что жизнь ее и детей в руках Божиих. Золотисто-розовый край неба ассоциировался у нее со словами: «Да придет царствие Твое» — как будто лучи эти лились из тех обетованных мест, где оно уже наступило.

Старый дед наливал ей в кринку молока — в долг до двадцать пятого, и добавлял уже от себя пахты в отдельный горшочек. Когда она прибежала домой, Славчик, обычно уже проснувшийся, кувыркнулся в постели; маленькие ручки протягивались к ней; она одевала сына с песенками и поцелуями. Первая трапеза обычно проходила жизнерадостно — она чувствовала себя освеженной молитвой, а Мелетина Ивановна, которая растапливала с утра печь, великодушно предоставляла ей горячую воду для мытья детей и угощала ее красиво подрумяненным картофелем из деревенского чугуна. Славчик отличался хорошим аппетитом теперь, когда оказался на воздухе, — он выпивал чашку молока и съедал две или три картошки; отрадно было смотреть, с какой готовностью открывался этот маленький ротик! Остаток картофеля она приберегала ему на вечер, перемешивая его с пахтой, а сама довольствовалась куском хлеба и кипятком. Сонечке в рожок отливала двести граммов молока, и это при пятиразовом кормлении составляло за день литр. Днем Ася варила немного пшена, которое у нее было поделено на несколько равных порций с расчетом, чтобы хватило до двадцать пятого, другой крупы не было. Обедали в два часа, и Славчик успевал до вечера снова проголодаться — тогда в этот открывающийся очаровательный ротик можно было положить только кусок, оставленный себе на вечер. Настроение падало по мере того, как иссякали запасы дневного рациона.

— Славчик! Это нельзя трогать, положи на место. Играй в свои игрушки. Стой, стой, куда ты? Сядь, посиди немножко. Что ты опять взял в ручки? Запомни: в ротик нельзя брать ничего, кроме того, что дает мама. Ну, о чем ты опять? Гулять? Ты видишь, мама стирает. А почему штанишки мокрые? Фу, как стыдно!

Интонация ее становилась понемногу все более усталой и печальной. Когда наступал вечер и щебет Славчика наконец умолкал, она, уложив обоих младенцев и прибираясь потихоньку в избе, пела колыбельные совсем тихо, высоким тонким голоском; пела их одну за другой, хотя Славчик и Сонечка уже давно спали. Перебрав все любимые колыбельные, она обращалась к романсам, выбирая только самые грустные, — «Острою секирой ранена береза» Черепнина наиболее отвечал ее настроению.

Она спала теперь на гладильнике, постланном на полу, а закрывалась пледом и ватником. Невольно сравнивала она эту постель со своим прежним ложем на кровати красного дерева с полотняными простынями и кружевными наволочками. Бросаться в ту кровать было всегда радостью — перешептывание с Олегом, поцелуй, сладкая дремота... Забираться в эту постель было всегда немного холодно, и каждый раз легкий трепет брезгливости пробежал по ее телу от сознания, что постель не так чиста, как бы ей хотелось, что простыни отсыревают, а плед затаскан в лагере. Каждую ночь осаждали тревожные мысли —



они подымались тучей, стоило ей только положить голову на подушку, и, несмотря на всю свою усталость, она лежала без сна до первых петухов. Голод решительными шагами приближался к ее маленькой семье! Мечтой ее стало иметь мешок своей картошки, но, сколько она ни обходила крестьянские избы, никто не соглашался с ней поделиться — все уверяли, что раскодают последнюю; может быть, так было и на самом деле, а может быть, опасались, что она не достанет денег и не сможет рассчитаться. Запустить руку в собственный мешок, испечь и съесть сколько захочешь и когда захочешь — начинало представляться ей верхом счастья! Даже казалось иногда, что грустные мысли станут уже бессильны, если сестра за хорошо накрытый стол. С тоскою думала она, что Славчик не получает высококалорийных питательных веществ. В этой разоренной колхозом деревне почти ничего нельзя было достать, но и то небольшое, что было, она все равно не могла купить! Сметана водилась только в одной избе и была дорогой; яйца можно было купить только поштучно, и они тоже были дороги. Пойти в город раньше срока специально за деньгами? Но это удлинит следующий отрезок времени: от похода в город до получения перевода от Елочки, который мог прийти не раньше десятого числа следующего месяца, — вытащишь хвост, голова увязнет!.. При наличии долгов за молоко ей не могло хватить на две недели той суммы, которую она предполагала занять у Надежды Спиридоновны или Пановой.

В одно утро произошло как раз то, чего она опасалась: Мелетина Ивановна картофель не пекла, а сварила овсяную кашу и не поделилась с ней, может быть, потому, что дома была Феклуша. Асе при ее скудном рационе этого оказалось довольно, чтобы остаться совсем голодной. У нее не хватило воли, чтобы придерживаться установленных ею же порций при варке пшена, в этот день и на следующий она сварила двойную дозу, и пшено кончилось. Отыскивая выход из создавшегося положения, она ухватилась за мысль переговорить с бригадиром. Стоя посреди улицы и глядя на его избу, она тем не менее не решалась войти, когда вдруг увидела его приближающимся к своему дому с уздечкой в руке. Надо было воспользоваться моментом.

— Добрый день, Тимофей Алексеевич! — сказала она и по-крестьянски низко поклонилась, полагая, что это будет уместней протянутой руки, с которой крестьяне никогда не знали, как им поступать. — Я вас хотела попросить... Очень трудно мне... Не можете ли вы уступить... продать... мешок картошки? Может, у вас в колхозе есть лишняя? Я рассчитаюсь, как только получу деньги. Если же нельзя мешок, хоть два или три кило... Я и крупе рада буду... Мне детей кормить нечем.

Даже дыхание зашло у нее в груди — таких усилий стоила ей эта маленькая речь. Бригадир молчал, оглядывая ее недоброжелательным взглядом.

— Диковинная ты, Аксинья Всеволодовна! За дурака ты меня, что ли, считаешь? Денег у ей нет! Да промеж нас ты самая что ни на есть богатая: ну, который из нас разом столько денег в кулаке зажмет? И не слушать бы мне тебя вовсе, да уж куда ни шло: завтра два наших мужика в город едут, езжай и ты с ними на дровнях. Нам надоть спосылать кого-нибудь из баб мясом поторговать, а как будто, смотришь, и некого. Мы завтра корову колем. Мы за эту работу тебе на мешок картошки денег выделим. Там же, на базаре, и закупишь, а мясо уже раскроем — самой рубать не придется.

Перед глазами Аси замелькали кровавые скользкие куски.

— Благодарю вас, но я на такую работу не годна. Я не сумею. Мне торговать на рынке!.. — и невольно горделивым жестом вскинула хорошенькую головку, но тут же почувствовала всю неуместность своей гордости.

Бригадир нахмурился.

— Вот, предлагаю заработать, так небось не хочешь, а колхозное добро на тебя разбазаривай, отдавай тебе посадочную картошку!.. Не суй ты нос в наши колхозные дела и не попрошайничай тут, на

колхозной улице. Экая вредная!

Ася отвернулась и побежала к дому, чувствуя себя так, как будто получила пощечину. В этот день она отвечала ребенку невпопад, а отправляясь за молоком, не в силах была прочесть любимые молитвы; как опозоренная, боясь поднять голову, перебежала она через деревню, уверенная, что изо всех окон смотрят на нее и говорят: «Вот эта дурочка, эта побирушка, внучка царских сановников!» Созданные усилиями ее духа минуты созерцания были разрушены. Чувство голода становилось мучительно: Сонечка выпивала свое молоко, Славчик — остаток молока и пахту с хлебом, а на ее долю доставалось около фунта хлеба и кипятка. Она ловила себя по вечерам на голодных галлюцинациях, которые были так упорны, что она ощущала на своих губах вкус воображаемой пищи. Засыпая голодной, она часто чувствовала боль в животе. Она заметила, что ослабела: походка ее сделалась несколько неверной и шаткой, голова кружилась. Раз она взглянула на себя в зеркало и увидела на своей худой и длинной шейке странное коричневатое пятно и такое же на щеке около уха... Что это могло быть? А вдруг цинга? Или пеллагра? Олег болел ею в лагере и рассказывал, что она, как и цинга, начинается от отсутствия витаминов. У нее было посажено несколько луковок в горшке на оконце — пригретые февральским солнцем, луковки уже дали зеленые побеги, и она подмешивала их в пахту для Славчика. Испуганная темными пятнами, она общипала несколько перьев и съела их сама, а потом постучала к Мелетине Ивановне, выждав, чтобы Феклушка вышла.

— Мелетина Ивановна, — сказала она, пересиливая гордость и нерешительно останавливаясь на пороге, — вы кажется, за что-то на меня рассердились, а за что — я не знаю. Я так благодарна вам и за картофель, и за горячую воду. Без вас я бы пропала!.. Мне очень трудно. Со мной нет никого, кто бы мог мне помочь, и приходится опять обращаться к вам — я ведь знаю, какая вы добрая!..

Голос ее задрожал. Старая крестьянка молча смотрела ей прямо в лицо, и почему-то казалось Асе, что все, что она говорит, получает у Мелетины Ивановны свою особую интерпретацию, неясную ей. Мелетина Ивановна не то чтобы не доверяла, но точно отыскивала в ее словах вторичный, скрытый смысл, кроме самого простого.

— Завтра я должна идти в город на переключку, — продолжала, проглотив слезы, Ася, — а за детьми присмотреть некому, и даже поесть им оставить нечего, кроме молока для Сонечки. Сама я очень изголодалась и ослабела... Если я не поем, я боюсь, что я не дойду. У меня в самом деле ничего нет! — И закрыла себе лицо от стыда и отчаяния.

Мелетина Ивановна не обняла ее и не прижала к груди, как сделала бы, наверное, Панова, Краснокутская и любая другая из знакомых ей дам — кроме разве Надежды Спиридоновны; она сказала:

— Присмотрю небось: голодными у меня не останутся! И спать уложу и укачаю — это уж само собой! Экая неосмотрительная ты, Аксинья! Дивлюсь я все на тебя. На вот борща тарелочку; хлебушка я сейчас отрежу; а утром я тебе ужю картофельных оладий подогрею — хорошие оладьи. Садись к столу.

Едва лишь Ася взялась за хлеб, как Славчик, бросив игрушки, завертелся около нее и протянул ручонки, говоря: «Дай».

«Леля хоть может съесть сама то небольшое, что получает, а я спокойно не могу проглотить ни одного куска», — со вздохом подумала она. За последние две недели перетяжки опять пропали на ручках ее сынишки, и личико слегка вытянулось... Наблюдать эти изменения в детском лице и сознавать всю невозможность что-либо изменить — вот пытка!..

Поднялась Ася на рассвете, как только Мелетина Ивановна слезла с печи и вздула огонь, растворив печную заслонку. Спешно глотая оладьи, Ася не решалась заговорить с Мелетиной Ивановной о подробностях ухода за детьми, хотя множество указаний вертелось у нее на языке: легко можно

предположить, что Мелетина Ивановна сунет в ротик Сонечке хлебный мякиш или покормит Славчика с чужой ложки... Но, боясь обидеть старую крестьянку, Ася все-таки промолчала. Дети еще не просыпались, когда она подошла к ним уже в ватнике, валенках и платке. Она перекрестила обоих, но не поцеловала, опасаясь разбудить.

В сенях было еще полутемно; Мелетина Ивановна стояла на пороге.

— С дороги-то не сбейся: день ужо будет вьюжный — вона какая с утра пороша! — сказала она.

— Не собьюсь, я ведь уже ходила! — Ася взглянула через раскрытую дверь на крутившийся снег и еще раз обернулась на детей — ресницы ее сына еще не подымались, и выражение ангельского покоя лежало на лбу и побледневших щечках; загадочный комочек тоже был неподвижен.

— Не тревожься, уж сохраню. Люблю ведь детей-то!.. Ступай с Богом, — сказала опять Мелетина Ивановна.

Ася порывисто наклонилась и припала губами к загрубевшим мозолистым рукам...

— Господь с тобой! С чего ты это? — проговорила Мелетина Ивановна и отняла руки.

## Глава двадцать четвертая

Надежда Спиридоновна в старом стеганном капоте стояла около своей распотрошенной кровати и, казалось, была чем-то расстроена.

— Ах, это вы! Не входите — вытрите сначала ноги в сенях и стряхнитесь, вы вся в снегу. Так. Теперь присядьте, только Тимура не раздавите.

Ася села на кончик стула и больше из вежливости, чем из участия, спросила:

— Как живете?

Во взгляде, брошенном на нее из-под серых, поредевших, колечками вьющихся волос, Асе впервые показалось что-то растерянное и пришибленное вместо прежнего своенравного огонька.

— Как живу? Неприятность за неприятностью! Вы еще слишком молоды, моя дорогая, чтобы понять, что переживает старый человек, когда он всеми покинут в таких тяжелых условиях. Хозяйка помещения, небезызвестная вам Варвара Пантелеймоновна, прескверную шутку со мной сыграла: такой прикидывалась тихой, богобоязненной и богомольной, и вдруг является ко мне в один прекрасный вечер, а сама тянет за руку какого-то типа в картузе и преподносит: «Я нашла себе мужчину, надоело уже вдоветь!» Как вам понравится этот откровенный цинизм? А я потому ведь и поселилась у нее, что здесь мужчин не водилось. Теперь, разумеется, вертится около своего предмета, а ко мне хоть бы глазком заглянула. Вчера я сама паутину снимала, а мне с моим склерозом нелегко лазить по табуреткам — упала и колено зашибла. Две ночи уже не сплю — все какой-то писк и шорох; собралась с силами, приподняла свой матрац, вы не поверите, милая, — мышь свила гнездо и вывела маленьких!.. Едва только я увидела этих голых уродцев, тотчас «в Ригу съездила»...

Ася, снимавшая в эту минуту рюкзак, почувствовала, что ею завладевает судорожный смех.

— Помилуйте, а что же Тимур-то смотрит? — выговорила она, с трудом удерживаясь, чтобы не фыркнуть.

— Тимур? — переспросила Надежда Спиридоновна. — Ах, милая, Тимур стар — мышцы могут ходить возле самого его носа, и он не шевельнется, он и в молодости брезговал ими. Ну-с, бросилась я к Варваре Пантелеймоновне, а там сидит, развалившись за столом, рослый хам и заявляет: «Моя жена вам не прислуга, сами извольте управляться, а не нравится — съезжайте, не заплачем». А разве мне легко переезжать?

— Конечно, нелегко, а только... каждому человеку ведь хочется счастья... — начала было Ася, но глаза ее остановились на недопитой чашке кофе, около которой лежали поджаренные ломтики хлеба и два яйца. Она знала, что на гостеприимство этого дома особенно нельзя рассчитывать, но после десятиверстного перехода ей так хотелось выпить горячего, что она заколебалась — не попросить ли совершенно прямо чашку кофе, чтобы поддержать силы? Надежда Спиридоновна перехватила, по-видимому, этот голодный взгляд, тотчас подошла и закрыла кофейник «матреной».

Румянец залил щеки Аси.

Надежда Спиридоновна вытащила лист почтовой бумаги.

— Вы, конечно, знакомы с Микой Огаревым? — спросила она. — Ну-с, так вот, сей юноша почтил меня любопытным посланием... Где мое пенсне? — Старуха порылась в ридикюле и откашлялась: — Вот, слушайте:

Мика, по-видимому, пожелал возобновить прерванные военные действия. Для Аси из этих строк тотчас выступили все те притеснения, которые должен был выносить Мика в квартире у этой тетки.

— Женится! Он женится! — воскликнула Надежда Спиридоновна. — Хотела бы я знать, кто эта героиня, которая согласилась выйти за двадцатилетнего неуча и полностью разделяет его точку зрения!.. По всей вероятности, безбожница, комсомолка. Я всегда говорила Нине, что братец ее плохо кончит.

Ася почувствовала необходимость заступиться:

— Я слышала, что Мика очень благородный и умный мальчик. Слово «неуч» вовсе к нему не подходит. У него великолепные способности, и не его вина, что в университет его не приняли, а погнали в глушь. Девушка, которая с ним уехала... те, которые ее видели, говорят, что она очень интеллигентная и милая. Только порадоваться можно, что Мика теперь не один.

Но Надежда Спиридоновна не могла успокоиться:

— Хулиганское письмо! «Я — не нуждаюсь в деньгах!» В чужом кармане считать легко, а каково мне в мои семьдесят лет таскаться самой к колодцу? Библиотеку мне оценили в восемнадцать тысяч! Ну, да как угодно, племянничек, судиться с вами я не желаю!..

Асе стало жаль старуху. «Вымою ей пол и сниму паутину. Время еще есть — в комендатуре принимают до трех», — подумала она, но в эту минуту Надежда Спиридоновна разразилась следующей тирадой:

— Вот заблагорассудится — и составлю завещание в пользу вашей Сонечки. У меня еще есть золотые фамильные часы и перстенок с бриллиантом. Не пришлось бы вам раскаться в ваших дерзостях, милейший Михаил Александрович!

Ася почувствовала себя неловко.

— Надежда Спиридоновна, не берегите вещей и лучше не пишите завещание вовсе. Вам в самом деле трудно — продайте часы и перстень. Сонечка моя вам чужая, и мне было бы очень неудобно, если бы вы обошли Мику.

Лазить по табуретам с тряпкой и скрести пол было, конечно, делом нетрудным, но достаточно утомительным теперь, когда силы были подорваны. Однако она относительно быстро закончила уборку, после чего все-таки получила чашку кофе с двумя ломтиками хлеба.

«Лучше бы и не пробовать — только еще больше есть захотелось! — со вздохом подумала она, надевая ватник и валенки. — Ну, теперь самое страшное! Господи, благослови!»

И уже на пороге повернулась к Надежде Спиридоновне.

— Я хотела вас попросить... не выручите ли вы меня небольшой суммой в долг. Я верну недели через три, как только получу перевод от Муромцевой, у которой мои квитанции от комиссионных магазинов.

Требуемую сумму язык ее отказывался выговорить.

Старуха вскинула на нее глаза.

— Вещи, милая моя, может быть, и не продадутся... Вы напрасно думаете, что это так легко и просто делается, — возразила она.

— О, я знаю, знаю, что совсем не просто, но Елочка Муромцева — вы ее видели в Хвошнях, — она принимает в нас очень большое участие — она ежемесячно высылает мне двести рублей; поэтому деньги у меня во всяком случае будут, — ответила Ася.

Надежда Спиридоновна помолчала.

— Вы видели, как пошатнулось теперь мое собственное материальное положение. Друзей, таких, как у вас, у меня нет. Хорошо, я одолжу вам двадцать пять рублей — больше не могу; но впредь учитесь жить

не делая долгов. Я за свою жизнь рубля не заняла.

Она открыла ридикюль и протянула деньги.

— Благодарю, — прошептала Ася и вышла в сени. Там она постояла несколько минут в темноте, стараясь справиться с охватившим ее отчаянием — она понимала, что даже сто рублей не могли покрыть ее долгов в деревне и не оставляли ей ничего на жизнь, а эта в четыре раза меньшая сумма почти ничем не могла ей помочь. Обращаться больше не к кому! С опущенной головой, медленно, почти машинально, побрела она в комендатуру. Ссылных в Галиче было не так много, и около стола, где производилась отметка, она застала в этот час одну Государыню. Едва лишь они вышли на улицу, та заговорила, хватая руку Аси:

— Ах, милая, милая! Ну, что делать, скажите?.. Эта... как она... классовая борьба... нас доведет до могилы! Я живу в чужих сенях под лестницей, заработка никакого. Погадала раз на картах одному красноармейцу, он доволен был, дал рубль; я — к другому, а тот наорал и потащил в райсовет; перемывали уж там мои косточки: как мол, смею разлагать армию, да еще отбросом аристократии обозвали... Кошмар, кошмар!.. Недавно с нищими около булочной стояла, а вчера подобрала с земли на рынке три-четыре картошки, а в помойке нашла неополоснутую консервную банку; вышел недурной суп, но ведь не каждый день так повезет! Думала ли я, что буду в помойке рыться, когда встречала реверансами Государыню Императрицу в наших институтских залах!.. Талия у меня тогда была пятьдесят пять сантиметров!

Простившись с Государыней, Ася зашла к Пановой. В кривобоком сарайчике было совсем темно, а в печурке не было огня. Старая генеральша лежала на ломаной кровати, закрываясь пледом и когда-то модной тальмой на клетчатой подкладке.

— Жду вас, жду! Входите, милая. Я была уверена, что загляните. Болею я: ноги так распухли, что встать не могу. Расопите мне, пожалуйста, печурку — там, в углу, еще остался хворост, хочется выпить горячего. На окне на блюдечке две картошки — мне соседка принесла; это для вас, я ничего не хочу. Плохи мои дела, дорогая.

Усталые, озябшие и потрескавшиеся пальцы ломали сырые сучья, пачкаясь в мелком, седом, кудрявом мху. Было все время холодно и донимала усталость; холод со странной настойчивостью пробирался в рукава и под шею, а усталость отзывалась слабостью в ногах; огонь как нарочно не разгорался.

— Странное что-то происходит в последнее время со мной: самые ничего не значащие мелочи вдруг так расстраивают и раздражают, что хочется разрыдаться или даже зарычать от досады. Никогда этого раньше не бывало, — дрожащим голосом пробормотала Ася, наблюдая за маленьким огненным языком, который прицепился было к суку, но в борьбе с сыростью начал изнемогать.

— Это ваши издерганность и усталость сказываются. Держитесь, милая; стоит немного только себя распутить — и можно в самом деле в истерику удариться. Опять погасло?

— Погасло.

— Вот что мы сделаем: выдвиньте из-под кровати мой чемодан; так; теперь откройте; видите кипу бумаг? Это письма моего мужа из Ташкента: он был в то время моим женихом. Бросьте в огонь! Мне теперь уже ничего не жаль — я умру, а их выбросят на помойку... так уж лучше сжечь. Бросайте, бросайте! Что вам делать — не знаю! Если бы я была здорова, но вы видите, в каком я состоянии, — кажется, я уже ничем не смогу быть вам полезной!..

— Екатерина Семеновна, тут, в Галиче, есть хороший доктор из высланных — Кочергин Константин

Александрович. Он — великодушный человек и с ссыльных не берет денег. Вам бы надо с ним посоветоваться.

— Константин Александрович был: сердечная мышца у меня никуда не годится, а тут еще присоединился тромбофлебит. Чего же удивительного? Нам — русским женщинам — досталось так досталось! Для меня началось еще с Мазурских болот, а кончилось... отречением сына. На него я не обижаюсь — ему хотелось жить, работать, а тут — происхождение! Виновны те, которые толкнули его на это, они поддерживают режим, при котором возможны такие вещи!.. Вот я здесь лежу одна, и перед глазами у меня, как заснятая пленка, проходит вся моя жизнь. Мой отец — земский врач; гимназисткой еще я привыкла помогать ему на приемах во время летних каникул; нас так любили и уважали во всей округе, что, когда после революции чекисты явились арестовывать отца, крестьяне пошли на них с вилами. Молодой девушкой я работала в обществе «Марии Магдалины» — мы спасали продажных женщин: это была настоящая большая работа. С началом войны — я сестра милосердия на фронте... и я — враг народа, я! а в чем же моя вина? Муж — генерал? Но ведь он жертвовал за Родину жизнью, всегда на передовых, в боях...

Ася подняла голову.

— Я только теперь поняла значение слов «Да будет воля твоя» и «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», — сказала она, следуя течению собственных мыслей. Сидя на березовом обручке, она то и дело помешивала дрова и не сводила печального взгляда со слабого пламени. Дома она тоже любила сидеть перед печкой, и тогда именно заводились у нее с Лелей самые искренние разговоры.

— Вы плачете, милая?

— Я вспомнила бабушку: может быть, она лежит, как вы, — такая же одинокая, заброшенная. Сыновья погибли, внук отрекся, а внучка... — и через несколько минут она задумчиво пробормотала слова полузабытого стихотворения:

Lorage a bris'e le ch^ene,  
Qui seul etait mon soutien...[103]

Чайник все не закипал, дрова не столько горели, сколько тлели. Было уже около четырех, когда она подала наконец старой генеральше чай, а сейчас съела две картошки с чужого блюдечка.

— Мне пора уходить. Я хотела выйти в обратную дорогу в два часа, а сейчас уже четыре... Мне очень грустно вас оставлять, но до сумерек надо пройти десять верст, а в шесть уже начнет темнеть.

Панова взяла ее руку:

— Простимся милая. Мы не увидимся, я это твердо знаю. Хотите, я расскажу вам сейчас одну странную историю? Она короткая и не задержит вас. Моя покойная мать когда-то у себя в имении (как видите, дела давно минувших дней) пошла из большого дома зачем-то во флигель — хорошенький был домик, весь тонул в сирени. В первой же комнате со спущенными жалюзи перед глазами у нее в полусвете закружилась и замелькала черная бабочка...

— Да, да, есть такие! Их называют траурницами, — перебила Ася.

— Сначала выслушайте, милый энтомолог, а название подыщем после. Мать никак не могла от нее отмахнуться, а потом вдруг потеряла из виду. Вернувшись, она при мне выражала удивление, откуда взялась бабочка в наглухо запертом помещении. В этот вечер скончалась моя бабушка. Тогда никто ничего не вообразил и не сопоставил. Спустя два года моя мать вновь, уже во сне, увидела такую же черную бабочку, которая так же кружилась перед ней. И в этот же день скоропостижно скончался ее муж, мой отец. Тогда только мы припомнили и сопоставили... И что же вы думаете?.. Пять лет тому назад, за день до

того, как я получила официальное извещение о гибели моего мужа в концентрационном лагере, я сама увидела такую же траурницу. Странно — неправда ли?.. Наша семья никогда не отличалась ни нервозностью, ни мистицизмом. Моя мать была уравновешенная разумная женщина, отличная хозяйка, мать пятерых детей. Откуда этот семейный доморощенный мистицизм, это предзнаменование, привязавшееся к нам?

— Да, странно! Очевидно, *оттуда* посылают иногда предупреждение... — прошептала Ася.

— Для верующего человека остается сделать только такой вывод.

Я не делаю никакого, я только рассказываю. Но история-то моя еще не кончена: сейчас, как раз перед вашим приходом, я задремала, и...

Рука Аси дрогнула в ее руке.

— Опять она?

— Она. Покружилась и пропала. Очевидно, конец. Я сейчас напишу вам на этом вот клочке адрес моего сына. Напишите ему, что его мать, умирая, любила его так же, как любила маленьким, прощать мне нечего — я все поняла; фотография его у меня здесь, под подушкой. А теперь дайте я вас перекрещу; я с первого же дня нашей встречи в теплушке почувствовала к вам симпатию. Дай-то Бог, чтобы вы благополучно выпутались из ваших трудностей. Поцелуйте меня и ступайте. Мне никого не надо. Я хочу быть одна в последние минуты, а вас ждут дети. Идите, идите — скоро начнет темнеть, сегодня пасмурно и вьюжно.

Вытирая глаза, Ася послушно вышла и, переступив порог, тотчас попала в мир белых снежинок, круживших в воздухе. Дойдя до ближайшего угла, она повернула в проулок, но проулок этот вел не на окраину, а к поликлинике.

Вот это окно; оно светится; он еще не ушел. Если она постучит, он сейчас же выбежит, поведет к себе, чтобы отогреть, утешить и накормить, проводит ее до деревни и, конечно, выручит деньгами — сколько сможет, столько и даст. Как он обрадуется, что может помочь!.. А потом он устроит так, чтобы перевести к себе детей, и своего маленького Мишутку сюда выпишет... Как бы она его любила!.. И может быть, тогда холодная нищета отступит и станет легче, спокойней, уютней и Константину Александровичу и ей... Она не влюблена в него и уже никогда ни в кого не влюбится, но она знает, что привязалась бы к нему — он ей симпатичен, почти дорог... Но...

Вокруг мело и мело; снежинки облепили ее лицо, снег падал, падал, падал... Свинцовое небо темнело.

Но... ведь взять от человека все, что только он может дать, достойно лишь при условии принести свою любовь и свою жизнь. Константин Александрович дружбу отверг и предпочел отойти вовсе, чтобы не гореть на медленном огне. Шутить его чувствами нельзя. Если она сейчас постучит, то должна будет пойти на любовную связь — иначе не может быть! Любовь!.. «Другой разбудит когда-нибудь твою страсть», — говорил Олег... А его жена? Она под конвоем, в бараке, как Леля. И вот она вернется и бросится к мужу и ребенку... Как взглянуть тогда ей в лицо и что сделать? Тогда уйти будет труднее, чем теперь. Нанести удар человеку, который потерял все, — значит добить человека. Добить...

Снег падал, падал, падал...

Асе жаль ту незнакомую женщину. Ася теперь знает, что такое горе. Ей жаль ее больше, чем себя. Жаль той непереносимой жалостью, которая ранит, как бритва.

Снег падал, падал, падал...



Что же тогда она медлит? Чего ждет? Она не хочет добивать — значит, должна уйти, и уйти надо теперь же, пока он не вышел и не увидел ее; теперь, пока не ослабела воля... Уйти.

Метет так, что залепляет... Ноги почему-то слабые... Устала, устала... Олег из Соловков вот так же шел — безлюдными дорогами, в метель, в мороз. Это наш крестный путь. Пути Господни неисповедимы — так, значит, надо!.. Придут другие времена, другая культура... Какая это птица кричит? Ворон? Жутко от его голоса. Зимний путь... «Ворон, бедный, странный друг...» В лирике Шуберта есть что-то захватывающее. Гений умер с голоду на чердаке! Сегодня рано темнеет... Разумней было бы переночевать у Екатерины Семеновны, а выйти, как только рассветет. Повернуть обратно, пока не ушла далеко?.. Но Славчик не захочет без нее ложиться, а Сонечку она вчера не купала: если еще на день отложить — начнутся опрелости... И ручки и ножки у нее такие крошечные, жалкие слабые... Славчик в это время уже приподнимался, а Сонечка... Нет, надо прийти до ночи. Дорога торная — не сбиться; опять кричит ворон; здесь у него гнездо, наверное. На этот раз лес кажется мрачным и угрюмым. Если бы дома ждали мама или мадам и, как в детстве, уложили в белую уютную кровать, — Ася бы тогда могла заснуть спокойно, зная, что мама рядом; спокойно — без этой мучительной тревоги, которая не проходит даже во сне, а где-то в подсознании остается... Эти рыдания, которые сотрясают во сне и от которых Ася часто просыпается... они так утомляют и надрывают грудь!.. Странно — откуда они берутся? Оттого, может быть, что в течение дня она принуждает себя сдерживаться? Никогда не бывает теперь, чтобы она проснулась бодрой и освеженной — не проходит усталость; ноги и те с утра такие, как будто она прошла версты... И всегда страх — то за Сонечку, то за Лелю, то за бабушку.

Метет так, что по сторонам дороги из-за снежной, завесы ничего не видно, и она не знает, прошла уже половину пути или нет... Примерно на половине стоит этот большой серый валун, точно хмурю думу думает. Кажется, его еще не было. Как бы Славчик не убежал к колодцу или за околицу; она забыла сказать, чтобы его не выпускали. Неудачная погода — очень уж замедляет дорогу. Тяжело вытаскивать из сугробов ноги и снова проваливаться. Хоть бы унялся ветер, дыханье бы не перехватывало... Все еще нет камня... Надо идти быстрее — сумерки начинают сгущаться. Волков здесь нет — так все уверяли. Феклушка постоянно ходит по этой дороге — бояться нечего. Как это у Блока: «Завела в очарованный круг, серебром своих вьюг занавесила...» Будущее беспросветно — дети вырастут заброшенными, и она всю жизнь одна, всю жизнь без музыки... «Баркарола» Шуберта... Как она мечтала ее исполнить!.. А ее сочинение об ангельских крыльях?.. Оно так и пропадет неоформленным. В голове все уже давно создалось: шорох в куполе, кафельный дым, воркование залетающих голубей, потом мотивы из литургии, чтобы передать таинственность совершающегося в алтаре... А потом восторженные возгласы светлых духов — таких, как «ангел с кадилом» Врубеля... и опять таинственные шорохи, никому не зримая жизнь купола. В оркестре это бы звучало лучше, чем на рояле, но как сочинять без инструмента, без возможности сосредоточиться? Что же делается с гениями, которые не успели высказаться, а сами переполнены, как чаша? Ай! Упала... За корягу зацепилась... Теперь варежки мокрые, и за валенки набралось. Какая же она неловкая! Фу, холодно. Была бы с нею вместе Лада, ей не так одиноко было бы идти. Она и дорогу бы указала ей... Что такое? Или чудится... Кто это там за кустом? Как будто оттуда уже смотрят глаза Лады? Собака... Да — собака! И глаза скорбные... Но это не Лада — большая собака, незнакомая, и уши острые, а у Лады висячие, мягкие. Волков здесь нет... Собачка, иди сюда, милая! Прижмись ко мне, пойдем вместе. Ты с хозяином или заблудилась? Ты голодна? Ты озябла? Что с тобой? Как она странно смотрит. Лязгает зубами... Ай! На помощь, на помощь! Волк! Пропал голос, хрипит, а звука нет. Она всегда думала, что в опасности не выкрикнет! Как защититься? Проткнуть глаза? Перочинный нож в кармане... Ослепить — жестоко... Помогите, помогите! Опять нет голоса — шипенье только. Тянет, тянет за ватник прочь от дороги! В чаще она ведь запутается и пропадет... Если укусит ногу, Асе не встать: умрет тут, в ельнике, у него в зубах!.. А дети?.. Попробовать вырваться! Кусает!.. Ай! Схватил ногу! Где же вы, все святые, все светлые? Спасите! Она никому зла не

делала. Она всех любила! У нее маленькие дети! Вот палка! Ударить по морде так, чтоб не убить? Нельзя иначе! Вот тебе! На, на! Все-таки выпустил! Выпустил! Теперь бежать... скорей, скорей... Бежать, а она увязает... и в ногу больно... Господи, помоги! Опять он! Страшно! Что это? И он хромает? Подшиблен охотниками? Вперед, еще, еще вперед! Да, отстает — видно, в самом деле лапа больная! Сел на снег... Спасена! Слава Тебе, Боже! Только надо уходить, скорей уходить. Как раз посреди дороги сел...

Свернуть в лес и обогнуть это место. Не встретить бы другого... Нет, нет, Сам Бог пришел ей на помощь. Чаща. Трудно продираться... и сугробы, и ветки... Больно щиколку... Течет вдоль ноги что-то теплое — кровь!.. До крови укусил. Нельзя теряться и ослабевать. Олег как-то раз говорил, что человек, который измучен, садиться не должен, иначе он уже не встанет. Надо идти, пока есть силы передвигать ноги. Совсем стемнело, но это потому что в чаще. Вернуться на дорогу? Нет! Страшно!.. Мучительно ноет вся голень... Кого позвать? Кто здесь услышит? Может, все-таки сесть вот сюда, под дерево? Перевязать хоть платком ногу и передохнуть. Полный валенок крови, и сердце все еще колотится, а руки трясутся. Так, наверное, чувствует себя животное, которое преследуют охотники, а люди из этого делают забаву... Чаща такая черная... За каждой веткой как будто стоит опасность... Конверт с адресом Елочки должен быть здесь, зашит в мешочке. Надо написать... Мало ли что случится... Правда, что вьюга все следы замечает... Несколько слов и вслепую нацарапать можно... Вот — готово... «Умираю. Дети твои». Теперь упаковать и обратно на грудь, рядом с крестом. Кажется, уже не дойти — надо подыматься, а сил нету, и кровь все не унимается. Переждать метель здесь, под деревом, а утром при солнышке попытаться дойти? Утром все будет выглядеть иначе, возможно, встретятся дровни, и ее подвезут, а сейчас и метет, и темень, и ступать нет мочи... Обнять вот сосенку и думать опять о музыке и о вечности — тогда не так страшно... В Царстве Духа ничто не должно пропасть, ничто, ничто! Там расцветает каждая творческая мысль, каждая растоптанная былинка выправится, вздохнет свободно каждое замученное животное, вот и этот несчастный волк... И Лада. В преданности Лады была красота, которая пропасть не может, — канут в прошлое только ошибки и зло. В Ладе душа была! Эта мысль о всеобщем воскресении с детства покою не дает, постоянно гвоздит мозг. Откуда это пошло? Светлая заутреня? Евангелие? «Китеж»? Кажется, предчувствие вечности поселилось в душе еще раньше. Возрождение каждого духа в каждом отдельном существе — что может быть прекраснее этой идеи?! О чем же тогда плакать! Жаль вдруг себя стало... В будущей жизни мы все духи, а теперь вдруг стало жаль земного, простого счастья! Аси — девочки, невыносимой ветреницы с косичками, Аси — молодой любимой жены уже никогда не будет! Не сидеть Асе больше у Олега на коленях, не прижиматься к его груди... Этого счастья было так мало, а Ася почему-то уверена была, что будет счастлива всю жизнь. Серебряные нити и светлые утра обещали совсем не то, что пришло... Холодно ногам... Все становится холодно... Встать и все-таки попытаться дойти? Нет, нет — нету сил. Старец Серафим, уйми вьюгу! Если возможно — уйми вьюгу!.. «Завела в очарованный круг, серебром своих вьюг занавесила...» Смерть для каждого приходит в один назначенный день... Охватывает оцепенение, и вдруг приток новой жизненной силы, словно от магического прикосновения или от капли воды живой, как в сказке... Светлые тени, тихое сияние, золотые лучи... Облака, как на закате... Праведные поют: «Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче...» и «Светися, светися, новый Иерусалиме...»; благословляя, шепчут: «Святая святым...» Олег, милый! Его найдут на этом страшном тюремном дворе, и «сорок смертных ран» не помешают ему встать. «Там Михаил Архистратиг его зачислит в рать свою», а Ася будет слагать гимны неведомой пока гармонии... В снегу теплее, и не так бьет в лицо; как хорошо в этой ямке... В голове мотивы из «Невидимого града»... «Без свещей мы здесь и книги чем, и греет нас, как солнышко!» А вокруг темно, совсем темно... Ни зги. Замечает... Господи, сохрани детей! Снег... снег... Вечность...

## Глава двадцать пятая

Несколько урок, лежа и сидя на нарах, затаили блатную песню:

Солнце всходит и заходит,  
А в тюрьме моей темно...

Голоса звучали стройно, а скрытая тоска напева и текста просвечивала, казалось, в каждом из этих подкрашенных лиц.

— Чего зенки воротишь? Покажь рыльце! Сестренку мою Вальку ты мне напомнила, — сказал, обращаясь к Подшиваловой, молодой уголовник, пробиравшийся между нар.

— Где же теперь сестренка? — осведомилась та.

— Эх, не спрашивай! Вся-то наша жизнь — шатание бесприютное!..

— И взаправду так! Ну, а от меня держись лучше подальше: потому — занята. Не про вашего братца мое рыльце. Проваливай!

— А я и так проваливаю. Зря напутствуешь.

Подшивалова потянулась, закинула руки за голову и вздохнула. В эту минуту глаза ее остановилась на Леле, которая повязывалась косынкой перед обломком зеркала.

— К хахалю опять?

— Женя, я тебя уже несколько раз по-товарищески просила не заговаривать со мной на эту тему, — ответила та.

— Ну, ступай, ступай! Кажинный по-своему с ума сходит.

Но Леля уже выскользнула из барака, не давая себе труда выслушивать напутствие.

Тесное помещение дежурного врача; топчан, белый больничный шкафчик и стол. Свидания происходили обычно здесь, в те дни, когда среди дежурного персонала не было таких, в ком можно было заподозрить предателя. В распоряжении было всего полтора часа между ужином и вечерней переключкой; туго натянутые нервы каждую минуту ожидали тревожного сигнала в виде предостерегающего стука в дверь; тем не менее иногда удавалось относительно спокойно побеседовать шепотом, лежа рядом на топчане. В этот день их никто не спугнул, и Леля устало закрыла глаза, пристроив голову на плечо Вячеслава.

— Верю, Аленушка, что измучилась ты, — говорил он, — работа под конвоем — дело нелегкое. В этом отношении мы в привилегированном положении. Наша работа особая, хоть и тяжелая. Надо попытаться устроить тебя к нам в палаты санитаркой. Мыть полы и подавать судно придется, зато не будешь под конвоем.

— Только не в инфекционное устраивай. По мне всякий раз судорога пробегает, когда надо переступить порог. Приходить к тебе я не перестану: минуты с тобой — моя единственная радость, но работать у заразных не хочу.

— Поговорю с врачами. А мы привыкли все — не боимся. Смерть — старая штука!

— Тише, милый! Есть вещи, о которых не следует даже упоминать... Скажи мне лучше, кто тот старик, с которым мы столкнулись в сенях?

— Этот человек... Я не знаю, что о нем думать! Это — заключенный епископ. В прошлом он — хирург,

и здесь поставлен заведовать хирургическим отделением. Я в первый месяц попал в операционную под его начальство. Злился я спервоначалу: крестит каждый подаваемый ему инструмент; прежде чем делать надрез, произносит: «Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!» А понемногу пригляделся — держится, вижу, с достоинством, оперирует, прямо скажем, блестяще; весь штат его уважает... В одно утро шасть к нам гепеушники: ты как смеешь, такой-сякой, религиозной пропагандой тут заниматься? А он им этак спокойно: без крестного знамения оперировать не стану; снимайте с работы вовсе, если угодно! Ну, схватили его и поволокли в штрафной. А тут как раз слегла с острым аппендицитом супруга одного из крупных начальников. Выяснилось, что операцию доверить желают только епископу Луке. Спешно тащат его назад. Подходит к операционному столу как ни в чем не бывало и опять крестит инструменты, а наши хозяева молча проглатывают пилюлю. Тут уж я радовался со всем штатом его возвращению. Друзья мы теперь. Я привык считать мерзавцами всех служителей культа, но в этот раз мерка не подходит!

Леля провела рукой по его волосам.

— Милый, обвинить в контрреволюции тебя, тебя!..

— Эх, кабы дело заключалось во мне одном! А то сама ведь видишь... Вот Ропшин, мой новый товарищ, обвинен за то только, что сказал где-то, будто бы стихи Гумилева предпочитает стихам нашего Маяковского. А то так работает у нас санитаркой девушка — ей и всего то шестнадцать, — они с несколькими другими школьниками в глухом сибирском городке составили самостоятельный кружок по изучению истории партии да совместно пришли к выводу, что генеральная линия партии допустила целый ряд непозволительных ошибок. Все приговорены к лагерю, прежде чем сделались выпускниками. Вот куда нас завела бдительность. Не поверил бы, если б услышал со стороны... Людей жаль, а дела еще больше! Это все нашим врагам на руку. Товарищ Сталин может загубить работу стольких лет! Знаешь, я не жалею, что попал сюда, — кое- что понял новое.

— Милый, ты теперь совсем иной! Когда ты так говоришь, ты кажешься мне таким же героем, каким Асе казался Олег.

— Зачем ты сравниваешь? Что может быть общего между царским гвардейцем и мной? Романтического во мне, ей же Богу, ничего. Это мы оставляем для господ офицеров. Я человек будней.

— А вот и неправда! Я лучше тебя знаю, какой ты. Мы с тобой могли бы быть очень счастливы...

— А разве мы не счастливы? Разве для счастья так уж необходимы безопасность и кровать? Я, по крайней мере, счастлив. Подожди, мы с тобой еще и на воле проживем! У нас сынок когда-нибудь будет. Вот только здоровье твое меня тревожит. Вынимай градусник. Опять тридцать семь. Как бы в самом деле не было легочного процесса. А с ногой что? Покажи. Пятна эти цинготные; у меня обе голени в таких же пятнах. Я тебе сейчас дам всходы гороха: я размочил горсточку в консервной банке. Вот, жуй.

— Ну, зачем ты встал? Ложись, поболтаем еще. Хоть немножко отогреться в твоей ласке, хоть немного забыться!..

— Пора, девочка моя. Сейчас будет отбой. Я опасаясь, как бы строгости еще не усилились после этой истории с побегом. Слышала?

— Да. Шептались у нас вчера, что сбежал один с большим сроком. Не знаю, преследовали его или нет. Разобрать трудно, что правда, что слухи.

— Аленушка, его уже поймали. И привезли сюда вчера вечером. Он прострелен и весь изгрызан собаками, я сам видел. Епископ Лука извлек сегодня пулю. Знаешь ты, кто этот человек? Один из организаторов комсомола. Я не стану восстанавливаться в партии, когда выйду отсюда, — истинному коммунисту в ней теперь не место. Ты плачешь, Аленушка?

— Я вспоминаю человека, которого вот так же искали с собаками. Он совсем по-отечески относился ко мне, но я ничего не ценила в те дни.

— Аленушка, послушай, что я придумал: послезавтра дежурить на разводе будет Михаила Романович — врач, с которым я работаю. Скажись больною; я ему объясняю загодя твое состояние и попрошу устроить тебя в госпиталь. Отдохнешь хоть несколько дней, если дело выгорит. Ну, а теперь беги, пока не хватились.

Они поцеловались.

— Вот и все наше счастье! И всего-то час! — вздохнула Леля.

— Держись, моя Аленушка! Мужества терять никак нельзя. — Вячеслав выглянул в сени и на улицу. — Никого! Беги, любимая...

На следующее утро, строясь на работу, Леля говорила себе: «Завтра, Бог даст, отдохну! Прележать в кровати два или три дня — какое блаженство!»

Чья-то рука подтолкнула ее.

— Ступай, дэвушка, нэ задерживай.

Она обернулась и увидела у себя за плечами конвойного Косыма.

— Карош русский дэвушка! Очень карош русский дэвушка! — сказал он с глупейшей улыбкой.

Леля прибавила шаг.

В середине работы, перетаскивая дранку, она увидела руки конвойного, протянувшиеся принять у нее тяжелую поклажу.

«Что за предупредительность!» — подумала она, заметив, что он весь расплывается в нелепой улыбке, глядя на нее в упор масляными, похожими на чернослив глазами.

— Русский дэвушка такой гладкий!

Леля поспешно отвернулась.

Когда расходились после ужина, Подшивалова поманила ее к себе.

— Что тебе, Женя?

— Хочешь, новость скажу? Алешка мой сказывал, что конвойный Косым по тебе обмирает.

Леля невольно отшатнулась.

— Что за чепуха! Нашла о чём рассказывать! Меня любовь Косыма интересоваться не может!

— Постой! Не так уж прятко! Я для твоей же пользы: ну, какой тебе от твоего хахаля интерес? Вечно ходи под страхом, что накроют, а пользы — ни крошки. Ну, а станешь с Косымом жить, сейчас поставят на блатное местечко, и хлеб будет тебе, и со стороны конвоя уважение. Сегодня они придут в барак вместе — он и мой Алексей.

— Для меня это невозможно, Женя! Можешь передать своему Алексею, что Косыму являться ко мне незачем.

— Не зазнавайся, Ленка! Больно уж ты горда! А Косым не такой человек, чтобы ему перечить: сейчас отплатит!

— Что?! Да какое право он имеет припугивать? Если я только вздумаю сообщить о его притязаниях начальству, нагорит ему, а не мне. — И, круто повернувшись, Леля отошла в сторону.

Свидания с Вячеславом у нее на этот день не намечалось — в эти часы как раз дежурила санитарка, которую подозревали как передатчицу. Тем не менее решилась сбегать в больницу и через верных людей вызвать Вячеслава хоть на минуту в сени.

В лице Вячеслава заходили скулы.

— Аленушка, держись, дорогая! Если ты будешь категорична, ему останется только уйти. Прибегнуть к насилию он не посмеет, ну, а если бы попытался — ведь ты не в лесу: кричи, рвись, подымай скандал. Им насторого запрещено жить с лишенными свободы. Не бойся поднять шум — начальство в этом случае будет за тебя. И я тебя защитит не могу; пойми и это! Если только в дело вмешаются я, нас как влюбленную пару разъединят: штрафной лагерь — и кончено! Все будет зависеть от тебя.

Он говорил, держа в своих ее руки.

— Можешь быть спокоен: я ему не дам, но я боюсь его мести! — прошептала Леля, дрожа.

Барак она нашла в полном смятении: стояли кучками и шептались, конвойные разгоняли по нарам. Несколько минутами раньше срока был дан сигнал к отбою. Соседки не замедлили сообщить Леле, что только что погибла Феничка: тихая, кроткая бытовичка, которая работала сторожем у одного из складов. Стоя у дверей с железными замками, она плела обычно кружева и всегда казалась невозмутимо спокойной. Но в этот вечер она внезапно побросала спицы и кинулась к забору с колючей проволокой. Предостерегающие крики стрелков ее не остановили — сделала это только пуля. Поступок был настолько странным, что истолковываться мог только как самоубийство...

Магда сказала Леле:

— Да простит ей Бог: она сделала хуже и себе и нам! Две подряд попытки к бегству не пройдут нам даром...

Быть может, конвою нагорело за историю с Феничкой, или решено было попытки одновременно с заключенными подтянуть и стрелков, — так или иначе, ни Алешка, ни Косым не явились в барак вовсе. Леля напрасно просидела всю ночь на нарах с тревожно бьющимся сердцем.

Как только проиграли утреннюю зорю, тотчас стало заметно, что персоналу сделаны соответствующие внушения: интонации стрелков были особенно повелительны и команды категоричны; старшее начальство прогуливалось тут и там, наблюдая за происходящим; заключенные двигались безмолвно, как манекены; пройдя на свое место, Леля с вопросительным взглядом взглянула на врача, и тот одними губами успел шепнуть ей: «Не сегодня!»

Повели опять Алешка и Косым.

Леля старалась держаться подальше от Косыма, но тот улучил минутку и, приблизившись к ней, заговорил, картавя:

— Нэ бойся, дэвушка, Косыма; Косым тэбя полюбил. Будут тобэ и хлэб и дэнги, коли приголубишь Косыма!

Леля с безучастием лицом продолжала вязать дранку, хотя сердце колотилось как бешеное. Очевидно, Подшивалова еще не успела переговорить с Алешкой, и до Косыма еще не докатились слова отказа.

Тот выждал минуту и заговорил снова:

— Жди Косыма сэгодня ночью, джан. Косым придэт вмэстэ с Алэксээм.

Леля быстро выпрямилась и, собравшись с духом, отчеканила:

— Я подыму на ноги весь барак, если вы осмелитесь только это сделать! — Произнося эти слова, она не смотрела ему в лицо: ей страшно было увидеть злобу, с которой засверкают его глаза.

Когда бригада возвращалась в жилую зону, урка, разметавшая по дороге снег, крикнула:

— А без вас был великий шмон!

Что бы это могло значить?.. Леля еще не подошла к столовой, как другая урка, пробегая мимо, сказала:

— Шмон, шмон, великий шмон!

У Магды опять были красные глаза.

— Обыск в бараке устраивали, — шепнула она Леле, усаживаясь на свое место после сигнала к ужину. — Пересматривали наши личные вещи, всю солому перетряхивали. У меня забрали папочкин молитвенник — последнее, что у меня осталось на память о нем. А у вас оставалось что-нибудь в бараке?

— Икона и шерстяной жакетик. — И, говоря это, Леля тут только вспомнила, что в кармане несчастного жакета — первая и единственная записка Вячеслава! Как только закончился ужин, она тотчас побежала на свою койку — ни иконы, ни жакета (хотя последний относился к числу дозволенных вещей). Какая злосчастная звезда руководила ею, когда она в это утро отложила жакет в сторону, говоря себе, что морозы уже уменьшились и достаточно тепло в одном ватнике! Она сидела на соломе, поджав ноги и раздумывая, каковы могут быть последствия и возможно ли сбегать к Вячеславу, который должен находиться в страшной тревоге, не будучи извещенным, как прошла ночь. «Бежать к нему опасно... слишком опасно... могут следить...»

Подшивалова прервала ее думы:

— Вот, бери, Ленка. Это твое. Я вовремя подхватила и припрятала. — Лицо глупой девочки осветилось улыбкой, рука протягивала образец.

— Спасибо тебе, Женя! Ты часто бываешь очень добра. Ты бы могла быть гораздо лучше, чем ты есть. А впрочем, это одинаково относится к нам всем, и ко мне самой в первую очередь, — ответила тронутая Леля.

— Ну, ты меня с собой и не равняй! Я еще с малолетства пропадшая. Сколько раз мне мамочка моя говаривала: «Не водись ты со шпаной, Женечка! Не доведет тебя до добра твоя шпана. Пропадешь задаром. Я за тебя, говорит, вечер за всеобщей Божью Матерь, Женечка, умоляла!» А я только засвищу — да опять на улицу. Вот все и вышло, как моя мамочка запредчувствовала. Каково ей, сердечной, нонече? — Подшивалова всхлипнула.

А записка? Боже мой, где же записка?! Леля напрасно перерывала солому и ползала по полу — поиски успехом не увенчались. Недопустимое легкомыслие — сохранять такой компрометирующий документ!..

За час до отбоя ее вызвали к начальству.

— Ты с кем это шашни заводишь, а? Кто это тебе свидание назначает? Нам беременных баб в лагере не нужно. Говори: с кем путалась?

Леля помолчала, обдумывая ответ.

— Я не могу быть в ответе за то, что еще хороша и мне не дают прохода ни заключенные, ни конвой. Я ни с кем не желаю иметь дела. Спросите соседей по нарам — они вам подтвердят. Из записки еще не следует, что свидание состоялось. Понятия не имею, кто этот «В», и узнать не пробовала.

— Ишь какую гордячку разыгрывает! Коли в самом деле не путалась — назови сейчас же имя. Ты воображаешь, дуреха, что мы не сумеем выяснить? Писал, разумеется, кто-то из медицинских. Допросим двух-трех санитарок и установим!. Ну, говори, или сейчас отдам приказ о переводе тебя в сорок первый квартал; тебе, наверно, уже известно, что это такое.

Леля похолодела. Штрафной... там бьют, там морят голодом, там... Они все равно узнают... слишком просто установить... И не своим, чужим каким-то голосом выговорила:

— Фельдшер Вячеслав Коноплянников.

В бараке все провожали ее сочувственными взглядами, пока она шла на свою койку. Она не замечала ничего.

«Я его выдала! Я — предательница! Урки и те не выдают возлюбленных», — и в отчаянии бросилась на перерытую солому...

Вячеслав дежурил в палатах в этот вечер и, не находя себе места от тревоги, то и дело выбегал на черное крылечко больницы.

Сумерки сгущались, тени чернели, до отбоя оставалось только четверть часа; потом двери барачков закроются, и свидание отложится на сутки! Ему предстоит полная тревоги бессонная ночь, а потом новый день ожидания.

Она права: счастливыми быть в такой обстановке невозможно. Любовь здесь превращается в пытку. Необходимо хоть на минуту увидеться. Может быть, она на скамеечке возле женского барака? Он сбежал с крыльца, но едва сделал несколько поворотов, как в узком проходе между бараком и баней лоб в лоб столкнулся с Косымом.

— Ты что тут вертишься? Кого высматриваешь? — забывая осторожность, заорал Вячеслав.

— У! Я тобэ нэ заключэнный, чтобы на мэнэ кричать! Уложу, как пса паршивого! — зашипел Косым.

— Подумаешь, какая птица! Вот что, мерзавец: даром тебе не пройдет, коли будешь приставать к заключенным девушкам. С головой начальству выдам, а то так сами расправимся. Я не барин, не белоручка! Всему тут у вас понаучился — вот, гляди! — Вячеслав показал ему два пальца и провел ими по своей шее. — Так и знай. Понял?

— Пожаловалась! Живешь с нэю, что ли?

— Нет, не живу, но и тебе не дам! А выдашь меня начальству — я выдам тебя. Я твой разговор слышал!

Косым, блестя глазами, взялся за ружье и, слегка присев, приложился, щуря один глаз.

— Чего кривляешься? Смотреть тошно! Права не имеешь спустить курок, мы не у проволочного ограждения.

Косым перестал целиться, но медленно, кошачьей крадущейся походкой пошел к нему, покачивая ружьем.

— Не напугаешь! Заруби на носу: сунешься после отбоя в женский барак — не быть тебе живому!

Вячеслав повернулся и, обогнув здание, вышел на площадку с укутанным снегом.

Шестнадцатилетняя санитарка, о которой он рассказал Леле, скользнула мимо него к дверям.

— Здорово, Муха! Ты с работы?

Она остановилась:



— Бегу к тебе. Сейчас будет перекличка и отбой. А к двенадцати придется возвращаться в больницу, в твой дизентерийный. Михаил Романович приказали прийти: ночью работать некому — ваша Поля свалилась, кровавая у нее.

— Муха, выручи. Ты мою Аленушку знаешь; вот тебе рецептный бланк и карандаш — шепни ей потихоньку, чтоб черкнула мне записку, и принеси в третью палату. Ладно?

Девушка пристально на него посмотрела.

— Для тебя сделаю, а только... будь, Славка, осторожен! Меня сейчас вызывали: о тебе спрашивали... Я-то не выдала, да ведь мной не ограничатся...

— Ага! Накрыл! Стой тэпэр! Товарищи, трэвога! Парочка! — завизжал, хватая девушку, Косым и потащил к фонарю упирающуюся Муху.

Перед Вячеславом, как из-под земли, вырос стрелок.

— Да в чем дело-то? — гаркнул Вячеслав. — Я, кажется, не в бараке, с девушкой мы не целовались, не валялись; стоять на площади как-будто не возбраняется, раз отбоя еще не было. Чего орете?

Косым с неожиданным равнодушием выпустил свою добычу, и Муха скользнула в дверь барака. Вячеслав видел, как она закрылась...

Доставленная Мухой отчаянная покаянная записка Лели объяснила ему все случившееся. Он читал ее, стоя в белом халате около постели «пятьдесят восьмого», погибающего от тифа.

— Я не могу, не могу жить с этими большевиками, — бормотал умирающий в бреду.

Вздохи и стоны неслись с каждой постели переполненной больными палаты.

«Назвала мое имя? Ну и правильно! Что же ей, бедняжке, оставалось делать? Все равно докопались бы. Пахнет штрафным лагерем... Пусть уж лучше меня, только бы не ее... Она слишком слабенькая — не вынесет!»

И, сжав скулы, Вячеслав повернулся к постели умирающего:

— Давай сюда шприц, Муха. Пульс падает.

## Глава двадцать шестая

Алешка и в эту ночь не появился в бараке, и Подшивалова, вздыхая, говорила:

— Нет и нет моего сокола! Строгости, видно, и до их докатились.

Все-то гаечки подвинули.

День тянулся мучительно медленно; нового прибавилось только то, что Косым шепнул Леле во время трелевки:

— Ну, ты мэнэ эще припомнишь! Косым обиды нэ забывает.

После обеда и переклички Муха, озираясь, сунула ей рецептный бланк. Вячеслав писал: «Сегодня меня водили к допросу. Я не отрицал, что писал тебе, но уверял, что ты свиданий не пожелала. Объявили, что переведут в штрафной. Держись. Будем надеяться, что Михаил Романович и епископ найдут способ вызволить меня оттуда. Еще раз хочу сказать, что люблю тебя и никогда ни одна девушка не покажется мне краше. Больно мне думать, что моя любовь принесли тебе только несчастье. Не забывай своего друга. Для тебя лучше не пытаться меня увидеть. Береги себя. Письмо это разорви немедленно».

Леля опустила руку с письмом и отрешенно задумалась.

Подшивалова толкнула ее в бок:

— Гляди: почту принесли; сейчас раздавать будут. Авось и нам с тобой подкинут весточку.

Леля почти безучастно вскинула глаза: посреди барака стоял гепоушник с пачкой писем.

— Почта, Елена Львовна! — крикнула ей и Магда, может быть, желая ее ободрить.

Глаза всех обитателей барака впились в равнодушного человека, выкликавшего фамилии. Свесив голову с нары, Леля в свою очередь с жадным ожиданием смотрела на пачку писем. Пока все нет и нет... Вот уже осталось только три конверта... Не будет ей ничего! Вот уже только один...

— Нелидова!

Она задрожала и сделала движение, чтобы вскочить, но письмо уже устремилось к ней через десятки протянувшихся рук. Нет, это не от Аси — почерк Натальи Павловны! Она торопливо разорвала конверт.

— Что? Что? — громко воскликнула Леля, роняя письмо. — Да что же это наконец такое? Да сколько же можно валить на одного человека? Рехнулись вы там, на Небе, что ли?

Все повернулись на этот исступленный возглас... Сидя на нарах, Леля сжимала руками виски, глядя на раскиданные странички широко раскрытыми остановившимися глазами.

— Что с вами Елена Львовна?

— У вас несчастье, Елена Львовна?

— Ах она болезная! Беда небось... — слышались голоса с разных сторон.

— Оставьте! Отойдите! Не трогайте меня! У меня из-под ног ушла вся почва! Я так Ее просила! Просила о единой милости! А Она... Она... Где же Твое хваленое милосердие, Матерь всех Скорбящих? Милосердия нет даже на Небе!

Магда бросилась к ней и обхватила ее обеими руками.

— Елена Львовна, остановитесь, опомнитесь!.. Не кощунствуйте!.. Вы после пожалеете. Дорогая моя, опомнитесь, скажите скорее: да будет воля Твоя! Перекреститесь!

Старая монахиня, которую за непригодностью уже перестали гонять на работы и которая целые дни просиживала в бараке, поджав посиневшие, отекавшие ноги, опустила их теперь с нар и приковыляла к Леле.

— Что делаешь, безумная? Господь, любя, посылает скорби. Не губи душу. Сатана не дремлет. Что себе готовишь? Молись скорей.

Одна из молодых напустилась на старуху:

— Отойдите вы с вашими глупостями, святоша... Девушка в истерике, ей помочь надо, а вы запугиваете.

— Тише? тише, не ссорьтесь! — перебила в слезах Магда. — Да не зайдет солнце в гнев ее и вашем! Только любовью нашей мы можем ей сейчас помочь!

Другая молодая женщина подошла к Леле с полными слез глазами и, силясь говорить спокойно, сказала:

— Я тоже получила очень горькое известие: мой муж пишет, что не хочет более ждать и нашел себе другую подругу. Мне, наверно, сейчас не легче, чем вам. Поддержим друг друга.

Но Леля повторяла только:

— Оставьте меня, оставьте! Мне никого не надо! Я в черную дыру проваливаюсь! — и вырывалась из удерживающих ее рук.

Наконец она устала кричать, устала биться и затихла. Магда положила ей на лоб мокрый платок и села рядом. Леля уже не обращала внимания; в бараке напрасно шикали друг на друга, указывая на нее, — она не спала, она впала в оцепенение, сломленная усталостью.

Уже во второй раз в ее жизни огненными зигзагами внедрялась в ее сознание мысль, что она не умеет ценить того, чем обладает! Вчера еще она считала себя несчастной, имея любовь двух таких людей, как Вячеслав и Ася. Если возможно было загадывать о выходе из лагеря, о конце срока, то только с надеждой на любовь сестры, на ее неистощимую нежность и ласку. Теперь — черная дыра, она словно бы уже раскрывается перед ее глазами...

Перед самым рассветом она забылась в тяжелой дремоте, из которой ее вывели звуки рожка.

Первой ее мыслью было: «Жить не для чего. Чем тянуть эту лямку, лучше в самом деле кончить, как кончили Феничка и Кочергина».

Разбитая, с тяжелой головой, она через силу поднялась с койки и никому не смотрела в глаза, как автомат, проделывая ряд необходимых движений.

После переключки она встала в обычное построение по четыре человека в ряд, чтобы следовать на трелевку. «Если я теперь не сумею и струшу — я полное ничтожество!» — думала она.

Прочитали обычную формулировку с угрожающим финалом:

— Шаг вправо, шаг влево считаю побегом; стреляю без предупреждения.

Алешка и Косым — один впереди, другой сзади — повели бригаду к месту работы.

Вышли за зону. Уродливые казармы и колючая проволока остались позади. В лицо повеяло чистым полевым воздухом; вдали зазеленела тайга; белые снега были залиты солнцем.

«Нельзя откладывать, нельзя... Надо теперь же, пока идем строем, пока открытое место... Небо повесенному светлое сегодня и голубое, голубое... Ну... Господи, благослови!»

Она стремительно вырывалась из строя и бросилась в сторону.

— Стой! — неистово завопил Алешка, а товарищи по бригаде подхватили каждый по-своему:

— Елена Львовна, остановитесь! Нелидова, вы себя губите!

И вдруг затихли... Все замерло... Должно быть, стрелки прицелились.

Она не оборачивалась и набавляла скорость, делая вид, что направляется к лесу, и перепрыгивая через рытвины.

— Рехнулась ты, что ли, Аленка! — Голос Алешки-стрелка по-человечески дрогнул.

«Так он еще не целится этот дурак?.. Что же он медлит?» И вот другой голос — гортанный и резкий — рассек воздух:

— Цэлюсь!

«А! Вот оно! Теперь кончено — смерть. Господи, помоги! Сделай так, чтобы разом, чтобы скорее!» — поднялось со дна ее души, как последняя молитва.

Она закрыла глаза, но не остановилась. Удар!

Ропшин вошел в дизентерийную палату и взял Вячеслава за локоть:

— Вячеслав, на правах друга... Ведь мы с тобой друзья? Вячеслав, я знаю, как ты всегда мужественен, но... там опять принесли носилки... Выйди в приемный покой.

Это был четвертый выстрел за месяц, четвертая смерть, помимо дизентерии и тифа, уносивших жертву за жертвой.

В этот же вечер в лагере вспыхнула забастовка.

В женском бараке ничего не было известно о готовящемся. За ужином внезапно один из мужчин поднялся и сказал в самодельный рупор:

— Друзья заключенные! Не работать, пищу не принимать! Требуем комиссию из Москвы для пересмотра нашего режима и смены начальства и конвоя. Чем солидарнее мы будем, тем быстрее добьемся уступок, и да не найдется между нами штрейкбрехеров.

Это говорил политический — бывший эсер, побывавший перед тем в Соловках, где в одну из забастовок сам отрубил себе в виде протеста палец.

Восстание было подхвачено дружно, хотя многие втихомолку досадовали и шептались по углам.

Говорили: «Это все затевают «с большими сроками», которым терять нечего». Говорили: «Им-то легко все поставить на карту, а нам? Вот как прибавят накануне выхода еще лет пять — каково-то будет?»

Тем не менее равнялись на товарищей и старались держаться, может быть, опасаясь расправы со стороны уголовников, которые в большинстве присоединились к бастующим.

Комиссия прибыла только через две недели, когда многие из заключенных, обессиленные голодом, уже не вставали со своих нар.

Конвой и кое-кого из начальников сменили; санитарное состояние было несколько улучшено: в частности, приняты меры против цинги; но режим и питание в основном остались те же.

Эсер, возглавлявший восстание, был расстрелян, а наиболее активные участники переведены в штрафные пункты; среди них — бывший красный партизан, бывший коммунист Вячеслав Коноплянников.

Такие же, как он, бывшие партийцы говорили о нем: «Этого человека ничто не сломит. Если он выберется из лагеря живым, он будет в рядах тех, кто обновит партию».

Другие, из «пятьдесят восьмых», говорили: «Это человек, который нужен России. Если ему суждено отсюда выйти, он окажется среди тех, кто вернет нам Родину. Мы еще услышим о нем».

Урки говорили: «Парень что надо! Эх, жаль миленка!..»

О хрупкой девушке с золотыми волосами ничего не говорили — ее забыли очень скоро, и только Магда в течение некоторого времени шептала в своих молитвах:

— Спаси, Господи, душу грешной рабы Твоей Елены. По великой Твоей милости прости ей самоубийство и незаконную связь с мужчиной.

## Эпилог

### ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

**3 января.** Наступил 1937 год. Интересно, каким он будет? Какие новые заботы и тревоги он принесет? А вдруг — радости? Пока же я органически не досыпаю: каждое утро приходится подыматься в 7 часов. Пока приведу себя в порядок, добужусь детей, присмотрю за их умыванием да застегну на них все пуговицы, пройдет по крайней мере час. Потом надо готовить утренний завтрак, а он у нас не обходится без историй — то молоко разольется, то который-нибудь из детей язычок прикусит или обожжет, то приходится ставить в угол Славчика за непослушание, а чаще всего за то, что дразнит Соню; хлопочу, хлопочу, а сама даже поесть не успеваю. Сегодня, когда я расчесывала кудряшки Соне, Славчик завопил из кухни: «Тетя Елочка! Молоко пuzится, через край ушло!» Бросаюсь в кухню, а Славчик уже мчится мне навстречу и, столкнувшись со мной, набивает шишку о дверь. В результате я опоздала на работу.

**12 марта.** Думать некогда, грустить тоже некогда... Верчусь, как белка в колесе. Мысли все сконцентрированы на мелочах, как бы дети не простудились, как бы Славчик не ушибся, как бы Сонечка благополучно приняла рыбий жир. Дневник в загоне — писать можно только после того, как улягутся дети, но, во-первых, я каждый вечер неодолимо хочу спать, а кроме того, всегда остается множество незаконченных дел; всю жизнь я терпеть не могла домашние хлопоты и вот попала в самую их гущу! Мне помогают Аннушка и та дама, смолянка Марина Сергеевна. Кто она Олегу? Помню, она пришла ко мне и сказала: «Дайте мне хоть один раз в жизни сделать хорошее дело», — и отрекомендовалась приятельницей Нины. Живет она неподалеку от нас, в проходной комнате, рядом с еврейской семьей, на которую очень жалуется. Живет только на то, что вяжет шерстяные вещи потихоньку от фининспектора и подбирая себе клиентуру из людей своего круга. И тем не менее отказывается брать с меня деньги, хотя каждое утро и гуляет с детьми, и тренирует их по-французски с десяти до двух, пока я на службе.

**2 июля.** Сонечка очаровательна, ресницы у нее до полщеки, как у Аси, а кудряшки, подвязанные бархаткой, придают ей вид девочки с иллюстрации к «Ангелу любви». Из жалкого червячка вышла чудная бабочка, только здоровье у нее слабенькое — часто простужается. Сегодня утром она проснулась, прижалась ко мне спутанной головкой и шепчет: «Тетя Елочка, одень меня; мои медвежишки проснулись и куколочки проснулись, надо их покормить. Потом, когда я вырасту большая и вырастут мои ножки и мое платьице и мое пальтишко, тогда я...»

И обнимает меня обеими ручонками, а щечки со сна розовые. Она очень любит песенки — очевидно, унаследовала музыкальность Бологовских; всегда просит спеть ей, но мои таланты в этой области уже известны. Надо будет попросить хоть Марину Сергеевну сыграть ей на рояле детские песенки Цезаря Кюи. Славчик — тот распевает во весь голос; к моему вящему ужасу, он где-то подхватил какую-то ужасную красноармейскую песенку и горланит ее сегодня что есть мочи. Очень уж воинственный — все с палками и с барабанами возится; знает наизусть «Бородино» и воображает себя генералом двенадцатого года. Вот сейчас вбежал в комнату и кричит Соне: «Багратион, что же ты?! Наполеон уже в кухне около самой Москвы, отчего же ты не командуешь?» А девочка растерянно таращит глаза, которые так напоминают глаза Аси, что судорога сжимает мне горло. Невыносимый беспорядок они всегда учиняют в комнате — я только и делаю, что прибираю и складываю игрушки.

**17 сентября.** Сегодня сослуживец мой Михаил Иванович — бывший военфельдшер — остановил меня в коридоре и, подмигивая, рассказал про вечеринку у своего товарища: на этой вечеринке партийцы подвыпили и ударились в воспоминания о добром старом времени вплоть до водосвятия на Неве с «Елицы

во Христе креститесь» и о великолепных басах диаконов. Кто-то предложил: «Давайте-ка, братцы, пропоем обедню». И пропели! Да еще всю до конца. А потом «Боже наш, слава Тебе» грянули!.. Зато сегодня все хмурятся и не смотрят друг на друга... Дорого бы, наверно, дали, чтобы взять обратно нежные воспоминания, обнаружившие «преступное» нутро каждого!

**5 ноября.** Поднимается новая волна террора. Сталин обезумел. Если бы те, которые мне были так дороги, не пострадали тогда, — они были бы схвачены теперь! А я и тут забыта! Я — «дочь скромной сельской учительницы», я — «исправная производственница», поглощенная заботами о детях, — призвана, по-видимому, безопасной за незаметностью... Мне хочется расхохотаться! Люди боятся ходить друг к другу в гости, вырывают и жгут альбомные карточки, письма и записки... Многие не раздеваются на ночь в ожидании гепеу, а я... Я все еще смотрю на мой дневник и берегу его! Да — хочется расхохотаться!..

**12 ноября.** Когда говорят друг другу по телефону: «Она нездорова», понимай — арестована! Когда говорят «уезжает», понимай — в ссылку! Комиссионные магазины переполнены, летят за бесценок целые квартиры; за пятьдесят рублей можно купить красное дерево и несколько предметов дорогой утвари. Любовницы гепеушников появляются между отъезжающими и выторговывают себе чудесные вещи, которым цены сами не представляют. Сегодня на улице я была свидетельницей грустной сцены: в такси усаживалась дама с младенцем и согнутой подагрой старухой; провожающие грузили в автомобиль чемоданы, двое плакали... На мой вопрос ответили: «Ссылка!»

Очень некрасивую роль играют жакты, которые, желая заселить ту или иную комнату своими родственниками или лицами, вручившими им взятку, фабрикуют доносы, а так как доносы у нас не проверяются — результаты самые печальные! В соседней со мной квартире старому ученому уже с месяц назад вручили предписание немедленно выехать, но тот слег с инфарктом. И вот примерно два в неделю к ученому засылают милиционера за разъяснением: встал ли он и когда сможет выехать? Ученый и милиционер подружились; жена ученого поит милиционера чаем с грушевым вареньем; ученый лежит, добродушно созерцая мирную картину из жизни бесклассового общества, а милиционер объясняется в чувствах: «Я тебя, Иван Николаевич, завсегда помнить и уважать буду, потому — душевный ты человек! Пошли тебе, Господи, здоровьица и успеха на чужом месте!»

Этой ночью ученого увезли-таки, и сегодня с утра в квартиру переезжает семейство весьма подозрительное.

О Леле Нелидовой никаких известий! Не знаю даже, жива ли она. Уже три раза я запрашивала гепеу, но в ответ получаю только: «В случае смерти вы будете поставлены в известность». Так ли? Они и родственников-то почти никогда не извещают.

**15 ноября.** Да! Большевизм оказался не скоропреходящим, насильственно перенесенным на нашу почву и чужеродным, по существу явлением. Не было бы в нем ничего органически нам свойственного, он бы не удержался. Приходится с этим согласиться! Если хоть одно зерно среди господствующих теперь идей и приложения их на практике находится в родстве с извечным Ликом и заброшено в нашу действительность свыше, тогда даже этот чудовищный большевизм принесет в будущем свои плоды, но... есть ли это зерно? Вся муть и вся порочность всплыли сейчас на поверхность, как пена в котле с грязным бельем. Прекрасный Лик исполнен скорби...

**18 ноября.** Получила письмо от Юлии Ивановны; она в деревне под Муромом, куда была выслана после убийства Кирова, когда в массовом порядке — целыми поездами — стали высылать людей с дворянскими фамилиями, даже неродовитыми. Кирова убил цвет партии, а может быть, и сам Сталин (о чем втихомолку говорят все), но в ответе почему-то оказалось русское дворянство! Жаль, если это письмо потеряется. На всякий случай переписываю его сюда, в дневник:

**19 ноября.** На могиле Аси, наверно, намело горы снега, и ни одна живая душа не повесит венка на бедный деревянный крест... К нему и тропинки, наверно, нет. В самом деле: кому из местных аборигенов придет в голову, какое исключительно одаренное и одухотворенное существо нашло себе упокоение в этой безвестной могиле?

**22 ноября.** Устаю, очень устаю. Старая я, что ли, стала? Как будто еще не стара — 36 лет, а между тем я постоянно хочу спать. Всего вернее, что я попросту переутомлена. Давно уже прошло то время, когда, возвращаясь из клиники, я в полном одиночестве спокойно пила чай, а после тотчас садилась за книгу или за дневник. А теперь... По дороге со службы бегу по магазинам и уже с полной сеткой мчусь домой, а дома меня уже ждут дети, которых приводит к этому часу Марина Сергеевна. И потом уже не присесть до ночи. Я должна быть очень благодарна Аннушке и Марине Сергеевне — без них я бы не справилась с двумя детьми и со службой. Аннушка раза два в неделю обязательно зайдет постирать на детей или вымыть пол, причем ни за что не возьмет ни рубля, да еще лакомств притащит — то горячих пирожков с капустой, то пышек на молоке, а уходя, забирает с собой в починку белье и чулочки. Она уверяет, что ей Сам Бог велит позаботиться о сиротках теперь, когда она осталась совсем одинока. Это я еще могу понять, но вот Марина Сергеевна... Ее отношение остается для меня загадкой! Достоевский вот говорит: «Идти было некуда, а ведь надо же каждому человеку куда-нибудь идти». Дети Марину Сергеевну любят, и, кажется, больше, чем меня, — мне ведь от каждой привязанности достаются рожки да ножки. Это уже всем известно.

**25 ноября.** Подвиг меня избегает! Воображению рисовались грозные события, решающие жизнь моей страны. И я среди тех, кто не жалеет собственной жизни, — в партизанском ли отряде, снова ли в госпитальной палате — это уже все равно!.. Может быть, молчание под пытками в гепеу; может быть, отчаянно смелая разведка и смерть среди костров и бивуачных палаток... Жизнь принесла совсем другое — подвиг, как любовь, прошел мимо!..

**26 ноября.** Странные бывают минуты в жизни человека: иногда точно ответ внезапно получаешь на свои самые сокровенные мысли. И притом через случайные, казалось бы, внимания не стоящие слова постороннего человека. Кто посылает этот ответ? Сегодня Марина Сергеевна принесла красненький шерстяной свитер, который связала для Сонечки, и когда я выразила тревогу, что она тратит на детей слишком много времени безвозмездно в то время, как сама существует только на вязание шерстяных кофт и варежек, и притом потихоньку от соседей, она сказала: «Не беспокойтесь за меня: дети эти — единственное, что еще привязывает меня к жизни и что мне удалось сделать полезного и хорошего. Я свою жизнь построить не сумела и сделала несколько грубых ошибок, одну за другой. Например: я сделала аборт и до сих пор не прощаю себе этого. Славчик... он почти ровесник моего несуществующего ребенка — около года разницы...»

**28 ноября.** Ого! Донос на меня! К счастью, в местком на службе, а не прямо в большой дом. Вызывали вчера за объяснением. Я не растерялась и сразу перешла в контратаку:

— Донос, очевидно, состряпан гражданкой Дергачевой — моей соседкой. Прошу учесть, что между нами произошла ссора по поводу недопустимой неаккуратности гражданки Дергачевой в кухне. Я — ответственная за чистоту, и позволила себе сделать гражданке Дергачевой замечание; она раскричалась и при всех угрожала мне. Допросите свидетелей.

Председатель месткома улыбнулся и сказал:

— Так-так, учтем. Не тревожьтесь, представьте письменное объяснение. В доносе упоминается, что вы плевали на советскую газету. Коли вы принесете справку, что страдаете бронхитом с мокротой, мы подошьем ее к делу. Мы ведь знаем, что вы — ценный работник, и общественница, и гражданка хорошая: чужих детей на воспитание взяли. Нельзя же и ребятишкам снова сиротами остаться.



Вскоре мне стало ясно, что донос действительно исходит от милейшей соседки. Справку я, разумеется, представила — хотя бронхитом не страдаю, — и предместком обещал поставить на этом деле крест. Он, по-видимому, значительно мягче, чем предыдущий (тот, который травил покойного дядю Владимира Ивановича и Лелю). Трудно поверить, что кончилось благополучно. Кто же кого охраняет — я детей или они меня? Пока я туда бежала, чего только не передумала, но дневник все-таки не уничтожила.

**29 ноября.** Мне самой судьбой положено изнывать от ревности: сегодня я видела, как Сонечка обняла Марину Сергеевну и прижалась щечкой к ее лицу; ко мне она так не ласкается. По-видимому, на моем лице отразились взволновавшие меня чувства, так как Марина Сергеевна сказала: «Эти малыши не способны еще понять все, что вы для них сделали. Им мил тот, кто их забавляет. Но поверьте, что со временем они вас оценят». Я — по-своему резко — перебила: «Мне вовсе не нужно их благодарности!»

Марина Сергеевна рассказала, что получила недавно письмо от Нины Александровны, которая здорова и находится в условиях сравнительно неплохих: она постоянно выступает на вечерах самодеятельности и праздничных концертах лагерной сети. И всегда имеет большой успех. Начальник лагеря выхлопотал ей, как артистке, дополнительный паек; по его же приказу ее регулярно помещают на несколько дней в лазарет, чтобы поддержать ее силы и голос. Она не ожидала, что среди этих чудовищ могут находиться люди, которые ценят талант! В письме Нины Александровны есть интересная подробность: она и два других заключенных-музыканта, сыграваясь по вечерам, проделывают это обычно в маленьком пустующем сарайчике, чтобы не попадаться лишний раз на глаза конвою. Скоро они заметили, что едва лишь они возьмутся за инструменты, тотчас из-под стены выползает маленькая ящерица и присаживается в уголке слушать. Ящерица обладает музыкальностью, и, по-видимому, большей, чем я! Нина Александровна уверяет, что это факт, много раз проверенный, и что они все трое очень хорошо запомнили и полюбили маленького слушателя. Если бы собака или кошка — еще бы можно понять, но пресмыкающееся!..

**30 ноября.** В этом году у нас впервые за все время советской власти досталось и евреям. В первые годы после революции они были в чести — очевидно, в качестве угнетенного нацменьшинства (и жадно штурмовали командные высоты науки, искусства и управления; пользуясь удобным моментом оттеснить русских). В тридцатые годы почти каждый директор хоть сколь-нибудь крупного учреждения носил еврейскую фамилию; председательствовали на собраниях тоже евреи, а еврейские сынки и дочки заполняли вузы, так как русскую интеллигенцию губили анкеты, а пролетарская часть населения еще не успела подготовить кадры. Но самостоятельно мыслящие головы, особенно среди интеллигентов, пугают Сталина, кому бы они ни принадлежали, а может быть, героический грузин испугался сионских мудрецов и вообразил, что наше еврейство поддерживает связь с международными сионистами?

Ведь ему везде мерещатся тайные организации, которых он панически боится. Так или иначе, террор нежданно-негаданно прихватил и евреев. Вчера на службе врач-еврей, который, видно, мне доверяет, как и многие (хотя я на доверие никому не напрашиваюсь), вздумал жаловаться на угнетение, причем сказал: «Это особенно неожиданно после того равноправия, которое проводилось в тридцатые годы». На это я очень выразительно отчеканила: «В тридцатые годы проводилась классовая борьба, и если евреев не запирали в концлагеря, это еще не означает, что эти лагеря были пусты». Удивительная способность у этой нации подымать переполох, как только дело дойдет до них, а как легко и безжалостно еврейские администраторы увольняли, косили и заменяли русских своими в эти самые тридцатые годы!..

**4 декабря.** Приезжала Мэри Огарева — жена Мики. Я не сразу ее узнала, поскольку видела давно. И только дважды: на панихиде и на квартире у Аси. Двадцать четыре года; волосы гладко зачесаны, пробор ниточкой; черные, умные, живые глаза; продолговатое лицо; темное платье с белым воротничком, никаких украшений. Просила у меня разрешения переночевать, ибо в Ленинграде у нее теперь никого вовсе нет. (В

коммунальной квартире это не так просто при наличии правительственного распоряжения не предоставлять убежища ни на одни сутки никому, кроме лиц с командировочным удостоверением, которое предъявляется управдому.) Тем не менее я разрешила: уж слишком неудобно было ей отказать. Она к тому же в положении, сколько я могла заметить. Приехала она по церковным делам — с поручением к Митрополиту Ленинградскому (привезла ему иконы и письма). Тайная церковная почта. Смело!

После завтрака тотчас исчезла по дипломатическим поручениям и явилась только к вечернему чаю. На другой день опять пропадала и вернулась за час до отъезда. Кроме пакетов, которые принесла от епископа, притащила с собой книги, из Микиной библиотеки, оставшиеся частью на сохранении у Аннушки. Багаж получится настолько тяжел, что я у же собралась провожать ее на вокзал, боясь, чтобы она себе не навредила, но тут как раз появилась неизвестная мне особа, присланная «Владыкой» (как они говорят). И они ушли вместе. Очень неосторожно, а по отношению ко мне даже нетактично давать мой адрес чужому человеку. Я не спала после этой эскапады всю ночь, опасаясь, как бы их не выследили и не нагрянули ко мне. Обошлось, к счастью. Вот Мэри эта, кажется, сумела превратить свою жизнь в подвиг нераздельного служения идее. Она знает что делает. Наверно, она и Мику-то держит в руках. Хочу записать разговор, который имела с ней за вечерним чаем, когда уже заснули дети. Заговорили о современности, и она сказала:

— У нас сейчас преобладает сила разрушения и укрепился отрицательный нигилистический дух, так гениально предсказанный Достоевским. Но эти силы долго не могут царствовать. «Придет день — Господь повелит нечистому духу выйти из тела России». Нашей Восточной Церкви предстоит оживить христианство. Господь послал ей мученичество, чтобы очистить ее и приуготовить к великой миссии. Именно России суждено повернуть к свету ход мировой истории.

Я была приятно поражена силой убеждения и восторженной верой этой девушки и узнавала частицы собственных заветных мыслей. Мне была чужда лишь эта церковность. Я спросила:

— Да разве в церковной среде найдутся одинаково с вами мыслящие идейные люди?

Она отвечала:

— Великое множество! Надо только пожелать найти. Иначе в самом деле просидишь в углу всю жизнь в полной уверенности, что вокруг одно лишь ничтожество! Мне вот везет: я только оглянусь — и вижу! Я — жена ссыльного; отец мой погиб в лагере; у меня нет ленинградского паспорта и ни одного метра собственной площади, но я ни за что бы не согласилась уехать из России. Где-нибудь в Америке я задохнусь. Прошлым летом мы с Микой предприняли очень трудное путешествие в Сибирь, на Обь; там в маленьком селении живет один высокообразованный и просветленный человек, ссыльный. Мы нашли его почти умирающим, но успели все-таки многое от него почерпнуть. Он дал нам много, очень много знаний по части эзотерического христианства. Он сам был счастлив получить учеников на смертном одре. Он говорил, что видит в этом милость Божию. Он об этом молился, тут-то мы и пришли!.. Мика не мог оставаться долго — его отпуск заканчивался, а я осталась дольше, чтобы помочь чем могу старому христианину при переходе в иной мир. Когда я называла его «учитель», у него всякий раз в глазах мерцали слезы...

Появились они в хижине, где умирал ссыльный, наверно, так же, как появилось однажды у меня — в высоких сапогах, с рюкзаками за спиной, держась за руки и обменивались сияющими улыбками... Другие бы на их месте на курорт поехали... Оригинальная пара (без желания оригинальничать!).

**6 декабря.** Забытый всеми старик в заброшенной хижине молится, чтобы Бог послал ему учеников прежде, чем он отойдет в вечность... Ему прискорбно уносить с собой в могилу богатство своих мыслей. Он молится, а на пороге уже показывается молодая пара. Сегодня мое воображение во власти этих образов.

**8 декабря.** Затирает с деньгами. На сверхурочные дежурства не хватает времени, а в долг брать не в моих привычках...

Из каких средств отдавать? Ломбардов боюсь как огня... Остается экономить и экономить... У меня есть Сонечкины драгоценности — серьги Дашковых и перстень с бриллиантом от Надежды Спиридоновны, — но я считаю себя не вправе их тронуть. Пианино продать нельзя: Сонечку уже скоро можно начинать учить. Остаток библиотеки — своей и Бологовских — берегу для Славчика. Там есть книги, которые не достать теперь ни за какие деньги, например: Владимир Соловьев, Гумилев, Гофман, Метерлинк, Гюисманс...

**22 декабря.** Две недели провела в больнице имени Раухфуса у кровати Сонечки, она захватила дифтерию, и так как врач не сумел распознать вовремя, прививка была сделана только на вторые сутки, вследствие чего явилась опасность для жизни; сейчас она, слава Богу, уже миновала. Надеюсь сегодня выспаться после стольких бессонных ночей. Голову так и клонит, глаза слипаются. Горячие щеки... полураскрытый ротик... потный лоб... к которому прилипли колечки волос... Сколько я видела больных и умирающих, но ребенок, выращенный собственными усилиями, такой маленький и очаровательный... потерять такого ребенка... Какое счастье, что опасность уже позади!

**23 декабря.** Я на квартире одна. Сонечка еще в больнице, Славчик — у Марины Сергеевны. И чем дольше он там останется, тем безопаснее. Меня же по-прежнему ничто неймет, даже дифтерийная палочка.

Странно, однако, оказаться без детей... Пустота, тишина... Растут и роятся думы, как бывало прежде. Их, видно, плодит, питает эта тишина. Олег... В последнее время я думаю о нем гораздо реже... в силу занятости, наверно. Олег — герой моей юности, прошлых и грядущих — воображаемых — битв. Многое изменилось с тех дней и в моей жизни, и в окружающей меня действительности. Я чувствую, что сознание мое неудержимо ширится и растет, точно мне вспрыснули в мозг дрожжи. Мне кажется, это находится в связи с тем отрешением от эгоизма, к которому меня принудили обстоятельства. Многое хочется сказать.

Я девочкой была, когда совершенно самостоятельно нащупала мыслями мистический лик России — великий Дух Нации в известном ее значении. В те дни представителем его на земле казался мне Император, которого я воображала впереди полков на белом коне, на манер Скобелева. Позднее я связала идею Родины с белогвардейским движением; я и теперь преклоняюсь перед героизмом многих тысяч белых и офицерскими атаками, но мессианская идея, руководившая лучшими из них, уже умерла. Пролитая за эту идею кровь, может быть, послужит искупительной жертвой; она не получила свою награду здесь, но по ту сторону жизни, я верю, зачтется и будет принята на алтарь любви к Родине, как и кровь красноармейцев — таких, каким был, например, Вячеслав.

Большевизм... Процесс этот самобытен и глубоко органичен. Он слишком значителен, чтобы насильно — вмешательством извне — притушить его. Я вынуждена прийти к мысли, что и в нем должны быть черты все того же дорогого мне лика, конечно, страшно искаженные. Диктатура пролетариата — омерзительная, роковая ошибка революции, осложнившая надолго пути России. А сейчас даже и этой диктатуры нет, а только диктатура Чудовища. Но святое тело России все-таки здесь, и я не могу допустить даже в мыслях, чтобы его растерзали на части, как Господнюю ризу. В случае войны я... с большевиками! Я не знаю, как у меня рука повернулась написать эти строчки, но так я прочла в своей душе! Сейчас нет другого правительства, которое могло бы охранить наши границы, а на большую страну неизбежно набрасываются хищники. Россия в муках рождает новые государственные формы и новых богатырей, для которых все классовое уже должно быть чуждо, как дворянское, так и пролетарское, одинаково. Я ошиблась в сроках великой битвы, я ошиблась в источнике новой силы. Никакой реставрации, никакой антанты! Россия спасет себя сама, изнутри. «Закат!» — говорит Юлия Ивановна.

За закатом придет рассвет!  
Сердце будет пламенем палимо  
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,  
Стены Нового Иерусалима  
На полях моей родной страны!

Слезы сжимают мне горло. Наступит ли день, когда откроются двери тюрем и лагерей и будут возвращены все, кто безвинно принял страдание? Боюсь, что это будет еще нескоро, и те, о ком я думаю, не доживут до этой минуты, как не дожили Олег и Ася. Это будет началом «света с Востока». Тут мои чаяния сливаются с чаяниями Мэри и Мики.

**24 декабря.** Сегодня мне снился огромный костер, котел над ним и Чудовище, которое помешивало в котле половником. Вокруг в молчании стояло множество народа. Светило только пламя костра; в котле что-то трещало, кипело и плавилось; я думала: это плавятся наши жизни, но должно же быть тайное оправдание, та или иная сверхчеловеческая цель в этих гекатомбах жертв? И вдруг я увидела у котла Асю: она была вся прозрачная, в голубых тонах, со светлым лбом; Чудовище захохотало, схватило ее за косы и швырнуло в котел. Я проснулась в ужасе... но, раздумывая, пришла к мысли, что в этом сне есть связь с моей идеей об искупительных жертвах — жертвах всесожжения.

**25 декабря.** Перечитываю Гумилева и думаю об Олеге. Его образ неизменно вырастает за такими строчками:

Память, ты слабее год от году,  
Тот ли это, или кто другой  
Променял веселую свободу  
На священный долгожданный бой.  
Знал он муки голода и жажды,  
Сон тревожный, бесконечный путь,  
Но святой Георгий тронул дважды  
Пулю не тронутую грудь.

В этих строчках дан образ человека, который весь захвачен любовью к Родине и ради нее не жалеет собственной жизни. Надо внедрить в Славчика ощущение личности отца через эти строчки. Я уже давно сказала себе, что буду говорить с ним в день, когда ему минет 18 лет. До этого дня я буду молчать — это я умею! Я не хочу разминивать больше мысли на мелкую монету прежде, чем они будут ему понятны все в целом. Я являюсь ближайшим другом его отца — это большая гиря на чаше моего влияния. Это должно помочь мне уберечь Славчика от растлевающего духа времени — безверия и шкурничества.

Я в будущем передам Славчику этот дневник! Образ его отца запечатлен в нем почти на каждой странице: с момента первой встречи в госпитале до дня казни; я цитирую его слова, его мысли. Это портрет человека в страшный, переломный момент истории, когда ему довелось существовать и действовать. Читая, Славчик пройдет все этапы наших надежд, разочарований и мук и подойдет вплотную к идее очищения и обновления Родины.

Мудры Божественные пути! Я любила безнадежно, но любовь эта, очевидно, будила во мне творческие силы, а от любимого человека мне оставался только флакон духов... И творческие силы эти клочкотали в моей груди бесплодно. Тогда дано было человеку этому как бы из мертвых воскреснуть на четыре только года, с тем, чтобы дотерзать мое сердце, но одновременно оставить мне два сокровища, неизмеримо более ценных, — двух младенцев! Теперь у меня есть кому передать мои мысли и силы, кому передать дело Олега. Славчик должен стать достойным этой идеи. Я не хочу готовить из него мстителя. Структура, которая разделяет общество на победителей и побежденных, мне противна. Слишком долго

уже господствуют у нас идеи возмездия, в существе своем чуждые России и русским. Славчик подымет знамя отца с новой на нем надписью. Я воодушевлю его! В высших планах, по-видимому, решено, что это могу сделать только я, а не Ася, коль скоро не Асе, а мне суждено вырастить ребенка. Сколько мук, прежде чем я могла осознать глубину своих задач!..

Передача дневника будет для меня новым распятием — любовь моя перестанет быть тайной для детей, но результаты могут быть слишком огромны, чтобы думать о себе в этом случае. Помог бы только Бог сохранить тетрадки и вырастить мальчика. Полагаю, однако, что теперь — после моего решения — уже не смогу писать этот дневник так же искренно, как писала его до сих пор вот уже двадцать лет, а потому я этот дневник заканчиваю.

О, Родина! Я жду твоего обновления! Когда догорит наконец костер, когда издохнет Чудовище и вскроется давний гнойник на твоём теле и на воскресшую Русь прольется с неба «страшный свет», тогда я пойму, для чего были нужны такие жертвы.

Но теперь... Теперь весь мир превратился в поминки...

## Примечания

### 1

Франция — личность (франц.)

### 2

Пепиньерка — девушка, окончившая среднее закрытое учебное заведение и оставленная при нем для педагогической практики.

### 3

«Зачем»(нем.).

### 4

Словечко (франц.).

### 5

Из бывших (франц.).

### 6

Накидка, манто.

### 7

Герой-любовник (франц.)

**8**

Текущая (франц.)

**9**

Положение обязывает (франц.)

**10**

Высоких манер (франц.)

**11**

Неразлучными (франц.)

**12**

Восхитительные фиалки (итал.)

**13**

Сергей, ради Бога! (франц.)

**14**

Хорошему тону (франц.)

**15**

Прекрасная Франция (франц.)

**16**

Милой деточкой (франц.)

**17**

О, да! Эта дама принадлежит к одной из самых аристократических фамилий (франц.)

**18**

Деверь (франц.)

## 19

Девушки легкого поведения (франц.)

## 20

Деклассированный (франц.)

## 21

«Зачем?» (нем.)

## 22

«Вино откупорено, его надо выпить»(франц.)

## 23

«Нужно сохранять хорошую мину при плохой игре»(франц.)

## 24

«Позвольте мне самой поговорить с вашей бабушкой»(франц.)

## 25

Знатная дама (франц.)

## 26

Пари, условия которого устанавливает выигравший; буквально — от serendre a discretion: сдаться на милость победителя (франц.)

## 27

Двоюродная бабушка (франц.)

## 28

Войдите (франц.)

## 29

Ну что, Элен? (франц.)

**30**

Свояченица (франц.)

**31**

Бывший (франц.)

**32**

Ах, так! (франц.)

**33**

То есть из простых.

**34**

Боже мой (франц.)

**35**

«Должно быть, это очень благородный человек»(франц.)

**36**

А этот князь хорош собой?! (франц.)

**37**

«Тысяча извинений!»(франц.)

**38**

«Моя бедная маленькая Сандрильена, она непременно должна стать княгиней, а потом, быть может, и дамой высшего света!»(франц.)

**39**

На войне как на войне (франц.)

**40**

Выше (франц.)



## 41

«Святой, Святой, Благословенный!»(лат.)

## 42

Господин князь такой изысканный! (франц.)

## 43

Вечеринка (франц.)

## 44

Господин князь (франц.)

## 45

Букет (франц.)

## 46

А в нашем Третьем отделении времени зря не теряют (франц.)

## 47

А вот дочь полковника Бологовского, которого расстреляли в Крыму. Она очаровательна, эта сиротка!  
(франц.)

## 48

Реставрация (франц.)

## 49

Да замолчите же, сударь! (франц.)

## 50

Ну что за сокровище, вы же видите, мсье? Просто сокровище! (франц.)

## 51

«Утешении»(франц.)

**52**

Храни тебя Бог (франц.)

**53**

Драгоценности (франц.)

**54**

Туберкулеза (сокр. лат.)

**55**

Милые детки, они так любят друг друга! (франц.)

**56**

Это же пролетарий, пещерный человек! (франц.)

**57**

Благородными (франц.)

**58**

Имею честь сообщить, что у нас есть возможность для быстрого оказания Вам помощи (франц.)

**59**

Под наездницу (франц.)

**60**

С глазу на глаз (франц.)

**61**

«Рождество» (нем.)

**62**

Всеми вместе (итал.).

## 63

Кстати (франц.)

## 64

У мадам Фроловской доброе сердце, а эти две девчонки, которых она вырастила, неблагодарны и дерзки (франц.)

## 65

Ну, малышка! Смелей! (франц.)

## 66

Святая Женевьева! Святая Катрин! Сжальтесь надо мной! (франц.)

## 67

Она опять пала! (франц.)

## 68

Невесты (франц.)

## 69

Колокольчики (франц.).

## 70

Слоеное, букв.: «тысячи листиков» (франц.)

## 71

Журналы мод (франц.)

## 72

Местожителство (франц.); буквально: временное пристанище.

## 73

Туберкулез (сокр. лат.)

## 74

Жемчужно-серого цвета (франц.).

## 75

Мы выбиты из него (франц.)

## 76

Он говорит мне: я вас люблю.

А я чувствую — вопреки моей воле.

Я чувствую, как бьется мое сердце,

А почему оно бьется — не знаю! (франц.)

## 77

Бестактность (франц.)

## 78

Падекатры (франц.)

## 79

Нуворишек, то есть новых богатеек (франц.); здесь французское слово получило русское окончание и слегка изменило смысл — «ну, воришки»

## 80

«В одну колонну!» (франц.)

## 81

«Танцуют все!» (франц.)

## 82

Что вы делаете! Не нужно! (франц.)

## 83

— А этот юноша? Этот Геннадий? Он же видел! (франц.)

## 84

— Геннадий? Да, он видел! Но это невозможно! Невероятно! Бедная Елена! (франц.)

## 85

— Успокойся! Молчи! (франц.)

## 86

О, какое горе! Мсье князь арестован! (франц.)

## 87

Бедное дитя... Она еще так молода! (франц.)

## 88

Недотрога (франц.)

## 89

Изысканная (франц.)

## 90

Сильно устала, моя деточка? (франц.)

## 91

Они прямо охоту на меня устроили! (франц.)

## 92

Елена, Елена, не в присутствии же посторонних! (франц.)

## 93

«Мадемуазель Ренессанс» (франц.)

## 94

Меня избивали! (франц.)

## 95

Увеселительную прогулку (франц.)

## 96

Мать Скорбящую (Лат.) — эпитет Богородицы в католических песнопениях.

## 97

Но что же делать? О, Боже мой! (франц.)

## 98

«Между нами говоря» (франц.)

## 99

«Вы правы, мой друг» (франц.)

## 100

Так пляшут, пляшут, пляшут

Маленькие куколки.

Так пляшут, пляшут, пляшут

Хорошенькие девчушки

Так пляшут, пляшут, пляшут,

Три круга отплясали — и ушли... (франц.)

## 101

Тетушка (франц. — русск.)

## 102

Вот так! Весь (франц.)

## 103

Буря сломала тот дуб, Что один был защитником мне... (франц.)